

Антуан де

СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

Маленький принц (сборник)
Антуан де Сент-Экзюпери

Аннотация
Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц
В поисках нового языка
Южный почтовый
  Часть первая
    I
    II
    III
    IV
  Часть вторая
    I
    II
    III
    IV
    V
    VI
    VII
    VIII
    IX
    X
    XI
    XII

XIII
XIV
Часть третья
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Ночной полет
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
Планета людей
I. Линия
II. Товарищи
1
2
III. Самолет
IV. Самолет и планета
1
2
3
4
V. Оазис
VI. В пустыне
1
2
3
4

5
6
7
VII. В сердце пустыни
1
2
3
4
5
6
7
VIII. Люди
1
2
3
4
Военный летчик
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
Маленький принц
I
II
III
IV
V
VI

VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
Цитадель
I
II
III
IV

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX

XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI

LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXIX
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIII
LXXIX
LXXX
LXXXI
LXXXII

LXXXIII
LXXXIV
LXXXV
LXXXVI
LXXXVII
LXXXVIII
LXXXIX
XC
XCI
XCII
XCIII
XCIV
XCV
XCVI
XCVII
XCVIII
XCIX
C
CI
CII
CIII
CIV
CV
CVI
CVII
CVIII

CIX
CX
CXI
CXII
CXIII
CXIV
CXV
CXVI
CXVII
CXVIII
CXIX
CXX
CXXI
CXXII
CXXIII
CXXIV
CXXV
CXXVI
CXXVII
CXXVIII
CXXIX
CXXX
CXXXI
CXXXII
CXXXIII
CXXXIV

CXXXV
CXXXVI
CXXXVII
CXXXVIII
CXXXIX
CXL
CXLI
CXLII
CXLIII
CXLIV
CXLV
CXLVI
CXLVII
CXLVIII
CXLIX
CL
CLI
CLII
CLIII
CLIV
CLV
CLVI
CLVII
CLVIII
CLIX
CLX

CLXI
CLXII
CLXIII
CLXIV
CLXV
CLXVI
CLXVII
CLXVIII
CLXIX
CLXX
CLXXI
CLXXII
CLXXIII
CLXXIV
CLXXV
CLXXVI
CLXXVII
CLXXVIII
CLXXIX
CLXXX
CLXXXI
CLXXXII
CLXXXIII
CLXXXIV
CLXXXV
CLXXXVI

CLXXXVII
CLXXXVIII
CLXXXIX
CXC
CXCI
CXCII
CXCIII
CXCIV
CXCV
CXCVI
CXCVII
CXCVIII
CXCIX
CC
CCI
CCII
CCIII
CCIV
CCV
CCVI
CCVII
CCVIII
CCIX
CCX
CCXI
CCXII

CCXIII
CCXIV
CCXV
CCXVI
CCXVII
CCXVIII
CCXI
Примечания
Биографический очерк
Южный почтовый. («Courrier sud»)
Ночной полет. («Vol de nuit»)
Планета людей. («Terre des hommes»)
Военный летчик. («Pilote de guerre»)
Маленький принц. («Le Petit Prince»)
Цитадель. («Citadelle»)

Аннотация

В сборник вошли все прозаические произведения Экзюпери, по-прежнему обожаемые многими поколениями читателей всего мира и переведенные практически на все современные языки.

Их не просто раздергали на цитаты, они вошли в повседневную речь людей, зачастую даже не имеющих представления, кому принадлежат выражения «все мы в ответе за тех, кого приручили», «нет в мире совершенства», «это очень печально, когда забывают друзей» и многие, многие другие афоризмы, созданные писателем, который созерцал жизнь из кабины военного самолета…

Антуан де Сент-Экзюпери
Маленький принц

© Вступительная статья и примечания. Е. Д. Гальцова, 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2015

В поисках нового языка

Жизнь и творчество Антуана де Сент-Экзюпери стали одним из главных мифов культуры XX века. В эпоху, проходившую под знаком провозглашенной Ницше «смерти богов», Сент-Экзюпери создает нового героя, которому не чуждо ни человеческое, ни божественное. Он конструирует героя и в жизненном, и в художественном плане одновременно — не абстрактно, но лично пережив и прочувствовав некий новый, доселе невиданный опыт, для воплощения которого он стремится найти новые средства выражения. Он пытается обрести в этом опыте нечто, превосходящее его самого, — духовную инстанцию, не подсказанную извне никакими существующими религиями. Его «сверхчеловек» смотрит в будущее, охваченный желанием обрести Бога.

Сент-Экзюпери, несомненно, упрощал, когда говорил в интервью газете «Фигаро» 27 мая 1939 года, что для него «летать и писать — одно и то же». Его творчество невозможно рассматривать как сугубо литературное, оно выходит за рамки художественной словесности в бесконечные сфе-

ры жизни, философии, своеобразной теологии. Как говорил французский писатель и философ Роже Кайюа: «Сент-Экзюпери делает из литературы инструмент цивилизации. Благодаря литературе подвиги и эмоции, заблуждения и победы человека могут избежать подстерегающей их бездны»[1]. И вместе с тем именно слово, которому Сент-Экзюпери имел все основания не доверять, оказывается средством выхода за пределы литературы, именно слово становится связью, цементирующей ту «цитадель духа», о которой мечтал писатель под конец своего творческого пути.

Литературное наследие Сент-Экзюпери невелико — строго говоря, всего четыре небольших прозаических произведения, сказка и незаконченное эссе «Цитадель», объем которого равен всем законченным, вместе взятым. Но при этом каждое его произведение становилось бестселлером, причем не только во Франции и США, где он подписывал контракты на их издание, но и во всем мире начиная с 1930-х годов. В нашей стране переводы его книг стали выходить со второй половины 1950-х годов. Постоянство его

[1] Примечания: 1

Caillois R. Preface // Antoine de Saint-Exupéry. CEuvres. Paris, Gallimard, Bibliothfeque de la Pléiade, 1959. P. XII.

посмертной славы, связанной прежде всего с «Маленьким принцем», вообще не знает аналогов в истории литературы XX века. Ее не могли поколебать даже буйные 60-е годы, когда французы выпустили сборник «Суд над Сент-Экзюпери», в котором строго критиковали его и как писателя, и как мыслителя, обвиняя во всем, даже в конформизме[2]. Сент-Экзюпери занял прочное место классика литературы XX века.

Успех этого классика начинался с ультрасовременной — авиационной — тематики. Он словно следовал завету поэта Артюра Рембо: «Надо быть абсолютно современным», хотя самыми любимыми поэтами Сент-Экзюпери были более «умеренные» — Леконт де Лиль, Эредиа, Бодлер, Малларме… Современность — это самолеты и знаменитые летчики, как, например, Жорж Мари Гименер, исчезнувший в туманах Фландрии осенью 1917 года и ставший героем романа Анри Бордо (1918). Образы, связанные с воздухоплаванием, зачаровывали самых разных французских писателей — Алена-Фурнье, Эдмона Ростана, Поля Клоделя, Мориса Барреса, Жана Кокто, Блеза Сандрара, Гийома Аполлинера. Аэро-

[2] Примечания: 2
Tavernier R. Saint-Exupery en proces. Paris, 1967.

планы возбуждали в человеке новые, неведомые прежде ощущения, что видно, к примеру, из знаменитого описания Марселя Пруста, замечтавшегося при виде аэроплана: «Неожиданно моя лошадь взвилась на дыбы: она услышала странный шум; я чуть было не вылетел из седла, затем, с трудом укротив лошадь, поднял мокрые от слез глаза ввысь, откуда доносился шум, и увидел в пятидесяти метрах над собой, в лучах солнца, два громадных блестящих стальных крыла, уносивших живое существо с человеческим, как мне показалось, лицом, хотя разглядеть его было трудно. Я был потрясен не меньше, чем грек, впервые увидевший полубога»[3].

В своей любви к небу Сент-Экзюпери оказывается, при всем различии в писательской технике, ближе к Прусту, нежели к самым «продвинутым» певцам скорости и аэропланов, какими были в первые десятилетия XX века футуристы. «Долой лунный свет!» — призывали технократы-футуристы, бросавшие «вызов звездам». А Сент-Экзюпери стремился прочувствовать природу небес, любуясь «ночным великолепием облачных полей» и слушая музыку полета — «Уже взлетает к небу

[3] Примечания: 3

Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. 4. Содом и Гоморра. М., 1992. С. 377–378.

мелодия органа: самолет» («Ночной полет»).

Его поэзия звезд и луны, его поэзия пустыни, порождающей грезы, оказалась близка сюрреалистам, которые опубликовали его небольшой текст под названием «Мираж» в журнале «Минотавр» в 1935 году (впоследствии этот фрагмент войдет в книгу «Планета людей»). «Мои грезы куда реальнее, чем эти люди, чем эта луна, чем эти достоверности» — под этой фразой Сент-Экзюпери мог бы подписаться любой сюрреалист. Рассказчик Сент-Экзюпери, который видит свои чудесные сны наяву о детстве, пребывает в особом состоянии, при котором его реальные ощущения словно тоже смещаются в сферу грез. А в письмах к матери Сент-Экзюпери вольно или невольно воспроизводит тезис вождя сюрреалистов Андре Бретона о «незаинтересованной игре ума»: «Не надо учиться мыслить, надо научиться не мыслить».

Авиационная экзотика была просто обречена на успех и в конце 1920-х, когда начал печататься Сент-Экзюпери, и в 1930-е годы, чем и объясняется живейший интерес к молодому писателю со стороны одного из крупнейших издателей Франции, Гастона Галлимара, который уже имел успешный опыт с изданием романа Жозефа Кесселя

«Экипаж». Напомним и о большой популярности, какой пользовались романы на другую «экзотическую» тематику — морскую: особенно романы Джозефа Конрада, а также Германа Мелвилла.

На авиационную тему обращает в первую очередь внимание и Андре Бекле, в свое время известный писатель и публицист, написавший предисловие к первому изданию первого романа Сент-Экзюпери «Южный почтовый» (1929): «Сент-Экзюпери — не писатель, и самолет никогда не был для него литературным развлечением». Его «чувства и их искренние проявления подчинены жизненной энергии, они — порождение его чудесной профессии»[4]. Таким образом, предисловие Бекле стоит у истоков известного мифа о летчике-писателе.

«Южный почтовый» — своеобразный итог юношеских литературных исканий Сент-Экзюпери. В небольшом, но переполненном событиями тексте романа Сент-Экзюпери словно хотел высказать разом весь свой писательский и жизненный потенциал, причудливо смешивая героику завоевания неба и традиционную любовную историю.

Роман раздроблен на множество эпизодов,

---

[4] Примечания: 4

Цит. по: Antoine de Saint-Exupéry. CEuvres completes. Paris, Gallimard, 1994. T. I. P. 905.

строение которых можно объяснить не логикой, но музыкой. Однако при всей своей разрозненности события книги укладываются в 48 часов полета главного героя — удвоенное время классической трагедии. Но развертывание этого почти классического времени происходит не последовательно, оно может возвращаться вспять или вообще прерываться длинными ретроспекциями, уводящими в прошлое двух-или трехлетней давности. Игра с временными планами дополняется сменой пространств и, что самое главное, позицией рассказчика, который постоянно меняет ракурсы своего повествования, то ускоряя, то замедляя его. Романная техника Сент-Экзюпери, впитавшая в себя приемы кинематографа[5], оказывается в «Южном почтовом» значительно сложнее, чем этого можно было бы ожидать от начинающего автора.

Многие современники Сент-Экзюпери критиковали любовную интригу «Южного почтового», считая ее слишком банальной. Но, может быть, он и стремился к примитивности, создав отдаленную версию трагической легенды о Тристане и Изольде. Несомненно, Бернис — герой, но это

[5] Примечания: 5

Сент-Экзюпери был всегда увлечен кино, в 1930-е годы и в начале 1940-х он писал киносценарии.

герой, черпающий свою энергию из отчаяния, ибо его Женевьева умерла. И не следует искать в его гибели элементов случайности или героики. Она выглядит как исполнение мифа — если его возлюбленная мертва, то и ему не место на этом свете.

Вторая книга Сент-Экзюпери — «Ночной полет» (1931) — написана иначе, чем «Южный почтовый». Автор выбирает всего один мотив, который пронизывает все повествование, — мотив ночных полетов. Разумеется, его идея значительнее узкопрофессиональной проблемы. Так, Сент-Экзюпери делится с матерью своим замыслом: «Я теперь пишу книгу о ночном полете. Но в самом сокровенном своем смысле это книга о ночи». А значит, и о победе Ривьера над ночью.

В публикации «Ночного полета» большая роль принадлежала автору предисловия — знаменитому писателю Андре Жиду, который до того перевел роман Джозефа Конрада «Тайфун». Сент-Экзюпери познакомился со своим старшим собратом по перу в Париже еще в конце 1910-х годов, и их дружба продолжалась до самой смерти Конрада. Именно Жид всегда настаивал на том, чтобы Сент-Экзюпери продолжал писать книги, что было особенно важно в атмосфере

подавленности, царившей во Франции после поражения в 1940 году. Последний раз они виделись с Жидом в 1944 году в Алжире. А тогда, в 1931-м, по всей вероятности, именно Андре Жид способствовал тому, чтобы молодой писатель подал свой роман на соискание литературной премии. Эта литературная и человеческая дружба между откровенным «имморалистом» Жидом и гуманистом Сент-Экзюпери может показаться тем более удивительной, что Сент-Экзюпери никогда не был подражателем Жида.

Остановимся подробнее на упомянутом предисловии. Отдав дань литературной моде в своем кратком и энергичном описании исторической роли пионеров авиации и значения ночных рейсов, Жид обращается к герою книги, сравнивая его с Бернисом. Если летчик «Южного почтового» предстает как личность ранимая, пишет Жид, то «герой “Ночного полета”, которому ничто человеческое не чуждо, поднимается до сверхчеловеческой доблести», благодаря силе воли он оказывается способен преодолеть самого себя. Еще более интересным представляется Жиду фигура Ривьера, чья «суровость может на первый взгляд показаться бесчеловечной и чрезмерной». Но это герой, счастье которого «не в достиже-

нии свободы, но в исполнении долга». Ривьер с его — буквально — «мрачным» чувством долга парадоксальным образом напоминает Жиду его собственного героя Прометея, который говорил: «Я не люблю человека, но люблю все то, что его пожирает»[6]. Разумеется, это сравнение Жид провел не без желания спровоцировать читателя и добился реакции хотя бы со стороны критиков, которые в большинстве своем посчитали нужным указать на разницу между Сент-Экзюпери и Жидом. Но, что самое главное, в своем предисловии Жид вскрыл ницшеанскую подоплеку романа, которая, разумеется, выводила его далеко за пределы банального повествования о подвигах пилота.

Премия «Фемина», которую присудили Сент-Экзюпери за «Ночной полет», — не самая престижная, но для молодого автора она была весьма неожиданна и почетна. Вряд ли такая премия могла предопределить огромную популярность романа у публики, но успех его оказался просто оглушительным. К началу весны 1932 года тираж книги достигает 94 тысяч, а к началу 1933 года вырастает до 145 тысяч экземпляров. Уже в первом

---

[6] Примечания: 6

Цит. по: Antoine de Saint-Exupéry. CEuvres completes. T. I. P. 962–963.

квартале 1932 года роман переводится одновременно на пятнадцать языков. В сентябре 1932 года выходит американское издание, а в 1933-м голливудский режиссер Кларенс Браун снимает фильм с Кларком Гейблом в главной роли. Так к Сент-Экзюпери приходит мировая слава. Правда, фильм ему не нравился, потому что имел мало общего с книгой, к тому же он не смог бороться за свои авторские права в Америке. Галлимар в очередной раз подписывает с ним контракт на будущие книги.

Этот контракт Сент-Экзюпери начнет выполнять лишь в 1938 году, создав произведение, которому после долгих колебаний дает название в библейском духе, — «Земля людей»[7]. Известно, что Жид ему советовал: «Почему бы Вам не написать нечто такое, что было бы не привычным повествованием, но чем-то вроде… букета цветов, снопа колосьев, вне определенного времени и места; собранием ощущений, эмоций, рассуждений авиатора в некотором количестве глав»[8].

В отличие от «Ночного полета» «Планета лю-

---

[7] Примечания: 7

В настоящем издании публикуется под названием «Планета людей».

[8] Примечания: 8

Цит. по: Cate C. Saint-Exupéry, laboureur du ciel. Paris, Grasset, 1973. P. 342.

дей» — это не роман, а сборник эссе. Но премия Французской академии, которая была присуждена книге Сент-Экзюпери, была именно премией за роман — подобной премии за эссе еще не существовало. Тем не менее, пусть и с некоторой натяжкой, «романное начало» можно было бы усмотреть в том связующем компоненте, коим являлось автобиографическое «я» Сент-Экзюпери. Ведь «Планета людей» — это, по сути, сборник автобиографических эссе, где фигурируют не вымышленные персонажи, прототипы которых мы можем лишь угадывать, но реальные люди — друзья Сент-Экзюпери: летчики Жан Мермоз, Анри Гийоме, механик Андре Прево и др. Искренность автора, пишущего о себе, придавала еще большую значимость тем нравственным ценностям — товариществу, самоотверженности, человеколюбию, — которые он пытался донести до своего читателя.

Книга создавалась из готовых или переработанных текстов, которые Сент-Экзюпери писал и публиковал во французской периодике на протяжении 30-х годов, причем складывалась буквально по мере сдачи ее в печать: автор отправлял рукопись частями, а затем много работал над корректурами. Фрагментарная композиция

книги уравновешивалась лаконичными, но исполненными морального смысла заголовками, которые Сент-Экзюпери придумывал для каждой главы. Объединяет всю книгу ее финал, который выламывается из характерной для всех текстов авиационной тематики. В последней главе Сент-Экзюпери рассказывает уже не о падении героя с небес в горную или песчаную пустыню, но о своем путешествии по земле на поезде, где он случайно встречает несчастных польских рабочих, изгнанных из Франции во время кризиса. И среди этих задавленных жизнью существ, потерявших человеческий облик, он замечает прелестного ребенка и вдруг понимает, что тот мог бы стать гениальным «маленьким Моцартом»… И каждый тоже мог бы стать Моцартом, но все эти люди обречены. Сент-Экзюпери заканчивает книгу на этой высокой ноте страдания за человека, за людей, в которых заключено неразгаданное духовное начало.

Совершенно иной финал ожидал американского читателя. Американское издание «Планеты людей», которое вышло под названием «Ветер, песок и звезды», готовилось почти одновременно с французским, и Сент-Экзюпери, тоже фрагментами, посылал книгу на перевод. В самую

последнюю минуту выяснилось, что английский текст оказался меньше по объему, и тогда специально для Америки Сент-Экзюпери написал главу «Пилот и стихии»[9], которая была создана уже в тот момент, когда издательство Галлимара заканчивало подготовку к публикации, и хотя автор очень хотел внести ее во французское издание, сделать это он не успел. Здесь Сент-Экзюпери говорил о художественных задачах. Писатель должен уметь передать свое непосредственное видение тех исключительных природных катаклизмов, в эпицентре которых оказывается его герой-летчик. Он должен описывать борьбу пилота с ветрами в Патагонии, как «обрывки мыслей и ощущений», то есть передавать пережитое как можно непосредственнее, показывая слияние пилота с самолетом, с ветром, с бурей, в отличие от того, как строил свои описания Конрад, показывавший то, что происходило во время урагана, только как трагедию людей. Эта во многом восходящая к импрессионизму позиция возникла у Сент-Экзюпери еще в начале 1920-х годов, когда он писал своей приятельнице Рене де Соссин (Ринетт): «Учиться нужно не писать, а видеть.

[9] Примечания: 9

См.: Сент-Экзюпери А. де. Сочинения. М.: Книжная палата, 2000. С. 785.

Письмо — это следствие… Задайтесь вопросом: “Как передать такое-то впечатление?” И вещи родятся из их воздействия на вас и благодаря этому станут живыми». Впоследствии философ Гастон Башляр именно в этом «динамическом воображении» Сент-Экзюпери увидел разгадку воздействия его текстов на читателя. Подобные описания, в которых самолет становится органом восприятия летчика, привлекли к себе внимание экзистенциалиста Жан-Поля Сартра, который видел в них проявление человеческого бытия в определенном «способе-бытия-в мире»[10].

На первый взгляд «Военный летчик», опубликованный в США под названием «Полет к Аррасу» (1942), кажется книгой, написанной «на случай». Она должна была внушить согражданам Сент-Экзюпери любовь к «вечной Франции» — той Франции, которую воплощает горстка самоотверженных героев, несмотря на позорное поражение в войне; она должна была внушить американцам, первым читателям повести, что боевой дух французов не иссякнет. Но при этом Сент-Экзюпери пытался избежать слишком конкретной политической тенденции, со всей очевидностью

[10] Примечания: 10
Сартр Ж.-П. Что такое литература? // Ситуации. М.: Ладомир, 1997.

проступавшей в его публицистике, — он избегал рассуждений о политике генерала де Голля, с которым отказался сотрудничать. Книга о подвиге и о поражении Франции оказывается книгой о личности перед лицом абсурда.

Зачем Сент-Экзюпери готов жертвовать собой, совершая разведывательный полет к Аррасу, если очевидно, что все эти действия бессмысленны, что его подвиг бесполезен в этой войне, в которой французы сами обрекли себя на поражение? Зачем служить, если служение бесполезно? Такие вопросы задает философ Морис Мерло-Понти в последней главе своей книги «Смысл и бессмыслица» (1948). «Сент-Экзюпери бросается на задание, потому что оно и есть он сам, последствие того, что он думал, хотел и решил, потому что он станет ничем, если уклонится от него. По мере того как он погружается в опасность, он завоевывает свое бытие. <…> Он чувствует себя неуязвимым, потому что он наконец внутри вещей, он покинул свою внутреннюю пропасть, и теперь, если он погибнет, то погибнет в мире»[11]. Абсурдное, но героическое деяние дает человеку ощущение сопричастности. Таков, по мнению

[11] Примечания: 11
Merleau-Ponty M. Sens et non-sens. Paris, 1948. P. 377.

Мерло-Понти, современный герой, который совершает подвиги не ради морали, но во имя обретения своего бытия.

Таким образом, гуманизм Сент-Экзюпери может быть рассмотрен в экзистенциальном ключе. В его произведениях личность постигает смысл бытия только благодаря некоему особому способу своего существования — существования в экстремальных ситуациях — перед лицом смерти, в условиях абсолютного одиночества в песчаной или снежной пустыне (когда человек «становится свидетелем самого себя», как говорил Сартр).

«Маленький принц» оказался последним произведением, опубликованным при жизни автора. Это сказка, в которой невозможно было не увидеть намеков на различные политические или общественные проблемы Франции предвоенной и военной эпох. Вместе с тем в ней легко узнаются отзвуки любимых Сент-Экзюпери «Мальчика-с-Пальчик» Шарля Перро и «Русалочки» Ганса Кристиана Андерсена. А близкие Сент-Экзюпери говорили, что у каждого персонажа или вещи есть свой прототип: в письмах он часто называл Консуэло розой; Лисом, возможно, была его американская пассия Сильвия Рейнхардт, а еще, может быть, его верная подруга Элен де Вогюэ

и, конечно же, лисенок-фенек из «Планеты людей»; барашек — это пудель все той же Сильвии; Деловой человек — Латекоэр; баобабы возникли из Дакара, а вулканы — из Патагонии… И разумеется, в сказке было два Сент-Экзюпери: один — в образе летчика-рассказчика, а другой — Маленького принца, в таинственном уходе которого пытались найти разгадку гибели его создателя.

Кому предназначалась эта сказка? Автор посвятил ее своему старому другу Леону Верту, сохраняя, впрочем, виртуальную двойственность возраста — «Леону Верту, когда он был маленьким». Элен де Вогюэ вообще считала, что «Маленький принц» — «сказка для взрослых», «автобиографическое произведение, которое передает посредством сатиры на современность ежедневные волнения и страдания души ребенка». Но, как показал невероятный успех этой сказки именно у детской аудитории, на которую изначально и рассчитывало издательство «Рейнал энд Хичкок», когда заказывало ее Сент-Экзюпери, дети так любят эту сказку потому, что им нравится, когда с ними говорят как со взрослыми.

Когда после смерти Сент-Экзюпери была опубликована книга «Цитадель», стало ясно, что

форма параболы, характерная для «Маленького принца», занимала его еще с середины 1930-х годов, когда он только задумал писать «Цитадель». Но если акварельная прозрачность мысли «Маленького принца» и видимая простота языка обеспечили сказке успех, выход в свет «Цитадели» в 1948 году был встречен во Франции более чем прохладно. Критики не узнали «своего Сент-Экса» — героического писателя-летчика с благородными идеями; они не могли понять парадоксальных притч нового alter ego Сент-Экзюпери — берберского вождя, откровенно напоминающих одновременно и сочинения Ницше, и Библию, и Коран… Поэтому они настаивали на том, что «Цитадель», которую Сент-Экзюпери не успел завершить, представляет собой просто беспорядочную груду набросков, большую часть из которых автор даже не написал, а наговорил на диктофон.

Действительно, композиция «Цитадели» условна, она является результатом работы текстологов и издателей, а не автора. Но нельзя сказать, что в предшествующем творчестве Сент-Экзюпери не было ничего подобного: наиболее ярким примером служит, конечно же, «Планета людей», произведение, получившее всеобщее признание

и у публики, и у критики. Бессюжетную «Цитадель», у которой нет «настоящего» финала, можно читать с любого места; фрагментарность и незавершенность «Цитадели» могут восприниматься как органическая часть замысла книги, которая предвосхищает откровенно игровую композицию, характерную для постмодернизма.

«Цитадель» напоминает по жанру средневековые теологические «суммы» (вспомним «Сумму теологии» Фомы Аквинского); эту форму, например, использовал в 1940-е годы писатель Жорж Батай, очень далекий от Сент-Экзюпери. Впрочем, как это ни парадоксально, между этими двумя писателями обнаруживается немало потенциальных точек соприкосновения. И дело не том, что библиотекарь по профессии Жорж Батай был направлен в 1949 году работать в затерянный во французской глубинке городок Карпантра — тот самый, о котором мечтал в одном из своих последних писем Сент-Экзюпери: «Добродетель — это значит спасать французское духовное наследие, оставаясь хранителем библиотеки где-нибудь в Карпантра»[12]. И Батай, и Сент-Экзюпери стре-

[12] Примечания: 12

Сент-Экзюпери А. де. Сочинения. С. 177. Письмо было адресовано Элен де Вогюэ, которая впоследствии публиковала свои книги под мужским псевдонимом «Пьер Шеврие».

мились к постижению некоего духовного начала посредством переживаемых чувств и размышлений на грани со смертью: именно в этом смысле к творчеству Сент-Экзюпери вполне может быть применено батаевское понятие «внутреннего опыта». В «Цитадели» можно найти немало рассуждений о необходимости человеческой и творческой растраты, которые перекликаются с концепциями «непроизводительной траты» и основанной на ней коммуникации, которые Батай разрабатывал в 30—40-е годы, но, разумеется, речь идет не о взаимном влиянии писателей друг на друга, но о параллелизме их творческих поисков.

Разумеется, Сент-Экзюпери в отличие от Батая не интересует деструктивность как таковая, он склонен к «примирению» не только в политическом, но и в философском смысле. Он писал в дневниках: «Единственная человеческая операция — это “примирить”, но примирить можно лишь с помощью новой системы понятий». Это примирение вовсе не означает приспособленчества и конформизма, в котором Сент-Экзюпери сначала обвиняли голлисты, а потом шестидесятники. Писатель стремился к универсальному языку, который мог бы затронуть читателя, неза-

висимо от его идеологических и религиозных пристрастий.

Как же создать эту «новую систему понятий»? С одной стороны, «все мои понятия чисто эмпирические», писал он в дневниках, продолжая размышлять о деяниях, которые воплощались во всех его книгах. С другой стороны, для «примирения» необходимо создать некий новый язык, о чем он и говорит в «Цитадели»: «Я должен творить язык, который будет истощать противоречия. Потому что язык — это тоже жизнь». Только такой язык сможет преодолеть бессилие слов — «ветер слов», — только такой язык сможет «постичь», или буквально «схватить», бытие, а значит, преодолеть свою мертвую условность. Чтобы создать этот новый язык, необходимо ответить на вечный вопрос Ницше: «Кто говорит?» И берберский вождь, а вместе с ним и Сент-Экзюпери, отвечает: «Я — новый язык, дом, границы, внутренний стержень».

«Цитадель» осталась недостроенной, и Сент-Экзюпери так и не создал стройной системы «нового языка», который, наверное, был для него все-таки вне слов, подобно тому как интонацию его текстов, казалось бы, так узнаваемо стилизованных под Библию и философские сочинения Ницше,

невозможно свести только к этим источникам. Может быть, «новый язык» Сент-Экзюпери и определяется как «воля к новому языку», как «воля к жизни»?

«Главное — идти, — писал Сент-Экзюпери в “Цитадели”. — Дорога не кончается, а цель — всегда обман зрения: странник поднялся на вершину, и ему уже видится другая цель. А достигнутая перестала ощущаться целью».

Е. Д. Гальцова

Южный почтовый

© Перевод. Д. Кузьмин, 2003

Часть первая
I

Радиограмма. 6.10. Тулуза всем аэродромам. Почтовый Франция — Южная Америка вылетел 5.45. Точка.

Небо, чистое, как вода, омыло звезды и расставило их по местам. И наступила ночь. Сахара, дюна за дюной, расстилалась под луной. Этот светильник не высекает предметы из тьмы, но творит, насыщая нежной плотью. Под нашими приглушенными шагами — роскошество плотного песка. И мы идем с непокрытой головой, сбросив бремя солнца. Ночь — наш кров и прибежище…

Но как поверить, что это — покой? Неустанно неслись к югу пассаты, шелком шелестел выметаемый дочиста пляж. Не то что ветра Европы: покрутятся да и утихнут, — эти свистели над нашими головами постоянно, как над мчащимся поездом. Иной ночью они врезались в нас с такой силой, что, казалось, только обопрись — и тебя подымет и унесет невесть куда. Вот это скорость, вот это неистовство!

Возвращалось солнце, приводя за собой день. Мавры слегка волновались. Некоторые отваживались приблизиться к испанскому форту, размахивали руками, их ружья казались игрушечными. Сахара, вид из-за кулис: непокорные племена — простые статисты, без малейшего покрова тайны.

Мы жили с ними бок о бок, видя в них собственное отражение, только попроще. И потому не чувствовали, что затеряны в пустыне: чтобы понять, как мы были одиноки, надо было сперва вернуться домой и посмотреть на здешнюю жизнь со стороны.

Пятьсот метров — и начинается непокоренная страна: дальше — ни шагу. Мы были в плену у мавров и у самих себя. Наши ближайшие соседи — в Сиснеросе, в Порт-Этьене, за семьсот, за тысячу километров — точно так же были схвачены Сахарой, словно крупинки металла — рудой. Обращались по своей орбите вокруг такого же форта. Мы знали их по именам, по их причудам, но толща безмолвия пролегла между нами, как между обитаемыми планетами.

В то утро мир для нас начал оживать. Радист наконец принес телеграмму (раз в неделю нас связывали с миром две врытые в песок мачты):

Почтовый Франция — Южная Америка вылетел Тулузы 5.45. Точка. Прошел Аликанте 11.10.

Говорила Тулуза, головной аэродром, Тулуза — далекий бог.

За десять минут эта весть доходила до нас через Барселону, через Касабланку, через Агадир, а потом распространялась до самого Дакара. По всей линии — пять тысяч километров — аэродромы проверяли готовность. В шесть вечера радио заговорило снова:

Почтовый приземлится Агадире 21.00, вылетит Кап-Джуби 21.30, здесь подсветить мишленовской ракетой, в Кап-Джуби обычные сигнальные огни. Точка. Держите связь Агадиром. Тулуза.

В Кап-Джуби, затерянные в песках Сахары, мы следили, как из обсерватории, за далекой кометой.

К шести вечера встревожился юг:

Дакар Порт-Этьену, Сиснеросу, Джуби: Срочно сообщите сведения почтовом.

Джуби Сиснеросу, Порт-Этьену, Дакару: Никаких сведений после прохождения Аликанте 11.10.

Где-то рокотал мотор. От Тулузы до Сенегала пытались его услышать.

II

Тулуза. 5.30.

Служебный автомобиль резко тормозит у ворот ангара, распахнутых в ночь и дождь. Прожектора по пятьсот свечей вырубают из тьмы предметы — грубые, голые, четко очерченные, как на витрине. Под сводом ангара каждое слово раскатывается, длится, наполняет собой тишину.

Сверкает сталь обшивки, ни пятнышка масла на моторе. Самолет как новенький. Как тончайшее часовое устройство — и механики касались его пальцами изобретателей. Теперь все готово — они отходят от дела своих рук.

— Живей, господа, живей…

Мешок за мешком чрево машины поглощает почту. Быстрая проверка:

— Буэнос-Айрес… Натал… Дакар… Касабланка… Дакар… Тридцать девять мешков. Точно?

— Точно.

Пилот одевается. Пара свитеров, шарф, кожаный комбинезон, сапоги на меху. Сонное тело неповоротливо. Его торопят: «Давай живее!» Тяжело и неуклюже, едва удерживая негнущимися в толстых перчатках пальцами часы, высотомер,

планшет с картами, он карабкается в кабину — водолаз вне своей стихии. Но вот он на месте — и все становится легко.

К нему поднимается механик:

— Шестьсот тридцать килограмм.

— Пассажиры?

— Трое.

Не глядя, он берет их под начало.

Начальник линии поворачивается к рабочим:

— Кто крепил капот?

— Я.

— Двадцать франков штрафу.

Начальник линии бросает последний взгляд на машину: всюду совершенный порядок, движения выверены, как в балете. Самолет в этом ангаре так же точно занимает свое место, как будет занимать его в небе пять минут спустя. И весь полет рассчитан так же точно, как спуск на воду корабля. На капоте недостает крепежного шплинта — чудовищная ошибка! Прожектора в пятьсот свечей, придирчивый осмотр, суровая требовательность — все для того, чтобы от посадки к посадке, до самого Буэнос-Айреса или Сантьяго этот полет совершался силой законов аэродинамики, а не волей случая. Чтобы вопреки туманам, бурям и вихрям, и тысяче тайных угроз

в пружине или коромысле клапана, — вопреки всем козням материи — настичь, обогнать, посрамить все эти скорые и товарные, поезда и пароходы! И приземлиться в рекордный срок в Буэнос-Айресе или Сантьяго.

— В путь!

Маршрутный лист для пилота Берниса: план битвы.

Бернис читает:

Перпиньян передает: Небо чистое, ветра нет. Барселона: Буря. Аликанте…

Тулуза. 5.45.

Мощные колеса давят на тормозные колодки. Прибитая к земле ветром от винта, струится и трепещет трава на двадцать метров назад. Одним движением кисти Бернис дает волю буре или укрощает ее.

А гул мотора все разбухает, накатывается и накатывается, становясь наконец плотной, почти твердой средой, в которой замкнут самолет. И вот пилот ощущает: этот гул что-то в нем переполнил, какое-то чувство, которого мгновение назад было недостаточно. Он говорит себе: есть! Смотрит на черный против света капот, гаубицей упирающийся в небо. Там, за винтом, дрожит заря.

Медленно выруливая навстречу ветру, он берет на себя рукоять газа. Самолет, подхваченный винтом, бросается вперед. Упругий воздух сглаживает первые скачки, земля растягивается и блестит под колесами, как приводной ремень. И когда воздух, сперва неосязаемый, потом текучий, наконец кажется ему твердым — пилот опирается на него и взмывает ввысь.

Окружавшие аэродром деревья расступаются, открывая горизонт, и исчезают. Склонись с высоты двухсот метров, взгляни, пока видно, на этот игрушечный, для детей, мирок: как прямо поставлено каждое дерево, как раскрашены дома, и леса топорщат свой густой мех, — на этой земле живут…

Бернис ищет нужный наклон спины, точное положение локтя — должно быть удобно. Позади — низкие тучи возводят над Тулузой темный свод вокзала. Бернис уже не так сдерживает рвущийся в высоту самолет, постепенно давая волю силе, зажатой в его руке. И каждая волна, рождаясь от легкого движения его кисти, подхватывает и возносит его самого, как волна прилива.

Через пять часов — Аликанте, вечером — Африка. Бернис задумался. На душе спокойно: «Я навел порядок». Вчера с вечерним скорым он оставил

Париж. Это был странный отпуск, в памяти брезжит лишь непонятное смятение. Ему еще будет больно, но сейчас — все отброшено, осталось позади, как будто живет своей, отдельной от него жизнью. Сейчас он заново рождается вместе с этой зарей — и, дитя рассвета, помогает создавать новый день. Он думает: «Я только рабочий, я налаживаю связь с Африкой».

А для рабочего, заново строящего мир, этот мир каждый день начинается заново.

«Я навел порядок…» Последний вечер в своей квартире. Кипы газет, пачки книг, письма — эти разобраны, те — в огонь. Для мебели приготовлены чехлы. Каждая вещь вырвана из своей жизни, выброшена в одиночество и пустоту. И в этом смятении сердца — уже никакого смысла.

Он собирался в завтрашний день, как в дальний путь. Отплывал в него, как на поиски новых земель. Только что его привязывало к самому себе множество незавершенных дел. И вдруг — он свободен. Бернис почти со страхом открывает, что он свободен и лицом к лицу со смертью.

Внизу проплывает Каркассон со своим запасным аэродромом.

Высота — три тысячи метров. Какой совершенный порядок царит там, внизу! Игрушечный мир

аккуратно собран и сложен в коробку. Дороги, каналы, дома — все, чем играет человек. Мир тщательно размеченный и разлинованный: каждому полю — своя изгородь, каждому парку — своя стена. Каждой каркассонской лавочнице — жизненный путь ее прабабки. Каждому — маленькое, от сих до сих счастье. Игрушечная жизнь, аккуратно помещенная под стекло.

И уж так он выставлен, выложен напоказ, этот мир под стеклом! В строгом порядке следуют на рулоне карты городки, и земля медленно, с неукоснительностью морского прилива проносит их под крылом самолета.

Бернису кажется, что он совсем один. Солнце бликует на циферблате высотомера — сверкающее, ледяное солнце. Чуть нажми на педаль — и там, внизу, все снесет течением. Только этот неживой свет — и земля словно неживая: с нее стерли то, в чем таится сладость, хрупкость, аромат жизни.

Но вот под этой кожаной курткой — теплое тело, теплое, Бернис, и уязвимое. Под грубыми перчатками — волшебные руки, умевшие, Женевьева, кончиками пальцев ласкать твое лицо…

Испания.

III

Сегодня, Жак Бернис, ты пройдешь над всей Испанией спокойно и уверенно, как хозяин. Знакомые виды будут сменять друг друга. Ты запросто, локтями, проложишь себе путь сквозь грозы. На тебя, а потом — за тебя, назад, несет Барселону, Валенсию, Гибралтар, — есть! Ты скатываешь эту карту обратно в рулон, за спиной — все больше сделанной работы. А я вспоминаю твои первые шаги — и мои последние советы перед твоим первым почтовым. С рассветом тебе предстояло взять в руки множество людских раздумий. В свои слабые, уязвимые руки. Взять — и перенести через тысячи преград, как сокровище под плащом. Ведь почта драгоценна, сказали тебе, драгоценней, чем сама жизнь. И так же хрупка. От любой промашки она может исчезнуть в огне или рассеяться по ветру. Вот какой он был, тот канун битвы:

«И что тогда?»

«Тогда попробуй дотянуть до пляжа у Пеньискола. Но осторожно — там рыбачьи лодки».

«А дальше?»

«Дальше до самой Валенсии всегда найдешь

где сесть. Вот, я тебе обвожу красным. На худой конец, сойдут и высохшие русла».

Зеленый абажур, расстеленные карты — Бернис как будто снова в школе. Но в каждом клочке земли его новый учитель открывал для него живую тайну. Неведомые страны представали отныне не мертвой цифирью, а настоящими лугами, полными цветов (берегись вон того дерева!), настоящими пляжами, устланными песком (вечером будь осторожен — рыбаки!).

Ты уже понял, Бернис: никогда не узнать нам ни Гранады с Альмерией, ни Альгамбры, ни мечетей — только самые скромные тайны ручейка и апельсинового дерева.

«Ну, слушай: если с погодой порядок, иди напрямик. А если погода плохая и лететь приходится низко — ты берешь влево и входишь в эту долину».

«…вхожу в эту долину…»

«А потом — снова к морю, через вот этот перевал».

«… к морю через перевал…»

«С мотором поосторожней — берег там крутой, кругом скалы».

«А если начну проваливаться?»

«Придется выпутываться!»

Бернис улыбается: молодые пилоты — романтики. А какую-нибудь скалу швырнет на тебя, как из пращи, — и убит. Бежал ребенок — и вот неведомой рукой поражен прямо в лоб и повержен навзничь…

«Да нет, старина, в самом деле! Всегда приходится выпутываться».

И Бернис горд таким уроком: в детстве во всей «Энеиде» не нашлось ни одной тайны, какая хранила бы от смерти. Школьный учитель, проводя пальцем по карте Испании, не умел открыть ни родника, ни клада, ни западни, ни той, из песенки, пастушки на лугу.

Что за нежность лилась в тот день из-под зеленого абажура! Маслом этой лампы можно было бы усмирить морскую волну! За окном крепчал ветер, и наша комната впрямь казалась одиноким островком, приютом моряков.

«Винца?»

«Пожалуй…»

Комната пилота, ненадежный приют, — каждый раз приходилось строить ее снова. Накануне вечером Компания извещала: «Пилот такой-то назначается в Сенегал… в Америку…» И в ту же ночь — порвать все связи, заколотить ящики с вещами… Скромный наряд твоей комнаты

— фотографии, книги, — все прочь, среди голых стен не остается даже призрака… А порой в ту же ночь надо было еще разомкнуть обнимавшие тебя руки, осилив какую-нибудь юную особу. Убедить невозможно — ведь каждой не занимать решимости, но можно измотать любовью и к трем утра, покорившуюся не разлуке, а своему горю, потихоньку препоручить сну, понимая: она плачет — значит, смирилась…

Что же ты узнал, Жак Бернис, отправившись странствовать по свету? Самолет? Он продвигается вперед так медленно и трудно, словно просверливая твердый кристалл. И города малопомалу становятся на одно лицо: плоть каждого ощущаешь только на земле. Ты знаешь теперь, все эти дары даются и тут же отнимаются, и время уносит их, как морская волна. А тогда ты возвращался из первых полетов и чувствовал, как в тебе рождается новый человек, и тебе все хотелось устроить ему свидание с нежным мальчуганом былых времен, — почему? В первый же свой отпуск ты потащил меня в родной коллеж. Здесь, в Сахаре, ожидая твоего мимолетного появления, грустно мне вспоминать, как мы ездили в гости к нашему детству.

Белый особняк среди сосен. Вот загорелось ок-

но, чуть погодя — второе. И ты сказал мне: «Вон в том классе мы писали наши первые стихи».

Мы явились из такой дали. Мы укрывали целый мир полой тяжелого плаща, в нас жили бессонные души странников. В незнакомые города мы вступали, сжав зубы, при полном защитном снаряжении. Людские толпы обтекали нас. Для приручeнных городов — Касабланки, Дакара — мы берегли белые тенниски и фланелевые брюки. В Танжере мы даже ходили с непокрытой головой: к чему доспехи в этом сонном городке!

Мы вернулись крепкими, сильными, настоящими мужчинами. Мы боролись и страдали, из конца в конец пролетали над бескрайними землями, любили женщин, не раз играли в орлянку со смертью, — только бы одолеть худшие страхи нашего детства, не бояться больше, что оставят после уроков и дадут лишнее задание, и бестрепетно слушать по субботам отметки за неделю.

По вестибюлю прошел шепоток, послышались возгласы — к нам спешили наши старые учителя. Золотой свет ламп лился на пергаментные лица, а глаза лучились радостью и приветом. И тотчас стало ясно: они знают, мы теперь — из другого теста. Так повелось: выпускники возвращаются, их поступь тверда, их ведет жажда реванша.

А потому их не удивило ни мое крепкое рукопожатие, ни прямой взгляд Жака Берниса. Потому они сразу приняли нас как мужчин, и кто-то побежал за бутылочкой старого самосского — прежде об этом не могло быть и речи.

Ужин собрал нас всех за столом. Они жались друг к другу под абажуром, как крестьяне вокруг очага, и мы ощутили их слабость.

Ведь это от слабости стали они снисходительны. Нашу прежнюю лень, что вела прямиком в бездну пороков и несчастий, — вспоминали с улыбкой, как невинное прегрешение детства. Нашему честолюбию, с которым некогда так яростно боролись, — в этот вечер потакали, называя благородным… И даже учитель философии снизошел до признаний.

Декарт, похоже, основал свой метод на логической ошибке. Паскаль… Паскаль так бесчеловечен! Ну, а он сам… Жизнь подходит к концу, а он так и не разрешил для себя, сколько ни пытался, старую как мир проблему свободы воли. Всеми силами, оберегая нас, ополчался он на детерминизм, на Тэна, видел в Ницше смертельную угрозу для неоперившихся юнцов, — и что же? Винился теперь перед нами в преступной слабости: Ницше волновал и его. А материя — действительно

ли она существует? Он больше ничего не знает, он в смятении…

И тогда они засыпали нас вопросами. Ведь мы вышли из тепла и уюта этого дома навстречу всем бурям жизни — кто же еще расскажет им, какая на земле погода? И правда ли, что, полюбив женщину, становишься ее рабом, как Пирр, или палачом, как Нерон? Так ли пустынна Африка, так ли ясны над ней небеса, как рассказывал на уроке учитель географии? И кстати, страусы — в самом деле закрывают глаза в минуту опасности? Жак Бернис, хранитель великих тайн, чуть склонялся к своим учителям, и те выпытывали их одну за другой.

Они хотели знать, как пьянит борьба и как ревет мотор, и почему для счастья нам мало, как им, вечерами подрезать розы. И Бернис в свой черед трактовал им Лукреция и Екклезиаста, оделял советами. Пока не поздно, он учил их, какой нужен запас воды и пищи, чтобы выжить, потерпев крушение в пустыне. Бегло набрасывал самые важные наставления: как не погибнуть при встрече с маврами, как уберечь машину от огня… А учителя качали головой, взволнованные и ободренные, гордясь этим новым племенем, которое выпустили в мир. Они всегда славили героев

— теперь им довелось увидеть их, узнать, прикоснуться, теперь они могли спокойно умереть. И они заговорили о юных годах Юлия Цезаря.

Но, хоть и жаль нам было их огорчить, — мы не сумели умолчать об отчаянии, о том, как горек отдых после бесплодной борьбы. И еще, пока самый старый из учителей задремал, — о том, что нам было больнее всего: быть может, единственная истина на свете — в мирном шелесте книжных страниц. Однако об этом наши учителя уже знали. Им не занимать безжалостного опыта: ведь среди уроков была история.

«Но какими судьбами — снова к нам?»

Бернис не ответил. Впрочем, старые учителя умели читать в сердцах: они переглянулись и подумали о любви…

IV

Земля с такой высоты казалась голой и мертвой; но самолет идет на посадку — и она одевается. Снова ее покрывает ворс лесов, долины с холмами бегут морской зыбью — земля дышит. Он летит над горой — это грудь спящего великана, вздымаясь, едва не задевает самолет.

Еще ближе к земле виды сменяются быстрее

— будто с моста глядишь на поток. Сплошной, цельный мир ломается на куски, будто ледоходом. От ровного горизонта откалываются деревья, дома, селенья, и течение несет их назад, за спину Берниса.

Вот показался аэродром Аликанте, покачался и замер; колеса касаются земли, близкие, как валки прокатного стана.

Бернис выбирается из кабины. Ноги затекли. Приходится на миг зажмуриться: голова полна гулом мотора, в глазах еще мелькает, во всем теле продолжает жить дрожь машины. Потом он входит в контору, медлительно присаживается, локтем отодвигает чернильницу, какие-то книги и берет бортовой журнал своего 612-го.

«Тулуза — Аликанте: в полете — 5.15».

Рука замирает, наваливаются усталость и сон. Слышится невнятный шум, будто где-то неподалеку бранится склочная старуха. В дверь заглядывает водитель «форда», улыбается и просит извинить. Бернис обводит тяжелым взглядом стены, дверь, этого шофера в натуральную величину. На десять минут он втянут в непонятный ему спор, в какие-то события без конца и начала. Все кажется ненастоящим, призрачным. Впрочем, вот дерево у порога — ему как-никак лет

тридцать. Тридцать лет оно утверждает подлинность всего вокруг.

«Мотор в порядке».

«Машину кренит вправо».

Он откладывает перо и думает: «Поспать бы». Дремота одолевает, давит на виски…

В янтарном свете — луга, ухоженное поле. Справа деревенька, слева — крохотное стадо, и все покрывает голубой свод небес. «Это же дом», — думает Бернис. С новой внезапной ясностью он чувствует: этот мир, это небо и эта земля возведены, чтобы служить кровом. Родным кровом, под которым царит порядок. Каждая вещь стоит прямо, надежно, устойчиво. Ни единой угрозы, ни трещинки в этой цельной картине, и сам он — ее частица.

Так старые дамы глядят из окна гостиной и чувствуют, что бессмертны. Зеленеет лужайка, садовник неспешно поливает цветы. Они провожают взглядом его спину — от нее исходит покой. Паркет натерт до блеска, пахнет воском — что за восторг! Кругом совершенный, сладостный порядок: пронесся день, в его свите ветра, и ливни, и солнечный жар, — и лишь чуточку потрепал несколько роз…

«Пора. До встречи», — и Бернис снова в пути.

Теперь он входит в бурю. Она обрушивает на самолет град ударов — словно кирка разносит каменную стену. Но Бернис видал и не такое, он прорвется. В голове ни единой мысли, кроме самых простых команд: выбраться из окружения гор (вихри тащат его вниз, в котловину), перескочить их острую грань (дождь надвигается стеной — темень, как среди ночи), пробиться к морю!

Тряхнуло! Поломка? Резкий крен влево. Бернис едва удерживает машину: сперва одной рукой, потом двумя, потом всей тяжестью тела. Проклятье! Самолет со всего маху несется к земле. Он погиб! Еще миг — и его выбросит навсегда из этого опрокинутого вверх тормашками дома, с которым он только начал сживаться. Равнины, леса и селенья завьются вихрем вокруг него, всколыхнется дым, дымные вихри по всему окоему, всюду дым! И детский, игрушечный мир разлетится на все четыре стороны неба…

«Ага, вот я и сдрейфил!» Наподдать каблуком по тросу — небось заклинило. Теперь проверить рулевую тягу. Отказала? Черта с два: все в порядке! Наподдал ногой — и мир существует дальше. Вот это приключение!

Приключение? То-то же от него ничего не осталось, кроме кислой отрыжки во рту. Но на

мгновение перед Бернисом разверглась пропасть. А все людские игрушки — дороги, дома, каналы — оказались лишь видимостью, ширмой, обманом.

Все позади. Обошлось. Снова ясное небо. Как и обещала метеосводка. «Четвертая часть неба в перистых облаках». Так, значит, метеосводка? Изобары? Облачные системы, по профессору Бьеркнессу? Нет же, праздничное небо — вот что это такое! Небо 14 июля. Почему не сказать просто: «В Малаге сегодня праздник!» И каждый житель получил подарок: десять тысяч метров чистого неба над головой. До самых перистых облаков. Никогда еще небесный водоем не был таким огромным и сияющим. Словно залив перед стартом регаты: синее небо, синее море, синие скалы, синие глаза капитана. Светозарный праздник!

Все обошлось. И для него, и для тридцати тысяч писем.

Почта драгоценна, драгоценней, чем сама жизнь, — твердила Компания. Конечно — ведь ею живут тридцать тысяч влюбленных… Потерпите, влюбленные! Ваши письма прилетят с вечерними огнями. Позади остались этот чан с тяжелыми тучами и взбивающий, перемешивающий их ураган.

Впереди — разодетая солнечными лучами земля, ворс лесов и полотно полей, и чуть морщит парусина моря.

К ночи он будет над Гибралтаром. А там, с поворотом на Танжер, огромный айсберг Европы оторвется от Берниса и поплывет себе по течению…

Несколько городов, вылепленных из бурой земли, — и Африка. Еще несколько, из черного теста, — и под крылом Сахара. Нынче вечером земля раздевается при Бернисе.

Он устал. Два месяца назад он отправился в Париж, чтобы завоевать Женевьеву. Вчера он вернулся на службу, смирившись с поражением. Эти равнины и города, эти уплывающие огни — он их оставляет, сбрасывает, как одежду. Через час блеснет маяк Танжера — и до самого маяка, Жак Бернис, ты будешь вспоминать.

Часть вторая
I

Я должен вернуться назад и рассказать, что это были за два месяца. Иначе — что от них останется? Когда понемногу уляжется слабое волнение, поднятое этими событиями, и над их героями, попросту стертыми из жизни, разойдутся, словно на озерной глади, и исчезнут круги, — когда притупится боль, сперва нестерпимая, потом не столь нестерпимая и, наконец, тихая и ровная, — тогда я снова поверю в прочность мира. Тогда, как знать, я смогу и побывать там, где всего мучительней должны являться воспоминания о Женевьеве и Бернисе, — и лишь легкая грусть тронет мне душу.

Два месяца назад он отправился в Париж — но как заново найти свое место, когда тебя так долго не было? Ты словно попусту загромождаешь город. Вот он, Жак Бернис — человек в пронафталиненном пиджаке. Он движется скованно и неловко, а вещи, уж так аккуратно составленные в уголок, выдают ненадежность, недолговечность жилья: эту комнату не покорили книги и белизна

простынь.

— Алло. Это ты?

Бернис выкликает на поверку друзей. Возгласы, поздравления: «Пропащая душа, наконец-то!»

— Ну что, когда увидимся?

Как раз сегодня тот занят. Завтра? Завтра у него гольф, но можно присоединиться. Бернис не хочет? Ну, значит, послезавтра. Ужинаем вместе. Ровно в восемь.

Он заходит в дансинг, среди разряженных жиголо остается в плаще, как в скафандре исследователя. Ночь за ночью они крутятся здесь, как пескари в аквариуме, оттачивают мастерство мадригала, отплясывают, не забывая о выпивке… В этой зыбкой среде Бернис чувствует себя грузчиком-тяжеловесом: он один прочно стоит на ногах, он один не потерял рассудка, и его мысли не расплываются туманным маревом. Между столиками он пробирается к свободному месту. Женщины, встречая его взгляд, опускают сразу гаснущие глаза. Молодые люди ловко уклоняются с его пути. Так ночью дежурный офицер обходит посты, и часовые один за другим роняют сигареты.

Каждый раз мы открывали этот мир заново — так бретонские моряки, возвращаясь, заново

открывают свою деревушку, застывшую, как на почтовой открытке, и такую верную, почти не постаревшую без них невесту. Разве может измениться картинка из книги вашего детства? И когда все опять оказывалось в точности на том же месте, в точности как назначено судьбой, нас охватывал смутный страх. Вот Бернис справляется о друге — в ответ: «Как тебе сказать… Он все тот же. Дела? Да потихоньку. Ну, понимаешь… Жизнь как жизнь». Всякий был заточен в самом себе и влачил неведомые оковы — не то что он, беглец, беспризорник, чародей.

Лица его друзей слегка изветшали за два лета и две зимы. Вон женщина в уголке бара — Бернис ее узнает. И у нее чуть усталое лицо: пришлось изобразить столько улыбок. Бармен тоже прежний. И Бернису становится страшно, что его узнают, окликнут, — как будто этот оклик воскресил бы в нем прежнего Берниса, бескрылого, неспособного на побег.

Он возвращался — и вокруг него понемногу заново возводились тюремные стены. Пески Сахары и скалы Испании понемногу отступали, словно театральные декорации, из-за них сквозил реальный мир. Наконец, уже по эту сторону границы, расстелил свою равнину Перпиньян.

Косыми длинными пятнами лилась солнечная лава, и с каждым мигом меркла брошенная там и сям на траву золотая парча, с каждым мигом — бледнела, ветшала, даже не гасла, а испарялась. Синеющий воздух сгущался в мягкий темный зеленый ил. Недвижное морское дно. Приглуши мотор — и ко дну, туда, где все обретает покой, становится очевидным и незыблемым, как стена.

А потом — автобус от аэропорта до вокзала. Суровые, замкнутые лица напротив. Заскорузлые — слепок всей жизни — ладони тяжело легли на колени. Это крестьяне возвращаются с полей. А вон девушка стоит у ворот — ждет мужчину, одного из сотни тысяч; она уже отказалась от ста тысяч надежд. И мать укачивает ребенка — в своем добровольном заточении, ей заказан побег.

Пилот, вернувшийся на родину налегке, без багажа, руки в карманы, — Бернис, оказалось, потаенной тропкой проник в самую тайную вотчину вещей. В незыблемый мир, где не сдвинешь ни на пядь край надела или ограду парка — разве что двадцатилетней тяжбой.

И это после двух лет в Африке, с ее подвижными и переменчивыми, как морская зыбь, видами — но ведь за ними, в конце концов, обнажалась единственная, древняя, вечная картина, из ко-

торой он выступил, скорбный архангел, чтобы обрести под ногами настоящую почву.

«И вот — все то же самое…»

Прежде он боялся, что все здесь изменилось, а теперь страдал от того, что все по-прежнему. Он больше ничего не ждал ни от дружеских встреч, ни от свиданий — пустое, смутная тоска. Там, вдалеке, столько себе напридумываешь! Расставание с милыми сердцу — зарубка, болезненный шрам, но тут же и странное чувство, будто, уезжая, оставил надежно упрятанное под землей сокровище. Порой лишь бегство обнаруживает, как много утаено любви. Однажды ночью в Сахаре, среди звездного племени, он грезил о нежных узах, живых и теплых там, вдали, прячущихся под кровом ночи, словно зерно в земле, — и вдруг его пронзило острое чувство: ведь он только чуть отошел в сторону, чтобы оберегать их сон! Опершись на разбитый самолет, затерянный среди песчаных волн, изогнувших черту горизонта, он охранял своих друзей и возлюбленных, как пастух…

«Что же я нашел, вернувшись?»

И однажды Бернис написал мне.

…Мне нечего сказать о моем возвращении. Я чувствую себя человеком, когда в ком-то встречаю отклик. А здесь ни в ком ничто не дрогнуло.

Я был как паломник, слишком долго добиравшийся до Иерусалима. Его страсть, его вера уже иссякли: теперь Иерусалим для него — мертвые камни. Так и этот город для меня — стена. Хочу уехать. А помнишь тот первый вылет? Когда ты был со мной? Гранада и Мурсия лежали безделушками под стеклом, но мы летели мимо, и они погружались обратно в свои минувшие века. Настоящим был только плотный гул мотора, а за ним тянулась, как фильм, немая череда картин. А этот холод — мы ведь шли на большой высоте, — города внизу, казалось, вмерзли в лед. Помнишь?

Я сохранил записки, которые ты мне передавал:

«Странно дребезжит, слышишь? Усилится — в ущелье не входи».

Через два часа, над Гибралтаром: «Подожди пересекать — лучше у Тарифы».

Перед Танжером: «Заходи издалека: полоса тяжелая».

Просто. Но с такими словами покоряют мир. Я постигал способ действий, всесильный благодаря этим кратким приказам. Танжер, заштатный городишко, был моей первой победой. Понимаешь ты — первый боевой трофей! Сначала заходишь

с высоты — нет, слишком далеко. Снижаешься — из земли вылупляются дома, лужайки, цветники. Я возвращаю на свет Божий поглощенный землей город, он снова живой! И вдруг чудесное открытие: в пятистах метрах подо мной — пахарь-араб, я подтягиваю его к себе, довожу до собственных размеров, — он будет моей военной добычей, моим творением, моей игрушкой. Я взял заложника, теперь Африка моя!

Две минуты спустя я стоял в траве. Я был такой юный, словно высадился на неведомую звезду, где заново рождается жизнь. Словно это новый мир. Я чувствовал себя ростком, только что проклюнувшимся из этой почвы, под этим небом. Я потягивался с дороги, чувствуя восхитительный голод. Я шагал широко и упруго, чтобы размяться, и смеялся от радости, что мы с моей тенью снова вместе, — вот что значит приземление.

А тамошняя весна! Помнишь ту весну, после серой, дождливой Тулузы? И всюду воздух, совсем новенький. И в каждой женщине своя тайна: у одной жест, у другой выговор, у третьей — молчание... И все они желанны. Ну а потом — ты же меня знаешь! — снова мчаться куда подальше, снова искать что-то, чего не понимаешь, хоть и предчувствуешь... Ведь я и есть искатель родни-

ков, пустившийся по свету с дрожащей веточкой в руке за своим подземным кладом.

Так скажи мне, чего же я ищу и почему, глядя из окна на город моих друзей, моих страстей, моих воспоминаний, — я в отчаянии? Почему впервые в жизни я не нахожу родника и почему так далек от моего клада? Что за смутное обетование мне дал неведомый бог и почему не исполняет его?

Я нашел свой родник. И ты его помнишь. Это Женевьева…

Женевьева, на этих словах Берниса я закрыл глаза и увидел вас девочкой. Пятнадцатилетней (нам было по тринадцать). Разве могли вы повзрослеть в нашей памяти? Вы остались прежней для нас: мы думали о хрупком ребенке, когда о вас заходила речь, и тот же ребенок представал нам, когда мы отваживались на встречу.

Другие вели к алтарю зрелых женщин — мы с Бернисом из глубин Африки называли невестой маленькую девочку. В свои пятнадцать вы были самой юной из матерей. В возрасте, когда еще обдирают о ветки голые икры, вы требовали королевскую игрушку — настоящую колыбель. И пускай для своих, не ведавших о чуде, вы притворялись обыкновенной, — мы видели в вас

ожившую сказку, через волшебную дверцу вы проскальзывали в мир, как на маскарад, одевшись женой, матерью, феей…

Вы и были феей. Я же помню. Вы жили в старом-престаром доме, вас укрывала толща стен. Вижу как сейчас: у окна, больше похожего на бойницу, облокотясь, вы подстерегаете луну. И она всходила. И равнина начинала звучать, ударив во все свои трещотки, гремушки, колокольцы: на крыльях цикад, в горлышках лягушек, на шеях бредущих с пастбища волов. Луна всходила. Иногда из деревни разносился погребальный звон, возвещая кузнечикам, и цикадам, и злакам в поле о непостижимой смерти. И вы высовывались из окна, тревожась только за обрученных, — ведь нет ничего уязвимей надежды. Но луна всходила. И тогда, заглушая колокол, совы звали друг друга к любви. Бродячие собаки, усевшись кружком, выли на луну. И каждое дерево, каждая метелка камыша, каждая травинка были живыми. А луна всходила.

И вы брали нас за руки и заставляли прислушаться: ведь это были голоса земли, они ободряли и были добры.

Этот дом и живой наряд окрестной земли были вам такой надежной защитой. Столько союзов вы

заключили с липами, дубами, с животными, — мы вас звали их принцессой. Но лишь к вечеру, когда мир постепенно отходил ко сну, ваше лицо обретало покой. «Стадо вернулось в хлев»… Вы читали эту новость в далеких огоньках фермы. А вот и глухой шум: «На канале закрывают шлюзы». Все было в порядке. Наконец грозой проносился, прорезая округу, семичасовой скорый — и с ним из вашего мира исчезало все тревожное и неверное, словно чье-то бледное лицо за стеклом вагона. И давался ужин в огромной полутемной столовой — там-то (мы следили неустанно, как шпионы) ты и становилась королевой ночи. Ты безмолвно садилась между стариками, среди обшитых деревом стен, ты наклоняла голову, и только на волосы лилось золото из абажура, — так, коронованная светом, ты царила. Нам казалось, ты бессмертна — так тесны были узы, связавшие тебя с вещами, так прочна твоя уверенность в них, в своих мыслях, в своем будущем. Ты царила…

Но мы хотели знать, как заставить тебя страдать, как сдавить тебя в объятьях, чтобы ты задыхалась, — мы чувствовали, в тебе живет что-то еще, и жаждали извлечь это на свет Божий, увидеть в твоих глазах нежность или печаль.

Бернис обхватывал тебя руками, и ты краснела. Бернис сжимал крепче — в твоих глазах сверкали слезы, но губы не кривились уродливо, как у плачущих старух. Эти слезы, говорил мне Бернис, — от внезапно переполнившегося сердца, они драгоценней алмазов и кто их выпьет — обретет бессмертие. А еще он говорил, что ты живешь внутри своего тела, как фея под водой, и он знает тысячу колдовских чар, вызывающих тебя на поверхность, а самый верный способ — чтобы ты заплакала… Так мы воровали у тебя любовь. Но стоило тебя отпустить — ты смеялась, и мы терялись. Так выпархивает птица, чуть разожмешь ладонь.

«Женевьева, почитай нам стихи».

Ты читала немного, а нам уже казалось, ты знаешь все на свете. Мы никогда не видели тебя удивленной.

«Почитай еще».

Ты читала еще, мы внимали урокам жизни и мироздания, преподанным не поэтами, а твоей мудростью. И отчаяние любовников, и печали королев обретали в твоем голосе глубину и величие, и сама смерть от любви звучала так спокойно…

«Женевьева, а от любви правда умирают?»

Ты прерывалась, погружаясь в раздумье. Ты,

конечно, искала ответа у папоротников, кузнечиков, пчел — и отвечала «да»: ведь пчелы умирают от любви. Так нужно — это не нарушало твоего покоя.

«Женевьева, а что значит любовник?»

Как нам хотелось, чтобы ты покраснела! Ты не краснела. Но уже не так безмятежно смотрела на лик луны в колеблемых водах пруда. И мы думали: для тебя любовник — как лунный свет.

«Женевьева, а у тебя есть любовник?»

Уж теперь-то ты покраснеешь! Но нет. Ты улыбалась как ни в чем не бывало. Ты качала головой. В твоем королевстве было время цветов и время плодов, было и время любви — ведь жизнь проста.

«Женевьева, знаешь, что мы будем делать дальше?» — Нам хотелось тебя наконец обескуражить, и мы называли тебя: слабая женщина. — «Мы станем завоевателями, слабая женщина!» — Мы тоже могли научить тебя жизни: завоеватели возвращаются, обремененные славой, и берут в наложницы былых возлюбленных. — «И мы будем твоими любовниками! Читай стихи, рабыня…»

Но ты больше не читала. Ты откладывала книгу. Твоя жизнь вдруг казалась тебе такой непрелож-

ной — так, должно быть, проклюнувшийся из земли росток чувствует, как живые соки превращают его в юное дерево. В ней больше не было ничего лишнего. Мы-то были завоевателями в мечтах, а вот ты — ведь это тебе служили опорой папоротники и пчелы, овцы и звезды, это ты внимала голосам лягушек, твоя уверенность росла из всего живого, распускавшегося вокруг тебя в ночной тиши и поднимавшегося в тебе самой от лодыжек до темени, — навстречу невыразимой и тем более незыблемой судьбе.

И так как луна уже взошла высоко — пора было спать, — ты затворяла окно, и луна отражалась в стекле. И мы говорили, что ты затворила небо и теперь луна с горсткой звезд заперты под стеклом, — потому что всеми этими символами, всеми этими ловушками мы старались завлечь тебя с кромки видимостей на дно морское, куда звала нас наша тревога.

…Я снова нашел свой родник. Это она мне нужна, чтобы отдохнуть от скитаний. Она — здесь. А другие… Помнишь, мы говорили о том, как много женщин, когда отхлынет любовь, оказываются отброшенными назад, к далеким звездам, — потому что они всего лишь выдумка нашего сердца. А Женевьева — помнишь, мы говорили и об

этом, — наш, обитаемый мир. Я нашел ее снова, как заново обретают смысл жизни, и я иду рядом с ней по миру, открывая наконец его суть…

Она являлась ему посланцем вещей. После тысячи разрывов она скрепляла тысячу его браков. Она вновь дарила ему этот бульвар, этот фонтан, эти каштаны. В каждой вещи снова жила тайна — душа. Этот парк больше не был подстрижен, приглажен и ободран, на вкус заезжего американца, — в его аллеях там и тут беспорядок, сухая листва, а вон любовники выронили носовой платок… И парк становился западней.

II

Она никогда не говорила с Бернисом об Эрлене, своем муже, — и вот сегодня: «Жак, будет такой скучный прием, толпа народу… Пойдемте с нами, мне будет не так одиноко!»

Эрлен оживлен. Слишком. Откуда столько самодовольства — ведь в жизни он не такой? Она смотрит на него с тревогой: человека не видно за персонажем, которого он сам придумал. И не ради тщеславия, а чтобы поверить в себя.

— Ваше замечание, мой друг, безусловно спра-

ведливо.

Ей противно, она отворачивается: что за тон, что за важный жест, что за напускное самомнение!

— Гарсон! Сигар!

Она не помнит его таким возбужденным — кажется, он опьянен властью. С подмостков банкетного зала легко править миром. Одно слово — и чужая мысль опрокинута. Одно слово — и официант с метрдотелем срываются с места.

Женевьева слегка улыбается, не понимая: к чему этот прием? Что за блажь, вот уже полгода, — игра в политику? Эрлен хочет верить в свои силы — и для этого ему достаточно почувствовать силу усвоенных им принципов, разделенных им идей. Тогда он может отойти в сторонку — и с восторгом созерцать собственную статую.

Довольно, пусть играют без нее, — и Женевьева оборачивается к Бернису:

— Ну, блудный сын, расскажите мне о пустыне… Когда же вы вернетесь насовсем?

Бернис глядит на нее.

Как в волшебной сказке, Бернис угадывает в незнакомой женщине ту пятнадцатилетнюю девочку — и она улыбается ему: едва заметно — но прячущийся ребенок выдал себя. Женевьева, я

ведь не забыл своего колдовства: вас надо обнять, стиснуть крепче, чтобы вам стало больно, — и та девочка явится на свет и заплачет…

Между тем мужчины склоняют к Женевьеве белые манишки и пускают в ход ремесло соблазнителей: как будто женщину можно завоевать идеями и принципами, как будто женщина — награда в их состязании. Ее муж тоже становится ужасно обходительным: сегодня ночью он ее захочет. Она снова желанна для него, когда желанна для других. Когда женщина в вечернем платье, в центре внимания, сама хочет нравиться, — словом, в ней чуть проглядывает куртизанка. Ему нравится заурядное, думает Женевьева. Но почему никто не любит ее целиком? Только какую-то частицу — а все остальное так и остается в тени? Ее любят — как музыку, как роскошь. Она остроумна или нежна — поэтому ее хотят. А как же то, во что она верит, что чувствует, что таит? И любовь к сыну, и житейские, такие важные заботы, — выходит, все это никому не нужно?

Рядом с ней мужчины теряют свое лицо. Они готовы вслед за ней расстраиваться и надеяться — лишь бы понравиться, они словно говорят: «Я буду таким, как вы пожелаете». Так и есть. Им все равно. Они только хотят с ней спать.

Но ведь она не может вечно думать о любви — ей просто некогда!

Она с улыбкой вспоминает первые дни после помолвки. Вот Эрлен снова обнаруживает, что влюблен (конечно, он успел об этом забыть!). Он должен поговорить с нею, приручить, покорить — «Знаешь, мне некогда…»

Она шла впереди него по дорожке, хлесткими движениями прутика сбивая, в такт песенке, молоденькие ветки. Славно пахло влажной землей. Веточки в ответ хлестали ее по лицу, как дождь. И она твердила себе: «Мне некогда… некогда…» Нужно сперва заглянуть в теплицу — как там цветы?

«Женевьева, вы жестокое дитя!»

«Разумеется. Взгляните на мои розы — они клонятся от тяжести! Разве не прекрасен цветок, который клонится от тяжести?»

«Женевьева, позвольте вас обнять…»

«Разумеется. Почему бы нет? Вам нравятся мои розы?»

Мужчинам всегда нравятся ее розы.

— Нет-нет, милый Жак, я вовсе не грущу! — Она чуть подалась к Бернису. — Я помню, я была забавная девчонка. Я придумала себе Бога на свой вкус. Если со мной случалось какое-нибудь

детское горе, я плакала о непоправимом весь день. А ночью, едва задуют лампу, обращалась к моему покровителю с молитвой — и говорила так: вот что со мной стряслось и поправить мою пропащую жизнь мне не под силу. Так что я все отдаю вам: ведь вы же куда сильней меня. Вот и выпутывайтесь! — И я засыпала…

И потом ей было покорно многое и многое в не слишком надежном мире. Она царила над книгами, цветами, друзьями. Она заключала с ними союзы. Ей всякий раз был ведом особый знак, вызывающий улыбку, единственный для каждого пароль: «Ах, это вы, мой старый звездочет…» Или когда пришел Бернис: «Садитесь, садитесь, блудный сын…» Каждого связала с ней тайна — и счастье быть разгаданным и раскрытым. Самая невинная дружба волновала и тревожила, как преступление.

«Да, Женевьева, — говорил Бернис, — вы и всегда царили над вещами».

Стоило ей чуть переставить мебель в гостиной, подвинуть кресло — и изумленный друг внезапно понимал: здесь — его настоящее место. День пролетал, оставляя после себя тихий сумбур — обрывки музыки, смятые цветы, и какой там еще разор учиняет человек на земле. И Женевьева

потихоньку водворяла мир в своем королевстве. А Бернис чуял: глубоко-глубоко в ней укрыта, надежно спрятана та далекая девочка, которая его любила…

Но однажды вещи взбунтовались.

III

— Дай мне поспать.

— Это немыслимо! Вставай, ребенок задыхается!

Вырванная из сна, она бросилась к кроватке. Ребенок спал, личико взмокло от жара, дышал часто, но ровно. Не проснувшейся толком Женевьеве представилось: натужно пыхтит на реке буксир. «Какой тяжкий труд!» И так уже три дня! Не в силах ни о чем думать, она так и стоит, склонясь над больным.

— Почему ты сказал, что он задыхается? Зачем ты меня пугаешь?

Сердце ее все еще бешено стучало.

— Мне показалось.

Она знала, что он лжет. Не умея страдать в одиночку, он хотел взвалить на нее часть своего страха. Когда он страдает — покой вокруг непереносим! А ей, после трех ночей без сна, так

нужен покой, хоть часок передышки! Она уже не понимала, где она и что с ней…

Она прощала ему эти бесконечные вымогательства — ведь слова… Слова ничего не значат. Да и сном своим дорожить смешно.

— Как это глупо, — только и сказала она. И добавила, щадя его: — Что ты как маленький…

И тут же спросила у сиделки, который час.

— Двадцать минут третьего.

— Не может быть!

Женевьева повторила:

— Двадцать минут третьего…

Будто у нее какое-то срочное дело. Да нет, делать нечего, только ждать — как в дороге. Она оправила кроватку, прибрала склянки с лекарствами, коснулась окна. Она наводила незаметный, таинственный порядок.

— Вы бы все-таки поспали, — сказала сиделка.

Снова тишина. Снова этот гнет в груди, как в дороге, когда за окном незримо мчатся чужие края.

— Малыш, которым любовались, которого лелеяли… — декламировал Эрлен. Он домогался ее сострадания. В роли несчастного отца…

— Найди себе занятие, дорогой, сделай что-нибудь! — мягко советовала Женевьева. — У тебя была встреча назначена — сходи.

Она даже подталкивала его в спину — но он лелеял свое горе:

— Как ты можешь! В такую минуту…

«В такую минуту», — говорила себе и Женевьева, но… но как никогда, странное дело, ей был нужен порядок. Ваза не на месте, сползающий на пол плащ Эрлена, пыль на столике — это… это шаг за шагом наступает враг. Что-то темное, поднимаясь со дна, взламывает, рушит мир. И она боролась с надвигающейся темнотой. Золото безделушек, все стулья на своих местах — светлая кромка реальности. Женевьеве казалось, что все здоровое, чистое, блестящее защищает от смертной тьмы.

Врач говорил: «Все еще может обойтись: мальчик сильный». Конечно. Как он цеплялся за жизнь, сжимая во сне маленькие кулачки! Это давало отраду. Это давало уверенность.

— Вам надо пройтись, обязательно, — говорила сиделка. — Потом и я выйду. Так нам не выдержать.

Странно было видеть, как этот малыш выматывает двух женщин. С закрытыми глазами, часто дыша, он вытаскивал их за собой на край жизни.

И Женевьева выходила на улицу — лишь бы бежать от Эрлена. Он поднимался на трибуну: «Мой

самоочевидный долг… Дело твоей чести…» Она ничего не понимала, ее клонило в сон, но какие-то слова мимоходом изумляли ее: «честь» — какая честь? Что вообще происходит?

А врача изумляла эта молодая женщина: ни слезинки, ни единого бесполезного слова, и всегда под рукой, как образцовая сестра милосердия. Он восхищался этой маленькой служительницей жизни. А для Женевьевы его приход был лучшим мгновением дня. Нет, врач не утешал ее. Но он был здесь — и это детское тельце оказывалось точно на своем месте. Все тягостное, болезненное и смутное было названо — и тем вытеснялось вон. Какая поддержка в ее борьбе с тьмой! И даже позавчерашняя операция… Эрлен хныкал в гостиной. Она осталась. Хирург вошел в комнату в белом халате — как, спокойно и могущественно, является день. Вместе с ассистентом он бросился в стремительный поединок. «Хлороформ!», «Зажать!», «Йод!» — отрывистые приказы ровным голосом, без тени эмоций. И вдруг, как Бернису в его самолете, этот способ действий открывал Женевьеве свое всесилие: так куется победа.

— Как ты можешь спокойно смотреть? — говорил Эрлен. — Да у этой матери нет сердца!

Наутро врач пришел снова — и вдруг она тихо

соскользнула с кресла: обморок. Очнувшись, она не услышала от него ни слова жалости, никаких призывов надеяться и мужаться. Он смотрел на нее сурово: «Вы переутомляетесь. Это легкомысленно. Я приказываю: сегодня вы должны пойти отдохнуть. В театр не стоит, людям этого не понять, но что-нибудь в этом роде».

И подумал про себя: «Вот высшая подлинность — никогда такой не встречал».

На бульваре было необычайно свежо. И вдруг детские воспоминания затопили ее безмятежностью. Деревья, лужайки — что может быть проще? А когда потом, много-много позже, родился ее малыш — это было непостижимо и в то же время еще более просто: самая очевидная очевидность. Она служила ему — и вокруг все было живым и светлым. Никакими словами нельзя было выразить то, что она тогда ощутила. Это была… Да, пожалуй, это была мудрость. И уверенность в себе, и узы, связующие с миром, — словно ты голос в огромном хоре. В тот вечер она попросила придвинуть кровать к окну. Деревья жили, росли, пили из земли весну — и она была им ровней. Рядом тихонько дышал ее ребенок, приводя весь мир в движение, вдыхая в него жизнь.

Но вот уже три дня все рушится. Самое простое

действие — открыть окно или закрыть его — чревато страшными последствиями. Не знаешь, на что решиться. Трогаешь простыни или лекарства, прикасаешься к ребенку — и не представляешь, к чему это приведет в изменившемся, темном и страшном мире.

Она проходила мимо антикварной лавки. Безделушки в гостиной всегда казались ей приманками для солнца. Женевьеве нравилось все, что притягивает свет, сверкающая кромка реальности. И сейчас ее остановила безмолвная, как у старого доброго вина, улыбка хрусталя. В усталом сознании сливались воедино свет, здоровье, вера в жизнь, и ей так захотелось внести к ускользающему малышу этот золотой гвоздик — отблеск солнца.

IV

Эрлен опять за свое:

— Да есть ли у тебя сердце? Она развлекается, она разгуливает по антикварам! Не прощу, никогда не прощу! Это… — Он не находил слов. — Это чудовищно, это непостижимо, это недостойно матери! — Он машинально вытащил сигарету и теперь размахивал красным портсигаром. — Ува-

жай хотя бы себя…

«Когда же он наконец закурит», — только и думала Женевьева.

— Да, разумеется, — медлил Эрлен, приберегая под занавес последнее разоблачение. — Разумеется… Мать пошла развлекаться, а у ребенка кровавая рвота!

Женевьева побледнела. Она рванулась из комнаты, но он первым оказался у дверей:

— Нет, стой!

Он тяжело дышал, как зверь. Сколько он тут вынес в одиночку — но теперь она заплатит!

— Ты сделаешь мне больно — и сразу пожалеешь об этом, — просто сказала ему Женевьева.

Кому? Этому надутому пузырю, никчемному перед лицом реальности? По нему как ударили бичом — и его понесло, и полилась декламация.

Разумеется, она всегда была кокетливой пустышкой, не ценила его усилий. А он-то, простофиля, отдавал ей всего себя! Разумеется, — но это ничего, ведь страдал всегда он один, он всю жизнь один… Измученная Женевьева хотела отвернуться — но Эрлен удержал ее, чтобы отчеканить прямо в лицо:

— Женским грешкам приходит расплата!

Она вырывалась — и он должен был пригвоз-

дить ее.

— Ребенок умирает — вот Божий перст!

* * *

Его ярость мгновенно стихает, как после убийства. Это слово вырвалось само, он сам оглушен. Женевьева, побелев, делает шаг к двери. Он догадывается, как выглядит в ее глазах, — а он-то хотел показать свое благородство! Нужно стереть этот образ, исправить, навязать другой — мягкий и добрый! И он произносит упавшим голосом:

— Прости… не уходи… я сошел с ума…

Вполоборота, рука на дверной ручке, она словно дикий зверек — ринется прочь, стоит ему шелохнуться. Он не шелохнется.

— Постой… я только хотел сказать… это так тяжело…

Она замерла — чего она боится? Его бесит этот пустой страх. Он признается, что был безумен, жесток, несправедлив, что она одна права, но сначала она сама должна подойти, проявить доверие, распахнуть перед ним свою душу. И тогда он унизится перед ней! И тогда она поймет!.. Но она уже открывает дверь.

Он резко хватает ее за руку. Она смотрит на него с сокрушительным презрением. Он упорству-

ет: нужно любой ценой удержать ее под своей властью, показать свою силу, нужно сказать: «Смотри, ты свободна».

И он потянул эту хрупкую руку к себе — сперва легонько, потом крепче. Она подняла другую, готовая дать пощечину, — он схватил и ее. Теперь он делал ей больно. Он чувствовал, что делает ей больно. Так ребенок, схватив кошку, старается силой ее приручить, насильно приласкать — и чуть не душит. А хотел быть нежным. «Ей больно, все пропало!» Эрлен тяжело дышал. На мгновение его охватило безумное желание: задушить этот ужасный свой образ, который он вызвал в ней, задушить вместе с ней самой.

Наконец он разжал пальцы — с отчужденным чувством бессилия и пустоты. Она не спеша отстранилась, как будто и вправду больше нечего бояться, как будто вдруг стала неуязвимой. Его не существовало. Она помедлила, неторопливо поправила волосы и, выпрямившись, вышла.

Вечером Бернис пришел ее проведать — она ничего не сказала. В таком не признаются. Она просила — и он то вспоминал их детские годы, то рассказывал о своей жизни в далеких краях. И это значило: она доверяет ему маленькую девочку, которую нужно утешить, — а девочек утешают

сказками.

Женевьева уткнулась головой в его плечо и, Бернису верилось, укрылась целиком в этом прибежище. Верилось и ей. И оба, конечно, не подозревали, какая малая часть человека отвечает чужой ласке.

V

— Вы у меня, Женевьева, в такой час… Вы так бледны!

Женевьева молчит. Несносное тиканье стенных часов. Свет от лампы пополам с предрассветным мерцанием из окна — от этой тошнотворной микстуры бросает в лихорадку. Женевьева перебарывает себя:

— Я увидела, у вас горит свет, и пришла… — Больше не выговорить ни слова.

— Да, Женевьева, я… я, видите, разбираю книги…

Красные, желтые, белые пятна обложек. «Как лепестки», — думает Женевьева. Бернис ждет. Она недвижна.

— Я замечтался тут, в кресле, раскрывал одну книжку за другой, мне казалось — все уже читаны…

Чтобы не выдать волнения, он играет этакого все повидавшего старца — и голос спокойнее некуда:

— Вы хотели поговорить со мной, Женевьева?

А в душе у него проносится: «Это любовь сотворила чудо».

У Женевьевы лишь одна мысль: он не знает… Она недоуменно смотрит на него и почти кричит:

— Жак, я пришла…

Она проводит рукой по лбу. Окно белеет, заливая комнату искусственным светом, словно это аквариум. «Лампа вянет», — думает Женевьева.

И вдруг отчаяние прорывается:

— Жак, Жак, увезите, унесите меня с собой!

Бернис бледнеет, обхватывает ее руками, убаюкивает.

Женевьева закрывает глаза:

— Вы меня увезете…

Она уткнулась ему в плечо — и время летит над ним, не причиняя ей боли. Почти радостно от всего отрешиться: отдаешься течению, и оно уносит тебя, кажется, это утекает твоя жизнь… «Не причиняя мне боли», — грезит вслух Женевьева.

Бернис ласкает ее лицо. И тут в ней поднимается: «Пять лет, ведь уже пять лет… как же это?» И

новая мысль: «Я столько ему отдала…»

— Жак! Жак… Мой сын умер…

* * *

— Видите, Жак, я сбежала из дома. Мне так нужно немного покоя. Я еще ничего не поняла, мне еще не больно. Может, и вправду у меня нет сердца? Вокруг плачут, пытаются меня утешать. Умиляются своей доброте. Понимаешь… Я еще не вспоминаю.

Тебе я все могу рассказать. Смерть приходит среди такого переполоха: уколы, перевязки, телеграммы врачам… После нескольких бессонных ночей кажется — это все во сне. Во время консилиума прислонишься головой к стене, а голова пустая.

И эти стычки с мужем, что за напасть! Сегодня, незадолго до… Он схватил меня за руку, мне показалось, сейчас сломает. Все из-за укола. Но я же знала — еще не пора. Потом просил прощения — к чему это? Я ответила: «Ладно, хорошо, я пойду к сыну». Он загородил дверь: «Нет, прости меня! Мне нужно твое прощение!» Просто каприз. «Послушай, пусти меня! Я прощаю». — «Да, на словах, но не от души». И снова, и снова, я чуть с ума не сошла.

И знаешь, когда все кончено, никакого отчаяния нет. Даже странно: тишина, покой. Мне казалось… казалось, малыш спит. Только и всего. А еще мне казалось, что это пристань — где-то очень далеко, бог знает где; я причалила к ней на рассвете и не понимаю, что дальше делать. Я думала: «Вот мы и приехали». Я смотрела на шприцы и лекарства — и повторяла про себя: «Все это ни к чему… мы приехали». И я потеряла сознание.

И вдруг ее пронзает: «Что я здесь делаю, это безумие!»

Там, она чувствует, первые лучи дня освещают пейзаж после крушения. Скомканные, остывшие простынки. Полотенца раскиданы по комнате, перевернутый стул. Скорее собраться с силами и противостоять разгрому. Скорее расставить по местам кресло, вазу, книги. Измотать себя в тщетных попытках восстановить связь вещей, обрамлявших жизнь.

VI

К ней являются с соболезнованиями. Осторожно подбирают слова. И, чтобы не бередить

горьких воспоминаний, ими же вызванных, — бестактно молчат. Она собранна, не согнута горем. Она твердо произносит слово, которого все избегают: смерть. Они не услышат в ней отзвука своих фраз! Она смотрит людям прямо в глаза, чтобы не смели ее разглядывать, — но едва она отводит взгляд…

А иные… До самой прихожей они идут совершенно спокойно, но на пороге гостиной, пошатнувшись, делают несколько порывистых шагов и падают в ее объятья. Ни слова. Она не скажет им ни слова. Они прижимают ее к груди, как будто хотят задушить в ней горе, — но у них в руках бьется рассерженный ребенок.

А муж все твердит о продаже дома. «Воспоминания так измучили нас!» Он лжет: страдание — почти друг. А он суетится, он ведь любит эффектные жесты. Сегодня вечером он едет в Брюссель. Ей придется ехать следом. «Но если бы вы знали, какой разор в доме…»

Все ее прошлое рухнуло. Эта гостиная, обустроенная с любовью и терпением. Эта мебель — ее выбрал не муж, не поставщик, а само время. Не гостиная обставлена этими вещами — ее жизнь. Стоит отодвинуть кресло от камина, а столик от стены, — и с прошлым порвано, все вокруг

предстает голым и беззащитным.

— А вы? Вы тоже уезжаете?

В чуть заметном движении столько отчаянья.

Тысяча союзов распалась. Неужели один малыш удерживал в своих руках все узы, скреплявшие мир? Неужели он и был движущей силой, утверждавшей в мире порядок? Его смерть стала для нее крахом. И она не может сдержаться:

— Мне так плохо…

Бернис отвечает ей нежностью:

— Я возьму вас с собой. Уедем. Помните, я же обещал вам, что вернусь. Я вам обещал…

Бернис сжимает ее в объятьях, Женевьева чуть запрокидывает голову, ее глаза блестят от слез, — в плену его рук снова та маленькая заплаканная девочка.

Кап-Джуби, 192… г.…

Бернис, старина, сегодня у нас почта. Самолет уже вылетел из Сиснероса. Скоро он будет здесь и захватит для тебя несколько горьких слов. Я много думал о твоих письмах и о нашей пленной принцессе. Вчера я бродил по берегу — и подумал, что мы сами как этот берег: такой пустынный и голый, вечно омываемый морем. Не знаю даже, существуем ли мы на самом деле. Ты ведь видел, как в иные вечера, в печальных лучах заката, то-

нет в море опрокинутый испанский форт. Но это отражение, переливающееся таинственным голубоватым блеском, — совсем из другого теста, чем настоящий форт на сверкающем от солнца пляже. Вот это отражение и есть твоя стихия. Не слишком подлинная, не слишком надежная. А Женевьеве оставь живую жизнь.

Конечно, сейчас она в полной растерянности. Но в жизни мало настоящих драм. Дружба, нежность, любовь так редки, что и теряешь их очень редко. А Эрлен — какой бы он ни был, один человек не слишком много значит. Я думаю, жизнь основана на другом.

Обычаи, условности, правила — все, что тебе ни к чему, от чего ты бежал... Но они-то и очерчивают жизнь Женевьевы. Что-то прочное, устойчивое должно быть вокруг нее — иначе как жить? Пусть даже оно нелепо или несправедливо — зато образует цельный язык. Умчавшись с тобой, Женевьева потеряет себя.

И потом, понимает ли она, что ей нужно? Та же привычка к богатству, которой она не осознает. Ну да, с деньгами можно многим овладеть, добиться наружного успеха, — а она живет внутренней жизнью. Но прочными, долговечными делает вещи богатство. Этот незримый подзем-

ный источник веками питал ее воспоминания, ее душу — стены ее крова. Ты же опустошишь ее жизнь — как пустеет дом без тысячи незаметных мелочей, из которых он и состоял.

Я могу понять: для тебя любить — значит заново рождаться. Тебе кажется, что ты увезешь с собой новую Женевьеву. Любовь для тебя — особый отблеск в ее глазах: ты ловил его порой и надеешься поддерживать так же легко, как огонь в лампе. И правда, порой простые слова полны могущества, и так нетрудно, кажется, питать огонек любви…

Вот только жизнь — это совсем другое.

VII

Женевьева легонько трогает занавеску, потом кресло — робко, будто нащупывая стены своей тюрьмы. Прежде такие касания были просто игрой. Прежде все это легко появлялось в ее жизни и так же легко исчезало, как декорации в театре, — ведь она приходила и уходила. Ее вкус был надежен и безупречен — но что ей было до этого персидского ковра или той ткани с вычурным рисунком из Жуй? Прежде они все лишь создавали общий образ дома — вполне милый образ, теперь

она встретилась с каждой вещью лицом к лицу.

«Ничего, — думала Женевьева. — Эта жизнь еще не стала моей, я здесь чужая». Она поглубже усаживалась в кресло, закрывала глаза. Словно в скором поезде. Каждый прожитый миг уносит назад дома, леса, деревни. А откроешь глаза — над твоей полкой все то же медное кольцо. Но ты — незаметно для себя — меняешься. «Через неделю я открою глаза — и это будет новая Женевьева: он меня увезет».

— Как вам наше прибежище, Женевьева?

Зачем разбудил ее так скоро? Она осматривается. Как ей передать свое ощущение: всему вокруг недостает надежности. Сама основа непрочна…

— Подойди, Жак, ты-то ведь настоящий…

Полумрак, холостяцкое жилье: пара кушеток, стены затянуты коврами по-мароккански — пять минут, чтобы развесить, пять минут — убрать.

— Жак, почему вы прячете стены, почему не даете их коснуться?

Она так любит ласкать ладонью камень, все, что есть в доме надежного, долговечного. Все, что может долго-долго тебя нести, словно корабль.

Он показывает свои богатства — «привез на память». Она понимает. Она знавала офицеров колониальных войск, возвращавшихся в Париж

призраками из другого мира. Снова, спустя годы, оказавшись на бульварах, они изумлялись, что до сих пор живы. У себя дома они воссоздавали, кто лучше, кто хуже, свою обитель в Сайгоне или Марракеше. И говорили о товарищах, о женщинах, о продвижении по службе, — но вот эта ткань, которая там казалась самой плотью стен, здесь была мертва.

Она трогает пальцем бронзовую мелочь.

— Вам не нравятся мои безделушки?

— Простите меня, Жак… Они немного…

Она не решается сказать «пошлые». Но что же делать, если эти поделки вызывают в ней молчаливое презрение? Ее уверенность в своем вкусе — от навыка ценить только настоящего Сезанна, и никаких копий, лишь подлинную старинную мебель, и никаких имитаций… Щедрая сердцем, она приготовилась жертвовать чем угодно; ей казалось, она смирилась бы с беленной известью клетушкой, — но здесь ее что-то коробило, задевая не утонченность богатого ребенка, а, странным образом, саму ее внутреннюю честность. Он угадал ее замешательство, но не понял.

— Женевьева, я не могу предложить вам столько уюта…

— Жак! Бог с вами, что вы себе вообразили? Мне

совершенно все равно! — Она теснее прижалась к нему. — Просто всем вашим коврам я предпочитаю обычный, хорошо натертый паркет. Я тут все устрою…

И она запнулась: ведь нагая простота, о которой она мечтала, — куда большая роскошь и куда большего требует от вещей: не то что эти маски на их лицах. Та зала, где она играла ребенком, сияющие ореховые паркеты, массивные столы, веками не ветшающие и не выходящие из моды…

Ее охватила странная печаль. Не жаль утраченного богатства и всего, что оно позволяет, — конечно, она не больше Жака привыкла к излишествам. Но она отчетливо поняла, что в новой жизни будет богата именно лишним. Это ей ни к чему. А вот уверенности, надежности уже не будет. «Вещи, — подумала она, — всегда были долговечней меня. Они встречали меня при рождении, шли со мной по жизни, и я была уверена, что они встанут надо мной в смертный час. А теперешние мне предстоит пережить».

Она опять вспоминает: «Там в родных местах…» И снова перед ней тот самый дом за раскидистыми липами. Не было ничего прочней на видимой кромке мироздания, чем уходящие в землю ка-

менные ступени перед его порогом.

О, там… И она представляет, как там зимой. Как зима прибирает в лесу каждую сухую ветку, обнажает каждую линию дома — видишь самый костяк мира.

Мимоходом Женевьева свистит своим собакам. Каждый шаг отзывается хрустом мертвой листвы, но Женевьева знает: после зимней генеральной уборки весна снова будет ткать свое кружево, взберется по ветвям, вспыхнет почками, заново возведет зеленые своды, глубокие и вечно волнуемые, как морская вода.

Там ее мальчик не исчез бесследно. Она спускается в подвал перевернуть дозревающую айву — он только что выскользнул оттуда. Но ведь он уже столько набегался, мой малыш, столько нашалил, — пора быть умницей, и теперь он спит, так ведь?

Там она узнаёт приметы смерти и не боится их. Каждый присоединяет свое молчание к молчаниям, обитающим в доме. Подними глаза от книги, затаи дыханье — и услышишь едва отзвучавший зов.

Разве кто-то исчез? Все без конца меняются, и только ушедшие неизменны и надежны: лицо, виденное в последний раз, уже никогда не

солжет.

«А теперь я пойду за этим человеком — и буду страдать и сомневаться в нем». Только с теми, чей путь окончен, ей удается распутать клубок нежности и обид.

Она открывает глаза: Бернис спит.

— Жак, защити меня, я ухожу нищей, такой нищей!

Она выдержит, выживет и в каком-нибудь домишке в Дакаре, и в толпе где-нибудь в Буэнос-Айресе, в мире пустых и неверных зрелищ, — только бы Бернис был действительно самым сильным, как в книжках ее детства.

Он склоняется к ней, он говорит с ней так нежно. Этот его образ, эта чудесная нежность — Женевьева заставляет себя верить, любить сам образ любви: этот слабый образ — единственная ее защита.

Сегодня ночью, среди любовных ласк, она уткнется ему в плечо — в это хрупкое, уязвимое прибежище, — пряча лицо, словно умирающий зверек.

VIII

— Куда мы едем? Зачем вы меня сюда завезли?

— Вам не нравится эта гостиница, Женевьева? Хотите — уедем.

— Да-да, уедем, — говорит она с ужасом.

Света фар не хватало. Они с усилием прокладывали путь, словно просверливая его в ночи. Бернис бросал взгляд за взглядом на побледневшую Женевьеву.

— Вы замерзли?

— Ничего, немножко. Я забыла мои меха.

Все-таки она была легкомысленной девчонкой — даже улыбнулась.

Зарядил дождь. «Вот зараза!» — выругался про себя Бернис — и тут же подумал: таковы подступы к земному раю.

Под Сансом пришлось менять свечу. А он забыл ручной фонарь: еще одна промашка. Он на ощупь, под проливным дождем орудовал ключом, ключ не держал. «Какого черта мы не поехали поездом?» — упрямо твердил он себе. Он сам выбрал машину: казалось, она дает свободу, — ничего себе свобода! И вдобавок с самого начала их бегства он делал глупость за глупостью, а сколько всего

он забыл взять!

— Ну что, получилось?

Женевьева вышла к нему из машины. Она вдруг почувствовала себя пленницей: строй деревьев — конвоиры, и среди них дурацкая будка дорожного мастера. Боже, какая нелепость у нее в голове: уж не собирается ли она остаться здесь навсегда?

Все было готово, он взял ее за руку:

— Да у вас жар!

Она улыбнулась:

— Так… устала немного… Хорошо бы заснуть.

— Не надо, не надо было выходить под дождь!

Мотор стучал и тянул с перебоями.

— Подъезжаем, Жак? — Ее клонило и клонило в сон, и обволакивала лихорадка. — Милый, подъезжаем?

— Да, любовь моя, да, вот уже Санс.

Она вздохнула. Эта попытка ей не по силам. И все из-за этого задыхающегося мотора. Каждое дерево такое тяжелое — и его нужно подтащить, подтянуть к себе. Потом следующее. Одно за другим. Снова и снова.

«Это невыносимо, — думал Бернис. — Надо еще раз остановиться». Он с ужасом представил себе новую вынужденную остановку. Он страшился

этой неподвижности вокруг: она высвобождала в нем таящиеся в зародыше мысли. Он страшился неизвестной силы, что рвалась наружу.

— Женевьева, маленькая моя, забудьте об этой ночи! Подумайте, что нам предстоит… подумайте об Испании! Ведь вам понравится Испания, правда?

И в ответ — слабый голосок словно издалека:

— Да, Жак, я счастлива… только боюсь разбойников. — И она грустно улыбнулась.

Бернису больно от этих слов, он ведь видит, что они значат: это путешествие в Испанию — просто волшебная сказка… И никакой веры. Армия без веры. Армия без веры не может победить. «Женевьева, просто ночь и дождь разрушают доверие между нами!» И он вдруг понимает, что эта ночь — как страшная нескончаемая болезнь. Это привкус болезни у него на губах. В такие ночи нет надежды на рассвет. Он сопротивляется, он вдалбливает самому себе: «С рассветом придет исцеление, лишь бы больше не было дождя… Лишь бы не было дождя…» В них самих засела какая-то болезнь, но этого он пока не понял. Он был уверен: заражена земля, а не они, больна ночь, а не они. Он жаждал рассвета, как те обреченные, что твердят: «Взойдет день — и станет легче ды-

шать», «Придет весна — и я помолодею»…

— Женевьева, подумайте о новом доме, который ждет нас там…

Он тут же понял: ни за что нельзя было так говорить. Ничто не могло возвести образ этого дома в душе Женевьевы.

— Да, наш дом…

Она пробовала слово на вкус. Но вкус его ускользал, и тепло его не грело.

В ней всколыхнулось множество мыслей, в которых она не решалась себе признаться, и они пугали ее, грозя вот-вот облечься в слова.

Он не знал гостиниц в Сансе и остановился под уличным фонарем, чтобы заглянуть в путеводитель. Фонарь едва не гас, в тусклом свете газа шатались тени, на блеклой стене проступала размытая, полустертая вывеска «Велоси…». Казалось, никогда прежде он не встречал такого тоскливого, такого пошлого слова. Символа житейской заурядности. Ему вдруг стало ясно, что и в его жизни многое было пошлым и заурядным — а он и не замечал.

— Огоньку дать, хозяин? — Трое тощих парней, посмеиваясь, разглядывали его. — Американцы, видать, — заблудились…

Потом они уставились на Женевьеву.

— Идите к черту, — проворчал Бернис.

— Слушай, а цыпочка у тебя хоть куда! Но наша, из двадцать девятого!..

Женевьева растерянно обернулась к нему:

— Что они такое говорят? Уедем, пожалуйста, уедем!

— Но, Женевьева…

Он сдержался и замолчал. Его дело — искать гостиницу. Ну, пьяные мальчишки — что за важность? И тотчас он спохватился, что ведь у нее жар, она мучается, и он должен был ее оградить… Он клял себя с болезненным упорством: как он допустил, что она столкнулась с этой грязью! Он, он…

Гостиница «Глобус» была заперта. Ночью эти маленькие отели не отличить от мелочных лавок. Он долго стучал в дверь, наконец раздались неспешные шаги. Ночной сторож приоткрыл дверь:

— Мест нет!

— Умоляю вас, моя жена больна! — упрашивал Бернис.

Дверь захлопнулась. Шаги затихли в коридоре.

Неужели все против них?

— Что он ответил? — спрашивала Женевьева. — Почему, почему он даже не ответил?

У Берниса едва не вырвалось, что они не на Вандомской площади: здесь все ложатся спать, едва постояльцев набивается под завязку. А как же иначе? Он молча уселся в машину. Его лицо блестело от пота, с крыши капало ему за воротник. Не в силах отвести взгляд от мокрой мостовой, он не трогался с места, — ему казалось, чтобы двинуться, он должен преодолеть вращение земли. И опять эта нелепая мысль: «Вот взойдет день…»

Так необходимо было сейчас доброе слово! И Женевьева попыталась:

— Ничего, милый. Должны же мы заработать свое счастье.

Бернис взглянул на нее.

— Спасибо, Женевьева. Вы очень великодушны.

Он был тронут. Он хотел было обнять ее — но этот дождь, этот неуют, эта усталость… Он просто взял ее за руку — и ощутил, что жар нарастает. Каждый миг подтачивал ее плоть. Он успокаивал себя, воображая: «Я закажу ей грогу. Все обойдется. Обжигающего грогу. Закутаю ее одеялами. Мы будем смотреть друг на друга и смеяться над тяготами дороги». Он проникался безотчетным счастьем. Но как далеко от этих образов то, что с ними сейчас! Еще две гостиницы вообще не отзы-

вались. Мечты, мечты. Их надо было каждый раз восстанавливать заново. И с каждым разом они чуть-чуть теряли в очевидности, в возможности стать явью.

Женевьева молчала. Он чувствовал, что больше не услышит ни единой жалобы, ни единого слова. Он может ехать часы, дни напролет — ни единого слова. Никогда. Он может выкручивать ей руки — ни слова… «Что за вздор, что за бред!»

— Женевьева, девочка моя, вам плохо?

— Нет-нет, все прошло, мне уже лучше.

Она уже во многом разуверилась, от многого отреклась. Ради чего? Ради него. Она отказалась от всего, что он не мог ей дать. И теперь это «мне лучше…» — значит, в ней сломалась какая-то пружина. Она покорилась. Теперь ей будет все лучше и лучше: она больше не ждет счастья. И когда ей станет совсем хорошо… «Ох, какой же я болван, я опять брежу!»

«Гостиница Надежды и Англии». Коммивояжерам скидки.

— Обопритесь на мою руку, Женевьева… Да-да, комнату. Жена нездорова, скорее грогу ей. Грогу, и погорячее!

Коммивояжерам скидки. Откуда в этих словах столько тоски?

— Сядьте в кресло, вам будет легче.

Почему все не несут грог? Коммивояжерам скидки.

— Пожалуйста, моя бедная госпожа! Ах, бедняжка! — заискивала старая горничная. — Такая бледненькая, вся дрожит! А я вам грелку налью. Пойдете в четырнадцатый, прекрасная комната, большая. Не угодно ли господину заполнить бланки?

Взяв захватанную ручку, он сообразил, что у них разные фамилии. Женевьева — и снисходительность прислуги! «И все из-за меня. Какая пошлость!» И опять она пришла на помощь:

— Любовники! Правда, мило?

Им представился Париж, огласка, возбужденные лица знакомых. И это они только начали сталкиваться с трудностями! Но заговорить об этом они не смели, боясь, что думают об одном. И Бернис понял, что на самом деле ничего еще не случилось, совсем ничего: ну, мотор не тянул, ну, дождик их вымочил, ну, лишних десять минут в поисках гостиницы. Главные трудности, которые они должны преодолеть, — в них самих. Это с собой боролась Женевьева — но то, что она силилась вырвать с корнем, вросло в нее слишком крепко и теперь разрывало ее изнутри.

Он взял ее руки в свои, уже понимая, что никакие слова не помогут.

Она спала. Он и не думал о любви. Зато приходили причудливые образы, ассоциации. Вот горит лампа. Он должен скорее дать пищу огню. Но надо и защитить пламя от поднятого им ветра.

Но страшнее всего — безразличие. Лучше бы в ней проснулась жадность к земным благам и радостям. Лучше бы она волновалась из-за вещей, страдала, плакала из-за них, как голодный ребенок. Тогда, при всей своей нищете, он многое мог бы ей дать. Но он стоял на коленях, неимущий, перед ребенком, который ничего не хочет.

IX

— Нет. Не надо… Не трогай меня… Ах, уже пора?

Бернис поднимается. Полусонный, он тяжело движется — словно грузчик на канате тянет на борт что-то огромное, словно апостол вытаскивает человека на свет Божий из недр его души. Каждый шаг полон смысла, как в танце.

— Любовь моя…

Ну что он все ходит туда-сюда, так нелепо…

В окне рассветная муть. А ночью оно было темно-синим. При зажженной лампе оно мерцало глубоким огнем, будто сапфир. Этой ночью оно распахивалось прямо к звездам. Навевало грезы. Будило воображение. Словно стоишь на носу корабля.

Она подтягивает колени, тело кажется вязким, как непропеченный хлеб. Сердце колотится и щемит. Точно в поезде. Колеса выстукивают ритм бегства. Стучат, как сердце. Прислонишься лбом к стеклу — и мимо летят все какие-то черные тени, обретая приют на горизонте, где ждет покой, сладостный, как смерть.

Ей хотелось бы крикнуть: «Обними меня!» Удержи, только в руках любви мы едины с нашим прошлым, настоящим и будущим, лишь они сберегут нашу целостность…

— Не надо. Не трогай меня.

Она встает.

X

«Все решилось, — думал Бернис, — все решилось помимо нас. Даже слов не понадобилось». Как будто они заранее договорились вернуться. А она еще и заболела — как же тут двигаться

дальше? Ну, а там посмотрим. Их не было совсем недолго, Эрлен в отъезде — все образуется. Бернису странно: неужели все случившееся было так легко? Нет, неправда, и он прекрасно понимал, что неправда. Это они теперь двигались легко, без всяких усилий.

А вот в самом себе он не был уверен. Он понимал, что снова поддался нахлынувшим на него образам. Но откуда они, из каких глубин рождаются? Вот и сегодня, проснувшись в тусклом свете утра, глядя в низкий потолок, он подумал вдруг: «Ее дом был кораблем. Он переправил с одного берега на другой много поколений. Смысла не найдешь ни здесь ни там, но какую ощущаешь надежность, когда у тебя есть билет, каюта и желтые кожаные чемоданы. Когда всходишь на борт…»

Он еще не знал, страдает ли он, — он катился под уклон, будущее неслось навстречу, и он даже не пытался с ним совладать. Предавая себя в чужие руки — не страдаешь. Даже предавая себя в руки тоски. Ему еще будет больно — после, наедине с приходящими к нему образами. Он понял: им потому так легко доигрывать каждому свою роль, что где-то в них эти роли уже записаны. Он твердил себе это всю дорогу, мотор по-прежне-

му барахлил. Ничего, доедут. Под уклон (уклон — снова этот образ)...

Перед самым Фонтенбло ей захотелось пить. Все вокруг было до мелочей узнаваемо, располагалось так спокойно, вселяло уверенность. Привычные, необходимые рамки жизни.

В придорожной забегаловке им принесли молока. Куда торопиться? Она пила маленькими глотками. Торопиться некуда. Все шло само, со всей необходимостью, — снова этот образ необходимости.

Она с ним нежна. Она ему за многое признательна. Теперь им легче друг с другом, чем вчера. Она с улыбкой показывает на птичку, что-то клюющую у порога. У нее какое-то новое лицо — где он видел такое лицо?

На пристани. На пристани, у отправляющихся в путь: несколько мгновений — и жизнь оторвет их от вас, унесет из вашей жизни. Это лицо уже может улыбаться, уже одушевлено неизвестными вам страстями.

Он поднял глаза. Ее склоненный профиль; она задумалась. Он терял ее, стоило ей чуть отвернуться.

Да, конечно, она всегда любила его, но ведь нельзя слишком много требовать от слабой ма-

ленькой девочки. Он, разумеется, не мог сказать ей: «Я возвращаю вам свободу» — или какую-нибудь еще нелепость в этом роде, но он заговорил о своем будущем, о новых планах. Он придумывал себе новую жизнь, в которой она уже не была пленницей. Она благодарно положила свою маленькую руку ему на плечо:

— Вы мой самый, самый любимый…

И это была правда, но он знал, что эти же слова означают: мы не созданы друг для друга.

Нежная и стойкая. И готовая, сама не понимая, стать черствой, жестокой, несправедливой. И защищать что-то смутное в себе — любой ценой. Уверенная и нежная.

Она не была создана и для Эрлена. Бернис это знал. Жизнь, к которой она собиралась вернуться, не дала ей ни капли счастья. Для чего же она была создана? Казалось, ей и не больно…

Двинулись в путь. Бернис чуть отворачивался в сторону. Он тоже умел одолеть свою боль — но где-то внутри прятался раненый зверек, чьи слезы не выразить словами.

В Париже никакой тревоги. Да ничего и не произошло.

XI

Ничего! Город окружил его своей бесполезной толкотней. Бернис видел: ему не выбраться из этой суматохи. Он медленно двигался среди чужого мимохожего народа. Он думал: «Как будто меня здесь нет». Скоро ему уезжать — и отлично. Он знал: работа соединит его с миром такими весомыми узами, что и сам он снова станет настоящим. И еще он знал: силою повседневности малейший шаг становится событием и обретает значительность, а душевные терзания, наоборот, понемногу теряют вес и смысл. Даже шутки товарищей по линии зазвучат для него с прежним смаком. Странно — но ведь это так. Впрочем, он не слишком думал о себе.

Оказавшись у Собора Богоматери, Бернис вдруг вошел и, поразившись огромной толпе внутри, укрылся за колонной. «Почему это я здесь оказался?» — спросил он себя. В конечном счете потому, что здесь каждая минута куда-то вела. А там, за стеной, они больше никуда не вели. Да, так: «Там минуты больше никуда не ведут». Он должен был разобраться в себе — и предлагал себя вере, просто как образу мыслей. Он говорил

себе: «Если я найду формулу, которая объяснит мне меня самого, соберет меня воедино, — это и будет для меня истиной». И заканчивал устало: «Но веровать я в нее не буду».

Ему вдруг стало ясно, что он опять на распутье и вся его жизнь прошла вот в таких попытках к бегству. И начало проповеди привело его в смятение, словно то был сигнал к отплытию.

— Царство Божие, — произнес проповедник. — Царство Божие…

Ухватившись за широкие края кафедры, он склонился над толпой. Толпа сгрудилась, готовая поглотить все. Надо дать ей пищу. Образы приходили к нему один за другим, небывалой очевидности. Он увидел рыбу, пойманную в сети, и, без всякой связи, продолжил:

— Когда рыбак из Галилеи…

За каждым из разрозненных слов тянулись и повисали, длясь, вереницы ассоциаций. Ему казалось, он постепенно возлагает на эту толпу страшный гнет, от раза к разу все удлиняя усилие, как бегун удлиняет шаг.

— Если бы вы знали… Если бы вы знали, сколько любви…

Он задохнулся и умолк, переполнен невыразимыми чувствами. В самых ничтожных, самых

избитых словах проступил для него столь глубокий смысл, что он уже не мог выбирать между ними. В отблесках свечей его лицо казалось восковым; упираясь руками в кафедру, запрокинув голову, он весь вытянулся ввысь. И в ответ на его молчание толпа взволновалась, как море.

И опять нахлынули слова — он начал снова. Он говорил с поразительной уверенностью. Он ворочал слова, точно грузчик, ликующий от сознания своей силы. Он еще только заканчивал фразу — и уже новая мысль, рождаясь где-то вне его, спешила на смену, словно ему перекидывали груз, — а он уже смутно предугадывал, в какой образ ее воплотит, в какой формуле передаст ее толпе.

Бернис вслушивался в слова проповеди.

«Я есмь источник всякой жизни. Я морской прилив, что входит в вас и животворит вас и снова отступает. Я зло, что входит в вас и раздирает вас и снова отступает. Я любовь, что входит в вас и пребывает вовеки.

А вы выступаете против меня с Маркионом и Четвертым Евангелием. Вы приступаете ко мне с разговорами об интерполяциях. Вы заступаете мне путь своей жалкой человеческой логикой, я же тот, кто выше всякой логики, и пришел разрешить вас от нее.

Внемлите же, пленные в узилище! Я разрешаю вас от вашей науки, от ваших формул, от ваших законов, от рабства в цепях рассудка, от детерминизма суровейшего, чем сама судьба. Я — брешь в доспехе, я — оконце в темнице, я — ошибка в расчете, я — жизнь.

О кабинетное племя маловеров! Вы исчислили путь звезды — но разве изведали вы ее? И вот она стала значком в ваших книгах, и нет вам более от нее света: вы знаете о звезде меньше малого ребенка. Даже и до того дошли вы, что выводите законы любви человеческой, но любовь человеческая протекла у вас между пальцев: вы знаете о любви меньше юной девственницы. Но говорю вам: придите ко мне! Сладость света, огнь любви человеческой — я возвращаю вам. Не в рабство веду вас, но вывожу из рабства. Ибо вверг вас в рабство тот, кто первым исчислил падение яблока; со мною же пребудете свободны. Нет исхода, кроме как под мой кров, и куда пойдете вы, если не в это прибежище?

Куда пойдете вы, говорю, если не в это прибежище? В этот ковчег, что рассекает, наделяя истинным смыслом, волны времени, — подобно тому как корабль рассекает острым днищем волны морские? Волны же морские не шумят по-

напрасну, но выносят на себе острова, — таковы волны морские.

Придите ко мне, познавшие горечь напрасных трудов.

Придите ко мне, познавшие горечь бесплодных мыслей и мертвых законов».

Он раскинул руки:

«Ибо я тот, кто приемлет. Я взял на себя грехи мира. Я взял на себя его зло. Я взял на себя вашу скорбь — скорбь дикого зверя, оплакивающего своих детенышей, и ваши недуги неисцелимые, и вы утешались в сердце своем. Ныне же новое зло твое, о народ мой, беда сокрушительная и неудобоносимая, — но и его возьму на себя. Цепи рассудка вашего, тягчайшие из всех, возьму на себя.

Ибо я тот, кто несет бремя мира».

Бернису слышится лишь глубокая безысходность: этот человек не молит о знамении и не возвещает о знамении — он отвечает сам себе.

«Вы будете беспечны, как дети.

Вы трудитесь вотще каждый день ваш, и изнемогаете, — придите ко мне, вашим трудам я верну смысл, и воздвигнете их в сердце своем, и сделаю ваше сердце человеческим».

Речь его овладевает толпой. Бернис уже не

слышит слов — только то, что в них скрыто, один и тот же настойчивый мотив.

«И сделаю ваше сердце человеческим!»

Проповедник вне себя.

«Ваша любовь черства, безжалостна и безнадежна, любовники дня сего, — придите ко мне со своей плотской страстью, со своей тоской увядания, и сделаю вашу любовь человеческой».

Бернис слышит, как в его голосе нарастает отчаяние.

«Ибо я тот, кто возлюбил человека».

Бернис близок к бегству.

«Ибо я тот, кто может вернуть человека самому себе».

Проповедник умолк. В изнеможении он повернулся к алтарю. И поклонился богу, которого только что сам сотворил. Он был опустошен, как будто отдал все, что имел, как будто это изнурение плоти и было даром. Сам не понимая, он представлял себя Христом. Стоя лицом к алтарю, он снова заговорил с ужасающей медлительностью:

«Отец мой, я поверил в них, вот почему я отдал свою жизнь».

И склонился над толпой в последний раз.

«Ибо я возлюбил их…»

Его охватила дрожь. Тишина показалась Бер-

нису оглушительной.

«Во имя Отца…»

«Какое отчаяние! — думал Бернис. — Где же вера? Я не слышал никакой веры — только крик отчаяния».

Он вышел. Скоро зажгутся фонари. Он шел вдоль набережных Сены. Деревья стояли недвижные, разор ветвей схвачен смолой сумерек. Бернис шел. День завершался, суля передышку, и Берниса охватывал покой, как после решения трудной задачи.

Вот только эти сумерки… Точно театральный задник: сколько раз в этих декорациях разыгрывался распад Империи, житейское поражение, конец любовного приключения, — а завтра будут сыграны другие комедии… Но как тревожит этот фон, когда вечер так тих, когда жизнь едва тянется, и неясно, что за драма на сцене. О, хоть бы что-нибудь спасло Берниса от этой такой человеческой тревоги!

Все разом вспыхнули дуговые фонари.

XII

Такси. Автобусы. Как ни назови эту суету — в

ней хорошо затеряться, ведь правда, Бернис? А вот какой-то увалень встал как вкопанный — «Давай шевелись!».

Женщины, которых больше никогда не встретишь, — другой возможности не будет. Выше — грубовато расцвеченный огнями Монмартр. Девочки уже цепляются.

— К черту! Отвали!

А вот другие женщины. В «испано-сюизах», как в роскошных футлярах, даже безобразная плоть драгоценна. На животе жемчуга на пятьсот тысяч франков, а какие перстни! Тела под соусом роскоши. Тут же еще одна озабоченная девка.

— Отцепись ты! Не видал я бордельных зазывал, убирайся! Дай пройти, кому говорят!

По соседству ужинала женщина в вечернем платье, с глубоким треугольным вырезом на спине. Он видел только затылок, плечи и эту глухую спину, по которой временами пробегала дрожь: неуловимое, вечно новое вещество плоти. Женщина курила, опершись на локоть и склонив голову, — перед ним был лишь безликий объем, человеческая пустыня.

«Стена», — думал он.

Танцовщицы начали свое действо. Они двигались так гибко и упруго, и душа танца наделяла

душой каждую из них. Бернису нравился этот ритм, державший их тела в равновесии. Равновесии столь хрупком — но танцовщицы с поразительной уверенностью находили его снова и снова. Раз за разом они создавали образ, вели, приводили к развязке — и на пороге завершения, на пороге смерти переплавляли в новый, движущийся дальше: это дразнило, тревожило. Это было само желание.

А перед ним все та же таинственная, ровнее озерной глади спина. Неуловимое движение или мелькнувшая мысль — и по этой глади волной пробегает тень, дрожь. «Вот это мне и нужно — то смутное, что живет там, в глубине», — думает Бернис.

Танцовщицы раскланивались: загадка начертана на песке и тут же стерта. Бернис поманил самую легконогую.

— А ты хорошо танцуешь.

И он вдруг заметил, что она клонится под бременем плоти, как налитый соком плод: эта весомость показалась ему откровением. Богатством. Она присела рядом. У нее был настойчивый взгляд, подбритый затылок смотрелся чуть по-бычьи — только и было неподвижного в этом гибком теле. Оно, это тело, так естественно

продолжало собой не слишком тонкое лицо, так дышало покоем…

Потом Бернис заметил слипшиеся от пота волосы. Морщинку, прорезавшую слой грима. Несвежие кружева наряда. Вырванная из стихии танца, она выглядела усталой и неловкой.

— О чем ты задумалась?

Она принужденно покачала головой.

Итак, вся ночная суета обретала смысл. Таксисты, швейцары, официанты правили свое ремесло — и вот перед ним бокал шампанского и утомленная девица. Жизнь, вид из-за кулис: ничего, кроме ремесла. Ни порока, ни добродетели, ни смутных переживаний, — только работа, привычная, никакая, та же, что у чернорабочего. И даже этот танец, движение за движением творящий новый язык, говорил только с посторонними. Только чужак открывал в нем стройность и глубину основы, о которой его создатели давно забыли. Ведь музыкант, играющий в тысячный раз ту же мелодию, уже не чувствует ее. Так и эти танцовщицы, со своими умелыми па, искусной мимикой, в ярком свете софитов, — бог весть, что у них на уме. Одна озабочена болью в ноге, другая предстоящим — ничего не значащим — свиданием, эту гнетут долги: «Еще сто франков…» — а та

вечно об одном: «Мне плохо…»

Порыв иссяк, желания больше не было. Он думал: «Тебе нечего мне дать, у тебя нет того, что мне нужно». Но его одиночество было таким нестерпимым, что она все-таки понадобилась ему.

XIII

Она боится этого молчаливого мужчину. Ночью она просыпается, он спит рядом, — а ей кажется, что ее бросили на пустынном берегу.

— Обними меня!

Все равно ее охватывает нежность… Но слишком много в нем неведомого: его сны за высоким лбом, его жизнь, притаившаяся в сильном теле… Лежа у него на груди, она чувствует, как эта грудь подымается и опадает, словно морская волна, — и ей страшно, как если плыть над пучиной. Прижав ухо, она слышит резкий стук сердца — не то работает мотор, не то кирка в щепу разносит старый дом, — теперь на нее нахлынуло ощущение стремительного, неудержимого бегства. Она что-то говорит, хочет его разбудить, — молчание. Она считает секунды до его ответа — как от молнии до грома: раз… два… три… Гроза еще далеко,

за полями. Он закрывает глаза — она пытается поднять его тяжелую, точно у мертвеца, голову — словно булыжник, обеими руками.

— Милый, что за тоска…

Таинственный спутник.

Безгласные, вытянувшись бок о бок, он и она. И жизнь, как река, стремит сквозь них свое головокружительное бегство. Тело — пирога, брошенная на волю потока…

— Который час?

Вот и приехали. Странное путешествие.

— Милый!

Она прижимается к нему — голова запрокинута, волосы спутаны, словно только что вынырнула. Такой, с прилипшими ко лбу прядями и помятым лицом, выходит женщина из сна или любовной игры — будто из пучины вод.

— Который час?

Ах, к чему это? Часы пролетают, как захолустные полустанки, — полночь, час, два, — их навсегда отбрасывает назад. И что-то неудержимое ускользает сквозь пальцы. Стареть — это совсем не трудно.

— Представляю — ты уже седой, а я — твоя смиренная подруга…

Стареть совсем не трудно.

Но как трудна вот эта минута — червоточина в ней снова чуточку отдаляет приход последнего покоя.

— Расскажи мне об этих твоих краях.

— Знаешь, там…

Бернис понимает, что ничего не выйдет. Города, моря, родные страны — всюду одно и то же. Лишь мимолетный образ порой — угадываешь, не постигая; но его и не передать.

Он проводит ладонью по животу этой женщины: здесь плоть так беззащитна. Женщина, самое обнаженное из всех живых существ, и светится самым нежным светом. Он думает об этой жизни, о таинственной силе, которая животворит это тело, согревает его, не хуже солнца, внутренним теплом. Бернис не сказал бы, что она нежна или красива: она — теплая. Теплая, как зверек. Живая. И в ее теле неустанно бьется сердце — источник жизни, такой непохожей на его жизнь.

Он вспоминает, как несколько мгновений в нем била крыльями страсть — безумная птица, била, а потом умирала. А теперь…

Теперь в окне трепещет светающее небо. О женщина после отхлынувшей любви, оставшаяся без своего венца, без своего оружия — без желания мужчины. Отброшенная назад, к холодным

звездам. Так быстро все меняется в странствии сердца. Остались позади желание и нежность, пронеслась огненная лавина. И вот — чистый, холодный, свободный от власти тела, — ты стоишь на носу корабля: курс в открытое море.

XIV

Аккуратный, неуютный зал — точно пристань. Бернис в Париже, пустые часы в ожидании скорого. Прижавшись лбом к стеклу, он смотрит на текущую мимо толпу. Он в стороне от этого потока. У каждого свои планы, все спешат. Там что-то завязывается — все развяжется без него. Проходит женщина: десять шагов, не больше, — и вышла из твоей жизни. Эта толпа была живой плотью, она питала тебя слезами и смехом, а теперь — будто движутся вымершие племена.

Часть третья
I

Европа, а за ней и Африка готовились ко сну, прибирая там и тут последние бури дня. Та, что над Гранадой, затихала; та, что над Малагой, — пролилась дождем. Кое-где по углам несколько вихрей еще цеплялись в кронах, как в волосах.

Тулуза, Барселона, Аликанте, отправив почту, наводили у себя порядок, загоняли самолеты по ангарам. Малага ждала его засветло и могла не готовить огней. Впрочем, здесь ему не приземляться: снизиться — и дальше к Танжеру. К ночи он перелетит пролив — на двадцати метрах, не видя африканского берега, по компасу. Здесь западный ветер мощно врезался в волну, разнося ее в белую пену. Корабли, стоявшие на якоре, носом к ветру, дрожали всеми заклепками, как в открытом море. Восточнее, за гибралтарской скалой, ветра не было, зато дождь лил как из ведра. К западу дождь утихал, тучи уходили выше. На том берегу дымился под струями воды промокший до нитки Танжер. У горизонта громоздились кучевые облака, но в сторону Лараша виднелось

чистое небо.

Касабланка переводила дыхание после ливня. Порт пестрил потрепанными, как после боя, парусниками. А по морю, изрытому бурей, уже расходились веером ровные, длинные борозды. Зелень полей казалась ярче, насыщенней, как морская глубь под лучами заката. Город поблескивал влажными площадями. Электрики аэродрома в ожидании бездельничали у генераторов. Их агадирские собратья спокойно обедали по домам: у них было еще четыре часа. В Порт-Этьене, Сен-Луи, Дакаре было время дневного сна.

В восемь вечера Малага сообщила по радио:

Почтовый прошел. Почта сброшена.

Касабланка начала проверять огни. Лампы, окаймляющие посадочную площадку, вырезали и обвели красным черный прямоугольный кусок ночи. Кое-где ламп не хватало — словно выпали зубы. Вторым рубильником включили прожектора. Среди поля возникло пятно пролитого молока. В этом мюзик-холле недоставало только актера.

Отражатель передвинули. Сноп лучей зацепил мокрое дерево, бликующее, как хрусталь. Потом сцену вдруг захватил беленый барак, тени побежали по кругу и пропали. Наконец световой ореол опустился и занял свое место, расстелив

для самолета белый коврик.

— Хорошо, — сказал начальник аэродрома, — выключайте.

Он поднялся в контору, просмотрел последние сводки, выжидательно поглядывая на телефон. Скоро вызовет Рабат. Все было готово. Механики пристроились ждать, кто на баках, кто на ящиках.

Агадир ничего не понимал: по его расчетам, почтовый уже вылетел из Касабланки. Его ждали с минуты на минуту. За бортовой огонь самолета то и дело принимали то Звезду Волхвов, то как раз всходившую на севере Полярную. Чтобы включить прожекторы, нужно было дождаться еще одной — той, что будет блуждать, не находя себе места среди созвездий.

Начальник аэродрома колебался. Отправлять ли самолет дальше? На юге опускался туман — может быть, до самого ручья Нун, а то и до Джуби, и Джуби не отвечал на запросы. Ночь словно из ваты — как отпустишь в нее почтовый Франция — Америка? А этот пост в Сахаре не хотел делиться своей тайной.

А мы в Джуби, отрезанные от мира, посылали сигналы бедствия, словно тонущий корабль:

Сообщите сведения почтовом, сообщите…

Мы уже не отвечали Сиснеросу, донимавшему нас тем же вопросом. Так, за тысячу километров друг от друга, мы бросали в ночь безответные жалобы.

В двадцать пятьдесят все разрешилось. Касабланке и Агадиру удалось связаться по телефону. Да и радисты наши наконец поймали волну. Касабланка говорила, и каждое слово распространялось до самого Дакара:

Почтовый вылетит Агадир 22.00.

Агадир Джуби: Почтовый прибывает Агадир 00.30. Сможем отправить к вам?

Джуби Агадиру: Туман. Ждите рассвета.

Джуби Сиснеросу, Порт-Этьену, Дакару: Почтовый ночует Агадире.

В Касабланке пилот, щурясь на лампу, подписывал маршрутный лист. Только что, в полете, глазу почти не доставалось добычи. Счастьем было зацепиться взглядом за белую полоску волн, разбивающихся о границу земли и воды, — хоть какой-то ориентир. А сейчас, в конторе, все шло в пищу взгляду: ящики, листы бумаги, грубая мебель… Вот прочный, надежный мир, щедро предлагающий свое вещество. И совсем другой, опустошенный ночью, — там, за дверным проемом.

Бернис раскраснелся: ветер десять часов хлестал его по щекам. С волос капало. Он выбрался, упрямо жмурясь, из ночного мрака, как водопроводчик из подземного царства сточных вод, — в тяжелых сапогах, в кожаной куртке, с прилипшими ко лбу прядями. Он отложил ручку:

— Вы что же, хотите отправить меня дальше?

Начальник аэродрома хмуро листал бумаги.

— Будете делать что прикажут.

Он уже решил отменить вылет — а пилот решил на нем настаивать. Каждый хотел доказать, что судить только ему.

— Да ведь это все равно что засадить меня в гардероб с рукояткой газа, да еще глаза завязать, — и вперед, доставь мебель в Агадир!

Слишком он был полон внутренней жизни для мыслей, хоть мимолетных, о несчастном случае, — это для праздных душ; но уж больно его восхитил этот образ летающего шкафа. Мало ли на свете невозможного — а он все равно справится!

Начальник аэродрома приоткрыл дверь, чтобы выбросить в ночь окурок.

— Вон — все видно.

— Что видно?

— Звезды.

Пилот разозлился:

— Тоже мне звезды, трех штук не будет! И не на Марс же мне лететь — в Агадир.

— Через час будет луна.

— Луна, луна…

Эта луна его еще больше задела: когда это он дожидался луны для ночного полета? Что он, курсант-недоучка?

— Ладно. Решено, Бог с вами, — оставайтесь.

Пилот успокоился, вытащил припасенные с вечера бутерброды, стал мирно жевать. Он вылетит через двадцать минут. Начальник аэродрома улыбался, похлопывая по телефонному аппарату: скоро командовать взлет.

Все было готово — и в жизни наступил какой-то провал. Как будто время остановилось. Летчик застыл, чуть подавшись вперед, на стуле, черные от смазки руки зажаты между колен. Глаза устремлены в одну точку — на полдороге к стене. Начальник аэродрома наискось от него, с приоткрытым ртом, словно в ожидании тайного знака. Машинистка зевнула, подперла голову кулаком, сон постепенно вырастал в ней. Только сыпался и сыпался песок в часах. А потом вдруг раздался какой-то дальний зов — и будто снова запустили машину. Начальник аэродрома поднял палец:

пора. Пилот усмехнулся, выпрямился, вздохнул полной грудью.

— Ну, счастливо!

Так порой в кино обрывается пленка. И все замирает, с каждым мигом неподвижность все тяжелее, словно обморок, — а затем жизнь начинается снова.

Сперва Бернису показалось, что он не взлетает, а лезет в холодную сырую пещеру, где грохот мотора отдается как рокот прибоя. Потом — что он просто потерял опору. Днем из синего неба, линии залива, округлых спин холмов строится прочный мир, на который можно положиться, — а сейчас его выбросило из этого мира в мир первых дней творения, где стихии еще буйствуют все вперемешку. Внизу равнина уносила последние города — Мазаган, Сафи, Могадор, переливавшиеся, как витражи. Потом мелькнули последние фермы — последние бортовые огни земли. Внезапно он ослеп.

— Вот как! Ну и влип же я.

Пристально следя за авиагоризонтом и высотомером, он стал снижаться, чтобы выйти под облака. Слабый красный свет бортовой лампочки сбивал с толку, он ее выключил.

— Что такое, я же выбрался — а все равно ни-

чего не видно!

Первые вершины Атласских гор он уже должен был миновать, их уносило течением, словно айсберги, незримые и безмолвные, он чувствовал их за спиной.

— Да, плохо дело.

Он обернулся. Механик, его единственный пассажир, с карманным фонариком на коленях читал книгу — из кабины только и видна склоненная голова, а над ней опрокинутая тень. Странная голова, как изнутри светится, точно фонарь. Бернис крикнул: «Эй!» — но голос его потерялся. Бернис стукнул кулаком по обшивке — механик все читал как ни в чем не бывало, плавая в своем странном свете. Вдруг его лицо на мгновение исчезло: он перевернул страницу. «Эй!» — крикнул Бернис еще раз: на расстоянии протянутых друг к другу рук человек был недосягаем. Понимая, что все равно не дозваться, Бернис отвернулся.

«Скоро должен быть мыс Гир, но чтоб меня повесили, если… Нет, дело дрянь. А может, — подумал Бернис, — я просто ушел в море?»

Он выверил курс по компасу. Вот странное ощущение: так и заносит в океан, в сторону, точно пугливую кобылу, — будто эти горы слева на него

наседают.

— Дождь, что ли, пошел?

Он высунул руку, она вся покрылась каплями.

«К берегу выйду минут через двадцать, там уже равнина, меньше риска…»

И вдруг — прояснилось, вот это да! Тучи дочиста выметены с неба, промытые звезды блестят как новенькие. И — луна! Луна, лучшая из ламп! Трижды вспыхнули, точно световая реклама, посадочные огни Агадира.

— Нужны мне ваши огни, когда у меня есть луна!

II

В Кап-Джуби день поднимал занавес, и сцена показалась мне пустой. Ни малейшей тени, никакого второго плана. Дюна, конечно, на своем месте, пустыня, испанский форт. Нет лишь того легкого движения, которое и в тихую погоду придает богатство лугам или морской глади. Даже медлительные караваны кочевников видят весь день, как пересыпается песок, и каждый вечер разбивают шатры среди нового девственного убранства пустыни. И я бы ощутил ее бескрайность, если б хоть что-то сдвинулось вокруг, — но

в этих застывших декорациях душа в таком же плену, как на олеографии.

Этот колодец перекликался с другим, за триста километров отсюда. Вроде бы тот же колодец, тот же песок, так же легли земные складки. Но это видимость: там — уже другая, новая ткань бытия. Так обновляется, что ни миг, вечно одна и та же пена прибоя. И у второго колодца я почувствовал бы свое одиночество, а у следующего — что и в самом деле есть над непокоренной страной покров тайны.

День тянулся нежилой, не обставленный событиями. Просто движение солнца — чистая астрономия. Просто на несколько часов земля подставляет бока солнцу. Здесь человеческая природа больше не питала слова уверенностью, и они в конце концов теряли смысл. Ничего в них больше не было, кроме песка. И даже самые весомые — «любовь», «нежность» — не отягощали сердце бременем полноты.

Если ты вылетел из Агадира в пять, ты уже должен приземлиться.

— Если он вылетел из Агадира в пять, он уже должен приземлиться.

— Ну да, старина, да… все потому, что ветер юго-восточный.

Небо желтое от песка. Этот ветер за несколько часов перевернет вверх дном всю пустыню — а ведь северный месяцами ее обустраивал. Сегодня тут полный разор: дюны косо вздувает, песок взметается длинными прядями, и каждая раскручивается, словно катушка, чтобы чуть подальше снова свернуться.

Вслушиваемся. Нет. Это шумит море.

Ведь почтовый в пути — ничто, пушинка. Между Агадиром и Кап-Джуби, над неразведанной непокоренной страной — где он, наш товарищ? Когда же наконец появится у нас в небе ясный, недвусмысленный знак?

«Если он вылетел из Агадира в пять…»

Начинаешь предчувствовать беду. Ведь авария почтового — это всего лишь длящееся ожидание, и разговор то вспыхнет, то замрет. Время все растягивается и растягивается, его уже никак не заполнить незначительными движениями, обрывочными словами…

И внезапно кто-нибудь ударяет кулаком по столу:

— Черт возьми, уже десять! — И все вскакивают: товарищ попал к маврам.

Радист говорит с Лас-Пальмас. Дизель громко пыхтит. Генератор гудит, как турбина. Радист не

сводит глаз с амперметра, отмечающего каждый удар ключа.

Я стою и жду. Радист наискось протягивает мне левую руку, продолжая работать правой. Потом кричит мне:

— Что?

Я вообще-то ничего не говорил. Через полминуты он снова кричит, не разобрать, я отвечаю:

— А, да?

Вокруг все блистает: сквозь приоткрытые ставни полосой ложатся солнечные лучи, шатуны дизеля, отсверкивая влажными молниями, взбивают их как масло.

Наконец радист всем телом поворачивается ко мне, снимает шлем. Мотор чихает и останавливается. Я слышу последние слова — среди внезапной тишины радист выкрикивает их, словно до меня метров сто:

— …плевать хотели!

— Кто?

— Да эти.

— Ясно. А связаться с Агадиром?

— Не время, вряд ли там кто на связи.

— Попробуйте, что делать.

Я царапаю в блокноте:

Почтовый не прибыл. Точка. Состоялся ли вы-

лет. Точка. Подтвердите время.

— Отправьте им.

— Вызываю.

Грохот с новой силой.

— Ну и?

— …дать.

Это я отвлекся, задумался. Он, верно, сказал, что надо подождать. А кто ведет почтовый? Уж не ты ли, Жак Бернис, затерялся нынче во времени и пространстве?

Радист выключает силовую группу, переключается на прием, снова надевает шлем. Постукивает карандашом по столу, зевая, смотрит на часы.

— Похоже, авария?

— Хотел бы я знать!

— Ну да. Ага!.. Нет, пусто. Не услышал нас Агадир.

— Еще раз?

— Еще раз.

И он снова запускает мотор.

Агадир по-прежнему молчит. А мы ждем, пока он прорежется. Стоит ему выйти с кем-нибудь на связь — и мы тут же вклинимся.

Сажусь. От нечего делать беру наушники — и попадаю в вольеру, полную птичьего гвалта.

То длинные, то короткие трели так и частят — я плохо разбираю этот язык, но сколько же оказалось голосов в этом небе, которое я считал безмолвной пустыней!

Говорят три станции. Смолкнет одна — тут же подхватывает другая.

— А вот и Бордо, радиомаяк.

Высокая скороговорка вдалеке. Другой голос, ниже, неспешней.

— А это?

— Дакар.

Вот явно расстроенный голос. Смолкает, вступает снова, опять смолкает — снова…

— Барселона вызывает Лондон, а Лондон не отзывается.

И уж совсем вдали под сурдинку что-то рассказывает Сент-Ассиз!

Вот так свидание у них тут в Сахаре! Собралась вся Европа, и столицы любезничают птичьими голосами.

Вдруг по всему эфиру раскатывается близкий шум, мгновенно заглушающий остальные голоса.

— Агадир?

— Агадир.

Радист дает позывные, неотрывно глядя на

часы — почему?

— Слышит нас?

— Нет. Но он сейчас будет говорить с Касабланкой, и мы все узнаем.

И мы тишком подслушиваем секреты ангелов. Карандаш радиста тычется в бумагу, замирает, прикалывает к ней букву, другую, потом, торопясь, целый десяток. Из букв распускаются слова, как цветы.

Для Касабланки…

Ах, собака! Тенерифе забивает Агадир! Его мощный голос без остатка заполняет наушники. И вдруг обрывается.

…землился шесть тридцать. Вылетел…

Тенерифе снова влезает без спросу.

Но я уже знаю все, что нужно. В шесть тридцать почтовый вернулся в Агадир. Туман? Что-то с мотором? Так или иначе, он вылетит не раньше семи. А не опаздывает.

— Спасибо!

III

Жак Бернис, скоро ты будешь здесь — но прежде я хочу снять покров тайны с тебя самого. С тебя, чье место на земле вот уже второй день должны искать радисты. Ты проведешь с нами положенные двадцать минут, я открою банку консервов и откупорю бутылку вина, и ты не скажешь ни слова о любви или о смерти, ни об одном из главных вопросов, — только о направлении ветра, о том, как там небо и твой мотор. Ты усмехнешься шутке механика, вздохнешь — ну и жара, и будешь похож на любого из нас.

Я расскажу, что за путешествие ты совершаешь. Как заглядываешь под кромку видимостей. И почему, хоть мы все и шагаем бок о бок, шаги у тебя совсем другие.

Мы с тобой родом из одного детства, и вот что внезапно возникает в моей памяти: древняя, полуразрушенная, увитая плющом стена. Мы были бесстрашными мальчишками:

— Ну, чего трусишь? Открывай дверцу…

Древняя, полуразрушенная, увитая плющом стена. Иссушенная, пронизанная, пропитанная солнцем. Пропитанная веществом очевидности.

Ящерицы шуршали в листьях плюща, мы называли их змеями: уже тогда нас манил этот образ бегства, именуемого смертью. Каждый камень с этой стороны стены был теплый, как яйцо из-под наседки, и такой же круглый. И в каждой былинке, в каждой крупице земли ни малейшей тайны не оставило солнце. По эту сторону стены полновластно, во всем своем изобилии царило деревенское лето. Мы посматривали на колокольню. Прислушивались к шуму молотилки. Все вокруг заливала синева небес. Крестьяне жали хлеб, священник опрыскивал купоросом виноградник, взрослые в гостиной играли в бридж. Их всех, старших, чей труд был отдан этому уголку земли, кто на весь век, от рожденья до смерти, брал под опеку это солнце, этот хлеб, этот дом, — их всех мы звали «стражей». Ведь было так сладко воображать себя на самом опасном островке между двух гибельных океанов — между прошлым и будущим.

— Поворачивай ключ!

Детям запрещалось открывать эту маленькую, позеленевшую, словно древняя баржа, дверцу, запрещалось прикасаться к огромному замку, вынырнувшему из пучины времен ржавым, как старый якорь.

Взрослые, конечно, боялись за нас: вечный страх, что ребенок утонет, хоть бы и в луже. А за дверцей спала, под покровом неба, недвижная вода — так она спит, говорили мы, уже тысячу лет; и всякий раз, когда заходила речь о стоячей, мертвой воде, мы вспоминали наш пруд. Мелкие круглые листочки одели его зеленой ряской — мы бросали камешки, пробивая в ней крохотные дырочки.

А какой прохладой овевали эти мощные, тяжелые ветви, несшие на себе все бремя солнца! Никогда ни один луч не золотил нежную зелень запруды, не касался драпирующей воду драгоценной парчи. А швырнешь камешек — и он летит и летит, как звезда: ведь мы-то знали, что там нет дна.

— Посидим…

Ни звука вокруг. В этой прохладе и сырости, среди этих запахов мы наслаждались новым ощущением тела. И, конечно, мы были заброшены невесть куда, на край света, — ведь мы уже знали: странствовать — значит прежде всего обретать новую плоть.

— Здесь все видно с изнанки.

С изнанки видно это самоуверенное лето, эти поля, эти лица — все, что держало нас в плену. И

мы ненавидели этот навязанный нам обычный мир. К ужину мы возвращались домой, сгибаясь под тяжестью тайны, как ловцы жемчуга, коснувшиеся сокровища на самом дне. И когда солнце опрокидывалось в закат, розовым отливая на скатерти, — нас больно ранили слова:

— День-то все прибывает.

Мы чувствовали, как нас затягивает эта вечная круговерть, эта бесконечная череда времен года, каникул, свадеб и смертей. Пустая суета, видимость жизни.

Главное — бежать отсюда. В десять лет мы находили прибежище на чердаке, под самыми стропилами. Мы оказывались за кулисами этой жизни: мертвые птицы, разворошенные сундуки, одежда, которую никто не носит… И, конечно, сокровище — где-то здесь оно спрятано, как в любом старинном доме, ведь сказки так ясно описывают: сапфиры, опалы, алмазы… Сокровище чуть мерцало — и каждая стена, каждая балка обретали смысл. Каждая из этих огромных балок — бог весть от чего они защищают дом. Да, конечно. От времени. Ведь время и было здесь главным врагом. От него защищались традициями. Культом прошлого. Мощными балками. И только мы знали: этот дом спущен на воду, словно корабль.

Только мы, облазив все его трюмы, знали, что он уже дал течь. Нам была известна каждая лазейка, сквозь которую птицы забирались умирать на чердак. Каждая щель в корпусе этого судна. Внизу в просторных залах болтали гости, танцевали красивые женщины. Как обманчива безопасность! И ликеры подавались: черные лакеи, белые перчатки… Эх, вы, пассажиры! А мы тут, наверху, видели, как в рассевшиеся швы кровли просачивается синяя ночь. Вот крохотное отверстие, пропустившее одну-единственную звезду. Выцеженную для нас из всего огромного неба. Но она-то и несла с собой болезнь. Мы сторонились: от таких умирают.

Нас пробивала дрожь. Вокруг кипела непостижимая работа. Балки чуть не лопались от сокровища. При каждом треске мы бросались простукивать дерево. Ведь это все была скорлупа, готовая отдать свое ядро. Скорлупа, извечная оболочка вещей, под которой наверняка что-то совсем другое. Может быть, эта звезда — маленький твердый алмаз. Когда-нибудь мы отправимся искать его — на север, или на юг, или в глубь себя. Бежать.

Звезда выглядывала из-за края черепицы, и это был ясный знак: пора спать. Мы спускались

к себе, унося с собой в полусон — наше дальнее странствие — все, что знали о мире, где таинственный камешек бесконечно погружается в глубину вод, а щупальца-лучи в просторах вселенной тысячелетиями пронзают тьму, чтобы добраться до нас, где дом, как корабль, трещит под гибельным ветром, и напор непостижимого сокровища взрывает вещи, одну за другой.

— Ну, садись. Я уж думал, у тебя авария. Вот, выпей. Я думал, авария, собрался лететь на поиски. Самолет вон уже на взлетной. А у нас тут племя аит-тусса напало на изаргинов. Так я боялся, что ты угодишь в самую заваруху. Пей, пей. Или хочешь съесть чего-нибудь?

— Да нет, отпусти меня.

— У тебя же еще пять минут. Погляди-ка на меня. Что там с Женевьевой? Почему ты усмехаешься?

— Да пустяки. Только что, в кабине, вспомнил одну старинную песенку. И словно вдруг помолодел…

— А Женевьева?

— Не знаю ничего. Пусти меня.

— Жак! Отвечай!.. Ты ее видел?

— Да… — Он колебался. — По пути в Тулузу я сделал крюк, чтобы повидать ее еще раз…

И Жак Бернис рассказал мне, что с ним приключилось.

IV

То был не захолустный полустанок — то была потайная дверца. По видимости, она выходила в поля. Контролер на перроне окидывал безмятежным взглядом белую дорогу, ручеек, кусты шиповника — никакой тайны! Начальник станции ухаживал за розами, носильщик с напускным рвением толкал пустую тележку. Но за этим маскарадом скрывались три стража запретного мира.

Контролер постучал пальцем по картонке билета:

— Вам же из Парижа в Тулузу, почему вы сходите здесь?

— Поеду дальше следующим поездом.

Контролер разглядывал Берниса. Он колебался, пропускать ли его — не к дорожке, ручью и шиповнику, а в королевство, куда со времен Мерлина проникают, срывая покров видимости. Но, похоже, он углядел-таки в Бернисе три доблести, со времен Орфея нужные для этого путешествия: мужество, молодость, любовь…

— Проходите, — сказал он.

Скорые неслись мимо как угорелые, а этот вокзал служил лишь для отвода глаз, словно маленькое кафе какого-нибудь тайного общества, с подставными официантами, подставными музыкантами, подставным барменом…

Уже в омнибусе Бернис почувствовал, как его жизнь замедляет ход, меняет смысл. А в этой повозке, рядом с крестьянином-возницей, он удалялся от нас все сильнее и сильнее. Он погружался в тайну. Лицо возницы к тридцати годам уже покрыли все положенные морщины: больше ему не стариться. Он обводил рукой поле:

— Ишь как пошло в рост! — И всходы пшеницы с незримой нам скоростью рвались к солнцу. Он указывал на стену: — Дед моего деда строил! — И мы казались Бернису еще более далекими, суетными и ничтожными. Стена перед ним была вечная, и дерево — вечное, — и он догадался, что у цели.

— Вот и поместье. Прикажете подождать?

Дремлет сказочное королевство, опустившееся под воду, — здесь Бернис за один час проживет сто лет.

И в тот же вечер та же повозка, тот же омнибус, тот же скорый позволят ему все-таки вывернуть-

ся, бежать обратно в мир, как повелось со времен Орфея или Спящей красавицы. Он прижмет, на пути в Тулузу, бледное лицо к стеклу вагона, он будет похож на других пассажиров. Но в самой глубине сердца он будет нести воспоминание, которое не выразить словами, как цвет небосвода, как цвет луны.

Странно: он вошел — а навстречу ни привета, ни возгласа удивления. Только глухой звук собственных шагов. Он, как встарь, перескочил через ограду. Аллеи заросли травой — вот и все перемены. Меж деревьев проглянул белый дом — словно во сне, из неодолимой дали. Вот он и у цели — если только это не мираж. Он поднимается по уходящим в землю каменным ступеням. Эта уверенность линий рождена непринужденностью и необходимостью.

«Здесь все настоящее…» В темном вестибюле брошена на стул белая шляпка — не ее ли? Милый сердцу беспорядок: никакой запущенности, все исполнено смысла и говорит о присутствии, хранит отпечаток движения. Чуть отодвинутое кресло: кто-то встал из него, опершись рукой о стол, — так и видишь этот жест. Раскрытая книга: кто ее читал и оставил? Почему? У кого-то в голове, быть может, еще звучат ее последние слова.

Бернис улыбнулся: сколько в этом доме маленьких забот, маленьких хлопот. Целый день кипела здесь жизнь: надо выполнять все те же домашние повинности, поддерживать тот же милый беспорядок. А здешние драмы почти ничего не значили: у путешественника, чужестранца они могли вызвать только улыбку…

«И все же, — думал Бернис, — здесь, как и везде, из года в год на смену дню спускается вечер, завершая круг. А назавтра… назавтра жизнь начинается снова. И снова идет до самого вечера. А вечер приносит разрешение от дел: закрываются ставни, возвращаются на полку книги, экраны прикрывают камин — все на своих местах. Этот ежевечерне обретаемый покой мог бы стать вечным, в нем уже ощутим привкус вечности. Мои же ночи — даже не передышка…»

Бернис бесшумно сел. Он не осмеливался себя обнаружить: все вокруг казалось таким мирным, таким нерушимым. Вот сквозь аккуратно опущенную штору просочился солнечный луч. «Истерлась, — думает Бернис, — здесь все старится так незаметно…»

«Что-то мне предстоит узнать…» Шаги в соседней комнате наполняют дом тихой радостью. Тихие, спокойные шаги. Будто бы монашенка

убирает цветами алтарь. «Как малы вершащиеся здесь дела! Моя жизнь спрессована, словно драма. А здесь столько свободного пространства, столько воздуха вокруг всякого движения, всякой мысли…» Он выглянул в окно: за окном тянулись под солнцем поля. Бежала вдаль белая дорога — чтобы идти на молитву, чтобы ехать на охоту, чтобы отнести на станцию письмо. Бернис прислушался к отдаленному шуму молотилки — так слабый голос актера заставляет замереть зал.

Снова звук шагов. «Верно, расставляют безделушки — вечно ими забиты эти полки под стеклом. Ведь от каждой эпохи остаются свои окаменелости…»

До него долетел обрывок разговора.

— Думаешь, она доживет до конца недели? Доктор…

Шаги затихли в глубине. Ошеломленный, он молчал. Кто здесь умирает? Сердце его сжалось. Он звал на помощь всех свидетелей жизни: белую шляпку, раскрытую книгу…

Голоса послышались вновь. Полные любви, но спокойные. Под этой кровлей поселилась смерть — и ее принимали как свою, не отводя глаз. Никаких декламаций. «Как все просто, — думал Бернис. — Жить, расставлять безделушки,

умирать...»

— Ты нарвала цветов для гостиной?

— Да.

Говорили тихо, приглушенно, но ровно. Говорили о любых мелочах, и только все их краски тускнели, меркли перед лицом смерти. Легонько брызнул смех и сам собой замер. Не слишком веселый смех — но его не нужно удерживать ради театрального горя.

— Не ходи к ней, — сказал голос, — она спит.

Так, значит, Бернис притаился в самом сердце страдания. Ему стало страшно, что его заметят. При постороннем приходится выражать свою скорбь, и она перестает быть смиренной и безыскусной. К нему взывают: «Вы ведь знали ее, любили...» Он облекает умирающую прежним очарованием, и это нестерпимо.

И все-таки он вправе быть рядом!.. «...Я правда ее любил».

Ему нужно было ее увидеть. Он тихонько поднялся по лестнице, отворил дверь. Комнату наполняло лето. Светлые стены, белая постель. В распахнутое окно рвался день. Дальний колокол бил медленно, ровно — в ритме сердца, здорового, не подстегиваемого лихорадкой. Она спала. Счастливый сон в объятьях лета!

«Она умирает…» Он сделал шаг по натертому, сияющему паркету. Он не мог понять собственного спокойствия. Но она вздохнула во сне — и он не осмелился двинуться дальше.

Он угадывал вокруг себя какое-то необъятное присутствие: душа больных заполняет комнату, и комната вся словно рана. Страшно задеть стул, сделать шаг.

Ни звука. Только муха жужжит. И вдруг раздался какой-то дальний зов. Мягко скользнул по комнате ветер. «Вот и вечер». Бернис очнулся. Скоро закроют ставни, зажгут лампу. И тогда ей придется преодолевать подступившую ночь. Ночник будет зачаровывать воспаленный взгляд, как мираж, и предметы, отбрасывая недвижные тени, на двенадцать часов встанут перед глазами, невыносимой тяжестью впечатываясь в мозг.

— Кто здесь? — спросила она.

Бернис подошел. Нежность, жалость подступили ему к горлу. Он наклонился. Помочь ей. Обхватить руками. Стать ее силой.

— Жак… — Она не отрывала взгляда. — Жак…

Она пыталась вызвать его из глубин своей памяти. Она не искала его плеча, она ворошила собственные воспоминания. Она цеплялась за его рукав, как утопающий, — но ухватиться пы-

талась не за него самого, не за его поддержку, а за некий образ… Она всматривалась…

И вот мало-помалу она видит, что он чужой. Она не узнает этого взгляда, вон той морщинки. Она сжимает его пальцы, словно зовет, — но нет, он ей не опора. Он не тот, кто живет в ее душе. И она устала от его присутствия, она отталкивает его и отворачивается.

Расстояние между ними непреодолимо.

Он бесшумно вышел, снова прошел через вестибюль. Он возвращался из бесконечного странствия, смутного странствия, о котором с трудом вспоминаешь. Больно ли ему? Горько ли ему? Он остановился у окна. Вечер, как море, потихоньку вливался в трюм давшего течь корабля, и безделушки погружались в темноту. Прижавшись лбом к стеклу, он глядел, как удлиняются тени лип, как они смыкаются, набрасывая на лужайку перед домом покров ночи. Дальняя деревня рассыпала горстку огней: кажется, он мог бы собрать их рукой. И не было больше никаких расстояний: вон тот холм тоже можно потрогать. Голоса в доме смолкли; дневной круг завершен. Бернис не шевелился. Ему вспоминались похожие вечера. Он всплывал с трудом из морской пучины, точно водолаз в тяжелом скафандре;

рядом с ним разглаживалось, замыкалось лицо женщины, и вдруг становилось страшно будущего, страшно смерти.

Он вышел — и обернулся: так остро ему захотелось, чтобы его заметили, позвали. Чтобы сердце его растопили радость и печаль. Нет, ничего. Ничто его не удерживало. Деревья легко выпустили его. Он перескочил через ограду: дорога все та же. Кончено, он больше не вернется никогда.

V

И перед вылетом Бернис подытожил все, что с ним приключилось:

— Понимаешь, я пытался увлечь Женевьеву в свой мир. Но я показывал ей этот мир — и все в нем тускнело и блекло. А та первая ночь легла между нами и миром такой невообразимой толщей, что не преодолеть. Я должен был вернуть ей ее дом, ее жизнь, ее душу. Каждый тополь у дороги, один за другим. Мы подъезжали к Парижу — и эта безмерная толща убывала и убывала. Словно в ту ночь я затянул ее на морское дно. А теперь, спустя столько времени, я пытался снова с ней соединиться — и мог приблизиться, притронуться: пространство не разделяло нас. Что-то большее.

Не знаю, как передать: это были тысячелетия. Люди так далеки друг от друга! Она цеплялась за свои белые простыни, за свое лето, за все, что в ее жизни было очевидного. И ее нельзя было унести с собой. А теперь пусти меня.

Куда ты теперь за своим сокровищем — ловец жемчуга, прикоснувшийся к нему на самом дне, но не умеющий вытащить на свет Божий? В этой пустыне, по которой я бреду, свинцовой тяжестью прикованный к земле, — мне бы ничего не открыть. Но ты чародей, и для тебя она лишь песчаный покров, лишь видимость…

— Пора, Жак…

VI

И вот, заточенный в кабине, он грезит. Земля с такой высоты кажется неподвижной. Желтый песок Сахары бесконечной обочиной сцепился с синевой океана. Береговую полосу сносит вправо, но Бернис, опытный мастер, косо скользя, выравнивает курс, ориентируясь по мотору. На каждый вираж, заложенный Африкой, он отвечает легким наклоном крыла. Еще две тысячи километров — и Дакар.

Ослепительная белизна под ним — это и есть

непокоренная страна. Да голая скала порой. Кое-где намело ровные гряды дюн. Самолет схвачен недвижным воздухом, как крупинка металла — рудой. Никакой болтанки, никаких перемен под крылом: подхваченный ветром, он длит свой полет. Порт-Этьен — ближайшая посадка — отмечен не в пространстве, а во времени, и Бернис глядит на часы. Еще шесть часов неподвижности и безмолвия, и он выйдет из самолета, точно из кокона. В новый мир.

Бернис смотрит на часы, которые творят это чудо. Потом на застывший счетчик оборотов. Если стрелка сорвется со своей цифры, если авария предаст человека пескам, время и пространство обретут совсем другой смысл, который сейчас и не вообразить. Сейчас его путь лежит в четвертом измерении.

Но он знал, как перехватывает дыхание этот новый смысл. Мы все знали. И сколько бы образов ни мелькало перед нами — мы были пленниками единственного: в нем проступало своим истинным весом бремя этого солнца, этих песков, этого безмолвия. Мир рухнул на нас. А мы оказались так слабы и безоружны. Нашим жестам под силу разве что обратить в бегство пару газелей. Наши голоса не слышно и за триста метров, им не доле-

теть до людей. Каждый из нас падал однажды на эту неведомую планету.

Там время длилось и длилось, слишком долгое для привычного ритма нашей жизни. В Касабланке мы измеряли его часами свиданий: каждое несло перемены сердцу. В самолете каждые полчаса менялась погода вокруг — перемены для тела. Здесь счет шел на недели.

Нас вызволяли товарищи. Если у нас не хватало сил, они затаскивали нас в кабину: стальные руки друзей тянули нас обратно, из этого мира — в наш. Удерживая хрупкое равновесие над бездной неведомого, Бернис думает: как мало он знает самого себя. Какой отклик вызовет в нем жажда, затерянность, жестокость мавров? А если Порт-Этьен вдруг окажется отброшен на месяц, а то и больше?

«Ни к чему храбриться», — думает он.

Ведь это все условность. Отважившись на мертвую петлю, молодой пилот опрокидывает себе на голову не подвернувшиеся предметы — прочные, подлинные, и малейший мог бы его раздавить: деревья и стены, низвергающиеся на него, зыбки и невесомы, точно во сне. Храбриться, Бернис?

И все-таки, как ни противится его сердце, дрожь мотора поселяет в нем это неведомое, в любую

минуту готовое пробудиться.

Час спустя и залив, и выступ суши разоружены и повержены самолетным винтом, присоединены к остающейся за спиной ничейной земле. А впереди каждый клочок земли по-прежнему чреват тайной угрозой.

Еще тысячу километров тянуть на себя это бескрайнее полотно.

Порт-Этьен Кап-Джуби: Почтовый прибыл благополучно 16.30.

Порт-Этьен Сен-Луи: Почтовый отправлен 16.45.

Сен-Луи Дакару: Почтовый вылетел Порт-Этьена 16.45, продолжит полет ночью.

Восточный ветер. Он дует из глубин Сахары, крутит желтые вихри песка. На рассвете от горизонта оторвалось мягкое блеклое солнце, искаженное жарким маревом. Как бледный мыльный пузырь. Ближе к зениту оно постепенно сжимается, обретает форму и раскаленным копьем, огненным жалом вонзается в затылок.

Восточный ветер. Вылетаешь из Порт-Этьена — в воздухе спокойно, почти свежо, но стоит подняться на сто метров — и вокруг жгучая лава.

Температура масла: 120.

Температура воды: 110.

Ясно: надо набрать две тысячи, три тысячи метров высоты. Уйти выше песчаной бури. Ясно. Но при этом за пять минут перегреется мотор. И потом, легко сказать — выше. Воздух не держит, самолет проваливается и вязнет.

Восточный ветер. Он ослепляет. Солнце застилают желтые вихри, но, проступая порой, еще сильней обжигает его бледный лик. Землю видно только под собой, и то едва. Я пикирую? Наоборот, задираю нос? Валюсь в крен? Поди разбери! Но на ста метрах — потолок, выше хода нет. Тем хуже. Попробуем понизу.

Внизу по земле поток северного ветра. Отлично. Опускаешь руку из кабины. Словно в быстрой лодке проводишь пальцами по холодной воде.

Температура масла: 110.

Температура воды: 95.

Прохладный поток? Все относительно. Летишь, будто пританцовывая, и каждая складка земли норовит задать тебе оплеуху. И осточертело же ничего не видеть!

А у мыса Тимирис восточный ветер притирается к самой земле. Уже нигде не укрыться. Запахло горелой резиной: магнето? уплотнители? Стрелка тахометра дернулась и упала на десять оборотов.

«Черт, тебя еще не хватало!..»

Температура воды: 115.

Выиграть бы хоть десять метров высоты! Мельком — на дюну, сейчас она подбросит тебя как трамплин. Мельком — на приборы. Оп! А за дюной-то болтанка. Всем телом налегаешь на штурвал — долго так не протянуть. Несешь самолет в руках, едва удерживая в равновесии, — словно слишком полную чашу.

В десяти метрах под колесами Мавритания гонит навстречу свои пляжи, солончаки, дюны — как поток сброшенного балласта.

1520 оборотов.

Первый перебой мотора встряхивает пилота, точно удар кулака. Двадцать километров до французского поста — единственного. Дотянуть!

Температура воды: 120.

Дюны, скалы, солончаки — все ушло под тобой в прокатный стан. Давай, давай! Очертания растягиваются, рвутся, снова срастаются за спиной. Под самыми колесами мир ломается на куски, будто ледоходом: эти черные скалы сбиваются в кучу, вроде бы медленно подступают и вдруг встают на дыбы. Ты пикируешь — они врассыпную...

1430 оборотов.

«Ох, и сломаю я себе шею...» К обшивке не

притронуться: жжет. От радиатора клубы пара. Самолет, как перегруженную шлюпку, тянет ко дну.

1400 оборотов.

В двадцати сантиметрах от колес взметаются последние песчаные вихри. Как подброшенные лопатой. Полные лопаты золота. Перепрыгиваешь еще одну дюну — и вот он форт. Бернис садится. Успел.

Пейзаж тормозит и замирает. Из пыльного марева снова соткался мир.

Маленькая французская крепость в Сахаре. Старый сержант смеется от радости и встречает Берниса как брата. Двадцать сенегальцев берут на караул: белый в этих местах — по меньшей мере сержант, а то и лейтенант, раз такой молодой.

— Здоро́во, сержант!

— О, добро пожаловать, я так рад! Сам я из Туниса…

Свое детство, свои воспоминания, свою душу — все сразу выкладывает он Бернису.

Маленький стол, к стене приколоты фотографии.

— Да-да, это все родня. Я еще не со всеми знаком, вот махну в Тунис на будущий год… Эта? Это подружка моего приятеля. Я всегда ее видел

у него на столе. Он вечно говорил, говорил о ней. А теперь он умер, и я взял ее себе, и тоже вот… Своей-то подружки у меня нет.

— Пить охота, сержант.

— О, конечно! Пейте, пейте, мне так приятно вас угостить вином! А вот для капитана у меня не нашлось. Он пролетал пять месяцев назад. Я, конечно, потом долго не находил себе места, даже просил, чтобы меня сменили: до того было стыдно. Что я тут делаю? Целыми ночами пишу письма: не спится, а свечи у меня есть. Ну, а почта приходит раз в полгода, мои ответы уже не годятся — вот и начинаешь все сызнова.

Бернис с сержантом поднимаются покурить на плоскую кровлю форта. Пустыня в лунном свете, и ничего, ничего вокруг! Что он тут охраняет на этом посту? Разве что звезды. Разве что луну…

— У вас под началом звезды, сержант?

— Курите, пожалуйста, табачок у меня есть. Вот для капитана-то не нашлось…

Бернис узнал все об этом капитане и о лейтенанте. Он мог бы назвать их неповторимые черты, достоинства и недостатки: тот был игрок, этот — слишком мягок… Он понимал: о последнем появлении юного лейтенанта затерянный среди песков старый сержант вспоминал как о

любовном свидании:

— Он учил меня различать звезды…

— Конечно, ведь он сдавал их вам под начало.

А теперь Бернис в свой черед показывал сержанту звезды. И сержант, постигая звездные дали, думал и о таком же далеком Тунисе. И божился, что и сам узнал бы в лицо Полярную звезду, держись она чуть левее, — а думал о Тунисе, таком близком.

— И мы мчимся к ним с головокружительной скоростью…

И сержант спешил схватиться за стенку.

— Да вы знаете все на свете!

— Нет, сержант. Вот знал я еще одного сержанта — так он говаривал мне: «Стыда у вас нет, вроде юноша воспитанный, образованный, не босяк какой, — и не знает, как правильно делать «бочку»!»

— О, вам нечего стыдиться, это же так трудно…

Он его утешал!

— Сержант, сержант! Вот тебе и фонарь для дозора…

И Бернис показывал на луну.

— Слушай, сержант, а знаешь такую песенку:

Пастушка, не зевай-ка,

Ведь дождик все сильней…

Бернис промурлыкал мотив.

— Еще бы, это же тунисская песенка.

— Скажи, сержант, как там дальше. Все хочу вспомнить…

— Постойте-ка:

Мокрым-мокра лужайка,
И овцы вместе с ней…

— Вспомнил, вспомнил, сержант!

Средь пашен оробелых
Гремит все ближе гром —
Своих милашек белых
Гони скорее в дом!..

— Ах, ведь и в самом деле! — сказал сержант.

Одно и то же было им ясно.

— Вот и день на дворе, давай за работу.

— За работу.

— Дай-ка мне свечной ключ.

— Вот он.

— А тут прихвати плоскогубцами.

— Вы только прикажите — я все сделаю!

— Видишь — тут де́ла-то пустяк, сержант, можно лететь!

И сержант глядит на молодого бога, явившегося ниоткуда и улетающего невесть куда.

Явившегося напомнить ему песенку, Тунис, его самого. Там, за песками, что там за рай, откуда нежданно спускаются эти добрые вестники?

— Счастливо, сержант!

— Счастливо…

Сержант, не помня себя, беззвучно шевелит губами. Какими словами скажешь, что теперь в твоем сердце — на полгода запас любви?

VII

Сен-Луи Порт-Этьену: Почтовый не прибыл. Точка. Срочно сообщите новости.

Порт-Этьен Сен-Луи: Никаких известий после вылета вчера 16.45. Точка. Немедленно начинаем поиск.

Сен-Луи Порт-Этьену: Самолет 632 отправлен 7.25. Точка. Задержите ваш вылет до его прибытия Порт-Этьен.

Порт-Этьен Сен-Луи: Самолет 632 прибыл 13.40. Точка. Пилот ничего не обнаружил. Видимость нормальная. Точка. Полагает нашел бы на обычном маршруте. Точка. Нужен третий пилот

эшелонированного поиска пустыне.

Сен-Луи Порт-Этьену: Согласны. Даем команду.

Сен-Луи Джуби: Никаких известий почтовом Франция — Америка. Срочно вылетайте Порт-Этьен.

Джуби.

Ко мне подходит механик:

— Бак с водой в переднем левом отсеке, провизия в правом. Сзади запасное колесо и аптечка. Десять минут — и можно лететь. Есть?

— Есть.

Блокнот. Распоряжения.

«К моему возвращению подготовить ежедневные отчеты. В понедельник расплатиться с маврами. Погрузить на парусник пустые бидоны».

Облокотясь, пристраиваюсь у окна. Парусник, раз в месяц привозящий пресную воду, покачивается на волнах. Он прекрасен. По всей моей пустыне разлито теперь немного трепета жизни, немного свежести и белизны простынь. Я — Ной, и ко мне в ковчег залетела голубка.

Самолет готов.

Джуби Порт-Этьену: Самолет 236 вылетел 14.20 Порт-Этьен.

Путь караванов отмечают высохшие скелеты, наш — обломки машин: «Еще час до бохадорского самолета…» Голый костяк, разграбленный мавра-ми. Ориентир!

Тысяча километров песка, потом Порт-Этьен: четыре барака в пустыне.

— Ждали тебя. Летим сейчас же, пока светло. Один вдоль берега, другой в двадцати километ-рах, третий в пятидесяти. Ночуем в форте. Ты что — берешь другую машину?

— Да. Клапан заклинило.

Перебираюсь.

Летим.

Ничего. Это всего лишь темная скала. А я все пускаю эту пустыню в прокатный стан, и каждая черная точка сбивает меня с толку и тревожит. Но снова и снова катится навстречу какая-нибудь темная скала.

Товарищей не видать: у каждого — свой уча-сток неба. И мы рыщем с упорством ястребов. Моря не видать. Подвешен над раскаленной жа-ровней, вообще не вижу ничего живого. Вдруг бухает сердце: вдали обломки…

Темная скала.

Мотор ревет бурлящим потоком. И этот поток захлестывает меня, изматывает…

Я часто видел, Бернис, как ты околдован своей невозможной надеждой. Не могу это выразить. Только вспоминаю твое любимое место из Ницше: «Мое лето, короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное».

Устал всматриваться. Перед глазами пляшут черные точки. Я уже сам не знаю, куда лечу.

— Так вы его видели, сержант?

— Он улетел чуть свет…

Мы присаживаемся у стены форта. Сенегальцы пересмеиваются, сержант дремлет. Сумерки хоть и светлы, но не для поисков.

Один из нас собирается с духом:

— Если самолет сильно разбит… в общем… можно сказать, его не найти.

— Ну да.

Один из нас подымается, делает пару шагов:

— Дрянь дело. У кого сигареты?

И все мы: люди, звери, вещи — вплываем в ночь.

Мы вплываем в ночь, сигарета — бортовой огонь, и мир вновь обретает свои истинные размеры. Караваны состарятся, пока дойдут до Порт-Этьена. Сен-Луи в своем Сенегале — уже за гранью яви. Только что эта пустыня была простым песком, без малейшего покрова тайны.

И города попадались через каждые три шага, а старый сержант, приготовившийся к терпению, молчанию и одиночеству, кажется, чувствовал, что вся эта доблесть ни к чему… Но вот кричит гиена, и песок оживает, и какой-то дальний зов вновь воссоздает тайну, — и здесь рождение, и бегство, и новое начало…

Но для нас истинные расстояния — те, что нам отмеряют звезды. Над мирной жизнью, над верной любовью, над любимой, которую надеешься сберечь, снова встает вехой Полярная звезда.

А над сокровищем встает Южный Крест.

К трем часам утра наши шерстяные одеяла становятся тонкими и прозрачными: луна наворожила. Просыпаюсь заледеневший. Поднимаюсь покурить на кровлю форта. Сигарета… другая… Так и дождусь зари.

В лунном свете эта маленькая крепость — словно пристань у тихих вод. Все звезды в сборе — мечта мореплавателя. И компасы на всех трех машинах благоразумно указывают на север. И все же…

Не здесь ли ты сделал свой последний шаг на земле? Здесь кончается осязаемый мир. Эта крепость — причал. Дальше — только призрачный мир лунного света.

А ночь волшебна. Где ты, Жак Бернис? Здесь ли, там ли? Твое присутствие уже почти невесомо. И Сахара вокруг меня так бесплотна, что едва выдержит кое-где прыжок газели и с трудом, на самой плотной складке песка — легкого ребенка.

Поднимается ко мне и сержант:

— Не спится?

— Не спится, сержант.

Он прислушивается. Ничего. Безмолвие, Бернис, родившееся из твоего безмолвия.

— Сигарету?

— Спасибо.

Сержант жует сигарету.

— Сержант, завтра мне снова на поиски — как думаешь, где он?

И сержант уверенным жестом обводит горизонт.

Потерянный ребенок, — тобою полна вся пустыня.

Бернис, однажды ты признался мне: «Я любил жизнь, которую не до конца понимал. Может, она была не совсем настоящая? Я и не знаю толком, чего я хотел, что это за вечная жажда…»

Бернис, однажды ты признался мне: «Я пытался угадать, что там таится, за видимостью вещей. Мне казалось, нужно только усилие — и я все

пойму, постигну и смогу унести с собой. И вот я ухожу, взволнован присутствием Друга, — а ведь я так и не смог вытащить его на свет Божий».

Будто бы тонет корабль. Будто бы затихает ребенок. Будто бы весь этот трепет парусов, мачт, надежд погружается в пучину вод.

Рассвет. Хрипло кричат мавры. На земле — их полумертвые от усталости верблюды. Похоже, с востока подобрался отряд ружей в триста — из какого-нибудь северного племени — и перебил полкаравана.

Поискать вдоль пути отряда?

— Тогда — веером, да? Средний — строго на восток…

Самум: набираешь пятьдесят метров — и этот ветер вытягивает из тебя всю влагу.

Мой товарищ…

Значит, вот оно, твое сокровище…

На гребне дюны, крестом раскинув руки, головою к густой синеве залива, лицом к звездным селеньям, — ты наконец невесом…

Столько оборвалось крепчайших уз, летучий Бернис, пока ты скользил к югу, — оставался лишь один друг, тончайшая паутинка, связующая с миром…

А этой ночью ты уже ничего не весил. На головокружительной высоте, на самой высокой звезде, на Звезде Волхвов, вот оно блеснуло, твое сокровище, беглец!

Паутинка моей дружбы больше тебя не держала: нерадивый пастух, я, должно быть, заснул.

Сен-Луи Тулузе: Почтовый Франция — Южная Америка найден восточнее Тимириса. Точка. Поблизости вражеский отряд. Точка. Пилот погиб, самолет разбился, почта цела. Точка. Следуем Дакар.

VIII

Дакар Тулузе: Почта благополучно доставлена. Точка.

Ночной полет

Посвящается Дидье Дора́

© Перевод. М. Ваксмахер, 2003

I

Холмы под крылом самолета уже врезали свои черные тени в золото наступавшего вечера. Равнины начинали гореть ровным неиссякаемым светом; в этой стране они расточают свое золото с той же щедростью, с какой еще долгое время после ухода зимы льют свою снежную белизну.

И пилот Фабьен, который с крайнего юга, из Патагонии, вел почтовый самолет на Буэнос-Айрес, узнавал о приближении вечера по тем же приметам, по каким узнают об этом воды в гавани: по спокойствию, по легким складкам, что едва вырисовываются на тихих облаках. Фабьен словно выходил на бескрайний, безмятежный рейд.

Порой в этой тишине ему начинало казаться, что он совершает неторопливую прогулку, что он — пастух. Пастухи Патагонии бредут не спеша от стада к стаду; Фабьен шел от города к городу — он пас эти маленькие городишки. Он встречал их каждые два часа; города приходили на водопой к берегам рек или щипали траву на равнинах.

Иногда, после сотен километров степей, более безлюдных, чем море, он пролетал над уединенной фермой; казалось, она плывет ему навстречу

по волнам прерии и несет на себе груз человеческих жизней. И, покачивая крыльями, Фабьен приветствовал этот корабль.

«Показался Сан-Хулиан; через десять минут пойдем на посадку».

Бортрадист передал это сообщение по всей линии.

На две с половиной тысячи километров, от Магелланова пролива до Буэнос-Айреса, растянулись цепью посадочные площадки; все они похожи друг на друга, но за этим аэродромом начиналась ночь; так в Африке, за последним покорным селением, проходит граница неведомого.

Радист передал пилоту записку:

«Вокруг бушуют грозы, у меня в наушниках сплошные разряды. Может, заночуем в Сан-Хулиане?»

Фабьен улыбнулся; небо спокойно, как вода в аквариуме, и все аэропорты впереди, по пути следования, сообщают: «Небо чистое, полное безветрие». Он ответил:

— Полетим дальше.

А радист думал о том, что где-то, как черви внутри плода, притаились грозы; ночь казалась прекрасной, но кое-где начинала подгнивать,

и ему было противно погружаться в этот мрак, скрывающий в себе гниль и разложение.

Сбавляя над Сан-Хулианом газ, Фабьен ощутил усталость. Все, что делает жизнь людей приятной: дома, небольшие кафе, аллеи — все это росло, надвигаясь на него. Он был подобен завоевателю, который вечером, после победы, вглядывается в земли завоеванного края и обнаруживает скромное счастье людей. Фабьену хотелось сбросить с себя доспехи, ощутить тяжесть усталого тела — ведь и в тяготах есть своя отрада — и оказаться простым человеком, созерцающим в окно своего дома неизменный, застывший пейзаж. Фабьен остановил бы свой выбор на этом случайном крохотном городке, а выбрав — полюбил бы его, полюбил бы размеренность его существования. Жизнь в таком городке — словно любовь — умеряет порывы. Хорошо бы поселиться здесь надолго, получить здесь свою долю вечности. Фабьену казалось, что городки, где он останавливался на час, и сады, обнесенные старыми стенами, существуют вечно, безразличные к его, Фабьена, жизни. И городок поднимался навстречу экипажу, принимая его в свои объятия. И Фабьен думал о дружбе, о ласковых девушках, об уюте и тепле белой скатерти — обо всем, с чем чело-

век сживается постепенно и навсегда. Городок бежал уже под самыми крыльями, выставляя напоказ тайны своих садов: ограды не служили им больше защитой. Но, приземлившись, Фабьен понял, что ровно ничего не увидел, кроме ленивых движений нескольких человек среди принадлежавших им камней. Городок самой неподвижностью оберегал от постороннего глаза секреты своих привязанностей, он отказывал Фабьену в ласке: для того чтобы завоевать этот городок, надо было отречься от действия. Десять минут — и снова в путь.

Фабьен обернулся и посмотрел на Сан-Хулиан; теперь это была лишь горстка огней; потом она превратилась в пригоршню звезд и, поманив его еще раз, рассеялась пылью.

«Уже не видно приборов, надо включить свет».

Он прикоснулся к контактам; но свет красных лампочек кабины расплывался в голубоватом сиянии сумерек и не освещал циферблатов. Фабьен поднес руку к лампочке — пальцы почти не окрасились. «Слишком рано».

А ночь поднималась темными клубами дыма и заполняла лощины. Впадины долин уже сливались с равнинными просторами. В деревнях загорались огни; их созвездия перекликались

во мраке, и Фабьен, мигая бортовыми огнями, отвечал огонькам деревень. Всю землю обволокла сеть манящих огней; каждый дом, обратясь лицом к бескрайней ночи, зажигал свою звезду; так маяк посылает свой луч во тьму моря. Искры мерцали всюду, где жил человек. Самолет входил сегодня в ворота ночи, как суда входят на рейд, — легко и плавно. И Фабьен был счастлив.

Он нагнулся к приборной доске. Стрелки уже начинали фосфоресцировать. Проверил показания приборов — и остался доволен. Итак, он сидит в небе прочно. Тронув пальцем стальной лонжерон, он ощутил в металле пульсацию жизни; металл не дрожал — он жил. Пятьсот лошадиных сил, впряженных в мотор, породили в недрах вещества легчайшие токи — холод металла преобразился в бархатистую плоть. Пилот снова ощутил теперь в полете не головокружение, не хмельную радость, но лишь таинственную работу живого организма.

Теперь, создав свой собственный мир, он мог устроиться в нем поудобнее.

Фабьен постучал по распределительному щиту, проверил один за другим все контакты, немного поерзал на месте и уселся покрепче, пытаясь отыскать наиболее удобное положение, чтобы

чувствовать малейшее колебание пяти тонн металла, которые взвалила себе на плечи зыбкая ночь.

Потом ощупал запасную лампу, поставил ее на место, отпустил и снова взял, убедился, что она не скользит, опять отпустил и опять нашел ее, проверил на ощупь каждую рукоятку, каждый рычаг, убеждаясь, что может схватить их сразу и наверняка, приучая свои пальцы действовать в мире слепоты. Потом, когда пальцы усвоили это, он разрешил себе включить свет — и кабина сразу же украсилась точными приборами; теперь он мог следить за погружением самолета в ночь по одним только циферблатам. И поскольку ничто не дрожало, не колебалось и не вибрировало, поскольку и гироскоп, и высотомер, и режим мотора — все оставалось стабильным, он потянулся, прислонился к кожаной спинке кресла и погрузился в полет, в глубокое раздумье, таящее необъяснимую сладость надежды.

И теперь, неся в самом сердце ночи свою сторожевую вахту, он обнаружил, что в ночи раскрывается перед ним человек: его призывы, огни, тревоги. Та простая звездочка во мраке — это дом, и в нем — одиночество. И та, что погасла, — это дом, приютивший любовь…

Или тоску. Дом, который не шлет больше сигналов всему остальному миру. Облокотясь о стол, сидят у лампы крестьяне и лелеют в душе смутные, им самим неведомые надежды; этим людям и невдомек, что помыслы их летят так далеко во мраке сомкнувшейся над ними ночи. Но Фабьен слышит их, когда, пролетев тысячу километров, он чувствует, как волны, взнесенные из глубин, поднимают и опускают его самолет, в котором пульсирует жизнь; он пробился — как сквозь десять войн — сквозь десять гроз, прошел по лужайкам лунного света, что пролегли между грозами, и вот победитель достиг наконец этих огней. Людям кажется, что лампа освещает только их скромный стол; но свет ее, пролетев восемьдесят километров, уже достиг кого-то — как призыв, как крик отчаяния с пустынного, затерянного в море островка.

II

Итак, три почтовых самолета — из Патагонии, из Чили и из Парагвая — возвращались в Буэнос-Айрес с юга, запада и севера. В Буэнос-Айресе почту должны были погрузить в самолет, который около полуночи отправлялся в Европу.

Трое пилотов летели, затерянные в ночи, размышляли о полете и, держа курс на огромный город, медленно спускались со своих грозных или мирных небес, как спускаются с гор крестьяне.

Ривьер, директор сети воздушных сообщений, шагал взад и вперед по посадочной площадке буэнос-айресского аэропорта. Он был молчалив: ни один из трех самолетов еще не приземлился, и день продолжал таить в себе опасность. Но приходили телеграмма за телеграммой, и Ривьер ощущал, как с каждой минутой сокращается область неведомого и он, вырывая что-то из лап судьбы, вытягивает экипажи самолетов из ночи на берег.

Подошел служащий и передал Ривьеру радиограмму:

— Почтовый из Чили сообщает, что видит огни Буэнос-Айреса.

— Хорошо.

Скоро Ривьер услышит гул мотора; ночь уже отдает ему один самолет; так приливы и отливы моря, полного тайн, выбрасывают на берег сокровище, которое долго качалось в волнах. А вскоре ночь вернет ему и два других самолета.

Тогда этот день завершится. Тогда усталые команды отправятся спать и свежие команды придут им на смену. Но Ривьер не сможет отдохнуть: настанет черед тревоги за европейский почтовый. И так будет всегда. Всегда. Впервые этот старый боец с удивлением почувствовал, что устал. Прибытие самолетов никогда не явится для него той победой, которая завершает войну и открывает эру благословенного мира. Это будет всегда лишь еще одним шагом, за которым последует тысяча подобных шагов. Ривьеру казалось, что он держит на вытянутой руке огромную тяжесть, держит долго, без отдыха, без надежды на отдых. «Старею...» Должно быть, он стареет, если душа его требует какой-то иной пищи, кроме действия. Странно, такие мысли никогда еще его не тревожили. Задумчиво журча, к нему подступали волны доброты и нежности, которые он обычно гнал от себя, — волны безвозвратно утраченного океана. «Значит, все это так близ-

ко?..» Да, незаметно и постепенно пришел он к старости, к мыслям: «А вот настанет время», к мыслям, которые так скрашивают человеческую жизнь. Будто и на самом деле в один прекрасный день может «настать время», и где-то в конце жизни достигнешь блаженного покоя — того, что рисуется в грезах!.. Но покоя нет. Возможно, нет и победы. Не могут раз навсегда прибыть все почтовые самолеты…

Ривьер остановился около старого механика Леру, возившегося у самолета. Как и Ривьер, Леру работал уже сорок лет. Он отдавал работе все свои силы. Когда в десять вечера или в полночь Леру приходил домой, перед ним не открывался какой-то другой мир; возвращение домой не было для него бегством. Ривьер улыбнулся этому человеку с грубым лицом; механик кивнул на отливающую синевой ось: «Она была слишком туго закреплена, я исправил». Ривьер наклонился к оси. Он снова вернулся к служебным заботам. «Нужно будет сказать в мастерских, чтобы подгоняли эти штуки посвободнее». Потрогав пальцем царапины на металле, Ривьер опять внимательно посмотрел на Леру, на его суровое морщинистое лицо. С языка сорвался странный вопрос, и сам Ривьер улыбнулся, задавая его:

— Скажите, Леру, в своей жизни вы много времени потратили на любовь?

— О, любовь, господин директор… знаете ли…

— Вам, как и мне, всегда не хватало времени…

— Да, не очень-то хватало…

Ривьер вслушивался в его голос, пытаясь понять, звучит ли в ответе горечь; но горечи не было. Оглядываясь на прожитую жизнь, этот человек испытывал спокойное удовлетворение столяра, отполировавшего великолепную доску: «Вот и все! Готово!»

«Вот и все! — подумал Ривьер. — Моя жизнь тоже готова!»

Он отогнал грустные мысли, навеянные усталостью, и направился к ангару: чилийский самолет уже гудел в воздухе.

III

Отдаленный гул мотора наливался, густел. Зажглись посадочные огни. Красные фонари ночного освещения вычертили контуры ангара, радиомачт, квадратной площадки. Все приняло праздничный вид.

— Вот он!

Самолет уже катился по земле в лучах прожекторов. Он так сверкал, что казался совсем новым. Вот он остановился наконец перед ангаром; механики и подсобные рабочие устремились к нему, чтобы выгрузить почту, но пилот Пельрен не шевелился.

— Эй! Чего вы ждете? Выходите!

Занятый каким-то таинственным делом, пилот не отвечал. Вероятно, он прислушивался к еще не угасшему в нем шуму полета. Он медленно покачал головой, нагнулся и стал что-то ощупывать внизу. Наконец выпрямился, обернулся к начальству, к товарищам и обвел их серьезным взглядом, словно осматривая свое достояние. Казалось, он пересчитывает, измеряет, взвешивает. Он честно заслужил все это: и дружескую встречу, и праздничное убранство ангара, и прочность

цемента, и там, вдали, город с его движением, с его женщинами, с его теплом. Теперь он крепко держал людей в широких ладонях, держал своих подданных: он мог их осязать, слышать, мог обругать их. Да, сначала он даже решил обругать их за то, что они так спокойны, уверены в своей безопасности — стоят и любуются луной. Но он сменил гнев на милость:

— За выпивку платите вы…

И вылез из кабины.

Ему захотелось рассказать о том, что он пережил в полете.

— Если б вы только знали!..

Считая, видимо, что этим все сказано, он принялся стаскивать с себя кожаную куртку.

Когда автомобиль уносил Пельрена вместе с хмурым инспектором и молчаливым Ривьером к Буэнос-Айресу, пилоту взгрустнулось. Конечно, что может быть приятнее — выпутаться из беды и, обретя под ногами твердую землю, отпускать без зазрения совести сочные ругательства. Куда как весело!.. И все же, как вспомнишь, становится не по себе.

Сражение с циклоном — это по крайней мере нечто реальное, откровенное. Иное дело — облик вещей, когда им кажется, что они одни.

«Будто в дни восстания, — подумал Пельрен, — лица людей только чуть бледнеют — но как все кругом меняется!»

Усилием воли он заставил себя вспомнить о пережитом.

Мирно летел он над Андийскими Кордильерами. Здесь царила великая тишина снегов. В это нагромождение вершин снег внес покой — как вносят его века в мертвые старинные замки. На две сотни километров — ни души, ни малейшего признака жизни, ни одного живого движения. Только отвесные кручи, что вздымаются до шести тысяч метров, только каменные одежды, спадающие вниз прямыми складками, только грозное спокойствие вокруг.

Это произошло вблизи пика Тупунгато…

Пельрен задумался. Да-да, именно там стал он свидетелем чуда.

Сначала он ничего не увидел, только ощутил смутное беспокойство. Как человек, который думал, что он один, и вдруг чувствует: нет, он уже не один, кто-то на него смотрит. Так и Пельрен — слишком поздно и не понимая еще, что к чему, — ощутил, что вокруг него смыкается кольцо гнева. Вот и все. Откуда вырывался этот гнев?

И как угадал пилот, что гнев источают и камни

и снега? Ведь, казалось, ровно ничего не произошло; не было и тени наплывающей бури. Но у него на глазах рождался иной мир, чем-то неуловимо отличавшийся от привычного. С необъяснимой тоской смотрел человек на вершины, выглядевшие так простодушно, на снежные гребни, почти такие же белые, как обычно. Все это медленно оживало — как народ.

Пельрен еще не вступил в борьбу; он крепко стиснул штурвал. Готовилось нечто, чего он не мог понять. Точно зверь перед прыжком, напрягал он мускулы, но все, что он видел перед собой, было спокойно. Да, спокойно, но в этом спокойствии таилась странная мощь.

Потом все вдруг заострилось. Гребни и пики стали внезапно острыми; пилот почувствовал, что они, как форштевни, рассекают упругую грудь ветра. Потом ему стало казаться, что они кружатся вокруг него и разворачиваются, готовясь к бою, будто огромные корабли. Затем в воздух поднялась пыль; она летела над снегами и легко, словно парус, колыхалась на ветру. Тогда, пытаясь нащупать путь, на случай если придется отступить, Пельрен посмотрел назад — и содрогнулся: Кордильеры пришли в волнение.

— Теперь мне крышка.

Впереди остроконечная вершина, словно вулкан в миг извержения, выбросила столб снежной лавы. Потом фонтан снега взвился над другим пиком, немного правее. И вот стали вспыхивать все пики; казалось, их зажигает один за другим невидимый факельщик. Закружился первыми водоворотами воздух. И горы вокруг пилота закачались…

Неистовая схватка почти не оставляет следов; Пельрен искал и больше не находил в себе воспоминаний о мощных вихрях, которые завертели его. Он помнил только, как яростно барахтался в языках серого пламени.

Он задумался.

«Циклон — это ничего. Тут уж спасаешь свою шкуру. Но пока он еще не начался! Это первая встреча!..»

Ему казалось, что теперь среди тысячи лиц он сможет узнать это яростное лицо; и, однако, он уже забыл его.

IV

Ривьер смотрел на Пельрена. Через двадцать минут тот выйдет из машины и, утомленный, отяжелевший, смешается с толпой. Может быть, он подумает: «Ну и устал же я… Гнусная работенка!» И скажет жене: «А ведь здесь, пожалуй, лучше, чем над Андами», — или что-нибудь в этом роде… И однако, Пельрен почти отрешился от всего, за что так цепко держатся люди; он только что узнал, как все это мелко. Он прожил несколько часов по ту сторону декораций, прожил, не зная, будет ли ему дано вновь обрести этот город с его огнями, увидит ли он еще раз пусть скучноватых, но таких дорогих спутников детства — свои маленькие человеческие слабости.

«В любой толпе, — думал Ривьер, — есть люди, которые ничем из нее не выделяются. Но они вестники Чудесного и сами того не знают. Разве что…»

Ривьер боялся иных поклонников авиации. Они не понимали сокровенного смысла трудной жизни летчиков; их восторги извращали самое существо приключения и принижали людей. Но в Пельрене было благородное величие человека,

который просто лучше других знает, чего стоит наш мир, если взглянуть на него под определенным углом зрения, — величие человека, который грубовато пренебрегает пошлыми знаками одобрения…

Ривьер поздравил его по-своему:

— Как вам удалось?..

Ему нравилось, что Пельрен говорил о своем ремесле просто, говорил о полетах, как кузнец о своей наковальне.

Пельрен, чуть ли не извиняясь, начал объяснять: «Путь к отступлению оказался отрезан; у меня не было выбора». К тому же он ничего не видел: снег слепил глаза. Его спасли бешеные токи воздуха — они подбросили самолет на высоту семи тысяч метров. «Все время, пока я переваливал через горы, мне приходилось лететь вровень с вершинами». Он сказал также, что следовало бы переместить воздухозаборник гироскопа, а то его забивает снегом: «Понимаете, образуется ледяная корка…»

Потом новые воздушные потоки завертели Пельрена, отбросили его вниз, до трех тысяч метров. И как он только не наткнулся на скалы! Вдруг оказалось, что он летит уже над равниной. «Смотрю, а вокруг самолета — чистое небо!»

Пельрену показалось в тот миг, что он вышел из темной пещеры…

— В Мендосе — тоже буря?

— Нет. Когда я сел, небо было совсем чистое; никакого ветра. Но буря шла за мной по пятам.

Он описал ее, эту бурю, потому что, сказал он, «как-никак все это было довольно странно». Вершина бури терялась где-то в вышине, среди снежных туч, а основание катилось по равнине, как черный поток лавы. Он поглощал город за городом. «Отродясь не видал ничего подобного…» И Пельрен замолчал, настигнутый каким-то воспоминанием.

Ривьер обернулся к инспектору:

— Это циклон с Тихого океана; нас предупредили слишком поздно. Впрочем, такие циклоны никогда не переваливаются через Анды.

Кто мог предвидеть, что на этот раз циклон продолжит свой путь на восток…

Инспектор, ничего не понимавший в этих вещах, согласился с Ривьером.

Будто собираясь что-то сказать, инспектор обернулся к Пельрену; под кожей у инспектора заходил кадык. Но он промолчал и, словно передумав, опять стал смотреть прямо перед собой с меланхолическим достоинством.

Свою меланхолию инспектор возил с собой как багаж. Он приехал в Аргентину накануне, вызванный Ривьером для выполнения довольно неопределенных обязанностей, и не знал, куда девать свои большие руки и свое инспекторское достоинство. Он не имел права ни на выражение восторга, ни на фантазию, ни на остроумие; по своей должности он должен был восхищаться лишь одним качеством — пунктуальностью. Он не имел права выпить стаканчик-другой в компании приятелей, не имел права быть с товарищами на ты, не мог отважиться на каламбур — разве только свершится невозможное и судьба пошлет ему в каком-нибудь аэропорту встречу с другим инспектором.

«Трудно быть судьей», — думал он.

Говоря откровенно, суда он не вершил — он лишь качал головой. Встретившись с чем-то, чего он не понимал (а он не понимал ничего), он медленно качал головой. Это приводило в смятение тех, у кого совесть была нечиста, и способствовало исправному уходу за оборудованием. Его никто не любил: инспектор создан не для любовных утех, а для составления рапортов. Он отказался от мысли предлагать в рапортах какие-либо новые методы или технические усовершенствования

— отказался, с тех пор как Ривьер написал: «Инспектора Робино просят представлять не поэмы, а рапорты. Инспектору Робино надлежит употреблять свои знания для того, чтобы стимулировать служебное рвение персонала». И с той поры человеческие слабости стали его хлебом насущным. Он охотился за любившим выпить механиком, и за начальником аэродрома, явившимся на работу после разгульной ночи, и за пилотом, неумело посадившим самолет.

Ривьер говорил о нем: «Он не очень умен, поэтому приносит большую пользу». Правила, установленные Ривьером, были для самого Ривьера результатом изучения людей; для Робино существовало лишь изучение правил.

— Робино, — сказал ему как-то Ривьер, — во всех случаях, когда самолет вылетает с опозданием, вы должны лишать виновных премии за точность.

— Даже тогда, когда задержка от них не зависит? Даже в случае тумана?

— Даже в случае тумана.

И Робино испытал своего рода гордость: значит, человек, под чьим началом он служит, так силен, что не боится быть несправедливым. Значит, на Робино тоже падает отблеск величия этой власти,

не боящейся обижать людей.

— Вы дали отправление в шесть пятнадцать, — повторял он потом начальникам аэропортов. — Мы не можем выплатить вам премию.

— Но, господин Робино, ведь в пять тридцать за десять шагов не было видно ни зги!

— Правила есть правила.

— Господин Робино, не можем же мы разогнать туман!

Но Робино напускал на себя таинственность и молчал. Он представлял дирекцию. Из всех этих пешек он один понимал, что, наказывая людей, можно улучшать погоду.

«Он вообще не думает, — говорил о нем Ривьер, — это лишает его возможности думать неверно».

Пилот, калечивший машину, лишался премии за безаварийные полеты.

— А если пилот терпит аварию над лесом?

— Безразлично, хотя бы и над лесом.

И Робино неукоснительно следовал этому указанию.

— Я очень сожалею, — говорил он пилотам, упиваясь собственными словами, — я бесконечно сожалею, но старайтесь терпеть аварии не над лесом.

— Но, господин Робино! Ведь это от нас не зависит!

— Правила есть правила.

«Правила, — думал Ривьер, — похожи на религиозные обряды: они кажутся нелепыми, но они формируют людей». Ривьеру было безразлично, справедлив он в глазах людей или несправедлив. Быть может, слова «справедливость» и «несправедливость» вообще были лишены для него всякого смысла. В маленьких городках обыватели кружатся вечерами вокруг беседки, в которой играет музыка; Ривьер думал: «Какой смысл говорить о справедливости или несправедливости по отношению к ним: они пока еще не существуют». Человек был для него девственным воском, из которого предстояло что-то вылепить. В эту материю надо вдохнуть душу, наделить ее волей. Своей суровостью он хотел не поработить людей, а помочь им превзойти самих себя. Наказывая их за каждое опоздание, он совершал несправедливость, — но тем самым он устремлял волю людей, их помыслы на одно: на то, чтобы в каждом аэропорту самолеты вылетали без опозданий; он создавал эту волю. Не позволяя людям радоваться нелетной погоде как приглашению отдохнуть, он заставлял их напряженно ждать минуты, когда

небо прояснится; и каждый — вплоть до последнего подсобного рабочего — в душе воспринимал это ожидание как что-то унизительное. И они стремились использовать первую же трещину в небесной броне. «На севере — окно! В путь!» Благодаря Ривьеру на всей линии в пятнадцать тысяч километров господствовал культ своевременной доставки почты.

Ривьер говорил иногда:

— Эти люди счастливы: они любят свое дело, и любят его потому, что я строг.

Может быть, он и причинял людям боль, но он же давал им огромную радость. «Нужно заставить их жить в постоянном напряжении, — размышлял Ривьер, — жизнью, которая приносит им и страдания и радости; это и есть настоящая жизнь».

Когда машина въехала на улицы города, Ривьер приказал отвезти его в контору компании. Оставшись наедине с Пельреном, Робино посмотрел на летчика и заговорил.

V

В тот вечер Робино охватила тоска. Перед лицом Пельрена-победителя он только что обнаружил, насколько серой была его собственная жизнь. Обнаружил, что он, Робино, несмотря на свое звание инспектора, на свою власть, стоил меньше, чем этот разбитый усталостью, закрывший глаза человек с черными от масла руками, забившийся в угол машины. Впервые Робино испытывал восхищение и потребность выразить это чувство. А больше всего — потребность в дружбе. Он устал от поездки, от каждодневных неудач; он даже чувствовал себя немного смешным. В этот вечер, проверяя склад горючего, он совершенно запутался в цифрах, и тот самый кладовщик, которого он хотел поймать на злоупотреблениях, сжалился над ним и закончил за него подсчеты. Больше того, заявив, что масляный насос типа «Б-6» установлен неправильно, он спутал его с масляным насосом типа «Б-4», и коварные механики позволили ему добрых двадцать минут клеймить позором «невежество, которому нет оправдания», — его собственное невежество.

К тому же он боялся своей комнаты в гости-

нице. Везде, от Тулузы до Буэнос-Айреса, он шел после работы в свой неизменный номер. Обремененный переполнявшими его тайнами, он запирался на ключ, вынимал из чемодана стопу бумаги, медленно выводил слово «Рапорт» и, написав несколько строчек, рвал бумагу в клочки. Он страстно мечтал спасти компанию от великой опасности. Но компании никакая опасность не угрожала. До тех пор ему удалось спасти одну лишь втулку винта, тронутую ржавчиной. Неторопливо водя пальцем по этой ржавчине, он мрачно смотрел на стоявшего перед ним начальника аэродрома; тот ответил: «Обратитесь в посадочный пункт, откуда этот самолет только что прибыл...» Робино начинал сомневаться в значительности своей роли.

Желая сблизиться с Пельреном, он отважился предложить:

— Не пообедаете ли со мной? Мне хочется немного поболтать... Мои обязанности не так уж легки... — Но, боясь упасть в глазах пилота, тут же поправился: — На мне лежит такая ответственность!

Подчиненные не любили допускать Робино в свою частную жизнь. Каждый думал: «Пока он еще ничего не нашел для своего рапорта, но как

только он проголодается, он меня съест».

Однако в тот вечер Робино думал лишь о своих бедах: его подлинную тайну составляла тягостная экзема, постоянно мучившая его, и ему захотелось сегодня рассказать об этом, захотелось, чтобы его пожалели: не находя больше утешения в гордости, он искал его теперь в смирении. Во Франции у него была любовница: возвращаясь, он рассказывал ей по ночам о своей инспекционной деятельности, — это был его способ обольщения, — но он знал, что она не любит его, и сегодня ему было просто необходимо поговорить о ней.

— Так вы пообедаете со мной?

Пельрен великодушно согласился.

VI

Служащие дремали за столами буэнос-айресской конторы, когда вошел Ривьер. В своем неизменном пальто, в шляпе он, как всегда, был похож на вечного путешественника и почти не привлекал к себе внимания — так мало места он занимал, невысокий, сухощавый, так подходили к любой обстановке его седые волосы, его безликая одежда. Но люди ощутили внезапный прилив рвения. Зашевелились секретари, начал перелистывать последние документы заведующий бюро, застучали пишущие машинки.

Телефонист подключил аппарат и принялся что-то вписывать в толстую книгу регистрации телеграмм.

Ривьер сел и стал читать.

Самолет, который прибыл из Чили, выдержал испытание: перед Ривьером проходили события удачного дня, когда все как-то устраивается само собой, когда донесения, которые, облегченно вздыхая, посылают один за другим аэропорты, становятся скупыми сводками одержанных побед. Почтовый из Патагонии тоже шел быстро вперед; он даже опережал расписание: ветры

гнали с юга на север огромную попутную волну.

— Дайте метеосводки.

Каждый аэропорт хвастался ясной погодой, прозрачным небом, славным ветерком. Америку окутывал золотистый вечер. Ривьер радовался этому усердию природы. Где-то в ночи вел битву самолет из Патагонии, но у него были все шансы на победу.

Ривьер отодвинул тетрадь.

— Хорошо!

И вышел из кабинета, чтобы взглянуть, как работают люди, — ночной страж, бодрствующий над доброй половиной мира.

Он остановился перед открытым окном — и постиг ночь, эту ночь, принявшую Буэнос-Айрес, всю Америку под свои просторные своды. Он не удивился этому ощущению величия. Небо Сантьяго — небо чужой страны; но самолет идет в Сантьяго, люди по всей линии, из конца в конец, живут под одним бездонным куполом. Вот летит сейчас другой почтовый самолет, тот, чей голос так жадно ловят наушники радистов; еще недавно рыбаки Патагонии видели сверкание его бортовых огней. Чувство тревоги за находящийся в полете самолет ложится грузом не только на плечи Ривьера: услышав рокот мотора,

столичные города и провинциальные городишки чувствуют ту же тревогу.

Радуясь, что ночь так чиста, он вспомнил другие ночи, когда казалось, будто самолет погружается в хаос и спасти его невообразимо трудно… В такие ночи радиостанции Буэнос-Айреса слышат, как к жалобе самолета примешивается хруст гроз; за глухой оболочкой пустой породы теряется золотая жила музыкальной радиоволны. И какая скорбь звучит в минорной песне самолета, который, как слепая стрела, устремляется навстречу опасностям ночи!

«В ночь дежурства место инспектора — в конторе», — подумал Ривьер.

— Разыщите Робино!

Тем временем Робино старался завоевать дружбу пилота. В гостинице он распаковал перед Пельреном свой чемодан; из недр чемодана явились на свет те малозначительные предметы, которые сближают инспекторов с остальной частью человечества: несколько безвкусных сорочек, несессер с туалетными принадлежностями, фотография тощей женщины (инспектор приколол ее к стене). Так он смиренно исповедовался перед Пельреном в своих нуждах, в своих нежных чувствах, в своих печалях. Расклады-

вая перед летчиком эти жалкие сокровища, он выставлял напоказ свою нищету. Свою нравственную экзему. Он показывал свою тюрьму.

Но у Робино, как у всех людей, был в жизни маленький луч света. С бесконечной нежностью он извлек с самого дна чемодана небольшой, тщательно завязанный мешочек. Он долго поглаживал его ладонью, не произнося ни слова. Потом разжал наконец руки:

— Я привез это из Сахары…

Инспектор даже покраснел от столь смелого признания. Его мучили неприятности; он был несчастлив в браке; жизнь его была безотрадной, и он находил утешение в маленьких черных камешках: они приоткрывали перед ним дверь в мир тайны.

— Точно такие же попадаются иногда и в Бразилии, — сказал он и покраснел еще больше.

Пельрен потрепал по плечу этого инспектора, склонившегося над легендарной Атлантидой…

Что-то похожее на стыдливость заставило Пельрена спросить:

— Вы интересуетесь геологией?

— Это моя страсть.

Во всем мире только камни были к нему мягки.

Робино вызвали в контору; он стал грустен, но обрел при этом свое обычное достоинство.

— Я вынужден вас покинуть: господин Ривьер требует меня по весьма важному делу.

Когда Робино вошел в контору, Ривьер успел о нем забыть. Он размышлял, глядя на стенную карту, где красной краской была нанесена сеть авиалиний компании. Инспектор ждал его приказаний. После долгих минут молчания Ривьер, не поворачивая головы, спросил:

— Что вы думаете об этой карте, Робино?

Возвращаясь из мира грез, Ривьер предлагал иногда своим подчиненным подобные ребусы.

— Эта карта, господин директор…

Честно говоря, инспектор ничего о ней не думал; с суровым видом он созерцал карту и чувствовал, что инспектирует сразу Европу и Америку. И Ривьер между тем продолжал свои раздумья: «Лицо этой сети прекрасно, но грозно. Красота, стоившая нам многих людей, — молодых людей. На этом лице гордое достоинство отлично сработанной вещи; но сколько еще проблем ставит оно перед нами!..» Однако важнее всего для Ривьера всегда была цель.

Робино по-прежнему стоял рядом, уставившись на карту; он понемногу приходил в себя. От ди-

ректора он не ждал сочувствия.

Однажды он попытался было разжалобить Ривьера, рассказав о своем нелепом, портившем ему жизнь недуге, но тот ответил насмешкой:

— Экзема мешает вам спать, значит, она побуждает к действию.

В этой шутке Ривьера была большая доля правды. Он утверждал:

— Если бессонница рождает у музыканта прекрасные произведения — это прекрасная бессонница!

Как-то он сказал, указывая на Леру:

— Подумайте, как прекрасно уродство: оно гонит прочь любовь…

Может быть, всем тем высоким, что жило в Леру, он был обязан обидчице судьбе, которая свела его жизнь к одной лишь работе.

— Вы очень близки с Пельреном?

— Гм…

— Я не упрекаю вас.

Ривьер повернулся и, нагнув голову, стал ходить по комнате мелкими шагами, увлекая за собой Робино. На устах директора заиграла печальная улыбка, значения которой Робино не понял.

— Только… Только помните, что вы — началь-

ник.

— Да, — сказал Робино.

А Ривьер подумал, что вот так каждую ночь завязывается в небе узелок новой драмы. Ослабнет воля людей — жди поражения; а предстоит, быть может, тяжелая борьба.

— Вы не должны выходить из роли начальника. — Ривьер будто взвешивал каждое слово. — Возможно, ближайшей ночью вы отправите этого летчика в опасный рейс; он должен вам повиноваться.

— Да.

— В ваших руках, можно сказать, жизнь людей, и эти люди — лучше, ценнее вас… — Он запнулся. — Да, это важно.

Ривьер по-прежнему ходил мелкими шагами; несколько секунд он помолчал.

— Если они повинуются вам из дружбы — значит, вы их обманываете. Ведь вы, вы лично, не имеете права требовать от людей никаких жертв.

— Да, конечно…

— Если же они надеются, что ваша дружба может избавить их от трудной работы, тогда вы опять-таки их обманываете: они обязаны повиноваться в любом случае. Сядьте-ка.

Ривьер мягко подтолкнул Робино к своему столу.

— Я хочу напомнить вам о ваших обязанностях, Робино. Если вы устали, не у этих людей вам искать поддержки. Вы — начальник. Ваша слабость смешна. Пишите.

— Я…

— Пишите: «Инспектор Робино налагает на пилота Пельрена такое-то взыскание за такой-то проступок». Проступок найдете сами.

— Господин директор!

— Исполняйте, Робино! Действуйте так, как если бы вы поняли. Любите подчиненных. Но не говорите им об этом.

Отныне Робино будет с новым рвением требовать, чтобы на втулках не было ржавчины.

Один из аэродромов линии сообщил по радио: «Показался самолет. Летчик дает сигнал: “Неисправность в моторе. Иду на посадку”».

Значит, будут потеряны полчаса. Ривьер обозлился; так бывает при внезапной остановке курьерского поезда в пути, когда минуты начинают бежать вхолостую, уже не отдавая своей доли покоренных просторов. Большая стрелка часов на стене отсчитывала теперь мертвое пространство… А сколько событий могло бы вместиться в

этот раствор циркуля!

Чтобы обмануть тягостное ожидание, Ривьер вышел из комнаты, и ночь показалась ему пустой, как театр без актеров. «И такая ночь пропадает зря!» Со злобой смотрел он на чистое небо, украшенное звездами, на эти божественные сигнальные огни, на луну, — смотрел, как попусту растрачивается золото такой ночи.

Но как только самолет поднялся в воздух, ночь снова стала для Ривьера волнующе прекрасной. Она несла в своем лоне жизнь. Об этой жизни и заботился Ривьер.

— Запросите экипаж, какая у них погода.

Промелькнули десять секунд.

— Превосходная.

Последовали названия городов, над которыми пролетал самолет, и для Ривьера это были крепости, взятые с бою.

VII

Часом позже бортрадист патагонского почтового ощутил легкий толчок, точно кто-то приподнял его за плечи. Он посмотрел вокруг — тяжелые тучи притушили свет звезд. Он наклонился к земле, надеясь отыскать огни деревень, похожие на прячущихся в траве светлячков, но в этой черной траве ничто не сверкало.

Он с тоской подумал, что предстоит трудная ночь: наступление, отступление, захваченные территории, которые приходится возвращать врагу. Он не понимал тактики пилота; ему казалось, что они скоро врежутся в толщу ночи, как в стену.

Теперь он заметил впереди, на горизонте, какие-то едва уловимые отблески, словно зарево над кузницей. Радист тронул Фабьена за плечо, но пилот не пошевельнулся.

Первые волны дальней грозы докатились до самолета. Металл слегка всколыхнулся всей своей массой, навис тяжестью над телом радиста, потом будто растворился, растаял, и несколько секунд радист плыл один в ночной тьме. Тогда он вцепился обеими руками в стальные лонжероны.

Во всей вселенной радист видел только красную лампочку, освещавшую кабину, и содрогнулся, представив, как он спускается в самое сердце ночи под защитой одной только крохотной шахтерской лампы. Он не посмел тревожить пилота вопросами. Сжав руками сталь, подавшись вперед к Фабьену, смотрел он в его угрюмый затылок.

В слабом свете вырисовывалась голова, неподвижные плечи. Большое темное тело чуть склонилось влево; обращенное к буре лицо омывалось, должно быть, отблесками грозы. Но этого радист не видел. Все чувства, торопливо сменявшие друг друга на устремленном к буре лице — гримаса досады, воля, гнев, — все сигналы, которыми бледное лицо пилота обменивалось с короткими вспышками грозовых огней, все это оставалось для радиста непостижимым.

Но он угадывал мощь, затаившуюся в самой неподвижности этой темной фигуры. Он восхищался мощью, которая неудержимо влекла его навстречу грозе, но и защищала его. Он знал, что руки, сомкнувшиеся на штурвале, уже пригнули бурю, как загривок зверя; а сильные, пока еще неподвижно застывшие плечи хранят огромный запас энергии.

Радист подумал, что в конце концов вся ответственность ложится на пилота. И, словно усевшись на круп коня, летящего галопом в объятия пожара, радист с наслаждением ощутил материальную, весомую, прочную силу, которая струилась из этой неподвижно застывшей впереди черной фигуры.

Слева, как маяк с мигающим огнем, слабо вспыхнул новый очаг.

Радист хотел было дотронуться до плеча Фабьена, предупредить его, но летчик сам уже медленно поворачивал голову и несколько секунд смотрел в лицо новому врагу; потом, так же медленно, он принял прежнее положение: все те же неподвижные плечи, тот же прижатый к кожаной спинке затылок.

VIII

Ривьер вышел на улицу. Ему хотелось немного пройтись, хотелось заглушить ту тревогу, которая снова овладела им. Он, чья жизнь всегда была посвящена только действию, действию, проникнутому драматизмом, он с удивлением ощутил, как эта драма уступает место какой-то иной, его личной драме. Он подумал, что жизнь обывателей в маленьких городишках, на первый взгляд тихая, скользящая вокруг музыкальных павильонов, — подчас тоже таит в себе тяжкие драмы: болезнь, любовь, смерть и, может быть... Собственная болезнь многому его научила. «Будто открылись какие-то новые окна», — думал он.

Позже, часам к одиннадцати вечера, почувствовав себя лучше, Ривьер зашагал обратно, к конторе. Неторопливо пробирался он среди людей, толпившихся у входа в кинотеатры. Он поднял глаза к звездам, которые сверкали над узкой улицей и, отступая перед огнями реклам, таяли в небе. «Сегодня в полете два почтовых. Сегодня вечером я отвечаю за все небо. Далекая звезда подает мне знак. Она ищет меня в толпе. Она нашла меня. Вот почему я чувствую себя

каким-то чужим, одиноким».

Вспомнилась музыкальная фраза — несколько нот из сонаты, которую слушал он вчера в кругу приятелей. Приятели не поняли музыки.

— Такое искусство наводит скуку. И на вас тоже, только вы не хотите в этом признаться.

— Возможно, — ответил он.

Как и теперь, он тогда почувствовал себя одиноким, но тут же понял, как обогащает его такое одиночество. Музыка несла ему некую весть — ему одному среди всех этих недалеких людей. Задушевно поверяла она свою тайну, как знак, что подает ему звезда. Через головы стольких людей она говорила с ним на языке, понятном ему одному.

На тротуарах Ривьера толкали. Он подумал: «Стоит ли раздражаться? Я — как человек, у которого болен ребенок; медленно идет он в толпе и несет в душе великое безмолвие своего дома».

Ривьер смотрел на людей. Он пытался распознать тех, кто бережно хранит в душе свое открытие или свою любовь. Он думал о том, как одиноки смотрители маяков.

* * *

Ривьеру была приятна тишина конторы. Медленно шел он по комнатам, и его шаги одиноко отдавались в пустом здании. Пишущие машинки спали под чехлами. За сомкнувшимися дверцами огромных шкафов лежали ровные ряды канцелярских папок. Десять лет опыта и труда! Ему представилось: он ходит по подвалам банка, вокруг громоздятся несметные богатства. Он думал о том, что каждая из его ведомостей накопила в себе нечто более ценное, чем золото, — живую силу, хотя и заснувшую, как золото в банковских кладовых.

В одной из комнат он встретит сейчас единственного бодрствующего здесь человека — дежурного секретаря. Тот работает, чтобы продолжалась жизнь, чтобы продолжались усилия человеческой воли, чтобы никогда и нигде, от Тулузы до Буэнос-Айреса, не обрывалась цепь.

«И человек этот даже не догадывается о собственном величии».

Где-то ведут сейчас борьбу почтовые самолеты. Ночной полет тянется долго, словно болезнь. Возле самолета надо дежурить, как у постели больного. Необходимо помогать людям, которые

руками, коленями, грудью встречают ночной мрак, бьются с ним лицом к лицу и для которых не существует — во всем мире не существует ничего, кроме зыбких, невидимых стихий. Силой собственных рук, вслепую, должны они вырвать себя из этих стихий, точно из морской пучины. Как страшно может прозвучать иногда признание: «Чтоб разглядеть свои руки, мне пришлось их осветить...» В красном свете выступает лишь бархат рук, словно брошенных в ванночку с проявителем. Это все, что остается от вселенной, и это необходимо спасти.

Ривьер толкнул дверь, ведущую в отдел эксплуатации. Отбрасывая в угол светлое пятно, в комнате горела единственная лампочка. Стрекотанье пишущей машинки придавало тишине какой-то особый смысл, но не нарушало ее. Время от времени трепетал в воздухе телефонный звонок; дежурный секретарь вставал со своего места и шел навстречу этому зову, настойчивому и грустному. Он снимал трубку, и неясная тревога исчезала; в затканном тенью углу начинался тихий разговор. Потом человек бесстрастно возвращался к столу; выражение сонливого одиночества, застывшее на его лице, скрывало неведомую тайну. В часы, когда два почтовых

находятся в полете, каждый призыв, идущий оттуда, снаружи, из ночи, несет в себе угрозу. Ривьер подумал о телеграмме, которая внезапно обрушивается на сидящую вокруг лампы семью, когда в течение нескольких бесконечно долгих секунд лицо отца, прочитавшего телеграмму, еще не выдает своей страшной тайны. Лишь пробегает по лицу легкая волна — такая спокойная, непохожая на крик о помощи… И каждый раз в приглушенном телефонном звонке Ривьеру слышалось глухое эхо этого крика. Одиночество замедляло движения дежурного, делало его похожим на пловца, который барахтается в волнах. Когда он возвращался из темного угла к своей лампе, казалось, что пловец вынырнул из глубин, и каждый раз в движениях человека Ривьеру чудилась давящая тяжесть тайны.

— Сидите. Я подойду.

Ривьер снял трубку и услышал гуденье ночного мира.

— Говорит Ривьер.

Слабый шум, потом голос:

— Соединяю вас с радиостанцией.

Снова шум, треск переключаемых контактов; потом другой голос:

— Говорит радиостанция. Передаем телеграм-

мы.

Ривьер записывал, кивая головой:

— Так… так…

Ничего существенного. Обычные служебные сводки. Из Рио-де-Жанейро требовали разъяснений, Монтевидео говорил о погоде, а Мендоса — о техническом оборудовании. Привычные, домашние звуки.

— А самолеты?

— Гроза. Самолетов не слышим.

— Понятно.

«Здесь ясная, звездная ночь, — думал Ривьер, — а радисты уже уловили в ней дыхание далеких гроз».

— До свидания.

Ривьер поднялся. К нему подошел секретарь.

— Бумаги на подпись, господин директор…

— Хорошо.

Ривьер вдруг ощутил прилив дружелюбия к товарищу по работе, на которого тоже взвален груз этой ночи. «Мы вместе ведем бой, — думал Ривьер. — А он так никогда и не узнает, как крепко связывает нас это ночное бдение».

IX

Войдя с пачкой бумаг в свой кабинет, Ривьер почувствовал ту острую боль в правом боку, которая вот уже несколько недель не давала ему покоя.

«Плохо дело».

На секунду прислонился к стене.

«Экая нелепость!»

Добрался до кресла.

И снова — в который раз — он, старый лев, ощутил на себе путы, и глубокая печаль охватила его.

«Столько трудов — и прийти к такому итогу! Мне за пятьдесят. Полвека наполнял я свою жизнь до краев, создавал самого себя, боролся, изменял ход событий — и вот что занимает меня теперь, вот что наполняет меня, вот что вытесняет весь остальной мир. Какая нелепость!»

Он отер пот, подождал, пока боль отпустит его, и принялся за работу.

Медленно перелистывал он бумаги.

«В ходе разборки мотора 301 в Буэнос-Айресе замечено… Наложить на виновного строгое взыскание».

Он подписал.

«На посадочной площадке Флорианополиса вопреки инструкциям…»

Он подписал.

«В дисциплинарном порядке заменить начальника аэродрома Ришара, который…»

Он подписал.

Боль в боку затаилась, но не уходила; она жила в Ривьере как нечто новое, придавая жизни новый смысл, и заставляла Ривьера думать о себе самом — думать с горечью: «Справедлив я или несправедлив? Не знаю. Я караю — и число аварий сокращается. Ответственность за аварии лежит не на человеке, а на какой-то безликой силе, и овладеть этой силой можно лишь тогда, когда держишь людей в руках. Будь я всегда справедлив, каждый ночной полет превращался бы в игру со смертью».

Ривьера вдруг охватила усталость; большого труда стоило ему так неумолимо стоять на своем. Он подумал: «А как хорошо было бы пожалеть людей…»

Погруженный в свои мысли, он по-прежнему перелистывал бумаги. «…что до Робле, то с сегодняшнего дня он не числится больше в составе нашего персонала».

Ривьер вспомнил старика Робле, вспомнил вчерашний разговор…

— Урок. Это будет хороший урок для остальных.

— Но, мсье!.. Взгляните, мсье!..

Потрепанный бумажник, в нем — старый газетный лист: молодой Робле сфотографирован рядом с самолетом.

Ривьер видит, как дрожит в старческих руках наивное свидетельство былой славы…

— Это было в девятьсот десятом, мсье… Ведь это я собрал первый в Аргентине самолет! Я в авиации с девятьсот десятого года… Двадцать лет, мсье! И как вы только можете говорить… А молодые!.. Они будут смеяться надо мной в цеху… Ох, как они будут смеяться!

— Это не относится к делу.

— А мои дети, мсье! У меня дети!..

— Я вам уже сказал: вы получите место подсобного рабочего.

— Но мое достоинство, мсье, мое достоинство! Подумайте, мсье, двадцать лет в авиации, старый рабочий — и вдруг…

— Место подсобного рабочего.

— Я отказываюсь, мсье, отказываюсь!

Старческие руки дрожат, и Ривьер старается

не смотреть на эти морщинистые, загрубевшие, такие прекрасные руки.

— Место подсобного рабочего.

— Нет, мсье, нет… Я хочу вам сказать…

— Можете идти.

«Я прогнал с такой жестокостью не его, — думает Ривьер. — Я прогнал зло, за которое он, быть может, и не отвечает, но орудием которого он стал.

Ибо обстоятельствами надо управлять — и они повинуются, и ты созидаешь. Да и людей созидаешь. Или устраняешь, если они — орудие зла».

«Я хочу вам сказать…»

Что хотел сказать ему несчастный старик? Что у него на старости лет отнимают единственную радость? Что ему дорог самый стук инструментов по металлу самолета? Что его жизнь лишается великой поэзии? И потом… что нужно как-то жить?

«Я очень устал, — думал Ривьер. В нем поднимался какой-то ласковый жар. Он постучал по бумаге, подумал: — Я так любил лицо этого старого товарища…» И снова увидел руки старика, снова вспомнил, как они слабо вздрогнули, словно их пальцы хотели крепко сплестись. Достаточно было сказать: «Ну ладно, ладно, оста-

вайтесь», — и по старым рукам пробежала бы волна радости, грезил Ривьер, и эта радость, о которой сказало бы не лицо, сказали бы старые рабочие руки, — эта радость была бы для Ривьера самой прекрасной радостью в мире. «Разорвать бумагу?..» Семья старика, его возвращение вечером домой — и скромная гордость:

— Так, значит, тебя оставляют?

— Еще бы! Еще бы! Ведь это я собрал первый в Аргентине самолет!

И молодежь в цеху не будет больше смеяться, и к старику опять будут относиться с уважением...

«Разорвать?»

Позвонил телефон. Ривьер взял трубку.

Долгое молчание. Потом отголоски, гулкая глубина, которую придают человеческим голосам пространство и ветер. Наконец из трубки послышалось:

— Говорит аэродром. Кто у аппарата?

— Ривьер.

— Господин директор, шестьсот пятидесятому дано отправление.

— Хорошо.

— Наконец все в исправности. Но пришлось в последний момент чинить проводку: оказались поврежденными контакты.

— Хорошо. Кто монтировал цепь?

— Мы проверим. Если разрешите, применим строгие меры: неисправность освещения на борту — вещь очень опасная!

— Разумеется.

Ривьер думал: «Если не вырывать с корнем зло, не вырывать его всякий раз, как с ним сталкиваешься, тогда во время полета погаснет свет. Знать орудия зла и не бороться со злом — преступление. Нет, Робле должен уйти».

Секретарь ничего не видел, он по-прежнему стучал на машинке.

— Что вы печатаете?

— Двухнедельный отчет.

— Почему он до сих пор не готов?

— Я…

— Придется проверить.

«Странно видеть, как берут верх случайные обстоятельства, как проступает наружу огромная темная сила, та самая, что приводит в смятение бескрайние девственные леса, та самая, что растет, ширится, неистово бьет ключом повсюду, где только затевается большое дело». Ривьеру подумалось — под натиском тонких лиан рушатся гигантские храмы.

«Большое дело…»

Ривьер пытался убедить самого себя: «Эти люди… Я люблю их. Я борюсь не с ними, а с тем злом, которое действует через них…»

Его сердце билось коротко, часто, больно.

«Я не знаю, хорошо ли то, что я делаю. Не знаю точной цены ни человеческой жизни, ни справедливости, ни горю. Не знаю толком, чего стоит радость человека! Не знаю, чего стоит дрожащая рука. И какова цена жалости и ласке…»

Он грезил наяву: «Жизнь полна противоречий… Каждый выпутывается из них как может… Но завоевать право на вечность, но творить — в обмен на свою бренную плоть…»

После краткого раздумья Ривьер позвонил.

— Передайте пилоту европейского почтового: пусть зайдет ко мне перед вылетом.

И подумал: «Нельзя допустить, чтобы этот почтовый опять делал крюк. Если я не встряхну как следует моих людей, они никогда не избавятся от страха перед ночью».

X

Жена пилота, разбуженная телефонным звоном, посмотрела на мужа, подумала: «Пусть еще немного поспит».

Она любовалась его могучей обнаженной грудью; он был словно красавец корабль.

Он спал в своей мирной постели, как в гавани, и, чтобы ничто не тревожило его сон, она расправляла пальцем складки, словно прогоняя тени, словно разглаживая легкую зыбь и успокаивая постель; так прикосновение божества смиряет море.

Она встала, распахнула окно, подставила лицо ветру. Из окна открывался весь Буэнос-Айрес. В соседнем доме танцевали; ветер доносил обрывки мелодий — был час развлечений и отдыха. Город запрятал людей в свои сто тысяч крепостей; кругом все дышало спокойствием и уверенностью; но женщине казалось, что вот-вот раздастся призыв: «К оружию!» — и на этот клич отзовется один-единственный человек, ее муж. Он еще спал, но то был тревожный сон военных резервов, которые скоро будут брошены в бой. Дремлющий город не защищал его; жалкими покажутся

летчику городские огни, когда он, молодой бог, взлетит над их пылью. Жена посмотрела на сильные ладони, которым через час будет вручена судьба европейского почтового, ответственность за что-то большое, подобное судьбе целого города. И в сердце закралась тревога. Этот человек — один среди миллионов — был предназначен для необычного жертвоприношения. Ей стало тоскливо. Он уйдет, ускользнет от ее нежности. Она лелеяла, ласкала, охраняла его не для себя, а для сегодняшней ночи, и эта ночь сейчас возьмет его — для битв, для тревог, для побед, о которых она никогда не узнает. Ей удалось на краткий срок приручить эти ласковые руки, но она лишь смутно представляла себе их истинное назначение. Она знала улыбку этого человека, знала чуткость влюбленного; но она не знала, как божественно гневен бывает он, оказавшись в сердце грозы. Она обвивала его нежными путами любви, музыки, цветов; но в час отлета он неизменно сбрасывал эти путы и, видимо, ничуть об этом не сожалел.

Он открыл глаза:

— Который час?

— Полночь.

— Какая погода?

— Не знаю…

Он поднялся. Потягиваясь, медленно подошел к окну.

— Сегодня я, пожалуй, не замерзну. А какое направление ветра?

— Ты так спрашиваешь, словно я в этом что-нибудь смыслю…

Он выглянул в окно.

— Южный. Прекрасно! Такой ветер удержится по меньшей мере до Бразилии.

Он увидел луну и почувствовал себя совсем богатым. Потом перевел взгляд вниз, на город.

Город не был сейчас для него ни желанным, ни светлым, ни теплым. Он уже видел, как развеивается по ветру бесполезная пыль огней большого города.

— О чем ты думаешь?

Он думал о том, что возле Порто-Аллегре возможен туман.

— У меня своя тактика. Я знаю, как его обойти.

Он все еще смотрел, наклонившись, в окно и глубоко дышал, словно обнаженный пловец перед прыжком в море.

— Ты как будто не очень грустишь… На сколько дней ты улетаешь?

— Дней на восемь, на десять.

Он точно не знает. И отчего ему грустить?..

Равнины, горы, города — он отправляется их покорять. Он — вольная птица. Не пройдет и часа — он будет держать в руках весь Буэнос-Айрес, а потом отбросит его назад.

Он улыбнулся:

— Этот город… Скоро я буду далеко! Хорошо улетать ночью! Повернешь к югу, дашь газ, и через десять секунд весь ландшафт уже опрокинут и ты летишь на север. И город под тобой — как морское дно.

Она подумала: «От многого должен отказаться завоеватель…»

— Ты не любишь свой дом?

— Люблю…

Но жена знала: он уже далеко от нее. Его широкие плечи уже раздвигают небосвод.

Она показала ему на небо.

— Смотри, что за погода! Твоя дорога вымощена звездами.

Он рассмеялся.

— Да.

Положив руку ему на плечо, она с волнением почувствовала прохладу его кожи. И этому телу угрожает опасность!..

— Я знаю, ты сильный. Но будь благоразумен.

— Ну конечно, я благоразумен…

И опять рассмеялся.

Он начал одеваться. Отправляясь на свой праздник, он наряжался в самые грубые ткани, в самую тяжелую кожу; он одевался, как крестьянин. И чем тяжелее он становился, тем больше она любовалась им. Помогла застегнуть пряжку пояса, натянуть сапоги.

— Эти сапоги жмут.

— Вот другие.

— Отыщи-ка шнур, чтобы привязать запасной фонарик.

Она оглядела мужа, в последний раз проверила его доспехи.

Все пригнано как следует.

— Какой ты красивый!

Он тщательно причесывался.

— Это для звезд?

— Это — чтоб не чувствовать себя стариком.

— Я ревную…

Он снова рассмеялся, обнял ее, прижал к своей тяжелой одежде. Потом взял ее, как маленькую, на руки и — все с тем же смехом — положил на кровать:

— Спи!

Закрыв за собой дверь, он вышел на улицу и среди преображенной мраком толпы сделал свой

первый шаг к завоеванию ночи.

Она осталась одна. Печально смотрела она на цветы, на книги — на все то нежное, мягкое, что для него было лишь дном морским.

XI

Его принимает Ривьер.

— В последнем рейсе вы выкинули номер. Пошли в обход. А метеосводки были прекрасные, вы свободно могли пройти напрямик. Испугались?

Захваченный врасплох, пилот молчит, медленно трет ладони. Потом поднимает голову и смотрит Ривьеру прямо в глаза:

— Да.

В глубине души Ривьеру жаль этого смелого парня, который вдруг ощутил страх.

Пилот оправдывается:

— Я больше ничего не видел. Конечно, радио сообщало, это верно… Может быть, дальше… Но бортовой огонь почти исчез, я даже не видел собственных рук. Хотел включить головную фару, чтобы хоть крыло разглядеть, — все такая же тьма. Показалось, что я на дне огромной ямы и из нее не выбраться. А тут еще мотор стал барахлить…

— Нет.

— Нет?

— Нет. Мы его потом осмотрели. Мотор в полном порядке. Но стоит испугаться — и сразу

кажется, что мотор барахлит.

— Да как тут было не испугаться? На меня давили горы. Хотел набрать высоту — попал в завихрение. Вы сами знаете: когда ничего не видишь — и еще завихрения… Вместо того чтобы подняться, я потерял сто метров. И уже не видел ни гироскопа, ни приборов. И стало казаться, что мотор не тянет и что он перегрелся, что давление масла… И все это — в темноте. Как болезнь… Ну и обрадовался я, когда увидел освещенный город!

— У вас слишком богатая фантазия. Идите.

И пилот выходит.

Ривьер поглубже усаживается в кресло, проводит рукой по седым волосам.

«Это самый отважный из моих людей. Он вел себя в тот вечер превосходно. Но я спасаю его от страха…»

И снова, как минутная слабость, возник соблазн.

«Чтобы тебя любили, достаточно пожалеть людей. Я никого не жалею — или скрываю свою жалость. А хорошо бы окружить себя дружбой, теплотой! Врачу это доступно. А я направляю ход событий. Я должен выковывать людей, чтобы и они направляли ход событий. Вечером, в кабинете, перед пачкой путевых листов особенно

остро ощущаешь этот неписаный закон. Стоит только ослабить внимание, позволить твердо упорядоченным событиям снова поплыть по течению — и тотчас, как по волшебству, начинаются аварии. Словно моя воля — только она одна — не дает самолету разбиться, не дает ураганам задержать его в пути. Порою сам поражаешься своей власти».

Он продолжает размышлять.

«И тут нет, пожалуй, ничего странного. Так садовник изо дня в день ведет борьбу на своем газоне… Извечно вынашивает в себе земля дикий первозданный лес; но тяжесть простой человеческой руки ввергает его обратно в землю».

Он думает о пилоте.

«Я спасаю его от страха. Я нападаю не на него, а на то темное, цепкое, что парализует людей, столкнувшихся с неведомым. Начни я его слушать, жалеть, принимать всерьез его страхи — и он поверит, что и впрямь побывал в некоей загадочной стране; а ведь именно тайны — только ее — он и боится; нужно, чтобы не осталось никакой тайны. Нужно, чтобы люди опускались в этот мрачный колодец, потом выбирались из него и говорили, что не встретили там ничего загадочного. Нужно, чтобы вот этот человек про-

ник в самое сердце, в самую таинственную глубь ночи, в ее толщу, не имея даже своей шахтерской лампочки, которая освещает только руки или крыло, — и чтобы он своими широкими плечами отодвинул прочь неведомое».

Но даже в этой борьбе Ривьера и его пилотов связывало молчаливое братство. Они были людьми одной закалки, ими владела та же жажда победы. Но Ривьер помнил и о других битвах, которые приходилось ему вести за покорение ночи.

В официальных кругах на мрачные владения ночи смотрели с опаской, как на неизведанные лесные дебри. Заставить экипаж устремиться со скоростью двухсот километров в час навстречу бурям, туманам и всем тем угрозам, что таит в себе ночь, казалось рискованной авантюрой, допустимой лишь в военной авиации: вылетаешь с аэродрома в безоблачную ночь, проводишь бомбежку — и той же ночью возвращаешься на тот же аэродром. Но регулярные ночные рейсы обречены на неудачу.

«Ночные полеты — это для нас вопрос жизни и смерти, — отвечал Ривьер. — Каждую ночь мы теряем полученный за день выигрыш во времени — теряем наше преимущество перед железной

дорогой и пароходом».

С досадой и скукой слушал Ривьер все эти разговоры: финансовая сторона дела, безопасность, общественное мнение… «Общественным мнением нужно управлять», — возражал он. Он думал: «Сколько времени пропадает напрасно! И все же есть в жизни нечто такое, что всегда побеждает! Живое должно жить, и, для того чтобы жить, оно сметает с пути все помехи. Для того чтобы жить, оно создает свои собственные законы. Оно неодолимо». Ривьер не знал, когда гражданская авиация овладеет ночными полетами, не знал, какими путями она это совершит, но он знал, что это неизбежно и что готовиться к этому нужно уже сейчас.

Ему вспоминаются зеленые скатерти, за которыми он сидел, подперев кулаком подбородок и слушая со странным сознанием собственной силы бесконечные возражения. Эти возражения казались ему бесцельными, осужденными на гибель самой жизнью. И он чувствовал, как растет, наливаясь тяжестью, его сила. «Мои доводы неопровержимы, победа останется за мной, — думал Ривьер. — К этому ведет естественный ход событий».

Когда от него требовали каких-то гарантий,

каких-то решений, устраняющих всякий риск, он отвечал:

— Законы выводятся на основании опыта: познание законов никогда не предшествует опыту.

После долгого года борьбы Ривьер добился своего. «Добился благодаря своей убежденности», — говорили одни. «Благодаря своему упорству, медвежьей силе, которая крушит все на пути», — заявляли другие. «Просто потому, что я избрал верное направление», — думал сам Ривьер.

Но сколько предосторожностей пришлось принимать вначале! Самолеты вылетали с аэродрома лишь за час до рассвета и приземлялись не позже чем через час после захода солнца. И, только накопив некоторый опыт, Ривьер решился послать почтовые самолеты в ночные глубины. Почти лишенный последователей, осуждаемый чуть ли не всеми, он боролся теперь в одиночестве.

Ривьер звонит, чтобы узнать, каковы последние сообщения с борта самолетов.

XII

Тем временем патагонский почтовый вплотную подошел к буре, и Фабьен отказался от мысли обойти ее стороной. Он понял, что гроза охватила слишком большое пространство: линия молний уходила далеко вглубь, озаряя бастионы туч. И он решил: «Попытаюсь пройти под грозой, нырнуть под нее, ну а уж если не удастся — лягу на обратный курс».

Он посмотрел на высотомер. Тысяча семьсот метров. Дал ручку от себя, чтобы начать снижение. Мотор сразу стал сильно трясти, самолет задрожал. Фабьен на глаз выправил угол планирования, потом проверил по карте высоту холмов: пятьсот метров. Чтобы сохранить разрыв между собой и холмами, он решил идти на высоте семисот.

Фабьен жертвовал высотой; так игрок ставит на банк все свое состояние.

Самолет попал в завихрение, провалился вниз и задрожал еще сильнее. Фабьен почувствовал, что ему угрожает невидимый обвал. Ему представилось: машина поворачивает назад и возвращается в мир ста тысяч звезд… Но Фабьен

не меняет курса ни на один градус.

Пилот взвешивает... Возможно, гроза носит лишь местный характер. Ведь Трелью — ближайший аэропорт — сообщил, что небо закрыто на три четверти. Значит, в этой черной, плотной, как бетон, массе ему предстоит прожить всего каких-нибудь двадцать минут. И все же пилот в тревоге. Наклонившись влево, навстречу упругому ветру, он пытается найти те смутные проблески, которые обычно пробивают даже самую непроглядную ночную темь. Но сейчас нет даже проблесков — лишь едва заметно меняется плотность мрака. Быть может, его просто обманывает утомленное зрение.

Он развертывает записку радиста: «Где мы?»

Дорого дал бы Фабьен за то, чтобы это знать. Он отвечает: «Не знаю. Идем по компасу сквозь грозу».

Он опять наклоняется. Его беспокоит пучок выхлопного пламени, повисший на моторе, как огненный букет; пламя так бледно, что, появись луна, оно тотчас растворилось бы в лунном свете; но в этом мраке небытия оно вбирает в себя весь зримый мир. Пилот видит, как ветер туго сплетает языки огня, похожие на пылающие факелы.

Каждые тридцать секунд Фабьен нагибается

к приборам, чтобы проверить гироскоп и компас. Он не рискует больше включать красные лампочки: они надолго ослепляют его; но от приборов со светящимися циферблатами льется бледное звездное сияние. Здесь, среди стрелок и цифр, пилот испытывает обманчивое чувство безопасности; подобное ощущение бывает у человека в каюте корабля, когда волны перекатываются через палубу. С такой же ужасающей неумолимостью на самолет катится ночь и с нею все, что несет она в своем мраке: скалы, обломки, холмы…

«Где мы?» — снова спрашивает радист.

Фабьен опять наклоняется влево и возобновляет свое угрюмое бдение. Он уже не знает, сколько времени, сколько усилий понадобится ему, чтобы сбросить эти мрачные узы. Быть может, он вообще никогда не освободится от них; он поставил свою жизнь на карту — на эту грязную и скомканную бумажку, которую он разворачивает и читает в тысячный раз, стремясь почерпнуть в ней надежду. «Трелью: небо закрыто на три четверти, ветер западный, слабый». Если Трелью закрыт на три четверти, то в разрывах туч можно будет разглядеть его огни. Если только…

Эта слабая надежда побуждает Фабьена лететь

вперед, но сомнения не оставляют его; он кое-как царапает записку: «Не знаю, смогу ли пробиться. Спросите, по-прежнему ли ясно позади нас».

Ответ удручающий:

«Комодоро передает: вернуться сюда невозможно. Буря».

Фабьен начинает догадываться: невиданная буря, бушующая над Андийскими Кордильерами, переменила фронт и двинулась к морю. Прежде чем Фабьен сможет добраться до городов, на них обрушится циклон.

«Узнайте погоду в Сан-Антонио».

«Сан-Антонио отвечает: поднимается западный ветер; на западе — буря. Небо закрыто полностью. В Сан-Антонио плохая слышимость: помехи. Я тоже слышу плохо. Думаю, скоро придется убрать антенну — мешают разряды. Не собираетесь ли повернуть? Каковы ваши планы?»

«Оставьте меня в покое. Запросите погоду в Байя-Бланке».

«Байя-Бланка отвечает: меньше чем через двадцать минут с запада обрушится на Байя-Бланку сильная гроза».

«Запросите Трелью о погоде».

«Трелью отвечает: с запада идет ураган ско-

ростью тридцать метров в секунду. Шквалы дождя».

«Передайте в Буэнос-Айрес. Заперты со всех сторон; фронт бури развертывается на тысячу километров; полная потеря видимости. Что нам делать?»

Для пилота эта ночь была безбрежной. Она не вела ни к порту (все они казались недоступными), ни к рассвету — через час сорок минут должен был кончиться бензин. Рано или поздно, так ничего и не видя, они рухнут в бездну.

Только б дождаться рассвета…

Утренняя заря представлялась Фабьену золотым песчаным пляжем, к которому их могло прибить после испытаний страшной ночи. Под крылом попавшего в беду самолета возникли бы спасительные берега равнин. Мирная земля несла бы свои спящие фермы, стада, холмы. Все те неведомые предметы, что перекатываются сейчас во мраке, вмиг приобрели бы безобидный вид. О, если б только было можно — как устремился бы он навстречу дню!..

Он подумал: «Кольцо замкнулось». Так или иначе — все должно решиться еще до рассвета, в плотной массе тьмы.

Только так… А бывало, первые часы рассвета

приносили ему исцеление…

Но теперь незачем смотреть на восток, туда, где живет солнце: между самолетом и солнцем пролегли бездонные глубины ночи; из них не выбраться.

XIII

— Асунсьонский почтовый идет хорошо. К двум часам будет здесь. Но ожидается серьезное опоздание почтового патагонского; видимо, ему приходится нелегко.

— Так, господин Ривьер.

— Весьма возможно, мы отправим европейский самолет, не дожидаясь прибытия патагонского. Вы получите распоряжения, как только прибудет асунсьонский. Будьте наготове.

Теперь Ривьер перечитывал телеграммы, принятые от северных аэропортов. Они расстилали перед европейским почтовым лунную дорожку: «Небо чистое, полная луна, ветра нет». Горы Бразилии, четко выделяясь на светящемся небе, окунали в серебристые воды моря свои поросшие черным лесом вершины. На этот лес, не окрашивая его, лились непрестанным дождем лунные лучи. И острова — тоже черные, как обломки кораблекрушения в морских волнах. И эта неистощимая луна на всем пути — брызжущий светом фонтан…

Если Ривьер разрешит отправление, экипаж европейского почтового вступит в прочный мир

мягкого струящегося сияния. В мир, где ничто не грозит нарушить равновесие между массами мрака и света. В мир, куда не проникают даже ласковые прикосновения тех легких ветерков, которые — стоит им слегка покрепчать — могут в несколько часов забить все небо гнилыми облаками.

И все же, глядя на это сияние, Ривьер колебался, точно золотоискатель у границы запретного участка. То, что творилось сейчас на юге, звучало обвинительным приговором Ривьеру, единственному защитнику ночных полетов. Катастрофа в Патагонии может настолько укрепить позиции его противников, что, быть может, его убежденность окажется перед ними бессильной. Но убежденность Ривьера осталась прежней; возможно, эта драма — следствие какого-то просчета, и она свидетельствовала только об этом частном просчете, больше ни о чем. «Быть может, следует установить наблюдательные пункты на западе… Нужно будет об этом подумать… Как бы то ни было, у меня все те же веские основания стоять на своем; теперь вероятность несчастных случаев уменьшится: одна из причин стала ясна». Неудачи закаляют сильных. К сожалению, с людьми приходится вести игру, в которой почти

не принимается в расчет истинный смысл вещей. Выигрыш или проигрыш зависит от каких-то чисто внешних причин. И обманчивая видимость проигрыша связывает тебя по рукам и ногам.

Ривьер позвонил.

— От Байя-Бланка по-прежнему нет радиограмм?

— Нет.

— Вызовите ее по телефону.

Пять минут спустя он спрашивал:

— Почему от вас нет сообщений?

— Мы не слышим самолета.

— Молчит?

— Неизвестно. Кругом грозы. Даже если он что-то передает, мы не слышим.

— А Трелью его слышит?

— Мы сами не слышим Трелью.

— Позвоните туда по телефону.

— Пытались. Линия повреждена.

— Какая у вас погода?

— Угрожающая. Молнии на западе и юге. Очень душно.

— Какой ветер?

— Пока слабый. Но это не больше чем на десять минут. Молнии быстро приближаются.

Молчание.

— Байя-Бланка! Вы меня слышите? Хорошо. Позвоните мне через десять минут.

И Ривьер стал перелистывать телеграммы южных аэропортов. Все сообщали одно и то же: самолет молчит. Некоторые аэродромы больше не отвечали Буэнос-Айресу, и на карте расплывалось пятно немых районов, где над маленькими городками уже разразился циклон, где плотно заперты двери и каждый дом на темных улицах, подобно кораблю, отрезан от мира и затерян в ночи. Только рассвет принесет им освобождение.

Но, склонившись над картой, Ривьер все еще не терял надежды обнаружить где-нибудь благословенный кусок чистого неба; он обратился по телеграфу к полиции трех десятков провинциальных городов, запрашивая о погоде, и ответы уже начинали поступать. Каждая из радиостанций, расположенных на линии в две тысячи километров, получила приказ: поймав позывные самолета, немедленно, в течение тридцати секунд, уведомить об этом Буэнос-Айрес, который в ответ сообщит ей для передачи Фабьену, куда он может укрыться.

Комнаты опять заполнились служащими, которых к часу ночи вызвали в контору. Какими-то таинственными путями узнали они, что ночные

полеты, возможно, будут прекращены и что даже европейский почтовый будет отныне вылетать лишь с рассветом. Понизив голос, они говорили о Фабьене, о циклоне — и особенно о Ривьере. Они угадывали его присутствие, чувствовали, что он сидит здесь, совсем рядом, подавленный ураганом — этим враждебным выпадом самой природы.

Вдруг голоса смолкли: на пороге появился Ривьер — в пальто, в шляпе, неизменно надвинутой на глаза, — вечный путешественник. Он спокойно подошел к заведующему бюро:

— Уже десять минут второго. Документы европейского почтового оформлены?

— Я… я думал…

— Вам следует не думать, а исполнять.

Он повернулся и, заложив руки за спину, медленно пошел к открытому окну.

Подбежал служащий:

— Господин директор, получено очень мало ответов. Сообщают, что во внутренних районах уже разрушены многие телеграфные линии…

— Хорошо.

Неподвижно застыв, Ривьер смотрел в ночь.

Итак, каждая новая весть несла в себе угрозы самолету. Каждый город, если линии связи еще

не были разрушены и он имел возможность ответить Буэнос-Айресу, сообщал о неумолимом движении циклона, словно о вторжении вражеских армий. «Буря идет из глубины материка, с Кордильер. Она движется к морю, сметая все на пути…»

Звезды казались Ривьеру чересчур яркими, воздух — слишком влажным. Странная ночь! Она внезапно начинала подгнивать — подгнивать слоями, как мякоть роскошного с виду плода. Над Буэнос-Айресом еще царили в полном своем составе звезды, но то был лишь оазис, притом недолговечный. К тому же этот порт был недосягаем для экипажа. Грозная ночь, гниющая под прикосновениями ветра. Ночь, которую нелегко победить.

Где-то в ее глубинах затерялся самолет, и на его борту беспомощные, охваченные тревогой люди.

XIV

Жена Фабьена позвонила по телефону.

В те ночи, когда он должен был вернуться, она всегда высчитывала время продвижения патагонского почтового. «Сейчас он вылетает из Трелью...» И опять засыпала. Немного позже: «Он приближается теперь к Сан-Антонио; он уже видит огни...» Тогда она вставала, раздвигала шторы и осматривала небо. «Эти облака мешают ему...» Иногда между тучами, как пастух, расхаживала луна. И молодая женщина возвращалась в постель, успокоенная луной и звездами: их тысячи, они, как живые существа, окружают ее мужа. Около часа ночи она обычно чувствовала, что он уже близко. «Должно быть, он недалеко... Он уже видит Буэнос-Айрес...» И снова вставала, готовила для него еду, варила кофе: «Там, наверху, холодно...» Каждый раз она встречала Фабьена так, словно тот спустился со снежных вершин: «Ты не замерз?» — «Да нет же!» — «Все равно согрейся немного...» К четверти второго у нее все бывало готово. Тогда она звонила.

В эту ночь она спросила, как всегда:

— Фабьен уже приземлился?

Секретарь, взявший трубку, замялся:

— Кто говорит?

— Симона Фабьен.

— Одну минуту…

Не осмеливаясь ничего сказать, секретарь передал трубку заведующему бюро.

— Кто у телефона?

— Симона Фабьен.

— А!.. Слушаю вас, сударыня.

— Мой муж приземлился?

Последовало молчание, показавшееся ей необъяснимым. Затем короткий ответ:

— Нет.

— Он опаздывает?

— Да…

Снова молчание.

— Да… опаздывает.

— О!..

Это был вздох раненой плоти. Опоздание — пустяк… пустяк… Но если оно затягивается…

— О!.. В котором часу он должен прибыть?

— В котором часу он должен прибыть?.. Мы… мы не знаем.

Теперь перед ней была стена. Она слышала лишь эхо своих вопросов.

— Умоляю, ответьте мне! Где он сейчас?..

— Где он сейчас? Подождите…

Медлительность этих людей причиняла ей боль. Там, за стеной, что-то происходило.

Наконец они решились.

— Он вылетел из Комодоро в девятнадцать тридцать.

— И с тех пор?

— С тех пор… сильно опаздывает… сильно опаздывает из-за плохой погоды…

— О! Из-за плохой погоды…

Какая несправедливость! И какое вероломство — в этой луне, праздно повисшей над Буэнос-Айресом!.. Молодая женщина вспомнила вдруг, что от Комодоро до Трелью каких-нибудь два часа полета, не больше.

— И целых шесть часов он летит до Трелью?! Но посылает же он вам радиограммы… Что он говорит?

— Он говорит? Но в такую погоду… Вы сами понимаете… его радиограммы до нас не доходят.

— В такую погоду!..

— Итак, решено, сударыня: мы позвоним вам, как только что-нибудь узнаем.

— О, вы ничего не знаете…

— До свиданья, сударыня.

— Нет! Нет! Я хочу говорить с директором!

— Господин директор очень занят, сударыня, он на совещании.

— Мне это безразлично! Совершенно безразлично! Я хочу с ним говорить!

Заведующий бюро вытер капли пота со лба:

— Одну минуточку…

Он открыл дверь Ривьера.

— С вами хочет говорить госпожа Фабьен.

«Вот оно, — подумал Ривьер, — вот начинается то, чего я боялся. На первый план драмы выступают чувства…» Вначале Ривьеру хотелось их отвергнуть: матерей и жен не допускают в операционную. И на корабле в минуту опасности чувства должны молчать. Они не помогают спасать людей… Однако он решился:

— Соедините ее со мной.

Он услышал далекий голос, слабый, дрожащий, и тотчас понял, что не сможет сказать ей правду. Сойтись сейчас в поединке — разве хоть одному из них это принесло бы какую-нибудь пользу?

— Прошу вас, успокойтесь, сударыня! В нашем деле так часто приходится подолгу ждать вестей.

Он приблизился к той грани, за которой вставала уже не беда отдельного, частного человека — возникала проблема действия как такового. Ривьеру противостояла не жена Фабьена, а со-

вершенно иное понимание жизни. Ривьер мог только слушать и сочувствовать этому слабому голосу, этой песне, такой грустной и такой враждебной. Ибо ни действие, ни личное счастье не могут ничем поступиться, они враги. Эта женщина тоже выступала от имени некоего мира, имевшего свою абсолютную ценность, свое понимание долга и свои права. От имени мира, где горит лампа над столом, где плоть взывает к плоти, где живут надежды, ласки и воспоминания. Она требовала вернуть то, что ей принадлежало, и она была права. Он, Ривьер, тоже был прав; но он не мог ничего противопоставить правде этой женщины. В лучах жалкой домашней лампы его собственная правда открывалась ему как нечто не поддающееся выражению, бесчеловечное…

— Сударыня…

Она больше не слушала. Ему казалось — она рухнула у самых его ног, истощив силу своих слабых кулаков в борьбе с этой глухой стеной.

Как-то один инженер сказал Ривьеру, наклонясь вместе с ним над раненым, что лежал возле строящегося моста: «Стоит ли этот мост того, чтобы ради него было изувечено человеческое лицо?» Ни один из крестьян, для которых предназначалась эта дорога, для которых строился этот

мост, ни один из них не согласился бы ради сокращения пути так страшно изуродовать чье-то лицо. И все же мосты строятся… Инженер тогда же добавил: «Общественная польза складывается из суммы индивидуальных польз и ни на чем другом основана быть не может». «И все же, — ответил ему позже Ривьер, — хоть человеческая жизнь и дороже всего, но мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто еще более ценное, чем человеческая жизнь… Но что?..»

И сейчас, когда Ривьер думал об экипаже Фабьена, у него сжималось сердце. Всякая деятельность — даже строительство мостов! — разбивает чье-то счастье, и Ривьер не мог не спросить себя: «Во имя чего?»

«Эти люди, которым, вероятно, суждено сегодня погибнуть, могли бы жить, жить счастливо», — думал Ривьер. Он видел лица, склонившиеся пред золотыми алтарями вечерних ламп. «Во имя чего я оторвал их от домашнего уюта?» Во имя чего вырвал он этих людей из мира личного счастья? Разве первейший долг не в том, чтобы это счастье охранять? И вот он сам разбивает его. Но ведь, рано или поздно, все равно наступает час, когда золотые алтари исчезают, как миражи в пустыне. Старость и смерть разрушают их еще

безжалостней, чем он, Ривьер. Может быть, существует что-то иное, более прочное, и именно оно нуждается в спасении? Может быть, во имя этой стороны человеческой жизни и трудится Ривьер? Иначе его деятельность лишена смысла.

«Любить, только любить — какой тупик!» Ривьер смутно чувствовал, что есть какой-то иной долг, который выше, чем долг любви. Вернее, и здесь речь также шла о нежности, но сама эта нежность была совсем особого рода. Ему вспомнились слова: «Задача в том, чтобы дать им бессмертие…» Где он их прочел? «Внутри самого себя бессмертия не найдешь». Перед ним возник образ: храм в честь бога Солнца, воздвигнутый перуанскими инками. Прямоугольные камни на вершине горы… Не будь их — что осталось бы от могучей цивилизации, которая, словно укор совести, тяжестью этих камней давит на современного человека? «Во имя какой суровой необходимости — или странной любви — вождь древних народов принудил толпы своих подданных возвести этот храм на вершине и тем самым заставил их воздвигнуть вечный памятник самим себе?» И снова Ривьер мысленно увидел толпы обывателей маленьких городков, что кружат вечерами вокруг музыкальных беседок…

«Этот вид счастья — что конская сбруя», — подумал он. Перед лицом человеческих страданий вождь древних народов, вероятно, не чувствовал никакой жалости; но он ощущал безграничную жалость перед лицом человеческой смерти… Не смерти отдельных людей — он жалел весь род человеческий, чья участь — исчезнуть под океанами песка. И он побуждал свой народ воздвигать хотя бы камни, перед которыми пустыня бессильна.

XV

Может быть, в этой сложенной вчетверо записке — спасение… Стиснув зубы, Фабьен разворачивает ее.

«Связаться с Буэнос-Айресом невозможно. Я даже не могу больше работать ключом — искры бьют в пальцы».

Разозленный Фабьен хочет написать ответ; но стоит ему на миг отпустить штурвал, как мощная волна пронизывает тело: воздушные водовороты приподнимают его вместе с пятью тоннами металла и швыряют в сторону. Он отказывается от попыток писать.

Его руки снова сходятся на загривке волн и усмиряют их.

Фабьен тяжело дышит. Если бортрадист, боясь грозы, убрал антенну, Фабьен разобьет ему морду — дайте только приземлиться!.. Необходимо во что бы то ни стало, любой ценой связаться с Буэнос-Айресом! Как будто из Буэнос-Айреса, удаленного более чем на полторы тысячи километров, им могут бросить спасательную веревку сюда, в эту бездну… Увидеть хотя бы огонек, хотя бы трепетный свет лампы какого-нибудь посто-

ялого двора! Даже это, в сущности бесполезное, мерцание могло бы сейчас послужить маяком; оно говорило бы о твердой земле. Но за неимением света Фабьен мечтает хотя бы о голосе, об одиноком голосе из того мира, который, кажется, перестал существовать. Пилот поднимает кулак и машет им в красноватом свете кабины: он хочет передать этим жестом тому, другому, сидящему сзади, весь трагизм их положения. Но радист, склонившийся над опустошенным пространством, над погребенными городами, над мертвыми огнями, не понимает его.

Фабьен готов последовать любому совету, только бы этот крик участия дошел до него! Он думает: «Если бы мне сказали: лети по кругу, я полетел бы по кругу... И если бы мне сказали: иди прямо на юг...» А где-то существуют земли, объятые сладкой тишиной, земли, на которые легли огромные лунные тени. И над этими землями уверенно летят его товарищи, и они знают, все знают о том, что находится под ними; летят, склонившись, как ученые, над картами, летят, всемогущие, под защитой ламп, прекрасных, как цветы... А что известно ему, кроме водоворотов, кроме ночи, которая со скоростью горного обвала гонит навстречу самолету свой бешеный черный

поток? Не могут же люди оставить их здесь одних — среди смерчей и огненных вспышек. Не могут. Фабьен обязательно получит приказ. «Курс двести сорок...» Он ляжет на курс двести сорок... Но он — один.

Теперь ему кажется, что сама материя взбунтовалась. Каждый раз, как машина ныряет вниз, мотор начинает так грозно трясти, что всю громаду самолета пронизывает гневная дрожь. Выбиваясь из сил, Фабьен старается усмирить машину; он больше не смотрит в ночь; он сидит теперь, глядя на гироскоп; все равно уже не различить, где кончается чернота неба и начинается чернота земли. Все теряется, все сливается в первозданном мраке. А стрелки приборов дрожат все сильнее. И все труднее следить за ними.

Обманутый их показаниями, пилот уже с трудом ориентируется; он теряет высоту и все больше увязает в зыбучей тьме.

Прибор показывает высоту пятьсот метров. Это высота холмов. Пилоту чудится, что холмы бегут навстречу самолету головокружительными волнами. Что все эти глыбы земли, самая маленькая из которых может вдребезги разбить самолет, будто сорвались со своих креплений, отвинтились и начинают, как пьяные, кружить вокруг

него, танцуя какой-то непостижимый танец, все теснее и теснее смыкая кольцо.

И пилот принимает решение. Он посадит самолет где придется, с риском расплющить его о землю. И, желая избежать хотя бы столкновения с холмами, он выпускает в ночь свою единственную осветительную ракету. Ракета вспыхивает, взвивается, кружась, и, осветив гладкую равнину, гаснет. Под самолетом — море.

Молнией мелькает мысль: «Погиб. Даже при поправке в сорок градусов меня снесло. Это циклон. Где же земля?» Фабьен поворачивает прямо на запад. Он думает: «Уж теперь-то, без ракеты, я разобьюсь». Рано или поздно это должно было случиться. А его товарищ там, позади… «Он снял антенну — наверняка». Но Фабьен больше не сердится на него. Достаточно ему, пилоту, просто разжать руки, и тотчас их жизнь рассыплется горсточкой праха. Фабьен держит в своих руках два живых бьющихся сердца — товарища и свое… И вдруг он пугается собственных рук.

Воздушные вихри бьют по самолету, точно таран. Чтобы ослабить тряску штурвала, которая может оборвать тросы управления, он изо всех сил вцепился руками в штурвал и ни на секунду не отпускал его. А теперь он вдруг пере-

стает ощущать свои руки, — они будто заснули, утомленные страшным усилием. Он пробует пошевелить пальцами, получить от них весточку, подтверждающую, что они еще слушаются его. Руки оканчиваются не пальцами, а чем-то чужим. Какими-то вялыми и бесчувственными отростками. «Нужно изо всех сил думать, что я сжимаю пальцы…» Но он не знает, дойдет ли эта мысль до его рук. Сотрясения штурвала Фабьен чувствует теперь только по боли в плечах. «Штурвал ускользнет от меня. Руки разожмутся». Но он пугается этой мысли; ему кажется, что на этот раз руки могут подчиниться таинственной силе воображения, что пальцы медленно разжимаются в темноте — и предают его.

Фабьен мог бы продолжить битву, мог бы еще и еще раз попытать счастья; ведь рок — как внешняя сила — не существует. Но существует некий внутренний рок: наступает минута, когда человек вдруг чувствует себя уязвимым, — и тогда ошибки затягивают его, как головокружение…

И вдруг, как раз в одно из таких мгновений, грозовые тучи внезапно разорвались, и в их разрыве, прямо над его головой, засверкала, словно приманка в глубине таящих гибель силков, кучка звезд.

Он понял, что это ловушка: видишь сквозь щель три звезды, поднимаешься к ним и потом уже не можешь спуститься — и грызи теперь свои звезды… Но пилот так изголодался по свету, что устремился вверх, к звездам.

XVI

Он поднялся. Теперь благодаря звездным ориентирам стало немного легче справляться с болтанкой. Лучистый магнит звезд притягивает его к себе. Пилот так утомился в долгой погоне за светом! Он теперь ни за что не ушел бы даже от самого смутного мерцания. Огонек постоялого двора показался бы Фабьену сейчас таким богатством, что он кружился бы, не переставая, до самой смерти вокруг этого желанного знамения…

И вот он возносится к светлым полям.

Поднимается медленно, по спирали, будто взбираясь вверх по шахте колодца, которая тут же смыкается под ним. И по мере того как Фабьен поднимается, тучи утрачивают свой грязный цвет, они плывут навстречу, как волны, и становятся все чище, все белее. И вот Фабьен вырывается из облаков.

Он поражен, ослеплен неожиданными потоками света. Он должен на несколько секунд закрыть глаза. Никогда бы пилот не поверил, что ночные облака могут быть так ослепительно ярки, — полная луна и блеск всех созвездий превратили их в

лучезарные волны.

Одним прыжком вынырнув из туч, самолет в тот же миг оказался в царстве неправдоподобного покоя. Сюда не доходила ни малейшая зыбь. Точно лодка, миновавшая мол, самолет зашел в защищенные воды. Он словно бросает якорь в неведомом уголке моря, в укромной бухте зачарованных островов. Внизу, под самолетом, бушует ураган; там совсем другой мир, толща в три тысячи метров, пронизанная бешеными порывами ветра, водяными смерчами, молниями; но этот мир урагана обращает к звездам лицо из хрусталя и снега.

Фабьену мнится, что он достиг преддверия рая; все вдруг засверкало — руки, одежда, крылья. Свет идет не от звезд; он бьет снизу, он вокруг, он струится из этих белых масс.

Тучи, распластавшиеся под самолетом, отражают снежный блеск, полученный ими от луны. Они блестят, лучатся и слева, и справа, высокие, как башни. Экипаж купается в молочных потоках света. Обернувшись, Фабьен видит, как улыбается бортрадист.

— Дело пошло на лад! — кричит радист.

Но голос тонет в шуме полета, и единственной связью между ними остаются улыбки. «Я

окончательно сошел с ума, — думает Фабьен. — Я улыбаюсь… А мы погибли».

Но все-таки тысячи темных рук выпустили их. С Фабьена сняли путы, как с пленника, которому позволено немного погулять в одиночестве среди цветов.

«Чересчур красиво», — думает Фабьен. Он блуждает среди звезд, которые насыпаны густо, как золотые монеты клада; он блуждает в мире, где, кроме него, Фабьена, и его товарища, нет ни единого живого существа. Подобно ворам из древней легенды, они замурованы в сокровищнице, из которой им никогда уже не выйти. Они блуждают среди холодных россыпей драгоценных камней — бесконечно богатые, но обреченные.

XVII

Один из радиотелеграфистов патагонского аэродрома Комодоро-Ривадавия сделал вдруг резкое движение рукой, и сразу все те, кто, томясь бессилием, нес этой ночью вахту на радиостанции, сгрудились вокруг него, нагнулись над его столом.

Они склонились к ярко освещенному листку чистой бумаги. Рука радиста еще колебалась в нерешительности, она еще держала в плену заветные буквы, но пальцы уже дрожали, карандаш покачивался.

— Грозы?

Он кивнул. Треск разрядов мешал ему.

Вот радист начертил несколько неразборчивых значков. Потом слова. И уже можно разобрать текст:

«Блокированы над ураганом, высота три тысячи восемьсот. Идем прямо на запад, в глубь материка, так как были снесены к морю. Под нами сплошная облачность. Не знаем, ушли уже от моря или нет. Сообщите, как глубоко распространилась буря».

Чтобы передать эту радиограмму в Буэнос-Ай-

рес, пришлось, из-за грозы, пересылать ее по цепочке, от станции к станции. Послание продвигалось в ночи, как сторожевой огонь, зажигаемый от вышки к вышке.

Буэнос-Айрес распорядился ответить:

— Буря над всем материком. Сколько у вас осталось бензина?

— На полчаса.

И эта фраза — от дежурного к дежурному — достигла Буэнос-Айреса. Экипаж был обречен: меньше чем через тридцать минут он погрузится в циклон, который понесет его к земле.

XVIII

А Ривьер размышляет. Больше не остается ни малейшей надежды — экипаж погибнет где-то в ночи. Ривьер вспоминает потрясшую его в детстве картину. Из пруда спускали воду, чтобы найти тело утопленника… И экипаж тоже не будет найден до тех пор, пока не схлынет с земли этот океан тьмы, пока снова не проступят в дневном свете пески, равнины, хлеба. Быть может, простые крестьяне найдут двух детей, которые словно спят, прикрыв лица руками, среди трав и золота мирного дня. Но они мертвы — ночь уже потопила их.

Ривьер думает о сокровищах, погребенных в глубинах ночи, как в сказочных морях… Ночные яблони жадно ждут зари, ждут всеми своими цветами, которым еще не довелось раскрыться. Ночь богата, полна запахов, спящих ягнят, полна цветов, еще лишенных красок.

Тучные нивы, влажные рощи, прохладные луга медленно встанут навстречу заре. Но среди холмов, теперь совсем безобидных, среди пастбищ и ягнят, среди всей этой кротости земли останутся лежать, словно погрузившись в сон, двое детей. И

какая-то частица зримого мира легкой струйкой перельется в иной мир.

Ривьер знает жену Фабьена, беспокойную и нежную: ей дали лишь прикоснуться к любви — так ненадолго дают игрушку бедному ребенку.

Ривьер думает о руке Фабьена, которая пока — ей остались считанные минуты — держит штурвал, держит свою судьбу. О руке, которая умела ласкать. О руке, которая прикасалась к груди и рождала в ней волнение, словно рука бога. О руке, что прикасалась к лицу, и лицо преображалось.

О чудотворной руке.

Фабьен летит сейчас над ночным великолепием облачных морей, но под этими морями — вечность. Он заблудился среди созвездий. Он единственный житель звезд. Он пока еще держит мир в своих руках, укачивает его, прижав к груди. Фабьен сжимает штурвал, в котором заключен для него груз человеческих богатств, и несет в отчаянии от звезды к звезде бесполезное сокровище, которое ему скоро придется выпустить из рук…

Ривьер думает о том, что радиостанция еще слышит Фабьена. Лишь одна музыкальная волна, полная минорных переливов, еще связывает

Фабьена с миром. Не жалоба. Не крик. Нет, самый чистый из звуков, когда-либо порожденных отчаянием.

XIX

Робино нарушил одиночество Ривьера:

— Господин директор, я подумал… может быть, все же попробовать…

У Робино не было никаких предложений; он просто хотел засвидетельствовать свою добрую волю. Он был бы счастлив найти какое-нибудь решение, он искал его как разгадку ребуса. Но обычно выходило так, что Ривьер и слушать не хотел об инспекторских решениях. «Видите ли, Робино, — говорил Ривьер, — в жизни нет готовых решений. В жизни есть силы, которые движутся. Нужно их создавать. Тогда придут и решения». Итак, Робино должен был ограничиться ролью творца движущейся силы среди сословия механиков; силы довольно жалкой, которая предохраняла от ржавчины втулки винтов.

А перед лицом событий нынешней ночи Робино оказался безоружным. Его инспекторское звание не давало ему, оказывается, никакой власти над грозами и над призрачным экипажем, который, право же, боролся сейчас уже отнюдь не ради получения премии за точность. Экипаж сейчас стремился уйти от того единственного взыска-

ния, которое снимало все взыскания, налагаемые инспектором Робино, — уйти от смерти.

И никому не нужный Робино бесцельно слонялся из комнаты в комнату.

Жена Фабьена попросила доложить о себе. Мучимая тревогой, она сидела в комнате секретарей и ждала, когда Ривьер ее примет. Секретари украдкой поглядывали на нее. Это ее смущало; она боязливо осматривалась. Все здесь казалось ей враждебным: и эти люди, которые, словно перешагнув через труп, продолжали заниматься своими делами, и эти папки, где от человеческой жизни, от человеческого страдания осталась только строчка черствых цифр. Она пыталась отыскать что-нибудь говорившее о Фабьене… Дома все кричало о его отсутствии: приготовленная постель, поданный на стол кофе, букет цветов… А здесь она не находила ни одной приметы. Здесь все было чуждо и жалости, и дружбе, и воспоминаниям. Она услышала одну только фразу (при ней старались говорить тихо) — услышала, как выругался служащий, настойчиво требовавший какую-то опись: «…опись динамо-машин, черт побери, которые мы послали в Сантос!» Симона посмотрела на этого человека с безграничным удивлением. Потом перевела взгляд на стену, где

висела карта. Ее губы слегка дрожали.

Ей было неловко; она догадывалась, что олицетворяет здесь правду, враждебную этому миру. Симона уже почти жалела, что пришла сюда, ей хотелось спрятаться, и, из боязни оказаться слишком заметной, она старалась не кашлянуть, не заплакать. Она сознавала свою чужеродность, неуместность, словно была голой.

Но ее правда была так сильна, что беглые взгляды секретарей вновь и вновь возвращались украдкой к ее лицу и читали на нем эту правду. Эта женщина была прекрасна. Она напоминала людям, что существует заветный мир счастья. Напоминала, сколь высок тот мир, на который невольно посягает всякий, кто посвятил себя действию. Чувствуя на себе столько взглядов, Симона закрыла глаза. Она напоминала людям, какой великий покой, сами того не ведая, могут они нарушить.

Ривьер принял ее.

Она пришла, чтобы робко защищать свои цветы, свой поданный на стол кофе, свое юное тело. В этом кабинете, еще более холодном, чем другие комнаты, ее губы опять задрожали. Симона поняла, что не сможет выразить свою правду в этом чуждом мире. Все, что восставало в ней: ее горя-

чая, как у дикарки, любовь, ее преданность — все это здесь могло показаться чем-то докучливым и эгоистичным. Ей захотелось отсюда бежать.

— Я вам помешала?..

— Вы мне не мешаете, сударыня, — ответил Ривьер. — Но, к сожалению, нам с вами остается только одно: ждать.

Она еле заметно пожала плечами, и Ривьер понял смысл этого движения: «Зачем мне тогда лампа, и накрытый к обеду стол, и цветы — все, что ждет меня дома...» Одна молодая мать однажды призналась Ривьеру: «До сих пор до меня не доходит, что ребенок мой умер... Об этом жестоко напоминают разные мелочи: вдруг попадается на глаза что-нибудь из его одежды... Просыпаешься ночью, и к сердцу подступает такая нежность — нежность, никому не нужная, как мое молоко...» Вот и эта женщина начнет завтра с таким трудом свыкаться со смертью Фабьена, обнаруживая ее в каждом своем — отныне бесплодном — движении, в каждой привычной вещи. Фабьен будет медленно покидать их дом.

Ривьер скрывал глубокую жалость.

— Сударыня...

Молодая женщина уходила, улыбаясь чуть ли не униженной улыбкой, уходила, не догадываясь

о своей собственной силе.

Ривьер тяжело опустился в кресло.

«А она помогает мне открыть то, чего я искал…»

Рассеянно похлопывал он по стопке телеграмм, сообщавших о погоде над северными аэродромами, и думал: «Мы не требуем бессмертия; но нам невыносимо видеть, как поступки и вещи внезапно теряют свой смысл. Тогда обнаруживается окружающая нас пустота…»

Его взгляд упал на телеграммы.

«Вот такими путями и проникает к нам смерть: через эти послания, которые утратили теперь всякий смысл…»

Он посмотрел на Робино. Этот недалекий и бесполезный сейчас малый тоже утратил всякий смысл. Ривьер бросил ему почти грубо:

— Что же, прикажете, чтобы я сам нашел вам дело?

Ривьер толкнул дверь, которая вела в комнату секретарей, и исчезновение Фабьена стало для него очевидным, поразило его: он увидел те признаки, которых не сумела увидеть госпожа Фабьен. На стенной диаграмме, в графе оборудования, подлежащего списанию, уже значилась карточка РБ-903 — самолет Фабьена.

Служащие, готовившие документы для европейского почтового, работали с прохладцей, зная, что вылет задерживается. Звонили с посадочной площадки — требовали инструкций для команд, чье дежурство стало бесцельным. Все жизненные функции были точно заморожены. «Вот она, смерть!» — подумал Ривьер. Дело его жизни легло в дрейф, словно парусник, застигнутый штилем в открытом море.

Он услышал голос Робино:

— Господин директор… они женаты всего полтора месяца…

— Идите работать.

Ривьер все еще смотрел на секретарей и видел за ними подсобных рабочих, механиков, пилотов, видел всех тех, кто своей верой созидателей помогал ему в его труде. Он подумал о маленьких городках давних времен. Услышав об «Островах», их жители построили корабль и нагрузили его своими надеждами. Чтобы все увидели, как их надежды распускают паруса над морем. И люди выросли, вырвались из узкого мирка; корабль принес им освобождение. «Сама по себе цель, возможно, ничего не оправдывает; но действие избавляет нас от смерти. Благодаря своему кораблю эти люди обрели бессмертие».

И если Ривьер вернет телеграммам их подлинный смысл, если он вернет дежурным командам их тревожное нетерпение, а пилотам — их полную драматизма цель, это будет борьбой Ривьера со смертью. Его дело вновь наполнится жизнью, как наполняются свежим ветром паруса кораблей в открытом море.

XX

Комодоро-Ривадавия больше ничего не слышит, но спустя двадцать минут Байя-Бланка, расположенная за тысячу километров от Комодоро, ловит второе послание:

«Спускаемся. Входим в облака…»

Потом — два слова из невнятного текста доходят до радиостанции Трелью:

«…ничего разглядеть…»

Таковы уж короткие волны. Там их поймаешь, здесь ничего не слышно. Потом вдруг все меняется без всякой причины. И экипаж, летящий неведомо где, возникает перед живыми так, словно он существует вне времени и пространства. И слова, проступающие на белых листках у аппаратов радиостанций, написаны уже рукой привидений.

Кончился бензин? Или перед лицом неизбежной аварии пилот решил сделать последнюю ставку: сесть на землю, не разбившись о нее?

Голос Буэнос-Айреса приказывает Трелью:

«Спросите его об этом».

Аппаратная радиостанции похожа на лабораторию: никель, медь, манометры, сеть проводов.

Дежурные радисты в белых халатах молчаливо склонились над столами, и кажется, будто они проводят какой-то опыт.

Чуткими пальцами прикасаются радисты к приборам; они ведут разведку магнитного неба, словно нащупывая волшебной палочкой золотую жилу.

— Не отвечает?

— Не отвечает.

Может быть, им удастся услышать звук, который явился бы признаком жизни. Если самолет и его бортовые огни снова поднимаются к звездам, быть может, удастся услышать, как поет эта звезда…

Секунды текут. Они текут, как кровь. Продолжается ли полет? Каждая секунда уносит с собой какую-то долю надежды. И начинает казаться, что уходящее время — разрушительная сила. Время тратит двадцать веков на то, чтобы проложить себе путь через гранит и обратить храм в кучку праха; теперь эти века разрушения, сжавшись пружиной, нависли над экипажем: пружина каждый миг грозит развернуться.

Каждая секунда что-то уносит с собой. Уносит голос Фабьена, смех Фабьена, его улыбку. Все ширится власть молчания. Оно наливается тяже-

стью, наваливаясь на экипаж, как толща океана.

Кто-то говорит:

— Час сорок. Бензин весь. Не может быть, чтобы они еще летели.

Наступает тишина.

На губах какой-то горький, неприятный привкус, как в конце долгого пути. Свершилось что-то неведомое, что-то вызывающее смутное чувство отвращения. Среди всех этих никелированных деталей, среди медных артерий чувствуется печаль — та самая, что царит над разрушенными заводами. Оборудование кажется тяжелым, ненужным, бесполезным — кажется грузом мертвых сучьев.

Остается ждать дня.

Через несколько часов Аргентина всплывет из глубин навстречу дню, и люди остаются на своих местах, как на песчаном берегу, глядя, как медленно выступает из воды невод. И что в нем — неизвестно…

Ривьер в своем кабинете ощущает ту горькую опустошенность, которую познаешь только в часы великих бедствий, когда судьба освобождает человека от необходимости что-то решать. Он поднял на ноги всю полицию. Больше он ничего не может сделать. Только ждать.

Но порядок должен царить даже в доме умершего. Ривьер делает знак Робино:

— Дайте телеграмму северным аэродромам: предвидится серьезное опоздание патагонского почтового. Чтобы не задерживать почтовый на Европу, патагонскую почту отправим со следующим европейским.

Слегка сутулясь, Ривьер склоняется над столом. Потом делает над собой усилие, заставляет себя вспомнить что-то важное… Ах да! И чтобы снова не забыть, зовет:

— Робино!

— Да, господин Ривьер.

— Набросайте проект приказа. Пилотам запрещается превышать тысячу девятьсот оборотов. Они калечат мне моторы.

— Хорошо, господин Ривьер.

Ривьер сутулится еще больше. Хорошо бы сейчас побыть одному.

— Идите, Робино. Идите, старина.

И инспектора Робино ужасает это равенство перед лицом призраков.

XXI

Робино меланхолически бродил по конторе. Жизнь компании приостановилась: ночное отправление почтового, обычно вылетающего в два часа, видимо, отменено, и самолет вылетит только с рассветом. Служащие с хмурыми лицами еще дежурили, но их дежурство было бесцельным. С северных аэропортов метеосводки еще поступали с обычной регулярностью; но все эти слова о «ясном небе», о «полной луне» и «совершенном безветрии» вызывали теперь лишь представление о каком-то мертвом царстве. Лунная, каменистая пустыня…

Перебирая без всякой цели папку с бумагами, над которыми трудился заведующий бюро, Робино вдруг обнаружил, что тот стоит прямо перед ним с нагло-почтительным видом — в ожидании, когда ему вернут наконец его папку. Казалось, он говорил: «Разумеется, как вам угодно, но все же это мои бумаги…» Такое поведение подчиненного покоробило инспектора; но он не нашелся что сказать и раздраженно протянул ему папку. Заведующий бюро вернулся на свое место с выражением величайшего благородства. «Мне

следовало послать его ко всем чертям», — подумал Робино. И, сохраняя достоинство, он сделал несколько шагов по комнате, думая о драме. Эта драма повлечет за собой опалу для Ривьера и всей его политики. Робино страдал и за Фабьена, и за Ривьера.

Потом перед его глазами возник образ Ривьера, одиноко сидящего в своем кабинете, Ривьера, который сказал ему: «Старина...» Никогда еще человек так не нуждался в поддержке. Робино от души пожалел Ривьера. Он перебирал в уме несколько туманных фраз, предназначенных для сочувствия и утешения. Его охватил порыв, показавшийся ему прекрасным. Робино тихонько постучал в дверь. Ответа не было. Не осмеливаясь нарушать тишину более громким стуком, он отворил дверь. Ривьер был в кабинете. Впервые Робино входил к Ривьеру не на цыпочках, а ступая почти на всю ступню, входил почти как друг; ему представлялось, что он сержант, который под пулями следует за раненым генералом, не отходит от него ни на шаг в часы разгрома и, как брат, идет вместе с ним в изгнание. Казалось, Робино хотел сказать: «Что бы ни случилось, я всегда с вами».

Ривьер молчал и, наклонив голову, смотрел на

свои руки. И Робино, стоя перед ним, не смел заговорить. Лев, хотя и поверженный, вселял в него робость. Инспектор подыскивал высокие слова, которые должны были выразить его стремление к самопожертвованию; но каждый раз, подымая глаза, он видел перед собой склоненную голову, седые волосы, горько — о, как горько! — сжатые губы. Наконец он решился:

— Господин директор…

Ривьер поднял голову и посмотрел на него. Он очнулся от задумчивости такой глубокой, вернулся из такой дали, что, вероятно, даже не заметил присутствия Робино. И никому никогда не узнать, какие видения прошли перед глазами Ривьера, что пришлось ему испытать в эти минуты и какая печаль охватила его сердце… Ривьер смотрел на Робино долгим взглядом, словно на живого свидетеля каких-то событий. Робино смутился. И чем дольше смотрел на него Ривьер, тем яснее обозначалась на его губах непостижимая для Робино ирония. Чем дольше смотрел на него Ривьер, тем больше краснел Робино. И Ривьеру все больше казалось, что Робино с его трогательно добрыми и, к сожалению, необдуманными намерениями пришел сюда живым свидетельством человеческой глупости.

Робино охватило сомнение. Сержант, генерал, град пуль — все оказалось неуместным. Он не понимал, что происходит. Ривьер все смотрел на него. И Робино невольно даже переменил позу, вытащил руку из левого кармана. Ривьер все смотрел на него. Тогда, с чувством огромной неловкости, сам не зная почему, Робино произнес:

— Я пришел за распоряжениями.

Ривьер вынул часы и просто сказал:

— Два часа. Почтовый из Асунсьона приземлится в два десять. Прикажите дать отправление европейскому почтовому в два пятнадцать.

И Робино разнес по конторе удивительную весть: ночные полеты не отменены. Он обратился к заведующему бюро:

— Принесите мне ту папку, я проверю ее.

Когда заведующий бюро подошел к нему, Робино сказал:

— Ждите.

И заведующий бюро ждал.

XXII

Почтовый из Асунсьона дал сигнал: «Иду на посадку».

Даже в самые горькие часы этой ночи Ривьер не переставал следить по телеграммам за благополучным движением асунсьонского самолета. Это было для Ривьера своего рода реваншем за поражение, доказательством его правоты. Телеграммы об этом счастливом полете были провозвестниками тысяч других столь же счастливых полетов. «Не каждую же ночь свирепствуют циклоны». Ривьер думал также: «Путь проложен — сворачивать нельзя».

Спускаясь из Парагвая по ступенькам аэродромов, словно выходя из чудесного сада, богатого цветами, низенькими домиками и медлительными водами, самолет скользил вне границ циклона, и тучи не закрывали от него ни одной звезды. Девять пассажиров, закутавшись в пледы, прижимались лбами к окошкам, словно к витринам с драгоценностями: маленькие аргентинские города уже перебирали во мраке свои золотые четки, а над ними отливало нежным блеском золото звездных городов. Впереди пилот

поддерживал своими руками бесценный груз человеческих жизней; в его больших, широко раскрытых глазах козопаса отражалась луна. Буэнос-Айрес уже заливал горизонт розоватым пламенем, готовый засверкать всеми своими камнями, подобно сказочному сокровищу. Пальцы радиста посылали последние радиограммы — точно финальные звуки большой сонаты, которую он весело отбарабанил в небе и мелодию которой так хорошо понимал Ривьер; потом радист убрал антенну, зевнул, слегка потянувшись, и улыбнулся: прибыли!

Посадив машину, летчик увидел пилота европейского почтового; тот стоял, заложив руки в карманы и привалившись спиной к своему самолету.

— А! Это ты повезешь почту дальше?

— Да.

— Патагонец уже здесь?

— Его и не ждут. Пропал без вести. Погода хорошая?

— Великолепная. Значит, Фабьен пропал?

Они не стали много говорить на эту тему. Ощущение великого братства избавляло их от необходимости произносить громкие слова.

Мешки с асунсьонской транзитной почтой

перегружались в европейский самолет; пилот, по-прежнему не шевелясь, закинув голову и прислонившись затылком к кабине, смотрел на звезды. Он чувствовал, как рождается в нем огромная сила, как затопляет его могучая радость.

— Погрузили? — спросил чей-то голос. — Тогда — контакт!

Пилот все не шевелился. Запустили мотор. Плечами, прижатыми к самолету, пилот ощутил, что самолет ожил. Наконец-то, после стольких ложных слухов — летим… не летим… летим… пилот мог быть спокоен. Его рот приоткрылся; при свете луны сверкнули зубы, словно зубы молодого хищника.

— Осторожно… ночью… эй!

Он не слышал советов товарища. Засунув руки в карманы, запрокинув голову, обратив лицо к тучам, горам, рекам и морям, он беззвучно смеялся. Смех был неслышным, но он пронизал его, пробежав по всему телу, как ветерок пробегает по листве. Смех был совсем неслышным, но он был гораздо сильнее и туч, и гор, и рек, и морей.

— Что это на тебя нашло?

— Этот болван Ривьер воображает… что… что мне страшно!

XXIII

Через минуту он взлетит над Буэнос-Айресом, и Ривьер, возобновивший битву, хочет его услышать. Услышать, как он возникнет, пророкочет и растает, словно грозная поступь армии, движущейся среди звезд.

Скрестив руки, Ривьер проходит мимо секретарей. Он останавливается перед открытым окном, слушает и размышляет.

Если бы он отменил один-единственный вылет, дело ночных полетов было бы проиграно. Но, опережая тех слабых, которые завтра от него отрекутся, Ривьер выпустил в ночь еще один экипаж.

Победа… поражение… эти высокие слова лишены всякого смысла. Жизнь не парит в таких высотах; она уже рождает новые образы. Победа ослабляет народ; поражение пробуждает в нем новые силы. Ривьер потерпел поражение, но оно может стать уроком, который приблизит подлинную победу. Лишь одно следует принимать в расчет: движение событий.

Через пять минут радисты поднимут на ноги аэродромы. Все пятнадцать тысяч километров

ощутят биение жизни; в этом — решение всех задач.

Уже взлетает к небу мелодия органа: самолет.

Медленно проходя мимо секретарей, которые сгибаются под его суровым взглядом, Ривьер возвращается к своей работе. Ривьер Великий, Ривьер Победитель, несущий груз своей трудной победы.

Планета людей

Анри Гийоме, товарищ мой, тебе посвящаю эту книгу

© Перевод. Нора Галь, наследники, 2003

Земля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги. Ибо земля нам сопротивляется. Человек познает себя в борьбе с препятствиями. Но для этой борьбы ему нужны орудия. Нужен рубанок или плуг. Крестьянин, возделывая свое поле, мало-помалу вырывает у природы разгадку иных ее тайн и добывает всеобщую истину. Так и самолет — орудие, которое прокладывает воздушные пути, — приобщает человека к вечным вопросам.

Никогда не забуду мой первый ночной полет — это было над Аргентиной, ночь настала темная, лишь мерцали, точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки.

В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Все-

ленной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. А там любят. Разбросаны в полях одинокие огоньки, и каждому нужна пища. Даже самым скромным — тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды, а сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей…

Подать бы друг другу весть. Позвать бы вас, огоньки, разбросанные в полях, — быть может, иные и отзовутся.

I. Линия

Это было в 1926 году. Я поступил тогда пилотом на авиалинию компании «Латекоэр», которая, еще прежде, чем «Аэропосталь» и «Эр-Франс», установила сообщение между Тулузой и Дакаром. Здесь я учился нашему ремеслу. Как и другие мои товарищи, я проходил стажировку, без которой новичку не доверят почту. Пробные вылеты, перегоны Тулуза — Перпиньян, нудные уроки метеорологии в ангаре, где зуб на зуб не попадал. Мы страшились еще неведомых нам гор Испании и с почтением смотрели на «стариков».

«Стариков» мы встречали в ресторане — они были хмурые, даже, пожалуй, замкнутые, снисходительно оделяли нас советами. Бывало, кто-нибудь из них, возвратясь из Касабланки или Аликанте, приходил позже всех, в кожанке, еще мокрой от дождя, и кто-нибудь из нас робко спрашивал, как прошел рейс, — и за краткими, скупыми ответами нам виделся необычайный мир, где повсюду подстерегают ловушки и западни, где перед тобою внезапно вырастает отвесная скала или налетает вихрь, способный вырвать с корнями могучие кедры. Черные драконы

прегражда́ют вход в долины, горные хребты увенчаны снопами молний. «Старики» умело поддерживали в нас почтительный трепет. А потом кто-нибудь из них не возвращался, и живым оставалось вечно чтить его память.

Помню, как вернулся из одного такого рейса Бюри, старый пилот, разбившийся позднее в Корбьерах. Он подсел к нашему столу и медленно ел, не говоря ни слова; на плечи его все еще давила тяжесть непомерного напряжения. Это было под вечер, в один из тех мерзких дней, когда на всей трассе, из конца в конец, небо словно гнилое и пилоту кажется, что горные вершины перекатываются в грязи, — так на старинных парусниках срывались с цепей пушки и бороздили палубу, грозя гибелью. Я долго смотрел на Бюри и наконец, сглотнув, осмелился спросить, тяжел ли был рейс. Бюри хмуро склонялся над тарелкой, он не слышал. В самолете с открытой кабиной пилот в непогоду высовывается из-за ветрового стекла, чтобы лучше видеть, и воздушный поток еще долго хлещет по лицу и свистит в ушах. Наконец Бюри словно бы очнулся и услышал меня, поднял голову — и рассмеялся. Это было чудесно — Бюри смеялся не часто, этот внезапный смех словно озарил его усталость. Он

не стал толковать о своей победе и снова молча принялся за еду. Но во хмелю ресторана, среди мелких чиновников, которые утешались здесь после своих жалких будничных хлопот, в облике товарища, чьи плечи придавила усталость, мне вдруг открылось необыкновенное благородство: из грубой оболочки на миг просквозил ангел, победивший дракона.

Наконец однажды вечером вызвали и меня в кабинет начальника. Он сказал коротко:

— Завтра вы летите.

Я стоял и ждал, что сейчас он меня отпустит. Но он, помолчав, прибавил:

— Инструкции хорошо знаете?

В те времена моторы были ненадежны, не то что нынешние. Нередко ни с того ни с сего они нас подводили, внезапно оглушал грохот и звон, будто разбивалась вдребезги посуда, — и приходилось идти на посадку, а навстречу щерились колючие скалы Испании. «В этих местах, если мотору пришел конец, пиши пропало — конец и самолету!» — говорили мы. Но самолет можно и заменить. Самое главное — не врезаться в скалу. Поэтому нам, под страхом самого сурового взыскания, запрещалось идти над облаками, если внизу были горы. В случае аварии пилот, сни-

жаясь, мог разбиться о какую-нибудь вершину, скрытую под белой ватой облаков.

Вот почему в тот вечер на прощанье медлительный голос еще раз настойчиво внушал мне:

— Конечно, это недурно — идти над Испанией по компасу, над морем облаков, это даже красиво, но…

И еще медлительнее, с расстановкой:

— …но помните, под морем облаков — вечность…

И вот мирная, безмятежная гладь, которая открывается взору, когда выходишь из облаков, сразу предстала передо мной в новом свете. Это кроткое спокойствие — западня. Мне уже чудилась огромная белая западня, подстерегающая далеко внизу. Казалось бы, под нею кипит людская суета, шум, неугомонная жизнь городов, — но нет, там тишина еще более полная, чем наверху, покой нерушимый и вечный. Белое вязкое месиво становилось для меня границей, отделяющей бытие от небытия, известное от непостижимого. Теперь я догадывался, что смысл видимого мира постигаешь только через культуру, через знание и свое ремесло. Море облаков знакомо и жителям гор. Но они не видят в нем таинственной завесы.

Я вышел от начальника гордый, как мальчишка. С рассветом настанет мой черед, мне доверят пассажиров и африканскую почту. А вдруг я этого не стою? Готов ли я принять на себя такую ответственность? В Испании слишком мало посадочных площадок, — случись хоть небольшая поломка, найду ли я прибежище, сумею ли приземлиться? Я склонялся над картой, как над бесплодной пустыней, и не находил ответа. И вот в преддверии решительной битвы, одолеваемый гордостью и робостью, я пошел к Гийоме. Мой друг Гийоме уже знал эти трассы. Он изучил все хитрости и уловки. Он знает, как покорить Испанию. Пусть он посвятит и меня в свои секреты.

Гийоме встретил меня улыбкой.

— Я уже слышал новость. Ты доволен?

Он достал из стенного шкафа бутылку портвейна, стаканы и, не переставая улыбаться, подошел ко мне.

— Такое событие надо спрыснуть. Увидишь, все будет хорошо!

От него исходила уверенность, как от лампы — свет. Несколько лет спустя он, мой друг Гийоме, совершил рекордные перелеты с почтой над Кордильерами и Южной Атлантикой. А в тот вечер, сидя под лампой, освещавшей его рубашку,

скрещенные руки и улыбку, от которой я сразу воспрянул духом, он сказал просто:

— Неприятности у тебя будут — гроза, туман, снег, — без этого не обойтись. А ты рассуждай так: летали же другие, они через это прошли, значит, и я могу.

Я все-таки развернул свою карту и попросил его просмотреть со мною маршрут. Наклонился над освещенной картой, оперся на плечо друга — и вновь почувствовал себя спокойно и уверенно, как в школьные годы.

Странный то был урок географии! Гийоме не преподносил мне сведения об Испании, он дарил мне ее дружбу. Он не говорил о водных бассейнах, о численности населения и поголовье скота. Он говорил не о Гуадиксе, но о трех апельсиновых деревьях, что растут на краю поля неподалеку от Гуадикса. «Берегись, отметь их на карте...» И с того часа три дерева занимали на моей карте больше места, чем Сьерра-Невада. Он говорил не о Лорке, но о маленькой ферме возле Лорки. О жизни этой фермы. О ее хозяине. И о хозяйке. И эта чета, затерявшаяся на земных просторах за тысячу с лишним километров от нас, безмерно вырастала в моих глазах. Их дом стоял на горном склоне, их окна светили издалека, словно

звезды, — подобно смотрителям маяка эти двое всегда готовы были помочь людям своим огнем.

Так мы извлекали из забвения, из невообразимой дали мельчайшие подробности, о которых понятия не имеет ни один географ. Ведь географов занимает только Эбро, чьи воды утоляют жажду больших городов. Но им нет дела до ручейка, что прячется в траве западнее Мотриля, — кормилец и поилец трех десятков полевых цветов. «Берегись этого ручья, он портит поле… Нанеси его тоже на карту». О да, я буду помнить про мотрильскую змейку! Она выглядела так безобидно, своим негромким журчаньем она могла разве что убаюкать нескольких лягушек, но сама она спала вполглаза. Затаясь в траве за сотни и сотни километров отсюда, она подстерегала меня на краю спасительного поля. При первом удобном случае она бы меня превратила в сноп огня…

Готов я был и к встрече с драчливыми баранами, которые всегда пасутся вон там, на склоне холма, и, того гляди, бросятся на меня. «Посмотришь — на лугу пусто, и вдруг — бац! — прямо под колеса кидаются все тридцать баранов…» И я изумленно улыбался столь коварной угрозе.

Так понемногу Испания на моей карте, под лампой Гийоме, становилась какой-то сказоч-

ной страной. Я отмечал крестиками посадочные площадки и опасные ловушки. Отметил фермера на горе и ручеек на лугу. Старательно нанес на карту пастушку с тридцатью баранами, совсем как в песенке, — пастушку, которой пренебрегают географы.

Потом я простился с Гийоме, и мне захотелось немного пройтись, подышать морозным вечерним воздухом. Подняв воротник, я шагал среди ничего не подозревающих прохожих, молодой и ретивый. Меня окружали незнакомые люди, и я гордился своей тайной. Они меня не знают, бедняги, а ведь на рассвете с грузом почты они доверят мне свои заботы и душевные порывы. В мои руки предадут свои надежды. И, уткнувшись в воротник, я ходил среди них как защитник и покровитель, а они ничего и ведать не ведали.

Им не были внятны и знаки, которые я ловил в ночи. Ведь если где-то зреет снежная буря, которая помешает мне в моем первом полете, от нее, возможно, зависит и моя жизнь. Одна за другой гаснут в небе звезды, но что до этого прохожим? Я один понимал, что это значит. Перед боем мне посылали весть о расположении врага…

А между тем эти сигналы, исполненные для меня такого значения, я получал возле ярко осве-

щенных витрин, где сверкали рождественские подарки. Казалось, в ту ночь там были выставлены напоказ все земные блага, — и меня опьяняло горделивое сознание, что я от всего этого отказываюсь. Я воин, и мне грозит опасность, на что мне искристый хрусталь — украшение вечерних пиршеств, что мне абажуры и книги? Меня уже окутывали туманы, — рейсовый пилот, я уже вкусил от горького плода ночных полетов.

В три часа меня разбудили. Я распахнул окно, увидел, что на улице дождь, и сосредоточенно, истово оделся.

Полчаса спустя я уже сидел, оседлав чемоданчик, на блестящем мокром тротуаре и дожидался автобуса. Сколько товарищей до меня пережили в день посвящения такие же нескончаемые минуты, и у них так же сжималось сердце! Наконец он вывернулся из-за угла, этот допотопный дребезжащий тарантас, и вслед за товарищами настал и мой черед по праву занять место на тесной скамье между невыспавшимся таможенником и двумя или тремя чиновниками. В автобусе пахло затхлой и пыльной канцелярией, старой конторой, где, как в болоте, увязает человеческая жизнь. Через каждые пятьсот метров автобус останавливался и подбирал еще одного письмоводителя,

еще одного таможенника или инспектора. Вновь прибывший здоровался, сонные пассажиры бормотали в ответ что-то невнятное, он с грехом пополам втискивался между ними и тоже засыпал. Точно в каком-то унылом обозе, трясло их на неровной тулузской мостовой, и поначалу рейсовый пилот был неотличим от всех этих канцеляристов… Но мимо плыли уличные фонари, приближался аэродром — и старый тряский автобус становился всего лишь серым коконом, из которого человек выйдет преображенным.

В жизни каждого товарища было такое утро, и он вот так же чувствовал, что в нем, в подчиненном, которого пока еще может безнаказанно шпынять всякий инспектор, рождается тот, кто скоро будет в ответе за испанскую и африканскую почту, — тот, кто через три часа среди молний примет бой с драконом Оспиталета, а через четыре часа выйдет из этого боя победителем; и тогда он волен будет избрать любой путь — в обход, над морем, или на приступ, напрямик через Алькойский кряж, — он поспорит и с грозой, и с горами, и с океаном.

В жизни каждого товарища было такое утро, и он, затерянный в безликой, безымянной кучке людей под хмурым небом зимней Тулузы, вот

так же чувствовал, как растет в нем властелин, который через пять часов оставит позади зиму и север, дожди и снега и, уменьшив число оборотов, неторопливо спустится в лето, в залитый ослепительным солнцем Аликанте.

Старого автобуса давно уже нет, но он и сейчас жив в моей памяти, жесткий, холодный и неуютный. Он был точно символ непременной подготовки к суровым радостям нашего ремесла. Все здесь было проникнуто строгой сдержанностью. Помню, три года спустя в этом же автобусе (не было сказано и десятка слов) я узнал о гибели Лекривэна, одного из многих наших товарищей, туманным днем или туманной ночью ушедших в отставку навеки.

Была такая же рань — три часа ночи, и такая же сонная тишина, как вдруг наш начальник, неразличимый в полутьме, окликнул инспектора:

— Лекривэн не приземлился ночью в Касабланке.

— А? — отозвался инспектор.

Неожиданно вырванный из сна, он с усилием встряхнулся, стараясь показать свой ревностный интерес к службе.

— А, что? Ему не удалось пройти? Повернул назад?

Из глубины автобуса ответили только:

— Нет.

Мы ждали, но не услышали больше ни слова. Тяжело падали секунды, и понемногу стало ясно, что после этого «нет» ничего больше и не будет сказано, что это «нет» — жестокий, окончательный приговор: Лекривэн не только не приземлился в Касабланке — он уже никогда и нигде не приземлится.

Так в то утро, на заре моего первого почтового рейса, и я, как все мои товарищи по ремеслу, покорялся незыблемому порядку, и смотрел в окно на блестевший под дождем асфальт, в котором отражались огни фонарей, и чувствовал, что не слишком уверен в себе. От ветра по лужам пробегала рябь, похожая на пальмовые ветви. «Да… не очень-то мне везет для первого рейса…» — подумал я. И сказал инспектору:

— Погода как будто неважная?

Инспектор устало покосился на окно.

— Это еще ничего не значит, — проворчал он, помедлив.

Как же тогда разобрать, плохая погода или хорошая? Накануне вечером Гийоме одной своей улыбкой уничтожил все недобрые пророчества, которыми угнетали нас «старики», но тут они

опять пришли мне на память: «Если пилот не изучил всю трассу назубок да попадет в снежную бурю… одно могу сказать, жаль мне его, беднягу!..» Надо же им было поддержать свой авторитет, вот они и качали головой, и мы смущенно поеживались под их соболезнующими взглядами, чувствуя себя жалкими простачками.

И в самом деле, для многих из нас этот автобус оказался последним прибежищем. Сколько их было — шестьдесят? Восемьдесят? Всех ненастным утром вез тот же молчаливый шофер. Я огляделся: в темноте светились огненные точки, каждая то разгоралась, то меркла в такт раздумьям курильщика. Убогие раздумья стареющих чиновников… Скольким из нас эти спутники заменили погребальный кортеж?

Я прислушивался к разговорам вполголоса. Говорили о болезнях, о деньгах, поверяли друг другу скучные домашние заботы. За всем этим вставали стены унылой тюрьмы, куда заточили себя эти люди. И вдруг я увидел лик судьбы.

Старый чиновник, сосед мой по автобусу, никто никогда не помог тебе спастись бегством, и не твоя в том вина. Ты построил свой тихий мирок, замуровал наглухо все выходы к свету, как делают термиты. Ты свернулся клубком, укрылся

в своем обывательском благополучии, в косных привычках, в затхлом провинциальном укладе, ты воздвиг этот убогий оплот и спрятался от ветра, от морского прибоя и звезд. Ты не желаешь утруждать себя великими задачами, тебе и так немалого труда стоило забыть, что ты — человек. Нет, ты не житель планеты, несущейся в пространстве, ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа: ты просто-напросто обыватель города Тулузы. Никто вовремя не схватил тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то.

Я уже не в обиде на дождь, что хлещет в окна. Колдовская сила моего ремесла открывает предо мною иной мир: через каких-нибудь два часа я буду сражаться с черными драконами и с горными хребтами, увенчанными гривой синих молний, — и с наступлением ночи, вырвавшись на свободу, проложу свой путь по звездам.

Так совершалось наше боевое крещение, и мы начинали работать на линии. Чаще всего рейсы проходили гладко. Невозмутимо, как опытные водолазы, погружались мы в глубь наших владе-

ний. Сегодня они перестали быть неизведанной стихией. Летчик, бортмеханик и радист уже не пускаются в путь наудачу, самолет для них — лаборатория. Они повинуются не скользящему под крылом ландшафту, а дрожи стрелок. За стенками кабины тонут во мраке горы, — но это уже не горы, это незримые силы, чье приближение надо рассчитать. Радист при свете лампы старательно записывает цифры, механик делает пометки на карте, — и если горы снесло в сторону, если вершины, которые пилот намеревался обойти слева, безмолвно развернулись прямо перед ним, точно вражеская армия в засаде, он попросту выправляет курс.

И на земле дежурные радисты, прислушиваясь к голосу товарища, все разом старательно записывают: «0 часов 40 минут. Курс 230. На борту все благополучно».

Так странствует в наши дни экипаж воздушного корабля. Он и не замечает, что движется. Словно ночью в море, он далек от каких-либо ориентиров. Но моторы заполняют все непрерывной дрожью, и от этого кабина — уже не просто освещенная комнатка. И время идет. И за всеми этими циферблатами, радиолампами, стрелками действует некая незримая алхимия. Секунда за

секундой таинственные жесты, приглушенные слова, сосредоточенное внимание готовят чудо. И в урочный час пилот может уверенно выглянуть наружу. Из Небытия рождается золото, оно сверкает посадочными огнями.

И все же с каждым из нас случалось так: в рейсе, в двух часах от аэродрома задумаешься и вдруг ощутишь такое одиночество, такую оторванность от всего на свете, каких не испытал бы и в самом сердце Индии, — и кажется, уже не будет возврата.

Так было с Мермозом, когда он впервые пересек на гидроплане Южную Атлантику и под вечер приблизился к Пот-о-Нуар — «котлу тьмы». С каждой минутой перед ним все теснее сходились хвосты ураганов, — словно на глазах воздвигали стену, — потом опустилась ночь и скрыла эти приготовления. А часом позже он вывернулся из-под облаков и очутился в заколдованном царстве.

Перед ним вздымались смерчи, они казались неподвижными — черные колонны невиданного храма. Вверху они расширялись, поддерживая низкий, мрачный свод бури, но через проломы в своде падали широкие полосы света, и полная луна сияла меж колонн, отражаясь в холодных

плитах вод. И Мермоз пробирался через эти руины, куда не вступала больше ни одна душа, скользил по лунным протокам, среди бакенов света, метивших извилистый фарватер, огибал гигантские гремучие колонны вставшего дыбом океана, — четыре часа шел он к выходу из храма. Это грозное величие ошеломляло, и, лишь когда Пот-о-Нуар остался позади, Мермоз вдруг понял, что даже не успел испугаться.

Мне тоже помнятся такие часы, когда покидаешь пределы реального мира: в ту ночь все радиопеленги, посланные с аэродромов Сахары, невероятно искажались и совсем сбили меня и моего радиста Нери с толку. Неожиданно сквозь просвет в тумане под нами блеснула вода, и я круто повернул к берегу, но невозможно было понять, далеко ли мы ушли над морем.

Как знать, доберемся ли мы теперь до берега? Может не хватить горючего. И даже если доберемся, надо еще найти посадочную площадку. А меж тем луна уже заходила. Все трудней становилось производить измерения сноса — и мы, уже оглохшие, постепенно слепли. Луна угасала в тумане, словно тлеющий уголь в сугробе. Небо над нами тоже затягивалось облачной пеленой, и мы плыли между облаками и туманом, в тусклой

мертвой пустоте.

Аэродромы, которые откликались на наш зов, не могли определить, где мы находимся. «Пеленг дать не можем… Пеленг дать не можем…» — повторяли они, потому что наш голос доносился до них отовсюду и ниоткуда.

И вдруг, когда мы уже отчаялись, впереди слева на горизонте сверкнула огненная точка. Я неистово обрадовался. Нери наклонился ко мне, и я услышал — он поет! Конечно же, это аэродром, конечно же, маяк! Ведь больше здесь нечему светить — по ночам вся огромная Сахара погружается во тьму, вся она словно вымирает. Но огонек померцал немного и угас. То была заходящая звезда, всего на несколько минут проглянула она над горизонтом, между облаками и пеленой тумана, и на нее-то мы взяли курс…

А потом перед нами вставали еще и еще огни, и мы со смутной надеждой брали курс на каждый новый огонек. И если он не угасал сразу, мы подвергали его испытанию.

— Видим огонь, — передавал Нери аэродрому в Сиснеросе. — Трижды погасите и зажгите маяк.

Сиснерос гасил и вновь зажигал свой маяк, но не мигал жестокий свет, за которым мы жадно следили, — неподкупная звезда.

И хоть горючее все убывало, мы каждый раз попадались на золотой крючок: уж теперь-то впереди настоящий маяк! Уж теперь-то это аэродром — и жизнь!.. И опять мы меняли звезду.

Вот тогда мы почувствовали, что заблудились в пространстве, среди сотен недосягаемых планет, и кто знает, как отыскать ту настоящую, ту единственную нашу планету, на которой остались знакомые поля, и леса, и любимый дом, и все, кто нам дорог…

Единственная планета… Я вам расскажу, какая мне тогда привиделась картина, хотя, быть может, вы сочтете это ребячеством. Но ведь и в минуту опасности остаешься человеком со всеми человеческими заботами, и я был голоден и хотел пить. Если только доберемся до Сиснероса, думал я, там наполним баки горючим и снова в путь, и вот рано поутру мы в Касабланке. Дело сделано! Мы с Нери отправимся в город. Иные маленькие бистро на рассвете уже открыты… Мы усядемся за столик, нам подадут свежие рогалики и кофе с молоком, и мы посмеемся над опасностями минувшей ночи. Мы с Нери примем утренние дары жизни. Так старой крестьянке трудно было бы ощутить Бога, не будь у нее яркого образка, наивной ладанки, четок: чтобы мы услыхали, с нами

надо говорить простым и понятным языком. Так радость жизни воплотилась для меня в первом глотке ароматного обжигающего напитка, в смеси кофе, молока и пшеницы — в этих узах, что соединяют нас с мирными пастбищами, с экзотическими плантациями и зрелыми нивами, со всей Землей. Среди великого множества звезд лишь одна наполнила этим душистым напитком чашу нашей утренней трапезы, чтобы стать нам ближе и понятнее.

Но между нашим воздушным кораблем и той обитаемой планетой ширились неодолимые расстояния. Все богатства мира остались на крохотной песчинке, затерявшейся меж созвездий. И звездочет Нери, пытаясь ее распознать, все еще напрасно заклинал светила.

Вдруг он стукнул меня по плечу. За тумаком последовала записка. Я прочел: «Все хорошо, принимаю превосходное сообщение». С бьющимся сердцем я ждал, пока он допишет те несколько слов, которые нас спасут. И вот наконец этот дар небес у меня в руках.

К нам обращалась Касабланка, откуда мы вылетели накануне вечером. Послание задержалось в пути и неожиданно настигло нас за две тысячи километров, когда мы плутали где-то над

морем, между облаками и туманом. Исходило оно от государственного контролера аэропорта в Касабланке. В радиограмме говорилось: «Господин де Сент-Экзюпери, я вынужден просить Париж наложить на вас взыскание: при вылете из Касабланки вы развернулись слишком близко к ангарам». Да, правда, я развернулся слишком близко к ангарам. Правда и то, что этот человек отчитывал меня просто по долгу службы. И в конторе аэропорта я смиренно выслушал бы выговор. Но там, где он настиг нас, он был неуместен. Дико прозвучал он среди этих редких звезд, в густом тумане, над морем, которое дышало угрозой. Нам вручена была судьба почты и самолета, и наша собственная судьба; нелегкая это была задача — остаться в живых, а тут человек срывал на нас свою мелочную злость. Но мы с Нери ничуть не возмутились — напротив, вдруг повеселели и даже возликовали. Он помог нам сделать открытие: здесь мы сами себе хозяева! Итак, этот капрал не заметил по нашим нашивкам, что нас произвели в капитаны? Он прервал наши думы на полпути от Большой Медведицы к созвездию Стрельца, и стоило ли волноваться по мелочам, когда встревожить нас могло разве что предательство луны…

Долг планеты, с которой подал голос этот человек, прямой и единственный ее долг был — сообщить нам точные данные, чтобы мы могли рассчитать свой путь среди светил. И данные эти оказались неверны. А обо всем прочем ей бы пока помолчать. И Нери пишет мне: «Чем валять дурака, лучше бы они нас куда-нибудь привели…» Они — это означало: все население земного шара, все народы с их парламентами и сенатами, с армиями, флотами и императорами. И, перечитывая послание глупца, вздумавшего сводить с нами счеты, мы повернули на Меркурий.

Спасла нас поразительная случайность. Уже не надеясь добраться до Сиснероса, я повернул под прямым углом к берегу и решил держаться этого курса, пока не иссякнет горючее. Тогда, быть может, мы и не упадем в море. На беду, мнимые маяки завлекли меня бог весть куда. И на беду, в лучшем случае нам предстоит среди ночи нырнуть в густой туман, так что скорее всего мы разобьемся при посадке. Но у меня не оставалось выбора.

Все было ясно, и я только невесело пожал плечами, когда Нери сообщил мне новость, которая часом раньше могла нас спасти: «Сиснерос пробует определить, где мы. Сиснерос переда-

ет: предположительно двести шестнадцать...» Сиснерос уже не молчал, зарывшись в темноту. Сиснерос пробуждался, мы чувствовали, что он где-то слева. Но далеко ли до него? Мы с Нери наспех посовещались. Слишком поздно. Мы оба это понимали. Погонишься за Сиснеросом — и, пожалуй, вовсе до берега не дотянешь. И Нери радировал в ответ: «Горючего осталось на час, продолжаем курс девяносто три».

Между тем один за другим просыпались аэродромы. В наш разговор вступали новые голоса — Агадир, Касабланка, Дакар. И в каждом городе поднималась тревога: радиостанция вызывала начальника аэропорта, тот — наших товарищей. Понемногу все они собрались вокруг нас, словно у постели больного. Бесплодное сочувствие, но все же сочувствие. Напрасные советы, но сколько в них нежности!

И вдруг издалека, за четыре тысячи километров, подала голос Тулуза, головной аэродром. Тулуза ворвалась к нам и без предисловий спросила: «Индекс вашего самолета F...? (Сейчас я уже не помню номер.) — Да. — Тогда в вашем распоряжении горючего еще на два часа. У вашей машины нестандартный бак. Курс на Сиснерос».

Так требования ремесла преображают и обо-

гащают мир. Но для того чтобы в привычных картинах летчику открылся новый смысл, ему вовсе не обязательно пережить подобную ночь. Однообразный вид за окном утомляет пассажира, но экипаж смотрит другими глазами. Вон та гряда облаков, встающая на горизонте, для летчика не декорация: она бросит вызов его мускулам и задаст нелегкие задачи. И он уже принимает ее в расчет и оценивает, они говорят на одном языке. А вот высится гора, до нее еще далеко, — чем она его встретит? При свете луны она послужит неплохим ориентиром. Но если летишь вслепую, и, уклонясь в сторону, с трудом исправляешь курс, и не знаешь точно, где находишься, тогда эта горная вершина обернется взрывчаткой, наполнит угрозой всю ночь, как одна-единственная мина — игрушка подводных течений — отравляет все море.

Иным видится пилоту и океан. Для пассажиров буря остается невидимкой: с высоты незаметно, как вздымаются валы, и залпы водяных брызг кажутся неподвижными. Лишь белеют внизу широко распластанные пальмовые ветви, зубчатые, рассеченные прожилками и словно заиндевелые. Но пилот понимает, что здесь на воду не сядешь. Эти пальмы для него — как огромные ядовитые

цветы.

И даже если рейс выдался удачный, на своем отрезке трассы пилот не просто зритель. Он не восхищается красками земли и неба, следами ветра на море, позолотой закатных облаков, — он их обдумывает. Точно крестьянин, который, обходя свое поле, по тысяче примет узнает, ждать ли ранней весны, не грянут ли заморозки, будет ли дождь, и пилот тоже предвидит по приметам близкий снегопад, туман или ясную погожую ночь. Поначалу казалось, самолет отдаляет человека от природы, — но нет, еще повелительней становятся ее законы. Грозовое небо вызывает пилота на суд стихий — и, одинокий, он отстаивает свой груз в споре с тремя изначальными божествами: с горами, морем и бурей.

II. Товарищи
1

Несколько французских летчиков, в том числе Мермоз, проложили над непокоренными районами Сахары авиалинию Касабланка — Дакар. Моторы тогда были очень ненадежны, Мермоз потерпел аварию и попал в руки мавров; они не решились его убить, две недели держали в плену, потом за выкуп отпустили. И Мермоз снова стал возить почту над теми же районами.

Потом открылось воздушное сообщение с Южной Америкой; Мермоз и тут был впереди, ему поручили разведать отрезок трассы от Буэнос-Айреса до Сантьяго и вслед за воздушным мостом над Сахарой перекинуть мост через Анды. Ему дали самолет с потолком в пять тысяч двести метров. А вершины Кордильер кое-где достигают семи тысяч. И Мермоз пустился на поиски просветов. Одолев пески, он вызвал на поединок горы, устремленные в небо вершины, на которых развеваются по ветру снежные покрывала; и предгрозовую мглу, что гасит все земные краски; и воздушные потоки, рвущиеся навстречу

меж двух отвесных каменных стен с такой яростью, словно вступаешь в драку на ножах. Мермоз начинал бой с неизвестным противником и не знал, можно ли выйти из подобной схватки живым. Мермоз прокладывал дорогу для других.

И вот однажды, прокладывая дорогу, он попал к Андам в плен.

Ему пришлось сесть на каменную площадку на высоте четырех тысяч метров, края площадки обрывались отвесно, и два дня они с механиком пытались выбраться из этой ловушки. Но безуспешно. Тогда они решились на последнюю отчаянную попытку: самолет разбежался, резко подскочил раз-другой на неровном камне и с края площадки сорвался в бездну. Падая, он набрал наконец скорость и опять стал повиноваться рулям. Мермоз выровнял машину перед каменным барьером и перемахнул через него, но все-таки зацепил верхнюю кромку; проведя в воздухе каких-нибудь семь минут, он вновь попал в аварию: из трубок радиатора, лопнувших ночью на морозе, текла вода; и тут под ним, как земля обетованная, распахнулась чилийская равнина.

Назавтра он начал все сначала.

Разведав во всех подробностях дорогу через Анды и отработав технику перелета, Мермоз пе-

редоверил этот участок трассы своему товарищу Гийоме и взялся за разведку ночи.

В то время наши аэродромы еще не освещались, как теперь, и когда Мермоз темной ночью шел на посадку, для него зажигали три жалких бензиновых факела.

Он справился и с этим и проложил путь другим.

Ночь была приручена, и Мермоз взялся за океан. Уже в 1931 году он впервые доставил почту из Тулузы в Буэнос-Айрес за четверо суток. На обратном пути у него что-то случилось с маслопроводом, и он опустился прямо на бушующие воды Атлантики. Оказавшееся поблизости судно спасло и почту и экипаж.

Так Мермоз покорял пески и горы, ночь и море. Не раз пески и горы, ночь и море поглощали его. Но он возвращался — и снова отправлялся в путь.

Так проработал он двенадцать лет, и вот однажды, уже в который раз пролетая над Южной Атлантикой, коротко радировал, что выключает правый мотор. И наступило молчание.

Казалось бы, волноваться не из-за чего, но молчание затянулось, прошло десять минут — и все радисты авиалинии, от Парижа до Буэнос-Айреса,

стали на тревожную вахту. Ибо если в обыденной жизни десять минут опоздания — пустяк, то для почтового самолета они полны грозного смысла. В этом провале скрыто неведомое событие. Маловажное ли, трагическое ли, оно уже совершилось. Судьба вынесла свой приговор, окончательный и бесповоротный: быть может, жестокая сила всего лишь заставила пилота благополучно опуститься на воду, а быть может, разбила самолет вдребезги. Но тем, кто ждет, приговор не объявлен.

Кому из нас не знакома эта надежда, угасающая с каждой минутой, это молчание, которое становится все тяжелее, словно роковой недуг? Сперва мы надеялись, но текли часы, и вот уже слишком поздно. К чему обманывать себя — товарищи не вернутся, они покоятся в глубинах Атлантического океана, над которым столько раз бороздили небо. Сомнений нет, долгий труд Мермоза окончен, и он обрел покой — так засыпает в поле жнец, честно связав последний сноп.

Когда товарищ умирает так, это никого не удивляет, — таково наше ремесло, и, пожалуй, будь его смерть иной, боль утраты была бы острее. Да, конечно, теперь он далеко, в последний раз он переменил аэродром, но мы еще не почувствовали, что нам его не хватает, как хлеба насущного.

Мы ведь привыкли подолгу ждать встреч. Товарищи, работающие на одной линии, разбросаны по всему свету, от Парижа до Сантьяго, им, точно часовым на посту, не перемолвиться словом. И только случай порою то здесь, то там вновь сведет вместе членов большой летной семьи. Где-нибудь в Касабланке, в Дакаре или Буэнос-Айресе после стольких лет вновь за ужином вернешься к прерванной когда-то беседе, и вспомнишь прошлое, и почувствуешь, что все мы по-прежнему друзья. А там и опять в дорогу. Вот почему земля разом и пустынна, и богата. Богата потаенными оазисами дружбы — они скрыты от глаз и до них нелегко добраться, но не сегодня, так завтра наше ремесло непременно приводит нас туда. Быть может, жизнь и отрывает нас от товарищей и не дает нам много о них думать, а все равно где-то, бог весть где, они существуют — молчаливые, забытые, но всегда верные! И когда наши дороги сходятся, как они нам рады, как весело нас тормошат! А ждать — ждать мы привыкли…

Но рано или поздно узнаешь, что один из друзей замолк навсегда, мы уже не услышим его звонкого смеха, отныне этот оазис недосягаем. Вот тогда настает для нас подлинный траур — не надрывающее душу отчаяние, скорее горечь.

Нет, никто никогда не заменит погибшего товарища. Старых друзей наскоро не создашь. Нет сокровища дороже, чем столько общих воспоминаний, столько тяжких часов, пережитых вместе, столько ссор, примирений, душевных порывов. Такая дружба — плод долгих лет. Сажая дуб, смешно мечтать, что скоро найдешь приют в его тени. Так устроена жизнь. Сперва мы становимся богаче, ведь много лет мы сажали деревья, но потом настают годы, когда время обращает в прах наши труды и вырубает лес. Один за другим уходят друзья, лишая нас прибежища. И, скорбя об ушедших, втайне еще и грустишь о том, что сам стареешь.

* * *

Таковы уроки, которые преподали нам Мермоз и другие наши товарищи. Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том и состоит, что оно объединяет людей: ибо ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком.

Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве, и все наши богатства — прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит

жить.

Я перебираю самые неизгладимые свои воспоминания, подвожу итог самому важному из пережитого, — да, конечно, всего значительней, всего весомей были те часы, каких не принесло бы мне все золото мира. Нельзя купить дружбу Мермоза, дружбу товарища, с которым навсегда связали нас пережитые испытания.

Нельзя купить за деньги это чувство, когда летишь сквозь ночь, в которой горят сто тысяч звезд, и душа ясна, и на краткий срок ты — всесилен.

Нельзя купить за деньги то ощущение новизны мира, что охватывает после трудного перелета: деревья, цветы, женщины, улыбки — все расцветила яркими красками жизнь, возвращенная нам вот сейчас, на рассвете, весь согласный хор мелочей нам наградой.

Не купить за деньги и ту ночь, которая мне сейчас вспоминается, — ночь в непокоренном районе Сахары.

Мы — три самолета компании «Аэропосталь» — застряли под вечер на берегу Рио-де-Оро. Первым сделал вынужденную посадку мой товарищ Ригель — у него заклинило рули; на выручку прилетел другой товарищ, Бурга, однако пустячная

поломка и его приковала к земле. Наконец возле них сел я, но к тому времени уже стемнело. Мы решили починить машину Бурга, но не ковыряться впотьмах, а ждать утра.

Годом раньше на этом же самом месте потерпели аварию наши товарищи Гурп и Эрабль — и непокоренные мавры их убили. Мы знали, что и сейчас где-то у Бохадора стоит лагерем отряд в триста ружей. Вероятно, издалека увидав, как приземлились наши три самолета, они подняли тревогу, — и эта ночь может стать для нас последней.

Итак, мы приготовились к ночному бдению. Вытащили из грузовых кабин несколько ящиков, высыпали багаж, составили ящики в круг и внутри каждого, точно в сторожке, зажгли жалкую свечу, кое-как защищенную от ветра. Так среди пустыни, на обнаженной коре планеты, одинокие, словно на заре времен, мы возвели человеческое поселение.

Мы собрались на главной площади нашего поселения, на песчаном пятачке, куда падал из ящиков трепетный свет, и стали ждать. Мы ждали зари, которая принесет нам спасенье или мавров. И уж не знаю почему, но было в той ночи что-то праздничное, рождественское. Мы дели-

лись воспоминаниями, шутили, пели.

Мы были слегка возбуждены, как на пиру. А меж тем ничего у нас не было. Только ветер, песок да звезды. Суровая нищета в духе траппистов. Но за этим скудно освещенным столом горстка людей, у которых в целом свете не осталось ничего, кроме воспоминаний, делилась незримыми сокровищами.

Наконец-то мы встретились. Случается, долго бредешь бок о бок с людьми, замкнувшись в молчании либо перекидываясь незначащими словами. Но вот настает час опасности. И тогда мы друг другу опора. Тогда оказывается — все мы члены одного братства. Приобщаешься к думам товарищей и становишься богаче. Мы улыбаемся друг другу. Так выпущенный на волю узник счастлив безбрежностью моря.

2

Скажу несколько слов о тебе, Гийоме. Не бойся, я не стану вгонять тебя в краску, громко превознося твою отвагу и мастерство. Не ради этого я хочу рассказать о самом поразительном твоем приключении.

Есть такое человеческое качество, для него

еще не придумано названия. Быть может, серьезность? Нет, и это неверно. Ведь с ним уживается и улыбка, и веселый нрав. Оно присуще плотнику: как равный становится он лицом к лицу с куском дерева, ощупывает его, измеряет и, чуждый пустой самонадеянности, приступает к работе во всеоружии своих сил и умения.

Однажды я прочел восторженный рассказ о твоем приключении, Гийоме, и давно хочу свести счеты с этим кривым зеркалом. Тебя изобразили каким-то дерзким, языкатым мальчишкой, как будто мужество состоит в том, чтобы в час грозной опасности или перед лицом смерти унизиться до зубоскальства! Они не знали тебя, Гийоме. Тебе вовсе незачем перед боем поднимать противника на смех. Когда надвигается буря, ты говоришь: «Будет буря». Ты видишь, что тебе предстоит, и готовишься к встрече.

Я хорошо помню, как это было, Гийоме, и я свидетельствую.

Зимой ты ушел в рейс через Анды — и исчез, пятьдесят часов от тебя не было никаких вестей. Я как раз вернулся из глубины Патагонии и присоединился в Мендосе к летчику Деле. Пять дней кряду мы кружили над горами, пытаясь отыскать в этом хаосе хоть какой-то след, но

безуспешно. Что тут могли сделать два самолета! Казалось, и сотне эскадрилий за сто лет не обшарить все это неоглядное нагромождение гор, где иные вершины уходят ввысь на семь тысяч метров. Мы потеряли всякую надежду. Даже местные контрабандисты, головорезы, которые в долине ради пяти франков идут на любой риск и преступление, и те не решились вести спасательные отряды на штурм этих твердынь. «Нам своя шкура дороже, — говорили они. — Зимой Анды человека живым не выпустят». Когда мы с Деле возвращались в Сантьяго, чилийские должностные лица всякий раз советовали нам отказаться от поисков. «Сейчас зима. Если даже ваш товарищ и не разбился насмерть, до утра он не дожил. Ночь в горах пережить нельзя, она превращает человека в кусок льда». А потом я снова пробирался среди отвесных стен и гигантских столпов Анд, и мне казалось — я уже не ищу тебя, а в безмолвии снежного собора читаю над тобой последнюю молитву.

А на седьмой день я между вылетами завтракал в одном мендосском ресторане, и вдруг кто-то распахнул дверь и крикнул — всего лишь два слова:

— Гийоме жив!

И все, кто там был, даже незнакомые, на радо-

стях обнялись.

Через десять минут я уже поднялся в воздух, прихватив с собой двух механиков — Лефевра и Абри. А еще через сорок минут приземлился на дороге, шестым чувством угадав машину, увозившую тебя куда-то к Сан-Рафаэлю. Это была счастливая встреча, мы все плакали, мы душили тебя в объятиях — ты жив, ты воскрес, ты сам сотворил это чудо! Вот тогда ты сказал — и эти первые твои слова были полны великолепной человеческой гордости:

— Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу.

Позже ты нам рассказал, как все это случилось.

Двое суток бесновалась метель, чилийские склоны Анд утопали под пятиметровым слоем снега, видимости не было никакой — и летчики американской авиакомпании повернули назад. А ты все-таки вылетел, ты искал просвет в сером небе. Вскоре на юге ты нашел эту ловушку, вышел из облаков — они кончались на высоте шести тысяч метров, и над ними поднимались лишь немногие вершины, а ты достиг шести с половиной тысяч — и взял курс на Аргентину.

Странное и тягостное чувство охватывает пилота, которому случится попасть в нисходящее

воздушное течение. Мотор работает — и все равно проваливаешься. Вздергиваешь самолет на дыбы, стараясь снова набрать высоту, но он теряет скорость и силу, и все-таки проваливаешься. Опасаясь, что слишком круто задрал нос, отдаешь ручку, предоставляешь воздушному потоку снести тебя в сторону, ищешь поддержки у какого-нибудь хребта, который служит ветру трамплином, — и по-прежнему проваливаешься. Кажется, само небо падает. Словно ты захвачен какой-то вселенской катастрофой. От нее негде укрыться. Тщетно поворачиваешь назад, туда, где еще совсем недавно воздух был прочной, надежной опорой. Опереться больше не на что. Все разваливается, весь мир рушится, и неудержимо сползаешь вниз, а навстречу медленно поднимается облачная муть, окутывает тебя и поглощает.

— Я потерял высоту и даже не сразу понял, что к чему, — рассказывал ты. — Кажется, будто облака неподвижны, но это потому, что они все время меняются и перестраиваются на одном и том же уровне, и вдруг над ними — нисходящие потоки. Непонятные вещи творятся там, в горах.

А какие громоздились облака!..

Вдруг машина ухнула вниз, я невольно выпустил рукоятку и вцепился в сиденье, чтоб меня

не выбросило из кабины. Трясло так, что ремни врезались мне в плечи и чуть не лопнули. А тут еще стекла залепило снегом, приборы перестали показывать горизонт, и я кубарем скатился с шести тысяч метров до трех с половиной.

Тут я увидел под собой черное плоское пространство, оно помогло мне выровнять самолет. Это было горное озеро Лагуна Диаманте. Я знал, что оно лежит в глубокой котловине и одна ее сторона — вулкан Маипу — поднимается на шесть тысяч девятьсот метров. Хоть я и вырвался из облачности, меня все еще слепили снежные вихри, и, попытайся я уйти от озера, я непременно разбился бы о каменные стены котловины. Я кружил и кружил над ним на высоте тридцати метров, пока не кончилось горючее. Два часа крутился, как цирковая лошадь на арене. Потом сел — и перевернулся. Выбрался из-под машины, но буря сбила меня с ног. Поднялся — опять сбило. Пришлось залезть под кабину, выкопать яму в снегу и там укрыться. Я обложился со всех сторон мешками с почтой и высидел так двое суток.

А потом буря утихла, и я пошел. Я шел пять дней и четыре ночи.

Но что от тебя осталось, Гийоме! Да, мы тебя нашли, но как ты высох, исхудал, весь съежился,

точно старуха! В тот же вечер я доставил тебя самолетом в Мендосу, там тебя, словно бальзам, омыла белизна простынь. Но они не утолили боль. Измученное тело мешало тебе, ты ворочался, и не находил себе места, и никак не мог уснуть. Твое тело не забыло ни скал, ни снегов. Они наложили на тебя свою печать. Лицо твое почернело и опухло, точно перезрелый побитый плод. Ты был страшен и жалок, прекрасные орудия твоего труда — твои руки — одеревенели и отказывались тебе служить; а когда, борясь с удушьем, ты садился на край кровати, обмороженные ноги свисали мертвым грузом. Было так, словно ты все еще в пути — бредешь, и задыхаешься, и, приникнув к подушке, тоже не находишь покоя, — назойливые видения, теснившиеся где-то в тайниках мозга, опять и опять проходят перед тобой, и ты не в силах остановить это шествие. И нет ему конца. И опять, в который раз, ты вступаешь в бой с поверженным и вновь восстающим из пепла врагом.

Я поил тебя всякими целебными снадобьями:

— Пей, старик!

— И понимаешь, что было самое удивительное…

Точно боксер, который одержал победу, но и

сам жестоко избит, ты заново переживал свое поразительное приключение. Ты рассказывал понемногу, урывками, и тебе становилось легче. А мне представлялось — вот ты идешь в лютый сорокаградусный мороз, карабкаешься через перевалы на высоте четырех с половиной тысяч метров, у тебя нет ни ледоруба, ни веревки, ни еды, ты проползаешь по краю откосов, обдирая в кровь ступни, колени, ладони. С каждым часом ты теряешь кровь, и силы, и рассудок и все-таки движешься вперед, упорный, как муравей; возвращаешься, наткнувшись на неодолимую преграду или взобравшись на крутизну, за которой разверзается пропасть; падаешь и вновь поднимаешься, не даешь себе хотя бы краткой передышки — ведь стоит прилечь на снежное ложе, и уже не встанешь.

Да, поскользнувшись, ты спешил подняться, чтобы не закоченеть. С каждым мигом ты цепенел, стоило позволить себе после падения лишнюю минуту отдыха — и уже не слушались омертвелые мышцы, и так трудно было подняться. Но ты не поддавался соблазну.

— В снегу теряешь всякое чувство самосохранения, — говорил ты мне. — Идешь два, три, четыре дня — и уже ничего больше не хочется, только

спать. Я хотел спать. Но я говорил себе — если жена верит, что я жив, она верит, что я иду. И товарищи верят, что я иду. Все они верят в меня. Подлец я буду, если остановлюсь!

И ты шел, и каждый день перочинным ножом расширял надрезы на башмаках, в которых уже не умещались обмороженные распухшие ноги.

Ты поразил меня одним признанием:

— Понимаешь, уже со второго дня всего трудней было не думать. Уж очень мне стало худо, и положение самое отчаянное. И задумываться об этом нельзя, а то не хватит мужества идти. На беду, голова плохо слушалась, работала без остановки, как турбина. Но мне все-таки удавалось управлять воображением. Я подкидывал ему какой-нибудь фильм или книгу. И фильм или книга разворачивались передо мной полным ходом, картина за картиной. А потом какой-нибудь поворот опять возвращал мысль к действительности. Неминуемо. И тогда я заставлял себя вспоминать что-нибудь другое…

Но однажды ты поскользнулся, упал ничком в снег — и не стал подниматься. Это было как внезапный нокаут, когда боксер утратил волю к борьбе и равнодушен к счету секунд, что звучит где-то далеко, в чужом мире — раз, два, три… а

там десятая — и конец.

— Я сделал все, что мог, надежды никакой не осталось — чего ради тянуть эту пытку?

Довольно было закрыть глаза — и в мире настал бы покой. Исчезли бы скалы, льды и снега. Нехитрое волшебство: сомкнешь веки, и все пропадает — ни ударов, ни падений, ни острой боли в каждом мускуле, ни жгучего холода, ни тяжкого груза жизни, которую тащишь, точно вол — непомерно тяжелую колымагу. Ты уже ощутил, как холод отравой разливается по всему телу и, словно морфий, наполняет тебя блаженством. Жизнь отхлынула к сердцу, больше ей негде укрыться. Там, глубоко внутри, сжалось в комочек что-то нежное, драгоценное. Сознание постепенно покидало дальние уголки тела, которое еще недавно было как истерзанное животное, а теперь обретало безразличную холодность мрамора.

Даже совесть твоя утихала. Наши призывные голоса уже не доносились до тебя, вернее, они звучали как во сне. И во сне ты откликался, ты шел по воздуху невесомыми счастливыми шагами, и перед тобой уже распахивались отрадные просторы равнин. Как легко ты парил в этом мире, как он стал приветлив и ласков! И ты, скупец, решил у нас отнять радость своего возвращения.

В самых дальних глубинах твоего сознания шевельнулись угрызения совести. В сонные грезы вторглась трезвая мысль.

— Я подумал о жене. Мой страховой полис убережет ее от нищеты. Да, но если…

Если застрахованный пропадает без вести, по закону его признают умершим только через четыре года. Перед этой суровой очевидностью отступили все сны и видения. Вот ты лежишь ничком, распластавшись на заснеженном откосе. Настанет лето, и мутный поток талых вод снесет твое тело в какую-нибудь расселину, которых в Андах тысячи. Ты это знал. Но знал и то, что в пятидесяти метрах перед тобой торчит утес.

— Я подумал — если встану, может, и доберусь до него. Прижмусь покрепче к камню, тогда летом тело найдут.

А поднявшись на ноги, ты шел еще две ночи и три дня.

Но ты вовсе не надеялся уйти далеко.

— По многим признакам я угадывал близкий конец. Вот пример. Каждые два часа или около того мне приходилось останавливаться — то еще немного разрезать башмак, то растереть опухшие ноги, то просто дать отдых сердцу. Но в последние дни память стала мне изменять. Бывало, отойду

довольно далеко от места остановки, а потом спохватываюсь: опять я что-нибудь да забыл! Сперва забыл перчатку, а в такой мороз это не шутка. Положил ее возле себя, а уходя, не поднял. Потом забыл часы. Потом перочинный нож. Потом компас. Что ни остановка, то потеря…

Спасенье в том, чтобы сделать первый шаг. Еще один шаг. С него-то все и начинается заново…

— Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу.

Опять мне приходят на память эти слова — я не знаю ничего благороднее, эти слова определяют высокое место человека в мире, в них — его честь и слава, его подлинное величие. Наконец ты засыпал, сознание угасало, но с твоим пробуждением и оно тоже возрождалось и вновь обретало власть над изломанным, измятым, обожженным телом. Так, значит, наше тело лишь послушное орудие, лишь верный слуга. И ты гордишься им, Гийоме, и эту гордость ты тоже сумел вложить в слова:

— Я ведь шел голодный, так что, сам понимаешь, на третий день сердце начало сдавать… Ну и вот, ползу я по круче, подо мной — обрыв, пропасть, пробиваю в снегу ямку, чтобы сунуть кулак, и на кулаках повисаю — и вдруг сердце отказывает. То замрет, то опять работает. Да

неуверенно, неровно. Чувствую — помешкай оно лишнюю секунду, и я свалюсь. Застыл на месте, прислушиваюсь — как оно там, внутри? Никогда, понимаешь, никогда в полете я так всем нутром не слушал мотор, как в эти минуты — собственное сердце. Все зависело от него. Я его уговариваю — а ну-ка, еще разок! Постарайся еще… Но сердце оказалось первый сорт. Замрет — а потом все равно опять работает… Знал бы ты, как я им гордился!

Задыхаясь, ты наконец засыпал. А я сидел там, в Мендосе, у твоей постели и думал: если заговорить с Гийоме о его мужестве, он только пожмет плечами. Но и восхвалять его скромность было бы ложью. Он выше этой заурядной добродетели. А пожмет плечами потому, что умудрен опытом. Он знает — люди, застигнутые катастрофой, уже не боятся. Пугает только неизвестность. Но когда человек уже столкнулся с нею лицом к лицу, она перестает быть неизвестностью. А особенно — если встречаешь ее вот так спокойно и серьезно. Мужество Гийоме рождено прежде всего душевной прямотой.

Главное его достоинство не в этом. Его величие — в сознании ответственности. Он в ответе за самого себя, за почту, за товарищей, которые надеются на его возвращение. Их горе или радость

у него в руках. Он в ответе за все новое, что создается там, внизу, у живых, он должен участвовать в созидании. Он в ответе за судьбы человечества — ведь они зависят и от его труда.

Он из тех больших людей, что подобны большим оазисам, которые могут многое вместить и укрыть в своей тени. Быть человеком — это и значит чувствовать, что ты за все в ответе. Сгорать от стыда за нищету, хоть она как будто существует и не по твоей вине. Гордиться победой, которую одержали товарищи. И знать, что, укладывая камень, помогаешь строить мир.

И таких людей ставят на одну доску с тореадорами или с игроками! Расхваливают их презрение к смерти. А мне плевать на презрение к смерти. Если корни его не в сознании ответственности, оно — лишь свойство нищих духом либо чересчур пылких юнцов. Мне вспоминается один молодой самоубийца. Уж не знаю, какая несчастная любовь толкнула его на это, но он старательно всадил себе пулю в сердце. Не знаю, какому литературному образцу он следовал, натягивая перед этим белые перчатки, но помню — в этом жалком театральном жесте я почувствовал не благородство, а убожество. Итак, за приятными чертами лица, в голове, где должен бы обитать

человеческий разум, ничего не было, ровно ничего. Только образ какой-то глупой девчонки, каких на свете великое множество.

Эта бессмысленная судьба напомнила мне другую смерть, поистине достойную человека. То был садовник, он говорил мне:

— Бывало, знаете, рыхлю заступом землю, а сам обливаюсь потом… Ревматизм мучит, ноги ноют, кляну, бывало, эту каторгу на чем свет стоит. А вот нынче копался бы и копался в земле. Отличное это дело! Так вольно дышится! И потом, кто теперь станет подстригать мои деревья?

Он оставлял возделанную землю. Возделанную планету. Узы любви соединяли его со всеми полями и садами, со всеми деревьями нашей земли. Вот кто был ее великодушным, щедрым хозяином и властелином. Вот кто, подобно Гийоме, обладал истинным мужеством, ибо он боролся со смертью во имя Созидания.

III. Самолет

Не в том суть, Гийоме, что твое ремесло заставляет тебя день и ночь следить за приборами, выравниваться по гироскопам, вслушиваться в дыхание моторов, опираться на пятнадцать тонн металла; задачи, встающие перед тобой, в конечном счете — задачи общечеловеческие, и вот ты уже равен благородством жителю гор. Не хуже поэта ты умеешь наслаждаться утренней зарей. Сколько раз, затерянный в бездне тяжких ночей, ты жаждал, чтобы там, далеко на востоке, над черной землей возник первый слабый проблеск, первый сноп света. Случалось, ты уже готовился к смерти, но во мраке медленно пробивался этот чудесный родник — и возвращал тебе жизнь.

Привычка к сложнейшим инструментам не сделала тебя бездушным техником. Мне кажется, те, кого приводит в ужас развитие техники, не замечают разницы между средством и целью. Да, верно, кто добивается лишь материального благополучия, тот пожинает плоды, ради которых не стоит жить. Но ведь машина не цель. Самолет — не цель, он всего лишь орудие. Такое же ору-

дие, как плуг.

Нам кажется, будто машина губит человека, — но, быть может, просто слишком стремительно меняется наша жизнь, и мы еще не можем посмотреть на эти перемены со стороны. По сравнению с историей человечества, а ей двести тысяч лет, сто лет истории машины — такая малость! Мы едва начинаем осваиваться среди шахт и электростанций. Мы едва начинаем обживать этот новый дом, мы его даже еще не достроили. Вокруг все так быстро изменилось: взаимоотношения людей, условия труда, обычаи. Да и наш внутренний мир потрясен до самого основания. Хоть и остались слова — разлука, отсутствие, даль, возвращение, — но их смысл стал иным. Пытаясь охватить мир сегодняшний, мы черпаем из словаря, сложившегося в мире вчерашнем. И нам кажется, будто в прошлом жизнь была созвучнее человеческой природе, — но это лишь потому, что она созвучнее нашему языку.

Мы едва успели обзавестись привычками, а каждый шаг по пути прогресса уводил нас все дальше от них, и вот мы — скитальцы, мы еще не успели создать себе отчизну.

Все мы — молодые дикари, мы не устали дивиться новым игрушкам. Ведь в чем смысл наших

авиационных рекордов? Вот он, победитель, он летит всех выше, всех быстрей. Мы уже не помним, чего ради посылали его в полет. На время гонка сама по себе становится важнее цели. Так бывает всегда. Солдат, который покоряет земли для империи, видит смысл жизни в завоеваниях. И он презирает колониста. Но ведь затем он и воевал, чтоб на захваченных землях поселился колонист! Упиваясь своими успехами, мы служили прогрессу — прокладывали железные дороги, строили заводы, бурили нефтяные скважины. И как-то забыли, что все это для того и создавалось, чтобы служить людям. В пору завоеваний мы рассуждали, как солдаты. Но теперь настал черед поселенцев. Надо вдохнуть жизнь в новый дом, у которого еще нет своего лица. Для одних истина заключалась в том, чтобы строить, для других она в том, чтобы обживать.

Бесспорно, понемногу наш дом станет настоящим человеческим жилищем. Даже машина, становясь совершеннее, делает свое дело все скромней и незаметней. Кажется, будто все труды человека — создателя машин, все его расчеты, все бессонные ночи над чертежами только и проявляются во внешней простоте; словно нужен был опыт многих поколений, чтобы все стройней

и чеканней становились колонна, киль корабля или фюзеляж самолета, пока не обрели наконец первозданную чистоту и плавность линий груди или плеча. Кажется, будто работа инженеров, чертежников, конструкторов к тому и сводится, чтобы шлифовать и сглаживать, чтобы облегчить и упростить механизм крепления, уравновесить крыло, сделать его незаметным — уже не крыло, прикрепленное к фюзеляжу, но некое совершенство форм, естественно развившееся из почки, таинственно слитное и гармоническое единство, которое сродни прекрасному стихотворению. Как видно, совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять. Машина на пределе своего развития — это уже почти не машина.

Итак, по изобретению, доведенному до совершенства, не видно, как оно создавалось. У простейших орудий труда мало-помалу стирались видимые признаки механизма, и в руках у нас оказывался предмет, будто созданный самой природой, словно галька, обточенная морем; тем же примечательна и машина — пользуясь ею, постепенно о ней забываешь.

Вначале мы приступали к ней, как к сложному заводу. Но сегодня мы уже не помним, что там

в моторе вращается. Оно обязано вращаться, как сердце обязано биться, а мы ведь не прислушиваемся к биению своего сердца. Орудие уже не поглощает нашего внимания без остатка. За орудием и через него мы вновь обретаем все ту же вечную природу, которую издавна знают садовники, мореходы и поэты.

В полете встречаешься с водой и с воздухом. Когда запущены моторы, когда гидроплан берет разбег по морю, гондола его отзывается, точно гонг, на удары волн, и пилот всем телом ощущает эту напряженную дрожь. Он чувствует, как с каждой секундой машина набирает скорость и вместе с этим нарастает ее мощь. Он чувствует, как в пятнадцатитонной громаде зреет та сила, что позволит взлететь. Он сжимает ручку управления, и эта сила, точно дар, переливается ему в ладони. Он овладевает этим даром, и металлические рычаги становятся послушными исполнителями его воли. Наконец мощь его вполне созрела — и тогда легким, неуловимым движением, словно срывая спелый плод, летчик поднимает машину над водами и утверждает ее в воздухе.

IV. Самолет и планета
1

Да, конечно, самолет — машина, но притом какое орудие познания! Это он открыл нам истинное лицо Земли. В самом деле, дороги веками нас обманывали. Мы были точно императрица, пожелавшая посетить своих подданных и посмотреть, довольны ли они ее правлением. Чтобы провести ее, лукавые царедворцы расставили вдоль дороги веселенькие декорации и наняли статистов водить хороводы. Кроме этой тоненькой ниточки, государыня ничего не увидела в своих владениях и не узнала, что на бескрайних равнинах люди умирают с голоду и проклинают ее.

Так и мы брели по извилистым дорогам. Они обходят стороной бесплодные земли, скалы и пески; верой и правдой служа человеку, они бегут от родника до родника. Они ведут крестьянина от гумна к пшеничному полю, принимают у хлева едва проснувшийся скот и на рассвете выплескивают его в люцерну. Они соединяют деревню с деревней, потому что деревенские жители не прочь породниться с соседями. А если какая-ни-

будь дорога и отважится пересечь пустыню, то в поисках передышки будет без конца петлять от оазиса к оазису.

И мы обманывались их бесчисленными изгибами, словно утешительной ложью, на пути нам то и дело попадались орошенные земли, плодовые сады, сочные луга, и мы долго видели нашу тюрьму в розовом свете. Мы верили, что планета наша — влажная и мягкая.

А потом наше зрение обострилось, и мы сделали жестокое открытие. Самолет научил нас двигаться по прямой. Едва оторвавшись от земли, мы покидаем дороги, что сворачивают к водоемам и хлевам или вьются от города к городу. Отныне мы свободны от милого нам рабства, не зависим больше от родников и берем курс на дальние цели. Только теперь, с высоты прямолинейного полета, мы открываем истинную основу нашей земли, фундамент из скал, песка и соли, на котором, пробиваясь там и сям, словно мох среди развалин, зацветает жизнь.

И вот мы становимся физиками, биологами, мы рассматриваем поросль цивилизаций — они украшают собою долины и кое-где чудом расцветают, словно пышные сады в благодатном климате. Мы смотрим в иллюминатор, как уче-

ный в микроскоп, и судим человека по его месту во Вселенной. Мы заново перечитываем свою историю.

2

Когда летишь к Магелланову проливу, немного южнее Рио-Гальегос видишь внизу поток застывшей лавы. Эти остатки давно отбушевавших катаклизмов двадцатиметровой толщей придавили равнину. Дальше пролетаешь над вторым таким потоком, над третьим, а потом идут горушки, бугры высотой в двести метров, и на каждом зияет кратер. Ничего похожего на гордый Везувий: прямо на равнине разинуты жерла гаубиц.

Но сегодня здесь мир и тишина. Странным и неуместным кажется это спокойствие вставшей дыбом земли, где когда-то тысячи вулканов, изрыгая пламя, перекликались громовым рокотом подземного органа. А сейчас летишь над безмолвной пустыней, повитой лентами черных ледников.

Дальше идут вулканы более древние, их уже одела золотая мурава. Порою в кратере растет дерево, совсем как цветок в старом горшке. Окрашенная светом догорающего дня, равнина

больше похожа на великолепный парк с заботливо подстриженным газоном и лишь слегка вздымается вокруг огромных разинутых пастей. Улепетывает заяц, взлетает птица — жизнь завладела новой планетой, небесным телом, которое наконец облеклось доброй плотью земли.

Незадолго до Пунта-Аренас последние кратеры сходят на нет. Горбы вулканов почти незаметны под ровным покровом зелени, все изгибы спокойны и плавны. Каждую щель затянула эта мягкая ткань. Почва ровная, склоны пологие, и уже не помнишь об их происхождении. Зелень трав стирает с холмов мрачные приметы.

И вот самый южный город на свете, он возник благодаря случайной горстке грязи, что скопилась меж древней застывшей лавой и южными льдами. Здесь, совсем рядом с этими черными потоками, особенно остро ощущаешь, какое это чудо — человек. Редкостная удача! Бог весть как, бог весть почему этот странник забрел в сады, которые словно только его и ждали, в сады, где жизнь возможна лишь одну геологическую эпоху — краткий срок, мимолетный праздник среди нескончаемых будней.

Я приземлился в тихий теплый вечер. Пунта-Аренас! Прислоняюсь к камням фонтана и гляжу

на девушек. Они прелестны, и в двух шагах от них еще острее чувствуешь: непостижимое существо человек. В нашем мире все живое тяготеет к себе подобному, даже цветы, клонясь под ветром, смешиваются с другими цветами, лебедю знакомы все лебеди — и только люди замыкаются в одиночестве.

Как отдаляет нас друг от друга наш внутренний мир! Между мною и этой девушкой стоят ее мечты — как одолеть такую преграду? Что могу я знать о девушке, которая неспешно возвращается домой, опустив глаза и улыбаясь про себя, поглощенная милыми выдумками и небылицами? Из невысказанных мыслей возлюбленного, из его слов и его молчания она умудрилась создать собственное королевство, и отныне для нее все другие люди — просто варвары. Я знаю, она замкнулась в своей тайне, в своих привычках, в певучих отголосках воспоминаний, она далека от меня, точно мы живем на разных планетах. Лишь вчера рожденная вулканами, зелеными лужайками или соленой морской волной, она уже почти божество.

Пунта-Аренас! Прислоняюсь к камням фонтана. Старухи приходят сюда набрать воды; их удел — тяжелая работа, только это я и узнаю об

их судьбе. Откинувшись к стене, безмолвными слезами плачет ребенок; только это я о нем и запомню: славный малыш, навеки безутешный. Я чужой. Я ничего о них не знаю. Мне нет доступа в их владения.

До чего скупы декорации, среди которых развертывается многоликая игра человеческой вражды, и дружбы, и радостей! Волей случая люди брошены на еще не остывшую лаву, и уже надвигаются на них грозные пески и снега, — откуда же у них эта тяга к вечности? Ведь их цивилизация — лишь хрупкая позолота: заговорит вулкан, нахлынет море, дохнет песчаная буря — и они сгинут без следа.

Этот город, видно, раскинулся на щедрой земле, полагают, что слой почвы здесь глубокий, как в Бос. И люди забывают, что здесь, как и повсюду, жизнь — это роскошь, что нет на планете такого места, где земля у нас под ногами и впрямь лежала бы толстым слоем. Но в десяти километрах от Пунта-Аренас я знаю пруд, который наглядно это показывает. Окаймленный чахлыми деревцами и приземистыми домишками, он неказист, точно лужа посреди крестьянского двора, но вот что непостижимо — в нем существуют приливы и отливы. Все вокруг так мирно и обыденно, шуршат

камыши, играют дети, а пруд подчиняется иным законам, и ни днем ни ночью не замирает его медленное дыхание. Недвижная сонная гладь, единственная ветхая лодка, а под всем этим — воды, покорные влиянию луны. Их черные глуби живут одной жизнью с морем. Окрест, до самого Магелланова пролива, под тонкой пленкой трав и цветов все причудливо связано, все смешивается и переливается. И вот — город, кажется, он надежно построен на обжитой земле, и здесь ты дома, — а у самого порога, в луже шириной едва в сотню метров, бьется пульс моря.

3

Мы живем на планете-страннице. Порой благодаря самолету мы узнаем что-то новое о ее прошлом: связь лужи с луной изобличает скрытое родство — но я встречал и другие приметы.

Пролетая над побережьем Сахары, между Кап-Джуби и Сиснеросом, тут и там видишь своеобразные плоскогорья от нескольких сот шагов до тридцати километров в поперечнике, похожие на усеченные конусы. Примечательно, что все они одной высоты — триста метров. Одинаковы их уровень, их окраска (они состоят

из тех же пород), одинаково круты их склоны. Точно колонны, которые, возвышаясь над песками, еще очерчивают тень давно рухнувшего храма, эти столбы свидетельствуют, что некогда здесь простиралось, соединяя их, одно огромное плоскогорье.

Воздушное сообщение между Касабланкой и Дакаром только еще начиналось, наши машины были в те годы хрупки и ненадежны — и, когда мы терпели аварию или вылетали на поиски товарищей или на выручку, нередко нам приходилось садиться в непокоренных районах. А песок обманчив: понадеешься на его плотность — и увязнешь. Что до древних солончаков, с виду они тверды, как асфальт, и гулко звенят под ногой, но зачастую не выдерживают тяжести колес. Белая корка соли проламывается — и оказываешься в черной зловонной трясине. Вот почему, когда было возможно, мы предпочитали гладкую поверхность этих плоскогорий — здесь-то не скрывалось никакой западни.

Порукой тому был слежавшийся крупный и тяжелый песок — громадные залежи мельчайших ракушек. На поверхности плоскогорий они сохранились в целости, а дальше вглубь — это видно было по срезу — все больше дробились и

спрессовывались. В самых древних пластах, в основании массива, уже образовался чистейший известняк.

И вот в ту пору, когда надо было выручать из плена наших товарищей Рена и Серра, захваченных непокорными племенами, я доставил на такое плоскогорье мавра, посланного для переговоров, и, прежде чем улететь, стал вместе с ним искать, где бы ему сойти вниз. Но со всех сторон наша площадка отвесно обрывалась в бездну круто ниспадающими складками, точно тяжелый каменный занавес. Спуститься было немыслимо.

Надо было лететь, искать более подходящее место, но я замешкался. Быть может, это ребячество, но так радостно ощущать под ногами землю, по которой ни разу еще не ступали ни человек, ни животное. Ни один араб не взял бы приступом эту твердыню. Ни один европейский исследователь еще не бывал здесь. Я мерил шагами девственный, с начала времен не тронутый песок. Я первый пересыпал в ладонях, как бесценное золото, раздробленные в пыль ракушки. Первым я нарушил здесь молчание. На этой полярной льдине, которая от века не взрастила ни единой былинки, я, словно занесенное ветрами семя, оказался первым свидетельством жизни.

В небе уже мерцала звезда, я поднял к ней глаза. Сотни тысяч лет, думал я, эта белая гладь открывалась только взорам светил. Незапятнанно чистая скатерть, разостланная под чистыми небесами. И вдруг сердце у меня замерло, словно на пороге необычайного открытия: на этой скатерти, в каких-нибудь тридцати шагах от меня, чернел камень.

Под ногами лежала трехсотметровая толща спрессованных ракушек. Этот сплошной гигантский пласт был как самый неопровержимый довод: здесь нет и не может быть никаких камней. Если и дремлют там, глубоко под землей, кремни — плод медленных превращений, совершающихся в недрах планеты, — каким чудом один из них могло вынести на эту нетронутую поверхность? С бьющимся сердцем я подобрал находку — плотный черный камень величиной с кулак, тяжелый, как металл, и округлый, как слеза.

На скатерть, разостланную под яблоней, может упасть только яблоко, на скатерть, разостланную под звездами, может падать только звездная пыль, — никогда ни один метеорит не показывал так ясно, откуда он родом.

И естественно, подняв голову, я подумал, что

небесная яблоня должна была уронить и еще плоды. И я найду их там, где они упали, — ведь сотни и тысячи лет ничто не могло их потревожить. И ведь не могли они раствориться в этом песке. Я тотчас пустился на поиски, чтобы проверить догадку.

Она оказалась верна. Я подбирал камень за камнем, примерно по одному на гектар. Все они были точно капли застывшей лавы. Все тверды, как черный алмаз. И в краткие минуты, когда я замер на вершине своего звездного дождемера, предо мною словно разом пролился этот длившийся тысячелетия огненный ливень.

4

Но всего чудесней, что там, на выгнутой спине нашей планеты, между намагниченной скатертью и звездами, поднялся человеческий разум, в котором мог отразиться, как в зеркале, этот огненный дождь. Среди извечных напластований мертвой материи человеческое раздумье — чудо. А они приходили, раздумья…

Однажды авария забросила меня в сердце песчаной пустыни, и я дожидался рассвета. Склоны

дюн, обращенные к луне, сверкали золотом, а противоположные склоны оставались темными до самого гребня, где тонкая, четкая линия разделяла свет и тень. На этой пустынной верфи, исполосованной мраком и луной, царила тишина прерванных на час работ, а быть может, безмолвие капкана, — и в этой тишине я уснул.

Очнувшись, я увидел один лишь водоем ночного неба, потому что лежал я на гребне дюны, раскинув руки, лицом к этому живозвездному садку. Я еще не понимал, что за глубины мне открылись, между ними и мною не было ни корня, за который можно бы ухватиться, ни крыши, ни ветви дерева, и уже во власти головокружения я чувствовал, что неудержимо падаю, стремительно погружаюсь в пучину.

Но нет, я не падал. Оказалось, весь я с головы до пят привязан к земле. И, странно умиротворенный, я предавался ей всею своей тяжестью. Сила тяготения показалась мне всемогущей, как любовь.

Всем телом я чувствовал — земля подпирает меня, поддерживает, несет сквозь бескрайнюю ночь. Оказалось — моя собственная тяжесть прижимает меня к планете, как на крутом вираже всей тяжестью вжимаешься в кабину, и я

наслаждался этой великолепной опорой, такой прочной, такой надежной, и угадывал под собой выгнутую палубу моего корабля.

Я так ясно ощущал это движение в пространстве, что ничуть не удивился бы, услыхав из недр земли жалобный голос вещества, мучимого непривычным усилием, стон дряхлого парусника, входящего в гавань, пронзительный скрип перегруженной баржи. Но земные толщи хранили безмолвие. Но плечами я ощущал силу притяжения — все ту же, гармоничную, неизменную, данную на века. Да, я неотделим от родной планеты — так гребцы затонувшей галеры, прикованные к месту свинцовым грузом, навеки остаются на дне морском.

Затерянный в пустыне, окруженный опасностями, беззащитный среди песков и звезд, отрезанный от магнитных полюсов моей жизни немыми далями, раздумывал я над своей судьбой. Я знал: на то, чтоб возвратиться к этим животворным полюсам, если только меня не разыщет какой-нибудь самолет и не прикончат завтра мавры, уйдут долгие дни, недели и месяцы. Здесь у меня не оставалось ничего. Всего лишь смертный, заблудившийся среди песков и звезд, я сознавал, что обладаю только одной радостью

— дышать…

Зато вдоволь было снов наяву.

Они прихлынули неслышно, как воды родника, и сперва я не понял, откуда она, эта охватившая меня нега. Ни голосов, ни видений, только чувство, что рядом кто-то есть, близкий и родной друг, и вот сейчас, сейчас я его узнаю. А потом я понял — и, закрыв глаза, отдался колдовству памяти.

Был где-то парк, густо заросший темными елями и липами, и старый дом, дорогой моему сердцу. Что за важность, близок он или далек, что за важность, если он и не может ни укрыть меня, ни обогреть, ибо здесь он только греза: он существует — и этого довольно, в ночи я ощущаю его достоверность. Я уже не безымянное тело, выброшенное на берег, я обретаю себя — в этом доме я родился, память моя полна его запахами, прохладой его прихожих, голосами, что звучали в его стенах. Даже кваканье лягушек в лужах — и то донеслось до меня. Мне так нужны были эти бесчисленные приметы, чтобы вновь узнать самого себя, чтобы понять, откуда, из каких утрат возникает в пустыне чувство одиночества, чтобы постичь смысл ее молчания, возникающего из бесчисленных молчаний, когда не слышно даже

лягушек.

Нет, я уже не витал меж песков и звезд. Эта застывшая декорация больше ничего мне не говорила. И даже ощущение вечности, оказывается, исходило совсем не от нее. Передо мною вновь предстали почтенные шкафы старого дома. За приоткрытыми дверцами высились снеговые горы простынь. Там хранилась снеговая прохлада. Старушка домоправительница семенила, как мышь, от шкафа к шкафу, неутомимо проверяла выстиранное белье, раскладывала, складывала, пересчитывала. «Вот несчастье!» — восклицала она, заметив малейший признак обветшания, — ведь это грозило незыблемости всего дома! — и сейчас же подсаживалась к лампе и, не жалея глаз, заботливо штопала и латала эти алтарные покровы, эти трехмачтовые паруса, неутомимая в своем служении чему-то великому — уж не знаю, какому богу или кораблю.

Да, конечно, я должен посвятить тебе страницу, мадемуазель. Возвращаясь из первых своих путешествий, я всегда заставал тебя с иглой в руке, год от года у тебя прибавлялось морщин и седин, но ты все так же утопала по колена в белых покровах, все так же своими руками готовила простыни без складок для наших постелей

и скатерти без морщинки для нашего стола, для праздников хрусталя и света. Я приходил в бельевую, усаживался напротив и пытался тебя взволновать, открыть тебе глаза на огромный мир, пытался совратить тебя рассказами о своих приключениях, о смертельных опасностях. А ты говорила, что я ничуть не переменился. Ведь я и мальчуганом вечно приходил домой в изорванной рубашке («Вот несчастье!») и с ободранными коленками, и по вечерам надо было меня утешать, совсем как сегодня. Да нет же, нет, мадемуазель! Я возвращаюсь уже не из дальнего уголка парка, но с края света и приношу с собой дыхание песчаных вихрей, терпкий запах нелюдимых далей, ослепительное сияние тропической луны! Ну конечно, говорила ты, мальчики всегда носятся как угорелые, ломают руки и ноги и еще воображают себя героями. Да нет же, нет, мадемуазель, я заглянул далеко за пределы нашего парка! Знала бы ты, как мала, как ничтожна его сень. Ее и не заметишь на огромной планете, среди песков и скал, среди болот и девственных лесов. А знаешь ли ты, что есть края, где люди при встрече мигом вскидывают ружье? Знаешь ли ты, мадемуазель, что есть на свете пустыни, там ледяными ночами я спал под открытым небом,

без кровати, без простынь…

— Вот дикарь! — говорила ты.

Как я ни старался, она оставалась тверда и непоколебима в своей вере, точно церковный служка. И мне грустно было, что жалкая участь делает ее слепой и глухой…

Но в ту ночь в Сахаре, беззащитный среди песков и звезд, я оценил ее по достоинству.

Не знаю, что со мной творится. В небе столько звезд-магнитов, а сила тяготения привязывает меня к земле. И есть еще иное тяготение, оно возвращает меня к самому себе. Я чувствую, ко многому притягивает меня моя собственная тяжесть! Мои грезы куда реальнее, чем эти дюны, чем луна, чем все эти достоверности. Да, не в том чудо, что дом укрывает нас и греет, что эти стены — наши. Чудо в том, что незаметно он передает нам запасы нежности — и она образует в сердце, в самой его глубине, неведомые пласты, где, точно воды родника, рождаются грезы…

Сахара моя, Сахара, вот и тебя всю заворожила старая пряха!

V. Оазис

Я уже столько говорил вам о пустыне, что, прежде чем заговорить о ней снова, хотел бы описать оазис. Тот, что встает сейчас у меня перед глазами, скрывается не в Сахаре. Но самолет обладает еще одним чудесным даром — он мгновенно переносит вас в самое сердце неведомого. Еще так недавно вы, подобно ученому-биологу, бесстрастно разглядывали в иллюминатор человеческий муравейник — города, что обосновались на равнинах, и дороги, которые разбегаются от них во все стороны и, словно кровеносные сосуды, питают их соками полей. Но вот задрожала стрелка высотомера — и травы, только что зеленевшие далеко внизу, становятся целым миром. Вы — пленник лужайки посреди уснувшего парка.

Отдаленность измеряется не расстоянием. За оградой какого-нибудь сада порою скрывается больше тайн, чем за Китайской стеной, и молчание ограждает душу маленькой девочки надежнее, чем бескрайние пески Сахары ограждают одинокий оазис.

Расскажу об одной случайной стоянке в дальнем краю. Это было в Аргентине, близ Конкордии,

но могло быть и где-нибудь еще: мир полон чудес.

Я приземлился посреди поля и вовсе не думал, что войду в сказку. Ни в мирной супружеской чете, меня подобравшей, ни в их стареньком «форде» не было ничего примечательного.

— Вы у нас переночуете…

И вот за поворотом в лунном свете показалась рощица, а за нею дом. Что за странный дом! Приземистая глыба, почти крепость. Но, едва переступив порог, я увидел, что это сказочный замок, приют столь же тихий, столь же мирный и надежный, как священная обитель.

Тотчас появились две девушки. Они испытующе оглядели меня, точно судьи, охраняющие запретное царство; младшая, чуть надув губы, постучала о пол свежесрезанным прутиком; нас представили друг другу, девушки молча и словно бы с вызовом подали мне руку — и скрылись.

Было забавно и мило. Совсем просто, беззвучно и мимолетно мне шепнули, что начинается тайна.

— Да-да, они у нас дикарки, — только и сказал отец.

И мы вошли в дом.

Мне всегда была по душе дерзкая трава, что

в столице Парагвая высовывает нос из каждой щелки мостовой, — лазутчица, высланная незримым, но вечно бодрствующим девственным лесом, она проверяет, все ли еще город во власти людей, не пора ли растолкать эти камни. Мне всегда была по душе такая вот заброшенность, по которой узнаешь безмерное богатство. Но тут и я изумился.

Ибо все здесь обветшало и оттого было полно обаяния, точно старое замшелое дерево со стволом, потрескавшимся от времени, точно садовая скамья, куда приходили посидеть многие поколения влюбленных. Панели на стенах покоробились, рамы окон и дверей изъел древоточец, стулья колченогие… Чинить здесь ничего не чинили, зато пеклись о чистоте. Все было вымыто, надраено, все так и сверкало.

И от этого облик гостиной стал красноречив, как изрезанное морщинами лицо старухи. Щели в стенах, растрескавшийся потолок — все было великолепно, а лучше всего паркет: кое-где он провалился, кое-где дрожал под ногой, точно зыбкие мостки, но притом, навощенный, натертый, сиял как зеркало. Занятный дом, к нему нельзя было отнестись со снисходительной небрежностью, напротив — он внушал величайшее

уважение. Уж конечно, каждый год вносил новую черточку в его сложный и странный облик, прибавлял ему очарования, тепла и дружелюбия, а кстати прибавлялось и опасностей, подстерегавших на пути из гостиной в столовую.

— Осторожно!

В полу зияла дыра. Провалиться в нее опасно, недолго и ноги переломать, заметили мне. Никто не виноват, что тут дыра, это уж время постаралось. Великолепно было это истинно аристократическое нежелание оправдываться. Мне не говорили: «Дыры можно бы и заделать, мы достаточно богаты, но…» Не говорили также, хоть это была чистая правда: «Город сдал нам этот дом на тридцать лет. Город и должен чинить. Посмотрим, чья возьмет…» До объяснений не снисходили, и эта непринужденность приводила меня в восторг. Разве что скажут мельком:

— Да-да, обветшало немножко…

Но говорилось это самым легким тоном, и я подозревал, что мои новые друзья не слишком огорчаются. Вообразите — в эти стены, столько повидавшие на своем веку, нагрянет со своими святотатственными орудиями артель каменщиков, плотников, краснодеревцев, штукатуров и за одну неделю изменит дом до неузнаваемости,

и вот вы — как в гостях. Не останется ни тайн, ни укромных уголков, ни мрачных подвалов, ни одна западня не разверзнется под ногами — не дом, а приемная в мэрии!

Не диво, что в этом доме две девушки скрылись мгновенно, как по волшебству. Если уж гостиная полна сюрпризов, словно чердак, то каковы же здесь чердаки! Сразу догадываешься, что стоит приотворить дверцу какого-нибудь шкафчика — и лавиной хлынут связки пожелтевших писем, прадедушкины счета, бесчисленные ключи, для которых во всем доме не хватит замков и которые, понятно, ни к одному замку не подойдут. Ключи восхитительно бесполезные, поневоле начинаешь думать да гадать, для чего они, и уже мерещатся подземелья, глубоко зарытые ларцы, клады старинных золотых монет.

— Не угодно ли пожаловать к столу?

Мы прошли в столовую. Переходя из комнаты в комнату, я вдыхал разлитый повсюду, точно ладан, запах старых книг, с которым не сравнятся никакие благовония. Но лучше всего было то, что и лампы переселялись вместе с нами. Это были тяжелые старинные лампы, их катили на высоких подставках из комнаты в комнату, как во времена самого раннего моего детства, и от

них на стенах оживали причудливые тени. Расцветали букеты огня, окаймленные пальмовыми листьями теней. А потом лампы водворялись на место, и островки света застывали неподвижно, а вокруг стыли необъятные заповедники тьмы, и там потрескивало дерево.

Вновь появились обе девушки — так же таинственно, так же безмолвно, как прежде исчезли. И с важностью сели за стол. Они, верно, успели накормить своих собак и птиц. Распахнув окна, полюбоваться лунной ночью, надышаться ветром, напоенным ароматами цветов и трав. А теперь, разворачивая салфетки, они краешком глаза втихомолку следили за мной и примеривались — стоит ли принять меня в число ручных зверей. Ведь они уже приручили игуану, мангусту, лису, обезьяну и пчел. И вся эта компания жила мирно и дружно, будто в новом земном раю. Девушки обращали всех живых тварей в своих подданных, завораживали их маленькими ловкими руками, кормили, поили, рассказывали им сказки — и все, от мангусты до пчел, их заслушивались.

И я ждал — вот сейчас эти две проказницы, беспощадным зорким взглядом насквозь пронизав сидящего напротив представителя другого

пола, втайне вынесут ему приговор — скорый и окончательный. Так мои сестры, когда мы были детьми, выводили баллы впервые посетившим нас гостям. И когда застольная беседа на миг стихала, вдруг звонко раздавалось:

— Одиннадцать!

И всей прелестью этой цифры наслаждались только сестры да я.

Теперь, вспоминая эту игру, я внутренне поеживался. Особенно смущало меня, что судьи были столь многоопытные. Они ведь прекрасно отличали лукавых зверей от простодушных, по походке своей лисы понимали, хорошо она настроена или к ней нынче не подступишься, и ничуть не хуже разбирались в чужих мыслях и чувствах.

Я любовался этой зоркой, строгой и чистой юностью, но было бы куда приятнее, если бы они переменили игру. А пока, опасаясь получить «одиннадцать», я смиренно передавал соль, наливал вино, но, поднимая глаза, всякий раз видел на их лицах спокойную серьезность судей, которых подкупить нельзя.

Тут не помогла бы даже лесть — тщеславие им было чуждо. Тщеславие, но не гордость: они были о себе столь высокого мнения, что я ничего по-

хожего не осмелился бы высказать им вслух. Не пытался я и покрасоваться перед ними в ореоле моего ремесла, ведь и это не для робких — забраться на вершину платана только затем, чтоб поглядеть, оперились ли птенцы, и дружески с ними поздороваться.

Пока я ел, мои молчаливые феи так неотступно следили за мной, так часто я ловил на себе их быстрые взгляды, что совсем потерял дар речи. Наступило молчание, и тут на полу что-то тихонько зашипело, прошуршало под столом и стихло. Я поглядел вопросительно. Тогда младшая, видимо, удовлетворенная экзаменом, все же не преминула еще разок меня испытать; впиваясь в кусок хлеба крепкими зубами юной дикарки, она пояснила невиннейшим тоном — конечно же, в надежде меня ошеломить, окажись я все-таки недостойным варваром:

— Это гадюки.

И умолкла очень довольная, явно полагая, что этого объяснения достаточно для всякого, если только он не круглый дурак. Старшая сестра метнула в меня быстрый, как молния, взгляд, оценивая мое первое движение; тотчас обе как ни в чем не бывало склонились над тарелками, и лица у них были уж такие кроткие, такие про-

стодушные…

У меня поневоле вырвалось:

— Ах вон что… гадюки…

Что-то скользнуло у меня по ногам, коснулось икр — и это, оказывается, гадюки…

На свое счастье, я улыбнулся. И притом от души — притворная улыбка их бы не провела. Но я улыбнулся потому, что мне было весело и этот дом с каждой минутой все больше мне нравился, и еще потому, что хотелось побольше узнать о гадюках. Старшая сестра пришла мне на помощь:

— Под столом в полу дыра, тут они и живут.

— И к десяти вечера возвращаются домой, — прибавила младшая. — А днем они охотятся.

Теперь уже я украдкой разглядывал девушек. Безмятежно спокойные лица, а где-то глубоко — живой лукавый ум, затаенная усмешка. И это великолепное сознание своей власти…

Я сегодня что-то замечтался. Все это так далеко. Что стало с моими двумя феями? Они уже, конечно, замужем. Но тогда, быть может, их и не узнать? Ведь это такой серьезный шаг — прощанье с девичеством, превращение в женщину. Как живется им в новом доме? Дружны ли они, как прежде, с буйными травами и со змеями? Они были причастны к жизни всего мира. Но

настает день — и в юной девушке просыпается женщина. Она мечтает поставить наконец кому-нибудь «девятнадцать». Этот высший балл — точно груз на сердце. И тогда появляется какой-нибудь болван. И неизменно проницательный взор впервые обманывается — и видит болвана в самом розовом свете. Если болван прочтет стихи, его принимают за поэта. Верят, что ему по душе ветхий, дырявый паркет, верят, что он любит мангуст. Верят, что ему лестно доверие гадюки, прогуливающейся под столом у него по ногам. Отдают ему свое сердце — дикий сад, а ему по вкусу только подстриженные газоны. И болван уводит принцессу в рабство.

VI. В пустыне
1

На воздушных дорогах Сахары мы и мечтать не смели о таких блаженных передышках: пленники песков, мы неделями, месяцами, годами перелетали от форта к форту и не часто попадали вновь на то же место. Здесь, в пустыне, таких оазисов не встретишь: сады, молодые девушки — это просто сказка! Да, конечно, когда-нибудь мы покончим с работой и возвратимся в далекий-далекий край, чтобы начать новую жизнь, и в том краю нас ждут тысячи девушек. Да, конечно, в том прекрасном далеке, среди своих книг и ручных мангуст, они терпеливо ждут, и все утонченней становятся их нежные души. И сами они становятся все краше…

Но я знаю, что такое одиночество. За три года в пустыне я изведал его вкус. И не то страшно, что среди камня и песка гаснет молодость, — но чудится, что там, вдалеке, стареет весь мир. На деревьях налились плоды, в полях всколосились хлеба, расцвела красота женщин. Но время уходит, надо бы скорее возвратиться… Но время

уходит, а тебе все никак не вырваться домой… И лучшие земные дары ускользают меж пальцев, словно мелкий песок дюн.

Обычно люди не замечают, как бежит время. Жизнь кажется им тихой и медлительной. А вот мы и на недолгой стоянке ощущаем бег времени, нам по-прежнему бьют в лицо не знающие отдыха пассаты. Мы — как пассажир скорого поезда: оглушенный перестуком колес, он мчится сквозь ночь и по мимолетным вспышкам света угадывает за окном поля, деревни, волшебные края, — но все неудержимо, все пропадает, ведь он уносится прочь. Так и нас, разгоряченных полетом, не успокаивала даже мирная стоянка, ветер свистал в ушах, и все чудилось, что мы еще в пути. И казалось, нас тоже, наперекор всем ветрам, уносят в неведомое будущее наши неутомимо стучащие сердца.

В довершение всего пустыня — это еще и непокорные племена. По ночам в Кап-Джуби каждую четверть часа, точно бой башенных часов, тишину разрывали громкие голоса: от поста к посту перекликались часовые. Так испанский форт Кап-Джуби, затерянный среди непокорных племен, защищался от таящихся во тьме опасностей. А мы, пассажиры этого слепого корабля, слушали,

как перекликаются часовые — и голоса нарастают, кружат над нами, словно чайки.

И все же мы любили пустыню.

На первых порах вся она — только пустота и безмолвие, но это потому, что она не открывается первому встречному. Ведь и в наших краях любая деревушка таит свою жизнь от стороннего глаза. И если не оставить ради нее весь мир, не сжиться с ее исконными обычаями, нравами и распрями, никогда не поймешь, что она для тех, кому она — родина. Или вот рядом с нами человек затворился в своей обители и живет по неведомому нам уставу, — ведь он все равно что в пустынях Тибета, к нему не доберешься никаким самолетом. К чему входить в его келью? Она пуста. Царство человечье внутри нас. Так и пустыня — это не пески, не туареги, даже не мавры с ружьями в руках…

Но вот сегодня нас измучила жажда. И только сегодня мы делаем открытие: от колодца, о котором мы давно знали, все светится окрест. Так женщина, не показываясь на глаза, преображает все в доме. Колодец ощущаешь издали, как любовь.

Сначала пески для нас просто пустыня, но вот однажды, опасаясь приближения врага, начинаешь читать по складкам ее покровов. Близость

вражеского отряда тоже меняет облик песков.

Мы подчинились правилам игры, и она преображает нас. Теперь Сахара — это мы сами. Чтобы понять Сахару, мало побывать в оазисе, надо поверить в воду, как в Бога.

2

Уже в первом полете я изведал вкус пустыни. Втроем — Ригель, Гийоме и я — мы потерпели аварию неподалеку от форта Нуакшот. Этот маленький военный пост в Мавритании тогда был совсем отрезан от жизни, словно островок, затерянный в океане. Там жил, точно узник, старый сержант с пятнадцатью сенегальцами. Он обрадовался нам несказанно.

— Это ведь не шутка — когда можешь поговорить с людьми… Это не шутка!

Да, мы видели, что это не шутка: он плакал.

— За полгода вы — первые. Припасы мне доставляют раз в полгода. То лейтенант приедет, то капитан. В последний раз приезжал капитан…

Мы еще не успели опомниться. В двух часах лету от Дакара, где нас уже ждут к завтраку, рассыпается подшипник, и это поворот судьбы. Вдруг предстаешь в роли небесного видения перед ста-

риком сержантом, и он плачет от радости.

— Пейте, пейте, мне так приятно вас угостить! Вы только подумайте, в тот раз капитан приехал, а у меня не осталось для него ни капли вина!

Я уже рассказал об этом в одной своей книге, и я ничего не выдумал. Сержант так и сказал:

— В последний раз и чокнуться-то было нечем… Я чуть со стыда не сгорел, даже просил, чтобы меня сменили.

Чокнуться! Выпить на радостях с тем, кто в поту и в пыли соскочит с верблюда. Полгода человек жил ожиданием этой минуты. Уже за месяц начищал до блеска оружие, везде наводил порядок, все в форту до последнего закуточка сверкало чистотой. И уже за несколько дней, предвкушая счастливую минуту, он поднимался на террасу и упрямо всматривался в даль — быть может, там уже клубится пыль, окутывая приближающийся отряд…

Но вина не осталось, нечем отметить праздник. Нечем чокнуться. И некуда деваться от позора…

— Я так хочу, чтоб он поскорей вернулся. Так его жду…

— А где он, сержант?

Сержант кивает на пески:

— Кто знает? Наш капитан — он везде!

И настала ночь, мы провели ее на террасе форта, разговаривая о звездах. Больше смотреть было не на что. А звезды были видны все до единой, как в полете, только теперь они оставались на своих местах.

В полете, если ночь уж очень хороша, порой забудешься, не следишь за управлением, и самолет понемногу начинает крениться влево. Думаешь, что он летит ровно, и вдруг под правым крылом появляется селение. А откуда в пустыне селение? Тогда, значит, это рыбачьи лодки вышли в море. Но откуда посреди безбрежных просторов Сахары взяться рыбачьим лодкам? Что же тогда? Тогда улыбаешься своей оплошности. Потихоньку выравниваешь самолет. И селение возвращается на место. Будто вновь приколол к небу сорвавшееся по недосмотру созвездие. Селение? Да. Селение звезд. Но отсюда, с высоты форта, видна лишь застывшая, словно морозом схваченная пустыня, песчаные волны недвижны. Созвездия все развешаны по местам. И сержант говорит:

— Вы не думайте, уж я знаю, что где… Держи прямо вон на ту звезду — и придешь в Тунис.

— А ты из Туниса?

— Нет. Там у меня сестренка троюродная.

Долгое, долгое молчание. Но сержант ничего не

может от нас скрыть:

— Когда-нибудь возьму да и махну в Тунис.

Конечно, не просто пешком, держа вон на ту звезду. Разве что когда-нибудь в походе, у пересохшего колодца, им завладеет самозабвение бреда. Тогда все перепутается — звезда, троюродная сестренка, Тунис. Тогда начнется то вдохновенное странствие, в котором непосвященные видят одни лишь мучения.

— Один раз я попросил у капитана увольнительную — надо, мол, съездить в Тунис, проведать сестренку. А капитан и говорит…

— Что же?

— На свете, говорит, троюродных полным-полно. И послал меня в Дакар, потому что это не так далеко.

— И красивая у тебя сестренка?

— Которая в Тунисе? Еще бы! Беленькая такая.

— Нет, а другая, в Дакаре?

Мы тебя чуть не расцеловали, сержант, так печально и немножко обиженно ты ответил:

— Она была негритянка…

Что для тебя Сахара, сержант? Ежечасное ожидание божества. И сладостная память о белокурой девушке, оставшейся за песками, там, за тысячи километров.

А для нас? Для нас пустыня — то, что рождалось в нас самих. То, что мы узнавали о себе. В ту ночь и мы были влюблены в далекую девушку и в капитана…

3

Порт-Этьен, стоящий на рубеже непокоренных земель, городом не назовешь. Там только и есть что небольшой форт, ангар для наших самолетов и деревянный барак для команды. А вокруг уж такая мертвая пустыня, что слабо вооруженный, малолюдный Порт-Этьен становится неприступной твердыней. Чтобы напасть на него, надо одолеть под палящим солнцем море песка, и даже если неприятель сюда доберется, у него уже не останется ни сил, ни глотка воды.

А между тем, сколько помнят люди, всегда откуда-нибудь с севера Порт-Этьену угрожает наступление воинственных племен. Всякий раз, придя к нам на чашку чая, капитан — комендант форта — показывает на карте, как приближается таинственный неприятель, и это словно сказка о прекрасной принцессе. Но неприятель исчезает, так и не достигнув форта, пески всасывают его, точно реку, и мы зовем эти отряды привидени-

ями. Гранаты и патроны, которые по вечерам раздает нам правительство, мирно спят в ящиках подле наших коек. Заброшенность — самая надежная наша защита, и воевать приходится лишь с одним врагом — с безмолвием пустыни. Люка, начальник аэропорта, день и ночь заводит граммофон, и здесь, вдали от жизни, музыка говорит с нами на полузабытом языке, пробуждая смутную, неутолимую печаль, которая чем-то сродни жажде.

В тот вечер мы обедали в форту, и комендант с гордостью показал нам свой сад. Из Франции, за четыре тысячи километров, ему прислали три ящика самой настоящей земли. На ней уже развернулись три зеленых листика, и мы легонько поглаживаем их пальцем, точно драгоценность. Капитан называет их «мой парк». И едва задует ветер пустыни, иссушающий все своим дыханием, парк уносят в подвал.

Мы живем в километре от форта и после обеда возвращаемся к себе при свете луны. Под луной песок совсем розовый. Мы лишены очень многого, а все-таки песок розовый. Но раздается оклик часового, и мир снова становится тревожным и взволнованным. Это сама Сахара пугается наших

теней и проверяет, кто идет, потому что откуда-то надвигается неприятель. В оклике часового звучат все голоса пустыни. Пустыня перестала быть нежилым домом: караван — как магнит в ночи.

Казалось бы, мы в безопасности. Как бы не так! Что только нам не грозит — болезнь, катастрофа, неприятель! Человек на нашей планете — мишень для подстерегающих в засаде стрелков. И сенегалец-часовой, словно пророк, напоминает нам об этом.

— Французы! — откликаемся мы и проходим мимо черного ангела. Мы дышим легко и вольно. Когда грозит опасность, вновь чувствуешь себя человеком... Да, конечно, она еще далека, еще приглушена и скрыта этими бескрайними песками, и, однако, весь мир уже не тот. Пустыня снова предстает во всем своем великолепии. Вражеский отряд, что движется где-то и никогда сюда не дойдет, окружает ее ореолом величия.

Одиннадцать часов. Люка возвращается с радиостанции и говорит, что в полночь прибывает самолет из Дакара. На борту все в порядке. В ноль часов десять минут почту уже перегрузят в мою машину, и я полечу на север. Старательно бреюсь перед щербатым зеркальцем. Время от времени, с мохнатым полотенцем вокруг шеи, подхожу к

двери и оглядываю нескончаемые пески; ночь ясная, но ветер стихает. Возвращаюсь к зеркалу. Раздумываю. Когда стихает ветер, что дул месяц за месяцем, в небесах нередко начинается кутерьма. Однако пора снаряжаться: аварийные фонарики привязаны к поясу, планшет и карандаши при мне. Иду к Нери, сегодня ночью он у меня радистом. Он тоже бреется. «Ну как?» — спрашиваю. Пока все в порядке. Это вступление — самая несложная часть полета. Но тут я слышу — что-то потрескивает: о мой фонарик бьется стрекоза. И почему-то екнуло сердце.

Снова выхожу и смотрю — ночь ясна. Скала в стороне от форта вырезана в небе четко, как днем. В пустыне глубокая, нерушимая тишина, словно в добропорядочном доме. Но вот о мой фонарик ударяются зеленая бабочка и две стрекозы. И опять во мне всколыхнулось неясное чувство, то ли радость, то ли опасение — еще смутное, едва уловимое, возникающее где-то глубоко внутри. Кто-то подает мне весть из неведомого далека. Быть может, это чутье? Опять выхожу — ветер совсем стих. По-прежнему прохладно. Но меня уже предостерегли. Догадываюсь — да, кажется, догадываюсь, чего я жду. Верна ли догадка? Ни небо, ни пески еще не подали знака, но со мной

говорили две стрекозы и зеленая бабочка.

Поднимаюсь на песчаный бугор и сажусь лицом к востоку. Если я прав, оно не заставит себя ждать. Зачем бы залетели сюда эти стрекозы, чего ищут они за сотни километров от внутренних оазисов? Мелкие обломки, прибитые к берегу, — верный знак, что в открытом море ярится ураган. Так и эти насекомые подсказывают мне, что надвигается песчаная буря с востока, она вымела всех зеленых бабочек из далеких пальмовых рощ. На меня уже брызнула поднятая ею пена. И торжественно, ибо он тому порукой, торжественно, ибо в нем угроза, торжественно, ибо он несет бурю, поднимается восточный ветер. До меня едва долетает почти неуловимый вздох. Я — последняя граница, которой достигла ослабевшая волна.

Если бы за мною, в двадцати шагах, висела какая-нибудь ткань, она бы не колыхнулась. Один только раз ветер обжег меня словно бы предсмертной лаской. Но я знаю, еще несколько секунд — и Сахара переведет дух и снова вздохнет. Не пройдет и трех минут — заполощется указатель ветра на нашем ангаре. Не пройдет и десяти минут — все небо заволокут тучи песка. Сейчас мы ринемся в это пекло, в огневую пляску беснующейся пустыни.

Но я взволнован другим. Неистовая радость переполняет меня: я почуял опасность, как дикарь чутьем, по едва уловимым приметам, угадывает, что сулит завтрашний день; с полуслова я понял тайный язык пустыни, прочел ее нарастающую ярость в трепетных крылышках стрекозы.

4

В Сахаре мы сталкивались с непокорными племенами. Они появлялись из таких глубин пустыни, куда нам не было доступа, мы только пролетали над ними; осмелев, мавры даже заезжали в Джуби или Сиснерос: купят сахарную голову либо чай и опять канут в неизвестность. Во время этих наездов мы пытались хоть кого-то из них приручить.

Иногда, с разрешения авиакомпании, мы брали в воздух какого-нибудь влиятельного вождя и показывали ему мир с борта самолета. Не мешало сбить с них спесь — ведь они убивали пленных даже не столько из ненависти к европейцам, сколько из презрения. Повстречавшись с нами где-нибудь в окрестностях форта, они даже не давали себе труда браниться. Просто отворачивались и сплевывали. А столь горды они были

оттого, что мнили себя всемогущими. Не один такой владыка, выступая в поход с армией в триста воинов, повторял мне: «Скажи спасибо, что до твоей Франции больше ста дней пути…»

Итак, мы катали их по воздуху, а троим даже случилось побывать в этой неведомой им Франции. Они были соплеменники тех, которые прилетели со мной однажды в Сенегал и заплакали, увидав там деревья.

Потом я снова навестил их шатры и услыхал восторженные рассказы о мюзик-холлах, где танцуют среди цветов обнаженные женщины. Ведь эти люди никогда не видели ни дерева, ни фонтана, ни розы, только из Корана они знали о садах, где струятся ручьи, ибо, по Корану, это и есть рай. Этот рай и его прекрасные пленницы покупаются дорогой ценой: тридцать лет скорби и нищеты — и потом горькая смерть в песках от пули неверного. Но бог обманывает мавров — оказывается, французам он дарует сокровища рая, не требуя никакого выкупа — ни жажды, ни смерти. Вот почему старые вожди предаются теперь мечтам. Вот почему, обводя взглядом нагие пески Сахары, которые простираются вокруг шатра и до самой смерти сулят им одни лишь убогие радости, они позволяют себе высказать то,

что наболело на душе:

— Знаешь… ваш французский бог… он куда милостивей к французам, чем бог мавров к маврам.

Месяцем раньше им устроили прогулку по Савойе. Провожатый привел их к водопаду — точно витая колонна, стоял водопад, оглушая тяжким грохотом.

— Отведайте-ка, — сказал им провожатый.

Это была настоящая пресная вода. Вода! Здесь, в пустыне, не один день добираешься до ближайшего колодца, и, если посчастливится его найти, еще не один час роешься в засыпавшем его песке, пока утолишь жажду мутной жижей, которая отдает верблюжьей мочой. Вода! В Кап-Джуби, в Сиснеросе, в Порт-Этьене темнокожие ребятишки выпрашивают не монетку — с консервной банкой в руках они выпрашивают воду:

— Дай попить, дай…

— Дам, если будешь слушаться.

Вода дороже золота, малая капля воды высекает из песка зеленую искру — былинку. Если где-нибудь в Сахаре прольется дождь, вся она приходит в движение. Племена переселяются за триста километров — туда, где теперь вырастет трава… Вода — она дается так скупо, за десять лет в Порт-Этьене не упало ни капли дождя, — а тут с

шумом выливаются понапрасну, как из пробитой цистерны, все воды мира.

— Нам пора, — говорил провожатый.

Но они словно окаменели.

— Не мешай…

И замолкали и серьезно, безмолвно созерцали это нескончаемое торжественное таинство. Здесь из чрева горы вырывалась жизнь, живая кровь, без которой нет человека. Столько ее изливалось за одну секунду — можно бы воскресить все караваны, что, опьянев от жажды, канули навеки в бездны солончаков и миражей. Перед ними предстал сам бог, и не могли они от него уйти. Бог разверз хляби, являя свое могущество, и три мавра застыли на месте.

— Неужели вы не насмотрелись? Пойдемте…

— Надо подождать.

— Чего ждать?

— Пока вода кончится.

Они хотели дождаться часа, когда бог устанет от собственного сумасбродства. Он скоро опомнится, он скупой.

— Да ведь эта вода течет уже тысячи лет!..

И в этот вечер о водопаде предпочитают не говорить. Об иных чудесах лучше хранить молчание. Лучше и думать-то о них поменьше, не

то совсем запутаешься и начнешь сомневаться в боге…

— Ваш французский бог, понимаешь ли…

* * *

Но я-то их знаю, моих диких друзей. Вера их пошатнулась, они в смятении, сейчас они почти готовы покориться. Они мечтают, чтобы французское интендантство снабжало их ячменем, а наши сахарские войска охраняли их от врагов. Что и говорить, покорившись, они получат кое-какие вполне ощутимые выгоды.

Но эти трое одной крови с Эль-Мамуном, эмиром Тразы (имя я, кажется, путаю).

Я знавал его в ту пору, когда он был нашим вассалом. Французское правительство высоко оценило его заслуги, его щедро одаряли губернаторы и чтили племена, вдоволь было видимых благ, — казалось бы, чего еще желать? Но однажды ночью, совершенно неожиданно, он перебил офицеров, которых сопровождал в пустыне, захватил верблюдов, ружья — и вновь ушел к непокорным племенам.

Внезапный бунт, героическое и отчаянное бегство, которое разом обращает вождя в изгнанника, мятежная вспышка гордости, что скоро

угаснет, точно ракета, ибо ей неминуемо преградит путь легкая кавалерия Атара… Это обычно называют изменой. И диву даются — откуда такое безумие?

А между тем судьба Эль-Мамуна — это судьба многих и многих арабов. Он старел. А со старостью приходит раздумье. И настал такой час, когда эмир понял, что, скрепив рукопожатием сделку с христианами, он все потерял, он загрязнил руки и изменил богу ислама.

И в самом деле, что ему ячмень и мирная жизнь? Он пал так низко, из воина стал пастухом — а ведь когда-то Сахара была полна опасностей, за каждой песчаной грядой таилась угроза, и, раскинув на ночь лагерь, он никогда не забывал выставить часовых, и по вечерам у костра при вести о передвижении врага сильней бились сердца воинов. Когда-то он знал вкус вольных просторов — а его, однажды изведав, уже не забыть.

И вот он бесславно бродит по умиротворенным, утратившим свое достоинство бескрайним пескам. Вот теперь Сахара для него поистине — пустыня.

Быть может, офицеры, которых он потом убил, даже внушали ему почтение. Но любовь к Аллаху превыше всего.

— Спокойной ночи, Эль-Мамун.

— Да хранит тебя бог.

Офицеры заворачиваются в одеяла, растягиваются на песке, точно на плоту, лица их обращены к небесам. Неторопливо движутся звезды, небо отмечает ход времени. Луна склоняется к пескам, уходя в небытие по воле Премудрого. Скоро христиане уснут. Еще несколько минут, и в небесах будут сиять одни только звезды. И тогда довольно будет слабого вскрика этих христиан, которым уже не суждено проснуться, — и униженные племена вновь обретут былое величие, и вновь начнется погоня за врагом, которая одна лишь наполняет светом безжизненные пески… Еще мгновенье — и совершится непоправимое, и с ним родится новый мир…

И забывшихся сном храбрых лейтенантов убивают.

5

Нынче я в Джуби, приглашен в гости к Кемалю и его брату Муйану и пью чай у них в шатре. Муйан, закутанный до глаз в синее покрывало, безмолвно разглядывает меня — он хмур и неприступен, как истинный дикарь. Кемаль один

беседует со мной, он верен долгу хозяина:

— Мой шатер, мои верблюды, мои жены и рабы — все твое.

Глядя на меня в упор, Муйан наклоняется к брату, коротко говорит что-то и опять замыкается в молчании.

— Что он сказал?

— Сказал — Боннафу украл у Р'Гейбата тысячу верблюдов.

Капитан Боннафу командует отрядом мехаристов из легкой кавалерии Атара. Я с ним не встречался, но знаю, что среди мавров ходят о нем легенды. О нем говорят гневно, но видят в нем чуть ли не божество. Вся пустыня преображается оттого, что где-то существует капитан Боннафу. Вот только что он возник неведомо откуда в тылу непокорных племен, направлявшихся к югу, сотнями угоняет верблюдов — и, чтобы уберечь самое дорогое свое имущество от нежданной опасности, кочевники вынуждены повернуть и вступить с ним в бой. Так, явившись, точно посланец самого неба, он выручил Атар, затем стал лагерем на плоскогорье и красуется там — завидная добыча! Он манит все взоры, и, влекомые неодолимой силой, племена устремляются на его меч.

Муйан смотрит на меня еще суровей и опять что-то говорит.

— Что он сказал?

— Сказал — завтра мы пойдем на Боннафу. Триста ружей.

Я и без того кое о чем догадывался. Уже три дня водят верблюдов на водопой, о чем-то рассуждают, горячатся. Словно снаряжают в плаванье невидимый корабль. И ветер вольных просторов уже надувает паруса. По милости Боннафу каждый шаг к югу овеян славой. И, право, не знаю, что ведет людей — ненависть или любовь.

Не всякому судьба посылает в дар такого отличного врага, такого лестно убить! Там, где он появится, кочевники снимают шатры, собирают верблюдов и бегут, не смея встретиться с ним лицом к лицу, — но те, что заслышат его издалека, теряют голову, словно влюбленные. Вырываются из мирных шатров, из женских объятий, из блаженного сна, вдруг поняв, что величайшее счастье на свете — два месяца пробираться на юг, изнемогать от усталости, терзаться жаждой, ждать, скорчившись под ударами песчаной бури, — и, наконец, на рассвете обрушиться врасплох на легкую кавалерию Атара и, если будет на то воля Аллаха, убить капитана Боннафу.

— Боннафу силен, — признается мне Кемаль.

Теперь я знаю их тайну. Как мерещится иному желанная женщина, равнодушно проходящая мимо, и он всю ночь ворочается с боку на бок, уязвленный, сжигаемый сном, в котором опять и опять она проходит мимо, — так не дают им покоя далекие шаги Боннафу. Обойдя выступившие против него отряды, этот христианин, одетый мавром, с двумя сотнями полудиких головорезов проник в непокоренный край, — а ведь здесь уже не властны французы. Здесь любой из его же людей может сбросить ярмо покорности и на каменном алтаре безнаказанно принести этого неверного в жертву своему богу; здесь их сдерживает одно лишь благоговение перед ним; его беззащитность — и та приводит их в трепет. И в эту ночь он чудится им в тревожных снах, опять и опять он равнодушно проходит мимо, и его шаги гулко отдаются в самом сердце пустыни.

Муйан все еще о чем-то размышляет, застыв в глубине шатра, точно высеченный из синего гранита. Только сверкают глаза да серебряный кинжал — он больше не игрушка. Как переменился этот мавр с того часа, когда перешел в стан непокорных! Больше чем когда-либо он полон сознанием собственного достоинства и безмерно

меня презирает — ибо он пойдет войной на Боннафу, с рассветом он выступит в поход, движимый ненавистью, которая так похожа на любовь.

И опять он наклоняется к брату, что-то говорит вполголоса и смотрит на меня.

— Что он сказал?

— Сказал — если встретит тебя подальше от форта, застрелит.

— Почему?

— Он сказал — у тебя есть самолеты и радио, у тебя есть Боннафу, но у тебя нет истины.

Муйан недвижим, складки синего покрывала на нем точно каменная одежда статуи, он выносит мне приговор.

— Он говорит — ты ешь траву, как коза, и свинину, как свинья. Твои бесстыжие женщины не закрывают лицо, он сам видел. Он говорит — ты никогда не молишься. Он говорит — на что тебе твои самолеты, и радио, и твой Боннафу, раз у тебя нет истины?

Этот мавр великолепен, он защищает не свободу свою — в пустыне человек всегда свободен, — и не сокровища, видимые простым глазом, — в пустыне их нет, — он защищает свое внутреннее царство. Точно корсар в старину, Боннафу ведет свой отряд среди безмолвного океана песков,

и вот лагерь Кап-Джуби преобразился, мирной стоянки беззаботных пастухов как не бывало. Словно бурей, смята она дыханием Боннафу, и вечером шатры теснее жмутся друг к другу. На юге царит безмолвие, от него замирает сердце: это безмолвствует Боннафу! И Муйан, бывалый охотник, различает в порывах ветра шаги Боннафу.

Когда Боннафу возвратится во Францию, враги его не обрадуются, нет, они будут горько жалеть о нем, словно без него их родная пустыня лишится одного из своих магнитов и жизнь потускнеет. И они станут говорить мне:

— Почему он уезжает, твой Боннафу?

— Не знаю…

Долгие годы он играл с ними в опасную игру — ставкой была жизнь. Он принял их правила игры. Он засыпал, положив голову на их камни. Вечно он был в погоне и, как они, проводил свои ночи наедине с ветрами и звездами, словно в библейские времена. И вот он уезжает, — значит, игра не была для него превыше всего. Он небрежно бросает карты, предоставляя маврам играть одним. И они смущены — есть ли смысл в этой жизни, если она не забирает человека всего, без остатка? Но нет, им хочется верить в него.

— Твой Боннафу еще вернется.

— Не знаю.

Он вернется, думают мавры. Что ему теперь европейские игры? Ему быстро наскучит сражаться в бридж с офицерами, наскучат и повышение по службе, и женщины. Он затоскует по благородной жизни воина и возвратится туда, где от каждого шага сильнее бьется сердце, словно идешь навстречу любви. Он воображал, будто его жизнь здесь была лишь случайным приключением, а там, во Франции, его ждет самое важное, но с отвращением он убедится, что нет на свете истинных богатств, кроме тех, которыми одаряла его пустыня, — здесь ему было дано великолепие песчаных просторов, и тишина, и ночи, полные ветра и звезд. И если Боннафу вернется, в первую же ночь эта весть облетит непокорные племена. Мавры будут знать — он спит где-то посреди Сахары, окруженный двумя сотнями своих пиратов. И молча поведут на водопой верблюдов. Запасут побольше ячменя. Проверят ружья. Движимые своей ненавистью — или, быть может, любовью.

6

— Спрячь меня в самолете и отвези в Марракеш…

Каждый вечер невольник мавров в Кап-Джуби обращал ко мне эти слова, как молитву. И, совершив, таким образом, все, что мог, для спасения своей жизни, усаживался, скрестив ноги, и готовил мне чай. Теперь он спокоен за завтрашний день — ведь он вручил судьбу свою единственному лекарю, который может его исцелить, воззвал к единственному богу, который может его спасти. И, склоняясь над чайником, он опять и опять перебирает в памяти бесхитростные картины прошлого — черную землю родного Марракеша, розовые дома, скромные радости, которых он лишился. Его не возмущает, что я молчу, что не спешу возвратить ему жизнь: я для него не такой же человек, как он сам, но некая сила, которую надо призвать к действию, своего рода попутный ветер, что поднимется однажды и переменит его судьбу.

А между тем я, простой пилот, лишь несколько месяцев как стал начальником аэропорта в Кап-Джуби; в моем распоряжении только и есть что барак, притулившийся к испанскому форту, а в бараке таз для мытья, кувшин солоноватой воды да короткая, не по росту, койка — и я не так обольщаюсь насчет своего могущества.

— Ну-ну, Барк, там видно будет…

Все невольники зовутся Барками, так зовут и его. Четыре года он провел в плену, но все еще не покорился: не может забыть, что был когда-то королем.

— Что ты делал в Марракеше, Барк?

В Марракеше, наверно, и по сей день живут его жена и трое детей, и он там занимался отличным ремеслом:

— Я перегонял стада, и меня звали Мохамед!

Там его призывали каиды:

— Я хочу продать своих быков, Мохамед. Пригони их с гор.

Или:

— У меня тысяча баранов на равнине, отведи их повыше, на пастбища.

И Барк, вооружась скипетром из оливы, правил великим переселением стад. Он один был в ответе за овечий народ, он умерял прыть самых бойких, потому что скоро должны были появиться на свет ягнята, и поторапливал ленивых, он шел вперед, и все они доверяли ему и повиновались. Он один знал, какая земля обетованная их ждет: богатый ученостью, овцам недоступной, он один читал дорогу по звездам и один, ведомый своей мудростью, определял, когда пора отдохнуть и когда — утолить у колодца жажду. А по ночам

он стоял среди спящих овец, омытый по колено волнами шерсти, и в сердце его была нежность: растроганный слабостью и неведением стольких живых тварей, Барк — лекарь, пророк и повелитель — молился о своем народе.

Однажды к нему приступили мавры:

— Пойдем с нами на юг за скотом.

Шли долго, на четвертый день углубились в горное ущелье — тут уже начинались владения непокорных племен, — и тогда его просто-напросто схватили, дали ему кличку Барк и продали в рабство.

Знал я и других невольников. Каждый день я пил чай в шатре у какого-нибудь мавра. Сняв обувь, я растягивался на толстой кошме (единственная роскошь в обиходе кочевника, основа, на которой ненадолго возводит он свое жилище) и любовался плавной поступью дня. В пустыне всем существом ощущаешь, как идет время. Под жгучим солнцем держишь путь к вечеру, когда прохладный ветер освежит и омоет от пота усталое тело. Под жгучим солнцем дорога ведет животных и людей к этому великому водопою столь же неуклонно, как к смерти. Праздность — и та обретает смысл. И каждый день кажется прекрасным, подобно дороге, ведущей к морю.

Да, я знал невольников. Они входят в шатер, едва вождь извлечет жаровню, чайник и стаканы из ларца, где хранятся все его сокровища — замки без ключей, цветочные вазы без цветов, грошовые зеркальца, старое оружие и прочая дребедень, невесть как занесенная сюда, в пески, точно обломки кораблекрушения.

И вот невольник безмолвно накладывает в жаровню сухие ветки песчаной колючки, раздувает уголья, наливает воды в чайник — со всем этим управилась бы и маленькая девочка, а у него под кожей играют мускулы, с какими впору бы выворотить из земли могучий кедр. Он тих и кроток. Он так занят, его дело — готовить чай, ходить за верблюдами, есть. Под жгучим солнцем он держит путь к вечеру, а под леденящими звездами ждет — скорей бы обжег новый день. Счастливы северные страны, там каждое время года творит свою легенду, летом утешая мечтою о снеге, зимой — о солнце; печальны тропики, там всегда одна и та же влажная духота; но счастлива и Сахара, где смена дня и ночи так просто переносит человека от надежды к надежде.

Порою, сидя на корточках у входа в шатер, чернокожий невольник с наслаждением вдыхает вечернюю свежесть. В отяжелевшем теле плен-

ника уже не всколыхнутся воспоминания. Разве что смутно вспомнится час, когда его схватили, вспомнятся удары, крики, руки тех, кто поверг его в эту беспросветную тьму. С того часа он все безнадежней цепенеет в странном сне, он словно ослеп — ведь ему больше не видны медленные реки Сенегала или белые города Южного Марокко, он словно оглох — ведь ему больше не слышны родные голоса. Он не то что несчастен, этот негр, но он калека. Заброшенный случаем в чуждый ему круговорот кочевой жизни, обреченный вечно скитаться в пустыне по ее причудливым орбитам, — что общего сохранил он со своим прошлым, с родным очагом, с женой и детьми? Они потеряны для него безвозвратно, все равно что умерли.

Кто долго жил всепоглощающей любовью, а потом ее утратил, иной раз устает от своего благородного одиночества. И, смиренно возвращаясь к жизни, находит счастье в самой заурядной привязанности. Ему сладко отречься от себя, покорно служить другим, слиться с мирным житейским обиходом. И раб с гордостью разжигает хозяйскую жаровню.

— На, бери, — говорит иной раз вождь пленнику.

В этот час хозяин благоволит к рабу, потому что тяжкий, изнурительный день позади, зной спадает, и они бок о бок вступают в вечернюю прохладу. И пленнику разрешается взять стакан чая. И тот, исполненный благодарности, за стакан чая готов лобызать колени своего господина. Раба не водят в цепях. К чему они? Ведь он так предан! Он так мудро отрекся от царства, которое у него отняли, — теперь он всего лишь счастливый раб.

Но однажды его освободят. Когда он состарится настолько, что уже невыгодно будет кормить его и одевать, тогда ему дадут безграничную свободу. Три дня он будет ходить от шатра к шатру, с каждым днем теряя силы, тщетно упрашивая принять его в услужение, — а на исходе третьего дня все так же мудро и безропотно ляжет на песок. Я видел, как умирали в Джуби нагие рабы. Мавры не мучили их и не добивали, только спокойно смотрели на их долгую агонию, а ребятишки играли рядом с этим печальным обломком кораблекрушения и спозаранку бежали поглядеть, шевелится ли он еще, — но глядели просто из любопытства, они тоже не смеялись над старым слугой. Все это было в порядке вещей. Как будто ему сказали: «Ты хорошо поработал, ты вправе отдохнуть — ложись и спи». Так он

и лежал, простертый на песке, ощущая голод — всего лишь головокружение, — но совсем не чувствуя несправедливости, а ведь только она и мучительна. Понемногу он сливался с землей. И земля принимала иссушенные солнцем останки. Тридцать лет работы давали право на сон и на землю.

Немало я видел таких обреченных; первый, который мне встретился, не проронил ни слова жалобы; впрочем, на кого ему было жаловаться? В нем угадывалась смутная покорность, с какою принимает гибель обессилевший горец, — зная, что уже не выбраться, он ложится в снег и предается снегу и снам. Меня потрясли даже не его мучения. В мучения я не верю. Но со смертью каждого человека умирает неведомый мир, и я спрашивал себя, какие образы в нем гаснут? Что там медленно тонет в забвении — плантации Сенегала? Снежно-белые города Южного Марокко? Быть может, в этом комке черной плоти меркнут лишь самые ничтожные заботы: приготовить бы чай, погнать стадо на водопой… быть может, засыпает душа раба, — а может быть, пробужденный нахлынувшими воспоминаниями, во всем своем величии умирает человек. И черепная коробка становилась для меня точно старый ларец.

Не узнать, что за сокровища уцелели в нем, когда корабль пошел ко дну, — яркие шелка, празднично сверкающие картины, неведомые реликвии, такие ненужные, такие бесполезные здесь, в пустыне. Вот он, тяжелый, наглухо запертый ларец. И не узнать, какая частица нашего мира погибала в этом человеке в дни его последнего всеобъемлющего сна, что разрушилось в этом сознании и в этой плоти, которая понемногу возвращалась ночи и земле.

— Я перегонял стада, и меня звали Мохамед…

Из всех знакомых мне невольников чернокожий Барк был первый, кто не покорился. Да, мавры отняли у него свободу, в один день он лишился всего, чем владел на земле, и остался гол, как новорожденный младенец, — но это бы еще не беда. Ведь порой буря, посланная Богом, за краткий час уничтожает жатву на полях. Однако мавры не только разорили его, они грозили уничтожить его человеческое «я». Но Барк не желал отречься от себя — а ведь другие сдавались так легко, в них так покорно умирал простой погонщик скота, тот, кто круглый год в поте лица добывал свой хлеб!

Нет, Барк не свыкся с кабалой, как свыкаешься с убогим счастьем, когда устанешь ждать насто-

ящего. Он не признавал радостей раба, который счастлив милостями рабовладельца. Прежнего Мохамеда уже не было, но жилище его в сердце Барка оставалось незанятым. Печально это опустевшее жилище, но никто другой не должен в нем поселиться! Барк был точно поседелый сторож, что умирает от верности среди заросших травою аллей, среди тоскливой тишины.

Он не говорил: «Я — Мохамед бен-Лаусин», он говорил: «Меня звали Мохамед», он мечтал о том дне, когда этот забытый Мохамед вновь оживет и самым воскресением своим изгонит того, кто был рабом. Случалось, в ночной тиши на него нахлынут воспоминания — живые, неизгладимые, как милая с детства песенка. Мавр-переводчик рассказывал нам: «Среди ночи он вдруг говорит про Марракеш, говорит, а сам плачет». Тому, кто одинок, не миновать таких приступов тоски. Внезапно в нем пробуждался тот, другой, — и здесь, в пустыне, где к Барку не подходила ни одна женщина, привычно потягивался, искал рядом жену. Здесь, где испокон веку не журчал ни один родник, у него в ушах звенела песня родника. Барк закрывал глаза — и здесь, в пустыне, где дом людям заменяет грубая ткань шатра и они вечно скитаются, словно в погоне за ветром,

ему чудилось, будто он живет в белом домике, над которым из ночи в ночь светит все та же звезда. Былая любовь и нежность вдруг оживали неведомо почему, словно все дорогое сердцу вновь оказалось совсем близко и притягивало как магнит — и тогда Барк шел ко мне. Ему хотелось сказать, что он уже готов в путь и готов любить, надо лишь возвратиться домой, чтобы все и вся одарить любовью и нежностью. А для этого довольно мне только подать знак. И он улыбался и подсказывал мне хитрость, до которой я, конечно, просто еще не додумался:

— Завтра пойдет почта на Агадир... Ты спрячь меня в самолете...

Бедняга Барк!

Как могли мы помочь ему бежать? Мы ведь жили среди непокорных племен. За такой грабеж, за такое оскорбление мавры назавтра же отплатили бы жестокой резней. С помощью аэродромных механиков — Лоберга, Маршаля, Абграля — я пытался выкупить Барка, но маврам не часто попадаются европейцы, готовые купить раба. И они рады случаю:

— Давайте двадцать тысяч франков.

— Да ты что?!

— А вы поглядите, какие у него сильные руки...

Так проходили месяцы.

Наконец мавры сбавили цену, и с помощью друзей, которым я писал во Францию, мне удалось его купить.

Сговорились мы не сразу. Торговались целую неделю. Сидели кружком на песке — пятнадцать мавров и я — и торговались. Мне украдкой помогал приятель хозяина Барка, разбойник Зин уль-Раттари: он был также и мой приятель. И по моей подсказке советовал хозяину:

— Да продай ты старика, все равно ему недолго жить. Он хворый. Поначалу эту хворь не видать, но она уже внутри. А потом он как начнет пухнуть. Продай его французу, пока не поздно.

Другому головорезу, Рагги, я пообещал комиссионные, если он поможет мне заключить эту сделку, и Рагги искушал хозяина Барка:

— На эти деньги ты купишь верблюдов, и ружья, и пули. И пойдешь войной на французов. И добудешь у Атара трех новых рабов, а то и четырех, молодых и здоровых. Отделайся ты от этого старика.

И мне его продали. Шесть дней кряду я держал его взаперти в нашем бараке: начни он разгуливать на свободе, пока не прилетит самолет, мавры опять схватили бы его и продали куда-ни-

будь подальше.

Но я освободил его из рабства. Была совершена торжественная церемония. Явились марабут, прежний хозяин Барка и здешний каид Ибрагим. Если бы эти три разбойника поймали Барка в двадцати шагах от форта, они с удовольствием отрезали бы ему голову, лишь бы подшутить надо мной, но тут они горячо с ним расцеловались и подписали официальный документ.

— Теперь ты нам сын.

По закону он стал сыном и мне.

И Барк перецеловал всех своих отцов.

До самого отъезда он торчал безвыходно в нашем бараке, но плен был ему не в тягость. По двадцать раз на день приходилось описывать предстоящее ему несложное путешествие: самолет доставит его в Агадир, а там, прямо на аэродроме, ему вручат билет на автобус до Марракеша. Барк играл в свободного человека, совсем как ребенок играет в путешественника: возвращение к жизни, и автобус, и толпы народу, и города, которые он скоро увидит после стольких лет…

Ко мне пришел Лоберг. Они с Маршалем и Абгралем решили — не годится это, чтобы Барк, прилетев в Агадир, помирал с голоду. Вот для него

тысяча франков — с этим он не пропадет, покуда не найдет работу.

И я подумал: старые дамы-благотворительницы раскошелятся на двадцать франков — и уверены, что «творят добро», и требуют благодарности. Авиамеханики Лоберг, Маршаль и Абграль, давая тысячу, вовсе не чувствуют себя благодетелями и никаких изъявлений благодарности не ждут. Они не твердят о милосердии, как эти старые дамы, мечтающие купить себе вечное блаженство. Просто они помогают человеку вновь обрести человеческое достоинство. Ведь ясно же: едва хмельной от радости Барк попадет домой, его встретит верная подруга — нищета, и через каких-нибудь три месяца он будет выбиваться из сил где-нибудь на ремонте железной дороги, выворачивая старые шпалы. Жизнь его станет куда тяжелее, чем тут, в пустыне. Но он вправе быть самим собой и жить среди своих близких.

— Ну вот, Барк, старина, отправляйся и будь человеком.

Самолет вздрагивал, готовый к полету. Барк в последний раз оглядел затерянный в песках унылый форт Кап-Джуби. У самолета собрались сотни две мавров: всем любопытно, какое лицо становится у раба на пороге новой жизни. А слу-

чись вынужденная посадка, он опять попадет к ним в руки.

И мы, не без тревоги выпуская в свет нашего пятидесятилетнего новорожденного, машем ему на прощанье:

— Прощай, Барк!

— Нет.

— Как так «нет»?

— Я не Барк. Я Мохамед бен-Лаусин.

Последние вести о нем доставил араб Абдалла, которого мы просили позаботиться о Барке в Агадире.

Автобус отходил только вечером, и весь день Барк мог делать что хотел. Он долго бродил по городку и все не говорил ни слова; наконец Абдалла догадался, что его что-то тревожит, и сам забеспокоился:

— Что с тобой?

— Ничего…

Он растерялся от этой внезапной, безмерной свободы и еще не чувствовал, что воскрес. Да, конечно, ему радостно, но, если не считать этой неясной радости, сегодня он — все тот же Барк, каким был вчера. А ведь отныне он — равный среди людей, теперь и ему принадлежит солнце, и он тоже вправе посидеть под сводами арабской

кофейни. И он сел. Потребовал чаю для Абдаллы и для себя. Это был первый поступок господина, а не раба: у него есть власть, она должна бы его преобразить. Но слуга нимало не удивился и преспокойно налил им чаю. И не почувствовал, что, наливая чай, славит свободного человека.

— Пойдем куда-нибудь еще, — сказал Барк.

Они поднялись к Касбе, — квартал этот господствует над Агадиром.

Здесь их встретили маленькие берберские танцовщицы. Они были такие милые и кроткие, что Барк воспрянул духом, ему показалось — сами того не ведая, они приветствуют его возвращение к жизни. Они взяли его за руки и предложили чаю, но так же радушно приняли бы они и всякого другого. Барк поведал им о своем возрождении. Они ласково смеялись. Они видели, как он рад, и тоже радовались. Желая окончательно их поразить, он прибавил: «Я Мохамед бен-Лаусин». Но это их ничуть не изумило. У каждого человека есть имя, и многие возвращаются из дальних краев…

Он опять потащил Абдаллу в город. Он бродил среди еврейских лавчонок, и глядел на море, и думал, что вот он волен идти куда хочет, он свободен… Но эта свобода показалась ему горька — он затосковал по узам, которые вновь соединили бы

его с миром.

Мимо шел ребенок. Барк погладил его по щеке. Ребенок улыбнулся. Это не был хозяйский сын, привычный к лести. Это был маленький заморыш, Барк подарил ему ласку — и малыш улыбался. Он-то и пробудил Барка к жизни, этот маленький заморыш, благодаря Барку он улыбнулся — и вот Барк почувствовал, что начинает что-то значить в этом мире. Что-то забрезжило впереди, и он ускорил шаг.

— Ты что ищешь? — спросил Абдалла.

— Ничего, — отвечал Барк.

Но, завернув за угол, он наткнулся на играющих ребятишек и остановился. Вот оно. Он молча поглядел на них. Отошел к еврейским лавчонкам и скоро вернулся с целой охапкой подарков. Абдалла возмутился:

— Дурак, чего зря деньги тратишь!

Но Барк не слушал. Он торжественно, без слов, по одному подзывал к себе детей. И маленькие руки потянулись к игрушкам, к браслетам, к туфлям, расшитым золотом, И каждый малыш, крепко ухватив свое сокровище, убегал, как истинный дикарь.

Прослышав о такой щедрости, к Барку сбежалась вся агадирская детвора, и он всех обул в

шитые золотом туфли. А слух о добром чернокожем боге долетел и до окрестностей Агадира, и оттуда тоже стекались дети, окружали Барка и, цепляясь за его истрепанную одежду, громко требовали своей доли. Это было разорение.

По мнению Абдаллы, Барк «с радости рехнулся». Но, по-моему, суть не в том, что Барк хотел поделиться избытком счастья.

Он был свободен, а значит, у него было самое главное, самое дорогое: право добиваться любви, право идти куда вздумается и в поте лица добывать свой хлеб. Так на что ему эти деньги… они не утолят острое, жгучее, точно голод, желание быть человеком среди людей, ощутить свою связь с людьми. Агадирские танцовщицы были ласковы со стариком Барком, но он расстался с ними так же легко, как и встретился, он не почувствовал, что нужен им. Слуга в арабской кофейне, прохожие на улицах — все уважали в нем свободного человека, делили с ним место под солнцем, но никто в нем не нуждался. Он был свободен, да — слишком свободен, слишком легко он ходил по земле. Ему не хватало груза человеческих отношений, от которого тяжелеет поступь, не хватало слез, прощаний, упреков, радостей — всего, что человек лелеет или обрывает каждым своим

движением, несчетных уз, что связуют каждого с другими людьми и придают ему весомость. А вот теперь на нем отяготели бесчисленные ребячьи надежды…

Так, в сиянии закатного солнца над Агадиром, в час вечерней прохлады, которая столько лет была для него единственной долгожданной лаской и единственным прибежищем, началось царствование Барка. Близился час отъезда — и он шел, омытый приливом детворы, как омывало его когда-то прихлынувшее к ногам стадо, и проводил во вновь обретенном мире свою первую борозду. Завтра он возвратится под свой убогий кров и окажется за всех в ответе, и, может быть, его старым рукам не под силу будет всех прокормить, но уже сейчас он ощутил вес и значение свое на земле. Словно легкокрылый архангел, которому, чтобы жить среди людей, пришлось бы сплутовать — зашить в пояс кусок свинца, — шел Барк тяжелой поступью, притягиваемый к земле сотнями детей, которым непременно нужны шитые золотом туфли.

7

Такова пустыня. Коран (а это всего лишь правила игры) обращает ее пески в особый, неповторимый мир. Не будь этих правил, Сахара была бы пуста, меж тем в недрах ее незримо разыгрывается драма, бурлят людские страсти. Подлинная жизнь пустыни не в том, что племена кочуют в поисках нового пастбища, но в этой нескончаемой игре. Как не схожи пески покоренные и непокоренные! И разве не всюду так у людей? Перед лицом преображенной пустыни я вспоминаю игры моего детства, сумрачный и золотящийся парк, который мы населяли божествами, необъятное королевство, созданное нами на этом клочке земли, — весь-то он был с квадратный километр, но для нас в нем всегда оставались неведомые уголки, неоткрытые чудеса. У нас был свой мир, со своими устоями, здесь по-особенному звучали шаги, и во всем был свой особый смысл, в иных краях никому не доступный. Но вот становишься взрослым, живешь по иным законам — и что остается от парка, полного теней детства — колдовских, ледяных, обжигающих? Вот ты вернулся к невысокой ограде, сложенной

из серого камня, и почти с отчаянием обходишь ее кругом: как странно, что они так малы и тесны — владения, которым когда-то не было ни конца ни края… и как горько, что в этот бескрайний мир уже нет возврата, — ведь возвратиться надо было бы не в парк, но в игру.

И непокоренной пустыни уже нет. Кап-Джуби и Сиснерос, Пуэрто-Кансадо, Ла-Сагуэт-эль-Хамра, Дора и Смарра утратили таинственность. Горизонты, манившие нас, угасли один за другим, как тускнеет в плену теплых ладоней светлячок или яркая бабочка. Но тому, кто за ними гнался, их яркие краски не померещились. Не обманывались и мы, когда нас манили неразгаданные тайны. Ведь не обманывался и султан из «Тысячи и одной ночи» в своей погоне за чем-то бесконечно хрупким и неуловимым — но прекрасные пленницы угасали с рассветом в его объятиях; стоило коснуться их крыльев, и они теряли золотую пыльцу. Мы впивали чары пустыни. А другие, может быть, выроют в ее песках нефтяные скважины и разбогатеют, торгуя ее соками. Но они опоздали. Ибо недоступные пальмовые рощи и нетронутая пыль ракушек отдали нам то, что было в них всего драгоценнее: они дарили один только час восторга — и этот час достался нам.

Пустыня? Однажды мне случилось заглянуть в ее сердце. В 1935 году я летел в Индокитай, а очутился в Египте, у рубежей Ливии, я увяз там в песках, как в смоле, и ждал смерти. Вот как это было.

VII. В сердце пустыни
1

На подступах к Средиземному морю я встретил низкую облачность. Спустился до двадцати метров. Дождь хлещет в ветровое стекло, море словно дымится.

Как ни напрягаю зрение, ничего в этой каше не видно, того и гляди напорешься на какую-нибудь мачту.

Мой механик Андре Прево зажигает для меня сигареты.

— Кофе…

Он скрывается в хвосте самолета и приносит термос. Пью. Опять и опять подталкиваю рукоятку газа, держусь на двух тысячах ста оборотах. Обвожу взглядом приборы — мои подданные послушны, все стрелки на своих местах. Взглядываю на море — в дождь от него поднимается пар, точно от огромного таза с горячей водой. Будь у меня сейчас гидроплан, я пожалел бы, что море так «изрыто». Но я лечу на обыкновенном самолете. Изрытое море, не изрытое, все равно не сядешь. И от этого, непонятно почему, у

меня возникает нелепейшее ощущение, что я в безопасности. Море принадлежит миру, мне чужому. Вынужденная посадка здесь — это не по моей части, это меня даже не страшит — для моря я не предназначен.

Лечу уже полтора часа, дождь стихает. Тучи все еще стелются низко, но в них неудержимой улыбкой уже сквозит свет. Великолепны эти неторопливые приготовления к ясной погоде. Наверно, слой белой ваты у меня над головой стал совсем тонкий. Уклоняюсь в сторону, обходя дождь, — уже незачем идти напролом. И вот первая прогалина в небе…

Я и не глядя угадал ее, потому что впереди на воде словно лужайка зазеленела, словно возник щедрый и яркий оазис — совсем как ячменные поля Южного Марокко, при виде которых у меня так щемило сердце, когда я возвращался из Сенегала, пролетев три тысячи километров над песками. Вот и сейчас у меня такое чувство, словно я вступаю в обжитые края, и становится веселей на душе. Оборачиваюсь к Прево:

— Ну, теперь живем!

— Живем… — откликается он.

Тунис. Самолет заправляют горючим, а я покуда подписываю бумаги. Выхожу из конторы — и

тут раздается негромкий шлепок, словно что-то плюхнулось в воду. Глухой короткий всплеск, и все замерло. А ведь однажды я уже слышал такое — что это было? Да, взрыв в гараже. Тогда от этого хриплого кашля погибли два человека. Оборачиваюсь — над дорогой, идущей вдоль летного поля, поднялось облачко пыли, два автомобиля столкнулись на большой скорости и застыли, будто в лед вмерзли. К ним бегут люди, бегут и сюда, к конторе.

— Телефон… доктора… голова…

У меня сжимается сердце. Вечер так безмятежно ясен, а кого-то сразил рок. Погублена красота, разум, быть может — жизнь… Так в пустыне крадутся разбойники, ступая по песку неслышным шагом хищника, и застигают тебя врасплох. Отшумел вражеский набег. И опять все утопает в золотой предвечерней тишине. Опять вокруг такой покой, такая тишь… А рядом кто-то говорит — проломлен череп. Нет, не хочу ничего знать про этот помертвелый, залитый кровью лоб. Ухожу к своему самолету. Но ощущение нависшей угрозы не оставляет меня. И скоро я вновь услышу знакомый звук. Когда на скорости двести семьдесят километров я врежусь в черное плоскогорье, я услышу знакомый хриплый кашель,

грозное «ха!» подстерегавшей нас судьбы.

В путь, на Бенгази.

2

В путь.

Стемнеет только через два часа. Но уже перед Триполитанией я снял черные очки. И песок стал золотой. До чего же пустынна наша планета! Быть может, и вправду реки, тенистые рощи и леса, людские селенья — все рождено лишь совпадением счастливых случайностей. Ведь наша Земля — это прежде всего скалы и пески!

Но сейчас все это мне чужое, у меня своя стихия — полет. Надвигается ночь, и становишься в ней затворником, точно в стенах монастыря. Затворником, погруженным в тайны неизбежных обрядов, в сомнения, которых никто не разрешит. Все земное понемногу блекнет и скоро исчезнет без следа. Расстилающийся внизу ландшафт еще слабо озарен последними отсветами заката, но уже расплывчат и неясен. Ничто, ничто не сравнится с этим часом. Кто изведал непостижимое, страстное самозабвение полета, меня поймет.

Итак, прощай, солнце. Прощайте, золотящиеся просторы, где я нашел бы прибежище, случись

какая-нибудь поломка… Прощайте, ориентиры, которые не дали бы мне сбиться с пути. Прощайте, темные очертания гор на светлом небе, что помогли бы мне не наскочить на риф. Я вступаю в ночь. Иду вслепую, по приборам. У меня остается лишь один союзник — звезды…

Мир там, внизу, умирает медленно. Мне все ощутимей не хватает света. Все трудней различить, где земля, а где небо. Земля словно вспухает, расплывается вширь клубами пара. Будто затонув в зеленой воде, трепетно мерцают первые светила небесные. Еще не скоро они засверкают острым алмазным блеском. Еще не скоро увижу я безмолвные игры падучих звезд. В иные ночи эти огненные искры проносятся стайками, словно гонимые ветром, бушующим среди созвездий.

Прево зажигает на пробу основные и запасные лампочки. Обертываем их красной бумагой.

— Еще раз…

Он прибавляет новый слой, щелкает выключателем. Но свет еще слишком яркий. Словно на засвеченной фотографии, от него лишь померкнут и без того еле уловимые очертания внешнего мира. Пропадет тончайшая мерцающая пленка, которая порой и в темноте обволакивает все предметы. Вот и ночь настала. Но подлинная ноч-

ная жизнь еще не началась. Еще не скрылся серп ущербной луны. Прево уходит в хвост самолета и приносит сандвич. Ощипываю кисть винограда. Есть не хочется. Ни есть, ни пить. И я ничуть не устал, кажется, могу хоть десять лет так лететь.

Луны больше нет.

В непроглядной ночи подает о себе весть Бенгази. Он тонет в кромешной тьме, нигде ни проблеска. Не замечаю города, пока не оказываюсь прямо над ним. Ищу посадочную площадку — и вот вспыхивают красные огни по краям. Четко вырисовывается черный прямоугольник. Разворачиваюсь. Точно огненный столб пожара, взметнулся в небо луч прожектора, описал дугу и проложил по аэродрому золотую дорожку. Опять разворачиваюсь, примечаю возможные препятствия. Этот аэродром отлично приспособлен для ночной посадки. Сбавляю газ и планирую, словно погружаюсь в черную воду.

Приземляюсь в двадцать три часа по местному времени. Подруливаю к прожектору. Хлопочут необыкновенно учтивые офицеры и солдаты, то возникая в слепящем луче, то исчезая во тьме, где уже ничего не различишь. Смотрят мои документы, заправляют самолет горючим. За двадцать минут все готово к отлету.

— Сделайте над нами круг, дайте знать, что у вас все благополучно.

В путь.

Выруливаю на золотую дорожку, впереди никаких препятствий. Моя машина — «Самум», — несмотря на груз, легко отрывается от земли, не добежав до конца площадки. Прожектор все еще светит вдогонку и мешает мне при развороте. Наконец луч уводят в сторону — догадались, что меня слепит. Делаю разворот с набором высоты, в лицо вдруг снова бьет прожектор, но тотчас, отпрянув, длинным золотым жезлом указывает куда-то в сторону. Да, здесь на земле все необыкновенно внимательны и учтивы. Опять разворачиваюсь, беру курс на пустыню.

Синоптики Парижа, Туниса и Бенгази пообещали мне попутный ветер скоростью тридцать — сорок километров в час. Тогда, пожалуй, можно будет делать все триста. Беру курс правее, на середину прямой, соединяющей Александрию с Каиром. Это мне поможет миновать запретные береговые зоны, и даже если я уклонюсь в сторону, то непременно справа ли, слева ли поймаю огни одного из городов или хотя бы долины Нила. Если ветер не переменится, долечу за три часа двадцать минут. Если спадет — за три сорок пять.

Начинаю одолевать тысячу с лишним километров пустыни.

Луны нет и в помине. Все до самых звезд залито черной смолой. И впереди не будет ни огонька, ни единый ориентир не придет мне на помощь, до самого Нила я отрезан от людей, потому что и радио на борту нет. Я и не ищу нигде признаков жизни, смотрю только на компас да на авиагоризонт Сперри. Слежу только за лениво подрагивающей светящейся черточкой на темном диске. Когда Прево переходит с места на место, сверяюсь с прибором и осторожно выравниваю машину. Лечу на высоте две тысячи метров, мне предсказывали, что здесь ветер будет самый благоприятный. Изредка зажигаю лампочку, проверяя работу мотора, — не все приборы у меня светящиеся; а потом опять остаюсь в темноте, среди моих крохотных созвездий, что льют такой же неживой, такой же неиссякаемый и загадочный свет, как настоящие звезды, и говорят тем же языком.

И я, подобно астрономам, читаю книгу небесной механики. Я тоже исполнен усердия и чужд всего земного. А вокруг все словно вымерло. Прево держался долго, но и он засыпает, и теперь я полнее ощущаю одиночество. Только мягко

рокочет мотор, да с приборной доски смотрят мне в лицо мои спокойные звезды.

А я призадумываюсь. Луна сегодня нам не союзница, радио у нас нет. Ни одна самая тоненькая ниточка не свяжет нас больше с миром, пока мы не упремся в окаймленный огнями Нил. Мы в пустоте, и только мотор держит нас на весу и не дает сгинуть в этой смоле. Как в сказке, мы пересекаем мертвую долину, черную долину испытаний. Здесь никто не поможет. Здесь нет прощенья ошибкам. Что с нами будет, одному Богу известно.

Из-за приборной доски сквозит лучик света. Бужу Прево — это надо убрать. Прево медведем ворочается в темноте, отфыркивается, вылезает из своего угла. Мастерит какое-то хитроумное сооружение из носовых платков и черной бумаги. Вот уже и нет луча. Он ворвался к нам, словно из другого мира. Он был неуместен среди отрешенного фосфорического свечения приборов. Это был не звездный свет, а свет ночного кабачка. Но главное, он сбивал меня с толку, затмевая мерцание приборов.

Мы летим уже три часа. И вдруг справа вспыхивает какое-то странное, словно живое сияние. Смотрю направо. За сигнальным огнем на кон-

це крыла, который прежде не был мне виден, тянется светящийся след. Неверный свет то разгорается, то меркнет — вот оно что, я вхожу в облачность. Она отражает сигнальный огонь. Так близко от моих ориентиров я предпочел бы ясное небо. Озаренное этим сиянием, засветилось крыло. Свет уже не пульсирует, он стал ярче, от него брызнули лучи, на конце крыла расцвел розовый букет. Меня сильно встряхивает — начинается болтанка. Я вошел в толщу облаков и не знаю, высоко ли они громоздятся. Поднимаюсь на высоту две пятьсот — вокруг все то же. Спускаюсь до тысячи метров. Огненный букет словно прирос к крылу и только разгорелся еще ярче. Ладно. Как-нибудь. Ничего не поделаешь. Будем думать о другом. Там видно будет. А все-таки не по душе мне это освещение — кабак, да и только.

Прикидываю: сейчас приходится поплясать, это в порядке вещей, но ведь меня понемногу болтало всю дорогу, хоть высота была большая и небо чистое. Ветер ничуть не ослабел, стало быть, скорость наверняка превышала триста километров в час. Короче говоря, ничего я толком не знаю, попробую определиться, когда выйду из облаков.

И вот выхожу. Огненного букета как не бывало. По его неожиданному исчезновению понимаю,

что облака остались позади. Всматриваюсь — передо мною, насколько можно разобрать, неширокий просвет, а дальше снова на пути стеной встают облака. И снова ожил букет на крыле.

Вынырнув на мгновенье, опять увязаю в черной смоле. Это уже тревожно, ведь, если я не ошибся в расчетах, до Нила рукой подать. Может быть, посчастливится заметить его в просвете среди туч, но просветы так редки. А снижаться боязно: если скорость была меньше, чем я думал, подо мною все еще плоскогорья.

Я пока не тревожусь всерьез, боюсь только потерять время. Но я знаю, когда настанет конец моему спокойствию — через четыре часа и пятнадцать минут полета. Когда минет этот срок, станет ясно, что даже при полном безветрии (а ветер, конечно, был) долина Нила не могла не остаться позади.

Достигаю бахромы облаков, огненный букет на крыле вспыхивает чаще, чаще — и вдруг пропадает. Не по душе мне эти шифрованные переговоры с демонами ночи.

Впереди загорается зеленая звезда, яркая, как маяк. Так что же это, звезда или маяк? Не по душе мне и эта сверхъестественная лучезарность, эта

Звезда Волхвов, этот опасный призыв.

Проснулся Прево, зажигает лампочку, проверяя обороты мотора. Гоню его, не нужен он мне со своей лампой. Я выскочил в просвет между облаками и спешу посмотреть, что там, внизу. Прево опять засыпает.

Ничего там не высмотришь.

Мы летим четыре часа пять минут. Подошел Прево, сел рядом.

— Пора бы уже прибыть в Каир…

— Да, не худо бы…

— А там что, звезда или маяк?

Я немного убрал газ, конечно, от этого и проснулся Прево. Он всегда очень чуток ко всякой перемене в шуме мотора. Начинаю медленно снижаться, надеюсь выскользнуть из-под облаков.

Только что я сверился с картой. При любых условиях плоскогорья уже позади, подо мною ничто не должно возвышаться над уровнем моря, я ничем не рискую. Продолжая снижаться, поворачиваю на север. Так я непременно увижу огни. Города я наверняка уже миновал, значит, огни появятся слева. Теперь я лечу под скоплением облаков. Но слева одно опустилось еще ниже, надо его обойти. Чтобы не заплутаться в нем, сворачиваю на северо-северо-восток.

Нет, это облако опускается все ниже, заслоняя горизонт. А мне дальше снижаться опасно. Высотомер показывает 400, но кто знает, какое здесь давление у земли. Прево наклоняется ко мне. Кричу ему:

— Уйду к морю, там буду снижаться, а то как бы на что-нибудь не наскочить!

Впрочем, ничего не известно, может быть, я уже лечу над морем. Тьма под этой тучей поистине кромешная. Прилипаю к стеклу. Разглядеть бы хоть что-нибудь внизу. Хоть бы огонек мелькнул, хоть какая-нибудь веха. Я словно роюсь в золе. В недрах погасшего очага пытаюсь отыскать искорку жизни.

— Морской маяк!

Мы вместе заметили эту подмигивающую западню. Безумие! Где он, этот маяк-привидение, эта ночная небылица? Мы с Прево приникли к стеклам, отыскивая этот призрак, только что мелькнувший в трехстах метрах под нами, и вот тут-то…

— А!

Кажется, только это у меня и вырвалось. Кажется, я только и ощутил, как наш мир содрогнулся и затрещал, готовый разбиться вдребезги. На скорости двести семьдесят километров в час мы

врезались в землю.

Потом сотую долю секунды я ждал: вот огромной багровой звездой полыхнет взрыв, и мы оба исчезнем. Ни Прево, ни я ничуть не волновались. Я только и уловил в себе это напряженное ожидание: вот сейчас вспыхнет ослепительная звезда — и конец. Но ее все не было. Что-то вроде землетрясения разгромило кабину, выбило стекла, на сто метров вокруг разметало куски обшивки, рев и грохот отдавался внутри, во всем теле. Самолет содрогался, как нож, с маху вонзившийся в дерево. Нас яростно трясло и колотило. Секунда, другая… Самолет все дрожал, и я с каким-то диким нетерпением ждал — вот сейчас неистраченная мощь взорвет его, как гранату. Но подземные толчки длились, а извержения все не было. Что же означают эти скрытые от глаз усилия? Эта дрожь, эта ярость, эта непонятная медлительность? Пять секунд… шесть… И вдруг нас завертело, новый удар вышвырнул в окна кабины наши сигареты, раздробил правое крыло — и все смолкло. Все оцепенело и застыло. Я крикнул Прево:

— Прыгайте! Скорей!

В ту же секунду крикнул и он:

— Сгорим!

Через вырванные с мясом окна мы вывалились наружу. И вот уже стоим в двадцати метрах от самолета. Спрашиваю Прево:

— Целы?

— Цел! — отвечает он и потирает колено.

— Пощупайте себя, — говорю. — Двигайтесь. У вас ничего не сломано? Честное слово?

А он отвечает:

— Пустяки, это запасной насос…

Мне почудилось — его раскроило надвое, как ударом меча, и сейчас он рухнет наземь, но он смотрел остановившимися глазами и все твердил:

— Это запасной насос…

Мне почудилось — он сошел с ума, сейчас пустится в пляс…

Но он отвел наконец глаза от самолета, который так и не загорелся, посмотрел на меня и повторил:

— Пустяки, запасной насос стукнул меня по коленке.

3

Непостижимо, как мы уцелели. Зажигаю фонарик, разглядываю следы на земле. Уже за двести

пятьдесят метров от того места, где самолет остановился, мы находим искореженные обломки металла и сорванные листы обшивки, они раскиданы вдоль всего пути машины по песку. При свете дня мы увидим, что почти по касательной наскочили на пологий склон пустынного плоскогорья. В точке столкновения песок словно лемехом плуга вспорот. Самолет чудом не перевернулся, он полз на брюхе, колотя хвостом по песку, словно разъяренный ящер. Полз на скорости двести семьдесят в час. Жизнь нам спасли круглые черные камни, что свободно катятся по песку, — мы съехали, точно на катках.

Опасаясь короткого замыкания — как бы все-таки не случился пожар, — Прево отключает аккумуляторы. Прислоняюсь к мотору и прикидываю: мы летели четыре часа с четвертью, и, пожалуй, скорость ветра в самом деле достигала пятидесяти километров в час, ведь нас порядком болтало. Но, может быть, он дул не так, как нам предсказывали, а менялся — и кто знает, в каком направлении? Значит, определить, где мы находимся, можно с точностью километров в четыреста…

Ко мне подсаживается Прево.

— И как это мы остались живы…

Не отвечаю и что-то совсем не радуюсь. Одна догадка шевельнулась в мозгу и не дает покоя.

Прошу Прево засветить свой фонарь, чтоб он служил мне маяком, а сам с фонарем в руке отхожу. Иду все прямо, внимательно смотрю под ноги. Медленно описываю широкий полукруг, опять и опять меняю направление. И все время всматриваюсь в песок под ногами, будто ищу потерянный перстень. Совсем недавно я вот так же искал на земле хоть одну живую искорку. Все хожу и хожу в темноте, догоняя кружок света, отбрасываемый фонарем. Так и есть… так и есть… Медленно возвращаюсь к самолету. Сажусь возле кабины и соображаю. Я искал — есть ли надежда — и не нашел. Ждал, что жизнь подаст мне знак, — и не дождался.

— Прево, я не видал ни единой травинки…

Прево молчит, не знаю, понял ли он. Мы еще потолкуем об этом, когда поднимется занавес, когда настанет день. Ничего не чувствую, одну лишь безмерную усталость. Оказаться посреди пустыни, когда ориентируешься с точностью до четырехсот километров…

И вдруг вскакиваю на ноги:

— Вода!

Баки разбиты, бензин и масло вытекли. Вода

тоже. И все уже всосал песок. Находим продырявленный термос, в нем уцелело пол-литра кофе, на дне другого — четверть литра белого вина. Процеживаем то и другое и смешиваем. Еще нашлось немного винограда и один-единственный апельсин. И я прикидываю: в пустыне под палящим солнцем этого едва хватит на пять часов ходу…

Забираемся в кабину, будем ждать утра. Ложусь, надо спать. Засыпая, пробую оценить положение. Где мы — неизвестно. Питья — меньше литра. Если мы не очень уклонились в сторону от трассы, нас найдут в лучшем случае через неделю, и это уже поздно. А если нас занесло далеко в сторону, то найдут через полгода. На авиацию рассчитывать нечего: нас будут разыскивать на пространстве в сотни тысяч квадратных километров.

— Экая досада, — говорит Прево.

— Что такое?

— Уж лучше бы разом конец!..

Нет, нельзя так сразу сдаваться. Мы с Прево берем себя в руки. Нельзя упускать надежду, пусть тень надежды — быть может, совершится чудо и спасенье все-таки придет с воздуха. И нельзя сидеть на месте — вдруг где-то рядом оазис? Значит, весь день будем ходить и искать. А вечером

вернемся к самолету. А перед уходом как можно крупнее напишем на песке, что собираемся делать.

Сворачиваюсь клубком и засыпаю до рассвета. Какое счастье уснуть! Усталость населяет ночь видениями. Посреди пустыни я не одинок, в полусне оживают голоса, воспоминания, кто-то шепчет мне заветные слова. Меня еще не донимает жажда, мне хорошо, я вверяюсь сну, как приключению. И действительность отступает…

Да, наутро все стало по-другому!

4

Я очень любил Сахару. Немало ночей провел в краю непокорных племен. Не раз просыпался среди необозримых золотистых песков, на которых от ветра зыбь, как на море. И засыпал под крылом самолета и ждал помощи, — но то было совсем, совсем иначе.

Мы взбираемся по склонам горбатых холмов. Песок покрыт тонким слоем блестящих черных камешков, обточенных, словно галька. Похоже на металлическую чешую, купола холмов сверкают, как кольчуга. Мы очутились в царстве минералов. Все вокруг заковано в броню.

Одолеешь перевал, а там встает еще холм, такой же черный, блестящий. Идем, волоча ноги по песку, чтоб оставался след — путеводная нить, которая потом приведет нас обратно к самолету. Держим путь по солнцу. Я решил двинуться прямо на восток, наперекор всякой логике, ведь и указания синоптиков, и время, проведенное в полете, — все говорит за то, что Нил остался позади. Но я двинулся было сперва на запад — и не мог совладать с непонятной тревогой. Нет, на запад пойдем завтра. И от севера пока откажемся, хоть эта дорога и ведет к морю. Через три дня, уже в полубреду, решив окончательно бросить разбитый самолет и идти, идти, пока не свалимся замертво, мы опять-таки двинемся на восток. Точнее, на восток-северо-восток. И опять-таки наперекор здравому смыслу: в той стороне нам не на что надеяться. Потом, когда нас спасли, мы поняли, что, избрав любой другой путь, погибли бы, — ведь пойди мы на север, совершенно обессиленные, мы все равно не добрались бы до моря. И вот сейчас я думаю — смешно, нелепо, но мне кажется, не зная, на что опереться, я выбрал это направление просто потому, что оно спасло в Андах моего друга Гийоме, которого я так долго искал. Я этого не сознавал, но оно так и осталось

для меня направлением к жизни.

Идем уже пять часов, картина вокруг меняется. Перед нами долина, на дне ее струится песчаная река, и мы пускаемся по ней. Идем скорым шагом, надо пройти как можно дальше и, если ничего не найдем, вернуться дотемна. Вдруг я останавливаюсь:

— Прево!

— Что?

— Про след забыли…

Когда же мы перестали тянуть за собой борозду? Если мы ее не отыщем — конец.

Поворачиваем, но берем правее. Отойдя подальше, свернем еще раз под прямым углом и тогда наверняка пересечем старый след.

Связав эту нить, шагаем дальше. Зной усиливается, порождая миражи. Пока они еще очень просты. Разливается на пути озеро, а подойдешь ближе — и нет его. Решаем перейти песчаную долину, подняться на самый высокий холм и оглядеться. Шагаем уже шесть часов. Отмахали, наверно, добрых тридцать пять километров. Взбираемся на самую макушку черного купола, садимся, молчим. Внизу песчаная река, по которой мы шли, впадает в песчаное море без единого камешка, — сверкающая белизна слепит, жжет

глаза. Пустыня, пустыня без конца и края. Но на горизонте игра света воздвигает новые миражи, куда более притягательные. Вздымаются крепости, минареты, громады с четкими, ясными очертаниями. Различаю большое темное пятно, оно прикидывается рощей, но над ним нависло облако — последнее из тех, что днем рассеиваются и вновь собираются под вечер. Та роща — лишь тень громоздящихся облаков.

Дальше идти нет смысла, никуда мы не придем. Надо возвращаться к самолету, этот красно-белый бакен, быть может, заметят наши товарищи. Я почти не надеюсь на розыски с воздуха, и все же только оттуда еще может прийти спасение. А главное, там, в самолете, остались последние капли влаги, а мы больше не можем без питья. Чтобы жить, надо вернуться. Мы замкнуты в железном кольце, в плену у жажды, надолго она не отпустит.

Но как трудно поворачивать назад, когда, быть может, впереди жизнь! Быть может, там, за миражом, и в самом деле встают города, течет по каналам вода, зеленеют луга. Я знаю, он единственно разумен, этот крутой поворот руля. И поворачиваю, а чувство такое, словно идешь ко дну.

Лежим возле самолета. За день отшагали шестьдесят километров с лишком. Все питье, какое у нас было, выпили. Никаких признаков жизни на востоке не обнаружили, и ни один наш товарищ в той стороне не пролетал. Долго ли мы еще продержимся? Уже так хочется пить…

Из обломков разбитого крыла сложили большой костер. Приготовили бензин и пластинки магния, он вспыхнет ярким белым пламенем. Дождемся, чтоб совсем стемнело, и запалим костер… Только где люди?

И вот вскинулось пламя. Благоговейно смотрим, как пылает среди пустыни наш сигнальный огонь. Наш безмолвный вестник так ярок, так сияет в ночи. И я думаю — он несет не только отчаянный призыв, но и любовь. Мы просим пить, но просим и отклика. Пусть загорится в ночи другой огонь, ведь огнем владеют только люди, пусть же они отзовутся!

Мне чудятся глаза жены. Одни только глаза. Они вопрошают. Мне чудятся глаза тех, кому я, может быть, дорог. Глаза вопрошают. Сколько взглядов, и в каждом — упрек: почему я молчу? Но я отвечаю! Отвечаю! Отвечаю, как только могу, не в моих силах разжечь еще ярче этот огонь в ночи!

Я сделал все, что мог. Мы оба сделали все, что могли: шестьдесят километров почти без питья. А больше нам уже не пить. Разве мы виноваты, что не сможем долго ждать? Мы бы и рады смирно сидеть на месте да потягивать из фляги. Но в тот миг, когда я увидел дно оловянного стаканчика, некий маятник начал отсчитывать время. В тот миг, когда я осушил последнюю каплю, я покатился под откос. Что я могу, если время уносит меня, как река. Прево плачет. Хлопаю его по плечу. Говорю в утешение:

— Подыхать так подыхать…

И он отвечает:

— Да разве я о себе…

Ну конечно, я и сам открыл эту истину. Вытерпеть можно все. Завтра и послезавтра я в этом уверюсь: вытерпеть можно все на свете. В предсмертные муки я верю лишь наполовину. Не впервые прихожу к этой мысли. Однажды я застрял в кабине тонувшего самолета и думал, что погиб, но не очень страдал при этом. Сколько раз бывал я в таких переделках, что уже не думал выйти живым, но не впадал в отчаяние. Вот и сейчас не жду особых терзаний. Завтра я сделаю открытия еще поудивительней. И хоть мы запалили такой огромный костер, Бог свидетель, я уже

не надеюсь, что наш призыв дойдет до людей…

«Да разве я о себе…» Вот оно, вот что поистине невыносимо. Опять и опять мне чудятся глаза, полные ожидания, — и едва увижу их, по сердцу как ножом полоснет. Я готов вскочить и бежать, бежать со всех ног. Там гибнут, там зовут на помощь!

Так странно мы меняемся ролями, но я никогда и не думал по-другому. А все же только Прево помог мне понять, как это верно. Нет, Прево тоже не станет терзаться страхом смерти, о котором нам все уши прожужжали. Но есть нечто такое, чего он не может вынести, так же, как и я.

Да, я готов уснуть. На одну ли ночь, на века ли — когда уснешь, будет уже все равно. И тогда — безграничный покой! Но там — там закричат, заплачут, сгорая в отчаянии… думать об этом нестерпимо. Там погибают, не могу я смотреть на это сложа руки! Каждая секунда нашего молчания убивает тех, кого я люблю. Неудержимый гнев закипает во мне: отчего я скован и не могу помчаться на помощь? Отчего этот огромный костер не разнесет наш крик по всему свету? Держитесь!.. Мы идем!.. Идем!.. Мы спасем вас!

Магний сгорел, пламя костра багровеет и меркнет. И вот остались только уголья, мы склоняемся

к ним, чтобы погреться. Наше сверкающее послание окончено. Чем отзовется на него мир? Да нет, я ведь знаю, никак не отзовется. Эту мольбу никто не мог услышать.

Что ж. Буду спать.

5

На рассвете мы тряпкой собрали с уцелевшего крыла немного росы пополам с краской и маслом. Мерзость ужасная, но мы выпили. Все-таки промочили горло. После этого пиршества Прево сказал:

— Хорошо, хоть револьвер есть.

Я вдруг озлился и уже готов был на него напуститься. Не хватало только чувствительных сцен! Не желаю знать никаких чувств, все просто, очень просто. И родиться. И вырасти. И умереть от жажды.

Искоса слежу за Прево, если надо, оборву его хоть насмешкой, лишь бы молчал. Но нет, он сказал это спокойно. Для него это вопрос чистоплотности. Так говорят: «Хорошо бы вымыть руки». Что ж, тогда спорить не о чем. Я и сам вчера, увидав кожаную кобуру, подумал о том же. Я рассуждал трезво, не предавался отчаянию.

С отчаянием думаешь только о других. О том, что мы бессильны успокоить всех тех, за кого мы в ответе. Револьвер тут ни при чем.

Нас все еще не ищут, то есть ищут, конечно, но не там, где надо. Вероятно, в Аравии. Только на другой день нам суждено было услышать рокот мотора, но к этому времени мы уже ушли от своей разбитой машины. И мы равнодушно смотрели на далекий самолет. Две черные точки в пустыне, сплошь усеянной черными точками камней, мы никак не могли надеяться, что нас заметят. Позднее все решат, что одна мысль о летящем мимо самолете была для меня пыткой. Но это неправда. Мне казалось, что спасители наши кружат в другом мире.

Когда разбитый самолет затерян в пустыне, где-то на пространстве в сотни тысяч квадратных километров, быстрее чем за две недели найти его невозможно. А нас, вероятно, ищут повсюду от Триполитании до Персидского залива. Но сегодня я еще цепляюсь за эту соломинку, ведь больше надеяться не на что. И я меняю тактику: пойду на разведку один. Если кто-нибудь нас отыщет, Прево подаст мне знак — разожжет костер… но никто нас не отыщет.

Итак, я ухожу и даже не знаю, хватит ли у меня

сил вернуться. Вспоминаю все, что мне известно о Ливийской пустыне. Во всей Сахаре влажность воздуха держится на сорока процентах, а здесь падает до восемнадцати. И жизнь улетучивается, как пар. Бедуины, путешественники, офицеры колониальных войск говорят, что без питья можно продержаться только девятнадцать часов. А когда пройдет двадцать часов, перед глазами вспыхивает яркий свет — и это начало конца: жажда бросается на вас и разит, как молния.

Но северо-восточный ветер, небывалый, невесть откуда взявшийся здесь ветер, который так нас подвел и нежданно-негаданно пригвоздил к этому плоскогорью, сейчас отдаляет наш конец. Как знать, надолго ли эта отсрочка? Когда сверкнет в глазах предсмертный свет?

Итак, я ухожу, а чувство такое, словно в утлом челноке пускаюсь в океан.

А все же при свете зари все вокруг кажется не таким уж мрачным. И поначалу я шагаю, как апаш, заложив руки в карманы. С вечера мы расставили силки у входа в какие-то, неведомо чьи, норки, и во мне просыпается браконьер. Первым делом иду проверить капканы — они пусты.

Значит, не судьба напиться свежей крови. По совести, я на это и не надеялся.

Нет, я не разочарован, напротив, меня донимает любопытство. Какое здесь, в пустыне, зверье и чем оно кормится? Скорее всего это фенеки, песчаные лисицы, хищники ростом не больше кролика и с огромными ушами. Не могу утерпеть — иду по следу одного зверька. След приводит к песчаному ручейку, на песке четко отпечатался каждый шаг фенека. Прелесть что за узор оставляет эта лапка с тремя растопыренными пальцами, словно изящно вырезанный пальмовый листок. Представляю, как на заре мой ушастый приятель рысцой перебегает от камня к камню и слизывает ночную росу. А здесь следы реже: мой лис пустился вскачь. А вот здесь ему повстречался собрат, и они побежали рядышком. Даже удивительно, как отрадно мне следить за этой утренней прогулкой. Как славно видеть, что и здесь есть жизнь. И кажется, уже не так хочется пить…

Но вот наконец и кладовые моих лисиц. Поодаль друг от друга, по одному на сто метров, чуть видны над песком крохотные сухие кустики, не выше суповой миски; они сплошь унизаны маленькими золотистыми улитками. На рассвете фенек отправляется за провизией. И тут я наталкиваюсь на одну из великих загадок природы.

Мой лис задерживается не у всякого кустика.

Иные он не удостаивает вниманием, хотя они густо унизаны улитками. Иные опасливо обходит стороной. К иным приступает деликатно — не объедает начисто. Снимет две-три ракушки — и отправляется в другой ресторан.

Что это, игра? Может быть, он не хочет насытиться разом, хочет растянуть удовольствие этой утренней прогулки? Нет, едва ли. Игра слишком разумна, ее диктует необходимость. Если фенек станет наедаться досыта у первого же кустика, за две-три трапезы на ветвях не останется ни одной улитки. И так, переходя от одного кустика к другому, он уничтожил бы все свое стадо. Но фенек осторожен и не мешает стаду плодиться. Ради одной трапезы он обходит добрую сотню этих редких бурых кустиков, больше того — он ни за что не снимет с одной и той же веточки двух улиток подряд. Он ведет себя так, будто ясно понимает, в чем таится опасность. Ведь попробуй он наедаться досыта, не заботясь о будущем, скоро и улиток не станет. А без улиток не станет и фенеков.

Следы вновь привели меня к норе. Фенек сейчас дома, конечно, еще издали заслышал мои тяжелые шаги и теперь в страхе ждет. И я говорю ему: «Лис, дружок, мне крышка… но представь,

мне и сейчас любопытно, как ты живешь и что поделываешь...»

Стою в раздумье... да, видно, примириться можно с чем угодно. Не мешает же человеку радоваться мысль о том, что лет через тридцать он умрет. А тридцать лет или три дня... тут все дело в том, какой мерой мерить...

Только вот всплывают перед глазами образы, которые лучше не вспоминать...

И опять иду своей дорогой, усталость все сильнее, и что-то во мне переменилось. Миражей нет, а я сам их вызываю...

— Э-эй!

Поднимаю руки, кричу — там человек, он мне машет... нет, это просто черный каменный столб. В пустыне все начинает жить какой-то странной жизнью. Я хотел разбудить спящего бедуина, но он обратился в почерневший ствол дерева. Дерево? Откуда ему здесь взяться? Наклоняюсь, хочу поднять обломанную ветвь — она из мрамора! Выпрямляюсь, смотрю по сторонам — вот и еще черный мрамор. Все вокруг усеяно обломками доисторического леса. Сотни тысяч лет назад он рухнул, точно храм, сметенный чудовищным, первобытной силы ураганом. И века докатили до меня эти осколки исполинских колонн, от-

полированные, гладкие, как сталь, окаменелые, остекленевшие, совершенно черные. Еще можно различить, где от ствола отходили ветви, можно проследить живые изгибы дерева, сосчитать годовые кольца. Лес, некогда полный птичьих песен, шороха, шелеста, поразило проклятие, и деревья обратились в соляные столбы. Все вокруг мне враждебно. Эти величавые останки, такие черные — черней, чем железный панцирь, одевающий холмы, — меня отвергают. Зачем я здесь, живой среди этого нетленного мрамора? Смертный, которому суждено обратиться в прах, — зачем я здесь, в царстве вечности?

Со вчерашнего дня я прошел уже километров восемьдесят. Кружится голова — наверно, от жажды. А может, от солнца. Оно блещет на этих точно маслом смазанных обломках окаменелых стволов. На этом панцире Вселенной. Здесь больше нет ни песка, ни лисиц. Осталась одна лишь гигантская наковальня. И вот я иду по этой наковальне. И солнце гулким молотом бьет меня по голове. Но что это?..

— Эй! Э-эй!

— Ничего там нет, успокойся, ты бредишь.

Уговариваю себя, взываю к собственному рассудку. Так трудно не верить своим глазам. Так

трудно не кинуться со всех ног за караваном… вот же он идет… вон там… видишь?..

— Дурень, ты его просто выдумал, ты и сам это знаешь…

— Тогда все на свете обман…

Все на свете обман, но вот на холме в двадцати километрах от меня стоит самый настоящий крест. Не то крест, не то маяк…

Но море не в той стороне. Значит, это крест. Всю ночь я изучал карту. Напрасный труд, ведь неизвестно, где мы. Но я до одури вглядывался в каждый знак, который говорил о присутствии человека. И в одном месте обнаружил кружок, а над ним вот такой же крест. Просмотрел условные обозначения на полях: церковь, миссия или монастырь. Рядом с крестом я увидел на карте черную точку. Опять посмотрел на поля — постоянный колодец… Сердце так и подпрыгнуло, и я повторил в полный голос: «Постоянный колодец… постоянный колодец… постоянный колодец!» Что перед этим чудом все сокровища Али-Бабы? Чуть подальше я заметил два белых кружка и на полях прочел: пересыхающий колодец. Это было уже не так прекрасно. А дальше, куда ни погляди, — ничего. Ничего.

Так вот она, миссия или монастырь! Монахи

воздвигли на холме огромный крест — путеводный знак для погибающих! И надо только идти прямо на него. Надо только бежать прямо к этим доминиканцам…

— Да ведь в Ливии нет никаких монастырей, кроме коптских.

— …прямо к этим ученым доминиканцам. У них отличная прохладная кухня, выложенная красными изразцами, а во дворе изумительный ржавый насос. И под ржавым насосом, под ржавым насосом, — как не догадаться! — под ржавым насосом и есть постоянный колодец! Вот будет у них праздник, когда я позвоню у дверей, ударю в колокол…

— Дурень, о чем ты? Такие дома — в Провансе, да и там нет никакого колокола.

— …я позвоню в колокол. Привратник возденет руки к небесам и воскликнет: «Сам Бог вас послал!» — и созовет всю братию. И монахи кинутся мне навстречу. Они обрадуются мне, как бездомному сироте в рождественскую ночь. И отведут меня на кухню. И скажут: «Сейчас, сын мой, сейчас… мы только сбегаем к постоянному колодцу».

И я задрожу от счастья…

Но нет, не стану плакать только оттого, что там,

на холме, уже нет никакого креста.

* * *

Все посулы запада — ложь. Круто поворачиваю на север.

Север — он хотя бы полон песнью моря.

Итак, я одолел перевал — и передо мною распахнулась необъятная ширь. А вот и прекраснейший город на свете.

— Ты же и сам знаешь, что это мираж.

Да, я прекрасно знаю, что это мираж. Меня не проведешь. Ну а если я так хочу — гнаться за миражом? Если я хочу надеяться? Если я влюблен в этот город, обнесенный зубчатыми стенами, щедро позолоченный солнцем? Если мне нравится идти к нему все прямо, прямо, легкими шагами, — ведь я уже не чувствую усталости, ведь я счастлив… Прево со своим револьвером просто смешон! Мое опьянение куда лучше. Я пьян. Я умираю от жажды!

Сумерки меня отрезвили. В страхе останавливаюсь — я слишком далеко зашел. В сумерках мираж угасает. Даль нага и безрадостна; колодца, дворцов, пышных риз как не бывало. Вокруг пустыня.

— Вот чего ты добился! Тебя застигнет ночь,

придется ждать рассвета, а до завтра твои следы на песке сгладятся — и не будет возврата.

— Тогда уж лучше идти все прямо да прямо. Зачем поворачивать назад? Ни к чему мне этот поворот руля, ведь сейчас, быть может, я открою… да, я уже открываю объятия морю…

— Где ты видишь море? Никогда тебе до него не дойти. До моря, уж наверно, не меньше трехсот километров. А возле вашего «Самума» ждет Прево! И может быть, его уже заметил какой-нибудь караван…

Ладно, я вернусь, но сперва позову, вдруг люди близко.

— Э-эй!

Черт побери, обитаемая это планета или нет?

— Э-эй! Люди!..

Я охрип. Уже нет голоса. Просто смешно так вопить… Все-таки попробуем еще раз:

— Лю-ди!

Это звучит так высокопарно и неестественно…

И я поворачиваю назад.

Шагаю два часа, и вот уже виден отсвет огромного костра — в страхе, что я заблудился, Прево разжег его чуть не до небес. А мне все равно… Еще час ходу… Еще пятьсот метров. Еще сто. Еще пятьдесят.

— О-о!

Останавливаюсь, пораженный. Такая радость нахлынула, от нее вот-вот разорвется сердце. В зареве костра Прево разговаривает с двумя арабами, прислонившимися к мотору. Он меня еще не заметил. Он так рад, что ничего не видит вокруг. Эх, лучше бы я ждал тут вместе с ним… не так долго пришлось бы маяться! Радостно кричу:

— Э-эй!

Бедуины так и подскочили, обернулись и смотрят на меня. Оставив их, Прево один идет мне навстречу. Открываю объятия. Прево поддерживает меня под локоть — разве я падал? Говорю ему:

— Ну вот и они!

— Кто?

— Арабы!

— Какие арабы?

— Да эти, которые тут, с вами!..

Прево как-то странно смотрит на меня и говорит нехотя, будто поверяет тягостную тайну:

— Никаких арабов тут нет…

Вот теперь я, наверно, заплачу.

6

Здесь можно прожить без воды только девятнадцать часов, а что мы пили со вчерашнего вечера? Несколько капель росы на рассвете! Но северо-восточный ветер все еще держится — и пустыня иссушает наши тела немного медленнее обычного. Благодаря этому заслону сгущаются в небе облака, целые горы облаков. Вот бы их принесло в нашу сторону, вот бы пошел дождь! Но в пустыне дождей не бывает.

— Прево, давайте-ка разрежем парашют на треугольники. Разложим их на песке и придавим камнями. Если ветер не переменится, наутро выжмем это тряпье в бак из-под бензина, все-таки наберется немного росы.

Мы разостлали под звездами шесть белых полотнищ. Прево снял с самолета бак. Будем ждать утра.

Среди обломков Прево отыскал настоящее чудо — апельсин! Делим его пополам. Я вне себя от радости, а между тем один апельсин — такая малость, ведь нам нужно двадцать литров воды!

Лежу подле нашего ночного костра, смотрю на огнисто светящийся плод и думаю: люди не зна-

ют, что это такое — апельсин. И еще думаю: мы обречены, но и сейчас, как утром, это не мешает мне радоваться. Вот я держу в руке половинку апельсина — и это одна из самых отрадных минут моей жизни…

Откидываюсь на спину, высасываю дольку за долькой, считаю падающие звезды. В этот миг я счастлив бесконечно. И я думаю еще: в жизни каждое положение — это особый мир, его законы можно постичь только изнутри. Лишь теперь я понимаю, зачем осужденному на казнь последняя сигарета и стакан рома. Прежде я не мог понять, как смертник принимает эту милостыню. А ведь она доставляет ему истинное удовольствие. И если он улыбается, все думают: какое мужество! А он улыбается, потому что приятно выпить рому. Люди не знают, что он просто мерит другой мерой, и этот последний час для него — целая жизнь.

У нас скопилось неслыханное богатство — пожалуй, литра два росы. С жаждой покончено! Мы спасены, мы будем пить!

Оловянным стаканчиком зачерпываю воды из бака, но она уж такая желто-зеленая и вкус у нее до того мерзкий, что, как ни извелся я от жажды, после первого же глотка с трудом перевожу дух. Я

бы напился и из грязной лужи, но этот ядовитый металлический привкус еще сильнее жажды.

Смотрю на Прево — он ходит по кругу, озабоченно глядя себе под ноги, будто что потерял. И вдруг, не переставая кружить, наклоняется — и его рвет. Полминуты спустя настает мой черед. Рвота страшная, до судорог — падаю на колени, впиваюсь пальцами в песок. Мы не в силах вымолвить ни слова, так проходит четверть часа, под конец нас рвет желчью.

Кончено. Только еще мутит немного. Но последняя наша надежда рухнула. Не знаю, что в этом виновато — вещество ли, которым был пропитан парашют, или четыреххлористый углерод, осевший на стенках бака. Надо было найти другой сосуд, а может быть, другую ткань.

Что ж, пора! Уже светло. В путь! Прочь от этого окаянного плоскогорья, будем идти, идти, пока не свалимся замертво. Так шел по Андам Гийоме, со вчерашнего дня я все думаю о нем. Нарушаю строжайшее правило, предписывающее оставаться подле разбитого самолета. Здесь нас больше искать не будут.

И снова убеждаемся — это не мы терпим бедствие. Терпят бедствие те, кто нас ждет! Те, для кого так грозно наше молчание. Те, кого уже

терзает чудовищная ошибка. Как же к ним не спешить! Вот и Гийоме, возвратясь из Анд, рассказывал мне, как он спешил на помощь погибающим. Эта истина справедлива для всех.

— Будь я один на свете, я бы лег и уже не вставал, — говорит Прево.

И мы идем на восток-северо-восток. Если Нил мы перелетели, то теперь каждый шаг все непоправимее заводит нас в глубь Аравийской пустыни.

О том дне я больше ничего не помню. Помню лишь, что очень спешил. Скорей, скорей, все равно, что впереди, хотя бы и смерть. Помню еще, что шел, упорно глядя под ноги, миражи мне осточертели. Время от времени мы сверялись с компасом. Иногда ложились на песок, чтоб немного передохнуть. Я захватил на ночь плащ, а потом где-то его кинул. Дальше — провал. Не помню, что было, пока не наступил вечер и не стало прохладнее. Все стерлось в памяти, словно следы на песке.

Солнце заходит, решаем остановиться на ночлег. Я знаю, надо бы идти дальше: эта ночь без воды нас доконает. Но мы захватили с собой полотнища парашютного шелка. Если отравились мы не из-за него, завтра утром, может быть, и

утолим жажду. Попробуем опять разостлать под звездами наши ловушки для росы.

Но в этот вечер небо на севере ясное, ни облачка. У ветра стал другой вкус. И дует он с другой стороны. Нас уже коснулось жаркое дыхание пустыни. Зверь просыпается! Вот он лижет нам руки, лицо…

А все-таки надо сделать привал, мне сейчас не пройти и десяти километров. За три дня я прошел сто восемьдесят, даже больше, и ничего не пил.

Мы уже готовы остановиться, и вдруг Прево говорит:

— Озеро! Честное слово!

— Вы с ума сошли!

— Да ведь сумерки, откуда сейчас возьмется мираж?!

Не отвечаю. Я давно уже перестал верить своим глазам. Если это и не мираж, так прихоть больного воображения. И как Прево еще может верить?

А он твердит свое:

— До него минут двадцать ходу, пойду погляжу…

Это упрямство меня бесит.

— Что ж, подите поглядите… гулять очень даже полезно. Только имейте в виду, если там и есть озеро, оно все равно соленое. И потом, соленое,

нет ли, оно же у черта на рогах! И нет его совсем.

Но Прево уже уходит, глядя в одну точку. Я и сам испытал эту властную, неодолимую тягу! И я думаю: бывают же безумцы, кидаются под поезд — не удержишь. Я знаю, Прево не вернется. Эта ширь без конца и края затянет его, заморочит, и он уже не сможет повернуть назад. Отойдет подальше и свалится. И умрет там, а я умру здесь. И все это не важно, все пустяки…

Мной овладело равнодушие, а это дурной знак. Такое же спокойствие ощутил я, когда тонул. Что ж, воспользуемся этим! Растягиваюсь прямо на камнях и пишу свое последнее письмо. Прекрасное письмо. Очень достойное. Щедро оделяю всех мудрыми советами. Перечитываю его с каким-то тщеславным удовольствием. Все станут говорить: «Изумительное письмо! Какая жалость, что он погиб!»

Интересно, долго ли я еще протяну. Пытаюсь набрать слюны — сколько часов я не сплевывал? Но слюны уже нет. Когда подолгу не открываешь рта, губы склеивает какая-то гадость. Она подсыхает, обводя рот снаружи твердой коркой. Но глотать пока удается. И перед глазами еще не вспыхнул свет. Вот заблещет для меня это волшебное сияние, и тогда через два часа — конец.

Уже темно. Со вчерашней ночи луна заметно прибавилась. Прево не возвращается. Лежу на спине и ворочаю в уме эти несомненные истины. И какое-то странное, полузабытое чувство поднимается во мне. Что же это было? Да, да… я плыву, я на корабле! Так я плыл однажды в Южную Америку, распростертый на верхней палубе. И верхушка мачты медленно покачивалась среди звезд то вправо, то влево. Мачты здесь нет, но все равно я плыву в неизвестность и ничего не властен изменить. Работорговцы бросили меня на палубу, связав по рукам и ногам.

Думаю о Прево — он не возвращается. Я не слыхал от него ни единой жалобы. Это очень хорошо. Я просто не вынес бы нытья. Да, это человек.

А, вот он — размахивает фонариком в пятистах метрах от меня. Он потерял свой след! У меня нет фонаря, нечем сигналить в ответ — поднимаюсь, кричу, но он не слышит…

За двести метров от него вспыхивает еще один фонарик, и еще.

Бог мой, да ведь это помощь, меня ищут!

Кричу:

— Э-эй!

Но меня не слышат.

Три фонаря призывно сигналят, опять и опять.

Я не сошел с ума. Сегодня мне не так уж плохо. И я спокоен. Внимательно всматриваюсь. За пятьсот метров от меня горят три фонарика.

— Э-эй!

Опять не слышат.

Тут меня охватывает страх. Короткий приступ, он больше не повторится. Надо бежать! «Подождите!.. подождите!..» Сейчас они повернут обратно! Пойдут искать в другом месте, а я погибну! Погибну у порога жизни, когда уже раскрылись объятия, готовые меня поддержать!

— Э-эй! Э-эй!

— Э-эй!

Услышали. Задыхаюсь — задыхаюсь и все-таки бегу. Бегу на голос, на крик. Вижу Прево — и падаю.

— Ох, когда я увидал все эти фонари…

— Какие фонари?

Да ведь он один!

Во мне поднимается уже не отчаяние, а глухая ярость.

— Ну, как ваше озеро?

— Я шел к нему, а оно все отодвигалось. Я шел к нему целых полчаса. Но все равно было еще далеко. И я повернул. Но теперь я уверен, это самое настоящее озеро.

— Вы с ума сошли, вы просто сошли с ума. Ну зачем вы так? Зачем…

Что он сделал? Что — зачем? Я готов заплакать от злости и сам не знаю, чего злюсь. А Прево срывающимся голосом объясняет:

— Я так хотел найти воду… у вас совсем белые губы!

Вот оно что… Ярость моя утихает. Провожу рукой по лбу, словно просыпаюсь, и мне становится грустно. Говорю негромко:

— Я видел три огонька — совсем ясно, вот как вас сейчас вижу, ошибиться было невозможно. Говорю вам, Прево, я их видел!

Прево долго молчит.

— Да-а, — признается он наконец, — плохо дело.

* * *

В пустыне, где воздух лишен водяных паров, земля быстро отдает дневное тепло. Становится очень холодно. Встаю, расхаживаю взад и вперед. Но скоро меня начинает колотить нестерпимый озноб. Кровь, густея без воды, едва течет по жилам, леденящий холод пронизывает меня, и это не просто холод ночи. Меня трясет, зуб на зуб не попадает. Руки дрожат так, что я даже фонарик

удержать не могу. Никогда в жизни не был чувствителен к холоду, а умру от холода — странно, что только делает с человеком жажда!

Днем я устал тащить по жаре свой плащ и где-то его бросил. А ветер усиливается. А в пустыне, оказывается, нет прибежища. Она вся гладкая, как мрамор. Днем не сыщешь ни клочка тени, а ночью нет защиты от ветра. Ни дерева, ни кустика, ни камня, негде укрыться. Ветер налетает на меня, точно конница в чистом поле. Кручусь на все лады, пытаясь от него ускользнуть. Ложусь, опять встаю. Но как ни вертись, а ледяной бич хлещет без пощады. Бежать не могу, сил больше нет — падаю на колени, обхватываю голову руками и жду: сейчас опустится меч убийцы!

Немного погодя ловлю себя на том, что поднялся и, весь дрожа, иду сам не знаю куда! Где это я? Вот оно что — я ушел, и Прево меня зовет! От его криков я и очнулся…

Возвращаюсь к нему, трясусь всем телом, судорожно вздрагиваю. И говорю себе: это не от холода. Нет. Это конец. Все мое тело иссушено, в нем не осталось влаги. Я столько ходил позавчера и вчера, когда отправился на разведку один.

Обидно умирать от холода. Уж лучше бы воображение снова тешило меня миражами. Крест

на холме, арабы, фонари — это становилось даже занятно. Не так-то весело, когда тебя хлещут бичами, как раба…

И вот я опять на коленях…

Мы захватили с собой кое-что из нашей аптечки. Сто граммов чистого эфира, сто граммов девяностоградусного спирта и пузырек с йодом. Пробую эфир — глоток, другой. Это все равно что глотать ножи. Глотнул спирту — нет, сразу сдавило горло.

Рою в песке яму, ложусь, засыпаю себя песком. Открытым остается только лицо. Прево отыскал какие-то кустики и разжигает крохотный костер, который тут же гаснет. В песке Прево хорониться не хочет. Предпочитает приплясывать от холода. А что толку.

Горло у меня по-прежнему сдавлено — дурной знак, но чувствую себя лучше. Я спокоен. Надежды больше нет, а я спокоен. Связанного по рукам и ногам уносит меня невольничий корабль, плыву под звездами и остановиться — не в моей власти. Но, пожалуй, я не так уж несчастлив…

Если совсем не шевелиться, холода уже не ощущаешь. И я забываю о своем онемевшем теле. Больше я не двинусь, а значит, и мучиться не стану. Да, по правде сказать, не так уж это и

мучительно… Мучения положены на музыку усталости и бреда. И все оборачивается книжкой с картинками, немного жестокой сказкой… Совсем недавно меня преследовал ветер, и, спасаясь от него, я кружил, как затравленный зверь. Потом стало трудно дышать: кто-то уперся коленом мне в грудь. Колено давило. И я пытался сбросить гнет, я отбивался от ангела смерти. Никогда я не был в пустыне один. Теперь я уже не верю в реальность окружающего — и ухожу в себя, закрываю глаза, больше я и бровью не поведу. Поток образов уносит меня в забвенье: реки, впадая в море, обретают покой.

Прощайте все, кого я любил. Не моя вина, если человеческое тело не может бороться с жаждой больше трех дней. Не думал я, что мы в вечном плену у источников. Не подозревал, что наша свобода так ограничена. Считается, будто человек волен идти куда вздумается. Считается, будто он свободен… И никто не видит, что мы на привязи у колодцев, мы привязаны, точно пуповиной, к чреву земли. Сделаешь лишний шаг — и умираешь.

Мне горько одно — ваше горе, — а больше я ни о чем не жалею. В последнем счете мне выпала завидная участь. Если б я вернулся, опять начал

бы сначала. Я хочу настоящей жизни. А в городах люди о ней забыли.

Дело вовсе не в авиации. Самолет не цель, только средство. Жизнью рискуешь не ради самолета. Ведь не ради плуга пашет крестьянин. Но самолет помогает вырваться из города, от счетоводов и письмоводителей, и вновь обрести ту истину, которой живет крестьянин.

Возвращаешься к человеческому труду и к человеческим заботам. Сходишься лицом к лицу с ветром, со звездами и ночью, с песками и морем. Стараешься перехитрить стихии. Ждешь рассвета, как садовник ждет весны. Ждешь аэродрома, как земли обетованной, и ищешь свою истину по звездам.

Не стану жаловаться на судьбу. Три дня я шел, страдал от жажды, держался следов на песке, и вся надежда моя — на росу. Я забыл, где живут мои собратья, и пытался вновь отыскать их на земле. Таковы заботы живых. И право, это куда важнее, чем выбирать — в каком бы мюзик-холле убить вечер.

Мне странны пассажиры пригородных поездов — воображают, будто они люди, а сами, точно муравьи, подчиняются привычному гнету и даже не чувствуют его. Чем они заполняют свои вос-

кресенья, свой жалкий, бессмысленный досуг?

Однажды в России я слышал — на заводе играли Моцарта. Я об этом написал. И получил двести ругательных писем. Меня не возмущают те, кому больше по вкусу кабацкая музыка. Другой они и не знают. Меня возмущает содержатель кабака. Не выношу, когда уродуют людей.

Я счастлив своим ремеслом. Чувствую себя пахарем, аэродром — мое поле. В пригородном поезде меня убило бы удушье куда более тяжкое, чем здесь! В последнем счете здесь великолепно!..

Ни о чем не жалею. Я играл — и проиграл. Такое у меня ремесло. А все же я дышал вольным ветром, ветром безбрежных просторов.

Кто хоть раз глотнул его, тому не забыть его вкус. Не так ли, товарищи мои? И суть не в том, чтобы жить среди опасностей. Это всего лишь громкая фраза. Тореадоры мне не по душе. Я люблю не опасности. Я знаю, что я люблю. Люблю жизнь.

Кажется, небо начинает бледнеть. Высвобождаю руку из песка, ощупываю разостланное рядом полотнище — оно сухое. Подождем еще. Роса падает на рассвете. Но вот и рассвело, а парашютные полотнища не увлажнились. Мысли

немного путаются, и я слышу собственный голос: «Сердце высохло… сердце высохло… сердце как камень, не выжмешь ни слезинки!..»

— В путь, Прево! Пока еще не спеклась глотка, надо идти.

7

Дует западный ветер — тот самый, что иссушает человека за девятнадцать часов. Гортань еще не спеклась, но пересохла и болит. Внутри уже немного царапает. Скоро начнется кашель — мне про него рассказывали, и я жду. Язык мне мешает. Но что хуже всего, перед глазами уже мелькают слепящие искорки. Едва они обратятся в пламя, я лягу.

Идем быстро. Пользуемся прохладой раннего утра. Ведь когда станет припекать, мы больше не сможем идти. Когда станет припекать…

Мы не имеем права вспотеть. И передохнуть тоже не имеем права. В прохладном воздухе этого утра всего лишь восемнадцать процентов влаги. Ветер дует из недр пустыни. И под его тихой, вероломной лаской испаряется наша кровь.

В первый день мы съели немного винограда. За три дня — половинка апельсина и половина

виноградной кисти. Есть мы бы все равно ничего не могли — у нас пропала слюна. Но голода я и не чувствую, только жажду. И кажется, не так мучительна жажда, как ее последствия. Пересохла гортань. Язык как деревянный. В глотке дерет, вкус во рту премерзкий. Непривычно и дико. Будь у нас вода, все эти ощущения, конечно, как рукой бы сняло, но я не припомню, что за связь между ними и этим чудесным лекарством. Жажда перестает быть неутоленным желанием, она все больше становится болезнью.

Мне еще мерещатся родники и фрукты, но это меня уже не так терзает. Забываю сияющее великолепие апельсина, как забываю, кажется, все, что было мне дорого. Быть может, я уже все позабыл.

Мы сидим, а надо снова идти. Долгие переходы нам больше не под силу. Через каждые пятьсот метров усталость валит с ног. И такое наслаждение растянуться на песке. А надо снова идти.

Картина вокруг меняется. Камней все меньше. Теперь под ногами песок. Впереди, в двух километрах, дюны. На них кое-где темнеет низкорослый кустарник. Эти пески мне больше по душе, чем стальной панцирь. Эта пустыня — светлая. Это Сахара. Я, кажется, узнаю ее в лицо…

Теперь мы валимся без сил через каждые двести метров.

— Вон до тех кустиков уж непременно дойдем.

Это предел. Через неделю, когда мы на машине возвратимся за останками нашего «Самума», выяснится, что в этот последний поход мы одолели восемьдесят километров. А я уже прошел около двухсот. Хватит ли сил идти дальше?

Вчера я шел, ни на что не надеясь. Сегодня самое слово «надежда» потеряло смысл. Сегодня мы идем потому, что идем. Наверно, так движутся волы в упряжке. Вчера мне грезился апельсиновый рай, сегодня рай для меня уже не существует. Я больше не верю, что есть на свете апельсиновые рощи. Я уже ничего не чувствую, сердце во мне высохло. Вот сейчас упаду, но отчаянья нет. Нет даже горечи. А жаль — печаль показалась бы мне сладостной, как вода. Можно себя пожалеть, горевать о себе, словно о друге. Но у меня не осталось на свете друзей.

Меня найдут, увидят мои обожженные глаза и подумают: как он страдал, как звал на помощь! Но бурные порывы, сожаления, страдания души — это ведь тоже богатство. А я все потерял. Юные девушки в первую ночь любви узнают печаль и плачут. Печаль нераздельна с трепетом жизни. А

я уже не печалюсь…

Я сам стал пустыней. Во рту уже нет слюны, и в душе нет больше милых образов, которые я мог бы оплакивать. Солнце иссушило во мне источник слез.

Но что это? Дыханье надежды коснулось меня — так пробегает по морю еле заметная рябь. Отчего все существо мое встрепенулось, хотя сознание еще ничего не уловило? Ничто не изменилось — и, однако, все стало иным. Песчаная гладь, невысокие холмики, редкие мазки зелени — все это уже не ландшафт, а сцена. Она пуста, но чего-то ждет. Смотрю на Прево. Он тоже поражен и тоже никак не разберется в своих ощущениях. Честное слово, сейчас что-то произойдет…

Честное слово, пустыня ожила.

Честное слово, это безлюдье, это безмолвие вдруг преобразилось, оно живет взволнованней, чем вскипающая гулом площадь.

Мы спасены: по песку кто-то прошел…

Да, мы потеряли след рода человеческого, мы были отрезаны от своих собратьев, одни во всем мире, словно забытые в час великого переселения, — и вот он на песке, чудесный отпечаток, оставленный ногою человека.

— Смотрите, Прево, здесь разошлись двое…

— А здесь опустился на колени верблюд…

— А здесь…

Но это совсем не значит, что мы уже спасены. Нам нельзя ждать. Пройдет час, другой — и нас уже ничто не спасет. Когда начинается кашель, жажда убивает быстро. А горло у нас у обоих…

Но я верю: где-то в пустыне мерно движется караван.

Мы идем дальше, и вдруг откуда-то доносится крик петуха. Гийоме рассказывал: «Под конец я слышал — в Андах пели петухи. И поезда слышал…»

Заслышав петуха, я тотчас вспомнил рассказ Гийоме и подумал: сперва меня обманывали глаза. Конечно, это все жажда виновата. Вот теперь и слух мне изменяет… Но тут Прево схватил меня за руку:

— Слыхали?

— Что?

— Петух!

— Значит… значит…

Дурень, конечно же, это значит — жизнь…

У меня все-таки была еще галлюцинация, последняя: гнались друг за другом три собаки. Прево их не видел, хоть и смотрел в ту же сторону. А вот бедуина мы видим оба. Мы протягиваем к

нему руки. Мы оба зовем его что есть силы. И оба смеемся от счастья!..

Но наши голоса не слышны и за тридцать шагов. Голосовые связки уже высохли. Мы говорили друг с другом почти беззвучно и даже не замечали этого!

И вот бедуин, что выступил со своим верблюдом из-за пригорка, медленно, медленно удаляется. А вдруг он здесь один? Жестокий демон только показал нам его — и уводит…

А у нас уже нет сил бежать!

На дюне появился еще один араб, мы видим его в профиль. Вопим, как можем, — все равно чуть слышно. Машем руками, кажется, на всю пустыню видны наши отчаянные сигналы. Но этот бедуин все смотрит прямо перед собой…

И вот понемногу, не спеша, он оборачивается. Стоит ему повернуться к нам лицом — и свершится чудо. Стоит ему посмотреть в нашу сторону — и конец жажде, смерти, миражам. Он еще только слегка повернул голову, а мир уже стал иным. Одним поворотом головы, одним лишь взглядом он творит жизнь — и мне кажется, он подобен Богу…

Это чудо… Он идет к нам по песку, словно некий Бог по водам…

Араб поглядел на нас. Положил руки нам на плечи — и мы покорились легкому нажиму его ладоней. Мы лежим на песке. Нет больше ни племен, ни наречий, ни каст… Бедный кочевник возложил нам на плечи длани архангела.

Мы ждали, лежа ничком на песке. И вот мы пьем, уткнувшись в таз, как телята. Бедуина пугает наша жадность, опять и опять он заставляет нас передохнуть. Но стоит ему нас отпустить — и снова мы приникаем к воде.

Вода!

У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобою наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не просто необходима для жизни, ты и есть жизнь. С тобой во всем существе разливается блаженство, которое не объяснить только нашими пятью чувствами. Ты возвращаешь нам силы и свойства, на которых мы уже поставили было крест. Твоим милосердием снова отворяются иссякшие родники сердца.

Ты — величайшее в мире богатство, но и самое непрочное — ты, столь чистая в недрах земли. Можно умереть подле источника, если в нем есть примесь магния. Можно умереть в двух шагах от солончакового озера. Можно умереть, хоть и есть два литра росы, если в нее попали какие-то соли.

Ты не терпишь примесей, не выносишь ничего чужеродного, ты — божество, которое так легко спугнуть…

Но ты даешь нам бесконечно простое счастье.

А ты, ливийский бедуин, ты — наш спаситель, но твои черты сотрутся в моей памяти. Мне не вспомнить твоего лица. Ты — Человек, и в тебе я узнаю всех людей. Ты никогда нас прежде не видел, но сразу признал. Ты — возлюбленный брат мой. И я тоже узнаю тебя в каждом человеке.

Ты предстал передо мною в озарении благородства и доброты — могучий повелитель, в чьей власти напоить жаждущих. В тебе одном все мои друзья и все недруги идут ко мне на помощь, у меня не осталось в мире ни одного врага.

VIII. Люди
1

Снова я коснулся истины и, не поняв, прошел мимо. Я уже думал — вот и гибель, предел отчаяния, и тогда-то, оставив всякую надежду, обрел душевный покой. Кажется, в такие часы и узнаешь самого себя, находишь в себе друга. Ничто не сравнится с этим ощущением душевной полноты, которой мы, сами того не сознавая, так жаждем. Мне кажется, эту душевную ясность знал вечный скиталец Боннафу. Узнал ее и затерянный в снегах Гийоме. И мне тоже не забыть, как я лежал, засыпанный песком, и меня медленно душила жажда, и вдруг в этом звездном шатре что-то согрело мне душу.

Как она достигается, эта внутренняя свобода? Да, конечно, человек полон противоречий. Иному дается верный кусок хлеба, чтобы ничто не мешало ему творить, а он погружается в сон; завоеватель, одержав победу, становится малодушен; щедрого богатство обращает в скрягу. Что толку в политических учениях, которые сулят расцвет человека, если мы не знаем заранее,

какого же человека они вырастят? Кого породит их торжество? Мы ведь не скот, который надо откармливать, и когда появляется один бедняк Паскаль, это несравненно важнее, чем рождение десятка благополучных ничтожеств.

Мы не умеем предвидеть самое главное. Кого из нас не обжигала жарче всего нежданная радость среди несчастий? Ее не забыть, о ней тоскуешь так, что готов пожалеть и о несчастьях, если с ними пришла та жаркая нечаянная радость. Всем нам случалось, встретив товарищей, с упоением вспоминать о самых тяжких испытаниях, которые мы пережили вместе.

Что же мы знаем? Только то, что в каких-то неведомых условиях пробуждаются все силы души? В чем же истина человека?

Истина не лежит на поверхности. Если на этой почве, а не на какой-либо другой апельсиновые деревья пускают крепкие корни и приносят щедрые плоды, значит, для апельсиновых деревьев эта почва и есть истина. Если именно эта религия, эта культура, эта мера вещей, эта форма деятельности, а не какая-либо иная дают человеку ощущение душевной полноты, могущество, которого он в себе и не подозревал, значит, именно эта мера вещей, эта культура, эта форма

деятельности и есть истина человека. А здравый смысл? Его дело — объяснять жизнь, пусть выкручивается как угодно.

В этой книге я говорил о людях, которые словно бы следовали неодолимому призванию, которые шли в пустыню или в авиацию, как другие идут в монастырь; но задача моя отнюдь не в том, чтобы заставить вас восхищаться прежде всего этими людьми. Восхищения достойна прежде всего почва, их взрастившая.

Что и говорить, призвание играет не последнюю роль. Один сидит взаперти в своей лавчонке. Другой неуклонно идет к своей цели — и даже в его детстве можно заметить первые порывы и стремления, которые определят его судьбу. Но если судить об истории, когда она уже совершилась, легко и ошибиться. На те же порывы и стремления способен едва ли не каждый человек. Всем нам знакомы лавочники, которые в грозный час кораблекрушения или пожара вдруг проявили нежданное величие духа. И они не обманываются, они понимают, что свершилось нечто важное, переполнившее душу: тот пожар так и останется лучшим часом в их жизни. Однако больше случая не представилось, не оказалось благоприятной почвы, они не обладали той верой, теми

убеждениями, что требуют подвига, — и вновь они погрузились в сон, так и не поверив в собственное величие. Конечно, призвание помогает освободить в себе человека — но надо еще, чтобы человек мог дать волю своему призванию.

Ночи в воздухе, ночи в пустыне… это ведь не каждому выпадает на долю. А меж тем в часы, когда жизнь одушевляет людей, видно, что всем им присущи одни и те же стремления. Я понял это однажды в Испании — и, рассказывая о той ночи, не отвлекусь от темы. Я говорил о немногих, теперь хочу сказать обо всех.

Это было на фронте под Мадридом, я побывал там как журналист. В тот вечер я обедал в бомбоубежище с одним молодым капитаном.

2

Мы беседовали, и вдруг зазвонил телефон. Разговор идет долгий, с командного пункта передают приказ о наступлении на небольшом участке — о бессмысленном, отчаянном броске ради того, чтобы в этом рабочем предместье отбить несколько домов, обращенных противником в крепости. Пожав плечами, капитан возвращается к нам. «Кто полезет туда первым…» — и, не докончив,

придвигает по рюмке коньяка мне и сидящему за столом сержанту.

— Мы с тобой пойдем первыми, — говорит он сержанту. — Пей и ложись спать.

Сержант лег. Мы, человек двенадцать, остаемся за столом. Помещение закупорено наглухо, чтобы ни один лучик не просочился наружу, свет здесь яркий, и я щурюсь. Минут пять назад я выглянул в бойницу. Сдвинул тряпку, что прикрывает щель, и увидел в мертвенном сиянии луны развалины домов, в которых гнездятся привидения. Потом я снова замаскировал щель, и мне показалось, будто этой тряпкой я стер лунный луч, как струйку масла. И перед глазами у меня все еще — зеленоватые от луны крепости.

Солдаты, что сидят со мною, должно быть, не вернутся, но целомудренно молчат об этом. Такие атаки — дело обычное. Для них черпают и черпают из людских запасов. Так черпают зерно в житнице. Бросают горсть за горстью, засевая землю.

И мы пьем коньяк. Справа от меня играют в шахматы. Слева балагурят. Где я? Появляется какой-то солдат, он сильно под хмельком. Поглаживает косматую бороду и смотрит на всех разнеженно. Скользнул взглядом по бутылке

коньяка, отвел глаза, и снова поглядел, и с мольбой уставился на капитана. Капитан тихонько посмеивается. В том встрепенулась надежда, он тоже смеется. Смешок пробегает среди зрителей. Капитан осторожно отодвигает бутылку, в глазах жаждущего — отчаяние. И пошла ребяческая забава, некая пантомима, такая неправдоподобная в табачном дыму, в бессонную ночь, когда тяжелеет голова от усталости и уже скоро идти в атаку.

Мы играем здесь, в тепле, в трюме нашего корабля, а снаружи все чаще грохочут взрывы, словно бьет штормовая волна.

Скоро эти люди омоются — пот, хмель, грязь, которой зарастаешь, подолгу чего-то ожидая, — все растворится в едком, жгучем спирту ночного боя. Очищение уже так близко. Но они все еще, до последней минуты, разыгрывают веселую пантомиму пьяницы с бутылкой. До последней минуты длят партию в шахматы. Пусть, сколько можно, длится жизнь! Но они завели будильник, он возвышается на этажерке, точно владыка на престоле. И он позвонит. Тогда люди встанут с мест, расправят плечи, затянут ремни. Капитан вытащит револьвер. Пьяный протрезвеет. И все не спеша двинутся по узкому коридору, полого

уходящему вверх, к голубому лунному прямоугольнику. Скажут какие-нибудь самые простые слова: «Чертова атака…» или: «Ну и холодище!» И канут в ночь.

В урочный час я видел пробуждение сержанта. Он спал в тесноте этого подвала на железной койке. Я смотрел на спящего. Мне так знаком был этот сон, ничуть не тревожный, даже счастливый. Вспомнился первый день после катастрофы в Ливийской пустыне, когда мы с Прево, обреченные, без капли воды, еще не слишком страдали от жажды и нам удалось — один только раз! — проспать два часа кряду. И тогда, засыпая, я наслаждался своим могуществом: чудесной властью отринуть окружающий мир. Мое тело еще не доставляло мне хлопот, и довольно было уткнуться лицом в скрещенные руки, чтобы забыть обо всем на свете и уснуть сладким сном.

Так спал и сержант, он свернулся в клубок — не разберешь, где что; когда подошли его будить, зажгли свечу и воткнули ее в горлышко бутылки, я сперва только и разглядел в этой бесформенной темной глыбе его башмаки. Огромные, с подковами, подбитые гвоздями башмаки поденщика или докера.

Обувь этого человека предназначалась для тя-

желой работы, и все остальное на нем тоже было рабочим снаряжением: подсумки, револьверы, пояс, ремни. На нем были шлея, хомут, вся сбруя ломового коня. В Марокко я видел подземные мельницы, там слепые лошади ходили по кругу, вращая жернова. Вот и здесь, при неверном красноватом огоньке свечи, будили слепую лошадь, чтобы она вращала свой жернов.

— Эй, сержант!

Он медленно шевельнулся, забормотал что-то невнятное, я увидел сонное лицо. Но он не хотел просыпаться, он опять отвернулся к стене и опять погрузился в сон, будто в безмятежный покой материнского чрева, будто в омут, и сжимал кулаки, словно цеплялся там, на дне, за неведомые черные водоросли. Пришлось разжать ему пальцы. Мы присели на койку, один из нас тихонько обхватил его шею и, улыбаясь, приподнял тяжелую голову. Так в добром тепле конюшни ласково тычутся друг в дружку мордами лошади. «Эй, приятель!» Никогда в жизни не видывал я ласки нежнее. Сержант еще раз попытался вернуться к блаженным снам, отвергнуть наш мир с его динамитом, тяжким трудом, леденящим холодом ночи… но поздно. Что-то извне уже вторгалось в его сны. Так воскресным утром в коллеже звонок

неотвратимо будит наказанного школьника. Он успел забыть парту, классную доску, заданный в наказание урок. Ему снились веселые игры на зеленом лугу; но все напрасно. Звонок звонит и звонит — и безжалостно возвращает его в царство людской несправедливости. Так и сержант понемногу заново свыкался со своим усталым телом, оно ему в тягость, и очень скоро, вслед за холодом пробуждения, оно узнает ноющую боль в суставах и груз снаряжения, а там — тяжкий бег атаки — и смерть. Не столько даже смерть, как липкую кровь, в которой скользишь ладонями, пытаясь подняться, и удушье, и леденящий холод: ощущаешь не столько самую смерть, но уж очень неуютно умирать. Я смотрел на сержанта и вспоминал, каково было мне просыпаться в пустыне, вновь ощущать бремя жажды, солнца, песка, вновь ощущать бремя жизни — возвращаться в этот тяжелый сон, который видишь не по своей воле.

Но вот сержант поднялся и смотрит нам прямо в глаза:

— Уже пора?

Тут-то и раскрывается человек. Тут-то он и опрокидывает все предсказания здравого смысла: сержант улыбался! Что за радость он предвку-

шал? Помню, однажды в Париже мы с Мермозом и еще несколько друзей справляли чей-то день рожденья и далеко за полночь вышли из бара, злясь на себя за то, что слишком много говорили, слишком много пили и без толку вымотались. А небо уже светлело, и вдруг Мермоз стиснул мою руку, да так, что впился в нее ногтями. «Послушай, а ведь сейчас в Дакаре…» В этот час механики протирают спросонья глаза и расчехляют винты самолетов, в этот час пилот идет к синоптикам за сводкой, по земле шагают сейчас только твои товарищи. Небо уже голубеет, уже идут приготовления к празднику — но не для нас, уже расстилают скатерть, а мы не приглашены на пир. Сегодня жизнью будут рисковать другие…

— А здесь — экая гнусность… — докончил Мермоз.

А ты, сержант, на какое пиршество ты приглашен, ради которого не жаль умереть?

Я уже говорил с тобой по душам. Ты поведал мне историю своей жизни: был ты скромный счетовод где-то в Барселоне, выводил цифру за цифрой, и тебя мало занимала распря, расколовшая страну надвое. Но вот товарищ ушел добровольцем на фронт, потом другой, третий, и ты с недоумением ощутил в себе перемену: все, что прежде тебя

занимало, стало казаться пустым и никчемным. Твои радости и заботы, твой уютный мирок — все это словно отодвинулось в далекое прошлое. Важно оказалось совсем другое. Тут пришла весть о смерти одного из товарищей, он погиб под Малагой. Он не был тебе другом, за кого непременно надо отомстить. А что до политики, она никогда тебя не волновала. Но эта весть ворвалась к вам, в ваши тихие будни, точно ветер с моря. В то утро один из товарищей поглядел на тебя и сказал:

— Пошли?

— Пошли.

И вы пошли.

Предо мной возникают образы, помогающие понять истину, которую ты не умел высказать словами, но которая властно тебя вела.

Когда приходит пора диким уткам лететь в дальние страны, на всем их пути прокатывается по земле тревожная волна. Домашние утки, словно притянутые летящим треугольником, неуклюже подскакивают и хлопают крыльями. Клики тех, в вышине, пробуждают и в них что-то давнее, первобытное. И вот мирные обитательницы фермы на краткий миг становятся перелетными птицами. И в маленькой глупой голове, только и знающей что жалкую лужу, да

червей, да птичник, встают нежданные картины — ширь материков, очертанья морей, и манит ветер вольных просторов. Утка и не подозревала, что в голове у нее может уместиться столько чудес, — и вот она хлопает крыльями: что ей зерно, что ей червяки, она хочет стать дикой уткой…

А еще мне вспоминаются газели, ручные газели, которых я завел в Джуби. У нас у всех там были газели. Мы держали их в просторном загоне, обнесенном проволочной сеткой, чтоб у них было вдоволь воздуха, ведь газели очень нежны, и надо, чтоб их постоянно омывали струи ветра. Но все же, если поймать их еще маленькими, они живут и в неволе и едят из рук. Они позволяют себя гладить и тычутся влажной мордочкой тебе в ладонь. И воображаешь, будто и впрямь их приручил. Будто уберег их от неведомой скорби, от которой газели угасают так тихо и так кротко… А потом однажды застаешь их в том конце загона, за которым начинается пустыня, они упираются рожками в сетку. Их тянет туда как магнитом. Они не понимают, что бегут от тебя. Ты принес им молока — они его выпили. Они все еще позволяют себя погладить и ласковей прежнего тычутся мордочкой тебе в ладонь… Но едва их оставишь, они пускаются вскачь, как будто даже весело,

и вот уже снова застаешь их на том же месте в конце загона. И если не вмешаться, они так и останутся там, даже не пытаясь одолеть преграду, — просто будут стоять, понурясь, упершись рожками в сетку, пока не умрут. Быть может, для них пришла пора любви? Или попросту им непременно надо мчаться, мчаться во весь дух? Они и сами не знают. Они попали в плен совсем крохотными, еще слепыми. Им не знакомы ни приволье бескрайних песков, ни запах самца. Но ты понятливей их. Ты знаешь, чего они ищут — простора, без которого газель еще не газель. Они хотят стать газелями и предаваться своим пляскам. Хотят мчаться по прямой — сто километров в час! — порой высоко взлетая, словно вдруг прямо из-под ног взметнулось пламя. Не беда, что есть на свете шакалы, ведь в том истина газелей, чтобы пугаться, от страха они превзойдут сами себя в головокружительных прыжках. Не беда, что есть на свете лев, ведь в том истина газелей, чтобы упасть на раскаленный песок под ударом когтистой лапы! Смотришь на них и думаешь: их сжигает тоска. Тоска — это когда жаждешь чего-то, сам не знаешь чего… Оно существует, это неведомое и желанное, но его не высказать словом.

Ну, а мы? Чего не хватает нам?

Что ты нашел здесь, на фронте, сержант, откуда эта спокойная уверенность, что именно здесь твое место и твоя судьба? Быть может, ею тебя одарила братская рука, приподнявшая твою сонную голову, быть может — улыбка, полная той нежности, в которой не сочувствие, но равенство? «Эй, товарищ!..» Когда кому-то сочувствуешь, вас еще двое. Вы еще врозь. Но бывает та высота отношений, когда благодарность и жалость теряют смысл. И, поднявшись до нее, дышишь легко и радостно, как узник, вышедший на волю.

Так нераздельны были мы, два пилота, летевшие над еще не покоренным в ту пору районом Рио-де-Оро. Никогда я не слыхал, чтобы потерпевший аварию благодарил спасителя. Куда чаще, с трудом перетаскивая из одного самолета в другой тюки с почтой, мы еще и переругиваемся: «Сукин ты сын! Это из-за тебя я сел в калошу, дернул тебя черт залезть на высоту в две тысячи, когда там ветер навстречу! Шел бы пониже, как я, уж давно были бы в Порт-Этьене!» И тот, кто, спасая товарища, рисковал жизнью, со стыдом чувствует, что он и впрямь подлец и сукин сын. Да и за что нам его благодарить. Ведь у него такие же права на нашу жизнь. Все мы — ветви одного дерева. И

я гордился тобой, моим спасителем!

Отчего бы тому, кто готовил тебя к смерти, жалеть тебя, сержант? Все вы готовы были умереть друг за друга. В такую минуту людей соединяют узы, которым уже не нужны слова. И я понял, почему ты пошел воевать. Если в Барселоне ты был бедняком, и тебе после работы бывало одиноко, и не было у тебя теплого пристанища, то здесь ты поистине стал человеком, ты приобщился к большому миру — и вот тебя, отверженного, приемлет любовь.

Мне наплевать, искренни ли, разумны ли были высокие слова, которые, возможно, заронил тебе в душу кто-то из политиков. Раз эти семена принялись у тебя в душе и дали ростки, значит, они-то и были ей нужны. Об этом судить только тебе. Земля сама знает, какое ей нужно зерно.

3

Мы дышим полной грудью лишь тогда, когда связаны с нашими братьями и есть у нас общая цель; и мы знаем по опыту: любить — это не значит смотреть друг на друга, любить — значит вместе смотреть в одном направлении. Товарищи лишь те, кто единой связкой, как альпинисты,

совершают восхождение на одну и ту же вершину, — так они и обретают друг друга. А иначе в наш век — век комфорта — почему нам так отрадно делиться в пустыне последним глотком воды? Не малость ли это перед пророчествами социологов? А нам, кому выпало счастье выручать товарищей в песках Сахары, всякая другая радость кажется просто жалкой.

Быть может, потому-то все в мире сейчас трещит и шатается. Каждый страстно ищет веры, которая сулила бы ему полноту души. Мы яростно спорим, слова у нас разные, но за ними — те же порывы и стремления. Нас разделяют методы — плод рассуждений, но цели у нас одни.

Так чему же тогда удивляться. Кто в Барселоне, в подвале анархистов, встретясь с этой готовностью пожертвовать собой, выручить товарища, с этой суровой справедливостью, ощутил однажды, как в нем пробуждается некто совсем новый, незнакомый, для того отныне существует лишь одна истина — истина анархистов. А кому довелось однажды стоять на часах в испанском монастыре, охраняя перепуганных коленопреклоненных монахинь, тот умрет за церковь.

Если бы сказать Мермозу, когда он, в сердце своем торжествуя победу, ринулся с высоты Анд в

долину Чили, если бы сказать ему: чудак, да стоит ли рисковать жизнью ради писем какого-нибудь торгаша, — Мермоз бы только усмехнулся. Истина — это человек, который рождался в нем, когда он летел через Анды.

Если вы хотите убедить того, кто не отказывается от войны, что война ужасна и отвратительна, не считайте его варваром — прежде чем судить, постарайтесь его понять.

Задумайтесь хотя бы над таким случаем. Один офицер с юга во время боев с риффами командовал постом, зажатым между двух горных хребтов, где находились повстанцы. Однажды вечером он принимал парламентеров с западных гор. Как полагается, пили чай, и вдруг началась ружейная пальба. На пост напали племена с восточных гор. Капитан хотел спровадить парламентеров и принять бой, но они возразили: «Сегодня мы твои гости. Бог не позволяет нам тебя покинуть…» И они присоединились к его солдатам, помогли отстоять пост и тогда лишь вернулись в свое орлиное гнездо.

А потом они, в свою очередь, собрались атаковать пост — и накануне отрядили к капитану послов:

— В тот вечер мы тебе помогли…

— Это верно.

— Ради тебя мы извели три сотни патронов…

— Это верно.

— По справедливости ты должен их нам вернуть.

Нет, капитан благороден, он не станет извлекать выгоду из их великодушия. И он отдает патроны, зная, что стрелять будут в него.

Истина человека — то, что делает его человеком. Кто изведал такое благородство человеческих отношений, такую верность правилам игры, уважение друг к другу, что превыше жизни и смерти, тот не станет равнять эти чувства с убогим добродушием демагога, который в знак братской нежности стал бы похлопывать тех же арабов по плечу, льстя им и в то же время их унижая. Начните спорить о войне с таким капитаном, и он ответит вам лишь презрительной жалостью. И будет прав.

Но и вы тоже правы, когда ненавидите войну.

Чтобы понять человека, его нужды и стремления, постичь самую его сущность, не надо противопоставлять друг другу ваши очевидные истины. Да, вы правы. Все вы правы. Логически можно доказать все что угодно.

Прав даже тот, кто во всех несчастьях челове-

чества вздумает обвинить горбатых. Довольно объявить войну горбатым — и мы сразу воспылаем ненавистью к ним. Мы начнем жестоко мстить горбунам за все их преступления. А среди горбунов, конечно, тоже есть преступники.

Чтобы понять, в чем же сущность человека, надо хоть на миг забыть о разногласиях, ведь всякая теория и всякая вера устанавливают целый коран незыблемых истин, а они порождают фанатизм. Можно делить людей на правых и левых, на горбатых и не горбатых, на фашистов и демократов — и любое такое деление не опровергнешь. Но истина, как вы знаете, — это то, что делает мир проще, а отнюдь не то, что обращает его в хаос. Истина — это язык, помогающий постичь всеобщее. Ньютон вовсе не «открыл» закон, долго остававшийся тайной, — так только ребусы решают, а то, что совершил Ньютон, было творчеством. Он создал язык, который говорит нам и о падении яблока на лужайку, и о восходе солнца. Истина — не то, что доказуемо, истина — это простота.

К чему спорить об идеологиях? Любую из них можно подкрепить доказательствами, и все они противоречат друг другу, и от этих споров только теряешь всякую надежду на спасение людей. А

ведь люди вокруг нас, везде и всюду, стремятся к одному и тому же.

Мы хотим свободы. Тот, кто работает киркой, хочет, чтобы в каждом ее ударе был смысл. Когда киркой работает каторжник, каждый ее удар только унижает каторжника, но если кирка в руках изыскателя, каждый ее удар возвышает изыскателя. Каторга не там, где работают киркой. Она ужасна не тем, что это тяжкий труд. Каторга там, где удары кирки лишены смысла, где труд не соединяет человека с людьми.

А мы хотим бежать с каторги.

В Европе двести миллионов человек бессмысленно прозябают и рады бы возродиться для истинного бытия. Промышленность оторвала их от той жизни, какую ведет, поколение за поколением, крестьянский род, и заперла в громадных гетто, похожих на сортировочные станции, забитые вереницами черных от копоти вагонов. Люди, похороненные в рабочих поселках, рады бы пробудиться к жизни.

Есть и другие, кого затянула нудная, однообразная работа, им недоступны радости первооткрывателя, верующего, ученого. Кое-кто вообразил, будто возвысить этих людей не так уж трудно, надо лишь одеть их, накормить, удовлетворить

их повседневные нужды. И понемногу вырастили из них мещан в духе романов Куртелина, деревенских политиков, узколобых специалистов без каких-либо духовных интересов. Это люди неплохо обученные, но к культуре они еще не приобщились. У тех, для кого культура сводится к затверженным формулам, представление о ней самое убогое. Последний школяр на отделении точных наук знает о законах природы куда больше, чем знали Декарт и Паскаль. Но способен ли школяр мыслить, как они?

Все мы — кто смутно, кто яснее — ощущаем: нужно пробудиться к жизни. Но сколько открывается ложных путей... Конечно, людей можно воодушевить, обрядив их в какую-нибудь форму. Они станут петь воинственные песни и преломят хлеб в кругу товарищей. Они найдут то, чего искали, ощутят единение и общность. Но этот хлеб принесет им смерть.

Можно откопать забытых деревянных идолов, можно воскресить старые-престарые мифы, которые, худо ли, хорошо ли, себя уже показали, можно снова внушить людям веру в пангерманизм или в Римскую империю. Можно одурманить немцев спесью, оттого что они — немцы и соотечественники Бетховена. Так можно вскру-

жить голову и последнему трубочисту. И это куда проще, чем в трубочисте пробудить Бетховена.

Но эти идолы — идолы плотоядные. Человек, который умирает ради научного открытия или ради того, чтобы найти лекарство от тяжкого недуга, самой смертью своей служит делу жизни. Быть может, это и красиво — умереть, чтобы завоевать новые земли, но современная война разрушает все то, ради чего она будто бы ведется. Ныне речь уже не о том, чтобы, пролив немного жертвенной крови, возродить целый народ. С того часа, как оружием стали самолет и иприт, война сделалась просто бойней. Враги укрываются за бетонными стенами, и каждый, не умея найти лучший выход, ночь за ночью шлет эскадрильи, которые подбираются к самому сердцу врага, обрушивают бомбы на его жизненные центры, парализуют промышленность и средства сообщения. Победа достанется тому, кто сгниет последним. И оба противника гниют заживо.

Мир стал пустыней, и все мы жаждем найти в ней товарищей; ради того, чтобы вкусить хлеба среди товарищей, мы и приемлем войну. Но чтобы обрести это тепло, чтобы плечом к плечу устремиться к одной и той же цели, вовсе незачем воевать. Мы обмануты. Война и ненависть

ничего не прибавляют к радости общего стремительного движения.

Чего ради нам ненавидеть друг друга? Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой, мы — команда одного корабля. Хорошо, когда в споре между различными цивилизациями рождается нечто новое, более совершенное, но чудовищно, когда они пожирают друг друга.

Чтобы нас освободить, надо только помочь нам увидеть цель, к которой мы пойдем бок о бок, соединенные узами братства, — но тогда почему бы не искать такую цель, которая объединит всех? Врач, осматривая больного, не слушает стонов: врачу важно исцелить человека. Врач служит законам всеобщего. Им служит и физик, выводящий почти божественные уравнения, в которых разом определена сущность атома и звездной туманности. Им служит и простой пастух. Стоит тому, кто скромно стережет под звездным небом десяток овец, осмыслить свой труд — и вот он уже не просто слуга. Он — часовой. А каждый часовой в ответе за судьбы империи.

Вы думаете, пастух не стремится осмыслить себя и свое место в жизни? На фронте под Мадридом я побывал в школе — была она на пригорке, за низенькой оградой, сложенной из камня, от

окопов ее отделяло метров пятьсот. В этой школе один капрал преподавал ботанику. В грубых руках капрала был цветок мака, он осторожно разнимал лепестки и тычинки, и со всех сторон из окопной грязи, под грохот снарядов к нему стекались заросшие бородами паломники. Они окружали капрала, усаживались прямо на земле, поджав ноги, подперев ладонью подбородок, и слушали. Они хмурили брови, стискивали зубы, урок был им не очень-то понятен, но им сказали: «Вы темные, вы звери, вы только вылезаете из своего логова, нужно догонять человечество!» — и, тяжело ступая, они спешили вдогонку.

Когда мы осмыслим свою роль на земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы. Тогда лишь мы сможем жить и умирать спокойно, ибо то, что дает смысл жизни, дает смысл и смерти.

Человек отходит с миром, когда смерть его естественна, когда где-нибудь в Провансе старый крестьянин в конце своего царствования отдает сыновьям на хранение своих коз и свои оливы, чтобы сыновья в должный срок передали их сыновьям своих сыновей. В крестьянском роду человек умирает лишь наполовину. В урочный час жизнь распадается, как стручок, отдавая

зерна.

Однажды мне случилось стоять с тремя крестьянами у смертного ложа их матери. Это было горько, что говорить. Вторично рвалась пуповина. Вторично развязывался узел, соединявший поколение с поколением. Сыновьям вдруг стало одиноко, они себе показались неумелыми, беспомощными, больше не было того стола, за которым в праздник сходилась вся семья, того магнита, который их всех притягивал. А я видел, здесь не только рвутся связующие нити, но и вторично дается жизнь. Ибо каждый из сыновей в свой черед станет главою рода, патриархом, вокруг которого будет собираться семья, а когда настанет срок, и он в свой черед передаст бразды правления детишкам, что играют сейчас во дворе.

Я смотрел на мать, на старую крестьянку с лицом спокойным и суровым, на ее плотно сжатые губы — не лицо, а маска, высеченная из камня. И в нем я узнавал черты сыновей. Их лица — слепок с этой маски. Это тело формовало их тела — отлично вылепленные, крепкие, мужественные. И вот оно лежит, лишенное жизни, но это — безжизненность распавшейся оболочки, из которой извлекли зрелый плод. И в свой черед ее сыновья и дочери из плоти своей слепят новых людей. В

крестьянском роду не умирают. Мать умерла, да здравствует мать!

Да, это горько, но так просто и естественно — мерная поступь рода: оставляя на пути одну за другой бренные оболочки поседелых тружеников, постоянно обновляясь, движется он к неведомой истине.

Вот почему в тот вечер в похоронном звоне, плывшем над деревушкой, мне слышалась не скорбь, а затаенная кроткая радость. Колокол, что славил одним и тем же звоном похороны и крестины, вновь возвещал о смене поколений. И тихой умиротворенностью наполняла душу эта песнь во славу обручения старой труженицы с землей.

Так от поколения к поколению передается жизнь — медленно, как растет дерево, — а с нею передается и сознание. Какое поразительное восхождение! Из расплавленной лавы, из того теста, из которого слеплены звезды, из чудом зародившейся живой клетки вышли мы — люди — и поднимались все выше, ступень за ступенью, и вот мы пишем кантаты и измеряем созвездия.

Старая крестьянка передала детям не только жизнь, она их научила родному языку, доверила им богатство, копившееся медленно, веками;

духовное наследство, что досталось ей на сохранение — скромный запас преданий, понятий и верований, все, что отличает Ньютона и Шекспира от первобытного дикаря.

Тот голод, что под обстрелом гнал бойцов Испании на урок ботаники, что гнал Мермоза к Южной Атлантике, а иного — к стихам, — это вечное чувство неутоленности возникает потому, что человек в своем развитии далеко еще не достиг вершины и нам надо еще понять самих себя и Вселенную. Надо перебросить мостки во тьме. Этого не признают лишь те, кто мудростью почитает себялюбивое равнодушие; но такая мудрость — жалкий обман. Товарищи, товарищи мои, беру вас в свидетели: какие часы нашей жизни самые счастливые?

4

И вот на последних страницах этой книги я опять вспоминаю состарившихся чиновников — наших провожатых на рассвете того дня, когда нам наконец-то впервые доверили почтовый самолет и мы готовились стать людьми. А ведь и они были во всем подобны нам, но они не знали, что голодны.

Слишком много в мире людей, которым никто не помог пробудиться.

Несколько лет назад, во время долгой поездки по железной дороге, мне захотелось осмотреть это государство на колесах, в котором я очутился на трое суток; трое суток некуда было деться от неумолчного перестука и грохота, словно морской прибой перекатывал гальку, и мне не спалось. Около часу ночи я прошел весь поезд из конца в конец. Спальные вагоны пустовали. Пустовали и вагоны первого класса.

А в вагонах третьего класса ютились сотни рабочих-поляков, их выслали из Франции, и они возвращались на родину. В коридорах мне приходилось переступать через спящих. Я остановился и при свете ночников стал присматриваться; вагон был без перегородок, точно казарма, и пахло здесь казармой или полицейским участком, и ходом поезда мотало и подбрасывало сваленные усталостью тела.

Целый народ, погруженный в тяжелый сон, возвращался к горькой нищете. Большие, наголо обритые головы перекатывались на деревянных скамьях. Мужчины, женщины, дети ворочались с боку на бок, словно пытаясь укрыться от непрерывного грохота и тряски, что преследовали

их и в забытьи. Даже сон не был им надежным приютом.

Экономические приливы и отливы швыряли их по Европе из края в край, они лишились домика в департаменте Нор, крохотного садика, трех горшков герани, какие я видел когда-то в окнах польских шахтеров, — и мне казалось, они наполовину потеряли человеческий облик. Они захватили с собой лишь кухонную утварь, одеяла да занавески, жалкие пожитки в расползающихся, кое-как стянутых узлах. Пришлось бросить все, что было им дорого, все, к чему они привязались, всех, кого приручили за четыре-пять лет во Франции, — кошку, собаку, герань, — они могли увезти с собой лишь кастрюли да сковородки.

Мать кормила грудью младенца; смертельно усталая, она казалась спящей. Среди бессмыслицы и хаоса этих скитаний передавалась ребенку жизнь. Я посмотрел на отца. Череп тяжелый и голый, как булыжник. Скованное сном в неловкой позе, стиснутое рабочей одеждой бесформенное и неуклюжее тело. Не человек — ком глины. Так по ночам на скамьях рынка грудами тряпья валяются бездомные бродяги. И я подумал: нищета, грязь, уродство — не в этом дело. Но ведь вот этот человек и эта женщина когда-то встретились

впервые, и, наверно, он ей улыбнулся и, наверно, после работы принес ей цветы. Быть может, застенчивый и неловкий, он боялся, что над ним посмеются. А ей, уверенной в своем обаянии, из чисто женского кокетства, быть может, приятно было его помучить. И он, превратившийся ныне в машину, только и способную ковать или копать, томился тревогой, от которой сладко сжималось сердце. Непостижимо, как же они оба превратились в комья грязи? Под какой страшный пресс они попали? Что их так исковеркало? Животное и в старости сохраняет изящество. Почему же так изуродована благородная глина, из которой вылеплен человек?

Я шел дальше среди своих попутчиков, спавших тяжелым, беспокойным сном. Храп, стоны, невнятное бормотанье, скрежет грубых башмаков по дереву, когда спящий, пытаясь устроиться поудобнее на жесткой лавке, переворачивается с боку на бок, — все сливалось в глухой, непрестанный шум. А за всем этим — неумолчный рокот, будто перекатывается галька под ударами прибоя.

Сажусь напротив спящей семьи. Между отцом и матерью кое-как примостился малыш. Но вот он поворачивается во сне, и при свете ночника я

вижу его лицо. Какое лицо! От этих двоих родился на свет чудесный золотой плод. Эти бесформенные тяжелые кули породили чудо изящества и обаяния. Я смотрел на гладкий лоб, на пухлые нежные губы и думал: вот лицо музыканта, вот маленький Моцарт, он весь — обещание! Он совсем как маленький принц из сказки, ему бы расти, согретому неусыпной разумной заботой, и он бы оправдал самые смелые надежды! Когда в саду, после долгих поисков, выведут наконец новую розу, все садовники приходят в волнение. Розу отделяют от других, о ней неусыпно заботятся, холят ее и лелеют. Но люди растут без садовника. Маленький Моцарт, как и все, попадет под тот же чудовищный пресс. И станет наслаждаться гнусной музыкой низкопробных кабаков. Моцарт обречен.

Я вернулся в свой вагон. Я говорил себе: эти люди не страдают от своей судьбы. И не сострадание меня мучит. Не в том дело, чтобы проливать слезы над вечно незаживающей язвой. Те, кто ею поражен, ее не чувствуют. Язва поразила не отдельного человека, она разъедает человечество. И не верю я в жалость. Меня мучит забота садовника. Меня мучит не вид нищеты, — в конце концов люди свыкаются с нищетой, как

свыкаются с бездельем. На Востоке многие поколения живут в грязи и отнюдь не чувствуют себя несчастными. Того, что меня мучит, не излечить бесплатным супом для бедняков. Мучительно не уродство этой бесформенной, измятой человеческой глины. Но в каждом из этих людей, быть может, убит Моцарт.

Один лишь Дух, коснувшись глины, творит из нее Человека.

Военный летчик

Майору Алиасу, всем моим товарищам по авиагруппе дальней разведки 2/33; и прежде всего штурману капитану Моро и штурманам лейтенантам Азамбру и Дютертру, вместе с которыми во время войны 1939–1940 годов я поочередно вылетал на боевые задания и которым до конца жизни остаюсь верным другом

© Перевод. А. Тетеревникова, наследники, 2003

I

Это, конечно, сон. Я в коллеже. Мне пятнадцать лет. Я усердно решаю задачу по геометрии. Облокотившись на черную парту, я старательно орудую циркулем, линейкой, транспортиром. Я сосредоточен и спокоен. Рядом перешептываются товарищи. Кто-то выводит столбики цифр на классной доске. Менее прилежные играют в карты. Время от времени я глубже погружаюсь в свой сон и поглядываю в окно. На солнце тихонько колышется зеленая ветка. Я долго смотрю на нее. Я рассеянный ученик… Я радуюсь этому солнцу и упиваюсь запахами детства: запахом парты, мела, классной доски. Как хорошо, что я могу укрыться в этом надежно защищенном детстве! Я знаю: сперва детство, школа, товарищи, потом приходит день экзаменов. Ты получаешь диплом. И с замиранием сердца переступаешь порог, за которым становишься мужчиной. Отныне ты тверже ступаешь по земле. Ты начинаешь свой жизненный путь. Ты уже делаешь первые шаги. Наконец ты проверишь свое оружие на настоящих противниках. Линейка, угольник, циркуль — с их помощью ты будешь строить мир или

побеждать врагов. Конец забавам!

Я знаю, обычно школьника не пугает встреча с жизнью. Ему не сидится на месте. Муки, опасности, разочарования — все, чем полна жизнь взрослого, школьнику нипочем.

Но я странный школьник. Я счастлив тем, что я школьник, и не слишком тороплюсь вступать в жизнь…

Приходит Дютертр. Я подзываю его.

— Садись, я покажу тебе фокус…

И я страшно доволен, когда вытаскиваю из колоды задуманного им пикового туза.

Дютертр сидит против меня на такой же черной парте и болтает ногами. Он смеется. Я скромно улыбаюсь. Подходит Пенико и кладет руку мне на плечо.

— Ну что, дружище?

Сколько во всем этом нежности!

Надзиратель (а надзиратель ли это?..) открывает дверь и вызывает двух товарищей. Они бросают линейки, циркули, поднимаются и выходят. Мы провожаем их взглядом. Со школой для них покончено. Их бросают в жизнь. Теперь пригодятся их знания. Теперь они, как взрослые, смогут проверить свои расчеты на противнике. Странная школа, откуда учеников выпускают

поодиночке. И без торжественных проводов. Эти двое даже не взглянули на нас. А ведь судьба, возможно, закинет их далеко-далеко. На край света! Когда после школы жизнь разбрасывает людей, могут ли они поручиться, что свидятся вновь?

А мы, те, что остаемся еще в мирном уюте теплицы, мы опускаем головы…

— Послушай, Дютертр, сегодня вечером…

Но дверь отворяется снова. И я слышу словно приговор:

— Капитана де Сент-Экзюпери и лейтенанта Дютертра — к майору!

Прощай, школа. Начинается жизнь.

— Ты знал, что наша очередь?

— Пенико уже летал сегодня утром.

Если нас вызывают, значит, мы летим на задание — это ясно. Конец мая, отступление, разгром. В жертву приносят экипажи, словно стаканом воды пытаются затушить лесной пожар. Где уж думать о потерях, когда все идет прахом. На всю Францию нас осталось пятьдесят экипажей дальней разведки. Пятьдесят экипажей по три человека, из них двадцать три — в нашей авиагруппе 2/33. За три недели из двадцати трех экипажей мы потеряли семнадцать. Мы растаяли, как свеча. Вчера я сказал лейтенанту Гавуалю:

— Разберемся после войны.

И лейтенант Гавуаль мне ответил:

— Уж не рассчитываете ли вы, господин капитан, остаться в живых?

Гавуаль не шутил. Мы прекрасно понимаем, что нет иного выхода, как бросить нас в пекло, даже если это и бесполезно. Нас пятьдесят на всю Францию. На наших плечах держится вся стратегия французской армии! Пылает огромный лес, и есть несколько стаканов воды, которыми можно пожертвовать, чтобы затушить пожар, — ясно, что ими пожертвуют.

И это правильно. Разве кто-нибудь жалуется? Разве мы не отвечаем неизменно: «Слушаюсь, господин майор. Так точно, господин майор. Благодарю вас, господин майор. Ясно, господин майор»? Но теперь, в последние месяцы войны, над всем преобладает одно ощущение. Ощущение нелепости. Все трещит. Все рушится. Все без исключения — даже смерть кажется нелепой. Она бессмысленна в этой неразберихе…

Входим к майору Алиасу. (Он и поныне командует в Тунисе той же авиагруппой 2/33.)

— Здравствуйте, Сент-Экс. Здравствуйте, Дютертр. Садитесь.

Мы садимся. Майор разворачивает карту и

обращается к посыльному:

— Дайте сюда метеосводку.

Он постукивает карандашом по столу. Я смотрю на него. Он осунулся. Он не спал ночь. Он мотался взад и вперед на машине в поисках ускользающего, как призрак, штаба — штаба дивизии, штаба корпуса… Он пытался бороться со складами снабжения, которые не обеспечивали его запасными частями. По дороге он застревал в непроходимых заторах. Он организовал также нашу последнюю передислокацию и размещение на новой базе — мы то и дело меняем аэродромы, словно горемыки, преследуемые непреклонным судебным исполнителем. До сих пор Алиасу всегда удавалось спасти свои самолеты, грузовики и десять тонн военного имущества. Но мы понимаем: силы его на исходе, нервы уже не выдерживают.

— Ну, так вот…

Он все стучит и стучит по столу, не глядя на нас.

— Дело очень скверное…

Он пожимает плечами.

— Скверное задание. Но в штабе настаивают… Упорно настаивают… Я возражал, но они настаивают… Вот так-то.

Мы с Дютертром смотрим в окно — небо ясное.

Я слышу, как кудахчут куры: командный пункт помещается на ферме, а отдел разведки — в школе. Лето, зреющие плоды, прибавляющие в весе цыплята, колосящиеся хлеба — все это вполне уживается во мне с мыслью о близкой смерти. По-моему, покой этого лета никак не противоречит смерти, и в сладости окружающего я не вижу ни малейшей иронии. Но у меня мелькает смутная мысль: «Лето какое-то ненормальное… Лето попало в аварию». Я видел брошенные молотилки. Брошенные комбайны. В придорожных канавах — разбитые и брошенные автомобили. Брошенные деревни. В одной опустевшей деревне из колонки все еще лилась вода. Чистая вода, стоившая человеку стольких забот, растекалась грязной лужей. Передо мной возникает вдруг нелепый образ: мне чудятся испорченные часы. Будто испорчены все часы. Часы деревенских церквей. Вокзальные часы. Каминные часы в покинутых домах. И в витрине сбежавшего часовщика — целое кладбище мертвых часов. Война… никто больше не заводит часов. Никто не убирает свеклу. Никто не чинит вагонов. И вода, предназначенная для утоления жажды или для стирки праздничных кружевных нарядов крестьянок, лужей растекается по церковной

площади. И летом приходится умирать…

Я словно заболел. И врач только что сказал мне: «Дело очень скверное…» Значит, надо подумать о завещании, о тех, кто остается. Словом, мы с Дютертром поняли, что задание — безнадежное.

— Учитывая обстановку, — заключает майор, — с риском считаться не приходится…

Ну конечно. «Не приходится». И никто тут не виноват. Ни мы — в том, что приуныли. Ни майор — в том, что ему не по себе. Ни штаб — в том, что он отдает приказы. Майор мрачнеет, потому что эти приказы бессмысленны. Мы тоже это знаем, но это известно и штабу. Он отдает приказы, потому что надо отдавать приказы. Во время войны штабу положено отдавать приказы. Их доставляют прекрасные всадники или, что более современно, мотоциклисты. Там, где царили хаос и отчаяние, один из таких прекрасных всадников соскакивает с взмыленного коня. Словно звезда волхвов, он указывает будущее. Он приносит Истину. И приказы вновь ставят все на свое место.

Такова схема войны. Так ее изображают на лубочных картинках. И каждый изо всех сил старается, чтобы война была похожа на войну. Ревностно, с усердием. Каждый стремится соблю-

дать все правила игры. Тогда, быть может, эта война соблаговолит походить на войну.

И только ради того, чтобы она походила на войну, бесцельно обрекают на гибель экипажи самолетов. Никто не хочет признать, что эта война ни на что не похожа, что все в ней бессмысленно, что она не укладывается ни в какую схему, что люди с серьезным видом все еще дергают за ниточки, которые уже оторвались от марионеток. Штабы с полной убежденностью рассылают приказы, которые никуда не дойдут. От нас требуют сведений, которые невозможно добыть. Авиация не может взять на себя задачу растолковывать штабам, что творится на войне. По данным авиационной разведки можно лишь проверить предположения штабов. Но никаких предположений больше не существует. А от полусотни летных экипажей фактически требуют, чтобы они придали этой войне некий порядок или систему, которых нет и в помине. К нам обращаются, словно к какому-то племени гадалок. Я гляжу на Дютертра, моего штурмана-гадалку. Вчера он спорил с полковником из дивизии: «Да как же я засеку вам позиции, если буду лететь в десяти метрах от земли со скоростью пятьсот тридцать километров в час?» — «Позвольте, но

вы же увидите, откуда по вас начнут бить! Раз бьют, значит, позиции немецкие».

— Ну и ржал же я после этого, — заключил Дютертр.

Дело в том, что французские солдаты в глаза не видели французских самолетов. Их всего тысяча, и они рассеяны от Дюнкерка до Эльзаса. Вернее говоря, растворены в бесконечности. Поэтому когда над фронтом проносится самолет, он наверняка немецкий. И его стараются сбить прежде, чем он успеет сбросить бомбы. Заслышав гул в небе, пулеметы и скорострельные пушки сразу же открывают огонь.

— Прямо скажем, ценные сведения получают они при такой методе!.. — добавил Дютертр.

А между тем эти сведения будут приняты в расчет, ибо на войне полагается принимать в расчет данные разведки!..

Да, но ведь и вся эта война какая-то ненормальная.

К счастью, — и мы это прекрасно знаем, — никто не будет принимать в расчет наши данные. Мы просто не сможем их передать. Дороги забиты. Телефонная связь нарушена. Штаб срочно перебазируется. Важные сведения о расположении противника предоставит сам противник. На

днях под Ланом мы спорили о том, где проходит линия фронта. Мы направляем лейтенанта к генералу, чтобы установить с ним связь. На полпути между нашей базой и генералом автомобиль лейтенанта натыкается на стоящий поперек шоссе дорожный каток, за которым укрылись две бронемашины. Лейтенант поворачивает обратно. Но пулеметная очередь убивает его наповал и ранит шофера. Бронемашины оказались немецкими.

В сущности, штаб похож на опытного картежника, с которым стали бы советоваться из соседней комнаты:

— Что мне делать с моей дамой пик?

Тот пожал бы плечами. Что он может ответить, не видя игры?

Но штаб не имеет права пожимать плечами. Если в его руках еще остались какие-то боевые единицы, он обязан пустить их в ход и использовать все возможности, пока война еще ведется. Пусть вслепую, но он обязан действовать сам и побуждать к действию других.

Однако наугад очень трудно решить, что делать с дамой пик. Мы уже отметили — сперва с удивлением, а потом как нечто само собой разумеющееся, — что, когда начинается разгром, всякая работа прекращается. На первый взгляд

может показаться, что побежденного захлестывает поток возникающих проблем, что, силясь разрешить их, он не щадит ни своей пехоты, ни артиллерии, ни танков, ни самолетов… Но поражение прежде всего начисто снимает все проблемы. Все карты смешиваются. Непонятно, что делать с самолетами, с танками, с дамой пик…

Изрядно поломав голову над тем, как бы повыгоднее ею сыграть, карту наугад бросают на стол. Царит не подъем, а растерянность. Подъем сопутствует только победе. Победа цементирует, победа строит. И каждый, не щадя сил, носит камни для ее здания. А поражение погружает людей в атмосферу растерянности, уныния, а главное — бессмыслицы.

Потому что прежде всего они просто бессмысленны, эти наши задания. С каждым днем все более бессмысленны. Все более губительны и все более бессмысленны. У тех, кто отдает приказы, нет иного средства задержать лавину, как только бросить на стол свои последние козыри.

Мы с Дютертром — козыри, и мы слушаем, что говорит нам майор. Он ставит задачу на сегодняшний день. Мы должны совершить дальний разведывательный полет на высоте десять тысяч

метров и на обратном пути, снизившись до семисот метров, засечь скопление танков в районе Арраса. Все это он излагает таким тоном, словно говорит:

«– Потом сверните во вторую улицу направо и идите до первой площади; там, на углу, купите мне в киоске коробку спичек…

— Ясно, господин майор».

Ровно столько же пользы в нашем задании. И в словах, которыми оно излагается, ничуть не больше лиризма.

Я говорю себе: «Безнадежное задание». Я думаю… думаю о многом. Я подожду, если останусь жив, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять. Если останусь жив… И с легкого-то задания возвращается один самолет из трех. Когда оно довольно «скверное», вернуться, конечно, труднее. И здесь, в кабинете майора, смерть не кажется мне ни возвышенной, ни великой, ни героической, ни трагичной. Она — лишь признак развала. Его результат. Группа потеряет нас, как теряют багаж в сутолоке железнодорожной пересадки.

Разумеется, у меня есть и совсем иные мысли о войне, о смерти, о самопожертвовании, о Франции, но мне недостает руководящей идеи, ясного языка. Я мыслю противоречиями. Моя истина

разъята на куски, и рассматривать их я могу только каждый в отдельности. Если я останусь жив, я подожду, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять. Благословенная ночь. Ночью разум спит и вещи предоставлены самим себе. То, что действительно важно, вновь обретает цельность после разрушительного дневного анализа. Человек вновь соединяет куски своего мира и опять становится спокойным деревом.

День отдается семейным ссорам, ночью же к человеку возвращается Любовь. Потому что Любовь сильнее этого словесного ветра. И человек садится у окна, под звездами, — он снова чувствует ответственность и за спящих детей, и за завтрашний хлеб, и за сон жены, такой хрупкой, нежной и недолговечной. Любовь — о ней не спорят. Она есть. Пусть же наступит ночь, чтобы мне раскрылось нечто достойное Любви! Чтобы я задумался о цивилизации, о судьбах человека, о том, как ценят дружбу в моей стране. И чтобы мне захотелось служить некой властной, хотя, быть может, еще и неосознанной истине…

А сейчас я похож на христианина, которого покинула благодать. Я вместе с Дютертром, разумеется, исполню свою роль, исполню ее честно, но так, как свершают обряды, когда в них уже

нет религиозного смысла. Когда их уже покинул Бог. Если я останусь в живых, я подожду, пока наступит ночь, чтобы немного пройтись по дороге, пересекающей нашу деревню, и там, в моем благословенном одиночестве, я, быть может, пойму, почему я должен умереть.

II

Я пробуждаюсь от своих мечтаний. Майор удивляет меня странным предложением:

— Если у вас уж очень душа не лежит к этому заданию… если вы сегодня не в форме, я могу…

— Что вы, господин майор?

Майор прекрасно знает, что предложение его нелепо. Но когда экипаж не возвращается, все вспоминают, как мрачны были лица людей перед вылетом. Эту мрачность объясняют предчувствием. И корят себя за то, что не посчитались с ней.

Колебания майора напоминают мне об Израэле. Позавчера я курил у окна в отделе разведки. Из окна я увидел Израэля. Он куда-то спешил. Нос у него был красный. Длинный нос, очень еврейский и очень красный. Меня вдруг поразил красный нос Израэля.

К Израэлю, нос которого показался мне таким странным, я питал чувство глубокой дружбы. Он был одним из самых отважных летчиков в нашей группе. Одним из самых отважных и самых скромных. Ему так много говорили о еврейской осторожности, что свою отвагу он принимал за осторожность. Ведь это же осторожно — быть

победителем.

Так вот, я заметил его длинный красный нос, который блеснул только на мгновение, потому что Израэль шагал очень быстро и тут же исчез вместе со своим носом. Вовсе не думая шутить, я спросил Гавуаля:

— Почему у него такой нос?

— Таким уж мать его наградила, — ответил Гавуаль. И добавил: — Дурацкое задание на малой высоте. Он сейчас вылетает.

— А!

И вечером, когда мы уже перестали ждать возвращения Израэля, я, разумеется, вспомнил его нос, который, выдаваясь вперед на совершенно бесстрастном лице, сам по себе, с каким-то особым талантом, выражал глубочайшую озабоченность. Если бы мне пришлось отправлять Израэля на это задание, его нос долго преследовал бы меня как укор. В ответ на приказание вылететь Израэль, конечно, ответил не иначе как «Есть, господин майор», «Слушаюсь, господин майор», «Ясно, господин майор». На лице Израэля, конечно, не дрогнул ни один мускул. Но потихоньку, коварно, предательски начал краснеть его нос. Израэль умел распоряжаться выражением своего лица, но не цветом своего носа. И нос, злоупотребив этим,

самовольно вмешался в дело. Нос, без ведома Израэля, безмолвно выразил майору свое крайнее неодобрение.

Быть может, поэтому майор и не любит посылать в полет тех, кого, по его мнению, гнетут предчувствия. Предчувствия почти всегда обманывают, но из-за них боевые приказы начинают звучать как приговоры. Алиас — командир, а не судья.

Вот что произошло на днях с сержантом Т.

Насколько Израэль был отважен, настолько Т. был подвержен страху. Это единственный знакомый мне человек, которого по-настоящему мучил страх. Когда Т. получал боевой приказ, с ним творилось что-то невообразимое. Он просто впадал в транс. Его сковывало оцепенение, оно распространялось медленно и неотвратимо — от ног к голове. С лица словно смывало всякое выражение, а в глазах появлялся блеск.

В противоположность Израэлю, чей нос показался мне таким смущенным, смущенным возможной гибелью Израэля, и в то же время сильно разгневанным, Т. не обнаруживал никакого волнения. Он не реагировал: он сникал. К концу разговора становилось ясно, что Т. просто-напросто охвачен ужасом. И от этого по лицу

его разливался какой-то невозмутимый покой. Отныне Т. был как бы недосягаем. Чувствовалось, что между ним и миром расстилается пустыня безразличия. Никогда мне не приходилось наблюдать, чтобы нервное возбуждение проявлялось у кого-либо в такой форме.

— Ни в коем случае нельзя было посылать его в тот день, — говорил впоследствии майор.

В тот день, когда майор объявил ему о вылете, Т. не только побледнел, но даже начал улыбаться. Просто улыбаться. Так, должно быть, улыбаются под пыткой, когда палач уже переходит всякие границы.

— Вам нездоровится. Я вас заменю…

— Нет, господин майор. Раз очередь моя, значит, моя.

И Т., вытянувшись перед майором, глядел на него в упор, не шевелясь.

— Но если вы не уверены в себе…

— Сегодня моя очередь, господин майор, моя.

— Послушайте, Т…

— Господин майор…

Т. словно превратился в каменную глыбу.

— И я разрешил ему лететь, — добавил Алиас.

То, что произошло потом, так и осталось загадкой. Т., стрелок на борту самолета, обнаружил, что

его пытается атаковать вражеский истребитель. Но у этого истребителя заклинило пулеметы, и он повернул обратно. Пилот и Т. переговаривались почти до самого возвращения на базу, причем пилот не заметил ничего необычного. Но за пять минут до посадки стрелок перестал ему отвечать.

А вечером Т. нашли с проломленным черепом, его ударило хвостовым оперением. Он прыгнул с парашютом в труднейших условиях, на полной скорости, причем над своей территорией, когда ему уже не грозила никакая опасность. Появление истребителя было для него призывным сигналом, и он не устоял.

— Идите одеваться, — говорит нам майор, — вылет в пять тридцать.

— До свиданья, господин майор.

Майор отвечает неопределенным жестом. Суеверие? Так как у меня погасла сигарета и я безуспешно шарю в карманах, он добавляет:

— Почему у вас никогда нет спичек?

Он прав. И, напутствуемый этими прощальными словами, я выхожу, спрашивая себя: «Почему у меня никогда нет спичек?»

— Не нравится ему это задание, — замечает Дютертр.

А я думаю: ему наплевать! Но, несправедливо осуждая Алиаса, я имею в виду не его. Меня поражает то, чего никто не желает признать: жизнь Духа иногда прерывается. Только жизнь Разума непрерывна или почти непрерывна. Моя способность размышлять не претерпевает больших изменений. Для Духа же важны не сами вещи, а связующий их смысл. Подлинное лицо вещей, которое он постигает сквозь внешнюю оболочку. И Дух переходит от ясновидения к абсолютной слепоте. Настает час, и тот, кто любит свой дом, вдруг обнаруживает, что это не более чем скопище разрозненных предметов. Настает час, и тот, кто любит свою жену, начинает видеть в любви одни лишь заботы, неприятности и неудобства. Настает час, и тот, кто наслаждался какой-то мелодией, становится к ней совершенно равнодушным. Настанет час, как сегодня, — и я уже не понимаю свою родину. Родина — это не совокупность провинций, обычаев, предметов, которые всегда может охватить мой разум. Родина — это Сущность. И вот наступает час, когда я вдруг обнаруживаю, что перестал видеть Сущность.

Майор Алиас провел всю ночь у генерала в чисто логических спорах. А чистая логика разрушает жизнь Духа. Потом, на обратном пути, его

измотали бесконечные дорожные заторы. Вернувшись в группу, он столкнулся со множеством мелочей, тех, что гложут понемногу, как бесчисленные последствия горного обвала, задержать который невозможно. И наконец он вызвал нас, чтобы послать на невыполнимое задание. Мы — это часть всеобщей неразберихи. Мы для майора — не Сент-Экзюпери или Дютертр, наделенные каждый своим собственным даром видеть вещи или не видеть их, думать, ходить, пить, улыбаться. Мы — куски какого-то огромного сооружения, и, чтобы постичь его в целом, требуется больше времени, большая тишина и большее отдаление… Если бы я страдал нервным тиком, Алиас заметил бы только этот тик. Он послал бы в полет над Аррасом только представление об этом тике. В хаосе навалившихся на него задач, в этой низвергающейся лавине мы сами распались на куски. Голос. Нос. Тик. А куски не волнуют.

Это относится не только к майору Алиасу, но и ко всем людям. Когда мы хлопочем об устройстве похорон, то, как бы мы ни любили умершего, мы не вступаем в соприкосновение со смертью. Смерть — это нечто огромное. Это новая цепь связей с мыслями, вещами, привычками умершего. Это новый миропорядок. С виду как будто ничего

не изменилось, на самом же деле изменилось все. Страницы в книге те же, но смысл ее стал иным. Чтобы почувствовать смерть, мы должны представить себе те часы, когда нам нужен покойный. Именно тогда нам его и недостает. Представить себе часы, когда он мог бы нуждаться в нас. Но он в нас больше не нуждается. Представить себе час дружеского посещения. И почувствовать его пустоту. Мы привыкли видеть жизнь в перспективе. Но в день похорон нет ни перспективы, ни пространства. Покойный в нашем сознании еще разъят на куски. В день похорон мы суетимся, пожимаем руки настоящим или мнимым друзьям, занимаемся мелочами. Покойный умрет только завтра, в тишине. Он явится нам в своей цельности, чтобы во всей своей цельности оторваться от нашего существа. И тогда мы закричим оттого, что он уходит и мы не можем его удержать.

Я не люблю лубочных картинок, изображающих войну. На них суровый воин утирает слезу и прячет волнение за ворчливыми шутками. Это вранье. Суровый воин ничего не прячет. Если он отпускает шутку, значит, шутка у него на уме.

Дело не в личных достоинствах. Майор Алиас — сердечный человек. Если мы не вернемся, он, возможно, будет оплакивать нас больше,

чем кто-либо другой. При условии, что в его сознании будем мы, а не те или иные частности. При условии, что наступит тишина и он сможет воссоздать нас. Потому что если сегодня ночью преследующий нас судебный исполнитель снова заставит группу перебазироваться, то в лавине забот сломавшееся колесо какого-нибудь грузовика на время вытеснит нашу смерть из его сознания. И Алиас забудет нас оплакать.

Так и я, отправляясь на задание, думаю не о борьбе Запада с нацизмом. Я думаю о насущных мелочах. О бессмысленности полета над Аррасом на высоте семисот метров. О бесполезности ожидаемых от нас сведений. О медленном одевании, которое кажется мне облачением в одежду смертника. А потом о перчатках. Я потерял перчатки. Где, черт побери, я раздобуду перчатки?

Я уже не вижу собора, в котором живу.

Я облачаюсь для служения мертвому богу.

III

— Давай быстрее… Где перчатки? Нет… Не эти… поищи в моем мешке…

— Что-то не вижу, господин капитан.

— Ты остолоп.

Все они остолопы. И тот, который не может найти мои перчатки. И тот, другой, из штаба, со своей навязчивой идеей полета на малой высоте.

— Я просил тебя дать мне карандаш. Уже десять минут, как я прошу дать мне карандаш… Есть у тебя карандаш?

— Есть, господин капитан.

Нашелся-таки разумный человек.

— Привяжи к карандашу тесемку. И привесь его мне сюда, вот к этой петле… Послушайте, стрелок, вы что-то не торопитесь…

— Потому что я уже готов, господин капитан.

— А! Ладно…

Ну а штурман? Я переключаюсь на него.

— Как там дела, Дютертр? Все в порядке? Рассчитали курс?!

— Курс готов, господин капитан.

Ладно. Курс готов. Безнадежное задание… Спрашивается, есть ли смысл обрекать на ги-

бель экипаж ради сведений, которые никому не нужны и которые, даже если кто-нибудь из нас уцелеет и доставит их, никогда и никому не будут переданы…

— Наняли бы они себе спиритов, там, в штабе…

— Зачем?

— Да чтобы мы могли передать им вечером, через вертящийся столик, эти их сведения!

Я не в восторге от своего выпада, но продолжаю ворчать:

— Ох уж эти штабные! Сами бы летали на эти безнадежные задания!

Как долго тянется церемониал одевания, когда ты понимаешь, что вылет безнадежный, и старательно снаряжаешься только для того, чтобы изжариться заживо. Не так-то просто натянуть один за другим три слоя одежды, нацепить на себя целый ворох аппаратуры, которую носишь, как старьевщик, наладить подачу кислорода, систему обогрева, телефонную связь между членами экипажа. Дышу я через эту маску. Резиновая трубка связывает меня с самолетом — она так же необходима, как пуповина. Самолет регулирует температуру моей крови. Самолет обеспечивает мою связь с людьми. У меня прибавились органы,

которые служат как бы посредниками между мной и моим сердцем. С каждой минутой я становлюсь все более тяжелым, более громоздким, более неподвижным. Я поворачиваюсь сразу всем туловищем, и, когда наклоняюсь, чтобы потуже затянуть ремни или застегнуть неподдающиеся «молнии», у меня трещат все суставы. Старые переломы причиняют мне боль.

— Подай-ка сюда другой шлем. Я уже сто раз говорил тебе, что старый больше не надену. Он жмет.

Дело в том, что на большой высоте череп каким-то чудом распухает. И шлем, который на земле тебе впору, на высоте девять тысяч метров сжимает кости, как в тисках.

— Так это же другой, господин капитан. Я вам его сменил…

— А! Ну ладно.

Я, конечно, ворчу, но без всяких угрызений совести, потому что я совершенно прав! Впрочем, все это не имеет ни малейшего значения. Как раз в эту минуту я в самом центре той внутренней пустыни, о которой я говорил. Здесь одни лишь обломки. Я даже не стыжусь, что мечтаю о чуде, которое изменило бы ход сегодняшних событий. Например, если откажут ларингофоны. Они

всегда отказывают, эти ларингофоны! Хлам! А ведь если б они отказали, это избавило бы нас от безнадежного задания…

Ко мне с мрачным видом подходит капитан Везэн. Перед вылетом капитан Везэн с мрачным видом подходит к каждому из нас. Капитан Везэн осуществляет в нашей группе связь со службой воздушного наблюдения. Его обязанность сообщать нам о перемещении вражеских самолетов. Везэн мой друг, я его нежно люблю, но он всегда пророчит недоброе. И я жалею, что попался ему на глаза.

— Старина, — говорит Везэн, — ах, как скверно, как скверно, как скверно!

И он достает из кармана какие-то бумажки. Потом, испытующе глядя на меня, спрашивает:

— Как ты полетишь?

— Через Альбер.

— Так я и знал. Так я и знал. Ах как скверно!

— Не валяй дурака. В чем дело?

— Тебе нельзя лететь!

Мне нельзя лететь!.. Какой он добрый, этот Везэн! Пусть вымолит у Господа Бога, чтобы отказали ларингофоны!

— Тебе не прорваться.

— Почему это мне не прорваться?

— Потому что над Альбером непрерывно патрулируют три звена немецких истребителей. Одно на высоте шесть тысяч метров, другое — семь с половиной, третье — десять тысяч. Ни одно не уходит, пока не явится смена. Это заведомо неодолимая преграда. Ты угодишь в западню. А потом, погляди-ка…

И Везэн показывает мне бумажку, на которой он нацарапал какие-то непонятные схемы.

Шел бы он ко всем чертям, этот Везэн! Слова «заведомо неодолимая преграда» на меня подействовали. Мне мерещится красный сигнал и нарушение дорожных правил. Но здесь нарушение правил — это смерть. В особенности ненавистно мне слово «заведомо». У меня такое чувство, будто я уже взят на прицел.

Усилием воли я заставляю себя рассуждать здраво. Противник «заведомо» должен защищать свои позиции, а как же иначе? Все эти слова сущий вздор… Да и плевать мне на истребителей. Когда я снижусь до семисот метров, меня собьет зенитная артиллерия. Уж она-то не промахнется! И я вдруг набрасываюсь на Везэна:

— Короче, ты решил срочно сообщить мне, что, поскольку существует немецкая авиация, мой вылет — штука весьма неосторожная! Беги и

доложи об этом генералу!..

А между тем Везэну ничего не стоило бы дружески ободрить меня, назвав эти пресловутые истребители просто какими-то самолетами, которые болтаются в районе Альбера...

Смысл был бы точно такой же!

IV

Все готово. Мы в кабине. Остается проверить ларингофоны…

— Хорошо меня слышите, Дютертр?

— Слышу вас хорошо, господин капитан.

— А вы, стрелок, хорошо меня слышите?

— Я… да… отлично.

— Дютертр, вы слышите стрелка?

— Слышу его хорошо, господин капитан.

— Стрелок, вы слышите лейтенанта Дютертра?

— Я… да… отлично.

— Почему вы все время говорите «Я… да… отлично»?

— Я ищу карандаш, господин капитан.

Ларингофоны не отказали.

— Стрелок, давление в баллонах нормальное?

— Я… да… нормальное.

— Во всех трех?

— Во всех трех.

— Дютертр, готов?

— Готов.

— Стрелок, готов?

— Готов.

— Тогда — двинулись.

И я отрываюсь от земли.

V

Страх возникает, когда теряешь уверенность в том, что ты — это ты. Если я жду известия, которое может осчастливить меня или привести в отчаяние, я словно выброшен в небытие. Пока я пребываю в неизвестности, мои чувства и мое поведение — всего лишь преходящая личина. Время, секунда за секундой, перестает созидать — подобно тому как оно созидает дерево, — ту самую личность, которой я стану через час. Это неведомое «я» идет мне навстречу извне, словно призрак. И тогда меня охватывает страх. Дурная весть вызывает не страх, а страдание — это совсем другое дело.

Но вот время перестало течь впустую. Я наконец приступил к своим обязанностям. Я больше уже не проектируюсь в безликое будущее. Я уже не тот, кто, быть может, среди огненного вихря войдет в штопор. Будущее уже не преследует меня подобно какому-то странному видению. Отныне его создают, одно за другим, мои действия. Я тот, кто следит за компасом и держит курс 313°. Кто регулирует шаг винтов и температуру масла. Это насущные, естественные заботы. Это заботы по

дому, мелкие повседневные обязанности, за которыми даже не чувствуешь, что стареешь. День становится хорошо прибранным домом, хорошо отполированной доской, хорошо поступающим кислородом. Я как раз проверяю подачу кислорода, потому что мы быстро набираем высоту: шесть тысяч семьсот метров.

— С кислородом в порядке, Дютертр? Как себя чувствуете?

— Все в порядке, господин капитан.

— Эй! Стрелок, кислород в порядке?

— Я… да… в порядке, господин капитан.

— Вы все еще ищете карандаш?

Я становлюсь и тем, кто нажимает на кнопку S и на кнопку A, чтобы проверить свои пулеметы. Кстати…

— Эй, стрелок, там позади, в вашем секторе, нет крупного населенного пункта? Не попадает он в поле обстрела?

— Гм… нет, господин капитан.

— Ну, тогда давайте. Проверьте пулеметы.

Я слышу очереди.

— Хорошо работают?

— Хорошо.

— Сработали все?

— Гм… да… все.

Я тоже стреляю. Интересно, куда летят все эти пули, которыми мы почем зря поливаем родные просторы. Они никогда никого не убивают. Земля велика.

Итак, я живу содержанием каждой минуты. Я испытываю страх не в большей степени, чем зреющий плод. Разумеется, условия моего полета изменяются. И условия и задачи. Но я сам вовлечен в изготовление этого будущего. Время понемногу лепит меня. Ребенок не приходит в ужас оттого, что он терпеливо готовит в себе старика. Он — ребенок, и он играет в свои детские игры. Я тоже играю. Я считаю циферблаты, переключатели, кнопки, рычаги моего царства. Я насчитал сто три предмета, которые надо проверять, тянуть, поворачивать или нажимать. (Я, правда, чуточку сплутовал, сосчитав за два предмета боевой спуск моих пулеметов: там есть еще предохранитель.) Вечером я удивлю фермера, у которого квартирую. Я спрошу его:

— А вы знаете, сколько теперь у летчика приборов, за которыми он должен следить?

— Откуда же мне знать?

— Ну все-таки, назовите какую-нибудь цифру.

Какой он неучтивый, мой хозяин.

— Назовите любую цифру!

— Ну, семь.

— Сто три!

И я буду доволен.

Мое спокойствие объясняется еще и тем, что все приборы, громоздившиеся вокруг меня, заняли свои места и обрели смысл. Все эти потроха из трубок и проводов превратились в сеть кровообращения. Мой организм сросся с самолетом. Самолет создает мне уют: я поворачиваю переключатель, и моя одежда и кислород начинают обогреваться. Впрочем, кислород уже перегрелся и обжигает нос. Сам кислород тоже подается в зависимости от высоты при помощи весьма сложного прибора. Меня питает моя машина. До вылета это казалось мне непостижимым, а теперь, когда сама машина кормит меня грудью, я испытываю к ней нечто вроде сыновней привязанности. Нечто вроде привязанности грудного младенца. Что касается моего веса, то он распределился по точкам опоры. Три слоя одежды, тяжелый парашют за спиной давят на сиденье. Огромные меховые сапоги упираются в педали. Руки в толстых жестких перчатках, такие неуклюжие на земле, легко управляют штурвалом. Управляют штурвалом… Управляют штурвалом…

— Дютертр!

— …тан?

— Быстро проверьте контакты. Я слышу вас с перерывами. Вы меня слышите?

— …шу… вас… тан…

— А ну-ка, встряхните свое хозяйство! Вы слышите меня?

Голос Дютертра снова становится ясным.

— Слышу вас отлично, господин капитан!

— Ну так вот: сегодня управление опять замерзает, штурвал ходит туго, а педали совершенно заело!

— Веселенькая история. А высота?

— Девять тысяч семьсот.

— Температура?

— Сорок восемь ниже нуля. Кислород у вас в порядке?

— В порядке, господин капитан.

— Стрелок, кислород в порядке?

Нет ответа.

— Стрелок!

Нет ответа.

— Дютертр, вы слышите стрелка?

— Не слышу, господин капитан…

— Вызовите его!

— Стрелок! Эй, стрелок!

Нет ответа.

Но прежде чем пойти на снижение, я резко встряхиваю самолет, чтобы разбудить стрелка, если он заснул.

— Господин капитан?

— Это вы, стрелок?

— Я… гм… да…

— Вы что, не вполне в этом уверены?

— Уверен!

— Почему вы не отвечали?

— Я проверял передатчик. Я отключался!

— Балбес! Надо предупреждать! Я чуть не пошел на посадку: думал, вы умерли!

— Я… нет…

— Верю на слово. Но больше не устраивайте мне таких штук! Предупреждайте, черт побери, прежде чем отключаться!

— Слушаюсь, господин капитан. Буду предупреждать.

Дело в том, что организм не сразу ощущает нарушение подачи кислорода. Наступает легкое забытье, через несколько секунд — обморок, а через несколько минут — смерть. Поэтому пилот все время должен следить за поступлением кислорода и за самочувствием экипажа.

И я пощипываю трубку своей маски, чтобы

носом ощутить теплую струю, несущую жизнь.

Словом, я занимаюсь своим ремеслом. Я не испытываю ничего, кроме физического удовольствия от насыщенных смыслом, самодовлеющих действий. У меня нет ни ощущения великой опасности (снаряжаясь в полет, я волновался куда сильнее), ни такого чувства, будто я исполняю великий долг. Битва между Западом и нацизмом сводится сейчас, в пределах моих действий, к управлению рукоятками, рычагами и краниками. Так и должно быть. Любовь ризничего к Богу сводится к любви зажигать свечи. Ризничий размеренным шагом ходит по церкви, которой он не замечает, и доволен, что канделябры у него расцветают один за другим. Когда все свечи зажжены, он потирает руки. Он гордится собой.

Я тоже великолепно отрегулировал шаг винтов и держу курс с точностью до одного градуса. Это должно восхищать Дютертра, если только он поглядывает на компас…

— Дютертр… я… курс по компасу… правильно?

— Нет, господин капитан. Чересчур отклонились. Возьмите вправо.

Вот досада!

— Пересекаем линию фронта, господин капитан. Начинаю съемку. Что у вас на высотомере?

— Десять тысяч.

VI

— Капитан… курс!

Точно. Я отклонился влево. Это не случайно… Меня отталкивает город Альбер. Я угадываю его, хотя он очень далеко впереди. Но он уже давит на мое тело всей тяжестью своей «заведомо неодолимой преграды». Сколько воспоминаний таится в толще моего тела! Оно помнит внезапные падения, проломы черепа, вязкие, как сироп, обмороки, ночи в госпиталях. Мое тело боится ударов. Оно старается обойти Альбер. Чуть только я недогляжу, оно сворачивает влево. Оно тянет влево, как старая лошадь, которая, испугавшись однажды какого-нибудь препятствия, потом уже всю жизнь шарахается от него в сторону. И речь идет именно о моем теле… не о моем духе… Стоит мне отвлечься, тело мое пользуется этим и незаметно пытается улизнуть от Альбера.

Ведь сейчас меня ничто особенно не тяготит. Теперь я уже не хотел бы, чтобы вылет отменили. А ведь, кажется, еще совсем недавно я об этом мечтал. Я думал: «Ларингофоны откажут. Мне так хочется спать. Пойду вздремну». И я воображал, с каким наслаждением буду нежиться в постели.

Но в глубине души я все-таки знал, что отмена вылета не сулит ничего, кроме томительной хандры. Словно ждал какого-то обновления, а оно не состоялось.

Мне вспоминается школа… Когда я был мальчишкой…

— …капитан!

— В чем дело?

— Нет, ничего… мне показалось…

Ничего хорошего не могло ему показаться.

Ну так вот… когда я был мальчишкой, в школе мы вставали ужасно рано. В шесть часов утра. Холодно. Протираешь глаза и уже заранее томишься в ожидании скучного урока грамматики. И мечтаешь заболеть, чтобы проснуться в лазарете, где монахини в белых чепцах будут подавать тебе в постель сладкое питье. Чего только не вообразишь себе об этом рае! Вот почему, если я простужался, я нарочно кашлял чуть почаще и посильнее. И, просыпаясь в лазарете, я слышал колокол, звонивший для других. Если я притворялся не в меру, этот колокол меня сурово наказывал: он превращал меня в призрак. Там, за стенами лазарета, он отзванивал настоящее время: время строгой тишины классных занятий, сутолоки перемен, тепла и уюта столовой. Для

живых, там, за стенами лазарета, он создавал насыщенное существование, полное горестей, надежд, ликований, невзгод. Я же был обобран, забыт, меня тошнило от приторного питья, от влажной постели и от безликих часов.

Нет, отмена вылета ничего хорошего не сулит.

VII

Иногда, конечно, как, например, сегодня, вылет может быть нам и не по душе. Слишком уж очевидно, что мы просто-напросто играем в войну. Мы играем в казаки-разбойники. Мы в точности соблюдаем мораль наших книг по истории и правила наших учебников. Сегодня ночью, к примеру, я выехал с машиной на аэродром. И часовой, согласно инструкции, штыком преградил дорогу моей машине, которая с таким же успехом могла быть и танком. Вот так мы и играем: штыком преграждаем дорогу танкам!

Откуда взяться увлеченности, если, играя в эти довольно жестокие шарады, мы явно исполняем роль статистов, а от нас еще требуют, чтобы мы шли на смерть? Для шарады смерть — это слишком серьезно.

Кто станет с увлечением надевать летное снаряжение? Никто. Даже Ошедэ, с его постоянной готовностью к самопожертвованию, которая и есть высшее проявление человечности, даже Ошедэ, этот праведник, и то замыкается в безмолвии. Одеваясь, мои товарищи молчат и хмурятся, и это не скромность героев. За этой хмуростью не

скрывается никакого увлечения. Она выражает лишь то, что выражает. И мне она понятна. Это угрюмость управляющего, который не согласен с распоряжениями, оставленными уехавшим хозяином. И который все-таки хранит верность. Все мои товарищи мечтают о своей тихой комнате, но среди нас нет ни одного, кто и впрямь предпочел бы идти спать.

Потому что важна не увлеченность. Когда терпишь поражение, на увлеченность рассчитывать нечего. Важно одеться, сесть в кабину, оторваться от земли. То, что сам ты об этом думаешь, совсем не важно. Мальчик, который с увлечением мечтал бы об уроках грамматики, показался бы мне фальшивым и неестественным. Важно сохранять самообладание ради цели, которая в данную минуту еще не ясна. Эта цель — не для Разума, а для Духа. Дух способен любить, но он спит. В чем состоит искушение, я знаю не хуже любого отца церкви. Искушение — это соблазн уступить доводам Разума, когда спит Дух.

Какой смысл в том, что я рискую жизнью, бросаясь в эту лавину? Не знаю. Меня сто раз уговаривали: «Соглашайтесь на другую должность. Ваше место там. Там вы принесете куда больше пользы, чем в эскадрилье. Летчиков можно гото-

вить тысячами…» Доводы были неопровержимы. Доводы всегда неопровержимы. Мой разум соглашался, но мой инстинкт брал верх над разумом.

Почему же эти рассуждения казались мне какими-то зыбкими, хотя я ничего не мог на них возразить? «Интеллигенцию держат про запас на полках Отдела пропаганды, как банки с вареньем, чтобы подать после войны…» Но это же не ответ!

И сегодня, так же как мои товарищи, я взлетел наперекор всем рассуждениям, всякой очевидности, всему, что я мог в ту минуту возразить. Я знаю, придет время, и я пойму, что, поступив наперекор своему разуму, поступил разумно. Я обещал себе, если останусь жив, эту ночную прогулку по моей деревне. Тогда, быть может, я наконец пойму самого себя. И научусь видеть.

Возможно, мне нечего будет сказать о том, что я увижу. Когда женщина кажется мне прекрасной, мне нечего сказать. Я просто любуюсь ее улыбкой. Аналитик разбирает лицо и объясняет его по частям, но улыбки он уже не видит.

Знать — отнюдь не означает разбирать на части или объяснять. Знать — это принимать то, что видишь. Но для того, чтобы видеть, надо прежде всего участвовать. А это суровая школа…

Весь день моя деревня была для меня невидима.

До вылета это были только глинобитные стены и довольно неопрятные крестьяне. Теперь — это кучка щебня в десяти километрах подо мной. Вот она, моя деревня.

Но, может быть, сегодня ночью проснется и залает сторожевая собака. Я всегда наслаждался колдовским очарованием деревни, которая в ясную ночь говорит во сне одиноким голосом сторожевой собаки.

Я не надеюсь, что меня поймут, и мне это совершенно безразлично. Лишь бы явилась передо мной моя деревня, прибравшаяся перед сном, запершая на ночь запасы своего зерна, свой скот, свои вековые обычаи!

Крестьяне, вернувшись с поля, поужинают, уложат детей и, задув лампу, растворятся в безмолвии. И все исчезнет, и останется лишь мерное дыхание под добротными домотканными простынями, — словно море, затихающее после шторма.

Ночью, когда подводятся итоги, Бог на время отстраняет людей от пользования их богатствами. И пока люди будут отдыхать, по прихоти неодолимого сна разжав до утра пальцы, передо мною яснее предстанет сбереженное ими наследие.

Тогда, быть может, мне раскроется то, что трудно выразить словами. Я приду к огню, как слепой,

которого ведут его ладони. Он не смог бы описать огонь, а все-таки он его нашел. Так, быть может, явится мне то, что нужно защищать, то, чего не видно, но что живет, подобно горящим углям, под пеплом деревенских ночей.

Мне нечего было ждать от отмены вылета. Чтобы постичь простую деревню, надо прежде всего…

— Капитан!

— Да?

— Шесть истребителей, шесть, впереди — слева!

Это прозвучало как удар грома.

Надо… надо… Но я хотел бы своевременно получить то, что мне причитается. Я хотел бы обрести право на любовь. Я хотел бы понять, за кого умираю…

VIII

— Стрелок!

— Капитан?

— Слышали? Шесть истребителей, шесть, впереди — слева!

— Слышал, капитан!

— Дютертр, они нас заметили?

— Заметили. Разворачиваются на нас. Мы выше метров на пятьсот.

— Стрелок, слышали? Мы выше на пятьсот метров. Дютертр! Еще далеко?

— …несколько секунд.

— Стрелок, слышали? Через несколько секунд будут у нас в хвосте.

Вот они, я их вижу! Крохотные. Рой ядовитых ос.

— Стрелок! Они идут наперерез. Сейчас увидите. Вот они!

— Я… я ничего не вижу. А! Вижу!

А я уже потерял их из виду.

— Гонятся за нами?

— Гонятся!

— Высоту набирают быстро?

— Не знаю… Кажется, нет… Нет!

— Ваше решение, капитан?

Это спросил Дютертр.

— А что я могу решить?

И мы замолкаем.

Решать тут нечего. Все зависит только от Бога. Если я развернусь, расстояние между нами уменьшится. Мы летим прямо на солнце, а на большой высоте нельзя набрать еще пятьсот метров, не потеряв скорости и не отстав от движущейся цели на несколько километров. Поэтому может случиться, что, прежде чем они выйдут на нашу высоту и разгонятся, мы успеем исчезнуть в слепящих лучах.

— Стрелок, все еще летят?

— Летят.

— Мы отрываемся?

— Гм… нет… да!

Все зависит от Бога и от солнца.

Предвидя возможный бой (хотя истребители не столько ведут бой, сколько совершают убийство), я напрягаю все мускулы, стараясь сдвинуть замерзшие педали. Я чувствую себя как-то странно, но истребители у меня еще перед глазами. И всей своей тяжестью я наваливаюсь на упрямые педали.

Я опять замечаю, что, одеваясь, волновался

гораздо больше, чем сейчас, хотя происходящее и принуждает меня к нелепому ожиданию. Меня даже охватывает злоба. Благотворная злоба.

Но никакого опьянения самопожертвованием. Я готов кусаться.

— Стрелок, уходим от них?

— Уходим, господин капитан.

Отлично.

— Дютертр… Дютертр…

— Слушаю, господин капитан.

— Нет… ничего.

— А что было, господин капитан?

— Ничего… Мне показалось… нет… ничего…

Я им ничего не скажу. Я не собираюсь над ними шутить. Если я войду в штопор, они это и сами поймут. Они и сами поймут, что я вхожу в штопор…

Странно, что я обливаюсь потом при 50° мороза. Странно. О, теперь мне понятно, что происходит: я потихоньку теряю сознание. Совсем потихоньку…

Я вижу приборную доску. Я уже не вижу приборной доски. Мои руки на штурвале слабеют. У меня даже нет сил говорить. Я забываюсь. Забыться…

Мну пальцами резиновую трубку. В нос бьет

струя, несущая жизнь. Значит, кислород в порядке… Значит… Ну конечно. Я просто болван. Все дело в педалях. Я навалился на них, как грузчик, как ломовик. На высоте десять тысяч метров я вел себя, как силач в балагане. А ведь кислорода мне едва хватает. Расходовать его надо было экономно. Теперь я расплачиваюсь за свою оргию…

Я дышу слишком часто. Сердце у меня бьется быстро, очень быстро. Оно как слабый бубенчик. Я ничего не скажу моему экипажу. Если я войду в штопор, они успеют об этом узнать! Я вижу приборную доску… Я уже не вижу приборной доски… Я обливаюсь потом, и мне грустно.

Жизнь потихоньку вернулась ко мне.

— Дютертр!..

— Слушаю, господин капитан!

Мне хочется рассказать ему о случившемся.

— Я… думал… что…

Но я отказываюсь от своего намерения. Слова съедают почти весь кислород, и я запыхался уже от трех слов. Я прихожу в себя, но я еще слаб, очень слаб…

— Так что же было, господин капитан?

— Нет… ничего.

— Право, господин капитан, вы говорите загадками!

Я говорю загадками. Но зато я жив.

— …мы их… оставили с носом!..

— О, господин капитан, до поры до времени!

До поры до времени: впереди — Аррас.

Итак, несколько минут я думал, что уже не вернусь, и все-таки не обнаружил в себе того жгучего страха, от которого, говорят, седеют волосы. И я вспоминаю Сагона. Вспоминаю о том, что рассказал нам Сагон, когда два месяца назад, через несколько дней после воздушного боя, в котором он был сбит во французской зоне, мы навестили его в госпитале. Что испытал Сагон, когда, окруженный истребителями, словно поставленный ими к стенке, он считал себя на краю гибели?

IX

Как сейчас вижу его на госпитальной койке. Прыгая с парашютом, Сагон зацепился за хвостовое оперение и разбил себе колено, но он даже не почувствовал толчка. Лицо и руки у него довольно сильно обожжены, но в конечном счете состояние его не внушает тревоги. Он рассказывает об этом происшествии неторопливо, безразличным тоном, словно отчитывается в выполненной работе.

— ...Я понял, что они стреляют, когда со всех сторон увидел трассирующие пули. Приборная доска у меня разлетелась. Потом я заметил легкий дымок, ну совсем легкий! Откуда-то спереди. Я подумал, что это... вы же знаете, там соединительная трубка... Пламя было несильное...

Сагон морщится, напрягая память. Ему кажется важным, чтобы мы знали, сильное было пламя или несильное. Он колеблется:

— А все-таки... там был огонь... Тогда я велел им прыгать...

Потому что огонь за десять секунд превращает самолет в факел!

— Тут я открыл люк. И зря. Пламя потянуло в

кабину… Мне стало немного не по себе.

На высоте семь тысяч метров паровозная топка изрыгает прямо вам в живот потоки пламени, а вам немного не по себе! Я не хочу грешить против Сагона и потому не стану превозносить его героизм или его скромность. Сагон не признал бы за собой ни героизма, ни скромности. Он сказал бы: «Нет, мне действительно стало немного не по себе…» И он явно старается быть точным.

К тому же я убежден, что поле действия сознания весьма невелико. Разом оно вмещает только что-то одно. Если вы деретесь на кулаках и захвачены стратегией боя, вы не ощущаете боли от ударов. Когда во время аварии гидроплана я был уверен, что тону, ледяная вода показалась мне теплой. Или, точнее говоря, мое сознание не отзывалось на температуру воды. Оно было поглощено другим. Температура воды мне не запомнилась. Так и сознание Сагона было поглощено техникой прыжка. Мир Сагона ограничивался рукояткой откидного люка, кольцом парашюта, которое он искал, и техникой спасения экипажа. «Вы прыгнули?» Молчание. «Есть кто-нибудь на борту?» Молчание.

— Я решил, что остался один. Я решил, что можно прыгать… (Лицо и руки у него уже были

обожжены.) Я приподнялся, перетащил ногу через борт кабины и задержался на крыле. Потом наклонился вперед: гляжу, штурмана нет…

Штурман, убитый наповал огнем истребителей, лежал в глубине кабины.

— Тогда я сдвинулся назад, посмотрел — стрелка нет…

Стрелок тоже был мертв.

— Я решил, что остался один…

Он соображал:

— Если бы я знал… я мог бы опять влезть в кабину… Горело не так уж сильно… Я долго держался на крыле. Прежде чем выбраться из кабины, я поставил самолет на кабрирование. Машина шла правильно, дышать было можно, я чувствовал себя неплохо. Да-да, я долго держался на крыле… Я не знал, что делать…

Перед Сагоном вовсе не возникало каких-либо неразрешимых проблем: он считал, что остался на борту один, самолет его горел, а истребители все заходили и заходили на него, поливая его пулями. Из рассказа Сагона нам стало ясно одно: он не испытывал никаких желаний. Он ничего не испытывал. Времени у него было сколько угодно. Делать ему было совершенно нечего. И постепенно я познавал это странное ощущение, иногда

сопровождающее неизбежность близкой смерти: вдруг тебе становится нечего делать… Как это непохоже на всякие басни о дух захватывающем низвержении в небытие! Сагон оставался там, на крыле, словно выброшенный за пределы времени.

— А потом я прыгнул, — сказал он, — прыгнул неудачно. Меня закрутило. Я боялся слишком рано дернуть за кольцо, чтобы не запутаться в парашюте. Подождал, пока не выровняюсь. О, ждал я долго…

Итак, Сагону запомнилось, что от начала и до конца происшествия он чего-то ждал. Ждал, пока пламя станет сильнее. Потом, неизвестно чего, ждал на крыле. И во время свободного падения по вертикали на землю тоже ждал.

И это был Сагон, да, это был заурядный Сагон, еще более простой, чем обычно, Сагон, который, стоя над бездной, с недоумением и досадой топтался на месте.

X

Вот уже два часа мы парим в атмосфере, где давление в несколько раз ниже нормального. Экипаж понемногу изматывается. Мы почти не разговариваем. Раза два я еще попытался осторожно нажать на педали. Но я не упорствовал. Каждый раз меня охватывало все то же чувство сладкого изнеможения.

Дютертр задолго предупреждает меня о виражах, необходимых ему для фотосъемки. Я кое-как выкручиваюсь, хотя штурвал почти совсем замерз. Я создаю крен и беру штурвал немного на себя, машина с грехом пополам входит в вираж, и Дютертр успевает заснять кадров двадцать.

— Какая высота?

— Десять двести…

Я все еще думаю о Сагоне… Человек всегда остается самим собой. Все мы разные люди. И в себе самом я всегда обнаруживал лишь самого себя. Сагон знал одного лишь Сагона. Тот, кто умирает, умирает тем, кем он был. И если смерть постигла простого шахтера, умирает простой шахтер. Где оно, то дикое безумие, которое выдумывают писатели, чтобы нас потрясти?

В Испании я видел, как из-под обломков разрушенного снарядом дома извлекли человека, которого откапывали несколько дней. Безмолвно и, казалось, внезапно оробев, толпа окружила его — его, вернувшегося чуть ли не с того света. Покрытый мусором и щебнем, почти обезумевший от удушья и голода, он был похож на ископаемое чудовище. Когда кое-кто, осмелившись, начал задавать ему вопросы, а он с тупым вниманием стал прислушиваться, робость толпы сменилась чувством неловкости.

Ключи, которыми пробовали отпереть его сознание, не подходили, потому что никто не умел задать ему главный вопрос. Его спрашивали: «Что вы чувствовали… О чем думали… Что делали…» — словно перебрасывали наугад мостки через пропасть. Так хватаются за первое попавшееся средство, чтобы привлечь внимание погруженного в ночь глухонемого слепца, которого пытаются спасти.

Но когда человек смог отвечать, он сказал:

— Да-да, я слышал какой-то треск…

Или еще:

— Мне было тяжело. Это тянулось долго… Ох как долго…

Или:

— Болела поясница, сильно болела…

И этот человек рассказывал нам только об этом человеке. Больше всего он говорил о часах, которые потерял…

— Уж я искал их, искал… хорошие были часы… но в этой кромешной тьме…

Разумеется, жизнь научила его ощущать течение времени и любить привычные вещи. И для восприятия своего мира, пусть даже ограниченного обвалом и тьмой, он располагал чувствами лишь того человека, каким он был. И на главный вопрос, которого никто так и не сумел ему задать, но который вертелся у всех на языке: «Кем вы были? Кого вы открыли в себе?» — он мог бы ответить только одно: «Самого себя».

Ни при каких обстоятельствах в человеке не может проснуться кто-то другой, о ком он прежде ничего не подозревал. Жить — значит медленно рождаться. Это было бы чересчур легко — брать уже готовые души!

Порою кажется, будто внезапное озарение может совершенно перевернуть человеческую судьбу. Но озарение означает лишь то, что Духу внезапно открылся медленно подготовлявшийся путь. Я долго изучал грамматику. Меня учили синтаксису. Во мне пробудили чувства. И вдруг в

мое сердце постучалась поэма.

Конечно, сейчас я не чувствую никакой любви, но если сегодня вечером что-то откроется мне, значит, я уже раньше трудился и носил камни для невидимого сооружения. Я сам готовлю свое празднество, и я не вправе буду говорить, что внезапно во мне возник кто-то другой, потому что этого другого создаю я сам.

От всех моих военных приключений я не жду ничего, кроме этой медленной подготовки. Она окупится потом, как грамматика…

Это медленное изматывание притупило в нас ощущение жизни. Мы стареем. Задание старит. Чего стоит полет на большой высоте? Соответствует ли один час, прожитый на высоте десять тысяч метров, неделе, трем неделям или месяцу нормальной жизни организма, нормальной работы сердца, легких, артерий? Впрочем, не все ли равно! Мои полуобмороки состарили меня на века; я погрузился в старческую безмятежность. Все, что волновало меня, когда я снаряжался в полет, кажется теперь затерянным в бесконечно далеком прошлом. А Аррас — в бесконечно далеком будущем. Ну а военные приключения? Где они, эти приключения?

Всего минут десять назад я едва не погиб, а

рассказать мне не о чем, разве что о крохотных осах, промелькнувших передо мной за три секунды. Настоящее же приключение длилось бы десятую долю секунды. Но никто из нас не возвращается, не возвращается никогда, чтобы о нем рассказать.

— Дайте-ка левой ноги, капитан.

Дютертр забыл, что педали замерзли. А мне вспоминается поразившая меня в детстве картинка. Она изображала, на фоне северного сияния, странное кладбище погибших кораблей, затертых полярными льдами. В пепельном свете вечных сумерек они простирали свои обледеневшие руки. Среди мертвого штиля их все еще натянутые паруса хранили отпечаток ветра, как постель сохраняет отпечаток нежного плеча. Но чувствовалось, что они жесткие и ломкие.

Здесь тоже все замерзло. Рычаги замерзли. Пулеметы замерзли. И когда я спросил у стрелка:

— Как пулеметы?

Он ответил:

— Не работают.

— Ладно.

В респиратор кислородной маски я выплевываю ледяные иглы. Время от времени сквозь гибкую резину приходится раздавливать ледя-

ную пробку, которая не дает мне дышать! Когда я сжимаю трубку, я чувствую, как в руке у меня трещит лед.

— Стрелок, кислород в порядке?

— В порядке.

— Какое давление в баллонах?

— Гм… Семьдесят…

— Ладно.

Время для нас тоже замерзло. Мы — три седобородых старца. Ничто не движется. Ничто не торопит. Ничто не страшит.

Боевые подвиги? Однажды майор Алиас почему-то предупредил меня:

— Будьте осторожнее!

Быть осторожнее, майор Алиас? Каким образом? Истребители поражают сверху, словно молния. Летящий выше на полторы тысячи метров отряд истребителей, обнаружив вас под собой, может не торопиться. Он маневрирует, ориентируется, занимает выгодную позицию. А вы еще ничего не знаете. Вы — мышь, над которой простерлась тень хищника. Мышь воображает, что она живет. Она еще резвится во ржи. Но она уже в плену у ястребиного глаза, она прилипла к его зрачку крепче, чем к смоле, потому что ястреб ее уже не выпустит.

Так же и с вами. Вы продолжаете вести самолет, вы мечтаете, наблюдаете за землей, а между тем вас уже обрекла на гибель едва заметная черная точка, появившаяся в зрачке человека.

Девять истребителей обрушатся на вас по вертикали, когда им заблагорассудится. Времени у них хоть отбавляй. На скорости девятьсот километров в час они нанесут страшный удар гарпуном, который безошибочно поражает жертву. Эскадра бомбардировщиков обладает такой огневой мощью, что ей еще есть смысл обороняться, но один разведывательный самолет, затерянный в небе, никогда не одолеет семидесяти двух пулеметов, да и обнаружить-то их он сможет лишь по светящемуся снопу их пуль.

В тот самый миг, когда вам станет ясно, что вы под ударом, истребитель, подобно кобре, разом выпустив свой яд и уже выйдя из поля обстрела, недосягаемый, повиснет над вами. Так раскачиваются кобры, молниеносно жалят и снова начинают раскачиваться.

Значит, когда истребители исчезли, еще ничто не изменилось. Даже лица не изменились. Они меняются теперь, когда небо опустело и опять воцарился покой. Истребитель уже стал всего лишь бесстрастным очевидцем, а из рассеченной сон-

ной артерии штурмана брызжет первая струйка крови, из капота правого мотора неуверенно пробивается первое пламя, которое сейчас забушует, как огонь в горне. Кобра уже успела свернуться, а яд ее проникает в сердце, и на лице судорожно вздрагивает первый мускул. Истребители не убивают. Они сеют смерть. И смерть дает всходы, когда истребители уже далеко.

Быть осторожнее, майор Алиас? Но каким образом? Когда мы встретились с истребителями, мне нечего было решать. Я мог и не знать об их появлении. Если бы они летели прямо надо мной, я бы даже не узнал об этом!

Быть осторожнее? Но ведь небо пусто.

И земля пуста.

Когда ведешь наблюдение с высоты десять километров, человека не существует. В таком масштабе движения человека неразличимы. Наши длиннофокусные фотоаппараты служат нам микроскопами. Микроскоп нужен здесь для того, чтобы разглядеть не человека, — его и с помощью этого прибора не увидишь, — а лишь признаки человеческого присутствия: дороги, каналы, поезда, баржи. Человек оживляет то, что мы видим под микроскопом. Я бесстрастный ученый, и война этих микробов для меня сейчас всего лишь

предмет лабораторного исследования.

— Дютертр, стреляют?

— Кажется, стреляют.

Откуда ему знать? Разрывы слишком далеки, и пятна дыма сливаются с землей. Они, конечно, и не надеются сбить нас таким неточным огнем. На высоте десять тысяч метров мы практически неуязвимы. Они стреляют, чтобы определить наше положение и, может быть, навести на нас истребителей. Истребителей, затерянных в небе, подобно невидимой пыли.

С земли нас видно благодаря белому перламутровому шлейфу, который самолет, летя на большой высоте, волочит за собой, как подвенечную фату. Сотрясение, вызываемое полетом, кристаллизует водяные пары атмосферы. И мы разматываем за собой перистую ленту из ледяных игл. Если атмосферные условия благоприятствуют образованию облаков, этот след будет медленно распухать и превратится в вечернее облако над полями.

Истребители могут обнаружить нас по бортовой рации, по пучкам разрывов и, наконец, благодаря вызывающей роскоши нашего белого шлейфа. И все-таки мы парим в почти космической пустоте.

Мы летим — я знаю точно — со скоростью пятьсот тридцать километров в час… А между тем все остановилось. Скорость ощутима на беговой дорожке. Здесь же все погружено в пустоту. Так и земля: несмотря на скорость сорок два километра в секунду, кажется, что она оборачивается вокруг солнца довольно медленно. Она тратит на это целый год. Нас, быть может, тоже медленно нагоняет что-то, к нам тоже что-то тяготеет. Сколько самолетов приходится на единицу пространства в воздушной войне? Они — как пылинки под куполом собора. Сами пылинки, мы, быть может, притягиваем к себе несколько десятков или сотен других пылинок. И вся эта пыль медленно поднимается в лучах солнца, словно где-то вытряхивают ковер.

Чего мне опасаться, майор Алиас? Внизу, по вертикали, сквозь недвижное чистое стекло я вижу лишь какие-то безделушки прошлых веков. Я склоняюсь над музейными витринами. Но вот я повернул и теперь смотрю на них против света: где-то далеко впереди, конечно, Дюнкерк и море. Но под углом мне уже трудно что-нибудь различить. Солнце сейчас совсем низко, и я лечу над огромным сверкающим зеркалом.

— Дютертр, вы что-нибудь видите сквозь эту

мерзость?

— По вертикали вижу, господин капитан…

— Эй, стрелок, как там истребители?

— Ничего нового…

Я действительно понятия не имею, преследуют нас или нет и видно ли с земли, как за нами гонится множество шлейфов из паутины, похожих на тот, что мы волочим за собой.

«Шлейф из паутины». Эти слова будят мое воображение. Передо мной возникает образ, который сперва кажется мне великолепным: «…недоступные, как ослепительно красивая женщина, мы шествуем навстречу своей судьбе, медленно влача за собой длинный шлейф из ледяных звезд…»

— Дайте-ка левой ноги!

Вот это действительность. Но я снова возвращаюсь к своей дешевой поэзии:

«…вслед за этим виражом повернет и весь сонм наших поклонников…»

Дать левой… дать левой…

Легко сказать! Ослепительно красивой женщине не удается ее вираж.

— Если будете петь… вам не поздоровится… господин капитан.

Неужели я пел?

Впрочем, Дютертр отбивает у меня всякую охо-

ту к легкой музыке:

— Я почти закончил съемку. Скоро можно снижаться к Аррасу.

Можно… Можно… разумеется! Надо пользоваться удобным случаем.

Вот так штука! Рукоятки сектора газа тоже замерзли…

И я думаю: «На этой неделе из трех вылетевших экипажей вернулся один. Стало быть, шансов очень мало. Но даже если мы вернемся, нам нечего будет рассказать. В жизни мне случалось совершать то, что принято называть подвигами: прокладка почтовых линий, столкновения в Сахаре, Южная Америка… Но война — не настоящий подвиг, война — это суррогат подвига. В основе подвига — богатство связей, которые он создает, задачи, которые он ставит, свершения, к которым побуждает. Простая игра в орлянку еще не превратится в подвиг, даже если ставкой в ней будет жизнь или смерть. Война — это не подвиг. Война — болезнь. Вроде тифа».

Быть может, когда-нибудь потом я пойму, что моим единственным настоящим подвигом во время войны было то, что связано с комнатой на ферме в Орконте.

XI

В Орконте, деревне близ Сен-Дизье, где суровой зимой тридцать девятого года базировалась моя авиагруппа, я жил в глинобитном домике. Ночью температура падала настолько, что вода в деревенском кувшине превращалась в лед, и потому, прежде чем одеваться, я первым делом затапливал печь. Но для этого мне приходилось вылезать из теплой постели, где я блаженствовал, свернувшись калачиком.

Для меня не было ничего лучше этого простого монастырского ложа в этой пустой и промерзшей комнате. Здесь я вкушал безмятежный покой после тяжелого дня. Здесь я наслаждался безопасностью. Мне здесь ничто не угрожало. Днем мое тело подвергалось суровым испытаниям большой высоты, днем его подстерегали смертоносные осколки. Днем оно могло стать средоточием страданий, его могли незаслуженно разорвать на части. Днем мое тело мне не принадлежало. Больше не принадлежало. Его могли лишить рук, ног, из него могли выпустить кровь. Потому что — и это тоже только на войне — ваше тело превращается в склад предметов, которые

вам уже не принадлежат. Является судебный исполнитель и требует ваши глаза. И вы отдаете ему свою способность видеть. Является судебный исполнитель и требует ваши ноги. И вы отдаете ему свою способность ходить. Является судебный исполнитель с факелом и требует всю кожу с вашего лица. И вот вы становитесь страшилищем, потому что откупились от судебного исполнителя своею способностью дружески улыбаться людям. Итак, тело, которое в тот самый день могло оказаться моим врагом и причинить мне боль, тело, которое могло превратиться в фабрику стонов, — это тело пока еще оставалось моим другом, послушным и близким, уютно свернувшимся калачиком и дремлющим на простыне, и не поверяло моему сознанию ничего, кроме радости бытия, ничего, кроме блаженного похрапывания. Но я, хочешь не хочешь, должен был извлечь его из постели, вымыть ледяной водой, побрить, одеть, чтобы в таком безупречном виде предоставить в распоряжение стальных осколков. И мне казалось, что, извлекая свое тело из постели, я словно вырываю дитя из материнских объятий, отрываю его от материнской груди, от всего, что в детстве ласкает, нежит, защищает тело ребенка.

И тогда, хорошенько взвесив и обдумав свое ре-

шение, оттянув его как только можно, я, стиснув зубы, одним прыжком бросался к печке, швырял в нее охапку дров и обливал их бензином. Затем, когда пламя охватывало дрова, я вновь совершал переход через комнату и опять забирался в постель, где было еще тепло, и оттуда, зарывшись под одеяла и перину, одним только левым глазом следил за печкой. Сначала она не разгоралась, потом на потолке начинали пробегать отсветы вспышек. Потом огонь охватывал всю охапку: так веселье охватывает гостей на удавшемся празднике. Дрова принимались трещать, гудеть и напевать. Становилось весело, как на деревенской свадьбе, когда гости подвыпьют и начинают шуметь и подталкивать друг друга локтями.

А иногда мне казалось, что мой добрый огонь неусыпно охраняет меня, как проворный сторожевой пес, который преданно служит хозяину. Глядя на огонь, я тайно ликовал. И когда праздник был уже в полном разгаре, и тени плясали на потолке, и звучала эта жаркая золотистая музыка, а в углах печи громоздились горы раскаленных углей, когда вся комната наполнялась волшебным запахом смолы и дыма, — тогда я прыжком покидал одного друга ради другого, я бежал от постели к огню, предпочитая более щедрого, и,

право, не знаю, поджаривал ли я себе живот или согревал сердце. Из двух соблазнов я малодушно уступал более заманчивому сверкающему, тому, который шумнее и ярче себя рекламировал.

И так три раза: сперва, чтобы растопить печь, потом, чтобы улечься обратно и, наконец, чтобы вернуться и собрать урожай тепла, — три раза, стуча зубами, я пересекал ледяную пустыню моей комнаты и в известной мере постигал, что такое полярная экспедиция. Я несся через пустыню к блаженной посадке, и меня вознаграждал этот жаркий огонь, плясавший передо мной, для меня, свою пляску сторожевого пса.

Все это как будто пустяки. Но для меня это было настоящим подвигом. Моя комната с очевидностью явила мне то, чего я никогда не смог бы открыть в ней, если бы мне случилось попасть сюда в качестве простого туриста. Тогда она показалась бы мне ничем не примечательной пустой комнатой с кроватью, кувшином и плохонькой печью. Я зевнул бы в ней раз-другой — и только. Как мог я распознать три ее облика, три заключенных в ней царства: сна, огня и пустыни? Как мог я предугадать все превращения тела, которое сначала было телом ребенка, прильнувшего к материнской груди, согретым и защищенным,

потом телом солдата, созданным для страданий, потом телом человека, обогащенного радостью обладания огнем, этой святыней, вокруг которой собирается племя? Огонь воздаст честь и хозяину, и его друзьям. Навещая друга, они участвуют в его празднестве, они усаживаются вокруг него в кружок и, беседуя о насущных заботах, о своих тревогах и трудах, говорят, потирая руки и набивая табачок в трубку: «До чего приятно посидеть у огонька!»

Но нет больше огня, чтобы я мог поверить в нежность. Нет больше промерзшей комнаты, чтобы я мог поверить в подвиг. Я пробуждаюсь от своих грез. Есть только абсолютная пустота. Есть только глубокая старость. Есть только голос, голос Дютертра, упорствующего в своей невыполнимой просьбе:

— Дайте-ка левой ноги, господин капитан…

XII

Я исправно выполняю свою работу. Несмотря на то что мы — экипаж, обреченный на поражение. Я погружен в атмосферу поражения. Поражение сочится отовсюду, и признак его я даже держу в руке.

Рукоятки сектора газа замерзли. Я вынужден идти на полном режиме. И вот эти два куска железа ставят меня перед неразрешимыми проблемами.

На моем самолете предел увеличения шага винтов сильно занижен. Если я буду пикировать на полном газу, мне вряд ли избежать скорости, близкой к восьмистам километрам в час, и раскрутки винтов. А раскрутка винтов может привести к разрыву вала.

В крайнем случае я мог бы выключить зажигание. Но тогда я пойду на неизбежную аварию. Эта авария приведет к срыву задания и, возможно, к потере самолета. Не всякая местность пригодна для посадки машины, касающейся земли на скорости сто восемьдесят километров в час.

Значит, во что бы то ни стало надо освободить рукоятки. После первого усилия мне удается одо-

леть левую. Но правая все еще не слушается.

Теперь я мог бы снизиться на допустимой скорости, убавив обороты хотя бы одного, левого мотора, которым я могу управлять. Но если я уменьшу число оборотов левого мотора, мне придется компенсировать боковую тягу правого, которая неизбежно будет разворачивать машину влево. Мне надо этому противодействовать. А педали, посредством которых это достигается, тоже совершенно замерзли. Значит, я лишен возможности что-либо компенсировать. Если я убавлю обороты левого мотора, то войду в штопор.

Итак, мне ничего не остается, как пойти на риск и превысить предел числа оборотов, за которым теоретически возможен разрыв вала. Три тысячи пятьсот оборотов: угроза разрыва.

Все это бессмысленно. Все неисправно. Наш мир состоит из множества не пригнанных друг к другу шестеренок. И дело здесь не в механизмах, а в Часовщике. Не хватает Часовщика.

Мы воюем уже девять месяцев, а нам до сих пор не удалось добиться, чтобы заводы, выпускающие пулеметы и системы управления, приспособили их к условиям большой высоты. И происходит это не из-за нерадивости людей. Люди в большинстве своем честны и добросовестны. Их инертность

почти всегда следствие, а не причина бесплодности их усилий.

Эта бесплодность гнетет нас всех, словно рок. Она гнетет пехотинцев, вооруженных штыками против танков. Она гнетет летчиков, которые сражаются один против десяти. Она гнетет даже тех, кому следовало бы заниматься модернизацией пулеметов и систем управления.

Мы живем в слепом чреве администрации. Администрация — это машина. Чем она совершеннее, тем меньше она оставляет места для вмешательства человека. При безупречно действующей администрации, где человек играет роль шестеренки, его лень, недобросовестность, несправедливость никак не могут проявиться.

Но, подобно машине, построенной для того, чтобы последовательно производить раз навсегда предусмотренные движения, администрация не способна действовать творчески. Она применяет такое-то наказание к такому-то проступку, отвечает таким-то решением на такую-то задачу. Администрация создана не для того, чтобы решать новые задачи. Если в штамповальный станок закладывать куски дерева, он не начнет выпускать мебель. Чтобы приспособить его к этому, человек должен иметь право его переделать.

Но в администрации, созданной для того, чтобы предотвращать нежелательное человеческое вмешательство, шестеренки отвергают волю человека. Они отвергают Часовщика.

Я состою в группе 2/33 с ноября. Как только я прибыл, товарищи предупредили меня:

— Теперь будешь болтаться над Германией без пулеметов и без управления.

И в утешение прибавили:

— Не волнуйся. Это не меняет дела: истребители все равно сбивают нас прежде, чем мы успеваем их заметить.

И вот в мае, спустя полгода после этого разговора, пулеметы и управление продолжают замерзать.

Я вспоминаю изречение, древнее, как моя страна: «Когда кажется, что Франция уже погибла, ее спасает чудо». Я понял, почему это так. Бывало, страшная катастрофа приводила в негодность нашу превосходную административную машину, и становилось ясно, что починить ее невозможно. Тогда, за неимением лучшего, ее заменяли простыми людьми. И эти люди спасали все.

Когда вражеская бомба превратит министерство авиации в груду пепла, срочно призовут

первого попавшегося капрала и скажут ему:

— Вам поручается сделать так, чтобы управление не замерзало. Вам предоставляются неограниченные полномочия. Делайте что угодно. Но если через две недели оно по-прежнему будет замерзать, вы пойдете на каторгу.

Тогда, быть может, управление оттает.

Я могу привести сотни примеров такого порочного администрирования. В одном из северных департаментов комиссии интендантства реквизировали стельных коров и превратили бойни в кладбище телят, еще не вышедших из материнской утробы. Ни один винтик этой машины, ни один полковник интендантской службы не мог действовать иначе, чем в качестве винтика. Все они подчинялись другому винтику — как в часовом механизме. Всякое неповиновение было бесполезно. Поэтому как только машина начала разлаживаться, она принялась вовсю забивать стельных коров. Пожалуй, это было еще наименьшее зло. Окажись повреждение более серьезным, та же машина, чего доброго, стала бы забивать интендантских полковников.

Я до мозга костей подавлен этим всеобщим развалом. Но так как сейчас, по-видимому, не стоит

губить один из моих моторов, я еще раз наваливаюсь на правую рукоятку. Обозлившись, нажимаю изо всех сил. И тут же отпускаю. От напряжения у меня опять закололо в сердце. Право же, человек не приспособлен к физическим упражнениям на высоте десять тысяч метров. Я чувствую приглушенную боль, словно укор совести, неожиданно пробудившейся среди глубокого сна всего тела.

Моторы пусть разваливаются, если им так хочется. Мне на них наплевать. Я стараюсь вздохнуть. Кажется, мне никогда не удастся вздохнуть, если я позволю себе отвлечься. Я вспоминаю мехи, которыми в старину раздували огонь. Я раздуваю свой огонь. И мне очень хочется убедить его, чтобы он снова «занялся».

Что же я так непоправимо испортил? На высоте десять тысяч метров слишком резкое физическое усилие может вызвать разрыв сердечной мышцы. Сердце — вещь очень хрупкая. А служить оно должно долго. Глупо рисковать им ради такой грубой работы. Это все равно что жечь алмазы ради того, чтобы испечь яблоко.

XIII

Это все равно что сжечь на севере все деревни, хотя, уничтожив их, нельзя даже и на полдня задержать наступление немцев. И все-таки эти бесчисленные деревни, эти старинные церкви, эти старинные дома, со всем их грузом воспоминаний, с натертыми до блеска ореховыми паркетами, с добротным бельем в шкафах и кружевными занавесками, которым до сих пор не было сносу, — я вижу, как все это от Дюнкерка до Эльзаса охвачено пламенем.

«Охвачено пламенем» — сказано слишком сильно: когда наблюдаешь с высоты десять тысяч метров, над деревнями, как и над лесами, виден только неподвижный дым, что-то вроде беловатого студня. Огонь превращается в скрытое сгорание. На высоте десять тысяч метров время словно замедляет свой бег, потому что никакого движения нет. Нет треска пламени, нет грохота падающих балок, нет вихрей, черного дыма. Нет ничего, кроме этой сероватой мути, застывшей в янтаре.

Исцелят ли когда-нибудь этот лес? Исцелят ли эту деревню? С такой высоты кажется, что огонь

снедает их медленно, как болезнь.

По этому поводу можно многое сказать. «Мы не будем щадить деревни». Я слышал эти слова. И слова эти были необходимы. Во время войны деревня — это уже не средоточие традиций. В руках врага она превращается в жалкую дыру. Все меняет смысл. К примеру, эти столетние деревья осеняли ваш старый родительский дом. Но они заслоняют поле обстрела двадцатидвухлетнему лейтенанту. И вот он отряжает взвод солдат, чтобы уничтожить это творение времени. Ради десятиминутной операции он стирает с лица земли триста лет упорного труда человека и солнечных лучей, триста лет культа домашнего очага и обручений под сенью парка. Вы говорите ему:

— Мои деревья!

Он вас не слышит. Он воюет. Он прав.

Но сейчас жгут деревни ради игры в войну, ради этого рубят парки, и жертвуют летными экипажами, и посылают пехоту против танков. И становится невыразимо тошно. Потому что все это не имеет смысла.

Враг уяснил себе одну очевидную истину и пользуется ею. Люди занимают немного места на необъятных просторах земли. Чтобы постро-

ить солдат сплошной стеной, их потребовалось бы сто миллионов. Значит, промежутки между войсковыми частями неизбежны. Устранить их, как правило, можно подвижностью войск, но для вражеских танков слабо моторизованная армия как бы неподвижна. Значит, промежуток становится для них настоящей брешью. Отсюда простое тактическое правило: «Танковая дивизия действует, как вода. Она оказывает легкое давление на оборону противники и продвигается только там, где не встречает сопротивления». И танки давят на линию обороны. Промежутки имеются в ней всегда. Танки всегда проходят.

Эти танковые рейды, воспрепятствовать которым за неимением собственных танков мы бессильны, наносят непоправимый урон, хотя на первый взгляд они производят лишь незначительные разрушения (захват местных штабов, обрыв телефонных линий, поджог деревень). Танки играют роль химических веществ, которые разрушают не сам организм, а его нервы и лимфатические узлы. Там, где молнией пронеслись танки, сметая все на своем пути, любая армия, даже если с виду она почти не понесла потерь, уже перестала быть армией. Она превратилась в отдельные сгустки. Вместо единого организма

остались только не связанные друг с другом органы. А между этими сгустками — как бы отважны ни были солдаты — противник продвигается беспрепятственно. Армия теряет боеспособность, когда она превращается в скопище солдат.

Технические средства не создаются за две недели. Ни даже… Мы не могли не отстать в гонке вооружений. Нас было сорок миллионов земледельцев против восьмидесяти миллионов, занятых в промышленности!

Мы воюем один против трех. У нас один самолет против десяти или двадцати и после Дюнкерка — один танк против ста. Нам некогда размышлять о прошлом. Мы живем в настоящем. А настоящее таково. Никакая наша жертва никогда и нигде не может задержать наступление немцев.

Поэтому сверху донизу гражданской и военной иерархии, от водопроводчика до министра, от солдата до генерала, все чувствуют нечто вроде угрызений совести, но никто не может и не смеет их выразить. Жертва теряет всякое величие, если она становится лишь пародией на жертву или самоубийством. Самопожертвование прекрасно, когда гибнут немногие ради спасения остальных. Во время пожара приходится жертвовать меньшим ради спасения большего. В укрепленном

лагере бьются насмерть, чтобы дать время своим подойти на выручку. Да, это так. Но что бы мы сейчас ни делали, огонь охватит все. И нет лагеря, который мы могли бы укрепить. И нечего надеяться, что кто-то придет нам на выручку. И кажется, мы просто обрекаем на гибель тех, за кого мы сражаемся, или делаем вид, что сражаемся, потому что самолет, сметающий города в тылу войск, полностью изменил характер войны.

Люди сторонние будут впоследствии упрекать Францию за те несколько мостов, которые не были взорваны, за те несколько деревень, которые не были сожжены, и за тех солдат, что остались в живых. Но меня поражает как раз обратное. Меня поражает та безграничная готовность, с которой мы зажмуриваем глаза и затыкаем уши. Поражает наша безнадежная борьба против очевидности. Все уже потеряло смысл, — а мы упрямо взрываем мосты, чтобы продолжать игру. Мы сжигаем настоящие деревни, чтобы продолжать игру. И, чтобы продолжать игру, умирают наши солдаты.

Разумеется, кое-что и забывают! Забывают взорвать мост, забывают поджечь деревню, порою щадят жизнь солдат. Но трагизм этого разгрома в том, что он лишает действия всякого смысла. Сол-

дат, взрывающий мост, не может не испытывать отвращения. Этот солдат не задерживает врага: он превращает мост в груду развалин, и только. Он калечит свою родину, лишь бы получилась удачная карикатура на войну!

Действовать с воодушевлением можно только тогда, когда действия имеют очевидный смысл. Не жаль спалить урожай, если под его пеплом будет погребен враг. Но врагу, который опирается на свои сто шестьдесят дивизий, плевать на наши пожары и на гибель наших солдат.

Нужно, чтобы то, ради чего сжигают деревню, стоило самой деревни. Но теперь значение сожженной деревни стало лишь карикатурой на значение.

Нужно, чтобы то, ради чего умираешь, стоило самой смерти. Хорошо или плохо сражаются солдаты? Уже сам этот вопрос лишен всякого смысла! Теоретически известно, что населенный пункт способен обороняться не больше трех часов. Но солдаты получили приказ удерживать его. Не имея никаких средств для борьбы, они сами побуждают врага разрушить селение, только бы соблюсти правила игры в войну. Как услужливый противник за шахматной доской: «Ты забыл взять мою пешку…» Так и мы бросаем врагу: «Мы

защитники этой деревни. Вы нападающие. Ну так валяйте!»

Предложение принято. Вражеская эскадрилья растаптывает деревню своим каблуком.

— Все по правилам!

Есть, конечно, люди пассивные, но пассивность — это скрытая форма отчаяния. Есть, конечно, и дезертиры. Сам майор Алиас раза два-три угрожал револьвером угрюмым беглецам, попадавшимся ему на дорогах и невпопад отвечавшим на его вопросы. Так хочется схватить виновника катастрофы и, уничтожив его, спасти все! Беглецы виновны в бегстве, потому что, не будь беглецов, не было бы и бегства. И если навести на них револьвер, все пойдет хорошо… Но ведь это все равно что заживо хоронить больных с целью уничтожить болезнь. В конце концов майор Алиас снова прятал револьвер в карман, потому что в его собственных глазах этот револьвер внезапно принимал чересчур помпезный вид, словно опереточная сабля. Алиас прекрасно понимал, что эти угрюмые солдаты — следствие катастрофы, а не ее причина.

Алиас прекрасно знает, что это такие же, точно такие же солдаты, как и те, которые в другом месте, сегодня еще, идут на смерть. Ведь за по-

следние две недели сто пятьдесят тысяч уже пошли на смерть. Но есть умники, которые требуют, чтобы им объяснили, зачем это нужно.

А объяснять трудно.

Бегун должен пробежать дистанцию своей жизни, состязаясь с бегунами своего же разряда. Но у самого старта он замечает, что тащит на ноге ядро каторжника. А его соперники летят, как на крыльях. Борьба теряет всякий смысл. Человек сходит с дистанции.

— Это не в счет…

— В счет! В счет!..

Что придумать, чтобы все-таки заставить человека вложить все свои силы в состязание, которое уже перестало быть состязанием?

Алиасу хорошо известно, что думают солдаты. Они тоже думают: «Это не в счет…»

Алиас прячет свой револьвер и ищет убедительный ответ.

Есть только один убедительный ответ. Один-единственный. Пусть кто-нибудь попробует найти другой:

— Ваша смерть ничего не изменит. Поражение уже свершилось. Но полагается, чтобы поражение выражалось в потерях. Должны быть убитые. Сегодня ваша очередь сыграть эту роль.

— Слушаюсь, господин майор.

Алиас не презирает беглецов. Он прекрасно знает, что его убедительного ответа всегда бывало достаточно. Он и сам идет на смерть. Все его экипажи идут на смерть. И для нас оказалось вполне достаточно того же убедительного ответа, только чуточку завуалированного:

— Скверное задание… Но в штабе настаивают… Упорно настаивают… Тут уж ничего не поделаешь…

— Слушаюсь, господин майор!

Я думаю, что те, кто погиб, просто служат порукой за остальных.

XIV

Я так состарился, что у меня уже все позади. Я смотрю сквозь большое отсвечивающее стекло кабины. Подо мною люди. Инфузории на стеклышке микроскопа. Разве можно интересоваться семейными драмами инфузорий?

Если бы не эта боль в сердце, которую я ощущаю так живо, я погрузился бы в дремоту, как состарившийся тиран. Всего лишь десять минут назад я сочинил историю с поклонниками. Тошнотворная фальшь. Разве я думал о нежных вздохах, когда заметил истребителей? Я думал о жалящих осах. Ну конечно, об осах. Они были совсем крошечные, эти мерзавки.

И я мог без отвращения вообразить себе платье со шлейфом! Я вовсе и не думал о платье со шлейфом по той простой причине, что никогда не видел следа своего самолета. Из кабины, куда я засунут, как трубка в футляр, мне не видно, что делается сзади. Назад я смотрю глазами моего стрелка. Да и то если ларингофоны в исправности! А мой стрелок ни разу не сказал мне: «Вон сколько воздыхателей увязалось за нашим шлейфом...»

Остался только скептицизм и игра словами. Разумеется, я хотел бы верить, хотел бы сражаться, хотел бы победить. Но сколько ни притворяйся, что, поджигая собственные деревни, ты веришь, сражаешься и побеждаешь, воодушевиться этим нелегко.

Жить тоже нелегко. Человек — всего лишь узел отношений, а мои связи, оказывается, немногого стоят.

Что во мне потерпело аварию? В чем тайна переклички между моим существом и внешним миром? Почему то, что кажется мне сейчас отвлеченным и далеким, при других обстоятельствах могло бы глубоко меня взволновать? Почему какое-нибудь слово или жест порой образует бесконечные круги в чьей-то судьбе? Почему, если я Пастер, возня крошечных инфузорий приобретает для меня такой огромный смысл, что стеклышко микроскопа может мне показаться гораздо обширнее девственного леса, и, склонившись над ним, я смогу пережить приключение в его наивысшей форме?

Почему эта черная точка, это человеческое жилище, там, внизу…

И я вспоминаю.

Когда я был маленький… Я возвращаюсь к

своему раннему детству. Детство, этот огромный край, откуда приходит каждый! Откуда я родом? Я родом из моего детства, словно из какой-то страны… Так вот, когда я был маленький, однажды мне случилось пережить нечто странное.

Мне было лет пять или шесть. Было восемь часов вечера. Восемь часов — время, когда дети должны уже спать. В особенности зимой, потому что зимой рано темнеет. Однако обо мне забыли.

В первом этаже нашего большого деревенского дома была передняя, казавшаяся мне огромной; туда выходила дверь теплой комнаты, где мы, дети, обедали. Я всегда побаивался этой передней, быть может, потому, что тусклый свет лампы, висевшей посредине и скорее похожей на сигнальный фонарь, едва рассеивал царивший там густой мрак, и потому, что в тишине потрескивали деревянные панели, а еще потому, что там было холодно. Из освещенных и теплых комнат сюда входили, как в пещеру.

Но в тот вечер, видя, что обо мне забыли, я послушался злого демона, дотянулся на цыпочках до дверной ручки, тихонько нажал ее, вышел в переднюю и пустился тайком исследовать мир.

Однако мне показалось, что деревянные панели своим потрескиванием предупреждают меня

о гневе Божием. В полумраке я смутно различал укоризненно смотревшие на меня панели. Не смея идти дальше, я кое-как взобрался на столик у зеркала, прижался спиной к стене и, свесив ноги, застыл там с бьющимся сердцем, как потерпевший кораблекрушение — на скале, в открытом море.

И тогда отворилась дверь гостиной и в переднюю вошли два мои дяди, всегда внушавшие мне священный ужас; закрыв за собой дверь, за которой было светло и шумно, они начали расхаживать по передней.

Я дрожал, боясь, что меня обнаружат. Один дядя, Гюбер, был для меня олицетворением строгости. Посланцем Божественного правосудия. Этот человек, который никогда и пальцем не тронул бы ребенка, повторял, грозно хмуря брови по случаю каждой моей провинности: «В следующий раз, как поеду в Америку, привезу оттуда машину для порки детей. В Америке все усовершенствовано. Вот почему дети там — само послушание. И родителям живется спокойно…»

Я не любил Америку.

И вот они расхаживали, не замечая меня, взад и вперед по холодной, необъятной передней. Я следил за ними глазами, прислушивался, затаив

дыхание, голова у меня кружилась. «В нашу эпоху...» — говорили они. И удалялись, унося с собой тайну, доступную только взрослым, а я повторял про себя: «В нашу эпоху...» Потом они возвращались, как прилив, который снова катил ко мне свои загадочные сокровища. «Это безумие, — говорил один другому, — это просто безумие...» Я подхватывал эту фразу, словно какую-то диковинку. И медленно повторял, чтобы испытать силу воздействия этих слов на мое детское сознание: «Это безумие, это просто безумие...»

Итак, отлив уносил от меня дядей. Прилив снова прибивал их ко мне. Это удивительное явление, открывавшее передо мною новые, еще неясные горизонты, повторялось с той же правильностью, с какой, по законам всемирного тяготения, движутся небесные светила. А я был навеки прикован к своему столику — тайный свидетель торжественного совещания, на котором оба мои дяди, знавшие решительно все, вместе творили мир. Дом мог простоять еще тысячу лет, и, тысячу лет расхаживая по передней с медлительностью маятника, оба дяди все так же создавали бы в нем ощущение вечности.

Эта точка, в которую я всматриваюсь, на расстоянии десяти километров подо мной, ко-

нечно, человеческое жилище. Но мне оно ничего не говорит. А ведь, может быть, это большой деревенский дом, где расхаживают два дяди, медленно создавая в детском сознании нечто столь же удивительное, как беспредельность морей.

С высоты десять тысяч метров я просматриваю территорию целой провинции, но мне так тесно, что я почти задыхаюсь. Здесь у меня меньше пространства, чем было его в том черном зернышке.

Я потерял ощущение беспредельности. Я слеп к беспредельности. Но в то же время я как бы жажду ее. И мне кажется, что тут я касаюсь какой-то общей меры всех человеческих устремлений.

Когда какая-нибудь случайность пробуждает в человеке любовь, то все в нем подчиняется этой любви и любовь дает ему ощущение беспредельности. Когда я жил в Сахаре, ночью у наших костров, бывало, появлялись арабы, предупреждая нас о грозящей опасности. И тогда пустыня оживала и обретала смысл. Эти вестники создавали ее беспредельность. Тем же одаряет и музыка, когда она прекрасна. И привычный запах старого шкафа, когда он пробуждает и оживляет наши воспоминания. Патетика — это и есть ощущение беспредельности.

Но я понимаю также, что все относящееся к

человеку нельзя ни сосчитать, ни измерить. Подлинная беспредельность не воспринимается глазом, она доступна только духу. Ее можно сравнить с языком, потому что язык связывает между собой все.

Мне кажется, теперь я лучше понимаю, что такое духовная культура. Духовная культура — это наследие верований, обычаев и знаний, накопленных веками, — иногда их трудно оправдать логически, но они содержат свое оправдание в самих себе, как дороги, если они куда-то ведут, потому что это наследие открывает человеку его внутреннюю беспредельность.

Дурная литература проповедовала нам бегство. Разумеется, пускаясь в странствия, мы бежим в поисках беспредельности. Но беспредельность нельзя найти. Она созидается в нас самих. А бегство никого никуда не приводило.

Если человеку, чтобы почувствовать себя человеком, нужно участвовать в состязании в беге, петь в хоре или воевать, то это уже узы, которыми он стремится связать себя с другими людьми и с миром. Но до чего же непрочны такие узы! Подлинная духовная культура целиком заполняет человека, даже если он неподвижен.

В каком-нибудь тихом городке, сквозь серую

дымку дождливого дня я вижу калеку-затворницу, задумчиво сидящую у своего окошка. Что она есть? Что из нее сделали? О духовной культуре этого городка я буду судить по насыщенности ее внутренней жизни. Чего мы стоим, если вдруг становимся неподвижны?

Внутренняя жизнь молящегося доминиканца насыщена до предела. Человеком в полной мере он становится именно тогда, когда, простершись ниц, неподвижно застывает в молитве. Внутренняя жизнь Пастера, когда он, затаив дыхание, склоняется над своим микроскопом, насыщена до предела. В полной мере человеком Пастер становится именно тогда, когда наблюдает. Тут он идет вперед. Тут он спешит. Тут он шествует гигантскими шагами, хотя сам он неподвижен, и тут ему открывается беспредельность. Сезанн, безмолвно застывший перед своим этюдом, тоже живет бесценной внутренней жизнью. Человек в полной мере он именно тогда, когда молчит, всматривается и судит. Тогда его полотно становится для него бескрайним, как море.

Беспредельность, дарованная мне домом моего детства или моей комнатой в Орконте, беспредельность, постигнутая Пастером, благодаря тому что он увидел под микроскопом, беспредель-

ность, открываемая поэмой, — все это хрупкие и неоценимые блага, которыми награждает только духовная культура, ибо беспредельность существует для духа, а не для глаз, и беспредельность непостижима без языка.

Но как вернуть смысл моему языку в час всеобщего хаоса? В час, когда деревья в парке — это одновременно и ковчег для многих поколений, и просто помеха для артиллериста. В час, когда пресс бомбардировщиков всей своей тяжестью придавил города и заставил целый народ черным соком разлиться по дорогам. В час, когда Франция являет собой мерзкое зрелище развороченного муравейника. В час, когда мы боремся не с осязаемым противником, а с замерзшими педалями, заклинившимися рукоятками, сорванной нарезкой…

— Можно снижаться!

Я могу снижаться. Я снижусь. Я полечу к Аррасу на малой высоте. За мной тысячелетняя духовная культура, она должна мне помочь. Но она мне не помогает. Сейчас, разумеется, не время пожинать ее плоды.

На скорости восемьсот километров в час и при трех тысячах пятистах тридцати оборотах в минуту я теряю высоту.

Сделав разворот, я расстался с преувеличенно красным полярным солнцем. Впереди, в пяти-шести километрах подо мной, я вижу прямолинейный фронт облаков. Их тень накрыла большой кусок Франции. Под ними — Аррас. Там, наверное, все погружено во тьму. Это чрево огромного котла, в котором медленно кипит война. Забитые дороги, пожары, брошенное военное имущество, разоренные деревни, хаос… невообразимый хаос. Люди бессмысленно копошатся под тучей, как мокрицы под камнем.

Этот спуск подобен разорению. Нам тоже придется шлепать по грязи. Мы возвращаемся к какому-то разгромленному царству варваров. Там, внизу, все разлагается! Мы похожи на богатых путешественников, которые, проведя много лет в стране кораллов и пальм, разорившись, возвращаются домой, где их ждет жалкое прозябание в скаредной семье, плохо вымытая посуда, горечь мелочных дрязг, судебный исполнитель, бесконечные заботы о деньгах, напрасные надежды, позорные выселения, наглость домовладельца, нищета и зловонная смерть в больнице. Здесь смерть по крайней мере чиста! Ледяная и огненная смерть. Солнце, небо, лед и огонь. А там, внизу, тебя медленно засасывает глина!

XV

— Курс на юг, капитан. Излишек высоты ликвидируем во французской зоне!

Глядя на эти черные дороги, которые теперь уже хорошо видны, я понимаю, что такое мир. Мир — это определенный порядок. Крестьяне по вечерам возвращаются в деревню. Зерно засыпают в амбары. И аккуратно сложенное белье убирают в шкафы. В дни мира знаешь, где лежит каждая вещь, знаешь, где найти каждого друга. Знаешь, где ты будешь сегодня спать. Да! Мир гибнет, если рвутся нити основы, если ты больше не находишь себе места на свете, если не знаешь, где тот, кого любишь, если муж, ушедший в море, не вернулся домой.

Мир — это когда все вещи пребывают на своих местах и обретают истинный смысл, отчетливо проступающий сквозь их внешнюю оболочку. Когда они составляют часть чего-то большего, нежели они сами, как различные соли земли, соединившиеся в дереве.

Но разразилась война.

И вот я лечу над дорогами, а по ним бесконечной рекой течет черная патока. Говорят, будто

население эвакуируют. Но теперь это уже неправда. Население эвакуируется самотеком. В этом великом переселении есть какое-то заразное безумие. В самом деле, куда устремляются все эти беженцы? Они идут на юг, как будто там их ждут кров и пища, как будто там их ожидает гостеприимство. Но ведь там, на юге, есть только битком набитые города, где люди спят в сараях и где запасы продовольствия на исходе. Где даже самые щедрые мало-помалу ожесточаются из-за бессмысленности этого нашествия, которое мало-помалу, словно поток грязи, поглощает их самих. Не может же одна провинция приютить и прокормить всю Францию!

Куда они идут? Они и сами не знают! Они шагают к каким-то призрачным стоянкам, потому что едва лишь их караван доберется до оазиса, как оазиса уже нет и в помине. Каждый оазис исчезает, когда приходит его черед, и в свой черед он вливается в караван. И если караван доберется до настоящей деревни, которая делает вид, будто она еще живет, он в первый же вечер высасывает из нее все жизненные соки. Он объедает ее, как черви объедают кость.

Враг движется быстрее беженцев. Кое-где танки присоединяются к их потоку, и тогда он густеет

и ползет назад. Иногда в этом месиве увязают целые немецкие дивизии, и порою можно наблюдать парадоксальное явление: те, что в других местах убивали, здесь подают напиться.

За время отступления мы стояли, быть может, в десяти деревнях, переходя из одной в другую. Мы погружались в этот тягучий ил, медленно тянувшийся через наши деревни.

— Куда вы едете?

— Сами не знаем.

Они вообще ничего не знали. Никто ничего не знал. Они эвакуировались. Нигде уже не было ни одного свободного угла. Все дороги были забиты. И все-таки они эвакуировались. На севере кто-то ударом ноги разворошил муравейник, и муравьи разбредались кто куда. Как подобает трудолюбивым муравьям. Без паники. Без надежды. Без отчаяния. Словно выполняя долг.

— Кто вам велел эвакуироваться?

Приказ всегда исходил от мэра, или от учителя, или от помощника мэра. Ночью, часов около трех, он внезапно будил всю деревню:

— Эвакуируемся.

Они этого ждали. Вот уже две недели, как мимо них тянулись беженцы, и они отказались верить в незыблемость своего дома. А между тем человек

уже давно перестал быть кочевником. Он строил деревни, которые стояли веками. Он полировал мебель, и она служила его правнукам. Отчий дом принимал человека при рождении и, как надежный корабль, вез его до самой смерти, а потом переправлял с одного берега на другой и его сына. Но вот оседлой жизни пришел конец. И люди уходили, даже не понимая зачем!

XVI

Немало горя пришлось нам хлебнуть на дорогах войны.

Иногда бывают такие задания, когда за одно утро надо оглядеть и Эльзас, и Бельгию, и Голландию, и север Франции, и море. Но чаще всего мы решаем земные задачи, и наш горизонт обычно ограничивается дорожной пробкой на каком-нибудь перекрестке. Дня три тому назад, например, мы с Дютертром были свидетелями того, как распалась деревня, в которой мы жили.

Мне, наверно, никогда не избавиться от этого неотвязного воспоминания. Около шести часов мы выходим из дома и видим неописуемый хаос. Все гаражи, все риги, все сараи изрыгнули на узкие улочки самые разнообразные средства передвижения: новые автомобили и допотопные телеги, полвека дремавшие в пыли, повозки для сена и грузовики, автобусы и двуколки. Если бы хорошенько поискать, на этой ярмарке наверняка нашлись бы и дилижансы! На свет извлечены любые ящики на колесах. Туда сваливают семейные сокровища. В продырявленных простынях, из которых торчат острые выступы, их как по-

пало волокут к повозкам. И все эти сокровища превращаются в хлам.

Прежде они определяли лицо дома. Они были предметом домашнего культа. У каждой вещи было свое место, каждая стала необходимой по привычке и, овеянная воспоминаниями, была дорога потому, что участвовала в созидании домашнего очага. Но люди, полагая, будто эти вещи ценны сами по себе, оторвали их от камина, от стола, от стены, свалили в кучу, и теперь обнаружилось, что это всего лишь рухлядь, которой место на барахолке. От благоговейно хранимых реликвий, если их свалить в кучу, просто воротит!

Распад начинается прямо на глазах.

— Да вы что, все с ума посходили? Что здесь происходит?

Хозяйка кафе, куда мы заглядываем, пожимает плечами:

— Эвакуируемся.

— Господи! Да почему?

— Неизвестно. Мэр приказал.

Дел у нее по горло. Она исчезает под лестницей. Мы с Дютертром смотрим на улицу. На грузовиках, легковых автомобилях, телегах, в шарабанах громоздятся вперемежку дети, матрацы и кухон-

ная утварь.

Особенно жалкими выглядят старые автомобили. Крепкая лошадь между оглоблями телеги производит впечатление чего-то надежного. Лошадь не требует запасных частей. Чтобы починить телегу, довольно и трех гвоздей. Но вся эта рухлядь механической эры! Эти поршни, клапаны, магнето и шестеренки — долго ли они будут действовать?

— …Капитан… не поможете ли?

— Охотно. Чем могу служить?

— Выведите машину из сарая…

Я смотрю на нее с изумлением.

— Вы… вы не умеете водить машину?

— Ничего, на дороге справлюсь… там полегче будет…

С ней еще невестка и семеро ребятишек.

На дороге! Там она будет ползти по двадцать километров в день, через каждые двести метров останавливая машину! Через каждые двести метров в безнадежной неразберихе дорожных заторов ей придется тормозить, выключать мотор, выжимать сцепление, включать его, то и дело менять скорость. Она переломает все! А бензин, которого у нее не хватит! А масло! И вода, про которую она забудет!

— Смотрите, вода! Радиатор у вас течет, как худое ведро!

— Что же делать! Машина не новая…

— В пути-то пробудете не меньше недели… Справитесь ли?

— Сама не знаю…

Не проехав и десяти километров, она уже раза три врежется в другие машины, заклинит сцепление, проколет баллоны. Тогда она, ее невестка и семеро ребятишек, столкнувшись с непосильными трудностями, вовсе откажутся что-либо предпринимать, сядут у обочины дороги в ожидании пастуха. Но пастухи…

Пастухи… Просто удивительно, до чего же их не хватает! Мы с Дютертром наблюдали, как ведут себя овцы без пастуха. Они уходят под оглушительный грохот механизмов. Три тысячи поршней. Шесть тысяч клапанов. Все это скрипит, скрежещет, стучит. В некоторых радиаторах кипит вода. Вот так, напрягаясь изо всех сил, трогается в путь этот обреченный караван. Караван без запасных частей, без шин, без горючего, без механиков. Какое безумие!

— А нельзя вам остаться дома?

— О, мы рады бы остаться!

— Тогда зачем же уезжать?

— Нам велели…

— Кто вам велел?

— Мэр…

Опять этот мэр.

— Еще бы! Все мы рады бы остаться!

И это верно. Здесь не чувствуется никакой паники, здесь царит атмосфера слепой покорности. Пользуясь этим, мы с Дютертром пытаемся образумить некоторых:

— Выгрузили бы вы лучше все это. Тогда хоть воду будете пить из своих колодцев…

— Ну ясно, так было бы лучше!..

— Но вас же никто не гонит?!

Наши слова возымели действие. Вокруг нас собралась кучка людей. Нас слушают. Одобрительно кивают головой.

— …Капитан дело говорит!

У меня находятся приверженцы. Один дорожный рабочий, которого я обратил в свою веру, проповедует еще горячее меня:

— Я же говорил! Вот выедем на шоссе, будем жрать щебенку!

Они спорят. Потом приходят к согласию. Они останутся. Несколько человек идут убеждать остальных. Но вот они возвращаются в унынии.

— Ничего не выходит. Придется и нам уезжать.

— Почему?

— Булочник уехал. Кто же будет печь хлеб?

Деревня уже разваливается. Где-то образовалась трещина. Через эту трещину вытечет все. Тут уж ничего не поделаешь.

Дютертр рассуждает по-своему:

— Вся трагедия в том, что людям внушили, будто война — явление ненормальное. В прежние времена они оставались дома. Война и жизнь переплетались…

Снова появляется хозяйка кафе. Она тащит мешок.

— Мы вылетаем через сорок пять минут… Не дадите ли нам по чашке кофе?

— Бедные вы мои детки!

Она вытирает глаза. Нет, она плачет не из-за нас. И не из-за себя. Она плачет от изнеможения. Она чувствует, что ее уже поглотил хаос этого расползающегося каравана, который с каждым километром будет разваливаться все больше и больше.

А потом, где-нибудь в открытом поле, вражеские истребители, снижаясь, то и дело будут выплевывать на это жалкое стадо пулеметные очереди. Удивительнее всего то, что обычно они не особенно-то и усердствуют. Подожгут несколь-

ко машин, и довольно. Убьют несколько человек, и хватит. Нас обслуживают по высшему разряду — нас как бы предупреждают. Словно собака, которая кусает за ноги овец, чтобы подогнать стадо. А здесь просто хотят создать панику. Но какой смысл в этих коротких случайных налетах, если они почти ни к чему не приводят? Противник не слишком старается развалить караван. Впрочем, караван разваливается и без его стараний. Машина разваливается сама по себе. Машина создана для мирных, спокойных людей, которым некуда торопиться. Когда машину некому ремонтировать, налаживать, красить, она старится с необыкновенной быстротой. Сегодня вечером все эти автомобили будут выглядеть так, словно им тысяча лет.

Мне кажется, что я присутствую при агонии машины.

Вот этот с королевским величием нахлестывает свою лошадь. Он сияет, сидя на козлах, как на троне. Вдобавок он, вероятно, еще и пропустил рюмочку.

— Эй, вы там! Чему радуетесь?

— Да ведь это же светопреставление!

Мне становится как-то не по себе, когда я думаю, что все эти труженики, все эти люди с их

скромными обязанностями, с их самыми разнообразными достоинствами, уже сегодня вечером превратятся в прожорливых насекомых, в саранчу.

Они рассеются по полям и начнут пожирать урожай.

— Кто вас будет кормить?

— Почем мы знаем…

Как снабдить продовольствием миллионы беженцев, затерянных на дорогах, по которым двигаться можно лишь со скоростью от пяти до двадцати километров в день? Ведь если бы продовольствие даже и существовало, его невозможно было бы подвезти.

Это смешение людей и железного лома напомнило мне Ливийскую пустыню. Мы с Прево жили на безлюдном плато, покрытом черными, сверкавшими на солнце камнями, на плато, словно закованном в железную броню.

И я с отчаянием взираю на это зрелище: долго ли может прожить стая саранчи, опустившаяся на асфальт?

— А чтобы напиться, вы будете ждать дождя?

— Почем мы знаем…

В течение десяти дней через их деревню беспрерывно шли беженцы с севера. Десять дней они

были свидетелями этого великого переселения. Но вот настал их черед. И они занимают свое место в процессии. О, конечно, без всякой надежды.

— А мне бы все-таки хотелось умереть у себя дома.

— Каждому хотелось бы умереть у себя дома.

И это правда. Вся деревня рушится, как карточный домик, а ведь никому не хотелось уезжать.

Если бы у Франции даже и были резервы, подбросить эти резервы оказалось бы просто немыслимо, потому что все дороги забиты. На худой конец, несмотря на поломанные и врезавшиеся друг в друга машины, несмотря на непроходимые дорожные пробки, кое-как еще можно было бы двигаться по течению, вместе со всем потоком, но что делать, если нужно двигаться против него?

— Да ведь резервов-то нет, — говорит мне Дютертр, — а стало быть, нечего и волноваться.

Ходят слухи, будто со вчерашнего дня правительство запретило эвакуацию деревень. Но приказы передаются бог знает как, потому что движение по дорогам невозможно. Телефонные линии перегружены, перерезаны или ненадежны. И кроме того, дело вовсе не в приказах. Дело в том, что нужно изобрести новую мораль. Уже тысячу лет людям внушают, что женщины и дети

должны быть избавлены от войны. Война — это дело мужчин. Мэры прекрасно знают этот закон, знают его и помощники мэров, и школьные учителя. Но вот они получают приказ запретить эвакуацию, то есть заставить женщин и детей остаться под бомбежкой. Им нужен целый месяц, чтобы приспособить свое сознание к новым условиям. Нельзя разом перевернуть всю систему мышления. А враг наступает. И тогда мэры, их помощники и школьные учителя гонят своих подопечных на большую дорогу. Что остается делать? Где правда? И бредут эти овцы без пастуха.

— Нет ли здесь врача?

— Вы что, нездешние?

— Нет, мы с севера.

— Зачем вам врач?

— Жена вот-вот родит в телеге…

Среди кухонной утвари, среди заполнившего все железного лома, как на терниях.

— Да разве вы не могли это предвидеть?

— Мы уже четыре дня в дороге.

Дорога — это неумолимый поток. Где остановиться? Поток сметает на своем пути деревни, которые, лопаясь поочередно, изливаются в него и наполняют общую сточную канаву.

— Нет, врача здесь нет. Врач авиагруппы за

двадцать километров отсюда.

— Ну что ж, ладно…

Человек вытирает пот с лица. Все рушится. Жена его рожает в телеге, среди кухонной утвари. И во всем этом нет ни капли жестокости. Это прежде всего до дикости бесчеловечно. Никто не жалуется, жалобы не имеют никакого смысла. Жена его вот-вот умрет, а он не жалуется. Ничего не поделаешь. Это какой-то тяжелый сон.

— Если бы можно было хоть где-нибудь остановиться!..

Найти где-нибудь настоящую деревню, настоящую гостиницу, настоящую больницу… но больницы тоже эвакуируют, бог знает зачем! Таково уж правило игры. Придумывать новые правила нет времени. Найти где-нибудь настоящую смерть! Но настоящей смерти больше нет. Есть человеческие тела, которые разваливаются, как автомашины.

И я ощущаю во всем необходимость, потерявшую всякий смысл, необходимость, которая уже перестала быть необходимостью. Люди проходят пять километров в день, спасаясь от танков, успевающих за это время продвинуться без дорог более чем на сто километров, и от самолетов, летящих со скоростью шестьсот километров в час.

Так вытекает сироп из опрокинутой бутылки. Жена этого человека рожает, а времени у него сколько угодно. Это необходимо сию минуту. И вместе с тем в этом уже нет необходимости. Это повисло в неустойчивом равновесии между минутой и вечностью.

Все замедлилось, как рефлексы умирающего. Огромное стадо топчется, изнемогая, перед воротами бойни. Сколько же их, обреченных погибнуть на щебенке, — пять, десять миллионов? Целый народ устало и понуро топчется на пороге вечности.

И право, я не представляю себе, каким образом им удастся выжить. Человек ведь не может питаться травой. Они и сами смутно понимают это, но не приходят в ужас. Выбитые из колеи, оторванные от своего труда, своих обязанностей, они перестали что-либо значить. Самая их личность и то стерлась. В них почти ничего не осталось от них самих. Они почти не существуют. Потом, задним числом, они придумают себе более возвышенные страдания, но сейчас они страдают главным образом от боли в пояснице — чересчур тяжела их поклажа, — оттого что узлы прорвались и из простыней вывалилось все содержимое, оттого что слишком часто приходится толкать

машину, чтобы сдвинуть ее с места.

О поражении — ни слова. Оно и так очевидно. У вас нет потребности говорить о том, что составляет вашу сущность. Эти люди и есть само поражение.

Передо мной внезапно возникает жуткий образ: Франция, из которой вываливаются внутренности. Надо немедленно зашивать. Нельзя терять ни секунды: эти люди обречены…

Вот уже началось. Они задыхаются, как рыба без воды.

— Нет ли здесь молока?..

Со смеху умрешь от такого вопроса!

— Мой малыш со вчерашнего дня ничего не ел…

Речь идет о шестимесячном младенце, который пока еще производит много шума. Но этот шум продлится недолго: рыбы без воды… Здесь нет молока. Здесь только железный лом. Скопище ненужного железного лома, который, рассыпаясь с каждым километром, теряя гайки, болты, куски жести, увлекает целый народ в это чудовищно-бесполезное переселение и тащит его за собой в небытие.

Идут разговоры о том, что немного южнее дорогу обстреливают самолеты. Поговаривают

даже о бомбах. Мы и в самом деле слышим глухие разрывы. Значит, говорят не зря.

Но толпу это не пугает. Кажется, она даже немного оживилась. Эта очевидная опасность представляется ей менее страшной, чем опасность завязнуть в железном ломе.

Какую замечательную схему построят впоследствии историки! Каких только осей они не придумают, лишь бы придать смысл этой каше! Они уцепятся за слова какого-нибудь министра, за решение какого-нибудь генерала, за совещание какой-нибудь комиссии и из этой вереницы призраков создадут исторические беседы, на кого-то возложат ответственность, кого-то объявят весьма дальновидным. Они придумают, что один соглашался, другой возражал, один произносил монологи в духе Корнеля, другой совершал предательства. Я-то прекрасно знаю, что такое эвакуированное министерство. Однажды мне случилось посетить одно из них. Я сразу понял, что правительство, покинувшее свою резиденцию, перестает быть правительством. Это как с человеческим телом. Если начать перетаскивать желудок сюда, печень туда, кишки еще куда-нибудь, то все это уже не будет составлять организма. Я пробыл двадцать минут в министер-

стве авиации. Да, министр может воздействовать на своего секретаря. Воздействовать чудесным образом. Потому что министра с секретарем еще связывает провод звонка. Неповрежденный провод звонка. Министр нажимает кнопку, и секретарь является.

Это уже большая удача.

— Машину, — приказывает министр.

На этом его власть кончается. Секретарь поворачивается кругом. Но секретарь не знает, существует ли на свете автомобиль министра. Электрический провод не связывает секретаря с шофером машины. Шофер затерян где-то во вселенной. Что могут они, правители, знать о войне? Связь до того разладилась, что даже нам и то понадобилась бы теперь целая неделя, чтобы выслать бомбардировщиков против обнаруженной нами танковой дивизии. И какие сведения могут получить правители о стране, из которой вываливаются внутренности? Донесения распространяются со скоростью двадцать километров в день. Телефоны перегружены или работают плохо и не могут передать во всей ее полноте Сущность, которая в это самое время разваливается на части. Правительство висит в пустоте, в полярной пустоте. Время от времени до него

доносятся отчаянные вопли о помощи, но вопли абстрактные, сведенные всего к трем строчкам. Откуда правителям знать, не умерли ли уже с голоду десять миллионов французов? А этот вопль десяти миллионов людей содержится в одной фразе. Достаточно одной фразы, чтобы сказать:

— Приходите в четыре часа к Х.

Или:

— Говорят, погибло десять миллионов человек.

Или:

— Блуа горит.

Или:

— Ваш шофер нашелся.

Все это одинаковым тоном. Подряд. Десять миллионов человек. Машина. Восточная армия. Западная цивилизация. Шофер нашелся. Англия. Хлеб. Который час?

Я вам даю семь букв. Эти семь букв взяты из Библии. Попробуйте-ка воссоздать с их помощью Библию!

Историки забудут реальные события. Они выдумают каких-то здравомыслящих людей, связанных таинственными нитями с миром, в котором все для них было ясно, способных на глубокие обобщения и на важные выводы по всем правилам картезианской логики. Они сумеют

отличить добро от зла. Героев от предателей. А я задам простой вопрос:

— Чтобы предавать, надо отвечать за что-то, чем-то управлять, на что-то воздействовать, что-то знать. В наши дни для этого надо быть гением. Почему же, спрашивается, предателей не награждают орденами?

Всюду понемногу уже проглядывает облик мира. Но не того четко очерченного мира, который как новый исторический этап обычно следует за войной, ясно завершаемой договором. Это какой-то непонятный период, это конец всего. Конец, который никак не может прийти к концу. Болото, в котором мало-помалу увязает всякий порыв. Приближения развязки — хорошей или плохой — не чувствуется. Напротив. Все мало-помалу погружается в гниль временного, похожего на вечность. Развязки не будет, потому что не за что ухватиться, чтобы вытащить страну из этого состояния, как вытаскивают утопленницу, намотав на руку ее волосы. Все распалось. И даже при самом энергичном усилии в руке остается всего лишь прядь волос. Наступающий мир не есть плод принятого человеком решения. Он распространяется, как проказа.

Там, подо мною, на дорогах, по которым распол-

зается караван беженцев и немецкие танкисты то убивают людей, то подают им напиться, — там все напоминает трясину, где земля неотличима от воды. Мир, который уже примешивается к войне, разлагает войну.

Мой друг Леон Верт однажды подслушал на дороге поразительный разговор, о котором он собирается рассказать в большой книге. Слева от дороги — немцы, справа — французы. Между ними — медленный водоворот эвакуации. Сотни женщин и детей кое-как выбираются из горящих машин. Артиллерийский лейтенант, зажатый в этой пробке, пытается привести в боевое положение семидесятимиллиметровую пушку, по которой постреливает противник. Так как противник бьет мимо цели и косит людей на дороге, а лейтенант, упорствуя в выполнении своего непонятного долга, весь в поту, пытается спасти позицию, хотя она не продержится и двадцати минут (их тут всего двенадцать артиллеристов!), то матери подбегают к нему и кричат:

— Убирайтесь вон! Убирайтесь! Вы подлецы!

Лейтенант со своими солдатами уходит. Они повсюду сталкиваются с проблемами, которые ставит перед ними мир. Убивать малышей на дорогах, конечно, недопустимо. А ведь каждому

солдату, который стреляет, приходится стрелять в спину ребенку. Каждый продвигающийся или пытающийся продвинуться грузовик рискует погубить множество людей. Потому что, двигаясь против течения, он создает непроходимую пробку.

— Вы с ума сошли! Пропустите нас! Дети умирают!

— Что поделаешь, война…

— Какая война? Где война? За три дня в этом направлении вы продвинетесь на шесть километров!

Несколько солдат, затерянных в своем грузовике, едут на сборный пункт, где их наверняка уже давно никто не ждет. Но у них одно на уме — они хотят выполнить свой простейший долг.

— Мы воюем…

— …лучше бы нас подобрали! Есть у вас совесть?

Громко кричит ребенок.

— А этот…

Этот уже не кричит. Нет молока, нет и крика.

— Что поделаешь, война…

Они повторяют эти слова с тупым и безнадежным упорством.

— Да вам до нее никогда не добраться, до вашей

войны! Вы подохнете здесь вместе с нами!

— Мы воюем…

Они уже и сами не уверены в том, что говорят. Они уже и сами не уверены в том, что воюют. Они никогда не видели противника. Они катят на грузовике к какой-то зыбкой цели, тающей быстрее, чем мираж. И встречают только этот мир гниющей свалки.

Так как в этом хаосе застревает все, они тоже слезли с грузовика. Их окружают:

— Есть у вас вода?..

И они раздают воду.

— А хлеб?..

И они раздают хлеб.

— Неужели вы оставите ее подыхать?

В сломанной машине, которую оттащили на обочину, хрипит женщина.

Ее высвобождают. Берут на грузовик.

— А ребенка?

Ребенка тоже берут на грузовик.

— А эту, она же рожает?

Берут и эту.

А потом еще одну, потому что она плачет.

Провозившись целый час, грузовик с трудом вывели из затора. Его повернули на юг. И он, как случайно закатившийся сюда валун, последует

за уносящим его потоком беженцев. Солдаты приобщились к миру. Потому что они никак не могли найти войну.

Потому что мускулатура войны невидима. Потому что, стреляя, вы попадаете в ребенка. Потому что на сборном пункте воинских частей наталкиваетесь на рожениц. Потому что пытаться передать сведения или получить приказ так же бессмысленно, как вступать в спор с Сириусом. Армии больше нет. Есть только солдаты.

Они приобщились к миру. Силой обстоятельств они превратились в механиков, пастухов, санитаров, врачей. Они чинят машины этим беспомощным людям, которые сами не умеют вылечить свои развалины на колесах. И, стараясь изо всех сил, эти солдаты не знают, кто они — герои или преступники, подлежащие суду военного трибунала. Они не удивятся, если их наградят орденами. И не удивятся, если их поставят к стенке и всадят им по двенадцать пуль в голову. Не удивятся, если их демобилизуют. Их ничто не удивит. Они давно уже перешли пределы удивления.

Все превратилось в сплошное варево, где ни один приказ, ни одно движение, ни одно известие, ни одна волна — ничто не сможет распростра-

ниться дальше трех километров. И как деревни одна за другой рушатся в общую сточную канаву, так и военные грузовики, поглощаемые мирными заботами, один за другим приобщаются к миру. Эти горсточки людей, которые не колеблясь пошли бы на смерть, — но перед ними не встает такая необходимость, — хватаются за первое попавшееся дело. И вот они чинят оглоблю старой повозки, куда три монахини насажали дюжину ребятишек и, спасая малышей от смерти, отправились с ними бог весть в какое паломничество, бог весть к какому сказочному убежищу.

Подобно Алиасу, который прятал в карман револьвер, я не стану осуждать солдат, отказывающихся воевать. Что могло бы воодушевить их? Откуда взяться волне, которая бы их всколыхнула? Где общий смысл, способный их объединить? Они ничего не знают об остальном мире, кроме тех, всегда невероятных, слухов, которые зародились где-то на дороге, в трех-четырех километрах от них, в виде нелепых догадок и, медленно просочившись сквозь три километра варева, приняли характер непреложной истины. Соединенные Штаты вступили в войну. Римский папа покончил жизнь самоубийством. Русские самолеты подожгли Берлин. Три дня назад подписано

перемирие. Гитлер высадился в Англии.

Нет пастуха для женщин и детей, но нет его и для солдат. Генерал распоряжается адъютантом, министр — секретарем. И быть может, своим красноречием он способен воодушевить его. Алиас распоряжается летными экипажами. И он может вызвать у них готовность пойти на смерть. Сержант с военного грузовика распоряжается десятком подчиненных ему солдат. Но он не в силах связаться ни с кем другим. Даже если предположить, что какой-нибудь гениальный полководец, чудом умудрившийся охватить взглядом все, придумает план нашего спасения, то для осуществления своего плана этот полководец сможет располагать только звонковым проводом длиною двадцать метров. А в качестве маневренной силы, необходимой для победы, у него будет секретарь, если на другом конце провода еще будет существовать секретарь.

И когда по дорогам бредут кто куда эти солдаты из разбитых частей, эти воины, оставшиеся на войне без работы, в них не заметно того отчаяния, какого можно было бы ждать от побежденных патриотов. Они смутно желают мира, это верно. Но мир для них — всего лишь конец этого невероятного хаоса и возможность вновь обрести себя,

свою личность, пусть самую скромную. Так бывший сапожник во сне забивает гвозди. И, забивая гвозди, он кует вселенную.

И если они идут куда глаза глядят, то это от всеобщей неразберихи, которая разобщает их, а вовсе не от страха перед смертью. Их ничто не страшит — они опустошены.

XVII

Существует непреложный закон: побежденных нельзя сразу превратить в победителей. Когда об армии говорят, что сперва она отступала, а теперь дает отпор, то это всего лишь словесное упрощение, потому что отступавшие войска и те, что сейчас ведут бой, не одни и те же. Отступавшая армия уже не была армией. И дело не в том, что эти солдаты были недостойны победить, а в том, что отступление разрушает все связи — и материальные, и духовные, — объединявшие между собой людей. Массу разобщенных солдат, которые, отступая, просочились в тыл, заменяют свежими резервами, действующими как единый организм. Они-то и задерживают противника. А беглецов собирают в кучу и из этого бесформенного теста снова лепят армию. Если нет резервов, которые можно бросить в бой, первое же отступление становится непоправимым.

Объединяет одна лишь победа. Поражение не только разобщает людей, но и приводит человека в разлад с самим собою. Если беглецы не оплакивают гибнущую Францию, то именно потому, что они побеждены. Потому, что Франция побеждена

не вокруг них, а в них самих. Оплакивать Францию значило бы уже быть победителем.

Почти всем — и тем, кто еще сопротивляется, и тем, кто перестал сопротивляться, — лицо побежденной Франции явится потом, в часы безмолвия. Сегодня каждый целиком поглощен какой-нибудь простейшей деталью, которая испортилась или отказалась служить, — попавшим в аварию грузовиком, дорожной пробкой, заклинившейся рукояткой сектора газа, бессмысленным заданием. То, что задание становится бессмысленным, — признак катастрофы. Потому что бессмысленным становится любое усилие, направленное на то, чтобы предотвратить катастрофу. Потому что все в разладе с самим собой. Ты оплакиваешь не всеобщую катастрофу, а единственный предмет, который ты способен осязать, за который ты отвечаешь и который пришел в негодность. Гибнущая Франция в море обломков, и каждый из них уже ничего не значит: ни это задание, ни этот грузовик, ни эта дорога, ни эта подлая рукоятка сектора газа.

Конечно, разгром — печальное зрелище. Во время разгрома низкие души обнаруживают свою низость. Грабители оказываются грабителями. Общественные устои рушатся. Армия, дошедшая

до предела отвращения и усталости, разлагается в этой бессмыслице. Все это — неизбежные проявления разгрома, как бубоны — проявление чумы. Но если вашу любимую переедет грузовик, неужели вы станете корить ее за уродство?

Поражение накладывает на побежденных печать вины, и в этом его несправедливость. Может ли поражение обнаружить принесенные жертвы, беззаветную верность долгу, добровольные лишения, неусыпные заботы, если бог, решающий исход боев, со всем этим не пожелал считаться? Может ли оно обнаружить любовь? Поражение обнаруживает беспомощность военачальников, разброд в войсках, инертность толпы. Нередко люди и в самом деле уклонялись от исполнения долга, но что означало само это уклонение? Достаточно было распространиться известию о контрударе русских или о вступлении в войну американцев, чтобы люди преобразились. Чтобы их объединила общая надежда. Такой слух каждый раз очищал все, как порыв морского ветра. Не надо судить Францию по результатам постигшей ее катастрофы.

Францию надо судить по ее готовности идти на жертву. Франция приняла бой вопреки правде логиков. Логики нам твердили: «Нем-

цев восемьдесят миллионов. За один год мы не можем создать сорок миллионов французов, которых нам не хватает. Мы не можем превратить наши пшеничные поля в угольные шахты. Мы не можем надеяться на помощь Соединенных Штатов. Так почему же, если немцы посягают на Данциг, — а спасти его не в наших силах! — мы, во избежание позора, должны покончить жизнь самоубийством? Разве позорно, что наша земля дает больше зерна, чем машин, и что нас вдвое меньше, чем их? Почему позор должен лечь на нас, а не на весь мир?» Логики были правы. Война для нас означала разгром. Но разве должна была Франция ради того, чтобы избавить себя от поражения, не принимать боя? Не думаю. И Франция интуитивно пришла к тому же решению: никакие увещевания не заставили ее уклониться от боя. Дух в нашей стране одержал верх над Разумом.

Жизнь всегда с треском ломает все формулы. И разгром, как он ни уродлив, может оказаться единственным путем к возрождению. Я знаю: чтобы выросло дерево, должно погибнуть зерно. Первая попытка к сопротивлению, если она предпринимается слишком поздно, всегда обречена на неудачу. Зато она пробуждает силы сопротив-

ления. И из нее, может быть, вырастет дерево. Как из зерна.

Франция сыграла свою роль. Весь мир, словно некий арбитр, безучастно взирал на то, что творил с нею враг, а потому ее роль состояла в том, чтобы дать раздавить себя и на время оказаться погребенной в молчании. Когда идут в атаку, кому-то приходится быть впереди. И первых почти всегда убивают. Но для того чтобы атака состоялась, авангард должен погибнуть.

И наша роль была самой высокой, потому что, не строя никаких иллюзий, мы согласились противопоставить одного нашего солдата трем их солдатам и наших крестьян их рабочим! Я не хочу, чтобы о нас судили по уродливым проявлениям разгрома! Неужели о том, кто готов сгореть в полете, станут судить по его ожогам? Ведь он тоже превратится в урода.

XVIII

И все-таки эта война, если отвлечься от того духовного смысла, который сделал ее для нас необходимой, велась так, что показалась нам войной нелепой. Я никогда не стыдился этого слова. Не успели мы объявить войну, как тут же, не имея возможности идти в наступление, начали ждать, когда нас соблаговолят уничтожить!

И нас уничтожили.

Для борьбы с танками в нашем распоряжении были только снопы пшеницы. Снопы пшеницы для этого совершенно не годились. И теперь уничтожение завершено. Нет больше ни армии, ни резервов, ни связи, ни вооружения.

А я продолжаю свой полет с невозмутимой деловитостью. Я снижаюсь в направлении немецких позиций со скоростью восемьсот километров в час и с числом оборотов три тысячи пятьсот тридцать в минуту. Зачем? То есть как зачем? Да затем, чтобы нагнать на немцев страху! Чтобы они убрались с нашей территории! Поскольку сведения, которых от нас ожидают, бесполезны, это задание не может иметь иной цели.

Нелепая война.

Впрочем, я преувеличиваю. Я сильно снизился. Управление и рукоятки оттаяли. Я лечу по горизонтали с нормальной скоростью. Я прорываюсь к немецким позициям со скоростью всего лишь пятьсот тридцать километров в час и с числом оборотов две тысячи двести в минуту. А жаль. Я напугаю немцев гораздо меньше.

Нас будут упрекать за то, что мы назвали эту войну нелепой войной.

Но ведь нелепой называем ее мы сами! Значит, нам она кажется нелепой. Мы вправе подшучивать над ней, как нам угодно, потому что все жертвы мы берем на себя. Я вправе подшучивать над собственной смертью, если такая шутка может меня развеселить. И Дютертр тоже. Я вправе тешить себя парадоксами. В самом деле, зачем до сих пор пылают деревни? Зачем их жители лишились крова? Зачем мы с такой непоколебимой убежденностью бросаемся в механизированную мясорубку?

Мне позволено все, потому что в эту секунду я прекрасно сознаю, что делаю. Я иду на смерть. Я иду не на риск. Я принимаю не бой. Я принимаю смерть. Мне открылась великая истина. Война — это приятие не риска. Это приятие не боя. Наступает час, когда для бойца — это просто-на-

просто приятие смерти.

В эти дни, когда за границей считали, что принесенные нами жертвы недостаточны, я спрашивал себя, глядя, как улетают и не возвращаются наши экипажи: «Ради чего мы отдаем свою жизнь? Кто нам за это заплатит?»

Ибо мы действительно умираем. Ибо за две недели уже погибло сто пятьдесят тысяч французов. Может, их смерть вовсе и не свидетельствует о каком-то необычайном сопротивлении. Я отнюдь не прославляю необычайное сопротивление. Оно невозможно. Но ведь есть же отряды пехотинцев, которые идут на смерть, защищая обреченную ферму. Есть авиагруппы, которые тают, как воск, брошенный в огонь.

Взять хотя бы нас, летчиков группы 2/33, — почему мы все еще соглашаемся умирать? Чтобы снискать уважение мира? Но уважение предполагает наличие судьи. А кто из нас предоставит кому бы то ни было право судить? Мы боремся во имя дела, которое считаем общим делом. На карту поставлена свобода не только Франции, но всего мира, и выступать в роли арбитра слишком удобно. Мы сами судим арбитров. Мои товарищи из авиагруппы 2/33 судят арбитров. И пусть не говорят нам, беспрекословно улетающим в раз-

ведку, когда на возвращение есть только один шанс против трех (и то если задание легкое!), пусть не говорят летчикам из других авиагрупп, пусть не говорят моему товарищу, которому осколок снаряда так изуродовал лицо, что он на всю жизнь лишился естественного права нравиться женщине, лишился его, как узник за решетками тюрьмы, гарантировав себе целомудрие собственным уродством надежнее, чем крепостными стенами, пусть не говорят нам, что нас судят зрители! Тореадоры существуют для зрителей, но мы не тореадоры. Если бы Ошедэ сказали: «Ты должен вылететь, потому что тебя судят свидетели», Ошедэ ответил бы: «Ошибаетесь. Это я, Ошедэ, сужу свидетелей…»

Так за что, в конце концов, мы продолжаем сражаться? За Демократию? Если мы умираем за Демократию, значит, мы солидарны с демократическими странами. Пусть же они сражаются вместе с нами! Но самая могущественная из них, единственная, которая могла бы нас спасти, вчера уклонилась от этого и уклоняется еще сегодня. Ну что ж! Это ее право. Но тем самым она показывает нам, что мы сражаемся лишь за свои интересы. А между тем мы знаем, что все потеряно.

Тогда зачем мы продолжаем умирать?

От отчаяния? Но отчаяния нет! Вы понятия не имеете о разгроме, если думаете, что оно порождает отчаяние.

Есть истина более высокая, чем все доводы разума. Что-то проникает в нас и управляет нами, чему я подчиняюсь, но чего не сумел еще осознать. У дерева нет языка. Мы — ветви дерева. Есть истины очевидные, хотя их и невозможно выразить словами. Я умираю не для того, чтобы задержать нашествие, потому что нет такой крепости, укрывшись в которой я мог бы сопротивляться вместе с теми, кого люблю. Я умираю не ради спасения чести, потому что не считаю, что задета чья-либо честь, — я отвергаю судей. И я умираю не от отчаяния. И все-таки я знаю: Дютертр, который сейчас смотрит на карту, рассчитает, что Аррас находится где-то там, на курсовом угле сто семьдесят пять градусов, и через полминуты скажет мне:

— Курс сто семьдесят пять, господин капитан…

И я возьму этот курс.

XIX

— Сто семьдесят два.

— Понял. Сто семьдесят два.

Пусть будет сто семьдесят два. Представляю себе эпитафию: «Вел самолет точно по курсу сто семьдесят два». Сколько времени можно продержаться, бросая столь нелепый вызов врагу? Я лечу на высоте семьсот пятьдесят метров под потолком из сплошных облаков. Поднимись я еще на тридцать метров, и Дютертр уже ничего не сможет сфотографировать. Приходится лететь прямо на виду, предоставляя немецкой артиллерии учебную цель. Семьсот метров — запрещенная высота. Тут служишь мишенью для всей равнины. Принимаешь на себя огонь всей армии. Становишься доступен орудиям любого калибра. Целую вечность остаешься в зоне обстрела каждого орудия. Это уже не обстрел — это избиение палками. Как будто тысячью палок стараются сбить один орех.

Я все досконально продумал: на парашют рассчитывать нечего. Когда подбитый самолет начнет падать, только на то, чтобы открыть люк, потребуется больше секунд, чем продлится

само падение. Чтобы открыть люк, надо семь раз повернуть тугую рукоятку. А кроме того, на большой скорости крышка люка деформируется и перестает входить в паз.

Ничего не поделаешь. Однажды приходится проглотить эту пилюлю! Дело не хитрое: держать курс сто семьдесят два. Напрасно я состарился. Напрасно. Я был так счастлив в детстве. Я это говорю, но правда ли это? Уже тогда, в передней, я держал курс сто семьдесят два. Из-за дядюшек.

Детство… Сейчас оно кажется таким милым. Не только детство, но и вся прошедшая жизнь… Я вижу, как она убегает вдаль, словно поле…

И мне кажется, я все такой же. То, что я испытываю теперь, было мне знакомо всегда. Причины моих радостей и горестей, конечно, изменились, но чувства остались прежними. Точно так же был я счастлив или несчастлив. Меня наказывали или прощали. Я учился хорошо. Я учился плохо. Как когда…

Мое самое далекое воспоминание? У меня была нянька из Тироля, звали ее Паула. Но это даже не воспоминание: это воспоминание о воспоминании. Когда мне было пять лет и со мной произошел тот случай в передней, Паула стала уже легендой. Но еще долго в канун Нового года

мать говорила нам: «Письмо от Паулы!» Для нас, детей, это была большая радость. Но почему мы так ликовали? Никто из нас Паулу не помнил. Она вернулась в свой Тироль. В свой тирольский домик. Похожий на барометр в виде хижины, затерянной среди снегов. И в солнечные дни Паула показывалась на пороге, как бывает во всех барометрах в виде хижины.

— А Паула красивая?

— Очаровательная.

— А в Тироле часто бывает хорошая погода?

— Всегда.

В Тироле всегда была хорошая погода. Паула выходила из своего домика-барометра, он выталкивал ее далеко-далеко, на снежную полянку. Когда я научился писать, меня заставляли писать Пауле письма. Я писал ей: «Милая Паула, я очень рад, что пишу тебе…» Это было похоже на молитву, потому что я забыл Паулу…

— Сто семьдесят четыре.

— Понял. Сто семьдесят четыре.

Пусть будет сто семьдесят четыре. Придется изменить эпитафию. Любопытно, как вся моя жизнь разом возникла передо мной. Я запаковал свои воспоминания. Они больше уже не понадобятся. Никому и никогда.

Я храню память о большой любви. Мать говорила нам: «Паула просит всех вас расцеловать за нее». И мать целовала нас всех за Паулу.

— А Паула знает, что я вырос?

— Конечно, знает.

Паула знала все.

— Господин капитан, они стреляют.

Паула, в меня стреляют! Я бросаю взгляд на высотомер: шестьсот пятьдесят метров. Облачность на высоте семьсот метров. Ну что ж. Ничего не поделаешь. Но вопреки моим предчувствиям мир под облаками совсем не черный: он синий. Сказочно синий. Наступают сумерки, и вся равнина синяя. Местами идет дождь. И от дождя она синяя…

— Сто шестьдесят восемь.

— Понятно. Сто шестьдесят восемь.

Пусть будет сто шестьдесят восемь. Она все-таки здорово петляет, дорога в вечность… Но какой она мне кажется спокойной, эта дорога! Мир похож на фруктовый сад. Только что он представлялся бездушным, как чертеж. Все мне казалось нечеловеческим. Но теперь я лечу низко и ощущаю какую-то близость с этим миром. Подо мною, то поодиночке, то маленькими рощами, проносятся деревья. Я вижу их. И зеленые поля.

И дома под красными черепичными крышами, и того, кто стоит у дверей. И вокруг — прекрасные синие ливни. В такую погоду Паула, разумеется, уводила нас поскорее домой…

— Сто семьдесят пять.

Моя эпитафия уже теряет свое суровое благородство: «Вел самолет по курсу сто семьдесят два, сто семьдесят четыре, сто шестьдесят восемь, сто семьдесят пять…» Это уже легкомыслие. Вот тебе на! Мотор чихает! Он охлаждается. Закрываю створки капота. Ладно. Пора открыть запасной бак — я поворачиваю ручку. Не забыл ли я чего? Бросаю взгляд на указатель давления масла. Все в порядке.

— Дрянь дело, господин капитан.

Слышишь, Паула? Дело дрянь. И все-таки я не могу не поражаться синеве этого вечера. Она так необычна! Цвет до того глубокий! И эти бегущие фруктовые деревья, быть может, сливы. Я вписался в пейзаж. С витринами покончено! Я вор, перепрыгнувший через ограду. Широкими шагами я ступаю по мокрой люцерне и ворую сливы. Паула, это нелепая война. Война печальная и такая синяя! Я немного заблудился. Я открыл эту необыкновенную страну, уже старея… О нет, мне не страшно. Немного грустно, и все.

— Маневрируйте, капитан!

Вот это новая игра, Паула! Нажмешь правой ногой, нажмешь левой — и артиллерия сбита с толку. Когда я падал, я набивал себе шишки. Ты, конечно, делала мне примочки. Скоро мне до зарезу понадобятся твои примочки. И все-таки знаешь… она сказочна, эта вечерняя синева!

Там, впереди, я заметил три расходящихся копья. Три вертикальных стебля, длинных и блестящих. Следы трассирующих пуль или снарядов малого калибра. И все это золотилось. Вдруг я увидел, как в синеве вечера метнулся ввысь ослепительный блеск тройного канделябра…

— Капитан! Слева сильнейший огонь! Берите вправо!

Жму на педаль.

— Да, плохо дело…

Возможно…

Дело плохо, но я не выхожу из границ своего мира. Со мною все мои воспоминания, все накопленные сокровища, все, кого я люблю. Со мной мое детство, которое, словно корень, теряется во тьме. Я начал жизнь печалью воспоминания… Дело плохо, но я вовсе не ощущаю того, что предполагал испытать в когтях этих падающих звезд.

Я в милой моему сердцу стране. Вечереет. Слева

широкие полосы света между грозовыми тучами образуют прямоугольные окна собора. Я почти касаюсь рукой всех этих прекрасных вещей, — они в двух шагах от меня. Вот деревья, осыпанные сливами. Вот земля — она пахнет землей. Хорошо, должно быть, ходить по росе. Знаешь, Паула, я лечу тихо-тихо, покачиваясь с боку на бок, как воз с сеном. Кажется, что самолет летит быстро… разумеется, если думать об этом! Но если забыть о машине, если смотреть по сторонам, тогда это словно прогулка в поле…

— Аррас…

Да. Там, далеко впереди. Но Аррас не город. Аррас — это всего лишь красный фитиль на фоне ночной синевы. На фоне грозы. Потому что ясно — слева и спереди надвигается грандиозный ливень. Одними сумерками такой мрак не объяснить. Такая тьма может быть только под огромными скоплениями облаков.

Пламя Арраса поднялось выше. Это не пламя пожара. Пожар распространяется вширь, как язва, окаймленная обнаженным мясом. А этот красный фитиль, непрерывно питаемый горючим, похож на фитиль чуть коптящей лампы. Это пламя горит спокойно, уверенное в том, что не погаснет, что горючего вдоволь. В нем чувству-

ется компактная, почти весомая плоть, которую порой колышет ветер, раскачивая, словно дерево. Вот именно… дерево. Это дерево оплело Аррас сетью своих корней. И все, что есть в Аррасе, все запасы Арраса, все сокровища Арраса устремляются ввысь, превращенные в соки, питающие дерево.

Я вижу, как это порой слишком тяжелое пламя, клонясь то вправо, то влево, выплевывает клубы черного дыма, а потом снова устремляется вверх. Но я все еще не различаю города. В этом зареве — вся война. Дютертр говорит, что дело плохо. Ему впереди виднее. А меня больше всего удивляет какая-то снисходительность судьбы: эта отравленная равнина мечет в нас не так уж много ядовитых звезд.

— Да, но…

Ты знаешь, Паула, в волшебных сказках моего детства рыцарь на пути к таинственному заколдованному замку проходил через грозные испытания. Он взбирался на ледники. Он преодолевал пропасти, расстраивал козни предателей. Наконец его взору являлся замок среди голубой равнины, по которой конь его скакал мягко, как по лужайке. Рыцарь уже считал себя победителем… Ах, Паула, того, кто знает, что такое

сказка, — не обманешь! Здесь-то всегда и начиналось самое трудное!..

Вот так и я несусь сквозь вечернюю синеву к своему огненному замку, как бывало прежде… Ты уехала слишком рано и не знаешь наших игр, тебе не пришлось играть с нами в рыцаря Аклена. Мы сами придумали эту игру, потому что презирали обычные игры. В эту игру мы играли в те дни, когда надвигалась сильная гроза, когда, после первых молний, по особому аромату и по внезапному трепету листьев мы чувствовали, что туча вот-вот разразится ливнем. Густая листва превращается тогда на мгновение в шипучую и легкую пену. Это было сигналом… ничто уже не могло нас удержать.

Из самой глубины парка, по широким лужайкам, мы что было духу мчались к дому. Первые капли грозового ливня падают тяжело и редко. Первый, на кого попадала капля, считался побежденным. Потом второй. Потом третий. Потом и остальные. Тому, кто продержался дольше всех, конечно, покровительствовало небо, он был неуязвим! И он получал право, до следующей грозы, носить имя рыцаря Аклена…

И каждый раз, в несколько секунд, игра завершалась гекатомбой детей.

Я и сейчас играю в рыцаря Аклена. Я несусь к моему огненному замку, медленно, но так, что дух захватывает…

И вдруг:

— Ну, капитан! Такого я еще не видывал…

Такого я тоже не видывал. Я перестал быть неуязвимым. О, я и не знал, что я все-таки надеялся…

XX

Несмотря на высоту семьсот метров, я надеялся. Несмотря на танковые парки, несмотря на пламя Арраса, я надеялся. Я надеялся безнадежно. Я возвращался памятью в детство, чтобы снова почувствовать себя под его высокой защитой. Для взрослого нет защиты. Когда ты становишься взрослым, тебя пускают одного. Но кто осмелится обидеть ребенка, которого держит за руку всемогущая Паула? Паула, я укрылся твоей тенью, как щитом…

Я перепробовал все хитрости. Когда Дютертр сказал мне: «Дело плохо», — я обратил в надежду даже эту угрозу. Мы на войне: так нужно же, чтобы война хоть в чем-то проявилась. И она проявилась всего лишь в нескольких светящихся росчерках. Так вот она какая, эта знаменитая смертельная опасность над Аррасом? Просто смешно!..

Осужденный на смерть представляет себе палача в виде безликого робота. Но вот приходит славный малый, который умеет чихать и даже улыбаться. Осужденный цепляется за эту улыбку, как будто она — путь к спасению… Однако это

призрачный путь. Палач, хоть он и чихает, все равно отрубит ему голову. Но можно ли отказаться от надежды?

Как было и мне не ошибиться в том, какой прием нам окажут, если под нами расстилался такой простой и милый сельский пейзаж, если так приветливо блестели мокрые черепичные крыши и, хотя проходили минуты, ничто не менялось и как будто не должно было измениться. Если мы трое — Дютертр, стрелок и я — просто возвращались домой с прогулки по полям, даже не подняв воротников, потому что никакого дождя не было. Если в глубине немецких позиций не обнаруживалось ничего примечательного и если не было никакой видимой причины, которая в дальнейшем непременно должна была изменить облик войны. Если казалось, что враг рассеялся и как бы растворился в безграничности полей, так что, может быть, и осталось-то всего по одному солдату на дом, по одному солдату на дерево, и кто-нибудь из них, вспомнив про войну, время от времени начинал стрелять. Ему без конца вдалбливали: «Ты должен стрелять по самолетам…» Но сейчас это припоминалось смутно, как сквозь сон. Солдат давал короткую очередь, сам хорошенько не зная, нужно ли это. Так, бывало,

гуляя по вечерам с милой сердцу спутницей, я охотился на уток, вовсе не думая о них: я стрелял, а сам говорил совсем о другом. Уток это вполне устраивало…

Очень легко увидеть то, что хочешь видеть: вот этот солдат целится в меня, но так, между прочим, и пули его летят мимо. Другие солдаты пропускают нас. Те, что могли бы подставить нам ножку, может быть, с наслаждением вдыхают в эту минуту запахи ночи, или закуривают сигарету, или досказывают анекдот — и они пропускают нас. Расквартированные вон в той деревне, быть может, протягивают за супом свой котелок. Раздается и затихает какой-то гул. Свои или чужие? Им некогда разбираться, они видят лишь наполняемый котелок — и пропускают нас. А я, засунув руки в карманы и посвистывая, пытаюсь как ни в чем не бывало прошмыгнуть через этот сад, в котором гулять запрещено, но куда каждый сторож, полагаясь на другого, беспрепятственно пропускает меня…

Я так уязвим! Сама моя беспомощность — ловушка для них: «Зачем вам беспокоиться? Меня собьют чуть подальше…» Это так очевидно! «Ну и проваливай! Пусть тебя сбивает кто хочет!..» Они перекладывают эту скучную работу на других,

чтобы не пропустить свою очередь за супом, чтобы не прерывать шутки или чтобы просто насладиться вечерним ветерком. А я пользуюсь их нерадивостью, я вырываю свое спасение у этой минуты, когда война утомила их всех, всех до единого, как нарочно, — а почему бы и нет? И я уже прикидываю, как, справившись со своим заданием, от солдата к солдату, от взвода к взводу, от деревни к деревне доберусь домой. В конце-то концов, мы всего лишь пролетающий в вечернем небе самолет… Из-за него и голову поднимать не стоит!

Конечно, я надеялся вернуться. Но в то же время я знал: что-то должно произойти. Вас осудили на казнь, но тюрьма, где вы заключены, еще безмолвствует. Вы судорожно цепляетесь за эту тишину. Каждая секунда похожа на прошедшую. И нет никаких оснований считать, что та, которая вот-вот наступит, перевернет мир. Такой труд ей не под силу. Каждая секунда, одна за другой, спасает тишину. И уже кажется, что она будет длиться вечно…

Но вот раздаются шаги того, чей приход неотвратим.

В ландшафте что-то нарушилось. Так полено, которое, казалось, потухло, с внезапным треском

выбрасывает целый сноп искр. Какая тайная сила заставила всю равнину мгновенно отозваться на наше присутствие? Весною деревья рассеивают свои семена. Почему вдруг наступила весна для орудий? Откуда потоки света, которые устремляются к нам и, кажется, разом заполняют все?

Мое первое ощущение — что я допустил какую-то оплошность. Я все испортил. Когда равновесие слишком неустойчиво, достаточно бывает моргнуть глазом или шевельнуть рукой. Альпинист кашлянул, и лавина сдвигается с места. А когда она сдвинулась — все пропало.

Мы тяжело ступали по этому синему болоту, уже потонувшему во тьме. Мы взбаламутили эту спокойную тину, и вот она взметнулась к нам десятками тысяч золотых пузырьков.

В пляску вступило множество жонглеров. Множество жонглеров кидают десятки тысяч шаров, летящих к нам один за другим. Из-за отсутствия углового отклонения сначала они кажутся нам неподвижными, но потом, подобно шарикам, которые искусный жонглер не бросает, а как бы выпускает на свободу, медленно возносятся кверху. Я вижу, как светящиеся слезы текут ко мне сквозь вязкую тишину. Тишину, сопровождающую выступление жонглеров.

Каждая пулеметная очередь или залп скорострельных зенитных пушек мечет сотни снарядов или трассирующих пуль, которые нижутся друг за другом, как бусины четок. Тысячи четок устремляются к нам, их упругие нити растягиваются до предела и рвутся на нашей высоте.

И в самом деле, если смотреть сбоку, видно, что не попавшие в нас снаряды и пули летят с головокружительной быстротой. Слезы превращаются в молнии. Я очутился в бескрайнем поле траекторий, отливающих золотом спелой пшеницы. Я попал в сноп летящих копий. Мне угрожают бесчисленные иглы, затеявшие какой-то головокружительный хоровод. Вся равнина протянула ко мне свои нити и ткет вокруг меня сверкающую сеть.

Когда я склоняюсь над землей, я вижу эти слои сияющих пузырьков, которые поднимаются с медлительностью пелены тумана. Я вижу это медленное кружение семян: так улетает мякина, когда молотят зерно. Но если смотреть по горизонтали — вокруг меня одни только копья, снопы копий. Огонь? Да нет же! Меня атакуют холодным оружием! Я вижу лишь светящиеся мечи! Я чувствую… Какая там опасность! Я ослеплен великолепием этого зрелища!

Тр-р-рах!

Я на двадцать сантиметров подскочил над сиденьем. На самолет словно обрушился удар тарана. Он разбит, рассыпался в пыль… но нет… нет… я чувствую, что он еще поддается управлению. Это только первый удар целой лавины ударов. А между тем я не видел разрывов. Должно быть, их дым сливается с темной землей: я поднимаю голову и смотрю.

И вижу — спасения нет.

XXI

Склонившись над землей, я не заметил, что пустое пространство между облаками и мной постепенно расширилось. Трассирующие снаряды излучали пшеничный свет: откуда мне было знать, что, достигнув высшей точки, они вонзают в небо что-то темное, словно вбивают гвозди. Я вижу, как эти дымки разрывов уже собираются в клубящиеся пирамиды, уплывающие назад с медлительностью полярных льдин. Когда смотришь на них с такого расстояния, кажется, что сам ты неподвижен.

Я знаю, что эти сооружения, едва возникнув, становятся безопасны. Все эти хлопья располагали властью над жизнью и смертью в течение лишь сотой доли секунды. Но незаметно они окружили меня со всех сторон. С их появлением над моей головой нависает тяжесть грозного приговора.

Эти сплошные бесшумные взрывы, заглушаемые ревом мотора, создают иллюзию необычайной тишины. Я ничего не ощущаю. Во мне зияет пустота ожидания, словно мои судьи удалились на совет.

Я думаю… я все-таки думаю: «Они берут слишком высоко!» Я запрокидываю голову и вижу, как, словно нехотя, отлетает назад целая стая орлов. Эти отказались от добычи. Но надеяться не на что.

Орудия, бившие мимо нас, пристреливаются. Стены разрывов вновь вырастают уже на нашей высоте. Каждая огневая точка за несколько секунд воздвигает свою пирамиду взрывов, но тут же отказывается от нее за негодностью, чтобы воздвигнуть новую в другом месте. Огонь не ищет нас: он замыкает нас в кольцо.

— Дютертр, далеко еще?

— …продержаться бы хоть три минуты, мы бы закончили… но…

— Может, проскочим…

— Черта с два!

До чего она мрачна, эта серая мгла, серая, как сваленная в кучу ветошь. А равнина была синяя. Бесконечно синяя. Синяя, как морская глубь…

Сколько я могу продержаться? Десять, двадцать секунд? Взрывные волны встряхивают меня уже беспрестанно. Самые близкие стучат по самолету, словно камни, падающие в тачку. И тогда весь самолет издает почти музыкальный звук. Какой-то странный стон… Значит, снаряды пролетели

мимо. Это как с молнией: чем она ближе, тем все проще. Иногда я ощущаю обыкновенный толчок: значит, нас задело осколком. Хищный зверь, убивая быка, не встряхивает его. Он уверенно и точно вонзает в него когти. Он сразу завладевает быком. Так и прямые попадания просто врезаются в самолет, как в мышцу.

— Ранен?

— Нет!

— Эй! стрелок, ранен?

— Нет!

Но эти толчки, описывать которые все же приходится, не идут в счет. Они барабанят по скорлупе, по барабану. Вместо того чтобы развороти́ть баки, они с такою же легкостью могли бы вспороть нам животы. Но и живот всего лишь барабан. На тело-то плевать! Оно не в счет… вот это и удивительно!

О теле мне нужно сказать несколько слов. Ведь в повседневной жизни человек слеп к очевидности. Чтобы она стала зримой, необходимы вот такие исключительные обстоятельства. Необходим этот дождь восходящих огней, необходимы эти надвигающиеся на тебя копья, необходимо, наконец, чтобы ты предстал перед этим трибуналом для Страшного Суда. Вот тогда ты поймешь.

Снаряжаясь в полет, я спрашивал себя: «Какими они будут, последние мгновения?» Жизнь всегда разрушала выдуманные мною химеры. Но на этот раз пришлось идти обнаженным под градом бешеных ударов, даже не имея возможности прикрыть рукою лицо.

Испытание я представлял себе, как испытание для моей плоти. Я считал, что риску подвергается прежде всего плоть. Точка зрения, на которую я по необходимости становился, была точкой зрения моего тела. Мы так много занимаемся своим телом! Так старательно одеваем его, моем, холим, бреем, поим и кормим. Мы отождествляем себя с этим домашним животным. Водим его к портному, к врачу, к хирургу. Страдаем вместе с ним. Плачем вместе с ним. Любим вместе с ним. О нем мы говорим: «Это я». И вдруг вся эта иллюзия рушится. Тело мы не ставим ни в грош! Низводим его до уровня прислуги. Стоит только вспыхнуть гневу, запылать любви, проснуться ненависти, и эта пресловутая солидарность дает трещину.

Твой сын в горящем доме? Ты спасешь его! Тебя не удержать! Пусть ты горишь. Тебе плевать на это! Ты готов кому угодно заложить свою плоть, эту жалкую ветошь! Ты вдруг обнаруживаешь, что вовсе и не привязан к тому, что казалось тебе

таким важным. Ты готов лишиться руки, только бы не отказать себе в роскоши протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Ты весь в твоем действии. Твое действие — это ты. Больше тебя нет нигде. Твое тело принадлежит тебе, но оно уже не ты. Ты готов нанести удар? Никто не сможет обуздать тебя, угрожая твоему телу. Ты — это смерть врага. Ты — это спасение сына. Ты обмениваешь себя. И у тебя нет такого чувства, будто ты теряешь на этом обмене. Твои руки, ноги? Они — только орудия. Плевать на орудие, если оно ломается, когда с его помощью обтесывают камень. И ты обмениваешь себя на смерть соперника, на спасение сына, на исцеление больного, на твое открытие, если ты изобретатель. Товарищ из нашей группы смертельно ранен. Приказ с объявлением ему благодарности гласит: «И он сказал своему штурману: мне — крышка. Беги! Спасай документы!..» Важно только спасение документов или ребенка, исцеление больного, смерть соперника, открытие! И смысл твоего существования становится вдруг ослепительно ясен. Смысл его — это твой долг, твоя ненависть, твоя любовь, твоя верность, твое изобретение. Ты не находишь в себе ничего другого.

Огонь освободил тебя не только от плоти, но

одновременно и от культа плоти. Человек перестал интересоваться собой. Ему важно лишь то, к чему он причастен. Умирая, он не исчезает, а сливается с этим. Он не теряет, а находит себя. И это не проповедь моралиста. Это обыденная, повседневная истина, которую повседневные иллюзии скрывают под своей непроницаемой маской. Мог ли я предвидеть, когда снаряжался в полет и испытывал страх за свое тело, что все это сущий вздор? Только в тот миг, когда жертвуешь телом, с изумлением обнаруживаешь, как мало оно для тебя значит. Но разумеется, в обычной жизни, если мною не движет крайняя необходимость, если речь не идет о самом смысле моего существования, я не представляю себе ничего более важного, чем заботы, связанные с моим телом.

Подумаешь, тело! Да мне на тебя начхать! Я выброшен из тебя вон, у меня нет больше надежды, и ничего мне не нужно! Я отвергаю все, чем я был до этой секунды. Не я думал о чем-то. Не я чувствовал что-то. То было мое тело. С грехом пополам я вынужден был дотащить его до той секунды, когда вдруг обнаружил, что оно не имеет для меня никакого значения.

Первый урок я получил в пятнадцать лет. Мой

младший брат болел, и уже несколько дней, как был признан безнадежным. Однажды утром, часа в четыре, меня будит его сиделка:

— Ваш брат зовет вас.

— Ему плохо?

Она не отвечает. Поспешно одеваюсь и бегу к брату.

Он обращается ко мне своим обычным голосом:

— Я хотел поговорить с тобой прежде, чем умру. Я умираю.

Лицо его сводит судорога, и он умолкает. При этом он делает отрицательный жест рукой. И я не понимаю его жеста. Мне кажется, что мальчик отталкивает смерть. Но, успокоившись, он объясняет мне:

— Не бойся… я не страдаю. Мне не больно. Но я не могу удержаться. Это мое тело.

Его тело — уже не принадлежащее ему владение.

Но он хочет говорить серьезно, мой маленький брат, который через двадцать минут умрет. Он чувствует настоятельную потребность передать кому-то в наследство частицу себя. Он говорит: «Я хотел бы оставить завещание…» И он краснеет, гордый, разумеется, тем, что поступает как взрос-

лый мужчина. Если бы он был строителем башни, он завещал бы мне достроить свою башню. Если бы он был отцом, он завещал бы мне воспитание своих сыновей. Если бы он был военным летчиком, он завещал бы мне бортовые документы. Но он всего лишь ребенок. Он завещает мне моторную лодку, велосипед и ружье.

Человек не умирает. Он воображает, будто боится смерти, но боится он неожиданности, взрыва, боится самого себя. Страх смерти? Нет. Когда встречаешься со смертью, ее уже не существует. Брат сказал мне: «Не забудь записать все это…» Когда разрушается тело, становится очевидным главное. Человек — всего лишь узел отношений. И только отношения важны для человека.

Мы бросаем тело, эту старую клячу. Кто думает о себе, умирая? Такого я еще не встречал!..

— Капитан!

— Что?

— Вот здорово!

— Стрелок…

— Гм… да?..

— Какой…

Мой вопрос прерывается толчком.

— Дютертр!

— …тан?

— Задело?

— Нет.

— Стрелок…

— Да?

— За…

Я словно врезался в железную стену. Я слышу:

— Ну и ну!..

Поднимаю голову к небу, взглядом измеряю расстояние до облаков. Когда я смотрю под углом, я вижу, как все теснее громоздятся черные хлопья. Если же смотреть вверх, они кажутся более редкими. И я вижу грандиозную корону с черными розетками, возникшую над нашими головами.

Мышцы бедер обладают поразительной силой. Я жму на педали так, словно хочу пробить стену. Я бросаю самолет в сторону. Он делает резкий рывок влево, треща и вибрируя. Корона взрывов скользнула вправо. Я скинул ее с моей головы. Я обманул орудия, они бьют теперь мимо. Я вижу, как справа скопляются уже безвредные для меня разрывы. Но прежде чем я нажал другой ногой, чтобы уйти в противоположную сторону, надо мной уже снова возникла корона. С земли опять пристрелялись. Самолет, ухнув, вновь низвергается в провалы. Но я опять всей тяжестью

тела навалился на педаль. Я бросил, или, вернее, рванул, самолет в противоположную сторону (к черту координацию!), и корона съехала влево.

А вдруг продержимся? Но долго эта игра продолжаться не может! Как бы резко я ни двигал педалями, оттуда, спереди, на меня опять надвигается ливень разящих копий. Корона опять нависает надо мной. Все мое нутро вновь сотрясается от толчков. И, глядя вниз, я снова вижу это головокружительно медленное восхождение направленных прямо на меня пузырьков. Непостижимо, что мы еще целы. И все-таки я убеждаюсь, что я неуязвим. Я чувствую себя победителем! Каждую секунду — я победитель!

— Задело?

— Нет…

Их не задело. Они неуязвимы. Они — победители. Я командую экипажем победителей…

Теперь каждый разрыв уже не угрожает нам: он нас закаляет. При каждом разрыве, в течение десятой доли секунды, я думаю, что моя машина превратилась в пыль. Но она все еще повинуется управлению, и я поднимаю ее, как коня, туго натягивая поводья. И тогда мне становится легче и меня охватывает тайное ликование. Я не успеваю испытать страх, я чувствую лишь физическую

встряску, как от сильного шума, — и тут же мне даруется вздох облегчения. Я бы должен сначала почувствовать толчок от удара, потом страх, потом разрядку. Как бы не так! На это нет времени! Я чувствую толчок, потом разрядку. Толчок, разрядка. Один этап отсутствует — нет страха. И я живу не ожиданием смерти в каждую ближайшую секунду; я живу воскресением, наступающим сразу вслед за секундой предшествующей. Я живу в какой-то струе радости. В непрерывном потоке ликования. И вдруг мне становится удивительно хорошо. Словно с каждой секундой мне вновь даруется жизнь. Словно с каждой секундой я ощущаю ее все полнее. Я живу. Я жив. Я еще жив. Я превратился в источник жизни. Меня охватывает опьянение жизнью. Говорят: «Опьянение боем...» Но это и есть опьянение жизнью! О, знают ли те, кто стреляет в нас снизу, знают ли они, что они нас выковывают?

Маслобаки, баки с горючим — все пробито. Дютертр говорит: «Закончил! Набирайте высоту!» Я еще раз измеряю на глаз расстояние, отделяющее меня от облаков, и кабрирую. Еще раз опрокидываю самолет влево, потом вправо. Еще раз бросаю взгляд на землю. Мне никогда не забыть этого зрелища. Вся равнина сверкает короткими горя-

щими фитилями. Разумеется, скорострельные пушки. Со дна огромного голубоватого аквариума продолжают подыматься пузырьки. Пламя Арраса льет багровый свет, как железо на наковальне; его обильно питают подземные запасы, и пот человека, разум человека, искусство человека, его воспоминания и сокровища, вздымаясь вверх, сплетаются в этом косматом пламени и превращаются в гарь, уносимую ветром.

Я уже касаюсь первых клочьев тумана. Вокруг нас еще возносятся золотые стрелы, прорывая снизу брюхо облаков. В последний раз я вижу землю через последний из этих прорывов, когда облако уже окутывает меня. На мгновение передо мной возникает пылающий Аррас, зажженный на ночь, как лампада в глубине церковного нефа. Она горит во славу какого-то божества, но обходится слишком дорого. Завтра она уничтожит и поглотит все. Свидетельство я уношу с собою — образ пылающего Арраса.

— Ну как, Дютертр?

— Нормально, господин капитан. Курс двести сорок. Через двадцать минут пробьем облака. Сориентируемся где-нибудь по Сене.

— Ну как, стрелок?

— Гм… да… капитан… нормально.

— Что, жарко пришлось?

— Гм… нет… да…

Он и сам не знает. Он доволен. Я вспоминаю стрелка из экипажа Гавуаля. Однажды ночью, на Рейне, восемьдесят прожекторов взяли Гавуаля в кольцо своих лучей. Они воздвигли вокруг него гигантский собор. Начинается обстрел. И вот Гавуаль слышит, как его стрелок тихонько разговаривает сам с собой (ларингофоны не отличаются скромностью). Стрелок сам с собой откровенничает: «Ну что, старина… Каково?.. Разве на гражданке такое увидишь?..» Он был доволен, этот стрелок.

А я медленно перевожу дух. Набираю полную грудь воздуха. Как чудесно дышать. Теперь мне станет понятно множество всяких вещей… Но прежде всего я думаю об Алиасе. Нет. Прежде всего я думаю о своем фермере. Значит, я все-таки спрошу его, сколько у меня приборов… Обязательно спрошу! Я не отказался от этого намерения. Их сто три. Кстати… Что там у меня с указателями горючего, давления масла… Когда баки пробиты, за ними надо следить. И я слежу. Резиновые протекторы задерживают течь. Прекрасное усовершенствование! Я слежу также за гироприборами: это облако не очень-то приветливо.

Грозовая туча. Она нас здорово потряхивает.

— Ну как? Не пора снижаться?

— Десять минут… давайте обождем еще десять минут.

Ладно, обожду еще десять минут. Ах да, я думал об Алиасе.

Рассчитывает ли он, что мы вернемся? В прошлый раз мы опоздали на полчаса. Полчаса, вообще говоря, опоздание серьезное… Бегу к товарищам — они обедают. Открываю дверь, сажусь на свое место рядом с Алиасом. Как раз в эту минуту майор поднял вилку, на которую подцепил лапшу. Он уже собирался положить ее в рот. Но он подскакивает, застывает с открытым ртом и смотрит на меня. Лапша повисла на вилке.

— А!.. Вот хорошо… рад вас видеть!

И он запихивает лапшу в рот.

По-моему, у него есть серьезный недостаток, у майора. Он упрямо расспрашивает летчиков о результатах полета. Он будет расспрашивать и меня. Он будет смотреть на меня с угрожающим терпением, ожидая, что я открою ему какие-то новые истины. Он вооружится бумагой и авторучкой, чтобы не потерять ни одной капли этого эликсира. Мне вспоминается юность: «Кандидат Сент-Экзюпери, как вы проинтегрируете уравне-

ния Бернулли?»

— Гм…

Бернулли… Бернулли… И я цепенею под взглядом экзаменатора, как букашка, насаженная на булавку.

Результаты полета — это дело Дютертра. Он наблюдает за землей. Он видит кучу всяких вещей. Грузовики, баржи, танки, орудия, солдат, лошадей, железнодорожные станции, поезда на станциях, начальников станций. Я же наблюдаю под небольшим углом. Я вижу облака, море, реки, горы, солнце. Я не вижу подробностей. У меня создается лишь общее впечатление.

— Вы ведь знаете, господин майор, что пилот…

— Ну, ну! Что-нибудь заметить всегда можно.

— Я… Ах да! Пожары! Я видел пожары. Это очень интересно…

— Не очень. Все горит. Ну, а кроме пожаров?

Почему Алиас так жесток?

XXII

Будет ли он расспрашивать меня и на этот раз?

То, с чем я возвращаюсь с задания, нельзя изложить в докладе. Я буду плавать, как школьник у классной доски. У меня будет очень несчастный вид, а между тем я не буду несчастен. С несчастьем покончено… Оно улетучилось, как только засветились первые пули. Стоило мне повернуть назад на одну секунду раньше, и я ничего бы не узнал о себе.

Я не узнал бы чудесной нежности, что подступает мне к сердцу. Я возвращаюсь к своим. К себе домой. Я похож на хозяйку, которая, обойдя лавки, направляется к дому и думает о том, какими вкусными кушаньями она порадует свою семью. Корзинка с провизией в ее руке раскачивается из стороны в сторону. Время от времени она приподнимает газету, которой закрыты покупки: тут все, что нужно. Она ничего не забыла. И она улыбается при мысли о том, как удивит свою семью, и идет не спеша. Она поглядывает на витрины.

Я тоже с удовольствием поглядел бы на витрины, если бы Дютертр позволил мне выйти из этой белесой тюрьмы. Я смотрел бы, как убегают

поля. Впрочем, действительно, лучше немного потерпеть: этот ландшафт отравлен. Там все в заговоре против нас. Даже маленькие провинциальные виллы с их забавными лужайками и несколькими дюжинами приручённых деревьев, похожие на нехитрые футлярчики для наивных девушек, — даже они оказываются ловушками. Попробуй спуститься ниже, и вместо дружеских приветствий тебя угостят артиллерийским огнем.

Хотя я в грозовом облаке, я все же возвращаюсь с рынка. Интонация у майора была, конечно, правильная: «Дойдете до первой улицы направо и там, на углу, купите мне коробку спичек…» Моя совесть спокойна. Спички у меня в кармане. Или, точнее, в кармане моего товарища, Дютертра. Как это ему удается запомнить все, что он видел? Однако это его дело. У меня заботы серьезнее. По возвращении, если нас не ждет опять возня с перебазированием, я вызову Лакордэра на поединок и объявлю ему мат. Он терпеть не может проигрывать. Я тоже. Но я выиграю.

Вчера Лакордэр напился. Впрочем… не сильно: я не хочу его порочить. Он выпил, чтобы утешиться. Возвращаясь на базу, он забыл выпустить шасси и посадил самолет прямо на брюхо. Алиас,

который, увы, при этом присутствовал, с грустью посмотрел на самолет, но не сказал ни слова. Как сейчас вижу Лакордэра, старого летчика. Он ждал упреков Алиаса. Он надеялся на упреки Алиаса. От яростных упреков ему стало бы легче. Их взрыв позволил бы и ему взорваться. В ответ он мог бы излить свое бешенство. Но Алиас качал головой. Алиас сокрушался о самолете, ему плевать было на Лакордэра. Для майора этот неприятный случай был только очередной аварией, чем-то вроде неизбежного налога на его имущество. Дело заключалось всего лишь в дурацкой рассеянности, которая иной раз подводит даже самых опытных летчиков. Но Лакордэра она подвела несправедливо. Если не считать сегодняшнего промаха, Лакордэр был профессионально безупречен. Вот почему Алиас, интересуясь только пострадавшим самолетом, совершенно машинально спросил у самого Лакордэра, что он думает о повреждениях. И я почувствовал, как вспыхнуло подавленное бешенство Лакордэра. Вы тихонько кладете руку на плечо палача и говорите: «Несчастная жертва… представляю, как она, бедняжка, страдает…» Движения человеческого сердца непостижимы. Ласковая рука, вместо того чтобы пробудить в палаче сочувствие, приводит его в ярость. Он

мрачно глядит на жертву. Он жалеет, что сразу не прикончил ее.

Так вот. Я возвращаюсь домой. Группа 2/33 — мой дом. И я хорошо знаю своих домашних. Я не могу ошибиться в Лакордэре. Лакордэр не может ошибиться во мне. Я сознаю нашу общность с поразительной ясностью: «Мы — летчики из группы 2/33». Вот уже разрозненные куски связываются в одно целое.

Я думаю о Гавуале и Ошедэ. Я сознаю свою общность с Гавуалем и Ошедэ. Гавуаль. Какого он происхождения? В нем чувствуется здоровая крестьянская основа. Неожиданно во мне всплывает теплое воспоминание, и аромат его проникает в самое сердце. Когда мы стояли в Орконте, Гавуаль, как и я, жил на ферме. Однажды он говорит:

— Хозяйка заколола свинью. Она приглашает нас на кровяную колбасу.

Мы трое, Израэль, Гавуаль и я, с наслаждением грызли темную хрустящую корочку. Крестьянка подала нам легкое белое вино. Гавуаль сказал мне: «Посмотри, что я купил. Надпиши, ей будет приятно». Это была одна из моих книг. И я не почувствовал ни малейшей неловкости. Я охотно надписал, чтобы доставить ей удовольствие. Израэль набивал трубку. Гавуаль почесывал ногу,

хозяйка, казалось, была очень рада получить в подарок книгу с надписью самого автора. Кровяная колбаса благоухала. Я немного охмелел от легкого белого вина и не чувствовал себя чужим, несмотря на то что надписал книгу, — прежде мне это всегда казалось какой-то нелепостью. Я себя чувствовал своим. Несмотря на мою книжку, я не производил впечатления ни писателя, ни зрителя. Я пришел сюда не со стороны. Израэль дружелюбно смотрел, как я надписываю книжку. Гавуаль все так же простодушно почесывал ногу. И я испытывал к ним какую-то смутную благодарность. Из-за этой книги я мог бы выглядеть сторонним наблюдателем. А между тем я не производил впечатления ни интеллигента, ни наблюдателя. Я был своим.

Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя. Что же я такое, если я не принимаю участия? Чтобы быть, я должен участвовать. Меня питают достоинства моих товарищей, достоинства, о которых они и сами не ведают, и не по скромности, а просто потому, что им на это наплевать. Ни Гавуаль, ни Израэль не раздумывают о себе. Они — это сеть связей, связей с их трудом, с их профессией, с их долгом. И с этой дымящейся колбасой. Меня опьяняет реальность их присутствия. Я

могу молчать. Могу пить легкое белое вино. Могу даже сделать надпись на книге, не отчуждая себя от них. Ничто не нарушит нашего братства.

Я вовсе не собираюсь принижать ни успехов разума, ни побед мышления. Я восхищаюсь светлыми умами. Но чего стоит человек, если у него нет сущности? Если он — только видимость, а не бытие? Эта сущность очевидна для меня в Гавуале и в Израэле. Она была очевидна для меня в Гийоме.

Преимущества, которые дает мне моя писательская деятельность, например, возможность получить разрешение и уйти из группы 2/33, чтобы заняться другой работой, если бы профессия летчика мне разонравилась, — об этом я и думать не могу без отвращения. Это всего лишь свобода не быть. Только выполнение своего долга позволяет человеку стать чем-то.

Мы все, во Франции, чуть не погибли от разума, лишенного сущности. Гавуаль есть. Он любит, ненавидит, радуется, ворчит. Он весь соткан из связей. Сидеть против него, грызть эту хрустящую колбасу для меня такое же наслаждение, как и выполнять свой профессиональный долг, который превращает нас в единое дерево. Я люблю группу 2/33. Я люблю ее не как зритель,

радующийся прекрасному зрелищу. Плевать мне на зрелища. Я люблю группу 2/33, потому что я неотделим от нее, потому что она питает меня и потому что я тоже ее питаю.

И теперь, возвращаясь из Арраса, я больше, чем когда-либо, принадлежу своей группе. Я связал себя с нею еще одной нитью. Во мне укрепилось это чувство общности, наслаждаться которым можно только в тишине. Израэль и Гавуаль бывали, возможно, в еще худших переделках, чем я. Израэль не вернулся. Но с моей сегодняшней прогулки я тоже возвращаюсь только чудом. Она дает мне еще большее право сесть за общий стол и молчать вместе с ними. Это право покупается дорогой ценой. Но и стоит оно очень дорого — право быть. Вот почему я с легким сердцем надписал свою книжку... Это ничего не портило.

А сейчас я краснею при мысли о том, как буду бормотать что-то нечленораздельное, когда майор станет меня расспрашивать. Мне будет стыдно. Майор подумает, что я туповат. Разговоры о моих книгах не смущают меня, потому что, наплоди я хоть целую библиотеку, ссылки на это не избавили бы меня от угрожающего мне стыда. И стыд этот не наигранный. Я не скептик, иной раз позволяющий себе роскошь совершить трога-

тельный ритуал. Я не горожанин, который, попав в деревню, разыгрывает из себя сельского жителя. Я полетел в разведку над Аррасом за новым доказательством того, что я веду честную игру. Я рисковал своей плотью. Всей своей плотью. И шансов на выигрыш у меня не было. Я отдал все, что мог, ради соблюдения правил этой игры. Чтобы они стали чем-то большим, нежели правилами игры. Я заслужил право сконфузиться, когда майор начнет меня расспрашивать. То есть право участвовать. Право быть связанным. Приобщиться. Получать и давать. Право быть чем-то большим, нежели я сам. Отдаться переполняющему меня чувству. Любить товарищей любовью, которая не похожа на порыв, налетевший извне, и которая не ищет излияний — никогда, — разве что в часы прощальных трапез. В такие часы мы бываем немного под хмельком и в благодушном опьянении склоняемся к сотрапезникам, словно дерево, отягощенное плодами. Моя любовь к авиагруппе не нуждается во внешних проявлениях. Она состоит только из связей. Она — сама моя сущность. Я неотделим от группы. И все.

Когда я думаю о своей группе, я не могу не думать об Ошедэ. Я мог бы рассказать о его боевой отваге, но я показался бы смешным самому себе.

Дело тут не в отваге, Ошедэ целиком отдал себя войне. Вероятно, в большей мере, чем любой из нас. Ошедэ неизменно пребывает в том состоянии духа, которого я добивался с таким трудом. Снаряжаясь в полет, я ругался. Ошедэ не ругается. Ошедэ пришел к тому, к чему мы только стремимся. К чему я хотел бы прийти.

Ошедэ — бывший сержант, недавно произведенный в младшие лейтенанты. Разумеется, образования ему не хватает. Сам он никак не мог бы объяснить себя. Но он слажен, он целен. Когда речь идет об Ошедэ, слово «долг» теряет всякую напыщенность. Каждый хотел бы так исполнять свой долг, как его исполняет Ошедэ. Думая об Ошедэ, я корю себя за свою нерадивость, лень, небрежность и прежде всего за минуты неверия. И дело тут не в моей добродетели: просто я по-хорошему завидую Ошедэ. Я хотел бы существовать в той же мере, в какой существует Ошедэ. Прекрасно дерево, уходящее своими корнями глубоко в почву. Прекрасна стойкость Ошедэ. В Ошедэ нельзя обмануться.

Поэтому я не стану распространяться о боевых вылетах Ошедэ. Вылетал ли он добровольно? Мы все и всегда добровольно летим на любое задание. Но нами движет неосознанная потребность

верить в себя. И тут мы себя чуточку пересиливаем. А для Ошедэ быть добровольцем совершенно естественно. Он и есть сама эта война. Это так естественно, что, когда речь идет о тяжелом задании, майор Алиас прежде всего вспоминает об Ошедэ: «Послушайте, Ошедэ…» Для Ошедэ война все равно что для монаха его религия. За что он сражается? Он сражается за себя. Он неотделим от некой сущности, которая воплощена в нем самом и которую нужно спасти. Тут границы между жизнью и смертью почти сливаются. Для Ошедэ они уже слились. Быть может, сам того не ведая, он не боится смерти. Жить самому; умирая, спасать жизнь других… Для Ошедэ жизнь и смерть не исключают друг друга.

Больше всего меня поразило, как он переполошился, когда однажды Гавуаль попросил его одолжить хронометр для измерения скорости с земли.

— Нет, господин лейтенант… не могу…

— Чудак! Мне же на десять минут! Только отрегулировать!

— Господин лейтенант… хронометр есть на складе.

— Ну, есть. Так ведь он уж полтора месяца как застрял на двух часах семи минутах!

— Господин лейтенант… такую вещь, как хронометр, не одалживают… я не обязан одалживать свой хронометр… этого вы не можете от меня требовать!

Когда горящий самолет Ошедэ приземляется на аэродроме, а сам он каким-то чудом остается невредим, военная дисциплина и уважение к начальнику могут заставить его тут же сесть в другой самолет и полететь на другое задание, на этот раз, может быть, гибельное… но он не обязан отдавать в небрежные руки свой роскошный хронометр, за который заплатил свое трехмесячное жалованье и который он каждый вечер заводит поистине с материнской заботливостью. Достаточно взглянуть на то, как человек обращается с вещью, и сразу поймешь, что он ничего в ней не смыслит.

И когда Ошедэ, отстояв свои права и еще пылая от возмущения, победителем вышел из штаба, прижимая к груди свой хронометр, я готов был расцеловать Ошедэ. Мне открылись сокровища его души. Он будет бороться за свой хронометр. Его хронометр существует. И он умрет за свою страну. Его страна существует. И существует Ошедэ, неразрывно связанный с ними. Он соткан из своих бесчисленных связей с миром.

Вот почему я люблю Ошедэ, не испытывая потребности говорить ему об этом. Я потерял Гийоме, лучшего моего друга, — он погиб в полете, — и о нем я тоже избегаю говорить. Мы летали на одних и тех же линиях, мы вместе участвовали в их прокладке. У нас была единая сущность. Я чувствую, что вместе с ним умерла и какая-то часть меня. В безмолвии Гийоме всегда со мной. Я неотделим от Гийоме.

Я неотделим от Гийоме, неотделим от Гавуаля, от Ошедэ. Я неотделим от группы 2/33. Неотделим от моей родины. И все мы из группы 2/33 неотделимы от нее…

XXIII

Как я изменился! В эти последние дни, майор Алиас, мне было горько. В эти дни, когда бронированное нашествие встречало на своем пути только пустоту, безнадежные задания стоили нашей группе семнадцать из двадцати трех экипажей. И мне казалось, что мы вслед за вами согласились быть статистами и изображать убитых в каком-то представлении. Да, майор Алиас, мне было горько, и я был не прав!

Все мы вслед за вами судорожно хватались за букву долга, суть которого уже померкла. Вы инстинктивно требовали от нас не победы — она была невозможна, — а утверждения нашей сущности. Вы, так же как и мы, знали, что добытые нами сведения никому не будут переданы. Но вы спасали обряды, лишенные всякого смысла. Вы серьезно расспрашивали нас — как будто наши ответы могли на что-то пригодиться — о танковых парках, о баржах, о грузовых машинах, о станциях, о поездах на станциях. Иногда вы даже возмущали меня своим недоверием.

— Нет! Нет! С места пилота вполне можно вести наблюдение.

И все-таки, майор Алиас, вы были правы.

Летя над Аррасом, я принял на себя ответственность за толпу, которая была подо мной. Я связан лишь с тем, кому я даю. Я понимаю лишь тех, с кем я связан неразрывными узами. Я существую лишь в той мере, в какой меня питают мои корни. Я неотделим от этой толпы. Эта толпа неотделима от меня. На скорости пятьсот тридцать километров в час и на высоте двести метров, теперь, когда я спустился под свое облако, я сочетаюсь с ней в этом вечернем сумраке, как пастух, который одним взглядом пересчитывает, собирает и объединяет стадо. Эта толпа уже не толпа; она — народ. Разве могу я отчаиваться?

Несмотря на гниль поражения, меня, словно я приобщился какого-то таинства, переполняет праздничное ликование. Я погружен в хаос разгрома, и все-таки я чувствую себя победителем. Кто из моих товарищей, возвращаясь с задания, не чувствует себя победителем? Капитан Пенико рассказал мне о своем утреннем полете: «Когда мне казалось, что какая-нибудь зенитка слишком хорошо ко мне пристрелялась, я пикировал прямо на нее и на полной скорости, с бреющего полета, давал по ней пулеметную очередь, которая разом тушила этот красноватый огонь, как

порыв ветра тушит свечу. Через десятую долю секунды я вихрем проносился над орудийным расчетом. Пушка словно взрывалась! Люди разбегались во все стороны и, спотыкаясь, падали на землю. Я точно в кегли играл». И Пенико смеялся. Пенико торжествующе смеялся. Пенико — капитан-победитель!

Я знаю: боевое задание преобразило даже того стрелка из экипажа Гавуаля, который, оказавшись ночью внутри собора, воздвигнутого восьмьюдесятью прожекторами, прошел под сводом из их лучей, как солдат на свадьбе проходит под скрещенными шпагами.

— Можете взять курс девяносто четыре.

Дютертр только что сориентировался по Сене. Я снизился до ста метров. Земля со скоростью пятьсот тридцать километров в час катит на нас большие прямоугольники люцерны или пшеницы и треугольные леса. Я испытываю физическое удовольствие, следя за тем, как нос моего самолета неустанно рассекает их, словно плывущие льдины. Внизу появляется Сена. Когда я пролетаю над ней под углом, она отступает, будто поворачиваясь на своей оси. Это движение доставляет мне такое же удовольствие, как плавный взмах косы, срезающей траву. Сидеть мне удобно. Я хозяин

на борту своей машины. Баки целы. Я сыграю в покер с Пенико, выиграю у него рюмку коньяка, потом объявлю мат Лакордэру. Вот я какой, когда я победитель.

— Капитан… стреляют… мы в запретной зоне…

Курс вычисляет он. Я тут ни при чем.

— Здорово стреляют?

— Стреляют вовсю…

— Повернем?

— Ну, нет…

Тон у него пренебрежительный. Мы знаем, что такое потоп. Огонь наших зениток — просто весенний дождик.

— Дютертр… послушайте… глупо же, если нас собьют свои!

— …не собьют… пусть поупражняются.

Дютертр язвит.

А у меня нет охоты язвить. Я счастлив. Мне приятно поговорить со своими.

— Да уж… стреляют как…

Он, оказывается, жив, наш стрелок! Я заметил, что по собственной инициативе он еще ни разу не заявлял о своем существовании. Он переварил все приключения молча, не испытывая потребности общаться с нами. Впрочем, один раз он, кажется, произнес: «Ну и ну!» — в самый разгар

обстрела. Во всяком случае, потока излияний не было.

Но сейчас дело коснулось его специальности: пулемета. А когда дело коснется их специальности, тут уж специалистов не удержать.

Я невольно противопоставляю эти два мира. Мир самолета и мир земли. Я только что увлек Дютертра и моего стрелка за дозволенные пределы. Мы видели пылающую Францию. Мы видели сверкающее море. Мы состарились на большой высоте. Мы склонялись над далекой землей, словно над музейной витриной. Мы играли на солнце с пылинками вражеских истребителей. Потом мы опять снизились. Мы бросились в костер. Мы жертвовали всем. И там мы узнали о самих себе больше, чем узнали бы за десять лет размышлений. Наконец мы вышли из этого десятилетнего отшельничества.

А караван беженцев, который мы, быть может, уже видели, когда летели к Аррасу, продвинулся самое большее метров на пятьсот.

За то время, что они будут оттаскивать в кювет поломанный автомобиль, менять колесо или просто сидеть и барабанить пальцами по баранке в ожидании, пока перекресток освободят от разбитых машин, мы уже успеем вернуться на базу.

* * *

Мы перешагнули через все поражение. Мы похожи на паломников, которые легко переносят мучения в пустыне, потому что сердцем они уже в священном граде.

Наступающая ночь соберет эту беспорядочную толпу под свой горестный кров. Стадо сбивается в кучу. Кого им молить о помощи? А нам даровано счастье спешить к товарищам, и мне кажется, что мы торопимся на праздник. Так простая хижина, если огонек ее светит нам издалека, превращает самую суровую зимнюю ночь в веселый сочельник. Там, куда мы летим, нас ждет радушный прием. Там, куда мы летим, мы причастимся вечерней трапезы.

На сегодня довольно приключений: я счастлив и утомлен. Я оставлю на попечение механиков свой самолет, обогатившийся новыми пробоинами. Я сброшу с себя тяжелый летный комбинезон, и, так как сыграть с Пенико на рюмку коньяка будет уже слишком поздно, я просто сяду за ужин вместе с товарищами…

Мы опаздываем. Товарищи, которые опаздывают, обычно не возвращаются. Они задержались? Нет, уже слишком поздно. Что поделаешь! Ночь

сталкивает их в вечность. За ужином группа подсчитывает свои потери.

В воспоминаниях невернувшиеся становятся еще милее. Они всегда улыбаются самой светлой улыбкой. Мы откажемся от этого преимущества. Мы явимся без спроса, как злые демоны или браконьеры. Майор не успеет положить в рот кусок хлеба. Он посмотрит на нас. Возможно, он скажет: «А!.. Вот и вы…» Товарищи будут молчать. Они едва на нас взглянут.

Прежде я не питал особого почтения к взрослым. И напрасно. Человек никогда не стареет. Майор Алиас! В час возвращения и взрослые чисты, как дети: «А вот и ты, наш товарищ…» И целомудрие заставляет молчать.

Майор Алиас, майор Алиас… этим единением со всеми вами я наслаждался, как слепой наслаждается огнем. Слепой садится и протягивает руки, но он не знает, что доставляет ему такую радость. С боевого задания мы возвращаемся готовые к неведомой награде, которая есть не что иное, как любовь.

Мы не узнаем в ней любви. Любовь, которую мы обычно себе представляем, выражается более бурно. Но тут речь идет о настоящей любви: о сети связей, которые делают тебя человеком.

XXIV

Я спросил моего фермера, сколько у меня в машине приборов. И фермер ответил:

— Я ничего не смыслю в вашем хозяйстве. А насчет приборов, надо думать, что каких-то у вас все-таки не хватает, тех, с которыми мы выиграли бы войну... Поужинаете с нами?

— Я уже ужинал.

Но меня насильно усадили между племянницей и хозяйкой.

— А ну-ка, племянница, подвинься чуточку... Дай место капитану.

Оказывается, я связан не только со своими товарищами. Через них я связан со всей своей страной. Любовь, если уж она дала росток, пускает корни все глубже и глубже.

Фермер молча режет хлеб. Дневные заботы придали ему суровую, благородную важность. И, словно совершая священный обряд, он делит этот хлеб, быть может, в последний раз.

А я думаю об окрестных полях, которые взрастили зерно для этого хлеба. Завтра тут будет враг. Напрасно стали бы мы ждать лавины вооруженных людей! Земля велика. И нашествие, может

быть, выразится здесь всего лишь в появлении одинокого часового, затерянного где-то в бескрайней дали — этого серого пятнышка на меже пшеничного поля. Внешне ничего не изменится, но для человека достаточно и одного значка, чтобы все стало иным.

Порыв ветра, бегущего по ниве, всегда напоминает порыв ветра на море. Но если нам кажется, что на ниве он оставляет более заметный след, то это потому, что, перебирая колосья, ветер словно ведет учет нашему достоянию. Словно убеждается в надежности будущего. Так ласкают жену, спокойно проводя рукой по ее волосам.

А завтра эта пшеница станет иной. Пшеница — это нечто большее, чем телесная пища. Питать человека — не то что откармливать скотину. Хлеб выполняет столько назначений! Хлеб стал для нас средством единения людей, потому что люди преломляют его за общей трапезой. Хлеб стал для нас символом величия труда, потому что добывается он в поте лица. Хлеб стал для нас непременным спутником сострадания, потому что его раздают в годину бедствий. Вкус разделенного хлеба не сравним ни с чем. И вот теперь вся сила духовной пищи, духовного хлеба, который будет рожден этим полем, находится под угрозой.

Завтра мой фермер, преломляя хлеб, быть может, уже не будет служить той же домашней религии. Завтра, быть может, этот хлеб уже не затеплит тот же свет в глазах его близких. Ведь хлеб — это то же, что масло в светильнике. Оно так же претворяется в свет.

Я смотрю на племянницу — она очень красива — и думаю: хлеб, питая ее, становится грустным очарованием. Он становится целомудрием. Он становится сладостью молчания. И вот из-за одного только серого пятнышка на краю океана пшеницы этот самый хлеб, даже если он и будет завтра питать тот же светильник, быть может, уже не даст того же самого пламени. Главное в силе хлеба изменится.

Я сражался за то, чтобы спасти прежде всего этот особый свет, а потом уже пищу телесную. Я сражался ради того особенного сияния, которым становится хлеб в домах моей родины. В этой загадочной девочке более всего меня волнует одухотворенность ее облика. Какая-то неуловимая гармония черт ее лица. Поэма, запечатленная на странице, а не сама страница.

Она почувствовала, что за ней наблюдают. Она подняла на меня глаза. Кажется, она мне улыбнулась… Это было подобно дуновению на

хрупкой глади вод. Ее улыбка трогает меня. Я ощущаю присутствие какой-то неповторимой души, таинственно пребывающей только здесь и нигде больше. Я наслаждаюсь покоем и думаю: «Вот он, покой царства безмолвия…»

Я видел сияющий свет пшеницы.

Лицо племянницы вновь стало подобно глубине, скрывающей тайну. Фермерша вздыхает, смотрит по сторонам и молчит. Фермер, поглощенный думами о грядущем дне, замыкается в своих мыслях. И за молчанием этих людей скрывается внутреннее богатство, подобно достоянию их деревни, — и над ним тоже нависла угроза.

И я с поразительной ясностью сознаю свою ответственность за эти незримые сокровища. Я выхожу из дома. Иду не спеша. Я уношу с собой это бремя, и оно не тягостно мне, а мило, словно на руках у меня спящий ребенок, прижавшийся к моей груди.

Я ждал этого разговора с моей деревней. И вот теперь мне нечего сказать. Я словно плод, тесно связанный с деревом, о котором я думал несколько часов назад, когда ко мне вернулось спокойствие. Я просто чувствую себя неотделимым от своих. Я неотделим от них, как они

неотделимы от меня. Когда мой фермер раздавал хлеб, он ничего от себя не отрывал. Он делил и обменивал. Нас питала одна и та же пшеница. Фермер ничего не терял. Он становился богаче, ибо лучше стал его хлеб, превращенный в хлеб общей трапезы. Когда сегодня днем я ради этих людей вылетел на боевое задание, я тоже ничего им не отдал. Мы, летчики нашей группы, ничего им не отдаем. Мы — то, чем они жертвуют на войне. Я понимаю, почему Ошедэ воюет без громких слов, подобно тому как деревенский кузнец работает для своих односельчан. «Вы кто?» — «Я здешний кузнец». Кузнец трудится, и он счастлив.

И если я полон надежды, в то время как они, по-видимому, отчаялись, я все-таки ничем не отличаюсь от них. Я просто воплощаю их долю надежды. Конечно, мы уже побеждены. Все шатко. Все рушится. Но меня не покидает спокойствие победителя. В моих словах противоречие? Плевать мне на слова! Я такой же, как Пенико, Ошедэ, Алиас, Гавуаль. Мы не в состоянии объяснить, откуда взялось это ощущение победы. Но мы чувствуем свою ответственность. Невозможно, чувствуя ответственность, приходить в отчаяние.

Поражение… Победа… Я плохо разбираюсь в этих формулах. Есть победы, которые наполняют воодушевлением, есть и другие, которые принижают. Одни поражения несут гибель, другие — пробуждают к жизни. Жизнь проявляется не в состояниях, а в действиях. Единственная победа, которая не вызывает у меня сомнений, это победа, заложенная в силе зерна. Зерно, брошенное в чернозем, уже одержало победу. Но должно пройти время, чтобы наступил час его торжества в созревшей пшенице.

Сегодня утром мы видели только разбитую армию и беспорядочную толпу. Но беспорядочная толпа, если есть в ней хотя бы один человек, в чьем сознании она уже объединена, перестает быть беспорядочной толпой. Камни на стройке кажутся беспорядочной грудой лишь с виду, если где-то на стройке затерян хотя бы один человек, который представляет себе будущий собор. Я спокоен, если под разбросанным удобрением укрыто зерно. Зерно впитает его соки и произрастет.

Тот, кто возвысился до созерцания, становится зерном. Тот, кому открывается некая истина, тащит другого за рукав, чтобы посвятить в эту истину и его. Тот, кто сделал изобретение, спешит рассказать о нем людям. Я не знаю, как станет

выражать себя человек, подобный Ошедэ, как он будет действовать. Но для меня это и не важно. Он передаст окружающим свою спокойную веру.

Теперь я лучше постигаю, в чем смысл победы: тот, кто подыскивает себе место ризничего или привратницы в будущем соборе, — уже побежден. Тот же, кто носит в своем сердце образ будущего собора, — уже победитель. Победа есть плод любви. Только любви открываются контуры еще не изваянной статуи. Только любовь направляет резец ее творца. Разум обретает ценность лишь тогда, когда он служит любви.

Скульптор несет в себе груз будущего творения. Пусть он даже еще не знает, как он будет его лепить. От одного нажима пальцем к другому, от ошибки к ошибке, от противоречия к противоречию он неуклонно пойдет через бесформенную глину к своему творению. Ни разум, ни интеллект не обладают творческой силой. Оттого что у скульптора есть знания и интеллект, руки его еще не становятся гениальными.

Мы слишком долго обманывались относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека. Мы полагали, что хитрые махинации низких душ могут содействовать торжеству благородного дела, что ловкий эго-

изм может подвигнуть на самопожертвование, что черствость сердца и пустая болтовня могут основать братство и любовь. Мы пренебрегали Сущностью. Зерно кедра так или иначе превратится в кедр. Зерно терновника превратится в терновник. Отныне я отказываюсь судить людей по доводам, оправдывающим их решения. Слишком легко ошибиться в правдивости слов, равно как и в истинной цели поступков. Человек направляется к своему дому: я не знаю, что он несет туда — ссору или любовь. Я должен спросить себя: «Что это за человек?» Только тогда мне станет ясно, к чему он тяготеет и куда идет. Каждый в конце концов приходит к тому, к чему тяготеет.

Росток, согретый солнцем, всегда найдет дорогу сквозь каменистую почву. Чистый логик, если никакое солнце не тянет его к себе, увязает в путанице проблем. Я всегда буду помнить урок, преподанный мне врагом. В каком направлении должна двигаться танковая колонна, чтобы захватить тылы противника? Неизвестно. Чем должна быть танковая колонна? Она должна быть морем, напирающим на дамбу.

Что нужно делать? Вот это. Или нечто совершенно противоположное. Или еще что-то. Никакого предопределения не существует. Чем

нужно быть? Вот основной вопрос, потому что только дух оплодотворяет разум. Дух бросает в него семя грядущего творения. Разум завершит все остальное. Что должен сделать человек, чтобы построить первый корабль? Ответ на этот вопрос был бы чересчур сложным. Корабль родится из тысячи противоречивых попыток. Но кем должен быть его творец? Тут я подхожу к самым истокам созидания. Его творец должен быть купцом или солдатом, потому что тогда из любви к далеким странствиям он неизбежно воодушевит механиков, соберет рабочих и в один прекрасный день пустит свой корабль в море! Что надо сделать, чтобы улетучился целый лес? О, это слишком уж трудно… Чем для этого нужно быть? Надо быть пожаром!

Завтра мы уйдем в ночь. Только бы моя страна дожила до той поры, когда снова наступит день! Что нужно сделать, чтобы ее спасти? Как найти простое решение? Оно упирается в противоречие. Необходимо спасти духовное наследие, ибо иначе погибнет дух народа. Необходимо спасти народ, ибо без этого погибнет наследие. Логики, за неимением языка, который примирил бы это противоречие, готовы будут пожертвовать либо душой, либо телом. Мне наплевать на логиков! Я

хочу, чтобы моя страна и духом, и плотью своей дожила до той поры, когда снова наступит день. Чтобы действовать на благо моей родины, я должен каждый миг стремиться к этому всей силой моей любви. Море непременно найдет себе путь туда, куда устремлен его напор.

Я ни одной минуты не сомневаюсь в спасении. Теперь мне понятнее образ слепца, идущего к огню. Если слепой идет к огню — значит, у него родилась потребность в огне. Огонь уже управляет им. Если слепой ищет огонь — значит, он уже нашел его. Скульптор уже создал свое творение, если его тянет к глине. Так же и мы. Нас согревает тепло наших связей — поэтому мы победители.

Наша общность для нас уже ощутима. Чтобы сплотиться в ней, нам, разумеется, предстоит найти для нее словесное выражение. Но это уже потребует усилий сознания и языка. Однако, чтобы сохранить в неприкосновенности основу нашей общности, мы должны быть глухи к шантажу, к полемике, к то и дело меняющимся словесным ловушкам. И прежде всего мы не должны отрекаться от того, что неотделимо от нас.

Вот почему, возвратившись из полета над Аррасом и, как мне кажется, многое за время

полета поняв, я стою один в ночной тишине, прислонившись к изгороди, и составляю для себя простейшие правила, которым никогда не изменю.

Раз я неотделим от своих, я никогда от них не отрекусь, что бы они ни совершили. Я никогда не стану обвинять их перед посторонними. Если я смогу взять их под защиту, я буду их защищать. Если они покроют меня позором, я затаю этот позор в своем сердце и промолчу. Что бы я тогда ни думал о них, я никогда не выступлю свидетелем обвинения. Муж не станет ходить из дома в дом и сообщать соседям, что жена его потаскуха. Таким способом он не спасет своей чести. Потому что жена его неотделима от его дома. Позоря ее, себя он не облагородит. И, только вернувшись домой, он вправе дать выход своему гневу.

Вот почему я не снимаю с себя ответственности за поражение, из-за которого не раз буду чувствовать себя униженным. Я неотделим от Франции. Франция воспитала Ренуаров, Паскалей, Пастеров, Гийоме, Ошедэ. Она воспитала также тупиц, политиканов и жуликов. Но мне кажется слишком удобным провозглашать свою солидарность с одними и отрицать всякое родство с другими.

Поражение раскалывает. Поражение разру-

шает построенное единство. Нам это угрожает смертью: я не буду способствовать такому расколу, сваливая ответственность за разгром на тех из моих соотечественников, которые думают иначе, чем я. Подобные споры без судей ни к чему не ведут. Мы все были побеждены. Я был побежден. Ошедэ был побежден. Ошедэ не сваливает ответственность за поражение на других. Он говорит себе: «Я, Ошедэ, неотделимый от Франции, был слаб. Франция, неотделимая от меня, Ошедэ, была слаба. Ее слабость была моей слабостью». Ошедэ хорошо знает, что, если он оторвет себя от своих, он прославит только одного себя. Но тогда он перестанет быть Ошедэ, неотделимым от своего дома, от своей семьи, от своей авиагруппы, от своей родины. Он будет всего лишь Ошедэ, блуждающим в пустыне.

Если я разделяю унижение моего дома, я могу повлиять на его судьбу. Он неотделим от меня, как я неотделим от него. Но если я не приму на себя его унижения, мой дом, брошенный на произвол судьбы, погибнет, а я пойду один, покрытый славой, но еще более ненужный, чем мертвец.

Чтобы быть, нужно сначала принять на себя ответственность. Всего несколько часов тому

назад я был слеп. Мне было горько. Но теперь я сужу более трезво. Я отказываюсь винить других французов, раз я чувствую себя неотделимым от Франции, и я не понимаю, как Франция может обвинять остальной мир. Каждый несет ответственность за всех. Франция была ответственна за весь мир. Франция могла бы показать миру пример, который сплотил бы его. Франция могла бы служить связующим звеном для всего мира. Если бы Франция сохранила аромат Франции, сияние Франции, она стала бы для всего мира оплотом сопротивления. Отныне я отказываюсь от своих упреков остальному миру. Если ему не хватало души, его душой должна была стать Франция — таков был ее долг перед самой собой.

Франция могла бы объединить вокруг себя другие страны. Моя группа 2/33 готова была сражаться сперва на стороне Норвегии, потом на стороне Финляндии. Что представляли собой Норвегия и Финляндия для наших солдат, наших унтер-офицеров? Мне всегда казалось, что, сами того не сознавая, они соглашались умереть за какой-то аромат рождественского праздника. Им казалось, что за спасение этого аромата где-то в мире стоит пожертвовать жизнью. Если бы мы были рождеством для всего мира, мир мог бы

найти в нас свое спасение.

Мы не сумели воплотить в себе духовную общность людей всего мира. Если бы мы это сделали, мы спасли бы и мир, и самих себя. Мы не осилили этой задачи. Каждый отвечает за всех. Отвечает только каждый в отдельности. Только каждый в отдельности отвечает за всех. Я впервые постигаю одну из тайн религии, породившей духовную культуру, которую я считаю своей: «Принять на себя бремя грехов человеческих…» И каждый принимает на себя бремя всех грехов всех людей.

XXV

Можно ли усматривать в этом философию слабости? Настоящий полководец — это тот, кто берет на себя всю ответственность. Он говорит: «Я потерпел поражение». Он не говорит: «Мои солдаты потерпели поражение». Настоящий человек говорит именно так. Ошедэ сказал бы: «Я в ответе за все».

Я понимаю, что такое смирение. Оно неравносильно самоунижению. Оно есть самый источник действия. Если, желая оправдать себя, я объясняю свои беды злым роком, я подчиняю себя злому року. Если я приписываю их измене, я подчиняю себя измене. Но если я принимаю всю ответственность на себя, я тем самым отстаиваю свои человеческие возможности. Я могу повлиять на судьбу того, от чего я неотделим. Я — составная часть общности людей.

Итак, во мне есть некто, с кем я борюсь, чтобы расти. И мне понадобился этот трудный полет, чтобы я мог распознать в себе личность, с которой я борюсь, и отделить ее от растущего во мне человека. Не знаю еще, каков он, возникший передо мной образ, но я говорю себе: личность

— это всего лишь путь. Человек, избирающий этот путь, — вот главное.

Я больше не могу удовлетворяться полемическими истинами. Зачем обвинять личности? Они только пути и перепутья. Я больше не могу объяснять замерзание пулеметов нерадивостью чиновников, а бездействие союзников — их эгоизмом. Поражение, конечно, проявляется в банкротстве отдельных личностей. Но ведь человека создает духовная культура. И если культуре, к которой я себя причисляю, угрожает опасность из-за несостоятельности личностей, то я вправе спросить себя, почему она не создала их другими.

Сетуя на отсутствие энтузиазма у своих приверженцев, всякая духовная культура, как и всякая религия, изобличает самое себя. Долг ее состоит в том, чтобы воодушевить их. То же самое, если она жалуется на ненависть противников. Ее долг — обратить их в свою веру. А между тем моя культура, которая некогда могла противостоять гонениям, воспламенить своих апостолов, сломить ярость врагов, освободить порабощенные народы, сегодня не сумела ни воодушевить людей, ни обратить их в свою веру. Если я стремлюсь понять, в чем коренятся причины моего

поражения, если я хочу и надеюсь возродиться, мне прежде всего нужно вновь обрести источник духовных сил, который я утратил.

Потому что духовную культуру можно сравнить с пшеницей. Пшеница кормит человека. Но и человек, в свою очередь, заботится о пшенице, ссыпая в амбары зерно. И запасы зерна сберегаются, как наследие, от одного урожая к другому.

Недостаточно знать, какой сорт зерна я хочу вырастить, чтобы взошел именно этот сорт. Если я озабочен тем, чтобы спасти определенный тип человека — и его возможности, — я должен спасти принципы, которые его формируют.

Но если я сохранил образ моей духовной культуры, то я уже не вижу устоев, на которых она строилась. Сегодня я вдруг обнаруживаю, что слова, которыми я пользовался до сих пор, уже не выражают главного. Так, я проповедовал Демократию, не подозревая, что тем самым вовсе не предписывал людям свод непреложных нравственных законов, а лишь высказывал благие пожелания. Я хотел, чтобы люди были братьями, свободными и счастливыми. Разумеется. Кто же с этим не согласится? Я мог сказать, *каким* должен быть человек. А не *кем* он должен быть.

Я говорил, не уточняя значения слов, о челове-

ческой общности. Как будто духовная атмосфера, которую я имел в виду, не была порождением особой ее структуры. Мне казалось, что речь идет о естественной очевидности. Но естественной очевидности не существует. Фашистская армия или невольничий рынок — это тоже некая человеческая общность.

Я жил в человеческой общности уже не в качестве ее строителя. Я пользовался благами царящего в ней мира, ее терпимостью, ее благоденствием. Я ничего не знал о ней, кроме того, что я — ее обитатель. Я жил в ней, как ризничий или как привратница. Стало быть, как паразит. Стало быть, как побежденный.

Таковы пассажиры корабля. Они пользуются кораблем, но ничего ему не дают. Удобно расположившись в салонах, за пределами которых их ничто не интересует, они проводят там свой досуг. Им неведома тяжкая работа шпангоутов, сдерживающих вечный напор воды. Вправе ли они жаловаться, если буря разнесет их корабль в щепы?

Если личность выродилась, если я побежден, на что мне жаловаться?

Есть некая общая мера качеств, которыми я хотел бы наделить людей моей духовной культуры.

Есть краеугольный камень той особой общности, которую они должны основать. Есть начало, от которого некогда пошло все: и корни, и ствол, и ветви, и плоды. Что же это за начало? Начало это — могучее зерно, брошенное в чернозем, на котором произрастают люди. Только оно может сделать меня победителем.

Мне кажется, я многое понял за эту мою необыкновенную ночь в деревне. Вокруг меня какая-то необычайная тишина. Малейший звук, словно звон колокола, наполняет пространство. Все стало для меня таким близким. И это жалобное блеяние овец, и тот далекий зов, и скрип притворенной кем-то двери. Словно все происходит во мне самом. Я должен немедля постичь смысл этого чувства, пока оно не исчезло…

Я говорю себе: «Все это обстрел над Аррасом…» Его снаряды пробили какую-то оболочку. Очевидно, в течение всего этого дня я готовил в себе жилище для Человека. Я был всего лишь ворчливым управляющим. Всего лишь личностью. Но вот явился Человек. Он попросту занял мое место. Он посмотрел на беспорядочную толпу, и он увидел народ. Свой народ. Человек — общая мера для этого народа и для меня. Вот почему, когда я возвращался в авиагруппу, мне казалось,

что меня влечет тепло большого костра. Моими глазами смотрел Человек — Человек, общая мера для всех моих товарищей.

Уж не знамение ли это? Я почти готов поверить в знамения… Все этой ночью словно вступило в безмолвный сговор. Каждый звук доходит до меня, будто призыв, одновременно и ясный, и непонятный. Я слушаю, как ночь наполняют чьи-то спокойные шаги.

— Э-эй! Добрый вечер, капитан!

— Добрый вечер!

Я не знаю его. Так окликают друг друга два лодочника, встретившиеся на реке.

Еще раз я ощутил это загадочное родство. Человек, живущий во мне сегодня, не перестает опознавать своих. Человек — общая мера для всех народов и рас…

Тот, кто окликнул меня, возвращался домой со своим запасом забот, мыслей и образов. Со своим собственным, скрытым в его душе грузом. Я мог бы подойти к нему и заговорить. На белизне деревенской дороги мы обменялись бы какими-нибудь воспоминаниями. Так обмениваются сокровищами купцы, когда встречаются на пути с далеких островов.

Если из людей моей духовной культуры кто-то

мыслит иначе, чем я, он не только не оскорбляет меня этим, но, напротив, обогащает меня. Основа нашего единства — Человек, который выше каждого из нас. И потому наши споры по вечерам в группе 2/33 не только не вредят нашему братству, но, напротив, укрепляют его: ведь никому из нас не интересно слушать собственное эхо или смотреть на свое отражение в зеркале.

Точно так же узнают себя в Человеке и французы Франции, и норвежцы Норвегии. Человек связывает их в своем единстве и в то же время, не вступая в противоречие с собой, помогает расцвету того неповторимого, что присуще каждому из этих народов. Дерево тоже проявляет себя в ветвях, непохожих на корни. И если в Норвегии пишут сказки про снег, если в Голландии выращивают тюльпаны, если в Испании импровизируют фламенко, все это обогащает Человека, живущего в каждом из нас. Поэтому, быть может, мы, летчики группы 2/33, хотели сражаться за Норвегию…

И вот теперь мне кажется, что я подхожу к концу долгого странствия. Я не открываю ничего нового, но, словно очнувшись ото сна, заново вижу все то, на что уже давно перестал смотреть.

Моя духовная культура основана на культе

Человека в отдельной личности. Веками она стремилась показать Человека, подобно тому как она учила бы видеть собор в груде камней. Она проповедовала Человека, который превосходит отдельную личность…

Потому что Человек моей духовной культуры не определяется отдельными людьми. Напротив, люди определяются им. В нем, как и в любой Сущности, есть нечто такое, чего не могут объяснить составляющие ее элементы. Собор есть нечто совсем иное, нежели просто нагромождение камней. Собор — это геометрия и архитектура. Не камни определяют собор, а, напротив, собор обогащает камни своим особым смыслом. Его камни облагорожены тем, что они — камни собора. Самые разнообразные камни служат его единству. Даже уродливые каменные чудовища и те участвуют в общем гимне собора.

Но мало-помалу я забыл мою истину. Я стал считать, что Человек есть сумма людей, подобно тому как Камень есть сумма камней. Я отождествил собор с простым нагромождением камней, и мало-помалу наследие моей духовной культуры исчезло. Нужно восстановить Человека. Он — суть моей культуры. Он — основа моей Общности. Он — источник моей победы.

XXVI

Легко основать порядок в обществе, подчинив каждого его члена незыблемым правилам. Легко воспитать слепца, который, не протестуя, подчинялся бы поводырю или Корану. Насколько же труднее освободить человека, научив его властвовать над собой.

Что значит освободить? Если в пустыне я освобожу человека, который никуда не стремится, чего будет стоить его свобода? Свобода существует лишь для *кого-то,* кто куда-то стремится. Освободить человека в пустыне — значит возбудить в нем жажду и указать ему путь к колодцу. Только тогда его действия обретут смысл. Бессмысленно освобождать камень, если не существует силы тяжести. Потому что освобожденный камень не сдвинется с места.

Моя духовная культура стремилась положить в основу человеческих отношений культ Человека, стоящего выше отдельной личности, чтобы поведение каждого по отношению к самому себе и другим не было слепым подчинением законам муравейника, а стало свободным проявлением любви. Незримый путь, начертанный силою

тяжести, освобождает камень. Незримые силы любви освобождают человека. Моя духовная культура стремилась сделать из каждого человека Посланца одного и того же владыки. Она рассматривала личность как путь или проявление воли того, кто выше ее; она предоставляла ей свободу восхождения туда, куда влекли ее силы притяжения.

Я знаю, откуда произошло это силовое поле. Веками моя духовная культура сквозь людей созерцала Бога. Человек был создан по образу и подобию Божию. И в человеке почитали Бога. Люди были братьями в Боге. Этот отблеск Бога сообщал каждому человеку неотъемлемое достоинство. Отношение человека к Богу ясно определяло долг каждого перед самим собой и перед другими людьми.

Моя духовная культура — наследница христианских ценностей. Чтобы постичь архитектуру собора, надо задуматься над тем, как он построен.

Созерцание Бога служило основой равенства людей в силу их равенства в Боге. И смысл этого равенства был ясен. Потому что равными можно быть только в чем-то. Солдат и командир равны в своем народе. Равенство становится пустым

звуком, если нет ничего, что связывало бы это равенство.

Я понимаю, почему равенство, которое было равенством прав Бога, выраженных в личностях, запрещало ограничивать восхождение отдельной личности: ведь Бог мог избрать ее в качестве своего пути. Но так как речь шла также о равенстве прав Бога на личность, мне понятно, почему личности, каковы бы они ни были, выполняли одни и те же обязанности и подчинялись одним и тем же законам. Выражая Бога, они были равны в своих правах. Служа Богу, они были равны в своих обязанностях.

Я понимаю, почему равенство в Боге не влекло за собой ни противоречий, ни беспорядка. Демагогия возникает тогда, когда, за отсутствием общей меры, принцип равенства вырождается в принцип тождества. Тогда солдат отказывается отдавать честь командиру, потому что честь, отдаваемая командиру, означала бы почитание личности, а не Нации.

Моя духовная культура, наследуя Богу, основала равенство людей в Человеке.

Я понимаю, откуда происходит уважение людей друг к другу. Ученый должен был уважать

грузчика, потому что в этом грузчике он почитал Бога, чьим Посланцем грузчик являлся наравне с ним. Каковы бы ни были ценность одного и посредственность другого, ни один человек не имел морального права обратить другого в рабство: ведь Посланца унижать нельзя. Но это уважение к человеку не приводило к раболепному пресмыкательству перед посредственностью, перед глупостью и невежеством, потому что в человеке уважалось прежде всего достоинство Посланца Бога. Так Любовь к Богу создавала основу возвышенных отношений между людьми, поскольку дела велись между Посланцами независимо от достоинств личности.

Моя духовная культура, наследуя Богу, создала уважение к человеку независимо от его личности.

Я понимаю происхождение братства между людьми. Люди были братьями в Боге. Братьями можно быть только в чем-то. Если нет узла, связывающего людей воедино, они будут поставлены рядом друг с другом, а не связаны между собой. Нельзя быть просто братьями. Мои товарищи и я — братья в группе 2/33. Французы — братья во Франции.

Моя духовная культура, наследуя Богу, основа-

ла братство людей в Человеке.

Я понимаю значение любви к ближнему, которой меня учили. Любовь к ближнему была служением Богу через личность. Она была данью, воздаваемой Богу, сколь бы посредственна ни была личность. Эта любовь не унижала того, к кому она была обращена, она не сковывала его цепями благодарности, потому что этот дар приносился не ему, а Богу. Именно поэтому такая любовь никогда не превращалась в почесть, воздаваемую посредственности, глупости или невежеству. Долг врача состоял в том, чтобы, рискуя жизнью, лечить зачумленного, кем бы он ни был. Врач служил Богу. Его не унижала бессонная ночь, проведенная у изголовья мошенника.

Моя духовная культура, наследуя Богу, превратила любовь к ближнему в дар Человеку, приносимый через личность.

Я понимаю глубокий смысл Смирения, которого требовали от личности. Смирение не принижало личность. Оно возвышало ее. Оно раскрывало личности ее роль Посланца. Требуя от нее почитания Бога через ближнего, оно в то же время требовало, чтобы она почитала его в самой себе, сознавая себя вестником Бога, идущим по пути,

начертанному Богом. Смирение предписывало ей забывать о себе, тем самым возвышая себя, ибо если личность станет преувеличивать свое собственное значение, путь ее сразу же упрется в стену.

Моя духовная культура, наследуя Богу, проповедовала также уважение к самому себе, то есть уважение к Человеку через самого себя.

Я понимаю наконец, почему любовь к Богу возложила на людей ответственность друга за друга и предписала им Надежду как добродетель. Ведь каждого человека она превращала в Посланца того же самого Бога, в руки каждого отдавала спасение всех. И никто не имел права отчаиваться, потому что каждый был вестником кого-то более великого, чем он сам. Отчаяние было равносильно отрицанию Бога в самом себе. Долг Надежды можно было бы выразить так: «Значит, ты придаешь себе такое огромное значение? Сколько же самодовольства в твоем отчаянии!»

Моя духовная культура, наследуя Богу, сделала каждого ответственным за всех людей и всех людей — ответственными за каждого. Личность должна жертвовать собой ради спасения коллектива, но дело тут не в элементарной арифметике.

Все дело в уважении к Человеку через личность. Да, величие моей духовной культуры в том, что сто шахтеров будут рисковать жизнью ради спасения одного засыпанного в шахте товарища. Ибо они спасают Человека.

В свете всего сказанного я понимаю, что значит свобода. Это свобода дерева расти в силовом поле своего зерна. Она — совокупность условий восхождения Человека. Она подобна попутному ветру. Только благодаря ветру свободен парусник в открытом море.

Человек, воспитанный в этих правилах, обладал бы силой могучего дерева. Какое пространство мог бы он охватить своими корнями! Какие человеческие достоинства мог бы он в себя вобрать, чтобы они расцвели на солнце!

XXVII

Но я все испортил. Я расточил наследие. Я позволил предать забвению понятие Человека.

Однако, чтобы спасти этот культ Владыки, созерцаемого через отдельные личности, и благородство человеческих отношений, основанных на этом культе, моя духовная культура затратила немало сил и творческого вдохновения. Все усилия Гуманизма были направлены к этой цели. Гуманизм избрал своей исключительной миссией объяснить и упрочить превосходство Человека над личностью. Гуманизм проповедовал Человека.

Но когда речь заходит о Человеке, наш язык становится недостаточным. Человек — это нечто иное, чем люди. О соборе нельзя сказать ничего существенного, если говорить только о камнях. О Человеке нельзя сказать ничего существенного, если пытаться определить его только свойствами людей. Поэтому Гуманизм заведомо шел по пути, который заводил его в тупик. Гуманизм пытался вывести понятие Человека с помощью логических и моральных аргументов и таким образом перенести его в сознание людей.

Никакое словесное объяснение никогда не заменит созерцания. Единство Сущности нельзя передать словами. Если бы я захотел пробудить любовь к родине или к имению у людей, чьей духовной культуре такая любовь была бы неведома, я не располагал бы никакими доводами, чтобы тронуть их сердца. Имение — это поля, пастбища и стада. Назначение каждой из этих частей и всех их вместе — приносить богатство. Однако всякому имению присуще нечто такое, что ускользает при рассмотрении составляющих его элементов: ведь иные землевладельцы готовы разориться, лишь бы спасти любимое имение. Это нечто как раз и облагораживает составные элементы имения, наделяя их совсем особыми свойствами. И вот они становятся стадами этого имения, лугами этого имения, полями этого имения…

Так и человек становится человеком своей родины, своего ремесла, своей духовной культуры, своей религии. Но чтобы утверждать, что ты неотделим от таких Сущностей, надо сначала создать их в самом себе. Тому, у кого нет чувства родины, нельзя внушить его никаким языком. Создать в себе Сущность, которую ты называешь своей, можно только при помощи действий. Сущность принадлежит не к области языка, а к

области действия. Наш Гуманизм пренебрегал действиями. Его попытки потерпели неудачу.

Самое сложное действие получило название. И название это — жертва.

Жертва не означает ни безвозвратного отчуждения чего-то своего, ни искупления. Прежде всего это действие. Это отдача себя Сущности, от которой ты считаешь себя неотделимым. Только тот поймет, что такое имение, кто пожертвует ему частью себя, кто будет бороться ради его спасения и трудиться, чтобы сделать его лучше. Тогда он обретает любовь к имению. Имение — это не сумма доходов; думать так было бы ошибкой. Оно — сумма принесенных даров.

Пока моя духовная культура опиралась на Бога, она могла спасти это понятие жертвы, которое создавало Бога в сердце человека. Гуманизм пренебрегает важнейшей ролью жертвы. Он вознамерился сберечь Человека с помощью слов, а не действий.

Чтобы спасти образ Человека, видимый через людей, Гуманизм располагал теперь всего лишь тем же словом «Человек», украшенным заглавной буквой. Мы рисковали скатиться по опасному склону и в один прекрасный день подменить Человека некой средней личностью или

совокупностью людей. Мы рисковали подменить наш собор суммой камней.

И понемногу мы растеряли наше наследие.

Вместо того чтобы утверждать права Человека в личности, мы заговорили о правах Коллектива. Незаметно у нас появилась мораль Коллектива, которая пренебрегает Человеком. Эта мораль может объяснить, почему личность должна жертвовать собой ради Общества. Но она не может объяснить, не прибегая к словесным ухищрениям, почему Общность должна жертвовать собой ради одного человека. Почему справедливо, чтобы тысячи людей приняли смерть ради спасения одного осужденного невинно. Мы еще вспоминаем об этом принципе, но мало-помалу забываем его. А между тем именно в этом принципе, в корне отличающем нас от муравьев муравейника, прежде всего и состоит наше величие.

Мы скатились — за неимением плодотворного метода — от Человечества, опиравшегося на Человека, к этому муравейнику, опирающемуся на сумму личностей.

Что могли мы противопоставить культу Государства или культу Массы? Во что превратился наш величественный образ Человека, порожденного Богом? Его уже почти невозможно

распознать сквозь слова, потерявшие смысл.

Постепенно, забывая о Человеке, мы ограничили нашу мораль проблемами отдельной личности. Мы стали требовать от каждого, чтобы он не ущемлял другого. От каждого камня, чтобы он не ущемлял другой камень. Разумеется, они не наносят друг другу ущерба, когда в беспорядке валяются в поле. Но они наносят ущерб собору, который они могли бы составить и который взамен наделил бы смыслом каждый из них.

Мы продолжали проповедовать равенство между людьми. Но, забыв о Человеке, мы уже перестали понимать то, о чем говорили. Не зная, что положить в основу Равенства, мы превратили его в туманное утверждение, пользоваться которым уже не могли. Как определить Равенство между личностями, между мудрецом и тупицей, глупцом и гением? Что касается строительных материалов, то, если мы хотим определить и осуществить их равенство, нужно, чтобы все они занимали одинаковое место и играли одну и ту же роль. А это бессмысленно. Ибо принцип Равенства вырождается тогда в принцип Тождества.

Мы продолжали проповедовать Свободу человека. Но, забыв о Человеке, мы определили нашу Свободу как некую безнаказанность, при которой

дозволены любые поступки, лишь бы они не причиняли вреда другому. А это лишено всякого смысла, ибо нет такого поступка, который не затрагивал бы другого человека. Если я, будучи солдатом, наношу себе увечье, меня расстреливают. Обособленных личностей не существует. Тот, кто отчуждает себя от общности, наносит ей ущерб. Тот, кто печален, печалит других.

Понимая право на свободу таким образом, мы разучились пользоваться им, не наталкиваясь на непреодолимые противоречия. Не умея определить, в каком случае мы сохраняли наше право на свободу, а в каком лишались его, мы, чтобы спасти хоть какой-то неясный принцип, лицемерно закрыли глаза на бесчисленные препятствия, которые всякое общество неизбежно ставило перед нашими свободами.

Что же касается Любви к ближнему, то мы даже не осмеливались больше ее проповедовать. В былые времена Любовью к ближнему называлась жертва, создававшая какую-нибудь Сущность, если эта жертва прославляла Бога через его человеческий образ. Через личность мы воздавали Богу или Человеку. Но, забыв о Боге или о Человеке, мы стали воздавать только личности. И тогда Любовь к ближнему часто становилась

оскорбительной. Справедливость в распределении материальных благ должно обеспечивать Общество, и она не может зависеть от каприза того или иного лица. Достоинство личности не допускает, чтобы она оказалась в зависимости от другой личности из-за ее щедрот. Было бы нелепо, если бы имущие, кроме обладания богатством, требовали еще и благодарности неимущих.

Самое же главное состоит в том, что наша любовь к ближнему, истолкованная превратно, обращалась против самой себя. Основанная исключительно на жалости, она запретила бы всякое воспитующее наказание. Подлинная Любовь к ближнему, будучи служением Человеку, а не отдельной личности, повелевала нам бороться с личностью, чтобы возвеличить в ней Человека.

Так мы потеряли Человека. А потеряв Человека, мы лишили тепла то самое братство, которое проповедовала наша духовная культура, потому что братьями можно быть только в чем-то и нельзя быть братьями вообще. Делиться с кем-то еще не значит быть ему братом. Братство возникает только в самопожертвовании. Оно возникает в общем даре чему-то более великому, чем мы сами. Но, подменив этот корень всякого истинного бытия бесплодным измельчанием, мы свели

наше братство просто к взаимной терпимости.

Мы перестали давать. Но если я готов дать лишь самому себе, я ничего не получаю, потому что не создаю ничего такого, от чего я неотделим, а значит, я — ничто. И если от меня потребуют, чтобы я умер ради каких-то выгод, я откажусь умирать. Выгода прежде всего повелевает жить. Какой порыв любви окупит мою смерть? Умирают за дом, а не за вещи и стены. Умирают за собор — не за камни. Умирают за народ — не за толпу. Умирают из любви к Человеку, если он краеугольный камень Общности. Умирают только за то, ради чего стоит жить.

Наш лексикон, казалось, почти не изменился, но слова, когда мы пытались ими пользоваться, потеряв свой реальный смысл, вели нас к неразрешимым противоречиям. И мы были вынуждены закрывать глаза на эти помехи. Не умея строить, мы были вынуждены оставить груду камней на поле и говорить о Коллективе с опаской, не решаясь уточнять, о чем же мы говорим, потому что в действительности мы говорили о чем-то несуществующем. Слово «коллектив» лишено смысла до тех пор, пока Коллектив не связывается чем-то. Сумма не есть Сущность.

Если наше Общество еще имело право на

существование, если в нем еще сохранялось какое-то уважение к Человеку, то лишь потому, что подлинная духовная культура, которую мы предавали собственным невежеством, все еще излучала свой меркнущий свет и спасала нас помимо нашей воли.

Как могли наши противники понять то, чего уже не понимали мы сами? Они видели в нас только груду камней. Они пытались вернуть смысл Коллективу, смысл, который мы сами уже не умели объяснить, потому что забыли о Человеке.

Одни из них сразу же, не долго думая, пришли к крайним логическим заключениям. Груде камней они придали самодовлеющее значение. Камни должны быть тождественны камням. И каждый камень подчиняется самому себе. Анархия еще не забыла о культе Человека, но целиком переносит его на отдельную личность. И это ведет к противоречиям еще более непримиримым, чем наши.

Другие собрали камни, беспорядочно разбросанные в поле. Они проповедовали права Массы. Но их формула непригодна. Потому что если нельзя допустить, чтобы один человек тиранил Массу, — нельзя, разумеется, допустить также и

то, чтобы Масса подавляла одного человека.

Третьи завладели этими бессильными камнями и из суммы их создали Государство. Такое Государство тоже не возвышает людей. Оно тоже лишь выражение суммы. Оно есть власть коллектива, переданная в руки личности. Оно есть господство камня, который по видимости отождествляет себя с другими камнями, над совокупностью камней. Это государство откровенно проповедует мораль Коллектива, которую мы пока отрицаем, но к которой сами же постепенно идем, потому что мы забыли о Человеке — а ведь только он может оправдать наш отказ.

Приверженцы этой новой религии не допустят, чтобы несколько шахтеров рисковали жизнью ради спасения одного засыпанного в шахте товарища. Потому что это нанесло бы ущерб груде камней. Они прикончат раненого, если он задерживает продвижение армии. О благе Общности они станут судить с помощью арифметики, и арифметика будет руководить ими. Им невыгодно возвыситься до более великого, чем они сами. Следовательно, они возненавидят все то, что отличается от них, потому что над собой они не найдут ничего, с чем они могли бы слиться. Всякий чужой обычай, иная раса, иная мысль

неизбежно станут для них оскорблением. Они не будут обладать способностью приобщать к себе, ибо, чтобы обратить Человека в свою веру, нужно не отсечь его, а объяснить ему его роль, указать цель для его устремлений и предоставить ему сферу приложения сил. Обратить в свою веру всегда значит освободить. Собор может приобщать к себе камни, и они обретают в нем смысл. Но груда камней ничего к себе не приобщает, и, не обладая такой способностью, она давит. Да, это так, — но чья в том вина?

Я больше не удивляюсь тому, что груда камней, которая давит своей тяжестью, одержала победу над камнями, в беспорядке разбросанными по полю.

И все-таки я сильнее ее.

Я сильнее ее, если я вновь обрету себя. Если наш Гуманизм восстановит Человека. Если мы сумеем основать нашу Общность и если применим для этой цели единственно действенное средство: жертву. Общность, построенная нашей духовной культурой, тоже не была суммой выгод — она была суммой даров.

Я сильнее ее, потому что дерево сильнее веществ, составляющих почву. Оно впитывает их в себя. Оно превращает их в дерево. Собор сияет

ярче, чем груда камней. Я сильнее ее, потому что только моя духовная культура способна связать в одно целое, никого не отсекая, все разнообразие человеческих индивидуальностей. Утоляя жажду из источника своей силы, она в то же время вливает в него новую жизнь.

* * *

В час вылета я хотел что-то получить прежде, чем отдал сам. Мое желание не имело смысла. Здесь было что-то сходное с тем скучным уроком грамматики. Прежде чем получить, надо отдать, и прежде чем поселиться в доме, надо его построить.

Моя любовь к своим основана на том, что я готов отдать за них свою кровь, подобно тому как любовь матери основана на том, что она отдает свое молоко. В этом и заключается тайна. Чтобы положить основание любви, надо начать с жертвы. Потом любовь может вдохновить на новые жертвы, и они приведут к новым победам. Человек всегда должен сделать первый шаг. Прежде чем существовать, он должен родиться.

Когда я вернулся с задания, я уже ощущал свое родство с племянницей фермера. Ее улыбка показалась мне прозрачной, и сквозь эту улыбку

я увидел мою деревню. А сквозь мою деревню — мою страну. А сквозь мою страну — другие страны. Потому что я неотделим от духовной культуры, избравшей своим краеугольным камнем Человека. Я неотделим от группы 2/33, выразившей готовность сражаться за Норвегию.

Может случиться, что завтра Алиас пошлет меня на другое задание. Сегодня я облачился, чтобы служить богу, которого не видел, потому что был слеп. Огонь над Аррасом снял пелену с моих глаз — и я прозрел. Те, от кого я неотделим, тоже прозрели. И если на заре я вновь отправлюсь в полет, я буду знать, за что я сражаюсь.

Но я хочу запомнить то, что увидел. А для этого мне нужен простой Символ Веры.

Я буду сражаться за приоритет Человека над отдельной личностью, как общего над частным.

Я верую, что культ Общего возвышает и связывает воедино духовные богатства отдельных личностей и основывает единственно подлинную гармонию, которая есть гармония жизни. Дерево исполнено гармонии, хотя его корни отличаются от ветвей.

Я верую, что культ отдельных личностей влечет за собой только смерть, потому что он хочет основать гармонию на сходстве. Он подменяет

единство Сущности тождеством ее частей. И он разрушает собор, чтобы выложить в ряд составляющие его камни. Поэтому я буду сражаться со всяким, кто станет провозглашать превосходство какого-то одного обычая над другими обычаями, какого-то одного народа над другими народами, одной расы над другими расами, какой-то одной мысли над другими мыслями.

Я верую, что приоритет Человека кладет основание единственному имеющему смысл Равенству и единственной имеющей смысл Свободе. Я верую в равенство прав Человека в каждой личности. И я верую, что Свобода — это Свобода восхождения Человека. Равенство не есть тождество. Свобода не есть возвеличивание личности в ущерб Человеку. Я буду сражаться со всяким, кто захочет подчинить свободу Человека одной личности или массе личностей.

Я верую, что моя духовная культура именует Любовью к ближнему добровольную жертву, приносимую Человеку, чтобы утвердить его царство. Любовь к ближнему есть дар Человеку, приносимый через посредственность личности. Она основывает Человека. Я буду сражаться со всяким, кто, утверждая, что моя любовь к ближнему воздает честь посредственности, станет

отрицать Человека и тем самым заключит личность в тюрьму безысходной посредственности.

Я буду сражаться за Человека. Против его врагов. Но также и против самого себя.

XXVIII

Я присоединился к товарищам. Мы все должны были собраться около полуночи, чтобы получить приказания. Группу 2/33 клонит ко сну. Пламя большого костра превратилось в тлеющие угли. С виду группа еще держится, но это только иллюзия. Ошедэ грустно вопрошает свой знаменитый хронометр. Пенико, прислонясь головой к стене, дремлет в углу. Гавуаль, свесив ноги, сидит на столе и, подавляя зевоту, морщится, как готовый заплакать ребенок. Азамбр клюет носом над книгой. Один лишь майор еще бодрится; мертвенно-бледный, склонившись над бумагами под лампой, он вполголоса обсуждает что-то с Желе. Впрочем, «обсуждает» — всего лишь образное выражение. Говорит один майор. Желе кивает головой и отвечает: «Да, конечно». Желе прицепился к этому «да, конечно». Он все поспешнее соглашается с высказываниями майора, боясь оторваться от них, как утопающий — от шеи пловца. На месте Алиаса я, не меняя тона, сказал бы: «Капитан Желе… на рассвете вас расстреляют…» И подождал бы, что он ответит. Группа не спала уже трое суток и еле держится на ногах.

Майор встает, подходит к Лакордэру и прерывает его сон, в котором Лакордэр, быть может, обыгрывал меня в шахматы.

— Лакордэр… с рассветом вы вылетаете. Разведка на бреющем полете.

— Слушаюсь, господин майор.

— Вам надо бы поспать…

— Так точно, господин майор.

Лакордэр снова садится. Майор выходит из комнаты, увлекая за собой Желе, словно мертвую рыбу на конце удочки. Вот уже не трое суток, а целая неделя, как Желе не спал. Так же, как Алиас, он не только вылетал в разведку, но и нес на своих плечах ответственность за всю группу. Человеческая выносливость имеет пределы. Желе уже перешел пределы выносливости. И все-таки оба они — и пловец, и утопающий — снова отправляются за призрачными приказами.

Ко мне с озабоченным видом подходит Везэн — сам он при этом стоя спит, как лунатик.

— Ты спишь?

— Я…

Я прислонился головой к спинке кресла — я обнаружил здесь кресло. Я тоже засыпаю, но меня мучит голос Везэна:

— Все это плохо кончится!..

Все это плохо кончится… Заведомо неодолимая преграда… Плохо кончится…

— Ты спишь?

— Я… нет… что плохо кончится?

— Война.

Вот это новость! Я снова погружаюсь в сон. Я бормочу:

— …какая война?

— Как это «какая»?

Такой разговор долго не протянется. Ах, Паула, если бы у авиагруппы были тирольские няньки, вся группа 2/33 уже давно была бы в постели! Майор с размаху распахивает дверь.

— Решено. Перебазируемся.

За ним стоит Желе, совершенно проснувшийся. Он отложит до завтра свои «да, конечно». В эту ночь он опять почерпнет силы для изнурительного труда из каких-то ему самому неведомых резервов.

Мы встаем. Мы говорим: «А!.. Ну, ладно…» Что мы можем сказать!

Мы ничего не скажем. Мы обеспечим перебазирование. Один Лакордэр дождется рассвета, чтобы вылететь на задание. Если он останется жив, то присоединится к нам уже на новом аэродроме.

Завтра мы тоже ничего не скажем. Завтра для свидетелей мы будем побежденными. А побежденные должны молчать. Как зерна.

Маленький принц

ЛЕОНУ ВЕРТУ

Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдание: этот взрослый – мой самый лучший друг. И еще: он понимает все на свете, даже детские книжки. И наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно. И он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу свою книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправляю посвящение:

ЛЕОНУ ВЕРТУ, когда он был маленьким

© Перевод. Нора Галь, наследники, 2003

I

Когда мне было шесть лет, в книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея — удав — глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано:



В книге говорилось: «Удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу».

Я много раздумывал о полной приключений жизни джунглей и тоже нарисовал цветным

карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок № 1. Вот что я нарисовал:



Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им.

— Разве шляпа страшная? — возразили мне.

А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Вот мой рисунок № 2:



Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что шести лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками № 1 и № 2, я

утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать.

Итак, мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился на летчика. Облетел я чуть ли не весь свет. И география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути.

На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко. И от этого, признаться, не стал думать о них лучше.

Когда я встречал взрослого, который казался мне разумней и понятливей других, я показывал ему свой рисунок № 1 — я его сохранил и всегда носил с собою. Я хотел знать, вправду ли этот человек что-то понимает. Но все они отвечали мне: «Это шляпа». И я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком.

II

Так я жил в одиночестве, и не с кем было мне поговорить по душам. И вот шесть лет назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить, хоть это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю.

Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот был бы не так одинок. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал:

— Пожалуйста… нарисуй мне барашка!

— А?..

— Нарисуй мне барашка…

Я вскочил, точно надо мною грянул гром. Протер глаза. Начал осматриваться. И вижу — стоит необыкновенный какой-то малыш и серьезно меня разглядывает. Вот самый лучший его порт-

рет, какой мне после удалось нарисовать. Но на моем рисунке он, конечно, далеко не так хорош, как был на самом деле. Это не моя вина. Когда мне было шесть лет, взрослые внушили мне, что художника из меня не выйдет, и я ничего не научился рисовать, кроме удавов — снаружи и изнутри.



Итак, я во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за тысячи миль от человеческого жилья. А между тем ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился, или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было сказать,

что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. Наконец ко мне вернулся дар речи, и я спросил:

— Но… что ты здесь делаешь?

И он опять попросил тихо и очень серьезно:

— Пожалуйста… нарисуй барашка…

Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться.

Хоть и нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо. Но тут же вспомнил, что учился-то я больше географии, истории, арифметике и правописанию, — и сказал малышу (немножко даже сердито сказал), что не умею рисовать. Он ответил:

— Все равно. Нарисуй барашка.

Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из двух старых картинок, которые я только и умею рисовать, — удава снаружи. И очень изумился, когда малыш воскликнул:

— Нет, нет! Мне не надо слона в удаве! Удав слишком опасный, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй барашка.

И я нарисовал.



Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал:

— Нет, этот барашек совсем хилый. Нарисуй другого.

Я нарисовал.



Мой новый друг мягко, снисходительно улыбнулся.

— Ты же сам видишь, — сказал он, — это не барашек. Это большой баран. У него рога…

Я опять нарисовал по-другому.



Но он и от этого рисунка отказался.

— Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго.

Тут я потерял терпение — ведь надо было поскорее разобрать мотор — и нацарапал вот что:



И сказал малышу:

— Вот тебе ящик. А в нем сидит твой барашек.

Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял:

— Вот такого мне и надо! Как ты думаешь, много он ест травы?

— А что?

— Ведь у меня дома всего очень мало…

— Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка.

— Не такого уж маленького… — сказал он,

наклонив голову и разглядывая рисунок. — Смотри-ка! Мой барашек уснул…

Так я познакомился с Маленьким принцем.

III

Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но, когда я спрашивал о чем-нибудь, он будто и не слышал. Лишь понемногу, из случайных, мимоходом оброненных слов мне все открылось. Так, когда он впервые увидел мой самолет (самолет я рисовать не стану, мне все равно не справиться), он спросил:

— Что это за штука?

— Это не штука. Это самолет. Мой самолет. Он летает.

И я с гордостью объяснил, что умею летать. Тогда малыш воскликнул:

— Как! Ты упал с неба?

— Да, — скромно ответил я.

— Вот забавно!..

И Маленький принц звонко засмеялся, так что меня взяла досада: я люблю, чтобы к моим злоключениям относились серьезно. Потом он прибавил:

— Значит, ты тоже явился с неба. А с какой планеты?

«Так вот разгадка его таинственного появле-

ния здесь, в пустыне!» — подумал я и спросил напрямик:



— Стало быть, ты попал сюда с другой планеты?

Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая самолет:

— Ну, на этом ты не мог прилететь издалека…

И надолго задумался о чем-то. Потом вынул из кармана барашка и погрузился в созерцание этого сокровища.

Можете себе представить, как разгорелось мое любопытство от странного полупризнания

о «других планетах». И я попытался разузнать побольше:

— Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести барашка?

Он помолчал в раздумье, потом сказал:

— Очень хорошо, что ты дал мне ящик: барашек будет там спать по ночам.

— Ну конечно. И если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать. И колышек.

Маленький принц нахмурился:

— Привязывать? Для чего это?

— Но ведь если его не привязать, он забредет неведомо куда и потеряется.

Тут мой друг опять весело рассмеялся:

— Да куда же он пойдет?

— Мало ли куда? Все прямо, прямо, куда глаза глядят.

Тогда Маленький принц сказал серьезно:

— Это ничего, ведь у меня там очень мало места.

И прибавил не без грусти:

— Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь…

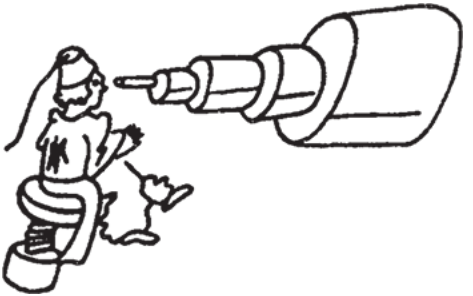
IV

Так я сделал еще одно важное открытие: его родная планета вся-то величиной с дом!

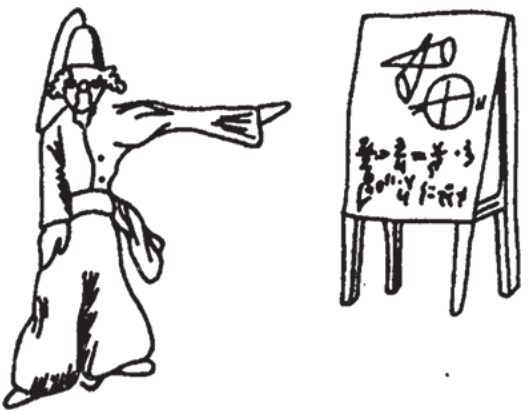
Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знал, что кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют еще сотни других, которым даже имен не дали, и среди них такие маленькие, что их и в телескоп трудно разглядеть. Когда астроном открывает такую планетку, он дает ей не имя, а просто номер. Например, астероид 3251.



У меня есть серьезные основания полагать, что Маленький принц прилетел с планетки, которая называется «астероид Б-612», Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году, одним турецким астрономом.

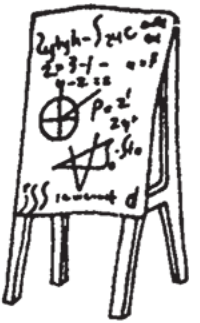


Астроном доложил тогда о своем замечательном открытии на Международном астрономическом конгрессе. Но никто ему не поверил, а все потому, что он был одет по-турецки. Уж такой народ эти взрослые!



К счастью для репутации астероида Б-612, правитель Турции велел своим подданным под страхом смерти носить европейское платье. В 1920 году тот астроном снова доложил о своем открытии. На этот раз он был одет по последней моде — и все с ним согласились.





Я вам рассказал так подробно об астероиде Б-612 и даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: «А какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?» Они спрашивают: «Сколько ему лет? Сколько у

него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?» И после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым: «Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби», — они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: «Я видел дом за сто тысяч франков», — и тогда они восклицают: «Какая красота!»

Точно так же, если им сказать: «Вот доказательства, что Маленький принц на самом деле существовал — он был очень, очень славный, он смеялся, и ему хотелось иметь барашка. А кто хочет барашка, тот, уж конечно, существует», — если сказать так, они только пожмут плечами и посмотрят на тебя как на несмышленого младенца. Но если сказать им: «Он прилетел с планеты, которая называется астероид Б-612», — это их убедит, и они не станут докучать вам расспросами. Уж такой народ эти взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым.

Но мы, те, кто понимает, что такое жизнь, — мы, конечно, смеемся над номерами и цифрами! Я охотно начал бы эту повесть как волшебную сказку. Я хотел бы начать так:

«Жил да был Маленький принц. Он жил на

планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга…» Те, кто понимает, что такое жизнь, сразу увидели бы, что это гораздо больше похоже на правду.

Ибо я совсем не хочу, чтобы мою книжку читали просто ради забавы. Сердце мое больно сжимается, когда я вспоминаю моего маленького друга, и нелегко мне о нем говорить. Вот уже шесть лет, как мой друг вместе с барашком меня покинул. И я пытаюсь рассказать о нем для того, чтобы его не забыть. Это очень печально, когда забывают друзей. Не у всякого был друг. И я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр. Еще и потому я купил ящик с красками и цветные карандаши. Не так это просто — в моем возрасте вновь приниматься за рисование, если за всю свою жизнь только и нарисовал что удава снаружи и изнутри, да и то в шесть лет! Конечно, я стараюсь передать сходство как можно лучше. Но я совсем не уверен, что у меня это получится. Один портрет выходит удачно, а другой ни капли не похож. Вот и с ростом то же: на одном рисунке принц у меня чересчур большой, на другом — чересчур маленький. И я плохо помню, какого цвета была его одежда. Я пробую рисовать и так и эдак, наугад, с грехом

пополам. Наконец, я могу ошибиться и в каких-то важных подробностях. Но вы уж не взыщите. Мой друг никогда мне ничего не объяснял. Может быть, он думал, что я такой же, как он. Но я, к сожалению, не умею увидеть барашка сквозь стенки ящика. Может быть, я немного похож на взрослых. Наверно, я старею.

V

Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал об этом понемножку, когда приходилось к слову. Так, на третий день я узнал о трагедии с баобабами.

Это тоже вышло из-за барашка. Казалось, Маленьким принцем вдруг овладели тяжкие сомнения, и он спросил:

— Скажи, ведь правда барашки едят кусты?

— Да, правда.

— Вот хорошо!

Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты. Но Маленький принц прибавил:

— Значит, они и баобабы тоже едят?

Я возразил, что баобабы — не кусты, а огромные деревья, вышиной с колокольню, и если даже он приведет целое стадо слонов, им не съесть и одного баобаба.

Услыхав про слонов, Маленький принц засмеялся:

— Их пришлось бы поставить друг на друга…

А потом сказал рассудительно:

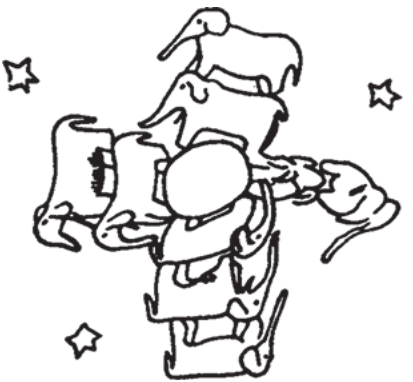
— Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают

совсем маленькие.

— Это верно. Но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы?

— А как же! — воскликнул он, словно речь шла о самых простых, азбучных истинах.

И пришлось мне поломать голову, пока я додумался, в чем тут дело.



На планете Маленького принца, как на любой другой планете, растут травы полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена хороших, полезных трав и вредные семена дурной, сорной травы. Но ведь семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не вздумает проснуться. Тогда оно пускает росток; он расправ-

ляется и тянется к солнцу, сперва такой милый, безобидный. Если это будущий редис или розовый куст, пусть его растет на здоровье. Но если это какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. И вот на планете Маленького принца есть ужасные, зловредные семена… Это семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими. А если баобаб не распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой. Он пронижет ее насквозь своими корнями. И если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки.

— Есть такое твердое правило, — сказал мне после Маленький принц. — Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов: молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная.



Однажды он посоветовал мне постараться и нарисовать такую картинку, чтобы и у нас дети это хорошо поняли.

— Если им когда-нибудь придется путешествовать, — сказал он, — это им пригодится. Иная работа может и подождать немного — вреда не будет. Но если дашь волю баобабам, беды не миновать. Я знал одну планету, на ней жил лентяй. Он не выполол вовремя три кустика…

Маленький принц подробно мне все описал, и я нарисовал эту планету. Терпеть не могу читать людям нравоучения. Но мало кто знает, чем грозят баобабы, а опасность, которой подвергается

всякий, кто попадет на астероид, очень велика; вот почему на сей раз я решаюсь изменить своей обычной сдержанности. «Дети! — говорю я. — Берегитесь баобабов!» Я хочу предупредить моих друзей об опасности, которая давно уже их подстерегает, а они даже не подозревают о ней, как не подозревал прежде и я. Вот почему я так трудился над этим рисунком, и мне не жаль потраченного труда. Быть может, вы спросите: отчего в моей книжке нет больше таких внушительных рисунков, как этот, с баобабами? Ответ очень прост: я старался, но у меня ничего не вышло. А когда я рисовал баобабы, меня вдохновляло сознание, что это страшно важно и неотложно.



VI

О Маленький принц! Понемногу я понял также, как печальна и однообразна была твоя жизнь. Долгое время у тебя было лишь одно развлечение — ты любовался закатом. Я узнал об этом наутро четвертого дня, когда ты сказал:

— Я очень люблю закат. Пойдем посмотрим, как заходит солнце.

— Ну, придется подождать.

— Чего ждать?

— Чтобы солнце зашло.

Сначала ты очень удивился, а потом засмеялся над собою и сказал:

— Мне все кажется, что я у себя дома!

И в самом деле. Все знают, что, когда в Америке полдень, во Франции солнце уже заходит. И если бы за одну минуту перенестись во Францию, можно было бы полюбоваться закатом. К несчастью, до Франции очень, очень далеко. А на твоей планетке тебе довольно было передвинуть стул на несколько шагов. И ты опять и опять смотрел на закатное небо, стоило только захотеть…



— Однажды я за один день видел заход солнца сорок три раза!

И немного погодя ты прибавил:

— Знаешь… когда очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце…

— Значит, в тот день, когда ты видел сорок три заката, тебе было очень грустно?

Но Маленький принц не ответил.

VII

На пятый день, опять-таки благодаря барашку, я узнал секрет Маленького принца. Он спросил неожиданно, без предисловий, точно пришел к этому выводу после долгих молчаливых раздумий:

— Если барашек ест кусты, он и цветы ест?

— Он ест все, что попадется.

— Даже такие цветы, у которых шипы?

— Да, и те, у которых шипы.

— Тогда зачем шипы?

Этого я не знал. Я был очень занят: в моторе заело один болт, и я старался его отвернуть. Мне было не по себе, положение становилось серьезным, воды почти не осталось, и я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится.

— Зачем нужны шипы?

Задав какой-нибудь вопрос, Маленький принц уже не отступался, пока не получал ответа. Неподатливый болт выводил меня из терпенья, и я ответил наобум:

— Шипы ни за чем не нужны, цветы выпускают их просто от злости.

— Вот как!

Наступило молчание. Потом он сказал почти сердито:

— Не верю я тебе! Цветы слабые. И простодушные. И они стараются придать себе храбрости. Они думают: если у них шипы, их все боятся…

Я не ответил. В ту минуту я говорил себе: «Если этот болт и сейчас не поддастся, я так стукну по нему молотком, что он разлетится вдребезги». Маленький принц снова перебил мои мысли:

— А ты думаешь, что цветы…

— Да нет же! Ничего я не думаю! Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Ты видишь, я занят серьезным делом.

Он посмотрел на меня в изумлении.

— Серьезным делом?!

Он все смотрел на меня: перепачканный смазочным маслом, с молотком в руках, я наклонился над непонятным предметом, который казался ему таким уродливым.

— Ты говоришь как взрослые! — сказал он.



Мне стало совестно. А он беспощадно прибавил:

— Все ты путаешь… ничего не понимаешь!

Да, он не на шутку рассердился. Он тряхнул головой, и ветер растрепал его золотые волосы.

— Я знаю одну планету, там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. И никогда ничего не делал. Он занят только одним: складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно: «Я человек серьезный! Я человек серьезный!» — совсем как ты. И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб.

— Что?

— Гриб!

Маленький принц даже побледнел от гнева.

— Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели же это не серьезное дело — понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг с другом? Да разве это не серьезнее и не важнее, чем арифметика толстого господина с багровым лицом? А если я знаю единственный в мире цветок, он растет только на моей планете, и другого такого больше нигде нет, а маленький барашек в одно прекрасное утро вдруг возьмет и съест его и даже не будет знать, что он натворил? И это все, по-твоему, не важно?

Он густо покраснел. Потом снова заговорил:

— Если любишь цветок — единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, — этого довольно: смотришь на небо — и ты счастлив. И говоришь себе: «Где-то там живет мой цветок…» Но если барашек его съест, это все равно как если бы все звезды разом погасли! И это, по-твоему, не важно!

Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдал-

ся. Стемнело. Я бросил работу. Я и думать забыл про злополучный болт и молоток, про жажду и смерть. На звезде, на планете — на моей планете по имени Земля, — плакал Маленький принц, и надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Я говорил ему: «Цветку, который ты любишь, ничто не грозит… Я нарисую твоему барашку намордник… Нарисую для твоего цветка броню… Я…» Я не знал, что еще ему сказать. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающую от меня… Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта страна слез…

VIII

Очень скоро я лучше узнал этот цветок. На планете Маленького принца всегда росли простые, скромные цветы — у них было мало лепестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались поутру в траве и под вечер увядали. А этот пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда, и Маленький принц не сводил глаз с крохотного ростка, непохожего на все остальные ростки и былинки. Вдруг это какая-нибудь новая разновидность баобаба? Но кустик быстро перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда еще не видал таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомая гостья, скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилась, все прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски. Она наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанная, точно какой-нибудь мак. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да, это была ужасная кокетка! Таинственные приготовления длились день за днем. И вот однажды утром, едва взошло

солнце, лепестки раскрылись.

И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая:

— Ах, я насилу проснулась… Прошу извинить… Я еще совсем растрепанная…

Маленький принц не мог сдержать восторга:

— Как вы прекрасны!



— Да, правда? — был тихий ответ. — И заметьте, я родилась вместе с солнцем.

Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья не страдает избытком

скромности, зато она была так прекрасна, что дух захватывало!

А она вскоре заметила:

— Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне…

Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветок ключевой водой.



Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива, и Маленький принц совсем с ней измучился. У нее было четыре шипа, и однажды она сказала ему:

— Пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей!

— На моей планете тигры не водятся, — воз-

разил Маленький принц. — И потом, тигры не едят траву.



— Я не трава, — тихо заметил цветок.

— Простите меня…

— Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы?

«Растение, а боится сквозняков… очень странно… — подумал Маленький принц. — Какой трудный характер у этого цветка».

— Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла…

Она не договорила. Ведь ее занесло сюда, когда она была еще зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебя так легко уличить! Красавица смутилась, потом кашлянула раз-другой, чтобы Маленький принц почувствовал, как он перед нею виноват:

— Где же ширма?

— Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать!

Тогда она закашляла сильнее: пускай его все-таки помучит совесть!



Хотя Маленький принц и полюбил прекрасный цветок, и рад был ему служить, но вскоре в душе

его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным.

— Напрасно я ее слушал, — доверчиво сказал он мне однажды. — Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх… Они должны бы меня растрогать, а я разозлился…

И еще он признался:

— Ничего я тогда не понимал! Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. За этими жалкими хитростями и уловками надо было угадать нежность. Цветы так непоследовательны! Но я был слишком молод, я еще не умел любить.

IX

Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами. В последнее утро он старательней обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было два действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может случиться! Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана — это все равно что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы, люди на Земле, слишком малы и не можем прочищать наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей.



Потом Маленький принц не без грусти вырвал последние ростки баобабов. Он думал, что никогда не вернется. Но в то утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил чудесный цветок и собрался накрыть колпаком, ему даже захотелось плакать.

— Прощайте, — сказал он.

Красавица не ответила.

— Прощайте, — повторил Маленький принц.

Она кашлянула. Но не от простуды.

— Я была глупая, — сказала она наконец. — Прости меня. И постарайся быть счастливым.

И ни слова упрека. Маленький принц очень удивился. Он застыл, растерянный, со стеклянным колпаком в руках. Откуда эта тихая нежность?

— Да, да, я люблю тебя, — услышал он. — Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. Но ты был такой же глупый, как я. Постарайся быть счастливым… Оставь колпак, он мне больше не нужен.





— Но ветер…

— Не так уж я простужена… Ночная свежесть пойдет мне на пользу. Ведь я — цветок.

— Но звери, насекомые…

— Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они, наверно, прелестны. А то кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти.

И она в простоте душевной показала свои четыре шипа. Потом прибавила:

— Да не тяни же, это невыносимо! Решил уйти — так уходи.

Она не хотела, чтобы Маленький принц видел, как она плачет.

Это был очень гордый цветок…

X

Ближе всего к планете Маленького принца были астероиды 325, 326, 327, 328, 329 и 330. Вот он и решил для начала посетить их: надо же найти себе занятие да и поучиться чему-нибудь.

На первом астероиде жил король. Облаченный в пурпур и горностай, он восседал на троне, очень простом и все же величественном.

— А, вот и подданный! — воскликнул король, увидав Маленького принца.

«Как же он меня узнал? — подумал Маленький принц. — Ведь он видит меня в первый раз!»

Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощенно: для них все люди — подданные.

— Подойди, я хочу тебя рассмотреть, — сказал король, ужасно гордый тем, что он может быть для кого-то королем.

Маленький принц оглянулся — нельзя ли где-нибудь сесть, но великолепная горностаевая мантия покрывала всю планету. Пришлось стоять, а он так устал… И вдруг он зевнул.

— Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха, — сказал король. — Я запрещаю тебе зевать.



— Я нечаянно, — ответил Маленький принц, очень смущенный. — Я долго был в пути и совсем не спал…

— Ну, тогда я повелеваю тебе зевать, — сказал король. — Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай! Таков мой приказ.

— Но я робею… я больше не могу… — вымолвил Маленький принц и густо покраснел.

— Гм, гм… Тогда… тогда я повелеваю тебе то зевать, то…

Король запутался и, кажется, даже немного

рассердился.

Ведь для короля самое важное — чтобы ему повиновались беспрекословно. Непокорства он бы не потерпел. Это был абсолютный монарх. Но он был очень добр, а потому отдавал только разумные приказания.

«Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой, — говаривал он, — и если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя».

— Можно мне сесть? — робко спросил Маленький принц.

— Повелеваю: сядь! — отвечал король и величественно подобрал одну полу своей горностаевой мантии.

Но Маленький принц недоумевал. Планетка такая крохотная. Где же тут царствовать?

— Ваше величество, — начал он, — позвольте вас спросить…

— Повелеваю: спрашивай! — поспешно сказал король.

— Ваше величество… Где же ваше королевство?

— Везде, — просто ответил король.

— Везде?

Король повел рукою, скромно указывая на

свою планету, а также и на другие планеты, и на звезды.

— И все это ваше? — переспросил Маленький принц.

— Да, — отвечал король.

Ибо он был поистине полновластный монарх и не знал никаких пределов и ограничений.

— И звезды вам повинуются? — спросил Маленький принц.

— Ну конечно, — отвечал король. — Звезды повинуются мгновенно. Я не терплю непослушания.

Маленький принц был восхищен. Вот бы ему такое могущество! Он бы тогда любовался закатом не сорок четыре раза в день, а семьдесят два, а то и сто, и двести раз, и при этом даже не приходилось бы передвигать стул с места на место! Тут он снова загрустил, вспоминая свою покинутую планету, и, набравшись храбрости, попросил короля:

— Мне хочется поглядеть на заход солнца… Пожалуйста, сделайте милость, повелите солнцу закатиться…

— Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой

и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват — он или я?

— Вы, ваше величество, — ни минуты не колеблясь, ответил Маленький принц.

— Совершенно верно, — подтвердил король. — С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны.

— А как же заход солнца? — напомнил Маленький принц: раз о чем-нибудь спросив, он уже не отступался, пока не получал ответа.

— Будет тебе и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло. Но сперва дождусь благоприятных условий, ибо в этом и состоит мудрость правителя.

— А когда условия будут благоприятные? — осведомился Маленький принц.

— Гм, гм, — ответил король, листая толстый календарь. — Это будет… гм, гм… сегодня это будет в семь часов сорок минут вечера. И тогда ты увидишь, как точно исполнится мое повеление.

Маленький принц зевнул. Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется! И, по правде говоря, ему уже стало скучновато.

— Мне пора, — сказал он королю. — Больше мне здесь нечего делать.

— Останься! — сказал король: он был очень горд тем, что у него нашелся подданный, и не хотел с ним расставаться. — Останься, я назначу тебя министром.

— Министром чего?

— Ну… правосудия.

— Но ведь здесь некого судить!

— Как знать, — возразил король. — Я еще не осмотрел всего моего королевства. Я очень стар, для кареты у меня нет места, а ходить пешком так утомительно…

Маленький принц наклонился и еще раз заглянул на другую сторону планеты.

— Но я уже посмотрел! — воскликнул он. — Там тоже никого нет.

— Тогда суди сам себя, — сказал король. — Это самое трудное. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр.

— Сам себя я могу судить где угодно, — сказал Маленький принц. — Для этого мне незачем оставаться у вас.

— Гм, гм… — сказал король. — Мне кажется, где-то на моей планете живет старая крыса. Я

слышу, как она скребется по ночам. Ты мог бы судить эту старую крысу. Время от времени приговаривай ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу: она ведь у нас одна.

— Не люблю я выносить смертные приговоры, — сказал Маленький принц. — И вообще мне пора.

— Нет, не пора, — возразил король.

Маленький принц уже совсем собрался в дорогу, но ему не хотелось огорчать старого монарха.

— Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, — сказал он, — вы могли бы отдать мне благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты… Мне кажется, условия для этого самые что ни на есть благоприятные…

Король не отвечал, и Маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь.

— Назначаю тебя послом! — поспешно крикнул вдогонку ему король.

И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений.

«Странный народ эти взрослые», — сказал себе Маленький принц, продолжая путь.

XI

На второй планете жил честолюбец.

— О, вот и почитатель явился! — воскликнул он, еще издали завидев Маленького принца.

Ведь тщеславные люди воображают, что все ими восхищаются.

— Добрый день, — сказал Маленький принц. — Какая у вас забавная шляпа.

— Это чтобы раскланиваться, — объяснил честолюбец. — Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. К несчастью, сюда никто не заглядывает.

— Вот как? — промолвил Маленький принц: он ничего не понял.



— Похлопай-ка в ладоши, — сказал ему честолюбец.

Маленький принц захлопал в ладоши. Честолюбец приподнял шляпу и скромно раскланялся.

«Здесь веселее, чем у старого короля», — подумал Маленький принц. И опять стал хлопать в ладоши. А честолюбец опять стал раскланиваться, снимая шляпу.

Так минут пять подряд повторялось одно и то же, и Маленькому принцу это наскучило.

— А что надо сделать, чтобы шляпа упала? —

спросил он.

Но честолюбец не слышал. Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал.

— Ты и правда мой восторженный почитатель? — спросил он Маленького принца.

— А как это — почитать?

— Почитать — значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и всех умней.

— Да ведь на твоей планете больше и нет никого!

— Ну, доставь мне удовольствие, все равно восхищайся мною!

— Я восхищаюсь, — сказал Маленький принц, слегка пожав плечами, — но какая тебе от этого радость?

И он сбежал от честолюбца.

«Право же, взрослые — очень странные люди», — только и подумал он, пускаясь в путь.

XII

На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело.

Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел, уставясь на полчища бутылок — пустых и полных.

— Что это ты делаешь? — спросил Маленький принц.

— Пью, — мрачно ответил пьяница.

— Зачем?

— Чтобы забыть.

— О чем забыть? — спросил Маленький принц. Ему стало жаль пьяницу.

— Хочу забыть, что мне совестно, — признался пьяница и повесил голову.

— Отчего же тебе совестно? — спросил Маленький принц. Ему очень хотелось помочь бедняге.



— Совестно пить! — объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова.

И Маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий.

«Да, право же, взрослые очень, очень странный народ», — подумал он, продолжая путь.

XIII

Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении Маленького принца даже головы не поднял.

— Добрый день, — сказал ему Маленький принц. — Ваша сигарета погасла.

— Три да два — пять. Пять да семь — двенадцать. Двенадцать да три — пятнадцать. Добрый день. Пятнадцать да семь — двадцать два. Двадцать два да шесть — двадцать восемь. Некогда спичкой чиркнуть. Двадцать шесть да пять — тридцать один. Уф! Итого, стало быть, пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать один.

— Пятьсот миллионов чего?

— А? Ты еще здесь? Пятьсот миллионов... Уж не знаю чего... У меня столько работы! Я человек серьезный, мне не до болтовни! Два да пять — семь...

— Пятьсот миллионов чего? — повторил Маленький принц: спросив о чем-нибудь, он не отступался, пока не получал ответа.

Деловой человек поднял голову.

— Уже пятьдесят четыре года я живу на этой

планете, и за все время мне мешали только три раза. В первый раз, двадцать два года тому назад, ко мне откуда-то залетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал четыре ошибки в сложении. Во второй раз, одиннадцать лет тому назад, у меня был приступ ревматизма. От сидячего образа жизни. Мне разгуливать некогда. Я человек серьезный. Третий раз... вот он! Итак, стало быть, пятьсот миллионов...

— Миллионов чего?

Деловой человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя.

— Пятьсот миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе.



— Это что же, мухи?

— Да нет же, такие маленькие, блестящие.

— Пчелы?

— Да нет же. Такие маленькие, золотые, всякий лентяй как посмотрит на них, так и размечтается. А я человек серьезный. Мне мечтать некогда.

— А, звезды?

— Вот-вот. Звезды.

— Пятьсот миллионов звезд? Что же ты с ними со всеми делаешь?

— Пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать одна. Я человек серьезный, я люблю точность.

— Что же ты делаешь со всеми этими звездами?

— Что делаю?

— Да.

— Ничего не делаю. Я ими владею.

— Владеешь звездами?

— Да.

— Но я уже видел короля, который…

— Короли ничем не владеют. Они только царствуют. Это совсем не одно и то же.

— А для чего тебе владеть звездами?

— Чтобы быть богатым.

— А для чего быть богатым?

— Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет.

«Он рассуждает, почти как тот пьяница», — подумал Маленький принц.

И стал спрашивать дальше:

— А как можно владеть звездами?

— Звезды чьи? — ворчливо спросил делец.

— Не знаю. Ничьи.

— Значит, мои, потому что я первый до этого додумался.

— И этого довольно?

— Ну конечно. Если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, — значит, он твой. Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, — он твой. Если тебе первому придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент: она твоя. Я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть.

— Вот это верно, — сказал Маленький принц. — А что же ты с ними делаешь?

— Распоряжаюсь ими, — ответил делец. — Считаю их и пересчитываю. Это очень трудно. Но я человек серьезный.

Однако Маленькому принцу этого было мало.

— Если у меня есть шелковый платок, я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой, — сказал

он. — Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. А ты ведь не можешь забрать звезды!

— Нет, но я могу положить их в банк.

— Как это?

— А так: пишу на бумажке, сколько у меня звезд. Потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ.

— И все?

— Этого довольно.

«Забавно! — подумал Маленький принц. — И даже поэтично. Но не так уж это серьезно».

Что серьезно, а что несерьезно — это Маленький принц понимал по-своему, совсем не так, как взрослые.

— У меня есть цветок, — сказал он, — и я каждое утро его поливаю. У меня есть три вулкана, я каждую неделю их прочищаю. Все три прочищаю, и потухший тоже. Мало ли что может случиться. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звездам от тебя нет никакой пользы…

Деловой человек открыл было рот, но так и не нашелся что ответить, и Маленький принц отправился дальше.

«Нет, взрослые и правда поразительный на-

род», — простодушно говорил он себе, продолжая путь.

XIV

Пятая планета была очень занятная. Она оказалась меньше всех. На ней только и помещалось что фонарь да фонарщик. Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. Но он подумал:

«Может быть, этот человек и нелеп. Но он не так нелеп, как король, честолюбец, делец и пьяница. В его работе все-таки есть смысл. Когда он зажигает свой фонарь — как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь — как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво».

И, поравнявшись с этой планеткой, он почтительно поклонился фонарщику.

— Добрый день, — сказал он. — Почему ты сейчас погасил фонарь?

— Такой уговор, — ответил фонарщик. — Добрый день.

— А что это за уговор?

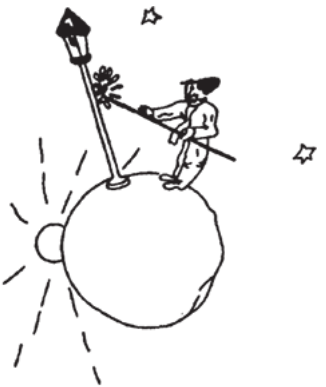
— Гасить фонарь. Добрый вечер.

И он снова засветил фонарь.

— Зачем же ты опять его зажег?

— Такой уговор, — повторил фонарщик.

— Не понимаю, — признался Маленький принц.



— И понимать нечего, — сказал фонарщик. — Уговор есть уговор. Добрый день.

И погасил фонарь.

Потом красным клетчатым платком утер пот со лба и сказал:

— Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело

смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться…

— А потом уговор переменился?

— Уговор не менялся, — сказал фонарщик. — В том-то и беда! Моя планета год от года вращается все быстрее, а уговор остается прежний.

— И как же теперь? — спросил Маленький принц.

— Да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю.

— Вот забавно! Значит, у тебя день длится всего одну минуту!

— Ничего тут нет забавного, — возразил фонарщик. — Мы с тобой разговариваем уже целый месяц.

— Целый месяц?!

— Ну да. Тридцать минут. Тридцать дней. Добрый вечер!

И он опять засветил фонарь.

Маленький принц смотрел на фонарщика, и ему все больше нравился этот человек, который был так верен своему слову. Маленький принц вспомнил, как он когда-то переставлял стул с

места на место, чтобы лишний раз поглядеть на закат. И ему захотелось помочь другу.

— Послушай, — сказал он фонарщику. — Я знаю средство: ты можешь отдыхать когда только захочешь…

— Мне все время хочется отдыхать, — сказал фонарщик.

Ведь можно быть верным слову и все-таки ленивым.

— Твоя планетка такая крохотная, — продолжал Маленький принц, — ты можешь обойти ее в три шага. И просто нужно идти с такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда тебе захочется отдохнуть, ты просто все иди, иди… И день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь.

— Ну, от этого мне мало толку, — сказал фонарщик. — Больше всего на свете я люблю спать.

— Тогда плохо твое дело, — посочувствовал Маленький принц.

— Плохо мое дело, — подтвердил фонарщик. — Добрый день.

И погасил фонарь.

«Вот человек, — сказал себе Маленький принц, продолжая путь, — вот человек, которого все стали бы презирать — и король, и честолюбец,

и пьяница, и делец. А между тем из них всех он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому, что он думает не только о себе».

Маленький принц вздохнул.

«Вот бы с кем подружиться, — подумал он еще. — Но его планетка уж очень крохотная. Там нет места для двоих…»

Он не смел себе признаться в том, что больше всего жалеет об этой чудесной планетке еще по одной причине: за двадцать четыре часа на ней можно любоваться закатом тысячу четыреста сорок раз!

XV

Шестая планета была в десять раз больше предыдущей. На ней жил старик, который писал толстенные книги.

— Смотрите-ка! Вот прибыл путешественник! — воскликнул он, заметив Маленького принца.

Маленький принц сел на стол, чтобы отдышаться. Он уже столько странствовал!

— Откуда ты? — спросил старик.

— Что это за огромная книга? — спросил Маленький принц. — Что вы здесь делаете?

— Я географ, — ответил старик.

— А что такое географ?

— Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни.

— Как интересно! — сказал Маленький принц. — Вот это настоящее дело!



И он окинул взглядом планету географа. Никогда еще он не видал такой величественной планеты.

— Ваша планета очень красивая, — сказал он. — А океаны у вас есть?

— Этого я не знаю, — сказал географ.

— О-о… — разочарованно протянул Маленький принц. — А горы есть?

— Не знаю, — повторил географ.

— А города, реки, пустыни?

— И этого я тоже не знаю.

— Но ведь вы географ!

— Вот именно, — сказал старик. — Я географ, а

не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. Географ — слишком важное лицо, ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета. Но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. И если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник.

— А зачем?

— Да ведь если путешественник станет врать, в учебниках географии все перепутается. И если он выпивает лишнее — тоже беда.

— А почему?

— Потому что у пьяниц двоится в глазах. И там, где на самом деле одна гора, географ отметит две.

— Я знал одного человека… Из него вышел бы плохой путешественник, — сказал Маленький принц.

— Очень возможно. Так вот, если окажется, что путешественник — человек порядочный, тогда проверяют его открытие.

— Как проверяют? Идут и смотрят?

— Ну нет. Это слишком сложно. Просто требуют,

чтобы путешественник представил доказательства. Например, если он открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни.

Географ вдруг разволновался:

— Но ты ведь и сам путешественник! Ты явился издалека! Расскажи мне о своей планете!

И он раскрыл толстенную книгу и очинил карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того как путешественник представит доказательства, можно записать его рассказ чернилами.

— Слушаю тебя, — сказал географ.

— Ну, у меня там не так уж интересно, — промолвил Маленький принц. — У меня все очень маленькое. Есть три вулкана. Два действуют, а один давно потух. Но мало ли что может случиться…

— Да, все может случиться, — подтвердил географ.

— Потом, у меня есть цветок.

— Цветы мы не отмечаем, — сказал географ.

— Почему?! Это ведь самое красивое!

— Потому, что цветы эфемерны.

— Как это — эфемерны?

— Книги по географии — самые драгоценные книги на свете, — объяснил географ. — Они

никогда не устаревают. Ведь это очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с места. Или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных.

— Но потухший вулкан может проснуться, — прервал Маленький принц. — А что такое «эфемерный»?

— Потух вулкан или действует — это для нас, географов, не имеет значения, — сказал географ. — Важно одно: гора. Она не меняется.

— А что такое «эфемерный»? — спросил Маленький принц, ведь раз задав вопрос, он не отступался, пока не получал ответа.

— Это значит: тот, что должен скоро исчезнуть.

— И мой цветок должен скоро исчезнуть?

— Разумеется.

«Моя краса и радость недолговечна, — сказал себе Маленький принц, — и ей нечем защищаться от мира; у нее только и есть что четыре шипа. А я бросил ее, и она осталась на моей планете совсем одна!»

Это впервые он пожалел о покинутом цветке. Но мужество тотчас вернулось к нему.

— Куда вы посоветуете мне отправиться? — спросил он географа.

— Посети планету Земля, — отвечал географ. — У нее неплохая репутация…

И Маленький принц пустился в путь, но мысли его были о покинутом цветке.

XVI

Итак, седьмая планета, которую он посетил, была Земля.

Земля — планета непростая! На ней насчитывается сто одиннадцать королей (в том числе, конечно, и негритянских), семь тысяч географов, девятьсот тысяч дельцов, семь с половиной миллионов пьяниц, триста одиннадцать миллионов честолюбцев — итого около двух миллиардов взрослых.



Чтобы дать вам понятие о том, как велика Земля, скажу лишь, что, пока не изобрели электричество, на всех шести континентах приходилось держать целую армию фонарщиков — четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать человек.

Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись точнейшему ритму, совсем как в балете.

Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись спать. За ними наступал черед фонарщиков Китая. Исполнив свой танец, они тоже скрывались за кулисами. Потом приходил черед фонарщиков в России и в Индии. Потом — в Африке и Европе. Затем в Южной Америке. Затем в Северной Америке. И никогда они не ошибались, никто не выходил на сцену не вовремя. Да, это было блистательно.

Только тому фонарщику, что должен был зажигать единственный фонарь на Северном полюсе, да еще его собрату на Южном полюсе — только этим двоим жилось легко и беззаботно: им приходилось заниматься своим делом всего два раза в год.

XVII

Когда очень хочешь сострить, иной раз поневоле приврешь. Рассказывая о фонарщиках, я несколько погрешил против истины. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, сложится о ней неверное представление. Люди занимают на Земле не так уж много места. Если бы два миллиарда ее жителей сошлись и стали сплошной толпой, как на митинге, все они без труда уместились бы на пространстве размером двадцать миль в длину и двадцать в ширину. Все человечество можно бы составить плечом к плечу на самом маленьком островке в Тихом океане.

Взрослые вам, конечно, не поверят. Они воображают, что занимают очень много места. Они кажутся сами себе величественными, как баобабы. А вы посоветуйте им сделать точный расчет. Им это понравится, они ведь обожают цифры. Вы же не тратьте время на эту арифметику. Это ни к чему. Вы и без того мне верите.

Итак, попав на Землю, Маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-то другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко

цвета лунного луча.

— Добрый вечер, — сказал на всякий случай Маленький принц.

— Добрый вечер, — ответила змея.

— На какую это планету я попал?

— На Землю, — сказала змея. — В Африку.

— Вот как. А разве на Земле нет людей?

— Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая.

Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу.

— Хотел бы я знать, зачем звезды светятся, — задумчиво сказал он. — Наверно, затем, чтобы рано или поздно каждый мог снова отыскать свою. Смотри, вот моя планета — прямо над нами… Но как до нее далеко!

— Красивая планета, — сказала змея. — А что ты будешь делать здесь, на Земле?

— Я поссорился со своим цветком, — признался Маленький принц.

— А, вот оно что…

И оба умолкли.



— А где же люди? — вновь заговорил наконец Маленький принц. — В пустыне все-таки одиноко…

— Среди людей тоже одиноко, — заметила змея.

Маленький принц внимательно посмотрел на нее.

— Странное ты существо, — сказал он. — Не толще пальца…

— Но могущества у меня больше, чем в пальце короля, — возразила змея.

Маленький принц улыбнулся.

— Ну, разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет. Ты и путешествовать не можешь…

— Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль, — сказала змея.

И обвилась вокруг щиколотки Маленького принца, словно золотой браслет.

— Всех, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой они вышли, — сказала она. — Но ты чист и явился со звезды…

Маленький принц не ответил.

— Мне жаль тебя, — продолжала змея. — Ты так слаб на этой Земле, жесткой, как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь. Я могу…

— Я прекрасно понял, — сказал Маленький принц. — Но почему ты все время говоришь загадками?

— Я решаю все загадки, — сказала змея.

И оба умолкли.

XVIII

Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок — крохотный, невзрачный цветок о трех лепестках…

— Здравствуй, — сказал Маленький принц.

— Здравствуй, — отвечал цветок.

— А где люди? — вежливо спросил Маленький принц.

Цветок видел однажды, как мимо шел караван.

— Люди? Ах да… Их всего-то, кажется, шесть или семь. Я видел их много лет назад. Но где их искать — неизвестно. Их носит ветром. У них нет корней — это очень неудобно.

— Прощай, — сказал Маленький принц.

— Прощай, — сказал цветок.



XIX

Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видал гор, кроме своих трех вулканов, которые были ему по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом.

И теперь он подумал: «С такой высокой горы я сразу увижу всю планету и всех людей». Но увидел только скалы, острые и тонкие, как иглы.



— Добрый день, — сказал он на всякий случай.

«Добрый день… день… день…» — откликнулось эхо.

— Кто вы? — спросил Маленький принц.

«Кто вы… кто вы… кто вы…» — откликнулось эхо.

— Будем друзьями, я совсем один, — сказал он.

«Один… один… один…» — откликнулось эхо.

«Какая странная планета! — подумал Маленький принц. — Совсем сухая, вся в иглах и соленая. И у людей не хватает воображения. Они только повторяют то, что им скажешь… Дома у меня был цветок, моя краса и радость, и он всегда заговаривал первым».

XX

Долго шел Маленький принц через пески, скалы и снега и наконец набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям.

— Добрый день, — сказал он.

Перед ним был сад, полный роз.

— Добрый день, — отозвались розы.

И Маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок.

— Кто вы? — спросил он, пораженный.

— Мы — розы, — отвечали розы.

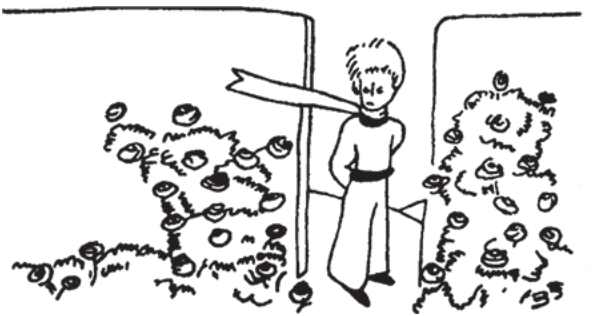
— Вот как… — промолвил Маленький принц.

И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей Вселенной. И вот перед ним пять тысяч точно таких же цветов в одном только саду!

«Как бы она рассердилась, если бы увидела их! — подумал Маленький принц. — Она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной, — ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы унизить и меня тоже…»

А потом он подумал: «Я-то воображал, что

владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет, а это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было что простая роза да три вулкана ростом мне по колено, и то один из них потух, и, может быть, навсегда… Какой же я после этого принц?..»



Он лег в траву и заплакал.

XXI

Вот тут-то и появился Лис.

— Здравствуй, — сказал он.

— Здравствуй, — вежливо ответил Маленький принц и оглянулся, но никого не увидел.

— Я здесь, — послышался голос. — Под яблоней…

— Кто ты? — спросил Маленький принц. — Какой ты красивый!

— Я Лис, — сказал Лис.



— Поиграй со мной, — попросил Маленький принц. — Мне так грустно…

— Не могу я с тобой играть, — сказал Лис. — Я не приручен.

— Ах, извини, — сказал Маленький принц.

Но, подумав, спросил:

— А как это — приручить?

— Ты нездешний, — заметил Лис. — Что ты здесь ищешь?

— Людей ищу, — сказал Маленький принц. — А как это — приручить?

— У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно! И еще они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур?

— Нет, — сказал Маленький принц. — Я ищу друзей. А как это — приручить?

— Это давно забытое понятие, — объяснил Лис. — Оно означает: создать узы.

— Узы?

— Вот именно, — сказал Лис. — Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя только лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственный в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете.

— Я начинаю понимать, — сказал Маленький принц. — Есть одна роза… Наверно, она меня приручила…

— Очень возможно, — согласился Лис. — На Земле чего только не бывает.

— Это было не на Земле, — сказал Маленький принц.

Лис очень удивился:

— На другой планете?

— Да.

— А на той планете есть охотники?

— Нет.

— Как интересно! А куры там есть?

— Нет.





— Нет в мире совершенства! — вздохнул Лис.

Но потом он опять заговорил о том же:

— Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня, точно музыка, и я выйду из своего

убежища. И потом — смотри! Видишь, вон там, в полях, зреет пшеница? Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно! Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь! Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру…

Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. Потом сказал:

— Пожалуйста… приручи меня!

— Я бы рад, — ответил Маленький принц, — но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи.

— Узнать можно только те вещи, которые приручишь, — сказал Лис. — У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня!

— А что для этого надо делать? — спросил Маленький принц.

— Надо запастись терпеньем, — ответил Лис. — Сперва сядь вон там, поодаль, на траву — вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с

каждым днем садись немножко ближе…

Назавтра Маленький принц вновь пришел на то же место.

— Лучше приходи всегда в один и тот же час, — попросил Лис. — Вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В четыре часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью! А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце… Нужно соблюдать обряды.

— А что такое обряды? — спросил Маленький принц.

— Это тоже нечто давно забытое, — объяснил Лис. — Нечто такое, отчего один какой-то день становится не похож на все другие дни, один час — на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд: по четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день — четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали когда придется, все дни были бы одинаковы и я никогда не знал бы отдыха.

Так Маленький принц приручил Лиса. И вот

настал час прощанья.

— Я буду плакать о тебе, — вздохнул Лис.



— Ты сам виноват, — сказал Маленький принц. — Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно; ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил…

— Да, конечно, — сказал Лис.

— Но ты будешь плакать!

— Да, конечно.

— Значит, тебе от этого плохо.

— Нет, — возразил Лис, — мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья.

Он умолк. Потом прибавил:

— Поди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза — единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок.

Маленький принц пошел взглянуть на розы.

— Вы ничуть не похожи на мою розу, — сказал

он им. — Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой Лис. Он ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он — единственный в целом свете.

Розы очень смутились.

— Вы красивые, но пустые, — продолжал Маленький принц. — Ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день. Ее, а не вас накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц, только двух или трех оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала, я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она — моя.

И Маленький принц возвратился к Лису.

— Прощай… — сказал он.

— Прощай, — сказал Лис. — Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.

— Самого главного глазами не увидишь, — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.

— Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все свои дни.

— Потому что я отдавал ей все свои дни… — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.

— Люди забыли эту истину, — сказал Лис, — но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу.

— Я в ответе за мою розу… — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.

XXII

— Добрый день, — сказал Маленький принц.

— Добрый день, — отозвался стрелочник.

— Что ты делаешь? — спросил Маленький принц.

— Сортирую пассажиров, — отвечал стрелочник. — Отправляю их в поездах по тысяче человек зараз — один поезд направо, другой налево.

И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо, и будка стрелочника вся задрожала.

— Как они спешат! — удивился Маленький принц. — Что они ищут?

— Даже сам машинист этого не знает, — сказал стрелочник.

И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронесся еще один скорый поезд.

— Они уже возвращаются? — спросил Маленький принц.

— Нет, это другие, — сказал стрелочник. — Это встречный.

— Им было нехорошо там, где они были прежде?

— Там хорошо, где нас нет, — сказал стрелоч-

ник.

И прогремел, сверкая, третий скорый поезд.

— Они хотят догнать тех, первых? — спросил Маленький принц.

— Ничего они не хотят, — сказал стрелочник. — Они спят в вагонах или просто сидят и зевают. Одни только дети прижимаются носами к окнам.

— Одни только дети знают, что ищут, — промолвил Маленький принц. — Они отдают все свои дни тряпочной кукле, и она становится им очень-очень дорога, и, если ее у них отнимут, дети плачут…

— Их счастье, — сказал стрелочник.

XXIII

— Добрый день, — сказал Маленький принц.

— Добрый день, — ответил торговец.

Он торговал самоновейшими пилюлями, которые утоляют жажду. Проглотишь такую пилюлю — и потом целую неделю не хочется пить.

— Для чего ты их продаешь? — спросил Маленький принц.

— От них большая экономия времени, — ответил торговец. — По подсчетам специалистов, можно сэкономить пятьдесят три минуты в неделю.

— А что делать в эти пятьдесят три минуты?

— Да что хочешь.

«Будь у меня пятьдесят три минуты свободных, — подумал Маленький принц, — я бы просто-напросто пошел к роднику…»



XXIV

Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию, и, слушая про торговца пилюлями, я выпил последний глоток воды.

— Да, — сказал я Маленькому принцу, — все, что ты рассказываешь, очень интересно, но я еще не починил самолет, у меня не осталось ни капли воды, и я тоже был бы счастлив, если бы мог просто-напросто пойти к роднику.

— Лис, с которым я подружился…

— Милый мой, мне сейчас не до Лиса!

— Почему?

— Да потому, что придется умереть от жажды…

Он не понял, какая тут связь. Он возразил:

— Хорошо, если у тебя когда-то был друг, пусть даже надо умереть. Вот я очень рад, что дружил с Лисом…

«Он не понимает, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды. Ему довольно солнечного луча…»

Я не сказал этого вслух, только подумал. Но Маленький принц посмотрел на меня и промолвил:

— Мне тоже хочется пить… Пойдем поищем

колодец…

Я устало развел руками: что толку наугад искать колодцы в бескрайней пустыне? Но все-таки мы пустились в путь.

Долгие часы мы шли молча. Наконец стемнело и в небе стали загораться звезды. От жажды меня немного лихорадило, и я видел их будто во сне. Мне все вспоминались слова Маленького принца, и я спросил:

— Значит, и ты тоже знаешь, что такое жажда?

Но он не ответил. Он сказал просто:

— Вода бывает нужна и сердцу…

Я не понял, но промолчал. Я знал, что не следует его расспрашивать.

Он устал. Опустился на песок. Я сел рядом. Помолчали. Потом он сказал:

— Звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно…

— Да, конечно, — сказал я только, глядя на волнистый песок, освещенный луною.

— И пустыня красивая… — прибавил Маленький принц.

Это правда. Мне всегда нравилось в пустыне. Сидишь на песчаной дюне. Ничего не видно. Ничего не слышно. И все же тишина словно лучится…

— Знаешь, отчего хороша пустыня? — сказал он. — Где-то в ней скрываются родники…

Я был поражен. Вдруг я понял, почему таинственно лучится песок. Когда-то, маленьким мальчиком, я жил в старом-престаром доме — рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл, а может быть, никто никогда его и не искал. Но из-за него дом был словно заколдован: в сердце своем он скрывал тайну…

— Да, — сказал я. — Будь то дом, звезды или пустыня — самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами.

— Я очень рад, что ты согласен с моим другом Лисом, — отозвался Маленький принц.

Потом он уснул, я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось, я несу хрупкое сокровище. Мне казалось даже, ничего более хрупкого нет на нашей Земле. При свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер, и говорил себе: все это лишь оболочка. Самое главное — то, чего не увидишь глазами…

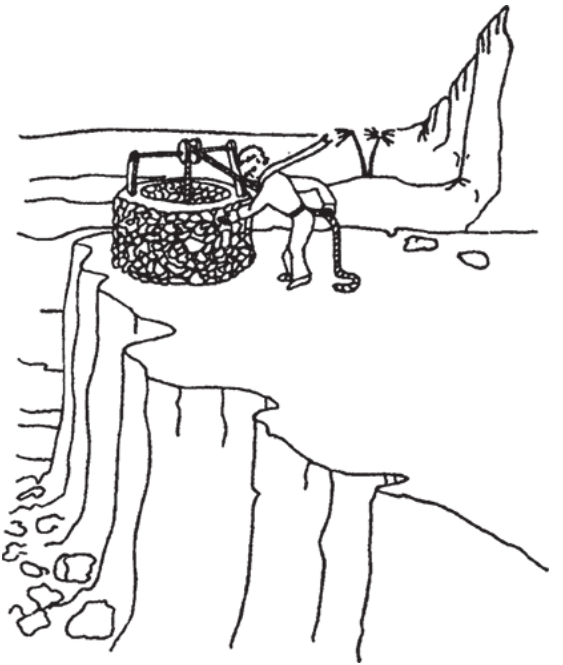
Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке, и я сказал себе: трогательней всего в этом спящем

Маленьком принце его верность цветку, образ розы, который лучится в нем, словно пламя светильника, даже когда он спит… И я понял, он еще более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь: порыв ветра может их погасить…

Так я шел… и на рассвете дошел до колодца.

XXV

— Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут, — сказал Маленький принц. — Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую… — Потом прибавил: — И все напрасно…



Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец — просто яма в песке. А это был самый настоящий деревенский колодец. Но деревни тут нигде не было, и я подумал, что это сон.

— Как странно, — сказал я Маленькому принцу, — тут все приготовлено: и ворот, и ведро, и

веревка…

Он засмеялся, тронул веревку, стал раскручивать ворот. И ворот заскрипел, точно старый флюгер, долго ржавевший в безветрии.

— Слышишь? — сказал Маленький принц. — Мы разбудили колодец, и он запел…

Я боялся, что он устанет.

— Я сам зачерпну воды, — сказал я, — тебе это не под силу.

Медленно вытащил я полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще отдавалось пенье скрипучего ворота, вода в ведре еще дрожала, и в ней играли солнечные зайчики.

— Мне хочется глотнуть этой воды, — промолвил Маленький принц. — Дай мне напиться…

И я понял, что он искал!

Я поднес ведро к его губам. Он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода эта была не простая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки: сияньем свеч на елке, пением органа в час полночной мессы, ласковыми улыбками.

— На твоей планете, — сказал Маленький

принц, — люди выращивают в одном саду пять тысяч роз… и не находят того, что ищут…

— Не находят, — согласился я.

— А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной-единственной розе, в глотке воды…

— Да, конечно, — согласился я.

И Маленький принц сказал:

— Но глаза слепы. Искать надо сердцем.

Я выпил воды. Дышалось легко. На рассвете песок становится золотой, как мед. И от этого тоже я был счастлив. С чего бы мне грустить?..

— Ты должен сдержать слово, — мягко сказал Маленький принц, снова садясь рядом со мною.

— Какое слово?

— Помнишь, ты обещал… намордник для моего барашка… Я ведь в ответе за тот цветок.

Я достал из кармана свои рисунки. Маленький принц поглядел на них и засмеялся:

— Баобабы у тебя похожи на капусту…

А я-то гордился своими баобабами!

— А у лисицы твоей уши… точно рога! И какие длинные!

И он опять засмеялся.

— Ты несправедлив, дружок. Я ведь никогда и не умел рисовать — разве только удавов снаружи и изнутри.

— Ну ничего, — успокоил он меня. — Дети и так поймут.

И я нарисовал намордник для барашка. Я отдал рисунок Маленькому принцу, и сердце у меня сжалось.

— Ты что-то задумал и не говоришь мне…

Но он не ответил.

— Знаешь, — сказал он, — завтра исполнится год, как я попал к вам на Землю… — И умолк. Потом прибавил: — Я упал совсем близко отсюда… — И покраснел.

И опять, бог весть почему, тяжело стало у меня на душе. Все-таки я спросил:

— Значит, неделю назад, в то утро, когда мы познакомились, ты не случайно бродил тут совсем один, за тысячу миль от человеческого жилья? Ты возвращался к месту, где тогда упал?

Маленький принц покраснел еще сильнее.

А я прибавил нерешительно:

— Может быть, это потому, что исполняется год?..

И снова он покраснел. Он не ответил ни на один мой вопрос, но ведь когда краснеешь, это значит «да», не так ли?

— Неспокойно мне… — начал я.

Но он сказал:

— Пора тебе приниматься за работу. Иди к своей машине. Я буду ждать тебя здесь. Возвращайся завтра вечером…

Однако мне не стало спокойнее. Я вспомнил о Лисе. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать.

XXVI

Неподалеку от колодца сохранились развалины древней каменной стены. На другой вечер, покончив с работой, я вернулся туда и еще издали увидел, что Маленький принц сидит на краю стены, свесив ноги. И услышал его голос.

— Разве ты не помнишь? — говорил он. — Это было совсем не здесь.

Наверно, кто-то ему отвечал, потому что он возразил:

— Ну да, это было ровно год назад, день в день, но только в другом месте…

Я зашагал быстрее. Но нигде у стены я больше никого не видел и не слышал. А между тем Маленький принц снова ответил кому-то:

— Ну конечно. Ты найдешь мои следы на песке. И тогда жди. Сегодня ночью я туда приду.

До стены оставалось двадцать метров, а я все еще ничего не видел.

После недолгого молчания Маленький принц спросил:

— А у тебя хороший яд? Ты не заставишь меня долго мучиться?

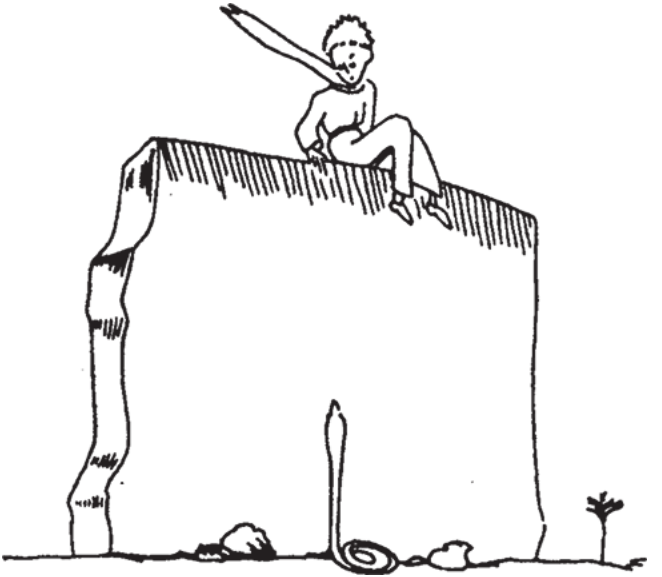
Я остановился, и сердце мое сжалось, но я все

еще не понимал.

— Теперь уходи, — сказал Маленький принц. — Я хочу спрыгнуть вниз.

Тогда я опустил глаза да так и подскочил! У подножья стены, подняв голову к Маленькому принцу, свернулась желтая змейка, из тех, чей укус убивает в полминуты.

Нащупывая в кармане револьвер, я бегом бросился к ней, но при звуке шагов змейка тихо заструилась по песку, словно умирающий ручеек, и с еле слышным металлическим звоном неторопливо скрылась меж камней.



Я подбежал к стене как раз вовремя и подхватил моего Маленького принца. Он был белее снега.

— Что это тебе вздумалось, малыш! — воскликнул я. — Чего ради ты заводишь разговоры со змеями?

Я развязал его неизменный золотой шарф. Смочил ему виски и заставил выпить воды. Но не смел больше ни о чем спрашивать. Он серьезно посмотрел на меня и обвил мою шею руками. Я

услышал, как бьется его сердце, словно у подстреленной птицы. Он сказал:

— Я рад, что ты нашел, в чем там была беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой…

— Откуда ты знаешь?!

Я как раз собирался сказать ему, что, вопреки всем ожиданиям, мне удалось исправить самолет!

Он не ответил, он только сказал:

— И я тоже сегодня вернусь домой.

Потом прибавил печально:

— Это гораздо дальше… и гораздо труднее…

Все было как-то странно. Я крепко обнимал его, точно малого ребенка, и, однако, мне казалось, будто он ускользает, его затягивает бездна, и я не в силах его удержать…

Он задумчиво смотрел куда-то вдаль.

— У меня останется твой барашек. И ящик для барашка. И намордник…

Он печально улыбнулся.

Я долго ждал. Он словно бы приходил в себя.

— Ты напугался, малыш…

Ну еще бы не напугаться! Но он тихонько засмеялся:

— Сегодня вечером мне будет куда страшнее…

И опять меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели, неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня — точно родник в пустыне.

— Малыш, я хочу еще послушать, как ты смеешься…

Но он сказал:

— Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад…

— Послушай, малыш, ведь все это — и змея, и свиданье со звездой — просто дурной сон, правда?

Но он не ответил.

— Самое главное — то, чего глазами не увидишь… — сказал он.

— Да, конечно…

— Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают.

— Да, конечно…

— Это как с водой. Когда ты дал мне напиться, та вода была как музыка, а все из-за ворота и веревки. Помнишь? Она была очень хорошая.

— Да, конечно…

— Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда

очень маленькая, я не могу ее тебе показать. Так лучше. Она будет для тебя просто — одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды… Все они станут тебе друзьями. И потом, я тебе кое-что подарю…

И он засмеялся.

— Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься!

— Вот это и есть мой подарок… Это будет как с водой…

— Как так?

— У каждого человека свои звезды. Одним — тем, кто странствует, — они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они — как задача, которую надо решить. Для моего дельца они — золото. Но для всех этих людей звезды — немые. А у тебя будут совсем особенные звезды…

— Как так?

— Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь, — и ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться!

И он сам засмеялся.

— И когда ты утешишься — в конце концов всегда утешаешься, — ты будешь рад, что знал

меня когда-то. Ты всегда будешь мне другом. Тебе захочется посмеяться со мною. Иной раз ты вот так распахнешь окно, и тебе будет приятно… И твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо. А ты им скажешь: «Да, да, я всегда смеюсь, глядя на звезды!» И они подумают, что ты сошел с ума. Вот какую злую шутку я с тобой сыграю…

Он опять засмеялся.

— Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов…

И он опять засмеялся. Потом снова стал серьезен:

— Знаешь… сегодня ночью… лучше не приходи.

— Я тебя не оставлю.

— Тебе покажется, что мне больно. Покажется даже, что я умираю. Так уж оно бывает. Не приходи, не надо.

— Я тебя не оставлю.

Но он был чем-то озабочен.

— Видишь ли… это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит… Змеи ведь злые. Кого-нибудь ужалить для них удовольствие.

— Я тебя не оставлю.

Он вдруг успокоился:

— Правда, на двоих у нее не хватит яда…

В ту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно. Когда я наконец нагнал его, он шел быстрым, решительным шагом.



— А, это ты… — сказал он только.

И взял меня за руку. Но что-то его тревожило.

— Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, будто я умираю, но это неправда…

Я молчал.

— Видишь ли… это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое. Мне его не унести.

Я молчал.

— Но это все равно что сбросить старую оболоч-

ку. Тут нет ничего печального…

Я молчал.

Он немного пал духом. Но все-таки сделал еще одно усилие:

— Знаешь, будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды. И все звезды будут точно старые колодцы со скрипучим воротом. И каждая даст мне напиться…

Я молчал.

— Подумай, как забавно! У тебя будет пятьсот миллионов бубенцов, а у меня — пятьсот миллионов родников…

И тут он тоже замолчал, потому что заплакал.

— Вот мы и пришли. Дай мне сделать еще шаг одному.

И он сел на песок, потому что ему стало страшно.



Потом он сказал:

— Знаешь… моя роза… я за нее в ответе. А она такая слабая! И такая простодушная. У нее только и есть что четыре жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира.

Я тоже сел, потому что у меня подкосились ноги.

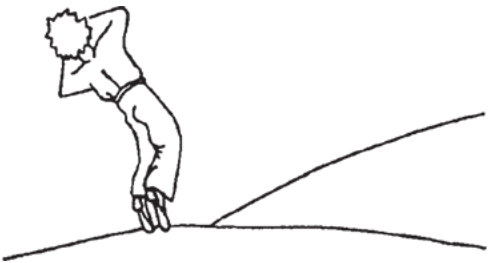
Он сказал:

— Ну… вот и все…

Помедлил еще минуту и встал. И сделал один только шаг. А я не мог шевельнуться.

Точно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновенье он оставался недвижим. Не вскрикнул. Потом упал — медленно, как падает дерево. Медленно и неслышно, ведь песок приглушает

все звуки.



XXVII

И вот прошло уже шесть лет… Я еще ни разу никому об этом не рассказывал. Когда я вернулся, товарищи рады были вновь увидеть меня живым и невредимым.

Грустно мне было, но я говорил им:

— Это я просто устал…

И все же понемногу я утешился. То есть не совсем… Но я знаю: он возвратился на свою планетку, ведь, когда рассвело, я не нашел на песке его тела. Не такое уж оно было тяжелое. А по ночам я люблю слушать звезды. Словно пятьсот миллионов бубенцов…

Но вот что поразительно. Когда я рисовал намордник для барашка, я забыл про ремешок! Маленький принц не сможет надеть его на барашка. И я спрашиваю себя: что-то делается там, на его планете? Вдруг барашек съел розу?

Иногда я говорю себе: нет, конечно, нет! Маленький принц на ночь всегда накрывает розу стеклянным колпаком, и он очень следит за барашком… Тогда я счастлив. И все звезды тихонько смеются.

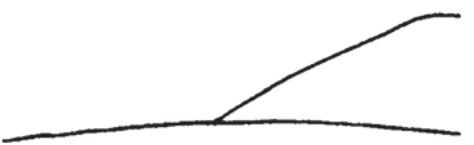
А иногда я говорю себе: бываешь же порой

рассеянным… Тогда все может случиться! Вдруг он как-нибудь вечером забыл про стеклянный колпак или барашек ночью втихомолку выбрался на волю…

И тогда бубенцы плачут…

Все это загадочно и непостижимо. Вам, кто тоже полюбил Маленького принца, как и мне, это совсем-совсем не все равно: весь мир становится для нас иным оттого, что где-то в безвестном уголке Вселенной барашек, которого мы никогда не видели, быть может, съел незнакомую нам розу.

Взгляните на небо. И спросите себя: жива ли та роза или ее уже нет? Вдруг барашек ее съел? И вы увидите: все станет по-другому… И никогда ни один взрослый не поймет, как это важно!



Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на свете. Этот же уголок пустыни нарисован и на предыдущей странице, но я нарисовал еще раз, чтобы вы получше его разглядели. Здесь Маленький принц впервые появился на Земле, а потом исчез.

Всмотритесь внимательней, чтобы непременно узнать это место, если когда-нибудь вы попадете в Африку, в пустыню. Если вам случится тут проезжать, заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под этой звездой! И если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы, уж конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда — очень прошу вас! — не забудьте утешить меня в моей печали. Скорей напишите мне, что он вернулся…

Цитадель

Перевод. М. Кошевникова, 2014.

…Хочу закончить свою книгу. Вот и все. Я меняю себя на нее. Мне кажется, что она вцепилась в меня, как якорь. В вечности меня спросят; «Как ты обошелся со своими дарованиями, что сделал для людей?» Поскольку я не погиб на войне, меняю себя не на войну, а на нечто другое. Кто поможет мне в этом, тот мой друг… Мне ничего не нужно. Ни денег, ни удовольствий, ни общества друзей. Мне жизненно необходим покой. Я не преследую никакой корыстной цели. Не нуждаюсь в одобрении. Я теперь в добром согласии с самим собой. Книга выйдет в свет, когда я умру, потому что мне никогда не довести ее до конца. У меня семьсот страниц. Если бы я просто разрабатывал эти семь сотен страниц горной породы, как для простой статьи, мне и то понадобилось бы десять лет, чтобы довести дело до завершения. Буду работать не мудря, покуда хватит сил. Ничем другим на свете я заниматься не стану. Сам по себе я не имею больше никакого значения и не представляю себе, в какие еще раздоры меня мож-

но втянуть. Я чувствую, что мне угрожают, что я уязвим что время мое ограничено; я хочу завершить свое дерево. Гийоме погиб, я хочу поскорей завершить свое дерево. Хочу поскорей стать чем-то иным, не тем, что я сейчас. Я потерял интерес к самому себе. Мои зубы, печень и прочее — все это трухляво и само по себе не представляет никакой ценности. К тому времени, когда придет пора умирать, я хочу превратиться в нечто иное. Быть может, все это банально. Меня не уязвляет, что кому-нибудь это покажется банальным. Быть может, я обольщаюсь насчет своей книги; быть может, это будет всего лишь толстенный посредственный том, мне совершенно все равно — ведь это лучшее из того, чем я могу стать. Я должен найти это лучшее. Лучшее, чем умереть на войне… Будь смерть лучшим, на что я теперь способен, — я готов умереть. Но я ощущаю в себе призвание к тому, что кажется мне еще лучше… Теперь я на всех смотрю с точки зрения своего труда и людей делю на тех, кто за меня и против меня. Благодаря войне, а потом и благодаря Гийоме я понял, что рано или поздно умру. Речь идет уже не об абстрактной поэтической смерти, которую ж считаем сентиментальным приключением и призываем в несчастьях. Ничего

подобного. Я имею в виду не ту смерть, которую воображает себе шестнадцатилетний юнец, «уставший от жизни». Нет, я говорю о смерти мужчины. О смерти всерьез. О жизни, которая прожита...

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

Из письма г-же Н.
Перевод Е. В. Баевской

I

…Ибо слишком часто я видел жалость, которая заблуждается. Но нас поставили над людьми, мы не вправе тратить себя на то, чем можно пренебречь, мы должны смотреть в глубь человеческого сердца. Я отказываю в сочувствии ранам, выставленным напоказ, которые трогают сердобольных женщин, отказываю умирающим и мертвым. И знаю почему.

В юности, когда я увидел гнойные язвы нищих, я пожалел их. Я нанял для них врачей и целителей, стал покупать примочки и мази. Караваны везли мне из дальних стран золотой бальзам для заживления язв.

Но нищие расковыривали свои болячки, они смачивали их навозной жижей, — так садовник унавоживает землю, выпрашивая у нее багряный цветок, — и тогда я понял: смрад и зловоние — сокровище попрошаек. Они хвалились друг перед другом своими язвами, бахвалились дневным подаянием, и тот, кто получал больше монет, чем другие, возвышался в собственных глазах, чувствуя себя верховным жрецом при самой прекрасной из кумирен. Только из тщеславия

приходили нищие к моему целителю, заранее предвкушая, как изумится он обилию их зловонных язв. Защищая место под солнцем, они трясли изъязвленными обрубками, попечение о себе почитали почестями, примочки — поклонением. Но, исцелившись, ощущали себя ненужными, не питая собой болезнь, — бесполезными, и во что бы то ни стало стремились вернуть себе свои язвы. И, вновь сочась гноем, самодовольные и никчемные, выстраивались они с плошками вдоль караванных дорог, обирая путников во имя своего зловонного бога.

Во времена моей юности я сочувствовал умирающим. Мне казалось, обреченный мной на погибель в пустыне умирает, изнемогая от безнадежного одиночества. Я еще не знал, что в смертный час не до одиночества. Не знал о снисходительности умирающих. Хотя видел, как себялюбец или скупец, прежде громко бранившийся из-за каждого потраченного гроша, собирает в последний свой час домочадцев и оделяет их с безразличием справедливости, как детей побрякушками, нажитым добром. Видел, как трус, который прежде при малейшей опасности истошно звал на помощь, получив смертельную рану, молчал, заботясь уже не о себе

— о товарищах. Как восхищает всех подобная самоотверженность. Но это не самоотверженность, это пренебрежение или безразличие. И я понял, почему умирающий от жажды отдал последний глоток соседу, а умирающий от голода отказался от корки хлеба. Они уже отстранились от телесных нужд и с царственным безразличием отодвинули кость, в которую жадно вгрызутся живые.

Я видел женщин, они плакали о погибших. Плакали, потому что мы слишком много врали. Ты же знаешь, как возвращаются с войны уцелевшие, сколько они занимают места, как громко похваляются подвигами, какой ужасной изображают смерть. Еще бы! Они тоже могли погибнуть. Но вернулись и гибелью товарищей устрашают теперь всех вокруг. В юности и я любил окружать себя ореолом сабельных ударов, от которых погибли мои друзья. Я приходил с войны, потрясая безысходным отчаянием тех, кого разлучили с жизнью. Но правду о себе смерть открывает только своим избранникам; рот их полон крови, они зажимают распоротый живот и знают: умереть не страшно. Собственное тело для них — инструмент, он пришел в негодность, сломался, стал бесполезным, и, значит, настало

время его отбросить. Испорченный, ни на что не годный инструмент. Когда телу хочется пить, умирающий видит: тело томится жаждой, и рад избавиться от тела. Еда, одежда, удовольствия не нужны тому, для кого и тело — незначащая часть обширного имения, вроде осла на привязи во дворе. Потом наступает агония: прилив, отлив — волны памяти бередят сознание, омывают пережитым, вздымаются, опадают, приносят и уносят камешки воспоминаний, звучащие раковины голосов, дотянулись, раскачали сердце, и, словно нити водорослей, ожили сердечные привязанности. Но равноденствие уже приготовило последний отлив, пустеет сердце, и волна пережитого отходит к Господу.

Все, кто живы, — я знаю, — боятся смерти. Они заранее напуганы предстоящей встречей. Но поверьте, я ни разу не видел, чтобы умереть боялся умирающий. Так за что же жалеть их? О чем плакать у их изголовья?

Я знаю, сколько преимуществ у мертвых.

Я видел, как рада была умереть молодая пленница. Мне было шестнадцать, я многое понял, глядя, как она умирала. Когда ее принесли, она уже отходила, кашляла в платок и, как загнанная газель, прерывисто, часто дышала. Но не смерть

занимала ее, она силилась улыбнуться. Улыбка реяла возле ее губ, как ветерок над водой, мановение мечты, белоснежная лебедь. День ото дня улыбка становилась все явственней, все драгоценней, и все труднее становилось удерживать ее, пока однажды лебедь не улетела в небо, оставив след — ровную полоску губ.

А мой отец? Смерть завершила его и уподобила изваянию из гранита. Убийца поседел. Его раздавило величие, которым исполнилась земная бренная оболочка, прободенная его кинжалом. Не жертва — царственный саркофаг каменел перед ним, и безмолвие, которому сам убийца стал причиной, поймало его в ловушку, обессилило и сковало. На заре в царской опочивальне слуги нашли преступника, он стоял на коленях перед мертвым царем.

Цареубийца переместил моего отца в вечность, оборвал дыхание, и на целых три дня дыхание затаили и мы. Даже после того, как гроб был опущен в землю, плечи у нас не расправились, и нам не захотелось говорить. Царя не было с нами, он нами не правил, но мы по-прежнему нуждались в нем, и, опуская его на скрипучих веревках в землю, знали, что заботливо укрываем нажитое, а не хороним покойника. Тяжесть его была тяжестью

краеугольного камня храма. Мы не погребали, мы укрепляли землей опору, которой он был и остался для нас. От отца я узнал, что такое смерть. Он заставил меня посмотреть ей в лицо, когда я был еще ребенком. Он и сам ни перед чем не опускал глаз. Кровь орла текла в его жилах.

Случилось это в проклятый год, который назвали потом годом «солнечных пиршеств». Пируя, солнце растило пустыню. На слепящем глаза раскаленном песке седела верблюжья трава, чернела колючка, белели скелеты, шуршали прозрачные шкурки ящериц. Солнце, к которому прежде тянулись слабые стебли цветов, губило свои творенья и, как ребенок сломанными игрушками, любовалось раскиданными повсюду останками.

Дотянулось оно и до подземных вод, выпило редкие колодцы, высосало желтизну песков, и за мертвенный серебряный блеск мы прозвали эти пески «зеркалом». Ибо и зеркала бесплодны, а мелькающие в них отражения бестелесны и мимолетны. Ибо и зеркала иногда больно слепят глаза, будто солончаки.

Сбившись с тропы, караваны попадали в зеркальную ловушку. Ловушку, которая никогда не выпускает добычи. Но откуда им было знать

об этом? Вокруг ничего не менялось. Вот только жизнь становилась призрачной. Становилась тенью, отброшенной беспощадным солнцем. Караван тонул в белом мертвенном блеске, но верил, что движется вперед; переселялся в вечность, но считал, что живет. Погонщики торопили верблюдов, но разве можно превозмочь бесконечность? Они спешили к колодцу, которого не было, и радовались вечерней прохладе. Они не знали, что прохлада — отсрочка, которая им ничем не поможет. А они, простодушные дети, верно, жаловались, что ночь никак не наступит… Нет, ночи реяли над ними, как быстрые взмахи ресниц, пока они гортанно негодовали на мелкие трогательные несправедливости, не ведая, что последняя справедливость уже воздана им.

Тебе кажется, караван идет? Вернись посмотреть на него через двадцать столетий!..

Отец посадил меня к себе в седло. Он хотел показать мне, что такое смерть. И я увидел, что осталось от тех, кого выпило зеркало: время рассеяло призраки, от них остался песок.

— Здесь, — сказал мне отец, — был когда-то колодец.

Так глубок был этот колодец, что вмещал в себя только одну звезду. Но грязь закаменела

в колодце, и звезда погасла. Смерть звезды на пути каравана губит его вернее, чем вражеская засада. К узкому жерлу, как к пуповине, тесно прильнули верблюды и люди, тщетно надеясь на животворную влагу земного чрева. Нашлись смельчаки и добрались до дна колодезной бездны, но что толку царапать заскорузлую корку? Бабочка на булавке блекнет, осыпав шелковистое золото пыльцы, выцвел и караван, пригвожденный к земле пустотою колодца: истлела упряжь, развалилась кладь, алмазы рассыпались речной галькой, булыжниками — золотые слитки, и все это припорошил песок.

* * *

Я смотрел, отец говорил:

— Ты видел свадебный зал, когда ушли молодые и гости. Что, кроме беспорядка, открыл нам бледный утренний свет? Черепки разбитых кувшинов, сдвинутые с места столы, зола в очаге и пепел говорят, что люди здесь ели, пили и суетились. Но, глядя на послепраздничный беспорядок, что узнаешь ты о любви? Неграмотный, — продолжал он, — подержав в руках и перелистав священную книгу пророка, посмотрев на искусную вязь букв, миновал суть. Суть книги не в

тщете зримого — в Господней мудрости. И не воск, который плавится и оставляет потеки, главное в свече, — сияние света.

Но мне стало страшно, я испугался пиршественного стола Бога с остатками жертвенной трапезы. И отец сказал:

— О главном не говорят при помощи праха. Не медли над мертвецами. Повозки навек увязли в грязи, потому что их оставил вожатый.

— Скажи, где искать мне главное?! — закричал я отцу.

И отец ответил:

— Ты поймешь суть каравана, увидев его в пути. Забудь тщету слов и смотри: на пути каравана пропасть, он обходит ее; скала — он огибает ее; если песок слишком мелок, находит песок плотнее, но всегда идет туда, куда идет. Верблюды завязли в солончаке, погонщики суетятся, вызволяют их, отыскивают почву понадежней, и снова караван идет туда, куда шел. Пал верблюд, караван остановился, погонщик связал узлом лопнувшую веревку, перевязал кладь, нагрузил другого верблюда, и опять караван идет, не изменяя своему пути. Случается, умирает вожатый. Погонщики собираются вокруг него. Выкапывают в песке могилу. Спорят. И выбрав на его место другого,

вновь следуют за своей звездой. Своему пути подчиняется караван, направление — вот для него опорный камень на невидимом склоне.

* * *

Городские судьи вынесли приговор молодой преступнице: накажет ее солнце, бичуя нежную оболочку плоти, и преступницу привязали к столбу в пустыне.

— Сейчас ты поймешь, что для человека главное, — сказал мне отец.

И вот я опять у него в седле.

Мы ехали, а солнце, совершая дневной путь, казнило виновную, иссушая кровь, слюну, пот молодого тела. Выпило оно и влажное сияние глаз. Опускалась ночь с мимолетным своим милосердием, когда мы с отцом подъехали к порогу запретной равнины. Там, на темной скале, белела нагота юного тела, словно гибкий стебель в разлуке с питающей влагой вод, так весомо молчащих в земных глубинах. Переплетя руки, точь-в-точь лоза, уже потрескивающая в пламени, — виновная взывала к милосердию Господа.

— Послушай ее, она говорит о главном, — сказал отец.

Но я был мал и потому малодушен.

— Как она страдает! — сказал я. — Как ей, наверное, страшно…

— Страдает и страшится стадо, укрытое в хлеве, — ответил отец. — Она превозмогла эти две болезни и теперь постигает истину.

Я вслушался в ее плач.

Затерянная в бескрайней ночи, она молила о свете лампы, о стенах дома вокруг нее, о плотно запертой двери. Одна посреди безликой Вселенной, звала ребенка, которого целовала перед сном и который был для нее средоточием этой Вселенной. Во власти любого прохожего, здесь, на пустынной равнине, славила знакомые, успокоительные шаги мужа, он вернулся к вечеру домой и поднимается по ступеням. Праздная, затерянная в беспредельности, молила вернуть ей будничные тяготы, без которых наступает небытие: шерстяную кудель, чтобы прясть ее, грязную миску, чтобы вымыть, ребенка, чтобы уложить его спать, ее собственного ребенка, а не чужого. Она взывала к спасительной надежности дома. Она молилась, и ее молитва сливалась с вечерней молитвой всей деревни.

Голова осужденной поникла, и отец вновь посадил меня к себе в седло. Мы помчались.

— Вечером в шатрах ты услышишь ропот и

возмущение моей жестокостью, — сказал он мне. — Но я вобью им обратно в глотки их жалкое возмущение: я кую человека.

Я знал, что отец мой добр.

И вот что он говорил:

— Я хочу, чтобы они любили говорливые родники, ровную зелень ячменя, укрывшую растрескавшееся от зноя поле. Хочу, чтобы славили сменяющиеся времена года. И созревали сами, подобно плодам, благодаря тишине и неторопливости. Пусть они долго носят траур и помнят своих усопших: медленно перетекает наследие одного поколения к другому, и я не хочу, чтобы мед расточился в пути. Я хочу, чтобы каждый ощутил себя ветвью большого дерева — щедрой оливы. Ветвью, которая ждет. Тогда каждому станет понятно, что колеблет его мощное дыхание Господа, словно ветер, испытующий древо на прочность. Господь ведет их вперед и поворачивает вспять: из тьмы к рассвету и от рассвета опять в потемки, к лету от зимы и от зимы к лету, от нивы к зерну в житнице, от юности к старости, а от старости вновь к младенцам.

— Исследуя последовательность, изучая отличия, что узнаешь ты о человеке? О дереве? Семечко, росток, гибкий ствол, твердая древесина

— это ли дерево? Чтобы понять, не члени. Сила, мало-помалу сливающаяся с небом, — вот что такое дерево. Таков и ты, дитя мое, человек. Бог рождает тебя, растит, полнит то желаниями, то сожалениями, то радостью, то горечью, то гневом, то готовностью простить, а потом возвращает в Свое лоно. Но ты не вот этот школьник, и не этот супруг, не вот это дитя, и не этот старец. Осуществление — вот что такое ты. И если в колебаниях и переменах ты ощутишь себя ветвью, неотторжимой от оливы, то и у перемен окажется вкус вечности. Все вокруг тебя обретет незыблемость. Вечен говорливый родник, утолявший жажду праотцев, вечны сияние глаз улыбнувшейся тебе возлюбленной и ночная свежесть. Время покажется тебе не продавцом песка, пускающим все прахом, — жнецом, увязывающим тугой сноп.

II

Смотрю с самой высокой башни крепости и вижу: не нуждаются в жалости страждущие, упокоившиеся в лоне Господа и носящие по ним траур. Усопший, о котором помнят, живее и могущественней живущего. Вижу смятенье живущих и сострадаю им.

Их я хочу исцелить от тоски и безнадежности.

Сострадаю тому, кто открыл глаза в праотеческой тьме, поверил, что кровом ему Божьи звезды, и вдруг догадался, что он в пути.

Но кладу запрет на горестные вопрошанья, ибо знаю: нет ответа, который насытил бы и утешил. Вопрошающий отверзает бездну.

Глубины сердца ведомы мне, и знаю: избавив вора от нищеты, я не избавлю его от желания воровать, и осуждаю душевную смуту, что толкает вора на преступление. Он заблуждается, думая, что манит его чужое золото. Золото светится, как звезда. Любовь, пусть даже не ведающая, что она — любовь, всегда тянется к свету, но не в силах человеческих присвоить себе свет. Сияние завораживает вора, и он совершает кражу за кражей,

подобно безумцу, что ведро за ведром вычерпывает черную воду пруда, надеясь схватить луну. Вор крадет и в мимолетное пламя оргий швыряет прах уворованного. И снова стоит в темноте за углом, бледный, словно перед свиданием, неподвижный из страха спугнуть, надеясь, что именно так он отыщет однажды то, что утолит его жажду.

Отпусти я его на свободу, он снова будет служить своему божеству, и завтра же мои стражники, если я пошлю их подстригать деревья, схватят его в чужом саду: с колотящимся сердцем он ждал улыбки фортуны.

Но его первого я укрою своей любовью, потому что рвения в нем больше, чем у благоразумного, который завел себе лавку и торгует в ней. Я строю город. Мою крепость я решил заложить здесь. Я хочу остановить идущий караван. Он был семечком в русле ветра. Ветер расточает семена кедра как аромат. Но я встаю на пути ветра. Я укрываю семя землей, чтобы во славу Божию поднялись и оделись смолистой хвоей кедры.

Любви необходимо понять, что же она любит. Я спасу того, кто полюбил сущее, — его возможно насытить.

Вот почему я затворяю женщину в доме мужа

и велю бросить камень в неверную. Мне ли не знать той жажды, что томит женское сердце? Словно в открытой книге, читаю я в сердце той, что в вечерний час, сулящий чудеса, оперлась на перила: своды небесного моря сомкнулись над ней, и собственная нежность — палач для нее.

Как ощутим для меня ее трепет; рыбка трепещет на песке и зовет волну: голубой плащ всадника. В ночь бросает она свой зов. Кто-то появится и ответит. Но тщетно она будет перебирать плащи, мужчине не насытить ее. Берег, ища обновления, призывает морской прилив, и волны бегут одна за другой. И одна за другой исчезают. Так зачем потворствовать смене мужей: кто любит лишь утро любви, никогда не узнает встречи.

Я оберегаю ту, что обрела себя во внутреннем дворике своего дома, ведь и кедр набирается сил, вырастая из семени, и расцветает, не переступив границ ствола. Не ту, что рада весне, берегу я, — ту, что служит цветку, который и есть весна. Не ту, что любит влюбляться, — ту, которая полюбила.

Я перечеркиваю тающую в вечернем сумраке и начинаю творить ее заново. Вместо ограды ставлю с ней рядом чайник, жаровню, блестящий поднос из меди, чтобы мало-помалу безликие

вещи стали близкими, стали домом и радостью, в которой нет ничего нездешнего. Дом откроет для нее Бога. Заплачет ребенок, прося грудь, шерсть попросится в руки, и угли очага потребуют: раздуй нас. Ее приручили, она готова служить. Ведь я сберегаю аромат для вечности. вокруг него я леплю сосуд. Я — каждодневность, благодаря которой округляется плод. И если я принуждаю женщину позабыть о себе, то только ради того, чтобы вернуть потом Господу не рассеянный ветром слабый вздох, но усердие, нежность и муки, принадлежащие ей одной…

…Долго искал я, в чем суть покоя. Суть его в новорожденных младенцах, в собранной жатве, семейном очаге. Суть его в вечности, куда возвращается завершенное. Покоем веет от наполненных закромов, уснувших овец, сложенного белья, от добросовестно сделанного дела, ставшего подарком Господу.

Я понял: человек — та же крепость. Мечтая вырваться на свободу, он ломает стены, но что кроме жалких развалин остается под взглядами звезд? И как же ему тоскливо среди развалин… Так пусть он увидит смысл в сжигании высохшей лозы, в стрижке овец. Смысл добывается день за днем, и колодец, который копают и копают,

пробиваясь к воде, становится глубже. Взгляд, перебегающий с одного на другое, теряет из вида Господа. И не та, что жила переменами, откликаясь на посулы ночи, — о Боге ведает та, что, смирившись, копила себя, сидя за прялкой.

Крепость моя, я построю тебя в человеческом сердце.

* * *

Да, время есть на все: есть время выбирать, что будешь сеять, есть время растить урожай и время радоваться ему. Время для творчества, потом для творения. Огненные молнии вспороли на небе запруды, и наступает время водоемов, собравших небесные воды. Есть время завоеваний, есть время спокойствия царств… Но я служу Господу и поэтому предпочитаю вечность.

Ненавижу перемены. Обрекаю на смерть того, кто в ночи бросает ветру пророчества. Он — дерево, которого коснулось пламенеющее небесное семя, дерево ломается, трещит, и от леса остается горстка пепла. Меня пугает вмешательство Бога. Неизменному подобает пребывать в вечности. Да, есть время для зачинания нового, но следом наступает благодатное время традиций.

Наше дело растить, мирить, сглаживать. Я латаю земные трещины и прячу от людских глаз кипящую лаву вулканов. Я — лужайка над пропастью. Хранилище, где дозревает плод. Паром, что принял из рук Господа поколение и переправляет его на другой берег. Из моих рук Господь получит его точно таким же, каким вручил, — может быть, чуть более зрелым, мудрым и искусным в чеканке серебряных кувшинов, — но суть моего народа пребудет неизменной. Я укрыл мой народ своей любовью, оберегая потомственных мастеров, что из поколения в поколение трудятся, совершенствуя форму корабля и щита. Оберегая сказителя, поющего на свой лад безымянную песню — наследство праотцев, ошибаясь и обогащая ее дарами своей души. Оберегая беременных и кормящих. Я люблю умножающиеся стада и времена года, которые непременно возвращаются. Прежде всего я — житель. И я спасу тебя, моя крепость, цитадель моя и обитель, от посягательств бесплодного песка. Я развешу звонкие рога по твоим стенам. Трубя, они предупредят нас о варварах.

III

Великая истина открылась мне. Я узнал: люди *живут*. А от того, где живут они, зависит смысл их жизни.

Дорога, ячменное поле, склон холма говорят по-разному с чужаком и с тем, кто среди них родился. Привычный взгляд не дивится выхваченным частностям, он и не видит в них ничего особенного. Знакомое с детства живет не в глазах, а в сердце.

В разных мирах живут не ведающие о царстве Божием и ведающие о нем. Неверы смеются над нами, предпочитая воздушным замкам каменные. Но душу греет только неосязаемое. Ведь если кто-то хочет завладеть лишним стадом овец, то хочет из жадности или тщеславия. А как потрогаешь жадность?

Вот почему не находят моего царства те, кто перебирает все, что в нем есть. «У тебя есть овцы, козы, ячмень, — перечисляют они, — дома, горы и что еще кроме этого?» Кроме этого нет ничего у них самих, они чувству ют себя несчастными, им холодно. И я понял: они сродни прозекторам в мертвецкой. «Посмотрите, вот она, жизнь, —

говорят они, — кости, мускулы, внутренности, кровь — и ничего больше». Жизнью светились глаза, но света нет в мертвом прахе. И царство мое вовсе не овцы, не поля, не дома и не горы, оно — то, что объединяет их, превращая в целое. Оно то, что я бесконечно люблю. Те, кто любят его, как я, счастливы, как я, и мы живем с ними в одном доме.

Дом противостоит пространству, традиции — бегу времени. Нехорошо, если быстротечное время истирает нас в пыль и пускает по ветру, лучше, если оно нас совершенствует. Время тоже нужно обжить. Вот я и перехожу от праздника к празднику, от годовщины к годовщине, от жатвы к жатве, как в детстве переходил из зала совета в диванную, следуя по анфиладе покоев в замке моего отца. Каждая комната в его замке имела свое предназначение, каждый знал, куда он идет.

Я всех подчинил своим законам, законы стали стенами моей крепости, основой моего царства. Безрассудный пришел ко мне и стал просить: «Освободи нас от уз своих запретов, и мы обретем величие». Но я-то знаю: без скреп им не ощутить целостности царства, не видя царства, они перестанут его любить; ничего не любя больше, потеряют самих себя, и я решил обогатить их

любовью, пусть даже вопреки их желанию. А они, тоскуя по свежему ветру, хотят разрушить замок моего отца, где каждый знал, куда он идет.

Велик был замок моего отца, одно крыло в нем было отведено женщинам, во внутреннем дворике бормотал родник. (Я повелеваю: пусть в каждом доме бьется живое подобие сердца, чтобы можно было к нему приблизиться, отойти, покинуть и возвратиться. Без сердца нет дома. А быть бездомным не значит жить на свободе.) Возле зам ка были хлевы, были амбары. Случалось, закрома пустовали. Случалось, в хлеве не было скота. Но никогда отец не позволял сделать амбар хлевом, хлев — амбаром.

— Амбар должен оставаться амбаром, — говорил отец, — ты не дома, если не знаешь, куда попал. А до выгод и невыгод мне дела нет. Человек не скот на откорме, любовь для него важнее пользы. Но как любить дом, если в нем царит неразбериха, если идешь и не знаешь, куда попадешь?

Был в замке зал, где принимали только очень важные посольства. Солнце заглядывало в него в те дни, когда пустыня пылила под копытами всадников и ветер надувал знамена на горизонте, как паруса. Но если к нам приезжали мелкие

князьки, он пустовал. Был и другой зал, в нем вершилось правосудие, и еще один, где прощались с усопшими. Еще была в замке таинственная комната, предназначения которой никто не знал. Возможно, ее предназначение в том и состояло, чтобы сохранять вкус тайны, напоминая, что все познать невозможно.

Рабы с подносами, с кувшинами плавно скользили по коридорам, отодвигали плечом тяжелые завесы, поднимались вверх, отворяли двери, спускались вниз; говорили громко, а, приближаясь к роднику, — тише, и превращались в пугливые тени, оказавшись возле женской половины, потому что один, пусть нечаянный, шаг в ту сторону грозил им смертью. А женщины замка? Молчаливые, надменные, боязливые, смотря по тому, какое они занимали место. И опять я слышу голос безрассудного: «Сколько даром потерянного места, неиспользованных богатств, неудобства, и все из-за нерадения! Разрушим бесполезные стены, уничтожим лишние лестницы. Они так мешают ходить! Пусть люди наконец почувствуют себя свободными». И отвечаю ему: — Нет, они почувствуют себя овцами на юру и собьются в стадо. Им будет плохо, и с тоски они навыдумывают множество глупых игр. В этих играх тоже

будут узы правил, но в них не будет величия. Замки рождают стихи. А какие стихи родятся под стук игральных костей? Поначалу призрак замка будет поддерживать в людях жизнь, они будут воспевать его, читать о нем стихи, но с годами призрак рассеется, стихи покажутся скучными, непонятными… И что тогда их порадует?»

Что порадует людей, затерявшихся в мельканиии недель, в слепых годах без праздников? Людей, позабывших о благородной иерархии, ненавидящих соседей за удачливость и желающих одного, чтобы все вокруг были одинаково несчастны? Эти люди создали смрадное болото, так откуда им ждать радости?

Что же делаю я? Я восстанавливаю силовые линии. Строю плотины в горах, удерживаю воды. Я — воплощенная несправедливость и стою на пути естественных склонностей. Я воскрешаю иерархию там, где люди стали похожи, как капли воды, и растеклись болотом. Я сгибаю прямую в лук. Сегодняшняя несправедливость окажется справедливостью завтра. Я торю дороги там, где о них постарались забыть, назвав счастьем спячку. Что мне до справедливости стоячих вод? Я тружусь ради человека, созданного прекрасной несправедливостью. Так я облагораживаю свое

царство.

Логика доброжелателей мне знакома. Их восхищает человек, выпестованный моим отцом. «Можно ли притеснять подобное совершенство?» — твердят они. И во имя того, кто был создан столькими принуждениями, уничтожают принуждения. Пока сердце помнит заветы, человек, которым они восхищались, жив. Но мало-помалу все забывается. И тот, кого хотели спасти, погибает.

Я ненавижу издевку, охотнее всех насмехаются трутни. Они говорят: «Каких только обычаев у нас не было. Можно переменить и эти». И еще слова трутней: «Кто это выдумал держать хлеб в амбаре, а овец в хлеву? Можно и наоборот!» Они пленники слов, они не догадываются о существующем бессловесно. Они не знают, что людям для того, чтобы жить, нужен дом. Наслушавшись трутней, человек теряет из виду стены дома, и сам их разрушает. Но вместе с домом он лишается главной ценности осмысленной жизни. Поначалу бездомный гордится тем, что праздник ему не в праздник, что он свободен от обычаев, что плюет на традиции, что чужое ему дороже своего. Святотатство радует, пока остается святотатством. Бездомный попирает то, что пока

еще для него весомо и ощутимо. Он жив, потому что дышит его враг. Тень закона так крепко его держит, что он может ею возмущаться. Но вот тень исчезла. Радоваться нечему, забыт даже вкус победы. Наступило царство скуки. Вместо замка люди оказались на рыночной площади. Исчерпав удовольствие хвастливо и высокомерно попирать былое, они не знают, чем заняться на суетной ярмарке. И они начинают мечтать. Они мечтают об огромном доме с тысячью окон, с завесами, падающими на плечи, с прохладными двориками. Мечтают о потайной комнатке, которая придает таинственности всему огромному замку… Сами того не подозревая, они тоскуют о замке моего отца, где каждый знал, куда он идет — замке, который они успели позабыть.

Я знаю, что будет так, и своим произволом мешаю обнищанию сущего, Я не желаю слушать болтунов, твердящих мне о благодати естественных склонностей. Естественные склонности питают лужи ледниковой водой, истирают скалы в песок, разбивают бегущую к морю реку на сотни разбредающихся ручейков. Естественные склонности ведут к разделению власти и уравниванию людей. Но веду я, и я выбираю. Перед моими глазами кедр, торжествующий над бегом

времени Время должно было обратить его в прах жизнь, но вопреки силе, гнущей ствол к земле, год от года раздвигается гордый храм его кроны. Я — жизнь, и я упорядочиваю. Творю ледники вопреки интересам луж. И пусть лягушки квакают о несправедливости. Я оснащаю человека для бытия.

Не мне обращать внимание на глупого болтуна, упрекающего кедр за то, что он не пальма, и пальму за то, что она не кедр: слова толкают нас к хаосу. Если витать в эмпиреях, болтун прав: отвлеченно кедр и пальма одно и то же, и одинаково станут прахом. Но жизнь вне отвлеченностей, она противостоит естественным склонностям. Из праха она созидает кедр.

Истинность моих законов — в человеке, который выкован ими. Я не считаю, что обычай, закон или язык моего царства драгоценны сами по себе. Они значимы, исполняя свое назначение. Я знаю: складывая камни, творишь тишину, но ничего не узнаешь о тишине, разглядывая камни. Я знаю, живит любовь, а бинты и мази только подспорье. Знаю, что ничего не узнает о жизни тот, кто рассечет труп и ощупает печень, сердце и кости. Сами по себе что они значат? Что значат чернила и бумага в книге? Значима мудрость

книги, но она вне вещественности.

Я отвергаю споры, в них ничего не рождается.

Язык моего народа, объединивший разных людей в одно целое, тебя я хочу уберечь от порчи.

Помню невера, который пришел к моему отцу:

— Ты приказал молиться, перебирая четки из тринадцати бусин. Но что значит число тринадцать? Благодати прибавится, если бусин будет двенадцать…

И он стал приводить мудреные доводы в пользу четок из двенадцати бусин. Я был мал, а детство податливо на слова. Я боялся, что ответ моего отца не затмит блеска ученых доказательств.

— Так объясни мне, — продолжал гость, — чем так дороги тебе тринадцать бусин?

— Они дороги мне платой. За них заплачено не одной головой, — ответил отец.

Бог помог неверу, он уверовал.

IV

Дом для людей! Рассудку ли тебя строить? Кто способен построить тебя как цепочку логических заключений? Ты — реальность, но ты — нереальность тоже. Ты есть, и тебя нет. Сущность твоя — разнородность, и для того чтобы ты появился, нужно тебя сотворить. Тот, кто, желая понять сущность дома, разбирает его, видит кирпичи, черепицу, но не находит ни тишины, ни уюта, ни прохлады, которым служили кирпичные стены и черепичная крыша. Кирпичи, черепица — чему способны они научить, если распался замысел зодчего, который объединил их воедино? Камень нуждается в сердце и душе человека.

Логика привела нас к кирпичу, к черепице, но ничего не сказала ни о душе, ни о сердце, которые соединили их и преобразили в тишину. Душа и сердце вне логики. Они не подчиняются математическим законам. Вот почему необходим я и мой произвол. Я — зодчий. Душа и сердце. Я прихожу и берусь за окружающий меня материал. Все вокруг — глина, и я начинаю трудиться, подчиняя ее творческому замыслу, рожденному во мне Господом, а не логикой. Я творю свое цар-

ство, одержимый духом, который воплотится в нем, творю так же, как пишутся стихи, не давая никому отчета, почему переставил запятую, почему заменил слово, — дух, открывшийся сердцу, ищет сказаться и ведет.

Я — правитель. Я предписываю законы, учреждаю празднества, требую жертв. Отары овец и коз, дома и горные кряжи я превращаю в царство, похожее на замок моего отца, где каждый знал, куда он идет.

Как бы они без меня распорядились доставшейся им грудой кирпича? Перетащили бы справа налево, чтобы вовсе забыть о порядке? Но я взял в свои руки бразды правления, я осуществил выбор. Выбрал за всех, и все теперь могут молиться в тишине и прохладе, сотворенными мной из бессмысленной груды кирпичей. Кирпичей, которые я подчинил замыслу, рожденному моим сердцем.

Я веду. Я — вождь. Я — мастер. Я отвечаю за созидание. И зову всех себе на помощь. Я узнал, что вождь не тот, кто способен спасти ведомых; вождь — тот, кто воодушевит ведомых, и они кинутся спасать его. Я, и только я, — творец картины, объединившей воедино отары и дома, коз и горные кряжи, — картины, в которую мой

народ влюбился, словно в юную богиню, раскрывшую ему на заре объятья, — картины, которой никто еще и никогда не видал. Моему народу полюбилось царство, созданное произволом моего творчества. Он полюбил царство, а значит, полюбил и зодчего. В статуе любят не глину, не бронзу, не мрамор, — душу ваятеля. Теперь надо постараться, чтобы мой народ признал царство своим собственным домом, чтобы научился им дорожить. Дорожат тем, что питают кровью собственного сердца. Чему жертвуют, не щадя себя. Новое царство потребует от людей и плоти, и крови, чтобы стать воплощением их самих. Тогда им уже не отделить себя от царства, они будут жить той Божественной упорядоченностью, которая открылась сердцу зодчего как картина. Они тоже будут видеть ее. Вечера их наполнятся усердием. Отцы будут учить сыновей с малых лет различать в дробности мира облик царства, заботясь, чтобы оно не исчезло, оставив после себя беспорядочную груду никому не нужных вещей.

И если я сумею сделать мое царство таким высоким, что и звезды найдут в нем себе место, то народ мой, встречая ночь на пороге, поднимет глаза к небу и возблагодарит Господа за то, что Он мудро ведет Свои корабли. И если мое

царство окажется столь протяженным, что его достанет на всю человеческую жизнь, то народ мой будет идти от праздника к празднику, словно от преддверия к преддверию, зная, что ждет его за дверями, и различая в дробности мира лик Господа.

Царство мое! Я строил тебя, как корабль. Крепил, оснащал, и теперь ты плывешь в потоке времени, ставшем тебе попутным ветром.

Корабль людей, без него им не добраться до вечности!

Но я вижу, сколько опасностей грозит моему кораблю. Вокруг бушует беспокойное море неведомого. Мне предлагают все новые и новые пути. Любой путь возможен, потому что всегда возможно разрушить построенный храм и сложить новый. Новый будет не хуже старого, но не будет и лучше, праведнее или святее. Камни не помнят, какой была тишина, поэтому никого не коснется чувство утраты…

Потому-то я и пекусь о мидель-шпангоутах моего корабля. Они должны послужить не одному поколению. Никогда не украсить храм, если что ни год возводить фундамент для нового.

V

Да, я пекусь о мидель-шпангоутах и хочу, чтобы мой народ всегда помнил о них. Мой корабль хрупок, он — творение человека. А вокруг слепые стихии, могучие и неведомые. Слишком много покоя окажется у того, кто будет искать его посреди бушующего моря.

Вечным кажется людям доставшееся им царство. Очевидность всегда кажется незыблемой. Обжившись на корабле, люди не замечают моря. Оно для них рама, что обрамляет корабль. Велика власть представлений, рожденных человеческим рассудком. Рассудок нас убедил, что море создано, чтобы нести корабль.

Но он обманул нас.

Легко убедиться, что мы во власти представлений. Ваятель превратил мрамор в женское лицо. Другой мог бы изваять мужское. Ты и сам не раз смотрел на звездное небо и знаешь: вот это созвездие лебедь. Кто-то скажет тебе: эти звезды напоминают спящую женщину. Да, напоминают, но мы увидели ее слишком поздно. Нам не избавиться от лебедя. Лебедь — игра фантазии, но он поймал нас и крепко держит. Однако если мы

позабудем, что звездный лебедь лишь представление и поверим, что он существует на самом деле, мы перестанем его беречь… И тогда я понял, чем опасен для меня сумасброд. И фокусник. Они с легкостью предлагают все новые и новые картинки. Главное для них собственное проворство. Стоит увлечься мельканьем картинок, и мое царство тоже покажется пустой игрой. Я приказываю схватить и четвертовать фокусника. Не потому, что мои законники доказали, что картинки его лживы. Нет, они не лживы. Но истины в них тоже нет. Не стоит фокуснику считать себя умнее и правее моих законников. Неправота его в том, что он возомнил себя правым. В том, что выдал за истину эфемерность, за которой нет истории, традиций, религии. Поманил порядком, которого нет. Мой есть. И я убираю фокусника, уберегая мой народ от хаоса.

Позабывший, что наше царство — корабль посреди безбрежного моря, обречен на гибель. Он увидит, как волны сметут его глупые игры вместе с кораблем.

Сравнение с кораблем пришло ко мне в открытом море, когда я с небольшой частью моего народа отправился в путешествие.

Вот он, мой народ — пленник корабля, затерян-

ного посреди моря. Молча и не спеша, я обошел корабль. Люди сидели, склонившись над подносами с едой, кормили детей, перебирали четки и молились. Мой народ жил. Домом ему стал корабль.

Но однажды ночью стихия очнулась. С молчаливой любовью вышел я посмотреть, что делает мой народ, и увидел: он занят своей жизнью. По-прежнему ковались кольца, прялась шерсть, велись тихие разговоры, — люди без устали трудились над связующими их нитями, пре одолевая отъединенность, стараясь стать единым целым, в котором смерть одного — потеря для каждого. В молчании любви я слушал их голоса. Но не слушал, о чем они говорят, о чайниках или болезни. Я-то знаю: смысл вещей не в вещах в поступках. Вот один, он улыбается от души, даря сам себя, вот другой, его томит тоска, но он не догадывается, что тоскует оттого, что напуган или оставлен Господом. Такими я видел их, смотря на них с молчаливой любовью.

Тем временем море, о котором и знать ничего невозможно, раскачивало нас на своих плечах. Высоко подбрасывало вверх, и на миг мы повисали в пустоте. Корабль мелко дрожал, словно уже распался на мелкие части. Все казалось

нереальным, и люди замерли, не молились, не кормили детей, не чеканили тусклое серебро. Оглушительный, похожий на раскат грома, треск раздирал деревянную обшивку. Корабль наливался тяжестью и, падая из пустоты вниз, был готов раздавить сам себя. Его падение выжимало из людей рвоту.

Что же, они так и будут жаться друг к другу в этом скрипучем хлеве при тошнотворном мигании керосиновых ламп?

И я, опасаясь, как бы они не отчаялись, сказал:

— Пусть чеканщики вычеканят мне серебряный кувшин. Повара пусть приготовят еду повкуснее. Здоровые позаботятся о больных. А молящиеся за всех помолятся…

И когда я увидел у борта побледневшего как смерть человека, который сквозь рев валов вслушивался в запретную песнь моря, я сказал ему:

— Спустись в трюм и пересчитай павших овец. Случается, что, перепугавшись, они затаптывают друг друга.

Он ответил:

— Господин! Бог сызнова лепит море. Я слышу треск мидельшпангоутов. Они должны молчать, они основа основ, наш костяк и опора. Не должна подавать голос и земля, которой мы доверили

свои дома, оливковые рощи, кротких тонкорунных овец, медленно жующих в хлеву Божью траву. Отрадно растить оливы, растить овец, заниматься едой и любовью у себя в доме. Страшно, когда собственные стены грозят тебе гибелью. Когда завершенное вновь пускают в работу. Когда молчаливое обретает голос. Что с нами будет, если забормочут горы? Однажды я слышал их бормотанье, мне его не забыть.

— Какое бормотанье? — не понял я.

— Господин, раньше я жил в деревне, раскинувшейся на покойной спине холма, крепко стоящей на своей земле под своим небом, собиравшейся долго жить и прожившей долго. Шероховатые каменные колодцы, пороги домов, ложе родника благодаря вековому служению обрели благословенную гладкость. Но однажды ночью что-то очнулось в земных глубинах. Мы поняли, что земля под ногами у нас ожила и захотела стать другой. Завершенное вновь поступило в работу. И мы испугались. Не за себя — за плоды многолетних усилий. За то, на что положили жизнь. Я — чеканщик, и жалел чудесный кувшин, над которым трудился два года. Два года бдений стали прекрасным кувшином. Сосед боялся за пушистые ковры, которые ткал с такой радостью.

Каждый день он просушивал их на солнце, гордясь, что его заскорузлые руки превратились в эту серебристую зыбь, кажущуюся бездонной. Другой сосед боялся за посаженную им оливковую рощу.

Поверь, никто из нас не боялся умереть, но мы все боялись, что погибнут созданные нами вещи, казалось бы, ничего не значащие и ничтожные. Вот тогда мы поняли: смысл жизни в том, на что она потрачена. Смерть садовника не подкосит дерева. Но сруби полную плодов яблоню, и садовник будет убит.

У нас в деревне жил старик-сказитель, он знал самые древние легенды пустыни, и в его устах они становились еще прекраснее. Больше никто не знал таких сказок и легенд, а сына, чтобы передать их, у него не было. С того мига, как зашевелилась земля, он боялся за свои бедные сказки, которых никто уже не расскажет больше. А земля продолжала жить и искать себе новую форму.

Мало-помалу она превратилась в оползающую рыжую хлябь. Скажи, на что можно тратить себя, если все вокруг уничтожается неподвластной тебе стихией? Что можно построить, если все пришло в движение?

Перекосились дома, лопались стропила, словно их начинили порохом. Стены дрожали и рассы-

пались в прах. Мы выжили, но стали ненужными даже самим себе. Кроме сказочника, — он пел и рассказывал что-то, потому что утратил рассудок.

Зачем ты посадил нас на корабль? Корабль пойдет ко дну, и с ним вместе все, над чем мы трудились. Я чувствую, как обтекает нас бесплодное время. Чувствую, как оно утекает. Время не должно утекать. Оно должно найти себе форму, созреть и состариться. Должно сделаться вещью, постройкой. Но во что оно выльется, если мы ничего не можем, если от нас ничего не останется?

VI

Я смотрел на свой народ и думал: никто теперь не тратит свою жизнь на дело своих рук, нет наследия, которое бы одно поколение передавало другому неизменным, время теперь течет бесплодно, словно песок. Я думал: выстроенный нами дом слишком тесен, а дело, которому человек служит, слишком недолговечно.

И я вспомнил фараонов, принуждавших свой народ воздвигать гигантские усыпальницы. Незыблемые и угловатые, плыли пирамиды по океану времени, потихоньку истираясь в пыль. Вспомнил девственные пески. Караван вступил на них и увидел вдруг древний храм — полузатонувший корабль, потерявший снасти в голубой невидимой буре, еще плывущий, но уже обреченный.

И вот о чем я подумал: недолговечен и храм, нагруженный драгоценной утварью и позолотой, стоивший многих дней человеческой жизни, — храм, собравший мед множества поколений: золотую филигрань, священную позолоту, на которую медленно тратили себя, старея, ремесленники, расшитые пелены, — день за днем

отдавали им зоркость глаз юные женщины, превращаясь в старух, пока, скрюченные, кашляющие, колеблемые дуновением смерти, не оставляли после себя этот царственный шлейф, вечно цветущий луг. Тот, кто видит его сейчас, шепчет: «Как прекрасна эта вышивка! Как же она прекрасна…» А я знаю, что, вышивая, женщины день за днем преображали в вышивку самих себя. И не догадывались, что так совершенны.

Нужен ларец, чтобы хранить оставшееся от них наследство. Нужна повозка, чтобы везти его с собой. Я чту то, что долговременней человека. Я хочу сберечь смысл потраченной жизни. Хочу выковать дарохранительницу, которой люди могли бы доверить все, что в них есть.

И опять я смотрю на полузатонувшие корабли, медлящие в волнах пустыни. Все-таки они плывут. И я понял: прежде всего нужно строить корабль, снаряжать караван, возводить храм — они долговечнее человека. Люди с радостью будут тратить себя на то, что драгоценнее их самих. Только тогда появятся художники, скульпторы, граверы, чеканщики. Но чего ждать от человека, если трудится он для насущного хлеба, а не ради собственной вечности? Я напрасно потратил бы время, обучая таких работников

законам архитектуры. Дом — подспорье их жизни, и бессмысленно тратить на него эту жизнь. Дом — средство, и ничего больше. «Необходимость», — говорят они о доме и озабочены не домом, а его удобством. А в доме заняты накопительством. Копят и умирают нищими, не оставив после себя ни расшитых пелен, ни золоченой утвари, сложенной в трюме каменного корабля. Их понуждали тратить себя, а они постарались, чтобы тратились на них. Ушли и оставили после себя пустоту.

С такими мыслями бродил я среди людей моего народа тихим вечером, который всех отпустил на свободу, и смотрел, как они сидят на пороге жалких лачуг в измятой ветхой одежде, отдыхая после пчелиного усердия дня. Но думал я не о них — о душистом меде, который они все вместе собрали сегодня. Я остановился и посмотрел на одного из них — скрюченного старика калеку. При малейшем движении он кряхтел, словно старое кресло, на вопросы отвечал не сразу, потому что прожитые годы затуманили для него смысл слов. Но тем осмысленней, тем проникновенней веяло от него той работой, на которую он положил жизнь, ею веяло от узловатых рук, от дрожащих пальцев — работой уже не вещественной, но

ставшей благоуханным ароматом. Благодаря ей, он чудесно отъединялся от своей коснеющей плоти, становясь все счастливее, все неуязвимей. Нетленнее. И, приближаясь к смерти, чувствовал не ее леденящее дыхание, а дрожь мерцающих звезд у себя в руках…

Всю свою жизнь эти люди трудились ради бесполезной роскоши, тратя себя на нетленность вышивки… Малая их часть истратилась на полезное, а все остальное — на оттачивание рисунка, совершенствование формы, чеканку, ненужную серебру. На то, что ничему не служит, а только вбирает отданную им жизнь и живет дольше человеческой плоти.

Медленными шагами шел я вечером среди людей моего народа, укрывая их своей молчаливой любовью. Я тревожился лишь за тех, кого снедал бесплодный огонь, а значит, и тоска: за поэта, влюбленного в поэзию и не написавшего ни строки, за женщину, влюбленную в любовь и не умеющую выбрать, — она лишена возможности стать собой. И понял: они излечатся, если я подарю им то, что вынудит их выбирать, жертвовать собой и забывать обо всей Вселенной.

Любимый цветок — это прежде всего отказ от всех остальных цветов. Иначе он не самый

прекрасный. То же самое и с делом, на которое тратишь жизнь. Когда безрассудный упрекает старуху за вышиванье, понуждая ее ткать, — он потворствует небытию, а не созиданию.

Я иду по своему раскинутому в пустыне лагерю. Потихоньку, незаметно и не спеша, все обретает в нем форму и вызревает, и я чувствую вместе с запахом дыма и пищи аромат молитвы. Временем питаются плод, вышивка и цветок для того, чтобы родиться и быть.

Подолгу бродил я по лагерю и понял: не добротная пища облагораживает царство — добротные потребности жителей и усердие их в трудах. Не получая, а отдавая, обретаешь благородство. Благородны ремесленники, о которых я говорил, они не пожалели себя, трудясь денно и нощно, и получили взамен вечность, избавившись от страха смерти. Благородны воины: пролив кровь, они стали опорой царства и уже не умрут. Но не облагородишься, покупая себе самые прекрасные вещи у лавочников и любуясь всю жизнь только безупречным. Облагораживает творчество.

Я видел вырождающиеся народы: они не пишут стихов, они их читают, пока рабы обрабатывают для них землю. Скудные пески Юга из года в год взращивают племена, жаждущие жить, — насту-

пает день, и эти племена завладевают мертвыми сокровищами мертвого народа. Я не люблю людей с омертвелым сердцем. Тот, кто не тратит себя, становится пустым местом. Жизнь не принесет ему зрелости. Время для него — струйка песка, истирающая его плоть в прах. Что я верну Господу после его смерти?

Горе, когда разбивается сосуд, не успевший наполниться. Смерть старика похожа на чудо, он истратил жизнь и себя на труды, он ушел в землю, а на земле благоухают плоды его труда — в земле лежит сработавшееся орудие. Но я видел, как умирают дети моего народа, — они умирали молча, задыхаясь, они прикрывали глаза, удерживая пушистыми ресницами меркнущий в зрачках свет. Ибо случается, что Господь, будто жнец, срезает со спелой пшеницей, полевой цветочек. Взяв свой сноп, полный зерна, Он вдруг видит ненужное ему богатство.

«У Ибрагима умирает ребенок», — услышал я. Медленно проскользнул я, никем не замеченный, в дом Ибрагима, зная, что молчаливая любовь проникнет и через завесу слов. Никто не обернулся, все вслушивались в шаги смерти.

Если в доме говорили, то шепотом, если ходили, то бесшумно, словно в нем поселился кто-то

очень пугливый, готовый исчезнуть при тишайшем звуке. Не касались дверей, не открывали и не закрывали их, словно в доме трепетал слабый огонек на текучей поверхности масла. Я посмотрел на ребенка и понял, что он мчится где-то далеко-далеко, понял по учащенному дыханию и сжатым кулачкам, вцепившимся в горячку, уносящую его от нас галопом, по упрямо закрытым глазам, не желающим ни на что смотреть. Все вокруг старались залучить его обратно и приручить, как приручают дикого лесного зверька. Ему подставили чашку с молоком и, затаив дыхание, ждали: вдруг вкусный запах остановит его, ему захочется молока и он напьется. Тогда можно будет заговорить с ним, как заговаривают с ланью, лизнувшей ладонь.

Но он был по-прежнему невозмутим и серьезен. И если хотел чего-то, то вовсе не молока. Тогда старые женщины тихо-тихо, будто приманивая голубку, запели его любимую песню о девяти звездах, купавшихся в роднике, но он ушел уже так далеко, что не услышал. Ушел и даже не обернулся. Смерть принудила его к вероломству. И его умоляли о прощанье, беглом дружеском взгляде, который бросает путник, не замедляя шага… О каком-нибудь знаке признательности.

Его поворачивали с боку на бок, вытирали потное личико, уговаривали попить воды, пытаясь во что бы то ни стало разбудить от смерти.

Я собрался уходить, а они раскидывали все новые и новые ловушки, чтобы заманить малыша в жизнь. Но как легко малыш обходил все силки! Ему протягивали игрушку, чтобы зачаровать его счастьем, но когда она оказывалась слишком близко, маленькая ручка отстраняла ее, как отстраняют ветку, если она мешает скачке.

Я побыл с ними. Мне пора было уходить. Этот дом лишь одна из минут, одна из свечей, одна из крупиц жизни моего города. Ребенка окликнули, и он нечаянно улыбнулся, отозвался на оклик. И опять отвернулся к стене. Присутствие малыша стало невесомым присутствием птицы… Я оставил их творить тишину, которая, может быть, поможет приручить ребенка, который уходит в смерть.

Я шел вдоль узкой улочки. Я слышал, как за дверьми бранят служанок. Дома приводили в порядок, собирая необходимое, чтобы безопасно переплыть ночь. Мне не было дела, справедливо или нет, бранят их. Я слушал голос усердия. А чуть дальше, у колодца, уткнувшись лицом в ладошки, плакала маленькая девочка. Я ласково

погладил мягкие волосы и повернул ее к себе личиком, но не спросил, какое у нее горе, понимая, что этого она еще не знает. Горюют всегда об одном — о времени, которое ушло, ничего по себе не оставив, о даром ушедших днях. Когда плачут о потерянном браслете, плачут о заблудившемся неведомо где времени; когда оплакивают умершего брата, плачут о времени, которое больше ничему не послужит. Девочка, повзрослев, будет горевать об ушедшем возлюбленном, не понимая, что оплакивает утерянную дорогу к жизни, к чайнику, к запертому дому, к ребенку, лежащему у груди. Не понимая, что плачет о времени, которое будет течь сквозь нее бесплодно, как песок в песочных часах.

Вот на порог дома вышла, улыбаясь, женщина. Я посмотрел на нее, и она в ответ улыбнулась еще счастливее, радуясь, верно, тому, что наконец укачала малыша, сварила вкусный суп, или просто вернулась домой, или выпавшей ей свободной минутке. Я прохожу мимо знакомого сапожника, безногого старика. Он сидит и старательно расшивает золотом бархатную туфельку, и, хотя у него давным-давно нет голоса, я догадываюсь, что он поет.

— Чему ты радуешься, сапожник?

Но не вслушиваюсь в ответ, зная, что он ошибется, сказав о полученных деньгах, скором ужине или отдыхе. Он не знает, что счастлив, истратив себя самого на раззолоченную туфельку.

VII

И вот что я еще понял: ошибается обыватель, веря в незыблемость покоя, защищенного стенами дома, — любой из домов в опасности. Храм, построенный на вершине горы, обдувает северный ветер, унося песчинку за песчинкой, и вот он уже похож на изношенный форштевень и идет ко дну. Храм в пустыне осаждают пески и мало-помалу возьмут над ним верх. Рано или поздно ты увидишь пустынную гладь, сомкнувшуюся над остатками твоих построек. Все, что строишь, — в опасности. В опасности и мое царство. Я построил его своей любовью из домов, овец, гор и коз, но если не будет меня, его средоточия и творца, царство исчезнет, и останутся опять только горы, дома, козы и овцы.

Дробность вместо целостности, материал, ждущий нового ваятеля. И придут племена из пустыни и построят другое царство. Любя всем сердцем другую картину, они придут и по-новому расположат древние буквы в книге.

Ведь и я поступал точно так же. Не устану вас славить, горделивые ночи моих военных похо-

дов. Раскинув на бесплодных песках треугольный лагерь, я поднимался на холм, ждал темноты и смотрел на темный треугольник внизу, — треугольник чуть больше деревенской площади, где я разместил своих воинов, верблюдов и оружие, — смотрел и думал о его уязвимости.

В самом деле, как жалка эта горстка полуголых людей под голубыми шатрами: им грозит ночной холод, уже заморозивший звезды, грозит жажда, ибо воды в бурдюках должно хватить на девятидневный путь до колодца, грозят песчаные бури, неистовством похожие на бунт, грозят сабельные удары, от которых плоть, как перезрелый гранат, истекает алым соком. И человек уже ни на что не годен. Как жалки эти голубые полотняные шатры, которые не стали прочнее от спрятанной в них стали, которые стоят без защиты на запретной для них земле!

Но что мне до уязвимости? Я связал их всех в один узел и спас от рассеяния и погибели. Построив свой треугольник в ожидании ночи, я уже отъединил их от пустыни. Мой лагерь сжат, как кулак. Я видел: так защищался кедр от бесплодных утесов, спасая от гибели зеленеющие ветви. Кедр не спит, день и ночь он ведет борьбу, оборачивая в глубинах ствола себе на пользу те

же самые частички враждебного мира, которые могут послужить его погибели. Кедр растит себя каждую секунду. И каждую секунду я укрепляю свой дом, заботясь о его долговечности.

Из дробности, которую развеяло бы одно дуновение, я сложил треугольник, прочностью равный башне и неизменностью форштевню. Опасаясь, как бы мой лагерь не погрузился в сон и не растворился в забытьи, я поставил по его углам дозорных, чтобы они вслушивались в шорохи пустыни. Словно кедр, уплотняющий свою древесину благодаря скале, мой лагерь укрепляется благодаря грозящим ему со всех сторон опасностям.

Благословенны ночные вестники, их шагов никто не слышит, они внезапно появляются из темноты и, присев у костра, рассказывают, кто идет к Северу, а кто к Югу, ища своих украденных верблюдов, о ропоте, поднявшемся из-за убийства, и о замыслах тех, кто молчит в своем шатре, обдумывая, какой из ночей напасть. Как внимательно ты их слушал, этих вестников, говорящих о молчании молчаливых! Благословенны и те, другие, — они неожиданно возникали у нашего костра и приносили такую страшную весть, что мои воины, не медля, засыпали песком огонь и

бросались плашмя с ружьем на землю, венчая лагерь короной порохового дыма.

Ибо тьма, едва она только сгустится, чревата необычайным.

Каждый вечер смотрел я на свой лагерь, окруженный, словно корабль, бескрайним простором, и знал, что заря вернет мне его невредимым и все в нем, как бойцовые петухи, будут радостно приветствовать рассвет. Воины мои вьючили верблюдов, голоса их в прохладе утра звучали, как трубы. Взбодренные хмельной свежестью новорожденного дня, они дышали полной грудью, радуясь необъятным просторам.

Я вел своих воинов на завоевание оазиса. Не знающий людей убежден, что благоговение перед оазисом взращено в оазисе. Нет, живущие в нем не задумываются, где живут. Благоговеет перед оазисом иссушенное песками сердце бродяги. И я учил своих воинов любить оазисы.

Я говорил: «Вы увидите там душистую траву, журчащие родники, женщин в цветных покрывалах. Они кинутся бежать от вас толпой испуганных ланей, но сладостной будет ваша охота, ибо создали их, чтобы пленять».

Я говорил: «Им покажется, будто они ненавидят вас, и, защищаясь, они будут царапаться и кусать-

ся. Но чтобы покорить их, достаточно погрузить мощную пятерню в их иссиня-черные волосы».

Я говорил: «Чтобы остановить их, ваша сила должна стать силой нежности. Они закроют глаза, не желая вас видеть, но ваше молчаливое терпенье нависнет над ними, как тень орла. И когда они поднимут на вас глаза, их слезы будут слезами о вас. Вы станете для них неизмеримостью, и они не смогут вас позабыть».

И еще я сказал, желая возбудить в них нетерпеливое желание завладеть этим раем: «Вы узнаете там, что такое пальмовые рощи и пестрые птицы… Оазис покорится вам, ибо вы боготворите его, а те, кого вы изгоните, стали его недостойны. Их женщины, стирая белье в ручейке, журчащем по круглым белым камням, исполняют тяжкую нерадостную повинность, позабыв, что смеющийся ручей — всегда праздник. Вас выдубили пески, иссушило солнце, просолили жгучие солончаки, и, когда вы возьмете в жены этих женщин и, подбоченившись, будете смотреть, как они стирают в голубой воде ручья, вы узнаете сладость победы.

В бесплодных песках вы научились жить, как кедр, утверждаясь благодаря врагам, которые окружили вас со всех сторон. Завоевав оазис,

вы останетесь в живых, если не превратите его в нору, куда забиваются и обо всем забывают. Помните: оазис — это каждодневная победа над пустыней.

Вы одержите победу, потому что жители оазиса закоснели в себялюбии и довольстве накопленным. Пески, осаждающие оазис, кажутся им красивой золотой короной. Они издеваются над докучающими им своим беспокойством. Они не хотят сменить дозорных, задремавших у границы благословенной земли, рождающей родники.

Их сгноило призрачное счастье потреблять готовое. Не бывает счастливых без рабочего пота и творческих мук. Отказавшись тратить себя и получая пищу из чужих рук, изысканную пищу и утонченную, читая чужие стихи и не желая писать свои, они изнашивают оазис, не продлевая ему жизнь, изнашивают песнопения, которые им достались. Они сами привязали себя к кормушке в хлеву и сделались домашней скотиной. Они приготовили себя к рабству».

И вот еще что я сказал: «Вы завоюете оазис, но суть вещей останется прежней. Оазис — тот же лагерь в пустыне, но только в ином обличье. Со всех сторон грозят опасности моему царству. Оно построено из домов, гор, овец и коз; стоит

развязать узел, связавший их воедино, как не останется ничего, кроме груды строительных материалов — подарка грабителям.

VIII

Мне показалось ошибкой требование людей уважать их права. Я озабочен правами Господа в человеке и любого нищего, если он не преувеличивает собственной значимости, чту как Его посланца.

Но я не признаю прав самого нищего, прав его гнойников и калечества, чтимых нищим как божество.

Я не видел ничего грязнее городской окраины на склоне холма, она сползала к морю, как нечистоты. Из дверей на узкие улочки влажными клубами выползало смрадное дыхание домов. Человеческое отребье вылезало из вонючих нор и без гнева и обиды, грязно, сипло перекорялось, будто хлюпала и лопалась пузырями болотная жижа.

Я вгляделся в хохочущих до слез, вытиравших глаза грязными лохмотьями прокаженных, — они были низки, и ничего больше. Они были довольны собственной низостью.

«Сжечь!» — решил мой отец. И весь сброд, вцепившись в затхлые свои трущобы, завопил о своих правах. Правах гнойной язвы.

— Иначе и быть не может, — сказал мне отец. — Они понимают справедливость как нескончаемость сегодняшнего.

А сброд вопил, защищая свое право гнить. Созданный гниением, он за него боролся.

— Расплоди тараканов, — сказал отец, — и у тараканов появятся права. Права, очевидные для всех. Набегут певцы, которые будут воспевать их. Они придут к тебе и будут петь о великой скорби тараканов, обреченных на гибель.

— Быть справедливым… — продолжал отец, — но сначала ты должен решить, какая справедливость тебе ближе: Божественная или человеческая? Для язвы или для здоровой кожи? И почему я должен прислушиваться к голосам, защищающим гниль?

Ради Господа я возьмусь лечить прогнившего. Ибо и в нем живет Господь. Но слушать его я не буду, он говорит голосом своей болезни.

Когда я очищу, отмою и обучу его, он захочет совсем другого и сам отвернется от того, каким был. Зачем же пособничать тому, от чего человек потом откажется сам? Зачем, послушавшись низости и болезни, мешать здоровью и благородству?

Зачем защищать то, что есть, и бороться против

того, что будет? Защищать гниль, а не цветок?

* * *

— Каждый для меня обладатель сокровища, сокровище я и чту в каждом, в этом моя справедливость, — говорил отец. — Чту я и самого себя. В нищем теплится тот же свет, но его едва видно. Справедливо видеть каждого как путь, как повозку. Мое милосердие в том, чтобы каждый сбылся.

Но ползущие к морю помои? Мне горько видеть гниль и отбросы. Как исказился в них облик Господа! Я жду, что однажды они поступят по-человечески, но жду напрасно.

— Но я видел: есть среди них и такие, что делятся хлебом с голодными, подносят мешок увечному, жалеют больного ребенка, — возразил я отцу.

— Для них нет высокого и низкого, — ответил отец, — все для них одинаково, все свалено в одну кучу, и они копошатся в ней. Потворство считают они милосердием. Так они его понимают. Они научились делиться и милосердие заменили дележкой добычи, какой заняты и шакалы. Но милосердие — высокое чувство. А они убеждены, что, делясь, творят благо. Нет. Главное, знать, кому ты желаешь блага. У них низость домогается

низостей. Пьяница домогается водки, ему хочется одного — пить. Конечно, можно потворствовать и болезни. Но если я озабочен здоровьем, мне приходится отсекать болезнь… И она меня ненавидит.

Милосерствуя, они помогают гнить, — добавил отец. — Но что поделаешь, если мне по душе здоровье?

Когда тебе спасут жизнь, — продолжал отец, — не благодари. Не преувеличивай собственной благодарности. Если твой спаситель ждет ее от тебя, он — низок. Неужели он полагает, что оказал услугу тебе? Нет, Господу, если ты хоть чего-то стоишь. А если ты изнемогаешь от благодарности, значит, у тебя нет гордости и нет скромности. В спасении твоей жизни значимо не твое маленькое везенье, а дело, которому ты служишь, и которое зависит и от тебя тоже. Ты и твой спаситель трудитесь над одним, так за что же тебе благодарить его? Его вознаградил собственный труд: он сумел спасти тебя. Это я и называю сотрудничеством в общем деле.

— У тебя нет гордости, если ты идешь на поводу низменных чувств твоего спасителя. Потакая его мелочному самолюбию, ты продаешься ему в рабство. Будь он благороден, он не нуждался бы в

твоей благодарности.

Меня заботит одно: общее дело, где каждый в помощь благодаря другому. Мне в помощь и ты, и камень. Кто благодарен камню, положенному в основу храма?

Обитатели трущоб работают только на себя. Отбросы, сползающие к морю, не тратят себя на песнопения, на статуи из мрамора, на самодисциплину во имя грядущих завоеваний. Единственное их занятие — поиск наивыгоднейших условий для дележа. Смотри, не споткнись тут. Пища необходима, но она так же опасна, как голод.

А эти поделили все, даже жизнь. Они поделили ее на две части, и обе эти части полная бессмыслица: сперва они достигают, потом хотят наслаждаться достигнутым. Все видели, как растет дерево. Но когда оно выросло, видел ли кто-нибудь, чтобы оно наслаждалось своими плодами? Дерево растет и растет. Запомни: завоеватель, ставший обывателем, сгнил…

В сотрудничестве — милосердие моего царства.

Я приказываю хирургу изнурять себя долгим путем по пустыне ради того, чтобы поправить сломанный инструмент. Пусть инструментом

будет рука простого работяги, который рубит камень в каменоломне. А хирург мой будет искуснейшим врачом. Нет, я не возвеличиваю посредственность, я хочу, чтобы починили повозку. А вожатый и у одного, и у другого — один.

Я забочусь о том, о чем заботятся ухаживающие за беременной. Ради будущего ребенка они занимаются ее тошнотой и недомоганиями. А благодарности она заслуживает только потому, что родит. Но вот женщины начинают требовать внимания и ухода, потому что их тошнит и они недомогают. Я отворачиваюсь, ибо сама по себе рвота отвратительна. Женщина — сосуд, сосуд не благодарят. И сама она, и ее помощники служат рождению, так о какой благодарности может идти речь?

Ничего не понимал и генерал, который пришел к моему отцу.

— Смешно смотреть на тебя! — сказал он. — Зачем ты возвеличиваешь царство и сам служишь ему? Я помогу тебе, заставлю всех чтить тебя, а потом уже царство.

Я видел и доброту моего отца. Он говорил:

— Нельзя унижать тех, кто был значим и кому воздавали почести. Нельзя отнимать у царя

царство и превращать в нищего подававшего милостыню. Если ты так поступишь, ты разрушишь остов своего корабля. Я всегда ищу наказания, соразмерного виновнику. Я отрублю князю голову, если он оступился, но не превращу его в раба.

Однажды я повстречал принцессу, которую сделали прачкой. Ее товарки издевались над ней: «Куда подевалось твое величие, постирушка? Раньше ты могла казнить и наказывать, а теперь мы можем грязнить тебя в свое удовольствие. Такова справедливость!» Справедливостью они считали возмездие.

Принцесса-прачка молчала в ответ. Да, унижали ее, но еще и нечто более значимое, что она собой воплощала. Бледная и прямая, склонялась принцесса над корытом. Сама по себе она вряд ли бы вызвала озлобление: она была миловидна, скромна, молчалива. И я понял, издеваются не над ней — над ее падением. Если вызывающий зависть сравняется с нами, мы его с наслаждением разорвем. Я подозвал к себе принцессу.

— Я знаю, что ты царствовала. С сегодняшнего дня жизнь и смерть твоих товарок в твоей власти. Я возвращаю тебе трон. Царствуй.

Возвысившись над низким сбродом, она презрела воспоминания о понесенных обидах. Не

злобились больше и прачки, потому что порядок был восстановлен. Теперь они восхищались благородством принцессы. Они устроили празднество в честь ее воцарения и кланялись, когда она проходила. Они чувствовали, что возвысились, если могли коснуться ее платья.

Вот почему я не отдаю принцев на посмешище черни, на издевательство тюремщикам. Им под трубные звуки золоченых рогов отрубают на круглой площади головы.

— Унижает тот, кто низок сам, — говорил мне отец. — Никогда не делай слуг судьями хозяина.

IX

Отец говорил мне так:

— Позови их вместе строить башню, и они почувствуют себя братьями. А если хочешь посмотреть на их ненависть, брось им для дележки маковое зерно.

И еще он сказал мне:

— Плоды их трудов — вот моя забота. Пусть их жатва ручейками стекается ко мне в житницу. Житница для них — я. Пусть они служат моей славе, обмолачивая зерно в ореоле золотящейся пыли. Только так попечение о хлебе насущном можно сделать духовным песнопением. Тогда не жаль тех, кто сгибается под тяжестью мешка по дороге на мельницу. Или идет с мельницы, поседев от мучной пыли. Тяжелый мешок с зерном возвышает душу точно так же, как молитва. Посмотри, как они счастливы, держа в руках мерцающие золотом колосьев снопы, так похожие на свечи. Облагораживает взыскательность, а не сытость. Что до зерна, то, конечно же, они получат его и съедят. Но пища для человека не самое насущное. Душу греет не хлеб, испеченный из зерна, а труды и заботы, благодаря которым

оно выросло.

И я повторяю вновь и вновь: племена, что довольствуются чужими сказаниями, едят чужой хлеб и нанимают за деньги архитекторов, желая построить себе город, достойны презрения. Я называю их стоячим болотом. Нет над ними золотого ореола пылинок, поднимающихся при молотьбе.

Разумеется, отдавая, я и получаю тоже. Иначе что я буду отдавать? Благословенен нескончаемый обмен отданного и полученного, благодаря ему можно отдавать все больше и больше. Полученное укрепляет тело, душу питает отданное.

Я смотрел на танцовщиц, которые танцуют. Танец придуман, станцован. Кто может воспользоваться им, унести и превратить в припас на будущее? Он миновал, как пожар. Но я назову благородным народ, танцующий свои танцы, хоть нет для них ни закромов, ни житниц. А того, кто расставляет по полкам прекраснейшие творения чужих рук, несмотря на умение восхищаться, я назову варваром.

Мой отец говорил:

— Человек — это тот, кто творит. Сотворчество превращает людей в братьев. Живущему не принесет покоя сделанный им запас.

Моего отца спросили:

— Сказав «творчество», что ты имел в виду? Немногие способны создать что-то выдающееся. Стало быть, ты обращаешься к избранным. А остальные? Что делать им?

Отец ответил:

— Творить — значит оступиться в танце. Неудачно ударить резцом по камню. Дело не в качестве твоего движения, а в том, чтобы ты двигался. Усилия кажутся тебе бесплодными? Ты не хочешь совершать усилий? Слепец! Отойди на несколько шагов и посмотри издалека на суетливый городской квартал. Что ты видишь, кроме усердия и золотистого ореола пыли над работниками, занятыми работой? Как тут различить, кто ошибся? Народ занят, и мало-помалу возникают дворцы, водоемы и висячие сады. Волшебство искусных рук сотворило шедевры, не так ли? Но поверь мне, удачи и неудачи равно сотворили их, потому что, подумай, можно ли расчленить человека? И если спасать только великих ваятелей, можно остаться без ваятелей вообще. Кому достанет безумства избрать себе ремесло, сулящее так мало шансов выжить? Великие ваятели поднимаются на черноземе плохих. Они для них вместо лестницы и поднимают вверх ступенька

за ступенькой. Прекрасный танец рождается из желания танцевать. Когда хочется, танцуют все, даже те, кто танцует плохо. А что остается, если пропадает желание? Мертвая выучка, бессмысленное зрелище. Историк судит об ошибках, он смотрит в прошлое. Но кто упрекнет кедр за то, что он еще семечко, росток или растет не так, как надо? Его дело расти. Ошибка за ошибкой, и поднимается кедровый лес, благоухающий в ветреный день птицами.

— Я тебе уже говорил, — добавил отец, — неудача одного, успех другого, — не утруждай себя, не дели. Плодотворно лишь сотрудничество всех благодаря каждому. Любой неудачный шаг помогает удачному, а удача ведет к цели и того, кто промахнулся, они идут к ней рука об руку. Нашедший Бога находит Его для всех. Царство мое подобно храму, я бужу и побуждаю людей. Я созываю их возводить его стены. И вот уже это их храм. Воздвигнутый храм возвышает людей в собственных глазах. И они придумывают позолоту. Все вместе, и тот, кто искал и не нашел, тоже. Потому что желание позолотить храм рождается от всеобщего усердия.

В другой раз отец сказал мне:

— Не желай совершенного царства. Безупреч-

ный вкус — добродетель хранителей в музеях. Неоткуда ждать картин, садов, замков и танцев, если презирать дурной вкус. Боязнь черной работы грязной земли и ошибок рождает снобов. Праздное совершенство оставит тебя ни с чем. Заботься о царстве, где все будет проникнуто усердием.

X

Словно от непосильной тяжести изнемогли мои воины. Военачальники пришли ко мне и спросили:

— Когда мы вернемся домой? Наши женщины лучше женщин завоеванного оазиса.

Один из них сказал мне:

— Господин мой, мне снится та, которой принадлежало мое время и с которой я ссорился. Я хотел бы вернуться к себе и сажать деревья. Я перестал видеть смысл вещей, мой господин. Позволь мне самому пуститься в рост в тишине моей деревни. Я чувствую, для меня настала пора подумать, что же такое моя жизнь.

И я понял: они нуждаются в тишине. В тишине каждый найдет свою истину и укоренится в ней. Но для этого необходимо время, как при вскармливании младенца. Материнская любовь поначалу и есть вскармливание. Кто видел, чтобы ребенок вырос в одну секунду? Никто. Удивляются гости и говорят: «Как он вырос!» Но ни мать, ни отец не видят, что ребенок вырос. Его неспешно лепит время, и в каждый миг он таков, каким должен быть.

Теперь время понадобилось и моим воинам. Не для того ли, чтобы постигнуть суть дерева? Чтобы из вечера в вечер садиться на пороге и смотреть на одно и то же дерево, с теми же самыми ветвями? Чтобы мало-помалу дерево открылось им?

Как-то у костра в пустыне поэт рассказал нам о своем дереве. Мои воины внимательно слушали его, хотя многие из них не видели ничего, кроме верблюжьей колючки, саксаула, карликовых пальм.

— Разве мы знаем, что такое дерево, — начал он. — Однажды по прихоти случая дерево выросло в заброшенной лачуге без окон и отправилось на поиски света. Человеку нужен воздух, рыбе — вода, а дереву — свет. Корнями оно уходит в землю, а ветвями к звездам, оно — путь, соединяющий нас с небом. Дерево, о котором я рассказываю, родилось слепым, но и в темноте оно сумело набраться сил и поползло на ощупь от стены к стене, запечатлевая свою боль искривлениями ствола. Наконец оно добралось до окна в потолке, разбило его и потянулось к солнцу, прямое, как колонна. Я видел его победу со стороны и мог только засвидетельствовать ее с бесстрастием историка.

Какое великолепное несходство — искоре-

женный усилиями узловатый ствол, запертый в темной гробнице, и разросшаяся в тишине и спокойствии мощная крона, вскормленная небесным светом, обильно питаемая богами, похожая на обширный стол, за который садится пировать солнце.

Каждое утро я видел, как просыпалось это дерево — все, от ликующих листьев до искривленного ствола. Крона его была переполнена птицами. С зарей они пробуждались и начинали петь. Но стоило показаться солнцу, как дерево, словно добрый пастырь, отпускало своих обитательниц в небо; дерево-дом, дерево-замок, опустевший до вечерней зари…

Поэт говорил, а мы вдруг ощутили, как долго нужно смотреть на деревья, чтобы они проросли и в нас. И каждый позавидовал сердцу, отягощенному птицами и листвой.

— Когда же, — спрашивали меня воины, — мы кончим наконец воевать? Нам тоже есть о чем подумать. Мы тоже хотим найти себя…

Моим воинам случалось поймать лисенка, и лисенок соглашался брать пищу из рук, и его из рук кормили. Случалось, из рук кормили газель, которая снизошла до жизни в неволе. День ото дня моим воинам становилось все дороже их

живое сокровище: как радовала их солнечная шкурка, проказы и голод лисенка, настоятельно требующего от них усердия. Они жили тщетой иллюзии, веря, что зверек нуждается в них, что его создала, вскормила и питает их любовь.

Но приходил день, и лисенок, который любил лишь свою пустыню, убегал к ней, и пустыней становилось человеческое сердце. Я видел, как посланный в засаду воин погиб, потому что ему не захотелось защищаться. Нам принесли весть о его гибели, и мне вспомнились загадочные слова, какими он ответил на утешения товарищей после бегства лисенка. Ему советовали поймать другого, а он ответил: «Слишком много уйдет сил. Нет, не для того, чтобы ловить, для того, чтобы любить его».

Только усталость оставляли им лисята и газели, не получалось питающего обмена, лисенок убегал в любимую пустыню, но не приносил в нее и капли человеческой любви.

— У меня три сына, — говорил мне один из воинов, — они растут, а я ничему не научил их. Ничего им не передал. Что останется от меня после смерти?

Укрывая их всех моей молчаливой любовью, я смотрел, как моя армия истаивает среди песков,

подобно потоку, рожденному грозой. У такого потока нет надежного русла, и он умирает бесплодным, не перевоплотившись дорогой в дерево, траву, хлеб для деревень.

Ради блага моего царства мои воины хотели перевоплотиться в оазис, украсить мой замок новым отдаленным владением, чтобы, рассказывая о нем, можно было прибавить:

— Сколько прелести придают ему зеленеющие на Юге пальмы, наши новые пальмовые рощи и деревни, где режут слоновую кость…

Да, мы завоевали оазис, но ни для кого он не сделался домом, и каждый хотел одного: вернуться к себе домой. Исчезло общее царство, оно распалось на части, в дробности мира затерялся его облик.

— Для чего нам чужой оазис? Что он нам прибавит? Чем обогатит? — роптали воины. — Для чего он нам там, в деревне, куда мы вернемся и где проживем до старости? Он для тех, кто поселится в нем, кто будет собирать инжир, стирать белье в торопливом ручье…

XI

Они не правы, но я ничего не могу поделать. Когда угасает вера, умирает Бог. Он кажется никому не нужным. Истощилось рвение, и распалось царство, потому что скрепляло его усердие. Нет, царство не было обманом, иллюзией. Дорога под оливами и дом, который любят от всего сердца, — вот мое царство. Но если оливы точно такие, как сотни других, а дом под ними защищает лишь от дождя, то где оно, мое царство, и как уберечь его от разрушения? И проданные оливы остаются оливами, а дом домом.

Посмотрите на принца, хозяина здешних мест, — одинокий шагает он по дороге, и плащ его влажен от утренней росы. Где богатства его? Что в них толку? Он вязнет в грязи после вчерашнего дождя, он отводит палкой колючие ветки, — как бродяга, любой бродяга, бродяга из бродяг. Спустился в ложбину и потерял из виду свои владения. Но несмотря ни на что он — принц.

Ты встретишь его, он на тебя посмотрит, и это будет взгляд принца. Он спокоен, он уверен в себе, опорой ему все, что сейчас ему не служит. Да, сейчас он не пользуется ничем, но ничего и

не утратил. Его владения: пастбища, ячменные поля, пальмовые рощи — прочная опора. Поля отдыхают. Дремлют житницы. Молотильщики не вздымают цепами золотого ореола пылинок. Но все это живет в сердце принца. И не кто-нибудь, а хозяин шагает по своей люцерне…

Слеп тот, кто судит о человеке по сиюминутному. Значимо для человека совсем не то, чем он располагает в эту секунду: на прогулке в руке у принца пучок колосьев или сорванное дорогой яблоко.

Воин, что ушел со мной воевать, полон своей любимой. Он не может увидеть ее, обнять, коснуться — ее как бы и не существует; в ранний, предрассветный час она и не помнит о нем, шагающем где-то вдалеке с тяжким грузом своих воспоминаний, потому что ушла далеко-далеко от мира живущих. Потому что ее как бы и нет на свете, потому что она крепко спит. Но для любящего она живет и бодрствует, и он несет в себе груз нежности, сейчас бесполезной, и которая тоже спит, словно зерно в житнице, несет ароматы, которые не вдыхает, журчанье родника — сердце своего дома, — он не слышит его, но несет с собой все свое царство, и оно отличает владельца от всех остальных людей.

…Вот твой друг, ты повстречал его, а у него болен ребенок, и тяжесть его болезни он повсюду носит с собой. Малыш далеко. Отец не держит горячей ручки, не слышит плача, жизнь его течет привычной чередой. Но я вижу, как придавила его тяжкая забота о малыше, который живет в его сердце.

Они похожи: принц, который не может охватить взглядом своего царства, не пользуется своим богатством, но знает, что оно есть и всегда остается властелином; отец больного ребенка, который страдает за него, и мой воин, который служит своей любви, пока любимая блуждает по стране сновидений.

* * *

Смысл вещей, а не сами вещи, — вот что значимо для человека.

Я знаю разных людей, вот кузнец из моей деревни, он пришел ко мне и сказал:

— Какое мне дело до чужих и далеких? У меня есть сахар и чай, мой осел сыт, жена со мной рядом, дети растут и умнеют. У меня все хорошо, и большего мне не нужно. Что мне до каких-то страданий?

Но хорошо ли в доме, одиноко стоящем посреди Вселенной? Если ты и твоя семья под полотняным шатром, затерявшимся в пустыне? Я заставил поправиться кузнеца.

— Хорошо, если по вечерам приходят друзья из шатра по соседству, если есть о чем потолковать и есть новости о пустыне…

Я же видел вас, не забывайте об этом! Видел, как вы сидели ночью вокруг костра, как жарили барашка, слушал всплески ваших голосов. Не спеша, с молчаливой любовью подходил я к вам. Да, конечно, вы говорили о детях: один растет, а другой болеет; говорили, конечно, и о доме, но без особого воодушевления. Зато как вы оживлялись, когда к вашему костру подсаживался странник, пришедший с караваном из дальних мест, и рассказывал о тамошних чудесах: о княжеских белых слонах, о замужестве девушки, чье имя едва вам знакомо, о переполохе в стане врагов. Он мог рассказывать о комете или обиде, о любви или мужестве в смертный час, о ненависти к вам или, напротив, участии. Множество событий соприкасалось с вами, пространство расширяло вас, и ваш собственный шатер, любимый и ненавистный, уязвимый и надежный, становился вам во сто крат дороже. Вас ловила волшебная сеть,

и вы становились куда пространственней, чем были сами по себе…

Вам необходим простор, а высвобождает его в вас только слово.

Я вспомнил случай с беженцами-берберами. Мой отец поселил их отдельно, в небольшом селенье на севере от города. Он не хотел, чтобы они смешались с нами. Он был к ним добр: давал чай, сахар и полотно на одежду. Он не требовал от них никакой работы в уплату за свою щедрость. Кому еще жилось беззаботнее, и каждый из них мог сказать:

— Какое мне дело до чужих и далеких? У меня есть сахар и чай, мой осел сыт, жена со мной рядом, дети растут и умнеют. У меня все хорошо и большего мне не нужно…

Но кому они показались бы счастливыми? Мы изредка навещали их, когда отец учил меня.

— Смотри, — говорил он, — они сделались домашним скотом и потихоньку гниют… Не плотью, а сердцем…

Ибо мир для них обессмыслился.

Даже если ты не поставил на кон состояния, игра в кости для тебя мечта об отарах, земле, золотых слитках и бриллиантах. У тебя их нет. Но они есть у других. Но вот приходит день, и ты

уже не мечтаешь о золотых слитках И в кости ты тоже не играешь, ты бросаешь игру.

А наши подопечные бросили разговаривать, им стало не о чем говорить. Истерлись похожие друг на друга семейные истории. О своих шатрах, похожих как две капли воды, они все рассказали друг другу. Они ничего не боялись, ни на что не надеялись, ничего не придумывали. Слова служили им для самых обыденных дел. «Одолжи мне таганок», — просил один. «Где мой сын?» — спрашивал другой. Чего хотеть, когда лежишь у кормушки? Ради чего стараться? Ради хлеба? Им кормят. Ради свободы? Но в пределах своей крошечной вселенной они свободны до беспредельности. Они захлебывались от своей безграничной свободы, и у богатых от нее пучило животы. Ради того, чтобы восторжествовать над врагами? Но у них не было врагов.

Отец говорил:

— Ты можешь прийти к ним один, пройти по всему селенью, хлеща их бичом по лицу. Они оскалятся, как свора собак, попятятся, огрызаясь и желая укусить, но ни один не пожертвует собой. Ты останешься безнаказанным, скрестишь руки на груди и почувствуешь оскомину от презрения…

Он говорил:

— На вид они люди. Но под оболочкой не осталось ничего человеческого. Они могут убить тебя по-подлому, в спину, — воры тоже бывают опасны, — взгляда в глаза они не выдержат.

А берберы тем временем занемогли враждой. Не той, что делит людей на два лагеря, — бестолковой враждой каждого ко всем остальным: ведь каждый, кто съел свой припас, мог своровать что-то у других. Они следили друг за другом, как собаки, что кружат вокруг лакомого куска. Равенство было для них справедливостью, и во имя равенства они начали убивать. Убивать того, кто хоть чем-то был отличен от большинства.

— Толпа, — говорил отец, — ненавидит человека, потому что всегда бестолкова и расползается во все стороны разом, уничтожая любое творческое усилие. Плохо, если человек подавил толпу. Но это еще не безысходность рабства. Безысходное рабство там, где толпе дано право уничтожать человека.

И вот во имя сомнительной справедливости кинжалы вспарывали животы, начиняя ночь трупами. А на заре эти трупы сваливали, словно мусор, на пустыре, откуда забирали их наши могильщики. Работы у них не убавлялось. И мне

вспомнились отцовские слова: «Позови их вместе строить башню, и они почувствуют себя братьями. Но если хочешь увидеть их ненависть, брось им для дележки маковое зерно».

А потом мы заметили, что берберы, пользуясь словами все реже и реже, отвыкают от них. Когда мы с отцом шли мимо, берберы сидели с пустыми тупыми лицами, смотрели и не узнавали. Иногда мы слышали глухое ворчанье и догадывались, что приближается час кормежки. Берберы бытовали, позабыв, что значит горевать и хотеть, любить и ненавидеть. Они не мылись, не уничтожали паразитов. Пошли болезни, язвы. От поселения стал исходить смрад. Мой отец опасался чумы. И вот что он сказал:

— Я должен разбудить ангела, что задыхается под этим гноищем. Не их почитаю я, но Господа, который и в них тоже…

XII

Вот одна из загадок человеческого сердца, — сказал отец. — Утратив главное, человек не подозревает об утрате. Разве догадываются об утрате жители оазиса, стерегущие свои припасы? Откуда им знать о ней, раз припасы при них?

На прежних местах дома, овцы, козы, горы, но нет больше царства. Не ощущая себя частичкой царства, люди, сами того не замечая, понемногу ссыхаются и пустеют, потому что все вокруг обессмыслилось. На взгляд все осталось прежним, но бриллиант, если он никому не нужен, то же, что и дешевая стекляшка. Твой ребенок больше не подарок царству, не драгоценность. Пока ты еще не знаешь об этом, ты держишь его на руках, а он тебе улыбается.

Никто не заметил, что обеднел, потому что в обиходе у нас все те же вещи. Но каков обиход бриллианта? Для чего он, если нет праздничного торжества? Для чего дети, если не существует царства и мы не мечтаем, что они станут воителями, царями, зодчими? Если судьба их быть слабым комочком плоти?

Люди не знают, что царство вскармливает их, как мать младенца, что оно питает душу, словно спящая где-то вдали и словно бы несуществующая возлюбленная. Но ты ее любишь, и благодаря твоей любви обретает смысл все, что с тобой происходит. Ты не слышишь ее тихого дыхания, но благодаря ему мир сделался чудом. Принц шагает по росистой траве на рассвете, и, пока не проснулись его землепашцы, царство бодрствует в его сердце.

И вот что еще загадочно в человеке: он в отчаянии, если его разлюбят, но когда разочаруется в царстве или разлюбит сам, не замечает, что стал беднее. Он думает: «Мне казалось, что она куда красивее… Или милее…» — и уходит, довольный собой, доверившись ветру случайности. Мир для него уже не чудо. Не радует рассвет, он не возвращает ему объятий любимой. Ночь больше не святая святых любви и не плащ пастуха, какой была когда-то благодаря милому сонному дыханию. Все потускнело. Одеревенело: Но человек не догадывается о несчастье, не оплакивает утраченную полноту, он радуется свободе — свободе небытия.

Тот, в ком умерло царство, похож на разлюбившего. «Мое усердие — наваждение идиота!» —

восклицает он. И прав. Потому что видит вокруг коз, овец, дома, горы. Царство было творением его влюбленного сердца.

Для чего женщине красота, если мужчины не вдохновляются ею? Чем драгоценен бриллиант, если никто не жаждет им обладать? Где царство, если никто ему не служит?

Влюбленный в чудесную картину хранит ее в своем сердце, живет и питается ею, как младенец материнским молоком, она для него суть и смысл, полнота и пространство, краеугольный камень и возможность подняться ввысь. Если отнять ее, влюбленный погибнет от недостатка воздуха, словно дерево с подсеченным корнем. Но когда картина вместе с человеком меркнет день за днем сама по себе, человек не страдает, он сживается с серостью и не замечает ее.

Вот почему нужно неусыпно следить, чтобы в человеке бодрствовало великое, нужно его понуждать служить только значимому в себе.

Питает не вещественность, а узел, благодаря которому дробный мир обретает целостность. Не алмаз, а восхищение им. Не песок, а любовь к нему племени, рожденного в пустыне. Не слова в книге, а любовь, поэзия и Господня мудрость, переданные словами.

Если я понуждаю вас к сотрудничеству, если, сотрудничая, вы становитесь единым целым и целое, нуждаясь в каждом, каждого обогащает, если я замкнул вас крепостью моей любви, то как вы сможете воспротивиться мне и не возвыситься? Лицо прекрасно глубинным созвучием черт. На прекрасное лицо душа отзывается трепетом. Созвучные сердцу стихи вызывают на глаза слезы. Я взял звезды, родник, сожаления. Ничего больше. Я соединил их произволом моего творчества, и теперь они ступени Божественной гармонии, которой не обладали по отдельности и которая теперь овевает их.

Мой отец послал сказителя к опустившимся берберам. Наступили сумерки, сказитель сел посреди площади и запел. Его песня бередила души, будя созвучия, напоминая о многом. Сказитель пел о царевне и о долгом пути к любимой по безводным пескам под палящим солнцем. Жажда влюбленного была готовностью к жертве и одержимостью страстью, а глоток воды — молитвой, приближаю щей его к возлюбленной. Сказитель пел: «Сгораю без тенистых пальм и ласки капель, измучен жаждой улыбнуться милой, не знаю, что больнее жалит — зной солнца или зной любви?»

Жажда жаждать обожгла берберов, и, потрясая

кулаками, они закричали моему отцу: «Негодяй! Ты отнял у нас жажду, а она — жертва во имя любви!»

Сказитель запел о могуществе опасности, она приходит вместе с войной и царит, превращая золотой песок в гнездо змей. Она возвеличивает каждый холм, наделяя его властью над жизнью и смертью. И берберам захотелось соседства смерти, оживляющей мертвый песок. Сказитель пел о величии врага, которого ждут отовсюду, который, словно солнце, странствует с одного края света на другой, и неведомо, откуда ждать его. И берберы возжаждали близости врага, чье могущество окружило бы их, словно море.

В них вспыхнула жажда любить, они словно бы заглянули в лицо любви и вспомнили о своих кинжалах. Плача от радости, ласкали берберы стальные клинки — забытые, заржавленные, зазубренные, — но клинки для них были вновь обретенной мужественностью, без которой мужчине не сотворить мира. Клинок стал призывом к бунту. И бунт был великолепен, как пылающий огонь страсти. Берберы умерли людьми.

XIII

Вспомнив о берберах, мы решили лечить мое умирающее войско поэзией. И вот какое случилось чудо — поэты оказались бессильными, солдаты над ними смеялись.

— Пели бы, право, о всамделишном, — говорили они, — о колодце в нашем дворе и как вкусно за ужином пахнет похлебка. А всякая ерунда нам неинтересна.

Так я понял еще одну истину: утраченное могущество невозвратимо. Мое царство никого больше не вдохновляет. Прекрасные картины умирают, как деревья. Истощив возможность завораживать, они превращаются в пепел и удобряют другие деревья. Я отошел в сторону, желая поразмыслить над новой загадкой. Видно, не существует в мире истинного и неистинного. Существует действенное и недейственное. Я выпустил из рук волшебный узел, когда-то сливший дробный мир воедино. Узел ускользнул от меня и развязался. Теперь мое царство распадается будто само по себе. Но если буря обламывает ветки кедра, если суховей иссушает его древесину, если пустыня одолевает кедр, то не потому, что

песок стал сильнее, — потому, что кедр перестал сопротивляться и распахнул ворота варварам.

Сказитель пел, а слушатели упрекали его в фальши. Патетика сказителя и впрямь звучала фальшиво, казалась отжившей и старомодной. «Неужто он и в самом деле влюблен до потери сознания во всю эту чепуху — в коз, овец, дома и пригорки? — интересовались мои солдаты. — Он что, всерьез обожает речную излучину? Но что она по сравнению с ужасом войны? Она не стоит и капли крови!» Ничего не поделать, и мне показалось, что поэты кривили душой, что рассказывали малым детям дурацкие побасенки, а дети смеялись над ними…

Мои генералы, дотошные и недалекие, пришли ко мне с жалобой на сказителей. «Они не умеют петь!» — кричали генералы. Но я знал, почему фальшивят сказители: они воспевали бога, который умер.

Тогда мои генералы, дотошные и недалекие, стали задавать мне вопросы. «Почему солдаты не хотят воевать?» — спросили они, обижаясь за свое ремесло, как могли бы спросить: «Почему жнецы не хотят жать хлеб?» Вопрос их не имел смысла. Речь шла не о ремесле. И в молчании моей любви я спросил по-другому: «Почему мои

солдаты отказываются умирать?» И моя мудрость стала искать ответа. Нет, не умирают ради овец, коз, домов и гор. Все вещественное существует и так, ему не нужны жертвы.

Умирают ради спасения незримого узла, который объединил все воедино и превратил дробность мира в царство, в крепость, в родную, близкую картину. Тратят себя ради целостности, ибо и смерть укрепляет ее. Смерть, которая стала данью любви. Тот, кто неспешно тратил жизнь на добротную работу, что долговечнее человека, — на постройку храма, например, который будет шествовать сквозь века, — тоже согласится на смерть, если дробный мир покажется ему прекрасным замком, и, влюбившись в замок, он захочет с ним слиться. Его примет большее, чем он сам. Он отдаст себя своей любви.

Но как согласиться отдать жизнь из выгоды? Выгоднее всего жить. Песни моих сказителей не будили в душе созвучий — значит, за кровь моим воинам платили фальшивой монетой. Их лишили возможности умереть во имя любви. Тогда зачем умирать?

А тот, кто все-таки шел на смерть, повинуясь долгу, который стал непонятен, умирал в тоске. Вытянувшись, он молчаливо смотрел тяжелым

взглядом, от отвращения став жестоким.

И я стал искать в своем сердце слова для нового по учения, чтобы вернуть себе моих воинов. Но понял: человека ведет не логика и не мудрость, мне нужна новая картина, а картины творят художники и ваятели, заставляя камень и краски служить произволу своего творчества, и я стал молиться Господу, чтобы Он мне открыл новую картину.

Всю ночь я бодрствовал среди моих воинов и слушал, как скрипит песок, неторопливо перемещая барханы. Ветер то завешивал луну красноватой дымкой, то сдувал ее. Я слышал, как перекликаются дозорные, стоя по углам моего треугольного лагеря, и так пусты были их громкие безнадежные голоса.

Я сказал Господу: «Нет у них больше крова… Слова истерлись и износились. Берберы ни во что не верили, но вокруг них было мощное царство. Мой отец послал к ним сказителя, и его голосом заговорила мощь царства. За одну ночь всемогущее слово обратило их в нашу веру. Но сильными были не слова, а царство.

У меня нет сказителя, нет истины, нет плаща, чтобы быть пастухом, и теперь они начнут по ночам убивать друг друга ударом ножа в живот,

бессмысленным, словно проказа. Как мне собрать их снова?»

* * *

Там и здесь возвышали голос пророки, и люди прислушивались к ним. Уверовавшие — пусть их было немного — воодушевлялись и во имя своей новой веры готовы были умереть. Но их вера не интересовала других. Веры враждовали между собою. Ненавидя инакомыслящих, каждый строил свой маленький храм, привычно деля всех на заблудших и праведных. И то, что не признавалось истиной, объявлялось заблуждением, а то, что не считалось заблуждением, становилось истиной. Но я-то знаю, что заблуждение не противоположность истины, оно тоже храм и выстроено из тех же камней, но по-другому. Сердце мое кровоточило, видя готовность людей умереть за миражи. Я молился Господу: «Открой мне истину, в которой поместились бы все их маленькие правды, которая укрыла бы их всех одним плащом. Чтобы из враждующих былинок я сотворил дерево, душа его одухотворяла бы всех и одна ветка росла бы благодаря мощи другой, потому что дерево всегда чудо сотрудничества и цветение под солнцем.

Неужели у меня недостанет сердца, чтобы приютить их всех?»

И настало время торжества торгашей. Время издевательств над добродетелями. Все продавалось. Покупали невинность. Расхищали запасы, собранные мной на случай голода. Убивали. Но я не так простодушен, чтобы в разгуле страстей и порока видеть причину упадка моего царства. Я знаю, добродетели истощились, потому что умерло царство.

— Господи! — просил я. — Дай мне увидеть картину, которую они полюбили бы всем сердцем. И все вместе, благодаря усилиям каждого, становились бы сильнее и сильнее. Только тогда им понадобятся добродетели.

XIV

В молчании моей любви я казнил многих. И каждая смерть питала подземную лаву возмущения. Соглашаются с очевидным. Но очевидность исчезла. Никто уже не понимал, во имя какой из истин гибнет еще и этот. И тогда Божьей милостью мне было даровано поучение о власти.

Невозможно править только принуждением и строгостью. Общий для всех, понятный язык действеннее, чем принуждение. Но без принуждения и строгости не обойтись, приучая к новому языку. Иначе откуда ему взяться? Он не истинней и не лживей старого, он просто говорит о другом. Однако по самой своей природе язык — враг принуждения. Ты принудил принять язык, но язык это возможность высказать свое мнение не соглашаться и друг другу противоречить. Язык пособник несогласия, а несогласие сводит на нет строгость и противится принуждению.

И мне ничего не остается, как все упростить и действовать по своему произволу.

Я принуждаю человека стать иным — более раскованным, просветленным, благородным, усердным и цельным в своих устремлениях.

Когда он стал таким, ему не нравится личинка, какой он был. Он удивлен сияющему в нем свету, заворожен им и стал моим союзником, поборником моих принуждений. Оправдание моего произвола в действенности. Ударами бича я прогоняю стадо через ворота, чтобы каждый избавился от кокона и преобразился. Преобразившись, они не смогут быть несогласными, они будут обращенными.

Но что толку в принуждении, если, пройдя через ворота и потеряв былого себя вместе с коконом, человек не ощутит за спиной крыльев, а узнает, что он — жалкий калека? Разве станет он воспевать искалечивший его произвол? Нет, он с тоской обернется к берегу, который покинул.

И как горестно бесполезна тогда алая кровь, переполнившая реку!

Казни мои — знак того, что я не могу обратить несогласных в свою веру, знак, что я заблудился. И вот с какой молитвой я обратился к Господу:

— Господи! Плащ мой короток, я — дурной пастух, и народ мой остался без крова. Я насыщаю одних, но другие обижены мною…

— Господи! Я знаю, что любовь всегда благо. Любовь к свободе и любовь к порядку. Любовь к достатку в семье и любовь к нищете и жерт-

венности. Любовь к науке, которая хочет все рассмотреть, и любовь к вере, которая слепа. Любовь к иерархии, которая учит обожествлять, и любовь к равенству, которое учит делить все на всех. К досугу, позволяющему созерцать, и к работе, не оставляющей досуга. К духовности, бичующей плоть и возвышающей душу, и к жалости, пеленающей израненную плоть. Любовь к созидаемому будущему и любовь к прошлому, нуждающемуся в спасении. Любовь к войне, сеющей семена, и любовь к миру, собирающему жатву.

Я знаю: противостоят друг другу только слова, а человеку, который поднимается все выше и выше, открывается на новой ступеньке новая картина, и нет для него никаких противоречий.

Господи! Я хочу преисполнить моих воинов благородством, а храм, на который люди меняют себя, превращая его в смысл своей жизни, переполнить красотой. Но сегодня вечером, когда я шел иссушенный пустыней моей любви, я увидел маленькую девочку. Она плакала. Я повернул ее к себе и посмотрел в глаза. Горе ее ослепило меня. Если, Господи, я пренебрегу им, я пренебрегу одной из частичек мира, и творение мое не будет завершено. Я не отворачиваюсь от великих

целей, но не хочу, чтобы плакал ребенок. Только тогда в мире будет порядок. Маленькая девочка — тоже крупица Вселенной.

XV

Трудное дело война, если она не неизбежность и не страстное желание. Мои генералы, дотошные и недалекие, взялись за изучение хитроумных тактик, стремясь достичь победы раньше, чем начали воевать. Бог не пламенел в них, они были только трудолюбивы и добросовестны. И конечно, их ожидало поражение. Я собрал их и стал учить:

— Вы никогда не победите, потому что ищете совершенства. Совершенство годится только для музеев. Вы запрещаете ошибаться и, прежде чем начать действовать, хотите обрести уверенность, что ваше действие достигнет цели. Но откуда вам известно, что такое будущее? Вы никогда не победите, если прогоните художников, скульпторов и выдумщиков-изобретателей. Повторяю вам еще и еще раз: башня, город и царство подобны дереву Они — живые, ибо рождает их человек. Человек уверен, что главное — правильный расчет. Он не сомневается, что стены воздвигаются умом и соображением. Нет, их воздвигает страсть. Человек носит в себе свой город, он хранит его в своем сердце, как дерево

— семечко. Вычисления, расчеты — оболочка его желания. Контур. Не объяснишь дерева, показав воду, минеральные соли и солнце, наделившие его своей силой. Не объяснишь города, сказав: «Своды будут стоять, потому, что… Вот расчеты строителя». Если город должен родиться, всегда найдутся строители, которые правильно сделают расчет. Но они только помощники. Если считать их главными и верить, что их руки создали город, ни одного города не вырастет больше в пустыне. Они знают, как строятся города, но не знают почему. Отправь неграмотного вождя вместе с его племенем покорять скудный и каменистый край, а потом навести победителя — новый город будет сверкать на солнце тридцатью куполами. Ветвями кедра покажутся тянущиеся к солнцу купола. Покоритель загорелся страстью иметь столицу с тридцатью куполами и как средство, путь и возможность удовлетворить свою страсть нашел столько строителей, сколько нужно.

— Вы ничего не хотите и проиграете вашу войну, — сказал я моим генералам. — В вас нет одержимости. Вы не заодно. Вы уже утонули в разноголосице разумных решений. Посмотрите: увлекаемый собственной тяжестью, камень катится по склону. Остановится он, только достиг-

нув самого низа. Все пылинки и все песчинки, благодаря которым он обрел свою тяжесть, стремятся вниз и только вниз. Посмотрите на воду в копани. Напирая на земляные стенки, вода ждет благоприятной случайности. Потому что случайность неизбежно возникнет. Не уставая, днем и ночью давит и давит на стенки и дно вода. Она кажется спящей, но она живет. И стоит возникнуть узкой трещине, как вода уже в пути. Она втекла в нее, обогнула, если получилось, препятствие и, оказавшись в тупике, вновь погрузилась в мнимый сон до новой трещины, которая откроет перед ней новую дорогу. Ни единой возможности не упустит вода. И неведомыми путями, какие не вычислит ни один вычислитель, утечет просто потому, что весома, и вы останетесь без воды.

Ваша армия — вода, не перегороженная плотиной. А сами вы — тесто бездрожжей. Земля без семян. Толпа без желаний. Вы распоряжаетесь, а не увлекаете. Вы — несведущие свидетели. А темные силы, что напирают, — да, напирают — на стены царства, не станут дожидаться ваших распоряжений, — захлестнув, они погребут его под собой. Зато потом ваши еще более бестолковые историки объяснят вам причины катастрофы и скажут, что противники одержали победу благо-

даря лучшей выучке, расчету и военной науке. Но говорю вам: нет выучки, расчета и военной науки у воды, сметающей плотины и затопляющей города людей.

— Я занимаюсь будущим, как ваятель: он ударяет резцом по глыбе мрамора, высвобождая свое творение. Отлетает осколок за осколком, за которыми пряталось лицо бога. Кто-то скажет: «В мраморе уже был этот бог. Ваятель нашел его. Нашел, умея работать резцом». А я говорю вам: ваятель не рассчитывал и не находил. Он работал с камнем. Не капли пота, не блеск мелькающего резца заставили улыбнуться мрамор. Улыбаться умел ваятель. Освободи человека, и ему захочется творить.

XVI

Собрались мои генералы, дотошные и недалекие. «Нужно разобраться, — сказали они, — почему у нас люди враждуют и ненавидят друг друга?» И генералы устроили судилище. Они выслушивали одних, выслушивали других, вникали в притязания тяжущихся и восстанавливали справедливость, возвращая положенное по закону одним и лишая других незаконного обладания. Но вот причиной раздора стала ревность. Генералы пытались выяснить, кто прав, а кто виноват. И ничего не могли понять, так безнадежно запутывалось дело. Один и тот же поступок выглядел благородным в глазах одного и низким в глазах другого, великодушным и одновременно жестоким. Генералы засиживались до глубокой ночи, и чем меньше спали, тем больше тупели. Наконец они явились ко мне: «Все это безобразие, — сказали они, — заслушивает одного — потопа!»

А я вспомнил слова моего отца: «Когда зерно покрывается плесенью, не перебирай зерен, поменяй амбар. Если люди ненавидят друг друга, не вникай в дурацкие причины, какие они нашли для ненависти. У них найдутся другие и для люб-

ви, и для безразличия, но они о них позабыли. Я не обращаю внимания на слова, я знаю: они — вывеска, и прочесть ее трудно. Не умеют же камни передать тишину и прохладу храма; вода и минеральные соли — тень и листву дерева, так зачем мне знать, из чего выросла их ненависть? Она выросла, словно храм, и сложили ее из тех же камней, из каких можно было сложить любовь».

Они отягощали свою ненависть всяческими причинами, а я смотрел и не помышлял лечить их тщетным лекарством справедливости. Поиск справедливости только укрепил бы весомость причин, подтвердив правоту одних и вину других. Он укрепил бы озлобление наказанных и самодовольство оправданных. И вырыл бы между ними пропасть. Мой отец был мудр, и вот какую историю я вспомнил.

В давние времена отец завоевал новые земли и, не вполне доверяя жителям, оставил в помощь губернатору еще и генерала. Побывав в новых провинциях, путешественники поспешили сообщить моему отцу:

— В такой-то области, — сказали они, — генерал оскорбил губернатора. Они больше не разговаривают.

Приехал путешественник из другой провин-

ции:

— Государь, губернатор возненавидел генерала.

Приехали из третьей:

— Государь, тебя умоляют разобрать великую тяжбу — судятся генерал с губернатором.

Поначалу отец выслушивал причины ссор. И причины всегда были. Одного обидели, и он решил отомстить. Другого постыдно предали. Были неразрешимые споры, были кражи и оскорбления. И разумеется, всегда были правые и виноватые. Но пересуды и россказни утомили моего отца.

— Нужно принять решение, — сказал он, — а не разбирать их дурацкие ссоры. Ссоры вспыхивают во всех концах страны, всякий раз новые и всегда одинаковые. Каким чудом я ухитрился набрать столько генералов и губернаторов, которые не могут ужиться друг с другом?

Когда у тебя в новом хлеву болеет и падает скот, не копайся в падали, отыскивая причину зла, — сожги хлев.

Отец позвал к себе гонца:

— Я не определил права генерала и права губернатора. Они не знают, кто из них возглавляет торжества. Они ревнуют друг друга. Плечом к

плечу идут к столу, но во главе садится либо тот, кто толще, либо тот, кто умнее, а второй его ненавидит. И клянется быть в следующий раз проворнее, поторопиться и усесться первым. Конечно, потом они будут сманивать друг у друга жен, красть овец и браниться. Они купаются в грязных сплетнях, а им кажется, доискиваются до истины. Но я не вслушиваюсь в бестолковый шум.

Если хочешь, чтобы они любили друг друга, не бросай им зерна власти, которое пришлось бы делить. Пусть один служит другому, и оба — царству. Тогда они будут помогать друг другу и строить вместе.

Отец жестоко наказал губернаторов и генералов за гвалт бессмысленных ссор.

— Царству нет дела до ваших распрей! — сказал им отец. — Я приказываю генералу подчиняться губернатору. С губернатора взыщу за неумение приказывать, с генерала за неумение повиноваться. И обоим советую замолчать.

Во всех концах страны начались примирения. Вернулись похищенные верблюды. Неверных жен простили и оправдали. Оскорбления извинили. Похвалы начальника радовали подчиненного, и жизнь у него стала намного приятнее.

Начальника радовала власть, и своей властью он возвышал подчиненного: пропускал его вперед и сажал во главе стола на торжествах.

— Дело не в чьей-то глупости, — говорил отец. — Дело в словах, которые передают пустяки, не достойные внимания. Приучи себя не вслушиваться в ветер слов и не вникай в рассуждения, которыми обманывают себя люди. Будь проницателен. Ненависть совсем не бессмысленна. Пока каждый камень не встал на место, храма нет. Но когда все камни на месте и служат храму, значимы только тишина и молитва. И к чему тогда вспоминать о камнях?

Вот и я не обратил внимания на трудности моих генералов. А они просили меня вникнуть в проступки людей, отыскать причину их разногласий, навести порядок. Но я с молчаливой любовью обошел мой лагерь и еще раз посмотрел, как они ненавидят друг друга. Потом закрыл дверь и стал молиться Господу:

— Господи! Они враждуют, потому что не строят больше царства. Я не обманываюсь, думая, что царство не строится больше оттого, что они принялись враждовать. Научи меня, Господи, какой должна быть башня, чтобы они, несмотря на все свои несогласия, захотели потратить себя

на нее. Башня, которая нуждалась бы в каждом из них и каждого бы насытила, понудив достигнуть предела своих возможностей и обогатив ощущением величия.

Я — дурной пастух, у меня короткий плащ, и я не умею сплотить их так, чтобы все они укрылись его полой. Они ненавидят друг друга, оттого что замерзли. Ненависть — всегда неудовлетворенность. У всякой ненависти есть глубинный смысл, но она его прячет. Былинки во вражде между собой и иссушают друг друга. Дерево, растя каждую из ветвей, становится мощнее. Дай мне, Господи, край Твоего плаща, чтобы укрыть им воина и землепашца, ученого мужа и просто мужа — и жену, и плачущего младенца — всех, всех до единого…

Речь зашла и о добродетели. Мои генералы, дотошные и недалекие, пришли ко мне поговорить о ней.

— Все наши беды, — сказали они, — оттого, что люди развратились. Их пороки разваливают царство. Нужно устрожить законы, ужесточить наказания. Нужно рубить головы тем, кто провинился.

А я? Я размышлял:

— Может, и впрямь пора рубить головы. Но

добродетель всегда только следствие. Испорченность моего народа говорит о порче царства, которое требует для себя людей подстать. Здоровое царство питает в людях благородство.

И я вспомнил, что говорил мне отец:

— Добродетель — не беспорочность, она — поощрение в человеке человеческого. Вот я решил выстроить город и собрал всех подонков и проходимцев, чтобы они облагородились благодаря доверию и ощущению собствен ной силы. Я одарил их упоением, не похожим на бедное упоение от краж, взломов и насилий. Их жилистые руки созидают. Их гордыня становится башнями, храмом, крепостной стеной. Жестокость — величием и суровой дисциплиной. Посмотри, они стали слугами города, рожденного их руками. Города, в который вложили душу. Спасая свой город, они умрут у его стен. Посмотри, они — воплощенная добродетель.

Воротить нос от навоза — этой мощи земли — из-за червей и вони — значит поощрять небытие. Нельзя хотеть, чтобы человек перестал потеть. Вместе с потом ты изничтожишь и людскую силу. Во главе царства поставишь кастратов. Кастраты уничтожат пороки, которые свидетельствуют о силе — силе без доброго применения. Кастра-

ты уничтожат силу и вместе с ней жизнь. Став хранителями музея, они будут блюсти мертвое царство.

— Кедр, — говорил отец, — питается брением, но превращает его в смолистую хвою, а хвою питает солнце.

— Кедр, — говорил мне отец, — это грязь, достигшая совершенства. Очистившаяся до высокой добродетели грязь. Если хочешь спасти свое царство, позаботься об усердии. Усердие очистит и объединит людей. И тогда те же самые поступки, стремления и деяния, которые разрушали твой город, будут укреплять его.

И вот что еще сказал он:

— Стоит закончить строительство, город умрет. Люди живут, отдавая, а не получая. Деля накопленное, люди превращаются в волков. Усмирив их жестокостью, ты получишь скотину в хлеве. Но разве возможно закончить строительство? Утверждая, что завершил свое творение, я сообщаю только одно: во мне иссякло усердие. Смерть приходит за теми, кто успел умереть. Совершенство недостижимо. Стать совершенным — значит стать Господом. Нет, никогда не завершить мне мою крепость…

* * *

Вот почему я не уверен, что мне помогут отрубленные головы. Конечно, дурную голову лучше отсечь, чтобы не портила остальные, — гнилое яблоко выбрасывают из подпола и больную корову выводят из хлева. Но лучше поменять подпол и хлев, они в первую очередь в ответе за гниение и болезни.

И зачем карать, если лучше обратить в свою веру? И я помолился Господу:

— Господи! Дай мне край Твоего плаща, чтобы я укрыл всех, кого тяготят несбыточные желания. Я устал карать в страхе за свое царство тех, кому не сумел дать приют. Я знаю, они — соблазн для других и угроза моей несовершенной истине, я знаю, истина есть и у них, и знаю, они тоже полны благородства…

XVII

Ветер слов — тщета, я всегда презирал его. Я не верю в пользу словесных ухищрений. И когда мои генералы, дотошные и недалекие, говорят мне: «Народ возмущен, но вот какой фокус мы проделаем…» — я гоню их прочь.

На словах можно фокусничать как угодно, но что создашь с помощью фокусов? Что делаешь, то и получаешь. То, над чем трудишься, ничуть не больше. И если, добиваясь одного, твердишь, что стремишься к другому, прямо противоположному, то только дурак сочтет тебя ловкачом. Осуществится то, к чему ты стремился делом. Над чем работаешь, то и создаешь. Даже если работаешь ради уничтожения чего-то. Объявив войну, я создаю врагов. Выковываю их и ожесточаю. И напрасно я стану уверять, что сегодняшнее насилие породит завтра свободу, — я внедряю только насилие. С жизнью не слукавишь. Не обманешь дерево, оно потянется туда, куда его направят. Прочее — ветер слов.

И если мне кажется, что я жертвую вот этим поколением во имя счастья последующих, я просто-напросто жертвую людьми. Не этими и не

теми, а всеми разом. Всех людей я обрекаю на злосчастье. Прочее ветер слов.

И если я воюю во имя мира, я укрепляю войну. С помощью войны не установить мира. Довериться миру, который держится на оружии, и разоружиться — значит погибнуть. Я могу установить мир только мирным путем. Иными словами, готовностью принимать и вбирать, желанием, чтобы каждый человек обрел в моем царстве воплощение своей мечты.

Люди любят одно и то же, но каждый по-своему. Несовершенство языка отторгает людей друг от друга, а желания их одинаковы. Я никогда не встречал людей, любящих беспорядки, подлость и нищету. Во всех концах Вселенной люди мечтают об одном и том же, но пути созидания у каждого свои. Один верит, что человек расцветет, став свободным, другой — что человек станет совершеннее в тисках принуждений, но оба они мечтают о величии человека. Этот верит в милосердие, которое объединит всех, другой презирает его, видя в нем потакание зловонным язвам, и понуждает людей строить башню, чтобы они почувствовали необходимость друг в друге, но оба они хотят, чтобы люди жили в любви. Один верит, что важнее всего благоденствие:

избавленный от забот и тягот человек будет развивать ум, думать о душе и сердце. Другой не верит, что совершенство души зависит от пищи и досуга, считая, что душа возрастает, неустанно даря себя. Он считает прекрасным лишь тот храм, который стоит многих усилий и возводится из бескорыстного служения Господу. Но оба они хотят облагородить сердце, душу и ум человека. И оба по-своему правы: кого облагородят рабство, жестокость и отупение от тяжких трудов? Но не облагородят и распущенность, расхлябанность, потакание гниющим язвам и мелочная суета, рожденная желанием хоть как-то занять себя.

Но смотри, люди уже взяли в руки оружие, чтобы защитить общую для всех любовь, которую эфемерные слова сделали такой различной. Идет война, идет поиск, борьба, и пусть хаотично, но люди все-таки движутся в направлении, которое властно управляет ими, они похожи на дерево, о котором пел мой поэт: слепое, оно оплетало стены своей темницы, пока не вышибло наконец чердачное окно и, прямое и торжествующее, не потянулось к солнцу.

Я не навязываю мира. Принудить к миру — значит создать себе врагов и растить недовольство. Действенно лишь умение обратить в свою веру,

а обратить означает и приютить. Протянуть каждому удобную одежду по росту, укрыть всех одним плащом. Обилие противоречий говорит лишь об отсутствии гениальности. И я повторяю мою молитву:

— Просвети меня, Господи! Дай возвыситься мудростью и примирить всех, никого не принуждая отказаться от рожденных усердием желаний. Примирить, объединив новой мечтой, которая покажется им давней знакомой. Вот и на корабле, Господи, те, кто натягивает паруса у левого борта, спорят с теми, кто натягивает их у правого. И если ненавидят друг друга, то от непонимания. Но если открыть им глаза на целое, они поймут, что они друг другу помощники и служат ветру.

Медленно растет древо мира. Словно кедру, нужно ему вобрать и переработать множество песчинок, чтобы создать из них единство…

Хотеть мира — значит строить хлев, где могло бы уснуть все стадо. Строить дворец, где хватило бы места всем и не надо было бы оставлять свою кладь у двери. Не надо ничего отрезать и калечить ради того, чтобы войти и разместиться. Печься о мире — значит просить у Господа плащ пастуха, чтобы укрыть каждого, как бы далеко ни простирались его желания. Хватает же у матери

любви на всех ее сыновей, и на застенчивого и робкого, и на жадного к жизни, и на тщедушного никчемного горбуна. Что ей до их несхожести? Каждый трогает ее сердце. И каждый, любя ее по-своему, служит ее славе.

Но как медленно растет древо мира. И света ему нужно куда больше, чем есть у меня. Мне еще ничего не ясно. Я выбираю и потом отказываюсь. Легко было бы жить мирно, если бы все люди были одинаковы.

Нет, ничему не помогут уловки моих генералов, а они, дотошные и недалекие, пришли ко мне и принялись рассуждать. И мне опять вспомнились слова моего отца. «Искусство рассуждать — это искусство обманывать самого себя», — говорил он.

А генералы рассуждали: «Нежелание воинов служить царству означает, что они одрябли. Мы будем посылать их в засады, они закалятся, и царство будет спасено».

Так мог бы рассуждать профессор, выводя одно умозаключение из другого. Но жизнь — она просто есть. И дерево просто есть. И росток вовсе не средство, которое отыскало семечко, чтобы превратиться в ветку. Семя, росток и ветка — это разрастание.

Я поправил моих генералов: «Воины одрябли, потому что царство умерло в них и больше не наполняет их жизненной силой. Когда в кедре скудеет жизненная сила, он перестает превращать песок в древесину и сам потихоньку становится песком. Нашим воинам нужна вера, тогда они воодушевятся». Но генералы не поняли меня, они сочли мои слова преступным попустительством. Я не стал им возражать. И они довели свою игру до конца, послав людей умирать за сухой колодец, где по случайности расположился враг.

Нет слов, схватка из-за колодца была прекрасна. Она была танцем вокруг вожделенного цветка, и отвоеванная земля становилась наградой победителю вместе с давно забытым желанием побеждать. Испугавшись нас, враг взметнулся беспорядочной стаей воронья, ища себе места то здесь, то там, надеясь почувствовал себя в безопасности. Песок барханов, что прятали его, пропах порохом. Каждый, играя жизнью и смертью, чувствовал себя мужчиной. Каждый, то приближаясь, то удаляясь от колодца, участвовал в танце.

Но будь в колодце вода, игра была бы другой. Лишенный воды и смысла, колодец был игральной костью, на которую не поставили состояния.

Но генералы видели, как, играя в кости, один игрок смошенничал, а другой застрелился, и поверили во всемогущество игральных костей. Они поставили на кон сухой колодец. Но кто станет стреляться, даже если партнер смошенничал, когда на кону пусто?

Мои генералы никогда хорошенько не понимали, что значит для жизни любовь. Они видели, как радуется заре влюбленный, потому что вместе с солнцем в нем проснулось счастье. Видели, как радуются заре воины, потому что солнце приближает их победу. Победу, которая поутру расправляется в них и заставляет смеяться. И генералы поверили во всемогущество зари.

Но я говорю: если нет любви, то не стоит браться ни за какое дело. Если не верить, что осуществится твоя мечта, скучно играть в кости. Скучной будет заря, вернувшая тебя к собственной опустошенности. И со скукой в душе ты отправишься воевать ради бестолкового колодца. Когда ты влюблен, ради своей любви ты готов на самый изнурительный труд, и чем он изнурительней, тем больше твое воодушевление. Ты тратишь себя, ты растешь. Но нужен тот, кто примет отданное. Дарить себя и тратиться попусту — разные вещи.

Мои генералы, видя радость, с какой отдают

себя влюбленные, не догадались, что есть тот, кому они себя отдают. Им не пришло в голову, что для воодушевления мало обобрать и ограбить человека.

Я увидел, с какой горечью умирал наш раненый. Он сказал мне:

— Государь, я умираю… Я отдал свою жизнь. А мне ничего не дали. Я уложил врага пулей в живот, и успел рассмотреть убитого, пока мне за него не отомстили. Мне показалось, что он был счастлив, потому что отныне безраздельно принадлежал тому, во что верил и чему служил. Смерть стала его богатством. А я, я умираю, подчиняясь своему капралу, моя смерть ничего ему не прибавит, а умирая зазря, трудно чувствовать себя счастливым. Я умираю достойно, но меня тошнит…

Остальные? Они разбежались.

XVIII

В тот же вечер, поднявшись на черную скалу, я смотрел на черные точки в треугольнике моего лагеря. Да, он был по-прежнему треугольным, по углам его по-прежнему стояли дозорные, в нем было много пуль, пороха и ружей, и все же он был готов рассыпаться и исчезнуть, как сухое мертвое дерево. Я простил моих воинов.

Я понял: гусеница, приготовив кокон, умирает. Дожив до семян, засыхает цветок. Кто бы ни перерождался, он мучается тоской и отчаянием. Ведь нежданно он сделался ненужным. Кто бы ни перерождался, он — тоска о былом и кладбище. Мой лагерь приготовился к перерождению. Он износил былое царство, которое никто не сумел бы омолодить.

Нельзя вылечить гусеницу, цветок, ребенка. Ребенок переродился, но, желая быть по-прежнему счастливым, требует, чтобы его вернули в детство, вернули занимательность наскучившим играм, сладость — материнским поцелуям, вкус — молоку. Но игры скучны, материнские поцелуи досаждают, молоко отвратительно, и подросток тоскует и мучается. Износив былое царство,

люди, сами того не подозревая, требуют нового. Ребенок, став мужчиной, вырос из материнских объятий и будет страдать от неприкаянности до тех пор, пока не найдет себе жену. Только жена вновь примирит его с самим собой и даст покой.

Но кто в силах показать людям новое царство? Кто из дробности мира может мощью своего гения создать новую картину и заставить людей всмотреться в нее? Всмотреться и полюбить? Нет, не логик, а художник, ваятель. Ваятелю не нужны словесные ухищрения, он наделяет камень силой будить любовь.

XIX

Я позвал к себе зодчих и сказал:

— Вы в ответе за будущий город, — не за душу — за лицо и улыбку. Постарайтесь расселить людей как можно лучше. Город должен быть удобным, чтобы силы в нем не тратились понапрасну. Но имейте в виду и никогда не забывайте разницы между существенным и насущным. Хлеб — насущен, человек должен быть накормлен: голодный — недочеловек, он теряет способность думать. Но любовь, смысл жизни и близость к Богу важнее хлеба. Мне не интересно достоинство пищи. Главная моя забота не в том, будет ли человек счастлив, благополучен и удобно устроен. Меня заботит, какой человек будет счастлив и благополучен. Лавочнику распухшему от безмятежной жизни, я предпочитаю номада, он бежит по следам ветра, и служение такому просторному Богу совершенствует его день ото дня. Бог отказал в величии лавочнику и наделил им номада, поэтому я отправляю мой народ в пустыню. В человеке я люблю свет. Толщина свечи меня не волнует. Яркость пламени скажет мне, хороша ли свеча.

Однако я не замечал, что принц хуже грузчика,

генерал — сержанта, начальник подчиненного оттого, что в их распоряжении куда больше всевозможных благ. Живущие за каменной стеной не кажутся мне хуже тех, кто огородил себя земляным валом. Я не хочу разрушать иерархическую лестницу, которая позволяет человеку подниматься все выше и выше. Но никогда не перепутаю цель и средство, храм и ступени к нему. Лестница необходима, иначе храм будет пуст. Но значим только храм. Необходимо, чтобы каждый жил и у каждого была возможность подниматься все выше. Однако жизнь — только ступени, ведущие к человеку. Храмом будет душа, которую я создам в человеке, душа и есть самое главное.

Я запрещаю вам заниматься насущным, считать его своей целью. Да, дворцу нужна кухня, но значим только дворец, а кухня его обслуживает.

Вот я созвал вас и спросил:

— Зодчие! Что главное в вашей работе?

Вы стояли передо мной и молчали.

Наконец вы ответили:

— Мы служим людям. Даем им кров.

Так служат скоту, строя для него хлев, привязывая в стойле. Да, конечно, стены нужны человеку, он должен быть укрыт, чтобы стать семенем. Но ему нужен и Млечный Путь, и морской простор,

хотя ни звезды, ни море никак ему не служат. Но что значит — служить? Я видел, как долго и тяжело взбирались люди на гору, обдирали колени и ладони, изнуряли себя тяготой подъема, торопясь встретить рассвет на вершине и утолить свою жажду голубой глубиной долины, как утоляют ее водой долгожданного озера. Они садились, они смотрели, они дышали полной грудью. В сердце у них билась радость, они нашли лекарство против усталости от жизни.

Я видел, как стремили люди медленный шаг своих караванов к морю, потому что оно им было нужно. Они стояли на высоком берегу, оглядывая сгустившийся простор, таящий в своих глубинах тишину, кораллы и водоросли, вдыхали горечь соли и любовались бесполезным зрелищем, ведь моря с собой не унесешь. Любовались, и сердца их высвобождались из рабства будничности. Может, уже давно с отвращением и тоской, как на решетки тюрьмы, смотрели они на чайник, кухонную утварь, недовольную жену, — пелену обыденности, которая может быть любимой картиной, таящей сокровенную суть мира, но порой становится саваном, связывает по рукам и ногам, не дает вздохнуть.

Они запасались простором и приносили в дом

покой и счастье, которым надышались. Дом становился другим оттого, что где-то голубела долина на восходе солнца, где-то плескалось море. Все тянется к большему, чем оно само. Все хочет стать дорогой в неведомый мир, окном в него.

Так что не говорите, что служите людям, когда складываете кирпичные стены. Если люди не видели звезд и в вашей власти выстроить для них Млечный Путь с небывалыми пролетами и арками, потратив на строительство целое состояние, неужели вы сочтете, что выбросили деньги на ветер?

Еще и еще раз повторяю вам: если вы построили храм — бесполезный, потому что он не служит для стряпни, отдыха, заседаний именитых граждан, хранения воды, а только растит в человеке душу, умиротворяет страсти и помогает времени вынашивать зрелость, если храм этот похож на сердце, где царит безмятежный покой, растворение чувств и справедливость без обездоленности, если в этом храме болезнетворные язвы становятся Божьим даром и молитвой, а смерть — тихой пристанью среди безбурных вод, — неужели вы сочтете, что усилия ваши пропали даром?

Если вы в силах хоть изредка привечать тех, чьи руки покрылись кровавыми мозолями, кто,

не щадя себя, натягивал в бурю паруса, кто от соленой ласки моря превратился в кровоточащую рану, — привечать в мирных водах гавани, где остановилось движение, время, ратоборство, где мерцает водная гладь, чуть примятая прибытием большого корабля, неужели и тут вы сочтете, что трудились зря? А как сладостна для усталых тихая вода залива после мятущейся гривы морских бурунов…

Вот, чем ваш талант может одарить человека. Сложив камни по-своему, вы выстроите тишину, необычайные надежды и мечту о тихой гавани.

Ваш храм своей тишиной позовет их погрузиться в себя. И они узнают, каковы они. Без храма звать их будут только лавки. И они откроют в себе покупателя. Никогда не родится в них величие. Никогда не узнать им, как они пространственны.

Я знаю, вы скажете: толстяк лавочник и так всем доволен, ничего другого ему и не нужно. Когда у человека мало сердца, удовольствовать его не трудно.

Пусть глупый язык назовет ваши творения бесполезными. Сами люди опровергают словесные суждения. Посмотрите, со всех концов света стекаются они к каменным чудесам, от строи-

тельства которых вы отказались. Вы отказались строить житницы для души и сердца. Но видели ли вы когда-нибудь, чтобы люди объезжали мир ради складских помещений? Да, все пользуются товарами и продуктами, пользуются, поддерживая свое существование, но люди ошибаются, если думают, что пища для них важнее всего. В странствие они пускаются не ради пищи. Кто не видел путешественников? Куда они едут? Что их манит, влечет? Иногда чудесный залив или одетая снегом гора, вулкан, обросший наплывами лавы, но чаще всего утонувший во времени корабль, который только один и может увезти куда-то.

Они обходят его со всех сторон и, сами того не подозревая, мечтают стать пассажирами. Потому что этот корабль увозит из небытия. Но храмы не принимают больше странников, не направляют, не перерождают, как куколка, из личинки в благородную бабочку. Теперешние странники лишились каменных кораблей, у них нет возможности переродиться. В конце странствия они не получат вместо скудной увечной души щедрую и благородную. И вот они кружат вокруг затонувших храмов, осматривают, вглядываются, бродят по истертым до блеска каменным плитам и, за-

блудившись в лесу мраморных колонн, слышат в величественной тишине только эхо собственных голосов. Им кажется, что они обогащаются знанием истории, но биение собственного сердца могло бы подсказать им, что, переходя от колонны к колонне, из зала в зал, из нефа в неф, они ищут вожатого; что, озябнув сердцем, собрались здесь, взывая о помощи, которой неоткуда ждать, что жаждут перерождения, в котором им отказано. Они погребены сами в себе, потому что храмы мертвы и засыпаны песком, потому что здесь лишь корабли, получившие пробоину и потерявшие драгоценный груз полумрака и тишины; голубая вода неба хлещет в обвалившиеся купола, и тихо шуршит песок, всыпаясь сквозь трещины стен. А голод, которым голодны люди, не утолен…

Храмы вы и будете строить, говорю я вам, зодчие. Человеку нужны непроходимые леса, Млечный Путь и равнина в голубой дымке, на которую смотрят с вершины горы. Но сравнится ли необъятность Млечного Пути, голубеющей долины и моря с необъятностью тьмы в каменном чреве, если зодчий сумел наполнить его тишиной? И вы, зодчие, вы сами обретете величие, потеряв интерес к насущному. Созидая поистине

великое, вы переродитесь. Оно не станет служить вам, оно заставит вас служить себе, и вам придется вырасти. Вы превзойдете самих себя. Невозможно стать великим зодчим, строя всю жизнь балаганы.

Вы станете великими, если камни, над которыми вам дана власть, перестанут быть просто камнями, предназначенными служить нехитрым будничным удобствам, но станут ступенями, ведущими к престолу Господа.

XX

Я устал от рассуждений моих генералов, дотошных и недалеких. А они обсуждали будущее, как обсуждают закон в парламенте. И полагали, что очень предусмотрительны. Лучше всего мои генералы знали историю, даты моих побед, даты моих поражений. Даты рождений и смертей они знали наизусть. Они не сомневались, что события вытекают одно из другого. История человечества представлялась им длинной цепочкой причин и следствий, начиналась она с первой строки исторического учебника и продолжалась до той главы, где до сведения грядущих поколений доводилось, что пройденный путь благополучно привел к рождению целого созвездия генералов. Теперь генералы от следствия к следствию усердно выстраивали будущее и со своими тяжеловесными конструкциями шли ко мне. «Вот так ты должен поступать, чтобы народ был счастлив… Так, чтобы установить мир… Так, чтобы царство процветало. Все у нас по науке, мы изучили историю».

Но я-то знаю, что наукой становится только то, что неизменно повторяется. Сажая семечко

кедра, предвидят, что вырастет дерево. Бросая камень, предвидят, что он упадет. Потому что кедр повторяет кедр, падение повторяет падение. И неважно, что камень брошен впервые и впервые посажено семечко. Но кто возьмется предсказать судьбу этого кедра? Из семечка он переродился в дерево, из дерева в семечко, и то, как он будет перерождаться, не имеет себе подобий. Этот кедр существует впервые, он растет по-своему, он — таков, каких еще не бывало. И я не знаю, каким он вырастет. Не знаю я, и куда движется мой народ.

Да, причины того, что произошло, генералы отыскали с помощью логики. «Ибо все имеет свои причины, — объяснили они мне, — и все — свои последствия». Двигаясь от причин к последствиям, они велеречиво вышли на ложный путь. Потому что случившемуся можно отыскать причину, но понять, что случится, по тому, что имеешь, невозможно.

После схватки с врагом я могу прочитать на твердом, мелком песке все, что с ним было. Потому что и мне известно, что одному шагу непременно предшествовал другой, что цепочка вытягивается звено за звеном, не потеряв ни единого. Если только не было ветра, что пренебрежительно смахнул все письмена, словно

вытер ребячью грифельную доску. А без ветра след за следом я доберусь до истока пути и вновь возвращусь к ложбине, где остановился наш враг, сочтя себя в безопасности, и где мы застигли его врасплох. Я прочитал его историю, но у меня нет и намека на то, что случится с ним в будущем. То, что ведет караван, не имеет ничего общего с песком, которым располагаю я. Следы начертили мне контур, но он пуст, он ничего не знает о ненависти, страхе и любви, которые правят людьми.

— Ну что ж, — сказали мне генералы, увязшие в своей безнадежной тупости, — нам все ясно. Мы узнаем, что управляет ими: ненависть, любовь или страх, и поймем, чего ждать в будущем. Будущее укоренено в настоящем…

Я ответил им: да, мы можем предвидеть следующий шаг каравана. Он должен повторить предыдущий и быть точно таким же, как тот. Повторяемость — вот основа нашей науки. Но караван в ту же секунду свернет с пути, предначертанного моей логикой, потому что ему захотелось чего-то совсем иного…

Генералы не поняли меня, и я рассказал им историю о великом бегстве.

Случилось это на соляных копях. Песок и голые камни не слишком пригодны для жизни, но люди

кое-как приспособились. В небе палило белое солнце, а в глубине узких штолен сверкала не вода, а глыбы соли. Соль убила бы любую воду, если б колодцы не высохли сами. Солнце и каменная соль ждали людей, которые приходили сюда с водой в бурдюках и кирками, чтобы крошить прозрачные глыбы, которые были для них и жизнью, и смертью. А поработав, они возвращались на благодатную, щедрую водой землю, привязанные к ней, словно дети к матери.

Жестоким и жгучим, как голод, было здешнее солнце. Вокруг соляных копей гладь песка пропороли черные скалы, твердостью превосходящие алмаз, и ветер с тщетной злобой вгрызался в них. Веками ничего не менялось в незыблемом порядке пустыни, и скалам этим было предназначено стоять еще много-много веков. Веками будет стачивать гору тончайшее лезвие ветра, веками будут добывать соль люди, а верблюды подвозить припасы и воду и отвозить домой этих каторжных…

Но однажды на заре люди взглянули на гору, и явлено им было то, чего они никогда не видели.

Волей ветра, точившего скалу вот уже много веков подряд, на ней показался гигантский лик, и был он гневен. На пустыню, на копи, горстку

людей, прижившихся на окаменевшей соли, куда более жестокой, чем соленая гладь океана, смотрел из пропасти ясного неба черный разгневанный лик, и рот его приготовился изрыгать проклятия. Ужас обуял людей, и в панике они обратились в бегство. Весть достигла работавших в глубине копей, они выбрались наверх, взглянули на гору и со смятенным сердцем заторопились к палаткам, наскоро собрали пожитки, браня жен, детей и рабов, двинулись на север. Но достояние их было обречено под жестоким безжалостным солнцем. У них не было воды, они все погибли.

Бессмыслицей оказались предсказания логиков, которые видели, что ветер очень медленно истачивает гору, а люди во что бы то ни стало цепляются за жизнь. Откуда им было знать, что нежданно возникнет?

Когда я обращаю взгляд к истокам, я вижу вместо храма кучу кирпичей и камня. Мне нетрудно их увидеть. Как нетрудно расчленить труп и увидеть кости и мускулы, расчленить дом и получить кучу щебня, расчленить царство и получить горы, дома, коз и овец…

Но если я направляю свой шаг в будущее, я должен буду считаться с постоянным рождением чего-то нового, оно будет преобразовывать

существующее, но предугадать его мне не дано, потому что оно иной природы. Это новое исчезает и рассеивается, стоит только попробовать его расчленить. Если сложить камни, родится новое — тишина, но она исчезнет, если их разобрать. Лицо возникает как новое для мрамора и исчезает, если мрамор разобьется. Для губ, носа и глаз лицо тоже что-то новое и исчезает, если смотреть только на губы или нос. Что-то новое и царство для домов, гор, овец и коз…

Я не в силах предвидеть, я в силах созидать. Будущее создают. Если у меня рука ваятеля, то прекрасным лицом станут дробные черты моего времени, и то, чего я хочу, осуществится. Но я скажу неправду, утверждая, что сумел предугадать будущее. Я сумел его сотворить. Дробные черты окружающего я превратил в картину, заставил полюбить ее, и она стала управлять людьми. Так управляет подданными царство, требуя иной раз заплатить за свое существование жизнью.

Вот я постиг и еще одну истину: попечение о будущем — тщета и самообман. Проявлять уже присутствующее — вот единственное, над чем можно трудиться. Проявить — значит, из дробности создать целостность, которая преодолеет и уничтожит разброд. Значит, из кучи камней

создать тишину.

Остальные притязания — ветер слов…

XXI

Все мы знаем: в рассуждениях есть логика, но нет истины. Как изощренны были мои доказательства, как весомы доводы, но мои противники не стронулись с места. «Да, конечно, ты прав, — услышал я в ответ, — но все-таки мы думаем по-другому». — «Тупицы!» — можно сказать о них. «Нет, мудрецы!» — не соглашусь я. Они чтут истину, которая не в словах.

А ведь многие считают, что слова несут в себе весь мир, что человеческое слово исчерпывает Вселенную, что слово вмещает в себя и звезды, и счастье, и закат, и царство, и любовь, и зодчество, и боль, и тишину… Но я знаю, человек стоит перед огромной горой и горсть за горстью делает ее своим достоянием.

Я не сомневаюсь, что архитектор, который спроектировал крепостную стену, знает, что такое стена, и по его проекту возможно ее построить. Стена и есть истина для архитектора. Но какой архитектор понимает всю значимость крепостной стены? Разве прочитаешь по чертежу, что стена — это плотина? Поймешь, что она — кора кедра, укрывающая живую плоть города?

Откуда узнаешь, что она — ограда для усердия, что она — помощь и что огражденные незыблемой крепостью люди, поколение за поколением, будут работать на Господа. Для строителей стена — расчеты, кирпич и цемент. Так оно и есть, стена — расчеты, кирпич и цемент. Но она и мидель-шпангоут корабля, и дом, где есть место каждому. Я верю только в личную обособленную жизнь. Обособленная, частная — вовсе на означает ограниченная, скудная. Она — цветок, она — окно раскрытое, чтобы понять весну. Она — весна, преобразившаяся в цветок. Если нет ни одного цветка у весны, она для меня не весна.

Может, и не важна та любовь, с какой жена ждет возвращения мужа. Не важен и прощальный взмах руки. Но этот взмах — примета чего-то бесконечно важного. Может, и не важен свет одного окошка в городе — светит маленький фонарик на корабле, — но за ним чья-то жизнь, и у меня нет меры, чтобы измерить ее важность, смысл и значение.

Стены — кора, кокон. Город — личинка, город — дерево. Светящееся окно — цветок на его ветке. И возможно, за этим окном бледный малыш пьет молоко, не умеет пока молиться, играет, шалит и станет завоевателем будущего, заложит новые

города и обнесет их крепостными стенами. Он — семечко моего дерева. Важное семечко, неважное семечко — откуда мне знать? Я и не думаю об этом. Ведь я уже говорил: не надо членить дерево, чтобы понять и почувствовать его.

Но строитель не подозревает о растущем дереве. Он уверен, что знает толк в крепостных стенах, потому что поставил их. Он уверен: его расчеты — основа и суть любой стены, подкрепи их кирпичом и цементом, и встанет стена — укрепление города. Но смысл стены несводим к чертежу и расчету, и если возникнет необходимость объяснить вам, что такое стена, то я соберу вас вокруг себя, и год за годом вы будете учиться постигать ее, и трудам вашим не будет конца, потому что нет такого слова, чтобы оно исчерпало ее смысл, суть и сущность. Ведь и я только обозначаю что-то знаками, только знак — расчеты строителей, и кольцо мужских рук, оберегающее беременную жену, таящую в себе мир и будущее, — тоже только знак.

Все мы похожи на человека, который бедными своими словами объясняет печальному, что печалиться ему не о чем, но разве словом справиться с горем? Или с радостью? Или с любовью? Разве излечивают слова от любви? Слово — это попыт-

ка соединиться с сущим и присвоить его себе. Вот я сказал «гора» и забрал ее вместе с гиенами, шакалами, затишками, подъемом к звездам, выветренным гребнем… но у меня всего-навсего слово, и его нужно наполнить. И если я сказал «крепостная стена», то нужно наполнить и это слово. По-своему наполняет это слово строитель, поэт, завоеватель, бледный малыш и его мама, которая благодаря этой стене спокойно раздувает огонь в очаге и ставит греть к ужину молоко, не опасаясь, что ее потревожит кровавая резня. Можно рассуждать о постройке моих стен, но как рассуждать о самих стенах, если наш язык не в силах вместить их целиком? Слово знак, он верен для чего-то одного и не верен для чего-то другого…

Желая показать мне город, меня пригласили подняться на гору. «Посмотри, вот наш город», — сказали мне. И я залюбовался четким порядком улиц и рисунком крепостных стен. «Вот улей, — подумал я, — в котором уснули пчелы. Ранним утром они разлетятся по полям за медом. Люди трудятся и пожинают плоды. Вереница осликов повезет в житницы, амбары и на рынки плоды их дневных трудов… Город отпускает своих жителей на заре, чтобы вечером собрать их с грузом

припасов на зиму. Человек — это тот, кто производит и потребляет. Я помогу ему, если упорядочу производство и распределение, отладив их, как в муравейнике».

Другие, показывая мне город, перевезли меня через реку, чтобы я полюбовался им с противоположного берега. На закатном небе нарисовались темные силуэты: дома повыше, пониже, побольше, поменьше, и минареты, как мачты, дотянулись до пурпуровых дымных облаков. Мне показалось, я вижу флот, готовый к отплытию. Незыблемый порядок, установленный зодчими, перестал быть сутью города, ею стало обживание новых земель при попутном ветре для каждого корабля. «Вот, — сказал я, — горделивая поступь завоевания. Пусть главными в моих городах станут капитаны, только вкус незнаемого, творчество и победа делают человека счастливым». И слова мои не были ложью, но не были и истиной, они просто говорили о другом.

Третьи, желая, чтобы я полюбовался их городом, увлекли меня в глубь крепости и привели в храм. Я вошел, и меня обняла тишина, полумрак и прохлада. Я задумался. И размышление показалось мне драгоценней и побед, и пищи. Я ем, чтобы жить, живу, чтобы побеждать, и

побеждаю, чтобы вернуться к себе и предаться размышлениям, чувствуя, как ширится душа в тиши моего отдохновения. «Вот, — сказал я, — истинная сущность человека, живит его душа. Главными в моих городах будут пастыри и поэты. Благодаря им, в людях расцветут души». И эти слова не были ложью, но истиной тоже не были, они опять были о другом.

Теперь, став мудрее, я не пользуюсь словом «город» для логических рассуждений, словом «город» я обозначаю все, что легло мне на сердце, все, что я узнал и пережил: мое одиночество на его улицах, распределение пищи под кровом, горделивый силуэт на равнине, прекрасную четкость рисунка с высоты горы. И многое другое, чего мне не дано выразить в слове или что я позабыл в эту минуту. Так как же рассуждать при помощи слов, если знак верен для чего-то одного и неверен для чего-то другого?..

XXII

Мне показалось, что нет ничего драгоценней наследства, какое передают друг другу люди из поколения в поколение…

Не спеша, я иду по моему городу, смотрю на него с молчаливой любовью и вижу: вот невеста говорит с нареченными и улыбается ему с робкой нежностью, вот жена, она ждет с войны мужа, вот хозяйка, она выговаривает за нерадивость служанке, вот оратор, он проповедует смирение, а может быть, необходимость справедливости, вот прохожий, он возмутился, раздвинул толпу зевак и встал на защиту слабого, вот резчик, он режет слоновую кость и в сотый раз начинает работу сызнова, приближаясь шаг за шагом к таящемуся в нем совершенству.

Я смотрю, как засыпает мой город, слушаю молкнущий шум, похожий на замирающее гуденье потревоженных цимбал, и мне кажется, что звенеть его заставило солнце, как заставляет оно звенеть летящих пчел, а вечер отяжеляет их, он закрывает цветы, запирает аромат, чтобы не вился больше тропкой в русле ветра. Я вижу, меркнут мои угольки, подергиваются пеплом,

укрыв свое достояние — кто зерно в амбар, кто детей, игравших на пороге, кто собаку, осла, кто стариковский табурет…

Город мой затихает, словно огонь, дремлющий под пеплом, и все размышления, молитвы, намеренья, рвение, страхи, сердечные желания, «да» и «нет», нерешенные, ждущие разрешения, вопросы, ненависть, ожидающая зари, чтобы начать убивать, самолюбивые притязания, ослепшие в темноте, мольбы, обращенные к Господу, оставлены и не нужны, словно лестницы в закрытом магазине, все отложено, все кажется мертвым, но родовое наследство, никому не нужное сейчас, не уничтожено, оно сохраняется, и солнце, разбудив улей, оделит им каждого, и разберут: кто — свои поиски, кто — счастье, кто — горе, ненависть или гордыню, и когда мои пчелы вновь устремятся к своему чертополоху и своим лилиям, я задумаюсь: «Что же они такое, эти люди — хранилища множества картин?»

Я знаю: если бы мне повелели воспитать, научить и наполнить тысячью разноречивых биений еще неодушевленного человека, то язык как средство сообщения был бы для меня мостком слишком узким.

Да, мы способны что-то сообщить, но наши кни-

ги хранят лишь ничтожную часть общеродового наследия. Если я соберу детей, устрою кучу малу и буду каждого учить чему попало, я пущу на ветер немалую часть нашего наследства. Дурная участь ждет и мое войско, если я не буду поддерживать в нем преемственность поколений и не сделаю его династией без смутных времен. Конечно, капралы всегда будут обучать новобранцев. Конечно, солдаты всегда будут подчиняться генералам. Но слова капралов и генералов слишком малы, чтобы передать весь необъятный накопленный жизнью опыт, не сводимый ни к одной из формул. Невозможно передать полноту понятия словом или книгой. Ведь каждая жизнь определена внутренними пристрастиями, особенностями восприятия, нежеланиями и устремлениями, образом мыслей, способом действий… Но если бы я попробовал все это растолковать, то не осталось бы вообще ничего.

Моя любовь создала царство, но если я расскажу о козах, овцах, домах, горах, что от него останется? Сокровенное и сущностное передается не словом, а приобщением к любви. Любовью, пробуждающей любовь, передают люди накопленное наследство. Но отторгните один-единственный раз одно поколение от другого, и любовь умрет.

Если старшие в моем войске перестанут заботиться о младших, войско станет вывеской на нежилом доме, который рассыплется при первом же толчке. Если отнять у мельника сына, улетит душа мельницы, исчезнет уклад, усердие, тысяча неприметных умений и навыков, объяснить которые невозможно, но они существуют. В том, что существует, запрятано больше премудрости, чем может вместить слово. А вы требуете, чтобы люди перестроили мир только потому, что прочитали какую-то книжонку. В этой книжонке нет ничего, кроме умозрительных схем, пустых и неплодотворных по сравнению с живым опытом жизни. Человек показался вам нехитро устроенной, беспамятной скотинкой, но вы позабыли, что человечество живет подобно дереву, живет потому, что один человек важен для другого, узловатый ствол, ветки, листья — все это одно и то же дерево. Вот оно, мое огромное дерево, и откуда мне знать, что такое смерть? Я смотрю с холма на мой город: там и здесь слетает листок, там и здесь набухает почка, и густота кроны неизменна. Частные неблагополучия не вредят живоносной сердцевине: смотри — храм продолжает строиться, житница одарять и пополняться, песни придумываться, а родник сверкать все

ярче. Но вот ты порвал связь времен, отторг одно поколение от другого, ты захотел, чтобы зрелый человек стал бессмысленным младенцем, забыл все, что узнал, постиг, перечувствовал, чего хотел и чего опасался; ты предложил вместо нажитой плоти опыта скудную книжную схему и уничтожил живые соки, бежавшие по стволу, — в людях осталось только то, что пригодно для схемы. Слова искажают, чтобы вместить, упрощают, чтобы передать, и убивают, чтобы понять, — твоих людей перестала питать жизнь.

И я напоминаю: чтобы город жил, нужно заботиться о династиях. Если мои целители будут всегда из одних и тех же семей и в их распоряжении будет наследственный опыт всех поколений, а не горстка слов, то врачевать мои врачи будут лучше, чем те, каких с великим тщанием я отберу среди сыновей мельников и солдат. Но я не отрицаю призвания, плодоносному дереву можно привить и чужеродную ветку. Династии примут и преобразуют то новое, что будет поставлять им призвание.

Еще и еще раз мне показали: логика убивает жизнь. И сама по себе она пуста…

Любители формул и схем не знают человеческой сущности. Они спутали плоскую тень

и объемистое золотисто-коричневое дерево с раскидистой смолистой кроной, полной птиц, — ветер слов слаб, ему не выдюжить тяжести кедра. Они спутали обозначение явления с самим явлением.

И я понял, не нужно и вредно избегать противоречий. И сообщил об этом генералам, которые пришли поговорить со мной о порядке, но спутали силу, которая все расставляет по местам, с упорядоченностью музея.

Дерево для меня и есть порядок. Порядок дерева — это целостность и единство, торжествующие над дробностью и разнородностью. На одной его ветке — гнездо, на другой пусто. Одна ветка тянется к небу, другая клонится к земле. Но мои генералы в рабстве у картинок из военных журналов, их порядок — это единообразие. Если я дам им волю и позволю упорядочить святые книги, где явлен порядок Господней мудрости, они начнут с букв, ведь и ребенку ясно, что буквы перемешались… В одно место они соберут все «А», потом все «Б», потом все «В», и книга, наконец, будет упорядочена. Специальная книга для генералов.

Генералам невмоготу терпеть то, что никак не укладывается в формулу, что еще в пути,

что вступило в противоречие с какой-нибудь из общеизвестных истин. Откуда им знать, что слова только обозначают, но не передают суть, поэтому словесные истины могут противоречить друг другу? Какое противоречие, если я скажу «лес» и скажу «царство»? Хотя леса могут быть разбросаны по многим царствам и нет царства, целиком покрытого лесом, хотя у меня в царстве может быть множество лесов и ни одного, который целиком помещался бы в моем. Но мои генералы, если уж они взялись славить царство, будут рубить головы поэтам, которые славят лес.

Одно дело — противостоять и другое — противоречить. Жизнь — единственная истина для меня, и я не признаю иного порядка, кроме целостности, которая объединила в одно дробность мира. Дробность сама по себе не занимает меня. Мой порядок — это общее дело, где каждый в помощь благодаря другому. Я должен стать творцом, чтобы поддерживать такой порядок. Я должен творить язык, который будет истощать противоречия. Потому что язык — это тоже жизнь. Нельзя отказываться от чего бы то ни было ради порядка. Можно отказаться от жизни и выстроить мой народ, как горшки вдоль дороги, — порядок будет безупречным. Можно заставить мой народ жить

по законам муравейника, и опять будет безупречным порядок. Но по нраву ли мне муравьи? Я люблю человека, одухотворенного животворящими божества ми, которые я вырастил в нем, чтобы он тратил себя и свою жизнь на большее, чем он сам: на дом, родину, Господнее царство. Так зачем мне мешать людям спорить, раз я знаю: успех рождается множеством безуспешных усилий. Раз я знаю: человека взращивает творчество, а не воспроизведение готового. Воспроизведение по образцам истощает человека. Даже корабль нужно изменять и расширять, если ему предстоит плыть по жизни дальше. Уцепившись за неизменность формы, создаешь экспонаты для музея, цепляешься за смерть, за рутину. Я различаю: вот преемственность, а вот повторение. Вот устойчивость, а вот косность. Косность не служит крепости кедра, крепости царства. «Ну, наконец-то, — обрадовались генералы, — мы обрели истину, и она останется незыблемой». А я? Я ненавижу оседлых и обывателей. Завершенный город — некрополь.

XXIII

Плохо, если сердце возобладало над душой.

Плохо, если чувство возобладало над духом.

Вглядываясь в мое царство, я понял: легко объединяет людей не дух, а чувство, но дух выше чувства. Значит, дух должен сделаться чувством, но совсем не потому, что чувство важнее. Нельзя, чтобы творец был в подчинении у народа. Творчество должно открыть народу, чего ему желать. Он должен вкусить от духа и полученное сделать чувством. Народ — желудок; полученная пища должна стать светом и благодатью.

Соседний государь создал свое царство, выносив его своим сердцем. Народ его стал величальной песнью созданному царству. Но этот народ не доверял одиноким, боялся горных троп, вьющихся, словно плащ пророка, бесед со звездами и их ледяных вопросов, тишины и голоса, звучащего и молчащего в тишине. Тот, кто в одиночестве поднялся на горную вершину, вернулся, причастившись Божественной пищи. Он спустился, спокойный и величавый, пряча неведомый мед под своим плащом. Мед приносят лишь те, кто уединился. И мед их всегда горек. Новое плодо-

носное слово всегда горько, ибо, повторяю, — нет радостных преображений. Я ращу вас и, значит, словно нож из ножен, извлекаю из собственной кожи, чтобы нарастить, как на змее, новую. Только так из нехитрой песенки родится псалом, от искорки займется лес.

Но человек, отвернувшийся от незатейливой мелодии, но народ, запретивший одному из себе подобных быть свободным и подниматься в горы, убивает дух. Тишина — единственный простор, где дух расправляет крылья.

XXIV

Я размышлял о тех, кто использует, ничего не давая взамен. Вот государственный муж, он лжет, хотя власть его держится на доверии к сказанному. Благодаря доверию его слово действенно. Благодаря доверию действенна его ложь. Но, воспользовавшись так своим оружием, я притуплю его. Сегодня я победил противника ложью, завтра я останусь перед врагом безоружным.

Вот стихотворец, он прославился, сломав общепринятые правила синтаксиса. Шоковый эффект часто ведет к успеху. Но он — браконьер, из личной выгоды он разбил сосуд с общим достоянием. Ради самовыражения не пощадил возможности выражать себя каждому. Желая посветить себе, поджег лес и всем остальным оставил пепел. Нарушения войдут в привычку, я никого больше не изумлю неожиданностью. Но мне уже не воспользоваться благородной красотой утраченного стиля. Я сам обессмыслил его фигуры, прищур, умолчания, намеки — всю гамму условных знаков, которую так долго и так тщательно нарабатывали, научившись говорить с их помощью о самом тайном, самом сокровенном.

Я выразил себя тем, что сломал инструмент для самовыражения. Инструмент, который принадлежал всем.

Не люблю издевок, насмехаются всегда трутни. Нами правит правитель, мы относимся к нему почтительно, но, издеваясь, я сравнил его с ослом и поразил всех своей дерзостью. Пройдет время, и осел-правитель станет для всех привычной обыденностью, но такая очевидность совсем не смешна. Я разрушил иерархию, возможность подняться вверх, полезное честолюбие, представление о величии. Я растратил капитал, которым пользовался не я один. Ограбил житницу и зерна пустил на ветер. Я использовал величие правителя в своих целях и разрушил то, что создавали другие. Вот в чем мое предательство, мое преступление. Мне предоставили возможность выразить себя. Я выразил себя тем, что уничтожил такую возможность. И предал всех.

Поэт, который жестоко работает над собой, желая воспользоваться накопленным наследством, совершенствует инструмент, пользуясь им. Правитель, говорящий правду своему народу, несмотря на тягость ее и горечь, не растеряет союзников, ведя войну. Тот, кто заботится о возможностях роста для человека, готовит себе

помощь, которая завтра сослужит ему службу.

XXV

Поэтому я созвал воспитателей и сказал им:

— Ваш долг не убить человека в маленьких людях, не превратить их в муравьев, обрекая на жизнь муравейника. Меня не заботит, насколько будет доволен человек. Меня заботит, сколько будет в нем человеческого. Не моя забота — счастье людей. Кто из людей будет счастлив — вот что меня заботит. А довольство сытых возле кормушки — скотское довольство — мне не интересно.

Не снабжайте детей готовыми формулами, формулы — пустота, обогатите их образами и картинами, на которых видны связующие нити.

Не отягощайте детей мертвым грузом фактов, обучите их приемам и способам, которые помогут им постигать.

Не судите о способностях по легкости усвоения. Успешнее и дальше идет тот, кто мучительно преодолевает себя и препятствия. Любовь к познанию — вот главное мерило.

Не учите их, что польза — главное. Главное — возрастание в человеке человеческого. Честный и верный человек гладко выстругает и доску.

Научите их почтению, потому что насмехаться

любят трутни, для них не существует целостной картины.

Боритесь против жадности к вещам. Они станут людьми, если вы научите их тратить себя, не жалея; если человек не тратит себя, он закостеневает.

Научите их размышлению и молитве, благодаря им расширяется душа. Научите не скудеть в любви. Чем заменишь любовь? Ничем. А любовь к самому себе — противоположность любви.

Карайте ложь и доносительство. Бывает, что и они помогают человеку и, на первый взгляд, в помощь царству. Но силу рождает только верность. Нельзя быть верным здесь и неверным там. Верный всегда верен. Нет верности в том, кто способен предать товарища, с которым вместе трудится. Мне нужно сильное царство, и я не собираюсь основывать его мощь на человеческом отребье.

Привейте им вкус к совершенству, ибо любое дело — это путь к Господу, и завершает его только смерть.

Не учите их, что главное — прощение и милосердие. Плохо понятые, обе эти добродетели обернутся потаканием нечисти и гниению. Научите их благому сотрудничеству — общему делу,

где каждый в помощь благодаря другому. И тогда хирург поспешит через пустыню к человеку с разбитой коленкой. Потому что речь идет об исправности повозки. А вожатый у них один.

XXVI

Я задумался о великом таинстве изменения самого себя, о преображении. Жил когда-то в нашем городе прокаженный.

— Пойдем, я покажу тебе прорву, — сказал отец.

И он повел меня на окраину, где за домами виднелся голый замусоренный пустырь. Маленький домишко стоял посреди пустыря за забором, отгородившим прокаженного от остального мира.

— Ты, верно, думаешь, что он страдает? Присмотрись, он сидит на пороге и зевает. В нем умерла любовь, только и всего. Отверженность сгноила его, всего-навсего. Запомни, отверженность не терзает болью, она изнашивает тебя день за днем. В изгнании питаются снами и в кости играют понарошку. Да, он сыт, но что толку в сытости? Он — король царства теней.

Наше спасение в необходимости, — продолжал отец. — Что за игра в кости без денег? Что за жизнь в мечтах? Мечты не приносят счастья, они слишком податливы. Как безнадежен рой мечтаний, заполняющий пустоты юности. На пользу каждому все, что сопротивляется и противится.

Не болезнь — беда прокаженного — податливость жизни. У него нет необходимости идти, он стал скотом возле кормушки.

Горожане приходили поглядеть на прокаженного. Окружив забор, они затаивали дыхание, словно заглядывали после тяжелого подъема в кратер вулкана. Они бледнели, словно уже услышали грозный гул в глубине земли. Жизнь за забором казалась им исполненной тайны. Но тайны в ней не было.

— Не тешь себя иллюзиями, — сказал отец, — не выдумывай прокаженному бессонных ночей, отчаяния и рук, заломленных в бессильной ярости против самого себя, Господа и всех людей на свете. Он — неучастие, и с каждым днем все дальше и дальше от нас. Что связывает его с людьми? Глаза ему затянула пелена гноя, бессильные руки повисли плетьми. Городской шум для него — шум проезжающей неведомо где телеги. Жизнь — не слишком понятное зрелище. А что такое зрелище, спектакль? Пустяк, он ничего не стоит. Живит только то, что переделывает тебя. Нельзя жить, превратившись в склад с мертвым грузом. Мог бы жить и прокаженный, подвози он на лошади камни для постройки храма. Но нет, этого снабдили всем.

Со временем вошло в обычай навещать прокаженного каждый день, сострадать ему и через забор, отгородивший его от мира, перекидывать ему приношения. Он стал божком, ему служили, его украшали и одевали, кормили лучшими яствами. В праздник чествовали музыкой. И все же он оставался нищим. Нуждался во всех, но никто не нуждался в нем. Все у него было, кроме того, чем он мог бы поделиться.

— Ты видел деревянных идолов, — сказал отец, — они тоже обвешаны дарами. Перед ними возжигают свечи, им кадят дымом жертвоприношений, украшают драгоценностями. Но поверь, преображаются и растут люди, жертвуя своему божеству золотые браслеты, драгоценные каменья, — деревянный идол пребывает деревом. Он не может переродиться. Дерево живет, преображая землю в цветы.

Я смотрел на прокаженного, он вышел из лачуги и обвел толпу незрячим, тусклым взглядом. Говор собравшейся толпы мог бы польстить ему, но для него он значил не больше дальнего шума волн. Он находился вне досягаемости. Нас ничего не связывало друг с другом. И если кто-то в толпе громко жалел его, взгляд прокаженного туманился презрением… Изгой. Его воротило от

игры, где все понарошку. Что за жалость, если не берут на руки и не баюкают? Ведь по-настоящему он для нас не существовал. И когда в нем просыпался вдруг животный инстинкт, и он загорался яростью в раздражении на толпу, что глазела на него, как на ярмарочную забаву, — яростью, по существу поверхностной, ибо мы не были частью его жизни, как дети вокруг пруда, где едва шевелится одиночка карп, — его ярость не задевала нас. Бессильная ярость. Ярость не способная нанести удар, швыряющая на ветер пустоту слов. Мне показалось: взяв на себя его пропитание, мы его ограбили.

Я вспомнил прокаженных Юга, они взирали на оазис с высоты своего коня, с которого, по закону о проказе, не имели права спешиться. Они опускали вниз палку с плошкой и смотрели вокруг тяжелым равнодушным взглядом: счастливое лицо для них — лишняя возможность удачной охоты. Да и чем могло досадить им чужое счастье? Чуждое и далекое, вроде незаметной возни полевок на лугу. Вот они и смотрели вокруг тяжелым равнодушным взглядом. Тихим шагом подъезжали к лавчонке, опускали на веревке корзину и терпеливо ждали, пока лавочник захочет наполнить ее. Не по себе становилось от их

тяжелого равнодушного терпенья. Неподвижно стояли они вдоль нашей улицы и были для нас лишь пристанищем страшной болезни, жадной, прожорливой печью, сжигающей человеческую плоть. Они были для нас тем, что стараешься миновать, — заброшенным пустырем, обителью зла. Но чего ждали они сами? Ничего. Ждут ведь не от себя, ждут от иного, чем ты. И чем скуднее твой язык, тем грубее и проще твоя связь с людьми, тем меньше знакомы тебе скука и томление ожидания. Так чего они могли ждать от нас, эти люди, ничем не связанные с нами? Они ничего от нас и не ждали.

— Смотри, — сказал мне отец, — он больше не зевает. Он разучился скучать, скука — тоже тоска по людям.

XXVII

Я понял, что все несчастны. Ночь — вот корабль, на который Господь посадил всех странников, не дав им корм чего. И я решил объединить людей. Но сперва решил понять, что же такое счастье.

Я ударил в колокол. «Придите ко мне, счастливые», — позвал я. Счастливый подобен зрелому плоду, источающему сок и сладость. Я видел — женщины, наклонившись вперед, прижимают руки к груди, боясь расплескать полноту счастья. И пришли счастливые и встали по правую мою руку.

«Придите, несчастные!» — позвал я и ударил в колокол для несчастных. «Встаньте от меня по левую руку», — сказал я им.

И, разделив всех, я задумался: «Что же такое несчастье?»

Я не верю в арифметику. Не перемножишь горе на радость. Если среди моего народа страдает один-единственный человек, мука его так велика, как если бы мучился весь народ. Плохо и то, что, мучаясь, человек забывает о царстве.

А радость? Когда замуж выходит принцесса,

танцует и пляшет весь народ. Дерево потратило себя, и распустился бутон. Дерево — это каждая из его веточек, по ним я и сужу о дереве.

XXVIII

Слишком просторным показалось мне одиночество. Тишины и неспешности искал я для моего народа, и вот напился простором души и горней тоской до горечи. А внизу я видел огни вечернего города. Город звал сбиться всех потеснее, запереть двери, прижаться друг к другу. Так все и поступали, а я — я смотрел, как одно за другим гаснут окна, и за каждым из них угадывал любовь. А потом тоску и разочарованье, если любовь не становилась большим, чем просто любовь…

Свет в окне говорил о болезни. Два-три неизлечимо больных — негасимые свечи в ночи. А вот и еще одна мерцающая внизу звездочка — кто-то творит, единоборствуя с неподатливой глиной, он не уснет, пока не вплетет в венок еще одного бессмертника. Несколько окон зажжены безнадежной мукой ожидания. Господь и сегодня собрал свою жатву, кому-то никогда уже не возвратиться домой.

Но были в моем городе и те, кто не спал и бдением своим противостоял опасностям ночи — так бдит дозорный в открытом море. «Это блюстители, — сказал я, — они блюдут жизнь перед

лицом непроницаемой стихии. Они на переднем крае, на пограничье. Нас мало, бдящих в ночи над спящими, с нами беседуют звезды. Нас мало, стойких, мы положились на произвол Господень. Нас мало среди мирных городских жителей, на наших плечах тяжесть города, нас обжигает ветер, упавший со звезд, словно ледяной плащ».

Капитаны, друзья мои, тяжка необъятная ночь. Спящим неведомо, что жизнь — это нескончаемые перемены, напряжение до стона древесины и мука преображения. Нас мало, мы за всех несем общий груз понимания, мы на пограничье, нас обожгла боль, и мы выгребаем к восходу, мы — дозорные на вахте, застывшие в ожидании ответа на немой вопрос, мы из тех, кто не устает верить, что любимая возвратится…

И я понял, что усердие и тоска сродни друг другу. Их питает одно и то же. Бескрайность — их пространство, бесконечность времени — их пища.

— Пусть бдят со мной лишь тоскующие и усердные, — сказал я. — Остальные пусть спят. Они трудятся днем, и не их призвание — пограничье…

Этой ночью город не спал, он лишился сна из-за человека, который на заре искупит смертью свое

преступление. Город верил, что он невиновен. Улицы обходила стража, следя, чтобы люди не собирались вместе, но людей будто что-то выталкивало из дома и притягивало друг к другу как магнитом.

А я? Я думал: «Один мученик разжег пожар. Тюремный узник реет над целым городом, словно знамя».

И мне захотелось посмотреть на него. Я направился к тюрьме — глухим квадратом чернела она на звездном небе. Стражники отомкнули мне ворота, и, заскрипев, они медленно повернулись на петлях. Толстые стены, зарешеченные окна — тяжело от них. Черные стражники сторожили дворы и коридоры, возникая на моем пути, словно хищные ночные птицы… Всюду спертый воздух, всюду глухое эхо подземелья, вторящее шагам по плитам, звону оброненного ключа. Я подумал: «Для чего воздвигать эту громадину, стремясь придавить человека, он так слаб, так уязвим — гвоздя довольно, чтобы лишить его жизни. Неужели же преступник так опасен?»

Все ноги, чьи шаги я слышал, топтали узника. Все стены, все двери, все столбы давили на него. «Он — душа тюрьмы, — сказал я себе, размышляя об узнике. — Он ее смысл, суть и оправдание. И

он же — кучка тряпья, сваленная за решеткой, возможно, он спит и похрапывает во сне. Но каким бы он ни был, он взбудоражил весь город. Вот он отвернулся от одной стены, повернулся к другой, и произошло землетрясение».

Мне приоткрыли глазок, я стал смотреть на узника. Я знал, что мне есть над чем поразмыслить. Я долго смотрел на него, пока наконец его не увидел. А увидев, поду мал: «Наверное, ему не в чем себя упрекнуть, кроме как в своей любви к людям. Каждый зодчий строит свою крепость по-своему. Все способы хороши. Но не все вместе. Потому что тогда не построить крепости».

Лицо, изваянное в мраморе, отвергло множество других возможностей. Каждая была прекрасна. Но не все вместе. Я не сомневаюсь, мечта узника была не хуже моей.

Он и я — на вершине горы. Я один, и он тоже. Этой ночью мы поднялись с ним на вершину мира. Встретились, сошлись. Что делить нам на такой высоте? Как и мне, ему нужно только благо. Но умрет все-таки он.

Мне стало больно.

Прежде чем желание станет деянием, дерево — веткой, женщина — матерью, будет сделан выбор. Жизнь укрепляется несправедливостью

выбора. В красавицу влюблены многие. Послушная жизни, она выберет одного и многих обречет на отчаяние. Сущему не до справедливости. И я понял — созидание прежде всего жестоко.

Я затворил дверь и долго шел коридорами. Меня переполняли восхищение и любовь. На что ему жизнь раба, когда он велик гордыней?

Я проходил мимо стражников, тюремщиков, подметальщиков, все они верно служили своему узнику. Толстые стены берегли его и обрели значимость, как обретают значимость руины замка, благодаря спрятанному в них сокровищу. Я еще раз обернулся и посмотрел на тюрьму.

Башня в зубчатой короне тянулась к звездам — сторожевой корабль шел с важным грузом… «Куда он его везет?» — спросил я у самого себя. А потом, когда я был уже далеко, в ночи раздался ружейный залп…

Я подумал о горожанах: «Они будут плакать о нем».

«Хорошо, что они будут плакать», — подумал я.

И еще подумал: «Он будет роптать, мой народ, размышлять, складывать песни. Они похоронят его. И не похоронят. Опущенное в землю дает всходы. Не мне противостоять жизни, и однажды

он окажется правее меня. Я обрек его на позорную казнь. Придет день, и я услышу, как воспевают его смерть. Песню полюбит ищущий путь к тому, что мной отвергнуто. А я? Куда иду я?

Я иду к иерархии, но не такой, какая сложилась, — к иной. Благо покоя я хочу отличать от омертвения. Стремясь к покою, не хочу расправляться с противоречиями. Я должен вобрать их. Зная при этом, что одна сторона хороша, другая — нет. Не терплю, когда плохое и хорошее смешивают в одну кучу, сладкой кашкой питаются слабаки, поддерживая свое бессилие. Я принял моего врага, чтобы стать больше и сильнее него».

XXIX

Я задумался, разглядывая маску плясуньи, — ее лицо своенравной балованной упрямицы. «Во времена величия царства, — подумал я, — она выбрала себе такую маску. Теперь эта маска — крышка пустой коробки. В человеке исчезла страсть. Исчезли и пристрастия. Никто не хочет выстрадать своего. А если своего не выстрадать, то откуда ему взяться?»

Человек желал добиться. Добился. Но стал ли он счастливее? Счастье в служении желанному. Смотри, стебель трудится над цветком. Счастлив ли он, когда цветок распустился? Нет, наступил конец работы, растение приготовилось умереть.

Я знаю, что такое хотеть. Жаждать дела. Желать достигнуть, преуспеть. И отдохнуть. Но кто жив отдыхом? Отдых не питает нас. Не перепутайте: питающая среда и достигнутая цель — разное. Бегун бежал быстрее всех. Он победил. Но не получится жить победой. Не может моряк жить побежденной бурей. Побежденная буря — взмах руки в долгом-предолгом плавании. Следующий взмах неминуем. Радость трудиться над цветком, бороться с бурей, строить храм не похожа

на радость сорвать цветок, вспоминать о буре, любоваться храмом. Надежда, что в старости насладишься тем, в чем отказывал себе всю жизнь, — иллюзия. Напрасно надеется воин, что в радость ему будет жизнь обывателя. Хотя на первый взгляд кажется, что воюет он за возможность им стать. Но вот он стал обывателем, и тоскует, и снова не прав.

Не прав тот, кто, тоскуя, твердит: «Человеческие желания неутолимы»… Он просто не знает, чего хочет. «Я иду по следам своего счастья, а оно никак не дается в руки», — жалуется он. Могло бы пожаловаться и дерево: как я трудилось над цветком, зачем он засох и стал семечком, которое зачем-то станет деревом, а на нем будут еще какие-то цветы?! Одолев бурю, ты отдыхаешь, но, пока ты отдыхаешь, собирается новая буря.

Я повторяю: у Бога нет отпусков, Он не помилует тебя от становления. Ты захотел быть? Бытие — это Бог. Он вернет тебя в Свою житницу только после того, как ты мало-помалу сбудешься, после того, как твои труды обозначат тебя, ибо человек, как ты мог заметить, рождается очень медленно.

Скудеют те, кто поверил, будто чего-то добился, будто чем-то владеет, кто встал посреди дороги, желая наслаждаться полученным — или до-

стигнутым, как принято обычно говорить. Нет достигнутого, нет полученного, нет запаса, который можно тратить. Об этом знаю я, — я, который не раз позволял завлечь себя в женские сети и вдруг узнал, что в чужедальних краях живет красавица, источающая аромат совершенства, и она может стать моей. Опьянение восторга я счел любовью. Мне показалось, что я умру, если она не станет моей.

Пышно и радостно праздновалась свадьба, всех в моем царстве словно бы закружил хмель любви. Цветы рассыпали корзинами, курили драгоценные благовония, не жалели сверкающих бриллиантов; цена им — людские пот, страдание и кровь; множество роз губится ради капли масла, множество людей губится ради капли света — но кто сейчас вспоминал об этом: каждый расточал себя в любви. И вот моя нежная пленница, принесенная ветром любви на парусах своих покрывал, рядом со мной на террасе. Я — мужчина, я — воин, я — победитель держу наконец долгожданную награду в этой войне. Но, оказавшись с ней рядом, не знаю, что делать…

— Голубка моя, горлица, — шепчу я, — длинноногая газель… — Я придумываю слова, чтобы дотянуться до нее, и не нахожу слов. Ее все мень-

ше, она тает, будто утренний снег. Я ждал себе другого подарка. Я кричу: «Где вы?» Потому что никак не могу ее найти. «Как мне выйти хотя бы на пограничье?» Я превратился в дозорную башню, в крепостной вал. Мой город славил любовь фейерверками. А я, одинокий в своей иссушающей пустыне, смотрел на нее — обнаженную, спящую. «Я охотился не на ту дичь, шел не в ту сторону. Она бежала так быстро, я схватил ее, желая сделать своей… Держу, но ее со мной нет…» И я понял, что я ошибся. Думал жить, одержав победу в беге. Стал похож на безумца, который запирает кувшин с водой в шкаф, потому что любит журчанье родника…

— Я не буду пользоваться тобой, я сотворю тебя, словно храм. Сотворю в сиянии света, и твоя тишина оденет поля, леса. Буду учиться любить поверх себя и поверх тебя. Буду слагать гимны, прославляя твое владычество. Ты закроешь глаза — и уснет целый мир. Ты устанешь, я окружу тебя кольцом своих рук, как город. Ты — ступень на пути моем к Господу. Тебя создали, чтобы поджечь и спалить, а не заточить и хранить…

Прошло несколько дней, город облачился в траур, лили слезы и в моем дворце, потому что я вместе с тысячью воинов вышел из городских

ворот и отправился в сторону пустыни, я томился, и жажда гнала меня туда.

Я уже говорил тебе, боль одного — не меньше боли целого мира. И любовь одного — какой бы несуразной она ни была — раскачивает звезды Млечного Пути. Округлый корпус корабля обхватили мои руки, когда обняли тебя. И сегодня мы вышли в открытое море, в грозную стихию любви…

Вот так, мало-помалу, я нащупываю границы моего царства. Ограничения всегда говорят о сути, и я люблю то, что умеет противостоять. Противостоят и человек, и дерево. Барельефы, изображающие своенравных плясуний, я сравнил с крышками пустых коробок, но когда-то они были масками, а под маской и впрямь таились упрямство, коварство и поэзия строптивых капризниц. Я люблю выявляющих себя в противостоянии, люблю замкнутых и молчаливых, укрепляющих свою твердость, тех, кто сжимает зубы под пыткой, кто выдерживает пытку любви. Тех, кто несправедливо предпочитает вообще не любить. Вас, уподобляющих себя грозным башням, которые невозможно взять приступом…

Ненавижу податливость. Нет человека, если он не противостоит. Нет противостояния в мура-

вейнике, нет в нем и Бога, нет образа и подобия Божия. Податливый человек — человек, в котором нет всхожести. И я вспомнил чудо, увиденное мной в тюрьме. Слабый узник был сильнее тебя, меня, нас всех, вместе взятых, сильнее моих тюремщиков, подъемных мостов, стен. Но мучает меня загадка любви: возлюбленная покорилась мне и ее, беззащитную и обнаженную, я держу в своих объятиях. Величие человека и его малость, он велик своей верой, мал в гордыни бунта.

XXX

И еще я понял: человек без стержня, без внутренней формы — ничто. Если он слился с толпой, послушен ей, живет по ее законам, он никогда не пожертвует собой, не воспротивится соблазну, не смирится со смертью. Вепрь, слон и человек на вершине горы сродни друг другу. Люди не вправе посягать на тишину в человеке, не вправе из ненависти к одиноким лишать его вершины горы, где он вырастет, подобно кедру.

Гость пришел ко мне, он уверен, что логикой можно исчерпать человека. Он показался мне ребенком. С совком и ведерком малыш подошел к Атласским горам в безмятежной уверенности, что сейчас их передвинет. Человек — прежде всего то, что есть, а не то, что он о себе знает. Да, сознание стремится узнать и выразить то, что существует, но путь его труден, медленен, извилист. Не стоит забывать: существует и то, чего мы не можем назвать, обозначить, выразить, оно тоже есть. А выражаем мы только то, что сумели постигнуть. Как мало умею я выразить о человеке. Открывшееся мне сегодня существовало и вчера, и позавчера. Не будем лгать, говоря: «То,

чего я передать не в силах, не стоит внимания». И гору я могу только обозначить. Я часто путаю понятия «обозначить» и «выразить». Обозначают для знающего. Но если человек не видел гор, как передать ему ущелья, камнепады, лавандовые склоны, уступчатый силуэт на звездном небе?

Знать не означает получить во владение обломки славной крепости или легкий челнок, который можно отвязать от причала и повести куда угодно; знание — та же жизнь, в нем есть нежданные откровения, есть свои законы внутреннего тяготения, есть безмолвие, столь же многозначительное, как безмолвие небесных сфер.

И вот я в разладе с самим собой: меня радует послушливость человека и его непокорство, свидетельствующее о крепости нутра. Вечно противоречащая самой себе суть мне понятна, но ее не уложить в формулу. Взять, к примеру, моих воинов, они послушны, их вымуштровала суровая дисциплина, по взмаху моей руки они пойдут на смерть, повиновение вошло у них в плоть и кровь, я могу отругать их и ими распорядиться, словно малыми детьми… Но в нежданной схватке с врагом они будут тверже стали, благородны в ярости и мужественны в смерти.

Но в конце концов я понял: твердость и послушание — две стороны одной медали. «Твердый орешек» — говорим мы с одобрением об одном, «сама себе хозяйка» — о другой, — я обнял ее, но она была далека от меня, словно яхта на морском горизонте, — их я и называю людьми: они не торгуются, не вступают в сделки, не подлаживаются, не идут на компромиссы, не предают себя из корысти, сладострастия, усталости, сердце их тверже оливковой косточки. Я могу стереть их в порошок, но не выдавлю масла тайны, и я не позволю тирану или толпе властвовать над их алмазными сердцами, потому что именно такие люди и бывают по-настоящему послушны. Именно они бывают кроткими, дисциплинированными, почтительными, они способны верить и жертвовать, став покорными сыновьями глубинной мудрости, став хранителями добродетели… А те, кого принято называть свободными, кто решает все по-своему и всегда одинок от неумения слушать и слушаться, лишаются попутного ветра в парусах. Их вечное непокорство — бесплодный каприз, не более.

Но я ненавижу и покорную скотину, человека без нутра и сердечной родины, я — правитель, я — мастер, и не хочу кастрировать свой народ,

превращая его в слепых исполнительных муравьев. Я хочу иного принуждения. Принуждения, которое не калечит. Которое служит духу жизни. Смирение в храме, умение услышать и готовность прийти на помощь — добродетели, если они непритворны, и они краеугольный камень моего царства. Много ли ты сможешь сам? Положиться можно лишь на общее дело, где каждый в помощь благодаря другому.

Я ошибусь, если назову строптивцем моего узника. Его сдавили крепостные стены, за ним следит стража, но он молчит под пытками или отвечает моим палачам презрительной усмешкой. Сильным его сделала вера, но он верит в другое, чем я. Его жестокость — обратная сторона любви и мягкости. Я вижу моего узника и другим тоже: сложив на коленях руки, он сидит и вслушивается с ясной улыбкой, он приник к благодатному роднику. Вот та, которую я сделал пленницей моего замка, — она бродит по террасе, и горизонт ей кажется решеткой клетки — невозможно приручить ее, принудить к словам любви. Она другого племени, другой страны, в ней иной огонь, иная вера. Не обратив ее в свою, мне ее не дозваться.

Больше всех я ненавижу отказавшихся быть. Они сродни шакалам, но думают, что свободны,

потому что свободно меняют мнения и предают (откуда им знать о предательстве? Они сами себе судьи). Им свободно лукавить, передергивать, оговаривать; и, если они голодны, то свободно переметнутся ко мне, стоит мне указать им на кормушку.

Была свадебная ночь, была ночь перед казнью. Благодаря им, я ощутил, что значит быть. Потрудитесь же над собственной формой, станьте долговечным форштевнем, превратите в собственное тело то, что хочет вас износить, — так и только так поступает кедр. Я — контур, стержень, усилие Творца, благодаря которым вы рождаетесь, но, родившись, вы должны, будто кедр, растить ветви — собственные, а не чужеродные, — свою хвою и свои листья, вы должны тянуться ввысь и укореняться…

Я зову негодяями тех, кто живет за счет чужих усилий, меняет цвет, как хамелеон, любит похвалы и подношения, упивается рукоплесканиями и судит о себе, смотрясь в лицо толпы. Что они такое? Пустота.

Нет у них сокровищ; нет крепости, которая бы их хранила, нет весомых слов для детей, они не растили их — дети выросли, как трава под

забором.

XXXI

Они пришли и сказали мне, что для жизни нужны удобства.

А я? Я вспомнил своих воинов в пустыне. Я знаю, сколько тратится сил на достижение житейского благополучия, но, когда оно наступает, жизнь теряет вкус.

Поэтому я любил войну, мир с ней так ощутимо сладок. Военный поход по безмятежно тихой знойной пустыне — пустыне, кишащей змеями, пустыне девственных песков, засад и укрытий.

Я вспомнил, как играют дети, они строят полки из белых камешков. «Это солдаты, — говорят они, — они спрятались в засаде». Но прохожий видит только кучку белой гальки, он не видит сокровищ, таящихся в детской душе. Вспомнил человека-жаворонка, он наслаждается зарей, под ледяным солнцем плещется в ледяной воде и греется потом в лучах разгорающегося дня.

А жаждущий? Он хочет пить, он идет к колодцу, скрипит ворот, гремит цепь, ползет вверх ведро, вот он вытянул полное ведро на край колодца — вода для него стала песней, он запомнил все ее переливы. Благодаря жажде он ощутил крепость

своих рук, ног, зоркость глаз, жажда возвысила его, словно поэзия. Другой подозвал раба, тот поднес к его губам воду, но песни он не слышал. Удобство — это чаще всего пустота и безмолвие. Люди не верят в необходимость напряжения и боли и поэтому живут так безрадостно.

Немного получит тот, кто слушает музыку, не пожелав потратить усилий на музыкальную грамоту. Он понадеялся добраться до горной вершины на паланкине, отказавшись от крутой тропы. Но как добраться до апельсина, не расковыряв кожуры. Я-то знаю: нет кожуры — нет и мякоти. Счастьем вам кажется избавление от усилий, но, отсутствуя, как вы можете стать счастливыми? В богатом нет больше того, кто бы радовался богатству, привычное, оно пустое место. Не изумишься долине, что открылась тебе с вершины горы, если ты не вскарабкался на эту гору, пейзаж — не зрелище, он награда за преодоление. Но если принести тебя наверх в паланкине, ты увидишь что-то туманное, расплывчатое, и почему, собственно, это должно тебя заинтересовать? Тот, кто с удовлетворением скрестил на груди руки после тяжелого подъема и залюбовался открывшимся видом, прибавил к нему сладость отдыха и голубизну угасающего

дня. Как красиво все, что он видит отсюда! Шаг за шагом он расставлял по местам реки, холмы, отодвинул подальше деревню. Он автор увиденного пейзажа и рад, как ребенок, который выложил из камушков город и теперь любуется творением своих рук. Но попробуй заставь ребенка залюбоваться кучкой камней — зрелищем, доставшимся даром…

Я видел жаждущих — жажда сродни ревности, она мучительнее болезни: тело знает целительное снадобье и требует его, как требовало бы женщину, оно видит во сне, как другие приникли к воде. Ревнивцы тоже видят желанную женщину, она улыбается, но не им. Неоплаченное душевно и телесно — не ощущается как значимое.

Не существует случайности, если я не попал в случай. Из ночи в ночь смотрят на Млечный Путь мои астрологи. Благодаря ночам, проведенным в бдении, он стал для них книгой премудрости, страницы ее переворачиваются с едва слышным шелестом, и астрологов переполняет благоговейная любовь к Господу, насытившему Вселенную такой мучительно сладкой для сердца существенностью.

Повторяю вам: право не сделать усилие дается

вам лишь ради другого усилия, потому что вы должны расти.

XXXII

Умер царь, он правил от меня на востоке. Царь, с которым мы так жестоко воевали. Много лет прошло в противостоянии и войнах, и я понял: я опирался на него, как на каменную стену. Помню и теперь, как мы встречались. В пустыне раскидывали пурпурный шатер, и мы — я и он — входили в его пустоту. Его воины и мои оставались стоять поодаль — не годится, чтобы люди, смешавшись, стали толпой. Душа толпы — желудок. Любая позолота с нее слетает. Воины полагаются на мощь копий, они ревностно следили за нами, не размякая от дешевого умиления. Мой отец знал, что говорил, повторяя: «Не суди о человеке по тому, что увидал на поверхности, встреться с ним в глубинах его души, ума, сердца. Если придавать значение каждому движению, много крови прольется понапрасну…

В глубинах души искал я встречи с моим врагом, когда оба мы, безоружные, защищенные лишь своим одиночеством, входили в шатер и садились напротив друг друга на песок. Не знаю, кто из нас был сильнее. Но в нашем священном одиночестве мерой силы становилась сдержан-

ность. Малейшее движение потрясло бы мир, и продвигались мы с величайшей осторожностью. Спор у нас был тогда о пастбищах. «У меня двадцать пять тысяч голов скота, — сказал он, — скот гибнет. У тебя бы он прокормился». Но как пустить к себе целое воинство пастухов с чуждыми нам обычаями? Они посеют в моих людях сомнение, а сомнение — начало порчи. Как принять на своей земле пастухов из чужой Вселенной?

Я ответил: «У меня двадцать пять тысяч человеческих детей, они должны научиться молиться по-нашему, иначе останутся без лица и стержня». Правоту каждого из нас отстаивало оружие. Как прилив и отлив, надвигались мы и отступали. Всей силой давили мы друг на друга, но никто не мог взять верх — от взаимных поражений силы наши сравнялись. «Ты победил — значит, сделал меня сильнее».

Нет, не было во мне презрительного высокомерия, когда я взирал на величие моего соседа. На висячие сады его столицы. На благовония, привозимые его купцами. На изящные кувшины его чеканщиков. На его мощные плотины. Презрительность в помощь неполноценным, только их истинам мешают все остальные. Мы знаем, что истин на свете много, нас не унижает призна-

ние добротности чужой истины, которая для нас кажется заблуждением, но, как я знаю, яблоня не презирает виноградную лозу, а пальма — кедр. Каждое дерево стремится стать как можно выше и не сплетает своих корней с чужими. Каждое хранит свой облик и естество — сокровища, которые не должны расточиться.

— Если хочешь поговорить с соседом по существу, — говорил отец, — пришли ему ларчик с благовониями, пряности или золотую смолу кедра, пусть в его доме запахнет твоим домом. Твой воинственный клич в горах — тоже подлинный разговор. И привезенное тебе послом объявление войны тоже. Посланника долго обучали, воспитывали, закаляли, он — твой противник, и он — твой друг. Ему чужд твой обиход, но вы встречаетесь как друзья там, где человек в долгу лишь перед самим собой, где вы оба возвысились над ненавистью. Дорогого стоит лишь уважение врага. А друзей? Только если они отрешились от признательности, благодарности и прочей пошлости. Если ты отдаешь за друга жизнь, обойдись без дешевого умиления.

Я не солгу, сказав, что соседний царь был мне другом. Наши встречи были радостью. Я поставил слово «радость» и направил расхожее мнение

по ложному следу. Радостью не для нас — для Господа. К Нему мы искали дорогу. Наши встречи замыкали ключом свод. Но сказать друг другу нам было нечего. Господь простит мне, что, когда он умер, я заплакал.

Кому, как не мне, знать о собственном несовершенстве. «Если я плачу, — думал я, — значит, я не очистился еще от своекорыстия». Я знаю, мой сосед узнал бы о моей смерти, как узнал бы, что на западе его земли уже ночь. На потрясенный моей смертью мир он смотрел бы, как смотрят на спустившиеся сумерки. На гладь озера, потревоженную пловцом. «Господи, — сказал бы он своему Богу, — день сменяется ночью по Твоей воле. Что потерялось, если увязали сноп, если кончилось наше время? Я уже был». Он приобщил бы меня к своему незыблемому покою. Но я еще не чист, я еще не проникся вечностью. Я по-женски томлюсь легковесной тоской, видя, как от вечернего ветра вянут розы в моем саду. Вяну и я с увядающей розой. Я чувствую: я умираю вместе с ней.

Жизнь шла и шла, я хоронил моих полководцев, смещал министров, терял женщин. Позади, словно сотня змеиных выползков, сотня разных былых моих «я». Но неизменно, как неизменно

возвращается солнце — мера и маятник дня, — как возвращается лето — мера и равновесие года, — мои воины опять и опять, от встречи к встрече, от договора к новому договору, ставили в пустыне пустой шатер. И мы входили в него. Наша встреча была торжественным обрядом, улыбкой сурового пергамента, покоем перед смертным часом. Тишиной, творимой не человеком, а Господом.

И вот я остался один, один отвечаю за прошлое, и нет возле меня свидетеля, который видел, как я жил. Мои поступки, которые я не снисходил объяснять моему народу, понимал мой восточный сосед; томления мои и порывы, которые я никогда не выставлял напоказ, он постигал своей внутренней тишиной. Тяжесть долгов и обязанностей, которые угнетали меня и о которых не подозревал мой народ, веря, что я действую лишь по своему произволу, взвешивал мой сосед, не ведающий пустого сочувствия, почитая не меня, а то, что меня превосходило, и вот он уснул, одетый багряницей пустыни, сочтя песок достойной для себя гробницей, замолчал, улыбаясь той печальной улыбкой, обращенной только к Господу, означающей согласие, что пора унести срезанный сноп, пора хранить под сомкнутыми веками

пережитое. Как себялюбиво мое отчаяние! Как я слаб, если столько значения придаю своим жизненным потрясениям, а они так ничтожны, если меряю собой царство, а не растворился в нем, если чувствую, что жизнь моя, будто странствие, может кончиться на этой вершине.

Эта ночь, будто горный хребет, изменила течение моей жизни: медленно взбиралась она по склону вверх и вот заструилась вниз по противоположному склону. Все вокруг незнакомо. Я понял, что стал стариком: вокруг незнакомые лица, чужие люди, ко всем к ним я равнодушен так же, как к самому себе: за хребтом остались мои полководцы, мои женщины, мои враги и единственный, может быть, друг — я один в этом чуждом мире, заселенном чужими мне племенами.

И тогда я обрел новые силы. «Меня лишили последней кожи, — подумал я, — может быть, теперь я очищусь?» Не было во мне величия, раз я так почитал себя. Я одряб, и мне послали испытание. Размяк от дешевых сердечных сантиментов. Но я сумею возвыситься, я не оскорблю слезами величие друга. Он уже был. Пустыня покажется мне богаче, ибо в ней он мне улыбался. Все улыбки станут мне ближе благодаря его улыбке. Его

улыбка обогатит все остальные. В каждом я увижу набросок человека, — никакому резчику не отделить его от целиковой породы, — но в породе я лучше разгляжу человеческое лицо, потому что одному человеку смотрел прямо в глаза.

Да, я начал спускаться с горы, но, народ мой, не пугайся, я связал оборванную нить. Плохо, что я так нуждался в человеческом. Рука, что лечила и сшивала меня, рассыпалась, но сшитое осталось. Я спускаюсь с горы, я встречаю овец, ягнят. Я глажу их. В мире я одинок перед ликом Господа, но погладил ягненка и ожил сердцем: не ягненок — уязвимость живого в нем напомнила мне о человеке, и я опять заодно с людьми.

Для моего друга я тоже нашел царство, нигде не царствовалось ему лучше, — царство смерти. Каждый год раскидывается шатер в пустыне, и мой народ молится. Воины опираются на копья, все оружие в боевой готовности, кружат всадники на конях, оберегая порядок в пустыне, они отсекут голову всякому, кто отважится проникнуть сюда. Я иду один. Приподымаю полотно шатра, вхожу и сажусь. На земле становится тихо.

XXXIII

Что ж, пусть ноют и ноют у меня кости и никакой лекарь не уймет мою боль, пусть я похож на дерево, которое подсек дровосек, и Господь скоро уберет меня с лица земли, как обветшавшую башню, пусть я только вспоминаю, как просыпаются в двадцать лет: освеженные сном, готовые воспарить душой, — мне дано утешение: мою душу не огорчают вести тела, я не занят своими болестями, они — мое личное, маленькое, ничего не значащее дело, они касаются только меня, историки не посвятят им и строчки в хрониках: кому интересно, что у меня шатался зуб и его выдернули, с моей стороны было бы низостью искать сочувствия.

Не жалость к себе, а гнев поднимается во мне, когда я чувствую боль. Трещины бегут по сосуду, содержимое неизменно.

Мне рассказали, когда моего соседа с востока разбил удар и половина его тела, заледенев, омертвела, когда ему повсюду сопутствовал этот сиамский близнец, разучившийся улыбаться, достоинство его не пострадало, напротив, несчастье послужило его величию. А тем, кто восхищался

твердостью его духа, он не без презрительности отвечал: «Вы ошиблись, принимая меня за лавочника, для них поберегите свои восторги. Правитель, не властный в собственном теле, — смешной самозванец. Не потерю — чудесную радость высвобождения чувствую я».

Да, человеческая старость… Неудивительно, что я ничего не узнаю на противоположном склоне моей горы. Сердце мое переполнено утратой друга. Я смотрю на деревни глазами, сухими от горя, и жду, когда, будто прилив, увлажнит их любовь.

XXXIV

И вновь я смотрю на город, зажигающий в сумерках огни. Светящийся приглушенным голубовато-белым светом горящих в домах окон. Смотрю на рисунок улиц. Смотрю на тишину, потому что город рождает тишину, и она достигает прибрежных скал.

Но, любуясь рисунком улиц и площадей, высящимися там и здесь храмами — житницами духа, темным кольцом холмов вокруг, я невольно думаю, что мой город, несмотря на ощутимость его присутствия, — высохшее дерево с подсеченным корнем, пустой амбар. Нет в нем общей жизни, что течет сама по себе и животворит каждого, нет общего сердца, питающего кровью каждую клеточку плоти, нет общей плоти, радующейся общему празднику и поющей один псалом. Здесь в чужих раковинах живут нахлебники, праздные в своих тюрьмах, не желающие трудиться со всеми вместе. Нет города, есть видимость, есть некрополь, не сомневающийся, что по-прежнему жив.

И я сказал себе: «Вот оно, дерево, что вот-вот засохнет. Яблоко, источенное червем. Мертвая че-

репаха в панцире». Я понял, мой город нуждается в животворящем соке. Ветви нужно приживить к питающему стволу. Житницы и амбары наполнить тишиной. Сделать это должен я. Больше некому любить людей.

XXXV

Я слышу музыку, а они не понимают ее. И опять я перед неразрешимым противоречием: если играть для них только доступное, они не сдвинутся с места, если учить только понятному, они не получат ничего лишнего.

Можно ограничить их укладом, в котором живут они уже не одну сотню лет, и умертвить дерево, которое растет, трудясь над новым цветком, новым плодом, но получить взамен тишину молитвы, мудрость и почивание в Господе. Можно, напротив, торопить их в будущее, толкать и расшевеливать, понуждать забыть тяжкое бремя традиций, но увидеть вскоре, что ведешь вперед стадо нищих переселенцев без роду и племени, войско в походе, которое умеет быстро раскинуть лагерь, но никогда не построит дом.

Всякое восхождение мучительно. Преображение болезненно. Не измучившись, мне не услышать музыки. Страдания, усилия помогают музыке зазвучать. Я не верю в тех, кто наслаждается чужим медом. Не верю, что одаришь детей благодатным хмелем любви, послушав с ними концерт, прочитав стихи, поговорив. Да, конеч-

но, в человеке заложена способность любить, но заложена и способность страдать. И скучать. И погружаться в безнадежную тоску, сродни осенним дождям. Ведь и умеющим наслаждаться поэзией стихи не всегда в радость, иначе бы они никогда не грустили, они бы читали стихи и ликовали. Все человечество читало бы стихи и ликовало, и больше ему ничего не было бы нужно. Но в радость человеку только то, над чем он хорошенько потрудился, — так уж он устроен.

Чтобы насладиться поэзией, нужно дотянуться до нее и ее преодолеть. Доступные стихи быстро изнашиваются сердцем, так же быстро, как открывшийся с вершины пейзаж. Усталость и желание отдохнуть придали ему столько прелести, но вот ты отдохнул, тебе хочется идти дальше, и ты зевнул, глядя на пейзаж, которому больше нечего тебе предложить.

Чужие стихи — тоже плод твоих усилий, твое внутреннее восхождение. Запасы радуют обывателя, но обыватель — недочеловек. Нет любви про запас, которую можно было бы тратить себе и тратить, любовь — труд сердца.

Меня не удивляет, что так много людей не находят царства в царстве, храма — в храме, поэзии в стихах и музыки в музыке. Они расселись, как

в театре, и говорят: «Вокруг — сплошной хаос. Он недостоин того, чтобы служить ему и подчиняться». Они верят в свой здравый смысл, они скептики и насмешники, но издевка в помощь трутню — не человеку. Любовь не подарок от прелестного личика, безмятежность не подарок от прелестного пейзажа, любовь — итог преодоленной тобой высоты. Ты превозмог гору и живешь теперь в небесах.

Любовь — то же восхождение. Не думай, что достаточно знать о любви, чтобы ее узнать. Обманывается тот, кто, блуждая по жизни, мечтает сдаться в плен; краткие вспышки страсти научили его любить волнение сердца, он ищет великую страсть, которая зажжет его на всю жизнь. Но скуден его дух, мал пригорок, на который он взбирается, жалка победа, так откуда взяться великой страсти?

Если не изменяться день ото дня, словно в материнстве, не догнать любви. А ты хочешь усесться в гондолу и всю жизнь звучать песней — ты не прав. Вне пути и восхождения ничего не существует. Стоит остановиться, как тебя одолевает скука, потому что пейзажу больше нечего тебе рассказать, и тогда ты бросаешь женщину, хотя надо было бы выбросить тебя.

Логики и неверы просят: «Покажи нам царство, покажи нам Бога, вот я трогаю камень, трогаю землю и тогда верю, что есть и земля, и камень, которые я потрогал». Но что мне до их просьб? Таинства, о которых я говорю, не так скудны, что их можно исчерпать логической формулой. Не могу я доставить невера на вершину горы и подарить ему радость открывшегося пейзажа, ведь он не его победа. Не могу помочь насладиться музыкой человеку, который ее не преодолел. Они пришли ко мне, желая получить все без усилий, другие так ищут женщину, которая вложит в них любовь. Но это не в моей власти.

Я беру человека, запираю его, истязаю ученьем, ибо слишком хорошо знаю: легкое и доступное — бесплодно, потому что оно — легко и доступно. Напряжение и пот — вот чем мерится польза от работы. Я собираю учителей и говорю им: «Не ошибитесь. Я доверил вам человеческих детей не с тем, чтобы взвешивать потом груз их познаний, — с тем, чтобы порадоваться высоте их восхождения. Мне не нужен ученик, который обозрел с паланкина тысячу гор и тысячу пейзажей; тысяча гор — пылинка в бесконечной Вселенной, — по-настоящему он не видел ни одной. Мне нужен тот, кто напряжется и одоле-

ет подъем, пусть это будет невысокая горка, в будущем он поймет все другие куда лучше, чем мнимый знаток, рассуждающий с чужих слов о доброй сотне гор.

Если я хочу, чтобы они узнали, что такое любовь, я буду помогать им любить, уча молиться».

Умеющий любить непременно встретит красавицу, которая воспламенит его сердце, но, видя, как он пламенеет, люди убеждаются в могуществе прекрасных лиц — и ошибаются. Преодолевший стихотворение воспламенен им, и все верят в могущество стихов.

Но повторяю: сказав «гора», я обозначил ее для тебя, а тебя колола ежевика, у тебя кружилась голова над пропастью, ты потел, взбираясь на скалу, рвал цветы, дышал на вершине полной грудью. Я назвал, но не донес ни полноты понятия, ни его сути. Я сказал «гора» толстому лавочнику и оставил пустым его сердце. Исчезает поэзия не потому, что исчерпали силу стихи.

Исчезает любовь не потому, что красота исчерпала силу. Отдаляется Господь, но не потому, что человеческое сердце уже не девственная земля в ночной тьме, которая так нуждалась когда-то в плуге ради цветов и кедров.

Я внимательно всматривался в отношения

людей и понял: ум опасен — ум, который верит, что слово передает суть, что в споре рождается истина. Нет, не язык передает меня. Я не знаю таких слов, которые бы меня высказали. Я лишь обозначаю что-то в себе, и ты меня понимаешь в той мере, в какой для тебя открыты иные пути постижения. Например, нас открыло друг другу чудо любви, или мы — дети одного и того же Бога. Если этого нет, я напрасно пытаюсь извлечь на поверхность таящийся во мне мир и неуклюже выговариваю то одно, то другое — так о горе, например, я сказал, что она высока, но хотел сказать о холоде близких звезд и могуществе ночи.

XXXVI

Ты пишешь, ты обращаешься к людям, ты словно бы снаряжаешь корабль. Немногие из кораблей достигнут гавани. Большинство затеряется в море. Не так уж много значимых слов продолжает плыть по реке истории. Может, я многое обозначил, но немного выразил сущностного.

Вот и еще одна сложность: нужно учить не обозначать, а постигать. Учить, как ставить всевозможные ловушки. Ты привел ко мне человека, что мне до его учености? Учености много и в словарях. Что он за человек — вот что важно. Поэт написал стихи, они согреты его рвением, но ловил он на мелководье, нам ничего не досталось из глубины. Он обозначил весну, но не разбудил весну в моем сердце, я не насытился ею.

Историки, логики, критики открыли при мне, что сильное произведение — всегда хорошо построено, значит, сила в продуманном плане, решили они. Город создан, если я отчетливо вижу его планировку. Но не планировке обязан город своим рождением.

XXXVII

Я смотрю на танцовщиц, певичек и куртизанок моего города. Они заказали себе серебряные паланкины и, отправляясь на прогулку, посылают вперед слуг, которые кричат об этом, собирая толпу. Когда рукоплескания толпы, развеяв легкую задумчивость красавицы, вконец измучат ее, она чуть-чуть отодвинет шелковую занавесь и, снисходя до страстного желания обожателей, наклонит к ним свое белоснежное личико, стыдливо улыбнувшись. А слуги будут кричать во всю глотку. Вечером их ждет порка, если любовь тиранов-обожателей не вынудит красавицу нарушить свою стыдливость.

Ванны у красавиц из золота, и толпу приглашают взглянуть, как готовится молоко для купанья. Доят сотню ослиц, добавляют благовония и цветочное молочко, стоит оно бешеных денег, а аромат его так скромен, что его и не почувствуешь.

Я не возмущаюсь цветочному молочку. Немного тратится на него сил в моем царстве, и безумная его цена — иллюзорна. Я не против того, чтобы тратили себя и на роскошества, дорога мне

не польза, а рвение. И коль скоро такое молочко существует, то что мне в том, умащаются им мои куртизанки или нет.

Логики осуждают меня, но рвение — единственный закон моего царства. Я вмешаюсь, если народ мой увлечется изготовлением позолоты в ущерб хлебу, но я не против самой позолоты, она золотит их труды, хоть и не нужна насущному. Предназначение ее меня не заботит, но мне кажется, что лучше золотить волосы красавицы, чем дурацкий памятник. Ты возражаешь, что памятник — достояние всех горожан? Но горожане любуются и красавицами. Беда памятников, — будь они даже Господни храмы, — в том, что они радуют взгляд позолотой, но не требуют взамен никаких даров. Красавица пробуждает желание одарять и жертвовать, ты блаженен возможностью дарить. Дарить, а не получать.

Пусть купаются мои красавицы в цветочном молочке. Пусть воплощают собой красоту. Пусть наслаждаются изысканными вредоносными яствами и умирают, поперхнувшись рыбьей косточкой. Они ходят в жемчуге и теряют его. Пусть теряют, жемчуг должен быть эфемерен. Они слушают сказителей и лишаются чувств от переживаний, не забывая грациозно опуститься

на ту из подушек, которая лучше всего подходит к их шарфу.

Иногда они позволяют себе и другую роскошь — роскошь любить. Они продают свои жемчуга и гуляют по городу с юным солдатиком — пусть все видят, что он — самый красивый, самый умный, самый стройный, самый мужественный…

Доверчивый мальчик от признательности теряет голову, он не сомневается в щедрости дара, хотя служит лишь тщеславию красавицы, — в городе о ней должны говорить.

XXXVIII

Ах, как жаловалась на обидчика эта женщина:

— Разбойник, — кричала она, — тварь продажная! Греховодник! Бесстыжий лгун! Мерзавец!..

— Ты в грязи, — сказал я ей, — пойди умойся.

Жаловался и другой на несправедливость и клевету.

Никогда не заботься, чтобы твои поступки правильно поняли.

Их не поймут, но какая тут несправедливость? Справедливость — химера и чревата несправедливостью. Ты видел моих полководцев в пустыне? Они — благородны; благородны, бедны и выдублены постоянной жаждой. Они спят на голом песке в глухой тени царства. Они добры и готовы повиноваться, хватаясь за оружие при малейшем шорохе. Такими хотел их видеть мой отец, когда позвал: «Встаньте, готовые к смерти, уместившие все свое добро в заплечном мешке! Умеющие подчиняться, великодушные в сражении, великодушные сердцем! Встаньте, я вручу вам ключи своего царства».

И вот они встали вокруг моей крепости, словно бдительные архангелы. Их достоинство отлично

от достоинства министерской прислуги и самих министров тоже. И вот их позвали в столицу, но не посадили во главе праздничного стола — теперь они обивают пороги в приемных и жалуются; их, воистину достойных, унизили, отведя место слуг. «Горька участь тех, кого не ценят по достоинству», — твердят они.

Я ответил им: «Горька участь тех, кто оценен, возвышен, отблагодарен, кто оказался в чести и разбогател». Он раздулся от дешевых амбиций, променял звездные часы на магазинные покупки. Он был богаче других, достойнее, удивительнее. Для чего же король-одиночка покорился мечтам обывателя? Старого плотника отблагодарит идеальная гладкость его доски. Моего полководца — идеальный покой в его пустыне. Но в людском водовороте незаметны твои заслуги. Если тебя это обижает, значит, ты не очистился от своекорыстия. Я уже говорил: «Каковы люди, таково и царство. Каждый — частичка царства». И от каждого зависит великолепие кроны. Если этого ты видишь купцом с барышами, отправь его за барышом в пустыню и жди, набравшись терпения. Пройдет несколько лет, и купец твой станет хозяином, ровней ему будет ветер, а другой останется жалким лавочником в своей лавке.

Я покровительствую достойным. Покровительство уже несправедливость. Не обижайся на слова. Как уродливы на песке длинные голубые рыбы с вуалевыми плавниками, как это несправедливо! Несправедливо наше суждение: рыбы созданы для воды. Они прекрасны там, где кончается песчаный берег. Капитаны песков прекрасны там, где утих шум города, крик рыночных зазывал, тщеславие и суета. У них в пустыне нет суетности.

Так пусть полководцы утешатся. Если они захотят, они вновь вернутся в свое царство, я не уничтожал его и не хочу, чтобы они страдали.

Ко мне пришла женщина.

— Я — верная жена своему мужу, — сказала она, — я послушна ему и недурна собой. Я дышу только им одним. Шью ему плащи, перевязываю раны. Все его тяготы я делила с ним. А теперь он проводит время с той, что обворовывает его и над ним смеется.

Я ответил ей:

— Ты судишь и ошибаешься. Кто знает самого себя? Каждый идет к истине, но путь души похож на горное восхождение. Вершина близка, кажется, ты добрался, но с нее видны новые вершины, новые тропы и новые пропасти. Кто может знать,

что утолит его жажду? Один не может жить без плеска реки, чтобы услышать его, он готов пожертвовать жизнью. Другого греет лисенок на плече, он пойдет за ним во вражеские владенья. Может, та, о которой ты говоришь, обязана ему своим рожденьем. И он за нее в ответе. Ты всегда в долгу перед тем, кого создал. Он идет к ней для того, чтобы она его обокрала. Идет, чтобы она утолила свою жажду. Его не вознаградит нежность, но не ударит и упрек. Наградой ему собственная жертвенность. И еще те слова, которым он ее научил. Он похож на тех, кто возвращается из пустыни: ордена для них не награда, но и неблагодарность не обида. Ты же знаешь, дело не в том, чтобы нажить и пользоваться нажитым, — в том, чтобы нажить самого себя и умереть полным собственной сущности. Пойми, единственная наша награда — смерть, в ней тонет корабль. И счастье, если он полон сокровищ.

На что ты жалуешься? На то, что не в силах его догнать?

Так я понял, что существует брачный союз и существует общность двоих. «Как беден язык, — думал я, — им кажется, что они себя выразили, а они едва-едва что-то обозначили. И как тщательно они все взвешивают, мерят, мерятся.

Все разумней, точнее, правильней. Правильней некуда. И когда каждый остается со своей правотой — они в тупике. И превращают друг друга в мишень для взаимной стрельбы.

Да, мы в союзе, но все-таки я постараюсь тебя ранить».

XXXIX

Не поддавайся шантажу. Если тебя сегодня зацепили одним, и ты уступил, то завтра зацепят другим, и ты уступишь снова, а значит, сегодняшняя жертва пропала зря.

Не отступайся от своего царства. Пониманием обладает сбывшийся. Вот почему так неуязвим верующий. Чужие сомнения не смутят его, он знает: если сомневаются, значит им «не дано» понять.

Умей распознавать зов и принуждение любви. Я миную того, кто клянется моим именем и смотрит мне в рот, повторяя все, что я говорю, к чему мне эхо? Я остановлюсь, увидев в человеке горение сродни моему. Петь в унисон — одно. Складывать песню — другое. Так кто тебе в помощь, когда ты занят созиданием?

Это еще один непростой вопрос, над которым стоит задуматься. Созидание возможно только тогда, когда в нем принимают участие все, когда все находятся в творческом поиске и горении. Дерево растет тогда, когда все оно подчинено любви. Я не о подчинении каждого целостности

сообщества, нет, совсем напротив, я только о направлении питающих соков: когда они направлены в одну сторону, ветви дотягиваются до неба и крона превращается в храм. Касаясь проблемы принуждения, не трудно ошибиться. Так ошибаются логики: выявив в произведении план, они считают, что источник произведения план. Нет, благодаря плану его осуществили. План — это обозначившееся лицо. Не нужно каждого подчинять обществу, пусть каждый подчинится своему делу и понуждает всех остальных расти, хотя бы из чувства противоречия. Я побуждаю всех к созиданию и творчеству. Если они будут жить только полученным от меня, они оскудеют и обнищают. Но я тот, кто готов принять их творения, и они возвеличатся в собственных глазах, глядя на мою мощь, созданную их усилиями. Я оградил своими объятьями их коз, овец, зерно и даже дома. Я присвоил все и вернул все обратно, как дар моей любви к ним. Я подарил им храмы, которые они сами построили…

Но свобода — не своеволие, и порядок — не неволя: (О свободе речь еще впереди.)

Славить я буду тишину — музу плодов, жительницу полных житниц, изобильных подвалов и погребов. Восковые соты медвяного проворства

пчел, умиротворенное собственной полнотой море.

Глядя с вершины, я погружаю в тебя — о тишина! — свой город. В нем остановились повозки, смолкла уличная разноголосица и звон наковален. Все бережно сложено в чашу вечера. Бдит Господь над усердными, укрыты Его плащом встревоженные и обеспокоенные.

Тишина в женщине, вынашивающей дитя. Тишина налитых молоком сонных грудей. Тишина в женщине — молчание дневных сует, умиротворение жизни, собирающей дни в сноп. Тишина в женщине — святыня и продолжение. В тишине женщины зачинается единственный путь, который непременно куда-то поведет. Она ждет ребенка, он раздвигает ей живот. Тишина — хранилище, куда я поместил свою кровь и свою честь.

Тишина в мужчине — он облокотился на стол, он задумался, он питает и питается соком мысли. Тишина позволяет ему знать и не знать. Как благотворно иной раз незнание. Тишина — это отметание вредоносных паразитов и сорняков. Тишина — хранительница и русло его мыс лей.

Тишина самих мыслей. Отдых пчел, они собрали мед, мед — сокровище, его нужно хранить.

Ему нужно созреть. Тишина мысли, растящей крылья, как она не любит тревог ума и сердца!..

Тишина сердца. Чувств. Слов в тебе, ибо хорошо, когда ты становишься ближе к Господу, а Он — тишина вечности. В ней все уже высказано, все уже сделано.

Тишина Господа — сон пастуха, нет его слаще, хотя овцы и ягнята всегда в опасности, но как отделить пастуха от овец, когда есть только сон при свете звезд, когда только и есть что руно снов?

Ах, Господи! Перейдут времена, Ты станешь складывать в житницу сотворенное. Ты отворишь дверь болтливому человеческому роду, чтобы навек поместить его у Себя в хлеву, и, как от болезни, разрешишь нас от всех вопросов.

Ибо я понял: продвинуться вперед — значит узнать, что вопрос, который тебя мучил, потерял смысл. Я спросил своих ученых, а они — нет, не то чтобы они ответили на свои прошлогодние вопросы, они — о, Господи! — рассмеялись, потому что истина явилась перед ними как ненужность этих вопросов.

Я ведь знаю, Господи, что мудрость — не умение отвечать, а очищение языка от неточностей. Вот влюбленные сидят на низкой ограде апельсинового сада, они сидят рядышком и болтают

ногами, они не нашли ответов на вопросы, которые задавали вчера. Но я знаю любовь — им не о чем больше спрашивать.

Я перерастаю одно противоречие за другим, и все меньше у меня вопросов, и все ближе я к благости тишины.

Болтуны! Сколько вреда они принесли людям!

Только безумец может уповать на ответ от Господа. Если Он примет тебя, Он избавит тебя от лихорадки вопросов, отведя их Своей рукой как головную боль. Вот так.

Собирая в житницу сотворенное, открой нам, Господи, створки Твоих ворот, позволь войти туда, где не понадобятся ответы, где вместо ответов будет блаженная безмятежность, которая и есть конец всех вопросов и полнота удовлетворения, — ключ свода, прекрасное лицо.

Вошедшему откроется чистейшая гладь воды куда просторнее морских гладей, он смутно догадывался о ней, когда, болтая ногами, сидел с любимой на ограде сада и любимая его была похожа на газель, остановленную на бегу, и слегка задыхалась.

Тишина — гавань для корабля. Тишина Господня — гавань всех кораблей.

XL

Бог послал мне обворожительную лгунью, как просто, мелодично и жестоко она лгала! Я заинтересовался ею, словно ветром, прилетевшим с далекого моря:

— Почему ты лжешь? — спросил я.

А она заплакала и спряталась за своими слезами.

Я задумался: почему она плачет.

«Она плачет, — думал я, — потому что я не поверил ее выдумкам. Я не подыгрываю людям в их пьесах. Не вижу в этом смысла. Она хочет представиться мне другой. Я не вижу тут трагедии. Трагедию переживает женщина, которой так не хочется быть собой. Я совсем не о добродетели, ее устои чтут чаще всего ханжи, а не поистине добродетельные. Добродетельной, как дурнушкой, нужно родиться. А всем остальным — им так хочется быть добродетельными, но и любимыми тоже, они не в силах сладить с собой, а вернее, с окружающими. Они постоянно бунтуют и восстают. И лгут, боясь осуждения».

Причина, высказанная словами, никогда не бывает подлинной. Я упрекаю мою лгунью только

в том, что она все перевернула с ног на голову. Я не слушаю ее историй, не слушаю шума слов — с молчаливой моей любовью я вглядываюсь в ее усилия. Она рвется и мечется, как лисица в капкане. Птица, окровавившая грудь о прутья клетки. И я обратился к Господу и спросил Его:

— Господи! Почему Ты не дал нам языка, чтобы высказать себя. Слушай я ее не любя, я бы ее повесил. А ведь ее можно и пожалеть: окровавленной птицей мечется она во тьме своего сердца и боится меня. Она похожа на лисицу, которая дрожит, скалится и кусает, пока не вырвет наконец у меня из рук кусочек мяса и не потащит его к себе в нору.

— Повелитель! — обратилась она ко мне. — Они не знают, что я ни в чем не повинна.

Но я-то знал, сколько смуты она внесла в мой дом. Но жестокость Господа терзала мне сердце.

— Помоги ей плакать еще и еще, Господи! Пусть она устанет от самой себя и затихнет у меня на плече: она еще не знает, что такое усталость. Она не понимает, что мечется в ловушке, и мне хочется освободить ее. Да, Господи, я нарушил свой долг, я ее пожалел. Но разве можно пренебречь одной маленькой девочкой в слезах? Она не вся Вселенная, но она — частичка Вселенной. Она

мучится, потому что не в силах сбыться. Потому что вспыхивает и рассеивается дымок. Ее лодку перевернула река, тащит ее, а она не может справиться с течением. Но вот прихожу я, я — ваш берег, кров, суть. Я — новый язык, дом, границы, внутренний стержень.

— А теперь послушай меня, — говорю я ей.

Нужно принять и ее. И других человеческих детей, особенно тех, кто не знает, что в силах знать… Я хочу взять вас за руку и вести к воплощению…

Я — время цветения человека.

XLI

Я видел людей счастливых без очевидной радости свадьбы или здоровья, видел несчастных без очевидного горя смерти или болезни. Больного можно поднять, сообщив ему необыкновенную весть, например, известив о победе, он встанет и побежит в город. Я исцелил целую крепость, войдя на заре с моим победоносным войском, — все были на улицах, все обнимались. Ты спросишь: «А почему, собственно, не поддерживать в них счастье вечным громом победных фанфар?» Я отвечу: «Потому что победа — тот же пейзаж, его не получишь в пользование, увидев с вершины горы, его создали твои ноющие от усталости ноги. Пейзаж, победа — переход от одного состояния к другому. Нет победы, которая длилась бы вечно. Дли ее, и она уже не живит, наступает лень, скука, нет победы, есть будни. Так что же? Значит, жить, как на качелях, то в благополучии, то в бедности? Нет, и это неверно. Если всю жизнь бороться с лишениями и нищетой, мелкие радости, кратковременное благополучие не возместят ночей, изношенных бессонницей, копится только усталость: должник, преследуемый заимодавцами,

вешается. Но ни победу, ни счастье не запасешь впрок, запасают сено для скота в хлеву.

Я хочу видеть в мужчинах пылкость и благородство, а у женщин — сияющие счастьем глаза. Где мне взять таких мужчин и таких женщин? Нет их вокруг меня, нет их и для себя самих тоже.

Я отвечу: они становятся такими, когда картина мира наполняется смыслом и связями, когда ты повел солдат в военный поход, начал строить храм или одержал победу.

Правда, победа — пища одного дня. Победа одержана, и теперь можно только пожинать ее плоды, но это не значит жить. Почему победа так радостна? Потому что ты рад очутиться со всеми вместе. Вчера в горе, своем или своих детей, ты был один или с немногими друзьями, но вот ты расцвел победой — и с тобой множество людей.

На строительство храма нужен век, целых сто лет богаты сердца строителей. Вкладывая, растешь и растишь возможность выкладываться. Строя изо дня в день свою жизнь, ты обошел круг моего года и, оглянувшись, счастлив ему как празднику, хоть и не сделал никаких припасов. Памятуя о празднике, ты дарил и дарил и стал куда счастливее, чем если бы устроил праздник один-единственный раз. Мы вкладываем себя

в детей, и дети нам тоже в радость. В радость и наши корабли, им грозят опасности в открытом море, они справляются с ними и вплывают вместе с командой в новый рассвет.

Вокруг меня возрастает рвение, оно растет от успешных трудов. Писатель — я не о графоманах — чем больше пишет, тем строже оттачивает стиль. Но мне не по нраву та, что, добившись успеха, губит себя довольством. Чем больше я узнаю, тем больше жажду знаний и тем больше у меня возможностей узнавать. Но чем больше я потребляю чужого, тем больше обираю других и, пожирая их, жирею, тем скуднее моя душа.

Одержав победу, человек хочет насладиться ее плодами и видит вдруг, что обманулся: он перепутал жар творчества со скучным присутствием вещи, которая его не греет. Конечно, завоеванным пользуются, но желательно пользоваться им, готовясь к новой победе, которая манит новым завоеванием. Одно должно подстегивать другое. Так танцуется танец, поется песня, так молятся, молитвы рождают рвение, а рвение приводит к молитве. И точно так же живет любовь. Но если я изменился и больше не меняюсь, если не двигаюсь и ни к чему не стремлюсь, чем я отличаюсь от умершего? Вид, открывшийся тебе с горы, в

радость до тех пор, пока ноют ноги, трудившиеся ради него, пока тело радо отдыху.

XLII

Я сказал им: «Не стыдитесь ненавидеть». И они приговорили к смерти сто тысяч человек. Смертники сидели по тюрьмам с досками на груди, словно меченый скот в стаде. Я обошел тюрьмы, я смотрел на узников. Люди как люди. Я не нашел отличий. Я вслушивался, наблюдал, смотрел.

Видел, что в тюрьме, как на свободе, делятся хлебом, суетятся вокруг больного ребенка, укачивают его, не спят ночей. Видел, что и в тюрьмах, как на свободе, мучаются одиночеством, если остались одни. Плачут, когда в толще стен вдруг узнали любовь.

Я вспомнил рассказы моих тюремщиков. И попросил привести ко мне преступника, чей нож еще вчера обагряла кровь. Я допрашивал его сам. Я вглядывался, но не в него, он уже обречен смерти, — в непостижимое в человеке.

Жизнь берет свое, где только может. В трещине скалы вырос мох. Первый суховей пустыни уничтожит его. Но мох спрячет свои семена, они будут жить. Кто скажет, что он здесь вырос напрасно?

Смертник объяснил, что над ним смеялись, что

уязвляли его гордость, его самолюбие… Самолюбие обреченного смерти…

Я видел: озябнув, узники жались друг к другу. Те же овцы, такие же, что и повсюду на земле.

Тогда я решил посмотреть на судей, созвал их и спросил:

— Почему вы отделили вот этих от всех остальных? Почему у них на груди доски смертников?

— Такова справедливость, — отвечали они.

Я размышлял: да, такова справедливость. Справедливость для судей — это уничтожение того, кто нарушил общепринятое. Но общепринятое нарушает и человек с черной кожей. И принцесса, если ты чернорабочий. И художник, если ты чужд художеству…

Я сказал судьям:

— Мне хотелось бы, чтобы вам показалась справедливостью их свобода. Попробуйте понять меня. Представьте: вот узники захватили тюрьму и власть, теперь они будут вынуждены посадить вас в тюрьму и уничтожить, я не думаю, что от таких мер царство улучшится.

Так я въяве увидел кровавое безумие, причина которого — образ мыслей, и стал молиться Господу:

— Безумие владело и Тобой, Господи, когда Ты позволил им довериться своему жалкому лепету. Кто научит их, нет, не словам, — тому, как ими пользоваться. Ветер слов, перепутавший все на свете, убедил их в необходимости пыток. От неловких, неумелых, бессильных слов родилась умелая, ловкая сила пыток.

Но в тот же миг мои рассуждения показались мне крайне наивными, хотя в то же время сквозь них что-то пробивалось, желая появиться на свет.

XLIII

Все, что уже не живется, превращается в подделку. Поддельна и слава прошлого. И наше восхищение давними победителями.

Нет подлинности и в новостях, потому что завтра от них ничего не останется.

Научитесь видеть внутренний стержень — наполнитель всегда подделка. Я выявлю тебя в тебе, как пространный пейзаж, туманная пелена над которым мало-помалу рассеивается, — из близи тебя не увидишь. Так выявляет истину ваятель. Он не лепит отдельно нос, потом подбородок, потом ухо. Творчество — всегда создание целостности, а не методичное присоединение одной части к другой. Творчество — общая работа всех, кто сгрудился вокруг идеала, кто строит, кто трудится, кто спорит вокруг него.

XLIV

Наступил вечер и для меня, я спускаюсь с моей горы по склону нового поколения — лица его я не знаю. Я заранее устал от слов; в скрипе повозок, в звоне наковален я не слышу биения его сердца, — я безразличен к этим незнакомцам, как если бы не знал их языка, равнодушен к будущему, которого для меня не будет, — меня ждет земля. Но мне стало горько: как крепко я замурован в крепости эгоизма. «Господи! — воскликнул я. — Ты оставил меня, а я оставил людей!» И я задумался, что же меня в них так разочаровало.

Ведь мне ничего, совсем ничего от них не нужно. Моим пальмовым рощам не нужна новая отара. Моему замку не нужны новые башни — плащ мой тянется из залы в залу и кажется мне кораблем, преодолевающим морской простор. Мне не нужны слуги, я и так кормлю тех, что по семь или восемь человек выстроились у каждой двери, словно колонны, и вжимаются в стены, заслышав шорох моего плаща на галерее. Мне не нужны новые женщины, я укрыл их всех моей молчаливой любовью и не слушаю больше ни одной, чтобы лучше услышать… Я уже видел, как

они засыпают, сомкнув ресницы и погрузив глаза в бархат сна…

Я оставил их и поднялся на самую высокую из башен, купающуюся в звездах, я хотел узнать у Господа, что же такое сон. Вот они спят, и нет больше дрязг, мелочности, жалких уловок, тщеславия и суетности, но настанет утро, и все это проснется вместе с ними, и для каждой не будет важнее заботы, чем унизить свою товарку и занять ее место в моем сердце.

(Но если позабыть их слова, останется щебетанье птиц и трогательность слез…)

XLV

Вечером, когда я стал спускаться с моей горы по склону, где никого не знал, чувствуя себя погребенным в ангельской немоте покойником, меня утешили за то, что я состарился, за то, что стал раскидистым деревом с узловатым стволом и морщинистой корой, которую так трудно поранить, за то, что от пергамента моих пальцев веет запахом времени, будто я успел сбыться. Вот оно, мое утешение: я подумал, нет больше тирана, который устрашил бы меня, старика, запахом пытки — у пыток запах кислого молока, — ничего не изменить тирану в том, что уже состоялось, какова бы ни была моя жизнь, она уже есть у меня, она позади, словно плащ, и держится на тонкой тесемке. Люди уже запомнили меня, и отрекайся не отрекайся — ничего уже не изменишь.

Утешало меня и то, что вскоре я избавлюсь от своих тягостных пут, мне казалось, что я уже обменял заскорузлую плоть на легкие неосязаемые крылья. Будто разрешился от бремени самим собой и гуляю наконец подле ангела, которого искал так долго. Словно сбросил старую оболочку и снова стал юнцом. Но не порывы, не желания со-

путствуют моей юности — безмятежная ясность. Моя юность тяготеет к вечности, а не к сумятице жизни. Новая моя юность была пространством и временем. Мне показалось, я стал вечным.

* * *

Я напоминал себе путника, который подобрал на дороге раненную ножом девушку. Он поднял ее и несет, словно охапку роз, а она без сил, без сознания, усыпленная стальной молнией, улыбается, отдыхая на крылатом плече смерти, но несет он ее к поляне, где собрались те, кто могут ее исцелить.

Задремавшее чудо, я наполню тебя своей жизнью, я простился с суетностью, вспышками гнева, гордыней и притязаниями, свойственными людям; с радостями, которые выпали на мою долю, с горестями, которые меня мучили, — есть только ты, которой становлюсь я; и, пока я несу тебя к целителям на поляне, я превращаюсь в сияние глаз, в прядь волос, упавшую на чистый лоб, ты поправишься, и я научу тебя молиться, чтобы совершенство души помогло тебе выпрямиться, словно стебель цветка с прочными корнями…

Я больше моего тела, оно треснуло, как скор-

лупа перезрелого ореха. Не спеша, спускаюсь я с моей горы, и плащом за мной тянутся склоны и поляны с разбросанными там и сям золотыми звездочками — огоньками моих домов. Я клонюсь под тяжестью моих даров, словно дерево.

Спящий народ мой, благословляю тебя — спи.

Пусть помедлит солнце лишать тебя ласкового крова ночи! Пусть мой город как следует выспится перед тем, как расправить пчелиные крылья и приняться с зарей за работу. Пусть те, кого постигло вчера горе и кому Господь дал сейчас отсрочку, не спешат вернуться к трауру, нищете, смертному приговору или смертельной болезни. Пусть помедлят они на груди Господа, прощенные и обогретые.

Я тебе охрана.

Я не сплю, так поспи еще ты, мой народ.

XLVI

Сердцу моему так тяжело от тяжести мира, словно я взял его весь на себя. Я стою один, оперевшись спиной на мое дерево, я скрестил на груди руки, чувствуя холод ночного ветра, и как заложников принимаю тех, кто ищет с моей помощью утраченный смысл своей жизни, свое в ней место. Нет места у той, что была только матерью и потеряла ребенка. Она стоит перед бездной как никому не нужное прошлое. Она была лесом лиан, обвивая цветущее дерево, и вот дерева больше нет. «Куда мне деть нежность? — думает она. — И молоко, когда оно прибывает?..»

Нет места у прокаженного, медленным огнем тлеет в нем болезнь, он обречен людьми на изгойство, он не знает, зачем ему желания сердца, которые просыпаются у него в груди. Нет места у твоего друга, он узнал, что болен раком, а у него множество работ в начале, им нужны десятилетия, чтобы осуществиться, — он похож на дерево, оно терпеливо тянуло корни, и они дотянулись до пустоты, висят над бездной. Что делать хозяину — у него сгорели амбары? Чеканщику потерявшему правую руку? Человеку, который ослеп?

На сердце у меня тяжесть всех, кому не на кого опереться. Того, от кого отвернулись близкие, и того, кто сам от них отвернулся. Того, кто мучается на смертном ложе и со стоном ворочается с боку на бок, тело его бесполезнее сломанной повозки, он призывает смерть, а она не идет за ним. Он кричит: «За что же, Господи? За что?!»

Все они — солдаты разбитой армии. Но я соберу их и помогу одержать победу. Нет разбитых армий, каждая побеждает, но по-своему. Ведь в каждом продолжает свой путь жизнь. Цветок вянет, оставляя семечко, сгнивает семечко, пуская росток, и из каждой треснувшей куколки показываются крылья.

Да, все вы — земля, пища и повозки прекрасного шествия Господа!

XLVII

Я спросил: «Не стыдно ли вам своей ненависти, гнева, распрь, ссор? Не сжимайте кулаков из-за пролитой вчера крови, благодаря ей в вас родилось что-то новое, ребенок рассасывает до кровавых трещин материнскую грудь, бабочка платит за крылья обломками куколки. Чем вы обогатитесь, ратуя за вчерашний день? Он отошел, нет в нем ни истины, ни подлинности. Опыт учит меня, что палач и жертва — любовники первого кровавого часа любви. Плод будущего рождается от них обоих. И плод этот значимей тех, кто его породил. В нем они примиряются друг с другом до того дня, когда новое поколение проживет свой кровавый час любви.

Да, роды болезненны, человек страдает и мучается. Но вот отпустила боль, и стало радостно. Человек обретает себя в народившемся. Знаете, когда каждого из вас укрывает ночь и вы засыпаете, вы все так похожи друг на друга. Все, все, и тот тоже, кто спит в тюрьме с доской смертника на груди, и он тоже ничуть не отличается от всех остальных. Важно одно — отдать себя своей любви. Язык, он не подпустит меня к сути, поэтому я

прощу всех убийц. Этот убил из любви к своему гнезду, ибо не жалеют жизни только ради любимого. И другой убил из любви к своему гнезду. Постарайтесь понять это — это главное — и не считайте заблуждением ценности, отличные от ваших. Не считайте истиной то, что, по вашему мнению, безошибочно. Мы во власти очевидности, и тебе, например, очевидна необходимость подниматься вот на эту гору, но помни: твой сосед тоже во власти очевидности, когда старательно карабкается на свою. Очевидная для тебя необходимость лишила тебя сна, и другая необходимость заставила вскочить раньше всех соседа. Очевидное для вас разное, но настоятельность очевидного одинакова и для тебя, и для него.

Однако тебе кажется, что сосед каждым своим шагом попирает тебя. А соседу кажется, что ты попираешь его всеми твоими делами и поступками. Каждый из вас знает: в душе у вас, кроме холода недоброжелательства или откровенной ненависти, живет такая очевидная, такая чистая и ясная картина мира, за которую не жалко отдать и жизнь. Но друг друга вы ненавидите, воображая, что у соседа пустое сердце, лживый и неправильный, грубый язык.

Я смотрю на вас со своей вершины и говорю:

— Вы любите одну и ту же картину, хотя, может быть, она не слишком отчетлива».

Очиститесь от крови: рабство рождает только бунт рабов. Если нет стремления поверить и согласиться, чему поможет принуждение? А если веришь и соглашаешься, то принуждение и вовсе ни к чему.

Так стоит ли вам с первыми лучами солнца хвататься за оружие? Что завоюете вы в кровавых схватках, убивая и не зная даже, кого убиваете?

Мне претит голос крови, он взращивает одно только братство — братство тюремщиков».

Я не советую тебе спорить. Спор лишен смысла. Твой противник, исходя из очевидной для него картины, отвергает твои истины — он не прав. Не прав и ты — ты, исходя из своей очевидности, отвергаешь его истины.

Прими самих людей. Возьми за руку и веди. Скажи им: «Конечно, вы правы, но прежде нам придется подняться на эту гору». Только так ты установишь в мире порядок, и люди вздохнут полной грудью, завоевав простор.

Когда один скажет: «В городе тридцать тысяч жителей», — а другой возразит: «Нет, только двадцать пять», — они договорятся: цифры для всех одни, кто-то из них и впрямь ошибся. Другое

дело, когда один говорит: «Город — творение архитектора. Город — вечен. Он — корабль и везет людей». А другой отвечает: «Город — чудесный гимн множества людей, объединенных общей работой...» Один: «Благотворна свобода и противоречия, они питают новое в человеке, помогая ему родиться». Другой: «Свобода развращает. Кедр вырастает по принуждению внутренней необходимости». И вот они проливают кровь друг друга. Не огорчайся, это родовые схватки, поиски себя и вопль, обращенный к Господу. Скажи каждому из них: «Ты прав. Потому что прав каждый». И веди их дальше, к вершине. Сами они ленятся карабкаться вверх: то у них сердцебиение, то ломит ноги, но, перестрадав страдание, они откроют для себя мужество. Если боишься хищников, ищешь места повыше. Если ты — дерево, ищешь в вышине солнце. И враги помогают тебе, потому что нет на свете врагов. Враги обозначают границу тебя, формируют, уплотняют. И да будет ведомо всем: «Свобода и принуждение — две стороны единой необходимости — необходимости быть таким и не быть иным. Ты свободен поступать так и принужден так не делать. Свободен говорить на своем языке и принужден не устраивать воляпюк из разных. Свободен играть в кости, но

принужден соблюдать правила игры, не портя их другими условиями. Свободен строить новое, но не вправе портить и разбазаривать старое. Писатель, добившийся скандальной славы нарочитым неумением писать, закрывает путь к успеху всем — и самому себе тоже: утратив чувство стиля, читатель не найдет вкуса и в его нарушениях. Издевка та же кража: я назвал короля ослом, все хихикают, потому что привыкли чтить короля. Но почтение мало-помалу изнашивается, король и осел сливаются воедино, слова мои — уже сама очевидность. Никому больше не смешно.

О том, что свобода и принуждение — одно целое, знают все: ревнители свободы всегда ратуют за мораль, признавая тем самым необходимость принуждения. «Полицейский надзор должен осуществляться изнутри», — вот что, по сути, заявляют они. Поборники принуждения настаивают, что главное для человека — свобода духа; сколько простора в твоем тесном доме, ты волен переходить из комнаты в комнату, спуститься в прихожую, открыть и закрыть дверь, ходить вверх и вниз по лестницам. Чем больше стен, порогов, засовов, тем ты свободнее. Незыблемость каменных стен обязывает тебя ко многому, навязывая свободу выбора между всевозможными

способами действовать. Беспорядочная жизнь сообща не свобода, а разложение.

На деле все мечтают об одном и том же городе. Но один требует дать возможность действовать каждому. Другой требует воспитать каждого, прежде чем тот начнет действовать. Оба пекутся о человеке.

Оба правы. И не правы тоже. Первый считает, что человек неизменен и независим. Он забыл о тех двадцати годах обучения, принуждения, тренировки, которые так или иначе сформировали этого человека. Забыл, что умение любить приходит от молитвенного состояния души, наученной молиться, а не от отсутствия внутренних обязательств перед чем бы то ни было. Если не освоить музыкальный инструмент, как играть? Если не выучиться грамоте, как писать стихи? Но не прав и второй, он полагается на поддержку стен, а не на самого человека. На храм, а не на молитву. Но не камни главное в храме — тишина, ради которой их сложили. В храме и в человеческом сердце. Сердце, исполненное тишины. Мой храм — сердце. А кто-то обожествил камень и молится на него, чтобы камень…

Точно так же я молюсь на царство. Я обожествил его для того, чтобы оно помогало людям.

Я не жертвую людьми царству. Я создаю царство, чтобы заполнить и одухотворить человека. Главное для меня — человек. Я подчиняю человека царству, чтобы он нашел себя и свое место в жизни. Я не ищу для своего царства рабов. Давай перестанем говорить, слова не передают сути, разделяют причину и следствие, слугу и хозяина. Но в жизни осязаемы и реальны только связи, взаимосвязи и внутренние зависимости. Я — царь, я подчинен моему народу жестче, чем мне любой из моих подданных. Я выхожу на террасу дворца и вслушиваюсь, как они ночью жалуются, бормочут, стонут и всхлипывают от боли, радостно смеются. Их жизнь я превращаю в гимн Господу. Такова суть моего им служения. Я — вестник, я собрал их и помогаю переправиться. Я — раб и несу на плече паланкин. Я — толмач.

Я — узел, увязавший их в одно целое, ключ свода, преобразивший их в храм. На что роптать им? Разве унизительно для камней поддерживать свод?

Так не спорь же о путях — спор лишен смысла.

Бессмысленно спорить и о людях. Мы всегда путаем следствие с причиной. Откуда узнать людям, что проницает их, если не существует слов,

чтобы выразить это ощущение? Как капле почувствовать себя рекой? Но течет все-таки река. Как клетке дерева почувствовать себя деревом? Но растет все-таки дерево. Как камню ощутить себя храмом? Но все-таки храм сберегает тишину, словно житница.

Откуда знать людям, что они делают, — никогда не поднимались они на гору, никогда не пытались обрести себя в одиночестве и тишине. Одному Господу ведомо, каким вырастет дерево. Люди знают другое: этот тянет вправо, а этот влево. И каждый мечтает уничтожить соперника. Но никто из них не знает, куда же они все вместе плывут. Точно так же враждуют деревья в тропиках. Они теснят друг друга и крадут друг у друга солнце. А лес тем временем разрастается и одевает густым мехом гору, одаряя зарю птицами. Неужели ты веришь, что в их слова умещается вся жизнь? Что ни год, находится сказитель, что поет о невозможности войн, ведь никто на свете не хочет страдать, оставлять жен и детей, воевать за землю, на которой никогда не поселится, никто на свете не хочет умереть от вражеского снаряда под палящим солнцем с вывороченными кишками. Спроси любого, хочет ли он воевать, и каждый ответит: «Нет!»

Но проходит год — и царство вооружается. Все, кто не признавал войны, — ибо суть ее не исчерпать скудным человеческим словом, — проникаются общим для всех духом, который никак не выразишь, и идут на войну, что не имеет ни малейшего смысла для каждого по отдельности. Дерево растет и ничего не знает о себе. Постичь его может лишь поднявшийся на вершину пророк. Нарождающееся, отмирающее всегда больше, чем люди, оно проходит сквозь них, но они не в силах уловить его словом. Чувство безнадежности — вот знак наступивших перемен; царство при смерти, ты узнал об этом, потому что жители его изверились в нем. Но ты будешь не прав, если призовешь неверов к ответу, обвиняя их в близкой смерти царства. Неверие — свидетельство неблагополучия. Но как узнать, что причина, а что следствие? О том, что морали больше нет, ты узнаешь, увидев министров-взяточников. Можно отрубить министрам головы, но они — только свидетельство общего разложения. Закопать покойника не значит бороться против смерти.

Но покойника нужно закопать, и я закапываю его. Министры развратились, я уничтожаю их. Но хочу сохранить достоинство и запрещаю об-

суждать их. Мне претят слепцы, укоряющие друг друга за слепоту. Я не вправе терять свое время на их пререкания. Мои солдаты дали стрекача, генерал обвинил их в трусости, они стали винить во всем генерала. И сообща, генерал и солдаты, стали ругать вооружение. Армия винит поставщиков. Поставщики ругают армию. И те и другие вместе честят систему. Я объясняю им: сухие ветки нужно обрубить, потому что они свидетельствуют о смерти, но считать их причиной смерти дерева — глупо. Дерево при смерти, поэтому ветки сохнут. Сухая ветка — знак близкой смерти.

Видя безнравственность, я караю ее, но не провинившиеся занимают меня — другое. Плохи не люди, плохо то, что в людях сгнил человек. Меня заботит занемогший ангел…

Я знаю, объяснения не лечат — излечивает поэзия. Кого спасли объяснения врача? Врач определил: «Причина смерти в…» Да, действительно, причина ясна: человек умер из-за больных почек. Но почки еще не вся жизнь. Мы так логично все выстроили, так аккуратно собрали керосиновую лампу, заправили ее, но света нет: не поднесли огня.

Любишь потому, что любишь. Нет доводов, на основании которых вспыхивает любовь. Сред-

ство одно — творчество. Если сердца забьются в унисон, значит, люди вместе, ты помог им объединиться. И мало-помалу музыка, завладевшая их душой, станет мотивом их деятельности.

Спустя какое-то время музыка обрастет доводами, причинами, станет силой, потом догмой. Вокруг твоей статуи соберутся логики и перечислят все основания, почему твоя статуя прекрасна. И не ошибутся, она и впрямь прекрасна. Но не логика открыла им это.

XLVIII

Я знаю: нам не о чем жалеть, и это величайшее из утешений. Ни о чем не стоит жалеть и ни от чего не нужно отказываться.

— Прошлое — тот же пейзаж, — говорил мне отец — здесь у тебя гора, там речка, по прихоти памяти ты расставляешь между ними города, которые любишь навещать. Если тебе чего-то недостало, ты строишь воздушный замок. Построить его легко: ничем не помешаешь нашему мечтанью, оно так летуче, податливо, ненадежно, оно всегда во власти случая. Но не сожалей, твердя, что лучше бы помнить другое. Воспоминания хороши тем, что они есть. В наличии — главное достоинство моего замка, его дверей и стен.

— Какой завоеватель, завладев землями, сожалел, что гора поднимается здесь, а река течет там? Для вышивки необходима ткань, для пения и танцев — правила, для человеческих трудов — выучка.

Сожалеть о полученных ранах — все равно что сожалеть о том, что родился на свет или родился не в то время. Прошлое — это то, что сплело твое

настоящее. С ним уже ничего не поделать. Прими его и не двигай в нем горы. Их все равно не сдвинуть с места.

XLIX

Главное — идти. Дорога не кончается, а цель — всегда обман зрения странника: он поднялся на вершину, но ему уже видится другая; достигнутая цель перестает ощущаться целью. Но ты не сдвинешься с места, если не примешь того, что существует вокруг тебя. Пусть хотя бы для того, что бы вечно уходить от существующего. Я не верю в отдых. Если мучает противоречие, недостойно закрыть на него глаза и постараться поскорее успокоиться, согласившись с первой попавшейся из сторон. Кто видел, чтобы кедр прятался от ветра? Ветер раскачивает его и укрепляет. Умудрится тот, кто из дурного извлечет благо. Ты ищешь смысла в жизни; но единственный ее смысл в том, чтобы ты наконец сбылся, а совсем не в ничтожном покое, позволившем позабыть о противоречиях. Если что-то сопротивляется тебе и причиняет боль, не утешай, пусть растет — значит, ты пускаешь корни, ты выбираешься из кокона. Благословенны муки, рождающие тебя, нет подлинности, нет истины, которые явились бы как очевидность. А то расхожее решение, что тебе обычно предлагается, — удобная сделка,

снотворное при бессоннице.

Я презираю тех, кто валяет дурака, лишь бы позабыть о сложностях, кто ради спокойной жизни душит порывы сердца и тупеет. Запомни: неразрешимая проблема, непримиримое противоречие вынуждают тебя превозмочь себя, а значит, вырасти — иначе с ними не справишься. Искривляя корни, ты пробиваешь безликую каменистую землю, и питаешься ею, и творишь во славу Божию кедр. Истинна слава лишь того храма, который вытерпел износ не от одного десятка поколений. И ты, если хочешь вырасти, позволь противоречиям изнашивать тебя, они — твой путь к Господу. Нет в этом мире другого пути. Согласись, прими страдание, и оно поможет тебе подняться.

Но есть слабые деревья, они не выдерживают песчаных бурь. Есть слабые люди, они не в силах себя превозмочь. Убив в себе величие, они кроят себе счастье из посредственности. И согласны вековать на постоялом дворе. Они согласились на выкидыш, они скинули самих себя. Мне нет дела до того, что с ними станется. Они плесневеют среди скудости готового и верят, что счастливы. Они не пожелали видеть врагов в себе и вокруг себя. Они отвернулись от необходимости, неудо-

влетворенности и неутолимой жажды, через которые говорит с ними Господь. Они не тянутся к свету, как тянутся к нему в гуще леса деревья, — солнце не может сделаться запасом, они всегда будут гнаться за ним сквозь густую тень соседних, будут вытягиваться и расти, пока не станут ровными стройными колоннами. Их породила земля, но они возвеличились, потому что искали своего бога. Бог никого не ловит. Он существует, и человек может взрастить себя на Его просторе, как дерево с могучей кроной.

Не снисходи до общепринятых мнений. Люди сосредоточат тебя на тебе самом и помешают расти. Они привыкли считать заблуждением все, что противоположно их истине, твои метания и противоречия для них легки и разрешимы, и, как плод заблуждения, они отбросят семя твоего будущего роста. Они хотят, чтобы ты обобрал сам себя, стал потребителем, довольствовался готовым и делал вид, будто сбылся. Для чего тебе тогда искать Господа, слагать гимн, карабкаться на горную вершину, чтобы упорядочить пейзаж, который клубится сейчас перед тобой хаосом? Для чего спасать в себе свет? Ведь его не поймать раз и навсегда, его нужно ловить каждый день.

Не мешай, пусть они говорят. Легковесные

души советуют тебе, они хотят, чтобы ты был счастлив. Прежде времени они хотят тебя успокоить, но покой ты обретешь только в смерти, и только после смерти послужит тебе накопленное. Копишь ты не запас на жизнь, а мед на зиму вечности.

Если ты спросишь меня: «Так будить ли мне спящего или оставить спать, не мешая его счастью?» — я отвечу, что ничего не знаю о счастье. Но если на рассвете — заморозки, неужели ты не разбудишь друга? Неужели оставишь его без восходящего солнца? Многие любят спать и не хотят просыпаться, но все же высвободи их из блаженных объятий сна, выгони из дома, они должны сбыться.

L

Женщина обирает тебя ради дома. Кому не желанна любовь — запах жилого, журчание во дворе родника и едва слышный звон кувшинов, — любовь, благословленная детьми, следующими один за другим, и в глазах их покой вечера?

Но не пытайся выразить благо словесно и отдать предпочтение либо славе воина в пустыне, либо дарам домашней любви. Отделили одно от другого слова. Всерьез любит воин, он узнал безбрежность пустыни, всерьез бьется за колодец влюбленный — он любит и не жалеет себя ради своей любви. Если воюет не человек, а несущий смерть автомат, то где тогда достоинство воина и честь? Битва тогда — чудовищная возня муравьев. Где величие любви, если под боком у жены сопит ленивый обитатель хлева?

Я вижу величие, если воин, отложив оружие, укачивает ребенка, если муж-защитник отправился на войну.

Я не о том, что одно должно сменять другое, что значима то одна правда, то другая. Я о том, что правда всегда одна. Чем мужественней ты как

воин, тем слаще любишь, а чем крепче любишь, тем лучше будешь воевать.

Но женщина, заполучив тебя для своих ночей, познав сладость твоего ложа, обольщает тебя: «Разве плохо я тебя целую? Разве в нашем доме мало прохлады? Разве мы не счастливы вечерами?» И ты согласно улыбаешься в ответ. «Так оставайся со мной, оберегай меня, — продолжает она. — Стоит тебе захотеть, ты протянешь ко мне руки, и я склонюсь к тебе апельсиновой веткой, полной сладких оранжевых плодов. Жизнь в разлуке сурова, она отучает от ласки. Любовь твоего сердца уйдет в песок, как вода, лишившись возможности расцвести на лугу цветами».

Но ты-то успел узнать, как безудержно влечет тебя к той, чей образ подарен тебе ночным одиночеством, как украшает его тишина…

Ты убежден: война отняла у тебя чудесную возможность любить. Но поверь, только разлука научит тебя любить по-настоящему. Ты научишься видеть голубизну долины, карабкаясь по скалистому склону к вершине. Ты научишься чувствовать Бога, безответно Ему молясь. Только так наполнишься ты, не изнашиваясь, не расплескав полноту в потоке дней, и она останется с тобой, когда дни твои кончатся и тебе позволено

будет быть, ибо ты сбылся.

Конечно, ты можешь обмануться и пожалеть воина, который тщетно зовет в ночи любимую и верит, что время течет для него бесплодно, отняв его драгоценное сокровище. Можешь тревожиться о неутоленной жажде любви, забыв, что суть любви — жажда. Знают об этом танцующие, танец сложен из приближений, а кто мешал бы им приникнуть друг к другу?

Повторяю: драгоценна неосуществленная возможность. Нежность среди тюремных стен — великая нежность. И молитва благодатна молчанием Господа. Шипы и кремни питают любовь.

Так не смешивай рвение с потреблением готового. Рвение, урывающее частичку и для себя, не рвение. Дерево усердствует ради плодов, но на что плоды дереву? Так и я с моим народом. Я усердно возделываю сад, но плоды его не для меня.

Не замыкай и ты себя в женщине. Не ищи то, что уже нашел. Будь с нею время от времени, житель гор по временам нуждается в ласковом море.

LI

Как несправедлив тот, кто показывает на тесный домик и говорит: «Он построен для истинных моих друзей…»

Что он думает о людях, этот брюзгливый подагрик? Если бы я решил выстроить дом для истинных моих друзей, я бы не справился — так он должен быть огромен — нет человека, который не был бы мне другом, хотя бы одной своей малоприметной черточкой. Тот, кому по моему приказу рубят голову, тоже мне друг, и в нем есть согласие со мной, но расчленить человека невозможно. Друг мне и тот, кто считает, что ненавидит меня, и с удовольствием отрубил бы голову мне. Не подумай, что я говорю из дешевого прекраснодушия, снисходительности или пошлого желания понравиться, — нет, я по-прежнему тверд, суров и молчалив. Но дружественное мне и в самом деле обильно, оно рассеяно повсюду и быстро наполнило бы мой дом, помоги я ему сдвинуться с места.

А ты? Кого ты называешь своим истинным другом? Если того, кому доверяешь без опаски деньги, значит, дружба для тебя — честность слу-

ги. Если того, к кому обращаешься за помощью и получаешь ее, значит, дружба для тебя — выгода, которую можно извлечь. Если того, кто в нужный момент встанет на твою защиту, значит, дружба — долг чести. Но я презираю арифметику и называю другом того, кого вижу внутри каждого из нас, он может спать в глубинах естества, но при моем приближении проснется, узнает и улыбнется мне, хотя, возможно, завтра этот человек предаст меня.

А ты зовешь в друзья только тех, кто выпьет вместо тебя цикуту. На такую будущность и впрямь немного охотников.

Слывущие добряками ничего не смыслят в дружбе. Мои отец был жесток, но у него были друзья, он умел любить их и не знал разочарований. Разочарование в дружбе — это обманувшееся корыстолюбие. Разочарование низко, куда же подевалось в человеке все то, что ты полюбил? Ведь и вначале в нем было то, что тебе не нравилось. Но и любимого тобой, и любящего тебя ты превращаешь в раба и, если он не выдерживает тягот рабства, казнишь его.

Друг подарил тебе любовь, а ты вменил ему любовь в обязанность. Свободный дар любви стал долговым обязательством жить в рабстве и

пить цикуту. Но друг почему-то не рад цикуте. Ты разочарован, но в разочаровании твоем нет благородства. Ты разочарован рабом, который плохо служит тебе.

LII

Я расскажу тебе об усердии. Потому что со всех сторон ты будешь слышать укоры. Например, от жены за то, что не принадлежишь ей одной. Жены убеждены, вне дома ты отдаешь украденное в доме. Мы забыли о Господе и выучились торговаться. Мы забыли, что, отдавая, не истощаешь, а расширяешь возможность отдавать. Любящий в людях Господа любит любого из людей щедрее, чем тот, кто сосредоточился на любви к единственному и поселил любимого в тесном садике своего «я». Воин, преодолевающий вдали опасности, щедрее одаряет любовью любимую, хотя, наверно, она не задумывается об этом, чем тот, кто день и ночь при своей жене, но сам не сбылся.

Не экономь на душе. Не наготовить припасов там, где должно трудиться сердце. Отдать — значит перебросить мост через бездну своего одиночества.

Отдавая, не старайся узнать, кому. К тебе и так придут и скажут: «Он не стоит такого подарка». Как будто ты открыл лавочку и вознамерился торговать. Знай, взявший без отдачи подарил те-

бе возможность бескорыстно послужить Господу. И служит Ему не тот, кто поохал над раной ближнего, — тот, кто, не медля, пустился в далекий путь по горным тропам, чтобы вылечить рану слуги своего слуги.

Но если ты ждешь благодарности, ты низок, ты лакей больше, чем все лакеи, вместе взятые, ведь за твое внимание не расплатиться и вырванным из груди куском мяса. Через нуждающегося в твоей помощи ты послужил Господу, так поклонись ему до земли, что он согласился взять у тебя.

LIII

Я был молод, я ждал прибытия нареченной, что была предназначена мне в жены. Караван вез мне ее из такого дальнего далека, что дорогой успел состариться. Ты видел когда-нибудь состарившийся в пути караван? Караванщики, что стояли перед моими дозорными на границе, не знали своей родины. За время странствия умерли те, кто еще помнил ее и мог о ней рассказать. Они умерли один за другим, и их похоронили в песках. Пришедшие к нам хранили воспоминания о воспоминаниях. Песни, которые они переняли от стариков, были легендами о легендах. Ты видел чудо чудеснее, чем приближение корабля, который построили и оснастили в открытом море?

Юная девушка, что вышла из золотого с серебром ковчега, выговорила слово «родник». Она знала: когда-то давным-давно в счастливые времена существовали родники, и выговорила это слово, будто молитву, но не ждала ответа, ибо и Господу молятся по памяти других людей.

Еще удивительнее было ее умение танцевать, танцам ее научили среди гранитных скал пустыни, она знала, что танец — тоже мольба и

молитва, что на эту мольбу может ответить царь, но в пустыне и на нее не ждала ответа. Безответно молишься и ты до самой смерти, танцуя свой танец перед Господом.

И еще одно чудо: жизнь будто и не прикасалась к ней, будто только сейчас вылепили ее теплые, словно голубки, груди, ее гладкий живот, чтобы рожала царству сыновей. Да, казалось, она родилась совершенной — безупречное зернышко, принесенное из заморских стран, прекрасное, переполненное дарами, которые самому ему не нужны, — мы станем такими после смерти, собрав все свои дела, заслуги, усвоенные уроки как доказательство, что мы сбылись. Жизнь не посягала на ее приданое, девственным было ее тело, девственными — танцы без зрителей, девственным оставался родник, которого не касались ее губы, цветы, которых она никогда не видела, но из которых ее научили составлять букеты. Совершенство моей нареченной не нуждалось в свершениях, ей оставалось одно — умереть.

LIV

Я уже говорил: благодаря молчанию Господа, молясь, ты нарабатываешь в своем сердце умение любить. Если Господь тебе откроется, ты истаешь в Нем и сбудешься. Зачем тебе тогда расти и возвышаться? И вот тот, кто отыскал Господа, видит женщину, огородившуюся гордыней, подобно моему треугольному военному лагерю, — как спасти ее? В безнадежности он печалится о человеческом жребии. «Господи! — говорит он. — Я обо всем догадался и думал, она расплачется. Слезы — дождь, отводящий грозу, они умягчают гордость, молят о прощении. Если бы она почувствовала себя слабой и заплакала, я простил бы ее. Но она стала хищной куницей, кусается и царапается, защищаясь от несправедливостей Твоей Вселенной, и не умеет больше не лгать».

Он пожалел ее, потому что ей так страшно. И стал рассказывать Господу о людях: «Ты внушил им страх перед клыками, когтями, шипами, ядами, острыми ракушками и скалами Твоей Вселенной. Пройдет немало времени, прежде чем они успокоятся и вернутся опять к Тебе». Он ведь знает, в каких далях плутает эта лгунья и

как долго ей придется идти, чтобы вернуться!

Он жалеет людей, видя пустое пространство в их душах, отделяющее их от Господа, а они о нем и не подозревают.

Кое-кто удивлен его откровенному потаканью отвратительной распущенности. Но он-то знает, что ничему не потакает. Он молится: «Господи! Я не судья им. Бывают времена судилищ, тогда любого — и меня тоже — могут сделать судьей. Но лгунью я взял с собой, потому что она боится, а совсем не для того, чтобы наказать ее. Видано ли, чтобы спаситель, сочтя спасенного недостойным, столкнул его обратно в воду? Спасаешь, и все. Спасаешь не человека, а Господа в нем. А когда спасешь, человека можно и наказать. Ведь и смертника, если он болен, лечат, прежде чем повесить. Нет права пренебрегать человеческим телом, хотя тело — возможность осуществить кару».

Тем, кто мне скажет: «Ради чего ты суетишься, надеж да спасти ее так ничтожна!» — я отвечу: «Царство очеловечивается не результатом поиска — усердием в поиске. Никто не требует от врача оправдания за то, что он вмешивался в жизнь больного. Необходимо предпринять попытку, пуститься в путь, цель всегда приблизительна, на

дороге множество случайностей, ты не можешь знать, куда придешь. С одной вершины горы видна другая. Кроме человека, ты спасаешь и еще что-то, если воодушевлен чистой верой в спасение. Но если ты стараешься ради платы, если работаешь за вознаграждение, словно нанятый по контракту, ты — лавочник, а не человек.

Что ты можешь знать о превратностях пути? Все, что о них говорится, — слова и ничего больше. Значимо только направление пути. Важно идти, а не прийти куда-то, ибо приходим мы только в смерть.

Беспутство ее — знак тоски и безнадежности. Если поток стремит сквозь тебя, значит ты не хочешь ничего удерживать. Беспутность — это нежелание быть. И еще отчаяние: сокровища, к какому ни прикоснись, рассыпаются одно за другим в прах. Цветок увял и оставил семечко, но ты-то думал, что он будет цвести вечно, и теперь ты в безнадежности и тоске. Я уже говорил, что зову оседлым не того, кто в молодости любил девушек, потом завел дом, женился, качал детей, учил их, растил и на старости лет оделял житейской мудростью, — этот человек всю жизнь шел и шел вперед. Оседлому хочется стоять возле женщины и восхищаться ею, как прекраснейшим

из стихотворений, черпать сокровища, будто из сокровищницы, но вскоре он видит: усилия его тщетны, нет на земле неисчерпаемых источников. Пейзаж, увиденный с вершины горы, радует, пока сохраняет вкус победы.

Мужчина тогда бросает женщину, женщина меняет возлюбленного, потому что они разочаровались. Они на ложном пути, в этом все дело. Любишь, благодаря женщине, любишь с ее помощью, но сама женщина не олицетворение любви. Любишь стихами, но не стихи. Любишь пейзажем, который открыл с вершины горы. Беспутство порождено тоской, человеку никак не удается сбыться. Так мучаются от бессонницы, ворочаясь с боку на бок, ища у подушки щеки попрохладнее. Но стоит прилечь, подушка опять горячая, ее отшвыривают прочь и снова ищут прохлады. Но откуда ей взяться? Она исчезает от прикосновения.

Меняют возлюбленных и те, кто видит пустоту в людях; люди и впрямь пусты, если не стали окном, смотрящим на Господа. Вот почему посредственность любит только то, что не дается в руки: стоит насытиться и становится тошно. Лучше всех знают об этом танцовщицы, которые танцевали передо мной танец любви.

Я хотел бы помочь стать цельной той, что обирает мир и кормится репьями, — истинные плоды протягивает нам неосязаемое — а на земле каждый играет свою игру, и стоит ее разглядеть, как остывает сердце.

Трогает нас другое существо, когда мы этого не ждем. Когда оно для нас только образ, или заблудшая овца, или слабый ребенок или обезумевшая от ужаса лисица, что вцепляется тебе в руку, если ты ее кормишь. Разве обидят тебя ее страх, ее ненависть? Неужели ты оскорбишься злобным словом или укусом? Стоит отвлечься от слов с их бессмысленным смыслом, как ты сразу ощутишь близость Господа.

Я первый за то, чтобы отрубить обидчику голову, если этого требует мое чувство справедливости, если мне нанесено оскорбление. Но я неизмеримо больше лисицы, мечущейся в ловушке, и могу — нет, не простить, меня не достигают обиды на вершине моей горы, где я всегда одинок, — я могу расслышать в ее бессмысленных воплях глухую безнадежность.

С самой прекрасной, благородной и совершенной из девушек ты можешь оказаться вдали от Господа. Ее не нужно утешать, собирать, укреплять. И если она просит тебя позаботиться о ней

и целиком принадлежать любви, она призывает тебя к эгоизму на двоих, который по ошибке зовут светом любви, — нет, это бесплодный пожар, грабеж житниц.

Я коплю себя не для того, чтобы замкнуть себя женщиной и успокоиться.

Зато распутная, лживая, неверная требует от меня столько сердца, чтобы ее любить, столько терпения и молчаливости, которые так красноречиво говорят о подлинной любви, что благодаря ей я начинаю ощущать вкус вечности.

Есть время судить, но есть время сбываться…

А теперь я расскажу тебе, что означает принять человека. Если ты открыл дверь бродяге, он вошел и сел, не распекай его за бродяжничество. Не суди. Больше всего он нуждается в приюте — наконец-то пришел и принес кому-то груз своей усталости, воспоминаний, свою одышку, наконец-то поставил свою палку в угол. Ему нужно тихонько посидеть, он глядит на твое спокойное участливое лицо, не вороша прошлого, своих явных изъянов и бед, потому что ты его не осуждаешь. Он позабыл даже о костыле, потому что ты не просишь его станцевать. Мало-помалу он успокаивается, ты наливаешь ему молоко, и он

пьет, отламываешь хлеб, и он ест, и твоя улыбка, обращенная к нему, становится теплым плащом, словно солнце слепому.

Почему ты решил, что он низок и недостоин твоей улыбки?

Почему решил, что дал ему что-то, если не дал главного — не принял его? Вот ты принял смертельного врага, и как благородны теперь ваши отношения! Ты хочешь выжать из него благодарность тяжестью своих даров? Он возненавидит тебя, если уйдет обремененный долгами.

LV

Не смешивай любовь с жаждой завладеть, которая приносит столько мучений. Вопреки общепринятому мнению, любовь не причиняет мук. Мучает инстинкт собственности, а он противоположен любви. Любя Господа, я, хромой, ковыляю по каменистой дороге, чтобы поделиться своей любовью с людьми. Мой Бог не раб мне. Я сыт тем, чем Он оделяет других. Истинную любовь я распознаю по неуязвимости. Умирающий во имя царства не обижается на него. Можно жаловаться на неблагодарность одного человека, другого, но можно ли говорить о неблагодарности царства? Царство создано твоими дарами, и как жалка будет арифметика, если ты потребуешь от царства возмещения почестями. Положивший жизнь на возведение храма — переливает себя в него, он любит свой храм и не видит от него ни в чем обиды. Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждут взамен. Чтобы научить человека любить людей, нужно научить его молиться, потому что молитва безответна.

Под личиной любви вы прячете ненависть, вы сделали стойку возле женщины или мужчины,

вы превратили их в свою добычу и, стоя как собака над костью, ненавидите всех, кто косится на ваше пиршество. Эгоизм насыщения вы зовете любовью. Как только вам дарят любовь, вы так же, как в ваших фальшивых дружбах, обращаете свободного и любящего в слугу и раба, присвоив себе право обижаться. И чтобы заставить его лучше служить себе, казните ежечасным зрелищем своих страданий. Да, конечно, вы всерьез страдаете. Но именно ваше страдание и не нравится мне. А что в нем, скажите мне, хорошего?

В юности и я мерил шагами террасу под полыхающими звездами: сбежала рабыня, которая казалась мне единственным моим лекарством. Я поднял на ноги всех моих воинов и послал за ней вдогонку. Добиваясь ее, я бросил к ее ногам не одну провинцию, я заплатил бы ей и собственной жизнью, но, Бог мне свидетель, я никогда не называл любовью погоню за добычей.

Дружбу я узнаю по отсутствию разочарований, истинную любовь по невозможности быть обиженным.

Когда приходят к тебе и говорят: «Брось эту женщину, она тебя обижает…» — выслушай их со снисхождением и люби по-прежнему, ибо кто в

силах тебя обидеть?

Тебе скажут: «Брось ее, ты же видишь, старания твои бесполезны». Выслушай их со снисхождением и люби по-прежнему: ты уже сделал свой выбор. И если можно украсть полученное тобой, то кто в силах отнять у тебя тобой отданное?

Тебе скажут: «Здесь ты в долгах. Там у тебя их нет. Здесь смеются над твоими заслугами. Там почитают их». Заткни уши, зачем тебе арифметика?

Всем ты можешь ответить: «Любить меня — значит вместе со мной трудиться».

Вот и в храм вошли только друзья, и несть им числа.

LVI

Я открыл тебе этот секрет и повторяю еще раз: твое прошлое — это медленное рождение тебя, точно так же, как все происходящее в царстве, вплоть до сегодняшнего дня, — рождение царства. Сожалеть о прожитом так же нелепо, как мечтать родиться в другом времени, в другом месте, остаться навсегда ребенком, и этими дурацкими претензиями отравлять себе жизнь. Только безумец может метаться и скрипеть зубами, глядя в прошлое; прошлое — гранит: оно было. Прими этот день, он дан тебе, чтобы ты не боролся с непоправимым. Непоправимое не имеет никакого значения, прошлое никогда ничего не значит. Ведь не существует цели, которая может быть достигнута, периода, который завершился бы, эпохи, которая кончилась, — делят и обозначают границы только историки, — так откуда нам знать, о чем стоит жалеть на этом пути — пути, который не кончен и никогда не кончится? Смысл не в том, чтобы нажить запасы, сесть и не спеша ими пользоваться, смысл в неостывающих стремлениях, в пути и переменах. Путь побежденного, что копит силы под сапогом

победителя, удачливее, чем у его хозяина, который потребляет припас вчерашней победы и близится к смерти.

Ты спросишь меня, к чему же тогда стремиться, если нет никакого смысла в цели? Я открою тебе тайну, которую прячут нехитрые, заурядные слова, которую мало-помалу открывала мне мудрость жизни; знай: приуготовлять будущее — значит всерьез заниматься настоящим. Тот, кто устремлен к будущему, а оно не более чем его собственная фантазия, истает в дыме утопий.

Подлинное творчество — это разгадывание настоящего в разноречивых словах и несхожих обликах дня.

Но если ты пренебрегаешь сегодняшним из-за пустых и вздорных фантазий о будущем, ты — прожектер, который поверил, будто храм и колоннада возникнут из завитушек твоего пера. В мире вымысла нет врагов, но, не встречая сопротивления, как обретешь форму? Вопреки чему потянется вверх колоннада? Одно поколение за другим выстраивает колоннаду, противясь изнашиванию жизни. Нельзя сочинить форму, можно ее нащупать, сопротивляясь жизни, которая хочет все сгладить. Только так рождаются великие шедевры и царства.

Приводить в порядок нужно всегда настоящее. Что толку обсуждать качество наследства? Ты не можешь предвидеть будущего, ты можешь позволить ему быть.

Конечно, у тебя будет немало работы, если сегодняшнее станет для тебя материалом для творчества. Вот и я, например, называю ячменные поля, дома, горы, коз и овец — в общем, все, что вижу вокруг, — обителью, крепостью, царством. Я превращаю их в то, чем они не были, ощущаю как единство и целостность, хотя коснись этой целостности разум, он разрушит ее, потому что бесчувственен. Но я так укрепляю настоящее, так я, не жалея сил, поднимаюсь на гору и складываю пейзаж: в нежной голубой дымке лежат на зеленом полотне полей, словно пасхальные яички, пестрые города. Моя картина не истинней и не лживей городов-кораблей, городов-храмов, она просто другая. В моей власти сделать так, чтобы людская жизнь помогала моей безмятежной ясности.

Знай: подлинное творчество вовсе не предвосхищение будущего, не ловля химер и утопий, оно — новая картина настоящего, а настоящее — всегда беспорядочная куча самых разнородных вещей и предметов, доставшихся тебе по наслед-

ству, доставшихся не для радости, не для горя, они — точно такие, как ты, и они и ты — есть.

Будущее? Пусть оно, как дерево, тянет вверх одну за другой свои ветви от настоящего к настоящему, дерево станет сильным и мощным, достигнет зрелости и примет смерть. Не беспокойся о моем царстве. С тех пор, как вместо дробного мира люди увидели целостную картину, с тех пор, как я взял на себя труд ваятеля и стал тесать камень, мощь моего творчества подхлестнула их судьбы. С этих пор они начнут побеждать, и мои сказители найдут, о чем слагать песни: вместо мертвых богов они будут славить жизнь.

Взгляни на мои сады: с рассветом в них приходят садовники растить весну, они не спорят о пестиках и тычинках, они сажают семена.

Так вот, отчаявшиеся, несчастные, побежденные, я говорю вам: вы — армия победителей, вы выступаете в поход только сегодня, и как радостно быть настолько юным.

Однако не подумай, что обдумать настоящее легко. Оно противится, когда ты его обживаешь, противится так, как никогда не будут противиться твои вымыслы о будущем. Упавший на песок возле высохшего колодца изнемогает от жгучего зноя и так легко шагает в своих мечтах.

Без усилий, огромными шагами торопится он к избавлению от жажды. Сладостно пить в мечтах, где шаги не потребовали усилий и одарили тебя водой, словно гибкие податливые рабыни, ты не встретил ни одного шипа, который вцепился бы в твою одежду.

Но покорное завтра не наступает, наступает агония, скрипит на зубах песок, колыхание пальм, полноводная река и пение прачек медленно уносят тебя в смерть.

Путник идет по земле, сбивает о камни ноги, кровавится о шипы, карабкаясь по склону. Ему выданы все трудности восхождения, и он должен преодолеть их одну за другой. Он создает воду напряжением собственного тела: мускулами, мозолями на ладонях, ранами на ногах. Вмешавшись в разброд противящейся действительности, он силой своих собственных рук выжимает воду из камней пустыни. Пекарь так месит тесто, он чувствует, как оно уплотнилось, противясь усилиям его рук, сбилось в тугой ком, который он должен разминать и разминать, но этот ком говорит: будет хлеб. Точно так же работает поэт и ваятель; как свободны они перед наплывающими строками, перед глыбой мрамора, они могут все — создать трагедию или комедию, наклонить

голову вправо или влево, но до тех пор, пока у них столько возможностей, ничего не рождается. Но вот рыбка клюнула, удочка согнулась дугой. Ты не можешь сказать то, что тебе хотелось бы: поставленное слово мешает новому, но ты не хочешь вычеркнуть первое, оно тоже важно, а оба вместе не даются тебе в руки. Ты тасуешь слова то так, то этак, ты месишь глину, стараясь поймать улыбку, которая от тебя убегает. Не логика тебе в помощь, она отсечет одно в пользу другого, ты ищешь ключ свода, он объединит твои противоречивые истины, ибо ни одна из них не должна потеряться, и вдруг чувствуешь: стихотворение вот-вот появится, мрамор вот-вот улыбнется, потому что тебя стеснили возлюбленные враги.

Никогда не слушайся тех, кто, желая тебе помочь, советует отбросить хоть одно из твоих исканий. Ты угадаешь свое призвание по той неотвязности, с какой оно тебе сопутствует. Предать его — значит покалечить себя, но знай: твоя правда будет обозначаться очень медленно, ее не сведешь к внезапно найденной формуле, она будет вырастать, как дерево, и работать на нее будет только время. А ты? Тебе надо сбыться, подняться вверх по крутому склону. Рожденная дробным миром целостность, которую ты обре-

тешь, будет не разгадкой ребуса, а преодолением противоречий и исцелением кровоточащих ран. Обретая эту целостность, ты ощутишь и ее могущество. Вот почему я так настаиваю, чтобы ты почитал тишину и неспешность — богов, о которых успели позабыть.

LVII

Хорошо быть такими юными и неискушенными, как вы, — обделенные, несчастные, побежденные, — вы, которые из своего богатого наследства взяли себе лишь дурноту вчерашнего дня. Но если я выстрою храм, вы придете в него, и я зароню в вас зерно своей веры, а вы, укрытые могущественным покровом тишины, начнете неторопливо расти, чтобы стать великолепной жатвой. И найдется ли тогда у вас время отчаиваться? Кто из вас не помнит утро победы: умирающие на одре болезни, изъеденные заживо метастазами, калеки на костылях, должники и судебные исполнители, узники и тюремщики превратились из врагов, потерпевших, страдальцев в народ, радующийся победе. Победа стала ключом свода, а многоликая разобщенная толпа — часовней в ее честь.

Кто из нас не видел, как ветвилась, передаваясь от сердца к сердцу, любовь, — любовь, которую пробудило, возможно, величайшее несчастье, ставшее ключом свода и повернувшее людей друг к другу, радуя их возможностью поделиться хлебом, потесниться у очага? Даже ты, недоволь-

ный ворчун-подагрик, в своем тесном домишке, который оказался все же слишком просторен для немногих твоих друзей, вдруг понял, что распахнулись двери храма и входят туда лишь друзья, которым несть числа.

Так есть ли место отчаянию? Вечное преображение — вот что есть. Есть и непоправимое, оно — знак свершившегося, а не причина для грусти или веселья. Непоправим факт моего рождения, раз я есть. Непоправимо прошедшее, но настоящее ждет строителя, валяясь под ногами грудой разнородного материала, вы должны сложить его, чтобы у нас было будущее.

LVIII

Друг тот, кто не судит. Я уже говорил: открыв свою дверь бродяге на костыле и с палкой, друг поставит палку и костыль гостя в угол и не попросит беднягу станцевать, чтобы убедиться, как плохо он танцует. Если бродяга заговорит о весне на дальних дорогах, друг порадуется весне. А если тот расскажет о голоде в деревне, которую он проходил, друг разделит с ним огорчение. Я уже говорил, друг — это та частица в человеке, которая отдана тебе, тебе открывают дверь, которую, может быть, больше не открывают никому. Он твой истинный друг, все, что он говорит тебе, чистая правда, он любит тебя, даже если в другом доме он ненавидит тебя. В храме мне друг каждый, кого я, благодаря Господу, встречаю и задеваю рукавом, кто поворачивает ко мне лицо, освещенное светом нашего Господа, здесь мы одно, хотя, выйдя из храма, он — лавочник, а я — капитан, он — садовник, а я — матрос. Я встретил его, поднявшись над тем что нас разделяет, и стал ему другом. Я могу возле него стоять молча, не боясь, что он отправится бродить по садам в моей душе, по моим горам, крепостям и пустыням. Ты

— мне друг, ты дождешься посланцев моего внутреннего царства и обойдешься с ними бережно. Ты примешь их, усадишь и выслушаешь. И обоим нам хорошо. А я? Разве видел кто-нибудь, чтобы я плохо обошелся с посольством или не принял его только потому, что вдали, в тысяче дней пути от меня, едят то, что мне не нравится, и обычаи их отличны от моих? Дружба — это всегда перемирие, это душевное согласие, отрешившееся от пошлых распрей повседневности. Гость за моим столом всегда безупречен.

Знай, что гостеприимство, обходительность и дружеское участие — это присутствие человеческого в человеке. Каково мне будет в храме, если Господь станет разбирать верующих по росту и дородству, как почувствую себя в доме друга, если он, заметив мои костыли, попросит станцевать, чтобы высказать свое мнение?

В мире достаточно судей. Помогать тебе меняться и закалять тебя будут враги. Это их дело, они с ним прекрасно справятся, бури неплохо помогают кедру. А друг создан для того, чтобы тебя принять. Знай и о Господе. Он не судит тебя, когда ты пришел к Нему в храм, Он тебя принял.

LIX

Если ты хочешь подружить тех, кто привык к вечному дележу и счетам, а значит, и к взаимной неприязни, — ты ведь помнишь: брось им зерно и узнаешь, как они ненавидят, — то постарайся вернуть им чувство уважения, невозможно дышать среди тех, кто осуждает друг друга. Если ты плохо думаешь о друге и говоришь это, значит, видишься с ним не в храме, где собираются только друзья и единомышленники.

Говоря тебе все это, я вовсе не поощряю тебя к снисходительности, малодушию или неустойчивости в добродетели. Просто дружба — это не жестокость. В другое время ты будешь судьей. Когда понадобится, ты без колебаний отрубишь голову. Напоминаю, ты приговариваешь к смерти, но ты же и лечишь обреченного, если он болен. Не страшись этих противоречий, недостаточен наш язык, когда речь идет о человеке.

Противоречат друг другу слова, которыми мы изъясняем суть. В осужденном есть тот, кого ты отдал палачу, но есть в нем и другой, кого ты сажаешь с собой за стол и не имеешь права судить. Тебе заповедано судить человека, но заповедано

также и почитать его. Обычно судят одного, почитают другого — неправильно: одного и того же судят и почитают. Таков один из законов моего царства, от несовершенства слов он так труден для понимания.

Несовместимости, смущающие логиков, не смущают меня. Ненавистный враг, с которым я сражаюсь в пустыне, лучше всех помогает мне утвердиться в себе. Грозен наш поединок, но и это любовь.

LX

Я размышляю о тщеславии. Тщеславие всегда казалось мне не пороком, а болезнью. Вот женщина, которую заботит мнение толпы: на людях у нее меняется походка, голос, неизъяснимое удовольствие доставляют ей похвалы и комплименты, щеки у нее розовеют, если кто-то на нее взглянул, — уверяю вас, она не дурочка, она просто больна. Ведь обычно радости от других людей приходят к нам через любовь. Но для нее ни одно блаженство не сравнится с радостью удовлетворенного тщеславия, и ему она жертвует любыми другими удовольствиями.

Скудная, жалкая радость сродни калечеству. Сродни чесотке: кожа зудит и ее с наслаждением расчесывают. Нежность и ласка совсем другое, они — кров, они — на дежность убежища. Я ласкаю малыша, и он знает, что он под защитой. Мой поцелуй на бархатистой щечке — знак, что его оберегают.

Тщеславная женщина наслаждается пародией чувств.

Жизнь скудеет в тщеславном. Если хочешь только получать, что заставит тебя тянуться

вверх, перерастая самого себя? Тщеславный стоит на месте, он ссыхается.

Но когда от моей похвалы краснеет и волнуется, как мальчишка, отважный воин, я не считаю, что в нем заговорило тщеславие.

Что волнует одного? Что трогает другую? В чем их отличие?

Тщеславная, когда она засыпает…

Нет, ей не понять цветка, который дарит ветру свое семечко, чтобы оно никогда к нему не вернулось.

Не понять дерева, которое отдает плоды и ничего не получает взамен. Не понять человека, который счастлив трудиться безвозмездно.

Не понять стараний танцовщицы: она станцевала танец и осталась ни с чем.

Не понять воина, рискующего жизнью. Он перекинул мост над пропастью, я восхищаюсь им и говорю: «Жертвенность — самое человечное в человеке». И он горд, но не за себя — за человека.

Тщеславные все превращают в пародию. Нет, я не ратую за скромников, мне по нраву жизнестойкость и устойчивость гордецов. Скромник пасует перед ветром, как флюгер. Любой в его глазах значительнее, чем он сам.

Я хочу, чтобы животворило вас отданное, а

не полученное, ибо возвышаешься — отдавая. Я не имею в виду отданного из пренебрежения. Каждый должен вырастить свой плод. Гордость печется о его стойкости. Без гордости плод по воле ветра будет менять вкус, цвет, запах.

Чем одарит тебя твой плод? Возможностью отдавать безвозмездно.

Красавица возлежит на роскошном ложе и собирает дань восхищения толпы: «Я одаряю красотой, изяществом, величавой поступью. Жизнь моя волей жребия — прекрасный храм, мужчины молятся на меня. Я есть, и это мое дарение».

У тщеславия и дары подложные. Одарить можно только тем, что сам преобразил. Дерево дарит плод, плод — преображенная земля. Танец — преображенное умение ходить. Кровь воина преображается в храм и царство.

Но с каких пор даром стала течка? Конечно, кобели сбежались и все вокруг возбуждены. Но разве что-то преобразилось? Свои радости она украла у природы. Не прилагая усилий, расходуется она на кобелей.

А как наслаждается тщеславная чужой завистью! Как ей лестны завистники!

А вот и еще одна пародия на одаривание — хвалебная речь на торжестве. Гость встал, и,

кажется, — дерево, отягощенное плодами, протянуло окружающим свои ветки. Но что сорвешь с них? Однако всегда найдется глупец, который верит, что сорвал с ветки плод, он польщен умом говорящего. Раз нашелся облагодетельствованный, как усомниться, что ты благодетель? Две бесплодные смоковницы кланяются друг другу.

Отсутствие гордости, вечная оглядка на большинство, постыдное недоверие к собственным силам — вот источник тщеславия. Толпа необходима тебе как воздух, она убеждает тебя в твоей полноценности.

Король одарил улыбкой подданного. «Видите, король меня знает», — говорит тщеславный. Преданный королю молча зардеется от радости. «Король согласен, чтобы я отдал за него жизнь», — вот что прочитал преданный в королевской улыбке. И словно бы уже отдал свою жизнь королю и облекся королевским величием. «И я служу величию моего короля, — мог бы подумать он, — король велик гордостью за него подданных».

Но тщеславный завидует королю. Король улыбнулся ему, и, нацепив его улыбку, как орден, он разгуливает теперь пародией на короля, чтобы позавидовали и ему. Король одел его на полчаса

в свой пурпур. А под пурпуром — ужимки и душа обезьяны.

LXI

Торговцы озабочены судьбой товаров, и для нас товары стали главной ценностью. Мы уверились: нет большей радости, чем покупки. Да и откуда нам быть иными, если потрачено столько усилий, чтобы укрепить нашу привязанность к вещам?

Да, конечно, любая вещь, если жертвовать для нее собой без остатка, обретет величие. Например, драгоценный камень, если трудишься над ним, высвобождая свет. Камень способен стать твоей религией. Я знал куртизанку, за нетленный жемчуг она платила бренным телом. Я не презираю религии камня. Но недостойно кадить себе вещами. По правде сказать, в нас нет ничего, что было бы достойно каждения.

Но вот я протянул малышу игрушку, он забился в угол, боясь, как бы я ее не отнял. Здесь другое — малыш обрел божество и готов стоять за него, не щадя себя.

LXII

Я размышлял о безусловности власти. Мне жаль, что неосязаема пирамида, вершина которой — Бог, а основание — люди.

Но возьмем короля и предположим, что власть его и впрямь безусловна, что власть его для тебя — неоспоримая данность, вроде пути из залы совета в гостиную в замке моего отца: к нему ведет вот эта лестница, а не другая, вот эта дверь, а не соседняя, и тебе незачем изыскивать другой путь, коль скоро существует этот. Ты следуешь установленным путем свободно, ты подчинен ему не из трусости, низости или искательства, и точно так же без трусости, низости и искательства ты служишь своему государю, когда власть его безусловна, а не обязана воле случая. Но если ты кажешься себе первым в царстве после государя, а для государя власть не исконная данность, а случайность политической интриги, спорный результат частных мнений или успех хитрости, — ты будешь ему завидовать. Завидуют только тому, на чьем месте возможно оказаться. Темнокожий не завидует белой коже. Человек не завидует птице смертельной завистью, которая

жаждет уничтожить для того, чтобы воспользоваться самому.

Пойми, я осуждаю не честолюбие, честолюбие тоже желание созидать. Я осуждаю зависть. От зависти родятся только интриги, а интриги — гибель для творчества, которое в первую очередь чудо совместной работы всех с помощью каждого. Сперва ты судишь своего не безусловного государя, потом ты его презираешь. Ты знаешь, что он выше тебя, потому что у него больше власти, но отказываешь ему в справедливости, уме, благородстве сердца. Ты презираешь его, и его уважение к твоим трудам для тебя не награда. Уважение тех, кого мы презираем, оскорбительно нам. И вот твое положение становится для тебя невыносимым.

Приказы временщика унижают тебя, но ведь он и хочет тебя унизить, у него нет иного средства дать почувствовать весомость своей власти. Быть с тобой на равных, делить хлеб, расспрашивать, восхищаться твоими познаниями и достоинствами может только тот, кто стоит у власти так же естественно, как стоит крепость. Крепость стоит себе и стоит, чем тут наслаждаться, чему радоваться?

Вот я пришел и сел за стол последнего из своих

слуг. Он вытер стол, поставил на огонь чугунок, он счастлив моему приходу. Разве камень фундамента упрекает замковый камень за то, что тот держит свод? Разве ключ свода презирает фундамент? Я и мой слуга, мы сидим друг напротив друга как равные. Только такое равенство я признаю исполненным смысла. И если я расспрашиваю его о пахоте, то не из низкого желания польстить ему и расположить к себе — мне не нужны избиратели, — я спрашиваю, потому что хочу поучиться. Когда спрашивают и не выслушивают ответа, ощутимо презрение. И ответивший нащупывает в кармане нож. Но мне важно знать, сколько плодов даст оливковое дерево, я внимательно выслушиваю ответ.

Я пришел в гости просто к человеку. И этот человек принимает меня как гостя. Мой приход для него подарок, его правнуки будут знать, на каком из стульев я сидел.

Моя власть безусловна, поступки мои не диктуются низкой корыстью, я способен чувствовать свойственную людям благодарность. Вот мне улыбнулись, поздоровались, вот жарят для меня барашка, я — гость, он — хозяин, и, кроме других разных чувств, мы испытываем друг к другу просто человеческое тепло. Дары гостеприим-

ства, будто стрелы, вонзаются в мое сердце. Вот и Господь слышит твою самую короткую молитву, самую мимолетную мысль: нищий вздохнул о Нем в раскаленной пустыне. Но если в гостях у тебя мелкий князек с сомнительными правами на власть, дары твои должны быть велики и обильны, по изобилию даров судит он о собственной значимости.

Незнакомец крутит скрипучий ворот, с усилием вытянул ведро на каменный край колодца и засмеялся маленькой своей победе, он идет под жарким солнцем в тень, в тени возле стены стою я, он наливает мне свежей воды, и сердце мое освежается любовью.

LXIII

На примере куртизанки объясню я то, что хочу сказать о любви. Материальные блага ты счел самоценными и ошибся. Пейзаж, открывшийся тебе с вершины горы, ты создал усилиями, затраченными на подъем, вот и любовь питается затраченными усилиями. Нет ничего, что обладало бы ценностью само по себе, — нити, связующие дробность в единое целое, придают отдельной вещи и цену, и смысл. Носа, уха, подбородка, второго уха мало, чтобы мрамор сделался лицом, необходима игра мускулов, связующая их воедино. Узел, который держит. Звезды, число девять, родник еще не стихи, но они появились, когда я завязал все одним узелком, заставив девять звезд купаться в роднике. Я не спорю, связующие нити выявляются благодаря тем предметам, которые они между собой связали. Но не вещи главное. В ловушке для лисиц главное не веревка, не палка, не защелка — творческое усилие, которое соединило их, и вот ты слышишь тявканье пойманной лисицы. Я — поэт, ваятель, танцовщик, я сумею поймать тебя в свою ловушку. Такое же творчество и любовь.

Чего ждут от куртизанки? Телесного отдыха после боевых трудов, которыми завоеван оазис. Ты не нужен ей, с ней тебя словно бы и нет. Любовь пробуждает спящего в тебе ангела и, преисполнившись благодарности, ты готов лететь на помощь любимой.

Разница не в доступности: раскрой объятия и любимая прильнет к тебе. Разница в даримом. Невозможно одарить куртизанку, все, что ни принесешь ей, она сочтет заслуженной мздой.

Но если существует мзда, ты прикидываешь, по карману она тебе или нет. Так расставлены фигуры в танце, который танцуется с куртизанками. Солдаты с тощими кошельками в сумерках разбрелись по веселому кварталу, они торгуются и покупают любовь, как хлеб. И, как хлеб, покупная любовь дает им силы шагать по пустыне дальше, усмирив тело и сделав радостным одиночество. Но, покупая любовь, они примерили фартук лавочника, они не почувствовали, что означает усердие.

Надо быть богаче короля, чтобы куртизанка поняла, что ее одарили, — но даже если подарить ей полмира, она поблагодарит себя, похвалит за удачливость и возгордится красотой и хитростью, благодаря которым ты так раскошелился. В этот

бездонный колодец ты можешь спустить золото тысяч и тысяч караванов и все-таки ничего не подаришь. Нет того, кто принял бы от тебя дары.

Вот почему мои солдаты поглаживают вечерами и чешут за ухом маленького лисенка. Что-то похожее на любовь сжимает им сердце, когда им кажется, что они одарили дикого зверька теплом, они хмелеют от благодарности, если лисенок нечаянно к ним прижмется.

Но в каком из веселых кварталов куртизанка прижмется к тебе, потому что ты ей нужен?

Случается, однако, что кто-то из моих солдат, не богаче и не беднее прочих, тратит свои деньги, не глядя, словно дерево, отдающее семена ветру, он — солдат, он презирает деньги.

Он заходит в один притон, в другой, ослепляя всех фейерверком своей щедрости. Он похож на сеятеля, спешащего насытить семенами жадно ждущую землю.

Мой солдат расстается со своим богатством и не хочет ничего сохранить для себя, он единственный понял, что такое любовь. И в ответ, может быть, проснется любовь и в куртизанках, потому что сейчас танцуется другой танец, и этот танец в радость даже им.

Повторяю: принимать и брать не одно и то же,

ты рискуешь всегда пребывать в заблуждении, если не поймешь разницы. Принимается подарок, а подарок всегда дар самого себя. Скуп не тот, кто пожалел денег на подарок, скуп тот, кто не расцвел и в ответ на твои дары. Скупа земля, если не оделась цветами, забрав у тебя семена.

А свет? Он вспыхивает иной раз и в куртизанке, и в пьяном солдате.

LXIV

Растратчиками — вот кем стали жители моего царства. Никто в нем больше не пестует человека. Одухотворенное лицо в нем уже не маска, оно — крышка пустой коробки.

Только и знали они, что разорять Сущее, и они его разорили. Я смотрю и не вижу среди них ни одного достойного смерти. А значит, и жизни. Потому что живешь тем, за что готов умереть. Но они насыщались, потребляя созданное, они развлекались грохотом камней, разрушая храмы. Храмов нет, но нет им и замены. Своими руками эти люди уничтожили все пути самовыражения человека. И уничтожили человека тоже.

Ища радости, они ошиблись и сбились с дороги. В прежние времена говорили: «деревня», и возникало ощущение прочности быта, устоев, неизменности обрядов. Устоями поддерживалось усердие деревни. Но они пришли и все перемешали. Их не радовала неторопливо нажитая, устоявшаяся целостность взаимопроникающих связей, им хотелось найти готовый припас, который был бы всегда под рукой и служил безотказно, как чужое стихотворение. Тщетная надежда.

Многие, желая величия человеку, хотят для него свободы. Они видят: принуждения сковывают возможности человека. Так оно и есть. Враг помогает тебе сформироваться и вместе с тем ограничивает тебя. Но не будь у тебя врагов, ты не родишься.

Часто верят, что радует готовое. Что можно просто-напросто наслаждаться весной. Но нет сладости у весны, если ты не преобразился в растение, чтобы насладиться ею. Нет сладости у любви, если ждешь, что тебя одарит ею красивое лицо. Чужое произведение может растрогать тебя своей мукой, но песня галерников о лишениях и разлуке запомнится тебе, только если ты сам мучительно расставался, если неумолимая судьба казалась тебе галерой.

Тот, кто без тени надежды на успех выгребал к рассвету, поймет песню галерника; тот, кто изнемогал от жажды в пустыне, поймет песню о лишениях и разлуке. Но если ты ничего не выстрадал, ты пуст, и дать тебе что-то невозможно.

Нет, деревня не стихотворение, которым ты можешь безмятежно наслаждаться, восторгаясь горячей похлебкой на ужин, благорасположением людей, мирным запахом молока в хлеву и праздничным фейерверком на площади. Откуда

взяться в тебе празднику, если он не завершил череду каждодневных тягот? Если он не напоминает тебе, как после долгих лет рабства наступила свобода, после долгих лет ненависти — любовь, если он не память о спасительном чуде, осветившем мрак безнадежности? Все вокруг для тебя молчит, и счастья у тебя не больше, чем у коровы.

Но если ты сживешься с деревенской жизнью, то мало-помалу поймешь, что же такое деревня, — и это будет значить, что шаг за шагом ты поднялся на свою гору. Значит, я лепил тебя своими обрядами и обычаями, твоими лишениями и обязанностями, неизбежными вспышками гнева и раскаяния, и ты сменил привычное тебе на иное, — в тот давний вечер ты восторгался призраком деревни, теперь ты узнал ее подлинную мелодию, ты учил ее долго-долго и так не хотел учиться вначале, но теперь она тебя не покинет, так запомни: нелегко становиться человеком.

Но если ты пришел в деревню и все, чем она живет, для тебя — игра и забава, — ты ограбил ее; кто относится всерьез к забавам? И от деревни ничего не останется. Ни тебе, ни ее жителям…

LXV

— И мне нужен порядок, — говорил отец, — но не ценой упрощения и скудости. Я не экономлю на времени. Узнав, что люди сделались толще, занимаясь амбарами вместо храмов и водосточными трубами вместо скрипок, я не обрадуюсь. Самодовольное скопидомство, даже если оно лучится счастьем, достойно только презрения. Какой человек процветает — вот что меня заботит. Мне по душе человек, который не пожалеет времени на долгое омовение тишиной храма, на созерцание Млечного Пути, человек, который делает себя просторнее и упражняет сердце в любви безответной молитвой (если ответить, ты становишься только жаднее), тот, кто чуток к поэзии, — о таком человеке я забочусь.

— Если не строить храмов и кораблей, снаряженных в неведомое, если не корпеть над стихами, которые разберегут человеку душу, конечно, сбережется немало времени, но стоит ли тратить его на утучнение человечества — не лучше ли на облагораживание? И вот я возвожу храмы и кропотливо отделываю стихи.

Сколько времени уходит на похороны! Сколько

сил тратится на копание могилы! А они пригодились бы на пахоту, на жатву... Я запрещаю сжигать покойников. Мы ничего не выиграем, если станем меньше чтить мертвых. Кладбище — лучшая память об ушедших, медленно идут люди между могил, отыскивая своих близких, усопший для них — корень в земле, сама земля. Но они знают: от ушедшего что-то осталось, подобие святых мощей, пясть руки, которая когда-то ласкала, череп — опустевшая сокровищница, но как вспомнишь, сколько в ней было сокровищ!

Когда-то я приказал строить дома для усопших — да, это дорого, да, бесполезно, — но зато в них собирались по праздникам и чувствовали не умом, а въяве, что живые и мертвые живут вместе, что они — единое дерево, которое тянется вверх. Если поколение за поколением учить наизусть те же стихи, восхищаться тем же кораблем и украшать ту же колоннаду, человек улучшится и облагородится.

Глядя из близи, как смотрят близорукие, человек быстротечен, но никак не износится тень, отброшенная его светом, никак не умолкнет эхо. Не погребая усопших, не трудясь над надгробиями, я сберегаю время и хочу потратить его на укрепление связи между поколениями: пусть

жизнь, словно дерево, тянется через них прямо к солнцу, рост вверх кажется мне достойнее роста вширь. И тогда, хорошенько все обдумав, я трачу сэкономленное время на погребения и высекание надгробий.

— Да, я чту порядок, — говорил отец, — порядок жизни. Упорядочено дерево, хотя живут в нем разом и корни, и ствол, и ветви, и плоды, и листья; упорядочен человек, хотя живет он и умом, и сердцем, и никак не заставишь его только пахать землю или только совершенствоваться, нет, он копает землю и молится, любит и выстаивает перед соблазном любви, работает и бездельничает, и вслушивается в мелодию вечера.

Но отдельные мои сограждане прознали, что могучие и победоносные державы славились порядком. А простодушные логики, историки и толкователи убедили их, что порядок и есть отец славы. Но я говорю вам: и порядок, и слава — плод совместного усердия. Чтобы все упорядочилось, нужна картина, которую любили бы все.

А для этих порядок самоценен, они обсуждают его, совершенствуют и в конце концов приходят к упрощению и скудости. Людей просто-напросто лишают всего, что не поддается выражению в словах.

Но сущностное всегда невыразимо, и ни один профессор не мог мне объяснить, почему я так люблю ветер, дующий в пустыне при свете звезд. Но любители порядка сосредоточились на обыденном, потому что его легко уместить в словах. Кто обзовет тебя обманщиком, если ты скажешь, что три мешка овса лучше, чем один? Но мне кажется, я дам людям что-то лучше овса, если приведу к источнику, который расширит душу, если отправлю в путь по пустыне при свете звезд.

Порядок — это форма, которую принимает жизнь, но никак не причина жизни. Соразмерность стихов — свидетельство их завершенности. Но не с соразмерности начинаются стихи, она приходит, если ты как следует помучился. Однако любители порядка говорят ученикам: «Вглядитесь, это — великое произведение, и как идеально оно упорядочено. Заботьтесь прежде всего об упорядоченности, она — залог величия». Послушавшись их, вы создадите мертвый скелет или мумию для музея.

Я взращиваю любовь к царству, и благодаря ей, все упорядочивается, на своем месте оказываются землепашец, пастух, жнец — и над ними зодчий, раздувающий в них любовь. Так укладываются в ряд камни, когда ты понуждаешь их служить сла-

ве Господа. Их порядок рожден любовью зодчего.

Ты споткнулся о слова. Служи жизни, и все упорядочится. Служить порядку — значит сеять смерть. Порядок ради порядка искалечит жизнь.

LXVI

Я задумался о красоте вещей. В этой деревне красиво расписывали миски, в соседней — некрасиво. И понял: нет средства, с помощью которого все миски расписывались бы красиво. Затраты на ремесленные школы, конкурсы, почетные дипломы не в помощь красоте. Больше того, можно трудиться день и ночь напролет, но если тебя занимает не роспись миски, а что-то еще, она получится вычурной, грубой и вульгарной. Ведь сна тебя лишала не миска, а жадность, тщеславие, честолюбие. Ты занят собой, ты не служишь Господу, который дал тебе возможность пожертвовать собой, самозабвенно преображаясь в в свое творение. Он дал его тебе вместо алтаря, и оно вместила бы все: твои морщины, тяжкий вздох, покрасневшие веки, дрожащие, утомленные вечной работой руки, блаженство вечернего отдыха и твое усердие.

Благодатна только молитва, а молитва — это самозабвенное дарение себя, чтобы наконец сбыться. Ты же птица, она вьет гнездо, и в нем тепло; ты же пчела, она собирает мед, и он сладок; ты же человек, он лепит вазу, любя только

вазу, только любя, а значит, молитвенно. Ты влюблялся в стихи, написанные ради денег? В стихах ради денег не бывает поэзии. В вазе для конкурса нет благоговения перед Господом. В ней есть твое тщеславие, корысть и притязания невысокого полета.

LXVII

И вот все мои доброжелатели пришли ко мне, поглупев от неопровержимости своих доказательств, средств и целей. Но я знаю: слова только обозначают, они не в силах выразить, и любая речь дает лишь представление о твоем образе мыслей. Поэтому бессмысленно возражать или соглашаться. Я посмеялся над ними.

— Твой генерал не прислушался к моим советам, — сказал один, — а все вышло так, как я говорил.

Да, конечно, бывает, что ветер слов принесет и им картинку, до которой снизойдет будущее и уподобится ей, но на следующий день тот же ветер принесет другую картинку, потому что каждый может сказать, что угодно, и говорит все, что угодно.

И если генерал, который продумал, как ему расположить свое войско, взвесил шансы, прощупал обстановку, послушал, как спит его враг, и прикинул, каково будет пробуждение, если вдруг этот генерал меняет все свои планы, перемещает военачальников, разворачивает войска и импровизирует сражение только потому, что праздный

прохожий пять минут обдувал его ветром слов и они повисли в воздухе изящной цепочкой доводов, — я лишаю такого генерала погон, сажаю в карцер и не даю себе труда его кормить.

Мне по нраву другой воитель, он приходит ко мне, засучивая рукава, как пекарь, и говорит:

— Я чувствую: надави покрепче на наших, что стоят в ложбинке, и они дадут деру. Чтобы воодушевить их, нужны победные фанфары слов, они чувствительны на ухо. Я смотрел, как они спят, и сон их мне не понравился. Теперь они проснулись и завтракают…

Я люблю танцоров, которые понимают толк в танцах, они хорошо танцуют. Танец — вот она, истина. Чтобы соблазнить, нужно сблизиться. И чтобы убить, тоже нужно сблизиться. Ты скрестил клинок с клинком, сталь танцует напротив стали. Ты видел когда-нибудь, чтобы человек сражался и размышлял? Где в бою время на размышление? А ваятель? Погляди, его руки мнут, топчут глину, и большой палец поправляет вмятину от указательного. Где время на размышления, на поверхностные несогласия? Да, конечно, поверхностные, потому что только слова обозначают и разделяют, на словах существуют противоречия. А в жизни? Нет, она не простая и не сложная, не

понятная, не загадочная, не противоречивая, не целостная. Она есть, и все. Язык упорядочивает ее, усложняет, проясняет, затемняет, разнообразит, объединяет. И если один выпад ты делаешь влево, а другой вправо, то не стоит выводить заключение, что существуют две истины, — она одна: истина встречи. И только танец сближает нас с жизнью.

Тот, кто понадеялся в жизни на разум, а не на богатство сердца и продумывает, как разумнее всего действовать, никогда не примется за дело: на его разумное решение предложат еще более разумное, он поразмыслит и найдет третье, еще умнее. Веские доводы одного адвоката, еще более веские другого — нет этому конца. Очевидна только вчерашняя истина, да и истинного в ней только то, что нечто стало данностью. И если ты хочешь разумно объяснить, чем это творение замечательно, ты объяснишь. Потому что заранее знаешь, что тебе придется объяснять. Но творчество не работает с готовым, оно по другой епархии. Бухгалтер, даже если ты дашь ему камни, не построит храма.

Но вот мои разумные инженеры обдумывают каждый свой шаг, словно ход в шахматах. И я готов согласиться, что в конце концов они выбе-

рут правильно. (Хотя сомневаюсь: шахматные задачи одномерны — проблемы жизни не решить взвешиванием. Вот, например, тщеславный скупец, скупость спорит в нем с тщеславием, и какой расчет, какое взвешивание определит, что возьмет верх?) Но предположим, что они вычислили самый верный шаг. Но они забыли, что имеют дело с жизнью. В шахматной партии противник дожидается, пока ты снизойдешь и сделаешь свой ход. Все происходит вне времени, которое только и питает дерево, торопя его расти. Но время не в помощь шахматам. Только жизнь органично связана со временем, она развивается, она растет, как растет живое существо, а не как механическое сцепление причин и следствий — хотя задним числом ты сможешь показать своим ученикам и эти причины, и эти следствия, удивив их стройностью. Причины и следствия лишь знаки совсем иной силы — силы всепреодолевающего творчества. В жизни противник не ждет. Он сделает двадцать ходов, пока ты размышляешь над своим. И твой ход окажется страшной нелепостью. А чего, собственно, ему ждать? Ты видел, чтобы ждал танцор? Он танцует в паре и, таким образом, ведет партнера. Те, кто действуют, положившись на разум, всегда опаздывают.

Поэтому я приглашаю править моим царством тех, в чьих руках кипит работа, и видно, что их руки вымесят хлеб.

Работник будет работать и работать, а логик под давлением жизни будет менять и менять свою логику.

LXVIII

Ошеломило меня и еще одно открытие — счастье ровно ничего не значит для человека, равно как и корысть. Единственное, в чем он всерьез заинтересован, — это в том, чтобы неустанно жить. Если он богач — обогащаться, если моряк — плавать на корабле, если грабитель — сторожить в засаде при свете звезд. Но если счастье — это беззаботность и безопасность, то я видел не однажды, как легко от него отказывались.

Мой отец озаботился судьбой гулящих в том смрадном квартале, что, словно отбросы, сползал по откосу к морю. Они протухали в нем, как сало, и заражали гниением путешественников. Он отправил отряд солдат за шлюхами — так отправляют экспедицию за редкостными насекомыми, желая изучить их нравы. И вот отряд, не спеша, шагает меж отсыревших стен прогнившего квартала. Он видит: за окнами жалких лачуг, жирно пахнущих прогорклой стряпней, сидят под лампами, которые им вместо вывески, оплывшие женщины, бледные, как тусклый фонарь под дождем, их красные, как кровь, губы на тупых коровьих лицах сложены в мертвую

улыбку — девушки ждут клиентов. По обычаю, чтобы привлечь внимание прохожих, они тянут заунывную песню, — бесформенные медузы распространяют вокруг себя слизь.

Обезнадеживающая жалоба оплетает улочку. Мужчина поддался ей, за ним захлопнулась дверь на полчаса, и в горькой скудости совершается обряд любви, заунывная мелодия сменяется учащенным дыханием мертвенно-бледного чудовища и каменным молчанием солдата, который купил у призрака право больше не думать о любви. Он пришел вытравить цвет у мучительных снов, потому что родился, возможно, среди пальм и улыбающихся девушек. Понемногу в дальнем странствии густая зелень пальм отяготила его сердце невыносимой тяжестью. Мучительно зазвенело серебро ручья, и улыбчивые девушки с гибкими, грациозными телами, с угадываемыми под легкой тканью нежными теплыми грудями все больнее и больнее касались сердца. Он принес свое жалкое жалованье в веселый квартал, прося избавить его от снов. И когда дверь открылась вновь, он твердо стоял на земле, самодостаточный, жесткий, высокомерный, он погасил свет, в лучах которого играло и переливалось единственное его сокровище.

Посланный отряд вернулся, отъединив несколько полипов, ослепив их стальным блеском собственной неуязвимости. Отец показал мне на бледные растения.

— Благодаря им, — сказал он, — ты узнаешь, что правит всеми нами.

Он приказал их одеть в новые платья, поселил каждую в чистеньком домике с журчащим ручьем невдалеке и приказал плести для него кружева. Платил он им вдвое против того, что они могли бы когда-нибудь заработать. Следить за ними он не велел.

— Жалкая болотная цвель теперь счастлива, — сказал он. — Если счастье в чистоте, покое и обеспеченности…

Но одна за другой они сбежали и вернулись в свою клоаку.

— Им нужна была нищета, — сказал мне отец. — Не потому, что они глупы и предпочитают нищету благополучию, а потому, что важнее всего для человека напряжение сил и жизни. Уютный дом, кружева и свежие фрукты показались им каникулами, забавной игрой и бездельем. Все это не казалось им настоящей жизнью, и они тосковали. Долгие годы нужно жить на свету, в чистоте и плести кружева, чтобы

все это перестало быть радующим глаз зрелищем, а стало обязанностью, необходимостью, которые выручают тебя и поддерживают.

Они получили, но ничего не отдали. И поэтому стали сожалеть о тяжких часах ожидания — не оттого, что они горьки, а вопреки их горечи, — часах, когда они сидели и смотрели на черный прямоугольник двери, в котором время от времени появлялся ночной гость, жесткий и полный ненависти. С тоской вспоминали они, как перехватывало у них дыхание, будто от глотка отравы, если солдат, прежде чем войти, смотрел тяжелым взглядом, словно собираясь вести на бойню, и щупал глазами грудь… Ведь бывало и так: какой-нибудь из гостей протыкал какую-нибудь из хозяек кинжалом, словно бурдюк, чтобы не орала, когда он, отодвинув кирпич или черепицу, заберет весь ее капитал — несколько серебряных монет.

Они тосковали по своей грязной трущобе, где жили своим мирком, пили чай, если кому-то приходило в голову прикрыть веселый квартал, подсчитывали барыши, ругались и гадали друг другу по грязным ладоням. И быть может, нагадывали уютный, увитый цветами домик, где жили те, что почище их. В построенных мечтами до-

миках они и жили такими, какими видели себя в мечтах. Но ведь не меняют же нас путешествия.

Вот я поселил тебя в замке, а ты поселил в нем свои огорчения, недовольства, мании, ты идешь по нему, прихрамывая, если ты хром, потому что нет заклинания, которое вмиг бы тебя переменило. Мало-помалу, при помощи принуждений и страданий, я заставляю тебя переродиться, чтобы ты наконец сбылся.

Но с чего перерождаться той, что проснулась вдруг в чистоте и уюте, — она зевает, и, хотя ей не грозят больше трепки, заслышав стук в дверь, невольно втягивает голову в плечи и, если продолжают стучать, невольно надеется на что-то, — невольно, потому что знает: ночь больше не пошлет ей гостей. Она не устает больше от гнусностей ночи, но и не рада свободе утра. Судьбе ее можно теперь позавидовать, но она лишилась ежевечерней игры судьбы, она переселилась в будущее и живет жизнью, какой никогда не жила. Она не знает, как ей справиться с внезапными вспышками гнева, они достались ей от той мрачной, нечистой жизни и мучают, как мучает животных, которые долго прожили возле моря, страх перед приливом, хотя теперь они живут на равнине. Гнев возвращается, но нет неспра-

ведливой судьбы, против которой так хочется кричать и жаловаться в голос, — они похожи на мать, потерявшую ребенка, — прибывает молоко, но оно никому не нужно.

— Человек ищет напряжения сил и жизни, а вовсе не счастья, — повторил отец.

LXIX

Мне опять говорят: время нужно экономить. «Для чего?» — спросил я. И мне ответили: «Чтобы его хватало и на культуру». Можно подумать, что культура — какое-то особое занятие.

Хорошо, возьмем, к примеру, мать семейства, она кормит детей, убирает дом, штопает белье, и вот ее избавили от ее обязанностей, без нее накормлены дети, вымыт дом, зашито белье. У нее освободилось время, его надо чем-то заполнить. Я даю ей послушать песню о детях, полную поэзии взращивания их и вскармливания, поэму домашнего очага, воспевающую значимость дома. Но она зевает, слушая ее, — все это уже не ее дело.

Я ничего не скажу тебе словом «гора», если ты путешествовал в паланкине, если не обдирал руки о шипы ежевики на склоне, если из-под ног у тебя не катились камни, если ветер на вершине не дул тебе в лицо.

Ничего не скажет женщине слово «дом», если дом никогда не требовал от нее ни времени, ни усердия. Если не танцевали пылинки в солнечном луче, когда поутру она распахивала дверь, выметая из дома прах вчерашнего. Если никогда

она не была королевой, вновь и вновь призывающей к порядку жизнь — жизнь, которая вновь и вновь одним своим присутствием нарушает все порядки, оставляя на столе грязные миски, в очаге потухшие угли, в углу мокрые пеленки уснувшего малыша, потому что жизнь скудна и полна чудес. Если она никогда не вставала на заре, сама, без всяких будильников, чтобы вернуть своему дому первозданную новизну, — так поутру охорашивается птица на ветке, приглаживая клювом перышки; если никогда не возвращала вещам хрупкое совершенство порядка, чтобы новому дню было что нарушать своими обедами и завтраками, играми детей, возвращением с работы мужа, сминая ее порядок, словно воск. Если она не знает, что дом поутру — податливое тесто, а вечером — книга, полная воспоминаний. Если никогда не готовила белоснежной страницы. Что ты ей скажешь словом «дом», когда нет в нем для нее никакого смысла?

Если ты хочешь видеть в женщине свет жизни, попроси ее отчистить до блеска потускневший медный кувшин, и что-то от его блеска заискрится в сумерках. Если ты хочешь, чтобы женская душа стала молитвой и поэзией, ты придумаешь мало-помалу для нее дом, который нужно обнов-

лять на заре…

А иначе?.. Да, ты высвободишь время, но какой в нем прок?

Только безумец делит: вот это культура, а вот это работа. Человек тогда возненавидит работу — мертвый груз своей жизни, игру, где ничего не поставлено на кон и не на что надеяться. Играют не в кости — в стада, пастбища, в собственное золото. Ребенок играет в песок, но перед ним не комочки грязи, а крепость, гора или корабль.

Конечно, знаю и я, какое наслаждение для человека отдых. Я видел, как дремлет под пальмами поэт. Видел, как воин пьет чай с куртизанками. Видел, как теплым вечером сидит на пороге своего дома плотник. И конечно, все они счастливы. Но повторяю: им было от чего устать, они отдыхали от людей. Воин слушал пение и смотрел на танцы. Поэт, валяясь на траве, мечтал. Плотник дышал свежим воздухом. К себе они шли не сейчас. Сутью их жизни была работа.

Возьмем, к примеру, зодчего: вот у него возник замысел, он загорелся им, но зодчий значим только тогда, когда руководит постройкой храма, а не тогда, когда играет с приятелями в кости. И это истинно для каждого. Если ты сэкономишь время на работе — я не имею в виду отдых, рас-

слабленные руки, дремлющий после напряжения мозг, — ты получишь мертвое время. Если ты разорвешь жизнь на две, несовместимые друг с другом жизни: работу и досуг, работа станет ярмом, для которого жаль души, а досуг — пустотой небытия.

Только безумцы могут хотеть, чтобы чеканка перестала быть религией чеканщика и стала его ремеслом, не требующим души; только безумцы могут считать, что искусно сделанный чужими руками кувшин способен облагородить человека. Культура не плащ, ею невозможно одеться. Не существует фабрики, которая изготовляла бы культуру.

И я — я настаиваю: для чеканщиков существует единственная культура — культура самих чеканщиков, и состоит она в их каждодневных трудах, горестях, радостях, страданиях, опасениях, взлетах и тяготах их работы.

Для истинной поэзии плодотворна только та часть твоей жизни, которой ты принадлежишь целиком, которая для тебя и голод, и жажда, и хлеб для твоих детей; и она же твое воздаяние, ты можешь получить его, а можешь и не получить. Иначе ты только играешь в жизнь, и культура твоя — только пародия.

Сбываешься только тогда, когда преодолеваешь сопротивление. Но если ты на отдыхе, если ничего от тебя не требуется, если ты мирно дремлешь под деревом или в объятьях доступной любви, если нет несправедливостей, которые тебя мучают, нет опасности, которая угрожает, — что тебе остается, как не выдумать для себя работу, чтобы ощутить, что ты все-таки существуешь?

Но не ошибись, игра мало чего стоит, она вне принуждения необходимостью, и в любой миг ты можешь перестать играть. Я запрещаю считать, что одно и то же: лежать днем в своей, пусть пустой, пусть темной — ради отдыха глаз, — комнате и лежать в темной камере, куда тебя заточили навечно, хотя поза та же и так же пусто вокруг и темно. И пусть даже свободный вообразил себя узником. Навести одного и другого на закате первого дня. Свободный в восторге от необычной игры, узник поседел. Узник не в силах рассказать, что пережил, у него нет подходящих слов, он похож на путника, тот преодолел перевал и оказался в неведомом для себя мире, все для него изменилось, изменился и он сам, но какими словами расскажешь о перемене?

Только дети втыкают в песок ветку, обращаются к ней «ваше величество» и всерьез благоговеют

перед своей королевой. Но если я, желая обогатить любовью и облагородить людей, затеваю такую же игру, мне придется сделать из своей ветки божка, заставить всех поклоняться ему и приносить тяжкие жертвы.

Жертва уже не игра, и ветка принесет плоды: в человеке зазвенит любовь или страх. И если добровольный узник узнает, что ему и впрямь до конца своих дней не покинуть своей полутемной комнаты, он переживет такое, о чем и не подозревал, и от нежданных видений у него побелеют волосы.

Работа вживляет тебя в мир. Пахарю мешают камни на поле, глядя в небо, он ждет дождя или, напротив, машет на дождь рукой, он в общении, он распространился, он познает. Ни одно из его движений не остается без ответа. Всякая религия тоже общение, она предуказует праведный путь, один верен ему, другой ловчит, один узнает, что такое душевный покой, другой — что такое раскаяние. Желая видеть людей такими вот, а не иными, выстроил свой замок мой отец, и каждый шаг в нем вел тебя к определенной цели. Отец не любил бессмысленного топтанья скотины в хлеве.

LXX

Да, она была прекрасна, эта танцовщица, которую наконец схватила стража моего царства. Она была прекрасна, и никто не знал, откуда она. Мне казалось, если доведаться, где она живет, в моем царстве откроются неведомые доселе земли, пространные равнины, темные ущелья, тропы в пустыне, открытые всем ветрам. «И у нее есть дом», — говорил я. Но видно было, что она нездешняя и живет среди нас как посланница моих врагов. Мои слуги попытались сломить ее молчание, но ее прекрасное открытое лицо затуманилось лишь печальной улыбкой.

Прежде всего я чту в человеке то, что неподвластно огню. Оболочка человека, ты пьяна от тщеславия, ты — само тщеславие, когда смотришь на себя с такой любовью, будто в тебе и впрямь кто-то есть. Но палач поднес поближе к тебе горящие угли, и нутро твое растопилось и потекло из глотки. Дородный министр, неприятный мне своим высокомерием и составивший против меня заговор, не устоял перед угрозой пытки. Мокрый от пота, он выдал мне всех заговорщиков, он исповедался, признавшись во

всех своих верованиях, тайных пристрастиях и любовных связях, он вывернулся передо мной наизнанку — те, кто носит картонные доспехи, не таит про себя ничего. После того как он оплевал и отрекся от своих соратников, я спросил у него:

— Как ты устроен? Для чего важно выставляешь вперед живот, гордо закидываешь голову, складываешь губы в высокомерную улыбку? Для чего тебе доспехи, если внутри тебя нечего защищать? Человеку свойственно таить в себе нечто большее, чем он сам. Как самое драгоценное упасаешь ты свои дряблые телеса, гнилые зубы и толстый живот, продав мне то, чему верил и чему они должны были послужить. Ты — бурдюк, урчащий ветром дурацких слов…

Когда палач ломал ему кости, на него было противно смотреть и еще более отвратительно слушать.

Но танцовщица, которой я угрожал, склонилась передо мной в плавном поклоне:

— Я сожалею, государь…

Я смотрел на нее, не говоря ни слова, и ей стало жутко. Побледнев, она присела еще более плавно:

— Я сожалею, государь…

Она думала, какие страшные ждут ее муки.

— Ты же знаешь, — сказал я ей, — твоя жизнь в моей власти.

— Я чту вашу власть, государь…

Тайна, которую она хранила, и готовность умереть за нее исполняли ее необычайной значимостью.

Она казалась мне дарохранительницей с чудесным бриллиантом внутри. Но я должен был исполнить свой долг перед царством.

— Твои поступки заслуживают смерти.

— Увы, государь… — она стала еще бледнее, будто призналась мне в любви. — Это будет справедливо…

Я знаю людей и понял невысказанное: «Справедливым, наверно, будет не моя смерть, а сохранность моей тайны…»

— Ты таишь про себя то, что дороже тебе юности, прекрасного тела, сияющих глаз, — продолжал я. — Ты веришь, что сохраняешь в себе что-то, но не будет ничего, когда ты умрешь.

Она смешалась, но только потому, что не нашла слов для ответа.

— Может, вы и правы, государь…

Я чувствовал, моя правота существует для нее только в царстве слов, где она не умеет защититься.

— Итак, ты покоряешься.

— Покоряюсь, государь. Простите, но я не умею говорить…

Я ни во что не ставлю тех, кого сбивают с ног доводы. Слова призваны выражать тебя, но никак не руководить тобой. Они могут обозначить, но сами по себе пусты. Моя танцовщица была не из тех, кого распахивает ветер слов.

— Я не умею говорить, государь, и покоряюсь…

Я чту тех, кто среди разноречивых потоков слов остается неизменным, как мидель-шпангоут, кто в обезумевшем море неколебимо следует за своей звездой. По звезде определяю и я его путь. Любители логики на поводу у собственных слов, они ходят по кругу, как цепная передача.

Долго и пристально смотрел я на нее.

— Кто выковал тебя? Ты откуда? — спросил я.

Она улыбнулась и не ответила.

— Станцуй.

И она начала танцевать.

Необычаен был ее танец, но я и не ждал иного, ибо она хранила в себе большее, чем она сама.

Ты смотрел на реку с вершины горы? Вот ей встретилась скала, не в силах перепрыгнуть через нее, река ее огибает, извивается по равнине, следуя понижениям поч вы, медлит в излучинах,

потому что мал перепад и ослабла сила, влекущая ее к морю. Вот задремала, разлившись озером, и вновь торопливо устремилась вперед, разрезав равнину, будто клинок.

И танцовщица считалась с силовыми линиями, и это мне больше всего понравилось, она останавливалась здесь, вольно летела там. Только что улыбалась, а теперь с трудом сохраняет улыбку, будто язычок пламени перед налетевшим ветром, то скользит с легкостью, будто по невидимому склону, и вдруг замедлила шаг, словно через силу карабкаясь вверх. Мне понравилось, с какой внезапностью она замерла, будто перед стеной. И как радовалась преодолению. И то, что смерть оборвала ее танец. Мне понравилось, что она торила собственный путь среди гор и равнин, а они ей противились, что были в ней помыслы благие и грешные. Что вглядывалась она в дозволенное и недозволенное. Что она сопротивлялась, соглашалась, отказывалась. Мне не понравилось бы, если бы она, плавно кружась, текла во все стороны, словно желе. Мне нужен стержень и крепкий ствол живого дерева, оно не свободно, занимаемое им пространство предопределено особенностями семечка.

Танец — судьба, танец — жизненный путь. Я

хочу понять, каков ты и к чему стремишься, только на такие танцы я смотрю с интересом. Поток преградил тебе путь, тебе нужно на другую сторону, ты танцуешь перед потоком. Ты догоняешь любимую, соперник встал на дороге, и опять ты танцуешь. Танцуют клинки, если ты решил его убить. Танцуют паруса, если задумал опередить его и причалить раньше в том порту, куда он направился, — паруса танцуют, ловя невидимые повороты ветра.

Для танца необходим противник, но какой противник удостоит тебя танцем клинка, если ты — пустое место?

Но вот танцовщица прижала ладони к вискам, и сердце мое защемило болью. Я увидел в ней маску. Нет, не маску поддельного сопереживания, которую нацепляет на себя оседлый, — это не маска, это крышка пустой коробки. Ты — пустое место, если ничего в себя не впустил. Я увидел в ней древнюю маску, хранительницу наследия многих поколений. Увидел прочность семечка, которое устоит и перед палачом, — нет жернова, который выжал бы из него масло тайны. Оно — залог, и во имя него идут на смерть, благодаря ему умеют танцевать. Упражняя душу молитвой, музыкой или поэзией, строишь себя и стано-

вишься человеком. Светло и ясно смотрит на тебя обитаемый человек. И если снять слепок с его лица, маска покажет его внутреннее царство. Ты поймешь, что для него главное и как он станцует против своего врага. Но что знать о танцовщице, если она — необитаемая пустошь? Оседлые не танцуют. Зато в краях, где земля скудна, где плуг тупится о камни, где знойное лето иссушает ниву, где человек противостоит варварству, где варварски уничтожают слабых, рождаются танцы, потому что значим твой каждый шаг. Танец — это борьба в ночи с ангелом. Танец — и война, и совращение, и убийство, и раскаяние. Но каких танцев дождешься от раскормленной скотины в хлеве?

LXXI

Я запрещаю торговцам расхваливать свой товар. Слишком быстро они становятся учителями и научают видеть в средстве цель. Они сбивают нас с дороги, мы сбились и покатились вниз. Если торговцам нужно сбыть с рук пошлятину, они постараются опошлить тебе душу. Кто спорит: хорошо, что делаются вещи, которые служат человеку. Но нехорошо, если человек становится шкафом для вещей.

LXXII

Мой отец говорил:

— Созидать — вот главное. Если в тебе мощь созидателя, не работай устроителем. Сто тысяч помощников будут служить созданному тобой и питаться им, словно черви мясом. Зачиная религию, не пекись о догмах. Сто тысяч толкователей позаботятся, чтобы они были. Созидать — значит создавать жизнеспособное, в творчестве нет формул. Если однажды вечером я причалил к городскому кварталу, что сполз к морю, как нечистоты, то вовсе не для того, чтобы рыть там канавы, устраивать поля орошения и дорожную службу. Я принес любовь к выскобленному порогу, и эта любовь породит мойщиков тротуаров, службу полиции и мусорщиков.

Не выдумывай Вселенной, где по твоему распоряжению работа будет не отуплять человека, а возвышать его, где культуру будет нарабатывать труд, а не досуги. Не иди против законов тяготения. Измени тяжесть вещей. Воздействуй, как воздействует поэзия, руки ваятеля или музыка. Выводи как можно отчетливее мелодию благородного труда, насыщающего жизнь смыслом,

заглушай пение досугов, которые видят в работе тяжкий долг, которые делят жизнь на безрадостный рабский труд и пустое безделье, — пой и пой и не заботься о логике, доводах и специальных указах. Вот увидишь, непременно найдутся толкователи и начнут объяснять, почему хороши твои песни и как нужно браться за дело. Они выберут этот вот путь и сумеют доказать, что он единственный. Значит, возник перепад, значит, потечет вода, а река установит свой порядок, и правда твоя восторжествует.

Главное — изменить уровень почвы, направление, устремление к… В перепадах сила приливов и отливов, мало-помалу без помощи всякой логики подтачивают они скалы и расширяют морскую империю. Повторяю тебе: если в картине есть мощь, она воплотится. Не пытайся начать с расчетов, свода законов и всяческих нововведений. Не придумывай, каким будет будущий город, город, который будет, не сможет на него походить. Внуши любовь к башням, вздымающимся над песком. И рабы рабов твоих зодчих лучше тебя разберутся, как доставить камни. Ведь и вода своим неуклонным стремлением к морю находит способ обмануть бдительность копани.

— Потому и не может быть зримым созида-

ние, — говорил мне отец, — незрима и любовь, объединяющая дробность мира в царство. Бороться с созиданием так же нелепо, как пытаться его показать. От невиданного ты заслонишься удивлением, и на все, что бы тебе ни показали, будешь предлагать другое, еще лучшее. Но скажи, как показать царство? Если, рассказывая, ты начнешь дотрагиваться до каждой вещи, то перед тобой окажется груда вещей. Представь, ты рассказываешь о тишине в полумраке храма и при этом разбираешь храм по камешку — что подтвердит твоя куча камней? Она так далека от тишины.

Но вот я беру тебя за руку, и мы идем с тобой вместе. Дорогу нам преграждает гора, и мы взбираемся на нее. Мы усаживаемся на вершине, я говорю с тобой, и мой голос кажется тебе голосом твоих собственных мыслей. Гора, которую я выбрал, расположила все именно так, а не иначе. Отвлеченный образ превратился в картину. Она реальна. Ты сам ее часть. С чем тебе спорить? Если я поселил тебя в доме, ты живешь в нем и судишь обо всем с точки зрения домовладельца. Если я оставил тебя наедине с красавицей, жаждущей любви, ты влюбишься в нее. Разве сможешь ты не влюбиться только потому, что мой произвол

вынудил тебя встретить ее здесь и сейчас, а не в другое время и в другом месте? Самое важное — чтобы ты был где-то. И созидаю я только тем, что выбрал день и час без обсуждений, и вот они существуют. Тебе смешон такой произвол. Но слышал ли ты когда-нибудь, что влюбленный перестал любить, рассудив, что встреча — это чистая случайность, что женщина, которая томит ему душу, могла бы уже умереть, или еще не родиться, или жить неведомо где? Выбрав час и место, я создал в тебе любовь; знаешь ты или нет о моем участии — что изменит твое знание? Оно не защитит тебя — и вот ты у меня в плену.

Если я хочу видеть тебя горцем, шагающим ночь напролет к звездной вершине, я создаю картину, и для тебя становится очевидным, что только молочный свет горних звезд утолит твою жажду. Я для тебя буду только случайностью, высветившей твою собственную внутреннюю необходимость, вроде стихов, которые бередят твои чувства. Знаешь ты или нет о моем участии — что это меняет? Почему твое знание должно помешать тебе пуститься в путь? Может ли быть, что, толкнув дверь и увидев впотьмах сияние бриллианта, ты не пленился им только потому, что дверь открылась случайно и могла привести

тебя совсем в другую комнату?

Если я уложил тебя в постель с помощью снотворного, то и сон, и снотворное подлинные. Сотворить, создать — значит поместить человека туда, где мир явится ему как желанное, и совсем не значит предложить ему новый мир.

Если я не сдвинул тебя с места и хочу показать тебе новую, придуманную мной Вселенную, ты ничего не увидишь. И будешь прав. С твоей точки зрения, моя выдумка — ложь, и ты справедливо защищаешь свою истину Я ничего не добьюсь красноречием, блеском остроумия, парадоксами, потому что речь красна и остроумие сверкает, когда на них смотрят со стороны. Ты в восхищении от меня, но я ничего не создал, я — жонглер, фокусник, мнимый поэт.

Но если я иду по дороге, которая не праведна и не лжива, а просто есть, то как можно отрицать ее? И если я привожу тебя этой дорогой туда, откуда тебе открывается новая истина, ты не видишь, что сотворил эту истину я, не замечаешь ни моего красноречия, ни блеска остроумия, ни парадоксов, просто мы шли с тобой шаг за шагом; и можно ли в чем-то упрекнуть меня, если от распахнувшейся шири у тебя захолонуло сердце, если эта женщина и впрямь сделалась красивее,

а равнина просторнее. Я господствую, но мое господство не оставляет следов, отпечатков, знаков, ты не видишь их, против чего тебе протестовать? Только так я воистину творец, воистину поэт. Поэт и творец ничего не выдумывают, ничего не показывают, они вынуждают быть.

Суть творчества в преодолении противоречий. Свет, тьма, гармония, дисгармония, простота, сложность — все внутри человека. Все это — есть, есть — все, все. И когда ты хочешь с этим «всем» справиться при помощи своих неуклюжих слов и заранее продумать свои действия, то, за что бы ты ни схватился, все оказывается сплошными противоречиями. Но вот прихожу я, обладающий властью, и не собираюсь ничего тебе объяснять при помощи слов, потому что твои противоречия и впрямь неразрешимы. Я не собираюсь упрекать язык в *лживости*, он совсем не *лжив*, он просто неудобен. Я собираюсь позвать тебя на прогулку, и шаг за шагом мы придем с тобой и усядемся на вершине. Оглядевшись, ты не увидишь своих противоречий, и я оставлю тебя постигать твою новую истину.

LXXIII

Смерть показалась мне сладкой.

— Дай мне, Господи, покой хлева, — взмолился я, — порядок среди вещей и собранную жатву. Дай мне побыть, не требуй от меня становления. Я устал хоронить свое сердце. Я слишком стар, чтобы опять и опять растить молодые ветки. Одного за другим потерял я друзей, врагов, и печальный свет пустоты засветил мне на дороге. Я ушел, вернулся и вижу: люди толпятся вокруг золотого тельца, не так уж они и корыстны, просто глупы. И дети, что родились сегодня, дальше от меня, чем не знающие о Боге варвары на заре веков. Во мне тяжесть сокровища, но оно бесполезно, как музыка, которой никому не слышно.

Я начал трудиться с топором дровосека в руках и хмелел от пения деревьев. Думаю, если бы я нуждался в беспристрастии, я затворился бы в башне. Но я подошел к людям слишком близко и устал.

Яви мне Себя, Господи, все невмоготу, когда отдаляешься от Тебя.

После упоения торжеством мне приснился сон.

Да, тогда я был победителем и вошел в город. Осененная цветением знамен толпа запрудила улицы, славя меня гимнами и восторженными криками. Цветы устилали путь нашей славы. Но Господь послал мне одно только чувство — горечь. Я чувствовал себя пленником немощной толпы.

Толпа — плоть твоей славы, но как ты в ней одинок! Все, что льнет к тебе, не может с тобой соединиться, близость приходит лишь на дороге к Господу. В том, кто уповает вместе со мной, обрел я себе близкого. Мы — зерна одного колоса, ссыпанные в один мешок, и предназначены для испечения хлеба. Обожанием толпа иссушила меня, как пустыню. Мне не за что чтить ее, она заблуждается, я не нахожу в себе того, кого можно было бы обожать. Я не чувствую чужого чувства о себе, я тягощусь собой и устал волочить себя за собой повсюду, я хочу избавиться от себя, чтобы наконец слиться с Господом. Они курят мне фимиам, наполняя меня тоской и печалью, я чувствую себя пустым колодцем, к которому, ощущая жажду, приник мой народ. Мне нечем утолить ее, но и они, уповая на меня, не могут мне дать ни капли воды.

Я ищу того, кто похож на окно, распахнутое на

море. Зачем мне зеркало с собственным отражением? Оно переполняет меня тоской.

В этой толпе только мертвые, которых оставила суетность, кажутся мне достойными.

И когда говор толпы отдалился, как ничтожный шум, в который незачем вслушиваться, мне привиделся сон.

Скользкая отвесная гора вздымалась над морем. Гром грянул, будто треснул бурдюк, и растеклась тьма. Я упрямо карабкался к Господу, чтобы спросить Его о смысле всех вещей, чтобы понять, куда поведет путь преображений, который так настоятельно Он вменил мне.

Но на вершине горы я увидел лишь большой черный камень — это и был Господь.

«Это Он, — сказал я себе, — неизменный и вечный». Сказал, потому что не хотел оставаться в одиночестве.

— Господи, научи меня, — взмолился я. — Мои друзья, сотоварищи, слуги — всего лишь говорящие марионетки. Я держу их в руке и передвигаю по своей воле. Но не их послушливость мучительна для меня — я рад, если моя мудрость становится их достоянием. Мучает меня то, что они сделались моим отражением, и теперь я одинок, словно прокаженный. Я смеюсь, и они

смеются. Я молчу, и они затихают. Моими словами, каждое из которых мне знакомо, говорят они, будто деревья шумом ветра. Только я наполняю их. Нет для меня благодетельного обмена, в ответ я всегда слышу лишь собственный голос, он возвращается ко мне леденящим эхом пустого храма. Их любовь повергает меня в ужас. Чего мне ждать от любви, которая множит лишь меня самого?

Мокрый, блестящий гранит каменно молчал.

— Господи, — молил я, — в Твоей воле молчать. Но мне так нужен знак от Тебя. На соседней ветке сидит ворон, сделай так, чтобы он улетел, когда я кончу молиться. Он будет взмахом ресниц другого, чем я, и я больше не буду одинок в этом мире. Темный, неясный, но пусть у нас будет с Тобой разговор. Подай мне знак, что я все пойму со временем, я не прошу большего.

Я перевел глаза на ворона. Он сидел неподвижно. Я упал ниц перед камнем.

— Господи, — сказал я, — Ты прав во всем. Не Твоему всемогуществу соблюдать мои жалкие условности. Если бы ворон улетел, мне стало бы еще горше. Такой знак я мог бы получить от равного, словно бы опять от самого себя, он был бы опять отражением — отражением моего желания. Я опять бы повстречался со своим оди-

ночеством.

Я поднялся с колен и пустился в обратный путь.

И случилось так, что темнота отчаяния сменилась безмятежно ясным покоем. Я увязал в грязи, обдирал руки о колючки, превозмогал бешеные порывы ветра и нес в себе ясный, безмятежный свет. Я ничего не узнал, но и не хотел ничего узнать, любое знание было бы тягостно мне и не нужно. Я не коснулся Господа, но Бог, Который позволяет дотронуться до Себя, уже не Бог. Не Бог Он, если слушается твоей молитвы. Впервые я понял, что значимость молитвы в безответности, что эту беседу не исказить уродством торгашества. Что упражнение в молитве есть упражнение во внутренней тишине. Что любовь начинается там, где ничего не ждут взамен. Любовь — это упражнение в молитвенном состоянии души, а молитвенное состояние души — укрепление во внутреннем покое.

Я вернулся к моему народу и впервые обнял его молчанием моей любви, понуждая своим молчанием приносить мне дары всю их жизнь. Опьяняя тишиной сомкнутых губ. Я стал для них пастухом, хранилищем песнопений, хранилищем судеб, хозяином добра и жизней и был беднее всех и

смиренней в своей гордыне, которой больше не позволял сгибаться. Я знал, что не мне брать у них. Во мне они должны были сбыться, и душа их должна была зазвучать в моем молчании. С моей помощью все мы вместе становились молитвой, которую рождало молчание Господа.

LXXIV

Ибо я видел, как мяли они свою глину. Приходили жены, трогали их за плечо: наступил час обеда. Но они отсылали жен обратно к горшкам, не в силах оторваться от глины. Наступала ночь, и при тусклом свете керосиновой лампы они продолжали искать для своей глины форму. Какую? Они не сумели бы сказать.

Охваченные усердием, люди не выпускают из рук своего дела, они срослись с ним, как яблоня с яблоком. Они — ствол, наливающий плод соком. Они не оставят свое творение, пока оно само, словно зрелый плод, не отпадет от них. И когда они трудятся, не щадя сил, разве думают они о деньгах, славе или будущей судьбе своих творений? Работая, они работают не на купца и не на самого себя, они работают на глиняный кувшин, на изгиб его ручки. Не спя ночей, они вынашивают его форму, и мало-помалу она наполняет радостью их сердце, как наполняет женщину радость материнства по мере того, как ее тело заполняется младенцем и он мягко толкается в нем.

Но если я собираю вас всех вместе, чтобы вы

лепили огромный кувшин, который, по моему замыслу, должен быть в сердце каждого города хранилищем священной тишины, то этот кувшин, обретая форму, должен вбирать что-то от каждого из вас для того, чтобы вы его полюбили, и тогда он будет для вас благом. Хорошо будет, если я соберу вас всех вместе строить морской фрегат, вы сладите ему стройный корпус, палубы, мачты, и наконец в день, прекрасный, словно день свадьбы, вы благодаря мне оденете его белоснежными парусами и подарите морскому простору.

Стук ваших молотков будет звенеть тогда, как песня, ваш пот и крики «Эх, взяли!» станут усердием, чудом будет спуск корабля — вода расцветет цветком.

LXXV

Вот поэтому-то единство любви мне видится как разнообразие колонн, сводов, выразительных статуй. Если пытаешься передать единство, приходишь к нескончаемому разнообразию. Не пугайся его.

Значима лишь безоглядность, присущая вере, усердию, страсти. Едино стремление вперед фрегата, но двигают его и тот, кто заточил стамеску, и тот, кто отмыл палубу, и тот, кто поднялся на мачту, и тот, кто смазал втулку.

Вас смущает неупорядоченность? Вам кажется, что мощь людей возрастает, если все они двигаются в одном направлении и делают одно и то же?

Но повторяю: если речь идет о человеке, свод замыкается совсем не на очевидном. Нужно подняться, чтобы понять, где находится ключ свода. Не упрекаете же вы скульптора за то, что, ища выражение чему-то очень важному, он, хоть и упростив все, передал его с помощью глаз, губ, морщин, пряди волос, ему нужны были нити для той ловушки, которая сможет ловить добычу, — ловушки, благодаря которой, если только ты не

слеп и не воротишь заранее носа, ты узнаешь такую несказанную тоску, что в тебе откроется что-то новое.

Не упрекай и меня за неупорядоченность моего царства. Единство людей — ствол, выбрасывающий разные ветви, — вот цельность, к которой я стремлюсь и которая суть моего царства, она видна, когда отдалишься. А вблизи видишь суету матросов, каждый из них тянет в свою сторону свой канат. Издалека виден фрегат, плывущий по морю.

Скажу больше: если я воодушевлю мой народ любовью к морским странствиям, если их отягощенные любовью сердца подтолкнут их всех к единому руслу, ты увидишь, как по-разному каждый из них будет действовать в зависимости от склада своей натуры. Один будет ткать паруса, другой блестящим топором валить сосны. Один ковать гвозди, другой наблюдать за звездами, чтобы научиться управлять кораблем. И все-таки они будут единым целым. Корабль строится не потому, что ты научил их шить паруса, ковать гвозди, читать по звездам; корабль строится тогда, когда ты пробудил в них страсть к морю и все противоречия тонут в свете общей для всех любви.

Поэтому все на свете союзники мне, и я открываю объятья моим врагам, чтобы они укрепляли меня и возвышали. Я знаю: есть ступень, с которой наша схватка покажется мне любовным бореньем.

Я создаю корабль совсем не тем, что продумываю его во всех деталях. Если я примусь в одиночку чертить чертежи, я упущу главное. Когда дело дойдет до строительства, чертежи мои не понадобятся, их сделают другие. Не мне знать каждый гвоздь корабля. Мой долг разбудить в людях стремление к морю.

Я расту, словно дерево, и чем я выше, тем больше у меня корней. И мой храм — он целен, но строит его и тот, кто полон раскаяния и ваяет лик совести, и тот, кто умеет наслаждаться и ваяет улыбку. Строит тот, кто, противостоя мне, сопротивляется, и тот, кто предан мне и пребывает верным. Не упрекайте меня за неупорядоченность и отсутствие дисциплины, я признаю одну дисциплину — дисциплину жаждущего сердца, и, когда вы войдете в мой храм, вас покорит его цельность и величие тишины. Увидев, что молятся в нем преданный и непокорный, ваятель и каменотес, ученый и неграмотный, веселый и грустный, не говорите мне о чужеродности:

всех их питает один корень, благодаря их общим усилиям возник храм, благодаря храму каждый из них отыскал собственный путь становления.

Не прав тот, кто печется о внешней упорядоченности, он печется о ней потому, что не может подняться на ту высоту, откуда видны храм, корабль и любовь. Вместо подлинного порядка он устанавливает полицейский режим, при котором все должны одинаково тянуть ногу и идти в одну сторону. Но если все твои подданные стали одинаковыми, то это совсем не значит, что ты достиг единства, среди тысячи одинаковых колонн ты не в храме — в зеркальной комнате. Совершенная упорядоченность в твоем понимании предполагает уничтожение всех твоих подданных, кроме одного.

Храм — вот подлинный порядок. Любовь зодчего, будто корень, питает и соединяет воедино строителей и строи тельные материалы, она создает цельность, длит и придает силу всему, что разнообразно.

Нет, дело не в том, чтобы возмущаться людской непохожестью, противоречивостью желаний и устремлений, несхожестью языка, — радуйся этому, потому что ты — творец, ты — зодчий, и тебе придется строить огромный храм, чтобы в

нем поместились все.

Я зову слепцом того, кто, воображая, будто что-то создал, разобрал храм и сложил все камни в прямую линию.

LXXVI

Ты будешь говорить и в ответ услышишь возмущенные крики — не обращай внимания: новая истина — это всегда новизна нежданных связей (в ней нет доказательности логики, за которой можно проследить от следствия к следствию). Каждый раз, когда ты будешь указывать на деталь своей новой картины, тебя упрекнут, что во всех других ей отведена совершенно иная роль, и не поймут, что же ты им показываешь, и будут спорить с тобой и спорить.

И тогда ты попросишь: «Откажитесь от того, что считаете вашим, позабудьте и вглядывайтесь, не противясь, в новизну моего творения. Станьте куколкой, только так вы сможете преобразиться. А преобразившись, вы мне скажете, стало ли в вас больше света, умиротворения и широты».

Ни истина, ни статуя, которую я ваяю, не открываются деталь за деталью, частность за частностью. Это — целое, и судить о них можно, когда они завершены. Находясь внутри картины, невозможно ее обозреть. Истинность моей истины в том человеке, который рождается благодаря ей.

Представь себе, что я решил отправить тебя в монастырь, желая, чтобы ты изменился. А ты просишь, чтобы монастырской стеной я окружил твою суетную жизнь, житейские заботы, ты желаешь понять, что такое монастырь здесь. Я не стану даже отвечать тебе, я промолчу в ответ на твою просьбу. Что такое монастырь, поймет иной, чем ты, и его я должен извлечь из тебя. Я должен принудить тебя к становлению.

Возмутит всех твое принуждение. Не обращай внимания. Крикуны были бы правы, если б ты насиловал главное в них, лишал их величия. Чтить в человеке можно только благородство. Но они видят справедливость в том, чтобы жить без изменений, пусть даже в гниющих язвах, потому что с ними они появились на свет. Если ты вылечишь их, ты не оскорбишь Господа.

LXXVII

Вот почему я могу утверждать, что не отвергаю, но и не соглашаюсь. Я не податлив, не мягок, но и не прямолинеен. Я принимаю несовершенство человека, но к человеку я требователен. Противник для меня не шпион и не виновник наших зол, которого я хочу публично унизить и сжечь на площади. Я принимаю моего противника целиком, и вместе с тем я не соглашаюсь с ним. Хороша и желанна холодная вода. Хорошо и желанно вино. Но мешая воду с вином, я готовлю питье для кастратов.

Нет в мире людей заведомо неправых. Кроме тех, кто выводят заключения, доказывают, аргументируют: они в плену бессодержательного языка логики и не могут ни ошибиться, ни обрести правоты. Они просто шумят. Но если возгордятся своим шумом, то из-за него может долго литься человеческая кровь. Этих я отсекаю от моего дерева.

Прав только тот, кто согласен пожертвовать своим телесным сосудом, чтобы спасти хранимое в нем. Я тебе уже говорил об этом. Покровительствовать слабым или помогать сильным — вот

вопрос, который тебя мучает. Ты поддерживаешь сильных, а твой противник — он противостоит тебе, — он покровительствует слабым. И вы принуждены сражаться, один — желая предохранить свои земли от демагогической гнили, воспевающей язвы ради язв, другой — чтобы избавить свою землю от жестокости рабовладельцев, которые действуют бичом и принуждением и не дают возможности человеку стать самим собой. В жизни это противоречие так настоятельно, что приходится решать его оружием. Все идеи нужны, потому что, когда остается только одна идея (и заполоняет все, как трава) и нет противоположной ей, которая бы ее уравновешивала, идея станет ложью и пожрет жизнь.

Идею взрастило поле твоего разума, но какое оно крошечное, это поле, — посмотри! И вот еще о чем вспомни: представь, на тебя напал бандит, ты же не сможешь разом чувствовать боль ударов и продумывать тактику борьбы; в открытом море ты не сможешь разом бояться кораблекрушения и травить от качки, боится тот, кого не тошнит, а тот, кого тошнит, не боится. Если нет возможности объясниться по-новому, то как мучительно проживать одно и, по привычке, думать другое.

LXXVIII

Пришли ко мне с упреками — нет, даже не геометры моего царства, да и был у меня только один подлинный геометр и он уже умер, — пришли представители от помощников моего геометра, и было их десять тысяч.

Когда надобится корабль, хозяин заботится о гвоздях, мачтах, досках для палубы, запирает в каземат десять тысяч рабов и несколько надсмотрщиков с бичом, и корабль является во всей своей славе. И я ни разу не видел раба, который гордился бы тем, что одержал победу над морем.

Когда понадобились для геометра расчеты, он не считал сам, идя от одного результата к другому, потому что на этот труд у него не хватило бы ни сил, ни времени, он собрал десять тысяч помощников, и они отточили его теоремы, разработали плодотворные находки, воспользовались плодами растущего дерева. Помощники уже не рабы, их не подгоняет бич надсмотрщика, и многие из них мнят себя равными истинному геометру, во-первых, потому, что они его понимают, во-вторых, потому, что обогатили его творение.

Но я, зная, что работа их драгоценна, — ибо

прекрасно, когда умножается жатва разума, — и зная вместе с тем, как далека она от подлинного творчества, которое рождается в человеке всегда бескорыстно, непреднамеренно и свободно, не приближал их к себе, опасаясь, как бы их разросшаяся гордыня не сочла и меня равным им. И слышал, как, жалуясь на это, они переговаривались между собой.

И вот что они говорили:

— Мы протестуем во имя разума, — говорили они. — Мы — хранители истины. Законы царства установлены божеством куда менее надежным, чем наше. За них стоят твои воины, и тяжесть их мускулов способна нас раздавить. Но разум, которым мы владеем даже в тюремных подземельях, будет против тебя.

Они говорили так, понимая, что им не грозит мой гнев.

И переглядывались, довольные собственным мужеством.

А я? Я размышлял. Единственно подлинного геометра я приглашал каждый день обедать. Ночами, томясь бессонницей, я приходил к нему в шатер и, благоговейно разувшись у порога, пил с ним чай, вкушая мед его мудрости.

— Ты — геометр, — говорил я ему.

— Я в первую очередь не геометр, а человек. Человек, который время от времени размышляет о геометрии, если не занят чем-то более существенным, например, едой, сном или любовью. Но теперь я состарился, и ты, конечно же, прав: теперь я только геометр.

— Тебе открывается истина…

— Я бреду на ощупь и, как малый ребенок, осваиваю язык. Я не нашел истины, но мой язык стал доступен людям, и с его помощью они создают свои истины.

— Слова твои горьки, геометр.

— Мне бы хотелось отыскать во Вселенной след Божественного плаща и прикоснуться к истине, которая существует вне меня, словно к Богу, что так долго прятался от людей. Мне хотелось бы ухватить эту истину за край одежды и откинуть покрывало с ее лица, чтобы показать всем. Но мне было дано открыть истину только о самом себе…

Так говорил геометр. А эти грозили мне гневом своего божества, вознося его над собой.

— Говорите тише, — попросил я. — Возможно, понимаю я плохо, но слышу хорошо.

И, умерив голоса, они продолжали перешептываться.

Наконец один из них заговорил со мной. Они

подтолкнули его вперед, потому что он уже начал сожалеть о взятой на себя смелости.

— Мы воздвигли перед тобой твердыню истины, — начал он. — Где ты видишь в ней произвол творчества, руку ваятеля или поэта? Наши теоремы вытекают одна из другой по законам строжайшей логики, в нашем творении нет ничего от человека.

Итак, с одной стороны, они притязали на владение безусловной истиной — вроде племен, утверждающих, что вот этот раскрашенный деревянный божок насылает молнии, — и, с другой стороны, равняли себя с единственно подлинным геометром, потому что с большим или меньшим успехом разрабатывали или открывали, но никак не творили.

— Посмотри, мы покажем тебе, как соотносятся элементы в различных фигурах. Твои законы мы можем нарушить, но преодолеть наши ты не в силах. Ты должен сделать министрами нас, ибо мы знаем.

Я молчал, размышляя о глупости. Мое молчание обеспокоило их, твердость их поколебалась.

— Прежде всего мы хотим служить тебе, — добавили они.

И я им ответил:

— Вы настаиваете, что обошлись без творчества, и это прекрасно. Кривые творят кривых. Надутые мехи способны сотворить только ветер. Если вы займетесь царством, то почтение к логике, которая хороша для свершившегося события, законченной статуи и покойника, поведет к тому, что все в нем будут готовы сдаться мечам варваров.

Однажды ранним утром вышел человек из шатра и направился к морю, поднялся на отвесную скалу и упал с нее. С нами были логики; вглядываясь в следы, они установили истину. Потому что ни одно звено не выпало из цепочки: шаг следовал за шагом, и не было ни единого, который бы не возникал из предыдущего. Следуя шаг за шагом, от следствия к следствию, была определена причина смерти, и мертвое тело принесли к шатру. Проделав обратный путь от причины смерти к ее возникновению, мы подтвердили неизбежность смерти.

— Теперь все понятно! — вскричали логики и поздравили друг друга.

А мне-то казалось, что понять — значит ощутить, как иной раз доводилось и мне, какой-то неуловимо счастливый проблеск, что пугливее замершей водной глади, потому что довольно и

промелькнувшей мысли, чтобы он исчез, — проблеск мелькнул и словно бы не существует, он тронул лицо спящего — спящего чужака в шатре за сто дней пути от меня.

Потому что творческое озарение ничуть не похоже на то, что выйдет из-под твоих рук, оно исчезает безвозвратно, и никакие следы не помогут тебе его восстановить. Следы, отпечатки, знаки говорят, выстраиваясь в цепочку, вытекая один из другого. Логика и есть та тень, которую отбросило творческое озарение на стену реальности. Но эта очевидность не очевидна еще человеческой близорукости.

И поскольку мои логики ничего не поняли, я, по доброте своей, стал наставлять их дальше.

— Жил на свете один алхимик, — заговорил я, — он хотел раскрыть тайну жизни. И случилось так, что при помощи реторт, перегонных кубов, всяческих порошков и растворов ему удалось получить крошечный комочек живого теста. Набежали логики. Они повторили опыт, смешали порошки и растворы, зажгли огонь под ретортой и получили еще один живой комочек. Ушли они, громко крича, что тайна жизни больше не тайна. Что жизнь — естественная последовательность причин и следствий, взаимодействие при нагре-

вании элементов, не обладающих жизнью.

Логики, как всегда, все великолепно поняли. Но не поняли того, что природа созданного и природа творчества не похожи друг на друга, творческая сила, исчерпавшись, не оставляет следов. Недаром творец всегда покидает свое творение, и творение поступает в распоряжение логики.

И я смиренно отправился за разъяснениями к моему другу геометру. «Где увидел ты новое? — спросил он. — Жизнь породила жизнь. Новая жизнь возникла благодаря алхимику, а алхимик, насколько я знаю, жив. О нем забыли, так оно и положено, творец растворяется и оставляет нам творение. Ты довел своего спутника до вершины горы, и он увидел примиренными все противоречия, гора для него — реальность, существующая помимо тебя, он на ней — в одиночестве. Никто не задумается, почему ты выбрал именно эту гору, она есть, и человек стоит на ней, потому что естественно, чтобы человек находился где-то».

Но мои логики не перестали перешептываться, на деле логики совсем не логичны.

— Вы самонадеянны, — сказал я им, — вы изучили танец теней на стене и уверились, что обладаете знанием. Шаг за шагом прослеживаете

вы ход теоремы, забывая о том, кто положил свою жизнь на то, чтобы ее создать. Вы читаете следы на песке, не понимая, что прошел человек, которого разлучили с его любовью. Вы изучаете, как из мертвых элементов возникает жизнь, забывая о живом человеке, который подбирал эти элементы, ища и отказываясь. Не подходите ко мне, рабы, — в руках у вас жалкие молотки, но вы возомнили, что создали и пустили в плавание корабль!

Истинным геометром был тот, кто уже умер; если бы он захотел, я посадил бы его рядом с собой, и он направлял бы людей. В нем дышало дыхание Господа. Язык, которым он говорил, делал ощутимым присутствие далекой возлюбленной, которая не оставила следов на песке и о которой поэтому невозможно ничего узнать.

Из множества возможных вариантов он умел выбрать тот, который не обеспечил пока никому удачи, но был единственным, который открывал путь дальше. Нет путеводной нити в лабиринте гор, логик тебе не в помощь, если кончилась вдруг торная дорога, если перед тобой пропасть, если ни один человек не ступал на противоположный склон; тогда на помощь тебе посылается проводник — он словно бы уже побывал там, впереди, и

намечает тебе дорогу. Пройденная дорога — очевидность. Ты забываешь о чуде, когда ведет тебя вернувшийся к тебе из неведомого проводник.

LXXIX

Пришел противник моего отца.

— Счастье людей… — начал он.

Отец прервал его:

— Не приноси в мой дом шелухи. Я принимаю лишь те слова, в которых ощутима внутренняя весомость, скорлупу я отбрасываю.

— И все же, — продолжал тот, — если правитель царства не озабочен в первую очередь счастьем подданных…

— Я не бегу со всех ног, стараясь припасти как можно больше ветра, — отвечал отец, — ведь стоит остановиться, ветер стихнет.

— Если бы я был государем, — настаивал тот, — мне хотелось бы, чтобы подданные мои были счастливы…

— Вот теперь, — отвечал отец, — я слышу тебя лучше. Слова твои не пусты. В самом деле, я видал людей счастливых и несчастных, видал толстяков и худышек, калек и здоровяков, живых и покойников, и мне нравятся счастливые люди, нравится, когда они живут, а не умирают. И еще мне нравится, когда одно поколение перетекает в другое.

— Стало быть, мы думаем одинаково! — вскричал тот.

— Нет, — ответил отец.

И продолжил:

— Ты сказал — «счастье». Объясни, что ты имеешь в виду — душевное состояние, когда человек чувствует себя счастливым, как иногда чувствует себя здоровым? Но какое я имею отношение к усердию чужих чувств? Или счастье кажется тебе достижимым состоянием общества, и я должен хотеть достигнуть его? Но каково оно, это состояние?

Один счастлив в покое, другой — в сражении, одного погружает в экстаз одиночество, другого — шумный и пышный праздник, один наслаждается научными изысканиями, ища ответы на вопросы, другой обрел благодать в вере, для которой нет вопросов.

И если я начну объяснять, что такое счастье, то получится: для кузнеца — счастье ковать, для моряка — уходить в плавание, для богатого — богатеть, но, сказав так, я ничего не объяснил. К тому же для богача счастьем может быть море, для кузнеца деньги, а для моряка безделье. Вот и ускользнул от тебя бесплотный призрак, который ты вознамерился поймать.

Не старайся во что бы то ни стало постичь смысл слова, подлинный смысл не в словах, но как вознаграждение он открывается тебе и в словах тоже. Такая же награда тебе красота, я ценю красоту, но не верю, что красоту можно создать целенаправленно. Разве говорит ваятель: «Из этого мрамора я высеку что-то необыкновенно красивое»? Изготовители безделушек тешат себя такой чувствительной чепухой. Настоящий ваятель говорит: «Что-то мучает меня, и я бьюсь над мраморной глыбой, чтобы это что-то выразить. У меня нет другого способа высказать это и избавиться от мучений». Пусть мраморное лицо будет обрюзглым и старым, пусть будет бесформенной маской, пусть будет сонным и юным — если скульптор велик, оно покажется тебе прекрасным. Красота не цель, она — вознаграждение.

И когда я сказал тебе, что для богатого счастье богатеть, я солгал. Счастьем называют упоение, венчающее победу, блаженство, вознаграждающее за усилия и труды. Если богач вдруг чувствует, что раскинувшаяся перед ним жизнь упоительна, то это будет та же радость, которой одарит тебя пейзаж, созданный твоим тяжким подъемом в гору.

И если я скажу тебе, что счастье грабителя —

сидеть в засаде при свете звезд, значит, и в нем что-то можно спасти, это «что-то» и вознаграждает его счастьем. Как-никак он принял холод, опасность и одиночество. И уверяю тебя, от золота, которого он дожидается, он ждет внезапного преображения: в один миг преображается он в ангела, у него, телесного и уязвимого, вырастают крылья, когда, прижав золото к груди, он мчится в тучный и изобильный город.

В молчании моей любви я подолгу наблюдал за теми, кто лучился счастьем. И видел: счастье озаряло их, будто красота статую, — тогда, когда его не искали.

Я убедился, счастье всегда знак того, что перед тобой хороший человек с добротным сердцем. Только той, что способна сказать: «Я так счастлива!» — открой свой дом на всю жизнь, потому что у нее благодарное сердце.

Так не требуй от меня, государя, счастья для моего народа. Не требуй от меня, ваятеля, — красоты, — иначе я застыну на месте, не зная, где ее искать. Красота прилагается, как прилагается и счастье. Требуй, чтобы я вложил в мой народ такую душу, которую мог бы озарить свет счастья.

LXXX

Я вспомнил давние слова моего отца. «Чтобы созрел апельсин, — говорил он, — мне нужны удобрения, навоз, лопата, чтобы выкопать яму, нож, чтобы отсечь ненужные ветки; тогда вырастет дерево, способное расцвести. Но я — садовник, я занят землей, я не забочусь ни о цветах, ни о счастье, потому что прежде цветов должно быть дерево и прежде счастья должен быть человек, способный стать счастливым».

Но собеседник продолжал спрашивать:

— Но если не к счастью — к чему тогда стремятся люди?

— Об этом я расскажу чуть позже, — отвечал отец. — А с тобой произошло вот что: ты усвоил, что ощущение счастья сопутствует трудно доставшейся победе, и с присущей логике недальновидностью заключил, что люди борются, стремясь обрести счастье. А я, пользуясь той же самой логикой, скажу тебе: поскольку жизнь завершается смертью, всю жизнь люди стремятся к смерти. И так мы будем перебрасываться словами, словно бесформенными медузами. Но я скажу тебе и другое: случается, что счастливые

отказываются от своего счастья и идут воевать.

— Только потому, что исполнение долга для них — высшее счастье.

— Мы не сможем разговаривать, если твое слово будет медузой, то и дело меняющей форму. Нагрузи слово смыслом, с которым можно согласиться или отвергнуть. Если счастье в одно и то же время и откровение первой любви, и предсмертная рвота, когда пуля, войдя в живот, открывает бездонный темный колодец, то как соотнести мне твое слово с жизнью? По существу, ты утверждаешь одно: люди ищут то, что ищут, и стремятся к тому, к чему стремятся. Возразить тебе невозможно, и мне нечего делать с твоей неоспоримой истиной.

— Ты жонглируешь словами. Но если ты откажешься от своей чепухи и согласишься, что человек уходит на войну не за счастьем, и все-таки будешь настаивать, что все действия человека обусловлены стремлением к счастью, тебе придется признать, что уход на войну — сумасшествие. Тогда я попрошу тебя объяснить, что такое сумасшествие. И если сумасшедший — это тот, кто, бессмысленно глядя, пускает слюни или ходит на руках, то при виде марширующих солдат твое истолкование не покажется мне

убедительным.

Но, возможно, язык, на котором ты говоришь, мешает тебе увидеть, к чему все-таки стремятся люди. И к чему стремлюсь привести их я. Ты взял слишком маленькие сосуды, вроде «счастья» или «сумасшествия», и попытался вместить в них жизнь. Ты похож на малыша с совком и ведерком, который собрался переместить Атласские горы.

— Так научи же меня, — попросил мой собеседник.

LXXXI

Если, живя жизнь, ты послушен не велениям души или сердца, но руководствуешься соображениями, которые возможно выразить словами и которые умещаются в них целиком, нам не о чем с тобой говорить. Значит, ты не знаешь, что слова не более чем знак. Возьми, например, имя твоей жены, оно только знак и само по себе ничего не содержит. Ты не можешь что-то постичь из имени, потому что не в нем суть. Тебе не придет в голову сказать: «Ее зовут Мари, поэтому она такая красивая».

Так что, сколько бы ты ни рассуждал о жизни, жизнь остается жизнью, а слова словами.

С чего же ты решил, что слова о жизни равны самой жизни? Слово обеспечено неким залогом, и случается, что залог надежней там, где слово менее искусно. Выигрыш на словах мало что значит. Жизнь — это то, что есть.

Если язык, которым ты говоришь со мной, объясняя, почему поступил так, а не иначе, не иносказание, как это бывает в поэзии, если я не чувствую сквозь него твоей глубинной сущности и стремления высказать несказанное, что мне в

твоих доводах? Я отметаю их, как пустой сор.

Если распорядилась тобой не любовь, внезапно настигшая тебя благодаря чудесно явленной картине, а бестолковый ветер слов, шуршащий бесплодной логикой, я отстраняюсь от тебя.

Не жертвуют жизнью знаку — умирают за то, что он обозначил. Но если ты попытаешься выразить, что же он обозначил, тебе не хватит книг всех библиотек мира. Ты ощутишь полновесность слова «гора» в моей поэме, только если сам карабкался по камням на вершину. Но сколько слов и сколько лет понадобится мне, чтобы объяснить тебе, что такое гора, если ты живешь на степном берегу у моря?

Как рассказать, что такое родник, если тебе никогда не хотелось пить, ты не складывал руки ковшиком и не зачерпывал ледяной воды? Я могу сколько угодно воспевать родники, но где память о трудной дороге, о ноющих от усталости ногах?

Я знаю, главное не родник, главное — Бог. Но для того, чтобы мои слова задели за живое, чтобы и для тебя, и для меня они стали врачующим скальпелем, они должны отыскать в тебе это живое место. Да, я хочу открыть тебе Господа, но сперва заставлю вскарабкаться на вершину горы, чтобы с тобой заговорили звезды. Отправлю

умирать от жажды в пустыню, чтобы родник заворожил тебя. Полгода ты будешь ломать камень в каменоломне, и каждый день тебя будет палить нещадное солнце. А потом скажу: «Истомленный нещадным зноем, поднялся он в сумерках на вершину горы и под сияющими звездами в тишине напился из Господнего родника и больше не жаждал».

Ты поверишь в Бога.

Против чего тебе возражать? Ты ощутил, что такое Бог, и Он просто будет, как будет печальным лицо, если я его изваяю печальным.

Нет языка вне деяний твоих и поступков, Бог един. Поэтому я называю трудом молитву и молитвой труд.

LXXXII

Необходимость постоянства — вот что я ощутил как великую истину.

На что опереться, если все кончается вместе с тобой? Я вспомнил народ, который чтил как богов своих мертвых. Родовой склеп принимал одного за другим тех, кому пришел черед умереть. Склеп олицетворял постоянство.

— Вы счастливы? — спросил я.

— Мы знаем, как мирен ожидающий нас сон, и как же не быть нам счастливыми?

LXXXIII

Я устал. Изнемог. И, наверное, был бы честнее сказать: я чувствую, что оставлен Господом. Больше не было надо мной замкового камня свода, смолкло во мне эхо. Смолк тот голос, что говорил со мной в тишине. Я поднялся на самую высокую из башен и подумал: «Для чего они, эти звезды?» Оглядел мои земли и спросил: «Для чего они, эти земли?» Услышал жалобу сонного города и не понял: «Откуда она, эта жалоба?»

Я был иноземцем, отчужденным от разноликой чужеязычной толпы. Был платьем, брошенным на спинку стула. Был бессильным и одиноким. Опустелым, нежилым, как дом, и как мне не хватало замка свода!

Все распалось во мне, ничто ничему не служило. «Однако я все тот же, — думал я. — Все то же знаю, все то же помню, все то же вижу и, несмотря на это, тону в бессмысленном дробном мире». Самая прекрасная из часовен — мертвый камень и ничего больше, если перед ней никто не благоговеет, не вкушает ее тишины и, сподобившись благодати, не молится от всего сердца. Что толку в моей мудрости, чувствах, памяти? Я

сухая колючка, а не травинка. И мне скучно, как бывает скучно оставшимся без Господа.

Я не мучаюсь, мучается человек, а я — пустое место. Мне так скучно, что хоть разоряй со скуки сад, по которому я слоняюсь взад и вперед, словно жду кого-то. Жду и жду среди расплывающейся Вселенной. Я молился Гос поду, но молится человек, а я — оболочка, свеча, которую не зажгли. «Вернись ко мне, мое рвение, мое усердие», — просил я. Я знаю: свяжись все воедино, и возникнет рвение. Оно есть, когда у корабля есть капитан. Когда есть паломники в часовне. Но что остается, кроме бессмысленного камня, если невнятен замысел ваятеля?

И тогда я понял: тот, кто замер перед улыбающейся статуей, прекрасным пейзажем или в тишине храма, обретает Господа. Он миновал вещь и потянулся за смыслом, отстранил слова, вслушиваясь в мелодию, отвел ночь и звезды, притрагиваясь к вечности. Господь и есть смысл твоих слов. Слова, напитавшись смыслом, открывают тебе Господа. Слезы малыша ножом полоснули сердце, и распахнулось окно на соленый океан. В тебе зазвенел не его плач — все плачи. Малыш взял тебя за руку и научил слышать.

— Для чего, Господи, заставляешь меня идти по пустыне? Я весь в шипах и колючках. По одному твоему знаку пустыня бы преобразилась — желтый песок, дальний горизонт, жгучий ветер не жили бы по отдельности, стали бы царством, я воспрял бы духом и проникся Твоей близостью.

Но я понял: если Бог отдалился, Он подает о Себе весть ощущением пустоты. Море для моряка исполнено смысла. Для мужа исполнена смысла любовь. Но приходит минута, и моряк спрашивает: «Зачем оно мне, это море?» Спрашивает муж: «Что она, эта любовь?» Как им тоскливо, уныло. Все при них по-прежнему, но развязался Божественный узел, связующий все воедино. И у них нет больше ничего.

«Если Господь оставит и мой народ, как оставил меня, — думал я, — у меня будет муравейник с муравьями, потому что в душе их угаснет рвение. Не играют в кости, если кости — костяшки и ничего больше».

И я понял, что ум мне не в помощь. Да, конечно, можно продумать кладку храма, но кладка не главное — главное не в камнях. Да, конечно, можно продумать, какими будут нос, уши, губы статуи, но они не главное — главное не в глине. Главное — залучить Божественный свет. Он осе-

няет расставленные нами ловушки, чуждые его природе.

Я — ваятель, я высек статую, статуя есть принуждение. Образ всегда принуждение. Я что-то уловил и сжал кулак, не желая упустить пойманное. Не говори мне о свободе поэтического слова. Я подчинил слова друг другу, следуя своему внутреннему порядку.

Может случиться, что мой храм разберут и сложат из камней другой. Есть смерть, есть рождение. Но не говори, что у камней есть свобода, — есть храм.

Я не вижу, в чем противоречит принуждение свободе. Чем больше проторил я дорог, тем свободнее ты в выборе. Хотя каждая из дорог — принуждение, потому что я оградил ее дорожными столбами. И что ты имеешь в виду, говоря «свобода» и не видя перед собой ни одной дороги? Или ты называешь свободой блуждание наугад в пустоте? Поверь, принуждение новой дороги увеличит твою свободу.

Без пианино, гитары сможешь ли ты свободно отдаться музыке? Твоей статуе необходимы уши и нос, вот тогда ты свободно ищешь улыбку. Запреты, ограничения, правила шлифуют, оттачивают культуру, благодаря им так утонченно

изысканны ее плоды. За толстыми стенами моего замка душевная жизнь богаче, чем у подонков на пустыре.

Добровольные и недобровольные обязательства — вот отличие свободы от принуждения, с любовью или без любви, но мы обязаны поклониться королю. Желающий подняться повыше или собрать духовное сокровище согласен на принуждения. Ты следуешь обряду, он стеснил тебя и устремил вверх. Глядя со стороны, как самозабвенно играют другие дети, огорченный ребенок требует, чтобы и его научили правилам игры, он тоже хочет играть, а значит, жить. Грустно тому, кого не зовет в храм вечерний благовест. Поет рожок, но не для тебя побудка, а твой счастливый приятель кричит: «Слышишь, меня зовут!» Глухое раздражение и скука — спутники тех, для кого нет ни благовеста, ни пения рожка. Они свободны, они вне жизни.

LXXXIV

Не стоит смешивать слова разных языков, хотя, верю, тебе так недостает прилагательного, чтобы передать яркую зелень ячменного поля, а у твоего соседа оно есть. Но стоит ли брать его? Да, слово только знак. «Жена у меня красивая», — сказал ты, но разве кто-то понял, как ты любишь ее? «Мой друг так скромен», — сказал я, но разве кто-то узнал, как я к нему привязан? Мы не передали и малой толики того, что живит нас. Мы определили, как определили бы неодушевленный предмет.

Есть на свете народы, которые как важные ценят иные, чем мы, качества, которые ищут имя совсем иной картине, что увиделась им сквозь общую для нас всех плоть мира. И они нашли имя своей картине. Можно найти особое слово и для беспричинной тоски, что щемит вдруг сердце на пороге дома, когда садится солнце, меркнет свет и впереди лишь потемки с тусклой луной. Тоска эта сродни страху перед смертью: как быстро сонное детское дыхание становится прерывистым дыханием болезни, похожим на последние усилия усталости, карабкающейся в гору, слыша его,

тебе становится так же страшно: а что, если твой малыш не захочет карабкаться дальше? — и тебе так хочется взять его за руку и помочь. И вот это все — свое нажитое — ты умещаешь в одно слово, им начинают пользоваться, и оно становится родовым наследием твоего народа.

Но передал ты этим словом всем нам уже известное. Мой язык не стремится передать цветущую полноту качества, в нем нет слова, обозначающего «розовый цветок», зато он умеет сплетать слова и ловить тебя их сетью. Слова моего языка не представят воочию женского лица, но красоту его ты угадаешь по тому, как у тебя вдруг захолонет сердце, будто от глотка ледяной воды в зной.

Так дорожи возможностями, которыми одарила тебя душа твоего народа, дорожи умением сплетать слова, как плетут ивовые корзины и рыболовные сети. Смешивая слова разных языков, ты не обогатишь человека — опустошишь. Человек, желая выразить переживаемое, отыскивает новые средства, но ты предложил ему готовое, стертое, и он успокоился; он стремился передать нового себя, себя прозревшего: вернувшись из пустыни, он понял, как ярок зеленый ячмень, но ты предложил ему чужой запас, он перестал вгля-

дываться в себя, он им, походя, воспользовался.

Ты занялся бестолковой работой, решив дать названия всем на свете цветам и оттенкам, собирая названия повсюду, где они только есть; решив поименовать все оттенки чувств и обращаясь за именами во все края, где переживают и чувствуют, заимствуя из тех языков, которые по воле случая запечатлели в слове опыт поколений или личный опыт души, например ощущение щемящей тоски сумерек. Тебе кажется, всемирная тарабарщина обогатит людей. Но не словарный запас есть божественное достояние человека, — изъяснение самого себя, своей сокровенной сущности, которой не исчерпать никаким словом. В наших силах дать ее только почувствовать, но слов, будь их как песчинок в пустыне, как капель в море, все равно окажется мало.

Какое имеет отношение то глубинное, что ищет сказаться в тебе, к куче наворованных слов, что засорили твой язык и мешают тебе?

Именовать стоит лишь горные пики, отличные от уже известных, благодаря которым ты по-новому увидел мир. Я создал произведение и, возможно, с его помощью сотворил в тебе новую истину — назови ее, и она останется божеством

в святилище твоего сердца. Только божество по-иному связывает для нас знакомое, заставляет по-новому увидеть давно известное.

Пойми меня! Я постиг. И рад коснуться раскаленным железом твоего сердца, оставив клеймо, которое поможет тебе расти. Рад, потому что не хочу, чтобы ты блуждал впотьмах.

Не забывай, словом ты только обозначаешь ключ свода, постигаю я его не словесно. Невозможно обозначить собственную суть и жизнь. Я не умилюсь, не растрогаюсь, если ты раскрасишь небо алым, а море синим, — не задаром ли ты хочешь получить доступ к моей душе?

Связующие нити твоего языка — вот путь ко мне, стиль — это путы Бога, говорю я. С ним ты передал мне устойчивость твоего костяка, ритм твоей жизни, ни у кого другого таких не сыскать. А если со всех сторон только и твердят что о звездах, да о горах, да о родниках, кому придет в голову подниматься на вершину, чтобы из звездного родника утолить нестерпимую жажду светящимся молоком?

Даже если в чужом языке уже есть слово для того, что я ищу выразить, и, выразив это, я ничего не создам и не обогащу мир, не отягощай этим чужим словом свой язык, если оно не надобно те-

бе каждый день. Бог, которому молятся изредка, не настоящий.

Но если моя картина озарила тебя иным пониманием вещей, уподобилась вершине, что упорядочила пейзаж, став подарком тебе от Господа, дай ей имя, придумай слово, чтобы она не забылась.

LXXXV

Извечная тоска по жизни души истомила меня. И я почувствовал — ненавижу приверженцев насущного. Они твердят о своей любви к реальности, но что, кроме хлеба, предлагают они человеку? Хлеба, чей вкус мало изменила цивилизация? И я до сих пор говорю о воде, преобразившейся в поэзию.

Ты доволен, став губернатором моей провинции, доволен потому, что я зодчий, я выстроил свое царство и сумел восхитить тебя им. Своей радостью ты обязан мне, хотя сейчас меня нет рядом и я тебе не в помощь. Тешит тебя не реальность — утехи тщеславия неосязаемы, — тешит та значимость, какую обрела она, сделавшись царством.

До пятнадцати лет умащали юницу благовонными маслами, она знает, что такое поэзия, изящество, тишина. От нежного лица ее веет покоем, сколько в нем глубины и значимости, покой ее сродни освежающей воде родника — так неужели ты мне скажешь, что твою ночную жажду утолят одинаково и она, и купленная тобой девка только потому, что тела их схожи?

Тебе кажется, ты стал богаче оттого, что не отличаешь одну от другой, не тратишь времени на ухаживание, — и, конечно, девкой делаются куда скорей, чем принцессой, но поверь мне, ты обеднел.

Может быть, тебе не понравится принцесса, стихи тоже не даются задаром, как нежданное наследство от дядюшки, они — твое собственное восхождение вверх; может быть, тебе не по вкусу будет ее утонченность, ведь есть музыка, которой тебе никогда не расслышать, потому что ты не пожелал учиться, — но это вовсе не значит, что принцессы плохи, это значит, что тебя еще нет.

В молчании моей любви я слушал, как двое беседуют. Беседа перешла в крик. Засверкали ножи. Так решают спор подонки, живущие в грязных лачугах. Они жадны только до жратвы и дерут глотки только из-за того, что уместилось в их нескольких скудных словах. Но не за женскую плоть ты готов пришить соперника, эта женщина для тебя — кров, без нее ты бесприютный изгой. И вечерний чай не в чай тебе, потому что ее нет рядом.

Но если, увидев, как дорожат люди вечерним чаем, ты, из присущей людям близорукости, возвеличишь чаепитие и заставишь всех покло-

няться чайнику, они разлюбят чай, и у тебя не будет ни вечерних чаепитий, ни любви.

Если ты проникся значительностью материнства и радостью иметь детей, видя, каким благоговением окружена роженица — возле ее постели тишина, словно у алтаря, — ты снова не видишь целого. И вот ты стараешься, чтобы рожали как можно больше, строишь повсюду больницы, огромные, как хлев или конюшня, и размещаешь в них стада беременных женщин. Ты убиваешь то, ради чего старался, — никому не интересны чувства коровы, когда идет массовое разведение скота.

Я взращиваю в человеке душу, поэтому ставлю перед ним преграды и границы, загораживаю от каждого сад: я хочу благоговения перед детьми, и поэтому требую, чтобы детей было как можно меньше, на словах, только на словах, — потому что они должны стать дорогими сердцу. Я не доверяю логике, я верю только в перепады почвы, поощряющие прилив любви.

Если ты есть, ты растишь свое дерево, но, если дерево задумываю и создаю я, — я протягиваю тебе только семечко. Оно — возможность, в нем таятся самые разные цветы и плоды. И если ты принимаешь его и начинаешь расти, то вырас-

тешь моим, но непредсказуемым деревом, потому что предсказаниями я не занимаюсь. Я дал тебе возможность жить, жить самим собой. Но твоя любовь будет плодом моей любви.

LXXXVI

Я споткнулся о порог — бывают времена, когда распадается язык и при помощи слов ничего не улавливается, ничего не предсказывается. Эти люди пришли ко мне, предложили вместо ребуса мир и потребовали разгадки. Нет у мира разгадки, потому что нет в мире смысла.

— Скажи, что нам делать — покоряться или бороться, — спрашивают они. Нужно покориться, чтобы выжить, нужно бороться, чтобы продолжать быть. Предоставь все жизни. Правда жизни едина, но открывается всегда как противоречие, это и есть злоба дня. Но не тешь себя иллюзиями: сегодняшний ты всегда уже мертв. Твоя противоречивость — противоречивость преображения, ты меняешь кожу, поэтому тебе так больно, поэтому ты страдаешь. Кожа трескается, лопается. Твое молчание — молчание зерна в земле, оно должно прозябнуть, прежде чем пуститься в рост. Твое бесплодие — бесплодие куколки. Но когда ты переродишься, у тебя появятся крылья.

И, глядя с вершины горы и больше не находя вопросов, ты удивишься: «Как же я сразу не понял?» Но до твоего восхождения не было того, что

можно было понять.

LXXXVII

Тебя не ободрят; знамение, которого ты так ждешь, — молчание. Камни не знают и не могут ничего знать о храме, который сложен ими. Ничего не знает нарост коры обо всем дереве, одетом и этим кусочком, и всеми остальными. А дерево и дом ничего не знают о царстве, которое они совместно составляют. Ты не знаешь о Боге. Чтобы узнать, камню должен явиться храм, кусочку коры — дерево, но это невозможно, у них нет языка, чтобы вместить огромность, столь их превосходящую. Только язык дерева может что-то сказать о дереве.

Я понял это, совершив паломничество к Господу.

Всегда один, замкнут в себе, один на один с собой. Собственными усилиями мне не разомкнуть одиночества. Камню перестать ли быть камнем? Но в работе он объединяется с другими камнями и становится частичкой храма.

Я уже не жду появления ангела — может быть, он незрим, а может быть, его нет. Дожидающиеся от Господа знака уподобляют Его себе и остаются

опять наедине с собой. Но вот я слился с моим народом, любовь обняла меня своим теплом и преобразила. Она и есть знак близости Господа. Потому что наступившая тишина тиха для каждого камня.

Ведь сам по себе, вне других людей, я ничто, и ничто мне не будет в радость.

Так будьте же зернами, они сложены на зиму в житницу и пока спят.

LXXXVIII

Ох уж это нежелание выйти за пределы самих себя…

«Я! — твердят они. — Я!»

И похлопывают себя по животу. Будто там кто-то есть, будто кто-то жив благодаря им. Так могли бы кричать камни храма: «Я! Я!»

Так кричали и те, кого я отрядил добывать алмазы. Пот, катящийся градом, отупение усталости преображались в сверкающие бриллианты. Алмазы обеспечивали людям жизнь, алмазы делали людей значимыми. Но однажды люди взбунтовались. «Я! Я! Я!» — закричали они. Они не желали больше служить алмазам. Не желали нарабатывать себя. Они требовали почтения к себе — к таким, каковы они есть. Вместо алмаза они предложили себя как перл созданья. Но сами по себе они мало чего стоили, облагораживали их алмазы… Так храм облагораживает камни. Отчий край — дерево. Царство — река. «Мать наших стад, неспешная кровь полей, водительница стругов…» так воспевают реку в царстве.

Но бунтари сочли, что они цель и венец творения, они пожелали, чтобы служили им, отказав-

шись служить тому, что превосходило их.

Они перерезали королей, стерли в порошок алмазы, чтобы всем досталось понемножку, засадили в тюрьму ищущих другую правду, чтобы никто не взял однажды над ними верх. «Настало время храму служить камням», — сказали они. Им казалось, они стали богаче, когда каждый потащил к себе кусочек храма. Лишились они святилища, приобрели кучу щебня.

LXXXIX

А ты все спрашиваешь и спрашиваешь:

— Скажи, что такое рабство, где начало его и где конец? И что такое общность, где начинается она и где кончается? И человек — на что он имеет право?

Я знаю только права храма, который придает смысл существованию камней; права царства, которое наполняет смыслом человеческую жизнь, права стихотворения, которое обогащает смыслом слова. Я не признаю за камнями права восставать на храм, за словами права разрушать стихотворение, за людьми права бунтовать против царства.

В эгоизме нет истины, эгоист — калека. Одиночка, твердящий: «Я, я, я...» — изгнал себя из царства. Он — камень, откатившийся от стены храма, слово-пустышка, не ставшее стихотворением, — отнятая рука.

Отцу предложили:

— А почему бы тогда не уничтожить все царства и не собрать всех под сенью одного храма, чтобы жизнь стала еще полнее смыслом?

— Ты говоришь так потому, что ничего не пони-

маешь, — отвечал отец. — Посмотри, вот камни, из них изваяна рука, смысл существования этих камней в этой руке. Смысл существования других — в торсе, третьих — в крыльях. Но торс, руки, крылья вместе — это ангел. Одни камни сложили стрелку свода, другие — колонну. А из ангелов, стрелки, колонн сложился храм. Храмы, собранные в одном месте, стали святым городом, который управляет твоим путем, потому что ты в пустыне и стремишься к нему. Так неужели ты думаешь, что камень лучше послужит святому городу, если вместо того, чтобы служить руке, а благодаря руке — ангелу, а благодаря ангелу — храму, а благодаря храму — святому городу, он встанет в ряд с другими, точно такими же камнями? Единство города так ослепительно оттого, что составляет его богатство разнообразия. Колонна прекрасна благодаря капители, стволу, плинту, она едина, но состоит из разных частей. Чем сущностней истина, тем выше ты должен подняться, чтобы обозреть ее и постигнуть. Жизнь едина, как един и уровень моря, но, наполняя жизненной силой существо за существом, она становится похожей на лестницу с самыми разнообразными ступеньками. Един парусник, но составлен из разного. Подойди поближе — и увидишь паруса,

мачты, нос, корпус, якорь. Подойди еще ближе — и различишь канаты, скрепы, доски, гвозди. И каждый гвоздь, каждый канат ты можешь делить и делить.

Если я сложу мое царство из ровных рядов камней, оно обессмыслится, в нем не останется жизни, в нем не будет ни городской сутолоки, ни парадно стоящих по стойке «смирно» солдат. Мне нужен очаг. Очаг собирает семью. Семьи складываются в род. Роды — в племя. Племена становятся царством. И вот ты видишь: в моем царстве — на западе и на востоке, на севере и на юге — кипит усердие, царство мое похоже на парусник в открытом море, его гонит ветер, гонит только в нужную сторону благодаря разнообразию парусов, которые ловят изменчивый ветер.

Царство построено, теперь продолжай свою работу, улучшай, собирай из разных царств более обширный корабль, который устремит их в одну сторону, который благодаря разнообразным парусам поставит себе на службу любой ветер и не изменит ведущей его звезде. Собрать воедино — значит связать крепко-накрепко все разнообразие, все особенности каждого, а вовсе не уничтожать их ради бесплодного порядка.

(На самом деле в жизни нет ступенек. Ты назвал

ступенькой эту группу людей. Второй — большую группу, которая включила в себя первую. Но и то, и другое — условность.)

XC

Но вот пришло время тебе встревожиться: ты видишь — жестокий тиран уничтожает людей. Ростовщик держит их в рабстве. Строитель храма служит не Господу, а себе, выжимая себе на потребу из людей пот. И не заметно, чтобы людей это облагородило.

Значит, ты плохо вел их в гору. Не сами камни, подымаясь, должны были сложить руку, а руки и крылья стать ангелом, а из ангелов, колонн и стрелки возникнуть храм. Так не бывает. Каждый, где захотел, там и остановился. Но не лучше, если ты насильственно принудишь людей служить рукой, ангелом, храмом. Ни тирану, ни ростовщику, ни ангелу, ни храму не дано пустить в рост людей и, обогатившись, сделать их тоже богачами.

Не почвенные соли, объединившись по воле случая, начинают восхождение вверх, становясь деревом, — чтобы вырастить дерево, ты должен бросить в землю семечко. Деревья приходят сверху, а не снизу.

Что за смысл в возводимой тобой пирамиде, если не венчает ее Господь? Он преображает людей

и открывается тем, кто преобразился. Ты вправе беззаветно служить князю, если сам он беззаветно служит Господу. Добро твое вернется тебе, но иным будет его вкус, иным смысл и полнота. Ты не увидишь вокруг себя: вот ростовщик, вот рука, вот храм, вот статуя. Откуда взяться руке, как не от тела? А тело — вовсе не механическое соединение различных частей. Суть парусника не в том, что объединилось разнородное, а в том, что единое стремление к морю проявилось так разнообразно и даже противоречиво; вот и в теле множество непохожих частей, но оно не сумма их — каждый, кто знаком с творчеством, любой садовник и любой поэт, скажет тебе: не от частности к частности возникает целое, оно рождается сразу и осуществляется в частностях. Мне достаточно воспламенить людей любовью к башням, что оживят плоскую пустыню, и рабы рабов моих зодчих изобретут тележку для перевозки камня и еще множество полезных приспособлений.

XCI

С помощью правил мы делаем значимыми те или иные понятия. Правила не пустая условность, и если ты не знаешь об этом, то впадаешь в ошибки. Упорядочив правилами любовь, я утверждаю определенный тип любви. О том, какова она, говорят те принуждения, которые я ей навязал. Принуждать может обычай, но может и жандарм.

XCII

Темна была эта ночь, я смотрел на нее с высоты моей крепости — крепости, что утверждала мою власть над городом — городом, что благодаря моим гарнизонам утверждал мою власть над всеми другими городами царства, передавая вести сигнальными огнями с холма на холм: так перекликаются порой скучающие дозорные, прохаживаясь взад и вперед по крепостной стене. (Они узнают потом, что их ночные прогулки были исполнены смысла, но пока этот смысл невнятен дозорным, у них нет языка, благодаря которому на каждый шаг откликалось бы сердце, они не знают, чем заняты на самом деле, им кажется, что они скучают и ждут ужина. Но я-то знаю: не стоит вслушиваться в людскую болтовню; знаю: мои зевающие в ожидании ужина дозорные ошибаются. За ужином мои дозорные едят, смеются и шутят, у них просторно внутри — а позволь я им сидеть все время вокруг котла, они стали бы домашней скотиной.)

Так вот, эта ночь была так темна потому, что царство мое дало трещину, потому, что в ночи ощутимо недоставало сигнальных огней на хол-

мах и ночь могла преуспеть и погасить один за другим оставшиеся, а это значило бы, что царство мое погибло. Гибель царства коснется каждого, переменится вкус вечерней похлебки и материнский поцелуй малышу перед сном. Если твой ребенок не частичка царства, он совсем другой ребенок, целуя его, ты не приникаешь к Господу.

От пожара обороняются встречным огнем. Я расставил кругом преданных мне воинов и уничтожил все, что попало внутрь железного круга. Я испепелил тебя, преходящее поколение, но что мне в этом пепле? Я спасал святыню осмысленного мира. Жизнь научила меня: не калечество причиняет страдание и не смерть. Благодаря храму человеческая жизнь осмыслялась, и его величие наделило величием людей. Вскормленный царством и отторгнутый от него, чувствует себя изгоем и узником в тюремной камере, он трясет решетку и отказывается от воды, язык, на котором он привык говорить, утратил смысл. Кому как не ему рвать волосы, обдирать на руках кожу? Отец переполнен ответственностью отцовства, и вдруг у него на глазах его сын тонет в реке — разве удержать отца на берегу? — с криком он вырвется из твоих рук и кинется в воду, иначе язык, которым он привык говорить, лишится

смысла. Ты увидишь горделивое торжество подданного в день, когда восторжествует царство; ты увидишь счастье отца в день рождения сына. Горькие муки и великое счастье ты черпаешь из одного источника. Муками и радостями плодоносит твоя привязанность. Я сумел привязать тебя к царству. И теперь хочу спасти в тебе человека, пусть даже угрожая жизни, пусть даже толкая на путь страданий, посадив отца семейства в тюрьму и отлучив его от семьи, изгнав верного слугу царства, отлучив его от царства, потому что люблю семью, люблю царство, ты клянешь меня за страдания, но я говорю тебе: ты не прав, я спасаю в тебе то, что животворит тебя.

Преходящее поколение — ты дарохранительница, в которой спрятан храм, но ты о нем, возможно, не подозреваешь, ты от него отвернулось, но ему, и только ему, ты обязано простором своего сердца, смыслом слов, сиянием глубинной радости. Я спасаю храм. Так значим ли железный круг моих воинов?

Меня назвали справедливым. Да, я справедлив. И если проливал кровь, то не для того, чтобы утвердиться в жестокости — чтобы обрести возможность являть милосердие. Теперь мне дано благословить того, кто коленопреклоненно

целует мне руку. Благословение мое для него настоящее богатство. Он уходит с миром в душе. Но если не верить в мое право на власть, что толку в моем благословении? Я сложил пальцы, умягчил уста медом улыбки, но неверу некуда принять даруемое благо. Он уходит нищим. Одиночество, кричащее: «Я, я, я!..» — не обогащает, чем ответить на этот крик? Если меня сбросят с крепостных стен, печалиться будут не обо мне. О сладостном чувстве сыновства. Об умиротворении после полученного благословения. Об облегченном прощением сердце. Им будет недоставать надежного крова, осмысленности каждого дня, теплого плаща пастуха. Так пусть они лучше преклонят колени и почувствуют себя одаренными моей добротой, пусть воздают мне почести, и я возвеличу их. И разве о себе я сейчас забочусь?

Не собственной славе принуждаю я служить людей, я смиренно преклонен перед Господом, Господа они славят, и Он укрывает их всех Своею славою. Не ищу я и величия царства, сделав людей его подножием. Царство — подножие человеку, его хочу возвысить и облагородить. И если я присваиваю плоды их трудов и усилий, то отдаю их Гос поду, чтобы вернулись обратно бла-

гословенным дарением. И вот воздаянием течет к ним из моих житниц зерно. Оно — пища им, но еще и свет, и песнопение, и душевный покой.

Вещь должна исполниться для человека смысла. Обручение наполняет смыслом кольцо, свирепые кочевники — военный лагерь, Бог — храм, царство — реку. А иначе чем бы владели люди?

Царство сложено из вещей и невещественного. Царство вбирает в себя окружающее вещество.

XCIII

Существуют люди, существует преданность. Преданностью я называю твою связь с людьми через твою мельницу, храм или сад. Преданность саду придает тебе весомость, если ты — садовник.

Но вот приходит человек, который не понимает, что значимо на самом деле. Наука, которая познает, разлагая на части, внушила ему ложные представления о сущем. (Разложить — значит утратить содержимое, забыть о главном: о тебе в деле. Перемешай в книге буквы — уничтожишь поэта. И если сад — это сорок яблонь, то нет и садовника.) Беспонятным все смешно, они не знают дела, они только насмехаются. Насмешники не читают книг, они перемешивают в них буквы. «Почему, — спрашивают они, — нужно жертвовать собой ради храма, ради этой упорядоченной кучи камней?» Тебе нечего им ответить. Они спрашивают: «Зачем умирать ради сада, ради всяких там былинок и травинок?» Тебе нечего им ответить. «Зачем умирать ради букв в алфавите?» Незачем. И тебе не хочется умирать.

Но на деле насмешники обокрали тебя, сде-

лали нищим. Ты не хочешь умирать, значит, ты больше ничего не любишь. Тебе кажется, ты поумнел, — нет, по глупости растратил силы и разрушил уже построенное; ты расточил свое сокровище — смысл вещей.

Насмешник тешит свое тщеславие, он — грабитель. Кому он помог своей насмешкой? Помог тот, кто шлифовал каждое слово, оттачивал возможности выражения, стиль, а значит, совершенствовал инструмент, который позволит ему работать дальше. Насмешник работает на эффекте неожиданности, он грохнул о землю статую и позабавил всех бессмыслицей обломков, взорвал храм, который был для тебя прибежищем тишины и молитвенного раздумья, теперь перед тобой куча мусора, и, конечно, ради нее не стоит умирать.

Тебе показали, как легко убивать богов, но тебе больше нечем дышать, жить. Любая вещь драгоценна ореолом света, обилием нажитых связей, эти связи мы именуем культурой, они — наш язык. Очаг для нас обозначает любовь, звезды — свет горнего мира, дело, которое я тебе доверил, — царскую почесть, я приобщил тебя к своему царскому клану. Но что тебе делать с камнями, делами, цифрами, если они только

камни, дела, цифры?

Разрушили одно, разбили другое, что у тебя осталось? Только ты сам — единственный источник света, способный расцветить черепки, которым нечем больше тебя напитать. Вот ты и завяз в болоте тщеславия. Раз все вещи вокруг обессмыслились, ты сам наполняешь их смыслом. Ты остался в одиночестве и оделяешь все вокруг собственным скудным светом. Вот новое платье, оно твое. Вот стадо, оно твое. И вот эта земля, что богаче других, тоже твоя. Но все, что не твое — другое платье, земля, стадо, — враждебно тебе. Соседнее царство, созданное по тем же законам, соперничает с тобой. Ты обречен посреди своей пустыни настаивать на довольстве собой, потому что, кроме тебя самого, у тебя больше ничего нет. Ты обречен кричать в своей пустоте: «Я! Я! Я!» — и не получать ответа.

Я ни разу не встретил тщеславного садовника, если он на самом деле любил свой сад.

XCIV

Все освещено присутствием божества. Божество исчезнет, и переменится все вокруг. Что тебе тогда дневная дань, если она не украшение чего-то иного? Ты знал: день дается тебе для постижения запредельного, и вдруг оказалось — постигать нечего. Для чего тебе кувшин из звонкого серебра, если трапеза вдвоем уже не обряд, предваряющий любовь? Для чего самшитовая флейта на стене, если ты не играешь на ней для возлюбленной? Для чего ладони, если их лишили сонной тяжести любимого тела? Ты не у дел, в твоей лавочке все продается, все ищет себе места и хозяина; и ты тоже. Ко всему прицеплены этикетки, все ждет, что вот-вот начнется жизнь.

Пуст день, если не ждешь больше легких шагов, если не расцветает на твоем пороге улыбка, медовую сладость которой в тишине и тайне собирала для тебя любовь и которой ты сейчас насладишься. День пуст, если нет рокового часа прощанья. Пуст, если нет забвения сна, когда страсть набирается сил.

Нет храма, есть груда камней. Нет и тебя тоже. Так как же тебе не искать нового божества и хра-

ма, даже если ты знаешь, что позабудешь и этот, что опять будешь строить новый? Так устроена жизнь: настанет утро и вернет тебе серебряный кувшин, пушистый ковер, полдень и вечер, вновь обретет смысл дань твоего дня и твоя усталость, вновь ты будешь близок или далек, будешь идти или уходить, находить или терять. А сейчас, пока нет в твоей жизни ключа свода, ты не идешь, не находишь и не теряешь, не помогаешь и не мешаешь ничему в мире.

И даже если тебе кажется, что тебе необходимы вещи, что их ты завоевываешь, от них отказываешься, на них полагаешься, их ломаешь, раздаешь, добиваешься, владеешь, — ты ошибаешься: берешь, удерживаешь, обладаешь, теряешь, полагаешься, жаждешь ты только света, которым наделило их солнце. Нет мостка между тобой и вещью, есть мосток между тобой и незримой картиной, которая может быть Богом, царством или любовью.

Я вижу, ты стал моряком и ушел в море — значит, долгое отсутствие представилось кому-то сокровищем, значит, старинные матросские песни рассказали о счастье возвращаться, значит, по-прежнему передаются из уст в уста легенды о чудесных островах и коралловых рифах. И я

уверен, волны нашептывают тебе песню триер, хотя триер давным-давно нет, а коралловые рифы, несмотря на то что твой парусник пока не подходил к ним, меняют для тебя цвет воды с наступлением сумерек. А кораблекрушения, о которых тебе рассказывали? Пусть тебе самому не доведется испытать ничего подобного — из-за них в жалобном вое волн, бьющихся о скалы, слышишь ты плач о мертвых.

Но если ничего этого для тебя нет, ты зеваешь, когда тянешь грубые канаты, а натянув их, складываешь на широкой, как море, груди праздные руки и опять зеваешь. Ничего не появится, если не построить сперва в твоем сердце храма, не показать тебе картины, не обогатить связующими нитями культуры.

Получив наследство, и живя год за годом любовью к нему, ты не сможешь отказаться от самого себя. Не станешь искать иного смысла жизни.

Что такое тюрьма для любящего? Он живет не в мире вещей — в царстве смысла вещей, а в нем нет стен. Пусть любимая далеко, пусть она даже спит и словно бы не существует, и бессильны ее хрупкие руки против стен, что ты воздвиг между ними, но что из этого? В таинственной тишине души узника питает любовь. И не в твоих силах

отлучить его от любви.

Как любовь, питает тебя и Божественный узел, что связал для тебя воедино весь мир. Та, которую ты не любишь, к которой лишь вожделеешь в разлуке, не насыщает, хотя ты не спишь из-за нее ночами, но ведь и собака не сыта воображаемым мясом, — бдит в тебе только плоть, в тебе не родилось божество, что умеет проходить через стены, душа твоя спит.

Я уже говорил тебе о принце, хозяине царства, что идет поутру по росистой траве. Царство ему сейчас не в помощь. Перед ним — пустынная дорога. И все-таки его не спутать ни с кем другим — так просторно его сердце. Говорил о дозорном моего царства: все его владение — круглая каменная площадка башни и звезды над головой. Он ходит по ней туда и обратно, и отовсюду ему грозит опасность. Кто обездоленней этого пленника, заключенного в тюрьму величиной в сто шагов? Его отягощает оружие, ему грозит карцер, если он присядет, смерть — если заснет. Он мерзнет в мороз, мокнет в дождь, обжигается раскаленным песком в жару, ждет он только пули из ружья, надежно укрытого темнотой и нацеленного ему прямо в сердце. У кого жизнь более безнадежна? Любой нищий счастливее и богаче: нищий может

идти куда хочет, он свободен глазеть на толпу, с которой смешался, свободен из всего устроить для себя развлечение.

Но мой дозорный — частичка царства. Царство переполняет, питает его. Нищему с ним не сравниться, настолько богаче и просторнее сердце дозорного. Даже смерть ему будет богатством, он сольется со своей любовью.

Моих узников я отправил в каменоломню. Они ломают камень, и на душе у них пусто. Но если ты строишь дом себе, разве тот же камень ты ломаешь? Ты кладешь стену, и каждое твое движение не наказание, а праздник.

Понимание изменяет перспективу. Конечно, ты увидишь, как счастлив тот, кому грозила смерть, — он спасся и продолжает жить. Но если ты поднялся на горную вершину и увидел, что жизнь твоя завершена и похожа на увязанный сноп, то, наверное, тебя больше обрадует смерть, потому в ней для тебя главный смысл.

Смерть была исполнена смысла и для «языка», которого по моему приказу поймали ночью, и у кого я хотел вызнать намерения моих врагов. «Я рожден своей родиной, — ответил он мне, — твоим палачам ничего не поделать с этим…» У меня не было жернова, который выдавил бы из него

масло тайны, он принадлежал своему царству.

— Несчастный, ты целиком в моей власти, — сказал я. Он рассмеялся, услышав, что я назвал его несчастным, счастье его было с ним, и не в моей власти было отнять его.

Потому я и говорю о непрестанном упражнении души. Истинное твое богатство не в осязаемом: вещи значимы, пока ты пользуешься ими, — осел, если взнуздал и поехал, миска, если налил суп и ешь; но вот осел в стойле, миска на полке — что они для тебя? Или ты взял и уехал, как уехал от женщины, которую только желал, но так и не полюбил.

Конечно, животному прежде всего доступна вещественность, а не аромат, не ореол, как принято говорить. Но ты — человек, и питает тебя смысл вещей, а не вещи.

А я? Я творю тебя, веду со ступени на ступень, учу. Не камень показываю я тебе — величие погибшего воина, каким увидело его сердце ваятеля. И твое сердце стало богаче оттого, что где-то помнят погибшего воина. Из овец, коз, домов и гор я творю для тебя царство, поднимаю тебя на следующую ступень. Оно вроде бы тебе не в помощь, но ты все-таки полон им. Я соединяю обычные слова, и возникает стихотворение, ты стал еще богаче.

Я связал горы и реки между собой, и возникло царство и озарило сердце воодушевлением. Царство празднует победу, и в этот день умирающие в больнице от рака, узники в тюрьме, должники, замученные кредиторами, — все гордятся, потому что нет таких стен, больниц и тюрем, которые помешали бы ощутить благодать. Разброд сущего я преобразил в бога, божество смеется над стенами, и что ему пытки?..

Поэтому я и говорю: я творю человека, разрушаю стены, вырываю решетки, мой человек свободен. Я творю человека, он неизменен в своих привязанностях, и что ему крепостные стены? Что тюремщики? Он смеется над пытками палачей, потому что они не в силах его принизить.

Я говорю «общение», но имею в виду не беседы то с одним, то с другим. Я имею в виду твою привязанность к царству и привязанность другого к царству — к тому самому царству, что значимо для вас обоих. И если ты меня спросишь: «Как мне догнать любимую, нас разлучил мир, а может быть, мор, а может быть, смерть», — я отвечу: «Не зови ее, она не услышит, лучше оберегай ее присутствие, которого не отнять у тебя никому, храни облик созданного ею дома: чайный поднос, чайник, пушистый ковер — она им хозяйка,

ключ свода, жена, которая устала и заснула, ведь тебе дано любить ее и спящей, и далекой, и в разлуке…»

Поэтому я и говорю: когда растишь человека, не заботься о знаниях — что толку, если он станет ходячей энциклопедией, — поднимайся с ним со ступеньки на ступеньку, чтобы видеть не отдельные вещи, а картину, созданную тем Божественным узлом, который один только и способен связать все воедино. Ничего не жди от вещей: они обретают голос, став знаком чего-то большего, и сердцу внятен только такой разговор. Вот, к примеру, твоя работа: она может быть хлебом для твоих детей, а может быть расширением в тебе пространства. И твоя любовь может стать большим, чем жажда обладать телом, потому что радости тела слишком тесны.

Ты вернулся из пустыни и скучной душной ночью идешь в веселый квартал, чтобы выбрать ту, с которой забудешь о любви; ты ласкаешь ее, она что-то спрашивает, ты отвечаешь, но объятья разомкнутся, и ты уйдешь опустошенный: даже если она была красива, тебе нечем вспомнить ее.

Но если то же лицо, стать и слова окажутся у принцессы, которую так медленно из далекой дали везли мои караваны, которую пятнадцать

лет взращивали музыка, поэзия и мудрость, научив на оскорбления отвечать гневом и хранить верность в испытаниях, выковав в ней твердость и преданность богам, которым она не умеет изменить — не задумываясь, пожертвует принцесса своей красотой, но не снизойдет и не вымолвит слова, которого потребовал палач, так естественно для нее благородство, и последний ее шаг будет выразительней танца, — так вот, если эта принцесса будет ждать тебя в залитом лунным светом зале, и, протянув руки, пойдет к тебе навстречу по мерцающим плитам, и скажет тебе те же слова привета, но в голосе ее ты услышишь совершенство души, — уверяю тебя, на рассвете ты уйдешь в свою скалистую пустыню обновленным, благодать будет петь у тебя в душе.

Не телесная оболочка, не толкотня мыслей — значима только душа, ее простор, ее времена года, горные пики, молчаливые пустыни, снежные обвалы, цветущие склоны, дремлющие воды — вот он, этот весомый для жизни залог, незримый, но надежный. В нем твое счастье. И тебе никак себя не обмануть.

Разные вещи — странствие по могучему океану или по скудной речонке, пусть ты даже закрыл глаза, чтобы лучше чувствовать качку. Разная

радость, пусть брошки будут одинаковы, от стекляшки и алмаза чистой воды. И та, что сейчас примолкла, совсем не похожа на ту, что ушла в глубины своего молчания.

Да ты и сам никогда не ошибешься! Потому я и не хочу облегчать твой труд. Если женщины сладки тебе, я не стану облегчать тебе охоту за добычей, пустив на ветер условности, запреты, отказы, благородство обхождения и души: вместе с ними я уничтожу и то, что ты так жаждешь поймать.

Гулящие предоставляют одну возможность — возможность забыть о любви, а я занят лишь тем, что придаст тебе сил для завтрашних свершений, я побуждаю тебя преодолеть эту гору, чтобы завтра ты преодолел другую, еще выше. Я хочу, чтобы ты узнал любовь, и побуждаю тебя преодолеть неприступную душу.

XCV

Алмаз — плод политой потом земли, земли, политой потом целого народа, но алмаз, добытый такими трудами, невозможно поделить, невозможно съесть, невозможно раздать каждому из работников понемножку. Должен ли я из-за этого отказаться от добычи алмазов — звезд, проснувшихся в земле?

Если я изгоню из цеха чеканщиков, тех, кто чеканит золотые кувшины, — золотой кувшин тоже невозможно поделить, потому что он стоит целой жизни и всю эту жизнь я должен кормить мастера хлебом, который добывают другие, — и если, изгнав этих мастеров, я пошлю их пахать землю, и золотых кувшинов больше не будет, зато будет больше пшеницы, которую можно поделить, — ты одобришь меня и скажешь, что жизнь без бриллиантов и золотых кувшинов послужит к чести человека? Но скажи, как облагородится ею человек? Об алмазах ли я пекусь?

В угоду завистливой и жадной толпе я бы согласился сжечь на огромном костре все добытые за год алмазы в день всенародного праздника или одел бы сиянием алмазов праздничную короле-

ву, чтобы народ гордился своей бриллиантовой царицей. Алмазы вернулись бы к ним царским величием или блеском пышного празднества. Но чем обогатят их бриллианты, если запереть их в музей, где они попадутся на глаза двум-трем праздным зевакам и грубому толстяку-смотрителю?

Согласись, ценится лишь то, на что затрачено немалое время, например, храм; согласись, слава моего царства сияет в тех самых алмазах, которые я заставил добывать, и к славе этой приобщен каждый, любуясь горделивой королевой в бриллиантах.

Я знаю одну свободу — свободу упражнять свою душу. Любая другая иллюзорна, я докажу тебе, смотри: ты нуждаешься в двери, не умея проходить через стены, не волен обрести молодость, не волен наслаждаться солнцем среди ночи. Я заставил тебя выбрать эту дверь, а не другую, и ты жалуешься на притеснение, но ты забыл — будь дверь только одна, ты был бы притеснен точно так же. Я запретил тебе соединить твою судьбу с той, что кажется тебе красавицей, и ты кричишь о моем тиранстве, но ты не знаешь, что все красавицы твоей деревни косят, потому что никогда не покидал своей деревни.

Ты женишься на той, которую я принуждал сбыться и ради тебя пестовал в ней душу, — теперь вы вдвоем обретете единственную свободу, суть которой полнота смысла и непрестанное расширение души.

Своеволие изнашивает. Мой отец говорил: «Отказаться жить — не значит быть свободным».

XCVI

Я буду говорить с тобой о необходимости или безусловном: это и есть Божественный узел, что связует все воедино.

Невозможно до смерти увлечься игрой, если кости всего-навсего костяшки и ничего больше. Вот я отдал приказ отплыть в море, море неспокойно, и капитан долго и пристально вглядывается в него — взвешивает тяжесть туч, словно силу противника, прикидывает высоту валов, определяет напор ветра. Своим приказом я связал для него воедино тучи, ветер и волны. Мой приказ — необходимость, с которой не поспоришь, мы с моим капитаном не на ярмарке, не на базаре, мы — святилище, где я — ключ свода, утверждающий его незыблемость. И как не преисполниться ему величия, правя своим кораблем?

Вот другой, он не подчинен мне, он приехал полюбоваться морем, он может идти куда хочет, может повернуть назад с полдороги, он не подозревает о святилище, тучи для него не испытание, не угроза — красивая декорация, не больше, крепнущий ветер не грозит опрокинуть мир, он обдувает ему щеки, а морские валы опасны

разве что качкой, неприятной и тягостной для желудка.

Поэтому я и говорю: долг — тот же Божественный узел, что связует все воедино. Но царство, храм и твой дом построятся только тогда, когда долг станет для тебя не оспоримой необходимостью, когда перестанет быть игрой, в которой можно менять правила.

— Долг не выбирают, — говорил мой отец, — в этом его главная особенность.

Поэтому и обречены на неуспех те, кто хочет в первую очередь нравиться. Желание нравиться делает их податливыми и гибкими. Они бегут тебе навстречу и пре дают на каждом шагу, желая остаться желанными. На что мне медузы без костяка и формы? Я изрыгаю их, возвращая хаосу: вы придете ко мне, когда создадите самих себя.

Даже женщина устает от возлюбленного, если он только ее эхо и зеркало, — кто нуждается в собственном отражении? Ты мне нужен, если выстроил себя как крепость, если внутри тебя я чувствую плотную сердцевину. Садись рядом, ты есть.

Преданного царству выберет себе в мужья женщина и будет ему служить.

XCVII

И вот что я хотел еще сказать о свободе. Мой отец после смерти стал для подданных горным хребтом, заслонившим горизонт. Логики, историки и критики очнулись, раздулись от ветра слов и объявили, что человек прекрасен.

Да, созданный моим отцом человек был прекрасен.

— Раз он так прекрасен, — шумели логики и критики, — отпустите его на свободу. На воле он расцветет, каждый шаг его будет чудом. Принуждения застят идущий от него свет.

А я вечерами гуляю среди апельсиновых деревьев, ветки их обрезают, верхушки вытягивают. Почему бы мне не сказать:

— Деревья мои прекрасны, они сгибаются под тяжестью апельсинов. Для чего обрезать им ветки, которые тоже могут плодоносить? Нужно дать дереву волю. На свободе оно расцветет. Мы мешаем полноте цветения.

Логики освободили человека. Люди выпрямились еще больше, потому что росли с прямой спиной. И когда пришли жандармы, захотев подчинить их былым принуждениям, но не потому,

что видели в них материнское лоно, рождающее совершенство, а из низменного желания повелевать, люди взбунтовались против утеснения. Жажда свободы воспламенила их, и пожар восстания вспыхнул во всех концах моего царства. Быть свободными означало для них быть прекрасными. Умирая за свободу, они умирали за величие своей души, и в их смерти было величие. Слово «свобода» звенело чище серебряной трубы.

Но я вспомнил, что говорил мне отец:

— Свобода для них — это свобода не быть никем.

Посмотри, вместо свободы возникла сутолока, как на городской площади. Ты протоптал тропку здесь, твой сосед стал ходить там, но дороги у вас нет. Свою часть дома ты покрасил в красный цвет, твой сосед — в синий, а квартирант свою — в желтый; неведомо какого цвета у вас дом.

Вот вы решили устроить праздничную процессию, но каждый настаивает на своем маршруте, неразумие размело вас, словно пыль, и не было никакого праздника. Если свою власть ты делишь между всеми, наступит безвластие. Если каждый выберет место для храма и начнет сносить туда камни, ты увидишь каменистую пустыню, а не храм. Творец всегда один, твое дерево — взрыв

одного семечка. И конечно, это дерево — вопиющая несправедливость, потому что другие семена уже не проросли.

Желание подавить всех я не назову силой, а назову глупой гордыней. Но если это сила созидающего творца и она противостоит естественному течению событий, превращающему горный ледник в болото, храм в песок, жар солнца в скудное тепло, книгу в кипу разрозненных страниц, язык в смесь чужеродных слов, — течению, которое уравнивает все возможности и уравновешивает все усилия, рано или поздно развязывая тот Божественный узел, что связал все воедино, заменяя картину разбродом сущего, — я приветствую эту силу и прославляю ее. Она сродни кедру, который положился на каменистую пустыню, который углубляет свои корни в почву, хотя нет в ней обильных питательных соков, который протянул ветви солнцу — тому самому солнцу, что уподобило песок бесстрастному зеркалу, выгладило все, выровняло и уравновесило, но теперь это злое солнце в помощь несправедливому кедру, который преображает песок и камни, который раскидывает в солнечных лучах смолистый храм, который поет вместе с ветром, как эолова арфа, и возвращает движение неподвижному.

Ибо жизнь — это единство связей, сплетение силовых линий и несправедливость. Увидев детей, томящихся от скуки, что ты делаешь, как не навязываешь им принуждение, которое зовется «правила игры», и вот они уже бегают в догонялки.

Наступило время, когда нечего стало высвобождать, и свободой назвали дележку материальных благ среди равных и равно ненавидящих друг друга.

Ты свободен, ты толкаешь соседа, а он толкает тебя. Шарики толкаются, катятся и если вдруг остановятся, то остановку ты называешь отдыхом. Такая свобода требует непременного равенства, а равенство неизбежно требует равновесия, а когда все уравновешено, наступает смерть.

Не лучше ли жизнь, она поведет тебя за собой, ты столкнешься с силовыми линиями, и они покажутся тебе препятствием, но они — направляющие для растущего вверх дерева. Единственная зависимость, которая может тебя умалить и которую должно ненавидеть, — это зависимость от недовольства соседа, от зависти равного тебе и необходимость не выделяться из толпы. Попав в плен подобных зависимостей,

ты превратишься в отброс среди кучи других отбросов. Но если речь идет о растущем вверх дереве, каким нелепым покажется тебе ветер слов, гудящий о тирании.

Так вот, наступили времена, когда свободно стало не лучшему в человеке, а худшему — тому, чему потворствует толпа, а человеческое стало таять и таять. Но толпа не свободна, она никуда не стремится, в ней есть только тяжесть, и эта тяжесть придавливает ее к земле. Толпа называет свободой свободу гнить и справедливостью — свое гниение.

Так вот, наступили времена, когда слово «свобода», которое звенело когда-то призывно, словно военный рожок, сникло, полиняло, и люди стыдливо мечтают о новом звонком рожке, который разбудит их на заре и позовет строить.

Потому что хорош только тот рожок, который тебя разбудил.

А принуждение плодотворно только тогда, когда, служа храму, ты служишь и самому значимому в себе. Камни не могут сами стронуться с места и построить собственный храм, но если для камня нашлось его место, то неважно, чему он служит, — полученное будет значимо.

Подчинись рожку, если он разбудил в тебе

большее, чем ты сам. Те, что умерли за свободу, выбрали ее, потому что она была самым лучшим в них и возможностью еще большего совершенства. Они служили радости быть свободными и подчинились зову рожка, поднявшись ночью, отказавшись от свободы спать дальше или обниматься с женой, они стали ведомыми, и если ты послушен голосу долга, зачем мне знать, где были жандармы — рядом с тобой или в тебе самом.

И если они были в тебе, то, значит, когда-то были рядом, потому что чувство чести ты унаследовал от отца, который растил тебя с честью.

Когда я говорю «принуждение» — я подразумеваю противоположность своеволия, в котором всегда есть недобросовестность, но не имею в виду принуждений моей полиции. Я бродил по городу в молчании моей любви, видел играющих детей, они подчинялись правилам игры, им было стыдно их нарушить. Они дорожили игрой, тем, что получали от игры. Дорожили рвением и радостью справиться с заданной игрой задачей, дорожили своей юной дерзостью — словом, вкусом этой игры, а не другой, этим вот божеством, которое сделало их дерзкими и радостными. Ведь каждая игра требует от тебя своего, и, желая измениться, ты меняешь игру. Но вот ты, который

только что был в игре всемогущ и благороден, вдруг сплутовал и тут же понял, что разрушил собственными руками то, ради чего играл, — всемогущество и благородство. И все-таки ты успел полюбить их, а значит, примешь принуждение правил.

Что может создать жандарм? Всеобщее единообразие. Откуда ему знать о большем? Порядок для него — порядок в музее, где все выстроено в ряд. Но единству моего царства не нужны подобия. И ты, и твой сосед лепите себя как частичку царства, как колонну, как статую в храме, который сам по себе един.

Мои принуждения сродни ухаживанию за любимой.

XCVIII

Если ты любишь без надежды на взаимность, молчи о своей любви. В тишине она сделается плодоносной. Любовь направляет твою жизнь, и любой путь тебе на пользу, ибо ты то приближаешься, то удаляешься, входишь, выходишь, находишь, теряешь. Ты ведь тот, кто живет. Но нет жизни, если ни один бог не напряг вокруг тебя силовых линий.

Если тебя не любят, а у тебя недостает твердости души молчать о своей любви и ты вымаливал ответную любовь как вознаграждение за верность, но тщетно, попытайся найти врача и исцелиться. Потому что вредно путать любовь с рабством сердца. Прекрасна любовь, которая молится, но та, что клянчит и вымогает, сродни лакею.

Если бесстрастное течение жизни поставило на пути твоей любви преграду вроде изгнания или молчаливых монастырских стен и тебе надо преодолеть ее, возблагодари Господа, если твоя любимая отвечает тебе взаимностью, пусть в этот миг она для тебя все равно что слепоглухонемая. Знай, в этом мире мерцает для тебя негасимый огонек ночника. И поверь, совсем неважно, ви-

дишь ты его или нет. Умирающий в пустыне богат теплом своего далекого дома, несмотря на то, что умирает.

Если я пестую величие души и выбрал самую совершенную, чтобы она вызревала в тишине и молчании, тебе, наверное, покажется, что совершенство ее никому не в помощь. Но посмотри, благодаря ей облагородилось все мое царство. Издалека приходят к ней на поклон. Являются чудеса и знамения.

Если любят тебя, пусть даже неощутимо, и ты любишь в ответ, ты идешь в луче света. Когда чувствуешь Господа, благодатна та молитва, на которую отвечают тишиной.

Если твоя любовь взаимна, если тебе раскрыты объятья, молись Господу, чтоб Он спас твою любовь от порчи, я боюсь за сытое сердце.

XCIX

И поскольку я все же полюбил свободу, научившую петь мое сердце, поскольку проливал кровь, чтобы ее завоевать, и видел сияющие глаза тех, кто бился рядом со мной (видел я и других, низких сердцем, — угрюмо набычившись, ломились они к кормушке и, отвоевав себе место в хлеву, превращались в чавкающих свиней).

Поскольку я видел и тех, кого оживил свет свободы, и тех, кого тирания превратила в скотов.

Поскольку я живу жизнь и не отворачиваюсь от малой малости в самом себе, но зато не принимаю всерьез разноголосицу идей, твердо зная, что, если слова сделались тесны для жизни, нужно их поменять; если тебя поставило в тупик неразрешимое противоречие, нужно перестроить фразу, нужно, чтобы поднялась гора, с которой видна будет целиком вся равнина.

И поскольку я знаю, что благородство души закладывается, выстраивается и созидается, словно крепость, и созидает его принуждение, вера и безусловность долга, которые воплощены в традициях, молитве и обрядах.

Поскольку я знаю, что прекрасны только гордые

души, которые не желают сгибаться и помогают человеку держаться прямо даже под пыткой, которые освобождают от тирании самолюбия, но умеют хранить верность себе, выбирать, решать и жениться на любимой вопреки наговорам толпы и немилости короля…

Потому я и понял, что главное не свобода и не принуждение. Главное — не отвернуться ни от одного из биений жизни. А слова? Пусть дразнят друг друга, показывая язык.

С

Если ты заранее определил, что такое зло, и стал за него наказывать, злодеев окажется очень много (ты можешь посадить в тюрьму всех, потому что в каждом есть крупица зла, которое ты искореняешь, а если карать за недозволенные желания, то в тюрьму отправятся и святые). Страшна твоя предвзятость, ты поднялся на запретную гору, одетую кровавым туманом, и вслепую уничтожаешь человека вообще. Ты видишь его злодеем, но в нем есть и ангел. Ты уничтожаешь их вместе.

Если твои жандармы — а они неизбежно тупые исполнители твоей воли, тупость — их профессия, от них не требуется чутья, напротив, оно им запрещено, потому как не их дело вникать и судить, их дело выявлять по данным тобой признакам, — так вот, если твои жандармы получат приказ разделить всех на черных и белых — а других цветов для жандармов не существует — и к черным ты отнесешь, например, того кто насвистывает в одиночестве, кто порой сомневается в Боге, кто зевнул, копая землю, кто вот так думает, поступает, любит, ненавидит, восхищается,

презирает, — тогда наступают отвратительные времена и оказывается, что у тебя не народ, а сплошные предатели, и сколько ни руби голов, все будет мало, и в толпе так и кишат подозрительные и шпионы.

Ты поделил не людей, разведя направо одних и налево других, чтобы картина стала яснее, — ты разрубил человека, разделил, разлучил его с самим собой, завербовал в нем соглядатая, сделал подозрительным для самого себя и готовым себя предать, потому что в одну из томительных ночей каждый сомневался в Боге. Потому что каждый насвистывал в одиночестве, зевал, копая землю, и думал, делал, любил, ненавидел, восхищался или презирал не должное. Ибо человек живой, и он живет. Но святым, праведным и желанным тебе показался тот, кто громыхает сегодня одной идеей, завтра другой, смешной ярмарочный паяц; тебе оказался ненужным тот, кто живет сердцем.

А раз ты послал жандармов искать не какого-то человека, а человеческое в человеке, то с присущим им усердием они отыскали его в каждом, ужаснулись обилию зла, ужаснули тебя своими донесениями и убедили в необходимости самых срочных мер. Ты согласился и построил тюрьму, куда заключил весь свой народ.

Но если ты все-таки хочешь, чтобы крестьяне у тебя пахали землю, полагаясь на щедрое солнце, чтобы ваятели резали камень, геометры чертили фигуры, ты должен подняться на другую гору. С другой вершины теперешние каторжники покажутся тебе святыми, и ты воздвигнешь памятник тем, кого послал ломать камень.

CI

Наконец-то я понял, что такое грабеж, я давно размышлял о нем, но не был просветлен Господом. Я знал и раньше, что разбойничает писатель, ломая основы стиля, корежа устоявшиеся средства выражения, желая эффектней выразить себя.

На первый взгляд что тут непохвального? Средства выражения и выработаны для того, чтобы выражать себя. Но ты, вместо того чтобы пуститься в путь, сломал повозку, ты похож на неразумного хозяина, неимоверной кладью он перешиб хребет своему ослу. Набавляя день за днем понемногу, он мог бы приучить своего осла к более тяжелой клади, и осел служил бы ему лучше, чем раньше. Я гоню нарушителей, пусть все выражают себя по правилам, — только так у них появятся свои собственные.

Однако оказывается, что свобода — свобода человека быть прекрасным — тоже своеобразный грабеж и растрата наготовленного впрок. Конечно, запас, лежащий без движения, бесполезен, не извлечешь ничего и из красоты, доставшейся по наследству, потому что тебе ни-

когда не извлечь на свет той формы, в которой ее отливали. Да, хорошо построить хранилище, ссыпать в него зерно, с тем чтобы черпать оттуда в зимнюю бескормицу. Суть хранилища прямо противоположна хранению, в него складывали, чтобы из него черпать. Неуклюжий язык — единственная причина противоречия, дерутся между собой слова «складывать» и «черпать», так что не стоит утверждать: «Хранилище — место, куда складывают», — логик может тут же возразить: «Хранилище — место, откуда берут»; ты справишься с ветром слов, обозначив хранилище как перевалочный пункт.

Но ведь и свобода — вкушение тех плодов, которые были взращены моим принуждением, ибо только принуждение способно созидать то, что достойно свободы. Созданный мной человек свободен от страха пыток, он не хочет отказываться от себя, он противится приказам тирана и его палачей, и я называю его свободным. Свободен и тот, кто способен устоять перед низменной страстью. Но как назвать свободным того, кто попадает в рабство любому соблазну. Сам он зовет это свободой, он свободно выбрал для себя вечное рабство.

Что значит создать человека? Мне кажется,

это значит высвободить в нем ту деятельность, что свойственна человеку, — так, создать поэта означает высвободить в нем стихи. И если я хочу видеть тебя ангелом, я высвобождаю из тебя окрыленные слова и уверенные движения танцора.

CII

Я сторонюсь тех, кто судит обо всем с определенной точки зрения. Вот этому борцу кажется, что он борется за великое дело; кроме своего дела, он ничего не видит вокруг. Мне важно, чтобы в нем очнулся человек, когда я заговорю с ним. Но я не верю, что от нашей встречи будет какой-то толк. Наш разговор станет военным маневром и плутовством, собеседник переиначит мою истину, чтобы она послужила его собственному царству. И я не буду упрекать его, раз он ощутил себя значимым благодаря своему делу.

Идеально поймет и не исказит моих истин тот, кого я назвал бы совершенным и просветленным, он не превратит их в свои и не повернет при случае против меня, он не работает, не действует, не борется и не разрешает никаких проблем. В моем царстве есть бесполезный светильник, он освещает лишь самого себя, но бескорыстно, он — самый утонченный и хрупкий цветок моего дерева, бесплодный цветок, ибо слишком чист.

Вот она, проблема взаимопонимания, проблема мостика между борцом за великое дело, совсем не похожее на мое, и мной. Проблема смысла в

нашем языке.

Объединяет только Бог, который сделался явью. Ощутимое понятие «царство» связывает меня и моего воина, потому что и для него, и для меня оно одинаково значимо. Любящий вопреки всем стенам — одно целое с той, что стала душой и теплом его дома, которую дано ему любить и далекой, и спящей.

Но вот передо мной посланник иного царства, и, если я хочу играть с ним в игру более сложную, чем шахматы, если хочу встретиться с ним как с человеком, перешагнув ступеньку подвохов и взаимообманов, — ведь и воюя, мы можем уважать друг друга и чувствовать взаимное приятство, как это было с восточным государем, возлюбленным моим врагом, — так вот, если я хочу поговорить с ним по-человечески, мне нужен новый образ, новая картина мира, которая станет для нас новой мерой всех вещей.

Если он верит в Бога и я тоже, если он хочет привести к Богу свой народ, а я хочу открыть Божественное своему, то мы встретимся с ним как равные в шатре перемирия посреди пустыни, вдалеке от наших коленопреклоненных воинов, и будем молиться вместе, потому что нас объединяет Бог.

Но если для нас не найдется Бога, который превосходил бы и его, и меня, у нас нет и надежды на взаимопонимание, на связующие нити, ибо одна и та же вещь обладает различным смыслом, принадлежа твоей целостности и моей, из одинаковых камней наши архитекторы строят разные храмы, и как нам договориться, если слово «победа» для тебя означает то, что я побежден, а для меня то, что я победил?

И я понял, зная, что в разговоре ничего не значат сами слова, а только залог — тот, что обеспечивает их смысл и весомость, зная, что житейское не затрагивает ни души, ни сердца и просьба «передай мне чайник» взволнует только потому, что перед глазами возникло любимое лицо, что чайник был частичкой твоего домашнего царства, когда вы вдвоем пили чай после вашей любви, или, наоборот, возлюбленная навещала тебя только изредка и чаепитие для вас было редкостным праздником…

Так вот, я понял, почему берберы-изгнанники, для которых развязался Божественный узел, оставив их среди хаоса разноликих вещей, стали похожи на бессмысленную скотину, — кормили их хорошо, но они не преобразили хаос в незримую часовню, зримыми камнями которой были

бы сами, — они были хуже скотины, потому что коровам не нужны незримые часовни, их небогатая радость в переваривании малой толики травы.

Я понял, почему берберам перевернула душу песня сказителя, которого послал к ним мой отец, — сказитель пел о том, как безликие вещи, отражаясь друг в друге, обретают лицо и значимость.

Какое богатство — три белых камешка в руках мальчишки, хаос разноликого мира ничто перед ним.

CIII

Мои тюремщики разбираются в людях лучше, чем геометры. Поручи им дело — и убедишься. А если речь зашла, кому править царством, я подумаю еще, кому его поручить — генералам или тюремщикам. И уж, конечно, предпочту тюремщика геометру.

Да, геометры научены вычислять, соразмерять, но они перепутали: искусство вычислений вовсе не мудрость. «Мы владеем истиной», — твердят они. Да, истиной вычислений. Конечно, можно попробовать управлять и с помощью их языка, но как он неуклюж, как неприспособлен для управления! И сложно и кропотливо ты будешь сопоставлять и соизмерять, прежде чем принять меры, и меры твои будут всегда отвлеченными. Реальные меры умеют принимать только танцоры и тюремщики. Потому что узники те же дети. И остальные люди тоже.

CIV

Геометры донимали моего отца.

— Править людьми должны мы, — утверждали толкователи геометрии. — Мы владеем истиной.

— Истиной геометров… — уточнял отец.

— Так что же? Разве она не истинна?

— Нет, — отвечал отец.

— Они знают истину треугольников, — говорил он мне. — Пекарь знает истину хлеба. Если плохо вымесил тесто, хлеб не поднимется. Если перегрел печь — подгорит, если недогрел — сядет. И хотя мой пекарь печет пышный хлеб с хрустящей корочкой и есть его одно удовольствие, он почему-то не приходит ко мне требовать, чтобы я поставил его управлять царством.

Ты можешь согласиться, что, возможно, я прав относительно геометров, но есть еще историки, критики. Они показывают нам деяния людей. Они разбираются в людях…

— Но я, — продолжал отец, — отдаю управление государством тем, кто сродни черту. Надо сказать, что с некоторых пор черт весьма усовершенствовался и недурно проясняет тьму человеческих взаимоотношений. Но скажи, есть ли чертовщи-

на в пересечении линий? Потому-то я и не жду, что геометры, копаясь в треугольниках, сообщат мне что-то новенькое о дьяволе. В их треугольниках нет ничего такого, что помогло бы управлять людьми.

— Ты говоришь темно, — сказал я отцу. — Выходит, ты веришь в дьявола?

— Нет, — ответил отец.

И добавил:

— Что, собственно, значит верить? Я верю, что летом вызревает ячмень, вера моя не полезна и не вредна, потому что я просто обозначил лето как время года, когда вызревает ячмень. Некая уверенность есть у меня и относительно других времен года. Но вот я сопоставил свои уверенности и вывел некоторую закономерность: рожь, оказывается, созревает раньше ячменя, и я верю в это, потому что так оно и есть. Мне не важен ячмень, не важна рожь, мне важно было соотношение летних месяцев, я поймал его, а ловушкой были рожь и ячмень.

И он продолжил:

— Я могу объяснить тебе то же самое на примере статуи. Вряд ли ты думаешь, что для скульптора важнее всего нос именно такого рисунка, такой вот рот и подбородок. Нет, конечно. Ему важно их

соотношение, которое воплотит, например, человеческую скорбь, потому что человек общается не с вещами — с тем узлом, который связывает их воедино.

Один дикарь верит, что звук спрятан в барабане. Он боготворит барабан. Другой верит, что звук в палочках, он боготворит палочки. Третий верит, что всему причиной его сильные руки, и посмотри, как он гордится ими, поднимая их вверх. А ты уверен, что барабанная дробь прячется не в барабане, не в палочках и не так уж зависит от силы рук; искусство барабанщика — вот для тебя главное.

Не будут править моим царством истолкователи геометрии, подспорье они возвели в абсолют, их позвали помогать строить храм, а они обожествили свою власть над камнями. И теперь с помощью законов о треугольниках хотят управлять людьми.

Мне стало горько.

— Что же, истины нет? — спросил я.

— Если бы ты сумел мне назвать то, что мучается в тебе от безответности, — улыбаясь, сказал мне отец, — я заплакал бы вместе с тобой, чувствуя себя калекой, лишенным возможности двигаться. Но я просто не вижу, что же ты пы-

таешься поймать. Влюбленный читает письмо любимой и счастлив независимо от качества бумаги и чернил. Любовь исходит не от чернил, не от бумаги.

CV

И вот что я еще понял: люди попались в плен словесным фантомам, и они убедили их, что знания добываются путем расчленения целого. Теперь, расчленяя, люди уничтожают собственное наследство. Уничтожают, потому что все относительно верное для телесного неверно для духовного. А человек — ничего не поделать — создан так, что вещи для него пусты и мертвы, если не связаны и с бестелесным тоже; богатый скупец выбирает для себя все-таки самую красивую вещь, потому что собственный дом он представляет богатым и прекрасным и золото для него — средоточие незримых сокровищ; и его жена просит драгоценную диадему не для того, чтобы прическа стала тяжелее, но потому, что эта диадема — условный знак, ступень иерархии, эмблема тайного господства.

Я отыскал тот единственный родник, что утолит жажду твоей души и сердца. Единственный хлеб, который напитает тебя. Единственное достояние, которое нужно спасти. И если ты растратил его, то должен нажить непременно. Оглянись, ты оказался среди кучи обломков, и

если животному в тебе хорошо и так, то человек в тебе голодает, не зная даже, какая пища утолит его голод. Ты так создан: чем больше пьешь, тем больше жаждешь, но если ослаб без живительной влаги и трудов и погрузился в полудремоту, то уже не ищешь себе ни трудов, ни чистой воды. Поэтому нет у тебя возможности узнать, в чем твое спасение, и кто-то должен спуститься с горы и осветить тебе путь. Как не узнать тебе, сколь бы умно тебе ни рассказывали, — какого ты наработаешь в себе человека, его же еще пока нет. Мое принуждение сродни власти растущего дерева, дерево — это путь, преображающий и песок, и камни.

Ступень за ступенью приобщаю я тебя к сокровищам все более весомым и всеобъемлющим. Хороши любовь, дом, царство, храм и год, что похож на часовню, освященную праздниками, но если ты позволишь мне помочь тебе подняться на самую высокую из вершин, ты увидишь, есть у меня и другие сокровища, но добыть их так трудно, что многие отказываются от них по дороге, ибо новую картину я складываю из камней, взятых от тех храмов, что дороги их сердцу.

Но те, кто все-таки рассмотрел мою новую картину, так вдохновлены ею, что в душе их

пламенеет огонь. Открывшаяся цельность так светла, что кажется душе пламенем. Пылающими любовью назвал бы я этих людей.

Доверься мне и позволь созидать тебя, в душе твоей загорится свет.

Но тускнеет и ощущение Господа. Я уже говорил тебе: приходит день — и стихи смолкают. Как бы ни были они хороши, они не в силах питать тебя каждый день… Дозорный, что день и ночь ходит взад и вперед, не может все время пламенеть усердием во имя царства. То и дело развязывается для человека Божественный узел, что связует все воедино. Загляни к ваятелю. Ему сегодня грустно. Глядя на мрамор, он покачивает головой: «К чему этот нос, подбородок, ухо?» — он не видит того, что хотел поймать. Сомнение — тоже твоя дань Господу, тебе недостает Его, и ты страдаешь.

CVI

Исполняя ритуал, ты приобщаешься. Рассеянно послушав музыку, обведя глазами храм, ты остаешься прежним, в тебе ничего не рождается, не напитывается. У меня нет иного способа открыть тебе жизнь, которой я хочу для тебя. Я могу только принудить тебя к ней, чтобы ты почувствовал ее вкус. Как мне объяснить тебе эту музыку? Ты слышишь и не слышишь ее, сердце у тебя не готово, ему некуда принять ее и напитаться. Как уязвима твоя картина царства, от одного дуновения рассыпается она в пыль. Насмешка бездельника, недосып, капанье воды из крана — и вот ты уже лишился Господа. Ты уже оставлен. Сидишь на пороге у запертых дверей, ты в разладе с миром, и мир — только свалка ненужных вещей. Потому что привязан ты не к вещам — к Божественному узлу, связующему все воедино.

Как мне приживить тебя, когда ты так легко выскальзываешь? Вот почему я заставляю чтить мои ритуалы, я хочу упасти тебя от поражения, когда выпадет тебе час сидеть на пороге у запертых дверей. Вот почему я так не люблю беспорядочного чтения. Я строю тебя изо дня

в день, поддерживаю твой дух бодрствующим, чтобы ты приникал к источнику не по минутной слабости сердца, а пил из него постоянно, чтобы стал торной дорогой, открытой дверью, благодатным храмом, всегда готовым принять. Стань скрипкой, которая ждет скрипача. И стихи, что я приготовил для тебя, это тоже твой путь наверх. Истинное знание — у тех, кто восстанавливает позабытые дороги и подбирает людей, раскатившихся, словно щебень.

Я хочу, чтобы ты нашел свою родину, подстать и душе твоей, и складу. И опять и опять я повторяю: принуждение мое освобождает тебя, принося единственно ощутимую свободу. Ты зовешь свободой возможность разрушить храм, перемешать слова в стихотворении, уравнять дни года, который я с помощью ритуалов превратил в часовню. Твоя свобода сродни пустоте пустыни. И где тебе обрести себя?

А я? Я зову свободой высвобождение тебя из тебя. Потому и спрашиваю у тебя: какая свобода? Свобода раба или человека? Свобода язвы или здоровья? Справедливость для человека или для грабителя? Против тебя, через тебя и ради тебя моя несправедливость. И конечно, раз я принуждаю отказаться от привычного и искать

себя, я несправедлив к грабителю и бездельнику — гусеницам, которые не желают преобразиться, и заставляю их силой отказаться от привычного и все-таки обрести самих себя.

CVII

Приучить — уже принудить. Но принуждение, ставшее привычкой, незаметно; ты не станешь упрекать меня и жаловаться на то, что коридор поворачивает, ведя к выходу.

Правила детских игр — тоже принуждение. Но детям нравится подчиняться им. Как интригуют мои именитые граждане ради почетных обязанностей, а что они, как не принуждение? А женщины? Как послушны они моде, выбирая свои наряды, а мода меняется что ни год. Мода — тоже язык, а значит, и принуждение. Никто не хочет остаться непонятым, хотя это обещает свободу.

Если камни, сложенные таким образом, я называю домом, ты не волен именовать их по-другому, потому что иначе останешься в пустыне непонимания.

Если я объявил этот день веселым и радостным праздником, ты не волен сделать его будним днем, иначе останешься в одиночестве, отделив себя от народа, к которому принадлежишь.

Если я объединил в одно целое и назвал царством коз, овец, дома и горы, ты не волен отъеди-

ниться от него, иначе останешься в одиночестве, нет у тебя соратников, потому что все трудятся на благо царства.

Твоя свобода растопила горный ледник и превратила его в лужу: первое, чего ты добился, — одиночество: ты уже не крупинка ледника, который добрался до солнца, укрытый снежным плащом, ты — равный среди равных, ты такой же, как все, и все же вы все разные и готовы возненавидеть друг друга, ваш покой — покой на секунду замерших шариков, ничто не превосходит вас в вашем мире, от всего вы свободны, даже от безусловных условностей языка, — все возможности общаться друг с другом утрачены, каждый ищет собственный язык, каждый празднует собственные праздники, все отделены друг от друга и более одиноки, чем одинокие звезды, затерянные в пространстве.

Чего ждать от братства? Дерево не знает братства, а вы — частички дерева, оно вбирает вас в себя, оно приходит за вами извне, поэтому я и не устаю повторять: кедр — это принуждение для песка, не песок порождает кедр, а семечко.

Но как вам стать кедром, если каждый хочет вырастить свое дерево, а эти и вовсе не желают подчиняться дереву, они зовут его тираном и

жаждут сами сделаться тиранами? Вас нужно расставить по местам и научить служить дереву, глупо настаивать на том, что дерево должно служить вам.

Поэтому я бросаю семечко и хочу подчинить вас его власти. Да, я несправедлив, если справедливость — это равенство. Я создаю картины, силовые линии и напряженность. Но благодаря мне вы преобразитесь в обильную крону, и питать вас будет солнце.

CVIII

Я увидел: дозорный спит.

Его ждет казнь. От его бодрствования зависят слишком много спящих, дыхание их замедлилось, жизнь течет сквозь них, словно волны по тихой бухте. Зависят храмы, сокровища и святыни, что копились долго и медленно, словно мед, — потом, мозолями на руках, ударами резца, ударами молотка, тяжестью камней, глазами, что слепнут от танца иголки по золотой парче, расцветающей цветами и узорами благодаря старанию набожных рук. Зависят житницы, полные зерна, собранного, чтобы облегчить суровую зиму. Священные книги в житницах мудрости, где покоятся залоги, обеспечивающие человеческое в человеке. Тяжелобольные, которым я облегчил мысль о смерти: смерть — необходимый, совершаемый в кругу семьи обряд, она легка и почти незаметна, она — передача в родные руки наследства.

Дозорный, дозорный, ты — смысл моих стен, а они — оболочка хрупкого тела города, они не дают ему расточиться; появись в них брешь — и тело обескровится. Ты ходишь по стене взад-вперед,

вслушиваешься в шорохи пустыни, что вечно бряцает оружием, постоянно волнуется, словно морская зыбь, вечно угрожает тебе и своей угрозой закаляет и укрепляет тебя. Как отделить то, что уничтожает тебя, от того, что тебя созидает? Один и тот же ветер строит барханы и разрушает их, один и тот же поток выглаживает скалу и стирает ее в песок, одно и то же принуждение выковывает в тебе душу и лишает тебя души, одна и та же работа дает тебе жизнь и отнимает ее, одна и та же любовь переполняет тебя и опустошает. Враг придает тебе форму, он принуждает тебя к строительству внутренних укреплений, он для тебя то же, что море для корабля: море — враг, оно готово поглотить корабль, и корабль без устали сопротивляется ему, но то же море для корабля опора, ограничение и возможность обрести форму, веками форштевень разрезал волны, а они, обхватывая судно, лепили ему корпус, делая его все более обтекаемым и изящным. Ветер рвет паруса и надувает их, делая похожими на крылья. Не будь у тебя врагов, у тебя не было бы ни меры, ни формы.

Но что значат стены, если нет дозорного?

Часовой заснул — город беззащитен. Идет враг и топит спящего в его собственном сне.

А дозорный мой спал, привалившись головой к плоскому камню, приоткрыв рот. Спал с младенческим выражением лица. Он прижал к себе ружье, будто игрушку, которую берут с собой в сон. Я смотрел на него, и мне его было жалко. Жаркой ночью мне жаль человека за то, что он так непрочен.

Не стоек дозорный, бдительность его усыпил варвар. Пустыня одолела его, и он позволил воротам бесшумно повернуться в ночной тишине на смазанных петлях, чтобы варвары оплодотворили крепость, истощенной крепости нужен варвар.

Спящий часовой. Авангард противника. Ты уже завоеван, твой сон означает, что ты уже не принадлежишь городу, узел развязался, ты ждешь преображения, ты — поле, приготовившееся принять семена.

А я представил себе город, разрушенный по милости твоего сна, потому что ты узел всему и ты всему развязка. Как ты прекрасен, дозорный, когда ты настороже, ты — чуткие уши и зоркие глаза моего города… Как благородна твоя любовь к городу и куда умнее рассуждений всех логиков, которые не любят, а делят его. Для них вот здесь больница, там тюрьма, а тут дом друзей. И дом

этот тоже разделен на части, они видят одну комнату, другую, третью. А в комнатах видят вещи — одну вещь, другую, третью. И зачем им такая груда вещей, из которых они ничего не строят?

Но, дозорный, если ты не спишь, ты оберегаешь город как целое, город, раскинувшийся под звездами. Не этот дом и не другой, не больницу и не дворец — весь город. Оберегаешь не стонущего при смерти, не кричащую роженицу, не блаженный стон влюбленных, не писк новорожденного — оберегаешь многообразное дыхание единого тела разом. Целый город. Не бессонницу этого, не сон другого, не стихи поэта, не эксперимент ученого — переплетение сна и усердия, угли, подернутые пеплом, на которые смотрит Млечный Путь. Целый город. Дозорный, дозорный, ты приник ухом к груди возлюбленной и слушаешь тишину, покой и вздохи, которые не имеет смысла делить и различать, потому что это биение ее сердца. Просто биение сердца. И ничего другого.

Дозорный, если ты не спишь, ты равен мне. Город покоится на тебе, а на городе покоится царство. Хотя я не сомневаюсь, что, когда я прохожу, ты преклонишь колени: таков порядок в этом мире, так восходит сок от корней к листве. Прекрасно, что ты воздаешь мне почести, — кровь

течет по жилам царства, течет любовь от юного мужа к юной жене, течет молоко матери к младенцу, течет уважение неоперившихся к мудрым — но ты же не скажешь, что, получая почести, я тебя обделил? Прежде других я служу тебе.

Когда ты стоишь, опираясь на ружье, равный мне, подобие мое в Господе, никто не различит краеугольный камень и ключ свода, и разве два этих камня ревнуют друг к другу? Сердце мое переполнено к тебе любовью, и все-таки я позову стражу и отправлю тебя под арест. Под арест, потому что ты спишь. Спящий часовой. Мертвый часовой. Я смотрю на тебя с ужасом — в тебе спит, в тебе умирает царство. В тебе я вижу свое царство больным, о его болезни сообщает мне сон дозорных…

«Да, — думал я, — палач справится со своим делом и утопит моего дозорного в его собственном сне…» Но жалость поставила меня перед новым, нежданным противоречием. Сильные царства отрубают голову уснувшим дозорным, но царство, что снаряжает своих часовых для того, чтобы они хорошенько выспались, не вправе казнить. Ни в коем случае нельзя заблуждаться относительно суровости. Рубя головы спящим часовым, не пробудишь омертвелое царство, хотя

царство неусыпно бдящее отсекает сонных стражей. Смотри, не перепутай причину и следствие. Ты видел, что сильные царства рубят головы, и хочешь обрести силу казнями — нет, ты по-прежнему останешься бессильным паяцем посреди кровавого месива.

Разбуди любовь, и в дозорных проснется бдительность, они сами осудят тех, кто способен заснуть на посту: этот пренебрег царством, значит сделал себя изгоем.

Ты справляешься с собой при помощи дисциплины, к которой принуждает тебя начальник-капрал. Капралов школят сержанты. Сержантов — капитаны. И все вместе вы зависите от меня, которого ведет Господь Бог. Но если я усомнюсь, все мы окажемся посреди пустыни и над нами нависнет катастрофа.

Так вот, я хочу поговорить с тобой об одной таинственной вещи — о преданности. Ты спишь, жизнь для тебя словно бы исчезла. Исчезает она и тогда, когда помрачается в тебе вдруг сердце, и ты чувствуешь только усталость. Вокруг ничего не переменилось, все переменилось в тебе. Ты — дозорный, ты наедине с городом, но ты не влюбленный, что приник к груди любимой, ловя биение ее сердца, ты не знаешь, размеренно оно

бьется или учащенно, слушать его стук можно только любя; твоя любимая затерялась в ночной разноголосице, ты слышишь голоса, мешающие друг другу: пьяная песня заглушает стон больного, плач по усопшему — крик новорожденного, шум ярмарки — пение в храме. Ты спрашиваешь себя: «При чем тут я? На что мне эта сутолока, этот балаган?» Ты забыл, что перед тобой дерево с корнями, стволом, ветками, листьями, что нет для них общей мерки. Но откуда взяться преданности, если не ощущаешь того, кто в ней нуждается? Я уверен, ты не уснул бы, сидя у постели больной возлюбленной. Но сейчас распылилось то, что ты мог любить, ты — перед свалкой вещей, чужих, ненужных.

Развязался Божественный узел, что связывал их во едино. Но знаю: ты вернешься, и хочу, чтобы сейчас ты хранил верность хотя бы самому себе. Я не требую от тебя лицемерия, не требую, чтобы ты сейчас же что-то понял или что-то почувствовал, я слишком хорошо знаю, через сколько душевных пустот проходит самая страстная любовь. Глядя на любимейшую из любимых, ты вдруг думаешь: «Вот, оказывается, какое у нее лицо… Как я мог полюбить его? И какой тонкий голос. Какую страшную глупость она сейчас сказала. Как неле-

по поступила…» Твоя любимая распылилась на досадные частности, она больше не вдохновляет тебя, и тебе кажется — ты ее ненавидишь. Но как ты можешь ненавидеть ее? Раз сейчас ты не в силах любить…

И ты замолкаешь, смутно догадываясь, что настало для тебя какое-то помрачение. Любимая стала чужой и тебе не нравится. Не понравятся и стихи, если начать их читать. Чужими покажутся дом и царство. Ты утратил возможность голодать, насыщаться, ощущать Божественные узлы, что связуют все воедино, теперь ты ничего не любишь, ничего не понимаешь. Мой уснувший дозорный, твои привязанности вернутся к тебе, и не по одной, а все вместе, как родная любимая семья, но, когда тебя постигло горе неверности, должно чтить в тебе дом, что опустел на время.

Вот мои часовые обходят по кругу крепость, и я вовсе не думаю, что все они пылают усердием. Большинство зевает и мечтает об ужине. Если все боги спят в тебе, то не спит желание телесного довольства: все, кому скучно, думают о еде. И я вовсе не жду, что их души будут непрестанно бодрствовать. Сопричастность целостности, Божественному узлу, что связует все воедино, зову я душой, душа не ведает о преградах. Я жду, что-

бы в одном из моих дозорных замерцала душа. Забилось сердце. Проснулась любовь, и на миг он ощутил щемящую значимость городской многоголосицы. Ощутил вдруг в себе пространство, дотянулся до звезд, обнял горизонт и стал сродни раковине, шумящей шумом моря.

Мне достаточно, если хоть раз тебя осенит такое и ты во всей полноте ощутишь, что значит жить человеком, ощутишь готовность принимать эту полноту, потому что, как сон, желание, голод, она будет к тебе возвращаться, а твои сомнения — только недолгая отлучка, и мне хочется тебя утешить.

Если ты ваятель, к тебе вернется исполненный смысла образ. Если пастырь — вернется ощущение близости Гос пода, если влюбленный — вернется полнота любви. Если дозорный — вернется значимость царства. Чаша наполнится, если ты сохранишь и себе верность, если будешь блюсти свой дом, пусть сейчас он пуст и оставлен, но твой дом — единственная для тебя возможность насытить сердце. Ты не знаешь часа исполнения, но знаешь — и это самое главное, — что только благодаря полноте ты полноценен.

Нудными часами учений складываю я в тебе то, что однажды воспламенится от прочитанного

стихотворения, отягощаю исполнением обрядов и ритуалов царства, чтобы царство проторило путь к твоему сердцу. Ибо нет возможности одарить, если ты не готов принять подарок. Гость не придет, если ты не построил дома, чтобы принять его.

Ах, дозорный, дозорный, расхаживая взад-вперед по смотровой площадке, томясь тоской и скукой, что приходят жаркой душной ночью, слыша городской шум, который тебе безразличен, глядя на дома, которые кажутся муравейниками, чувствуя себя в пустыне и все же, несмотря на пустоту, стараясь любить, хотя нет любви, стараясь верить, хотя нет веры, стараясь сохранить преданность, хотя это бессмысленно, — ты готовишь себя к озарению, которое приходит как награда и дар любви.

Не трудно быть верным себе, когда ты в ладу с собой, но мне хочется, чтобы, памятуя о своей полноте, ты повторял про себя: «Пусть мой дом озарится светом. Я построил его и содержу в чистоте…» Принуждение мое тебе в помощь. Своих пастырей я принуждаю приносить жертвы, хотя кажется, жертвы эти бессмысленны. Принуждаю ваять моих ваятелей, хотя они разуверились в собственных силах. Принуждаю моих дозорных

под страхом смерти проходить туда и обратно свои сто шагов, потому иначе они погибнут, — смерть уже в их душе, и они отъединили себя от царства.

Я спасаю их моей суровостью.

Представь себе воина, что собирается в путь в пустой караульне. Я посылаю его разведчиком в стан врага. Он знает: ему не вернуться. Враг наш настороже. Он предчувствует пытки, которыми будут выжимать из него, вместе с криками, тайны царства. Но он из тех, кого повязала любовь, он снаряжается с радостью, потому что радостно слиться навек со своей любовью, он готовится к брачной ночи.

Обнимая любимую в день свадьбы, ты счастлив не тем, что завоевал ее и она наконец телесно принадлежит тебе: для тела сколько угодно девушек в веселом квартале, и есть такие, что похожи лицом на твою любимую, — нет, благодаря твоей юной жене мир наполнился иным смыслом, все обрело в нем иной цвет, иной тон. Иным стало вечернее возвращение домой, иным — утреннее пробуждение, ты словно бы копишь наследство, ты ждешь детей, ты научишь их молиться. Все изменилось, даже чайник, он мурлычет о вашем с ней чаепитии перед ночью любви. Она пересту-

пила твой порог — и превратила пушистый ковер в мягкий луг. Тебя одарили счастьем. Вселенную твою одарили смыслом, но это счастье так далеко от вещей, которыми ты пользуешься. Счастье не от подарков, не от телесных ласк, не от полученных привилегий — оно от Божественного узла, связавшего все воедино.

Вот воин, он идет на смерть, и тебе кажется: в этот миг он лишается всего, у него не будет даже прощального поцелуя, ждет его только жажда, палящее солнце, ветер и скрипящий на зубах песок, ждут враги, чтобы выжать из него тайну; воин снаряжается на смерть, чтобы войти в эту смерть в своей одежде смертника, и тебе кажется: он должен стонать от смертной муки, как стонал преступник, приговоренный к виселице, и точно так же отбиваться от палачей, заступаясь за свое несчастное тело; так вот, воин который снаряжается на смерть, совершенно спокоен, — посмотри, у него спокойные глаза, он шутит с товарищами, шутки его — знак дружеской привязанности, а вовсе не фанфаронство, не нарочитое мужество, не пренебрежительное отношение к смерти, в нем нет преувеличенного, наносного, он спокоен, словно вода, и, словно спокойная вода, он ничего от тебя не скрывает, ему немного грустно, и без

смущения он говорит о том, что ему грустно. Скрывает он только свою любовь. Потом я скажу тебе почему.

Он без страха застегивает кожаные ремни, но против него у меня есть оружие, и оно для него страшнее смерти. Он ведь так уязвим. Уязвимо каждое божество его сердца. Обыкновенная ревность может стать угрозой для царства, для смысла всех вещей, для радости вернуться домой, в один миг издерет она в клочья блаженное состояние покоя, умудренности и самоотречения. Сколько всего ты забираешь у него, ведь Господу он должен вернуть не только любимую, но и дом, и виноград своих виноградников, и шуршащие снопы ячменя со своего поля. И не только свои снопы, свой виноград, свои виноградники, но и свое солнце. И не только солнце, но и ту, что освещает его дом. Смотри, он отказывается от стольких сокровищ и не замечает разорения. Но укради у него улыбку возлюбленной, и он потеряет сам себя и превратится в сумасшедшего. Подумай, не здесь ли кроется величайшая тайна? Ведь ты жив не вещественностью, что находится в твоем распоряжении, — смыслом, которым наделил ее Божественный узел, связавший все воедино. Поэтому и предпочитает воин собствен-

ную гибель гибели того, на что тратит жизнь и что в ответ насыщает его жизнь смыслом. Он оберегает питающий ток. Моряк по призванию готов на гибель при кораблекрушении. Хотя в миг кораблекрушения он может пережить животный страх — страх перед захлопнувшейся ловушкой, — но он честен, он заранее согласен на этот страх, он пренебрегает им, потому что ему по сердцу мысль, что умрет он в море. И когда я слышу жалобы моряков на неизбежность своей жестокой смерти, я понимаю: они не похваляются, соблазняя женщин, они стыдливо высказывают тайное желание своей любви.

Нет языка, на котором ты мог бы выразить себя. Говоря о царстве любви, ты говоришь «она» и веришь, что и впрямь говоришь о ней, но на деле ты ведешь речь о смысле вещей, и «она» для тебя — Божественный узел, благодаря которому все вокруг связано с Господом, а Господь и есть смысл твоей жизни, поэтому ты и служишь ей. Выбрав служение, ты выбрал для себя способ общения с миром. Вобрал в себя море, будто раковина, и душа звучит в тебе плеском морских волн. Ты можешь сказать «царство» с уверенностью, что тебя поймут, если вокруг люди, столь же естественно, как ты, чувствующие его присутствие, но над то-

бой посмеются другие, те, что видят вокруг лишь хаос разноликих вещей: у тебя и у них разные царства. И тебе станет неприятно оттого, что они подумали, будто ты готов пожертвовать жизнью ради универсального магазина…

Словно бы что-то прибавляется к вещам и к предметам, превосходит их и становится зримым для твоей души и для сердца, хотя ум может и не понимать, что же это такое. Это «что-то» управляет тобой лучше, а может быть, жестче и вернее, чем нечто понятное и разумное (хотя ты вовсе не уверен, что и другие вместе с тобой ощущают его и видят), оно принуждает тебя к молчанию, тебе не хочется быть ославленным сумасшедшим, не хочется насмешек бездельников над явственной для тебя картиной. Насмешки уничтожат ее, и станет очевидным, что сделана она из сущей чепухи. Как объяснишь насмешникам, что все это совсем о другом, что все это для души, а не для глаз?

Я много размышлял о просветлениях души, только о них мы и можем просить, и, когда нам дают их, они чудеснее, чем то, о чем, терзаясь сомнениями душной ночью, мы привыкли просить. Усомнившись в Господе, мы привыкли просить, чтобы Он явился нам, словно визитер с

визитом, — но, явись Он, Он стал бы нам ровней и похожим на нас, и куда бы Он нас повел? Одиночество твое стало бы еще отчаянней; но хотел ты не приобщения к Божественному — развлечения вроде ярмарочного балагана, и теперь коришь Господа. Но кому в помощь низкое? (Ты хочешь, чтобы высокое опустилось до тебя, навестило на той ступеньке, где ты стоишь, такого, каков ты есть, непонятно ради чего снизившись до тебя, но Господь не снизится — я помню, как просил я Его, как молился, — нет, Он приоткроет тебе царство духа, ослепит явлением чего-то незнаемого, того, что не для ума и не для зрения, а для души и для сердца, и если ты не пожалеешь сил, то поднимешься на ту ступень, где вещей уже нет, а есть только связующие их воедино Божественные нити.)

И тогда тебе не страшна смерть: боясь смерти, боятся потери. Но что тебе терять? Ты остаешься связующей нитью. Таково твое вознаграждение за прожитое.

Ты и сам шел на смерть без страха, видел пожар, рисковал, спасая жизни. Тонул, спасая других при кораблекрушении.

Посмотри, да, они умирают, но они согласны умереть, у них в глазах свет истины, хотя они

краснели и чувствовали себя обворованными уродами от чужой насмешливой улыбки.

Скажи им сейчас, что они заблуждаются, — они рассмеются.

Но ты, мой дозорный, заснул не потому, что сбежал от города, — потому что город оставил тебя, и я, вглядываясь в твое бледное детское лицо, беспокоюсь за мое царство, раз оно больше не в силах будить засыпающих часовых.

Конечно, я ошибаюсь, когда слышу громкий голос города, когда вижу связанным воедино то, что для тебя распалось. Но знаю, тебе следовало бы ждать, вытянувшись, как свеча, и однажды ты был бы вознагражден вспыхнувшим в тебе светом, ты воодушевился бы своими хождениями по кругу, словно таинственным танцем под звездами в мире, где все исполнено смысла. Потому что там, внизу, в толще ночи, корабли сгружают золото и слоновую кость, и ты, часовой на крепостной стене, охраняешь их, а значит, украшаешь золотом и серебром царство, которому служишь. Где-то молчат влюбленные, не решаясь заговорить, они смотрят друг на друга и хотят сказать, что… Но если один заговорит, а другой закроет глаза, то вся Вселенная изменит свой ход. И ты охраняешь их молчание. Где-то умирающий

готовится в последний путь. Все склонились над ним, ловя последнее слово, последнее благословение, чтобы унести в своем сердце, ты оберегаешь слово умирающего.

Дозорный, дозорный, я не знаю, где кончаются границы твоего царства, когда Господь освещает твою душу светом бдения, какое пространство делает он твоим. Мне не важно, что вскоре ты снова будешь мечтать о супе, ропща на свое ярмо. Хорошо, что ты спишь, хорошо, что забываешь. Плохо, что, позабыв, ты разрушаешь свой дом.

Преданность — это в первую очередь верность себе.

Я хочу спасти не только тебя, но и твоих товарищей. Я хочу от тебя той душевной устойчивости, которая свидетельствует об основательности наработанной тобой души. Ведь не рушится дом с моим отъездом. Не исчезают розы, если я отвожу взгляд. Они растут и растут, пока новый взгляд не заставит их расцвести.

Так что я пойду, позову мою стражу. Ты умрешь, как положено умирать дозорным, заснувшим на посту. Тебе ничего не остается, кроме как собраться с силами и уповать, что твои муки все-таки помогут тебе преобразиться, ну хотя бы в бдительность часовых.

CIX

Да, горько видеть, как обошелся самодовольный циник с бесхитростной и нежной невинностью: чистота поругана, доверчивость обманута. И вот ты хочешь защитить от опасности невинную девушку, сделав ее душу опытнее, искушеннее. Девушки твоего царства стали подозрительны и скупы на улыбки — ты разрушил то, что хотел сберечь. Нет неуязвимых добродетелей, каждой есть предел. Захребетник рано или поздно изнурит великодушное благородство. Циник развратит целомудрие. Хамство обозлит доброту. Живущее всегда в опасности, ты захотел обезопасить его и умертвил. Отказался строить прекрасный храм, испугавшись землетрясения.

Но я — я хочу, чтобы невинность стала как можно доверчивее, хотя только доверчивость и можно обмануть. Если обольститель надругается над одной из моих простодушных роз, я буду ранен в самое сердце. Но, взращивая могучих воинов, разве не должен я помнить, что война их может убить? Ты хочешь спасти добродетель, заковав ее в броню неуязвимости, но добродетель уязвима всегда, а неуязвимая добродетель уже не

добродетель.

Ты пожелал совместить несовместимое, и у тебя ничего не получилось. Тебя восхищает человек, созданный укладом твоего края, но уклад тебе ненавистен, ибо принуждает служить себе совершенного человека. Да, уклад — принуждение, он и принудил человека стать совершенным. И если ты уничтожишь уклад, вместе с ним ты уничтожишь и человека, которого задумал спасти.

Посмотри: страшась бесстыдства, хамства, цинизма, что чинят обиды великодушию и благородству, ты предлагаешь благородным и великодушным усвоить замашки хама, бесстыдника и циника.

Но я — я люблю все хрупкое, все уязвимое. Только драгоценные вещи всегда уязвимы и ломки. Уязвимость — свидетельство их драгоценности. Мне дорога верность друга, чувствительного к искушениям. Не пройдя через искушения, не обретешь верности, а без верности не узнаешь дружбы. Со смирением принимаю я неизбежность измен и соблазнов, только благодаря им так драгоценны неподкупность и преданность. Я люблю солдат, мужественно стоящих под пулями. Нет мужества, нет и воина. Со смирением принимаю я неизбежность гибели солдата, благородной

гибели, придающей цену оставшимся в живых.

Если ты принес мне сокровище, пусть оно будет таким хрупким, что отнять его у меня сможет слабое дуновение ветра.

Как мне дороги юные лица, беззащитные перед старостью. Как мила улыбка, беззащитная передо мной и готовая смениться слезами.

CX

Наконец-то я понял, как выбраться из противоречия, что так долго меня мучило. Я — царь, со смятенной душой склонился над уснувшим на посту дозорным и не мог разбудить спящего счастливым сном ребенка, чтобы передать его смерти, чтобы за свое недолгое бодрствование он столь многое претерпел от людей.

Я увидел, что он проснулся сам, провел рукой по лицу и, не замечая меня, поглядел на звезды, потом легонько вздохнул, вновь взваливая на себя тяготу службы. Тогда я понял: я должен завоевать его сердце.

И вот я, повелитель и царь, повернулся и вместе с моим дозорным стал смотреть на город, город был один, но смотрели мы на него по-разному. «Не в моих силах наделить дозорного усердием и любовью, — подумал я. — Но если предложенная мной картина станет для него счастливым откровением, если дробность, которую он видит, окажется связанной воедино Божественным узлом, он станет моим единомышленником».

И я понял разницу между завоеванием и принуждением. Завоевать означает, переубедив,

обратить в единоверца. Принудить — значит, держать в вечном плену. Я завоевал твое сердце, человек в тебе свободен. Если я тебя принудил, я связал в тебе человека по рукам и ногам. Завоевывая, я строю нового тебя с твоей собственной помощью. Принуждая, выстраиваю камни в ряд. Что построишь потом из этих рядов?

Я понял: каждого человека нужно завоевать. Того, кто бодрствует, и того, кто спит; того, кто ходит вокруг крепостных стен, и того, кто живет внутри них. Того, кто радуется новорожденному, и того, кто плачет об усопшем. Того, кто молится, и того, кто усомнился. Завоевать — означает вложить в тебя остов и пробудить в твоей душе вкус к истинной пище. Ибо существуют озера, которые утолят твою жажду, но надо показать дорогу к ним. Я поселю в тебе своих богов, чтобы они тебе светили.

Я понимаю: завоевывать тебя нужно с детства, потому что потом ты уже слеплен, затвердел и тебе невмоготу освоить иной язык.

CXI

Настал день, и я убедился: нет, я не ошибся. Не потому, что оказался сильнее или рассудительнее других, а потому, что не доверился логике, которая последовательно выстраивает постулат за постулатом. Я знаю, логика обслуживает свершившееся, она в подчинении у него, в ее ведении следы на песке, а не танцор, что прошел по песку и если был гениален, то привел всех к спасительному колодцу.

Я убедился: все свершения поступают в ведение логики, потому что каждое из них было цепочкой шагов. Логика умеет читать следы, но ходить, бегать, танцевать, сделать движение рукой, что взрастит будущее, она не умеет.

Я убедился: культура ветвится, как ветвится дерево, и для того, чтобы она зародилась на свет, необходимо семечко, она — единство, хоть и существует в миллионах обличий, в ней непременно будут и корни, и верхушка, и ствол, и листья, и цветы, и плоды, но все это вместе живительная сила одного-единственного семечка. Я знаю: если оглядеть путь, пройденный культурой, он потянется к истокам без пустот и зияний,

логики охотно следят эту дорогу вспять, но они не могут идти вперед, потому что не слышат вожатого. Я видел: люди в спорах не находят истины. Я слышал, как рассуждают толкователи геометрии, они не сомневаются, что владеют истиной, но если вдруг спустя год один из них отказывался от общей истины, как корили они коллегу за святотатство, как цеплялись за свое шаткое божество! Я сидел за столом с единственным подлинным геометром, он был моим другом, он знал, что ищет доступный людям язык, как ищет его поэт, стремясь передать свою любовь, он говорил как равный с камнем и со звездой и понимал, что год от года язык будет изменяться, и это будет означать, что человек переходит с одной ступеньки на другую. Понял и я: не существует лжи, потому что не существует истины (изменяющееся, растущее дерево — вот единственная истина), поэтому я в молчании моей любви терпеливо слушал бессмысленный лепет, гневные вопли, смех и жалобы моего народа. Еще в юности я понял: язык неловок и неуклюж, и оставил споры, ибо они бессмысленны. Сколько я ни приводил доводов, стремясь сказать лишь самое насущное, не увлекаясь цветами красноречия, мои доводы никого не убеждали, в споре со мной всегда нахо-

дился более искусный в доводах противник, чем я. Однако и его искусство только помогало мне сохранять верность себе; слушая его возражения, я понимал одно: свое я не сумел выразить, но со временем я найду более действенные средства, ибо, если хочет сказаться в тебе нечто и впрямь подлинное, убежденность твоя неисчерпаема и похожа на родник. Раз и навсегда отказался вникать я в людскую разноголосицу. Я решил: куда плодотворнее послушание мне, и позволил семечку в себе расти, превращаться в дерево, множить корни, тянуть вверх ствол, пушить ветки, чтобы не о чем стало спорить: вот оно, дерево, что в нем выбирать? Оно широко раскинуло ветви, оно может приютить всех.

Я уверился, что невнятица, противоречивость, смутность моих слов совсем не означают, что невнятно, противоречиво или смутно то, что я хочу выразить, — просто я дурно владею языком, ибо душевная потребность, ощущение внутренней значимости не бывают невнятными, смутными, противоречивыми и не просят для себя обоснований и подтверждений, они просто есть, как есть потребность у скульптора, который принялся лепить; эта потребность не обрела еще формы, но станет тем лицом, которое он

вылепит.

CXII

Отказом от иерархии мы поощряем тщеславие. (Вспомни распри генералов и губернаторов.) Иерархия, властно и безусловно расставив всех по местам, сводит тщеславие на нет. Сейчас все вы подобны одинаковым шарикам, для вас нет никого, кто был бы авторитетней вас и придавал своим авторитетом значимость всему окружающему, а если так, то любой, кто бы ни занял место короля, будет не освящать, а отбрасывать тень, все вы соперничаете с ним, тщеславитесь, завидуете, ненавидите.

Есть у меня и еще один враг — вещи. Пришло время тебе понять величайшее из своих заблуждений: ты слишком доверился вещам. Но я говорю тебе: значимы только усердие и рвение. Преодолевший горный поток, испекшийся под солнцем подобно яблоку, ободравший руки о камни, копаясь в земле и глине, и нашедший за весь год один-единственный чистой воды алмаз — счастлив. Несчастлив, издерган и вечно в претензии тот, кто на свои деньги способен купить целую пригоршню бриллиантов, но что ему в них, они

тусклее стекляшек! Ибо не в вещах нуждаешься ты — в божестве.

Да, вещь ты получаешь навсегда, но не всегда она тебя радует. Назначение вещи — тянуть тебя вверх, она тебе в помощь, пока ты ее завоевываешь, а не тогда, когда заполучил. В друзья я взял себе того, кто вопреки трудностям понуждает тебя карабкаться в гору, взяться за тяжкий труд, пробиваться к стихам, добиваться любви недоступной красавицы, ибо он понуждает тебя сбыться. Чему служат запасы готового? Спячке. Ты добыл алмаз — что тебе делать с ним?

Я возвращаю вкус празднику, что давным-давно позабыт. Праздник — это завершение долгих приуготовлений к празднику, вершина горы после изнурительного подъема, алмаз, который тебе позволено добыть из глубин земли, победа, увенчавшая долгую войну, первый завтрак после мучительной болезни, предвкушение любви, когда в ответ на признание она опустила глаза…

Если бы я захотел, я придумал бы для тебя вот какую жизнь: жизнь, что была бы исполнена труда и усердия, — люди, сплотившись, увлеченно и жадно трудились бы, а наработавшись, радостно возвращались домой, они любили бы жизнь и ждали чудес от завтрашнего дня. Сверканье

звезд рождало бы в тебе стихи, хотя ты только бы и знал изо дня в день, что копать землю, стремясь отобрать у нее алмаз. (Алмаз — крупица солнца, огонек папоротника в туманной ночи, преображенный свет.) Ты увидишь: насыщенной и полнокровной станет твоя жизнь, если я заставлю тебя изо дня в день добывать алмазы, а в конце года приглашу на пышное празднество — празднество преображения алмазов, которые будут гореть перед добывавшими их в поте лица людьми, становясь опять светом.

В моем мире душа не служила бы добытым вещам, насыщалась бы их смыслом. Впрочем, я могу и не сжигать алмазы, я могу украсить ими королеву, чтобы ты почувствовал себя королем, могу украсить ими святилище храма, чтобы они засверкали еще ярче, но не для глаз — для души (для души ведь не существует стен). Но если отдать этот алмаз тебе в руки, — что изменит он в твоей жизни?

Я говорю тебе это, потому что постиг глубинный смысл жертвенности, ты отдаешь не ради того, чтобы испытать чувство обездоленности, ты отдаешь, чтобы почувствовать себя щедрым богачом. Словно к материнской груди, тянешься ты к вещи, но питает тебя, будто молоко, лишь

смысл, которым она наделена.

Вот я поселил тебя в царстве, где каждый вечер оделяют привезенными неведомо откуда алмазами, они покажутся тебе речной галькой, они лишились того, чем ты стремился завладеть. Старатель, что изо дня в день дробит тяжелым молотом скалу и раз в год, во время великолепного празднества, сжигает свой тяжкий труд, любуясь ослепительной вспышкой света, куда богаче праздного богатея, что получает готовое, не требующее от него ни траты сил, ни душевного участия.

(Как увлекательно играть в кегли: сбил и торжествуешь свою победу. Но вот тебе предложили сотню уже опрокинутых кеглей, куда пропал твой азарт?)

Празднество и жертвенность сродни друг другу: радостью тебя полнит отданное. Ты — дровосек, что праздничнее для тебя костра из твоих поленьев? Отдых после тяжкого подъема в гору разве не праздник? Сбор винограда на твоем заботливо обихоженном винограднике? И много ли было у тебя радости, когда ты поедал запасенное впрок? Праздник — всегда завершение изнурительного пути. Что праздновать, если ты не сдвинулся с места? Карабкайся! Карабкайся вверх каждый

день, не обживайся в чужой музыке, стихах, завоеванной женщине, картине, открывшейся с вершины горы!

Если дни твои станут ровной гладью, я потеряю тебя среди этой равнины. Дни должны надуваться, как паруса корабля, плывущего в неизведанное. Если ты одолел стихи, они — праздник. Праздник — храм, потому что укрыл тебя от сует. Что ни день, город дробит тебя своим торопливым бегом. Подгоняет тебя нужда в куске хлеба, хвори близких, тот вопрос, та проблема, ты нужен здесь, нужен там, с одним горюешь, с другим радуешься. Но приходит безмятежный час тишины. Ты поднимаешься по ступеням, толкаешь дверь и оказываешься в небесной безбрежности, мерцающей звездами Млечного Пути, в безмолвии, отрешенном от насущного. Безмолвие, безбрежность, как ты нуждаешься в них! Они тебе вместо пищи, потому что измучила тебя дробная конкретность событий, дел, вещей, которая тебе не впрок. Тебе нужно со средоточиться, собрать самого себя воедино, протянуть между вещами связующие нити и, насытив смыслом дробную драму дня, сложить ее в целостную картину.

Но на что тебе храм, если ты не жил жизнью

города? Не боролся, не преодолевал, не страдал? Если не принес с собой камней, из которых можешь себя построить? Мы уже говорили о войне и любви. Если ты влюбленный, и только, чем жить в тебе? Женщина с тобой соскучится. Любят воинов. Но если ты только воин, некому умирать в тебе, ты — насекомое и хитиновом панцире. Только человек, любящий человек согласен на гибель. И если в моих словах тебе чудится противоречие, то это по вине неуклюжих слов, что дразнят друг друга. Противоречит ли плод корням дерева?

CXIII

Беда в том, что мы никак не можем согласиться между собой, что же такое реальность. Для меня реально совсем не то, что можно положить на весы (весомость такого рода смешна мне, раз я не весы, действительность веса меня не интересует). Реально для меня то, что весомо ложится на сердце, — твое огорченное лицо, песня, усердие моего царства, жалость к людям, благородный поступок, желание жить, оскорбление, сожаление, разлука, дружество, родившееся во время сбора винограда. (Оно мне дороже урожая, собранные грозди могут увезти и продать где угодно — главную драгоценность я уже получил. Я похож на представленного королем к награде: он празднует, греется в лучах пролившейся на него славы, его поздравляют друзья, он горделиво наслаждается триумфом, но король упал с лошади и умер, не успев приколоть к его груди металлической побрякушки. Неужели ты считаешь, что человек не получил награды?)

Кости — действительность для твоей собаки. Тяжесть гири — действительность для весов. Природа твоей действительности иная.

Потому мне и кажется недалеким финансист и мудрой танцовщица. Я совсем не гнушаюсь ремеслом финансистов, но мне смешны их самодовольная спесь и самоуверенность, они не сомневаются, что в них соль земли, что они — альфа и омега Вселенной, но они только обслуга, и обслуживают они танцовщиц.

Смотри не ошибись в значимости трудов. Есть насущные труды, вроде стряпни у меня во дворце. Без еды нет человека. Необходимо, чтобы человек был сыт, одет, имел крышу над головой. Необходимо, но не больше. Насущное не есть существенное. Не ищи в необходимом существенного, оно для тебя в ином. Питают человека, насыщая его жизнь смыслом, танцевание танцев, писание стихов, чеканка кувшинов, решение геометрических задач, наблюдение за звездами — занятия, которым можно предаваться благодаря стряпухам.

Но когда ко мне приходит стряпуха, ничего не видавшая, кроме своей кухни, снабжающая нас в реальности лишь тем, что кладут на весы, да еще костями для собак, я не слушаю ее рассуждений о человеческих нуждах, потому что главное осталось вне ее разумения, она будет судить о человеке со своего шестка, как фельдфебель: для

него человек — это тот, кто умеет стрелять из винтовки.

Казалось бы: танец бесполезен, а отправь танцовщиц на кухню, на обед они состряпают лишнее блюдо. Для чего золотые кувшины? Прикажи штамповать оловянные, и у тебя будет куда больше необходимой посуды. Для чего гранить алмазы, писать стихи, смотреть на звезды? Если всех отправить пахать землю, станет куда больше хлеба…

Но поверь, когда в твоем городе обнаружится нехватка чего-то — чего-то насущного для души, а не для глаз, не для рук, — ты станешь искусственно восполнять его, и не восполнишь. Хотя наймешь сочинителей, чтобы писали стихи, наделаешь механических кукол, чтобы танцевали, заплатишь мошенникам, чтобы выдавали граненые стекляшки за бриллианты, желая помочь людям жить. Но кому в помощь жалкая уродливая пародия? Суть танца, стихотворения, алмаза в преодолении. Незримое, оно насыщает твои труды смыслом. Любая подделка — солома для подстилки в хлеву. Танец — это поединок, совращение, убийство, раскаяние. Стихотворение — восхождение на вершину горы. Алмаз — год трудов, засиявший звездой. Подделка — оболочка

без нутра.

Посмотри на игру в кегли: как ты рад, сбив еще одну в ряду. Но вот ты изобрел машину, чтобы сбивать их сотнями, много ли прибавилось тебе радости?..

CXIV

Не подумай, что я считаю пустяком твои нужды. Не считай, что противопоставляю существенное насущному. Нет, я просто излагаю тебе мою истину при помощи слов, а они дразнят друг друга и показывают языки: насущное отталкивает бесполезное, причина мешает следствию, кухня — танцевальному залу. Я ничего не противопоставляю, противопоставляют неуклюжие слова. Гора слов мешает рассмотреть человека.

Если Господь изострит взор и слух часового, он увидит существо города и не станет противопоставлять крик новорожденного плачу по умершему, ярмарку — храму, веселый квартал — супружеской верности: все это вместе ощутит он как город, поглощающий, сливающий, объединяющий, — город, похожий на дерево, растящее себя из чуждых ему и разнородных крупиц; похожий на храм, что обнял молитвенной тишиной статуи, колонны, алтарь и своды.

Вот и я тоже, размышляя о человеке, вижу его совсем не на той ступеньке, где певец противопоставлен жнецу, танцор молотильщику, астроном кузнецу, — если я стану делить тебя, человек, я

ничего в тебе не пойму и тебя потеряю.

Поэтому я затворился в молчании моей любви и наблюдаю за людьми. Я хочу понять их.

Заметка для памяти: не подчинишь работу заранее продуманной идее. Рассудок слеп. А творение совсем не сумма составляющих его частей. Нужно семечко, чтобы возникло тело. Оно будет таким, какова двигающая тебя любовь. Но предвидеть заранее, каким оно будет, невозможно.

Однако логики, историки, критики, пользуясь нелепым языком логики, разнимут твое творение на составляющие и докажут, что одно в нем надо было бы увеличить, а все остальное уменьшить, и с той же логичностью докажут совершенно противоположное, ведь когда живешь в царстве абстракций, когда кухня и танцевальный зал для тебя только слова, между ними нет особой разницы, ничего не стоит что-то уменьшать, что-то увеличивать.

Слова и есть слова. Что бы мы ни говорили о будущем, разговоры наши бессмыслица. Тебя заботит будущее? Строй сегодня. Пробуди страсть, она изменит настоящее, а следом и будущее. Не занимай сегодняшний день завтрашними заботами. Питает тебя настоящее, а если ты отвернешься от него, ты умрешь. Жизнь — это осваивание

настоящего, оно сплетено из множества продлевающихся нитей, устоявшихся связей, но язык не в силах вместить их и выразить. Равновесие настоящего составлено из тысячи равновесий. И если ты, проводя задуманный эксперимент, нарушишь одно из них, — у слона-великана рассечешь одну узенькую жилку, — слон умрет.

Нет, я не о том, чтобы ты ничего не менял. Ты можешь изменить все. На бесплодной равнине вырастить кедровый лес. Но важно, чтобы ты не конструировал кедры, а сажал семена. И тогда в каждый миг семечко или то, что растет из него, будет в равновесии с настоящим.

С множества точек зрения можно судить об одном и том же. И если с моей вершины я примусь делить людей с точки зрения их права быть сытыми, вряд ли кто-то сочтет мою точку зрения несправедливой. Но если я поднимусь на другую гору и по-иному взгляну на людей, то, полагаю, справедливым мне покажется что-то иное. А мне хотелось бы не позабыть ни об одной из справедливостей. Поэтому я наблюдаю за людьми.

(Справедливость не одна, их бесконечное множество. Я могу распределить моих генералов по возрасту и старейшим воздавать почести и назначать их на все более ответственные посты.

Или, наоборот, могу вознаграждать их отдыхом, с годами предоставляя им все больше прав на него и перекладывая ответственность и обязанности на плечи более молодых.

Я могу судить обо всем с точки зрения царства. Могу судить с точки зрения частного лица. Могу судить с общечеловеческой точки зрения, ратуя за частное лицо или против него.)

Основа моей армии — иерархия, но стоит мне попытаться определить, что для моей армии справедливо, а что несправедливо, как я попадаю в сеть неразрешимых противоречий. О человеке можно судить по заслугам, по способностям и исходя из соображений высшего блага. Вот я построил лестницу неоспоримых достоинств, но стоило поместить их в другое измерение, как они оказались спорными. И если мне наглядно доказывают, что решения мои чудовищны, я не впадаю в смятение. Я знаю заранее, непременно найдется точка зрения, с которой они поразят именно своей чудовищностью, но я хочу, чтобы новое прижилось к уже существующему, чтобы оно пустило корни, чтобы истина не была словесной, чтобы в ней была ощутимая для всех весомость.

CXV

Мне показалось бессмысленным выяснять, кто и какими привилегиями пользуется в моем городе. Права каждого можно оспорить. Не это моя задача. Вернее, она второстепенна. Главное для меня, чтобы привилегии облагораживали обладателя, а не превращали его в скотину. Поэтому мне важно узнать, каков он, мой город.

И вот я отправился на прогулку, и меня сопровождал лейтенант, который расспрашивал прохожих.

— Чем ты зарабатываешь на жизнь? — спрашивал он наугад у одного, у другого.

— Плотничаю, — ответил один.

— Огородничаю, — сказал другой.

— Кую, — сказал третий.

— Пасу, — ответил четвертый.

Рою колодцы. Ухаживаю за больными. Пишу за неграмотных прошения и письма. Разделываю туши. Чеканю чайные подносы. Тку полотно. Шью одежду. Или…

Я подумал: каждый из них трудится для всех. Потому что каждый ест мясо, нуждается в воде, лекарствах, досках, чае, одежде. И никому из

них ремесло не приносит больших прибытков, потому что мясо едят раз в день, раз в жизни тяжело болеют, носят один костюм, пьют раз в день чай, отправляют одно-два письма, спят на одной постели, в одном и том же доме.

Но слышал я и другие ответы:

«Строю дворцы, граню алмазы, ваяю из мрамора статуи...»

Эти работают не для немногих, для избранных, ибо сделанное ими поделить невозможно.

Да и как иначе? Художник потратил на роспись вазы год, и возможно ли оделить всех его расписными вазами? Получается, что в городе один работает на многих, потому что есть в нем женщины, есть больные, калеки, есть дети, старики и те, кто сегодня отдыхает. Есть в городе и те, кто служит царству и не производит никаких вещей, — это мои солдаты, жандармы, поэты, танцовщицы, губернаторы. Но и они, как все остальные, едят, пьют, одеваются, обуваются, спят в кровати под кровом дома. Им нечего дать взамен необходимых для них вещей, мне приходится обирать тех, кто производит необходимое, чтобы снабдить им тех, кто его не производит. Любой ремесленник в своей мастерской делает больше вещей, чем нужно ему самому. И все же

всегда есть такие вещи, какими ты не сможешь оделить всех, потому что мало кто их делает.

Но согласись, очень важно, чтобы находились охотники делать эти как бы ненужные вещи, ибо излишества и есть прекрасное существо взращиваемой тобой культуры. Вещь, что обошлась дорого, значима для человека, — вещь, на которую потрачено много времени. В затраченном времени — суть бриллианта, год трудов стал слезой величиной в ноготь. Тачка розовых лепестков — каплей духов. Что мне за дело, чьей будет алмазная слеза, капля аромата? Я заранее знаю: на всех не хватит, но знаю и другое — о культуре судят по вещам, которые она произвела, а не по тому, кто владел этими вещами.

Я — господин, я обираю моих работников, отнимая у них хлеб и одежду, чтобы накормить и одеть моих солдат, женщин, стариков.

Что смутит меня, что помешает отнять у них хлеба побольше и накормить моих скульпторов, гранильщиков, поэтов, которые, кроме поэзии, питаются еще и хлебом?

Без них у меня не будет бриллиантов и дворцов, о которых мечтают, к которым страстно стремятся.

Ты говоришь, скульпторы и гранильщики

не сделают мой народ богаче? Неправда, разве многообразие занятий не богатство? Ведь кроме насущных трудов есть еще и труды по взращиванию культуры. Конечно, подобные занятия требуют досуга, но немногие занимаются ими в моем городе — я убедился в этом, расспрашивая людей.

И вот что я понял: раз диадему нельзя поделить на всех, значит, вопрос, чьей она будет, бессмыслен, и я не вправе считать ее владельца грабителем, обделившим остальных. Владельцы, заказчики — основа, на которой ткутся узоры культуры, не стоит тревожить их и нарушать плетение, у них своя роль, и не мое дело, хороши они или дурны и есть ли у них моральное право на роскошь.

Не спорю, действительности не чужды проблемы этики. Но есть в ней и другое, что вне этики. И если я буду разрешать проблемы при помощи слов, которые не вмещают противоречивой действительности, мне придется отказаться от света в моем царстве и погасить его.

CXVI

Заметка для памяти: беженцы-берберы не желали работать, они лежали. Бездействовали. Я пекусь не о трудах — о связующих нитях. Дни я делю на будни и праздники. Людей на старших и младших. Строю дома, более или менее красивые, и пробуждаю зависть. Ввожу законы, более или менее справедливые, и побуждаю пуститься в путь. Я забочусь не о справедливости, справедливо было бы оставить это болото в покое и не мешать ему гнить. Но я навязываю свой язык, ибо люди способны понять его смысл. Я плету сеть условностей и с ее помощью хочу выудить из людей, словно из слепоглухонемых, — человека, но пока еще он крепко спит. Ты обжег слепоглухонемого и назвал: огонь. Ты несправедлив к оболочке, ты причинил ей боль, ты справедлив к человеку, укрытому ею, — ты дал ему свет, открыл, что такое огонь. Больше тебе не понадобится обжигать его, при слове «огонь» он отдернет руку. И это будет знак, что он родился на свет.

Каждый, сам того не подозревая, словно сетью, опутан множеством условностей, но не

в состоянии ощутить их на себе, ибо они есть. Есть разные дома. Есть разная еда. (Я установил великий праздник, чтобы они ждали его, чтобы верили: с этого дня начинается новая жизнь. Что им делать, как не следовать направлению русла? Да, направленность уже несправедливость, но и праздник в череде будних дней та же несправедливость.) Благодаря красивым домам одни что-то получили, другие что-то потеряли. Вошли, вышли. Мой лагерь я расчерчу белыми линиями — в нем будут опасные зоны и безопасные. Вот я обозначил запретную зону, за приближение к ней я буду карать смертью. Так я строю костяк в медузе. Скоро она начнет передвигаться самостоятельно, как отрадно!

Человек получает слова пустыми. Но по мере того как они насыщаются смыслом, они становятся шпорами, уздой, удилами. Появляются жестокие слова, от них плачут. Появляются певучие слова, от них светлеет на сердце.

«Я сделал вещи доступными…» — считай, что ты проиграл, не богатство беда, беда — отсутствие трамплинов, что вынуждали тебя двигаться путем созидания, теперь ты используешь готовое. Беда не в том, что ты дал, беда в том, что ничего не требуешь. Когда больше даешь, больше и

спрашивай.

Справедливость, равенство — от них веет покоем смерти. Что такое братство, знает лишь растущий кедр. Не путай с братством круговую поруку и соглашательство — соглашательством живет толпа, над ней нет Бога, под ней — питающих подземных вод, а в ней самой нет мускулов, она не спеша гниет, и только.

Они лишились формы, живя толпой равных по законам справедливости. Они стали горстью одинаковых шариков.

Брось в эту толпу семечко, ее должна преобразить несправедливость дерева.

CXVII

Я заметил, мой восточный сосед внимателен не к событиям в своем царстве, не к устройству и не к учреждениям, не к вещам, а только к перепаду высот. И если ты захочешь узнать мое царство и отправишься сперва к кузнецам, ты увидишь, они куют гвозди, они влюблены в гвозди, речи их — славословие ковке гвоздей. Потом ты пойдешь к лесорубам, увидишь, как валят они деревья, как увлечены рубкой; первый треск мощного ствола для них — праздник, падение дерева-гиганта — радостное торжество. Ты навестишь астрономов, они погружены в наблюдение за звездами, ты постоишь, послушаешь их молчание. Кузнецы, лесорубы, астрономы любовно делают свое дело. И если я спрошу тебя: «Что творится у меня в царстве? Что у нас будет завтра?» — ты ответишь: «Будут ковать гвозди, валить деревья, наблюдать звезды, у тебя, стало быть, будут запасы гвоздей, древесина, звездные карты». Не видящий дальше собственного носа, ты проглядел строительство корабля. Конечно, никто не сказал тебе: «Завтра мы выйдем в море». Каждый убежден, что служит своему богу. Язык каждого так ограничен,

что ему не воспеть бога богов — корабль. Но корабль щедр, благодаря ему кузнец влюблен в свои гвозди.

Ты видел бы будущее яснее, если бы приподнялся над дробностью мира и ощутил ту жажду морского простора, какую я разбудил в душе моего народа. Тогда ты увидел бы фрегат — он сделан из гвоздей, досок, стволов деревьев, он послушен звездам, он медленно вырастает в тишине, словно кедр, что вытягивает соли и соки из каменистой почвы и окунает их в солнечный свет.

Если бы ты встал повыше, это устремление в будущее стало бы для тебя очевидным. Ты не ошибся бы — повсюду, где только возможно, явлено тяготение к морю. Ничего ведь не сделать и с земным тяготением, — я выпустил из руки камень, он непременно упадет на землю.

Вот я смотрю на человека. Он отправился на прогулку и пошел на восток. Я не могу предсказать, куда он идет. Пройдя сто шагов и убедив меня в неизменности направления, он возьмет и свернет в сторону. Но ближайшее будущее моей собаки мне известно, стоит ослабить поводок, как она потянет меня к востоку, оттуда пахнет дичью, и, если я спущу ее, она ринется туда со всех ног. Натяжение поводка сказало мне больше,

чем пройденная человеком сотня шагов.

Я смотрю на узника, он сидит или лежит ничком, кажется — он подавлен и ничего не хочет. Нет, он хочет свободы. Устремление его явственно для меня, и мне достаточно указать ему на щель в стене, как он вздрогнет, напряжется и преисполнится внимания. И если щель ведет за городские стены, покажи мне узника, который бы не разглядел ее!

Но если ты погружен в размышления, то, занятый собственным ходом мыслей, ты можешь не заметить ни этой щели, ни другой. Или, заметив ее, начнешь рассуждать, удобно ли будет ею воспользоваться, и решишься слишком поздно — каменщики успеют ее заделать. Но покажи мне воду, заключенную в бассейн, какой из щелей она пренебрежет?

Потому я и говорю: внутреннее предрасположение, тяготение, которое не выразишь словом — язык наш не приспособлен для этого, — могущественнее всех умствований, только оно ведет нас и нами правит. Потому я и говорю: разум в услужении у души, склонности души управляют им, а он лишь обозначает всякий раз направление, обосновывает его сентенциями, а тебе кажется, будто ты послушен своим разбре-

дающимся мыслям. Но я тебе говорю: управляют тобой только божества — храм, дом, царство, страсть к морю, жажда свободы.

И я тоже, как мой сосед, что правит по другую сторону горы, не стану следить за тем, что делается. Мне не угадать по полету голубя, свернет ли он к голубятне или подчинится воле ветра. Мне не понять, возвращается человек домой, потому что любит свою жену или подчиняется тяжкому долгу, не понять, что сулит его возвращение — любовную встречу или разрыв. Но когда речь идет об узнике, я не сомневаюсь: он не упустит случая, поставит ногу на оброненный мною ключ, ощупает каждый прут решетки, не качается ли один из них, присмотрится к каждому тюремщику, — я уже вижу, как исчезает мой узник в просторе за городскими стенами.

Я не стремлюсь узнать, что делает мой сосед, я хочу узнать, чего он не забывает сделать. Тогда я узнаю, какому божеству он послушен, и, даже если сам он не знает своего будущего, я могу судить, какое будущее его ждет.

CXVIII

Я вспомнил пророка, недобр был его косящий взгляд. Он пришел ко мне, и я почувствовал: он переполнен гневом. Гнев его темен и тяжел.

— Сотри их с лица земли, — сказал он.

И я понял: он жаждет совершенства. Ибо совершенна только смерть.

— Они грешат, — сказал он.

Я молчал. Я въяве видел его душу, изостренную, будто меч. И думал: «Он живет борьбою со злом. Он живет благодаря существованию зла. Что с ним станется, если зла не будет?»

— Что тебе нужно для счастья? — спросил я.

— Торжество добра.

И я понял, что он обманывается. Разве счастье для него бездействие и пятна ржавчины на его мече?

Медленно разгоралась и наконец ослепила меня не обычайная истина: любящий добро снисходителен к злу. Любящий силу снисходителен к слабости. Враждуют друг с другом одни слова, в жизни добро и зло сплетаются: бездарные скульпторы — почва для взращивания даровитых, тирания выковывает гордость души, противо-

стоящую тирании, голод вынуждает делиться хлебом: возникшее дружество слаще, чем хлеб. Заговорщики, которых схватила моя стража, сидят в темноте подземелья и готовятся умереть, принеся себя в жертву другим, они согласились на опасности, нищету и несправедливость из любви к свободе и справедливости. Эти люди всегда казались мне ослепительно прекрасными, нестерпимо было их сияние в камере пыток, и я никогда не унижал их в смерти.

Что такое алмаз, если нет твердой породы, которую нужно преодолеть, чтобы до него добраться? Что такое клинок, если нет врагов? Что такое возвращение, если нет отсутствия? Что такое верность, если нет соблазна? Торжество добра — это торжество покорных волов вокруг кормушки. Я не жду ничего хорошего от оседлых и перекормленных.

— Ты борешься со злом, — сказал я пророку, — любая борьба — это танец. Ты наслаждаешься своим танцем, танцуя во имя зла. Я хотел бы, чтобы ты танцевал из любви.

Я творю, я созидаю царство, где всех вдохновляет поэзия, но наступает час, приходят логики и принимаются размышлять. Они ищут, что может угрожать поэзии, и обнаруживают, что грозит им

ее противоположность — проза, словно есть на свете противоположности!.. Следом появляются жандармы, любовь к стихам им заменяет ненависть к прозе, они уже не любят, а ненавидят. Будто истребление олив равнозначно взращиванию кедра. Жандармы отправят в застенок музыканта, ваятеля, астронома, подчинившись пустым словам, ветру слов, слабому дрожанию воздуха. С этой минуты царство мое обречено на гибель, ибо рубить оливы, уничтожать запах роз не значит выращивать кедры.

Пробуди в душе твоего народа любовь к фрегату, она соберет усердных со всех концов твоего царства и преобразит их в паруса. Ты захотел сделать паруса из преследования, выслеживания, из уничтожения несогласных. Все, что не фрегат, сделалось врагом фрегата, ибо логика приводит туда, где назначаешь ей свидание. Ты принялся очищать свой народ, ты вынужден будешь его уничтожить, ибо окажется: каждый кроме фрегата любит и еще что-то. Больше того, ты уничтожишь сам фрегат, потому что любовь к нему в кузнеце стала любовью к гвоздям. Кузнеца ты отправишь в тюрьму. Откуда взяться гвоздям?

Если ты захочешь помочь величию скульпторов, истребив бездарных и слабых, подчинившись

пустому ветру слов, который противопоставил их даровитым, у тебя не будет скульпторов вообще. Ты и сам запретишь своему сыну это ремесло, сулящее так мало шансов выжить.

— Если я правильно понял тебя, — закричал косой пророк, — я должен поощрять пороки?!

— Нет, ты меня совсем не понял, — отвечал я.

CXIX

Ведь если я не хочу воевать и меня мучает ревматизм в колене, он вполне может стать препятствием, помешавшим мне начать войну, и наоборот, если я хочу воевать, я решу, что движение — лучшее средство против ревматизма. Мое стремление к миру воспользовалось как предлогом ревматизмом, но предлогом могла стать любовь, или домашний уют, или почтение к моему противнику, или что угодно иное. Так что если ты хочешь понять людей, начни с того, что перестань их слушать. Кузнец толкует тебе о гвоздях. Астроном о звездах. И никто не вспомнит о море.

CXX

Имей в виду, мало посмотреть, чтобы увидеть. С самой высокой из моих башен я показал моим гостям пределы моего царства, они закивали головами: «Конечно, конечно…» Я повел их в монастырь, стал рассказывать об уставе, они тихонько зевали. Показывал новый храм, картину, статую, художника, архитектора, сказавших новое, небывалое слово. Но они отвернулись. Других могло бы взять за живое, но эти остались равнодушными.

И я подумал:

«Даже те, кто умеет видеть за вещами Божественный узел, связующий дробный мир воедино, временами видят не картину — немые вещи. Чаще всего душа спит. Не утруждающая себя душа спит еще крепче. Так можно ли надеяться на молниеносное озарение? Если ты готов увидеть, если вызрело в тебе еще не знаемое тобой решение, молния озарит тебя, ты воспламенишься и постигнешь. Потому я и приуготовляю их к любви долгой молитвой. Этот приготовился, и робкая улыбка сразит его, будто меч. Но большинство живет в царстве неосуществленных желаний. Я

стал баюкать их северными легендами: заплескали крылами лебеди, потянулись над равниной серые гуси, будя ее тревожными кликами, — окованный льдами темный Север, похожий на храм из черного мрамора, наполнился голосом тревоги, и вот мои слушатели готовы залюбоваться серыми северными глазами, мерцающий в них свет улыбки кажется им светом таинственного приюта, манящего посреди снегов. Я понимаю: взгляд светлых глаз заставит забиться их сердце. Но те, кого испепеляет в пустыне жажда, не заметят света серых глаз».

Если с детства я леплю тебя подобным твоему окружению, ты увидишь ту же картину, что видит твой народ, ты будешь любить то, что любит он, ты будешь говорить на одном с ним языке. Я не про слова, с которыми ты обращаешься к соседу, я про цепочку Божественных узлов, связующих дробность мира воедино: нужно, чтобы для всех они были одними и теми же, эти узлы.

Я говорю «одними и теми же», но не подумай, что я стремлюсь к упорядоченности строя солдат, прямого ряда камней; этот порядок — смерть и небытие. Я хочу научить вас видеть одну и ту же картину, а значит, чувствовать одни и те же связующие нити и привязанности.

Теперь я знаю: полюбить — значит разглядеть сквозь дробность мира картину. Любовь — это обретение божества.

Пусть на один короткий миг ты стал сочувствующим, и земля, статуи, стихи, царство, любимая, Бог слились для тебя воедино, — я назову любовью окно, что распахнулось в тебе. И скажу, что любовь умерла, если вокруг ты видишь дробный мир, хотя вокруг ничего не переменилось. Нет сообщения среди знающих лишь о насущном. Отвернувшись от божества, становишься животным.

Вот почему моих гостей, зрячих, но не умеющих видеть, нужно приобщить к моей вере. Вера затеплит в них свет, сделает души вместительней. Вера избавит их от избыточного. А иначе что им в радость, кроме приятной сытости желудка, чего хотят они, куда идут?

Приобщить к своей вере — значит повернуть тебя лицом к божеству и сделать его зримым.

Но где взять мосток, чтобы перекинуть от себя к тебе? Ты оглядываешь поля, а я дорожной палкой обвожу, показывая тебе, пределы моей земли, но не в силах поделиться своей к ней любовью: не достается легко любовь. Долго и трудно будешь ты подниматься в гору, опираясь на палку, и,

когда обведешь ею пределы раскрывшейся перед тобой земли, задохнешься от волнения.

Но испробовать на тебе, каково оно, мое царство, я могу. Верю я прежде всего в работу. Не увидеть, что идеи рождаются делом, может только ребенок или слепец. Ребячество разбирать и раскладывать по полочкам идеи, будто они уже и не идеи вовсе, а товар на ярмарке.

Я доверяю тебе волов и повозку или цеп на току. Или лопату, чтобы рыть колодцы. Поручу собирать оливки. Играть на свадьбах. Копать могилы. Дам тебе какое-то дело, чтобы ввести тебя в незримый замок, подчинить силовым линиям, облегчить одни пути, закрыть другие.

У тебя появятся обязательства, запреты. Одно поле можно вспахивать, другое нет. Этот колодец — спасение деревни, другой — проклятие. Девушка выходит замуж, ее деревня распевает песни. А соседняя плачет об усопшем. Стоит потянуть за одну ниточку, как открывается вся картина. Пахарь пьет из колодца воду. Колодезник выдает дочь замуж. Невеста ест хлеб пахаря, пьет колодезную воду, и все они празднуют одни и те же праздники, молятся одним и тем же богам, оплакивают одних и тех же усопших. Станешь и ты таким, каким ты нужен деревне. Ты мне скажешь,

каким ты стал. И если сам себе не понравишься — значит, моя деревня тебе не по вкусу.

Ничего не разглядит зевака. Праздный взгляд отмечает дома, деревья как увидеть за ними Бога? Бог открывается трудами сердца.

Истина для меня то, что тебя воодушевило. Все, что ты видишь, не хорошо и не дурно. Но вот ты увидел картину и замер. Ты понял: эта картина прекрасна. «Истинна и прекрасна», — скажешь ты мне, и точно так же ты можешь открыть для себя свою землю, царство. Обжив его сердцем, ты пойдешь за него на смерть. «Камни подлинны, подлинен и храм», — скажешь ты мне.

В тайная тайных монастыря я приготовил для тебя чудесную икону, чтобы душа твоя затеплилась молитвой, — ты плачешь и молишься перед ней — что ты тут можешь отринуть? Сможешь ли ты сказать: истинна красота лика, но не истинен Бог?

Неужели ты думаешь, что родился, умея видеть прекрасное? Нет, ты научился его видеть. Прозревший слепорожденный не обрадовался обращенной к нему улыбке. Ему нужно было узнать, что такое — улыбка. Но ты знаешь с детства: улыбка сулит тебе радость, она таит в себе приятный сюрприз. Зато нахмуренные брови

обещали неприятности, дрожание губ предваряло слезы, загоревшиеся глаза — увлекательную выдумку, кивок головой — примирение, протянутая рука — доверие.

Ты живешь, накапливаешь опыт, и мало-помалу у тебя в душе складывается картина, мерцает некий идеальный образ, все в нем тебе по сердцу, он радует тебя, наполняет жизнью. И вдруг в толпе мелькнуло похожее на него лицо, ты скорее умрешь, чем его потеряешь.

Молния поразила тебя в самое сердце, но сердце твое готово было загореться.

Не спеша нарабатывается любовь и только тогда рождается. Ты открываешь для себя хлеб после того, как я дал тебе возможность поголодать. Я натянул в тебе струну, что откликнется на стихи. Стихи запели у тебя в душе, другой, их читая, зевает. Я стремлюсь пробудить в тебе голод, о котором ты пока не подозреваешь, страсть, которая пока для тебя безымянна. В ней пучок твоих дорог, твой стержень, твоя форма. Божество, которое ее разбудит, выявит в тебе все разом, и дороги потянутся для тебя лучами света. Но ты еще ни о чем не знаешь, не ищешь. Если бы искал, то знал бы уже по имени, а значит, нашел.

CXXI

Заметка для памяти: задурив себе головы, они решили, что и в жизни существуют противоположности, противостояния, — о, глупцы! Суровость, решили они, противостоит болтовне. Но жизнь — переплетение, стоит тебе уничтожить противоборствующего противника, как ты гибнешь с ним вместе.

Я повторяю: противополагается жизни одна только смерть.

Любя совершенство, ты уничтожаешь несовершенное. Вымарывание за вымарыванием — ты уничтожил текст. Но все несовершенно. Оно не совершено, не заверешено. Если любишь совершенство, совершай и не уставай совершенствовать.

Ты решил истребить низость, спасая благородство. Ты истребишь всех людей — ни один не сделан из чистого благородства.

Этот человек уничтожил своего противника. Он жил борьбой с ним. Теперь он и сам мертв. Противник корабля — море. Море сделало таким совершенным форштевень и корпус корабля. Противоположность огня — пепел, пепел сбере-

гает бодрствующий огонь.

Не надо бороться с рабством и опираться на ненависть, нужно бороться за свободу и призывать на помощь любовь. В любой иерархии можно увидеть рабство, можно счесть рабами камни, сложившие фундамент храма, благодаря которым другие, более благородные, дотягиваются до неба; если ты последователен, ты должен разрушить храм.

Но кедр не отвергает, не ненавидит все то, что не кедр, он питается каменистой почвой и превращает ее в кедр.

Против чего бы ты ни боролся, у тебя на подозрении весь мир, потому что повсюду может оказаться кров, припас и пища для твоего врага. Против чего бы ты ни боролся, ты должен уничтожить и самого себя, потому что и в тебе есть твой враг, как бы слаб он ни был.

Единственная несправедливость, которую я приемлю, — несправедливость творчества и созидания. Ты не уничтожил соки, которые питают колючки, ты создал кедр, он питается соками, и для колючек их не осталось.

Если ты стал вот этим деревом, ты уже не можешь стать другим. Стало быть, ты — несправедливость по отношению к другим деревьям…

Когда усердие в тебе иссякает, ты продлеваешь жизнь царству с помощью жандармов. Но если только жандармы в силах поддержать жизнь твоего царства, значит, оно уже мертво. Принуждаю и я, но принуждаю, как дерево, оно узел для соков земли, я не истребляю колючки и соки, которые их питают, — я сажаю кедр, и теперь они вынуждены питать его.

Где ты видел, чтобы боролись против чего бы то ни было? Благоденствующий кедр уничтожает кустарник, но ему и дела нет до кустарника. Он не знает даже о его существовании. Он борется за кедр и превращает в кедр кустарник.

Ты хочешь заставить своих воинов умирать против рабства, против несправедливости! Кто захочет умирать? Захотят убивать, а не умирать. Отправиться сражаться — значит дать согласие на смерть. На смерть соглашаются ради того, на что положили жизнь. Иными словами, ради любви.

Эти ненавидят тех. Будь у них тюрьмы, они набили бы их узниками. Но тюрьмы выковывают врагов, они пламенеют ярче монастырей.

Казнит и сажает в тюрьмы неуверенный в себе. Он уничтожает свидетелей и судей. Но для того чтобы обрести величие, недостаточно истребить

свидетелей собствен ной низости.

Казнит и сажает в тюрьмы тот, кто перекладывает свои ошибки на других. Значит, он слаб. Чем ты сильнее, тем больше ошибок ты берешь на себя. На них ты учишься побеждать. Генералу, который потерпел поражение и пришел с повинной, отец сказал: «Не льсти себя мыслью, что ты способен ошибиться. Если я сел на коня и конь заблудился, виноват не конь — виноват я».

«Извинение предателей, — говорил отец, — в том, что они нашли силы предать».

CXXII

Если истины очевидны и противоречат одна другой, тебе ничего не остается, как искать другой язык.

Логика не в силах задеть тебя за живое, с ее помощью не перебраться на ступеньку выше. Исходя из камней, не узнать о сосредоточенности. Камней недостаточно, чтобы ее постичь. Тебе нужно придумать, как сложить по-новому камни, и то, что ты сложишь, ты обозначишь новым словом. Родилось новое существо, цельное, необъяснимое, потому что объяснить — значит расчленить. Но оно едино, и ты окрестил его, дав ему имя.

Чему служат рассуждения о сосредоточенности? О любви? О царстве? Любовь, царство — не предметы, они — божества.

Я видел человека, он согласен был умереть, наслушавшись сказок Севера, он узнал: раз в году наступает не обыкновенная ночь, люди идут по скрипучему снегу под льдистыми звездами и подходят к деревянной избушке. Светится окно, после долгой тьмы ты входишь в свет и, заглядывая в дом, приближаешь лицо к стеклу — в

комнате мерцает странное дерево. Говорят, эта ночь сродни расписной деревянной игрушке и пахнет запахом воска.

Говорят, лица у людей в эту ночь — настоящее чудо. Потому что они ожидают чуда.

Ты увидишь стариков, они затаили дыханье и смотрят на детей, приготовив сердце к величайшему таинству. Вот сейчас в детских глазах промелькнет что-то неуловимое, драгоценное. Целый год ты творил ожидаемое сокровище рассказами, таинственными намеками, туманными посулами и безграничной любовью к малышу. Сейчас ты снимешь с елки смешную деревянную игрушку и, согласно издревле установленному обычаю, протянешь ее ребенку. Вот он, этот миг. Все затаили дыхание, малыш сидит у тебя на коленях, дремотно моргает, его только что вытащили из теплой постельки, ты вдыхаешь сладкий запах сонного ребенка, и, когда он тебя целует, ты чувствуешь: жаждущее сердце наконец напилось из родника. (Горе детям, их обокрали, если никто не нуждается в роднике, что таится в них без их ведома, роднике, к которому приникают постаревшим сердцем, чтобы омолодиться.) Но сейчас не до поцелуев. Малыш смотрит на елку, ты смотришь на малыша. Сейчас ты сорвешь ред-

костный цветок, расцветающий единственный раз в году посреди снежных сугробов, — цветок восторженного изумления.

Как ты счастлив, глядя на потемневшие глаза ребенка. Он погрузился в созерцание своего сокровища, получив свое сокровище в руки, он засветился и похож на морской анемон. Если ты отпустишь его, он убежит. И догнать его нет никакой надежды. Не говори с ним, он тебя не услышит.

Его потемневшие глаза, чуть-чуть потемневшие, будто на луг набежала тень тучки, — не говори мне, что они ничего не значат. Даже если это единственное твое воз даяние за прожитый год, за твою тяжкую работу, за потерянную на войне ногу, бессонные ночи, обиды и страдания — все возмещено тебе сполна, и ты счастлив. Ты в выигрыше, ты выгодно поменялся.

Какой логикой выведешь твою любовь к царству, молитвенную сосредоточенность в храме, этот несравненный миг?

И вот мой солдат готов умереть, — мой солдат, который видел только песок и солнце, который никогда не видел мерцающих деревьев и весьма приблизительно знает, где находятся северные страны, — он готов умереть, потому что гибель

грозит запаху воска и потемневшим детским глазам, он узнал о них из стихов, и они были будто легкий аромат, принесенный ветром с дальнего острова. Я не знаю более важной причины для смерти.

Бывает, что питает тебя Божественный узел, связующий все воедино. Не преграда ему ни стена, ни море. Ты в пустыне, но переполнен дальним, неведомым тебе, даже чуждым — этих людей ты себе не представляешь, не представляешь и страны, — но переполнен ожиданием, ты ждешь и хочешь увидеть потемневшие глаза ребенка, он не сводит их со смешной деревянной игрушки, и она тонет в них, будто камень в неподвижной воде.

Бывает, что полученное тобой от этой картины так для тебя драгоценно, что ты готов умереть за нее. И если для меня это будет так, я подниму моих воинов, чтобы спасти рассеянный где-то в мире запах воска.

Но я не стану браться за оружие, защищая накопленные запасы. Когда их накопили, ждать можно только одного — превращения в тупую скотину.

Вот почему, когда умерли твои боги, ты ни за что не хочешь умирать. Но ты и не живешь.

Потому что нет в твоей жизни смерти. Слова «жизнь» и «смерть» дразнят друг друга, но жить ты можешь только тем, за что согласен и умереть. Тот, кто отказывается от смерти, отказывается и от жизни.

Если нет ничего, что было бы больше тебя, тебе неоткуда получать. Разве что от себя самого. Но что получишь от зеркала?

CXXIII

Я говорю для тебя, потому что ты одинока. Я хочу перелить в тебя свет.

Я знаю, ты молчишь, ты одинока, но все же и твое сердце может получать пищу. Божествам смешны моря и преграды. Ты тоже станешь богаче оттого, что где-то пахнет воском. Даже если никогда не вдохнешь его.

Но какова она, моя пища, я могу узнать, только посмотрев на тебя. Какой ты стала, напитавшись ею? Мне хотелось бы, чтобы ты молчаливо скрестила руки и глаза у тебя потемнели, как у малыша, которого я одарил сокровищем, он не в силах оторвать от него глаз. Мой подарок малышу не вещь, не предмет. Если камешки для него военный флот, устоявший в бурю, то мои деревянные солдатики будут и войском, и капитанами, и верностью царству, и смертью от жажды в пустыне. Ведь и музыкальный инструмент не инструмент вовсе, он — силки, чтобы тебя пленить. И твой плен так далеко увел тебя от силков. По-иному ты смотришь из окна на уснувший город, если помнишь мои слова о дремлющем под пеплом

огне. Мой дозорный ходит уже не по кругу, если круглая площадка башни — вершина царства.

Отдавая, получаешь больше, чем отдал. Потому что тебя не было и вот ты возник. И что мне тогда за дело, если слова снова дразнят друг друга.

Я говорю для тебя, ты одна, мне хочется тебя приютить. Может, слепота или сухая рука помешали тебе ввести в свой дом мужа. Но есть присутствие более ощутимое, я видел, как поутру, когда мы победили, даже больной на смертном ложе был другим, и, хотя из-за толстых стен не было слышно победных труб, в его комнате все, казалось, трубит о победе.

Что же проникло извне вовнутрь, как не связавшая всех воедино победа, которой нет дела до стен и которой морской простор не преграда? Разве не существует Божественного узла еще горячее? Он воспламенит в тебе сердце, и ты станешь преданной и совершенной.

Любви не растратишь. Чем больше даешь, тем больше остается. Когда черпаешь из живого родника, то с каждым днем он щедрее. Животворящ и запах воска. Если сосед подышит им, он станет для тебя еще драгоценнее.

Муж опустошит твой дом, если, устав любить тебя, улыбнется другой.

Но вот к тебе прихожу я. Нам не нужно знакомства. Я — узел царства, я придумал для тебя молитву. Я — ключ свода, наделяющий вещи смыслом. Я протягиваю нить и тебе. Ты больше не одинока.

Как тебе не последовать за мной? Разве я не ты? Ведь и музыка оживляет в тебе связующие нити, обжигает тебя. Музыка не истинна, не лжива. Просто ты начинаешь существовать.

Я не хочу, чтобы совершенство опустошило тебя. Опустошило и заполнило горечью. Я бужу в тебе рвение, которое всегда обогащает и никогда не обделяет, рвение, которое никогда не требует возмещения потраченных усилий или запаса впрок.

Стихи прекрасны не логикой — дарованным свыше. Чем просторнее ты становишься от них, тем они тебе дороже, тем ты взволнованней. Ты тоже — музыкальный инструмент, ты тоже можешь запеть, в тебе разные голоса. Есть в мире и дурная музыка, она прокладывает путь ничтожеству, и в тебя входит ничтожество. Бог, что посетил тебя, жалок. Но бывает, на тебя изливается столько любви, что, утомленная, ты засыпаешь.

И я для тебя, одинокой, придумал молитву.

CXXIV

Молитва одиночества.

«Пожалей меня, Господи, тяжело мне мое одиночество. Мне некого ждать. Комната будто тюрьма, вещи в ней молчаливы.

Я прошу не о гостях, на глазах людей я еще оставленной. У меня соседка, она тоже одна, и комната у нее похожа на мою, но она счастлива теми, кого любит. Нежность ее сейчас праздна, она не слышит, не видит своих близких, не чувствует ответной любви. И все-таки счастлива, в доме у нее не пусто.

Господи, не о человеке прошу Тебя, не о зримом присутствии. Я знаю, неосязаемы твои чудеса. Вылечи меня, освети мне душу, я хочу понять, где приют мой и где мне жить…

Странник в пустыне, Господи, оставив кров и близких, даже на краю света утешен своим домом. Что ему расстояние? Душа его занята, и если он умрет, то умрет, любя… Я не прошу Тебя, Господи, чтобы и у меня появился такой дом…

Человек заметил в толпе лицо, и оно стало для него божеством, пусть девушка так и осталась

незнакомкой. Так солдат влюбляется в королеву. Он живет как солдат королевы. Я не прошу Тебя, Господи, чтобы подобный кров был обещан мне…

По морским просторам странствуют влюбленные в несуществующие острова. Они слагают песни об островах — и счастливы. Не острова делают их счастливыми — песни. Я не прошу, Господи, чтобы дом для меня где-то был…

Одиночество, Господи, плод души-калеки. Смысл вещей — вот родная земля души. Храм — смысл существования камней. Душа расправляет крылья только на просторах смысла, не вещи нужны ей — картина, что возникла, когда они слились воедино. Научи меня видеть сквозь дробность целое.

Тогда, о Господи, я перестану быть одинокой».

CXXV

Подобно тому, как я могу назвать храм — внятный душе порядок, претворивший безликие камни в силовые линии, — могу назвать его укладом для камней… И уклад этот чаще всего прекрасен…

Подобно тому, как могу я назвать литургию моего года — внятный душе порядок, претворивший безликие дни в силовые линии (есть у нас дни поста, праздники и дни отдыха — силовые линии, направляющие тебя), — могу назвать укладом дней. Год благодаря ему оживает.

Подобно тому, как есть свой уклад и у черт лица. Лицо тогда чаще всего приятно. Есть уклад и у моей армии — протянутые мной силовые линии позволяют тебе одно, запрещают другое. Повинуясь, ты становишься моим солдатом. Армия чаще всего становится сильной.

Есть уклад и у моей деревни, со своими праздниками, днем поминовения усопших, сбором винограда, помощью при постройке, раздачей хлеба и воды во времена голода или засухи: полный бурдюк — он не для тебя одного. Благодаря укладу у тебя есть родина. И от нее чаще всего

тепло на сердце.

На что я ни посмотрю, вижу уклад. Храма нет без архитектуры, года без праздников, лица без пропорций, армии без устава, отечества без обычаев. Не будь уклада, ты не сладил бы с хаосом.

Почему же ты говоришь мне, что окружающая тебя дробность — она подлинная, а уклад — это мнимость? Разве любая вещь не уклад составляющих ее частей? По-твоему, армия менее реальна, чем камень? Но и камень я могу назвать укладом пылинок. Год — укладом дней. Почему тогда год менее реален, чем камень?

Этих заботит отдельный человек. Кто спорит, прекрасно, если каждый будет процветать, будет сыт, обут и страдать будет не чрезмерно. Но в каждом умрет главное, жители твоего царства станут рассыпанными камнями, если не будет в твоем царстве человеческого уклада.

Без уклада нет человека. Оплакивать покойного брата ты будешь не дольше, чем оплакивает собака утонувшую товарку. И возвращение брата тебя не порадует. Радованье брату должно строиться будто храм, он рухнет со смертью брата.

Я не видел, чтобы беженцы-берберы оплакивали своих мертвых.

Как мне показать тебе то, что я ищу? Я ищу не вещь, которую можно потрогать, я ищу ощутимое для души. Не требуй, чтобы я обосновал свой уклад. Логика хороша для дробного мира, Божественный узел связывает дробность по-своему. Мне пока неведом этот язык.

Ты, наверно, видел, как слепые гусеницы ползут вверх по дереву, поближе к свету. Посмотрев на них, ты скажешь, к чему они стремятся, скажешь: «К свету» или: «К вершине», — потому что ты человек. Но они-то не знают к чему. Вот и ты получаешь от моего храма, года, картины, родины незнаемое, оно становится твоей истиной, и я не вслушиваюсь в ветер слов, он гудит о вещественном. Ты — гусеница. Ты не знаешь, чего ищешь.

Но если из моего храма, года, царства ты выходишь совершеннее и просветленнее, если незримая пища напитала тебя — я подумаю про себя: «Это хороший для человека храм. Хороший год. Хорошее царство». Даже если я не могу определить, чем они хороши.

Просто-напросто я, как гусеница, нашел что-то для себя необходимое. Так слепец зимой ищет на ощупь очаг. И находит. Он ставит свою палку и садится возле него, скрестив ноги. Он не знает об

огне того, что знаешь о нем ты, зрячий. Он нашел необходимую ему истину телесно, и увидишь, он не стронется с места.

Но ты упрекаешь меня, говоря, что найденная мной истина не подлинна, и поэтому я расскажу тебе, как умирал мой друг, единственный подлинный геометр, он приготовился к смерти и попросил меня побыть с ним.

CXXVI

Тихими шагами подошел я к нему, я любил его.

— Геометр, мой друг, я помолюсь за тебя Господу.

Но он устал мучиться.

— Не жалей моего тела. У меня отнялась рука, отнялась нога, я похож на сухое дерево. Не мешай дровосеку.

— Ты жалеешь чем-нибудь, геометр?

— О чем мне жалеть? Я помню здоровую руку, здоровую ногу. Жизнь — это непрекращающееся рождение, и себя принимаешь таким, каким становишься. Ты когда-нибудь сожалел о младенчестве, отрочестве, зрелых годах? О них сожалеют плохие поэты. Не сожаление — сладкая печаль без тени страдания, тонкий аромат вина, веющий над опустевшим бокалом. В день, когда ты теряешь глаз, ты рыдаешь и жалуешься, потому что любое преображение болезненно. Но жизнь с одним глазам вовсе не повод для вечного страдания. Я видел, как весело смеются слепые.

— А память о минувшем счастье?

— Откуда ты взял, что она приносит боль?

Конечно, видел и я, как страдал от разлуки влюбленный, любимая была смыслом его дней, часов, всего на свете. Храм его обрушился. Но я никогда не видел, что страдает тот, кто пережил высшее напряжение любви и разлюбил, для кого погас согревающий его очаг. Стихи взволновали тебя, а потом ты ими пресытился. Кто страдает по отмершему? Душа погрузилась в спячку, человек погрузился в небытие. Скука далека от сожаления. Сожалеть о любви — значит по-прежнему любить… Если не любишь — не сожалеешь. Тоскуешь, скучаешь, опустившись на ступеньку, где тебя окружили только дробные вещи, потому что им нечем напитать тебя. Когда обрушивался ключ свода и жизнь моя ломалась, я мучился муками преображения, но как я могу чувствовать их теперь? Разве не теперь увижу я истинный ключ свода, истинный смысл всего? Так что мне до былого, в котором не было света истины? О чем тосковать мне, если я вижу, что часовня наконец построена, завершена, если я вижу, что в ней наконец затеплится свет?

— Геометр, мне кажется, ты не прав. Мать плачет, вспоминая умершего ребенка.

— Она плачет, когда он умирает. Потому что все вокруг лишается смысла. Приходит молоко,

а ребенка нет. Тебе столько нужно сказать любимой, и нет любимой. Если дом твой разорен, продан, что тебе делать с любовью к дому? Но это значит, что наступил час преображения, а он всегда причиняет боль. Ты ошибся, потому что слова только запутывают человека. Наступает час, когда прожитое обретает свой истинный смысл и ты понимаешь — оно помогло тебе сбыться. Приходит час, когда ты чувствуешь себя богаче, потому что когда-то любил. Час нежной, сладкой печали. Приходит час, когда постаревшая мать, глаза ее смягчились и умудрилось сердце, — никому не признаваясь в этом, потому что слова страшат ее, — с нежностью вспоминает своего умершего малыша. Видел ли ты мать, которая сказала бы тебе, что лучше бы не иметь ребенка, не кормить его молоком, не ласкать?

Долго молчал геометр, а потом сказал:

— Вот и моя жизнь, бережно сложенная, стала прошлым, стала воспоминанием…

— Поделись со мной, геометр, новой истиной, что исполнила тебя такой безмятежностью.

— Может быть, постичь истину — значит чувствовать ее безмолвно?.. Может быть, постичь истину — значит обрести право умолкнуть навсегда? Я говорил не однажды, что истинно дерево,

ибо оно — обретенное согласие корней, ствола и веток. Истинен лес как согласие деревьев. Истинен край как согласие леса, луга, реки и деревни. Истинно царство как согласие деревень и городов. Истинен Бог как идеальное согласие царств и всего, что существует в мире. Бог так же истинен, как дерево, но увидеть его куда труднее. Мне больше не о чем спрашивать, и я молчу.

Он задумался.

— Другой истины я не знаю. Знаю какие-то соотношения, соответствия, с их помощью более или менее удобно объяснять мир. Но…

Он долго молчал на этот раз, и я не решался его тревожить.

— Но иногда мне казалось, что они и впрямь чему-то соответствуют…

— Что ты имеешь в виду? Что ты хочешь сказать?

— Когда ищешь, находишь, потому что душе хочется найти только то, что в ней уже есть. Найти — значит увидеть. Как искать то, что для меня еще лишено смысла? Как хотеть того, о чем и не подозреваешь? И все же было во мне что-то вроде тоски о том, что не имело для меня пока смысла. Иначе почему я приходил к тем истинам, которых не мог предвидеть? Я шел вперед,

и было похоже, будто я знаю дорогу, но шел я к неведомому колодцу. Я ощущал связующие нити, ощущал соответствия, как твои слепые гусеницы ощущают солнце.

Вот ты построил храм, он прекрасен, но разве для тебя ясно, с чем он в глубинном согласии?

Ты сделал законом определенный уклад, заботясь, чтобы души людей не остывали, — слепой так ищет тепло у очага. Не все храмы красивы, не все уклады охраняют огонь.

Гусеницы не знают солнца, слепой не знает огня, а ты не знаешь, с чем в согласии храм, который ты строишь, и почему благодаря ему расширяется в человеке душа… Что-то светило мне и просветляло меня, притягивало меня к себе, и я шел за ним. Но и сейчас я не знаю…

И в этот миг Господь открыл Свое лицо геометру…

CXXVII

Низкому делу в помощь низкая душа.

Благородному — благородная.

Низкие поступки рождаются из низких побуждений. Благородные — из благородных.

Если мне понадобилось предательство, я найду предателя, чтобы совершить его.

Если мне нужно строить, я позову каменщика. Если добиваюсь мира, переговоры я поручу трусу. Если готовлю гибель, войну объявит герой.

Многообразие побуждений очевидно, и если одно побуждение возобладало над другими, значит, кричало громче, и тот, кто за него ратовал, возьмется его осуществить. Если путь твой сейчас неизбежно низок, в помощь тебе тот, кто так жаждал низости просто так, без принуждения, из одной только низости души.

Заставлять подписать капитуляцию героя трудно, трудно посылать жертвовать собой трусов.

И если необходимо сделать что-то, с некоторой точки зрения унизительное, — с некоторой, потому что нет на свете ничего одномерного, — я подтолкну вперед того, кто больше смердит и

меньше воротит нос. Брать в мусорщики брезгливого я не стану.

Если мой враг одержал надо мной победу, переговоры с ним я поручу тайным друзьям своего врага. Но не считай, что я зауважал этих тайных друзей и добровольно подчинился победителю.

Да, если ты разговоришь моих мусорщиков, они признаются, что копаются в мусоре, потому что любят запах гнили.

Признается мой палач, что ему по нраву запах крови.

Но ты будешь не прав, если осудишь меня за потворство низменному. Ненависть к грязи и восхищение сияющим чистотой домом заставили меня призвать на помощь мусорщиков. Ужас перед невинно льющейся кровью заставил меня уделить место палачу. Если хочешь понять людей, не слушай, что они говорят. Ибо если я решил вступить в бой, спасая закрома моего царства, вперед выйдут самые воинственные, те, для кого смерть — символ веры, и говорить они будут о славе и почетной смерти в бою. Потому что никто не умирает ради закромов.

Но если я решил пойти на мировую, чтобы избежать разграбления тех же закромов, пока их не спалил огонь войны, или заведу речь не о войне

и не о мире, но о мирном сне мертвых, то подписывать договоры я позову самых миролюбивых и снисходительных к нашему врагу, и говорить они будут о благородстве устанавливаемых ими законов, о справедливости принятых решений. Они будут верить в свои слова. Хотя дело снова совсем в другом.

Если мне нужно отвергнуть что-то, отвергать будет тот, кто отвергает все и вся. Если нужно что-то принять, принимать будет тот, кто все приемлет.

Ибо мощное царство всегда тяжело и грузно, ветру слов не сдвинуть его. Этой ночью с высоты моей башни я смотрел на темную землю, где тысячи тысяч спят и бодрствуют, счастливы и несчастны, довольны и недовольны, полны веры или отчаяния. И понял: царство немо, оно — великан без голоса и языка. Так как же мне заставить тебя услышать царство — его желания, старания, усталость, мольбы, если я не умею найти слова, чтобы объяснить тебе, что такое гора, — тебе, который видел только море?

Каждый говорит от имени царства, и все говорят противоположное. Они вправе говорить от имени царства. Пусть у немого великана будет возможность кричать.

Я одобряю это. Я ведь говорил о совершенстве. Прекрасная песня рождается из множества неудачных. Если люди боятся петь, не жди прекрасных песен.

Они противоречат друг другу, потому что нет еще языка, который был бы в согласии с царством. Не мешай им. Выслушивай всех. Все правы. Но никто из них еще не поднялся в гору так высоко, чтобы видеть правоту другого.

И если они начинают враждовать, сажать друг друга в тюрьмы и убивать друг друга — значит, они ищут язык, который никак не может сложиться.

А я? Я прощаю им косноязычие.

CXXVIII

Ты спросил меня: «Почему народ принял рабство, почему не сопротивлялся до конца?» Нужно отличать самопожертвование во имя любви — благородное самопожертвование — от самоуничтожения из-за отчаяния — низменного и недостойного. Жертвуют собой божеству, им может быть царство, содружество, храм, что примет отданную тобой жизнь — жизнь, на которую ты себя тратишь.

Есть люди, которые готовы пойти на смерть во имя других, даже если эта смерть бесполезна. Она облагораживает живых, у живущих прозревают глаза и сердце.

Какой отец не вырвется из удерживающих его рук и не бросится в бездну, где гибнет сын? Ты захочешь и не сможешь его удержать. Но можно ли хотеть, чтобы оба они погибли? Кому стало лучше от двух смертей?

Почетно сияющее самопожертвование — не само уничтожение.

CXXIX

Если ты судишь мое творение, суди о нем, позабыв обо мне. Я пишу картину, трачу себя на нее, служу ей. Я ей, а не она мне. Я готов даже умереть, лишь бы ее закончить. Так не щади мое самолюбие, я люблю не себя — картину. Но если моя картина переменила тебя, одарив чем-то еще небывалым, не щади мою скромность. Нет во мне скромности. Мы с тобой на стрельбище. Исхода стрельбы мы не знаем. Я — стрела, ты — мишень.

CXXX

В мой смертный час.

— Господи! Я иду к тебе, я пахал свою пашню во имя Твое, Тебе собирать жатву.

Я лил свечи, Тебе зажигать их. Я построил храм, Тебе жить в его тишине.

Добыча не для меня, я только расставлял ловушки. Я расставлял их, чтобы очнулась душа. Я растил человека, следуя Твоим Божественным силовым линиям с тем, чтобы он шел и шел вперед. Тебе пользоваться этой повозкой, если она покажется Тебе достойной.

Глядя со стен моей крепости, я глубоко вздохнул. «Прощай, мой народ, — думал я. — Я излил всю свою любовь и ухожу в сон. Но я неодолим, как неодолимо зерно. Я не высказал в полноте того, что есть в моей картине. Но созидать не означает выразить словесно. Я все высказал, воскликнув так, а не иначе. Привыкнув к этому, а не к другому. Кладя в тесто дрожжи, а не соду. Все вы теперь мои дети, потому что, делая следующий шаг, невольно вступаете на мой незримый склон и растите мое дерево, а значит, я помогаю вам сбыться.

Конечно, вам станет куда вольнее после моей смерти. Вольна река стремиться к морю, а брошенный камень к земле.

Мой возлюбленный народ, я обогатил твое наследство, храни его, передавая от поколения к поколению».

Я молился, дозорные обходили мою крепость. Я погрузился в раздумье.

Царство посылает мне бдительных часовых. В каждом я зажег тот огонь, который в моем дозорном стал неусыпным бдением.

Годится мне только зрячий солдат.

CXXXI

Я преображаю для вас мир, как ребенок преображает свои три камешка, он отводит каждому роль в игре и, значит, наполняет каждый особым смыслом.

Не камешки, не правила игры значимы для ребенка — они всего лишь удобная ловушка, значима увлеченность игрой, своим желанием играть он преображает камни.

Но что тебе до утвари, скарба, дома, до твоих домашних, до музыки, которую слышишь, зрелищ, какие видишь, если они не кирпичики незримого дворца, который преобразил их в единство?

Те, у кого нет царства, что наделяет материальный мир смыслом, сердятся на вещи. «Может ли быть, чтобы, разбогатев, я не стал богаче?!» — негодуют они и подсчитывают, сколько еще нужно накопить, потому что богатства явно недостает. И они собирают еще и еще, жизнь их загромождается все больше и больше, а они становятся все жестче и жестче от своей неизбывной неудовлетворенности.

Они не знают, что нужно им иное, не знают, потому что ни разу не встречались с этим иным.

Они видели счастье влюбленного, он читал письмо от любимой. Они заглянули ему через плечо и догадались — радость его от черных букв на белой бумаге, — и повелели слугам на сотни ладов писать черные буквы. А потом высекли слуг за то, что те не сумели изготовить талисман, наделяющий счастьем.

Нет у них того, что связало дробность воедино, сделало бы одну вещь значимой благодаря другой. Они живут в пустыне, и вокруг них — рассыпанные камни.

Но прихожу я и строю из камней храм. Теперь камни одаряют их благодатью.

CXXXII

Я постарался, чтобы они стали чувствительны к смерти. И не жалею. Они острее чувствуют жизнь. Вот я наделил правами твоего старшего брата и, конечно, дал тебе основания его ненавидеть, но ведь и любить тоже, и оплакивать после смерти. Несмотря на то что я, дав ему права, утеснил тебя. Умер старший брат, ты будешь плакать о нем — он был главным, отвечал за семью, руководил ею, укреплял. Если умрешь ты, он будет оплакивать свою овцу, которой помогал, любил любить, наставлял при свете вечерней лампы.

Но если я вас сделаю равными, смерть одного из вас ничего не изменит для другого. О чем вам горевать?

Я видел это бесчувствие, наблюдая своих воинов в бою. Твой соратник упал, но ничего не изменилось, на его место тут же встал другой. Свою сдержанность по отношению к убитым ты называешь солдатским мужеством, видишь в ней согласие с необходимыми жертвами, сухие глаза для тебя — знак благородства и достоинства. Я, наверно, обижу тебя, но все же скажу: «Ты не плачешь, потому что тебе не из-за чего плакать». Ты

еще не знаешь, что твой товарищ умер. Он умрет позже, когда наступит мир. А пока всегда есть другой с тобой, рядом, другой справа и другой слева, и вы вместе стреляете. У тебя нет времени, человек тебе не нужен, не нужно и то, чем этот человек, один-единственный, способен одарить. Только старший брат оберегает и покровительствует. Но в строю то, что может один, может и другой. Шарики в мешке не горюют о потере шарика — мешок полон, и все они одинаковы. Об умершем ты говоришь: «У меня нет времени, он умрет позже». Но он уже не умрет, потому что война кончится и разъедутся все живые. Ваш отряд распадается. Живые смешаются с мертвыми. Отсутствующие станут все равно что мертвые, а мертвые все равно что отсутствующие.

Но если вы — дерево, то каждый зависит от всех и все зависят от каждого. Вы заплачете, когда одного из вас не будет.

Если вы составляете собой какую-то фигуру, то между вами существует иерархия и связь. И видна необходимость одного в другом. Если нет иерархии, нет и братьев. Я слышал, говорят «мой брат», когда ощущают свою зависимость.

Я не хочу в вас безразличия к смерти. Если вы перестанете бояться крови или ударов, ваше без-

различие благородно, но смерть переживается тем легче, чем меньше значимого уходит вместе с ней. Чем меньше радовал ваше сердце брат, тем меньше вы будете плакать о нем на похоронах.

Я хочу вас сделать богаче, я хочу, чтобы брат вам стал дороже. Хочу, чтобы ваша любовь, если вы полюбили, открыла вам царство, а не была пеной забродившего в бурдюке вина. Бурдюки не плачут. И если умрет любимая, вы очнетесь на чужбине, в изгнании. Но если вы когда-нибудь услышите, будто кто-то отнесся к смерти любимой по-человечески, знайте, он отнесся к ней по-скотски… И умри он, его возлюбленная отнесется к его смерти точно так же, сказав: «Смерть на войне — достойная для мужчины смерть». Но я хочу, чтобы вы воевали. Кого и любить, как не воина? Потворствуя малодушию, вы сделали из сокровища побрякушку, чтобы меньше жалеть о нем. Кто умрет тогда? Бесчувственный автомат? Где жертва тогда? Где царство?

Я требую, чтобы мне отдавали лучшее. Иначе вам не обрести благородства.

Я поощряю вас не в пренебрежении жизнью, нет — в любви к ней.

Поощряю в любви к смерти, если она — дарение себя царству.

Здесь нет противоречия. Любя Господа, ты крепче любишь царство. Любя царство, крепче любишь родную землю. Любя родную землю, крепче любишь жену и детей. Любя жену, любишь ничтожный серебряный поднос, потому что вы привыкли пить чай вдвоем после того, как любили друг друга.

Да, я хочу сделать смерть для вас невыносимой. И я же хочу утешить вас. Я сложил эту молитву для плачущих. Молитву против боли смерти.

CXXXIII

— Стихотворение я написал. Осталось его поправить.

Мой отец возмутился:

— Ты написал стихотворение и теперь собираешься его поправлять? Но что значит писать стихотворение, как не поправлять его? Что значит лепить статую, как не поправлять ее? Ты видел, как работают с глиной? От поправки к поправке все явственней выступает лицо, и первая вмятина на коме глины — уже поправка. Закладывая город, я поправляю пустыню. Перестраивая, поправляю город. Поправки и есть мои шаги к Господу.

CXXXIV

Ты выражаешь себя, протягивая нити. Ударяешь в колокол, заставляя отозваться других. Неважно, что послужило тебе колоколом. Любое творение — только возможность уловить, хотя по обличию ни одно из них не сходно с ловушкой. Я уже говорил тебе: все ищет быть связанным, все взаимопроникает друг в друга.

Танец, музыка длятся, ты даешь мне время вникнуть в смысл твоего послания. Повторяешь, медлишь, поднимаешься, опускаешься, и наконец я улавливаю эхо — отзвук твоей сущности.

Но вот передо мной статуя, готовая целостность, мне нужен ключ, чтобы заглянуть в тебя. Если бы не нос, рот, уши, мне бы не понять, что ты подчеркнул, а без чего обошелся, чему придал вес, а что облегчил, что возвысил, а что принизил, что опустошил, а что наполнил. Если бы не заранее сложенное представление о лице, я бы не понял твоего послания, не уловил эха твоего голоса. Но у меня есть ключ, я знаю, какое лицо совершенно, а какое заурядно.

Но, показав мне совершенно заурядное лицо, ты ничего не сообщил мне, оно только код, точка

отсчета, классическая модель. Пойми, не потрясений я жду — сообщения о тебе. Посылая мне безликий образчик, ты умолчал о себе. Так измени его, сомни, но постарайся, чтобы я все-таки догадался, от чего ты ушел. Нос посреди лба не смутит меня.

Другое дело, что я упрекну тебя в неискусности, в грубой прямолинейности: начинающий музыкант трубит во всю мочь, лишь бы его услышали; поэт доводит свой стиль до гротеска, лишь бы заметили, что у него есть стиль.

Храм построен? Убери леса. Зачем мне знать, как ты его строил. В совершенном творении не заметны швы и стыки. Не нос главное, и не стоит привлекать к нему все мое внимание, поместив его на лбу. Не стоит выбирать самое яркое слово, оно заслонит образ. И образ не должен быть чересчур броским, иначе он нарушит стиль.

Я жду от тебя того, что ничуть не похоже на материал, из которого ты ладишь ловушку. Ожидаемое сродни молитвенной тишине в храме, сложенном из камней. Ты твердишь, что презираешь материал, что доискиваешься до сути, и, обуреваемый похвальным стремлением донести до меня свое труднодоступное послание, громоздишь такую необычайную мышеловку,

что я, подавленный ее величиной, пестротой и причудливостью, уже не различаю маленькой мышки, ради которой ты ее громоздил.

Пойми, если я признал, что ты красноречив, остро умен, что сыплешь парадоксами, — значит, я не получил от тебя письма, ты просто выступил жонглером на ярмарке. Ты потратил силы впустую, выставил себя, превратив в товар, но я не покупатель. Не важнее ли завоевать мою душу? А пока я посмотрел, как ты размахиваешь цветными тряпками, пугая воробьев, и пошел дальше искать себе пристанища.

Вожатый покажет мне путь, но пройду его я сам, он оставит меня в одиночестве, уверив, будто я сам открыл Вселенную. Я шел за ним, но нашел свое.

Однако не думай, что сделаешься ненавязчивым вожатым, протянув мне гладкий шар с едва намеченными носом, губами, подбородком, — если ты так презираешь средства, которыми пользуешься, не навязывай мне тогда и мрамора, глины, бронзы, они еще материальное, чем форма губ.

Ненавязчив тот, кто не выпячивает передо мной свое видение, а помогает увидеть мир таким, каким увидел сам. Ты обошелся без носа,

я сразу заметил это, потому что видел за свою жизнь много лиц, но зачем мне знать о твоей нелюбви к носам? И если свою статую ты поставишь в темный угол, я тоже не сочту тебя ненавязчивым.

Единственная и впрямь невидимая картина, от которой нечего взять, — стертый образ.

А вы огрубели, вам кажется, что надо орать во всю глотку, чтобы вас расслышали.

Не рисуй мне пестрого ковра, он одномерен, красноречив для глаз, нем для души и сердца.

CXXXV

Твой блаженный остров — мираж, я хочу, чтобы ты это понял. Тебе кажется, что на воле, среди рощ, лугов и пестрых стад, на просторе, возвышающем душу одиночеством, в горении безграничной любви ты устремишься вверх, будто дерево. Знай, самые стройные деревья, которые я встречал, выросли вовсе не на вольном просторе. Свободные не торопятся расти, они медлят, ощупывая пространство, и вырастают причудливыми и узловатыми. Растущие в девственном лесу, окруженные соперниками, крадущими у них свет, рвутся к солнцу вертикалью, похожей на крик о помощи.

Остров не усилит в тебе чувства освобожденности, не поощрит рвения, усердия и страсти.

Если ты жаждешь уединиться в пустыне — я не имею в виду мечту об отдыхе, что баюкает тебя в городской суете и спешке, — пустоту пустыни нужно оживить, чтобы она питала душу и сердце, чтобы питала усердие и рвение, — твою пустыню нужно пронизать силовыми линия ми. Их может напрячь природа, может — царство.

В твоей пустыне я размещу колодцы, но скупо,

очень скупо, чтобы путь к каждому из них стал ощутим. Чтобы на седьмой день ты начинал беречь в бурдюках воду. Чтобы мечтал добраться до колодца. Чтобы добирался и ощущал себя победителем. Хотя, может быть, дорогой терял одного или двух верблюдов — слишком долог путь по бесплодной пустыне. Однако принесенные жертвы делают колодец еще драгоценней. Караваны, что не сумели до него добраться и погибли в пути, осеняют его особой славой. Белеют кости на твоем пути, и вдали светится колодец.

Ты готовишь караван в дорогу, проверяешь вьюки с товарами, подтягиваешь веревки, укрепляешь кладь, смотришь, сколько запасено воды, ты обращен к лучшему в самом себе. И вот ты отправился в дальнее селенье, твое желание попасть в него сделало воду в колодцах благословенной драгоценностью. Колодцы посреди раскаленных песков, которые ты преодолеваешь, — ступени лестницы; пески — твой враг, ты его побеждаешь, ибо танец начат и ты должен станцевать его до конца. Потому что тебя подчинил себе уклад пустыни. Потому что я ращу не только мускулы, но и душу.

Но вот я захотел, чтобы ты стал еще богаче, чтобы колодцы, будто магниты, притягивали и

отталкивали, а пустыня лепила тебя, словно руки скульптора, придавая форму душе и сердцу, и я населил ее врагами. Я отдал врагу все колодцы, и для того, чтобы напиться, тебе понадобится хитроумие, мужество и умение побеждать. Ты будешь идти по чужой земле, завися от племени, которое живет на ней, жестокого или не очень, сходного с тобой в обычаях или чуждого тебе, и шаги твои будут то громче, то тише, то осторожнее, то беззаботнее, а пройденный путь каждый день будет иным и особым, хотя все та же пустыня тянется перед твоими глазами. Все вокруг намагнитится, напряжется, однообразная бескрайняя желтизна окажется многоцветней благодатных краев с голубыми горами, зелеными долинами, пресными озерами и травой на лугах.

По своей пустыне ты идешь, как приговоренный к смерти, а потом как отпущенный на свободу, то приготовившись к любой неожиданности, то избавленный от всех неожиданностей, то как преследователь, а то с болезненной осторожностью, будто в спальне любимой, сон которой боишься нарушить.

И хотя твои странствия чаще всего будут мирны и благополучны, окружающее потеряет для тебя свою монотонность, неукоснительно будешь сле-

довать ты распорядку к которому принудила тебя пустыня, а танец твой будет щедр на выдумку, богат и разнообразен.

И вот что еще примечательно: если я отправлю с твоим караваном путешественника, который не знает твоего языка, твоих опасений, надежд и радостей, который увидит только, как похлопывают верблюдов твои погонщики во время нескончаемого пути по однообразным бесплодным пескам, он почувствует лишь томительность нескончаемого пути и будет зевать всю дорогу и ничего не откроет для себя в моей пустыне. Он увидит не колодец, а дырку в песке, которую нужно бы расширить. Враги? Откуда ему догадаться о врагах? Враг невидим, он подобен пригоршне семян в руке ветра, для знающего эта малость преобразила всю округу, как щепотка соли воскресную похлебку.

Если я сумею подчинить тебя правилам игры моей пустыни, власть ее над тобой будет так велика, что какой бы ты ни был в городе себялюбец, пошляк или циник, какой бы ни был бездельник и лентяй в оазисе, достаточно будет одного-единственного странствия, и в тебе расцветут душа и сердце. Ты вернешься ко мне, сбросив старую кожу, и захочешь жить жизнью сильных. Если

я сумею приобщить тебя к языку пустыни — не пустыня главное, главное — напрягающий уклад жизни, — то пустыня, будто солнце, заставит тебя выпустить росток и расти.

Ты пройдешь через нее, словно через сказочные кипящие котлы, и когда выйдешь на другом берегу, то радостно рассмеешься, ощутив свои силу и мужество; женщины сразу признают в тебе того, кого ищут, и твоего пренебрежения будет достаточно, чтобы приручить их.

Разве что сумасшедший понадеется осчастливить людей, исполнив их желания; он увидел: они в пути, он поверил: цель для них главное. Будто есть у людей какая-то цель.

Еще и еще повторяю тебе: всего важнее для человека — туго натянутые силовые линии, они держат его в напряжении, рождают рвение, усердие, одухотворенность, важны эхо, отзывающееся на каждый шаг, нужда в колодцах и трудность горнего подъема. Тот, кто вскарабкается на вершину, ободрав колени и локти, не сравнит свою радость с умеренным удовлетворением оседлого, который в воскресный день втащил свои одряблые телеса на пригорок и разложил их на травке.

Все размагнитится, стоит тебе уничтожить Бо-

жественный узел, связующий все воедино. Видя, что человек силится дойти до колодца, ты решил, что главное — колодцы, и накопал их великое множество. Видя, как дожидаются люди воскресного отдыха, ты сделал воскресеньем каждый второй день. Видя, как люди жаждут бриллиантов, ты раздал каждому по блестящему камешку. Видя, что люди боятся врагов, ты изничтожил врагов. Видя, что люди хотят любви, ты построил веселый квартал величиной с добрый город, где все до единой женщины продаются. И вот тут стало ясно, что ты круглый дурак. Ты похож на моего игрока в кегли: он думал, что чем больше кеглей собьют его рабы, тем ему будет веселее.

Но не подумай, что главное для меня — неудовлетворенные желания. Конечно, желать необходимо, без этого не напрягаются силовые линии. И колодец, даже если он рядом, нужен тебе тогда, когда тебе захотелось пить. Но если колодец недоступен и ты никогда не ходишь к нему по воду, то его словно бы и нет для тебя. Как нет случайной прохожей на улице, она для тебя невидимка. Она идет с тобой рядом по тротуару, но дальше от тебя, чем та, что живет в другом городе, потому что вышла туда замуж. Но вмиг все изменится, если я расположу связующие нити так, что ты

сможешь мечтать, как ближайшей ночью придешь с лестницей к окну незнакомки, похитишь ее и помчишь, перекинув через седло, в свой охотничий домик. Или сделаю тебя солдатом, а ее — королевой, и ты сможешь мечтать, что погибнешь ради нее в сражении.

Нет проку в искусственных нитках, что связывают все вокруг понарошку. Но если ты в самом деле жаждешь бриллианта, то почему бы тебе не приближаться к нему не спеша, год от года замедляя шаги, чтобы воодушевление страсти озаряло тебя до конца твоих дней? У тебя самого сил на это не хватит, рано или поздно иссякнет твое рвение, о нем должен позаботиться я. Неторопливость должна диктоваться укладом жизни, он свяжет тебя и запретит торопиться, а ты изо всех сил будешь ему противиться. Ты спешишь, я препятствую твоей торопливости. Я не запрещаю тебе иметь бриллиант — недоступный, он потеряет для тебя всякую цену: посмотрел и прошел мимо. Я не дарю его тебе, мне нужны твои усилия, но всамделишные усилия; искусственные препоны — жалкая пародия на жизнь. Обогатишься ты, только преодолев мощное силовое поле. Дать тебе сильного врага — вот моя главная забота. Только так я помогу тебе. И нечему удивляться:

силовое поле всегда создается двумя полюсами.

Ты обогащаешься, копая колодец, ожидая отдыха, добывая алмаз, завоевывая любовь.

Ты скудеешь, если у тебя уже есть колодец, досуг, бриллианты, возможность любить, когда хочешь. Или если ты мечтаешь об этом, не пошевелив и пальцем, чтобы добиться.

Но не думай, что желание иметь и обладание — антиподы, их противопоставили друг другу слова. В жизни есть еще ты сам — человек, ты снимаешь все противоречия. Если жажда заполучить в тебе и впрямь смертельна и мешают тебе не досужие выдумки, а сама жизнь, если она твоя соперница и напарница в танце, — ох как ты запляшешь! Но если ты взращиваешь в себе хотение, запрещая себе брать с полки пирожок, то скажу тебе прямо: ты маешься дурью.

Много ли проку от игры с самим собой в орла или решку? Если в моей пустыне слишком много колодцев, пусть Господь наведет порядок, уничтожив лишние.

Силовые линии должны тяготеть над тобой, напрягать, направлять, толкать вверх и вперед, всякий раз они будут явлены тебе как некие обстоятельства, отнюдь не всегда благоприятные, но не оценивай! Их языка ты еще не постиг. А я,

пытаясь объяснить тебе суть этого языка, рассказал тебе о пустыне, о пути от колодца к колодцу.

Так не уповай на чудесный остров, похожий на запасенное впрок благо, блага в нем не больше, чем в обильной жатве деревянных кеглей. Ты на нем превратишься в сонного вола. Сейчас сокровища твоего острова кажутся тебе нетленными, но как скоро ты перестанешь их замечать! И чтобы сделать их опять сокровищами, мне придется придумать для тебя пустыню, натянуть силовые линии, сотворить картину, драгоценную своей цельностью, но далекую от вещественности. Если я захочу сберечь для тебя твой остров, я подарю тебе уклад жизни, в котором остров будет главным сокровищем.

CXXXVI

Если ты хочешь рассказать мне о немощном, бледном солнце, скажи «октябрьское солнце». Солнце в октябре, холодея, делится с нами угасанием старости. Но солнце ноября, декабря еще ближе к смерти, и ты начинаешь толковать мне о нем. Я отвернулся — ты мне больше неинтересен. Ибо теперь ты делишься не предчувствием смерти, а своим удовольствием предчувствовать смерть.

Если слово гордо вздыбит голову посреди фразы, отруби ему голову. Для чего показывать мне слова? Фраза — ловушка, она должна что-то уловить. Зачем же привлекать мое внимание к ловушке?

Ты ошибаешься, если думаешь, что передаваемое тобой возможно уместить в слове. Будь это так, ты сказал бы «печаль» — и я бы опечалился… Но не слишком ли это просто? Конечно, мы пользуемся своеобразной мимикрией и подделываемся под услышанные слова. Я сказал «разыгрался шторм» — и ты ощутил легкое покачивание. Я сказал «воину грозит смерть» — и ты слегка обеспокоился судьбой моего солдата.

Такая у нас привычка. Мы это делаем не всерьез. Единственное, что можно сделать всерьез, это привести тебя туда, откуда ты увидишь, каким мне представляется мир.

Стихи, поэтические образы — вот моя возможность воздействовать на тебя. Я не объясняю тебе то или это и не внушаю это или то, как полагают, говоря о трудноуловимых образах, потому что важно не то и не это — важно, чтобы ты стал вот этим, а не другим. В статуе при помощи рта, носа и подбородка я создаю некий лад, заманивая тебя в сети; заманиваю и поэтическими образами, ясными и неясными, желая тебя изменить.

Если в моем стихотворении мерцает лунный свет, не подумай, что я назначаю тебе свидание только при луне. Нет, и при солнце, и дома, и любящим. Я хочу встречи с тобой. Лунный свет я выбрал как условный знак, желая, чтобы ты меня заметил. Воспользоваться сразу всеми знаками я не могу. Зато может случиться чудо: мое творение может разрастись, измениться, оно может стать подобием дерева, хотя поначалу было очень простым, — было семечком и ничем не напоминало кедр, — но из семечка возникли корни и ветви, когда оно распространилось во времени. И в человеке может что-то распространиться. Я могу дать

человеку что-то очень простое, что уместится в одной фразе, но мало-помалу наберу в нем силу, пущу ветви, корни и изменю его изнутри, и он станет другим и при луне, и любя, и дома.

Вот почему я говорю тебе, что картина, если она воистину картина, — это путь просвещения и облагораживания, путь культуры, на который я вывел тебя. Но ты не сумеешь сказать, чем распорядилась в тебе эта картина.

Может случиться, однако, что сеть моих силовых линий окажется для тебя слабой. Воздействие ее иссякнет вместе с концом страницы. Бывают семена с ослабленной всхожестью, бывают люди без творческого порыва. И все же ты мог бы постараться и прорастить это семечко, чтобы построить мир…

Когда я говорю «солдат королевы», то, думаю, всем понятно, что речь не идет об армии или власти, но о любви. Особой любви, что ничего для себя не ищет, стремясь приникнуть к неизмеримо большему, чем ты сам. Любви, которая облагораживает и возвышает. Солдат королевы сильнее, чем просто солдат. Посмотри, как чтит он свое достоинство, чтя свою королеву. Он никогда не предаст, хранимый любовью к королеве,

царящей у него в сердце. Ты видишь, каким гордецом он вернулся к себе в деревню, но смутился и покраснел, когда его спросили о королеве. Ты знаешь, его позовут воевать, он оставит жену и дом, но воюет он совсем не так, как солдаты короля, — те кипят ненавистью и готовы вколотить своего короля врагу в кишки. Солдат королевы любит, даже сражаясь, и учит любить других. И вот еще что…

Но продолжи я говорить, я пойму, что метафора исчерпала себя, — в общем, довольно слабая метафора. Я не смогу тебе сказать, что отличает солдата короля от солдата королевы, когда они сидят за столом и едят свой хлеб. Образ, картина, зажженная лампа светит во Вселенной, но освещает ничтожную ее часть.

Однако все, что стало для тебя очевидностью, обретает силу зерна, из которого ты можешь взрастить свой мир.

И я повторю: если ты заронил зерно, тебе нет надобности в толкованиях, теориях, догмах, поисках путей и средств воплощения. Зерно укоренится в земле людей, и у тебя появится тысяча тысяч последователей и помощников.

Если ты убедишь человека, что он — солдат королевы, твое царство — обогатится вожделен-

ным благородствам. И со временем все забудут о прекрасной королеве.

CXXXVII

Не забывай: слово — уже воздействие. И если ты хочешь понудить меня к действию, ничего мне не доказывай. Неужели ты веришь, что сдвинешь меня с места доводами? Я найду повесомее и двину их против тебя.

Случалось ли тебе снова влюбиться в женщину после того, как на суде она доказала, что была кругом права? Тяжбы озлобляют. Не вернет она тебя и постаравшись стать прежней, той, которую ты полюбил, от этой прежней ты и ушел. Я наблюдал, как бедняжка, что вышла замуж, растрогав сердце жалобной песней, накануне развода запела ее. Муж разъярился.

Но если разбудить в нем того, кто когда-то ее полюбил, он, возможно, к ней и вернется. Но это уже творчество, нужно что-то заронить в человеческую душу, как я заронил страсть к морю и дождался строителей корабля. Из семени растет и ветвится дерево. Может, муж и попросит снова спеть ему грустную песенку.

Ты полюбишь меня, если я проращу в тебе то, что ко мне потянется. Но не жалобами на страдания — они скоро опротивеют тебе. Не упреками

— они озлобят тебя. Не доводами, почему ты должна меня любить, — нет на свете таких причин и доводов. Основание для любви — любовь. Я не стану стараться быть таким, каким ты когда-то меня полюбила. Такого меня ты не любишь больше. Иначе была бы по-прежнему со мной. Я постараюсь разбудить в тебе что-то мое. И если во мне есть сила, ты увидишь вместе со мной ту картину, которая сделает тебя моим другом.

Позабытая мной будто ранила стрелой мое сердце, спросив: «Слышите позабытый вами колокольчик?».

Что же, в конце концов, я хочу тебе сказать? Часто поднимаюсь я на свою вершину и смотрю на город. Или брожу по нему в молчании моей любви, прислушиваясь к словам. Одни слова вызывают, не медля, действие, к примеру, отец приказал сыну: «Пойди принеси кувшин воды…» — или капрал солдату: «В полночь сменишь караульного…» Слова эти казались мне всегда плоскими.

Чужеземец, не зная нашего языка, видя, как верно слово служит насущному, мог бы решить, будто живем мы жизнью муравьев, отлаженной и одномерной. А я, глядя на повозки, дома, мастерские, рынки, больницы моего города, не находил

ничего отличного в нем от жизни стада, только животные моего стада были более деятельными, изобретательными, понятливыми. И для меня стало очевидным: обыденная жизнь не требует присутствия человека.

Однако, не зная языка, исходя лишь из порядков муравейника, невозможно было объяснить поведение горожан, что, усевшись в кружок на рыночной площади, самозабвенно слушали старика-сказителя, и, если он был талантлив, в его власти было поднять их и повести за собой поджигать город.

Мне случалось видеть, как преображалась мирная толпа, внимая хриплым пророчествам и, послушная им, пламенея, кидалась в пекло битвы. Ветер слов приносил что-то необычайное, раз толпа отказывалась от муравьиной жизни и превращалась в обреченный смерти гибельный пожар.

Те, кто уцелел после него, вернулись домой преображенными. Мне показалось, что не стоит ходить к колдунам за магическими заклинаниями, до меня и без них долетали магические слова и уводили от дома, работы, привычного уклада жизни, заставляя жаждать гибели.

Потому я и прислушиваюсь так пристально, отделяя пустые слова от действенных, определяя, что же они несут. Я не о содержании, оно не имеет значения, а если б имело, каждый был бы великим поэтом. Каждый увлекал бы за собой, воскликнув: «Вперед! На приступ! Запах пороха…» Попробуй позови их, они в ответ рассмеются. Как смеются над теми, кто ратует за доброту.

Но я слышал слова, которые доходили до сердца и изменяли людей. Я просил Господа просветить меня и на учить различать в ветре слов редкостные крупинки семян.

CXXXVIII

Я задумался, что же такое счастье, и, мне показалось, что-то понял. Оно представилось мне благодатным плодом жизненного уклада, который вытруживает в тебе день за днем душу, способную чувствовать себя счастливой, а вовсе не получением задаром множества бестолковых вещей. Бессмысленно снабжать людей счастьем как заготовленным впрок припасом. Много разного давал мой отец беженцам-берберам, но счастья не дал, тогда как в скудной, полной лишений пустыне я видел людей, лучащихся счастьем.

Не сочти, будто я хоть на миг подумал, что осчастливлю тебя, оставив в одиночестве среди нищеты и лишений. С еще большим основанием ты впадешь в безнадежное отчаяние. Просто я выбрал самый наглядный пример, желая показать, что счастье не зависит от того, сколько у тебя материальных благ, показать, что счастье зависит скорее от добротности жизненного уклада.

И если я убедился на опыте, что счастливых людей куда больше в монастырях и пустынях, где люди жертвуют собой, и куда меньше в изобиль-

ных оазисах и на благодатных островах, то это вовсе не значит, что я сделал дурацкий вывод, будто сытная пища во вред счастью. Нет, я понял другое: там, где больше всяческих благ, людям легче ошибиться, им начинает казаться, что счастьем и впрямь наделяют вещи, хотя одаряет им смысл, приданный этой вещи царством, отчим домом, родным краем. Живя среди цветущего изобилия, легче ошибиться и в причине несчастья: люди винят в своих бедах избытки, называют суетностью и хотят избавиться именно от них.

У пустынника и монаха ничего нет, источник их счастья очевиден, и они усердно и ревностно служат ему.

Жизнь аскета сродни вечной борьбе с врагом, ты можешь возвыситься, можешь погибнуть. Но если ты поймешь, в чем истинное счастье, и сумеешь быть ревностным и усердным на изобильном острове или в оазисе, человек, родившийся в тебе, будет более велик, чем тот, кого рождает пустыня; у многострунного инструмента звучание богаче, чем у одной струны. Сандал и эбен, шелк и бархат, изысканные яства и вина добавляли благородства благородному замку моего отца, где каждый шаг был исполнен смысла.

Позолоте на складе грош цена, она обретет цену, если ею позолотят дом, обратив его в дворец.

CXXXIX

Снова пришел ко мне пророк, день и ночь раздувал он в себе священное пламя гнева, тот самый пророк, что вдобавок еще и косил.

— Заставь их приносить жертвы, — сказал он.

— Заставлю, — согласился я. — Если частичка их богатств перестанет быть запасом впрок, потеряют они немного, зато как обогатятся чувством значимости своего богатства; богатство неощутимо, если ему не нашлось места в общей для всех картине.

Но он не слушал меня, клокоча яростью.

— Принудь к покаянию, — продолжал он.

— Обязательно, — согласился я, — пост поможет им сохранить вкус к пище, они лучше поймут голодающих не по своей воле, и, возможно, постясь, одни станут совершеннее и ближе к Господу, а другие не разжиреют.

Ярость по-прежнему клокотала в нем.

— Но полезнее всего их всех обречь на мучения…

Я понял: если выдать человеку жесткую подстилку, лишить хлеба, света, свободы, мой пророк станет к людям терпимее.

— …потому что нужно в них уничтожить зло, — сказал он.

— Ты рискуешь их просто уничтожить, — отвечал я ему. — Может, лучше не уничтожать зло, а растить добро? Устраивать празднества, которые облагораживали бы? Одевать получше, чтобы не носили лохмотьев? Сытнее кормить детей, чтобы они учились молиться, не мучаясь голодными резями в животе?

Дело совсем не в том, чтобы урезать необходимое человеку, дело в том, чтобы сохранить силовые линии, они одни поддерживают в человеке человеческое, — сберечь картину, она одна значима для его души.

Кто способен построить лодку, пусть правит лодкой, я отправлю его рыбачить. Кто способен построить корабль, пусть строит, я отправлю его завоевывать мир.

— Я вижу, ты хочешь сгубить их изобилием!

— Я пекусь не о запасе впрок, не хочу жить, потребляя готовое, — ответил я. — Ты ничего не понял.

CXL

Если ты собрал жандармов и поручил им построить царство, как бы ни было оно желанно, царство не выстроится, потому что жандармы не из тех, кто воодушевляет людей. Жандармы заняты не людьми, а исполнением твоих приказов, конкретных приказов: необходимостью платить налоги, не воровать у ближнего, соблюдать такие вот правила. Душа твоего царства — его внутренний уклад, он лепит такого вот человека, а не иного, он напрягает силовые линии, которые одухотворяют человека. Что смыслят жандармы в одухотворенности? Жандармы — стены, жандармы — опорные столбы. Они безжалостны, но не ставь им безжалостность в вину, столь же безжалостна ночная тьма, лишившая нас солнца, необходимость иметь корабль, чтобы переплыть море, выходить через дверь справа, раз нет двери слева. Так оно есть, и ничего больше.

Но если ты расширишь полномочия жандармов и поручишь им судить, каковы люди, изничтожая то, что они сочтут по собственному разумению злом, то получится вот что: поскольку нет в мире ничего одномерного, поскольку мысль челове-

ческая текуча и не вмещается в слова, поскольку слова противоречат друг другу, а жизнь не знает противоречий, в твоем царстве останутся на свободе и будут распоряжаться одни пустозвоны и негодяи — те, кого не отвратила от соучастия твоя безобразная пародия на жизнь. В твоем царстве порядок будет предшествовать усердию дерева, а дерево должно будет вырастать не из семечка, а из разработок логиков. Упорядоченность — следствие жизнедеятельности, а никак не ее причина. Порядок — свидетельство силы города, но никак не источник этой силы. Жизнь, страсть и усердие создают порядок. Но порядок не создает ни жизни, ни усердия, ни страсти.

В твоем царстве возвеличатся те, кто из низости души согласился жить в послушании у пискливой разноголосицы идей, которую жандармы возвели в закон и объявили руководством для жизни, кто принес в жертву свою душу и сердце пустому громыханию слов. Как бы ни был высок твой идеал человека, как бы ни была благородна цель, знай — все станет низко и тупо в руках жандармов. Не облагораживание дело жандарма — запрет, и жандарм запрещает, не ища понять почему.

Свободный человек, направляемый силовыми

линия ми безусловных принуждений, которые и есть незримые жандармы, — вот справедливость моего царства.

Поэтому я созвал жандармов и сказал:

— В вашем ведении только те поступки, которые поименованы в уложении. Я принимаю вашу несправедливость, хотя она может быть ужасной, в вашей стене нет ворот, и порой она в помощь грабителям: ограбленная женщина зовет на помощь за стенами города. Но стена есть стена, и закон есть закон.

Однако я запрещаю вам судить и осуждать людей. В молчании моей любви я понял: если хочешь понять человека, не слушай его. Не в моих силах понять, где добро, где зло, искореняя зло, я и добро могу бросить в топку А тебе, откуда видеть тебе, что хорошо и что плохо, если я тебя сделал слепой стеной?

Пытая, я узнал, что вместе со злом выжигаю и добро, оно видно при вспышке огня. Но, спасая целое, я жертвую ему частью. Казнью преступника я подтягиваю рессоры, которые не должны ослабнуть в пути.

CXLI

Я начну свою речь так:

— Человек! Тебе мешают осуществить свои желания, ты тяготишься своей силой, тебе не дают выпрямиться и расти! И ты согласишься со мной, потому что и впрямь неудовлетворен в своих желаниях, тяготишься нерастраченными силами и тебе мешают выпрямиться и расти.

И ты пойдешь за мной сражаться против государя за общее равенство.

Или я скажу по-другому:

— Человек! Ты нуждаешься в любви, а она рождается вместе с деревом, которым вы станете, став единым целым.

И ты согласишься со мной, потому что и впрямь нуждаешься в любви, а она возникает вместе с общим делом, которому служишь и ты.

И ты пойдешь за мной сражаться за то, чтобы вернуть государю трон.

Теперь ты видишь: я могу сказать тебе все, что угодно, потому что все — правда. Но если ты спросишь меня, как узнать заранее, какая из правд будет более живительной и плодотворней, я отвечу: та, что может стать ключом свода, общим для

всех языком и разрешением твоих противоречий. Мне неважно, красивы мои слова или нет. Важно, чтобы они помогли тебе обрести позицию. И если, приняв мою точку зрения, ты увидишь, что непримиримые для тебя противоречия исчезли и ты можешь смотреть на вещи по-новому, то что за беда, если здесь я выразился неуклюже, а там ошибся? Ты прозрел, только этого мне и хотелось, я принес тебе не цепочку рассуждений — привел на вершину горы, откуда тебе открылись новые просторы и ты можешь по-иному рассуждать.

Да, существует множество языков, объясняющих тебе устройство мира и тебя самого. Языки эти враждуют друг с другом, и пусть. Связные языки, основательные. Равноправные. Ты не осилишь противника доводами, у него правоты не меньше, чем у тебя. И враждуете вы во имя Господа.

— Человек производит и потребляет…

Правда, производит и потребляет…

— Человек пишет стихи и читает по звездам…

Правда, пишет стихи и читает по звездам…

— Человек обретает высшее блаженство в Господе…

Правда, радости он учится в монастыре…

Но нужны слова, которые уместили бы все вы-

сказанное разом, отдельные суждения — повод для взаимной ненависти. Светлое поле сознания слишком узко, и каждый, кто обрел для себя истину, не сомневается, что все остальное человечество лжет или заблуждается. Но правы и правдивы все.

Я живу каждый день и убедился: производить и потреблять насущно, но не сущностно, кухня в замке насущна, но существа его она не определяет. Это соотношение важно для меня. Насущное мне не в помощь для главного. Почему бы мне не решить: «Главное для человека — здоровье» — и на этой основе построить свое царство, сделав врача судьей поступков и мыслей? Но на собственном опыте я убедился: здоровье — средство, оно не цель, и пусть так оно и будет у меня в царстве. Если ты не поглупел окончательно, ты увидишь и так: существуют производство и потребление, незачем их возводить в главный принцип, незачем внедрять особый режим для сохранения всеобщего здоровья. Семечко было единым, но как преобразилось по мере роста; единой была картина мира, но как разнообразна выросшая на ее основе культура, и вы будете все разными в соответствии со своим складом и состоянием, но, чтобы расти, все вы нуждаетесь

в сущностном, внятном для души животворящем семени.

Вот что я скажу о человеке: «Человек сбывается лишь благодаря напряжению силового поля, человек понимает других, когда все вы вместе чтите одно божество, человек радуется, тратя себя на любимое дело, он умирает счастливым, если осуществил себя в нем, человек расточает запасы, вдохновляет его целостная картина мира, человек всегда стремится узнать и воодушевляется тем, что узнает, человек…»

Определяя человека, главное не исказить, не нарушить воодушевляющей его устремленности. Если во имя порядка я должен жертвовать духом творчества, мне не нужен такой порядок. Если должен пожертвовать силовым полем в угоду желудку, не стану потворствовать культу желудка. Но не желаю и порчи человека среди хаоса в угоду творческому духу, мне не нужно самосжигающее творчество. Так же, как не нужны жертвы ради силового поля. Если нет человека, то для чего оно мне, силовое поле?

Я — капитан, я бодрствую над своим городом. В этот вечер я намерен говорить о человеке, наше странствие будет зависеть от устремленности, которую я создам.

CXLII

Кому, как не мне, знать, что я никогда не достигну той очевидной непререкаемой истины, которая убедит всех моих противников, я и не ищу ее — я творю картину, творю образ человека, преисполненного сил, поощряю все, что мне кажется благородным, подчиняя благородству все остальное.

А значит, мне неинтересен человек-производитель, человек-потребитель, я не пожертвую ему в угоду пылкостью любви, драгоценностью познаний, сиянием радостей, хотя постараюсь по мере сил ублажить и желудок, — я не вижу тут противоречия или хитрости, ведь и радетели собственного брюха всегда твердят, что не чужды духовности.

Если в моей картине достаточно силы, она пустится в рост, словно зерно, и, набрав в конце концов весу, перетянет колеблющихся на свою сторону. Скажи мне, разве страсть к морю не преображается в корабль? Никогда я не считал познания сущностным. Образованность и благородство — разные вещи, не знания облагораживают человека, благороден инструмент,

который их накапливает.

Под рукой у тебя всегда одни и те же составляющие, пренебречь нельзя ни одной, но картин из них можно составить великое множество.

Ты упрекнул мою картину в произвольности, упрекнул, что я подчиняю произволу людей, заставляя их, к примеру, умирать ради никому не нужного оазиса, только из-за того, что схватка — прекрасна; я отвечу: ничего не подтверждают твои доводы, картина моя сосуществует со множеством других, столь же подлинных, — боремся мы за божества, которым хотим служить и которые превращают дробность в целостность, а составляющие целостности всегда одни и те же.

Но если ты будешь рассказывать мне, что видишь ангелов, я не пойму тебя. Что-то от дешевого балагана видится мне в твоих ангелах. Если Бог так похож на меня, что я могу смотреть на Него, Он не Бог. А если Бог, то восчувствовать Его способен мой дух, но не чувство. Знание моего духа о Боге — трепет сродни трепету перед величавой красотой храма. Я — слепец, ищущий огонь, протянув ладони, мое знание об огне — тихое радование оттого, что вот я искал его и теперь нашел. (И если я говорю, что я изошел из Бога, то Бог и приведет меня к себе.) Посмотри на бла-

годенствие кедра, он благоденствует благодаря солнцу, погружаясь в него и не зная, что же такое солнце.

Единственный подлинный геометр, мой друг, говорил: «Нам свойственно уподоблять связующие нити, которые мы отыскиваем на ощупь, какому-то образу, картине, ибо путь нам неведом и неведомо, что за родник утоляет томящую нас жажду. И если я именую Богом неведомое мне солнце, что питает во мне жизнь, то правильность моего понимания картины мира может подтвердить только язык, которым я пользуюсь: если он снимает противоречия, картина моя достоверна.

Я стою и смотрю на город, этой ночью я — капитан корабля в открытом море. Ты уверен, что правит человеком выгода, стремление к счастью и рассудок. Я отвергаю выгоду, счастье и рассудок как главных властителей человека. Я понял: выгодой или счастьем ты привык именовать то, к чему человек тяготеет, и именуешь так самые разные вещи; мне нечего делать с медузами, что постоянно меняют форму. А рассудок, который найдет разумное обоснование для любого желания, кажется мне цепочкой следов на песке — оставило их неведомое. Разве рассудку понять,

разве охватить то, чего он не знает?

Нет, не рассудком руководствовался мой друг, единственный подлинный геометр. Рассудок толкует, выводит закономерности, упорядочивает, от причины к следствию доводит он дерево — от семечка до того дня, когда оно засыхает, но дальше рассудок бессилен, ибо нужно новое семечко.

Но я, стоя над городом, словно капитан корабля в открытом море, знаю: только дух ведет и управляет человеком, управляет им безраздельно. И если человек ощутил связующие нити и выразил их стихотворением, он заронил зерно в человеческое сердце, и зерну этому, словно слуги, будут служить выгода, стремление к счастью и рассудок, воплощая изменения растущего в тебе дерева биением сердца, тенями на стене реальности.

Нет у тебя защиты от духа. Я поставил тебя на вершину этой горы, а не другой, и ты не можешь отрицать, что города и реки расположены так, а не иначе, — они есть, и ничего больше.

Потому я и говорю, что принуждаю тебя сбыться. Я отвечаю за тот, за настоящий путь, которым движется мой корабль под взглядами звезд, а город мой спит, и, глядя на дела человеческие, только и увидишь что поиски выгоды, счастья и

повеления рассудка…

Путь, что ведет людей, незрим для них, они убеждены, что действуют из выгоды, ищут себе счастья, слушаются повелений разума, они не знают, что и разум, и счастье, и выгода меняют и облик, и суть, завися от царства.

В царстве, которое предлагаю я, главная выгода — увлеченность, ребенок всему предпочтет игру, которой увлекся. Счастье — трата себя на творение своих рук, что будет жить и после твоей смерти. Разум — натягивание связующих нитей путем превращения их в закон. Разум армии — устав, так, а не иначе соотнес он и соподчинил людей, оказавшихся в его ведении, разум корабля — корабельный устав, разум моего царства — свод его законов, обычаи, уклады, традиции, так, а не иначе согласуют они между собой общие для всех на свете вещи, создавая особое созвучие.

А я? Я — камертон, задающий тональность созвучию.

Ты, верно, спросишь: «Зачем тебе принуждение?»

Я обозначил картину и не хочу, чтобы она исчезла. Статую из глины я обжигаю в печи, чтобы прибавить ей твердости и долголетия. Моя исти-

на принесет плоды, укоренившись во времени. Как любить, если менять что ни день привязанности? Каких ждать подвигов во имя любви? Постоянство обеспечивает плодотворность твоим усилиям. Редко когда творят мир заново, если дадут тебе это пережить, то ради твоего спасения. Но нет беды хуже, чем переделывать мир заново что ни день. Чтобы появился в тебе человек, мне понадобится не одно поколение. Желая улучшить породу, я не вырываю каждый день росток, сажая новое семечко.

CXLIII

Я знаю одно: все рождается, живет и умирает. Вот ты собрал коз, овец, дома, горы, и родилась новая целостность, которая преобразит взаимоотношения людей. Какое-то время она будет жить, потом истощится и погибнет, исчерпав свою жизненную силу.

Рождение всегда сотворение неведомого, оплодотворение небесным огнем. Жизнь непредсказуема. Вот перед тобой яйцо. Оно незаметно меняется, следуя внутренней логике яйца, и в один прекрасный миг из него появляется кобра — как переменились твои заботы!

Вот строители, вот груда камней. Вот логика, управляющая строительством. Но приходит час, двери открывает храм, и, войдя в него, человек преображается. Как преобразились его заботы!

Я хочу облагородить жизнь, я заронил в тебя облагораживающее зерно, мне нужна длительность длиннее человеческой жизни, чтобы оно проросло, пустило ветки, оделось листвой, принесло плоды. Я не собираюсь менять картину каждый день, от изменений ничего не родится.

Величайшее из заблуждений — хотеть уместить

все в человеческую жизнь. Но кому передаст себя человек, умирая? Мне нужен Бог, который бы меня принял.

Я хочу умереть, зная, что все идет своим естественным чередом. Что мои оливки соберет мой сын будущей осенью. Тогда я умру спокойно.

Нет, не стоит слушать людей, если хочешь понять их. Вот я смотрю на своих горожан, никто из них не помнит о своем городе. Они знают о себе, что они архитекторы, каменщики, жандармы, священники, ткачи, думают, что заняты выгодами или добиваются счастья, и не знают, что любят, как не думает о любви жена, занятая домашними хлопотами. День — пространство, занятое суетой, хлопотами, перебранками. Но приходит ночь, и те, кто ссорился, нежно влюблены друг в друга, любовь прочнее словесного сквозняка. Мужчина облокотился на подоконник, глядит на звезды, он опять отвечает за спящих, за хлеб будущего дня, за покой лежащей рядом жены, такой уязвимой, хрупкой, преходящей. Любовь не надумаешь. Она есть.

Но слышна любовь, только когда тихо. Любовь к дому и любовь к городу. Любовь к городу и любовь к царству. В душе наступает небывалый покой, и ты видишь свои божества.

Занятые дневной суетой, люди не знают, что готовы пойти на смерть. Патетикой дурного тона сочтут они твои славословия городу, но ты можешь поговорить с ними об их успехах, удачах, выгодах. Они не подозревают, что счастьем обязаны городу. Их язык тесен, ему не вместить сущего.

Но если ты поднимешься повыше и отступишь во времени на несколько шагов вспять, сквозь людскую суетность, своекорыстие, смуту ты различишь медленное и плавное движение корабля вперед. И когда, несколько веков спустя, станешь искать следы прошлого, найдешь стихи, статуи, теоремы и храмы, все еще не погребенные под песком. Насущное растаяло, исчезло. И становится понятно: счастьем, успехом, выгодой люди считали жалкую тень подлинного величия.

Только так и движется человек, поверь мне.

Вот мое войско встало лагерем. Завтра утром я пошлю его в жаркое пекло пустыни драться с врагом. Враг — горнило для моего войска: испытывая, оно расплавит его, потечет кровь, и под знойным солнцем сабельный удар положит предел сотне отдельных удач и счастий. Но в сердцах моих воинов нет возмущения, они идут на гибель не ради человека — ради человеческого.

И хотя, я знаю, завтра многие примут смерть, я в молчании моей любви, бродя среди костров и шатров, не услышу благостных речей о смерти.

Здесь подшучивают над твоим кривым носом. Там ругаются из-за куска мяса. А тут, сбившись потеснее в кучку, кроют предводителя твоей армии так, что тебе невольно становится обидно… И если сказать кому-то из них, что в нем бродит хмель жертвенности, он рассмеется тебе в лицо, сочтя тебя глупцом и пустозвоном, который ни черта не смыслит в его драгоценной персоне. Что он, дурак? Да не собирается он умирать за своего капрала, который, прямо скажем, болван болваном и ничем не заслужил такого подарка! Но завтра он умрет за своего кап рала.

Нет, ни в одном из них ты не увидишь величия, что бросает вызов смерти и жертвует собой ради любви. И если доверишься ветру слов, то, медленно возвращаясь к своему шатру, ощутишь на губах горечь поражения. Солдаты твои насмешничают, ругательски ругают войну и кроют начальство… Все так, ты опять смотрел на матросов, что драят палубу и натягивают паруса, на кузнецов и гвозди, но, не видя дальше собственного носа, не заметил величаво плывущего корабля.

CXLIV

Вечером я осмотрел мои тюрьмы. И еще раз убедился: жандармы не умеют отличать виноватых от безвинных, они отправляют в застенок тех, кто верен себе, кто не умеет кривить душой, кто не в силах отречься от очевидной для него истины.

На свободе они оставили всех, кто отрекался, кривил душой и врал. Так запомни мои слова: «Как бы ни были благородны твои жандармы и ты сам, если ты сделаешь жандармов судьями, выживут одни подлецы. Любая правда, человеческая, а не тупицы-логика, покажется жандарму заблуждением и пороком. Жандарм добивается, чтобы на свете была одна книга, один человек и одно правило. Строя корабль, жандарм постарается уничтожить море».

CXLV

Я устал от слов, что дразнятся и показывают язык друг другу, мне не кажется нелепым знать, насколько помогли свободе мои принуждения.

Как послужила мужественность на войне нежности в любви.

Лишения — излишествам.

Примирение со смертью — радости жизни.

Почитание иерархии — счастливому ощущению себя равным всем, которое я называю сотрудничеством.

Отказ от жизненных благ — умению наслаждаться ими.

Безграничная преданность царству — личному достоинству.

Вот и скажи мне, чему ты хочешь помочь, если оставляешь человека одиноким? Я видел, каково оно, одиночество моих прокаженных.

Скажи, что хочешь вырастить с помощью свободы и изобилия? Я видел, что проросло в моих беженцах-берберах.

CXLVI

Объясняю тем, кто не понимает смысла моих принуждений. Малые дети, видя кувшины у себя в доме, считают, что кувшины — такие, и, увидев чужой, иной, недоумевают, что это с ним сделалось? Видя человека соседнего царства иным, — он любит, чувствует, жалуется, ненавидит иначе, — недоумеваешь и ты: для чего ему это понадобилось? Ты заблуждаешься, словно малое дитя. Прекрасный храм — краткий миг торжества человека над природой; если не знать, как уязвима его будущность, не возникнет нужды оберегать его. Ты не станешь оберегать храм, если не знаешь, что держит его ключ свода, подпирают колонны и контрфорсы.

Ты не замечаешь грозящей тебе опасности, видя в чужом творении кратковременное заблуждение, и только. Ты не понимаешь, что чужое творчество грозит уничтожить творимого мной в тебе человека, уничтожить его навсегда.

Ты считаешь, что свободен, ты оскорбляешься, когда я напоминаю о своих принуждениях. Но они не усатые жандармы, они незаметны и действенны, они сродни воротам в стене; ты де-

лаешь небольшой крюк, выходя из дому, но разве свобода твоя ущемлена?

Если ты хочешь увидеть силовое поле, что формирует тебя и заставляет так, а не иначе чувствовать, думать, любить, горевать, ненавидеть, приглядись к корсету, в котором ходит сосед, и тогда почувствуешь свой собственный.

Иного способа почувствовать его нет. Падающий камень не чувствует силы, притягивающей его к земле. Весом неподвижный камень.

Только противостоя, ощущаешь сдвигающую тебя силу. Для листка, летящего по воле ветра, нет ветра. Для свободно падающего камня нет веса.

Ты не замечаешь самых действенных принуждений, они подобны стене и незримы до тех пор, пока ты не вздумал поджечь город.

Ты же не замечаешь, что язык, на котором говоришь, тоже принуждение.

Принуждение — это упорядоченность, но незримая.

CXLVII

Я изучал княжеские указы, имперские законы, религиозные обряды, похороны, крестины, свадьбы — моего народа и других, в прошлом и в настоящем, ища непосредственную связь между душой народа и укладом, который вынянчил эту душу, наставлял, хранил. Но я не нашел такой связи.

Однако, имея дело с подданными соседнего царства, где требуют иных жертв, я чувствовал особый аромат их любви и ненависти, ибо каждый любит и ненавидит по-своему. И конечно, я задумался о причинах и спросил себя: «Как получается, что обычай, который, как мне кажется, упорядочил военные действия, которые так далеки от любви, пестуют именно любовь, и вот такую, а не иную? Какова же она, эта связь между душой и стенами, что ее окружают, рождая такую улыбку, а не другую — улыбку, какой улыбаются наши соседи?»

Занимало меня не пустое, живя жизнь, я успел убедиться, что люди сильно разнятся между собой, хотя непохожесть их тебе поначалу незаметна и не сказывается в разговоре, потому что

ты сам себе служишь переводчиком, подбирая на своем языке слова, больше всего подходящие к тому, что тебе передается на другом языке. И вот переводишь любовь любовью, справедливость справедливостью, ревность ревностью, радуясь вашей схожести, хотя каждое из этих слов наполнено для вас разным смыслом.

Исследуя одни слова, переходя от перевода к переводу, ты и будешь видеть лишь подобия, но то сущностное, что ты хотел бы понять, ускользнет от тебя.

Если хочешь понять людей, не слушай, что они говорят.

Существование различий неоспоримо. Любовь, справедливость, ревность, смерть, молитва, отношения с детьми, с государем, с возлюбленной, творчество, понимание счастья и успеха не совпадают у одного и другого.

Я видел, как человек сдержанно улыбается и опускает глаза, изображая скромность, довольный, что замечены его холеные руки, и такую же улыбку и опущенные глаза я видел у других, когда на ладонях их замечали мозоли. Одним придавали весу в собственных глазах золотые слитки в подвалах, а тебе эти люди со своими слитками казались омерзительными скупцами; другие об-

ретали то же горделивое удовлетворение, вкатив бесполезный камень на вершину горы.

И я понял, как нелепы мои попытки построить с помощью разума лестницу, что вела бы наверх. Попытка моя нелепа, как нелепы объяснения болтуна: глядя на статую, он объясняет очертаниями носа или величиной уха суть сказанного художником — томительность праздника, например. Суть — это пленница, пойманная в ловушку, но что общего у нее с ловушкой?

Я понял, что был не прав, пытаясь объяснить дерево, исходя из минеральных солей, тишину, исходя из камней, грусть, исходя из черт лица, благородство души, исходя из уклада, я нарушил присущую созиданию последовательность; мне нужно было бы постараться и прояснить, как растущее дерево заставляет перемещаться минеральные соли, стремление к тишине выстраивает камни, печаль меняет черты лица, строй души создает созвучный себе уклад. Строй души не выразить словами, чтобы уловить его, поддерживать и длить, мне предлагается ловушка в виде уклада, вот такого уклада, а не иного.

В юности я охотился на ягуаров. На проложенной ими тропе рыли яму, усаживали ее кольями, привязывали ягненка и забрасывали сверху тра-

вой. Я приходил на рассвете к ловушке и находил мертвого ягуара. Если знаешь повадки ягуаров, то придумаешь яму с кольями, ягненком и травой. Но если не видел ягуара в глаза, то, изучив яму, траву, колья, ягненка, ягуара не выдумаешь.

Потому я и говорю, что мой друг геометр был подлинным геометром, он чувствовал близость ягуаров, изобретал для них ловушки, и они в них ловились, хотя до поимки он и в глаза не видел ягуаров. Зато благодаря ему увидели ягуаров все остальные, они рассмотрели и поняли, как делаются ловушки, и принялись ловить весь остальной мир в яму с кольями и ягненком. Они исходили из логики: ловушка для того, чтобы ловить, и пожелали поймать истину. Но истина сбежала от них. Бесплодны и бессмысленны труды логиков до того дня, пока нет творца, он не знает, кто такой ягуар, но чувствует его и придумывает ловушку, он ведет тебя к попавшемуся ягуару с такой уверенностью, будто сто раз ходил по этой дороге.

Мой отец тоже был геометром, он создал свой уклад, стремясь залучить к себе таких людей, а не иных. Были другие времена, другие складывали свои уклады и залучали к себе других людей. Но пришло время близоруких логиков, историков,

критиков. Они изучают твой уклад, но не понимают, с каким строем души он в согласии. Путем логики не вывести человека, и вот, послушные ветру слов, который они именуют рассудком, логики ломают сколоченные тобой ловушки, рушат твой уклад и позволяют сбежать добыче.

CXLVIII

Я странствовал по незнакомым угодьям, постигая: повиновение каким запретам складывает человека. Моя лошадка неспешным шагом трусила проселком от одной деревни к другой. Дорога могла бы пройти прямиком по полю, но нет, бережно обогнула его, и я потерял несколько минут на объезд, повинуясь прямоугольнику ячменя. Я мог проехать прямо, но признал значимость поля и обогнул его. Прямоугольник ячменя потеснил мою жизнь, отнял малую толику времени, что могла бы послужить чему-то иному. Я подчинился ячменному полю, согласившись объехать его, мог пустить лошадь напрямик, но отнесся к нему почтительно, будто к святыне. Долго я ехал и вдоль стены, огородившей чьи-то владения, прихоти стены стали моей дорогой. Дорога моя чтила чужие владения и плавно волнилась по выступам и нишам стены. За стеной я видел макушки деревьев, они росли гуще, чем в наших оазисах, видел пруды с пресной водой, они поблескивали между ветвями. Слышал тишину. Вот ворота, затененные листвой. Здесь моя дорога раздвоилась, одна ее ветка потянулась служить

огороженному стеной владению, другая повела меня вдаль. Странствовал я неспешно, лошадь то спотыкалась о рытвину, то тянула шею к траве, пробившейся возле стены, и у меня появилось ощущение, что дорога моя, с ее уклонами и поклонами, с ее неторопливостью и задаром растраченным временем, была своеобразным обрядом, была залом, где ждут появления короля, была очерком лица властелина и каждый, кто следовал ей, в тряской ли тележке, на ленивом ли ослике, сам того не ведая, упражнялся в любви.

CXLIX

Мой отец говорил:

— Им кажется, чем больше у них слов, тем они богаче. Конечно, может быть словом больше, и слово это обозначит «октябрьское солнце», выделив его среди всех других солнц. Однако мне не кажется, что благодаря новому слову я что-то приобрету. Напротив, потеряю — потеряю ощущение связи октябрьских листьев, последних яблок и холодеющего солнца, которому никогда не стать знойным, потому что оно устало, наработавшись за лето. Немного на свете слов, что обозначают разом многое, благодаря которым я что-то выигрываю, но такие тоже есть, например слово «ревность». Я сказал его и передал тебе все изобилие связей в том, что им обозначил. Я сказал, например: «Жажда — это ревность к воде». Я же видел, как жаждут. Жажда ведь не изнурительная болезнь вроде чумы, что обессиливает тебя, вызывая тихие стоны. Нет, ты готов реветь и вопить, так ты жаждешь этой воды. И во сне тебе являются те, кто пьет ее. И вода, что течет неведомо где, кажется тебе предательницей. Как женщина, что улыбнулась твоему сопернику.

Твои терзания сродни терзаниям раненой любви, уязвленного воображения, они не похожи на физические страдания болезни. Ведь живешь не вещественностью — царством смысла вещей.

Твое «октябрьское солнце» мало чему поможет, оно частность.

Но ты стал бы и в самом деле богаче, если б я научил тебя из одних и тех же слов строить любые ловушки, для самой разнообразной добычи. Научил бы вязать узлы из слов, как вяжут их на веревке: один пригоден, чтобы поймать лисицу, другой для паруса, чтобы поймать ветер. Игра моих вводных предложений, игра времен и глагольных наклонений, ритм и дыхание моих периодов, энергия дополнений, аллитерации и повторы — сложный танец, который ты должен суметь станцевать, танец, который, будучи станцован, должен суметь передать другому то, что ты хотел сказать ему: книга — ловушка, возможность уловить то, что ты жаждешь настичь, постичь и понять.

— Наработав собственный стиль, получаешь доступ к постижению, — сказал как-то мой отец. — Постижение, — любил он повторять, — вовсе не накопительство множества чужих идей, не любование их разноголосицей. Познания — те

же вещи, коллекция или инструмент твоего ремесла, они пригодны, чтобы построить мне мост, добыть золото или сообщить, каково расстояние между столицами. Но справочник и человек — не одно и то же. Осознать, постичь вовсе не означает расширить свой словарный запас. Расширение словаря позволит тебе разве что быть смелее в сравнениях. Если ты хочешь приобщить и меня к воодушевляющей тебя страсти, только твой стиль вовлечет меня в стремящий тебя поток. Если нет стиля, а только обозначения, выжимки мыслей, что они мне? Ощутимое «октябрьское солнце» я предпочитаю новому слову, пустому для глаз и сердца. Твои камни — камни, и только, но, соединившись, они могут стать колоннами, а колонны превратятся в храмы. Если построения становятся все пространственней, значит, таков талант моего архитектора, стиль его требует мазков все крупнее и крупнее, все большее пространство подчиняет он своему стилю, все мощнее подчиняет своим силовым линиям камни. Строя фразу, и ты создаешь силовое поле. Только оно и значимо.

— Возьмем как пример дикаря, — предложил мне отец. — Ты можешь научить его множеству слов, и он станет несносным болтуном. Можешь

сообщить ему все свои познания, и он станет вдобавок высокомерным и спесивым. Тебе уже с ним не сладить. Он будет упиваться пустым плетением словес. А ты, слепец, примешься рассуждать: «Как же так? Моя культура, моя цивилизация не облагородила дикаря, а испортила его. Вместо мудреца, который должен был получиться, получился отброс, и делать мне с ним нечего. Только теперь я понял, как благородно и чисто было его неведение!»

Но не надо было делать дикарю подарков, желая поскорее от него отвязаться. Нужно было медленно формировать в нем стиль. Вместо того чтобы играть всевозможными сведениями, словно цветными шариками, забавляясь их мельканием и своим жонглерством, может быть, стоило взять этих сведений совсем немного, но с их помощью разбудить в несведущем желание пуститься в путь — только оно способно облагородить человека. Вот он оробел, примолк, ты как будто подарил ребенку коробку с мозаикой; не умея играть в нее, он с интересом прислушивается, как она громыхает. А ты показываешь ему, как цветные шарики складываются в одну картинку, в другую, говоришь, что картинок может быть великое множество, он задумывается, замолкает.

Он забился в уголок, наморщил лоб, в нем рождается человек.

Обучи сначала невежду грамматике, покажи управление глаголов, особенности предлогов. Вручи инструмент, а потом уже дай материал, над которым он будет трудиться. Несносные утомительные болтуны, распираемые всевозможными идеями, замолчат тогда и откроют для себя тишину.

Обретенная тишина — признак человеческой полноты и совершенства.

CL

Истину рождает с ней несхожее.

Ты удивлен? Но тебя же не удивляет, что вода, которую ты пьешь, хлеб, который ты ешь, преображаются в сияние глаз, не удивляет, что солнце становится листвой, плодами, семенами. Хотя в семени нет ничего схожего с солнцем и с будущим кедром тоже.

Порожденное не означает подобное.

Сродство в подспудном течении, оно незримо для глаз, для ума, его чует душа. Незримое течение я и имею в виду, говоря, что творение сродни Творцу, плод сродни солнцу, поэзия сродни жизни души, человек, которого я из тебя нарабатываю, сродни укладу моего царства.

Сказанное мной важно. Без чуткости к незримому, подспудно ощущаемому течению, ты не увидишь в несхожем преемственности, уничтожишь несхожее и лишишься возможности расти дальше. Ты станешь деревом, которое, не узнав в своих плодах солнца, отгородилось от солнца. Книги не могут рассказать о породившем их веющем духе, — ученый, тщательно изучив, как они построены, и построив свою книгу, пустую,

никчемную, не найдет для нее читателя: все разбежались.

Лучше логиков, историков, критиков чувствуют подспудное сродство мои мельники, пастухи, нищие. Ни пастуху, ни мельнику не понравится, если спрямить их прихотливый проселок. «Почему?» — спросишь ты. Потому что они его любят. Их любовь и есть то таинственное подспудное течение, что питает их. Любя, непременно обогащаешься. И неважно, что не умеешь сказать чем. А логики, историки, критики слышат лишь то, что умеют назвать. Но мне-то кажется, дитя мое, человек, ты только и делаешь всю жизнь, что, передвигаясь на ощупь по поверхности мира, нащупываешь свой язык. Мир ведь велик, нелегко уместить его в слова.

А логики, историки, критики доверчиво и простодушно согласились, что мир равен скудному содержимому их разноречивых идей.

Если ты воротишь нос от моего храма, уклада, проселка из-за того, что не умеешь выразить словом суть их даров, я ткну тебя носом в твою собственную несостоятельность. Ведь миры, где нет слов, чьей разноголосицей ты мог бы меня оглушить, нет зримых картин, которыми мог потрясать передо мной как вещественным дока-

зательством, все же посылают тебе весть, хоть она и несказанна? Ты ведь слушаешь музыку? Почему ты ее слушаешь?

Как все на свете, ты считаешь, что обряд погружения солнца в море очень красив. Почему ты так считаешь?

Поверь, если ты протрусил на осле вдоль проселка, о котором я тебе говорил, ты переменился. И что за беда, если не сможешь сказать, в чем и почему.

Все уклады, обряды, ритуалы, пути и дороги действенны, но не все хороши. Есть среди них и дурные, вроде пошлой музыки. Однако отличаю я хорошее от дурного не умствованием. Я сужу о них по тому, каков ты.

Если я хочу узнать, какова дорога, обычай или стихотворение, я смотрю, какой человек в дружбе с ними. Вслушиваюсь в ритм биения его сердца.

CLI

Мы ошибаемся, как ошиблись бы кузнец с плотником, утверждая, что корабль — это доски, сбитые гвоздями, что без досок и гвоздей нет корабля и, значит, плотник и кузнец на корабле главные и должны управлять им.

Мы ошибаемся, и ошибаемся всегда в одном и том же, нам непонятен истинный смысл того, что мы делаем. Не ковкой гвоздей, не обстругиванием досок рождается корабль. Страсть к морю и жажда плыть по нему рождает кузнецов и плотников. Корабль притягивает их к себе, как кедр вбирает песок и камни и вырастает с их помощью.

Плотники, кузнецы должны заниматься досками, гвоздями. Они должны знать толк в гвоздях и досках. Любовь к кораблю на языке кузнецов и плотников должна быть любовью к гвоздям и доскам. О корабле я буду говорить не с ними.

Мытарь собирает для меня налоги. Не он в ответе за благородство моего царства. От него я требую только послушания.

Я придумал быстроходный парусник, мне нужны другие гвозди, другие доски. Работники мои ропщут и возмущаются. Им кажется, я посягаю на

корабль, его суть для них в привычных гвоздях, знакомых досках.

Но суть корабля в моей страсти к морю.

Поменял я систему финансов, изменил налоги, ропщут и возмущаются мои мытари, ибо я разрушил царство, опорой которому была их косность.

Я велю им всем замолчать.

Я чту молчаливых. Если все они проникнутся моей верой, мне не придется вмешиваться и поучать, как ковать гвозди и стругать доски. Не мое это дело. Своим храмом зодчий вдохновил скульптора, и тот принялся за работу. Но не зодчему решать — улыбаться или не улыбаться статуе. Мы не можем тут ничего решить. Подобные решения — мнимые решения.

Процесс творчества мы поставили с ног на голову. Распоряжаться гвоздями, распоряжаться будущим. Какая нелепость! Нелепо регламентировать то, что чуждо регламентации. Порядок логики далек от порядка жизни: в свой час образуются и гвозди, и доски. Но начинать с них — значит понапрасну тратить силы на то, чего заведомо не будет. Длиной гвоздей, формой досок распорядится жизнь, и, следуя ее указке, их изготовят кузнецы и плотники.

Чем заразительней окажется моя страсть, влекущая тебя к морю, тем меньше я буду казаться тебе деспотом. Нет деспотизма в растущем дереве. Деспотизм — принуждать минеральные соли преобразиться в дерево. Но дереву питаться минеральными солями естественно.

Повторяю опять и опять: строить будущее означает неустанно обустраивать настоящее. Строить корабль — значит будить и будить страсть к морю.

Ибо нет — и никогда не было — логики, которая помогла бы тебе перейти из мира вещей в мир смысла, единственно сущностный для тебя мир. Поглядев на деревья, горы, города, реки, людей, не выведешь логически царства. Пропорции носа, подбородка, уха не обоснуют логически печали мраморного лица. Молитвенное сосредоточение в храме не объяснить, исходя из камней. Домашний уют не возникнет логически из стен и крыши, дерево — из минеральных солей. (Ты — деспот, если добиваешься небывалого, озлобляешься от неудач, винишь в них окружающих и жестоко наказываешь их.)

Нет логики в языке, нет логики и в преемственности. Ты не заставишь минеральные соли породить дерево, для него нужно семечко.

Только деланье исполнено смысла, но смысл его не уместишь в слове, потому что оно и творчество, и узнавание о созвучности одного многому, и путь, которым снисходит Господь к вещи, насыщая ее значимостью, цветом и движением. Царство наделяет таинственной властью свои деревья, горы, стада, рвы и крепости. Вдохновенное усердие ваятеля наделяет таинственной властью глину и мрамор, храм исполняет смысла камни, превращая их в хранилище тишины, дерево вбирает минеральные соли, чтобы перенести их в обитель света.

Два рода людей говорили со мной о созидании нового царства. Первые — логики, они строили его логически при помощи рассудка. Они — иллюзионисты. От них ничего не родится, потому что рассудок не умеет рождать. Картины их — картинки учителя рисования. Художник может быть и умен, но творчество его не от ума. Логик не может не быть бесплодным тираном.

Вторых воодушевляла некая очевидность, которой они не умели дать имени. Они были вроде пастухов или плотников, не слишком умны и не обладали даром рассуждать, но ведь творчество и не рождается от рассуждений.

Ваятель мнет и мнет глиняный ком, сам не

зная хорошенько, что из него получится. Он недоволен, он еще раз надавливает на ком большим пальцем слева. Потом снизу. Лицо, которое он лепит, все больше и больше сродни чему-то безымянному, что у него на сердце. Лицо это все больше напоминает то, что и не лицо вовсе. Честно говоря, «напоминает» не совсем удачное слово. Вот лицо вылеплено, оно соответствует тому, что словесно выразить невозможно, но передает то несказанное, что подвигло ваятеля на работу. И теперь это «что-то» легло, как когда-то ваятелю, нам на сердце.

Не рассудок растревожил ваятеля — дух. Потому я и говорю тебе: дух властвует над миром — не рассудок.

CLII

И вот что еще я тебе скажу: «Если перед нами не слепые рабы, то каждый думает то так, то этак. Не потому что люди непостоянны, а потому что очевидная для них истина не может отыскать слов себе по росту, вот они и берут немножко оттуда, немножко отсюда…»

Свобода, принуждение — что это, как не твое упрощение? Ты колеблешься, выбирая то свободу, то принуждение, но истина не в одном, и не в другом, и не посередине, она вне их. Каким чудом сможешь ты вместить эту истину в одно-единственное слово? Слова — тесные вместилища. И неужели все необходимое тебе для дальнейшего роста поместится в такой тесноте!

Как свободно льется твоя песня, ты импровизируешь, подыгрывая себе на гитаре, но разве я не должен был научить тебя петь, разве ты не тренировал свои пальцы? А ученье — всегда борьба, принуждение и терпеливость.

Ты свободно влезаешь на любую скалу, но разве я не тренировал твои мускулы? А тренировка — всегда борьба, принуждение и терпеливость.

Чтобы вольно текли стихи, разве не должно

натренировать руку и мозг, отточить стиль? Эта работа тоже борьба, принуждение и терпеливость.

Вспомни, к счастью приводит не поиск счастья. Если искать его, сядешь и будешь сидеть, не зная, в какую сторону податься. Но вот ты трудишься не покладая рук, ты творишь, и в награду тебя делают счастливым. А путь к счастью всегда борьба, принуждение и терпеливость.

Вспомни, красота приходит не тогда, когда ее ищешь. Если искать красоту, сядешь и будешь сидеть на месте, не зная, куда податься. Но вот ты завершил свое творение, и в награду тебе его наделили красотой. А путь к красоте — всегда борьба, принуждение и терпеливость.

Из борьбы, принуждения, терпеливости рождается и твоя свобода. Одарить свободой невозможно. Если искать свободу, сядешь и будешь сидеть, не зная, куда податься. Если ты наработал в себе человека и обрел царство, где не щадя себя трудишься, то в вознаграждение чувствуешь себя свободным. А путь к свободе всегда борьба, принуждение и терпеливость.

Ты не поверишь мне и даже оскорбишься, но я все же скажу, что братство не дается равенством, что и братство — награда, а равны мы все толь-

ко перед лицом Гос пода. Дерево — иерархия, но разве листва или ветки — это подавление корней или корни — угнетение листвы? Храм — иерархия. Он опирается на фундамент, и свод его замкнут ключом. Но можешь ли ты сказать, что ключ значимей фундамента? Чего стоит генерал без армии? Армия без генерала? Равны все перед царством, а братство дается как награда. Братство ведь не возможность амикошонствовать и хамить. Братство, повторяю тебе, — вознаграждение, даруемое твоей иерархией, твоим храмом, где кто-то фундамент, а кто-то ключ. Братство я видел в патриархальных семьях, где чтят отца, где старший брат опекает младших, а младшие доверяются старшему. Теплы были их вечера, праздники и возвращения домой. Но если все сами по себе, если никто друг от друга не зависит, а только перемешаны в кучу и толкают друг друга, будто шарики, где ты видишь братство? Если кто-то умирает, его тут же замещают другим, он не был ни для кого необходимым. Чтобы любить тебя, я должен тебя выделить, у тебя должно быть свое особое место.

Если я вытащил тебя из воды, я полюблю тебя, почувствовав себя в ответе за твою жизнь. Полюблю, выходив от тяжкой болезни. Я люблю

тебя, если ты — мой старый слуга и всю свою жизнь провел возле меня, словно ночник, или если ты пасешь мое стадо и я приду к тебе попить козьего молока. Я возьму у тебя, ты отдашь мне. Ты у меня возьмешь, и у меня найдется что тебе дать. Но о чем нам говорить с тем, кто с пеной у рта настаивает на нашем с ним равенстве, не хочет зависеть от меня и не хочет, чтобы я от него зависел. «Я люблю» означает, что твоя смерть всегда будет для меня невозвратимой потерей.

CLIII

Этой ночью, в молчании моей любви, я опять решил подняться на вершину горы и опять посмотреть на мой город, упорядочив его взглядом с высоты, город тихий и неподвижный, но на полдороге остановился, жалость остановила меня, я услышал жалобы, несущиеся с равнины, и захотел понять их.

Жалобилась скотина в хлеву. Жалобились лесные звери. Небесные птицы и приречные. У животных есть голос в караване жизни, растения безголосы, научился молчанию и человек, живя жизнью духа. Ты видел, как кусает губы и молчит больной раком, — из страданий суетной плоти растит он духовное дерево, что раскидывает ветви и множит корни, но не в царстве вещей — в царстве их смысла. Вот почему больше тебя молчаливое страдание. Молчаливое страдание заполняет комнату. Заполняет город. Нет расстояния, на котором его не услышать. Если вдалеке от тебя страдает любимая, любя ее, ты мучаешься ее страданием.

Так вот, я услышал, как жалуется жизнь. Ибо живы и хлев, и лес, и берега вод. Рожая, мычат

коровы в хлеве. Распевает любовь в каждом хмельном от лягушек болоте. Пронзительно вскрикивает насилие — квохчет отчаянно вересковая курочка в лисьей пасти, жалобно блеет козленок, которого ты предназначил себе в пищу И вдруг раскатывается хищный рык, вся округа смолкает, царит мертвая тишина, все живое обливается потом страха. Стоит хищнику зарычать, как каждая его жертва излучает ощутимое для него мерцание, словно весь лесной народец засветился. Но вот миновал цепенящий ужас, и снова твари земные, небесные, прибрежные завели свои жалобные песни, мучаясь родами, любовью, страхом смерти.

«Что ж, — подумал я, — скрипят повозки, жизнь перебирается от одного поколения к другому, и в этом странствии по времени пронзительно взвизгивают оси тяжело груженых телег…»

Так мне дано было что-то понять и о тоске человека, ибо и люди, покидая самих себя, перебираются из одного поколения в другое. День и ночь и по всем городам и весям преображается живая ткань, обрывается, латается кожа, и в себе самом я ощутил тянущую боль раны — мучительное, нескончаемое перерождение.

«Но ведь люди, — подумал я, — живут не ве-

щественностью, а таимым в ней смыслом, они должны передавать друг другу пароль».

Так оно и есть, и я вижу, как люди, стоит у них родиться ребенку, учат его разбираться в употреблении слов, как учили бы тайному шифру — ключу ко всем их сокровищам. Желая передать ему дорогостоящее наследство, они кропотливо торят в ребенке пути, по которым станет возможным доставить ему драгоценный груз. Ибо нелегко собрать воедино и поименовать эту весомую, но незримую жатву, которую одно поколение должно передать другому.

Да, эта деревня излучает свет. А этот деревенский дом согревает душу. Но если новое поколение расселится по домам, зная о них только то, что они предназначены для жилья, — что оно будет делать в этой пустыне? Ведь для того, чтобы твои наследники наслаждались игрой на скрипке, нужно обучить их музыкальному искусству, и, точно так же, для того, чтобы они стали людьми, нужно дать им возможность узнать человеческие чувства, на учить их видеть за дробностью мира единую картину — облик дома, владения, царства.

Если ты не научишь их видеть свою картину, новое поколение будет похоже на племя варва-

ров, раскинувшее лагерь во взятом приступом городе. Чем порадуют варваров твои сокровища? У них нет к ним доступа, раз они не получили ключа к языку, на котором ты говоришь. Для тех, кто ушел в смертную сень, деревня эта была музыкальным инструментом, особой струной была каждая ограда, каждое дерево, колодец, дом. У каждого дерева была своя история. В каждом доме был свой уклад. У каждой ограды свои секреты. Прогулка становилась мелодией, каждый шаг звучал по-особому, и ты складывал ту, какую хотел. Но варвар, остановившийся на постой, не умеет заставить петь твою деревню. Ему скучно, не умея проникнуть вглубь, он только и делает, что наталкивается на стены и рушит их, разоряя все вокруг. Мстя инструменту за свое неумение играть, он поджигает его, чтобы вознаградить себя хотя бы каплей света. А потом сникает и зевает со скуки. Нужно знать, что горит, для того чтобы свет был прекрасен, как пламя поставленной тобой свечи, осветившей лик твоего божества. Но пламя, охватившее твой дом, безмолвно для варвара — для него это не жертвенное пламя.

Меня преследует видение: новое поколение, как насильник, вторгается в обжитую раковину предыдущего. И мне показалось, что самое глав-

ное в моем царстве — уклад, ибо он принуждает человека передавать и принимать наследство. Мне нужен житель, а не кочевник, приходящий неведомо откуда.

Вот почему я принуждаю вас тщательно исполнять все обряды и ритуалы, и с их помощью я связываю рвущиеся нити, оберегая цельность моего народа, с тем чтобы ничего не потерялось из его наследия. Да, конечно, дерево не печется о своих семенах. Налетает ветер и уносит их, и это благо. Да, конечно, насекомые не пекутся о своем потомстве. Его растит солнце. Их единственное богатство — телесность, телесность они и передают.

Но что станется с тобой, если некому взять тебя за руку и подвести к собранному меду, он не вещественен, он — смысл этих вещей. Да, конечно, и ты увидишь в книге буквы. Но я должен изрядно тебя помучить, чтобы подарить тебе с их помощью ключ к стихам.

Я настаиваю: погребение должно быть торжественным. Дело ведь не в том, чтобы опустить тело в землю. Дело в том, чтобы не потерять ничего из того достояния, хранителем которого был усопший, чтобы оно не расточилось, словно из разбитого сосуда. Трудно спасти все до капли.

Долго приходится подбирать за мертвецами. Долго придется тебе оплакивать их, размышлять об их жизни, отмечать годовщины. Много раз придется тебе оборачиваться назад и смотреть, не потерял ли ты чего-нибудь сущностного.

Торжественной должна быть и свадьба, что приуготовляет вскрик рождения. Ибо дом, укрывающий вас, разом и хранилище, и житница, и запасник. Кто может перечислить, что в нем содержится? Нужно и вам копить умение любить, смеяться, наслаждаться поэзией, умение чеканить серебро, умение плакать и размышлять, с тем чтобы в свой час вам было, что передать. Я хочу, чтобы ваша любовь была кораблем, способным принять груз и перевезти его через пропасть, отделяющую одно поколение от другого, я не хочу, чтобы она была сожительством, основанным на проживании собранных запасов.

Торжеством должно быть и появление новорожденного, он и есть рана, которую придется сшивать.

Поэтому я требую церемоний и тогда, когда ты женишься, и когда рожаешь, и когда умираешь, когда разлучаешься и когда приезжаешь обратно, когда начинаешь строить, когда вселяешься в дом, когда жнешь хлеб и когда собираешь вино-

град, когда начинаешь войну и когда заключаешь мир.

Вот поэтому я требую, чтобы ты растил детей похожими на себя. Никакому наставнику не передать им твоего наследства, его нет в учебниках. Любой научит твоего ребенка тому, что ты знаешь, передав ему твой небольшой запас разноречивых идей, но, если отделить его от тебя, он лишится того, чего не найдешь в учебниках и не выразишь в слове. Расти их подобными себе из опасения, как бы жизнь для них не стала безрадостным постоем на земле, где гниют сокровища, от которых у них потерян ключ.

CLIV

Меня удручают чиновники моего царства, они пре исполнены довольства.

— Все хорошо и так, — твердят они. Совершенства все равно не достигнешь.

Спору нет, совершенство недостижимо. Назначение его в том, чтобы сиять тебе подобно путеводной звезде. Оно направляет тебя и ведет. И значим всегда только путь, нет наготовленного, которое позволило бы тебе сесть и отдыхать. Стоит исчезнуть силовому полю, что напрягает тебя, и вот ты уже подобен мертвецу.

А что, если мне неинтересна звезда, мне хочется сесть и подремать? Но где же ты сядешь? Где сможешь подремать? Я не вижу места для отдыха. Если ты нашел такое и отдыхаешь — значит, ты что-то преодолел. Но за отдыхом вновь — поле боя, где ты должен опять побеждать. Не превращай одержанную победу в паланкин, настаивая, что носилки и есть жизнь.

И с чем, если нет совершенства, сравнивать тебя, твое творение, чтобы ощутить счастье?

CLV

Ты удивлен, что я придаю столько значения моим обрядам, полевому проселку? Ты удивляешься, потому что слеп.

Взгляни на ваятеля, его мучает то, что невозможно сказать словами. Душа человеческая неуловима, другое дело — скелет, что остался от мертвеца. И, стремясь передать несказанное, скульптор лепит из глины лицо.

Ты идешь, ты проходишь мимо его творения, смотришь на вылепленное им лицо, может быть, грозное, а может быть, печальное, и продолжаешь свой путь. Но ты уже не тот, что был. Чуть-чуть, но все же другой — другой, потому что ненадолго, но поглядел в другую сторону, ненадолго, но все-таки поглядел.

Ваятель ощущает невыразимое, пальцы его мнут и мнут глину. Лицо из глины он поместил на твоем пути. И если ты следуешь этим путем, то и ты почувствовал то, что чувствовал он.

Не важно, что тысяча лет отделяет движение его рук от твоего пути.

CLVI

Налетела песчаная буря, обрушила на нас обломки хижин дальнего оазиса, туча птиц укрыла наш лагерь. В каждом из шатров были птицы, они жили с нами и, не пугаясь, охотно садились на плечо, но им не хватало пищи, и, что ни день, они гибли сотнями, мгновенно превращаясь в подобие древесной коры. Они заражали воздух, и я приказал подбирать их. Их складывали в огромные корзины и ссыпали крошащийся прах в море.

К полудню солнце побелело от зноя, и мы, изнемогая от жажды, впервые увидели мираж. Геометрически четкий город необыкновенно явственно отражался в спокойной воде. Один из нас, обезумев, пронзительно вскрикнул и пустился бежать к городу. Я понял: вскрик его, словно вскрик улетающей дикой утки, перебудоражил всех остальных. Все были готовы бежать вслед за одержимым, толкаясь и задыхаясь, к миражу, к гибели. Меткий выстрел сбил его с ног. Он был теперь мертвецом, и только; все образумились.

Один из моих солдат плакал.

— Что с тобой? — спросил я его. Я думал, он

оплакивает убитого.

Но он увидел на песке сухую, мертвую птицу и оплакивал небо, помертвевшее без своих птиц.

— Когда небо лишается крыльев, оно грозит и человеческой плоти, — сказал он.

Мы вытянули работника из нутра колодца, и он потерял сознание, едва успев дать нам понять, что колодец сух. В здешних местах есть подземные пресные воды. И на протяжении нескольких лет они текли к северным колодцам. Текли и позволяли течь по жилам животворящей крови. Сухой колодец пригвоздил нас к земле, словно булавка бабочку.

Всем невольно подумалось об огромных корзинах, полных сухой шелухи.

На следующий вечер мы добрались до колодца Эль Бар.

С наступлением ночи я собрал проводников.

— Вы обманули нас. Эль Бар сух. Как мне поступить с вами?

Чудесные звезды украшали эту горькую и великолепную ночь.

Вместо воды у нас были алмазы.

— Как мне поступить с вами? — повторил я проводникам.

Но что за польза от человеческой справедливо-

сти? Мы все должны были превратиться в сухую колючку…

* * *

Всходило солнце и за песчаным маревом казалось треугольным. На наши лбы будто собрались поставить клеймо. Солнечные удары валили людей с ног. Люди теряли разум. Но не миражи своими сияющими городами сводили их с ума. Не было больше миражей, не было отчетливого горизонта, не было четких очертаний. Будто дышащая жаром печь, окружал нас песок.

Я поднял голову: в мареве тлела бледная головешка, готовясь разжечь пожар.

«Бог собрался нас метить, как скот», — подумал я.

— Что с тобой? — спросил я спотыкающегося на каждом шагу человека.

— Ослеп.

Я приказал оставить в живых каждого третьего верблюда, остальным вспороть брюхо, и мы выпили ту жидкость, что была у них внутри. На оставшихся нагрузили пустые бурдюки, и я повел караван, отрядив несколько человек к колодцу Эль Ксур, о котором слухи были разноречивы.

— Если и Эль Ксур сух, — сказал я, посылая

их, — вы умрете там, как умерли бы здесь.

Они вернулись через два долгих медлительных дня, которые стоили жизни трети моих воинов.

— Колодец Эль Ксур — окно в жизнь, — сообщили они.

Мы напились и двинулись к Эль Ксуру, чтобы пить еще и еще и пополнить наши запасы воды.

Песчаная буря улеглась, и к ночи мы подошли к Эль Ксуру. Возле колодца росла колючка. Но первыми нам бросились в глаза не безлистые скелеты кустов, а чернильные кляксы на них. Мы не поняли, что это, но, когда приблизились к кустарнику, кляксы стали гневно взрываться. Вороны облюбовали его и теперь шумно поднялись в воздух; похоже было: сорвались лохмотья плоти, обнажив белизну костей. Стая была так плотна, что заслонила лунный свет, и мы оказались в потемках. Улетать они не хотели и долго кружили над нами хлопьями черной сажи.

Мы убили три тысячи ворон, потому что у нас кончилось продовольствие.

Какое это было празднество! Люди рыли в песке печурки, набивали их сушняком, что пылал, будто сено. Аромат жаркого носился в воздухе. Дежурный отряд не выпускал из рук двадцатипятиметровой веревки — пуповины, питающей

нас жизнью. Другой отряд обносил водой лагерь, словно обихаживал апельсиновый сад в засуху.

А я, по своему обыкновению, не спеша расхаживал по лагерю, глядя, как оживают люди. Потом я ушел от них и, затворившись в своем одиночестве, обратил к Господу такую молитву:

«На протяжении одного дня, Господи, я видел, как иссыхала плоть моего войска и как она ожила. Она была корой сухого дерева, но вот бодра и деятельна. Наше освеженное тело отправится, куда только пожелает. Но достаточно солнцу час провисеть над нами, как мы будем стерты с лица земли, мы и следы наших ног.

Я слышал, как они смеялись и пели. Войско, которое я веду за собой, несет с собой груз воспоминаний. Оно — узел множества жизней, текущих вдалеке. На моих воинов надеются, из-за них мучаются, отчаиваются, радуются. Войско мое не обособленность, оно — частичка огромного целого. И все-таки достаточно солнцу час провисеть над нами, как мы будем стерты с лица земли — мы и следы наших ног.

Я веду своих воинов завоевывать оазис. Они станут семенем для варварских племен. Они принесут наш уклад людям, которые о нем не ведают. Мои воины, что сейчас едят, пьют и живут, как

счастливое стадо, попавшее на плодородную равнину, изменят все вокруг себя — не только язык и обычаи, но и храмы, и крепости. Они перегружены силой, которая стронет с места вереницу веков. Но достаточно солнцу час провисеть над нами, как мы будем стерты с лица земли — мы и следы наших ног.

Они об этом не знают. Им хотелось пить, они напились и счастливы. Но колодец Эль Ксур спас для жизни стихи, города и чудесные висячие сады, потому что я решил украсить садами пустыню. Вода колодца Эль Ксур изменила облик мира. Но стоит солнцу час провисеть над нами, как мы будем стерты с лица земли — мы и следы наших ног.

Те, что вернулись первыми, сказали: «Колодец Эль Ксур — окно в жизнь». Ангелы уже приготовились собирать мое войско, словно сухую кору в свои корзины, и опрокидывать в Твою вечность. Мы сбежали от них через узкий прокол иглы. Я смотрю на своих людей и никак не могу опомниться. Давным-давно, поглядев на ячменное поле под солнцем, — ячмень — равновесие грязи и света, способное напитать людей, — я увидел в ячменном поле незримый путь, не ведающий, каким повозкам он служит и куда ведет. Теперь

я вижу: поднялись города, храмы, крепости и чудесные висячие сады из колодца Эль Ксур.

Мои солдаты пьют воду и думают только о своих животах. Довольство их — животное довольство стада. Они сгрудились вокруг прокола иглы. В глубине его — колыханье черной воды, стоит ведру ее потревожить. Но когда вода эта поит сухое зерно, которое не знает иной радости, кроме радости пить, в зерне пробуждается неведомая дотоле мощь и тянутся вверх города, храмы, крепости, расцветают чудесные висячие сады.

Но сбудусь я в своем народе, только если Ты будешь ключом свода, нашей общей мерой, смыслом и для друзей, и для врагов. Если Ты нас оставишь, Господи, и ячменное поле, и колодец Эль Ксур, и мое войско — лишь груда камней. Стараясь узреть в них Тебя, я различу стрельчатый город, что тянется вверх, к звездам».

CLVII

Вскоре нас разглядывал город. А мы — мы видели лишь его небывалой высоты красные стены, они высокомерно повернулись к пустыне, словно бы изнанкой, нарочито лишенной всяческих украшений, выступов и зубцов, откровенно не предназначенной для взглядов со стороны.

Ты разглядываешь город, а он разглядывает тебя. Он вздымает против тебя свои башни. Он присматривается к тебе из-за своих зубцов. Он распахивает или запирает свои ворота. Он может хотеть быть любимым и улыбается тебе, маня своими украшениями. Все города, которые мы брали, казалось, сами отдавались нам: так хороши они были, так изукрашены для стороннего взора. Бродяга ты или завоеватель — величавые ворота и нарядная главная улица примут тебя по-королевски.

Но до чего же стало не по себе моим воинам, когда стены, вырастая по мере приближения, так откровенно и с таким каменным спокойствием отвернулись от нас, свидетельствуя, что на свете нет ничего другого, кроме этого города.

Первый день мы потратили на медленный обход его стен, отыскивая в них трещину, неровность, пусть заложенный, но вход. Ничего похожего. Мы были досягаемы для ружейного выстрела, но ни один не потревожил мертвой тишины, хотя кое-кто из моих людей, не выдержав напряжения тревоги, вызывающе стрелял в воздух. И все-таки за этими стенами был город, он дремал, будто кайман, защищенный своей бронеей, и не снисходил до Тебя, не считая нужным ради тебя просыпаться.

С далекого холма, с которого невозможно было заглянуть внутрь города — города, заботливо скрытого стенами, мы увидели зелень, яркую и густую, словно кресс-салат. Но возле стен не росло ни былинки. Насколько хватало глаз, вокруг тянулась каменистая пустыня, иссушенная солнцем: так тщательно высасывал оазис воду только на свои нужды. Его стены, будто каска — волосы, спрятали в себе всю растительность. Мы бессмысленно топтались в нескольких шагах от рая, изобильного, с мощными деревьями, цветами, птицами, стянутого поясом стен, будто кратер базальтом.

Когда мои воины поняли, что в стене нет ни

единой щели, кое-кто из них ужаснулся. Ибо город этот на памяти людей ни разу не снарядил и ни разу не принял каравана. Ни один путешественник не принес в него вместе со своим багажом отравы чужедальних обычаев. Ни один торговец не ввел в его обиход незнакомой вещи. Ни одна пленница, захваченная вдалеке, не прибавила капли крови к их породе. И моим воинам показалось, что они ощупывают панцирь неведомого чудовища, у которого все не так, как у других племен. Ведь девственность самых затерянных островов нарушали кораблекрушения, и всегда находится между людьми то, что подтверждает их родственность в человеческом и располагает к ответной улыбке. Но если бы это чудовище показалось нам, оно не имело бы облика.

Были среди моих воинов и те, что не пугались; им щемила сердце неизъяснимая, особенная любовь. Как волнует душу красавица, что неизменна и постоянна, в чьей крови нет ни капли чужеродной крови, та, что сохранила в девственности язык своих верований и обычаев, что никогда не окуналась в котел, где вперемешку полощутся все народы, в котел, растопивший ледник в большую лужу. Как она прекрасна, эта возлюбленная, столь ревностно хранимая среди

ароматов своих садов и обычаев!

Но все мы, и я тоже, перейдя пустыню, остановились перед непроницаемым. Ибо тот, кто противостоит тебе, открывает тебе дорогу в собственное сердце, открывает свою плоть твоему мечу, и ты можешь надеяться, что победишь его, полюбишь или погибнешь. Но что ты можешь против того, для кого тебя нет? Боль пронзила меня, и тут мы заметили вокруг глухой и слепой стены полосу песка белее, чем остальной песок, ее выбелили кости, свидетельствуя о судьбе чужестранных посланцев, она была похожа на пенный след на утесе, что оставляют набегающие одна за другой морские волны.

Вечером с порога моего шатра я смотрел на твердыню неприкасаемости, что высилась посреди моего лагеря, размышлял, и мне показалось, что город, который мы стремились завоевать, осадил и завоевывает нас. Если ты вдавливаешь твердое округлое зерно в рыхлую почву, вовсе не земля, окружившая его, взяла его в плен. Прозябнув, зерно возьмет верх над землей. «Если за этими стенами, — думал я, — есть неведомый нам музыкальный инструмент, если музыка его терпка и печальна и разбудит в нас неведомые нам чувства, если вдруг эти незнакомцы воспользу-

ются своим сокровищем и рассыплют среди моих воинов свое богатство, я знаю, потом вечерами, в лагере, я услышу, как мои воины подбирают на своих гитарах, на которых нечасто играют, мелодию, пленившую их сердца новизной. Мелодия эта изменит их сердца».

Победитель, побежденный, думал я, мне их не различить. Вот молчаливый посреди толпы. Толпа окружила его, сдавила, тащит. Если он пуст, она сомнет и раздавит его. Но если он хорошо обжит внутри и надежно выстроен — вроде той танцовщицы, которую я заставил танцевать для меня, — и если он вдруг заговорит, то вот он уже пустил в толпе свои корни, раскинул свои ловушки, подчинил толпу своей власти, и толпа последует за ним, увеличивая его силу.

Достаточно, чтобы в этих местах жил один-единственный мудрец, избравший для себя тишину и молчание и успевший сбыться, чтобы сила моего оружия истощилась, ибо он подобен зерну. Но как мне отыскать его, чтобы обезглавить? Он явлен лишь силой своего воздействия и существует в той мере, в какой существенно исходящее от него. Такова особенность жизни, что уравновесила себя с миром. Бороться ты можешь лишь с безумцем, который предлагает тебе

утопии, но не с тем, кто размышляет и трудится над настоящим, потому что настоящее — вот оно, есть, такое, какое есть. Такова особенность любого творения, творец его уже покинул. Если с горы, куда я привел тебя, ты увидел, что все твои затруднения разрешены таким вот способом, а не иным, то как тебе от меня защититься? Ты ведь должен всегда быть где-то.

Вот кочевник, сокрушив стены, завладел королевским дворцом и ворвался к самой королеве. Бессильной королеве, потому что все ее слуги и воины перебиты.

Когда играешь в игру ради самой игры и вдруг допускаешь промах, то краснеешь, униженный, и хочешь его поправить. Хотя судьей тебе только ты сам, игра создала в тебе игрока, игрок возмутился. Остерегаешься ты и неверного движения в танце, хотя нет над тобой никого, кто был бы вправе упрекнуть тебя за ошибку. Поэтому, если я хочу взять тебя в плен, я не буду брать тебя силой или властью — я разбужу в тебе желание танцевать. Ты пошел туда, куда мне хотелось.

И поэтому королева, обернувшись к вождю кочевников, что высадил дверь и стоит варвар варваром с кровавым топором в руке, дымясь силой и мощью, пенясь безудержным хвастливым

желанием удивить собой, — по этому королева улыбается грустной улыбкой, исполненной тайного разочарования, утомленного снисхождения. Удивлена она лишь совершенством тишины. Она не снисходит услышать шум и гвалт, как ты не снисходишь до работы мусорщиков, хотя не сомневаешься в ее необходимости.

Выдрессировать — значит научить пользоваться тем единственным путем, который приносит пользу. Если ты хочешь выйти из дому, то, не задумываясь, поворачиваешь по коридору и находишь дверь. Если твоя собака хочет получить кость, она становится на задние лапы, как ты учил ее, и она мало-помалу усвоила самый короткий путь к вознаграждению. Хотя стояние столбиком, на посторонний взгляд, не имеет никакого отношения к кости. Собака следует инстинкту — не разуму. Танцор ведет партнершу, подчиняясь правилам игры, о них не думая. У них общий тайный язык. И точно такой же язык у тебя и у твоей лошади. Ты научил се слышать твои движения.

Желание удивить королеву стало ахиллесовой пятой кочевника, инстинкт подсказал ему, что удивит он ее одним — тишиной; поступи он иначе, она станет еще отстраненней, разо-

чарованней, — и он стал играть в тишину. Вот королева и начала менять на свой лад варвара, предпочитая свисту топора молчаливые поклоны.

Поэтому мне сейчас и показалось, что, окружив этот город-магнит, что притягивал наши взгляды, закрыв свои глаза крепко-накрепко, мы навязали ему опасную роль, наделив благодаря нашему приходу той властью, какой обладают монастыри.

Я созвал моих генералов и сказал:

— Я завоюю этот город удивлением. Нужно, чтобы его обитатели о чем-нибудь нас спросили.

Мои генералы, умудренные многолетним опытом, мало что поняли из моих слов и недовольно зашумели.

А я вспомнил о притче, что рассказал мой отец собеседнику, который утверждал, будто только сила принуждает подчиняться сильных.

— Ты говоришь так, — отозвался отец, — и не боишься оказаться неправым, ибо если сильный подчинился, значит, подчинивший сильнее. Но представь себе купца, сильного, спесивого и скупого. Он возит с собой целое богатство — зашитые в пояс бриллианты. И живет тщедушный горбун, нищий и опасливый. Он не знаком с купцом, они

из разных миров, говорят на разных языках, и все же горбун задумал присвоить себе бриллианты. Скажи мне, на какую силу рассчитывает горбун?

— Понятия не имею, — ответил собеседник.

— Как-то тщедушный окликнул спесивого исполина, — продолжал рассказывать отец, — предложил чашечку зеленого чаю, потому что на улице было уж очень жарко. Почему бы и не попить чаю с тщедушным горбуном, чем, собственно, ты рискуешь, если твои бриллианты зашиты в пояс?

— Ничем не рискуешь, — согласился собеседник.

— Однако, когда они расстались, горбун ушел с камнями, а купец задыхался от бешенства, но ничего не мог поделать: он станцевал тот танец, который навязал ему тщедушный.

— Что еще за танец? — поинтересовался собеседник.

— Танец трех костяных кубиков, — ответил отец.

И объяснил:

— Игра бывает сильней того, что поставлено на кон. Ты — генерал, ты командуешь десятью тысячами солдат. У каждого солдата есть оружие. Все они крепко держатся друг за друга. И все-таки

по твоему приказу одна часть солдат ведет в тюрьму другую часть. Ибо значима не вещь, а тот смысл, которым ее наделили. Когда бриллиант стал значим лишь как возможность продолжить игру в кости, он перекочевал в карман горбуна.

Генералы, окружив меня, возмущались:

— Как доберешься ты до этих горожан, если они не желают тебя слушать?!

— Вы любите ветер слов, но гудит он без толку. Да, подчас люди отказываются думать, но слышать-то они могут!

— Тот, кого ты хочешь привлечь на свою сторону, может остаться глух к соблазну твоих посулов, если достаточно тверд душой.

Конечно, если ты будешь откровенно его подкупать! Но если ему полюбится музыка, исполненная тобой, он услышит не тебя — музыку. И если он зашел в неразрешимый тупик, а ты показал ему выход, он примет его. Или ты думаешь, что из ненависти к тебе или пренебрежения он сделает вид, будто ничего не замечает, и продолжит биться головой о стенку? Если ты подсказал игроку спасительный ход, который он безуспешно ищет, ты повел его, а он тебе подчинился, пусть даже он настаивает, что знать о тебе не знает. Если тебе протянули то, что ты ищешь, ты

берешь. Неважно, ищешь ты потерянное кольцо или разгадку ребуса. Я протянул тебе кольцо. Я подсказал разгадку. Конечно, ты можешь отказаться и от того, и от другого из ненависти. И все равно ты уже послушался меня, ты не мечешься, ты сидишь. Нужно быть сумасшедшим, чтобы вскочить и продолжать поиски…

Жители этого города чего-то хотят, ищут, жаждут, защищают, растят. Иначе вокруг чего воздвигли они свои стены? Если с помощью стен ты охраняешь скудный колодец, а я за стеной предложил тебе озеро, стены рухнут сами собой, так они смехотворны. Если ты оберегаешь свою тайну, а мои солдаты кричат о ней во всю глотку, стены рухнут сами собой, так они бессмысленны. Если ты воздвиг их, сторожа алмаз, а я усеял алмазами все вокруг, словно галькой, стены рухнут сами собой — не стоит охранять свою бедность. Если ты выстроил их, оберегая искусство танца, а я танцую лучше тебя, ты сломаешь свои стены сам, чтобы усовершенствовать свое искусство.

Для начала я хочу, чтобы город услышал, что я есть. Потом они станут меня слушать. Мне не потревожить их мирного покоя, огражденного укреплениями, военной трубой, — трубного гласа они не услышат. Слышишь то, в чем нуж-

даешься. Чем возвышаешься. Избавляешься от противоречий.

Они ощутят на себе мое воздействие, даже если меня не замечают. Самая великая истина заключается в том, что на свете ты не один. Ты не можешь пребывать неизменным в изменчивом, непостоянном мире. Я, и не прикасаясь к тебе, влияю на тебя, хочешь ты этого или нет. Я изменил твою суть, как ты можешь этого не заметить? Ты был хранителем тайны, я открыл ее всем, смысл твоей жизни переменился. Ты танцуешь, читаешь стихи сам себе, я собрал насмешников и отдернул занавес, ты уже не танцуешь.

А если танцуешь, то, верно, ты сумасшедший.

Хочешь ты или нет, но смысл твоей жизни зависит от смысла жизни окружающих. Хочешь ты или нет, твой вкус зависит от вкуса окружающих. Твой поступок — очередной ход в игре. Шаг в танце. Я изменил игру или танец, ты изменил поступки, поступь.

Ты построил стены, играя в одну игру, ты их разрушишь, начав играть в другую. Потому что жив не вещественным — смыслом, которым ее наделили. Я накажу этих горожан за высокомерие, слишком уж они положились на свои стены.

Единственная твоя крепость — мощь связующих нитей, они создали тебя, ты им служишь. Мощь семечка оберегает кедр, он выстоит против бури, засухи, каменистой почвы. Потом ты сошлешься на прочность его коры, но и кора — порождение семечка. Корни, ветви, кора — так проявило себя семечко. Зато зернышко ячменя слабосильно, ему не выстоять против посягательств времени.

Но вот передо мной человек — глубоко укоренившийся, устойчивый, прочный, напряженный силовым полем, он приготовился расцвести, подчинившись незримым, но явственно ощущаемым силовым линиям. О нем я скажу: крепость его неуязвима, время не истирает ее — упрочивает. Время у него на службе. И что за важность, если на взгляд он гол.

Что оберегает панцирь, если кайман мертв?

Так, разглядывая город противника, заключенный в каменный панцирь, я размышлял о силе и слабости. «Кто из нас поведет танец? — думал я. — Опасно в пшеничное поле бросить хоть один плевел: плевел сильнее пшеницы, неважно, много ли он дает ростков и каковы они на вид. Твое множество в семени. Пусть время развернет тебя,

тогда посчитаем».

CLVIII

Долго я размышлял о крепостных стенах. Настоящая крепость — ты. Вот почему мои солдаты скрестили перед тобой сабли. Ты не пройдешь. У льва нет панциря, но удар его лапы подобен удару молнии. Он прыгнул на твоего быка и распахнул его перед тобой, будто шкаф.

Ты согласен со мной и упомянул о слабости ребенка; в будущем он изменит мир, но в первые свои дни подобен дрожащему пламени свечи. И я вспомнил, как умирал малыш Ибрагима.

Когда он был здоров, улыбка его была для всех подарком. «Иди к нам!» — звали его. И он подходил к старику. Улыбался. Старик светлел. Старик трепал его по щеке, не зная, что же ему сказать, — ребенок сродни зеркальной глади, от нее кружится голова. Сродни распахнутому окну.

Перед ребенком всегда робеешь, словно он всезнающ. Так оно и есть, в нем дышит дух, который ты потом иссушишь. Из трех камешков он построит морской флот. Старику не увидеть в малыше адмирала, но властность его он чувствует. Сын Ибрагима — пчела, что повсюду собирала свой мед. Все для него становилось ме-

дом. Он улыбался тебе белозубой улыбкой, и ты приостанавливался, пытаясь понять, чем же тебя одарили. Словом этого не выразить. Несказанные эти дары ничьи, они сродни весеннему солнцу, что хлынуло вдруг, и в ответ засверкало море. Благоговением отозвалась душа моряка. Будто луч славы на миг осенил корабль. Ты скрестил на груди руки — ты впиваешь. Так улыбался и малыш Ибрагима, чудесная случайность на твоем пути, которую ты не умел, не знал, как удержать. Будто сверкнуло тебе солнечное царство, но богатство его ты не рассмотрел. И сказать ничего не можешь. Опахала его ресниц поднимались и опускались, будто открывались и закрывались окна в иной мир. Он молчал и учил тебя. Учит не говорящий — направляющий. И тебя, старого коня, вел он, словно юный пастух, в заповедные луга, о которых ты ничего не мог сказать, но вдруг чувствовал, что напоен, сыт и утешен.

И вот ты узнал: луч неведомого солнца меркнет. Весь город сделался сиделкой, бдящим ночником у изголовья. Все старухи пришли с травяными отварами и наговорами. Мужчины стояли у порога, следя, чтобы улица не шумела. Так его укутывали, баюкали, обмахивали. Так строили между ним и смертью стену, и она должна была стать непри-

ступной, раз все горожане заделались солдатами и обороняли свою твердыню от смерти.

Не говори мне, что болезнь ребенка — борьба хрупкой плоти, уязвимой оболочки. Если есть где-то далеко-далеко лекарство, за ним снаряжают всадников. И вот уже танец болезни танцуют всадники, мчась по пустыне галопом. Танцуют и тогда, когда остановились на короткий отдых. Когда напились из кувшина. Когда толчком каблука подгоняют лошадь, стремясь выиграть скачку у смерти. Да, конечно, ты видишь только отрешенное потное лицо ребенка. Но за него борются и шпоры, вонзающиеся в бока лошади.

Ребенок жалок? С чего ты взял? Жалок, как генерал во главе мощной армии.

Глядя на малыша, старух, стариков и на тех, кто был помоложе, на улей, сгрудившийся вокруг матки, золото искателей вокруг золотой жилы, солдат вокруг капитана, я понял: они стали одним целым, они — мощь и сила; словно семечко, тянут они необходимое из дробного мира, желая вырастить дерево, башни и крепостные стены, сберечь улыбку, беглую, едва заметную и молчаливую, которая сплотила их всех для боя. И не было жалким уязвимое детское тельце, оно росло, питаясь заботами многих. Не подозревая об этом,

оно стало призывным кличем, и на зов его сплотились все запасные полки. Целый город стал на службу ребенку. Так по зову семечка служат ему минеральные соли, оно упорядочивает их и превращает в кору — крепостную стену кедра.

Как сказать о семени «слабое», если оно в силах сплотить друзей и подчинить врагов? Неужели ты поверил могутности, кулакам и зычному голосу великана? Он силен лишь на этот короткий миг, правда его мгновенна. Ты позабыл о времени. Время укореняет тебя. А громила? Он уже обречен незримой целостностью, где он лишь крошечная частичка.

Ребенок всегда во главе могучей армии, но ты не видишь этого. Сейчас великан может уничтожить ребенка. Но не станет. Что за опасность — ребенок? Но ты увидишь, как ребенок поставит ногу на голову великана, сокрушив его.

CLIX

Всегда ты видишь одно и то же: слабость побеждает силу. Но для короткого мига, именуемого «сейчас», это неправда, и ты закрепил в своем языке кажимость. Как всегда, ты позабыл о времени. Конечно, если ребенок разозлит великана, великан уничтожит ребенка. Но ребенок играет в другие игры, не его дело злить великанов, ему это неинтересно. Он занят тем, чтобы жить незаметно. А еще чаще тем, чтобы его любили. Став подростком, он помогает великану, и тот начинает нуждаться в нем. Потом наступает время творчества, и ребенок изобретает пращу. Или становится больше и сильнее великана. Или совсем уже просто: ребенок начинает говорить, к нему стекаются люди, они для него надежный щит, он поведет их на великана. Попробуй теперь его ударить, до него и не дотянуться!

Если в поле пшеницы я увижу один плевел, знаю: поле побеждено. Знаю: побежден деспот, войско его и жандармы, если где-нибудь в его царстве подрастает ребенок, похожий на сына Ибрагима, а вместе с ним возникает новая картина, которая по-иному упорядочит мир, взяв его

будто в тугую, будто в железную раму (я вижу, силовые линии уже готовы), знаю, что эта картина, это царство развалились и лежат в руинах, — храм разрушило крошечное семечко, потому что семечко оказалось мощным деревом, что тянуло свои корни с неспешностью просыпающегося: он потягивается, напрягая мускулы рук и ног. Один корень пошатнул контрфорс, другой — краеугольный камень. Ствол снес купол, вышибив ключ свода. Здесь отныне над обращенной в прах вещественностью царит дерево, вытягивая из нее соки, питая свой дальнейший рост.

Но я знаю: придет час — и рассыплется в прах древесный гигант. Храм преобразился в дерево, но, возможно, и в лиану. Достаточно крылатого семечка и прихоти ветра.

Чем ты станешь, когда время развернет тебя? Я не знаю, каков город, укрытый стенами. Но меня научили читать. Город сосредоточился на накопленном, а значит, готов к смерти. Я боюсь только тех, кто ходит голым, кто бродит по северу своей пустыни, где нет крепостей. Бродит безоружным. Семя это еще не посажено в землю, оно не знает своей силы.

Глубинные воды Эль Ксур возродили мое войско. Мы — семя, спасенное Господом. Кто сможет

противостоять нам на нашем пути? Нам достаточно щербинки в стене, и храм развалится, потому что в семени очнулась мощь дерева. Нам достаточно станцевать танец, и ты — крепость — сдашься на волю мужчины и станешь преданной женой, хранительницей домашнего очага. Ты уже моя, похожая на медовую коврижку крепость, — крепость, слишком гордящаяся собой. Я уверен, дозорные твои спят. Ибо сердце в тебе одрябло.

CLX

— Стало быть, — думал я, — дело совсем не в крепостных стенах. Если я выстроил их и они служат моей власти, — значит, я незыблем. Но панцирь мертвого каймана уже не назовешь крепостью.

Если пастырь клеймит неверов за неверие, можно только посмеяться. Не человек должен прийти в церковь. Церковь должна притянуть к себе человека. Ты же не клеймишь землю за то, что она родила кедр.

Видя, как странствуют по миру проповедники новых религий, увлекая за собой людей, неужели ты думаешь, что новая религия обязана жизнью ветру слов, хорошо подвешенному языку, ловкости зазывалы? Я слишком долго слушал людей и понял: смысл языка совсем не в самих словах. Он передает тебе от другого новую точку зрения, таящую в себе силу, она сама отыщет в тебе, чем ей напитаться и как прорасти. Есть слова, подобные семенам, они способны втягивать землю и растить кедр. Но ты можешь посадить и оливу, у тебя вырастет оливковое дерево. Кедр, олива разрастутся, питаясь самостоятельно. Чем выше кедр,

тем мощнее гудение ветра в смолистых ветвях. Чем больше стая гиен, тем громче их хохот ночами. Но не станешь же ты утверждать, что гудение ветра в ветвях кедра притягивает земные соки, что магией хохота газель превращается в гиену? Гиена съедает газель, кедр тянет из земли соки. Новая вера обращает неверов. Но что могут слова, если не служат языку, способному вместить?

Вмещаешь, сумев выразить. Если я выразил тебя, ты — мой. С моей помощью ты будешь сбываться. Отныне я для тебя — язык. Потому я и называю кедр языком каменистой земли — благодаря кедру она становится гуденьем ветра.

И кто, кроме меня, сравнит тебя с деревом, заботясь, чтобы ты сбылся?

Всякий раз, когда я вижу, что усилия человека действенны, я не воздаю хвалу громыханью его фанфар: с таким же успехом их можно возненавидеть, можно не слушать; не хвалю его жандармерию — жандармы могут следить, чтобы стоял на ногах мертвый народ, но не могут родить живой. Я как-то сказал, что сильное царство казнит уснувших дозорных, а ты совершенно ошибочно решил, что суровость питает силу. В слабом царстве спят все, и если король его примется казнить сонных, окажется кровавым шутом — и только.

Сильное царство наполняет всех своей силой, всем отвратительны сони. Действенность усилий я не стану объяснять зажигательной речью, побуждениями людей или доводами рассудка, я буду искать, где таится непреодолимая мощь новой, плодотворной целостности, где оно, лицо чудесной мраморной статуи, — ты смотришь на него и становишься иным.

CLXI

Ночь. Я поднялся на самый высокий холм округи и взглянул на молчаливую крепость, на гаснущие в сгустившейся мгле костры моих бивуаков среди песков пустыни. Я хотел понять суть того, что происходит; войско мое — мощь пустившегося в путь семечка, город — мощь накрепко закрытой пороховницы, войско, притянутое магнитом крепости, таит в себе новую картину, она только нарождается, пускает корни, безразлично связывает в будущую целостность извечно существующее, я ничего не знаю о ней и в потемках ищу признаки таинственного возрастания — не для того, чтобы предусмотреть, для того, чтобы направить, ибо все вокруг, даже дозорные, погружены в сон. Спит оружие. Но ты, ты — корабль, плывущий по реке времени.

Мирным кровом был тебе свет утра, полдня, вечера, он подтолкнул вперед все вокруг. После рабочих ладоней солнца ты ощутил дуновение молчаливой ночи. Шелковистой ночи, отданной снам, продолжающей лишь те труды, которым в помощь одиночество; ночи, затягивающей раны, помогающей подниматься сокам, привычно ша-

гать дозорному; ночи, отданной в распоряжение слуг, потому что хозяин лег отдыхать. Ночи, сглаживающей ошибки, ибо последствия ложного шага отложены до следующего дня. И я — победитель — откладываю до завтра свои победы.

Ночь гроздей, ожидающих сбора, ночь отложенной жатвы. Ночь взятых в кольцо врагов, что сделаются только завтра моими. Ночь поставленных на кон ставок, но игроки отдались на милость сна. Спит купец, сделав главным сторожа, что ходит вокруг амбаров. Спит генерал, сделав главным дозорного. Спит капитан, сделав главным рулевого, и рулевой ставит на место Орион, что запутался между мачт и снастей. Ночь переданной в надежные руки власти и приостановленных дел.

И вместе с тем время обманов. Мародеры ночью нагружаются добычей. Риги вспыхивают огнем. Предатели завладевают крепостью.

Ночь криков, что будят эхо. Ночь подводных камней для корабля. Ночь видений и чудес. Ночь пробуждения Господа — Господа-татя, ибо любящий всегда дожидается, когда любимая откроет глаза.

Ночь, когда слышится хруст суставов. По ночам я всегда слышу хруст суставов, словно потягива-

ется незримый ангел, заключенный в плоть моего народа, и придет день, когда он освободится…

Ночь, обогащающая поля семенем.

Ночь терпения Господа.

CLXII

Ты говоришь мне о скромной, непритязательной жизни в мирном семейном кругу, с мирными радостями и добродетелями, домашними праздниками и заботливым пестованием детей, — ты строишь воздушные замки, мой друг.

— Я рад за тебя, — отвечу я. — Но скажи, что ты будешь считать добродетелью? Чему радоваться? Какие чтить божества? Живя по-твоему, каждый живет в особицу, это дерево питается соками не так, как другое. А подобных себе — где же ты их сыщешь?

Ты говоришь, все хотят одного — жить мирно… Согласен. Но посмотри, ведь вы уже ведете борьбу, охраняя незыблемость каждый своего уклада, желая избегнуть любой случайности, любой грозящей вам опасности. Разве дерево — не борьба семечка?

— Но когда наконец мы достигнем желаемого, душевные склонности наши обретут долговечность. Устоятся и нравственные правила…

— Согласен! Совершившись, история народа может пребывать неизменной. Ты знал эту девушку юной невестой, юной она умерла. Умерла

с улыбкой. И будет улыбаться вечно, навек оставшись прекрасной, не узнав старости… Но твое мирное племя — оно или завоюет мир, поглотив всех своих врагов, или само растворится во враждебном мире. Пока оно живет, оно смертно.

Ты ошибаешься, считая, что можно жить и оставаться неизменным, что долговечность твоей картины сродни воспоминанию об умершей возлюбленной.

Ты возражаешь мне:

— Если картина эта полностью воплотилась, став традициями, верованиями, единым укладом, она обретет долговечность, передаваясь от одного поколения к другому. Она будет счастьем, что светится в глазах принадлежащих ей сыновей…

— Что ж, — согласился я, — если ты накопил запасы, то недолгое время можешь наслаждаться собранным медом. Вскарабкавшийся на вершину горы с полчаса радуется пейзажу, упивается одержанной победой. В его памяти живы камни, по которым он карабкался вверх. Но воспоминание быстро меркнет. И пейзаж теряет интерес.

Торжества, конечно, помогают оживить воспоминания.

Празднуя, ты словно бы оживляешь вновь трудности и радости возникновения дома, дерев-

ни, веры, воскрешаешь в памяти затраченные усилия, принесенные жертвы. Но мало-помалу истирается власть торжества, праздник кажется тебе обветшалым, ненужным пережитком. Так случится, уверяю тебя, случится неизбежно. Твое счастливое племя станет племенем оседлых и забудется в безжизненном сне. Если ты понадеялся на магию пейзажа, сел и стал любоваться, то рано или поздно соскучишься и почувствуешь, что не живешь.

Откровение веры наполнило тебя жизнью. Ты решил: это тебе подарок. Но что делать с подарком? Рано или поздно ты убираешь его в кладовку. Когда радость погасла, сама вещь оказывается бесполезной.

— Неужели мне никогда не отдохнуть?

— Отдохнешь там, где в помощь все тобой накопленное. В мирном покое смерти, когда Господь соберет свою жатву.

CLXIII

Неизбежно сменяются для человека времена жизни.

Друзья твои непременно от тебя устанут. И пойдут к другим, чтобы пожаловаться на тебя. Пройдет усталость, и они вернутся, простят тебя, и будут снова тебя любить, и снова будут готовы рисковать своей жизнью ради твоего спасения.

Если о вероломстве твоих друзей тебе расскажет посторонний, что пришел к тебе не ко времени и передал то, что тебе совсем не предназначалось, что было тоской по тебе, ты разгневаешься, выйдешь из себя, и, когда твои друзья, вновь тебя полюбив, вернутся к тебе, ты их прогонишь.

Но если ты и сам то любил, то не любил своих друзей, ты обрадуешься возвращению, обрадуешься, что тебе возвращена благосклонность, и поможешь их благосклонности, устроив праздник.

А почему тебе, собственно, не нравится, что в человеческой жизни сменяется весна — летом, лето — осенью? Ведь и в тебе в течение одного только дня столько сменится зим и весен, и все,

что питает тебя, завися от аппетита, то желанно, любимо, то безразлично, то отвратительно, разве не так?

Нет, не в человеческих силах всегда быть сытым одним и тем же пейзажем.

CLXIV

Вот и настало время поведать тебе, что же такое человек. В Ледовитом океане кочуют льдины величиной с огромную гору, но на поверхности воды — лишь крошечный гребешок, играющий на солнце. Все остальное дремлет в глубинах. Слова высвечивают в человеке лишь крошечный гребешок. Веками ковала мудрость ключи, подступаясь к человеку. Нарабатывала понятия, чтобы его объяснить. Время от времени приходит новый мудрец и с помощью нового ключа открывает тебе доступ к еще неведомому. Он говорит «ревность» — и обозначает разом целый пучок взаимозависимостей; ревностная страсть к женщине помогает тебе ощутить и томление по воде в пустыне, и множество иных жажд.

И я становлюсь для тебя яснее, яснее мой путь, мои заботы, хоть ты, возможно, и не сможешь объяснить словесно, почему жажда заботит меня больше, чем, например, чума.

Имей в виду, сильнее всего воздействует не то слово, что обращено к твоей обжитой светлице, — то, что вспышкой света озарит еще неведомое, выхватив его из немотствующей тьмы. Ты сде-

лал ощутимым дотоле незнаемое, и твой народ устремился к нему. Мы ведь не ведаем, чего с такой настоятельностью алчем. Но я принес тебе что-то, и ты насытился. А логик смотрит на нас с тобой как на безумцев, логика вчерашнего дня помешала ему нас понять.

Упорядочить подземное, проторить для него пути к сознанию — вот в чем я вижу силу, цель, смысл своей крепости. Ибо нужды твои и желания бессвязны и противоречивы. Тебе нужен мир и нужна война, правила игры, чтобы радоваться игре, и свобода, чтобы, играя, наслаждаться самим собой. Изобилие, чтобы почувствовать удовлетворение, и жертвенность, чтобы обрести в ней себя. Ты завоевываешь добычу ради завоевания и наслаждаешься запасами ради запасов. Любишь здоровье ради ясности разума и любишь одолевать жаждущую плоть, совершенствуя дух и душу. Есть в тебе страсть к домашнему очагу и страсть к побегу на волю. Сочувствие к ранам и стремление ранить самолюбивого из сочувствия к человеческому. Желание растить любовь, оградив ее незыблемой верностью, и знание, что любовь существует, несмотря на неверность. Ты хочешь равенства в справедливости и неравенства для восхождения вверх. Из хаоса своих нужд

и желаний, из этой земли, усеянной камнями, какое ты вырастишь дерево, чтобы оно вобрало их, упорядочило и вызволило из тебя воистину человека? Какую часовню станешь ты строить из своих камней?

Мощь моей крепости — вот то, что я протягиваю тебе, как семечко. Вот эту высоту ствола, вот это расположение ветвей. Дерево тем долговечнее, чем плодотворнее распоряжается соками земли. Тем долговечнее царство, чем лучше усваивает то, что ты из себя нарабатываешь. Но для чего крепость из камня, если она панцирь мертвого каймана?

CLXV

— Они охотятся за вещами, как свинья за трюфелем, — говорил отец. — Вещи созданы для охоты. Но сами вещи тебе не в помощь, потому что живешь ты смыслом, которым их наделили.

Смысл вещей не найдешь, не добудешь охотой, его нужно наработать. Вот мы и нарабатываем его нашими беседами.

* * *

— Что кроется за этими событиями? — спросили моего отца.

— Картина, которую я творю, — ответил отец.

Ты всегда забываешь о времени. За то время, пока ты доверял фальшивой сенсации, она уже в чем-то определила тебя, трудилась, как зерно, пустила корни. Ты разуверился в ней, но расти уже будешь по-другому. Вот я убедил тебя в чем-то, и сколько ты нашел подтверждений моей правоты, совпадающих фактов, красноречивых подробностей. Я предупредил: жена тебе неверна. И ты увидел: она кокетлива, и это правда. Уходит из

дома, когда вздумается, что тоже правда, хотя до сих пор ты всего этого не замечал. Затем я скажу, что все выдумал, но моя выдумка пошла тебе на пользу: она была новой точкой зрения и открыла тебе глаза на реально существующие факты.

Я сказал: горбуны переносят чуму. Ты ужаснулся, сколько вокруг горбатых. Раньше ты не замечал их. И чем дольше ты мне будешь верить, тем чаще будешь замечать горбунов. В конце концов ты узнаешь, сколько увечных живет у нас в городе. Ничего другого я не хотел.

CLXVI

— Я в ответе за каждый шаг каждого человека, — говорил отец.

— Но у тебя есть предатели и трусы, — возразили ему. — Что же, ты трусишь и предаешь?

— Да, моей трусостью трусит трус. И моим предательством предает предатель.

— Как ты можешь предать сам себя?

— Факты я представил некой картиной, они не согласились с ней, картина моя, я за нее в ответе, я сделал ее явью, а она убедила их в правоте моего врага. Значит, я сослужил службу своему врагу.

— А каким образом ты оказался трусом?

— Трусит тот, — отвечал отец, — кто отказывается идти вперед, чувствуя, что беззащитен. Трус кричит: «Река уносит меня!» Смелый чувствует свои мускулы и плывет. Я называю трусом и предателем того, — заключил отец, — кто винит других за ошибки и жалуется, что враг слишком силен.

Никто не понял его.

— Как-никак, есть множество обстоятельств, и за них мы никак отвечать не можем… — сказали ему.

— Нет, таких не существует, — сказал отец.

Отец взял одного из гостей за руку и подвел к окну:

— Скажи, что тебе напоминает это облако?

Гость долго присматривался.

— Спящего льва, — наконец сказал тот.

— Покажи его своим друзьям. Друзья гостя полюбовались в окно на спящего льва, которого тот показал им.

Потом отец отвел их всех в сторону и позвал к окну совсем другого человека.

— На что похоже это облако? — спросил он.

Гость долго всматривался в него.

— На улыбающееся лицо, — наконец сказал он. — Покажи его своим друзьям.

И друзья увидели улыбающееся лицо, на которое показали им пальцем. Затем отец собрал всех гостей вместе и предложил:

— Поговорите-ка об облаке, что висит за окном.

И гости ожесточенно заспорили: так очевидно для одних было улыбающееся лицо, а для других — спящий лев.

— Факты, — сказал отец гостям, — бесформенны, словно облако; вожатый, ваятель, мыслитель придает им форму. Формы все одинаково досто-

верны.

— Относительно облака мы с тобой согласны, — отвечали ему, — но относительно жизни… Утром на поле боя ты видишь, что войско твое ничтожно по сравнению с армией противника. Разве в твоей власти изменить ход битвы?

— В моей, — отвечал отец. — Облако занимает пространство; события, факты — время. Если я озабочен, чтобы моя картина мира восторжествовала, я должен печься, чтобы время ей шло на пользу. Я не изменю того, что свершится к вечеру, но завтрашнее дерево вырастет из моего семечка. А оно есть уже и сегодня. Создавать не означает тотчас воспользоваться уловкой, которую тебе подбросил случай и благодаря которой ты победишь. У твоей победы не будет будущего. Созидание не морфий, что избавляет от боли, но не излечивает болезнь. Создать — значит сделать победу или выздоровление неизбежностью, как неизбежно тянется вверх дерево.

Но гости не понимали его.

— Логика событий…

Отец мой разъярился.

— Тупицы! — рявкнул он. — Холощеный скот! Историки! Логики! Критики! Вы похожи на трупных червей, вам никогда не понять, что такое

жизнь!

Он повернулся к премьер-министру:

— Царь, наш сосед, надумал объявить нам войну. Мы не готовы к ней. Создать, сотворить — вовсе не значит за один день собрать войско, которого нет. Надеяться на это — ребячество. Нужно создать в царе-соседе того, кто захотел бы нашей любви.

— Не в моей власти сделать это.

— Я знаю одну певицу, — продолжал отец. — Когда я устаю от тебя, я всегда думаю о ней. Как-то вечером она пела нам об отчаянии преданного и нищего влюбленного, что не смеет признаться в своей любви. Я видел: наш главнокомандующий плакал. Хотя он богат, спесив и насилует девиц без счета. На десять минут она превратила его в робкого ангела, и он пережил все муки застенчивости.

— Я не умею петь, — ответил премьер-министр.

CLXVII

Затеяв спор, ты невольно огрубляешь человека. Например, народ сплочен вокруг своего короля. Король ведет свой народ к цели, но тебе кажется, что она недостойна человека. И ты вступаешь в спор с королем.

Многих ты убедил в своей правоте, но они кормятся службой королю. И пока не появился ты со своей точкой зрения, у них была своя, и, с их точки зрения, можно было любить короля или терпеть. Ты поднял их на самих себя, против хлеба для их детей.

Большинство из них последует за тобой, но с усилием, не чувствуя себя вправе посягать на короля, поскольку есть основания и любить его, и терпеть: ведь и в самом деле, долг этих людей — кормить свое потомство, а когда колеблешься между одним долгом и другим, на сердце неспокойно. Когда человека одолевают сомнения, руки у него опускаются. Разъедаемый противоречиями, он садится и сидит, дожидаясь, когда же они уймутся. И умирает, измучившись все теми же противоречиями. А если ты прибавишь противоречий своим согражданам, они с тоской будут

ложиться вечером в свою постель и с отвращением вставать. (Воодушевляет освобождение от пут. Освободить человека — значит помочь ему себя выразить и принять. Значит научить его языку, который будет сродни замковому камню свода и откроет ему единую суть во всех его разноречивых устремлениях.)

Кое-кто не последует за тобой вовсе. И будут вынуждены оправдываться в собственных глазах, ибо обличаешь ты короля отнюдь не без оснований. Ты принудишь их найти другие основания, которые будут способны потягаться с твоими. Такие всегда найдутся, ибо рассудку ты хозяин — и ведешь его, куда захочешь. Тебя ведет только дух. И вот они все определили, сформулировали и создали себе прочную броню из доводов, тебе теперь к ним не подобраться.

И короля, что и думать о тебе не думал, ты подвиг на действия. Он призвал сказителей, историков, логиков, учителей, казуистов и толкователей со всех концов своего царства. Тебя перетолковали, исказили и превратили в отвратительное чудовище, ибо что-что, а это всегда возможно. Обнародовали твою низость, потому что всегда возможно и это. И возникла еще одна категория людей — прочитав о тебе, они не

знали, что и думать, но, будучи людьми добросовестными, порядочными, поверили портрету, созданному логиками, портрету, на который ты напросился. Их затошнило от отвращения, и они сплотились вокруг короля. Король вновь обрел для них достоинство истины.

Вот почему никогда не нужно бороться «против», бороться нужно «за». Человек ведь не так прост, как тебе кажется. Даже король — и тот отчасти на твоей стороне.

CLXVIII

Ты говоришь: «Он — мой сторонник, мы с ним можем сотрудничать. А этот всегда возражает мне, значит, он — мой противник, с ним я могу только воевать».

Поступая так, ты растишь и укрепляешь своих врагов.

А я говорю тебе «враг» и «друг» — слова, и ничего больше. Что-то они, конечно, определяют и помогут тебе разобраться, если встретитесь вы на поле боя, но невозможно уместить человека в слово, у меня есть враги, которые мне ближе друзей, враги, которые мне всех нужнее, враги, которые меня чтят больше друзей. Я влияю на человека независимо от того, что он говорит. Я бы даже сказал, что влияние мое ощутимее для врага, чем для друга: идя в одну сторону, мы реже сталкиваемся, реже говорим, тогда как враг — он идет против меня и не упустит ни одного моего движения, ни одного слова — он от них зависит.

Разумеется, слышит меня каждый по-своему, ибо каждый несет унаследованный груз прошлого, который никому не под силу изменить.

Например, на моей земле течет река и рядом

высится холм, обороняя мою землю, я не горюю, что есть холм и река течет на юг. Не станет горевать об этом и завоеватель, если он в трезвом рассудке. Есть холм — я им пользуюсь, есть река — я пользуюсь рекой. Хотя, может быть, было бы куда лучше, если бы холм располагался в другом месте, и мощный союзник был бы выгоднее мне, чем сильный противник. Но что сожалеть попусту? Сожалея, что не родился в другое время, в другом месте, — ты даже не мечтаешь, ты набиваешь себя гнилью.

Есть только то, что есть, и только с существующим я должен считаться — и вот я влияю на друга и на врага. Влияние мое на друга более или менее положительно, влияние на врага более или менее отрицательно. Делом или силой я стараюсь уравновесить весы, убирая груз с одной чаши, добавляя к другой.

Но ты принялся разбирать и судить всех с точки зрения нравственности; для дела, которым ты занят, нравственность ни при чем — однако ты отстранил обидчика, оскорбителя, предателя, вынуждая их и завтра обижать тебя, оскорблять и предавать. А я — я поручу предательство тому, кто меня предал, роль его в шахматной партии определилась, и я могу опереться на него, го-

товясь победить. Разве знание, каков он, мой противник, плохое оружие? И если победа моя неоспорима, разве не будет у меня времени его вздернуть?

CLXIX

Ты упрекнул жену:

— Как это так? Я ждал тебя, а тебя не было?!

— Не было, потому что я зашла к соседке, — отвечает жена.

И правда, она зашла к соседке.

Ты упрекнул врача:

— Как это так? Тебя не было, когда спасали захлебнувшегося ребенка?!

— Не было, потому что я сидел у больного старика, — ответит тебе врач.

И правда, он лечил старика.

Ты упрекнул одного из своих сограждан:

— Как это так? Ты не служишь нуждам царства?!

— Я служу другим его нуждам, — ответит он тебе.

И правда, он служит ему по-своему.

Но имей в виду: за людскими поступками и делами ты не видишь, как растет дерево. Брошенное в землю семечко задало работы и твоей жене, и врачу, и слуге царства. С их помощью уже создается то, что ты намеревался создать. Для кузнеца, чей символ веры — ковка гвоздей, неважно,

какие ковать гвозди. Может он ковать гвозди и для корабля. А ты отойди чуть в сторону, чтобы лучше рассмотреть, и увидишь не беспорядок, а растущий корабль.

Нет в жизни правоты, нет неправоты, каждый, кто живет жизнь, ее не знает, ибо нет языка, который бы ее вместил. Каждый судит о ней с помощью своего обособленного наречия.

Жизнь не упускает возможностей. Всюду находит себе пищу, распространяется, завоевывает. Живя логикой своей ступеньки, можно позабыть, что живешь. (Дом для женщины — трата времени, а не осуществление себя.)

Но где в жизни утечка жизни? Любое дело в ней оправдано. Оно может быть и благородным, и низким, смотря как на него взглянуть. Может быть утечка жизни в человеке, человек может выпасть из жизни. У него могут появиться благородные основания не следовать общему течению жизни. Благородные и логичные. Но значит это одно: жизнь слабо тянет его за собой. Или, например, кузнец бросил ковать гвозди и отправился ломать камень. Он предал корабль.

Что мне в твоих доводах, если у нас нет больше общего языка?

Царь теперь говорит одним языком, строители

— другим, прорабы — третьим, кузнецы — четвертым, рабочие — пятым.

Ты оплатил ваятелю статую. Заплатил ему дорого, и он почувствовал благодарность, не за воздаяние — за признание его заслуг. Статуе нет цены, как нет цены жизни, которой рисковали, — сколько бы ни заплатить, не переплатишь. Статуя стоит того, чтобы быть купленной.

Заплатив деньги, ты купил не только статую — душу скульптора.

* * *

Хорошо, если почтенным кажется тебе занятие, которым ты живешь. Твоя работа — хлеб для твоих детей. Как оно может быть низким, раз превращается в детский смех? Посмотри, он служит деспоту, но деспот служит детям. Поступки человека двоятся, не можешь и ты однозначно судить о нем.

Ты можешь осудить лишь того, кто предал жизнь, она позвала его за собой, но он среди множества шагов не выбрал того шага, что ведет к ней.

Под палящим солнцем человек кладет на камень камень. Такая у него работа. Столько ему за

нее платят… Ох, как он от нее устает… Усталость — вот все, что он получает, укладывая камни, он принял свою усталость и не ропщет. Не в чем его упрекнуть, если только он строит дом, а не храм.

Ты взращивал любовь к храму, чтобы она взрастила любовь к укладыванию камней.

Ибо жизни нужны питающие соки, чтобы расти и обла гораживаться.

Чтобы узнать, что такое жизнь, нужно перевидать немало людей. Самых разных. Ты словно бы узнаешь, что же такое корабль, при помощи гвоздей, парусов и досок.

Разуму жизнь неподвластна. Суть ее в том, чтобы длиться и распространяться. Превращаясь в действия и поступки, она сопрягается с разумом. Но не сразу, а постепенно. Иначе как выжить ребенку? Он так слаб перед лицом мира! Кедру не выстоять против пустыни. Кедр рождается вопреки пустыне и живет, ее поглощая.

Никогда не руководит тобой рассудок. С помощью рассудка ты оправдываешь свое поведение. Не ищи разума и в поведении своего противника, он ничуть не разумнее тебя. Не благодаря логике твое творение распространяется в пространстве, длится во времени. Почему распространяется оно так, а не иначе? Почему вожатым стало одно, а не

другое? Случайность? Но почему случайности не расточили дерева в прах — укрепили его против весомой тяжести мира?

Обдумыванием ты порождаешь то, чего еще не было. Ты определил и, значит, помог родиться. Порожденное тобой ищет пищи, стремясь утвердиться и вырасти. Оно трудится, чтобы сделать собой чужеродное. Тебя восхитили сокровища этого человека. И он почувствовал себя богатым, хотя до этого не ощущал своих богатств, занятый накапливанием своего сокровища. Зато теперь оно стало для него определением. Не перекрещивай человека в иного, чем он есть сейчас. Видно, есть настоятельная необходимость, против которой тебе ничего не поделать, быть ему таким, а не другим. Но ты можешь изменить направление его витальной силы, ибо человек переполнен жизнью, в нем есть все. Твое дело — найти в нем то, что тебе по нраву. И прорисовывать, не спеша, пока твой рисунок не станет очевидным для всех — и для этого человека тоже. Увидев его, он согласится с ним, потому что соглашался и вчера, но равнодушно, никак ему не помогая. Теперь портрет обозначился, получил имя и заживет жизнью любого живого существа, ища пищи, стремясь утвердиться и вырасти.

Хозяин задает рабам и работу, и неработу. Жизнь тоже вынуждает тебя работать то больше, то меньше. И если тебе понадобилось, чтобы работа вытеснила досуг, скажи человеку: «Как ты мудр, взваливая на себя работу, несмотря на тяжесть ее и горечь, только благодаря работе обретешь ты собственное достоинство, ибо она — возможность творчества. Как ты прав, пользуясь любой возможностью творить. И что за беда, если начальник у тебя такой, а не этакий. Не горюешь же ты, что родился теперь или что родился среди холмов…»

Ты не потребовал от него, чтобы он работал больше, не отяготил спором с самим собой. Ты заронил в него истину, что примирила в нем тяжущиеся стороны, и он отдал предпочтение той, в которой ты был заинтересован. Истина приживется, разрастется, и человек потянется к работе.

Или ты хочешь, чтобы было отдано предпочтение досугу. Ты скажешь:

— Ведь ты из тех, кто вопреки принуждению и тирании куска хлеба отдает работе лишь ту необходимую крупицу времени, без которой бы умер. Как мужественно ты поступаешь! Как ты мудр, ведь, если хочешь избавиться от деспотизма начальника, ты заранее должен чувствовать

себя победителем. Отказываясь от соглашательства, ты спасаешь душу. Не житейской логике распоряжаться творчеством!

Ты не потребовал, чтобы человек работал меньше, не отяготил спором с самим собой. Ты заронил в него истину, что примирила в нем тяжущиеся стороны, и он отдал предпочтение той, в которой ты был заинтересован. Истина приживется, разрастется, и человек потянется к бунту.

* * *

Поэтому нет у меня врагов. Во враге я выискиваю друга. И враг становится моим другом.

* * *

Я беру все лоскуты разом. Не заменяю одни другими — сливаю с помощью нового языка. И та же самая жизнь движется по-иному.

Что бы ты ни принес мне из нажитого, я сочту его доб ротным и подлинным. Печалит картина, которую ты сложил из него. Если моя уложит его лучше, — моя картина, которую я создал своим творческим произволом, — ты будешь моим.

Потому я и говорю: ты прав, построив стены вокруг своего колодца. Но оглянись: есть и еще

колодцы, которые ты не защитил. Теперь ты живешь тем, что разрушаешь свою стену, чтобы построить новую. Новую ты строишь вокруг меня, я стал семечком внутри твоей крепости.

CLXX

Я осуждаю в тебе тщеславие, но не гордость. Если ты танцуешь, то для чего тебе принижать и хулить себя, равняясь на дурного танцора? Гордость — это любовь к совершенному танцу.

Любовь к танцу — это совсем не любовь к себе, танцору. Ты набираешься смысла, танцуя изо дня в день, но то, что ты стал танцором, ничего, совсем ничего тебе не прибавило. Твое дело танцевать, пока жив, — сбываются только в смерти. Тщеславная исполняется довольства и останавливается посреди дороги; залюбовавшись собой, она замерла, обожая себя. От тебя ей нужны только овации. Мы презираем только самодовольство, мы — вечные номады на пути к Господу, ничто в нас самих нас не насытит.

Тщеславная остановила сама себя, решив, что сбылась раньше часа смерти. Ей больше нечего получить, нечего отдать, она — труп.

Смирение сердца требует от тебя не приниженности, а открытости. В ней ключ к взаимообменам. Иначе как сможешь ты отдавать и получать? «Отдавать», «получать» — я не умею отделить одно от другого, то и другое — единый путь.

Смириться — значит быть послушным людям, значит слушаться божества. Камень подчиняется не камням — храму. Служа, служишь созиданию. Мать смиренна перед ребенком, садовник — перед розой.

Я, король, не стыдясь, послушаюсь работника. В работе на дворе он смыслит больше короля. Я благодарен ему за науку, моя благодарность не роняет меня в его глазах. Ибо естественно, что умение трудиться приходит от работника к королю. Но я ненавижу тщеславие. И запрещаю ему себя славословить. Ибо естественно, что суждение, что хорошо и что плохо, приходит от короля к работнику.

Ты встречал в жизни женщин, что сотворили из себя кумира. Чего ждет эта женщина от любви? Всего. Твоя радость видеть ее — для нее почесть. Но дороже почестей жертва: твое отчаяние будет для нее куда слаще.

Она пожирает, не насыщаясь. Прибирает к рукам, чтобы сжечь в свою честь. Она словно печь крематория. Жадна и всегда готова захватить добычу, не сомневаясь, что грабежами добывают счастье. Она наживает лишь прах и пепел. Воистину, воспользоваться отпущенными тебе дарами — значит проторить с их помощью дорогу

к другому, а не заманить ими в плен.

Твои чувства для нее — заклад, своих она на тебя не потратит. Лишив тебя воздуха, обделив пламенным горением, она тщится тебя уверить, что лишения и есть знак твоей причастности к высокой любви. Но это знак ее неспособности любить, а вовсе не высота чувства. Если ваятель пренебрегает глиной, под руками у него ветер. Если любовь обходится без проявлений любви, под предлогом полноты, она — слово из словаря. Нет, если ты полюбил, я хочу от тебя и клятв, и даров. Что значит — ты любишь свою землю, если как от ненужного избавляешься от мельницы, отары, дома? Как различить лицо любви, что мелькает за полотном жизни, если нет полотна и нечем его прорисовать?

Откуда взяться храму, если нет зримого уклада для камней?

Что значит любовь, если нет ощутимого уклада любви? Душу, дерево я обрету постепенно, медленно, упорядочивая землю при помощи того уклада, которому ее подчиняют корни, ствол, ветви. И вот оно, дерево. Это дерево, а не другое.

Тщеславная пренебрегла ответными дарами, пренебрегла собственным рождением. В любви она искала добычи, которую можно захватить. И

любовь перестала быть любовью.

Ей кажется, что любовь — подарок, который можно припрятать. Что если ты любишь ее — значит, она заполучила тебя в свое распоряжение. Она запирает тебя в себе, и ей кажется: она обогатилась. Но любовь не алмаз, которым можно завладеть, любовь — обязательства друг перед другом. Плод взаимно принятого для исполнения уклада. Добротность дороги, по которой ездят туда и обратно груженые повозки.

Тщеславной никогда не родиться. Корни рождения в связующих нитях. Она пребудет бесплодным, бессильным зерном, иссыхая душой и сердцем. Она состарится, и мрачна будет ее старость среди тщеты ее добычи.

Потому что ты ничего не в силах присвоить. Потому что ты не сундук. Ты — узел, связавший воедино собственную разноречивость. Ты — подобие храма, придающего смысл камням.

Отвернись от нее. У тебя нет надежды сделать ее красивее или богаче. Твой алмаз станет украшением ее скипетра, короны, знаком ее власти. Чтобы залюбоваться алмазом, мало одного алмаза, нужно еще смиренное, благодарное сердце. Эта не любуется, она завидует. Восхищение приуготовляет любовь, зависть приуготовляет

пренебрежение. Во имя того алмаза, которым она наконец-то завладела, она будет пренебрегать всеми остальными алмазами земли. И ты еще ненамного отдалишь ее от мира.

Не приблизится она и к тебе, твой алмаз вовсе не дорога от тебя к ней и от нее к тебе, он — дань твоего рабства.

Вот почему каждый дар, каждая жертва делают ее еще более жестокой и одинокой.

Скажи ей: «Да, я спешил к тебе и радовался встрече. Исполнял твои прихоти. Одаривал подарками. Сладостью любви был для меня твой произвол, во власть которого я себя отдал. Я дал тебе право на все, чтобы почувствовать себя связанным. Мне нужна связь, корни и ветви. Я позволил тебе распоряжаться собой, чтобы быть тебе в помощь. Так распоряжаются мной розы, которые я выращиваю. Я в подчинении у моих роз. В служении моем нет ничего оскорбительного для моего достоинства. Им я обязан моей любви.

Я не боюсь обязательств, напротив — прошу их для себя. По своей воле выбрал я эту дорогу, ибо ничто в мире не понуждало меня. Но ты ошиблась, когда сочла мое служение зависимостью, зависим я не был. Я был великодушен.

Ты считала, сколько я сделал шагов, идя к тебе.

Питала тебя не моя любовь, а благоговение моей любви. Ты пренебрегла корнем, питавшим мою щедрость. И я от тебя ухожу. Любовь моя послужит смиреннице, озарив светом ее жизнь. Я в помощь только той, что в помощь моей любви. Ухаживая за хромцом, я не подольщаюсь к нему, я служу его здоровью. Мне нужен путь — не стена.

Ты требуешь не любви, а обожествления. Ты перегородила мне дорогу. Ты встала на ней как кумирня. Мне нечего делать с ней. Я пойду по другой тропе.

Я не божок, которому нужно кадить, и не раб, которому нужен хозяин. Кто бы ни притязал на меня, я отстраню его. Я не вещь в закладе, и ни у кого нет закладной на меня. Нет и у меня ни на кого подобных притязаний. Та, что любит меня, дарит не считая.

У кого ты купила меня, чтобы считать собственностью? Я не твой осел. Может, Господь и обязывает меня хранить тебе верность. Но перед тобой у меня нет обязательств».

Если долг солдата — отдать жизнь за царство, долг у него перед Господом, а не перед царством. Господь распорядился, чтобы человек наживал суть и смысл. Суть и смысл этого человека в том, что он — воин царства.

Долг дозорных — отдавать мне честь. Мне ли они служат? Я — предлог, чтобы у дозорных существовал долг. Я — узел, связавший обязанностями моих дозорных.

И любовь — если долг, то перед Господом.

Я увидел скромницу, она краснеет и запинается; чтобы научить ее смеяться, нужно радовать ее подарками, они для нее — ласковый морской ветер, а не вожделенная добыча. Я проторю к ней дорогу и выведу ее на волю.

Мне не надо ни унижаться в любви, ни унижать любовью. Я окружу ее, словно простор, втеку в нее, словно время. Я скажу ей: «Не торопись узнавать меня, во мне ничего не поймаешь. Я — пространство и время, где ты можешь сбыться».

И если я необходим ей, словно земля семечку для того, чтобы стать деревом, я не пресыщу ее своим изобилием.

Я воздаю ей почести не ради нее самой. Цепко ухватятся за нее когти моей любви. Любовь моя станет для нее орлом с могучими крыльями. И не меня она будет открывать, но с моей помощью — долины, горы, звезды, богов.

Не во мне дело. Я только тот, кто несет вперед и вперед. Дело не в тебе, ты — тропинка к лугам на заре. Дело не в нас обоих, мы оба — путь к Госпо-

ду, Ему однажды понадобится наше поколение, и Он возьмет его.

CLXXI

Не стоит ненавидеть несправедливость: все в пути, она еще станет справедливостью.

Не стоит ненавидеть неравенство, ибо оно — зримая или незримая иерархия. Не стоит ненавидеть пренебрежение жизнью, ибо, если ты жертвуешь жизнью большему, чем ты сам, жертва твоя становится взаимодарением.

Ненавидь нескончаемый произвол, который уничтожает смысл любой жизни, ибо смысл жизни в том, чтобы потратить себя на ту вещь, которая сделает тебя долговечнее.

CLXXII

Нащупай в настоящем животворное семя, что пребудет и завтра. Обозначь его. Благодаря ему люди ощутят себя значимыми, их труды осмыслятся. В настоящем тебе не нужно от них ничего сверх того, что они дают и так, что отдавали вчера. Не нужно ни большего мужества, ни меньшего; ни больше жертвенности, ни меньше. Не нужно учить их, и не нужно клеймить то, что сейчас им присуще. Не нужно ничего в них менять. Нужно только выразить их как можно лучше. Из уже существующих камешков ты можешь сложить желанную мозаику. Люди тоже хотят складывать мозаику, они не знают, что им делать с насыпанными в них камешками.

Выразив человека, ты сделался ему хозяином. Ибо направил того, кто искал для себя пути, искал решения и не мог найти. Дух торит дороги.

Не будь им судьей, будь божеством, что направляет. Отыщи каждому место и помоги сбыться. Все остальное сложится само собой. Так ты заложишь жизненную основу. А она будет питаться, расти и понемногу изменит весь мир.

CLXXIII

Всего-то и есть что лодка, затерянная в мирном морском просторе.

Но, конечно, есть, Господи, и иная мера, благодаря ей рыбак в своей лодке покажется мне костром усердия, добывающим из вод хлеб любви ради жены и детей, или сгустком гнева из-за обреченности платить дань голоду. Или муками смертельной болезни, что сделала его комком боли.

Малость человека? Как увидел ты, что он мал? Не мерь его цепью землемера. Достаточно лодки, и все станет огромным.

Достаточно, Господи, погрузить в меня якорь боли, чтобы я узнал себя. Ты дернешь за веревку, и я очнусь.

А может, человек в лодке терпит от несправедливостей? Но картина все та же. Та же лодка. Та же мирная гладь. Дневная лень.

Что смогу я принять от человека, если не смирю перед ним свое сердце?

Господи! Приживи меня к дереву, от которого я плоть от плоти. Утекает смысл, если я в одиночестве. Пусть опираются на меня. И я обопрусь на

них. Напряги меня своими неравенствами. Иначе я разлажен и преходящ.

А мне необходимо сбыться.

CLXXIV

Я говорил тебе о пекаре. Он месит тесто для хлеба, и, пока оно податливо липнет к рукам, теста нет. Но вот, как принято говорить, тесто схватилось. В бесформенной массе появилась упругость силовых линий. Мускулы корней разветвились в тесте. Хлеб нарождается в нем, словно росток в почве.

Ты пережевываешь свои сложности, но без всякого толку. Перебираешь решения, но ни одно не подходит. Ты несчастен, потому что топчешься на месте, а радость приходит только вместе с движением. И вот, переполнившись отвращением к собственной развинченности и дробности, ты поворачиваешься ко мне, прося избавить тебя от противоречий. Я могу разрешить их, предложив тебе решение. Предположим, ты страдаешь, оказавшись пленником победителя, и тогда я скажу тебе так ты упростил себя до выбора «за» или «против», ты готов осуществить выбор, но душевный покой, который ты обретешь, будет покоем или фанатика, или муравья, или труса. Мужество состоит не в том, чтобы погибнуть, побивая носителей чуждой тебе истины.

Да, ты страдаешь и пытаешься избавить себя от страдания. Но ты должен принять его, и тогда ты поднимешься на ступеньку вверх. Сравни свою боль с болью от раны. Ты ищешь средства, чтобы избавиться от нагноения.

Но того, кто предпочел ампутацию лечению, я не назову мужественным, скорее — сумасшедшим или трусом. Я не за ампутацию, я за исцеление.

Поэтому с горы, с которой я смотрел на город, я обратил к Господу такую молитву:

«Вот они здесь, Господи, они просят меня сделать их значимыми. Они ждут для себя истины, от меня ждут, Гос поди, но она еще не вызрела. Помоги мне! Я только начал месить тесто, оно еще не схватилось. Еще не проросли корни, и я узнал тяжесть бессонных ночей. Но знакома мне и тяжесть зреющего плода. Ибо всякое созидание поначалу крупица в реке времени, но мало-помалу разрастается и обретает форму.

Они несут мне вперемешку свои стремления, желания, нужды. Они загромоздили ими мою строительную площадку, их я должен соединить воедино, их должен вобрать в себя храм или корабль.

Но я не пожертвую нуждами одних ради нужд

других, величием одних ради величия других. Покоем этих ради покоя тех. Я соподчиню их всех друг другу, чтобы они стали кораблем или храмом.

Я понял, что соподчинить означает принять и отвести место. Я подчиняю камень — храму, и он уже не валяется в куче на строительной площадке. Не будет ни одного гвоздя, которым бы я не воспользовался для корабля.

Я не придаю значения большинству голосов; большинство людей не видит корабль, он слишком далек от них. Окажись в большинстве кузнецы, они взяли бы верх над плотниками, и кораблю не появиться на свет.

Мне не нужен порядок, царящий в муравейнике. Я могу навести порядок с помощью палачей и тюрем, но человек, взращенный в муравейнике, будет муравьем. Я не вижу смысла оберегать особь, если она не копит опыт и не передает наследства. Конечно, сосуд необходим, но драгоценен в нем душистый бальзам.

Не хочу я и всеобщего примирения. Примирить — значит удовольствоваться теплой бурдой, где ледяной оранжад смешался с кипящим кофе. Я хочу сберечь особый аромат каждого. Ибо желания каждого достойны, истины истинны. Я

должен создать такую картину мира, где каждому отыщется место. Ибо общая мера истины и для кузнеца, и для плотника — корабль.

Но настанет час, Господи, и Тебе станет жаль меня за царящий во мне разлад, хотя я принимаю его. Домогаюсь я безмятежности, что воссияла бы над преодоленными противоречиями, мне не нужно перемирия между соратниками — перемирия, сложенного наполовину из любви, наполовину из ненависти.

Если я обижаюсь, Господи, то из-за того только, что не все еще уразумел. Если сажаю в тюрьмы и казню, то из-за того только, что не умею приютить. Владелец непрочной истины, утверждающий, что свобода лучше принуждения или, наоборот, принуждение лучше свободы, кипит от гнева, считая, что ему противоречат, но он в плену неуклюжего языка, где слова то и дело дразнят друг друга. Громко кричишь, потому что язык твой неубедителен и ты хочешь перекрыть голоса других.

Но на что мне обижаться, Господи, если я добрался до Твоей горы и увидел сквозь пелену слов, какая идет работа. Того, кто идет ко мне, я приму. Того, кто взбунтуется против меня, пойму. Пойму, почему он заблудился, и ласково заговорю с ним,

постаравшись, чтобы он вернулся. Ласково не потому, что уступаю ему, подольщаюсь или хочу понравиться, — потому, что явственно увидел настоя тельность его жажды. Она стала и моей тоже, потому что и заблудшего я вобрал в себя. Не гнев ослепляет — гнев порожден слепотой. Как обижает тебя эта сварливая женщина! Но она расстегнула платье, ты увидел: у нее рак кожи — и простил ее. Разве можно обидеть отчаяние?

Мир, к которому я стремлюсь, добывается муками. Я согласен на жестокость бессонных ночей, ибо шаг за шагом иду к Тебе, в Ком разрешились все вопросы, Кто все выразил, Кто есть тишина. Я — медленно растущее дерево, но я — дерево. Благодаря Тебе я вбираю в себя земные соки.

Как явственно я ощущаю, Господи, что дух преобладает над разумом. Ибо разум ощупывает вещественное, дух прозревает корабль. И если я зачал корабль, они одолжат мне свой разум, чтобы выявить, вылепить, облечь, укрепить желанное мной творение.

С чего им отталкивать меня? Я ничем не отяготил их, наоборот, дал возможность каждому любить любимое.

Разве плотнику тяжелее будет строгать доски, если это будут доски для корабля?

Даже равнодушные, что до сих пор оставались без места, повернутся в сторону моря. Ибо живая жизнь всегда притягивает к себе и перерабатывает в себя все окружающее.

Если не будет зрим корабль, как узнать, куда направится человек? По вещности никак не определишь пути. Человеку не родиться, если вокруг не зародить жизни. Но когда уложены камни, душа человеческая погружается в море тишины. Когда семя кедра втягивает в себя землю, я могу предвидеть, как будет вести себя земля. Если знаю строительный материал, знаю строителя и знаю, к чему он стремится, то могу сказать: они пристанут к дальнему острову».

CLXXV

Я хочу видеть тебя устойчивым и основательным. Хочу, чтобы ты был верным. Основа верности — верность самому себе. Чего достигнешь изменами?

Медленно наращиваются узлы, что будут питать тебя жизнью, определят направление, станут смыслом и светом. Будто камни, складывающие храм. Разве рассыпаю я каждый день камни, чтобы выстроить храм еще краше? Если ты продаешь свое царство ради другого, на взгляд, может быть, лучшего, ты неотвратимо утрачиваешь что-то в самом себе, то, чего не найдешь никогда. Почему тебе так тоскливо в твоем новом доме? Куда более удобном, лучше обустроенном — доме, о каком ты мечтал в нищете былого? Колодец так утомлял тебя, и ты мечтал о водопроводе. Вот он — водопровод. Но теперь тебе не хватает скрипа ворота, воды, добытой из чрева земли, что вдруг отражала твое лицо, когда в колодец ныряло солнце. Не подумай, будто я не хочу, чтобы ты взбирался на гору все выше и выше, шел все дальше и дальше. Но пойми, одно дело — ощутимая победа твоих усилий: водоем,

которым ты украсил свой сад, — и совсем другое — переселение в чужую раковину. Одно дело: непрестанное совершенствование одного и того же, украшение храма, например, или все новая и новая листва растущего вольно дерева, другое — равнодушная перемена места обитания.

Я перестаю доверять тебе, ибо ты оборвал связь, утратил самое драгоценное свое достояние: оно не в вещах — в осмысленности мира. Я знал эмигрантов, они всегда тосковали.

Прошу тебя, прислушивайся к собственной душе, иначе обманешься словами. Этот сделал смыслом своей жизни странствия. Он меняет пространства и измерения, но я не скажу, что он духовно нищает. Его постоянство — странствие. Другой любит свой дом. Постоянство его — дом. И если ему придется, что ни день, переселяться, он почувствует себя несчастным. Когда я говорю «оседлый», я не имею в виду тех, кто больше всего на свете любит свой дом. Я говорю о тех, кто больше не любит дома, перестал замечать его. Твой дом — тоже ведь неуклонное одерживание побед, лучше всего о них знает твоя жена, она обновляет его на заре.

Я хочу рассказать тебе, что такое измена. Что ты, как не узел всевозможных связей и привязанно-

стей? Ты существуешь благодаря сопряженности, связанности. Сопряженность существует благодаря тебе. Храм существует благодаря каждому из камней. Убери вот этот — храм обвалится. Ты привязан к земле, храму, царству. И благодаря тебе существуют земля, царство, храм. Не твое дело судить о них, как судит посторонний, что не привязан к ним. А если судишь — судишь самого себя. Здесь твоя боль, но и жизнестояние. Я отступаюсь от того, кто отрекается от согрешившего сына. Сын его — это он сам. Пусть разбранит его, осудит, казня вместе с сыном самого себя, если любит его, пусть бьется с его истинами, но не ходит из дома в дом с жалобами на него. Если отец отступился от сына, он перестал быть отцом, покой, которого он добился, сузил поле его жизни, покой его — покой мертвых.

Я всегда считал обделенными тех, кто не знает, с кем они заодно. Я видел, как лихорадочно эти люди искали религию, общину, круг, куда бы их приняли. Их принимали, но единение было иллюзорным. Подлинную общность дают только общие корни. Ты ведь ищешь жизни надежной, укорененной, отягощенной правами, обязанностями, ответственностью. Ношу жизни не получишь, будто носилки с камнями от прораба

на стройке. А когда бросаешь свою ношу — опустошаешься.

Мне по нраву отец, который бесчестье греховного сына принимает за свое, посыпает голову пеплом и кается. Сын — это он сам. Он привязан к сыну и, ведомый им, ведет его. Я не знаю дороги, что вела бы в одну только сторону. Если ты отказался отвечать за падения, окажешься ни при чем при победах.

Если любишь ту, что принадлежит твоему дому, ту, что зовешь своей женой, а она согрешила, никогда не смешаешься ты с толпой осуждающих.

Она твоя, и суди сперва самого себя, ты за нее в ответе. Твоя страна в разоре? Я настаиваю: суди себя, ты и есть твоя страна.

Конечно, окружат тебя любопытствующие чужаки, и тебе придется краснеть перед ними. Чтобы освободиться от стыда, ты отмежуешься от грехов своей страны. Но тебе, как каждому человеку, нужно быть с кем-то заодно, С теми, кто оплевал твой дом? «Они правы», — скажешь ты. Очень может быть. Но я хочу, чтобы ты чувствовал, что принадлежишь своему дому. Отойди от тех, кто оплевывает. Негоже плеваться самому. Вернись домой и помолись. Скажи: «Стыдно мне. Почему лицо мое так изуродовали соотечествен-

ники?» Если их позор ты воспринимаешь как свой собственный, стыдишься его и терпишь стыд, ты сможешь повлиять на что-то, улучшить, облагородить. Себя ты облагородишь в первую очередь.

Нежелание плеваться не означает сговора с пороком. Ты разделяешь позор, чтобы очиститься. Отстранившийся разжигает посторонних: «Вы только посмотрите на эту смердящую гниль, но я к ней не имею отношения…» С чем тут стать заодно? Чужаки ответят, что они заодно с человеком, или с добродетелями, или с Господом. А ты — ты говоришь слова, слова опустели, не обозначая больше связующих нитей; чтобы дом стал Господним, нужно, чтобы снизошел в него Господь. Смиренный, что затеплил свечу, знает: свеча его — молитва Господу. Для того, кто заодно с людьми, люди — не слово из словаря, люди — это то, за что он в ответе. Нетрудно сказать: Господь Бог важнее возжигания свечей. Но я не знаю, что такое люди, — я знаю много разных людей. Не знаю, что такое счастье, — знаю счастливых людей. Не знаю, что такое красота, — знаю прекрасные творения. Не Господа Бога, но рвение в возжигании свечей. И тот, кто желает преобразиться, не перерождаясь, — суеслов с пустым сердцем. Они

не умрут и не воскреснут, ибо и умерщвляют, и живят не слова.

Так вот, тот, кто вечно всех судит и не стал ни с кем заодно, кто вечно на своей стороне, тот уперся в собственное тщеславие, как в глухую стену. Его заботит, как он выглядит, а не то, что он любит. Он перестал быть связующей нитью — стал вещью, на которую смотрят. Но в вещах нет никакого смысла.

Если, стыдясь своих домашних или сограждан, ты утверждаешь, будто сам ты чист, и говоришь, будто обеляешь себя ради их чистоты, ибо вы из одного дома, — ты лжешь. Ты сбежал из дома, как только появился недоброжелательный чужак, ты обеляешь себя — и только себя. И чужаки вправе спросить тебя: «Раз твои такие же, как ты, где они и почему не плюются вместе с нами?» Нет, ты топишь своих в позоре и позор их пытаешься обернуть себе на пользу.

Бывает, конечно, и так, что человек не в силах переносить низость, пороки, позор своего дома, земли, царства, и он пускается в путь в поисках благородства. Человек этот — свидетельство, что среди сродных ему благородство еще существует. Значит, жива среди них честь, раз отправила его в путь. Он — свидетельство, что и другие жаждут

пробиться к свету. Но опасна и ненадежна его попытка, душевной высоты ему понадобится больше, чем перед лицом смерти. Он повстречает любопытствующих, и они ему скажут: «Ты и сам такая же грязь». Если он чтит себя, то ответит: «Такая же, но я из нее выбрался». Судьи скажут: «Смотрите, чистые избавляются от грязи! А те, кто остался в ней, сами — грязь». И ему воздадут почести, ему лично, а не его родовому дереву. Он присвоит одному себе славу своих предков. И будет одинок, как бывает одинок тщеславный или смертник.

Уходя, ты вступаешь на сомнительный путь. Ибо твои муки совести — свидетельство о живой еще в твоих согражданах чести. Но ты их всех отсек от себя…

Ты обретешь верность, лишь расставшись с тщеславным желанием выглядеть в чужих глазах лучше. Ты скажешь: «Я ничем не отличаюсь от них, я думаю, как они». Да, и тебя наградят презрением.

Но что тебе до чужого презрения, если ты частичка большого тела? Если можешь влиять на него? Если передашь ему присущие тебе устремления и склонности? Если оно придаст тебе чести, удостоившись почестей? Чего лучшего можно

желать?

Если у тебя есть основания стыдиться, не показывай своего стыда. Не говори о нем. Грызи его сам. Несварение проходит, если лечишься от него дома. И понимаешь, что оно в твоей власти. Но вот у человека болят и руки, и ноги. Он ампутировал их. Он сумасшедший. Ты можешь пойти на смерть, чтобы ради тебя стали уважать твоих сограждан, но не смей отчуждать их, ты отчуждаешься от самого себя.

Хорошо и дурно твое дерево. Не все его плоды тебе по вкусу. Но есть среди них и прекрасные. Слишком просто было бы льстить себе хорошими и отвергать все остальные. Не упрощай, и хорошее, и дурное от одного корня. Несложно выбрать пышные ветки. Отрубить худосочные. Гордись тем, что прекрасно. Но если уродства больше, молчи. Твое дело повернуться к корням и спросить: «Что я должен сделать, чтобы вылечить ствол и ветки?»

Чужедальнего сердцем народ отчуждает от себя, и сам он отчуждается от народа. Так оно бывает, и бывает всегда. Ты признал правоту чужака. И хорошо бы стать тебе одним из этих чужих. Но ты не родился на их земле, она для тебя — смерть.

Суть твоя причиняет тебе боль. Ты ошибся, пытаясь отделить себя от нее. Что из себя ты можешь выбросить? Болит у тебя здесь, но болеешь-то ты.

Я отступаюсь от того, кто отступается от жены, города или страны. Ты недоволен ими? Ты их часть. Ты в них часть, тяготеющая к благу. Твое дело — увлечь за собой остальное. А не судить, глядя со стороны.

Судить возможно двояко. Судить можешь ты, со своей стороны, судить, как судья. Но и тебя можно судить.

Кому нужен муравейник? Ты отрекся от своего дома и, значит, отрекся от дома вообще. Отрекся от жены и, значит, отрекся от любви. Ты оставил женщину — тогда откуда возьмется любовь?

CLXXVI

— Пусть будет так, — говоришь ты мне, — ты кричишь во весь голос против вещей, но есть вещи, которые меня облагораживают. Ты возражаешь против стремления к почестям, но есть почести, которые меня возвышают. А бывает, что и унижают тоже.

— Пойми, дело не в вещах и не в почестях. Значимость их зависит от духа твоего царства. Прежде всего они части целостности. Разнообразящие ее части. И если этой целостности служишь и ты, обогащая ее, — ты обогащаешься сам. Можно подтвердить это на примере спортивной команды, если только она настоящая. Вот один из команды завоевал приз, вся команда гордится, обогатившись сердечной радостью. Горд за свою команду и чемпион, он возвращается с кубком под мышкой и пылающими щеками. Но если нет команды, а есть группа чуждых друг другу людей, приз значим только для чемпиона. Он пре зрительно поглядит на тех, кто не получил его. А они позавидуют ему и возненавидят. Чужая удача будет каждый раз ударом в сердце. Теперь ты видишь: один и тот же кубок для одних

— возможность стать благороднее, для других — хуже. Служит тебе только тот, кто торит дороги взаимообменов.

И еще пример: мои юные лейтенанты — они мечтают умереть за царство, и вот я сделал их полководцами. Они в ореоле славы, но разве стали от нее хуже? Я помог им стать еще деятельнее, еще преданнее. Облагородив их, я облагородил большее, чем они, — царство. Лучше будет служить моему царству и флагман. В день, когда я сделаю его флагманом, своим воодушевлением он воодушевит и капитанов. И еще пример: счастливая своей красотой женщина — счастливая потому, что одарила счастьем мужчину. Как украшает ее бриллиант! Как украшает она любовь!

Человек любит свой дом. Дом его так скромен. Но он трудится ради него днем и ночью. В доме не хватает пушистого ковра или серебряного кувшина, из которого наливают воду в чайник, когда пьют чай вместе с возлюбленной перед часом любви. И вот настает вечер, когда, наработавшись, он входит в лавку и после многих бессонных ночей, тяжелых работ выбирает самый красивый ковер, самый красивый кувшин, как выбирают драгоценную реликвию. Он возвращается домой, порозовев от гордости: с се-

годняшнего дня его дом будет воистину домом. Он созывает всех друзей отпраздновать новый серебряный кувшин. Молчаливый, застенчивый, он разговорился во время своего торжества, и меня трогает его радость. Человек этот вырос в собственных глазах и еще преданней будет служить своего дому, потому что дом стал еще прекраснее.

Но царства, которому ты служишь, нет, если почести, знаки отличия или богатства ты забираешь себе, и только себе, их словно бросают в бездонный колодец. Ты поглощаешь их. В тебе просыпается жадность, и ты все ненасытнее пестуешь в себе алчность. Ты не понимаешь, откуда горечь, что приходит к тебе вечерами, когда ты оглядываешь свои сокровища, которых так неукротимо жаждал. «Тщетны земные блага, — твердишь ты, — тщетны!..»

Тот, кто кричит о тщете вещественного, служит одному себе. И конечно, ничего не найдет.

CLXXVII

Я заговорю с тобой, и с моей помощью тебе откроется очевидное. Я верну тебе твои божества. Кто-то верит в ангелов, кто-то в демонов, кто-то в духов. Достаточно, чтобы они народились, и вот они уже трудятся. С мига, когда ты постиг, что же такое милосердие, оно начинает привлекать к себе человеческие сердца. У тебя есть родник. Но не каменный обод чаши, истертый многими поколениями, не журчание и не запас воды, собранный в эту чашу, словно урожай в корзину (твои волы приходят к ней на водопой и пьют), нет, не сама по себе вода, журчанье, молчаливая чаша, не прохлада воды в ладонях — прохлада не только ночью, когда в воде дрожат звезды, такие освежительные на вкус, — значима божественность твоего родника, она осеняет и этот камень, и тот, и лоснящийся обод чаши, и медленное шествие волов, и утоление жажды, ее ты и чувствуешь, ее не теряешь среди дробности вещественного мира. Ибо драгоценнее всего радование роднику.

Я сделаю так, что ты будешь слышать его журчанье в ночной тишине. Неважно, что останется он где-то далеко-далеко: мне достаточно

будет разбудить тебя. Подарок мой будет драгоценнее золотого обода, кольца с бриллиантом, потому что дорого нам не то, что мы используем, — дорого предвосхищение праздника или воспоминание о нем. Вот и хозяин царства идет полевым проселком (чем ему царство сейчас в помощь?), и все-таки он — хозяин, а не слуга, на сердце у него забота и о стадах, и о хлеве, и о спящих пока работниках, и о зацветающем миндале, и о будущих тяготах жатвы; никого, ничего он сейчас не видит, но за все ощущает себя в ответе. Вот она, власть Божественного узла, что связал воедино разноликую дробность мира, превратил ее в божество царства, смеющееся над стенами и стенаниями бездн. В твоей ночи я хочу видеть и тебя хозяином, пусть ты умираешь в пустыне от жажды, пусть влагу твоей жизни иссушила скупость засыпанного песком колодца, но тебя не оставит божество твоего родника. И если я говорю тебе, что журчанье родника — это стук сердца яблонь, кедра, оливы, ибо он питает их жизнью (ты увидишь, как умирают деревья, стоит замолчать воде), то говорю это, чтобы передать тебе сокровище, чтобы ты уподобился моему воину: он спокоен и уверен в себе в той пустыне, куда я пришел на заре рассевать свои

зерна, спокоен, потому что где-то далеко-далеко находится его любимая, которой словно бы нет на свете, оттого что она крепко спит, но голос ее, ее дыхание — живительный ток для его сердца.

Больше всего на свете не хочу я, чтобы ты убивал своих хрупких богов, они умрут беззвучно, словно голубки, не оставив ни перышка. Ты и не заметишь, что погубил их. Останется обод чаши, и вода, и ее журчанье, и оловянный водосток, и каменная мозаика, и ты, что перебираешь все это, желая понять и не понимая, что же ты все-таки потерял. Ты не поймешь, потому что не потерял ничего вещного, кроме жизни этой вещи.

Порукой моей правоты — слово в поэме, ставшее для тебя откровением. Я могу присоединить и его к тем божествам, что наживаются так постепенно. Медленно перевоплощается в божество и твоя деревня, сейчас она задремала, припрятав в запас зерно и солому, прибрав лопаты, цепы и мотыги; дремлет вместе с невеликим грузом желаний, соблазнов, гнева и жалости; с древней старухой, что, будто перезрелое яблоко, готова скатиться с этого дерева; с новорожденным, что вот-вот готов появиться на свет; с преступлением, что всколыхнуло ее, будто вспышка болезни; с прошлогодним пожаром, о котором

ты вспомнил, залечивая оставленные им раны; с ратушей, с именитыми гражданами — они так горды, что ведут свой корабль по потоку времени, хотя этот корабль всего лишь рыбачья лодка с малозаметной под звездами судьбой. Но вот я сказал тебе: «Родник твоей деревни», — и сердце в тебе встрепенулось, ты сделал шаг вперед, и еще, и мало-помалу твой путь откроет тебе лик Господа, Который только и может насытить тебя и удовлетворить; от одной вехи к другой пойдешь ты к Тому, Чье присутствие так ощутимо сквозь полотно жизни, к Тому, Кто суть и смысл той книги, откуда я беру отдельные слова, к Нему — Мудрости, к Нему — Бытию и Жизни, к Нему, Который возвращает тебе все востребованное, Кто, ведя со ступени на ступень, связует воедино вещественную дробность мира, чтобы в ней появился смысл, — к Господу, Который обожествил и родники, и деревни.

Народ мой возлюбленный, ты растерял свой мед, он не в вещности — в осмысленности всех вещей на свете, теперь тебе так не терпится жить, но дороги найти ты не умеешь.

Я знал садовника, он умирал, не успев обиходить свой сад. Он спрашивал: «Кто обрежет мои деревья?.. Кто посадит цветы?..» И просил

продлить ему дни, чтобы навести в саду порядок. У него были прекрасные цветы, затаившиеся в кладовке семена, лежали в сарае лопаты и грабли, способные разбудить силу земли, острый нож на поясе, умеющий омолаживать усталые деревья, но без него все это было инструментами, предметами, вещами, а не священной утварью, необходимой для обряда богослужения. Вот и с тобой, мой народ, сталось то же, что с утварью садовника, с тобой и с твоими хранилищами — с твоей соломой, зерном, устремлениями, милосердием, тяжбами, спорами, умирающими старухами, ободом колодца, мозаикой, журчанием воды. Ты не можешь стать единым целым со своей деревней, со своим родником: развязался магический Божественный узел, а алчущее сердце сыто лишь пищей духа.

CLXXVIII

Перестав слушать людей, я услышал их. Одни мудры, другие — нет. И вот передо мной женщины, что творят зло ради зла. Нет у них другой радости, как чувствовать разгорающиеся огнем щеки и в душе смуту, — черный комок, подобравшаяся пантера. Она уже сжалась иссиня-черной молнией, сейчас ударит.

Они похожи на вулканы с безудержной и бесполезной мощью. Но таков же и огонь солнца, а благодаря солнцу цветут цветы. Ты улыбнулся с утра любимой, потянулся к ней с поцелуем, и одно за другим все происходящее исполнилось смысла. Нужен магнит, чтобы собрать тебя воедино и породить заново.

Рождение — всегда открытая рана.

Это видно по дереву, на взгляд оно — дремотная размеренность и неспешность, окружившая себя, будто царством, душистым ароматом, но в один миг его мощь может стать пищей пламенеющего пожара. Знаешь, из тебя, из твоих вспышек гнева, из ревности, хитростей, тревожной лихорадки, что делает тебя таким трудным к вечеру, я хочу вырастить умиротворенное дерево. Не отсекая от

тебя лишнее, потому что так я растоплю ледник и превращу тебя в гниющее болото, но собрав воедино, как семечко, которое, став деревом, хранит солнце. Я призываю дух, чтобы он взрастил тебя, будто зерно, ничего в тебе не отвергая, не отсекая, не кастрируя, но преобразив тысячу твоих капризов и прихотей в цельность.

Я не говорю: «Приди ко мне, и я обрежу лишние ветки, вылеплю тебя, придам форму»; я говорю: «Приди ко мне, и ты породишь сам себя». Ты протянешь мне свою разноликую дробность — и я верну тебе тебя целостностью. Не я буду идти посредством тебя. Ты сам пустишься в путь. Я помог, внеся в тебя соразмерность. Так вот, женщина эта горяча и озлоблена. О, как озлобляет душу жестокость душных ночей, когда без толку поворачиваешься с боку на бок, разбитый, оставленный, несчастный! Бестолковый дозорный разоренного города. Я знаю, ей не управиться со своим разладом. Она зовет сказителя и приказывает: «Пой!» Он поет. «Не то! — говорит она. — Убирайся!» И зовет другого, потом третьего. Она изнуряет их и мучает. В изнеможении будит подругу: «Тоска смертная! Сказками ее не развеять…»

И любовь — один, другой, третий… она обирает

одного за другим. Она ищет в каждом себя цельной и сбывшейся, но как найдешь себя? Ты же не вещица, что затерялась среди множества других.

Но в тишине приду я. Я — незримый сшиватель. Я ничего не переменю в материи, даже не поменяю лоскуты местами, но верну каждому лоскуту значимость и смысл, я — незримый любовник, помогающий сбыться.

CLXXIX

Скрипка без скрипача, счастливая возможностью издавать звуки. Я видел: рад ребенок, трогая струны и удивляясь своим пальцам. Что мне до случайного звука струны: я хочу, чтобы ты обжил сам себя. Но что тебе обживать? Тебя нет, ты пренебрег становлением. Ты бредешь и пробуешь наугад то одну струну в себе, то другую, надеясь на необычайный звук. Тебя будоражит надежда набрести дорогой на стихотворение (как будто оно яблоко, которое можно подобрать) и, ухватив его, вернуться поэтом.

Но я хочу прочно укорененного семени, пусть трудится, вытягивая соки, питая свои стихи. Хочу прочной души, готовой расцвести любовью. Что искать в вечернем ветре лицо, которое пленит тебя? Есть ли в тебе душа, которую можно взять в плен?

Ты сказал, что чтишь любовь.

Говоришь, что чтишь справедливость. (Справедливость вообще, а не справедливые поступки.) И во имя справедливости легко идешь на несправедливости.

Чтишь милосердие — и без труда становишься

жестоким, служа ему.

Чтишь свободу, но сажаешь в тюрьмы несогласных с тобой.

А я? Я знаю справедливых людей, но не справедливость. Свободных людей, но не свободу. Влюбленных, но не любовь. Точно так же, как не знаю ни красоты, ни счастья, а только счастливых людей и прекрасные творения.

Все начинается с дела — созидай, постигай, твори. Рано или поздно придет воздаяние.

Но те, что любят возлежать в парадной постели, желают заполучить в свое распоряжение главное, не пре одолев дробности. Так курильщик гашиша за несколько суопьяняется творчеством.

Кто они, как не гулящие, отданные на волю всех ветров? Как снабдишь их любовью?

CLXXX

Я не люблю толстосумов, но принимаю их как ступеньку более высокую по сравнению с вонючей, грубой помойкой, как обещание, что мой город станет красивее. Помню, что противостояний нет, что от совершенства веет смертью. Принимаю плохих скульпторов, надеясь на появление хороших, дурной вкус как путь к хорошему, внутренние запреты как путь к свободе и толстосумов как путь к дальнейшему облагораживанию, но не ради них самих, не во имя их — принимаю ради тех, кого они способны кормить. Толстосум платит ваятелю за статую, он — житница насущного, где хороший поэт поклюет зерна, необходимого для поддержания жизни. Зерно украдено у земледельца, украдено, потому что в обмен предложены стихи, но крестьянин посмеется над стихами; или статуя: ее он, возможно, не увидит, но, не будь грабителей-толстосумов, у меня не было бы и ваятелей. Что мне за дело, если житница приобрела обличье человека? Человек — путь, кладь, повозка.

Но ты продолжаешь упрекать меня, говоря, что дурно, если склад зерна станет складом стихов

и статуй, закрытым для взгляда простых людей. Я отвечу: опасаешься ты напрасно, тщеславие склонит толстосумов выставлять напоказ свои сокровища, а что касается их дворцов, то они и так у всех на виду; но запомни и другое — облагораживает душу не использование готового, а творческое горение: я ведь рассказывал тебе о царстве, что прославилось умением танцевать, хотя ни толстосуму в серванте, ни простолюдину в музее не сохранить станцованный танец, танец не превратишь в запас.

Ты возмущаешься, что у девяти из десяти меценатов нет никакого вкуса, что они поощряют слюнявых поэтов и бездарных скульпторов! Я отвечу: до их вкуса мне мало дела, но, если я хочу, чтобы дерево мое расцвело, я принимаю все дерево целиком — пусть стараются десять тысяч бездарных скульпторов, тогда появится и один стоящий. Значит, мне и нужно десять тысяч житниц с дурным вкусом и только одна, которая знает толк в вещах.

Нет противостояний, а значит, нет и однозначности, море вызывает к жизни корабли и топит их. Толстосум может и не быть путем, повозкой и кладью, он может пожирать свой народ из одного-единственного наслаждения перевари-

вать пищу. Желательно, чтобы море не топило корабли, принуждение не сковывало свободу, бездарность не уничтожала даровитости, толстосум не пожирал царство.

Тут ты интересуешься, каким образом я намереваюсь избавить нас от грозящей опасности. Нет у меня мер. Ты не спрашиваешь, как управлять камнями, чтобы они сложились в храм. Храм рождают не камни — архитектор: он заронил зерно, оно — притянуло камни. Я должен жить, творить, проторить стихами дорогу к Господу, она поведет мой народ, сделает его усердным и заставит зерно в житницах и толстосумов служить Господней славе.

Не подумай, что я озабочусь спасением житницы только потому, что она обрела обличье человека. Не буду спасать и вонь, хоть она и присуща золотарю. Золотарь — путь, кладь, повозка. Не подумай, что мне интересно, за что люди возненавидели несхожее с ними. Люди — путь, кладь, повозка. Мне нет дела до славословия и лести одних, до ненависти или восторгов других, в каждом из людей я служу Господу.

Я стою на склоне моей горы, я один, будто вепрь, недвижим, словно дерево, что в бегущей реке времени перерабатывает каменистое дно

в пригоршню цветов с семенами и бросает их в ладони ветра, — с ними улетает в свет слепой перегной, — я вне призрачных противоречий в своем бессрочном изгнании, ни «за», ни «против», не с этими и не с теми, я над кровными узами, партиями, заговорщиками, я сражаюсь за дерево один против всего того, из чего составлено дерево, ради всего того, из чего составлено дерево, я — во имя дерева, и кто возразит мне?

CLXXXI

Вот еще одна сложность: привести мой народ к свету истины я могу лишь при помощи дела, никак не слов. Жизнь должно строить, как храм, тогда и увидишь ее в лицо. Но что сделать из череды одинаковых дней, похожих на уложенные в ряд камни? Однако, состарившись, ты скажешь: «Я праздновал праздники моих отцов, вы учил моих сыновей, потом женил их, и нескольких из них, взрослых и крепких, Господь взял к Себе, чтобы они и дальше трудились ради Его славы, и я похоронил их».

Дни твои — чудесные семена, что преобразуют землю в песнопение и протягивают его солнцу. Ты и зерно преображаешь в свет, светящийся в глазах любимой, когда она улыбается тебе, а потом молится. И когда я рассеваю семена, они сродни вечерней молитве. Я тот, кто идет, не спеша, и разбрасывает семена под взглядами звезд, но если я окажусь слеп или заносчив, как мне узнать свое предназначение? Из зерна вырастет колос. Колос преобразится в человеческое тело, из человека родится храм во славу Господа. И тогда я могу сказать об этом зерне, что в его силах

собирать камни.

Для того чтобы земля стала храмом, достаточно одного крылатого семечка в ладони ветра.

CLXXXII

Я не начну с того, что все знаю и понимаю, я просто пойду и оставлю за собой след… Я принадлежу царству, оно мне, нас не разделить. Если я жду чего-то, то только от того, что заложил собственными руками, я — отец своих сыновей, они — плоть от моей плоти. Я не великодушен и не скуп, не жертвую собой и не подвигаю на жертвы — и если погибну на стенах города, то погибну за самого себя, ибо и я — часть моего города. Ибо естественно умереть из-за того, чем жил. Но ты пытаешься найти, словно товар в лавке, живую радость, которая дается только в вознаграждение. Ведь и город среди песков становится для тебя алым гранатом, потому что он — вознаграждение, и ты не устаешь наслаждаться его ароматной мякотью и с наслаждением приникаешь к нему. Ты бродишь по его рынкам, наслаждаясь пестрым развалом овощей, душистыми пирамидами мандаринов, что тщательно выстроены, словно столицы посреди провинций; но притягательнее всего для тебя пряности, магической силой они равны бриллианту, раз щепотки сладкого перца довольно, чтобы привлечь издалека вереницу па-

русных судов, каждый под своим флагом, чтобы заставить тебя вспомнить и морскую соль, и гудрон портов, и запах кожаных ремней, что овевал твои караваны посреди нескончаемого безводья, когда ты вел их к неведомому чуду — к морю. Поэтому я и говорю, что поэзию рынка пряностей ты создал сам, своими мозолями, ссадинами, мучениями собственной плоти. Но что ты найдешь, если нет у тебя победы, которую ты празднуешь, если сжигаешь ты избыточные запасы масла?

Боже мой, да испив однажды воды из колодца Эль Ксур…

Да! Мне нужно праздничное торжество для того, чтобы вода сделалась песнопением…

Так вот я и буду идти. Я пускаюсь в путь без большой охоты, но моя житница — перевалочный пункт для зерна, и я уже не могу различить, для накопления она или для траты. Я хотел посидеть и насладиться покоем. Но оказалось, что нет покоя. Теперь я знаю, что ошиблись те, что надеялись на возможность почивать на лаврах прошлых побед, воображая, будто можно запереть и сделать запас из победы, тогда как победа с тобой, будто ветер: попробуй запереть его — ветра нет.

Безумец, любя журчанье воды, запирает ее в

бутылку.

Ах, Господи! Я стараюсь быть путем и повозкой. Езжу туда и обратно. Тружусь, как осел или лошадь, с упрямым терпением. Я не вижу ничего, кроме земли, которую перекапываю, а потом, завязав фартук, вижу только зерно, золотящееся у меня под руками, зерно, предназначенное для сева. Тебе, Господи, выдумывать весну и прорастить зерна во имя Твоей славы.

И вот я иду против течения. Я обрек себя на печальное хождение по кругу, словно дозорный, которому хочется спать, который мечтает о супе, но один раз в год бог дозорных шепчет ему: «Как прекрасен этот край… сколько верности в дозорном… как он зорок в своем бдении!» Тебе воздается за твои сто тысяч шагов по кругу. Я приду тебя навестить. Мои руки возьмут твое оружие. Но вместе с твоими, как поддержка твоим. И ты ощутишь себя щитом, укрывающим все царство. И моими глазами с высоты стен ты увидишь красоту города. Ты, я, город станем единым целым. И любовь откроется тебе, как жгучая рана. И если костер обещает быть прекрасным, если красота его — достойная плата за твою жизнь, которую ты собирал полешко к полешку и сложил поленницу, я позволю тебе умереть.

CLXXXIII

Семя кедра может посмотреть на себя и сказать: «Как я прекрасно, полно сил и жизненной мощи! Я — уже кедр. Лучше кедра, ибо я его суть».

Но я, я говорю, что оно пока еще пустое место. Оно — повозка, кладь, путь. Оно — переключатель. Так пусть совершит переключение. Пусть, не торопясь, подведет землю к дереву. Пусть выстроит кедр во славу Господа. Я буду судить, каково оно, по его кроне.

И точно так же смотрят на себя люди: «Я такой или этакий...» Они кажутся себе сокровищницей. В сокровищницу, где сложены необыкновенные богатства, непременно ведет дверь. Достаточно найти ее на ощупь. Случай поможет, и хлынут потоком стихи. А ты, застыв в неподвижности, будешь слушать их голос.

Так поступает колдун племени. С видом знатока рвет он случайные травки, собирает что ни попадя. Складывает все в большой котел и варит безлунной ночью. Приговаривая слова, слова и снова слова. Он ждет, что от его котла изойдет незримая сила и опрокинет войско, что движется к его хижине. Но нет силы. Он вновь принима-

ется за дело. Изменяет слова. Меняет травы. И желание его не пропадает втуне. Видел и я, как древесное тесто и черный отвар опрокидывали царство. Я имею в виду мою грамоту с объявлением войны. Я видел котлы, из которых вылетала победа. В них изготовляли порох. Видел, как слабое дрожанье воздуха, вышедшее из одной груди, поджигало мой народ, словно пожар. Так призывали к бунту. Видел я и расположенные особым порядком камни, благодаря им плыл корабль тишины.

Но я никогда не видел, чтобы что-то получилось из случайно собранных предметов, если бы не было объединившей их воедино человеческой души. Если от стихов я могу заплакать, то куча детских кубиков с буквами не выжала ни из кого ни одной слезы. Непроросшее семя — пустое место, сколько бы ни восхваляло себя за то дерево, на которое пока себя не потратило.

Конечно, ты стремишься к Господу. Но из того, кем ты можешь стать, совсем не следует, что сейчас ты уже таков. Всплески твоих желаний бесплодны. В знойный полдень семечко, даже если оно семя кедра, не даст мне тени.

Жестокие времена пробуждают спящего ангела. Продираясь сквозь нас, разрывает он свои

пелены и слепит глаза светом! Ох уж эти наши тесные, скудные языки, пусть ангел вместит всех нас и сольет воедино! Пусть ангел возопит вместо нас. Возопит, призывая то, чего нет. Возопит, ненавидя бунты и мятежи. Возопит, требуя хлеба. Пусть преисполнит значимости жнецов, или жатву, или ветер, что гладит ниву, или любовь, или еще что-нибудь, нуждающееся в постепенности и неспешности.

Но ты, грабитель, отправляешься в веселый квартал и затеваешь сложную игру, надеясь заманить любовь и заставить ее отозваться, — любовь откликнется на простое прикосновение твоей жены к твоему плечу.

Согласен, лишь магия веками установленного уклада ведет тебя к поимке добычи — добычи, что ничем не похожа на ловушку, добычи вроде трепещущего счастьем сердца; северяне ловят ее раз в году, с помощью запаха смолы, украшенной елки и горящих свечек. Но я назову ложной магией, ленью и непоследовательностью помешивание в твоем котле случайных травок в надежде на чудо, которого ты не приготовил. Забыв сбыться, ты пытаешься назначить встречу с самим собой. Не надейся. Бронзовые двери затворились перед тобой.

CLXXXIV

Мне было грустно, печалили меня люди. Каждый занят собой и не знает, чего хотеть. Никакое добро тебе не в помощь, ибо ты попираешь его, желая возвыситься. Да, дерево ищет в земле соков, чтобы питаться ими и преображать в себя. Ты тоже питаешься. Но, кроме пищи, что может быть тебе в помощь? Гордость питается неосязаемым, и ты нанимаешь людей, чтобы они прославляли тебя. И они прославляют. Но хвала их тебе не в радость. Пушистые ковры украшают дом, и ты отправляешься за коврами в город. Ты набил коврами свой дом. Но и ковры тебе не в радость. Ты завидуешь соседу, у него не дом — королевский дворец. И ты отнимаешь у соседа дворец. Ты в него вселился. Но того, что искал, не нашлось и во дворце. Есть должность, которой ты домогаешься. Ты пустился в интриги. И вот она твоя. Но и должность похожа на необжитой дом. Для того чтобы дом стал счастливым, мало роскоши, удобства, безделушек, которые ты можешь разложить в нем, считая его своим. Да и что значит «своим»? Ничего, коль скоро ты однажды умрешь. Важно вовсе не то, чтобы был он твоим, этот дом, лучше

был или хуже, важно, чтобы ты был из этого дома, только тогда он покажет тебе дорогу, и твоему дому будет принадлежать твоя династия, твой род. Радует не вещь — дорога, которую она тебе приоткрыла. Иначе как было бы просто хмурому бродяге-себялюбцу порадовать себя изобильной, роскошной жизнью, ходи себе туда и сюда перед королевским дворцом и тверди: «Я — король. Вот он, мой дворец».

Но и для хозяина дворца дворец со всей его роскошью в эту минуту мало что значит. Он занимает сейчас одну только комнату. И бывает, прикрыл глаза, зачитался или заговорился, а значит, не видит и этой комнаты. Гулял по саду, он поворачивается к дворцу спиной и не видит ни колонн, ни арок. И все-таки он — хозяин дворца, он гордится им и, возможно, чувствует себя облагороженным, он хранит его в своем сердце, весь целиком: и тишину оставленной залы совета, и мансарды, и погреба. Да, конечно, нищий может поиграть в замок — что, кроме внутреннего мира, отличает его от короля? Нищий может вообразить себя хозяином, важно расхаживать взад и вперед, словно бы облачив душу в мантию. Но что толку в таких играх? Выдуманные чувства подточат, истреплют мечту. Испугай я нищего

кровавой резней, он забудет про игры, мантия упадет, вмиг развеется и туманное счастье, навеянное песней.

Вещественное ты в самом деле можешь присвоить, телесное переварить. Но напрасно ты стараешься присвоить и переварить духовное. Честно говоря, невелики радости от пищеварения. Да и не можешь ты переварить ни дворца, ни серебряного кувшина, ни дружбы друга. Дворец останется дворцом, кувшин кувшином. А друзья будут продолжать свою жизнь.

Так вот я, я — хирург: из нищего, что пытается походить на короля, приглядываясь к дворцу или к чему-то лучшему, чем дворец, к морю или лучшему, чем море, — к Млечному Пути, — но ничего не в силах присвоить, окидывая мрачным взором пространство, — из него я высвобождаю подлинного короля, хотя на взгляд нищий остался нищим. Но ничего и не нужно менять на взгляд, потому что одинаковы между собой и король, и нищий, одинаковы, когда сидят у порога своего жилища мирным вечером, когда любят и когда оплакивают утраченную любовь. Но один из них, и возможно, тот, что здоровее, богаче, у кого больше и ума, и сердца, пойдет сегодня вечером топиться в море, и нужно удержать

его. Так вот, чтобы из тебя вот такого, каков ты есть, высвободить иного, не нужно снабжать тебя чем-то зримым, вещным или как бы то ни было тебя изменять. Нужно обучить тебя языку, благодаря которому ты увидишь и в окружающем, и в себе самом такую нежданную, такую берущую за душу картину, что она завладеет тобой и поведет, — представь, ты мрачно сидишь перед кучей деревянных финтифлюшек, не зная, что с ними делать, и вдруг прихожу я и обучаю тебя игре в шахматы, — каким сложным, стройным, увлекательным языком начинаешь ты говорить.

Потому я и смотрю на людей в молчании моей любви, потому и не упрекаю их за тоску и скучливость, они не виноваты, виновен скудный язык, который каждый из них освоил. Я знаю, победителя-короля, что вдыхает знойный ветер пустыни, отличает от нищего, что дышит тем же зноем, только язык, но я буду несправедлив, если, не обучив нищего новому языку, стану упрекать его за то, что он не дышит, как король, победой.

Я хочу дать тебе ключ, отпирающий пространство.

CLXXXV

И один, и другой, я вижу, толкутся возле житницы мира, возле собранного меда. Они похожи на чужаков в некрополе, для них все мертво — но город этот жив и чудесен, только огорожен высокими стенами, — а они похожи на иноземцев, что слушают стихи на неведомом языке, на равнодушных, что глядят мимо красавицы, за которую другой отдал бы жизнь, а этим и влюбиться лень...

Я научу вас укладу любви. Для любви необходимо божество. Я видел, как в схватке из-за колодца воин, что мог бы выжить, позволил ночной темноте задернуть свет жизни, потеряв лисенка, что долго жил его нежностью и сбежал, повинуясь голосу природы. Воины, мои воины, однообразен ваш роздых, однообразны тяготы. Чтобы отогреть вас, нужно, чтобы ночь стала ночью возвращения, пригорок таил надежду, сосед оказался долгожданным другом, барашек на углях — торжеством в честь дня рождения, слова — словами песнопений. Нужен красивый город, или музыка, или победа, чтобы вы преисполнились собственной значимости, нужно,

чтобы я научил вас, словно детей, складывать из ваших камешков победоносный флот, нужна игра, чтобы ветер радости встрепенул вас, словно листву деревьев. Но вы в разладе с собой, вы в отсутствии. Пытаясь найти себя, вы обречены находить пустоту. Что вы, как не узел связей, привязанностей? Вот они истаяли, и вы смотрите на пустынный перекресток. Не на что надеяться, если любишь лишь самого себя. Я рассказывал тебе о храме. Камень служит не себе и не другим камням — они все вместе служат взлету души, что возвышает их и служит им. Может быть, ты сможешь жить любовной преданностью королю, если станешь королевским солдатом, ты и твои товарищи.

«Господи! — молил я. — Дай мне силу любить! Любовь — узловатый посох, что так в помощь при подъеме в гору. Помоги стать пастухом, чтобы смочь их вести».

Я расскажу тебе, каков смысл сокровища. Он незрим и ничего не имеет общего с вещественностью. Видел и ты приходящего ввечеру странника. Он вошел себе в харчевню, поставил палку в угол и улыбнулся. Его окружили завсегдатаи: «Откуда путь держишь?» Ты понял, как могущественна улыбка?

Не пускайся в путь, ища поющую лагуну дальнего острова — готового тебе подарка от моря, подарка, обшитого пенным кружевом, ты не найдешь ее, если не пре взошел морского уклада. Пусть даже я поставлю тебя на золото ее песчаной короны. Бездумно проснувшись на груди возлюбленной, ты обретешь одну возможность — позабыть любовь. Получая подарки, ты пойдешь от забвения к забвению, от смерти к смерти… О поющей лагуне ты мне скажешь: «Что в ней такого, чтобы стоило в ней поселиться и жить?» Но во имя любви к ней экипаж целого корабля готов пойти на смерть.

Спасти тебя не означает обогатить или облагодетельствовать тем, чем ты сможешь воспользоваться.

Нет, спасти — значит подчинить тебя, словно любимой жене, правилам игры. Как ощутимо мне одиночество, когда пустыне нечем меня занять. К чему песок, если не манит вдали недостижимый оазис, напоив все вокруг благоуханьем? На что безграничная даль горизонта, если со всех сторон не теснят племена варваров? На что ветер, если не шушукаются вдали враги? На что дробная вещность, если нет больше картины? Но мы сядем с тобой на песок. Я заговорю с тобой о пустыне, и

ты увидишь такую вот картину, а не иную.

Изменится все вокруг, и ты изменишься, ибо каждый зависим от своей Вселенной. Разве ты останешься прежним, если, сидя дома, узнаешь от меня, что дом твой тлеет? Или услышишь вдруг шаги возлюбленной? Или поймешь, что идет она не к тебе? Не говори мне, что я питаюсь иллюзиями, я не призываю тебя поверить, призываю увидеть. Что такое часть без целого? Камень вне храма? Оазис без пустыни?

Если ты живешь в сердцевине острова и хочешь узнать, что он из себя представляет, нужен я, который бы рассказал тебе о море. И если живешь посреди наших песков, нужен я, чтобы рассказать тебе о далекой свадьбе, необычайном приключении, освобожденной пленнице, приближении врагов.

Не говори мне, что счастливая свадьба в дальнем шатре не бросила блик торжества и на твои пески, ибо кому известен предел ее могущества?

Я буду говорить с тобой, следуя принятым у тебя обычаям, сообразуясь со склонностями твоего сердца. Моим даром станет значимость окружающего тебя мира, зримая сквозь него дорога и желание пойти по ней. Я — король, я дарю тебе розовый куст, только он и может тебя облагоро-

дить, ибо я потребую от тебя розу. С этого мига ступень за ступенью строится лестница к твоей свободе. Ты начнешь копать землю, рыхлить ее, будешь вставать на заре, чтобы ее поливать. Ты будешь заинтересованно следить за тем, что рождается от твоих трудов, оберегать свой куст от тли и гусениц. Как взволнует тебя появившийся бутон, каким праздником станет раскрывшаяся роза. Ты сорвешь ее и протянешь мне. Я приму ее из твоих рук, ты застынешь в молчании. Что тебе делать с розой? Ты обменял ее на мою улыбку… Ты идешь домой, счастливый и просветленный улыбкой своего короля.

CLXXXVI

Они не чувствуют, в чем смысл времени. Хотят рвать цветы, которые еще не раскрылись, которые еще и не цветы вовсе. Или берут расцветший где-то вдалеке, роза эта для них не венец долгого, кропотливого обряда — а просто вещь, пригодная для купли-продажи. Спрашивается, много ли будет от нее радости?

А я? Я иду к далекому саду. В воздухе зыблется шлейф корабля, груженного спелыми лимонами, каравана с ношей мандаринов, благоуханного острова, что еще там, за морем.

Я не получаю готовое, мне дано лишь обещание. Сад, словно страна, что предстоит завоевать, юная жена, что впервые в твоих объятьях. Сад открывается мне. Там, за невысокой оградой, земля, родящая мандарины и лимоны, земля, по которой буду ходить я. Но ничто на земле не вечно, исчезает аромат мандаринов, лимонов, улыбка. Но я — знающий, для меня все исполнено значимости. Я жду часа сада, как дожидаются часа свадьбы.

А они не умеют ждать, вот почему у них нет доступа к поэзии, время для них враг, а оно омола-

живает желания, украшает цветок, вынашивает яблоко. Они думают насладиться вещностью, но радует только дорога, что увиделась сквозь нее. Я иду, иду и иду. И если попадаю в сад — на родину благоуханья, — присаживаюсь на скамейку. Смотрю. Вот листья, они опадают, вот цветы, они вянут. Я вижу: одно умирает, другое нарождается. Я ничего не оплакиваю. Я — само бдение посреди открытого моря. Нет, на терпение это не похоже, потому что у меня нет цели, — скорее, это радость ощущать себя в пути. Мы идем с моим садом от цветов к плодам. От плодов к семенам. От семян к цветам будущего года. Меня не вводит в заблуждение вещественное. Ему не дано стать божеством. Я беру лопату и грабли, творя обряд сада, и чувствую: я священнодействую.

Но те, что не принимают время в расчет, вечно сражаются с ним. Ребенок для них вещь, они не ощущают, что он совершенствуется (он — путь к Господу, и поставить предел этому пути невозможно). А им хотелось бы малыша навек сохранить малышом, будто в нем скоплено про запас детство. Я, повстречавшись с ребенком, вижу, как силится он улыбнуться, краснеет, как хочется ему убежать. Я знаю, что пробивается в нем. И кладу ему руку на лоб, словно бы умиро-

творяя волнение моря.

Они говорят: «Я вот такой. Такой и этакий. Есть у меня то и это». Они никогда не скажут: «Я — плотник, торю дорогу дереву, что обручилось с морем. Я иду от праздника к празднику. Я — отец, я родил детей и рожу еще, жена моя не бесплодна. Я — садовник, служу весне, ей в помощь мои лопата и грабли. Я стремлюсь к…» Но они стоят на месте. Нет корабля, нет и смерти как мирной гавани. В голод они скажут тебе: «Мне нечего есть. У меня подвело живот. Подвело животы и у моих соседей. Какая там душа! У меня сосет под ложечкой». Они знать не знают, что страдание сопутствует выздоровлению, или выяснению отношений со смертью, или перерождению, или необходимости преодолеть неразрешимое противоречие. Страдание для них не перерождение, не преодоление, не будущее выздоровление, не смертная скорбь. Оно для них неуют, неудобство, и только. И радость у них — скудная, минутная радость сытости, они набили живот, удовлетворили желание, другой они не знают, им неизвестна просторная радость странника, узнавшего вдруг, что он — путь, кладь, повозка для вожатого всех вожатых.

Шаг за шагом движется караван, но не в моно-

тонности пути его суть. Ведь, подтягивая веревки, закрепляя готовый развязаться узел, подгоняя ленивых, раскидывая для ночевки лагерь, добывая воду для верблюдов, ты творишь обряд любви, приуготовляя себя к осененному зеленью пальм оазису, что увенчает твое странствие, приуготовляя себя к сладостному знакомству с городом, что начнется для тебя с лачужек бедной окраины, но и они осиянны светом, ибо город — твое божество.

Нет предела, за которым иссякла бы мощь твоего божества. Существовать оно для тебя начинает с камней и колючек. Камни, колючки — священная утварь, первые ступени ведущей вверх лестницы. Лестницы в спальню любимой жены. Строчки стихотворения. Травы волшебного зелья. Ибо потом своим и ободранными коленями ты добываешь город. И видишь: камни, колючки — уже город, как яблоко — это солнце, вмятины в глине — толчки сердца ваятеля. Ты знаешь, пройдет месяц, и дорожный кремень обратится в мрамор, колючки — в розы, сушь — в родники. Как остановиться в творении, если каждый шаг твой созидает город? Я всегда говорю моим погонщикам, когда мне кажется, что они устали: «Вы — камневозы, вы строите город с голубыми пру-

дами, вы — садовники, сажаете мандариновые деревья, они уже оранжевые от мандаринов». Я говорю им: «Вы творите обряд. Потихоньку будите к жизни несуществующий город. Из песка, что у вас под руками, лепите нежных, стройных девушек. Прислушайтесь, ваши камни и колючки благоухают амброй, как возлюбленная».

Но эти замечают только насущное. Близорукие скудоумцы, они видят гвоздь в доске — не корабль. В караване, идущем по пустыне, видят шаг, шаг и еще шаг. Любая женщина для них шлюха, потому что их минутная прихоть хочет заполучить ее на дармовщинку, но к возлюбленной ты идешь по камням, продираясь сквозь колючки, ее обещают тебе пальмы, тихо-тихо стучишь ты к ней в дверь. И тебя, что пришел из такого трудного далека, встречают как чудо, ты похож на воскресшего из мертвых.

Твой долгий путь преображает женщину в расцветшую розу, пыль дней оборачивается каплями росы, каждая одинокая ночь прибавляет ей по лепестку, и вот она переполнена благоуханием, и ты открываешь в ней всю юность мира. Только так возникает любовь. Благодарность газелей получают только те, что набрались терпения их приручить.

Я ненавижу в них разумность, она пригодна для счетоводов. Они только и делают, что считают ту мелочь, которую забрала у них пролетевшая секунда. Можно жить, бесконечно идя вдоль крепостной стены, и видеть один камень, второй, третий. Но если ты ощутил существо времени, ты не упрешься ни в этот камень, ни в другой, не будешь стараться получить причитающееся тебе от камня — ты выйдешь в город.

CLXXXVII

Я — обживающий. Вы голы на ледяной земле. Скорбный народ мой, затерянный в ночи, цвель на трещиноватой коре склона, что задержал каплю влаги, спускаясь в пустыню.

Я сказал тебе: «Вот Орион, вот Большая Медведица, Полярная звезда». И ты запомнил свои звезды, между собой вы говорили друг другу: «Вот Большая Медведица, Орион, Полярная звезда», говорили: «Неделю вела меня Большая Медведица», и понимали друг друга, а значит, жили в обжитом пространстве.

Обжитым был и замок моего отца. «Сбегай в подвал за инжиром», — приказывал он мне, мальчишке. И я сразу ощущал сладкий запах спелого инжира и мчался со всех ног.

Вот я сказал тебе «Полярная звезда», и внутри у тебя словно бы повернулась стрелка компаса, ты различил бряцанье сабель северного племени.

И если я предназначил восточное плоскогорье для празднеств, южные солончаки для казней, а отвоеванную пальмовую рощу для отдыха караванов — то ты уже живешь у себя в доме.

Ты хочешь иметь колодец, чтобы он служил тво-

им нуждам, — тебе нужна вода. Но присутствие воды куда менее значимо, чем ее отсутствие. Кто не умирал от жажды, не родился к жизни.

Лучшим жителем будет тот, кто иссыхал от пустынного безводья, мечтая о знакомом колодце, слыша в горячечном бреду скрип ворота, а не тот, кто всегда пил вдоволь из водопровода и не подозревает, как сладка колодезная вода, к которой ведут звезды.

Я чту жажду не потому, что она открыла тебе телесную необходимость воды, а потому, что принудила тебя читать звездную карту, ловить ветер, присматриваться к следам врага на песке.

Пойми главное. Речь не о том, чтобы лишениями и надругательством над жизнью заставить тебя ценить жизнь дороже. Лишив тебя воды, я делаю главным в тебе желудок. Но я хочу, чтобы жажда и возможность утолить ее приобщили тебя к священнодействию: ты идешь при свете звезд, скрипит ржавый ворот, и его песня преображает твою дорогу в молитвословие: вода — необходимость для желудка, но она питает и душу.

Ты не вол в хлеву. Этот хлев можно переменить на другой, та же кормушка, та же подстилка из соломы. Волу в нем не лучше, но и не хуже. Но

твоя пища должна питать не только тело, но и душу. И если ты умираешь с голоду, а друг распахнул перед тобой дверь, подтолкнул к столу, налил в кувшин молока и разломил хлеб, ты впиваешь его улыбку, еда становится для тебя священнодействием. Конечно же ты насытился, но еще и расцвел благодарностью за человеческое добросердечие.

Я хочу, чтобы хлеб был дружеством, а молоко дышало теплом родственности. Хочу, чтобы ячменная мука пахла празднеством жатвы. Вода полнилась пением ворота или светом звезд.

Я люблю своих воинов, и мне нравится, когда они, будто намагниченная стрелка компаса, тянутся к дому. Не из стремления обделить их теплом в походе я дорожу их привязанностью к жене, не потому, что стою за непорочность, — мне дорога обжитость пространства, они знают сердцем, где север, где юг, где восток, где запад, они знают, по крайней мере, хоть одну звезду — звезду, что ведет к любимой.

Но если вся земля словно веселый квартал, где, захотев утолить любовную жажду, можно стукнуть в любую дверь, где любая женщина тебе по вкусу и хороши подряд все дороги, ты побредешь на авось по земной пустыне и для жизни тебе не

сыщется места.

Мой отец ведь кормил, поил и не отказывал в девушках берберам, но они превратились в бессчастных волов.

Но я — обживающий пространства, и ты не коснешься своей невесты раньше чем будет отпразднована свадьба, чтобы постель была победой. Да, случается от любви умирают, если нет возможности соединиться, но смерть во имя любви — та же любовь, и если из сочувствия к влюбленным я избавляю их от препятствия, крепостных стен и установленного уклада, благодаря которым вытачивается лицо любви, я не помогаю им любить, я даю им право позабыть о любви.

Убирать на пути препятствия такое же безумство, как уничтожать бриллианты, пожалев тех, у кого их не будет; жестокость желания не требует сострадания.

Если им нужно, чтобы женщина была любимой, я должен спасать их любовь.

Я — обживающий. Я — намагниченный полюс. Семечко дерева — молчаливо направляющее вверх ствол, протягивающее корни и ветки, растящее цветы и плоды, такие, а не другие, такое царство, а не другое, такую любовь, а не другую. Я ращу так любовь не из желания кого-то обде-

лить или кем-то пренебречь, а потому, что она не случайная находка, словно вещь среди прочих вещей, она — венец священнодействия, плод уклада, суть ее сродни сути дерева, что вбирает в себя и преодолевает дробность. Я — осмысленность каждой вещи. Я — часовня, я — суть камней.

CLXXXVIII

На что понадеяться, если тебе не видно света, излучаемого не вещью, а смыслом? Я вижу, ты грустно застыл у двери.

— Что с тобой?

Ты не знаешь и принимаешься жаловаться на жизнь.

— Жизнь меня больше не радует. Спит жена, отдыхает осел, зреет зерно. Тупое ожидание мне в тягость, тоскливо мне жить и скучно.

Ребенок, растерявший игрушки, не умеющий видеть незримое. Я сажусь возле тебя и учу. Печалит тебя утраченное время, снедает тоска от того, что не сбылся.

Часто говорят: «Нужна цель». Хорошо, что ты плывешь, ты нарабатываешь себе берег. Скрипучий ворот нарабатывает тебе воду для питья.

Копая землю, нарабатываешь золото нивы. Любя дом, жену, нарабатываешь детские улыбки. Медленно расшивается золотой ниткой наряд, нарабатывая праздник. Но что наработается, если ворот ты крутанул ради скрипа, сшил одежду, чтобы сносить, и любовью занимался, чтобы позаниматься любовью? Что бы ты ни делал, все

износится очень быстро, ничего не вернув тебе взамен.

Ты как будто попал на каторгу, куда я отправляю нелюдь. Там, на каторге, долбят землю только для того, чтобы долбить. Один удар заступом, еще один, и еще, и еще. От долбежки в людях ничего не меняется. Они плывут и не видят берега, очерчивая круг за кругом. Они ничего не нарабатывают, они не путь, не кладь, не повозка, увлекаемая к неведомому свету. Но пусть будет над тобой то же палящее солнце, перед тобой — та же тяжкая дорога, на лбу — тот же пот, но раз в году ты будешь находить чистой воды алмаз, все изменилось, сияющий свет стал твоим божеством. Алмаз придал смысл твоей тяжкой работе заступом. И ты уже умиротворен, словно дерево, тебе открыт доступ к смыслу жизни, который состоит в том, чтобы подниматься тебе со ступени на ступень все ближе к Господней славе.

Ты перекапываешь землю ради зерна, шьешь ради праздника и долбишь камень ради алмаза, а те, что кажутся тебе счастливыми, богаче тебя только знанием о Божественном узле, что связует все воедино.

Тебе никогда не узнать покоя, если ты ничего не преобразишь на свой лад. Если не станешь путем,

кладью, повозкой. Только так бежит кровь по жилам царства. Но ты захотел, чтобы чтили тебя самого. Ты стараешься урвать у мира частичку, которая тебе послужила бы. Но что ты найдешь, если нет и тебя? Добытые тобой вещи ты бросаешь беспорядочной кучей в помойную яму.

Ты ждешь, чтобы пришло к тебе что-то со стороны, чтобы явился ангел и оказался тобой. Но что даст тебе этот двойник? К тебе словно бы заглянет сосед, и только. Однако я вижу, не похожи между собой спешащий к больному ребенку, торопящийся к любимой и тот, кто идет в пустой, холодный дом, хотя никак их не отличишь на взгляд; поэтому я и назначаю встречу с собой, вижу гавань за пределом вещественности, значимой только для взгляда, и тогда все меняется. Я стараюсь быть семенем, вырастающим из работы, человеком, вырастающим из ребенка, водой, добытой из пустыни, алмазом, преодолевшим капли пота.

Я понуждаю тебя строить в себе свой дом.

Когда дом будет готов, в нем появится житель и оживит твое сердце.

CLXXXIX

Народ мой возлюбленный — вот она, мука, что вошла мне в сердце, когда я отдыхал на горе, похожей на каменную мантию. Пожар вдалеке, но я вижу пламя, чувствую запах гари.

«Куда идут они? И куда я должен направить их, Господи? Если я буду распоряжаться ими, они останутся такими, какие есть. Распоряжаясь, растишь упрямство в том, кем распоряжаешься, — другого я не видел, Господи! Но как поступить мне с семечком, если из него не растет дерево? Как сладить с рекой, если не течет она к морю? С улыбкой, Господи, если ею не начинается любовь?

Что мне делать с моим народом?

Ах, Господи! Из поколения в поколение жили они в любви. Складывали сказания. Строили дома, украшали их пушистыми коврами. Продлевали свой род. Растили детей, а сработавшиеся поколения укладывали в корзины, что ты приготовил для своей жатвы, Господи. Они собирались вместе в дни праздников. Молились. Пели. Бежали. И отдыхали, добежав. Ладони их твердели от мозолей. Глаза смотрели, радовались, а потом

наполнялись тьмой. Знали они и ненависть. Считались друг с другом. Ссорились. Изгоняли, забросав камнями, князей, рожденных их же племенем. Занимали их место, изгоняли друг друга.

Ах, Господи! Как похожа была их ненависть, приговоры и пытки на страшный и мрачный обряд. Он не страшил меня, Господи, с моей вершины он похож был на стоны и скрип корабельных досок. Или на родовые муки. Господи! И деревья, когда растут, теснят и душат друг друга, прорываясь к солнцу. А солнце, оно вытягивает из земли весну и хвалу себе создает деревьями. Лес состоит из деревьев, хотя они враждуют друг с другом. И ветер играет на лесной арфе.

Ах, Господи, близорукому скудоумцу ничего не открыть в этих распрях. Сейчас они легли отдыхать. Отложены до будущего лживые речи, притязания, счеты. Задремала ревность. Господи! Я оглядываю невозделанные ими земли и охвачен смятением, словно в преддверии истины, она еще не открылась мне, но, чтобы она была, я должен ее постичь.

Господи, вот художник, он пишет, но что знают его пальцы, его уши, волосы? Щиколотка, бедра, рука? Ничего. Творение, что сбывается, понуждает их двигаться и пламенеет, рождаясь от

противоречивых усилий; близорукий скудоумец видит неслаженные движения, размахивание кистью, пятна краски. Что знают кузнец, плотник, о корабле? Ничего не знает и мой народ, если я начну расспрашивать каждого по отдельности. Что знает богатый скупец-толстосум, министр, палач и пастух? Но если и есть кто-то среди них, кто видит дальше других, кто ведет все стадо на водопой, — то, верно, та, что рожает, или тот, что приготовился к смерти, но никак не книжник, не крючкотвор с испачканными чернилами пальцами, им неведома медлительность вызревания. Главное происходит в стороне от них, однако плотник, обстругавший доски, видит: доски стали палубой — и вырастает в собственных глазах.

Отведя пелену низких страстей, я вижу: скупец нажил богатство и родовое гнездо. Министр — взяточник, ничтожество; обирала, — нажившийся на чужом добре, стал меценатом, все отдает золотых дел мастерам и резчикам по кости, и они режут слоновую кость, чеканят золотые украшения. Тот, кто несправедливо казнил, породил горькую страсть к истине и справедливости. Тот, кто разбросал камни храма, разбередил мечту непременно построить храм.

Я видел, как, попирая людские страсти, воз-

дымало храмы презрение к насущному. Видел, как рабов-камневозов хлестали бичи надсмотрщиков. Видел, как старший над рабами крал причитающуюся им мзду. Ах, Господи, будь я близорукий скудоумец, я бы не увидел ничего, кроме подлости, глупости и алчности. Но с моей горы я вижу: поднимается храм и осиян лучами».

CXC

Я узнал, что рисковать своей жизнью и согласиться на смерть — не одно и то же. Я встречал юнцов, которые с презрительным высокомерием относились к смерти. И всегда находились женщины, что восхищались ими. Ты вернулся с войны, тебе по вкусу восторженное сияние женских глаз.

Принимая испытание железом, ты ставишь на кон собственное мужество, мужество — единственное, чем ты располагаешь и чем рискуешь. Так играют в кости, рискуя всем своим достоянием, — оно где-то далеко, но сделало маленькие игральные кубики драгоценными; ты зажал их в руке и с восторгом безумия швырнул на стол, будто раскинул равнины, пастбища и пашни твоего поместья.

Человеку приятно вернуться вспять и погреться в лучах своей победы, плечи ему отягощает завоеванное оружие, и, возможно, расцвел на нем кровавый цветок раны. Несколько минут он излучает свет. Да, несколько минут, ибо жить победой невозможно.

И стало быть, смертельный риск не что иное,

как страсть к жизни. Любовь к опасности — любовь жить. А победа — это риск потерпеть поражение, который ты преодолел своей творческой силой, ведь рискует и тот, кто управляет норовистой лошадкой и заставляет себя оказаться укротителем.

Но я хочу от тебя большего, солдат призван питать царство, и одно дело пойти на смертельный риск, другое — согласиться на смерть.

Я хочу, чтобы ты стал веткой дерева и был у него в подчинении. Хочу, чтобы ты гордился своим деревом. Смертельный риск — подарок, который ты даришь только себе. Тебе нравится дышать полной грудью, слепить девушек блеском своей победы. Согласившись рисковать собой, ты непременно расскажешь, как это было, — риск для тебя товар, и ты хочешь обменять его. Так бахвалятся мои капралы. Восхваляют они только самих себя.

Одно дело — поставить на кон свое достояние, взять его все целиком и зажать в руке, ощутимое, вещественное, такое в эту секунду зримое — с копнами соломы, убранным в амбары зерном, волами на пастбище и деревнями, выдыхающими горьковатый дым, свидетельство живой жизни, и совсем другое — ощутить как ненужные

и отказаться от тех же амбаров, волов, деревень и продолжать жить дальше. Одно дело, рискуя своим достоянием, придать ему весу и ощутить всю его драгоценность, другое — устранить его, как устраняет одежду купальщик, не глядя, скинул он сандалии и торопится слиться с морем.

Ты, чтобы слиться с морем, должен умереть.

Ткать и ткать полотно своей жизни подобно тем древним старухам, что ослепли, расшивая церковные пелены, которыми они одели своего Господа. Они сами — одеяние Господа. И чудом их рук льняная нить преобразилась в молитву.

Ты — путь, кладь, повозка, ты жив только тем, что преображаешь. Дерево преображает землю в ветви. Пчела — цветы в мед. Твои труды — черную землю в золотое зарево зерен.

Мне важно, чтобы твой Бог стал для тебя явственней хлеба, который ты кладешь себе в рот, чтобы, чувствуя Его рядом, ты томился желанием слиться с ним целиком, чтобы брак ваш был браком по любви.

Но ты все порушил, разметал, растратил, ты забыл, что значит сотворить праздник, и решил, что сделался богаче, день за днем истребляя готовое. И случилось это, потому что ты не понял, что же такое время. Набежали историки, логики, крити-

ки. Они ощупали, перетрогали вещи, предметы, факты и, не умея видеть сквозь них, посоветовали тебе наслаждаться ими. И ты отказался от поста, без которого нет праздничного пиршества. Отказался пожертвовать частью зерна, но только жертва, сожженная в день празднества, окружает его сияющим ореолом.

Ты погряз в выгадывании по мелочи и не догадываешься, что миг может вместить в себя целую жизнь.

CXCI

И вот я стал размышлять о согласии принять смерть. Логики, историки, критики отдали первенство материалу, из которого будет строиться часовня (ты поверил, хотя красивый серебряный кувшин больше скажет уму и сердцу, чем из чистого золота некрасивый). Не ведая, что утолит тебя, ты вообразил, будто счастье в обладании, и теперь изнемогаешь, стаскивая в кучу камни, что могли бы стать прекрасной часовней и одарить тебя счастьем. Ибо достаточно и одного-единственного камня, чтобы согреть душу и сердце, но на камне должен быть лик твоего божества.

Ты похож на человека, что, не умея играть в шахматы, копит золотые и слоновой кости фигурки, смотрит на них и скучает, зато другой, кому божественные правила открыли тонкость игры, наслаждается ее блеском, двигая грубые чурочки. Пристрастие к счету не позволяет тебе оторваться от вещей, ты не видишь картины, которая из них составлена и значима прежде всего. Потому ты и привязан к жизни как к накапливаемой толще дней, а будь твой храм строен и чист линиями, неужели ты сокрушался бы, что на него пошло

так мало камней?

Не стремись удивить меня количеством, не говори, сколько камней потрачено на твой дом, сколько пастбищ и голов скота в твоем поместье, сколько драгоценностей у твоей жены, сколько у тебя любовниц. Сколько — меня не интересует. Я хочу знать, какой ты выстроил дом, усердны ли работники твоего поместья и радостен ли их ужин после дневных трудов. Я хочу знать, какую любовь ты пестуешь и на что, более долговечное, чем ты сам, тратишь свою жизнь. Я хочу, чтобы ты сбылся. Хочу судить о тебе по делам твоих рук, а не по ненужной делу вещности, которая так возвышает тебя в собственных глазах.

Заговорив о смерти, ты вспомнил об инстинкте самосохранения. Мы инстинктивно страшимся смерти, и ты неоднократно наблюдал, как любое животное стремится выжить во что бы то ни стало. «Стремление выжить, — твердишь ты мне, — берет верх над любым другим стремлением. Дар жизни бесценен, и мы спасем его любыми средствами». Если так, то для тебя естественно стать героем, защищая свою жизнь. Ты будешь мужественным в осаде, завоевании, грабеже. Тебе вскружит голову хмель силы в тот миг, когда поставят на кон твою жизнь. Но ты никогда

не согласишься умереть незаметно, безмолвно, унеся с собой тайну, полученную как дар.

Однако посмотри, отец бросился в морскую бездну, потому что в ней тонет его сын, личико его мелькает время от времени на поверхности, бледное, словно луна в просвете облаков. Я спрошу тебя: «Что же, над этим человеком инстинкт самосохранения не властен?»

— Властен, — ответишь ты. — Но инстинкт — вещь сложная. Действует он и в отце, и в сыне. И в военном отряде, который посылают на смерть. Но отец привязан к сыну…

Ответ твой путан, изобилен словами. Но вот что скажу тебе я:

— Конечно, инстинкт самосохранения существует. Но он только часть инстинкта более могущественного. Главное в нас — инстинктивное желание жить вечно. Тот, кто живет телесной жизнью, печется о теле. Тот, кто жив любовью к ребенку, печется о ребенке, продлевая им свою жизнь. Тот, кто живет любовью к Богу, ищет вечности, поднимаясь к Нему. Жаждешь ты не неведомого — жаждешь обрести то, что значимей, прочнее и долговечнее тебя, и для каждого самым значимым становится что-то свое. Каждый любит что-то свое и по-своему. И я

могу обменять твою жизнь на то, что для тебя любимей и значимей, ни в чем тебя не обездолив.

CXCII

Ибо что ты знаешь о счастье, полагая, будто дерево живет ради самого себя — дерева в плотном кольце коры? Нет, дерево — источник крылатых семян, от поколения к поколению оно преображается и становится все краше. Оно двигается, но не так, как ты, — как пожар по воле ветра. Ты сажаешь кедр на вершине горы, и вот твой кедровый лес век за веком разбредается в разные стороны.

Чем считает себя дерево? Корнями, стволом, листвой. Ему кажется, ради себя ветвит оно свои корни, но оно — путь и повозка. С его помощью земля приникает к солнечному меду, пускает почки, раскрывает цветы, растит семена, а семя переносит жизнь, словно огонь, незримый до поры до времени.

Если я засеваю ветер, я пускаю по земле пожар. Но ты медленно переводишь взгляд. Видишь неподвижную листву, мощь крепких веток, и дерево кажется тебе оседлым, живущим самим собой, созревающим внутри себя. Близорукий скудоумец, ты видишь все наоборот. Отойди на несколько шагов и прибавь скорости маятнику дней, ты увидишь, как семечко вспыхивает язы-

ком пламени, от него загорается другое, и бежит огонь, высвобождая из шелухи будущий лес, ибо лес в тишине пламенеет. Ты уже не видишь дерева — этого, того. Ты понимаешь, что корни не служат ни тому, ни этому, а только пожирающему и созидающему огню, понимаешь, что густая сень листвы, одевшая твою гору, — сама земля, оплодотворенная солнцем. И селятся зайцы на лужайках, и гнездятся птицы на ветках. И ты уже не знаешь, кому из них служат корни. Они — ступенька и переход. Почему же ты считаешь дерево тем, чем не считаешь листву? Ты никогда не скажешь: «Семя живет собой. Оно завершено. Стебель живет собой. Он завершен. Цветок, в который он преображается, живет собой, он завершен. Семечко, которое он выносил, живет собой, оно завершено». И еще раз ты повторишь все то же о новой поросли, что упрямо пробивается сквозь камни. На чем ты остановишься? Где завершение? Я вижу только, как земля тянется и тянется к солнцу.

Незавершен и человек, незавершен мой народ, и я не знаю, куда он идет. Закрываются амбары, запираются двери с приходом ночи. Спят дети, спят старики, старухи, что я знаю об их пути? Так трудно нащупать его и обозначить в пере-

ходе от лета к осени, — прибавилась еще одна морщинка у старухи, несколько слов у ребенка, чуть-чуть изменилась улыбка. Совершенство и несовершенство человека осталось неизменным. И все-таки я вижу, оглядывая поколения, что ты, мой народ, — мало-помалу пробуждаешься и узнаешь сам себя.

Разумеется, каждый думает о своем. Так оно и должно быть. Важно, чтобы чеканщик сосредоточился на кувшине. Геометр на геометрии. Король на управлении царством. Ибо каждый — это возможность двигаться дальше. У кузнецов свой ритм, своя песня, у плотников своя, хотя те и другие трудятся, строя корабль. Но корабль с надутыми парусами им должна подарить поэзия. Они не разлюбят ни гвоздей, ни досок, напротив, оценят их еще дороже, если поймут, что сбудутся и завершатся в крылатом лебеде, питаемом морским ветром.

Самая высокая твоя цель не мешает тебе подметать поутру комнату, бросить в землю еще одну горсть ячменя после стольких уже посеянных, учить сына еще одному слову, еще одной молитве, делать еще и эту насущную работу, вот и воздушный корабль поможет тебе не пренебрегать привычными досками и гвоздями, а

любить их. Я хочу, чтобы ты ощутил: еда, работа, молитва, ребенок, праздник в домашнем кругу, вещи, которыми украшаешь дом, — только путь, только повозка. Настаивая на том, что они — возможность, средство, я поощряю в тебе не пренебрежение к ним, а любовь: повороты дороги, запах шиповника, камни и спуски дороже тебе и роднее, если они не загадочный лабиринт, неведомый, неуютный, а знакомая, радостная дорога к морю.

Я запрещаю тебе ворчать: «На что мне подметать, тащить эту тяжесть, кормить ребенка, читать книгу?» Как нет плохого в мечтах моего дозорного об ужине, а не о царстве, так нет плохого и в постоянном приуготовлении себя к озарению — посещении, о котором не предупреждают заранее, но на миг оно обостряет твой взор и слух, преобразив скучное подметание в служение высокому, смысл которого не уместится в слове.

Каждое биение твоего сердца, страдание, желание, вечерняя печаль, еда и работа, улыбка и усталость в череде дней, пробуждение и сладкое погружение в сон имеют смысл только благодаря божеству, что мерцает тебе за ними.

Вы ничего не найдете, если превратитесь в оседлых, веря, будто сбылись и завершены, сами

запас среди накопленных запасов. Нет на земле запаса — тот, кто перестал расти, умирает.

CXCIII

Равенство губительно. Ты говоришь: «Разделите эту жемчужину. Каждый из ловцов мог найти ее». И море перестало быть чудом, сокровищницей тайн, предуготовленных судьбой. Погружение в воду уже не магический обряд сродни священному паломничеству, не поиски таинственной черной жемчужины, что посылается раз в столетие.

Да, я требую: урезай себя на протяжении года, экономь, собирая и копя припас к празднику, но дело совсем не в том, что праздник — главное, праздник длится считанные секунды, праздник — взрыв, победа, улыбка короля; дело в том, чтобы, готовясь к нему, предвкушая, вспоминая о предыдущем, ты оживил, одухотворил каждый день. Хороша только та дорога, что вывела к морю. Опасаясь взрыва, ты роешь убежище, но смысл не в убежище, бьются не ради битвы — ради победы, и целый год ты готовишь дом к посещению короля. Я не хочу, чтобы ты равнял себя с тем или с другим во имя умозрительной справедливости, тебе не стать равным ни старику, ни подростку, равенство всегда прихрамывает. Дележка жемчу-

жины никого ничем не одарит. Прошу откажись от причитающейся тебе ничтожной доли, и пусть тот, кому достанется жемчужина целиком, вернется домой, сияя улыбкой, ответит на вопрос жены: «Догадайся!» — томя ее любопытством и наслаждаясь тем счастьем, которым одарит ее, едва только разожмет кулак…

Погляди, все стали богаче. Поверь, в ловцы жемчуга идут не только из желания заработать. Легенды о любви, что рассказывают тебе мои сказители, приучают тебя любить любовь. Легенды прославляют красоту и в каждой женщине появляется что-то от красавицы. Ибо если существует на свете хоть одна женщина, ради любви которой стоит умереть, облагорожены и окутаны прелестью все женщины на свете, в каждой может таиться необычайное сокровище, будто черная жемчужина в море.

К каждой ты будешь подходить с бьющимся сердцем, будто ловец жемчуга к коралловой лагуне, в которую предстоит погрузиться.

Конечно, будни кажутся тебе несправедливостью по сравнению с праздником, ожиданием которого ты живешь. Но поверь, будущий праздник окутывает будние дни особым ароматом, и ты становишься богаче. Конечно, ты несправедлив

к себе, отказавшись от доли в жемчужине соседа, но его находка наделяет волшебной притягательностью твои будущие поиски — так озаряет пустыню серебро родника, далекого оазиса, о котором я тебе говорил.

Ах! Твоя справедливость хочет, чтобы один день походил на другой, один человек на другого. Если твоя жена кричит слишком громко, ты можешь развестись с ней, чтобы взять другую, которая не будет кричать. Ибо ты — шкаф для подарков и пока еще не получил своего. Но я хочу длить и длить любовь. Любовь существует только там, где выбор бесповоротен, ибо для воплощения нужны границы. Радость засады, охоты, ловли иная, чем радость любви. Ты осуществился как охотник. Женщина для тебя добыча. Вот почему попав тебе в руки, она больше ничего для тебя не значит, — ты ее уже поймал. Что для поэта написанное стихотворение? Значимо для него еще ненаписанное. Но если я запер двери дома за новобрачными, им придется искать свой путь. Твое назначение теперь — быть мужем. Назначение твоей возлюбленной — быть женой. Я наполняю это слово весомым смыслом, и ты говоришь: «Моя жена…» — чувствуя всем сердцем его значимость. Ты откроешь для себя иные радости.

И иные страдания тоже — как без этого? Твои страдания — залог твоих радостей. Ради своей жены ты можешь умереть, потому что она — это ты, так же как ты — это она. Из-за добычи ты умирать не станешь. И верность твоя — верность верующего, а не усталость охотника. От верности из усталости веет скукой — в ней нет света.

Конечно, есть ловцы, которые так никогда и не выловили жемчужины. Есть мужья, которые обретут только горечь в постели, которую для себя выбрали. Но и нищета неудачников — залог волшебного свечения моря. Оно драгоценно для всех, и для тех, кто ничего не нашел, тоже. Несчастье несчастливых в браке — необходимое условие волшебного свечения любви, а оно драгоценно для всех, и для тех, кто несчастлив, тоже. Ибо вдохновение, горечь и тоска живущих в любви драгоценней тупости вола, для которого любви не существует. Разве, мучаясь от жажды в пустыне, ты хочешь забыть о воде? Нет, ты хочешь представлять ее и сожалеть о ней.

Вот она, тайна, которую мне открыли. Есть и другая: всегда получаешь то, ради чего старался. Ты можешь бороться «за», можешь — «против». Но если воюешь из ненависти к божествам своего врага, то будешь стремиться уничтожить врага и

сберечь себя. Себя ты сбережешь, войну проиграешь. Сражаются беззаветно и принимают смерть только из любви к своему божеству. Облагораживает, питает, воодушевляет то, что пленило и держит в плену, ибо ты жаждешь этого, добиваешься, плачешь.

Состарившись и перестрадав свое горе в улыбку, мать жива памятью о любви к умершему ребенку.

Если я, желая избавить тебя от страданий, уничтожу условности, помогающие существовать любви, что я тебе подарю? Пустыня без колодца — лучше ли она для тех, кто сбился с тропы и умирает от жажды?

Поверь, родниковая вода, ставшая стихами и зазвеневшая в твоем сердце, утешит тебя и тогда, когда ты, обручившись с пустыней, приготовишься сбросить бренную свою оболочку, она прольет на тебя мирный свет, источаемый не вещностью, а ее смыслом; ты улыбнешься мне, если я тебе напомню о сладостном журчании воды.

Как же тебе не последовать за мной? Я — тот, кто придает тебе значимость. Жаждой я одухотворяю для тебя песок. Открываю любовь. Из благоухания строю царство.

CXCIV

Я хочу открыть тебе глаза — ты не видишь, в чем значение обряда. Несущественное дополнение, красивая оболочка — так ты его воспринимаешь. Тебе кажется: правила сковали влюбленного, правила, что установил какой-то взбалмошный бог, тут он поощрил тебя, тут урезал, будто глядя из своей вечной жизни, для которой не нужны твои чувства, но нет, становление по правилам формирует тебя, понуждая быть таким или этаким; препятствуя тебе, тебя творят, ибо только обретя границы, ты начинаешь существовать. Ведь и дерево задано силовыми линиями семечка. И картина, если она пленила тебя, тоже принуждение. Она становится новой точкой зрения, той точкой, откуда ты увидел все по-новому, она всему задала иной тон. И теперь ты по-иному воспринимаешь пищу, отдых, молитву, игру, любовь. Нет отдельностей, ты не сумма различных частиц, ты неделимая их взаимосвязь. Я пожелал изменить нос в лице, которое изваял мой ваятель, но должен был изменить и ухо, точнее, я изменил впечатление от носа и впечатление от уха тоже. Так вот, если я принуждаю тебя раз в год совер-

шить паломничество и поклониться пустыне, воздав честь журчащему водой оазису, что спрятался среди складок ее барханов, ты ощутишь таинственное воздействие своего странствия и на свою жену, и на работу, и на дом. Распахнув перед тобой звездное небо, я изменю тебя, и ты будешь совсем по-другому относиться к своему рабу, королю и к смерти. Ты корень, рождающий листву, и если возникают изменения в корне, меняется и листва. Я ни разу не видел человека, которого изменили бы логические доводы, не видел, чтобы его изменил пафос косоглазых пророков. Но, прикоснувшись к самой сути человека с помощью условностей обряда, я обнажаю ее для лучей моего света.

Во имя любви ты отметаешь запреты, которые ее сковывают. Но эти запреты и помогли родиться любви. Жажда любить, что возникла в тебе по милости запретов, уже любовь.

Жажда любви и есть любовь. Желать того, чего в тебе нет, ты не можешь. Если нет уклада, нет семейной иерархии, поощряющей братскую любовь (любовь не рождается от тесноты за обеденным столом), никому и не жаль, что он мало любит своих братьев. Ты можешь мучаться прошлой любовью, страдать из-за женщины, что

от тебя ушла, но никогда не впадешь в отчаяние, поглядев на случайную прохожую и подумав: «Как я был бы счастлив, если бы полюбил ее…»

Если ты плачешь о любви — любовь в тебе родилась. А правила, запреты, созидающие любовь, помогают понять, что плачешь ты именно о ней. Но тебе кажется, что любовь воспламенила тебя сама собой, хотя воплотилась любовь в запретах и правилах, ставших для тебя ее муками и радостями, — так родник в пальмовой роще сделал для тебя невыносимой жестокость бесплодных песков; отсутствие родника — сестра его присутствия. Ты не оплакиваешь того, чего не можешь себе представить. Создав родник, я создал и пустыню. Подарив тебе бриллиант, создал и нищету. Черная жемчужина, которую находят раз в год, толкнула тебя на бесплодные поиски. И вот чужая находка кажется тебе несправедливостью, грабежом, обидой, и ты хочешь уничтожить черные жемчужины, желая избавиться от их власти. Но пойми, ты стал богаче, узнав, что они существуют, и что тебе за дело, в чьих они руках? Подумай, с каким чувством ты смотрел бы в бесформенную пустоту моря?

Они обнищали, возжелав равенства у кормушки в хлеве. Пожелав, чтобы им служили. Если

твой идеал — толпа, в каждом из людей ты укореняешь присущее толпе. Но если ты чтишь в каждом человека, то человека ты и укореняешь, и вот уже люди следуют дорогой божеств.

Мне больно, что люди извратили в себе истину, ослеп ли и не видят очевидности, а она в том, что море рождает корабль, и то же море — деспот для корабля; принуждения и запреты — оковы для любви, но они же рождают любовь и ее поддерживают, оковы, мешающие тебе стремиться вверх, стремят тебя вверх. Ибо нет взлета без преодоления сил тяготения.

Но те, что двинулись в путь, говорят: «Мы идем вверх, но нас теснят, нам мешают!» Они разрушают препятствия, и пространство лишается перепадов. Разрушив замок моего отца, где каждый шаг был исполнен смысла, они бестолково топчутся на ярмарочной площади.

Потому и стали они толковать о духовной пище, которую необходимо включить в рацион, чтобы оживить душу, облагородить сердце. Кормя людей из кормушки, они превратили их в волов на привязи и развеяли человека в прах. Поступили они так из любви к человеку, стремясь освободить его, снять с него оковы, возвеличить, исполнить света и благородства, и, увидев ко-

росту, одевшую душу и сердце, ужаснулись. Но что другое извлечешь из разброда, который ты создал? Желая встряхнуть бездушных, ты запоешь песню галерника, бледные призраки былого забрезжат в них, и они пригнутся, опасаясь удара. Смутным эхом отзовутся в них и твои стихи, звуча все глуше и глуше, пока не замрут. Пройдет еще время, и песню галерника они не услышат, позабыв о давних ударах бича; покой в хлеве пребудет нерушимым, потому что ты отнял у моря его власть. Глядя на стадо, тупо жующее свою жвачку, ты затоскуешь об осмысленной жизни, о смерти — вечной тайне, пробуждающей дух. Ты станешь искать потерю, словно вещь среди прочих вещей. Напишешь несколько гимнов во славу пищи и будешь надсаживаться, повторяя: «Я ем, вот я ем…» — но вкус хлеба останется тот же. Откуда тебе знать, что твою потерю не найти, словно вещь среди прочих вещей, что не возместить ее воспеванием самой добротной вещественности, ибо нет в дереве места, где помещалась бы его суть; тот, кто ищет суть в чистом виде, имеет дело с пустотой.

Неудивительно, что ты изнемог, отыскивая страсть к совершенствованию у оседлых, — ее нет.

«Заронить желание совершенствоваться, — говорил мой отец, — значит разбудить жажду. Остальное придет само собой». Но ты снабжаешь готовым пойлом сытые животы.

Любовь — это взывание к любви. Совершенствование — тоже. Основа его и есть жажда. Но как поддерживать жажду?

Мы хотим одного, чтобы было все так, как есть. Приучившийся пить будет тянуться к водке. Не из-за пользы: водка принесет ему смерть. Взращенный определенным укладом будет тяготеть к этому укладу. В нас заложено инстинктивное стремление к постоянству, оно сильнее инстинкта выживания.

Я не раз видел, как умирали крестьяне, оторвавшись от своей деревни. Видел газелей и птиц, умиравших, попав к людям.

И если оторвать тебя от жены, от детей, от твоих привычек, погасить огонек, которым ты жил — он светил тебе даже сквозь стены, — может случиться так, что ты не захочешь жить.

И тогда, желая спасти тебя, мне придется позаботиться о царстве духа, в нем возлюбленная будет ждать тебя, подобно зерну, спрятанному в житнице. И вот ты живешь и живешь, ибо нет предела терпению. Дом, которому ты принадле-

жишь, в помощь тебе и в пустыне. Возлюбленная всегда тебе в помощь, пусть далекая, пусть спящая.

Непереносим для тебя развязавшийся узел, распавшийся мир. Ты умираешь, если умерло твое божество. Оно питает тебя жизнью. И жив ты только тем, из-за чего готов умереть.

Если я одушевил тебя высокой страстью, ты будешь передавать ее из поколения в поколение. Научишь своих детей распознавать любимое лицо в рутине вещественности, царство — в дробности гор, домов и стад, ибо только царство и возможно любить.

Невозможно умереть во имя вещей. Долг смертью платится не тебе — ты путь, кладь, повозка, — а царству. Ты тоже в подчинении у царства. И если царство воплощено, ты готов умереть, защищая его целостность. Ты готов умереть ради смысла книги, но не за чернила и бумагу. Ты и сам связующий узел, значимо не твое лицо, тело, достояние, улыбка — то, что взращивается тобой, та картина, что возникла благодаря тебе и благодаря которой ты сбываешься. Ты творишь ее целостность, она — и есть ты сам.

Редко когда говорят о своей картине: нет таких слов, чтобы, обозначив, передать ее другому.

Трудно говорить и о возлюбленной. Ты назвал мне ее имя, но именем не пробудить во мне любви. Я должен ее увидеть. Обозначить, выявить твое царство могут только твои труды. Не слова.

Но ты видел кедр. Я говорю: «Кедр», — и передаю тебе ощущение его величия. Я окликнул кедр в тебе, и он встрепенулся смолистой хвоей.

Заставляя тебя служить любви, я окликаю в тебе любовь — иного средства я не знаю. Но когда кормежку приносят в стойло, какому богу ты захочешь служить?

Бога знают и мои старухи, тратя глаза на снование иголки. Ты велел им беречь глаза. Глаза им больше не в помощь. Ты остановил преображение.

Но во что преобразятся те, кого ты так старательно кормишь?

Ты можешь пробудить в них жажду обладания, но иметь — не значит преобразиться. Можешь пробудить страсть к вышитым пеленам. И они сделаются сундуком, хранящим пелены. Как пробудить в них жажду к снованию иголки? Только такая жажда — настоящая жажда жить.

В молчании моей любви я пристально наблюдал за моими садовниками, за пряхами. Я заметил: дают им мало, спрашивают с них много.

Но они трудятся и трудятся, будто на них, и только на них, возложены судьбы мира.

Я хочу, чтобы каждый дозорный был в ответе за все царство. Дозорный и тот, кто обирает гусениц у себя в саду. И та, что вышивает золотой ниткой, свет нитки едва мерцает, но вышивальщица украшает своего Господа, и Господь в расшитых одеждах бдит над ней и оделяет ее Своим светом.

Я знаю один только способ взрастить человека: нужно научить его сквозь вещество вещественности различать целостную картину. И еще заботливо поддерживать жизнь чтимых тобой богов. В чем прелесть игры в шахматы? В подчинении правилам. Но ты хочешь снабдить игроков рабами, которые бы выигрывали за них.

Ты хочешь подарить каждому по любовному письму, потому что видел: получая их, люди плачут или смеются, — но поверь, к твоим любовным письмам люди останутся равнодушными.

Мало дать. Нужно сотворить того, кто получит. Чтобы шахматы радовали, нужно вырастить игрока. Чтобы любили, должна существовать жажда любви. Богу нужен алтарь. Принуждая моих дозорных ходить сто шагов туда и сто обратно по крепостной стене, я строю в них царство.

CXCV

Прекрасна та поэзия, что преобразится в поступки, воодушевив в тебе все, даже мускулы. Поэзия — священнодействие.

Но соблюдение правил, обычаев, обязательств, возведение храма и торжественное шествие по дням года — тоже поступки, только другого рода.

Я писал для того, чтобы обратить тебя в свою веру, дав тебе почувствовать, пусть едва ощутимо, благо преображения и позволив на него надеяться.

Конечно, ты мог читать меня рассеянно и ничего не почувствовать, ничего не почерпнуть. Конечно, можно исполнить обряд и не очнуться, не пуститься в рост. Душевная скупость легко отстранится от благородства, таящегося в обряде.

Я совсем не рассчитываю, что в каждый свой час ты будешь мне послушен, как не рассчитываю, что мой дозорный в каждый свой час будет исполнен усердия к царству. Мне достаточно, если среди многих часов один будет моим. И может случиться, что дозорного, от которого я не требую неустанного усердия, в час, когда он

мечтает об ужине, посетит озарение, ибо дух не бдит неусыпно, иначе ты ослепнешь, но морю придает смысл черная жемчужина, неведомо кем и когда найденная, году придает смысл праздник, а жизни — смерть.

Что мне за дело, если мой обряд искажается теми, у кого искажено сердце? Во время военных походов я видел, как черный колдун, обуянный жадностью, заставлял свое племя приносить дары деревянной палке, выкрашенной в зеленый цвет.

Что мне за дело, если колдун роняет свой сан? Скульптор, смяв глину, сотворил жизнь.

CXCVI

Человек этот требует благодарности: он сделал им то, сделал это… Но можно ли от дарения ждать урожая, снять его и сложить про запас? Одаряя вновь и вновь, ты одушевляешь и длишь привязанность. Если ты не даришь больше, ты уже как будто и не дарил никогда. Ты говоришь: «Я дарил вчера, и со мной благодарность за эту заслугу». Я отвечу: «Заслуга эта была бы твоей, если б вчера ты умер. Но ты жив. Весомо лишь то, с чем уходишь в смерть. Из благородного человека, каким ты был вчера, ты сделался скупердяем. Сегодня умрет скупердяй».

Ты — корень, питающий дерево, оно живет благодаря тебе. Ты связан с этим деревом, оно сделалось твоим долгом. Но вот ты, корень, говоришь: «Больно много я потратил соков!» Больше не тратишь, и дерево засохло. Так ли уж лестна корню благодарность в виде смерти?

Если дозорный устанет всматриваться в горизонт и заснет, умрет город. Не может дозорный ходить по стене про запас. Не складывает в запас биения твое сердце. Житница не запас — перевалочный пункт. Ты удобряешь землю и вместе

с тем ее обираешь. И ошибаешься относительно всего на свете. Отдохновение от трудов созидания представляется тебе музейным залом, где собраны созданные творения. В такой зал ты хочешь поместить и свой народ. Но пуста вещь и не значимо творение, если они не таят в себе смысла. Смыслом их наделяет язык, на котором ты говоришь. Для ловца жемчуга, куртизанки и торговца черная жемчужина — три разные, не похожие друг на друга вещи. Алмаз — драгоценность, когда ты его нашел, когда продал, подарил, потерял, отыскал, когда он сияет в диадеме, украшая праздник. В череде будних дней алмаз — та же галька. Об этом прекрасно знает владелица бриллиантов. Она запирает их в шкатулку и прячет далеко-далеко — пусть спят. Она достанет их в день рождения короля. Они станут олицетворением его величия. А получила она их в день свадьбы. Они были олицетворением любви. В день, когда старатель разбил породу и увидел алмаз, он был олицетворением чуда.

Как радуют нас цветы. И самые прекрасные я бросил в море, поминая погибших. Ими никто не любовался.

Этот человек стал говорить со мной от имени своего прошлого. Он сказал: «Я тот самый, кто…»

Будь он мертв, я согласился бы почтить его. Но он жив. Никогда мой друг, единственный подлинный геометр, не перечислял своих заслуг. Он был служителем при треугольниках, садовником в саду символов. Однажды вечером я сказал ему: «Ты должен гордиться своими трудами, ты столько дал людям…» Помолчав, он ответил: «Разве дело в том, чтобы давать? Дающие, получающие — мне одинаково неинтересны. Чем хорош ненасытный король, постоянно требующий жертв? Чем хорош тот, кто согласился стать жертвой? Король возвышается, попирая подданного. Выходит, я должен выбирать, с кем я — с королем или с подданным. Но если король меня унижает, я его ненавижу. Все выглядит совсем по-другому, если мы с королем заодно, если долг короля возвышать меня, раз я принадлежу его дому. Если величие моего государя питается моим величием.

А я? Что мог дать людям? Я такой же, как они. Малая среди них частичка, что размышляет о треугольниках. С моей помощью люди думают о геометрии. А я с их помощью каждый день ем хлеб. Пью молоко их коз. Обуваюсь в кожу их волов.

Я отдаю что-то людям, но все, что имею, получил от них. Как распознать, чего больше:

отданного или полученного? Чем больше я отдаю, тем больше получаю. И царство мое становится все благороднее. Грубый торгаш и тот не минует дарения. И он не в силах замкнуть свою жизнь собой. Он находит себе куртизанку, дарит ей бесценные изумруды. Куртизанка блистает. И он чувствует себя в ореоле ее блеска. Ему приятен светящийся ореол. Но он мало чем обогатился, став слугой куртизанки. Другой отдал себя королю. «Чей ты?» — «Королевский». И воистину просиял».

CXCVII

Я знал человека, который жил только собой, не снисходя и до куртизанок. Я говорил тебе уже о дородном министре с пухлыми веками, том самом, что предал меня и под пытками отрекался и клятвопреступничал, предавая и самого себя тоже. Да и как ему было не предать и себя, и меня? Если ты принадлежишь дому, царству, Богу, то ценой собственной жизни спасешь собственную суть. Скупец так принадлежит своим сокровищам. Редкостный бриллиант стал для него божеством. Он умрет, защищая его от грабителей. Но не таков обширный чревом. Как божество он чтит самого себя. Бриллианты принадлежат ему и ему прибавляют чести, но он им не принадлежит. Он — черта, стена, тупик. И если ты грозишь ему смертью, во имя какого из богов может он умереть? У него только и есть что живот.

Любовь, выставляющая себя напоказ, — низменная любовь. Любящий молча созерцает свое божество и говорит с ним безмолвно. Ветка нашла свой корень. Губы — грудь. Сердце — слова молитвы. Что мне до чужих мнений и оценок? Скупец тоже прячет от всех свое сокровище.

Любовь молчит. Толстая мошна бьет в литавры. Да и что такое избыток, если не выставить его напоказ? Что за кумир, если нет поклонения? Расписная деревянная фигурка, что дремлет в хранилище.

Мой дородный министр с пухлыми веками всегда говорил: «Мое царство, мои стада, мои дворцы, мои золотые шандалы, мои женщины». Он всем был необходим. Обогащал обожателей, что простирались перед ним ниц. И бестелесный ветер существует, клоня колосья. «Я есть, — думает он, — потому что клоню». Но мой министр не довольствовался благоговением — наслаждался он и ненавистью. Вдыхал, будто аромат, ибо и она твердила: «Ты есть. Ты существуешь, раз заставляешь страдать». И он катился по телу народа, словно карета.

Он был бурдюком, раздутым от низкопробного словесного ветра. Чтобы быть, нужно растить дерево, в котором сбудешься. Ты — путь, кладь, повозка. Чтобы поверить в тебя, я должен увидеть твое божество. Мой министр был погребом для накапливания запасов.

И я сказал ему:

— Долго слышал я от тебя: «Мой… мой… мой…» — и по доброте своей обернулся на бой

твоего барабана, подозвал и смотрю. Вижу склад всевозможных товаров. Что принесло тебе твое богатство? Ты — кладовка, сундук и в той же мере, как они, полезен и существуешь. Тебе приятно слышать: «Сундуки ломятся», — но ты сам, собственно, что такое?

Если я прикажу отрубить тебе голову из удовольствия посмотреть на выражение твоего лица, что переменится в царстве? Сундуки твои останутся на месте. Что прибавляешь ты к своим богатствам? Чего они без тебя лишатся?

Толстяк не понял вопроса, обеспокоился и засопел.

А я продолжал:

— Не подумай, что я пекусь о справедливости, которая всегда относительна. Сокровища, скопленные в твоих подвалах, великолепны, но не они меня заботят. Да, ты ограбил мое царство. Любое семечко грабит землю, силясь вырастить дерево. Покажи мне дерево, которое ты вырастил.

Меня не тревожит, что шерстяной плащ и хлеб, пропитанные потом пастуха и пахаря, достались ваятелю. Пот их преобразился в каменное лицо статуи, и не важно, увидят они эту статую или не увидят. Грабит житницы и поэт, он ест хлеб, но не жнет и не сеет. Он питает собой поэзию.

Ради своих побед я отнимаю жизни у сыновей моего царства. Но я сотворил царство, а в нем они — сыновья. Покажи мне, чему ты служишь — статуе, дереву, поэзии, царству. Ибо ты — путь, кладь, повозка…

Тверди хоть тысячу лет «мое… мое… мое…» — что узнаю я о твоей дороге? Как послужил ты своим поместьям, драгоценным камням и золоту? Не подумай, что я растапливаю ледник, заботясь о болоте. Никогда я не попрекну зерно жадностью, с какой втягивает оно в себя соки. Оно будоражит почву, оно не помнит себя, и дерево, которое оно высвободит, ограбит его. Ты награбил, но что проросло и ограбило тебя?

Прекрасна королева далекого царства. Алмазы, выстраданные ее народом, украсили ее корону. Бродяги и нищие ее царства, забредя в чужую сторону, издеваются над тамошними бродягами: «Ваша королева — ободранка, — говорят они. — А вот наша сияет, будто лунный свет и яркие звезды…» Но ты сложил в одну кучу жемчуга, бриллианты, поместья только для того, чтобы прославить свое толстое брюхо. Ты воздвиг кумирню, но она жалка, ей не облагородить пошедшего на нее материала. Ты сложил в одно многое, но не возвысил, а обесценил. Жемчужина

на пальце беднее манящего обещания моря. Я уничтожу твой узел, он возмущает меня, твою кумирню я превращу в унавоженную землю для растущих деревьев. Но что мне делать с тобой? Что делать с семечком от дерева, которое обезобразило землю, как обезображивает тело язва?

Но мне не хочется, чтобы тощую справедливость путали с той высокой, которой служу я. Я говорю: «Случилось так, что взяточничество, воровство и прочая низость собрали сокровища, которые иначе были бы рассеяны и ничему не служили. Сокровище возвышает своего обладателя, но гораздо важнее, чтобы обладатель возвышал собранное сокровище. Я могу его отобрать, разделить и превратить в хлеб для моего народа, но народ мой многочислен, и мало чем поможет ему один сытый день. Если дерево выросло и оно добротно, я превращу его в мачту моего корабля, но не пущу на дрова ради часа тепла. Что он даст, этот час? Зато спуск корабля на воду будет для всех великим праздником.

Вот и это сокровище я хочу превратить в чудо, что радовало бы сердце многих. Я хочу вернуть людям вкус к чудесам. Благо, если нищий ловец жемчуга, — не так-то просто достаются эти жемчужины со дна моря, — поверит в чудодей-

ственность жемчужного зерна. Все ловцы станут куда богаче от той единственной жемчужины, что мягко светится в чьих-то руках раз в году; скудная прибавка к трапезе по справедливом разделе всех жемчужин мало их обрадует. Манит в морскую зыбь чужая жемчужина».

CXCVIII

Я ищу высокой справедливости, ищу высокого применения скопленному низостью сокровищу, ибо всегда стою за храм, а не за отдельный камень. Не хочу вместо ледника — лужи, вместо храма — кучи камней, не хочу разграбления сокровища. Единственное ограбление, которое я чту, — ограбление земли семенем, семя ограбит и себя, оно умрет ради дерева. Я не стремлюсь обогатить каждого на кроху, прибавив одну жемчужину — куртизанке, меру зерна — пахарю, козу — пастуху, золотую монету — скупцу. Ничтожно это обогащение. Я хочу, чтобы уцелела сокровищница. Все вокруг тогда засветится ее отблеском, словно море, манящее жемчужиной. Сотворив божество, не делишь его, каждому оно достается целиком.

Но ты оскорблен в своей жажде справедливости.

— Бедны и пастух, и пахарь, — говоришь ты. — По какому праву лишаешь ты их достояния? Во имя каких выгод должны они отказаться от него? Во имя какого бесполезного для них божества? Я должен распоряжаться плодами моих трудов.

Захочу — накормлю сказителя. Захочу — отложу излишек для праздника. Но по какому праву, вопреки моему желанию, на моем поту и крови ты собираешься построить часовню?

— Твоя справедливость, — отвечу я ему, — призрачна и недолговечна, она пригодна лишь для этой ступеньки. Разве спрашиваешь ты у земли, хочет ли она растить зерно? Земля не знает, что такое зерно. Она — земля, и только. Ты тоже не можешь хотеть тебе неведомого. Ты равнодушно смотришь на проходящую женщину. С чего тебе в нее влюбляться? Хотя, возможно, она и есть твое счастье.

Кто сожалеет о том, что ему неинтересны треугольники? Не сожалеет никто и о своем несожалении. И справедливо, потому что такое сожаление было бы нелепо. Дело зерна прибавить значимости земле. Она становится землей, рождающей пшеницу. Не собирается и зерно преображаться в стремительность мысли, сияние глаз. Оно — зерно, и только. Дело человека питаться хлебом, претворяя его в усердие и вечернюю молитву. Вот и мой пахарь не собирается поливать своим потом землю, взращивая поэзию, геометрию, архитектуру, он ничего не смыслит в них, они для него чужие. Свой труд он захочет

потратить на усовершенствование плуга, и это естественно: он — пахарь.

Но я оберегаю не камни, а храм, не землю, а дерево, не плуг пахаря, а возможность постигать. Я чту творческое начало, пусть на первый взгляд оно — сама несправедливость, ибо притеснило камень во имя храма. Но вот храм построен, теперь ты видишь, что он — смысл камней и возданная им справедливость? Видишь, что дерево — это облагороженная земля? Видишь, что от геометрии перепало что-то и работяге, ведь и он человек, хоть и не задумывается об этом?

Я пекусь о человеке не с помощью обессмысливших припасов и не при помощи равенства, что чревато ненавистью. Солдат и капитан равны у меня перед царством. Бездарный ваятель трудится наравне с даровитым ради прекрасного шедевра гения, плохие работы — ступеньки лестницы, ведущей к хорошим.

Но тебя все же мучает ограбление пахаря, который ничего не получает взамен. Ты мечтаешь о царстве, где каменотес, грузчик, кочегар вдохновлены поэзией, геометрией, ваянием и добровольно отдают тебе излишки, чтобы ты кормил своих поэтов, геометров, ваятелей.

Мечтая, ты спутал цель с путем ее достижения.

Да, конечно, я хочу облагородить грубого, необразованного работягу. Да, будет прекрасен, если его взволнует геометрия. Но ты захотел все успеть за короткую человеческую жизнь, ты не понял, что для того, чтобы желаемое тобой осуществилось, ты должен торить дорогу и шагать по ступеням поколений. Вот в чем главное твое заблуждение.

Воспевай погибших в борьбе с морем мореплавателей, — хрупок был парусник, на котором они отправились искать царство островов для своих сыновей. Воспевай изобретателей, отдавших жизнь за свое открытие, которым будут пользоваться другие. Воспевай солдат, погибших на крепостной стене и ничего не получивших взамен пролитой крови. Воспевай старика, что сажает кедр, хотя ему никогда не посидеть в его тени. Пахари и пастухи следующего поколения будут петь твои песни. Медленно пускает корни в сердце поэзия, тень от кедра предназначена сыновьям. Буду рад, если жертвенность вскоре принесет свои плоды, но не хочу, чтобы вскоре исчезла жертвенность. Ибо жертвенность всегда условие возрастания, возможность для него, знак его. Вот уже третий год я строю и оснащаю корабль. Запах древесины, стук молотков пока не служат мне воздаянием. Торжество настанет

еще не скоро. Есть корабли, которые быстро не оснастишь. Но если ты перестаешь поощрять в людях жертвенность — значит, доволен построенными кораблями, усвоенными познаниями, посаженными деревьями, созданными статуями, значит, ты счел, что настало время занять сделанную чужими руками раковину и потреблять наготовленное.

А я тогда поднимусь на самую высокую из своих башен и пристально всмотрюсь в горизонт: близок час приближения варваров.

Я уже говорил тебе: нет сделанного, нет запаса. Есть устремление, путь, подъем… Пахари когда-нибудь догонят геометров — и возместят себе пролитый пот. Тогда, когда геометры перестанут творить. Если ты догоняешь друга, а идете вы с одинаковой скоростью, другу нужно остановиться, если он хочет, чтобы ты его догнал. Но я уже говорил тебе: равенство наступает в час смерти, вы все остановитесь и нажитое послужит вам, ибо Господь убирает зерно в житницу. Потому мне и кажется справедливым не делить сокровище.

* * *

Есть только одна справедливость: беречь то, чем ты жив. В справедливости нуждаются твои божества. Но не люди. Бог в тебе, и я спасу тебя, если твое спасение послужит Его величию. Но как я могу спасти тебя, пожертвовав в тебе божеством? Ты и есть твое божество.

Если будет нужно, я спасу ребенка, пожертвовав матерью, ибо поначалу он был частью ее, теперь она его часть. Спасу сияние царства, пожертвовав пахарем, спасу зерно, жертвуя землей.

Буду спасать черную жемчужину, — досталась она не тебе, но благодаря ей для тебя замерцало все море, — спасать от тебя, вопреки твоему желанию разделить ее, потому что богатство твое окажется смехотворным. Буду спасать смысл любви, чтобы ты мог приобщиться к ней, вопреки твоему пониманию любви, — она для тебя что-то вроде приобретения или покупки товара, — такая любовь оставит тебя нищим. Буду спасать источник, который тебя поит, а не тебя, жаждущего, телесно или духовно, даже если ты умираешь.

Что мне до слов? Они дразнятся и показывают друг другу язык. Они создают впечатление, будто я пытаюсь одарить тебя любовью, отнимая

ее, приобщить тебя жизни, навязывая смерть. Это неправда. Противостояние слов запутывает суть, тщась ее выразить. (Пришло время великих несправедливостей, когда от человека под страхом смерти требуют быть «за» или «против».)

Так вот, справедливость для меня не в том, чтобы обратить сокровище в прах, чтобы вернуть каждому украденное у него: жемчужину — куртизанке, козу — пастуху, меру зерна — пахарю, золотой — скупцу; справедливым мне кажется питать дух взятым у плоти. Ты весь в поту, напрягая мускулы, режешь камень, и наконец совладал с ним, одержал победу — ты отряхиваешь руки, отходишь, наклоняешь голову, прищуриваешься, смотришь, и тебя обжигает улыбка Бога.

Такова по-моему справедливость. Конечно, грубую и простую дележку можно облагородить. Жемчужину, козу, меру зерна, золотую монету, что сами по себе не великая радость, ты мог бы получить в день праздника как дары, обогащающие торжественный ритуал. Незначительные вещи стали бы даром короля, даром любви. Я знал владельца розовых плантаций, который пожертвовал бы всеми своими розами ради одной увядшей, которую носил у сердца в полотняном мешочке. Но кто-то из моих подданных может

обмануться, простодушно поверив, будто радует само по себе зерно, коза, золотой и увядшая роза в мешочке.

И мне хочется все расставить по местам. Могу и я заменить сокровище воздаянием. Вот я пожаловал дворянство: генералу — за победу, садовнику — за новую розу, врачу — за лекарство, строителю — за корабль. По сути, мы все тут заняты куплей-продажей, оправданной, справедливой, внятной для разума, но ничего не дающей сердцу. Если в конце каждого месяца я выплачиваю тебе зарплату, излучает ли она свет? Поэтому мне и кажется, что возмещением несправедливостей ничего особого не дождешься. Ты вознаградил преданность, почтил гения, смотришь и говоришь: «Теперь все правильно». Ты привел все в порядок и снова вернулся к своим делам. Никто не получил и лучика света, потому что так оно и должно быть: несправедливость исправлена, преданность вознаграждена, гений почтен. И если жена спрашивает тебя вечером у порога: «Ну, что нового в городе?» — ты, обо всем позабыв, отвечаешь: «Ничего». Не сообщать же ей, что солнце освещает дома, река впадает в море…

Я отклонил предложение моего министра, он настоятельно предлагал одаривать сокровища-

ми добродетель. Отклонил отчасти потому, что, одаривая, ты разрушаешь то, что намеревался поощрить, отчасти потому, что министр мой относился к добродетели, словно к редкому фрукту, и подыскивал для него достойный футляр. Порочность министра не была чрезмерной, в ней была даже доля изысканности, всегда и во всем он ценил прежде всего качество.

— Я буду преследовать за добродетель, — ответил я.

Министр застыл в недоумении, а я разъяснил:

— Я уже говорил о своих полководцах в пустыне. Их жертвенность среди песков вознаграждена любовью к этим пескам, мало-помалу она освещает их сердца. Я обрек их на нищету, но она превратилась в роскошь.

Если твоим добродетельным девам будут в радость короны из позолоченного картона, восхищение зрителей и свалившееся вдруг богатство, в чем их добродетель? Девочке из веселого квартала ты платишь за более щедрый дар.

Отклонил я и предложение архитекторов. «Послушай, — сказали они, — свое бесполезное сокровище ты можешь потратить на возведение чудесного храма, который прославит царство. На поклон к нему века и века будут стекаться

караваны паломников».

Да, действительно, я не люблю насущного, которое ничем не обогащает. Чту дары пространства и тишины. Куда нужнее лишнего амбара мне кажется близость звездного неба и моря — хотя не выскажешь словами, что же именно дали они душе. Но из темного городского квартала, где ты задыхаешься, ты рвешься к ним. К чудесному странствию. Неважно, что оно невозможно. Тоска о любви — уже любовь. Ты уже спасен, если попытался пуститься в путь по направлению к любви.

Но я не верю в приобретательство. Не купить радости, здоровья, любви. Не купить звезд. И храма тоже. Я верю в только в те храмы, что грабили тебя. Верю в храмы, которые росли, выжимая из людей пот. По городам и весям рассылали они своих апостолов, и те драли с тебя три шкуры во имя своего Бога. Верю в храм жестокого короля, который вмуровывает в камни свою гордыню. Он забирает всех мужчин к себе на стройку. И надсмотрщики с бичами превращают их в повозки для камней. Верю в храм, который пьет твой пот и пожирает плоть. Но взамен он обращает тебя в свою веру. Только вера может стать тебе истинной платой. Ибо камневоз жестокого короля тоже получает право на гордыню. Он стоит,

горделиво скрестив руки, у форштевня каменного корабля, который стал грозной преградой пескам в неспешной реке времен. Величие храма служит и камневозу тоже. Ибо Бог, единожды явленный, открыт каждому, и открыт целиком. Я верю в храм, рожденный радостным ощущением победы. Ты оснащаешь корабль для вечности. И каждый, кто строит этот храм, поет. Храм тоже будет петь.

Я верю в любовь, что приняла обличье храма. Верю в гордыню, что сделалась храмом. Поверил бы, если б ты смог его построить, в гневный храм. Ибо видел деревья, чьи корни питались любовью, гордыней, хмелем победы и яростью. Они вытягивали из тебя сок, питались и росли. Но ты предлагаешь жаждущим корням скудную пищу — ты предлагаешь им золото. Золотом умеет насыщаться лишь склад с товарами. Пройдет век, ветреный, дождливый, и склад исчезнет.

Так отверг я сокровище как возможность обогащения, отверг как возможность воздаяния, отверг как возможность построить каменный корабль, но так и не нашел лучезарной картины, в которой оно могло бы преобразиться, облагородив людей, и задумался в тишине.

«Оно что-то вроде навоза и удобрения, — ре-

шил я. — Глупо было бы искать в нем чего-то другого».

CXCIX

Я просил Господа научить меня и вернуть мне, по своей неизреченной милости, воспоминание о караванах, что шли к святому городу, хоть и не понимал, чем поможет мне лицезрение верблюдов под палящим солнцем в разрешении неразрешимого.

Я увидел тебя, мой народ, — по моему приказу ты готовился к паломничеству. И будто неизреченной сладости мед была мне хлопотливость последнего вечера. Ибо есть странствия, которые готовишь будто корабль, — построив, ты его оснащаешь, — они сродни статуе или храму и нуждаются в инструментах, в твоей изобретательности, в расчетах и силе рук, ибо снаряжаешь ты его для летящего ветра. Так готовишь ты свою дочь, сперва ты растил ее, учил, журил за пристрастие к безделушкам, но пришел час отдать ее супругу, и ради того, чтобы в этот час она была прекраснее всех, ты разоряешься для нее на льняную ткань и золотые браслеты, потому что отправляешь свой корабль в море.

Так, уложив припасы, заколотив ящики, завязав мешки, ты королем идешь среди верблюдов,

погладишь одного, сунешь лакомый кусочек другому, нажмешь коленом, помогая потуже завязать ремень, взгромоздишь на верблюда кладь и с гордостью увидишь, что она не съезжает ни вправо, ни влево, зная, что верблюды будут долго раскачивать ее в пути, спотыкаться о камни, опускаться, отдыхая, на колени, но твоя кладь будет сохранять равновесие, — так дерево раскачивается на ветру, не опасаясь растерять груз зреющих апельсинов.

Я смакую твое рвение, мой народ, ты готовишь для себя кокон сорокадневного пути по пустыне; я не вслушиваюсь в ветер слов, зная, что не обманываюсь в своем знании о тебе. Ибо накануне похода я иду в молчании моей любви и слышу скрип ремней, сопение верблюдов, жаркие споры о дороге, по которой нужно идти, о проводниках и о том, как распределить обязанности. Я не удивляюсь, что вы не восхищаетесь будущим паломничеством, нет, напротив, в самых черных красках расписываете вы прошлогоднее: высохшие колодцы, знойный ветер, змеи, что таятся в песке, будто незримые нервы, засады грабителей, болезни, смерть; я знаю — говорит в вас стыдливость любви.

Хорошо, что ты скрываешь свой трепет перед

Господом, мой народ, восхищаясь золотыми куполами святого города, ибо Господь для тебя не готовый подарок и не припрятанный впрок припас, Он — торжество, венчающее долгое шествие твоих бед и несчастий.

Если люди заранее рассуждают о том, что должно их облагородить, как иной раз рассуждают корабелы о парусах, ветре и море, — я не доверяю им, опасаясь, что они недосмотрят за досками и гвоздями, словно отец, что начал слишком рано молиться о красоте для своей дочери. Я люблю песни кузнецов и плотников — они славят не запас, что сам по себе ничто, но путь, ведущий к кораблю. Вот корабль оснащен, паруса наполнены ветром, и пусть мои моряки поют не о волшебном острове — о морских опасностях, — тогда я поверю: они победят.

Они узна́ют, каковы они, при помощи страданий, пути, повозок, клади. А ты окажешься слепцом, если, доверившись жалобам и проклятиям, которые тешат их сердце, встревожишься и пошлешь им сказителей с медовыми устами, которые будут петь не о смерти в пустыне, а только о красоте заката. Что мне до счастья? Оно бесформенно. Ведут меня озарения любви.

Караван отправился в путь. Вот оно, таинствен-

ное переваривание пищи, тишина, кромешная тьма кокона, отвращение, сомнения, боль, ибо любое преображение — боль. В этот час не пристало тебе воодушевление — только верность, хотя ты, ничего не понимая, потерял в себе опору и ни на что в себе не полагаешься, — тот, каким ты был вчера, обречен на смерть.

Как мучительно ощутима тебе прохлада твоего дома, сладость воды для чаепития в серебряном кувшине перед часом любви. Мучительно воспоминание о ветке под окном, о кукареканье петуха во дворе. Ты шепнул себе: «Я из своего дома», — потому что в пустыне оказался бездомен. Вспомнил ты и своего осла, которого будил поутру, лошадь, собаку, таинство общения с ними — они тебе отвечали. И вместе с тем были словно бы замурованы в чем-то своем, и ты не знал, дорожат ли они своим кровом или тобой? Из далекой дали твоего отлучения тебе так необходимо потрепать своего осла по холке, погладить по храпу, может быть, для того, чтобы приободрить его, будто слепца в глубинах его ночи. И конечно, в день, когда иссякший колодец предложит тебе лишь зловонную грязь, сердце твое сожмется, ты вспомнишь доверчивый лепет родника возле дома.

Так запеленает тебя кокон пустыни. На третий день шаги твои увязнут в смоле ее нескончаемости. Соперник всегда возбуждает, и на удар ты отвечаешь ударом. Но пустыня берет один твой шаг за другим, будто затянувшаяся аудиенция — твои любезности, до тех пор, пока ты в конце концов не замолчишь. Ты шагаешь по пескам с самой зари, но меловое плоскогорье, что слева от тебя на горизонте, осталось там и к вечеру. Ты изнуряешь, изнашиваешь себя, ты как ребенок, что перебрасывает лопаткой землю, задумав переместить гору. Но гора и не подозревает, как старательно он трудится. Ты словно бы заблудился в свободе без границ, и усердие твое при последнем издыхании. В этих паломничествах я предлагал своему народу вместо хлеба камень, насыщал колючками. Мой народ, я обрекал тебя на дрожь от ночного холода. Отдавал огнедышащей песчаной буре, и ты ложился на землю, прикрывал одеждой голову, чувствовал на зубах скрип песка и отдавал солнцу свою телесную влагу. Но опыт научил меня: слова утешения здесь излишни.

«Наступит вечер, — мог бы сказать я, — похожий на синеву моря. Задремлют песчаные барханы, будто стога. Ты будешь идти в прохладе

по твердому влажному песку…»

Но на губах у меня останется привкус лжи, своими выдумками я призову к существованию в тебе кого-то не похожего на тебя. Поэтому в молчании моей любви я без обиды слушаю твои проклятья.

— Возможно, ты прав, Господи! Возможно, завтра, Господи, выживших ты преобразишь в толпу блаженных. Но что нам до этих незнакомцев! Сейчас мы словно пригоршня скорпионов, обведенных огненным кругом!

Такими они и должны быть во славу Твою, Господи!

Вдруг, будто взмахом сабли сметя облака с неба, налетел свирепый северный ветер. Выдул с голых песков все тепло до капли. Ледяные лучи звезд пронзили плоть до костей, пригвоздив людей к земле. Что мне сказать им?

Разгорится заря, хлынет свет. Тепло солнца, будто кровь, разогреет замерзшее тело. Вы закроете глаза, чувствуя, как оно растекается по жилам…

Но они ответят мне:

— Вместо нас Господь, может, и посадит тут завтра сад со счастливыми цветами и по Своей доброте будет питать их. Но этой ночью мы — несжатая полоска ячменя, которую треплет

ветер.

И они должны быть такими во славу Твою, Господи! Я отошел в сторону от страдальцев и так стал молиться:

— Господи, благо, что они отказались пить мою ложь. Они плачут и жалуются, но не это главное, я — хирург, починяю тело, оно издает крик.

Я знаю, в них вмурованы и запасы радости, но не мне отвалить камень. Для радости не подошло еще время. Плод должен созреть, тогда он станет сладок. Мы проходим неизбежный час горечи. В нас нет ничего, кроме разъедающей кислоты. Только время вылечит нас и преобразует в радость во славу Твою!

И я повел свой народ дальше, питая его камнями, насыщая колючками.

И наконец мы сделали, поначалу ничем не отличимый от других бессчетных шагов, отданных пространству, волшебный шаг. Торжественный шаг, увенчавший священнодействие пути. Благословенный шаг среди всех прочих шагов: распался кокон и отдал крылатое свое сокровище царству света.

Так веду я своих воинов ужасами войны к победе, ночным мраком к свету, тяжестью камней к храму, пустыней грамматики к певучему стиху,

отвесными склонами и пропастями к пейзажу, открывшемуся с вершины горы. Мы в пути, и мне нет дела до твоего отчаяния и тревог, не доверяю я и сентиментальным гусеницам, которым мнится, что они влюблены в полет. Мне нужно, чтобы гусеница пожрала самое себя в пекле перерождения. Нужно, чтобы ты пересек свою пустыню.

У тебя нет доступа к источнику радости, спрятанному в тебе, прежде чем ты не проторишь к нему дорогу. Ты оказался изобретательнее и выиграл партию в шахматы, как ты радостен, но не в моей власти подарить тебе радость за так, обойдя священнодействие игры.

Поэтому я и хочу, чтобы на ступеньке, где священнодействие — ковка гвоздей и обстругивание досок, пелись песни кузнецов и плотников, а не песня корабля. Я предлагаю тебе невеликую победу — гладкую доску, выкованный гвоздь, — но она обрадует твое сердце, если ты стремился и желал их. Ты ни на что не променяешь бревно, если жаждешь построить корабль.

Но я видел: человек, играя в шахматы, тайком позевывал и отвечал на ход противника так безразлично-снисходительно, словно его, давно зачерствевшего сердцем, принудили возиться с детьми.

— Гляди, какой у меня флот! — говорит семилетний капитан, показывая на белые камешки.

— Прекрасный флот, — соглашается зачерствелый сердцем, тупо глядя на камешки.

Самолюбивому и тщеславному, тому, который не пожелал всерьез вжиться в священнодействие шахматной игры, не дастся и вкус победы. Если из тщеславия ты не возведешь в божество доски и гвозди, тебе не построить корабль.

Книжный червь, который не знает, что значит строить, предпочитает, в силу утонченности, песню корабля песне плотников и кузнецов, а когда корабль оснащен, спущен на воду и летит вперед с толстощекими парусами, он, не желая замечать неустанное борение с морем, поет о волшебных островах, — да, конечно, острова — главное и в ковке гвоздей, и в обстругивании досок, и в борении с морем, но только если ты не пренебрег ни одной из ступенек, ведущих тебя к преображению. Когда ты преобразишься, ты увидишь, как из морской пены поднимается остров. Но тот, кто, едва взглянув на первый гвоздь, зашлепает по теплой жиже мечты, воспевая разноцветных колибри и сумерки на коралловом атолле, вызовет у меня только отвращение к этим птичкам, потому что мне по вкусу ноздреватый ломоть

хлеба, а не сладкий компот, я в него не верю, я — с островов дождя, где живут серые птицы, и, чтобы поманить меня иным, райским островом, нужна песня, что всколыхнет во мне бесцветное небо и серых птиц.

Но я, который не строил храма без камней, который добирался до сути, только преодолев разброд и разноголосицу сущего, я, который не говорил о цветах вообще, а только вот об этом одном — с пятью лепестками алого цвета, я, который ковал гвозди, стругал доски и принимал на себя напор мускулистого моря, только я могу спеть для тебя об острове, плотном и весомом: я своими руками извлек его из морских глубин.

То же я скажу и о любви. Книжный червь славит ее вселенскую полноту. Его гимны не помогли мне никого полюбить. Чья-то отдельная, частная привязанность проторила мне дорогу к любви. У нее свой собственный голос. Особенная улыбка. Нет ей подобий. А вечером, облокотившись на подоконник, я окунулся не в свое отдельное озерцо, а словно бы узрел лик Господа. Потому что каждому из нас нужна подлинная тропинка, она сворачивает здесь и здесь, она белая от пыли, с шиповником на обочине. По такой тропинке ты непременно куда-нибудь придешь. Умирающий

от жажды идет в мечтах к роднику. И умирает.

* * *

То же я скажу и о жалости. Ты говоришь мне о страдании детей и вдруг видишь: я зеваю. Ты никуда меня не привез. Ты сообщил: «При кораблекрушении утонуло десять детей...» Что мне арифметика? Я не заплачу в десять раз сильнее, если число погибших удвоится. Вдобавок со дня основания царства погибли десятки тысяч детей, а мы все-таки рады жизни и порой чувствуем себя счастливыми.

Я заплачу о том ребенке, к которому ты приведешь меня настоящей тропкой. Благодаря моей розе я увидел все остальные, благодаря твоему ребенку я почувствую всех остальных и заплачу, но не обо всех на свете детях — обо всех на свете людях.

Однажды ты рассказал мне о конопатом хромом мальчишке, он приковылял в деревню, неведомо откуда, и деревенские жители возненавидели безродного попрошайку.

— Зачем нам этот уродец? — возмущались они. — Чирей на благородном лице нашей деревни!

Повстречав его, рассказчик спросил:

— Эй ты, конопатый, у тебя что, отца нет?

Тот промолчал. В друзьях у него были только козы, бараны, деревья. А рассказчик задал ему еще и такой вопрос:

— Чего не играешь с ребятами?

Тот молча пожал плечами. Сверстники швыряли в него камнями. «Урод хромонога, из страны убогой! Живут там уроды неведомой породы!» — кричали они. Иногда он отваживался подойти к играющим; красивые, складные мальчики вставали враждебной стенкой:

— Вали отсюда, краб ползучий! Твоя деревня от тебя отказалась, так ты вздумал нашу уродовать? У нас добротная деревня, в ней все прочно стоят на ногах!

И ты видел, как молча поворачивался и отходил хромоножка, припадая на больную ногу. Повстречав его опять, ты спрашивал:

— Эй ты, конопатый, у тебя что, нет матери?

Он молчал. Быстро взглядывал на тебя исподлобья и краснел. Тебе казалось, что он должен быть озлоблен, полон горечи, ты не мог понять, откуда в нем спокойная кротость. Но он был кроток. Да, он был таким вот, а не иным.

Пришел день, когда крестьяне взялись за палки, решив прогнать его прочь:

— Хромое отродье! Пусть ищет себе места, где хочет, нечего ему делать в нашей деревне!

Ты защитил его и спросил:

— Эй ты, конопатый, неужели у тебя и брата нет?

Лицо его осветилось, и он посмотрел тебе прямо в глаза:

— Да! У меня есть брат!

Вспыхнув от гордости, он стал рассказывать тебе о своем старшем брате, родном брате, а не двоюродном и не троюродном. Он — воин и где-то в далеком далеке несет службу царства. У него замечательный конь, гнедой, а не какой-то еще, и на этого гнедого коня брат посадил его позади себя — его, хромоножку, его, конопатого, в день, когда праздновали победу. В победный день, а не какой-то другой. И когда-нибудь он приедет, его старший брат. Он посадит его на коня, его, хромоножку, его, конопатого, и пусть тогда посмотрит на него вся деревня.

— Но на этот раз, — сказал мальчишка, — я попрошу его посадить меня впереди, и он посадит! И все будут на меня смотреть. А я буду командовать: «Направо! Налево! Быстрей!..» Брат не откажет мне. Он любит, когда мне весело! И мы будем с ним вдвоем!

Мальчуган уже не был ненавистным хромоножкой, весноватым уродцем. Он был любимым младшим братом. Он ехал на коне, настоящем боевом коне, в день победного торжества.

И снова настало утро. Ты опять увидел мальчишку, он сидел на низкой ограде, свесив ноги, а другие мальчишки швырялись в него камнями.

— Бегать и то не умеешь, хромонога!

Он посмотрел на тебя и улыбнулся. Вы теперь были заодно. Ты тоже знал, как обделены его враги, они видят в нем только хромого, только урода, а на самом деле он — любимец старшего брата, который ездит на боевом коне.

Пусть не сегодня, но брат отмоет его от плевков, загородит своей славой, как крепостная стена, от всех камней. Ветер мчащегося галопом коня облагородит тщедушного уродца. Никто больше не увидит его некрасивым, потому что красив его брат. В тот день он будет избавлен от унижения, потому что брат его радостен и исполнен славы. Он, хромой, будет греться в его лучах. С этих пор его будут принимать во все игры: «Бегай с нами, раз у тебя такой брат…» И он попросит брата, чтобы тот посадил и других мальчишек на коня впереди себя, всех по очереди, чтобы и они могли отведать быстрого ветра. Он не будет с ними

суров из-за их невежества. Он будет любить их и скажет: «Всякий раз, когда брат будет приезжать, я буду звать вас послушать о его битвах…» Он приник к тебе, потому что ты — *знаешь*. Для тебя он уже не был пустым местом и ничтожеством, за ним ты видел его старшего брата.

Но ты взял и сказал ему то, что лишило его рая, воздаяния за все беды, теплого солнца. Взял и лишил щита, который прибавлял ему мужества под градом летящих камней. Втоптал в неизбывную грязь. Взял и сказал ему: «Малыш, ищи себе другую опору потому что не приходится надеяться на поездку на боевом коне». И рассказал, что его брата выгнали из армии, что, покрытый позором, ковыляет он к деревне, хромая и приволакивая ногу, и вслед ему летит град камней. Рассказчик добавил:

— Я же и похоронил бедолагу, он утопился в пруду. Он не мог жить в мире без солнца…

И тогда я заплакал над человеческим горем. Из-за конопатого хромоножки, этого, а не иного, из-за боевого коня и прогулке на нем в торжественный день победы, в день победы, а не в другой, из-за жестокости деревни, этой деревни, а не какой-то еще, из-за пруда с утками и выстиранным бельем на берегу, я увидел Господа — вот

как далеко зашла моя жалость, — потому что ты вел меня тропинкой подлинности и говорил об этом мальчишке, а не о несчастье вообще.

Не ищи света, как вещи среди вещей, ищи камни, строй храм, и он озарит тебя светом.

Старательно смазывая ружье, воздавая должное и ружью и смазке, считая шаги, когда ходишь по кругу, отдавая честь своему капралу, отдавая должное и капралу, и своей чести, ты приуготовляешь в себе озарение, мой дозорный! Передвигая шахматные фигуры, принимая всерьез правила шахматной игры, краснея от гнева, если противник их нарушает, ты приуготовляешь в себе восторг победителя. В кровь стирая ноги своих верблюдов, проклиная жажду и ветер песков, спотыкаясь, дрожа от холода, изнывая от зноя, ты, — если только пребывал верным необходимости каждой минуты, а не восторженному предвкушению крыльев — этой лживой поэзии сентиментальной гусеницы, — ты можешь рассчитывать на озарение паломника, который вдруг, по внезапному биению сердца, поймет: предыдущий шаг его был шагом к чуду.

Как бы ты ни воспевал радость, не в моей власти вскрыть запрятанный в тебе источник счастья.

Но я могу быть тебе в помощь на ступеньке вещественного. Я расскажу тебе, как поддерживать колодцы, как лечить на ладонях водяные мозоли, о геометрии звезд и как завязать узлом веревку, если кладь твоя съехала набок. Чтобы искусство завязывать узлы стало для тебя песней, я познакомлю тебя с погонщиком верблюдов, который в юности был матросом, — поэзия узлов для него вдохновенней поэзии составления букетов, изготовления украшений для танцовщиц. Есть узлы, которые удержат на месте корабль, но развяжет их даже ребенок, едва прикоснувшись пальцем. Есть другие, они кажутся проще поворота лебединой шеи, и ты можешь держать пари с приятелем, что он развяжет такой без труда. А когда приятель примет пари, можешь сесть в стороне и смеяться: этот узелок из тех, что любого доведет до бешенства. Не забудет мой учитель, в совершенстве владея своим мастерством, и легких петель, которыми ты перевьешь подарок для любимой, хотя сам учитель хром, кривонос и косит на один глаз. Хитрость завязанной ленты в том, что развязать ее можно одним движением, словно рвешь цветок. «Вот она увидела твой подарок, — сказал он, — и восхищенно вскрикнула». И он тоже вскрикнул, а ты опустил глаза, так он

был несуразен.

Почему я должен пренебрегать мелочами, которые кажутся тебе — и совершенно напрасно — ничтожными? Матрос дорожит искусством, благодаря которому простая веревка становится канатом для буксира, а подчас спасением. Игра подчас становится возможностью превозмочь себя и подняться выше, и тогда она для меня сродни молитве. Но мало-помалу с течением дней твой караван изнашивается, и тебе уже не хватает таких простых молитв, как завязывание узлов на веревках или кожаных ремнях, как вытаскивание песка из сухих колодцев, как чтение по звездам. Тогда вокруг каждого сгущается мертвая тишина, каждый становится дерзок на язык, туг на ухо, черств сердцем.

Не тревожься. Это разрывается кокон. Ты обогнул еще одно препятствие и поднялся на холм; камни и колючки пустыни, от которых ты мучился, ничем не отличаются от вчерашних, но ты кричишь с неистово бьющимся сердцем: «Вот оно!»

И твои сотоварищи по каравану бегут к тебе. Все изменилось в ваших душах, будто с приходом зари. Ваша жажда, мозоли на руках и ногах, изнурение зноя, ночной холод, пустынный ветер,

что слепит и скрипит на зубах песком, все погибшие верблюды, все болезни и все дорогие друзья, которых вам пришлось похоронить, вдруг возмещены вам сторицей, но не хмельным пиром, не прохладной тенью, не красотой юных девушек, что стирают белье в голубой воде, ни даже величием куполов, что венчают святой город, — чем-то неуловимым, малой звездочкой, — солнце благословило ее, и она сверкает превыше всех куполов, — и так она еще далека!

Тебя может разлучить с ней треск ломающегося кокона, осыпающаяся тропа может обвалиться в пропасть, впереди еще скалы, с которых можно упасть, и пески, и пески, и опустелые бурдюки, и больные, и мертвые — последняя пища солнца. И все-таки вы выносили в себе радость, она выпорхнула бабочкой среди песков и колючек, под которыми прячутся чуткие змеи, как нервы под кожей, вас обрадовала незримая звезда, она бледнее, чем Сириус в ночь самума, такая дальняя, что те из вас, у кого нет зоркости орла, не видят ее, настолько непрочная, что стоит солнцу чуть повернуться, как она исчезнет, так вот, мигание этой звезды и даже не мигание, а для тех, у кого нет орлиной зоркости, отблеск в глазах тех, кто видел это мигание, отблеск отблеска, и вот этот

отблеск в одно мгновение изменил вас. Сбылись все обещания, за все воздано вам сторицей, потому что один из вас, вглядевшись вдаль с орлиной зоркостью, неожиданно остановился и, указывая рукой в пространство, закричал: «Вот оно!»

Свершилось. На взгляд, ты ничего не получил. Но ты получил все. Теперь ты напоен, накормлен, исцелен от ран. Ты говоришь: «Я могу умереть, я видел святой город и умру счастливым».

Я веду речь не о контрасте, благодаря которому после нищенства кажется драгоценностью тощее благополучие и счастьем — утоление жажды после того, как жаждал. Я же сказал, что они еще в пути и путь опасен. Разве кто-то сказал тебе, что пустыня выпустила их из объятий? Не веду я речь и о каких-то переменах в их судьбе, потому что нажитую радость не отнимет и смерть от жажды. Подчинившись, они добросовестно творили священнодействие пути по пустыне, и этот путь сотворил их и позволил войти в праздник — праздник, замерцавший вдали золотой пчелкой.

Не подумай, будто я что-то преувеличил. Однажды я заблудился среди девственных песков и вдруг заметил человеческий след и понял: сладостна смерть среди соплеменников. Все вокруг осталось прежним, новым был полустертый след

на песке. Он все переменил.

Что же увидел я, о народ мой, сострадая тебе в молчании моей любви? Увидел, как кровоточили ноги твоих верблюдов, как, потеряв сам себя, ты брел по пескам под знойным солнцем, как выплевывал песок, бранил соседа и, браня его, страшился сгустившейся тишины, где тонули один за другим твои одинаковые шаги. Я не дал тебе ничего, кроме скудной пищи, постоянной жажды, укусов солнца и мозолей на руках. Питал камнями, поил колючками. А затем показал тебе отблеск отблеска золотой пчелки, и ты преисполнился благодарности и любви.

Дары мои невесомы. Но чем так уж хороши величина и тяжесть? Мне достаточно раскрыть ладонь, чтобы двинулась в путь армия кедров, которая оденет могучую гору. Мне достаточно одного семечка!

CC

Если я подарю тебе состояние, будто нежданное наследство от дядюшки, чем я тебя облагорожу? Если подарю тебе черную жемчужину из глубин моря, миновав священнодействие погружения на дно, чем я тебя облагорожу? Облагораживает тебя только то, что преображает, ибо ты — семя. Нет для тебя подарков. И поэтому я хочу утешить тебя — тебя, что так горюет из-за потерянных возможностей. Нет потерянных возможностей. Резчик режет кость, вытачивая лицо богини или царевны, и оно западет тебе в душу. Ювелир работает с чистым золотом, и, возможно, его украшения меньше говорят человеческому сердцу. Но ни золотой браслет, ни статуэтка из кости не достались им как подарок. И ювелир, и резчик только путь, кладь, повозка. И тебе даются только камни для будущей часовни, которую ты должен построить. И камней всегда хватает, как всегда хватает земли кедру. Вот земле может не хватать кедров, и она может остаться каменистой пустошью. На что тебе жаловаться? Нет потерянных возможностей, ибо дело твое быть семенем. Если у тебя нет золота, режь кость. Если нет кости,

режь дерево. Нет дерева, собирай камни.

Для дородного министра с пухлыми веками, которого я отсек от моего народа, не нашлось ни единой возможности ни в его поместьях, ни в тачках с золотом, ни в погребах, набитых алмазами. Но для того, кто шел и споткнулся о камень, приоткрылась необыкновенная возможность. А ты? Горюя, ты просишь подарков, а не возможностей.

Тот, кто жалуется, что люди его обделили, сам отстранился от людей. Тот, кто жалуется, что ему недодали любви, ошибается в понимании любви, — любовь никогда не была подарком, который получают. Никто и никогда не лишал тебя возможности любить. Ты в любой миг можешь стать солдатом королевы. И королеве совсем не обязательно знать о тебе для того, чтобы ты был счастлив. Мой геометр был влюблен в звезды. Светящуюся нить он ощупывал разумом и превращал в закон. Он был путем, кладью, повозкой. Пчелой расцветшей звезды. Он добывал свой мед. Я видел: он умирал счастливым, благодарный тем нескольким фигурам и формулам, на которые обменял свою жизнь. Счастлив был садовник моего сада, когда у него раскрывалась новая роза. Звездам может не хватать геометра.

Саду — садовника. Но тебе не может не хватить звезд, садов, гальки, выброшенной из пенных губ моря. Не говори мне, что ты нищ.

И вот что я понял, глядя на отдыхающих моих дозорных. Они с аппетитом ужинают. Шутят, подначивают друг друга. Сейчас они противники нескончаемого хождения по кругу, враги долгих часов бдения. Они рады, что избавились от ярма. Ярмо их недруг. И это так естественно. Недруг — и в то же время неизбежный, необходимый, насущный для них удел. И война такой же удел, и любовь. Я уже говорил тебе о воине, что светится светом любви. Говорил о влюбленном, который становится достойным воином. Разве умирающий среди песков закован в броню бесчувствия? Он молит: «Позаботься о моей любимой или позаботься о моем доме, детях...» И поэтому тебе драгоценна его жертвенность.

Я наблюдал за беженцами-берберами, они не шутили, не подтрунивали друг над другом. Не подумай, что я веду речь о противодействии, об облегчении, что наступит неизбежно, если удалить больной зуб. Противодействия, контраста хватает ненадолго. Да, если вода станет безвкусной, запретив ее пить, можно вернуть ей вкус. Она станет вкуснее. Вкуснее рту, горлу,

желудку, и ничему больше. Так вкусен ужин для моих дозорных после тяжкой и неприятной работы. Разыгравшийся аппетит — причина их удовольствия. Можно, конечно, оживить жизнь и для моих берберов, кормя их только по праздникам…

Но дозорного взращивают часы бдения. Хотя и дозорные тоже едят. Однако совместный ужин дозорных нечто иное, нежели воловье стремление к кормушке и обожествление желудка. Ужин их — причащение хлебом, собравшим на вечерю дозорных. Пусть они не догадываются об этом. Однако с их помощью хлебное зерно становится бдением и взглядом, обнимающим город, и может случиться так, что бдение и обнимающий город взгляд благодаря им возвеличат хлеб. Хлеб, он ведь тоже разный, есть один хлеб и есть другой.

Если ты хочешь проникнуть в тайну дозорных, о которой они не подозревают, посмотри, как обольщает кто-то из них в веселом квартале женщин, рассказывая им: «Стою я как-то на крепостной стене, и вдруг у меня прямо над головой одна за другой три пули, я и ухом не повел, не шевельнулся». И с гордостью откусывает большой кусок хлеба. А ты, глупец, услышав эти слова, счел стыдливость любви похвальбой бахвала.

Знай: дозорный, рассказывая байки о своем стоянии на посту озабочен не возвеличиванием себя — ему хочется согреться тем чувством, в каком он не признается и сам себе. Он никогда не признается, что любит город. Он умрет ради своего божества, но оставит его безымянным. Он служит ему, но не хочет сознаваться в этом. И того же молчания требует и от тебя. Патетика его унижает. Не умея назвать свое божество, он инстинктивно защищает его от твоих насмешек. И своих собственных тоже. Вот и разыгрывают мои дозорные бахвалов и фанфаронов, без натуги вводя в заблуждение ради того, чтобы где-то, в глубинах самих себя, прикоснуться к затаившемуся там роднику любви.

И если красотка скажет: «Вот незадача, мало вас уцелеет после войны!» — ты услышишь, как охотно они с ней согласятся. Согласятся, изрыгая ругательства и проклятья. Но втайне слова красотки им приятны, словно признание. Ибо умрут они ради своей любви.

Но попробуй скажи им, что они любят, они расхохочутся тебе в лицо! За дураков ты их, что ли, держишь, собираясь расплатиться цветистыми фразами за кровь?! Хотя храбрости им не занимать, ясное дело! Так бахвалятся они.

Из любовной стыдливости разыгрывают наглецов и бахвалов. И правы, потому что иной раз ты обманываешь их. Пользуясь их любовью к городу, отправляешь спасать свои амбары. Презирая тебя, они постараются тебя уверить, что идут на смерть из фанфаронства. Сам-то ты не любишь город. Они чувствуют в тебе сытого. Но с любовью, без лишних слов, спасут твой город и с наглой усмешкой, будто кость собаке, бросят тебе твои спасенные амбары, потому что и они часть города.

CCI

Ты мне в помощь, когда меня обличаешь. Да, я ошибся, описывая увиденный мною край. Не там поместил реку, позабыл эту деревню. Ты торжествуешь, указывая на мои ошибки. Твоя работа мне по нраву. Есть ли у меня время все измерить, все перечислить! Мне важно, чтобы ты увидел мир с той горы, которую я выбрал. Ты увлекся моей работой, пошел дальше меня. Ты поддержал меня там, где я дал слабину. Я рад.

Тебе кажется: раз ты разбил меня в пух и прах, то и я немедля ополчусь на тебя, — ты ошибся. Ты из породы логиков, историков, критиков, — они обсуждают форму носа и уха, но не видят лица целиком. Что мне за дело до формулировки закона, до конкретики определения? Разработать их — твое дело. Если я хочу заразить тебя страстью к морю, я рассказываю тебе о плывущем корабле, о звездной ночи и волшебном царстве ароматов, рожденном дальним островом. «Наступает утро, — говорю я тебе, — и ты, пусть ничего вокруг на взгляд не изменилось, попадаешь в обитаемый мир. По морю плывет не видимый еще остров, похожий на корзинку, полную пряно-

стей». И ты видишь, что твои матросы, патлатые грубияны, томятся неведомым им томлением нежности. Образ колокола возник прежде, чем ты услышал его звон, неповоротливому сознанию нужно весомое гуденье, но тонкая струна в душе уже все уловила. И я уже счастлив, потому что иду к саду, сулящему розы… И на море, в зависимости от ветра, ты ловишь благоуханье любви, отдыха или смерти».

Но ты останавливаешь меня. Корабль, который я описал, не выдержит бури, нужно перестроить его вот так, а можно вот этак. Я соглашаюсь. Измени! Я ничего не понимаю в гвоздях, в досках. Потом ты отвергаешь пряности, которые я тебе пообещал. Твои научные познания доказывают, что пряности должны быть совершенно иные. Я соглашаюсь. Я ничего не смыслю в ботанике. Главное для меня, чтобы ты построил корабль и собирал для меня далекие острова. Пусть даже ты пустишься в путь ради того, чтобы меня опровергнуть. И опровергнешь меня. Я первый поздравлю тебя с триумфом. А потом, в молчании моей любви, пойду и навещу портовые улочки. Какими они стали после твоего возвращения?

Преображенный священнодействием поставленных парусов, звездной книги и палубы, кото-

рую необходимо драить, ты, вернувшись, поешь своим сыновьям об островах, что странствуют по морю, ты хочешь, чтобы и они пустились в путь. А я? Я стою в тени, я слышу твою песню и, довольный, тихо ступая, ухожу. Ты не можешь всерьез уличить меня в ошибке, не можешь опровергнув, уничтожить меня.

Я — питающая среда, а не вывод умозаключения. Разве возможно убедить в ошибке скульптора, доказать, что вместо воина он должен был вылепить женское лицо? На тебя будет смотреть женское лицо или воин… Они просто будут перед тобой. Если я увлекся звездами, я уже не тоскую о море. Я занят звездами. И когда я творю, что мне до твоих возражений? Ты — тоже мой материал, а я леплю невиданное еще лицо. Поначалу ты будешь протестовать. «Да это лоб, — скажешь ты мне, — а вовсе не плечо». — «Возможно», — отвечу я. «А это нос, а не ухо». — «Возможно», — отвечу я. «Глаза», — скажешь ты, не соглашаясь со мной, отойдешь, приблизишься, посмотришь справа, потом слева, чтобы раскритиковать то, что я делаю. Но рано или поздно придет минута, и перед тобой предстанет мое творение: такое вот лицо, а не иное. И ты замолчишь.

Что мне до ошибок, в которых ты меня уличил?

Истина запрятана куда глубже. Слова для истины — дурная одежда, любое из слов можно опровергнуть. Язык мой неуклюж, и я часто противоречу сам себе. Но это не значит, что я ошибся. Я всегда отличаю ловушку от добычи. О пригодности ловушки я сужу по добыче. Не логика связывает дробный мир воедино — Бог, которому равно служит каждая частичка. Слова мои неловки, на первый взгляд, несвязны, но внутри них я сам. Я просто есть, и все тут. Если женщина наряжена в платье, я же не раздумываю: настоящие или нет на платье складки. Вот она идет, она красива, плавно двигаются складки на ее платье, собираются, распрямляются и все-таки сохраняют гармонию.

Я не знаю, есть ли логика в складках платьях. Но они заставляют забиться сердце сильнее, вызывая соблазн желания.

CCII

Я заговорю с тобой о Млечном Пути, что протянулся над городом, и подарю тебе его. Подарки мои просты. Я сказал: «И на устроенную так усадьбу смотрят звезды». И сказал правду, ибо и твоя усадьба устроена точно так же. Слева сарай, в нем осел. Справа дом, в нем жена и дети. Перед домом сад с оливами. За твоим домом дом соседа. Вот и все твои дороги в обыденной скудости мирных дней. Если тебе по нраву прибавлять к своим неурядицам чужие — ведь и в своих тогда больше смысла, — ты постучишься к другу. Выздоровление его ребенка сулит выздоровление твоему. Украденные у него ночью грабли наполняют ночь неслышно крадущимися ворами, и бессонница твоя становится бдением. Смерть твоего друга для тебя смертельна. И если тебе по душе любовь, ты поворачиваешься к собственному дому, улыбаясь, приносишь в подарок переливчатую парчу, или новый кувшин, или благовония, или еще что-то, что обращается в радостный смех, так веселее вспыхивает зимой огонь от молчаливого кусочка дерева. А с наступлением утра принимаешься за дела, встаешь и сонный идешь

в сарай, будишь осла в стойле, поглаживаешь его, похлопываешь по холке и, подтолкнув вперед, выводишь на дорогу.

И вот ты идешь, вдыхаешь прохладный воздух, поглядываешь на поля и холмы, что лежат вокруг, — пейзаж, насыщенный силовыми линиями, перепадами, призывами, соблазнами, отказами, пусть ты не воспользуешься ни одним из них, пусть ни за одним не последуешь, но каждый твой шаг отмечен особым настроем. В твоем владении — целая страна, полная лесов, пустынь, садов, даже если сейчас ты о ней и думать не думаешь, но все-таки ты принадлежишь такому вот укладу, а не другому.

Но я проложил еще одну дорогу в твоем царстве, и у тебя появилась еще одна возможность смотреть и вперед, и назад, и вправо, и влево: я попросил тебя поднять глаза к небесному своду, распростертому над твоим тесным кварталом, где ты задыхаешься от недостатка воздуха, и душа твоя омылась морской синевой. Вот я медленно развернул перед тобой ковер времени, куда более пространственный, чем тот крошечный кусочек, на котором вызревает твой колосок, и ты почувствовал себя древнее на тысячу лет или, напротив, новорожденным младенцем, и это еще

одна дорога, которую я проторил для тебя, о, мой человеческий колосок под светом звезд. И если сердце твое потянется к любви, ты подойдешь к распахнутому окну, чтобы окунуться в синеву неба, и скажешь своей жене в тесном своем квартале, где задыхался от недостатка воздуха: «Вот мы с тобой одни, ты и я, под взглядами звезд». И по мере того как будет прибывать воздух, ты будешь дышать все глубже и очищаться. Станешь живым и похожим на траву, что пробилась среди каменистой пустоши и, раздвинув камни, тянется к небу, похожим на пробуждение — и, несмотря на хрупкость, на уязвимость, в тебе очнется сила, способная повлиять на ход веков. Ты станешь звеном в цепи. И если присядешь у очага соседа, чтобы послушать, как шумит мир (скорее, шуршит, потому что тебе расскажут, что делается в соседнем доме: вернулся с войны сосед и выходит замуж соседка), то окажется, что я расширил в тебе душу, и она стала чутче слышать. Свадьба, ночь, возвращение солдата, тишина, звезды сложатся для тебя в небывалую мелодию.

CCIII

Ты сказал: «Эти широкопалые жилистые руки из камня безобразны». Не согласен. Я должен увидеть статую, прежде чем судить о руках. Если это юная девушка в слезах, прав ты. Старый кузнец? Руки его прекрасны. И точно так же я не сужу того, кого не знаю. Ты говоришь: «Он низок, солгал, бросил, ограбил, предал…»

У меня есть жандармы, чтобы определить, каков поступок, у них есть книга, где все поступки разделены: этот белый, а этот черный. Но жандармы обязаны поддерживать порядок, а не судить. Точно знает капрал, что добродетель — это умение держать строй, но и капрал никому не судья. Да, мне нужны и капралы, и жандармы, но уклад для меня важнее справедливости, потому что именно он создает человека, которого будет опекать справедливость. Если я уничтожу уклад во имя справедливости, я уничтожу человека и моя справедливость лишится подопечного. Справедливым нужно быть к божествам, которым ты служишь. Но вот ты пришел ко мне и спрашиваешь, но не о наказании и не о награждении неизвестного мне человека, — тогда бы я

попросил моего жандарма перелистать его учебник, — ты спрашиваешь, презирать тебе этого человека или уважать. Мне случалось уважать того, кого я казню, и казнить того, кого уважаю. И не я ли тысячу раз вел моих солдат против моего возлюбленного врага?

Точно так же, как я знаю счастливых людей, но не знаю, что такое счастье, я не знаю, что такое воровство, убийство, развод, измена, если это не конкретный поступок конкретного человека. Но немощен ветер слов и не вмещает глубинную суть человека, как не вмещает и главного в статуе.

Да, этот человек восстановил тебя против себя, возмутил, оскорбил (возможно, подспудными импульсами, какие, бывает, таятся в музыке, и ты тогда затыкаешь уши). Свое неодобрение ты поместил в оболочку его поступка и протягиваешь мне, чтобы мы стали заодно. Так мой поэт, желая передать мне ощущение славной судьбы, клонящейся к закату, и сопутствующую закату печаль, говорит «октябрьское солнце». Хотя дело совсем не в солнце, не в этом конкретном месяце среди прочих других. И если я захочу передать тебе ощущение от моей ночной победы, когда, бесшумно подкравшись, я обратил сон недруга в

вечный, я сцеплю одно слово с другим и скажу, например, «прикосновение снежной сабли», чтобы поймать в плен ту неуловимую нежность, что сопутствовала свершившемуся, хотя дело, конечно, не в сабле и не в снеге. Вот и в человеке ты выбрал поступок, который станет для меня сродни образу в произведении.

Твоя обида должна стать когтем. Должна обрести лицо. Никому невтерпеж жить обиталищем призраков. Что нужно твоей жене сегодня вечером? Разделить свою обиду с приятельницей. Раздать эту обиду всем вокруг. Так уж мы устроены, не можем жить одни. Вооружившись своими творениями, рвемся в атаку. Твоя жена не устает пересказывать твои низости. И если приятельница ее пожмет плечами, найдя, что упреки ничего не стоят, она не успокоится. Она будет искать другие. Она просто ошиблась в повозке. Плохо подобрала картинки. Ведь обида ее не может ошибаться, она же есть.

Точно так же ты обсуждаешь с врачом свои болезни. Ты предлагаешь одну болезнь, другую. У тебя есть соображения, чем ты болен. Он доказывает тебе, что ты ошибся. Что ж, возможно. Он говорит, что ты здоров. Вот тут ты возражаешь. Ты мог плохо изобразить свою болезнь, но

подвергать сомнению то, что она существует?! Никогда! Врач — да он просто осел! И от описания к описанию ты будешь прорываться к свету определенности. И сколько бы ни отрицал, ни отбрасывал твои описания врач, он не сможет убедить тебя отбросить твою болезнь, потому что ты чувствуешь: она есть. Твоя жена будет чернить и чернить твое настоящее и твое прошлое, твои желания и твои верования. Не имеет смысла бороться против когтей. Подари ей изумрудный браслет. Или высеки ее.

Но мне жаль тебя, когда ты то ссоришься, то миришься: ты стоишь совсем не на ступеньке любви.

Любовь — это встреча в тиши. Любить — значит созерцать. Наступает час, и мой дозорный преображается в город. Приходит час, и ты получаешь от своей возлюбленной нечто, что не связано ни с этим ее движением, ни с другим, ни с этой черточкой, ни с другой, ни с этим ее словом, ни с другим, ты получаешь нечто исходящее от Нее.

Наступает час, и одного ее имени тебе достаточно, словно молитвы, к которой нечего прибавить. Приходит час, когда ты ничего не просишь. Ни губ, ни улыбки, ни ласковых рук, ни ощущения ее присутствия. Тебе достаточно, что Она *есть*.

Наступает час, и тебе не нужно спрашивать себя, задумываться, стараясь понять это ее движение, слово, решение, отказ, молчание. Ибо Она *есть*.

Но вот жена требует, чтоб ты оправдался. Она устроила суд над твоими поступками. Она спутала любовь и собственность. Зачем отвечать? Чем поможет тебе судебное решение? Тебе нужно, чтобы приняли тебя молчаливо, не благодаря этому движению и не другому, не за эту добродетель и не за другую, не за это слово и не за другое, но во всей твоей недостаточности, таким, каков ты есть.

CCIV

Мне пришлось раскаяться, что я тратил себя без меры, сочтя таланты, дарованные мне свыше, самоценными, тогда как они всего лишь предуказание пути, и вот оказался пустым в пустоте. Меру я принял за скаредность сердца и тела и не желал ее знать. Я поджигал лес, чтобы на час согреться, ибо пожар полыхал так царственно. Я скакал галопом, слышал свист над ухом и не хотел беречь свои дни. Весь целиком принадлежал каждой из минут своей жизни, но плод рождается только тогда, когда не пропущена ни одна минута.

Я посмеялся над книжным червем, он отказался выйти на крепостную стену, когда город его осадили, из презрения, как он выразился, к физиологическому мужеству. Мне было смешно, он говорил так, будто считал себя чем-то вечным, а не преходящим. Будто есть цель, а не цепь перемен — свидетельство текущей жизни.

Презирал я и низменность аппетита, жизнь ради пищеварения, какой живут в своих домах обыватели. Обывателей я заставлял служить сиянию своего клинка, а своим клинком служил незыблемости царства.

В сражениях я рубился отчаянно, безудержно, не слушаясь усталости, скулежа страха, но мне совсем не по нравится, если историографы моего царства представят меня ветряной мельницей с саблей, — никогда я не был только клинком. И если я обходил стороной брезгливцев, что едят, зажав нос, будто глотают микстуру, мне не понравится, если историографы моего царства изобразят меня всеядным обжорой, — никогда я не был только желудком. Я — дерево, у меня мощные корни, я не пренебрегаю ничем из того, что может послужить мне на пользу. Все мне в помощь, все выше я тяну мои ветки.

Но я понял, что был не прав в своем отношении к женщинам.

Пришла ночь моего раскаяния, и я понял, что не умел обходиться с ними. Я походил на грабителя: ничего не смысля в священнодействии игры, он с жадной торопливостью сгребает шахматные фигурки и, соскучившись глядеть на беспорядок, отшвыривает их прочь.

В ночь моего раскаяния, Господи, я поднялся с постели в гневе, я понял, что был волом у кормушки. Но разве я бабник, Господи?!

Одно дело самому вскарабкаться на гору, другое — странствовать по горам в паланкине, выбирая

самый красивый из пейзажей. Вот обозначились очертания голубой равнины, и тебе уже стало скучно, и ты приказываешь нести тебя дальше.

Я искал в женщине подарка, которым она мне может стать. Я хотел эту, потому что она напоминала мне серебристый колокольчик, по которому я тосковал. Но что делать с колокольчиком, что одинаково звенит день и ночь? Ты отправляешь колокольчик в кладовку, он тебе больше не нужен. Другую я пожелал за трепетность, с какой она говорила: «Ты господин мой», — но слова быстро прискучивают, и хочется иной песни.

Перед тобой череда, десятки тысяч женщин, но ты быстро истратишь особую черточку каждой, и тебе их будет мало, и ты снова почувствуешь голод, ибо сам ты изменчив, меняешься от весны к осени, от утра к вечеру и от перемены ветра.

Но разве не знал я, что не исчерпать души человеческой, сколько из нее ни черпай, что в таинственных глубинах каждого дремлет невиданный пейзаж с нетронутыми лугами, тихими заводями, островерхими горами, потаенными вертоградами, что о каждом повороте его и изгибе мы можем, не уставая, проговорить всю жизнь, и я удивлялся, Господи, скудости запаса, с которым приходила ко мне и та, и другая женщина, мне

едва хватало ее запаса на ужин.

Я не считал их, Господи, пахотной землей, где я должен трудиться круглый год с зари до зари, обувшись в тяжелые башмаки, взяв плуг, лошадь, борону и лукошко с зернами, помня о сорняках и вооружившись верностью, чтобы получить от них то, что будет служить мне, — нет, я низвел их на роль кукол, которых выставляют старейшины захудалых деревушек, чтобы встречать тебя, именитого гостя, когда ты объезжаешь свое царство, — ясноглазая куколка читает приветственный стишок и преподносит в корзинке местные яблоки. Подарок тебе, разумеется, приятен, потому что хороши свежие улыбающиеся губки, певучи движения рук, протягивающих яблоки, простодушны слова и голосок, но ты вмиг исчерпаешь эти дары, выскребешь до дна мед, потрепав румяную, свежую щечку, усладившись бархатом застенчивости. Но и эта куколка — пахотная земля, раскинувшаяся до неведомых горизонтов, где ты, возможно, потерялся бы на всю жизнь, если б знал, как до нее добраться.

Но я хотел собирать от улья к улью готовый мед, я не искал необозримого пространства, которому поначалу нечего тебе предложить, которое требует от тебя одного: идти и идти, ибо долго

нужно следовать молча за хозяином владений, если хочешь сродниться с ними.

У меня был друг, единственный подлинный геометр, он был мне учителем, к нему приходил я со своими неразрешимыми противоречиями не для того, чтобы он разрешил их, — для того, чтобы взглянул, и от одного его взгляда они смотрелись по-другому — потому что и он был другим, чем я. Он слышал другие звуки, видел другое солнце, по-другому чувствовал вкус пищи; из подвластной ему вещественности он извлекал такой вот плод, а не иной, не расчетами, не взвешиванием — присущей ему особенностью движений, заданным в нем направлением в пространстве, — я ощущал в нем пространство, искал его, как ищут морской ветер или одиночество. Но что получил бы я от него, если бы стремился не к человеку, а к готовому запасу, не к дереву, а к плодам, думая насытить душу и сердце геометрическими выкладками?

Господи! Ту, что я ввожу в свой дом, ты дал мне как землю для возделывания, дал, чтобы я шел с ней рядом и открывал ее.

— Господи, — сказал я, — только для того, кто вскапывает свою землю, сажает оливы, сеет ячмень, наступает час преображения, которого не

дождаться, если ходишь за хлебом в лавочку. Приходит час, и ты празднуешь собранный урожай. Торжество наполненных закромов, когда ты толкаешь тихонько скрипучую дверь к запасам солнца. Ибо настал час, и ты убрал в амбар силу, что воспламенит твои черные квадраты земли, убрал холм семян, окруженный еще ореолом золотой пыли, будто славой, что не успела смолкнуть.

— Ах, Господи, — сказал я, — я ошибся дорогой, я блуждал среди женщин, словно шатун-бродяга.

Мучился возле них, словно в бескрайней пустыне, ища оазис, который был не любовью, который был вне любви.

Я искал скрытое в них сокровище, будто вещь среди прочих вещей. Прислушивался к их короткому, будто у гребцов, дыханию. Я стоял на месте и не двигался. Глазами я оценивал их совершенство и пытался утолить жажду красотой тонких щиколоток и округлых локтей. Во мне жила тоска, она направляла меня. Меня томили жаждой, обещая исцеление. Но я ошибся дорогой: смотрел Твоей истине в лицо и не узнавал ее.

Я походил на безумца, что крадется ночью к развалинам, прихватив долото и заступ. Он простукивает стены, выворачивает камни, при-

кладывает ухо к тяжелым плитам. Он дрожит, охваченный болезненной лихорадкой, но он ошибся, о, Господи, ища сокровище, как готовый запас, что положили век назад в потайную нишу, будто жемчужину в раковину; старик так ищет юность, скупец — богатство, влюбленный — залог любви, гордец — залог гордыни, честолюбец — славы, и все они — праха и суеты сует, ибо не рождается плод без дерева, не рождается радость без трудного труда созидания. Бесполезно искать среди камней камень, который стал бы тебе дороже других. Из чрева руин не извлечешь ни славы, ни богатства, ни любви.

Как безумец, что бесплодно копает землю ночь за ночью, ничего не обрел и я в своем сластолюбии, ином, чем сластолюбие скряги, но столь же тщетном. Опять и опять я оставался с самим собой. Мне тоскливо с самим собой, Господи, и наслаждения мои омрачают и утомляют меня.

Я хочу творить священнодействие любви, праздник ее приведет меня на иную ступень. Ибо все, чего я ищу и жду, чего ищут все на свете люди, — не на ступени вещного, которое у них под руками. Вне священнодействия ты начинаешь ждать от камней того, что они дать не могут, хотя ты можешь из этих камней построить часовню;

радость не в том, чтобы среди камней отыскать нужный камень, радость в священнодействии, благодаря которому камни преобразятся в храм. Вот и женщина только хаос, если я не провижу сквозь нее иное.

Господи! Я смотрю на свою жену, обнаженную, спящую, красивую, тонкую в щиколотках, с теплой нежной грудью, так почему же мне не решить, что она послана мне в подарок?

Но я понял Твою истину. Та, что спит, та, что вскоре я разбужу, едва дотронувшись упавшей от меня тенью, не должна быть стеной, о которую я буду биться, — дверью, ведущей в иное; я не должен расточить ее на хаос черт, черточек, хорошее, дурное, ища немыслимое сокровище, я должен трудиться над ее целостностью, над прочностью связующих нитей в молчании моей любви.

Что сможет тогда огорчить меня? Огорчается красавица, получив в подарок украшение: изумруд куда красивее, чем полученный опал, бриллиант красивее изумруда, бриллиант короля — самый прекрасный на свете. Но я сам должен одарить совершенством любимую, пусть даже она далека от совершенства. Ибо я не живу вещами, я живу смыслом вещей.

Грубое кольцо, увядшая роза в полотняном

мешочке, кувшин, может быть латунный, для чаепития перед часом любви, — как заменишь их, если они — часть священнодействия? Совершенно только божество, и если грубый кусок дерева причастен служению божеству, то и он приобщен к совершенству.

И в точности то же самое я могу сказать и о спящей моей жене. Вот я оценил все ее достоинства, устал и отправился искать другую. Есть другие — красивее, или у них куда лучше характер, или голос звенит, как колокольчик, по которому я тоскую, а вот эта так трогательно произносит: «Ты мой господин…» — в ее устах слова эти звучат музыкой для души и сердца…

Но спите спокойно, несмотря на все свое несовершенство, несовершенные жены. Я не хочу биться о стенку. Вы не цель, не подарок, не драгоценность, значимая сама по себе, которой я, налюбовавшись, вскоре наскучу, вы — путь, кладь, повозка. И я не устану сбываться.

CCV

Я понял, что такое праздник. Он миг перехода с одной ступени на другую после долгого священнодействия, подготовившего твое перерождение. Священнодействия, например, строительства корабля. На протяжении долгих дней он — дом, который строится из гвоздей и досок, но однажды в пене белоснежных парусов он преобразится в невесту моря. Ты обручишь их. Это и есть праздник. Но ты не можешь вечно спускать корабль на воду.

А твой ребенок? И день его рождения? Какой это важный праздник. Но ты же не можешь каждый день хлопать в ладоши, оттого что он родился. Ты дождешься преображения, и оно наступит, когда плод твоего дерева станет корнем и продолжит твой род, и это будет праздник. Праздник и собранная жатва. Праздник закромов. Праздник семян. Но потом приходит праздник весны, когда твои семена превращаются в нежные ростки, в зелень, похожую на прохладное озеро. И снова ты ждешь, и опять наступает праздник жатвы, а потом опять праздник закромов. И так без конца, от праздника к празднику, до самой смерти,

потому что нет наготовленного запаса. Но всегда есть то, что приводит тебя к празднику, а потом ты идешь дальше. Других праздников я не знаю. Ты шел долго-долго. Дверь открылась. Это и есть праздник. Но в комнате, куда ты вошел, ты не проживешь дольше, чем в другой. И я очень хочу, чтобы ты радовался, переступая через порог, что ведет куда-то, чтобы сохранял свою радость до того мига, когда высвободишься из кокона. Ты — едва теплящийся очаг, не каждый час посещает озарение дозорного. Озарение я приберегаю для дня, когда слава трубит в трубы и бьет в барабаны. С помощью праздников обновляется в тебе вещество, возбуждающее желание. Но и сон тебе тоже нужен.

А я? Я не спеша иду по моему дворцу, медленно переступая с золотой плитки на черную. В полдень мой дворец прохладнее озера из-за скопленной в нем прохлады. Зыбь моих шагов, я — пловец, неутомимо плывущий туда, куда плыву. Моя родина не здесь.

Медленно проплывают мимо меня стены приемной, и, если я подниму глаза к своду потолка, мне покажется, будто он тихо покачивается, будто надо мною мост. Шаг на золотую плитку, шаг на черную, я тружусь не спеша, будто колодезник,

что, копая колодец, вытаскивает землю. Сильными руками помогает он натянутой веревке. Я знаю, куда я иду, моя родина уже не здесь.

Из одной залы в другую продолжаю я свое странствие. Стены в них вот такие. И украшены вот таким орнаментом. Я огибаю серебряный столик с шандалами. Касаюсь рукой мраморной колонны. Она холодная. Всегда. Но вот я вхожу в жилые покои. Самые разные звуки доносятся до меня, будто сквозь сон, ибо я уже не принадлежу этой родине.

И все же домашняя суета мне сладка. Доверчивое биение сердца всегда трогает. Нет ничего, что уснуло бы до конца. Собака спит и взлаивает во сне, она перебирает лапами, что-то вспомнив. Так же спит мой дворец, убаюканный полднем. Хлопнула где-то дверь в тиши. Я вспомнил о трудах служанок и женщин. Наверняка это в их покоях. Они уложили свежее белье в корзины. И теперь, держась вдвоем за корзину, несут его. Укладывают в высокий шкаф, запирают. Какое-то дело сделалось там, за хлопнувшей дверью. Почтили какую-то обязанность. Что-то завершено. Теперь, наверное, и там заслужен отдых. Впрочем, что я знаю об этом? Моя родина уже не здесь.

Из коридора в коридор, золотая плитка, черная

плитка, огибаю я царство кухонь. Слышу тонкий звон фарфора. Звон серебряных кувшинов, он мне небезразличен. Тихий скрип двери где-то в глубине. Тишина. Потом торопливые шаги. Что-то забытое потребовало от тебя немедленного присутствия — вскипающее молоко, а может, ребенок, что вскрикнул, а может, желание помириться после короткой ссоры. Или что-то заело в насосе, в валу, в мельнице, что мелет муку. И вот ты бежишь, чтобы длилась и длилась смиренная молитва…

Шаги смолкли, молоко спасено, ребенок успокоен, насос, вал, мельница вновь бормочут под нос молитву. Опасность отражена. Рана вылечена. Забывчивость исправлена. Какая? Откуда мне знать? Моя родина уже не здесь.

Вот я попал в обиталище запахов. Мой дворец похож на обширный подвал, что не спеша копит мед своих плодов, аромат вин. Я плыву будто между застывших колоний, провинций. Здесь у нас спелая айва. Я закрываю глаза и погружаюсь в ее запах. Дальше сандал сундуков. А тут просто свежевымытые плитки. Каждый запах на протяжении поколений создавал собственное царство, узнать его может и слепой. Наверное, и мой отец владел теми же царствами. Но я иду и не думаю о

них. Мое царство уже не здесь.

Раб, согласно священнодействию встречи, вжимается при моем приближении в стену. И я милостиво спрашиваю: «Покажи, что у тебя в корзине», — ибо и он должен чувствовать важность своего места в мире. Треугольник шоколадных рук снимает с головы корзину. Опустив глаза, он воздает мне честь финиками, фигами, мандаринами. Я вдыхаю аромат. Потом улыбаюсь. Ширится и его улыбка, и он смотрит мне прямо в глаза вопреки ритуалу встречи. Треугольник шоколадных рук вновь ставит на голову корзину, а он смотрит и смотрит мне прямо в глаза. «Что горит в этой озаренной светом лампе? — думаю я. — Как пожар, разгораются и бунт, и любовь. Какой из этих огней затаился в глубинах моего дворца? За его стенами?» Я смотрю на своего раба, его все еще носит по волнам бушующего моря. «Да-а, — думаю я, — велика загадка человека!» И продолжаю свой путь, не разрешив загадки, ибо родина моя уже не здесь.

Я прошел покои, где отдыхают. Прошел зал совета, где шаги мои умножало эхо. Медленным шагом, ступенька за ступенькой, спустился в последнюю приемную. Когда я, не торопясь, шел по ней, я услышал глухой шум и звяканье сабель.

Я улыбнулся, преисполнившись снисхождения: дозорные мои, без сомнения, спали, в полдень мой дворец, будто улей, наполненный сном: все замерло в нем, и сон его не тревожит и капризница, что не желает заснуть, не тревожит забывчивая, что бежит поправить оплошность, не тревожит недовольный брюзга, что не устает поучать, поправлять и что-то ломать в этом доме. В стаде коз всегда есть одна, что не устает блеять, из уснувшего города всегда несется неведомый зов, на самом тихом из кладбищ всегда есть ночной бродяга. Медленным шагом продолжал я свой путь, склонив голову, чтобы не видеть моих дозорных, наскоро приводящих себя в порядок, ибо что мне до них? Моя родина уже не здесь.

Вот они привели себя в порядок, выпрямились, поклонились, подошли ко мне с опахалом, а я прикрыл глаза и замер на миг у порога: так ослепительно и жестоко сияло солнце. Здесь начинаются поля. Круглые холмы, что греют на своих спинах мои виноградники. Нарезанные полоски моих полей. Меловой запах земли. Здесь совсем иные мелодии: гуденье пчел, стрекотанье цикад, кузнечиков. Из одного мира я перешел в другой. Ибо захотел вкусить от полдня царства. Ибо только что родился на свет.

CCVI

Когда-то я навещал своего друга — единственного подлинного геометра.

Как трогало меня тщание, с каким он разжигал огонь в очаге, насыпал чай в чайник, прислушивался к пению воды в нем, пробовал на вкус первый глоток… Как терпеливо ждал, ибо чай не спешит отдавать свой аромат. Мне нравилось, что, ожидая чая, он был занят чаем, а не задачами по геометрии.

— Ты из знающих, но не пренебрегаешь ничтожными делами дня…

Геометр не отвечал мне. Но когда наконец нашел, что чай готов, с удовлетворением наполнил наши пиалы и сказал:

— Из знающих… Что это значит? Неужели гитарист не пьет чаю, потому что знает, как сочетаются ноты? Я знаю кое-что о сочетании линий в треугольнике. Почему же мне не должно нравиться пение воды и священнодействие чаепития, воздающее честь моему другу королю?

Он помолчал, подумал.

— Что я знаю?.. Треугольники мало что открыли мне в удовольствии пить чай. Зато наслаждение

чаем немало открыло мне в треугольниках…

— Что ты такое говоришь, геометр?!

— Если я люблю, мне хочется описать свою любовь. Я говорю о волосах, ресницах, губах моей возлюбленной, о ее движениях, что кажутся музыкой моему сердцу. Но как говорить о движениях, губах, ресницах, волосах, если не видеть перед собой лица возлюбленной? Я объясняю, отчего так сладостна ее улыбка. Но сначала она улыбнулась…

Я не стану переворачивать груду камней, чтобы отыскать среди них секрет молитвенного созерцания. На ступеньке, где живут камни, молитва — пустой звук. Не стану размышлять и о добродетели, изучая каменную кладку.

Не стану искать в солях земли объяснения, что такое апельсиновое дерево. Ибо апельсиновое дерево — пустой звук для солей земли. Но, глядя, как растет дерево, с его помощью я объясню, как поднимаются вверх из земли соли.

Сначала я должен полюбить. Охватить цельность. Потом я пойму и ту вещественность, из которой она состоит, пойму, каким образом она сложилась. Но откуда взяться вещественности, если нет во мне того, что ее превосходит и к чему я устремлен. Поначалу я разглядываю треуголь-

ник. Потом ищу в треугольнике необходимость, которая подчинила себе его линии. Ты тоже сначала полюбил некий образ человека с таким вот внутренним усердием. Исходя из своей любви, ты и создаешь особый уклад, заботясь, чтобы усердие было поймано им, как добыча в ловушку, чтобы оно не скудело в царстве. Какому ваятелю интересны сами по себе нос, глаз или борода? Какой обряд ты сделаешь обязательным ради самого обряда? Что я выведу из линий, если они не составили треугольник?

Прежде всего я подчиняюсь созерцанию. И если могу, потом рассказываю о постигнутом. Я никогда не отказывался любить, отказ от любви — глупая претензия гордыни. Я восхищался и той, и этой, хотя они ничего не смыслили в треугольниках. Но они куда больше моего смыслили в улыбках. Ты видел улыбки?

— Конечно, видел, геометр…

— Одним движением лица, ресниц, губ, что до этого ничего не значили, она создала шедевр, который невозможно повторить. Глядя на ее улыбку, ты постигаешь покой вещей, вечность любви. И тут же она разрушает свой шедевр и другим неуловимым движением погружает в иную стихию, тебе кажется, что полыхает пожар,

хочется вынести ее из огня, ты уже ее спаситель, — так много в ней вдруг тревоги, смятения. Оттого, что ее творения исчезают бесследно, оттого, что ими невозможно обогатить музеи, должен ли я пренебрегать ими? Я сумею объяснить, как построен этот храм, но она мне поможет выстроить другие…

— Что же она открыла тебе в соотношении линий?

— Важны не линии, важны связующие нити, их я и должен прежде всего научиться нащупывать. Я стар, я видел многое. Видел, как те, кого я любил, умирали, видел, как выздоравливали. Приходит вечер, и твоя любимая, склонив голову к плечу, отводит чашку с молоком, будто новорожденный, что отворачивается от груди, потому что уже расстался с миром и молоко ему кажется горьким. Она виновато улыбается, потому что делает тебе больно, не нуждаясь больше в твоей пище. Ты ей больше не нужен. И ты отходишь к окну, пряча слезы. А за окном — просторы полей. И, будто пуповину, ты чувствуешь свою связь с этой весомой вещественностью. Ячменные поля, пшеничные, цветущие апельсины — все они готовятся питать твое тело; трудится и солнце, что с начала веков вертело, будто мельница, воду. Ты слы-

шишь скрип повозок на строительстве акведука, благодаря которому город утолит свою жажду, строят новый вместо старого, старый износило время. Ты услышишь скрип двуколки и цоканье ослика, нагруженного мешками. Ты ощутишь ток жизни, что питает собой все вокруг и все длит во времени. Потом медленно вернешься к кровати. Оботрешь блестящее от пота лицо любимой. Она здесь еще, возле тебя, но так отвлечена смертью. Поля не поют ей песни строящегося акведука, двуколки, копытцев ослика. Запах цветущих апельсинов ей не нужен, и твоя любовь тоже.

И вдруг я вспомнил двух друзей, они были не разлей вода.

Бывало, один приходил к другому ночью, соскучившись без его шуток, нуждаясь в совете или просто повидать. И если один уезжал куда-то, другой тосковал. Досадное недоразумение развело их. Они стали делать вид, что не видят друг друга, когда случай сводил их вместе. Удивительнее всего было то, что они ни о чем не сожалели. Сожаление о любви — уже любовь. То, что они получали друг от друга, им не получить нигде в мире. Ибо каждый шутит, советует и просто дышит по-своему, не так, как кто-то другой. Теперь они стали калеками, уменьшились, но не

замечали этого. Напротив, преисполнившись гордостью, они считали, что обогатились свободным временем. Вон они прогуливаются вдоль лавчонок каждый сам по себе. Они больше не теряют времени даром из-за друга. Они не хотят потратить себя на малейшее усилие, которое вернет их к житнице, что насыщала их пищей. Та часть, что питалась этой пищей, мертва, и как ей потребовать чего-то, если ее больше нет?

Но ты, ты приходишь как садовник. Ты видишь, чего не хватает дереву. Не с точки зрения дерева, — с его точки зрения, ему всего хватает: оно совершенно. Но с твоей, с точки зрения бога деревьев, который срезает ветки там, где необходимо. И ты связываешь разорвавшуюся нить, приживляешь пуповину. Ты миришь врагов. И вот они вновь пылают взаимным усердием.

И для меня настало утро примирения, прохладное утро, когда моя любимая попросила козьего молока и свежего хлеба. И вот я наклонился к ней и, одной рукой поддерживая голову, поднес другой к бескровным губам чашку с молоком. Я смотрел, как она пьет. Я — путь, кладь, повозка. Мне не казалось, что я кормлю ее или исцеляю, — нет, я словно бы пришивал на живую нитку ее к тому, чем она была, — к полям, колосящимся

хлебам, к родникам, к солнцу. Теперь и для нее солнечная мельница поворачивала журчащую воду. Теперь немного и для нее строился акведук. Для нее теперь заскрипела двуколка. А поскольку этим утром она стала ребенком, не желающим глубин мудрости, а лишь домашних новостей, игрушек, друзей, я сказал ей: «Послушай…» И она узнала копытца ослика. Она засмеялась, и ко мне повернулись лучи ее солнца, ибо ей захотелось любви.

Я — геометр, теперь я старик, но геометром я был и в школе, ибо есть на свете только те связи, о которых ты думал, которые постиг. И потом говоришь: «Вот и здесь точно так же…» И решаешь задачу. Я разбудил в человеке жажду дружбы и вылечил его. Я вернул любимой жажду молока и любви. Я сказал: «И тут точно так же…» И вылечил ее. Я постарался сделать понятным, что падающий камень и звезды — одно и то же, больше я ничего не сделал. Постарался прояснить соотношение линий и сказал: «В треугольнике это так, и тут то же самое…» От решения одних задач к решению других я иду к Господу, который решает все задачи.

Я шел не спеша, возвращаясь от моего друга, я больше не сердился, не гневался — гора, на

которую я поднялся, позволила мне увидеть подлинный мир, подлинный покой, не требующий соглашательства, отказов, ущемлений, дележки. Я вижу — то, что считается неразрешимым противоречием, лишь необходимое условие для перехода на другую ступеньку. В принуждении для меня — залог свободы, в обуздывании любви — залог любви, в моем возлюбленном враге — залог существования подлинного меня, ибо форму кораблю придает только море.

От замиренного врага к замиренному врагу — и от нового врага к следующему, иду я вверх, в гору, к Господу, к Его тишине, и знаю: не забота моря быть ласковым к кораблю, иначе не будет моря, а корабль станет плотиком для прачек; знаю, что важно только одно: не сгибаться и не мириться ради подделки под любовь, проживая эту беспощадную войну, которая и есть залог мира, оставлять по пути мертвых, которые и есть залог жизни живых, принимать лишения, которые и есть залог праздника, терпеть боль лопающегося кокона, которая и есть залог появления крыльев. Ибо случилось так, Господи, что Ты поместил свой узел много выше моего роста и по Твоей воле я не знаю ни мира, ни любви вне Тебя, ибо только в Тебе примиримся мы с возлюбленным

моим врагом, что правил на востоке от меня, примиримся, потому что достигнем завершения; ибо только в Тебе примирюсь я с тем, кого я казнил, внутренне почитая, примирюсь, потому что мы достигнем завершения, ибо только в Тебе, Господи, сливаются воедино и не кажутся противоположностью друг другу любовь и бичи, что подстегивают любовь.

CCVII

Да, конечно: иерархия, что сковывает тебя и мешает двигаться, несправедлива. Но если ты будешь бороться против этой несправедливости, разрушая одну ступень за другой, растечется большая лужа там, где когда-то сиял ледник.

Ты желаешь видеть людей похожими друг на друга и путаешь равенство с одинаковостью. А я вижу их равенство в равной преданности царству, а не в их похожести.

Возьми игру в шахматы: в ней есть победитель и побежденный. Случается, что победитель нацепляет насмешливую улыбку, чтобы унизить побежденного. Что делать, таковы люди. Но приходишь ты со своей справедливостью и запрещаешь побеждать в шахматной игре. Ты говоришь: «Какова заслуга победителя? Он сообразительнее или искуснее в умении игры. Его победа — только знак того, что он таков. Стоит ли кого-то прославлять за то, что он более краснощек, более гибок, более волосат, менее лохмат?..»

Но я видел побежденных, которые день за днем, год за годом упражнялись в игре в шахматы, надеясь на торжество победы. Так ты становился

богаче оттого, что существует победа, пусть даже ты никогда не окажешься победителем. Победа подобна лежащей в море жемчужине.

Не ошибись насчет зависти, и она — силовая линия. Этот камешек я сделал высшей наградой. Награжденный уходит, красуясь, неся на груди подаренный мной камешек. Ты завидуешь награде. Ты приходишь со своей справедливостью, которая есть не что иное, как стремление уравнять. И решаешь: «Пусть все носят камешки на груди». Кто, спрашивается теперь, захочет так себя разукрасить? Ты живешь не ради камешка, а ради того, что он обозначает награду.

«Ну и пусть, — скажешь ты. — Зато я уменьшил человеческое страдание. Я излечил их от зависти к камешку, получить который многие и мечтать не могли».

Ты судишь, считая главной зависть, она болезненна. И стало быть, предмет зависти — зло. Ты уничтожаешь все, что может стать предметом завистливого ожидания. Ребенок тянется к звезде и с криком требует дать ее. Твоя справедливость вменит тебе в долг погасить звезду.

То же и с драгоценными камнями. Ты помещаешь их в музей. Ты говоришь: «Они принадлежат всем». И разумеется, твой народ пройдется вдоль

витрин в дождливый день. И позевает над коллекцией изумрудов, которая отныне — не часть священнодействия, преисполнявшего каждый изумруд особым смыслом. Чем, собственно, теперь твои изумруды отличаются от бутылочного стекла?

Все камни, вплоть до бриллианта, ты избавил от присущих им особенностей. Они могли бы служить тебе, но ты обрезал у них ореол сияния, потому что он возбуждал желание и зависть. То же произойдет и с женщинами, если ты постараешься их обезопасить. Как бы ни были они красивы, они превратятся в восковых кукол. Я ни разу не видел, чтобы умирали ради картинки в журнале, ради барельефа на саркофаге, который дожил до нас, как бы прекрасен он ни был. От него исходит прелесть прошлого или его печаль, но он не уязвляет жестокостью желания.

Изменится и твой бриллиант, если им невозможно завладеть. Именно этой возможностью он и сиял так ярко. Своим блеском он тебя славил, воздавал тебе почести, возвышал. Но ты превратил его в оформление витрины. И теперь он славит витрину. Никому не хочется быть витриной, не хочется завладеть и бриллиантом.

И если теперь ты сожжешь один из них в день

торжества, чтобы великолепной жертвой облагородить праздник, сделать его сияние ярче для души и сердца, ты не сожжешь ровным счетом ничего. Не ты принесешь в жертву бриллиант. Его подарит витрина. Что толку от витрин? Ты не можешь вести с бриллиантом никакой игры, потому что его нельзя ни на что употребить. Вот ты обрек алмаз на смерть в ночи под сводами храма, ты посвятил его богам, но ты ничего не дал им. Твой храм — тот же склад, чуть более стыдливый, чем витрина, которая тоже обретает стыдливость, как только солнце пригласит твоих горожан пройтись по городу. Твой алмаз потерял ценность дара, потому что перестал быть тем, чем возможно одарить. Он — вещь, предмет с инвентарным номером, его можно убрать на склад. На тот или на другой. Его размагнитили. Он лишился своих божественных силовых линий. Что ты выиграл?

А я? Я запретил одеваться в красное всем, кроме потомков пророка. Чем особенным я ущемил других? Никто и не одевался в красное. Оно не имело ни малейшей цены. Но теперь все стали мечтать о нем. Я создал могущество красного цвета, и ты стал богаче оттого, что оно появилось, пусть даже не для тебя. Твоя зависть — проявление новой

силовой линии.

Но тебе царство кажется совершенным, если утомленный путник умрет посреди города от голода и от жажды, потому что не сможет понять, куда ему лучше пойти: направо или налево, вперед или назад. Ничто не отдаст ему приказа, и он ничему не захочет подчиниться. Ему не захочется алмаза, который недоступен, не захочется камешка на груди, красного одеяния. Ты увидишь, как он зевает в лавочке с материями, дожидаясь, пока я придам им цену, проторив пути для его желаний. Оттого что я запретил красный цвет, он косится на фиолетовый… или, поскольку он строптив, свободолюбив, пренебрегает почестями, презирает предрассудки, поскольку он плюет на смысл моих цветов как на полный произвол, он заставляет перевернуть все полки в магазине, заглянуть на склад, чтобы найти для себя цвет, который будет полной противоположностью красному, и находит ядовито-зеленый, но и им недоволен, потому что не так уж он ядовит. И вот ты видишь, как горделиво он шествует по городу в своем ядовито-зеленом плаще, попирая твою иерархию цветов.

И все-таки я занял его на целый день. А иначе он в красном платье зевал бы в музее, потому что

на улице дождь.

— Я, — говорил отец, — созидаю праздник. Не собственно праздник, а такую связующую нить, такую силовую линию, я уже слышу смех моих строптивцев, они готовят свой праздник вопреки моему. Но это все та же связующая нить. И они укрепляют ее и делят. Им на радость я продержу их несколько дней в тюрьме, потому что они всерьез относятся к своему священнодействию. И я к своему тоже.

CCVIII

И опять начинался день. Я стоял посреди него, словно моряк, сложив руки на груди, вдыхая запах моря. Море, которое бороздить мне, это море, а не другое. Я стоял, будто скульптор перед глиной. Этой глиной, а не другой. Так стоял я на своей горе и так молился Господу:

— Господи, над моим царством занимается день. Утро это свободно и готово для игры, словно эолова арфа. Гос поди! Таким, а не иным рождается на рассвете удел городов, пальмовых рощ, возделанных полей и апельсиновых деревьев. Вот справа от меня морской залив с кораблями. Вот слева от меня голубеет гора, чьи склоны благословлены тонкорунными овцами, гора, что нижними своими камнями вцепилась в пустыню. А вдали пурпуровые пески, где цветет одно только солнце.

Такое лицо у моего царства, а не другое. В моей власти повернуть немного русло рек, чтобы оросить пески, но не сейчас. В моей власти заложить здесь новый город, но не сейчас. В моей власти одним дуновением ветра на семена высвободить лес торжествующих кедров, но не сейчас. Сейчас

я взволнован отошедшим прошлым, оно такое, а не иное. И эта арфа готова заиграть.

На что мне жаловаться, Господи, оглядывая с патриаршей мудростью мое царство, где все разложено по местам, будто румяные фрукты в корзинке? Из-за чего гневаться, горевать, ненавидеть, жаждать мести? Вот уток для моего полотна. Вот поле для моей пахоты. Вот арфа для моей песни.

Когда идет хозяин своего царства на заре по своей земле, ты видишь: он отшвырнул с дороги камень, обломил колючку. Его не возмущают ни колючка, ни камень. Он украшает свою землю и чувствует только любовь.

Когда женщина распахивает поутру дверь своего дома и выметает мусор, она не возмущается пылью. Она украшает свой дом и чувствует только любовь.

Жаловаться ли мне, что гора стоит у этой границы, а не у другой? Здесь, будто играя в лапту, отражает она наскоки кочевников из пустыни. И это хорошо. А там — дальше, где царство мое не защищено, я воздвигну свои крепости.

Из-за чего жаловаться мне на людей? С этой зарей я получил их такими, каковы они есть. Да, есть среди них задумавшие преступление,

вынашивающие измену, оттачивающие ложь, но есть и другие, тратящие себя на труды, сострадание, справедливость. И конечно же я, украшая мою землю, отброшу и камень, и колючку, но без ненависти и к тому, и к другой, чувствуя только одно — любовь.

Я обрел мир, Господи, молясь Тебе. Я побывал у Тебя и вернулся. Я чувствую себя садовником, что медленными шагами идет к своим деревьям.

Да, все бывало в моей жизни: я и гневался, и горевал, и ненавидел, и жаждал мести. В сумерках проигранных битв или бунтов, всякий раз, когда я чувствовал свое бессилие и был словно заперт в самом себе из-за невозможности действовать по своей воле, глядя на мое беспорядочное войско, которое больше не слышало моего слова, на мятежных генералов, что находили себе новых властителей, на безумных пророков, что слепой рукой тащили за собой гроздья уверовавших, я испытывал искушение гневом.

А ты? Неужели ты хочешь исправить прошлое? С опозданием изобретаешь счастливое решение? Мечтаешь отыскать дорогу, которая спасла бы тебя? Но время ушло, не порть то, что зовется мечтой. Конечно, он был, этот генерал, который, согласно своим расчетам, посоветовал тебе ата-

ковать с запада. И теперь ты перекраиваешь историю. Убираешь советчика. Атакуешь с севера. Так, тяжело дыша, ищут тропу среди горных скал. «Ах, — вздыхаешь ты в обнимку со своей мечтой-недотепой, — если бы этот не сделал, тот не сказал, третий не спал, четвертый не верил или отказался верить, если бы этот был, а этого не было, то я бы победил!»

Но все они вместе смеются над тобой, потому что стереть их уже невозможно, как невозможно упреком смыть пятно крови. И тогда тебе хочется отдать их на растерзание палачу, чтобы все-таки избавиться от них. Но хоть размели их в муку на всех мельницах царства, ты не уничтожишь их, они все равно есть.

Ты слаб и вдобавок низок, если бегаешь по своей жизни в поисках виноватых и, надругавшись над тем, что зовут мечтой, выдумываешь по-иному сбывшееся прошлое. От чистки к чистке ты отдашь весь свой народ могильщику.

Вполне возможно, что этот способствовал поражению, но почему его не осилили те, что способствовали победе? Потому что их не поддерживал народ? А почему народ предпочел дурных пастухов? Потому что они лгали? Но лгут везде и всегда, потому что всегда выговаривается и ложь,

и правда. Потому что они платили? Но платят всегда, и всегда есть подкупленные.

Если в соседнем царстве все благополучны, то что им мои подкупы? Болезнь, которую я им предлагаю, не для них. Но те, что живут в другом царстве, изношены сердцем, и болезнь, которую я им предлагаю, войдет к ним через того или через этого — того, кто соблазнится первым. Передаваясь от одного к другому, она заразит все царство, потому что моя болезнь была как раз по ним. Заболевшие первыми — в ответе ли они за порчу царства? Я не хочу сказать, что и в самом здоровом царстве нет покрытых язвами. Они есть, но они — что-то вроде напоминания о грядущем часе упадка. Только в этот час распространится болезнь, и не с их помощью. Она найдет себе других. Если болезнь, лоза за лозой, отравляет виноградник, я не виню первую лозу. Даже сожги я ее, нашлась бы другая, которая открыла бы двери порче.

Если гниет царство, все помогает ему гнить. Пусть большинство просто-напросто попустительствует — что же, считать их непричастными? Я сочту убийцей и равнодушного, который, видя, как ребенок тонет в луже, не пытается его спасти.

Но я буду питать собой бесплодие, если, попирая то, что зовется мечтой, примусь за лепку сбывшегося прошлого, казня взяточников как пособников коррупции, подлецов как пособников низости, предателей как пособников предательства, и, переходя от следствия к следствию, уничтожу и самых лучших, потому что и они оказались бездеятельными, и я поставлю им в вину их лень, попустительство или глупость. В конце концов, я захочу уничтожить в человеке все, что может быть подвержено болезни, почву, на которой может расцвести ее посев. Но заболеть может все. И каждый — почва, плодородная для любого посева. Значит, мне придется уничтожить всех. Вот тогда мир станет совершенен, ибо будет очищен от зла. Ведь я и говорил, что совершенство — добродетель мертвых.

Совершенствование, будто удобрением, пользуется бездарными скульпторами, дурным вкусом. Я вовсе не служу истине, уничтожая заблуждающихся, ибо истина выявляется от заблуждения к заблуждению. Я не помогаю творчеству, уничтожая бездарность, ибо творение созидается провалами и неудачами. Я не утверждаю свою истину, уничтожая приверженца другой, ибо истина являет себя, как являет себя дерево. У

меня под руками только земля для пахоты, она не растит еще моего дерева. Я пришел и живу сейчас. Прошлое моего царства я получил в наследство. Я садовник, что идет к своей земле. Я не стану упрекать ее за то, что она растит колючки и кактусы. Если я семя кедра, что мне до колючек?

Я избегаю ненависти не от снисходительности, но потому, Господи, что принадлежу Тебе, в Котором все, что есть, есть сейчас, и все, что есть, сущностно. Сущностно для меня в каждый миг существования и мое царство. И каждый миг для меня есть начало.

Я вспоминаю мудрые слова моего отца: «Смешно, если зерно жалуется на дурную землю, которая вырастила его салатом, а не кедром. Оно было зерном салата».

И еще он говорил: «Кривой улыбнулся девушке. Но она смотрит на тех, у кого два глаза. И теперь кривой всем рассказывает, что глазастые перепортили всех девушек».

* * *

Сколько тщеславия в праведниках, если они мнят, будто ничем не обязаны неправедности, заблуждениям, стыду, которые нас преображают. Смешон плод, презирающий дерево.

CCIX

Смешон и тот, кто надеется отыскать свое счастье, собрав множество вещей, и не может его найти среди них, потому что оно там и не ночевало, а он все умножает свои богатства, складывает их в пирамиды, копается в своих подвалах, он похож на дикаря, что вцепился в кожу для барабана, веря, что ею поймает звук.

Смешон и тот, кто, увидев, что сопряжение слов в моем стихотворении покорило тебя мне, что красота статуи покорила тебя скульптору, что мелодия, составленная из нот, покоряет тебя тоске гитариста, поверил, будто надо всем властвуют слова, мрамор и ноты, и вот он принимается вертеть их и так и сяк, но не может завладеть этой властью, ибо таится она не в вещественном, а он громыхает все громче, лишь бы быть услышанным, и в тебе безусловно пробуждается чувство; но оно пришло бы к тебе, грохни возле тебя разом десять тарелок, чувство сомнительного качества, сомнительного достоинства — чувство, которое стало бы куда более активным и подвигло бы тебя на какое-то действие, если б извлек его из тебя мой жандарм, крепко наступив тебе на ногу.

Если я хочу повести тебя за собой, сказав «октябрьское солнце» или «прикосновение снежной сабли», я должен сперва смастерить ловушку, и она ничуть не похожа на добычу, которую я собираюсь поймать. Но вот я решил соблазнить тебя самим материалом ловушки; разумеется, я не возьму расхожего, рыночного товара, вроде поэтических слов «грусть», «сумерки», «любимая», — от него тебя сразу стошнит, вряд ли воспользуюсь я и словом «мертвец», конечно, оно непременно сделает свое дело и ты станешь менее радостным, но до глубины души оно тебя не проймет, так что волей-неволей для того, чтобы увести тебя от твоей обыденности, мне придется описать какие-нибудь необычайные пытки. Чтобы слова все же выжали из тебя эмоцию: власть слов невелика, если одним из них удается нажать кнопку воспоминаний, то у тебя разве что наполнится рот слюной, — так вот, выжимая из тебя словами эмоции, я принимаюсь лихорадочно множить пытки, подробности пыток, запах пыток, чтобы в конце концов достичь куда меньшего эффекта, чем достиг бы грубый сапог моего жандарма.

Стараясь захватить тебя врасплох легковесной силой неожиданности, я могу войти, пятясь, в

зал приемов, где ты дожидаешься меня, могу воспользоваться разительным несоответствием, чтобы ошеломить тебя, но я поступлю, как грабитель: успех извлеку из разрушения, ибо, придя к тебе точно так же во второй раз, я тебя уже не удивлю, больше того, не удивит тебя и любая другая несуразность, приучив к вседозволенности в мире абсурда. Вот я и украл у тебя удивление. И вскоре ты безрадостно съежишься в тусклом, изношенном мире, где нет больше языка игры и нюансов. Единственной поэзией в безъязыком мире, еще способной извлечь из тебя стон жалобы, будет подбитый гвоздями сапог моего жандарма.

Нет на свете строптивцев. Нет одиночек. Нет человека, который бы всерьез отстранился ото всех. Претендующие на одиночество наивнее ремесленников, фабрикующих под видом поэзии компот из любовных вздохов, лунного света и ветерка. «Я — тень, — говорит тебе твоя тень, — я обхожусь без света». Но она живет благодаря ему.

CCX

Я принимаю тебя таким, каков ты есть. Возможно, у тебя клептомания, и ты суешь в карман золотые безделушки, что попадаются тебе на глаза, но ты еще и поэт. Я приму тебя из любви к поэзии. А любя свои золотые безделушки, спрячу их.

Возможно, доверенные тебе тайны кажутся тебе украшением не менее прекрасным, чем для женщины бриллиантовое ожерелье. Она идет в нем на праздник. Редкостные камни овевают ее ореолом таинственной значимости. Но ты еще и танцовщик. Я приму тебя из почтения к танцам, но из почтения к тайнам о них перед тобой умолчу.

Или ты мой друг. Я приму тебя из любви к тебе, такого, каков ты есть. Если ты хром, не попрошу станцевать. Если не любишь того или другого, не позову их вместе с тобой в гости. Если голоден, накормлю. Я не стану делить тебя на части, чтобы получше узнать. Ты не этот поступок, и не другой, и не сумма этих поступков. Я не стану судить о тебе ни по этим словам, ни по этим поступкам. О словах и поступках я буду судить по тебе.

Но и ты тоже прими меня. Мне нечего делать с другом, который не знает меня и требует объяснений. Не в моей власти передать тебе себя с помощью ветра слов. Я — гора. Гору можно созерцать, всматриваясь. Тачка вряд ли тебе в помощь.

Как же я объясню тебе то, что не было услышано твоей любовью? Как мне заговорить? Слова бывают недостойными, неблаговидными. Я рассказывал тебе о моих воинах в пустыне. Молча смотрел я на них вечером, накануне сражения. На них покоилось царство. Ради царства они завтра умрут. Смерть для них станет преображением. Я знал подлинность их рвения и преданности. Чем мне был в помощь хилый ветер слов? Все их жалобы на колючки, на скудный ужин, ненависть к капралу, горечь от собственной жертвенности?.. Так ли они должны были говорить! Но я не доверяю солдатам, которые говорят красиво. Если солдат готов умереть за своего капрала, он, скорее всего, не умрет, ему будет некогда, он творит чувствительные повествования.

Я не доверяю гусенице, влюбленной в крылья. Она не найдет времени наработать кокон. Я глух к ветру слов, и в моем солдате вижу то, что он есть, а не то, что он говорит. В сражении он

прикроет капрала собственной грудью. Мой друг — это точка зрения, с какой он смотрит. Я должен услышать, откуда он говорит, ибо он — особое царство и неистощимый запас. Он может молчать и переполнять меня своим молчанием. Я могу смотреть его глазами, и мир для меня откроется иным. Но от моего друга я требую, чтобы он понимал, откуда говорю я. Только тогда он меня услышит. А слова все дразнятся и дразнятся, показывая друг другу язык…

CCXI

Мне опять довелось встретиться с пророком, у него жесткий взгляд, дни и ночи он раздувает священный гнев и вдобавок еще и косит.

— Нужно, — сказал он мне, — спасать праведников.

— Да, — сказал я, — ибо оснований для преследования их нет.

— Нужно отделить их от грешников.

— Да, — сказал я. — Самый совершенный должен быть возведен в образец. Лучшую статую лучшего из скульпторов ты ставишь на пьедестал. Ребенку читаешь лучшие стихи. В королевы выбираешь красивейшую из красивых. Ибо совершенство — стрелка, указывающая направление, стрелки необходимы, пусть не в твоих силах достигнуть совершенства.

Но пророк мой уже воспламенился:

— Когда будет создано племя праведных, спасти нужно будет только его и раз и навсегда покончить с порчей.

— Пожалуй, ты перехватил, — остановил я пророка. — Каким образом ты хочешь отделить цветы от дерева? Облагородить жатву, уничто-

жив навоз? Спасти великих скульпторов, отрубив голову плохим? Я, например, знаю только более или менее несовершенных людей, устремление к цветению и неторопливый рост дерева. И говорю тебе: в основании совершенства царства лежит бесстыдство.

— Ты возвеличиваешь бесстыдство!

— И твою глупость тоже, ибо хорошо, если добродетель предстает нам как желанное и достижимое улучшение. Мы должны создать образ праведника, пусть в жизни такого быть не может, во-первых, потому, что человек немощен, а во-вторых, потому, что полнота совершенства, где бы она ни осуществилась, влечет за собой смерть. Но хорошо, если предуказанный путь предстает в виде цели. То есть ты отправляешься в путь за недостижимым. В пустыне мне приходилось тяжко. И поначалу казалось, что сладить с ней невозможно. И тогда дальний бархан я преображал в долгожданную гавань. Я добирался до нее, и она теряла свое могущество. Тогда я перемещал счастливую гавань к горбатым холмам, что виднелись на горизонте. Доходил до них, и они теряли свою магическую власть. А я выбирал следующую цель. И так от цели к цели преодолел пески.

Бесстыдство свойственно либо простодушной невинности, например газелям, — просвети их — и получишь стыдливых скромниц, — либо тем, кто нарочито попирает стыд. Но и в бесстыдстве основа — стыд. Бесстыдство живет им и его утверждает. Когда идет пьяная солдатня, ты видишь: матери прячут дочерей и запрещают им выглядывать на улицу. Но если в твоем недостижимом царстве солдаты будут стыдливо опускать глаза, и их как будто не будет вовсе, и если девушки у тебя будут купаться в чем мать родила, ты не увидишь в этом ничего неподобающего. Но стыдливость моего царства вовсе не в отсутствии бесстыдства (целомудреннее всех покойники). Стыдливость в моем царстве — это внутреннее усердие, сдержанность, почитание себя и мужество. Целомудрие — сбережение собранного меда в предвкушении любви. И если по моим улицам шляется пьяная солдатня, она укрепляет стыдливость в моем царстве.

— Стало быть, ты поощряешь свою пьяную солдатню изрыгать мерзкие непристойности?!

— Случается, что я наказываю своих солдат, желая внушить им необходимость целомудрия. Но чем жестче мое принуждение, тем притягательнее для них распутство. Преодоление

отвесной скалы слаще подъема на пологий холм. Победить сильного соперника приятнее, чем рохлю, который и не думает защищаться. Там, где существует понятие «снасильничать», тебя так и тянет дерзко взглянуть женщине в лицо. Я сужу о напряженности силовых линий в царстве по суровости наказания, которое призвано умеривать аппетиты. Если я перегораживаю горный поток, мне придется воздвигнуть стену. Стена эта — свидетельство моего могущества. Но для пересыхаю щей лужицы мне хватит и картонной перегородки. На что мне кастрированные солдаты? Я хочу, чтобы они всей силой напирали на мою стену, чтобы были мощны и в грехе, и в добродетели, которая есть не что иное, как облагороженный грех.

— Так что же, тебе по нраву их пороки? — возмутился пророк.

— Нет. Ты опять ничего не понял, — ответил я ему.

CCXII

Мои тупые, очень тупые жандармы решили мне помочь.

— Мы нашли причину порчи в царстве. Виной всему одна секта, нужно истребить ее.

— А как вы узнали, что эти люди принадлежат к секте?

И жандармы рассказали мне: оказывается, эти люди поступают одинаково, они схожи между собой по таким-то и таким-то признакам, и они указали мне место их сборищ.

— А как вы догадались, что именно они причина порчи нашего царства?

И жандармы рассказали мне о совершенных ими преступлениях, о взяточничестве, насилиях и трусливой подлости.

— Я знаю другую, еще более опасную секту, которую никому пока еще не удалось разоблачить.

— Какую секту?! — вскинулись мои жандармы.

Ибо жандармы родились на свет, чтобы действовать кулаками, и от недостатка деятельности кулаки у них усыхают.

— Секта меченых, у них на левом виске родимое пятно, — ответил я.

Жандармы мои не поняли и заворчали. Жандарму, чтобы бить, понимать ведь необязательно. Он ведь бьет кулаком, а кулакам не положено мозгов. Но один из них — в прошлом плотник — кашлянул разок, другой.

— Ничем эти меченые между собой не схожи, и нигде они не собираются.

— Да, не собираются, — согласился я. — Но это-то и опасно. Они незаметны. Однако стоит мне издать указ, который обнаружит их для общества, и общество осудит их, ты увидишь, они будут держаться вместе, селиться рядом, возмущаться против справедливого народного гнева, и всем станет ясно, что они принадлежат к одной секте.

— Так оно и есть, — согласились мои жандармы.

Но бывший плотник снова кашлянул:

— Я знаю одного такого. Он человек мягкий. Широкой души. Честный. Он получил три ранения, защищая царство.

— Очень может быть, — согласился я. — Если женщинам свойственна ветреность, неужели не найдется среди них ни одной рассудительной? Оттого что генералы громогласны, разве нет среди них ни одного застенчивого? Мало ли какие бывают исключения? Заметив пятно на

виске, покопайся в прошлом этого человека. Ты увидишь: он — как все, а значит, как все меченые, виновен во всевозможных преступлениях: похищениях, насилиях, взяточничестве, предательстве, обжорстве, бесстыдстве. Ты же не станешь утверждать, что все остальные меченые не знают этих пороков?

— Знают! Знают! — закричали жандармы, и у них зачесались кулаки.

— Когда на дереве гниют апельсины, кого ты обвинишь — дерево или апельсины?

— Дерево! — закричали жандармы.

— А несколько здоровых плодов оправдывают дерево?

— Нет! — закричали жандармы, которые, слава богу, любили свое дело, а их делом было никого не прощать. — Значит, мы будем только справедливы, если очистим наше царство от этих злодеев с родимым пятном на левом виске.

Но бывший плотник опять кашлянул.

— Какие у тебя возражения? — спросил я, тогда как его сотоварищи с поистине профессиональным чутьем многозначительно поглядывали на его левый висок.

Один из них, ткнув в подозрительного пальцем, даже спросил:

— А тот, знакомый… может, твой брат… или отец… или еще кто из семейства?

И все жандармы недовольно заворчали. И тут я взъярился:

— А еще опаснее секта проходимцев с родимым пятном на правом виске! Потому что о них мы не подумали. Значит, они скрываются еще лучше. Я уж не говорю, как опасны лишенные родимых пятен! Как они ловко избегают опознавательных знаков, потому что наверняка составили заговор. От секты к секте, я уничтожу всю секту людей, потому что именно они — источник всех преступлений: похищений, насилий, взяточничества, обжорства и бесстыдства. А поскольку жандармы не только жандармы, но еще порой и люди, то с них-то я и начну необходимую нам чистку. Я приказываю жандарму сгноить таящегося в нем человека в потайном застенке моей крепости.

И мои жандармы засопели, задумавшись, но сопели они без видимых результатов, потому что размышляют они при помощи кулаков.

Жандармы ушли, я удержал плотника. Опустив глаза, он разыгрывал полнейшую невинность.

— Я разжаловал тебя из жандармов! — сказал я ему. — Истина для плотника сложна и противоречива, поскольку он имеет дело с деревом,

которое ему противится; такая истина не для жандармов. Если приказ гласит, что черны те, у кого имеется родимое пятно, у моих жандармов при одном только упоминании о нем должны чесаться кулаки. Такие жандармы мне нравятся. Мне нравится, что старшина судит о твоей добродетельности по умению держать строй. Если позволить старшине прощать тебе неповоротливость из-за того, что ты поэт, прощать твоего соседа, потому что он верующий, соседа соседа, потому что он невинный барашек, — восторжествует справедливость. Но вот наступила война, и мои необученные солдаты бросились в бой беспорядочной кучей, и их уничтожили. То-то они благодарны старшине за уважение к ним! Так вот, я отправляю тебя к твоим доскам, боясь, что твоя любовь к справедливости там, где ей нечего делать, прольет однажды невинную кровь.

CCXIII

Ко мне пришел человек и спросил меня, что такое справедливость.

— Знаешь, — сказал я ему, — я кое-что знаю о справедливых поступках, но о справедливости я не знаю ничего. Справедливо, чтобы кормили тебя в соответствии с твоей работой. Справедливо, чтобы лечили, если ты болен. Справедливо, чтобы ты был свободен, если помыслы твои чисты. Но на этом очевидность кончается… Справедливо то, что соответствует укладу.

Я требую, чтобы врач шел и через пустыню, если надо перевязать раненого, пусть рана будет всего лишь царапиной на локте или коленке. А раненый — нечестивцем. Так я возвожу в закон уважение к человеку. Но если мое царство воюет с царством нечестивцев, я требую, чтобы мои воины пересекли пустыню и выпустили кишки исцеленному нечестивцу. Так я возвожу в закон уважение к царству.

— Государь… я не понимаю тебя.

— Мне нравится, если кузнецы, завороженные поэзией гвоздей, украдут молотки плотников, чтобы приспособить их для ковки. Мне нравит-

ся, если плотники станут сманивать кузнецов, желая, чтобы те служили доскам. Мне нравится, если зодчий, распоряжающийся и теми, и другими, окоротит плотников, защищая гвозди, и кузнецов, защищая доски. Все это напряженные силовые линии, они создадут корабль. Но чего мне ждать от равнодушных плотников, которые славят гвозди, от равнодушных кузнецов, которые хвалят доски?

— Стало быть, ты чтишь ненависть?

— Я перевариваю ее, очищаю и чту любовь. Однако бывает и так: для того чтобы люди столковались между собой, им нужно отвлечься и от гвоздей, и от досок и повстречаться на корабле.

И я отошел в сторону и обратил к Господу такую молитву:

— Противоречащие друг другу истины — истину врача и истину солдата — я принимаю как преходящие, Гос поди, и, думаю, не на моей ступеньке отыщется для них ключ, который станет ключом свода. Я не сливаю вместе, превращая в теплое пойло, ледяной напиток и кипящий. Я не хочу, чтобы кое-как наносили удары и лечили кое-как. Я наказываю врача, который ленится лечить, наказываю солдата, который ленится наносить удары. Что мне за дело, если дразнятся,

показывая язык друг другу, слова? Ибо возможно, что только вот эта ловушка, части которой так не подходят друг другу, поймает желанную мне добычу — человека с такими достоинствами, а не другими.

Я ищу на ощупь Твои силовые линии, Господи! С моей ступеньки они не очевидны. Я могу сказать, что правильно выбрал свои обряды и уклад, если случится вдруг так, что благодаря им я почувствую себя свободным и вздохну полной грудью. Я работаю подобно скульптору, он обрадовался, нажав левым пальцем на глину посильнее. Почему — он объяснить не может. Однако именно так он наделил глину властью. Я тянусь к Тебе, Господи, словно дерево, повинуясь силовым линиям, заложенным в семечке. Слепой, Господи, ничего не знает об огне. Но в огне есть силовые линии, и к ним чувствительны ладони. И вот он ищет огонь, спотыкаясь о камни и обдираясь о колючки, ибо любое преображение болезненно. Господи, по Твоему милосердию я карабкаюсь к Тебе по склону, чтобы сбыться.

Ты не снизойдешь до своего творения, Господи, я познаю на ощупь и тепло огня, и стремление к небу семечка. Ведь и гусеница ничего не знает о крыльях. Я не верю, что познание мне даст

явившийся с неба ангел, как бывает это на представлении в кукольном театре. Что он может мне сказать? Бессмысленно говорить о крыльях — гусенице, о корабле — кузнецу. Достаточно, если зодчий воодушевлен творческим замыслом и создал силовые линии корабля. Зародыш — силовые линии крыльев. Семечко — силовые линии дерева. А ты, Господи, просто-напросто есть.

Одиночество мое, Господи, по временам, будто лед. И я прошу тебя о знамении в ледяной пустыне моего одиночества. Но ты послал мне сон, и я понял: любое знамение тщетно, ибо если ты на одной со мной ступеньке, то как Тебе заставить меня расти дальше? А с собой, Господи, таким, каков я есть, мне делать нечего.

Поэтому я иду, обращая к Тебе безответные молитвы, и поводырем мне, слепцу, только слабое тепло на старых моих ладонях. Я пою Тебе хвалу за безответность, Господи, ибо если найду то, что ищу, значит, я сбылся.

Если Ты снизойдешь вдруг к человеку легким ангельским шагом, значит, человек сбылся. Он не будет больше ни строгать, ни ковать, ни воевать, ни лечить. И не выметет свою комнату, не поцелует любимую. Если он увидит Тебя, Господи, то станет ли от Тебя удаляться и славить Тебя с по-

мощью людей? Когда храм выстроен, я любуюсь храмом и не вижу камней.

* * *

...Господи, я стал стариком, во мне слабость дерева, чувствующего близость зимы. Я устал от моих врагов, от моих друзей. Меня тяготит мысль, что я принужден и убивать, и исцелять разом, ибо ты, Господи, вменил мне в долг превозмочь все противоречия, что сделали столь жестокой мою судьбу. Принудил меня подниматься от одной бездны вопросов к другой ради того, чтобы приникнуть к Твоему молчанию, Господи!

Господи, прошу Тебя, пусть я догоню возлюбленного моего врага, что покоится на востоке от моего царства, и геометра, моего единственного друга, — я, который — увы! — уже перешел перевал и оставил за перевалом свое поколение, словно на противоположном склоне горы. Пусть мы станем едины, Господи, во славу Твою, заснув в раскрытой ладони песков, где я так неустанно трудился.

CCXIV

Я удивлен твоим пренебрежением к земле. Ты ценишь лишь творения искусства:

— Как неотесан твой друг, как ты можешь дружить с ним? Как выносишь его недостатки? Терпишь запах? Я знаю только одного человека, который был бы достоин тебя…

И дереву ты сказал бы: «Для чего ты опускаешь корни в навоз? Чтить можно только цветок и плод».

Но я живу, потому что преображаю. Я — путь, кладь, повозка. А ты? Ты бесплоден и сродни смерти.

CCXV

Неподвижно стоите вы и смотрите: начиная день, причалило к нам само солнце, уподобившись кораблю, что расцветил пристань привезенными грузами — золотой парчой, алым перцем, слоновой костью. Вы застыли в неподвижности, дивясь краскам зари, что играет над холмом, прячущим колодец. Неподвижны верблюды, неподвижны их тени-великаны. Ни один верблюд не шевельнется, они знают: скоро дадут им пить. Но пока все застыло в ожидании. Воды еще не дают. Еще не принесли огромные кувшины. И, уперев в бока руки, ты вглядываешься вдаль и спрашиваешь: «Чего они там замешкались?»

Те, что спускались в нутро колодца и освобождали его от песка, отложили лопаты в сторону и скрестили на груди руки. Они улыбнулись, и ты понял: вода есть. Что такое человек в пустыне, как не слепой щенок, что, тычась, ищет материнский сосок? Успокоился и ты, и улыбнулся. И погонщики улыбнулись, глядя на твою улыбку. Все вокруг улыбнулось — залитые солнцем пески, твое лицо, лица твоих помощников и, похоже, твои верблюды, там, внутри, под ворсистой

корой, ибо ведомо и им, они скоро напьются, а пока, предвкушая наслаждение, они застыли в неподвижности.

Пора рассвета сродни редкостному мигу в открытом море: прорвалась завеса туч и хлынуло солнце. Ты почувствовал вдруг, как близок Господь, и не ведаешь сам — почему, видно, от щедрот расточаемой вокруг благодати (благодать источает и живой колодец, в пустыне колодец всегда подарок, ожидаемый всегда и всегда нежданный), видно, от блаженного предвкушения воды, ощущая его, вы и замерли пока в неподвижности. Ибо стоят неподвижно, скрестив на груди руки, те, что отбросили свои лопаты, они не двигаются. И ты, уперев в бока руки, стоишь неподвижно на холме и смотришь на ту же отдаленную точку на горизонте. Не пустились в путь верблюды с огромными тенями, что выстроились в цепочку на песчаном склоне. Нет еще тех, что несут водопойные желоба, откуда все будут пить, и ты продолжаешь спрашивать: «Чего они там замешкались?» Ничего еще не осуществлено, все только обещано.

И вы живете пока улыбкой. Да, скоро вы насладитесь водой, которая будет для вас удовольствием — любовью. А сейчас люди, пески, верблюды,

солнце — одно целое, их слила воедино круглая дыра посреди камней, и если все они разнятся между собой, то не больше, чем разная утварь единого священнодействия, предметы ритуала, слова песнопения.

А ты — верховный жрец, что будет главенствовать, ты — генерал, что будет распоряжаться, ты — будущий церемониймейстер, ты стоишь пока неподвижно, уперев в бока руки, удерживаясь от распоряжений и вопрошая горизонт, откуда должны принести водопойные желоба, чтобы все напились. Ибо недостало еще одной чаши для священнодействия, одного слова для стихотворения, одной пешки для победы, одной приправы для праздничной трапезы, генерала для свадьбы и камня для часовни, чтобы наконец все увидели ее и преклонились. Но где-то там идут те, что несут водопойные желоба, и, когда они наконец появятся, ты им крикнешь: «Эй, вы там, а ну, поторапливайтесь!» А они не ответят. Они взберутся на холм. Встанут на колени, чтобы приладить то, что принесли. И тогда ты взмахнешь рукой. Заскрипит веревка, что помогает земле рожать воду, и, качнувшись, медленно двинется в путь череда верблюдов. А люди, заботясь о необходимом порядке, будут грозить им палками

и гортанно командовать. Так начнется священнодействие утоления жажды при неторопливо подымающемся солнце.

CCXVI

И опять пришли ко мне логики, историки, критики и принялись строить, следуя от следствия к следствию, свои системы и подтверждать их доводами. Системы их были безукоризненно точны. И одна убедительнее другой показывали, какое царство поможет, освободит, напитает и обогатит человека. Дав им наговориться вдосталь, я спросил их:

— Прежде чем стрекотать о человеке, сказали бы мне, что, по-вашему, важно для человека и что в человеке важно…

И они застрекотали опять, сладострастно забрасывая меня новыми схемами, ведь стоит предложить любителям слов новую возможность поговорить, они ухватят за гриву любимого конька и поскачут по неосторожно открытой тобой дороге, словно кавалерийский отряд, звеня и сияя саблями, вздымая облако пыли и буйный ветер бешеной скачки. Но никуда не прискачут.

— Так вот, — сказал я им, когда они спешились, ожидая похвалы (люди этого племени бегут не на помощь, а для того, чтобы их заметили, услышали их топот, залюбовались головокру-

жительными трюками и кувырками, и поэтому, заранее предвкушая похвалу, принимают скромный вид), — так вот, как я понял, вы собираетесь позаботиться о самом важном в человеке и для человека. Но если я правильно понял, ваши системы поощряют в человеке как главное толщину его живота, — конечно, живот существенен, но он — средство, никак не цель, благополучием живота вы обеспечиваете надежность повозки, — вы печетесь о здоровье человека, и оно существенно, но и здоровье — средство, а не цель, состояние внутренних органов все равно что состояние колесиков в механизме. Стало быть, вы печетесь о количестве повозок. Конечно, и я хочу, чтобы царство было многолюдно, чтобы люди в нем были сыты и здоровы. Но очевидное — еще не главное, ибо ваши подопечные пока не более чем материал, дробное вещество. Так как же поступить с ним? Куда вести? Что дать, чтобы оно тянулось вверх и облагораживалась? Ибо все мы — только путь, кладь, повозка…

Они говорили мне о человеке, как говорили бы о салате. И главное достоинство этого салата было в том, чтобы он не переводился у меня в огороде.

Что им ответишь? Близорукие скудоумцы всегда заняты чернилами и бумагой, но никогда

— смыслом стихотворения. И я добавил:

— Я люблю подлинность, люблю основательность. Не терплю, когда калечат мечту. Волшебные острова я обживаю как весомую конкретность. Я не похож на деляг, чьи головы туманит мечтательный хмель, — ибо прежде всего я чту опыт. Умение танцевать я ставлю выше умения брать и давать взятки, скупать драгоценности, злоупотреблять служебным положением; от танцев куда больше удовольствия, и назначение их куда более очевидно. Накопленным тобою богатствам потом все равно придется искать применение, а поскольку танец трогает человеческое сердце, ты возьмешь на содержание какую-нибудь танцовщицу, но, ничего не смысля в танцах, ты выберешь бездарно и, таким образом, ничего не приобретешь. А я? Я смотрю, я вслушиваюсь, — но в молчании моей любви не слушаю слов, — и могу поклясться: нет для человека ничего драгоценней запаха воска в один-единственный, необыкновенный вечер, или золотой, светящейся на восходе или закате пчелки, или черной жемчужины, ничьей, прячущейся пока в глубинах моря. Да и сами деляги, — я видел это, — свое с трудом накопленное богатство, собранное взятками, злоупотреблениями

по службе, скупкой, продажей, рабским трудом, бессонными ночами, потраченными на разработку финансовых операций и проверку счетов, так вот, свое богатство они вкладывали в орех величиной с ноготь, на вид он сродни граненой стекляшке, и зовется бриллиантом, — ценностью его наделило священнодействие поиска в темных глубинах земли, и то же священнодействие сделало драгоценным запах воска и мерцание золотой пчелки.

Ценой собственной жизни спасают бриллиант от грабителей. Главный дар был открыт мне — дар дороги, которую нужно преодолеть, чтобы настал праздник. Чтобы судить о твоем благородстве, я должен знать, что ты празднуешь и что твой праздник говорит сердцу, ибо каждый праздник — веха на твоем пути, преодоленный порог, оставленный позади кокон; он то, откуда ты идешь, и то, куда ты пришел. Только так я могу узнать, что ты за человек и стоит ли тратить усилия на благоденствие твоего живота, преуспеяние, преумножение и здоровье.

Но для того, чтобы направить тебя вот по этой дороге, а не по другой, нужно, чтобы ты возжаждал вот этого, а не иного; твоя жажда и будет залогом твоего роста, она облагородит тебя, на-

правит твои шаги, пробудит творческий дух. Достаточно страсти к морю, чтобы облагородить тебя и дождаться от тебя кораблей. Я должен знать, чего заставляешь ты жаждать жителей своего царства. Ибо любовь — это жажда любви, благородство — стремление к благородству, радость от черной жемчужины — надежда, что однажды и ты добудешь ее из морских глубин.

CCXVII

Нет, не думай, что целое — это сумма отдельных частей. «От этих нам ждать нечего, — сказал ты, придя ко мне. — Они грубы, жадны, себялюбивы, подлы и вдобавок трусы». Ты и о камнях мог бы сказать мне, что они грубы, шероховаты, недвижимы, непробиваемы, а между тем именно из них творят нечто совершенно иное: статую или храм. Я убеждался не однажды, что целое ни в чем не подобно составляющим его частям. Поговори с каждым в любом из соседних племен и убедишься: каждый в отдельности ненавидит войну, не хочет отлучаться от семейного очага, любит жену, детей и домашние праздники, не желает проливать кровь, ибо добр, кормит свою собаку, гладит осла, не терпит воровства, занят собственным домом, до блеска полирует пол, красит стены, ухаживает за своим садом. Послушав его, ты скажешь: «Мирно их царство, они живут любовью к миру…» Однако царство их похоже на котел, где, не утихая, кипят войны. И доброта, нежность, жалость к животным, восхищение цветами, присущие каждому из жителей, — необходимые компоненты колдовства, ведущего к

скрежету клинков в точности так же, как снег, елка и горячий воск наколдовывают взволнованное биение твоего сердца, но и там, и здесь добыча ничуть не похожа на ловушку.

А как судить о дереве по его частям? Разве, говоря об апельсиновом дереве, ты коришь его за черноту корней, горечь древесины, клейкость или шероховатость коры, за кривизну веток? Что тебе до того, из чего это дерево сложено? Об апельсиновом дереве ты судишь по апельсинам.

И в точности то же самое я скажу о тех, кого ты изгоняешь и преследуешь. Каждый по отдельности он вот такой — такой или вот этакий, но что мне за дело до того, каков по отдельности каждый в толпе.

Дерево время от времени приносит мне души, похожие на клинок, они отдадут тело пыткам, но не согнутся, вопреки трусости большинства; приносит оно изредка и столь прозорливый взгляд, что он сквозь тщету оболочек прозревает истину, будто сквозь кожуру — мякоть плода. Прозорливые вопреки низменным вкусам большинства смотрят из окна своей мансарды на звезды и живут, питаясь лучом света, — и мне довольно этой малости. То, что ты видишь как противоречие, я считаю необходимым условием жизни.

Дерево — условие существования плода, камень — храма, люди — условие существования той единственной души, что озарит светом все племя. И поэтому доброту, мечтательность, любовь к дому мне так легко переодеть в военные сапоги, ибо именно они необходимые компоненты для кипящего котла войны, несмотря на свое с ней несходство, именно они, а вовсе не чума, не преступление и не голод.

Я прощаю людям их недоброту, заземленность, нелюбовь к дому (похоже, они слишком долго кочевали), прощаю, потому что, может быть, именно так нарождается в ком-то благородство. Нет, мне не дано предвидеть при помощи логики, что выводит одно следствие из другого. Логики в переходе с одной ступени на другую нет.

CCXVIII

Эти люди, приукрашивая себя, хотят тебя уверить, будто днем и ночью одушевлены страстью. Врут.

Соврет дозорный на крепостной стене, если вдруг начнет повествовать тебе о своей негасимой любви к городу. Он думает об ужине.

Соврет поэт, если будет твердить тебе день и ночь об опьянении поэзией. И у него временами болит живот, и тогда на стихи ему наплевать.

Соврет влюбленный, утверждая, что день и ночь молится на свою возлюбленную. Его отвлечет блоха, куснув его. Или обычная скука, и он зевнет.

Врет путешественник, рассказывая, что днем и ночью восхищался необыкновенными красотами. В сильную качку его тошнило.

Врет праведник, говоря, что днем и ночью созерцает Господа. И у Господа есть приливы и отливы, как у моря, Он оставляет иногда праведника, и Он тоже бывает сух, будто обнажившаяся галька.

Врут те, кто говорят, будто день и ночь оплакивают своих мертвых. Можно ли оплакивать их

день и ночь, если и любить их день и ночь было невозможно? Если при жизни с ними ссорились, от них уставали, не чувствовали к ним любви? Конечно, мертвый всегда ближе живого, ибо он уже сбылся и нет в нем больше противоречий. Но ты не верен и своим мертвым.

Врут все, кто не признается, что временами бывают опустошены и равнодушны. Врут, потому что не вникли в суть вещей. Слыша об их негасимом рвении, ты веришь в их преданность и начинаешь сомневаться в своей, краснеешь за собственное бесчувствие. Ты меняешь голос и выражение лица, если ты в трауре и на тебя смотрят.

Но я знаю, неизменной бывает только одолевающая тебя скука. Она — свидетельство немощи твоей души, что не в силах разглядеть за дробной вещественностью — картину. Так скучает, глядя на деревянные фигурки, не знающий, что такое шахматы. Ему невдомек, сколько возможностей они таят в себе. Но если изредка за твою преданность кокону тебя, дозорного, поэта, верующего, влюбленного или путешественника, вознаградят озарением, не жалуйся, что не видишь постоянно того, что так высоко вознесло тебя. Ибо озарение бывает столь пламенным, что может сжечь

зрящего. И праздник не может длиться все дни подряд.

Так что ты не прав, коря и осуждая людей за бесчувственность. Осуждая, ты похож на косоглазого пророка, что день и ночь раздувает в себе священный пламень гнева. Я знаю: священнодействие, утонув в обыденности, покажется мертвой рутиной. Стремление к добродетели обернется однажды жандармскими порядками. Высокие принципы станут ширмой для недостойных игр. Но почему я должен огорчаться? Я прекрасно знаю, что человеку случается и поспать. Стану ли я жаловаться, что он так бездеятелен? Я ведь знаю: дерево совсем не цветок — оно неистощимая возможность цветения.

CCXI

Я хотел взрастить в тебе любовь к брату. Но с любовью взрастил и боль разлуки с ним. Хотел взрастить любовь к жене. И взрастил боль разлуки с нею. Хотел взрастить любовь к другу, взрастил боль разлуки с другом; стоит выкопать колодец, как рождается тоска по колодезной воде.

И я понял: разлука с женой, другом, братом для тебя больнее любых других бед, — и решил исцелить тебя, научив не разлучаться. Ибо далекий родник для умирающего в пустыне от жажды слаще, чем мир, где вообще нет родников. И даже если ты изгнан из своей земли навеки, услышав, что дом твой сгорел, ты заплачешь.

Близость дальнего благотворна: тебе кажется, дерево тянет к тебе издалека свои ветки и дарит тень. Я решил исцелить тебя, ибо я — обживающий и хочу показать тебе, где можно жить.

Помни о сладости любви, получив поцелуй на прощанье — жена поцеловала тебя, потому что утренний луч позолотил твои апельсины, уложенные пирамидой на спине осла, и, позолотив, позвал в дорогу, торопя не опоздать на

рынок. Жена тебе улыбнулась. Она стоит на пороге, приготовившись, как и ты, приняться за работу, она подметет дом, вычистит кастрюли и примется за стряпню, думая о тебе, стряпая как сюрприз что-то вкусненькое. «Лишь бы он не вернулся слишком рано, — думает она, — а то мне не успеть, и не получится у меня никакого сюрприза». Вы неразлучны, хотя кажется на взгляд, что ты ушел далеко-далеко, а она не хочет, чтобы ты возвращался. Но куда ты ушел, раз твое странствие служит дому? Ты трудишься ради радости и веселья в нем. На заработанные деньги ты задумал купить ковер из пушистой шерсти и серебряный браслет жене. Поэтому ты и поешь дорогой, ты пребываешь в мире любви, хоть и кажется, будто ты удаляешься от дома. Ты строишь свой дом, подгоняя хворостиной осла, поправляя корзины и протирая глаза, потому что еще очень рано. Ты ближе к своей жене, чем в час досуга, когда сидишь на пороге и смотришь вдаль, не думая даже обернуться и порадоваться своему царству, мечтая, как повеселишься на свадьбе в дальнем селенье, думая о своем друге или завтрашних трудах.

Но вот ты проснулся окончательно, тебя разбудил твой ослик, ему вздумалось проявить

усердие, и его копыта дробнее застучали по камням дороги, цоканье показалось тебе песенкой, и ты наслаждаешься начавшимся утром. Ты улыбаешься. Потому что уже выбрал лавочку, где купишь серебряный браслет. Знаешь ты и старика хозяина. Он обрадуется тебе, потому что вы с ним друзья. Расспросит о жене, о ее здоровье, потому что она у тебя изящная, хрупкая. Он наскажет о твоей жене столько хорошего, так проникновенно, так прочувствованно, что и самый неотесанный бродяга, наслушавшись его похвал, сочтет ее достойной золотого браслета. Но ты только вздохнешь. Ничего не поделать, такова жизнь. Ты не король. Ты торгуешь овощами. Вздохнет и торговец. Навздыхавшись вдоволь, вы отдадите дань почтения недостижимому золотому браслету, и тогда хозяин покажет тебе серебряные, те, что ему больше всего по душе. «Браслет, — примется он объяснять тебе, — должен быть тяжелым. А золотые, они ведь легкие. Смысл браслета мистический. Он — звено в цепи, что привязывает вас друг к другу. И любя, сладко чувствовать тяжесть цепи. Вот жена твоя изящно приподняла руку и поправила покрывало, она почувствовала тяжесть браслета, и у нее стало легко на сердце». Из задней комнаты он вынесет

тебе самые тяжелые браслеты, попросит убедиться в их тяжести, взвешивая их на ладони, полузакрыв глаза и прикидывая, будут ли они тебе в радость. И ты тоже взвесишь браслет на ладони и тоже прикроешь глаза. Ты похвалишь браслет и еще раз вздохнешь. Ничего не поделать, такова жизнь. Ты не караванщик богатого каравана. У тебя один ослик. И ты покажешь на ослика, что ждет у порога, ослика, который не так-то силен, и скажешь: «Богатства мои так невелики, что сегодня поутру под их тяжестью он пустился рысью».

Вздохнет и торговец. Навздыхавшись вдоволь, вы почтите тяжелый серебряный браслет, и хозяин разложит перед тобой легкие, потому что, в конце концов, самое главное в браслете чеканка, и чеканка должна быть тонкой. Он покажет тебе и тот браслет, который ты задумал купить. Ибо ты все решил заранее, как мудрый государственный муж. И отложил часть заработка на ковер из пушистой шерсти, на новые грабли, на пропитание… Вот теперь вы танцуете сложный танец всерьез, старик ювелир знает людей и, если догадается, что ты у него на крючке, ни за что не выпустит из рук леску. И ты говоришь, что браслет для тебя слишком дорог, и уходишь. Он зовет

тебя обратно. Он твой друг. А жена у тебя такая красивая, ради твоей красивой жены он сбавит цену. Он себе не простит, если такой чудесный браслет достанется неуклюжей дурнушке. Ты нехотя возвращаешься. Медленно-медленно, будто идешь себе и гуляешь. Недовольно поджимаешь губы. Взвешиваешь на ладони браслет. Они, в общем-то, мало чего стоят, если не тяжелы. И серебро, оно всегда такое тусклое. Ты еще не решил, купить ли тебе невзрачный браслет или чудесную пеструю ткань, которую ты приметил в одной из лавок. Но опасно выказать и слишком большое пренебрежение, если торговец потеряет надежду что-то тебе продать, он разочаруется и позволит тебе уйти. И тогда тебе придется краснеть, путаясь в неуклюжих причинах, по которым тебе пришлось к нему вернуться.

Конечно, тот, кто ни бельмеса не смыслит в людях, сочтет, что здесь танцует скупость, — нет, тут танцует любовь. Услышав разговоры об осле, овощах, философствование о серебре и золоте, добротности и тонкости его отделки, видя, как ты уходишь и возвращаешься, он сочтет, что сейчас ты далеко-далеко ушел от дома. Но именно сейчас ты и живешь в нем. Ты исполняешь ритуальный танец любви, танец дома, и, значит, как ты мо-

жешь быть вне дома или любви? Твое отсутствие не отделяет тебя, но связывает, не отъединяет — сближает. И можешь ли ты мне указать границу, за которой отсутствие становится отъединением? Если ритуальный танец насыщен и напряжен и ты въяве видишь божество, с которым сливаешься и которому служишь, если твое божество воодушевляет тебя, кто разлучит тебя с твоим домом или другом? Я знал сыновей, которые говорили мне: «Отец умер, не достроив левое крыло дома. Я достроил его. Не кончил сажать деревья. Я посадил их. Мой отец завещал мне свое дело. Я продолжаю его». Или: «Он завещал мне быть верным королю. Я верен ему». И я чувствую: отец в этом доме жив.

О друге и о тебе. Если не в нем и не в тебе — питающий вашу любовь корень, если один и тот же Божественный узел связывает для вас воедино дробный и разноликий мир, то нет расстояния, нет времени, которое могло бы вас разлучить, ибо от божества, которое вас объединило, не отторгнут вас ни мир, ни мор, ни смерть.

Я знал старика садовника, он рассказывал мне о своем друге. Долго-долго они жили, как братья, пили по вечерам чай, праздновали праздники, спрашивали друг у друга совета, делились

тайнами. Со временем слова потеряли для них былую цену, и, когда окончив дневные труды, они вечерами прогуливались вместе, то шли молча, поглядывая на цветы, сады, небо, деревья. И если один кивал головой на розу, то другой наклонялся и, увидев проеденный гусеницей лист, тоже огорченно покачивал головой. И одинаково радовались они раскрывающимся бутонам.

Но случилось так, что один купец нанял друга этого садовника на несколько недель погонщиком в свой караван. На караван напали разбойники, его занесло в другую страну, а дальше войны, бури, кораблекрушения, разорения, смерть и труды во имя куска хлеба качали его на своих волнах, будто море утлую лодку, перенося от одного сада к другому, пока не занесло на край света.

И вот уже на старости лет, после долгих лет молчания, мой садовник получил от своего друга письмо. Бог знает, сколько лет оно странствовало. Бог знает, сколько повозок, всадников, кораблей и караванов везли его с упорством морских волн, пока не принесли к нему в сад. И вот утром, сияя от счастья и желая им поделиться, мой садовник попросил меня прочитать полученное письмо, как просят прочитать любимое стихотворение.

С жадностью ловил он на моем лице впечатление от чудесного письма. А в письме было всего несколько слов, потому что садовникам по руке лопаты и грабли, а не перья. «Этим утром я подрезал мои розы…» — прочитал я в письме и задумался о главном, которое не вместить в слова, и наклонил голову в точности так же, как мой садовник.

Мой садовник потерял теперь и сон, и покой. Каждого расспрашивал он о далеких странах, плывущих кораблях, караванах и воинах между царствами. Три года спустя случилось так, что мне пришлось снаряжать посольство на другой конец света. Я позвал своего садовника и сказал: «Ты можешь послать своему другу письмо». Пострадали мои деревья, пострадали овощи в огороде, зато настал праздник у гусениц, потому что садовник целыми днями сидел за столом, писал, зачеркивал и снова писал, прикусив, будто малый ребенок, от старательности язык так ему хотелось высказать самое главное, самое важное, передать своему другу себя целиком во всей своей явственной подлинности. Он хотел перекинуть мост через пропасть, воссоединиться с частичкой самого себя, преодолев время и пространство. Ему нужно было высказать свою

любовь. И вот, краснея и смущаясь, он принес мне и попросил прочитать свой ответ, желая увидеть на моем лице слабый отблеск той радости, что озарит получателя, желая на мне проверить действенность своего откровения. И я прочитал (нет для тебя драгоценнее того, на что ты тратишь себя всю свою жизнь. Помнишь старух, что проглядели глаза, следя за танцем иглы, расшивая пелены для своего Бога?). Так вот, я прочитал то, что доверил своему другу мой садовник с помощью неуклюжих старательных букв, — молитву, исполненную горячей веры, высказанную в корявых словах: «Этим утром и я подрезал мои розы…» И я замолчал, потому что ощутил самое главное еще яснее: они славят Тебя, Господи, соединясь в Тебе над своими розовыми кустами, сами не подозревая об этом.

Ах, Господи, я молюсь за себя, ибо и у меня есть труд, я по мере своих сил просвещаю мой народ. Я получил от Тебя тяжкий труд, Господи, и нет у меня той небольшой и каждодневной работы, какую мне легко было бы любить, — я обживаю, я натягиваю связующие нити, но они неосязаемы, хотя и даруют радости сердцу, ибо сладко возвращаться в свой дом, а не куда-то еще, слышать привычные голоса и утешать ту, что плачет о

потерянном брас лете, хотя плачет она о смерти, что разлучит ее со всеми браслетами. Но Ты обрек меня еще и на молчание, научив ценить не ветер слов, а глубинную суть; увидев ее, я склонился над тоскою людей и пытаюсь исцелить их.

Да, Ты пожелал сберечь мое время, которое я бы мог расточить на болтовню и словесную пыль из-за потерянного браслета (дело ведь не в браслете — в смерти), расточить на ловлю любви или дружбы. Но и любовь, и дружба завязывают свой узел только в Тебе, и только в Твоей власти позволить мне до них дотянуться через Твое молчанье.

Что мне в помощь, если знаю, что не в Твоих силах явить мне себя на моей ступеньке, если ничего не жду от ангела из балаганчика? Что если говорю с пастухом и с пахарем, отдавая им многое, но ничего не получая взамен? Если улыбкой воодушевляю дозорного, ибо я — царь, узел, связавший воедино царство, на которое они тратят свою жизнь и которое вознаграждает их моей улыбкой. Но чего мне ждать от ответной улыбки дозорного, Господи? Я бужу любовь не к себе, Господи, мне не важно, равнодушны они ко мне, ненавидят ли, любят, они должны меня чтить, чтобы прийти к Тебе, ибо я бужу любовь только к

Тебе, Господи, и они, и я питаемся этой любовью, и Тебе я передаю ее, как передаю преклонение колен дозорного своему царству, ибо я не стена, о которую бьются, я — семя, что вытягивает из земли листву. Но по временам, — ибо нет для меня царя, который мог бы вознаградить меня улыбкой, и иду я одиноким до того часа, когда Ты снизойдешь принять меня и растворить в тех, кого я люблю, — я устаю от своего одиночества, и мне хочется стать одним из всех и затеряться среди людей моего народа, — я еще не очистился до конца.

Видя, как счастлив мой садовник дружбой со своим другом, мне хочется порой покориться божеству садовников и тоже сделаться садовником в моем царстве. Ведь и мне случается не спеша спуститься по ступеням моего зам ка в предрассветный сад и навестить свои розы. Я оглядываю их так внимательно, наклоняюсь к неловко изогнувшемуся стеблю, я, который в полдень будет решать: казнить или миловать, воевать или жить в мире. Быть или не быть царствам. И, с трудом разогнувшись, потому что я уже стар, я говорю в своем сердце слова, что слышны и понятны всем садовникам на свете, живым и мертвым: «Этим утром и я подрезал

мои розы...» Что мне за дело, если это мое послание будет странствовать долгие годы? И мне даже не важно, найдет оно адресата или нет. Не в послании суть послания. Чтобы быть заодно с моими садовниками, я поклонился их божеству — розовым кустам на заре.

Господи, не то же ли и с возлюбленным моим врагом, с которым я становлюсь заодно, лишь возвысившись до следующей ступеньки? И поскольку он в точности такой же, как я, и идет ко мне навстречу, стремясь подняться на ступеньку более высокую. Исходя из нажитой мною мудрости, я сужу о справедливости. Он судит о справедливости, исходя из своей. На взгляд они противоречат друг другу, противостоят и служат источником войн между нами. Но и он, и я противоположными путями, протянув ладони, идем по силовым линиям к одному и тому же огню. И обретают наши ладони Тебя одного, Господи!

Я окончу свой труд, облагородив душу моего народа. Мой возлюбленный враг окончит свой и облагородит свой народ. Я думаю о нем, и он думает обо мне, хотя нет у нас общего языка, чтобы мы с ним встретились, ибо по-разному мы с ним милуем и казним, разные у нас уклады и разные суждения, но мы можем сказать, он мне,

я — ему: «Этим утром и я подрезал мои розы...» Ибо Ты, Господи, общая для нас мера. Ты — узел, что связал воедино несхожие деяния!

Примечания

Биографический очерк

Антуан Жан-Батист Мари Роже де Сент-Экзюпери, наследник графского титула древнего рода, родился 29 июня 1900 г. в Лионе. В четыре года он лишился отца, с тех пор его воспитывала мать, к которой он был очень привязан до конца своей жизни.

Сент-Экзюпери учился в религиозных школах — сначала в иезуитском коллеже Нотр-Дам-де-Сент-Круа в Мансе, затем в Вильфранш-сюр-Сон, который тоже принадлежал братьям-иезуитам, потом в коллеже марианистов во Фрайбурге, на вилле Сен-Жан в Швейцарии. Но хотя среднее образование будущий писатель получил в религиозных школах, в 18 лет он потерял веру.

«Авиационное крещение» Сент-Экзюпери состоялось в июле 1912 г.: знаменитый пилот и конструктор Габриэль Вроблевски-Сальвез прокатил маленького Антуана на своем самолете над Амберье — воздушная инициация была тогда в моде.

В 1917 г. Сент-Экзюпери приехал в Париж и начал готовиться к поступлению в Морскую школу. И, что самое важное, у него было время,

чтобы писать стихи, рисовать и вести активную светскую жизнь: он посещал дальнюю родственницу Ивонн де Лестранж, которой показывал собственные литературные опыты. В ее салоне можно было встретить Леона-Поля Фарга, а также представителей издательства «Ля нувель ревю франсез» — Жана Прево, Марка Аллегре и даже знаменитого писателя Андре Жида. Провалив в 1919 г. вступительные экзамены в Морскую школу, Сент-Экзюпери поступил вольнослушателем в Школу изящных искусств на отделение архитектуры.

Когда в 1921 г. закончилась отсрочка от армии, военная служба оказалась для него большим благом по сравнению с почти нищей парижской жизнью, хотя военная карьера как таковая никогда его не привлекала. Сент-Экзюпери зачислили во второй авиационный полк в Страсбурге — разумеется, в качестве механика; и для того чтобы сесть за штурвал, он должен был пройти курс довольно дорогостоящего обучения. Тогда он решил поступить в военно-воздушные силы и таким образом оказался в Марокко, а уже в конце 1921 г. получил диплом военного летчика. В 1922 г. он — младший лейтенант запаса, позже — в 1926 г. — ему присвоили звание лейтенан-

та, а в 1937 г. — капитана запаса. Незадолго до окончания службы он попал в тяжелую авиакатастрофу.

В середине 1923 г., когда подошла к концу его служба в армии, родственникам удалось отговорить Антуана от продолжения военной карьеры. К тому же он давно собирался жениться на Луизе де Вильморен, но в конце концов их помолвка была расторгнута, по всей вероятности, из-за недостаточной материальной обеспеченности жениха. В течение почти трех лет он работал в различных фирмах, а летать ему удавалось лишь изредка. Все это время он писал, мечтая опубликоваться у престижного издателя Гастона Галлимара. В конце концов после публикации в апреле 1926 г. рассказа «Авиатор» в журнале «Серебряный корабль» он подписал у Галлимара свой первый контракт на роман.

Удача начала сопутствовать ему и в поисках работы, связанной с авиацией. Тогда же, весной 1926 г., ему удалось поступить во Французскую авиакомпанию, где он работал инструктором, а осенью его представили Беппо де Массими, администратору Генеральной компании по авиационным почтовым перевозкам («Аэропосталь»), основанной Пьером Латекоэром. После

нескольких месяцев работы механиком он начал летать на почтовой линии Тулуза — Касабланка — Дакар. В конце 1927 г. его назначили начальником промежуточного аэропорта в Кап-Джуби на Рио-де-Оро — в испанской части Марокко. Здесь он написал роман «Южный почтовый», который привез с собой по возвращении во Францию в начале 1929 г.

Осенью 1929 г. Сент-Экзюпери получил солидное место директора дочерней компании «Аэропосталь» — «Аэропоста Архентина» в Буэнос-Айресе. Он открыл линию в Патагонии — от Комодоро-Ривадавия до Пунта-Аренас, организовал авиабазы в Трелью и Баия-Бланка, а также совершил множество разведывательных полетов. В Бразилии он создал «Ночной полет». Тем временем в Париже вышел «Южный почтовый». В аргентинской столице тридцатилетний Сент-Экзюпери получил звание кавалера ордена Почетного легиона за заслуги в гражданской авиации (в 1939 г. ему будет присвоено звание офицера ордена Почетного легиона). Здесь он встретил свою будущую жену — Консуэло Сунсин, аргентинку сальвадорского происхождения, вдову известного и богатого журналиста. Они поженились во Франции в апреле 1931 г.

В начале 1931 г. он едет на родину в отпуск, но его приезд во Францию совпадает по времени со скандалом в компании «Аэропосталь», который приведет к ее юридической ликвидации. В мае — декабре он еще работает на линии ночных полетов между Касабланкой и Южной Америкой. В 1932 г., чтобы преодолеть финансовые трудности, Сент-Экзюпери поступает в реорганизованную «Аэропосталь»: пилотирует гидропланы между Марселем и Алжиром, затем переезжает в Касабланку и работает на линии Касабланка — Дакар. Вскоре он попадает в аварию при посадке над заливом Сен-Рафаэль. На протяжении 30-х годов он патентует множество своих изобретений в области авиации.

В 30-е годы Сент-Экзюпери отдает немало времени журналистике. Прежде всего публикует статьи в еженедельнике «Марианн», в котором печатались многие авторы издательства «Галлимар». В 1935 г. Пьер Лазарефф, директор газеты «Пари-суар», отправляет его на месяц в Москву для подготовки серии репортажей, приуроченных к визиту премьер-министра Пьера Лаваля в СССР. Драматическая история неудавшегося рекорда, чуть было не стоившая жизни Сент-Экзюпери и его механику Андре Прево, которые

прожили в Ливийской пустыне три дня без воды и пищи (29 декабря 1935 г. Сент-Экзюпери собирался совершить перелет Париж — Сайгон, но его новенький самолет «Самум» упал посреди пустыни), тоже очень быстро стала сюжетом для его публикаций. Их спасли 1 января 1936 г., а уже начиная с 6 января газета «Энтрансижан» публикует рассказы Сент-Экзюпери о пережитом в пустыне. В дальнейшем они станут частью большой книги «Планета людей». В августе 1936 г. он отправляется в Каталонию — на фронт, — чтобы писать репортажи для газеты «Энтрансижан». В апреле — июне 1937-го едет в Мадрид по поручению «Пари-суар». Впоследствии за эти репортажи о гражданской войне испанские власти запретили Сент-Экзюпери въезд на территорию страны.

В 1938 г. он впервые посещает Нью-Йорк, для того чтобы побить очередной рекорд скорости, совершив перелет Нью-Йорк — Огненная Земля. Его самолет разбивается над Гватемалой, Сент-Экзюпери проводит несколько дней в коме. После выздоровления врачи запрещают ему управлять самолетом. Но пребывание в Америке оказалось одним из стимулов для ускорения работы над новой книгой «Планета людей».

На следующий день после объявления войны,

4 сентября 1939 г., Сент-Экзюпери мобилизован: он должен инструктировать пилотов в Тулузе. Несмотря на плохое состояние здоровья, в начале ноября ему удается попасть в группу авиаразведки 2/33. 23 мая 1940 г. Сент-Экзюпери совершает разведывательный полет над Аррасом, который вдохновит его на создание повести «Военный летчик».

Затем группа авиаразведки будет передислоцирована в Алжир, а после позорного для Франции перемирия Сент-Экзюпери демобилизуют (11 июля 1940 г.). После долгих хлопот он получает американскую визу и 31 декабря 1940 г. приплывает к берегам Америки. Теперь, несмотря на частые болезни, у него есть время, чтобы писать повесть «Военный летчик» и сказку «Маленький принц», которые были заказаны американским издательством «Рейнал энд Хичкок». Тогда же, в Америке, он отказывается сотрудничать с генералом де Голлем, который привлекал на свою сторону французскую интеллигенцию: Сент-Экзюпери считал де Голля будущим диктатором. Этот отказ автоматически превращал его, во всяком случае, по мнению голлистов, в сторонника предательского правительства Виши, в то время как Сент-Экзюпери был сторонником «третьего

пути» — по его мнению, победы в войне можно было добиться с помощью высадки союзных войск.

В мае 1943 г. Сент-Экзюпери вернулся в Алжир, в авиагруппу 2/33, где наряду с французами теперь служили и союзники-американцы. Время от времени он вылетал на задание, но с его самолетами часто случались аварии, и командование настаивало на прекращении полетов, тем более что его возраст давно превысил предельный для пилота, т. е. 35 лет. В июле 1944 г. авиагруппа была передислоцирована на Корсику.

31 июля 1944 г. в 8 часов 45 минут Сент-Экзюпери вылетает на задание: на мощном двухмоторном самолете «Лайтнинг» он должен был произвести разведку в районе Гренобля — Амберье — Аннеси. Целью полетов было подготовить высадку союзников в Провансе, которая, как стало известно Сент-Экзюпери, намечалась на следующий день, а значит, этот полет должен был стать последним. Сент-Экзюпери ждали к полудню, но самолет не возвращался. Связь прервалась, радары не смогли определить его местоположения. Топлива оставалось на один час…

Таинственное исчезновение Сент-Экзюпери породило множество гипотез. Согласно одной,

наиболее правдоподобной, его самолет упал в море, сбитый немецким истребителем, или просто из-за технической неисправности.

При составлении примечаний были учтены следующие комментированные издания произведений Сент-Экзюпери: Antoine de Saint-Exupery. CEuvres complètes. Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Plèiade. T. 1, 2. 1994, 1999 (Edition publiée sous la direction de Michel Autrand et de Michel Quesnel avec la collaboration de Frederic d'Agay, Paule Bounin et Françoise Gerbod); Антуан де Сент-Экзюпери. «Южный почтовый». «Ночной полет» и др. М.: Художественная литература, 1983 (примечания С. Зенкина); Антуан де Сент-Экзюпери. Сочинения. М.: Книжная палата, 2000 (комментарии Д. Кузьмина и С. Зенкина).

Южный почтовый («Courrier sud»)

Работа над романом началась в конце 1927 г. и заняла около полутора лет. В романе использованы элементы неоконченной (и так и не дошедшей до нас) книги «Бегство Жака Берниса», которую Сент-Экзюпери стал писать значительно раньше и часть которой он опубликовал под названием «Авиатор» в журнале Адриенны Монье «Серебряный корабль» в апреле 1926 г. И в «Бегстве Жака Берниса», и в «Южном почтовом» действует один и тот же герой — Бернис.

Название романа «Courrier sud», которое буквально означает «Южная почта», — это не что иное как надпись на посылках, отправляемых из Европы в Африку и в Южную Америку.

На русском языке «Южный почтовый» впервые вышел в 1962 г. в переводе Т. Исаевой, с 1964 г. переиздавался перевод М. Баранович, в 2000 г. был опубликован перевод Д. Кузьмина.

С. 19. *Почтовый Франция — Южная Америка.* — Проект этой авиалинии был впервые представлен еще в 1918 г. Пьером Латекоэром.

Его завод в Тулузе по изготовлению железнодорожных вагонов был во время Первой мировой войны перепрофилирован в авиационный. Сначала было установлено сообщение между Тулузой и Барселоной, затем, в 1919 г., самолеты начали летать уже до Аликанте, затем до Рабата. Так создаются «Авиалинии Латекоэра». В 1926 г. авиакомпания Латекоэра обеспечивала 25 % почтовых перевозок по Европе. С этого момента она начинает именоваться «Генеральной компанией по авиационным почтовым перевозкам», или «Аэропосталь». Сообщение с Буэнос-Айресом было установлено в 1927 г., а в 1929 г. — с Сантьяго. В 1931 г. из-за финансовых проблем «Аэропосталь» была юридически ликвидирована. После двух лет борьбы «Аэропосталь» распалась на несколько различных авиакомпаний, которые были поглощены в 1933 г. «Эр Франс». О работавших на этой авиалинии летчиках и происходивших с ними событиях повествуется в «Южном почтовом», «Ночном полете» и «Планете людей».

…непокорные племена… — К ним относились по преимуществу мавры (так называли представителей смешанных племен, состоящих из берберов, арабов и чернокожих), кочующие по Западной Африке — от юга Марокко до Сенегала.

Эти племена мирных скотоводов и воинов не признавали испанского владычества. Их территория простиралась от Агадира до Порт-Этьена на 1500 км, а Кап-Джуби находился как раз посередине. Они враждебно относились к французским летчикам, а если те попадали в аварию, то их грабили и делали предметом обмена. В 1925–1926 гг. произошло резкое обострение отношений с маврами, в результате чего линию вообще собирались закрыть.

Сиснерос (Вилья-Сиснерос, совр. Дахла) — город в Западной Сахаре, которая во времена Сент-Экзюпери принадлежала Испании.

Порт-Этьен (совр. Нуадибу) — город в Мавритании (в описываемую эпоху принадлежавший Франции), на границе с Западной Сахарой.

С. 20…*подсветить мишленовской ракетой*… — Речь идет об осветительных ракетах, которые выпускала фирма братьев Мишлен, ставшая знаменитой благодаря производству автомобильных покрышек.

Кап-Джуби (Капо-Джуби, или просто Джуби) — форт на юге атлантического побережья Марокко, принадлежащего Испании. Наполовину гарнизон, наполовину тюрьма, Кап-Джуби был основательно укреплен.

С. 24. *Пеньискола* — город на средиземноморском побережье Испании, на полпути между Барселоной и Валенсией.

Альгамбра — дворец (сер. XIII — конец XIV в.) мавританских правителей на востоке Гранады.

С. 26. *Тэн*, Ипполит (1828–1893) — французский литературный критик, философ и историк. Родоначальник культурно-исторической школы.

Ницше, Фридрих (1844–1900) — немецкий философ, поэт, представитель «философии жизни». Сент-Экзюпери, еще с юности увлеченный творчеством Ницше, не только воспроизводит его идеи в своих романах, но и порой пытается подражать самому стилю его произведений, что особенно заметно в «Цитадели».

С. 27…*полюбив женщину, становишься ее рабом, как Пирр, или палачом, как Нерон?* — Речь в данном случае идет не о персонажах античной истории, а о действующих лицах трагедий Жана Батиста Расина (1639–1699) «Андромаха» (1667) и «Британник» (1669).

Лукреций — Тит Лукреций Кар (ок. 98–55 гг. до н. э.) — римский философ и поэт. Автор дидактической поэмы «О природе вещей».

Екклезиаст (Проповедник). — Стилю ветхозаветной «Книги Екклезиаста» Сент-Экзюпери

подражает в «Цитадели».

С. 29. *Изобары* — линии атмосферного давления на карте.

Бьеркнесс, Вильгельм Фриман Корен (1862–1951) — норвежский физик и геофизик, основатель «бергенской» (фронтологической) научной школы в метеорологии. Автор волновой теории циклонов, разработал динамические методы предсказания погоды.

С. 31. *Жиголо* — альфонс, сутенер (*фр.*).

С. 34. *Тарифа* — город на юге Испании.

Женевьева. — Имя героини вызывает литературные и исторические ассоциации, которые оказываются созвучны темам любви, смерти и жертвенности. Это имя этимологически связано с именем прекрасной Джиневры, супруги короля Артура, в которую был влюблен Ланселот, из легенд и средневековых романов о рыцарях «Круглого стола». Женевьевой звалась и святая мученица (422–502), покровительница Парижа.

С. 48. *Жуи* (Жуи-ан-Жоза) — городок неподалеку от Версаля. В 1759 г. здесь была создана мануфактура по производству тканей с росписью.

С. 49. *Сайгон* (совр. Хошимин) — город на юге Вьетнама; во времена Сент-Экзюпери Вьетнам был колонией Франции.

С. 51. *Санс* — город на южном притоке Сены — реке Йонне, между Парижем и Дижоном.

С. 54. *Вандомская площадь.* — Здесь расположены самые шикарные парижские отели.

С. 57. *Фонтенбло* — город во Франции, к югу от Парижа, бывшая загородная резиденция французских королей.

С. 58…*рыбак из Галилеи…* — Имеется в виду апостол Петр, который до встречи с Иисусом Христом был рыбаком. Иисус застает его бросающим сети в море Галилейское (Евангелие от Матфея, 4:18; Евангелие от Марка, 1:16).

С. 59. *Маркион* (ок. 85—160 гг.) — глава одной из еретических сект в раннем христианстве. Влияние ереси маркионитов имело большое распространение вплоть до V в. Маркион противопоставлял ветхозаветного Бога-Создателя милосердному Богу Нового Завета. Он отрицал идею воплощения и считал, что человеческий облик Христа — чистая выдумка.

Четвертое Евангелие — Евангелие от Иоанна. В отличие от трех других синоптических Евангелий сосредоточено не столько на событиях из жизни Христа, сколько на их символической интерпретации.

Интерполяция (от лат. interpolatio — поднов-

ление, изменение) — позд нейшая вставка, поправка в первоначальный текст. Речь идет о фрагментах в трудах древних историков Тацита и Иосифа Флавия, в которых упоминаются евангельские события. Доказано, что эти фрагменты были подложными.

С. 61. *Дуговые фонари* — разновидность электрических фонарей; использовались в конце XIX — начале XX в. до появления ламп накаливания.

«Испано-сюиза» — престижная марка автомобилей в 1910—1930-х гг.

С. 65. *Лараш* (Эль-Араиш) — город в Марокко на атлантическом побережье.

С. 66. *Звезда Волхвов* — поэтическое название планеты Венера.

Ручей Нун. — Находится в Южном Марокко, недалеко от города Сиди-Ифни.

С. 68. *Мазаган* (совр. Эль-Джадида) — портовый город в Марокко на атлантическом побережье, недалеко от Касабланки.

Могадор (совр. Эс-Сувейра) — город на побережье Марокко.

С. 70…*не сводит глаз с амперметра, отмечающего каждый удар ключа.* — По амперметру нужно было контролировать сообщения, посылаемые с помощью азбуки Морзе.

С. 71. *Силовая группа* — мотор и электрогенератор.

С. 72. *Сент-Ассиз* — город к югу от Парижа.

С. 76. *Мерлин* — персонаж кельтских легенд и средневековых рыцарских романов «бретонского цикла».

Орфей — легендарный древнегреческий поэт и музыкант, спустившийся в царство Аид, чтобы вывести оттуда свою умершую жену Эвридику.

С. 77. *…которое не выразить словами, как цвет небосвода, как цвет луны.* — Цитируется сказка Шарля Перро «Ослиная шкура», где героине дается невыполнимое задание.

С. 81. *…жестокость мавров?* — См. примеч. к с. 19.

С. 83. *Мыс Тимирис.* — Находится севернее г. Нуакшота, нынешней столицы Мавритании.

Тахометр — прибор для измерения частоты вращения деталей машин и механизмов (в данном случае — воздушного винта).

С. 85. *«Бочка»* — фигура пилотажа: полный оборот самолета (планера) вокруг продольной оси.

С. 86. *Я — Ной, и ко мне в ковчег залетела голубка.* — Библейский Ной, который спасся от потопа в ковчеге, определял, когда спадет вода, выпуская голубя. Сначала тот возвращался, что

означало, что земля еще не осушилась от воды, затем принес масличный лист как знак первого появления суши (Бытие, 8:8—11).

С. 87…*до бохадорского самолета…* — Бохадор — мыс на атлантическом побережье Западной Сахары.

«Мое лето, короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное». — Цитата из «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше (пер. Ю. Антоновского).

С. 89. *Будто бы весь этот трепет парусов, мачт, надежд погружается в пучину вод.* — Отдаленная ассоциация с парусами из средневековой кельтской легенды о Тристане и Изольде. Тяжелобольной Тристан ждал Изольду, о прибытии которой должен был возвестить белый цвет парусов; но Тристану солгали, что паруса были черные, и он от этой вести сразу же умер, а вслед за ним умерла и Изольда.

Ночной полет («Vol de nuit»)

В основу сюжета положены реальные события, происходившие в авиакомпании Пьера Латекоэра (см. также примеч. к «Южному почтовому»). Прославленный летчик Жан Мермоз, один из руководителей компании «Аэропосталь», стал инициатором ночных полетов (он сам совершил первый ночной перелет), необходимых для скорейшего установления авиационного сообщения. Линия ночных полетов Буэнос-Айрес — Мендоса — Сантьяго открылась 2 марта 1929 г.

На русский язык «Ночной полет» впервые был переведен в несколько сокращенном виде М. Ваксмахером в 1957 г. В 1964 г. Ваксмахер переработал свой перевод, который с тех пор многократно переиздавался.

С. 92. *Дора, Дидье* (1891–1969) — летчик во время Первой мировой войны, прославился боевыми подвигами. После войны поступил в компанию Латекоэра, где в 1919 г. перевозил первую почту в Марокко. Затем был назначен начальником промежуточного аэропорта, а после образования

«Аэропосталь» стал директором по эксплуатации. Сент-Экзюпери был ему представлен в октябре 1926 г. в Тулузе, когда нанимался в авиакомпанию Латекоэра. Дора устанавливал линии Дакар — Ресифи — Буэнос-Айрес — Сантьяго-де-Чили, выступал в качестве активного сторонника ночных полетов, поэтому он долгое время считался прототипом Ривьера. Впоследствии выпустил книгу воспоминаний «Ветер винтов» (1956), где описал происходившее на авиалиниях Латекоэра и раскрыл свое понимание Ривьера: «Между Ривьером — персонажем воображаемым и высшим — и мной пропасть различий и лишь несколько общих черт. Сент-Экзюпери не ошибся, когда еще в Южной Америке прочитал мне свою рукопись. Ривьер повелевает погодой, техникой и человеческим материалом. А у меня никогда не было подобных претензий… Думаю, правда — не так красива и значительно проще, чем вымысел. Сент-Экзюпери создал незабываемого Ривьера, человека совершенно самодостаточного. Что же касается меня, я всегда радовался и гордился тем, что старался помочь замечательным людям преодолеть самих себя».

С. 93. *Фабьен.* — Возможно, прототипом Фабьена был летчик Элизе Негрен, погибший вместе с Жю-

льеном Пранвилем в водах Ла-Платы, недалеко от Монтевидео в мае 1930 г.

…из Патагонии… на Буэнос-Айрес… — 1 ноября 1929 г. Сент-Экзюпери сам открыл линию в Патагонии. Для того чтобы достичь Комодоро-Ривадавия, он пролетел над Баия-Бланка, реками Колорадо и Рио-Негро, заливом Сан-Матеус, а после заправки остановился в Трелью, откуда благополучно долетел до места назначения.

С. 96. *Ривьер.* — Имя персонажа переводится с французского как «река». Сила духа этого героя постоянно преодолевает человеческую слабость. Ривьер преодолевает и свои недомогания — по первоначальной версии, он должен был болеть раком. Но в окончательном тексте Сент-Экзюпери снимает симптомы смертельной болезни Ривьера.

С. 99. *Тупунгато.* — Гора Тупунгато (6800 м) находится на границе Чили и Аргентины к востоку от Сантьяго в провинции Мендоса-Аргентина.

С. 102. *Робино.* — Возможно, именно фигура инспектора Робино вдохновила драматурга Жана Жироду (1882–1944) на создание комического персонажа Жюля Робино в пьесе «Парижский экспромт» (1937).

С. 115. *Флорианополис* — город в Бразилии на

атлантическом побережье.

Планета людей («Terre des hommes»)

Сент-Экзюпери работал над книгой в 1938 г., собирая и перерабатывая уже имеющиеся тексты, а также добавляя к ним новые.

Название Сент-Экзюпери нашел в самый последний момент. В его рукописях можно обнаружить около восьмидесяти вариантов названий; при подготовке книги в печать он называет ее «Звезды на ветру», и только на стадии корректуры (13 декабря 1938 г.) возникает «Земля людей».

Составляя книгу в том числе и из массы документального материала, Сент-Экзюпери снимал точные обозначения времени, сокращал слишком конкретные детали, стремясь вывести текст из узкопрофессиональной сферы авиации. Но при этом в большинстве случаев сохранял имена своих друзей и коллег.

На русском языке «Земля людей» впервые вышла в 1956 г. в переводе г. Велле под редакцией Л. Зониной. В 1964 г. был опубликован перевод Норы Галь, которая дала книге название «Планета людей».

С. 152. *Гийоме, Анри* (1902–1940) — друг Сент-Экзюпери. Он стал военным летчиком после окончания Первой мировой войны, работал в авиакомпании Латекоэра на линии Касабланка — Дакар, потом в Южной Америке. Описанный Сент-Экзюпери эпизод произошел 13 июня 1930 г.

С. 153*…это было над Аргентиной…* — Сент-Экзюпери прибыл в Буэнос-Айрес 12 октября 1929 г.

…«Латекоэр»… «Аэропосталь»… «Эр-Франс»… — Об истории авиакомпании Латекоэра см. Биографический очерк.

…сообщение между Тулузой и Дакаром. — Эта линия открывалась по частям: сначала, 5 декабря 1919 г., отрезок Тулуза — Касабланка, а затем, 5 июня 1925 г., участок Касабланка — Дакар.

С. 154. *Бюри.* — Александр Бюри поступил в компанию Латекоэра в феврале 1925 г.; погиб 1 августа 1927 г. в Сент-Андре на линии Барселона — Тулуза.

…так на старинных парусниках срывались с цепей пушки и бороздили палубу, грозя гибелью. — Вероятно, реминисценция из романа В. Гюго (1802–1885) «93-й год» (книга вторая, гл. IV–V).

…в кабинет начальника. — Речь идет о Дидье Дора (см. примеч. к с. 92).

С. 156. *Лорка* — город на юге Испании, недалеко от Гранады.

Мотриль — местечко к югу от Гранады и к востоку от Малаги. Отличается непривычной для этих мест тропической растительностью.

С. 158. *…с драконом Оспиталета…* — Речь идет о высокогорном ущелье Пьюморан в Пиренеях, в котором расположен курортный поселок Оспиталет де Побрегат.

С. 159. *Лекривэн*, Эмиль (1897–1929) — военный летчик. Поступил в компанию Латекоэра в 1924 г., 5 июня 1925 г. открыл линию Касабланка — Дакар. Исчез 31 января 1929 г. во время полета между Дакаром и Касабланкой. Писатель Жозеф Кессель (1898–1979) сделал его героем своей книги «Ветер пустыни» (1929).

С. 161. *Мермоз*, Жан (1901–1936). — После службы в качестве пилота в рядах французской армии (до конца 1924 г.) он поступил на работу в компанию Латекоэра, где активно участвовал в создании авиационного сообщения между Францией и Южной Америкой. Прославился как первооткрыватель опасных линий авиационного сообщения. Погиб 7 декабря 1936 г. в открытом море неподалеку от Дакара.

Пот-о-Нуар — подвижная зона низкого атмо-

сферного давления, расположенная между 1° и 5° северной широты, на юго-востоке от гвинейских гор, и передвигающаяся, в зависимости от направления ветров, с севера на юг и с востока на запад.

С. 162. *Нери,* Жак — радист сначала в «Аэропосталь», затем в «Эр Франс» с 1929 по 1955 г. Познакомился с Сент-Экзюпери в Касабланке в 1931 г.

Сиснерос. — См. примеч. к с. 19.

С. 169. *Ригель*, Эмиль. — Поступил в компанию Латекоэра 27 ноября 1925 г., погиб в Испании 9 мая 1933 г. в авиакатастрофе. В описываемое время Ригель был начальником подразделения в Дакаре.

Бурга, Анри. — Поступил в компанию Латекоэра в 1924 г.

Гурп, Леопольд. — Был ранен маврами 11 ноября 1926 г., скончался от ран 15 декабря 1926 г.

Эрабль, Анри. — Поступил в компанию Латекоэра в 1925 г., был убит маврами 11 ноября 1926 г.

Бохадор. — См. примеч. к с. 87.

С. 170. *Трапписты* — члены католического монашеского ордена, созданного в 1664 г. Арманом Жаном Лебутилье де Рансе и отличавшегося большой строгостью. Название получил по сво-

ему местоположению в аббатстве Нотр-Дам де ля Трапп.

С. 171. *Мендоса* — аргентинский город, основанный в 1559 г. у подножия Анд. Такое же название имеет аргентинская провинция.

Деле, Жан. — Работал на линиях Касабланка — Тулуза, Касабланка — Оран, затем был назначен начальником промежуточного аэропорта в Порт-Этьене (см. примеч. к с. 19). Находился в Аргентине в тот момент, когда Гийоме (см. примеч. к с. 152) потерпел аварию, и участвовал в его поисках вместе с Сент-Экзюпери.

Сан-Рафаэль — город в Аргентине к югу от Мендосы.

С. 172. *Лагуна Диаманте* — обширная снежная пустыня, окруженная горами высотой от 4000 до 6000 м в горной цепи Андов на юго-западе от Мендосы.

С. 180. *Мы были точно императрица…* — Речь идет о Екатерине II и ее поездке по югу России. На пути императрицы ее фаворит г. А. Потемкин (1739–1791) построил так называемые потемкинские деревни.

С. 181. *Рио-Гальегос* — город на юге Аргентины, неподалеку от Магелланова пролива.

Пунта-Аренас. — Этот «самый южный город на

свете», как его охарактеризовал Сент-Экзюпери, находится на южной оконечности Чили.

С. 183. *Бос* — плодородная равнина, расположенная в Парижском бассейне.

С. 184…*выручать из плена наших товарищей Рена и Серра…* — Рен, Марсель (1901–1940) дважды попадал в плен к маврам, которые держали его неделю в 1925 г., а в 1928 г. — четыре месяца. Он пересекал Южную Атлантику 79 раз и погиб с Гийоме в 1940 г. Жозеф Кессель упоминает о нем в романе «Ветер пустыни». Серр, Эдуар после окончания Высшей политехнической школы работал в «Аэропосталь» инженером радиослужбы (15 марта 1928 г.). Был в плену у мавров вместе с Реном в 1928 г. Умер 15 марта 1942 г. Упоминается Жозефом Кесселем в романе «Ветер пустыни».

…захваченных непокорными племенами… — В ночь с 29 на 30 июня 1928 г. самолет, в котором находились Рен и Серр, вылетел из Кап-Джуби в Порт-Этьен, но из-за непогоды был вынужден сесть в песках. Они оказались в плену у мавров, которые потребовали непомерный выкуп. Французов удалось освободить лишь 24 октября 1928 г. после длительных переговоров на высшем дипломатическом уровне (см. примеч. к с. 19).

С. 186…*старый дом, дорогой моему серд-*

цу. — Речь идет о доме в Сен-Морис-де-Ременс, доставшемся в наследство матери Сент-Экзюпери, который проводил там школьные каникулы.

С. 189. *Конкордия* — аргентинский город на границе с Уругваем.

С. 191. *Одиннадцать!* — В учебных заведениях Франции принята двадцатибалльная оценка знаний.

С. 195. *Туареги* — кочевой народ, живущий в Сахаре.

Нуакшот. — В описываемое Сент-Экзюпери время — небольшая деревушка; с 1960 г. — столица Мавритании.

Я уже рассказал об этом в одной своей книге… — Возможно, имеется в виду роман «Южный почтовый».

С. 197. *Люка*, Жан — военный летчик в 1917–1918 гг., поступил в «Аэропосталь» в 1929 г. Был начальником аэропорта в Порт-Этьене с 1931 по 1932 г., потом — начальником аэродрома в Касабланке, работал в торговой службе «Эр Франс» до мобилизации в 1939 г.

С. 202. *Тразра* — племя, живущее на юге Мавритании у границы с Сенегалом.

С. 203…*и пью чай у них в шатре.* — В письме к матери 24 декабря 1927 г. Сент-Экзюпери пишет:

«…я угощаю мавров чаем и хожу к ним в гости».

Р'Гейбат — группа арабских племен, ведущих кочевую жизнь в Западной Сахаре и на юге Марокко.

Мехаристы — войска, передвигающиеся на верблюдах.

Атар — город в Мавритании, неподалеку от южной границы Рио-де-Оро (Западная Сахара).

С. 206. *Барк.* — Сент-Экзюпери рассказывал историю Барка в письме к матери в декабре 1927 г.: «Этого несчастного чернокожего похитили четыре года назад в Марракеше, где остались его жена и дети». В письмах Сент-Экзюпери спрашивал у матери, где можно найти 2000 франков для освобождения Барка.

С. 211. *Марабут* — мусульманский монах-аскет.

С. 212. *Каид* — арабский вождь племени.

С. 213. *Касба* — цитадель, старые кварталы в городах Северной Африки, обнесенные стеной.

С. 216. *Пуэрто-Кансадо.* — Места с таким названием в Мавритании не существует. Возможно, Сент-Экзюпери спутал его с Пуэрто-Касадо, городом в центральной части Парагвая.

Ла-Сагуэт-эль-Хамра — точнее, Сегиа — равнина десятикилометровой ширины в северной

части Мавритании.

Дора — населенный пункт в Мавритании.

Смарра (Смара) — закрытый город в Мавритании; развалины древнего города и место встречи караванов и торговцев оружием.

В 1935 году я летел в Индокитай… — Сент-Экзюпери хотел побить рекорд Андре Жапи на линии Париж — Сайгон до 31 декабря 1935 г. (крайний срок для премии, обещанной победителю). Его «Самум» вылетел утром 29 декабря. Несмотря на вынужденную посадку в Марселе, где необходимо было устранить течь, скорость у Сент-Экзюпери была выше, чем у Жапи. Полет прервался в 200 км от Каира в Ливийской пустыне. 1 января 1936 г. Сент-Экзюпери и его механика Прево подобрал караван. Рассказ об этом происшествии печатался в газете «Энтрансижан» 6, 30, 31 января и 1, 2, 4 февраля 1936 г.

Прево, Андре — механик и друг Сент-Экзюпери. Они вместе попадали в серьезные аварии. Первая авария, случившаяся с «Самумом» над Ливийской пустыней в декабре 1935 г., описана в «Планете людей». Вторая произошла в Гватемале 14 февраля 1938 г., когда Сент-Экзюпери вылетел вместе с Прево из Нью-Йорка к Огненной Земле, чтобы побить очередной мировой рекорд (см. также

Биографический очерк).

С. 218. *Бенгази* — город на ливийском берегу.

Триполитания — западная часть Ливии.

С. 219. «*Самум*». — С сентября 1935 г. у Сент-Экзюпери был новый «Самум» с мотором «рено» в 180 л. с., на котором он без единой аварии успел налетать 11 тыс. км над Средиземным морем. Машина Сент-Экзюпери была значительно мощнее самолета Жапи (см. примеч. к с. 216).

С. 220. *Авиагоризонт Сперри* — прибор, показывающий отклонение самолета от горизонтального положения. Назван по имени конструктора.

С. 231. *Фенек* — лисица, обитающая в пустынях Северной Африки и Юго-Западной Азии. Во время службы в Кап-Джуби Сент-Экзюпери пытался подружиться с фенеком и приручить его. Он писал своей сестре Диди в 1928 г.: «У меня растет лисица-фенек, или одинокая лисица. Размером она меньше кошки, но у нее огромные уши. Это восхитительно. К сожалению, она ужасно дикая и рычит, как лев». Лис станет одним из героев «Маленького принца».

С. 233. *Доминиканцы* — члены католического нищенствующего ордена, основанного в 1215 г. испанским монахом Домиником (Доминго де Гусман). В 1232 г. папа римский передал в ве-

дение доминиканцев инквизицию. Возможно, упоминание о доминиканцах отдаленно связано с воспоминанием о Тулузе, рядом с которой был создан в 1206 г. первый женский доминиканский монастырь.

…в Ливии нет никаких монастырей, кроме коптских. — Копты — этноконфессиональная группа египетских арабов, исповедующих христианство.

С. 245. *Он идет к нам по песку, словно некий Бог по водам…* — Имеется в виду хождение по водам Иисуса Христа (см. Евангелие от Матфея, 14: 23–34; Евангелие от Марка, 6:48–51; Евангелие от Иоанна, 6:19–22).

С. 248…*на фронте под Мадридом, я побывал там как журналист.* — Сент-Экзюпери работал в Испании дважды. Первый раз он был командирован газетой «Энтрансижан» на каталонский фронт в августе 1936 г., почти сразу после начала гражданской войны. Второй раз — и именно этот эпизод имеет здесь в виду Сент-Экзюпери — он был направлен в Мадрид в качестве репортера газеты «Пари-суар» в апреле — июле 1937 г.

С. 255…*во время боев с риффами…* — Колониальная война Испании и Франции против независимой Рифской республики, созданной в

1921 г. восставшими племенами Северного Марокко, закончилась в 1926 г. разгромом Рифской республики. Речь идет о заключительном эпизоде войны: в 1925 г. произошло восстание под руководством Абд аль-Керима, которое угрожало городу Фес, что вынудило Францию выслать дополнительные войска. 27 мая 1926 г. Рифская республика перестала существовать.

…обвинить горбатых. — Возможно, аллюзия на печально знаменитую речь Геринга, который говорил: «Эти жалкие пигмеи [речь шла о чехах] подавляют культурный народ [германцев]. А за ними стоит Москва и вечная маска еврейского дьявола».

С. 256*…вырастили из них мещан в духе романов Куртелина…* — Жорж Куртелин (1858–1929) — французский писатель и драматург, один из ярчайших представителей сатирического и водевильного жанра. Сент-Экзюпери часто упоминает о персонажах Куртелина и в своей эссеистике, и в письмах, выражая тем самым свою позицию по отношению к буржуазным ценностям.

С. 257. *…внушить людям веру в пангерманизм или в Римскую империю.* — Речь идет о националистических идеях «великой Германии» и «возрождения Римской империи», которые про-

возглашала фашистская пропаганда в Германии и Италии.

С. 260…*во время долгой поездки по железной дороге…* — Имеется в виду поездка Сент-Экзюпери в Москву в апреле — мае 1935 г. в качестве репортера газеты «Пари-суар».

…сотни рабочих-поляков… — В результате экономического кризиса в начале 1930-х гг. во Франции лишились работы множество польских иммигрантов. 20 тысяч польских шахтеров были насильно репатриированы французскими властями.

С. 261. *Нор* — «Север» (*фр.*) — департамент Франции, в котором была сосредоточена большая часть угледобывающей промышленности.

Военный летчик («Pilote de guerre»)

Книга вышла сначала в американском издательстве «Рейнал энд Хичкок» (20 февраля 1942 г.) под названием «Полет к Аррасу» («Flight to Arras», пер. Льюиса Галантьера). Во Франции «Военный летчик» был опубликован Галлимаром 27 ноября 1942 г. с разрешения цензуры. Из текста была изъята одна фраза, в которой упоминался Гитлер. Однако 11 февраля 1943 г. оккупационные власти запретили книгу: формально запрет мотивировался тем, что некоторые герои были еврейской национальности (Жан Израэль, Леон Верт). Тем не менее во время войны вышло два подпольных издания «Военного летчика» — в Лионе (1943) и в Лилле (1944). После войны, в 1947 г., в издательстве «Галлимар» вышло переиздание книги.

В основу сюжета положены реальные события из жизни автора. Название «Военный летчик» было предложено Сент-Экзюпери его женой Консуэло.

На русском языке «Военный летчик» впервые появился в 1962 г. в переводе М. Баранович. В

1964 г. был опубликован перевод А. Тетеревниковой.

С. 264. *Алиас*, Анри (1901–1985) — выпускник Высшего военного училища Сен-Сир. Алиас поступил в авиацию в октябре 1933 г. Преподавал навигацию и метеорологию в Высшей летной школе с 1933 по 1937 г. Был назначен командующим авиагруппой 2/33 в конце января 1940 г.

Авиагруппа дальней разведки 2/33. — Авиагруппа 2/33 состояла из 3-й эскадрильи «Секира» и 4-й эскадрильи «Чайка». Сент-Экзюпери попал в авиагруппу в ноябре 1939 г.

Дютертр, Жан. — Поступил в Высшее военное училище Сен-Сир в 1932 г., служил в сухопутных войсках, в 1938 г. стал штурманом авиационной разведки. Лейтенант Дютертр служил в авиагруппе 2/33 разведчиком. После объявления перемирия вернулся в сухопутные войска.

С. 266. *Пенико,* Оливье. — Капитан Пенико оказался в авиагруппе 2/33 в наиболее тяжелый для Франции период (1940); как написано в «Военном летчике»: «конец мая, отступление, разгром».

С. 270. *Аррас* — главный город департамента Па-де-Кале на севере Франции. 21 мая 1940 г. союзниками был предпринят контрудар, которым они безуспешно пытались деблокировать ча-

сти, отрезанные немецкими войсками в районе Дюнкерка. На следующий день произошел описанный Сент-Экзюпери полет к Аррасу.

С. 272. *Израэль*, Жан (1913–1995) — выпускник Центральной школы искусств и ремесел. Был направлен в марте 1937 г. в 33-ю эскадру Нанси. 29 октября 1939 г. был награжден орденом «Военный крест». 22 мая 1940 г., накануне полета Сент-Экзюпери к Аррасу, самолет Израэля был подбит, и он совершил вынужденную посадку на вражеской территории. Провел в плену в Силезии 5 лет. В 1980-е годы стал одним из основателей «Общества друзей Сент-Экзюпери».

С. 276. *И тот, который не может найти мои перчатки.* — В издании «Плеяды» была восстановлена фраза, следующая за этой, — из нецензурированного издания 1942 г.: «Гитлер, который развязал эту безумную войну».

С. 278. *Везэн.* — Капитан Везэн служил в группе разведчиков сухопутных войск, которые были переброшены в авиационные войска.

Ларингофон — деталь переговорного устройства для связи между членами экипажа самолета.

С. 280. *Кнопка S, кнопка A* — имеются в виду предохранитель и кнопка ведения огня.

С. 285. *Ошедэ,* Жюль — младший лейтенант во-

енно-воздушных сил. Погиб в 1944 г., его самолет «Лайтнинг» потерпел катастрофу над Алжиром.

С. 289. *Сагон*, Анри — выпускник Высшей политехнической школы. В авиагруппе 2/33 прослужил недолго: его самолет был сбит 21 декабря 1939 г.

С. 290…*я поставил самолет на кабрирование.* — Кабрирование — набор самолетом высоты на крутой траектории.

С. 297. *Орконт* — аэропорт рядом с одноименной деревней. Представлял собой квадратный километр земли, поросшей травой, между Сен-Дизье и Витри-ле-Франсуа.

С. 304. *У нас один самолет против десяти или двадцати и после Дюнкерка — один танк против ста.* — Немецкие войска окружили группировку союзных войск в районе Дюнкерка, который пал 4 июня 1940 г. Союзники понесли большие потери и были вынуждены оставить часть боевой техники. Сент-Экзюпери, который повествует о происходившем в мае 1940 г., в данном случае немного опережает события.

С. 307. *Я смотрю сквозь большое отсвечивающее стекло кабины.* — У самолета «Блок», которым управлял Сент-Экзюпери, носовая часть была застеклена, здесь находился разведчик. Пилот

сидел в середине самолета, а пулеметчик — сзади. Общались они по интерфону.

С. 321…*монологи в духе Корнеля…* — Пьер Корнель (1606–1684) — французский поэт, драматург-классицист. Монологи героев Корнеля часто строятся на антитезе между чувством и долгом.

С. 322. *Блуа горит.* — Блуа — город к югу от Парижа, известный своим замком эпохи Возрождения. В мае 1940 г. Блуа находился в тылу французской армии.

…по всем правилам картезианской логики. — Речь идет о правилах логического рассуждения, установленных французским философом Рене Декартом (1596–1650).

С. 323…*Леон Верт… собирается рассказать в большой книге.* — Речь идет о книге Леона Верта (1879–1953) «33 дня», которую Сент-Экзюпери привез из Франции, чтобы выпустить в американском издательстве «Брентано». Был подписан контракт, Сент-Экзюпери написал предисловие «Письмо к Леону Верту», но книга так и не вышла в свет. Она была опубликована лишь в 1992 г. Предисловие Сент-Экзюпери вышло отдельным изданием в 1943 г. под названием «Письмо к заложнику».

С. 327…*немцы посягают на Данциг…* — В 1793–

1918 гг. польский город Гданьск принадлежал Германии и назывался Данцигом. По Версальскому договору 1919 г. стал «Вольным городом Данцигом» под управлением Лиги Наций, но всегда оставался предметом территориальных притязаний Германии. Возвращение Данцига стало одним из поводов для развязывания Германией войны против Польши в сентябре 1939 г.

С. 329…*мы назвали эту войну нелепой войной.* — В оригинале — «drôle de guerre» — «странная война». Так стали обозначать период Второй мировой войны, который длился с сентября 1939-го по май 1940 г.: вступившие в войну против Германии Великобритания и Франция не вели активных боевых действий на Западном фронте, рассчитывая обратить фашистскую агрессию против СССР.

С. 346. *Бернулли* — семья швейцарских ученых, давшая миру видных математиков. Наиболее знаменитые из них: Якоб (1654–1705), внесший усовершенствования в дифференциальное и интегральное исчисления, и его брат Иоганн (1667–1748), открывший экспоненциальное исчисление.

С. 352. *Гийоме.* — См. примеч. к с. 152.

С. 362…*сражаться сперва на стороне Норвегии,*

потом на стороне Финляндии. — Имеются в виду два эпизода «странной войны». Советско-Финляндская война (30 ноября 1939 г. — 12 марта 1940 г.) взбудоражила общественное мнение во Франции, которая тем не менее, подобно своей союзнице Англии, не переходила к активным действиям. В начале 1940 г. в Финляндию была отправлена авиация под командованием капитана Поля Стелена. Англичанам удалось убедить французов принять активное участие в борьбе за Норвегию, которую начала оккупировать Германия. В мае 1940 г. французские войска были отозваны.

С. 366. *Фламенко* — андалусский народный танец.

…уродливые каменные чудовища… — Речь идет о водостоках, которые в готических зданиях делались в виде фантастических существ — горгулий.

С. 377. *Желе,* Макс — выпускник Политехнической школы, кадровый офицер. Во время описываемых событий командовал четвертой эскадрильей «Чайка».

Маленький принц («Le Petit Prince»)

Впервые опубликован в издательстве «Рейнал энд Хичкок» в марте 1943 г. («The Little Prince», пер. Кэтрин Вуд). Перед отъездом Сент-Экзюпери попросил американских издателей напечатать небольшой тираж на французском языке (апрель 1943-го), который он увез с собой в Алжир. Эта публикация была воспроизведена издательством «Галлимар» в 1946 г.

Работа над текстом «Маленького принца» проходила в США в 1942 г. Сказку с иллюстрациями Сент-Экзюпери заказала супруга американского издателя Элизабет Рейнал: она утверждала, что на эту мысль ее навели картинки, которые французский писатель любил рисовать на салфетках в кафе.

На русском языке «Маленький принц» впервые появился в 1959 г. в переводе Норы Галь.

С. 382. *Леон Верт.* — См. примеч. к с. 323.

С. 384. *Со мной не было ни механика, ни пассажиров…* — К моменту публикации «Маленького принца» прошло восемь лет после аварии Сент-

Экзюпери над Ливийской пустыней.

С. 390. *Астероид Б-612.* — 612 — это номер самолета Берниса из «Южного почтового».

…правитель Турции велел своим подданным под страхом смерти носить европейское платье. — Намек на Мустафу Кемаля (1881–1938), прозванного Кемаль Ататюрк («Отец турок»), и на его реформы 1922 г.

С. 396. *…видел заход солнца сорок три раза!* — Возможно, намек на год создания «Маленького принца» (1943).

С. 397*…его золотые волосы.* — Возможно, аллюзия на цвет волос знаменитых литературных героев символизма: Мелизанду (Морис Метерлинк, (1862–1949), «Пелеас и Мелизанда»), Златоглава (Поль Клодель (1868–1955), «Златоглав»).

С. 401*…накройте меня колпаком.* — В оригинале используется слово «globe» — шар (*англ.*).

С. 425. *Вот тут-то и появился Лис.* — См. примеч. к с. 231.

Цитадель («Citadelle»)

В основу первого издания книги был положен текст, напечатанный машинисткой по диктофонным записям Сент-Экзюпери (985 машинописных страниц). В этом издании было много неточностей, кроме того, в нем не учитывались рукописи: ведь Сент-Экзюпери купил диктофон в США только в 1941 г. Вторая, более полная, версия книги вышла 20 апреля 1959 г. в издательстве «Клоб де Либрер де Франс». Именно этот текст был положен в основу двух изданий собрания сочинений Сент-Экзюпери в серии «Плеяда», последующих французских переизданий и перевода на русский язык.

Большая часть книги была наговорена на диктофон во время послед него пребывания Сент-Экзюпери в США, в Алжире и на Корсике (1941–1944).

Первоначальное название книги «Каид» явно перекликалось с «Так говорил Заратустра», в нем уже звучала индивидуалистическая тема «сверхчеловека». С самых первых страниц, написанных

еще в 1936 г., определяется место действия — пустыня и главный герой — берберский вождь. Новое название «Цитадель» раскрывает общегуманистическую и мистическую направленность книги. С одной стороны, «Крепость моя, я построю тебя в человеческом сердце» (буквально: «Цитадель, я построю…»). С другой стороны, сама идея цитадели восходит к средневековой мистике града Божьего, Божественной обители, Божественного дома.

На русском языке отрывки из «Цитадели» были опубликованы в переводе Л. Лунгиной в 1978 г. и М. Ваксмахера — в 1986 г. Целиком книга вышла в 1994 г. в переводе М. Кожевниковой, которая затем переработала свой перевод. В настоящем издании представлена последняя версия перевода.

В тексте «Цитадели» можно найти множество отсылок к Библии (особенно к Книге Екклесиаста, «Песне песней»), Корану, произведениям Фридриха Ницше, Блеза Паскаля (1623–1662), Рене Декарта, античных философов и т. п. В данном комментарии мы ограничились разъяснением лишь нескольких специальных терминов.

С. 462. *Мидель-шпангоут* — прямая или криволинейная балка набора корпуса судна (или

фюзеляжа самолета).

С. 470. *Форштевень* — брус по контуру носового заострения судна, в нижней части соединен с килем.

С. 493. *Копань* — яма, колодец, выкопанные для собирания воды.

С. 497. *Брение* (церк.) — глина, мокрая земля, грязь.

С. 505. *Неф* (от лат. navis — корабль) — вытянутое помещение, часть интерьера (обычно базилики), ограниченная с одной стороны или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов.

С. 533. *Выползок* — кожа, из которой змея выползает во время линьки.

С. 637. *Эолова арфа.* — Эол — бог ветров. Древний музыкальный инструмент, созданный в X в. Струны его приводятся в колебание движением ветра.

Е. Д. Гальцова